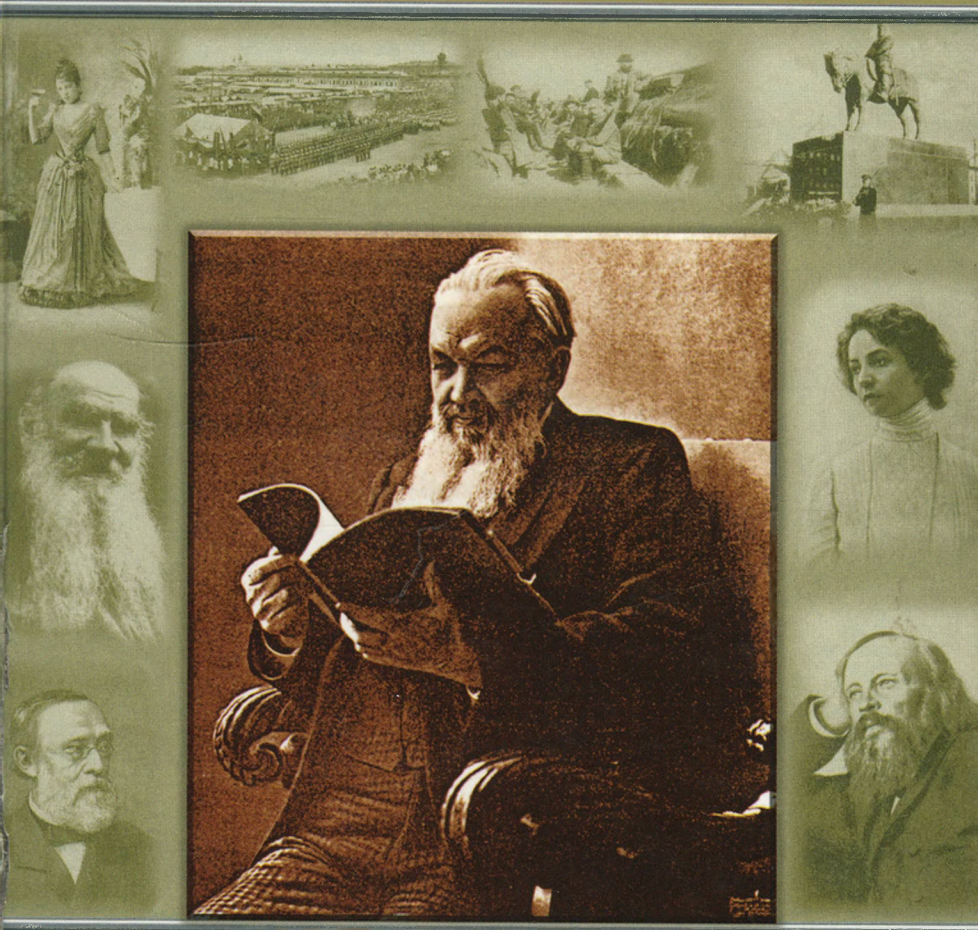
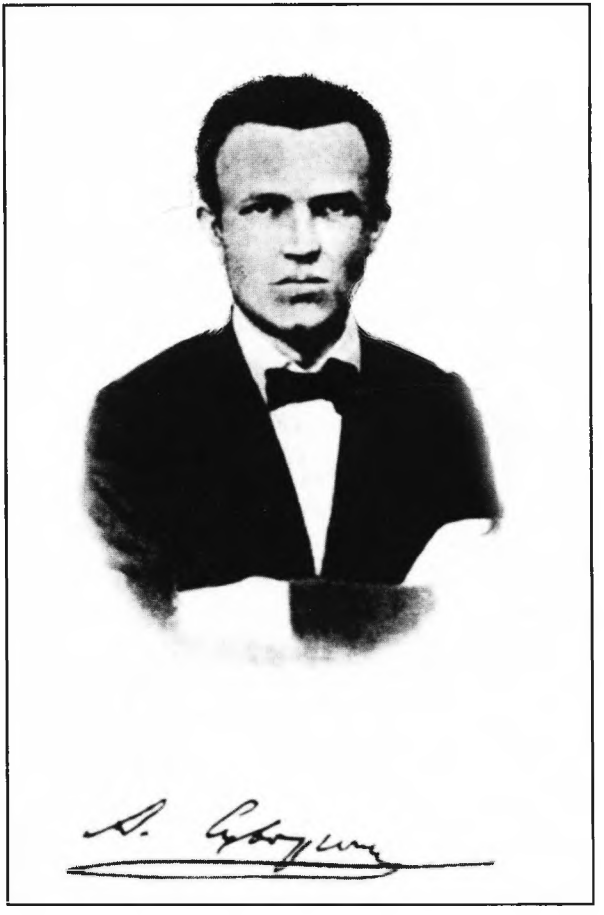
Алексей СУВОРИН

В ожидании века XX



маленькие письма
1889-1903 гг.



Алексей СУВОРИН

В ожидании века XX

маленькие письма
1889-1903 гг.

Москва
АЛГОРИТМ
2005

ББК 63.3 (2)
С 40

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Составление, подготовка текстов, вступительная статья
Александра Романенко

Суворин А.С.
С 40 В ожидании века XX. Маленькие письма (1889—1903). — М.: Алгоритм, 2005. — 1024 с.

ISBN 5-9265-0196-2

Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — публицист и общественный деятель, крупнейший книгоиздатель и журналист. В течение полувека он печатался во многих периодических изданиях и, хотя путь к признанию читающей России не был легким, со временем интерес к его выступлениям стал огромным. Особенно ярко раскрылся талант Суворина в созданном им «Новом времени». Там же появились и знаменитые «Маленькие письма» — отклик на самые острые и наболевшие проблемы российской действительности. Алексей Сергеевич был горячим патриотом, убежденным народолюбцем, выдающимся просветителем. «Маленькие письма» — замечательный документ эпохи, важнейший исторический источник, заметное явление русской литературы. Свою актуальность многие из них не потеряли до сих пор.

В полном книжном издании «Маленькие письма» выходят в свет впервые. В настоящем томе собраны письма, опубликованные в 1889—1903 гг. В 2004 году издательство «Алгоритм» выпустило письма за 1904—1908 годы.

ББК 63.3 (2)

© Романенко А.Д., составление, подготовка текстов, вступительная статья. **2005**

© ООО «Алгоритм-Книга». 2005

ISBN 5-9265-0196-2

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖИЗНИ И СУДЬБЕ АЛЕКСЕЯ СУВОРИНА

Торжество патриотизма не всегда заключается в победах, в льстивых фанфарах и в унижении врага.

Октябрь 1890

Надо делать так, чтобы потомство готовило нам лавровые венки и благодарность, а не современники с бокалами шампанского в руках. Эти лавры засыхают вместе с пеной шампанского.

Август 1893

Счастье родины так много зависит от нас, от нашей взаимной любви и согласия.

Ноябрь 1904

В русской публицистике двух минувших столетий есть страницы, которые и по сей день остаются малоизученными и недостаточно осмысленными во всей своей глубине и многозначности. Жанр «летучий», крепко привязанный к дню сегодняшнему, «довлеет дневи злоба его», зависимый от перемен политического и общественного климата, публицистика легко растворяется в волнах стремительно набегающей действительности, быстро погружаясь в забвение. Сочинения публицистов, их статьи и заметки, полемические выступления, разбросанные на страницах подчас уже труднодоступных газет и журналов, коль скоро они не были собраны по горячим следам в отдельных книгах, трудно поддаются изучению. Забываются имена даже гремевших в свое время авторов, забываются и их дела. Разумеется, далеко не все высказанное публицистами дней минувших может быть слепо, без оговорок принято людьми дня сегодняшнего. Однако наследие прошлого, сколь бы оно ни казалось противоречивым и отжившим, как известно, обладает способностью пробуждать эхо в современности, обретая свою новую жизнь, новую актуальность в иных условиях. Переосмысление прошлого, живое, обогащенное постижение его, пристальное изучение наследия пращуров нередко — увы, далеко не всегда! — оказывается весьма поучительным для потомков. А помимо всего прочего привлекательной оказывается игра мысли, игра чувств и воображения человека, уже растворившегося в горнем царстве...

В этой книге собрана поздняя, почти позабытая и, следовательно, неизвестная потомкам публицистика одного из крупнейших, вне всякого преувеличения, знаменитых русских журналистов 2-й пол. XIX — нач. XX в. Алексея Сергеевича Суворина (1834—1912). В течение полувека Суворин выступал во многих периодических изданиях России, активно участвуя в общественной, литературной и политической жизни страны. Путь его был нелегок и отклик на его выступления был огромен, а известность велика. Расцвет его творчества был связан с двумя русскими газетами, сперва «СПб Ведомостями», а затем «Новым Временем», создателем, фактическим редактором и живым, плодотворным автором которой он был. Он купил ее

(поначалу на паях со своим товарищем и коллегой В. И. Лихачевым) 16 февраля ст.ст.1876 г., и уже через две недели, 29 февраля, вышел первый номер. Малозаметное и малоинтересное издание знаменитый Незнакомец (псевдоним Суворина) постепенно превратил не только в лучшую русскую газету, но и сделал ее весьма уважаемым печатным органом мирового уровня. «Новое время» читали по всей России, но и в «Европах», от Лондона и Берлина до побережья Далмации, внимательно прислушиваясь к ее голосу.

Конечно, отношение к «Новому Времени» в сложной российской действительности было разным в разные времена — от безусловного восприятия до столь же безусловного отрицания и гневного, яростного порицания. Однако роль «Нового Времени», если оценивать ее непредвзято и более или менее объективно, при всей ее «нововременской» репутации в течение десятилетий была заметной и важной в напряженной почти непрерывно жизни России. И не случайно В. И. Ульянов-Ленин, один из самых лицеприятных читателей газеты, усматривал в ней убежденного и последовательного противника и своему марксистскому мировоззрению, и своей революционной практике. И «Новое Время», и сам Суворин считали революцию гибельной для России, для русского государства, для русского народа, что и показали события 1905 и 1917 годов и последующих десятилетий нашей истории.

Газета пережила своего создателя на пять лет (Суворин умер 11/24/ августа 1912 г.), — тяжелых и противоречивых лет, постепенно утрачивая те свои в целом высокие профессиональные журналистские качества и достоинства, основы которых были заложены А. С. Сувориным. Издание «Нового Времени» было прекращено 26 октября /8 ноября/ 1917 г. едва ли не первым постановлением Военно-революционного комитета Петросовета (его непременными членами среди прочих были публицисты товарищи В. И. Ульянов-Ленин и И. В. Джугашвили-Сталин, а руководителем — Л. Д. Бронштейн-Троцкий). Классики революционной социал-демократии, радетели и организаторы выступлений против самодержавия и кровавых расправ с его слугами, вдохновители и теоретики государственного терроризма, коллеги-публицисты по достоинству, точно и твердо оценили смысл и силу печатного слова русской газеты...[1]

В «Новом Времени» с 7/19/ сентября 1889 г. по 28 августа /10 сентября/ 1908 г. и публиковались «Маленькие письма» Суворина. По уточненному счету за двадцать лет их набралось 730 (в архивах осталось еще несколько текстов, по каким-то причинам своевременно не увидевших свет). Они печатались особой рубрикой на первой, чаще на второй и третьей, иногда на пятой, а в праздничных номерах даже на седьмой полосах газеты, иногда с большими паузами, без какой-либо обязательной и непременной периодичности, но с определенной внутренней закономерностью, образуя порой своеобразные замкнутые циклы в зависимости от важности происходивших событий и от субъективного взгляда и желания автора — например, о Лжедмитрии и подделке пушкинской «Русалки», о старообрядцах и студенческих волнениях в России, о золотом рубле и общественной нравственности, о Государственной думе, о смерти артиста П. М. Свободина и о встрече с всемирно известным ученым медиком Ж.-М. Шарко, наконец, о Китае и Дальнем Востоке.

---

[1] Курьезно и по-своему примечательно, что современные образованные журналисты до сих пор путают имя Суворина: в газетах «Известия», «Веч. Москва», на радиостанции «Свобода» его окрестили Александром, а в совсем недавней (июнь 2005 г.) программе «Вести» телеканала «Россия» — Андреем. Вероятно, истоки этого в Интернете (откуда нынче идет все образование), но ведь существуют не такие уж плохие, ей-богу, советские энциклопедии. Не худо бы и заглянуть...

Бывали месяцы и годы, когда Суворин не печатал ни одного письма, бывали, напротив, годы и месяцы, когда заметки Суворина появлялись почти ежедневно — особенно в период русско-японской войны и первой русской революции. В 1894 г., например, он опубликовал 60 писем, в 1898 —18, в 1904 — 83 письма, а в 1908 — всего лишь 6; последним, завершающим жизненный цикл, стало письмо о Л. Н. Толстом, о патриотизме и национальном характере романа «Война и мир» — тема, которая присутствует в писаниях Суворина с начала 60-х гг., когда он познакомился с Толстым в Москве у А. Н. Плещеева.

Диапазон размышлений и наблюдений Суворина был огромен — где-то он был глубок и прозорлив, где-то тривиален, поверхностен и несправедлив, в чем-то он ошибался и потом горько раскаивался. Но это были раздумья активного гражданина, общественного деятеля, умудренного опытом труда и собственной долгой жизни, патриота и народолюбца, всем сердцем своим, всеми корнями своей души сострадавшего своей стране. Боль и скорбь от потрясавших Россию событий, недоверие и порой презрение к ее правителям он испытывал не меньшие, чем, скажем, В. И. Ульянов, а вот ярости и ненависти к окружающему миру, коварства и беспредельной злобы в душе Суворина не было. И, должно быть, поэтому он и видел и понимал в жизни своей страны, смею сказать, куда больше. Впрочем, ненависти у него хватало и в собственной семье, и в собственной редакции, где далеко не все его даже старые сотрудники были столь терпимы и великодушны, как он.

«Его "Маленькие письма" нередко шли вразрез с тем, что в ту минуту считалось непреложным. Это создавало ему массу врагов»,— отмечал современник. Но публицистика Суворина как раз и отражала живую повседневность страны с ее мелкими и крупными, исторического масштаба событиями, с ее вековыми предрассудками, традициями и предубеждениями. И по своему происхождению, и по своему мироощущению Суворин был, вне всякого сомнения, человеком, что называется, народным, и это в частности так сближало его, например, с И. Н. Крамским или с тем же А. П. Чеховым, выходцами из той же социальной среды, или с С. П. Боткиным и Д. И. Менделеевым. Суворин тонко чувствовал жизнь своего народа, он видел и понимал его достоинства и недостатки, он находился внутри него, несмотря на свое высокое место в общественной иерархии. Именно поэтому публицистика Суворина и в высокой степени «Маленькие письма» сохраняли подлинность окружающего бытия, ту жизненную правду и актуальность, подменить которые невозможно системой пусть даже самых передовых и прогрессивных взглядов. Свою несомненную актуальность для России многие из «Маленьких писем» Суворина сохранили и по сей день.

«Маленькие письма» Суворина — замечательный документ эпохи, важнейший исторический источник, но и выдающееся явление русской словесности, памятник много страдавшей человеческой души. Разбросанные на страницах «Нового Времени», они никогда не были собраны воедино и в этом нашем издании полностью печатаются впервые — в настоящий том вошло 450 писем (№ I—CDL). Последующие, 451—750 (CDLI—DCCXXX) были изданы в книге «Алексей Суворин. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма 1904—1908» (М., «Алгоритм», 2005) и появились первыми.

У нас нет сведений о том, намеревался ли автор на склоне лет собрать свою публицистику и выпустить ее отдельным книжным изданием, как это делали куда менее значительные его современники и как это делал в начала пути он сам, но он не без основания гордился многими своими статьями и, по свидетельству современника, «аккуратно собирал в специальных альбомах вырезки собственных фельетонов, напечатанных в "Новом Времени"». Сил на издание собственных, тем более столь монументальных, книг оставалось мало, а у наследников уже не хватало ни времени, ни

денег, а может быть, и желания на новые капитальные предприятия. Они успели издать лишь книги «Рассказов» (СПб.,1913) и «Театральных очерков. 1866—1876» (СПб., 1914). Да еще В. В. Розанов собрал адресованные ему письма Суворина (СПб., 1913).

После октября 1917 г. потомки Суворина, остатки всей его многочисленной семьи, покинули Россию (правда, симпатичная внучка Нина тридцати восьми лет умерла в 1921 г., по-видимому, в советской тюрьме). Сочинений своего предка в общем и целом они больше не издавали. А «Дневник» по весьма ущербному русскому изданию 1923 г. был переведен на немецкий («Das geheim tagebuch von A. S. Suworin». Berlin, 1925), французский («Journal intim de Alexis Souvorin». Paris, 1927), польский (Dziennik Warszawa, 1975) и английский языки (фрагменты)[1].

* * *

Алексей Сергеевич Суворин родился 11/23/ сентября 1834 г. в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии, где жили в основном однодворцы и дворцовые, т. е. государственные, крестьяне. Жители Коршева не знали крепостного права (хотя повсеместно оно «считалось естественным явлением»), и это придавало им известную независимость и жизненную твердость, но ничуть не облегчало тяжкого безысходного существования. Уже «в первых годах XVIII в. в Коршеве была церковь во имя великомученика Димитрия» и, как отмечалось в словаре Российской империи, было «село замечательно длиною своих улиц, простирающихся по прямой линии верст на 6»[2]. Рост села был стремителен: если в 1746 г. в нем насчитывалось 76 дворов, то спустя столетие, в 1860-х, их было уже 740, где обитало 6204 души. (В 1918—1920 гг. жители Коршева дружно поднялись против советской власти, и восстание это было жестоко подавлено. Вот еще одна из иллюстраций к «Тихому Дону», о чем до сих пор не принято было говорить вслух.)

Одним из этих 740 коршевских дворов неподалеку от церкви (с 1818 г. — Вознесения) был и дом большой однодворческой семьи Суворины, «живших как крестьяне и считавших себя крестьянами». «Однодворцы ничем не отличались от крестьян»,— писал Суворин в своей «Автобиографии»[3]. И хотя «генеалогией своей никогда не занимался», он гордился предками, прослеживая родословную до прадеда Федора Прохоровича, по преданию, бывшего каким-то депутатом (кого? чего?), откуда и уличное прозвание Суворины — Путатовы. (А может, от глагола «путать, путывать, путаться»?) Чеховы тоже, между прочим, уходили вглубь на четыре поколения.

Отец, Сергей Дмитриевич Суворин (1785—1855) в 1807 г. «по набору пошел в солдаты, вынес солдатскую жизнь с побоями (служил в лейб-гвардии Преображенском, а потом в лейб-гвардии Московском полку.— *А. Р.*), участвовал в Бородинском сражении (с московцами.— *А. Р.*), где был изранен (раненых наваливали на телегу и везли так: отец рассказывал, что он очнулся в телеге, где были страдавшие дизентерией, и испражнения обмывали лица раненых и попадали им в рот), произведен в офицеры, был квартирмейстером, казначеем и вышел в отставку с капитанским чином, который давал его детям потомственное дворянство». Далее С. Д. Суворин участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., в польской кампании 1830—1831

---

[1] См.: «Дневник Алексея Сергеевича Суворина». Подготовка. Н. А. Роскиной, Д. Рейфильда и О. Е. Макаровой. Лондон — Москва, 2000. Предисловие. С. XXVIII.

[2] Географическо-статистический словарь Российской империи. Сост. П. Семенов-Тяньшанский. СПб., 1865, с. 785.

[3] «Дневник», с. 85, а также в сборнике «Телохранитель России. А. С. Суворин в воспоминаниях современников». Сост. С. П. Иванов. Воронеж, 2001, с. 15.

гг., в 1832 г. вышел в отставку и возвратился в Коршево, заработав пенсию и обучившись грамоте. Дворянство дворянством (конечно, это было тогда очень важно), но пенсия оказалась невелика, а семья после смерти от холеры первой жены быстро росла. Александра Львовна Соколова, дочь местного протопопа, на которой С. Д. женился, когда ему уже было почти 50 лет, а ей — 19, принесла своему супругу девять человек детей. Алексей был первым[1], за ним последовали два брата и шесть сестер, да еще вместе жили две дочери от первого брака отца. Бедствовали Суворины крепко, «жили мы похуже духовенства», хотя отец «сам бывал на мельнице, сам готовил жернова, засыпал рожь, запрягал лошадь, любил пчеловодство», а «мать моя вечно хлопотала тоже, сама готовила кушанье, убирала скотину, разводила кур и гусей. Она осталась неграмотной, но всех нас вскормила». Но все-таки Суворины держали работника и помощницу по дому. Единственной книгой было Евангелие на русском языке, издание Библейского общества, которое часто читал отец. «Никаких других книг я не видывал в детстве своем, прежде чем начал учиться», а учиться грамоте он начал на седьмом году у деревенского пономаря, от которого вскоре вместе с братом Петром перешел к местному дьячку.

Суворин впоследствии часто обращался памятью к годам своего детства — для него эта пора носила «на себе отпечаток полной свободы и беззаботности». Но тяжелой была окружающая жизнь, и об этом он тоже не раз вспоминал и в «Автобиографии», и в «Дневнике», и в «Маленьких письмах».

«Сорок лет тому назад в деревне у крестьян нельзя было найти ни каменных изб, ни плужков, ни лампы, ни самовара, ни сахара, ни ситца, ни книги, ни газет, ни даже за редким исключением сапог» (МП, декабрь 1894).

«Я вырос в деревне в то время, когда не знали еще там спичек; огонь или высекали из кремня, или вздували из углей; у кого не было углей, тот занимал их у соседа и, перенеся к себе в избу, вздувал огонь... С фонарем по деревне не ходили» (МП, январь 1900).

И вот еще из детских воспоминаний: «Приближается Святая ночь. Как я ее любил всегда, всегда со времен моего далекого детства, когда я верил, что после этой ночи восходящее солнце играет, радуясь воскресению Христа. Мы, дети, бегали на гумно, взбирались на скирды соломы и ждали солнца, и когда оно являлось, нам казалось, что оно действительно играет, и мы как-то пугливо радовались, как удивительному чуду. И всегда эта ночь мне была мила, и я не помню в жизни своей года, чтобы я просидел всю эту ночь дома, чтоб не пошел послушать «Христос Воскресе» и не испытал особенного, таинственного волнения и радости» (МП, апрель 1901).

В 1906—1907 гг. Суворин выкупил землю, где стоял их дом, построил на этом месте школу и вместе с садом подарил земству. Занятия в этом здании продолжались до начала 70-х гг. XX в.[2]. А гораздо раньше Суворин, как известно, помогал Чехову в строительстве сельских школ у Лопасни, следуя примеру Некрасова, построившего школу в с. Абакумцево. Уже будучи «великим» Суворины, писателем и богачом, он часто, почти ежегодно, приезжал в Коршево, где жил брат Петр; последний раз, кажется, в 1909 г., уже на автомобиле...

---

[1] «Родился мертвым в бане, куда маменьку увели рожать. Бабушка шлепала-шлепала меня, прежде чем я оказал признаки жизни».

[2] См. в кн. «Телохранитель России» фото 1999 г. на вклейке. В 2003 г., когда я был в Коршеве, это здание находилось в полуразрушенном состоянии (см. фото в кн. «Русско-японская война...», вклейка), и пока никак не удается побудить местные власти и в области, и в районе, и в селе приступить к его реставрации. Сейчас в Коршеве есть новая современная школа, где существует уголок Суворина, созданный преподавателем истории А. И. Ляпиным. А на улице перед памятником — солидная свалка металлолома.

Овладев основами русской грамоты, братья Суворины поступили в уездное училище г. Боброва, где «я пробыл всего месяца два», а затем в 1845 г. выдержали экзамен в воронежский Михайловский кадетский корпус. Преподавание в корпусе, конечно, носило профессионально-специфический характер, но для Сувориных это было открытие нового мира. По прошествии многих лет Суворин с большой теплотой вспоминал годы корпусного ученья, сыгравшие в его жизни столь важную роль. В корпусе он почувствовал себя человеком, в корпусе зародилась его любовь к литературе («до двенадцати лет я ничего не читал»), а самое, пожалуй, главное — произошло его знакомство с театром («лет до четырнадцати я и не имел никакого понятия о театре»). А получив понятие, он отдался сцене всей душой. В корпусе он уже и сам пытался составлять пьесы, играл на домашнем театре не без успеха («очевидно, у меня подозревали комический актерский талант»). Русскому театру он впоследствии посвятил тысячи — без преувеличения! — интереснейших страниц, став едва ли не крупнейшим в России и авторитетнейшим его критиком, ценителем и организатором.

Среди преподавателей в корпусе были не чуждые литературе люди: Малыгин, М. Ф. Де-Пуле, А. А. Хованский, основатель прекрасного воронежского журнала «Филологические записки», 1860—1917, возобновленного в 80-е гг. XX в. (Последний его редактор уже в наши дни, известный специалист по творчеству Ф. М. Достоевского профессор В. А. Свительский скончался в марте 2005 г. Он пригласил автора этих строк выступить с сообщением о «Маленьких письмах» Суворина на международной конференции в Воронеже зимой 2003 г.)

Суворин с удовольствием напечатал в газете (ноябрь 1895 г.) письмо к издателю писателя Е. Л. Маркова о 50-летии Воронежского корпуса, «задушевном празднике» по этому поводу и о том огромном пожертвовании на нужды корпуса, которое сделал генерал Н. Д. Чертков, — 1000 крестьян и полтора миллиона рублей. И вскользь напомним, что воспитанником Михайловского кадетского корпуса (или, как он потом назывался, военной гимназии) позже стал Г. В. Плеханов, начало жизненного пути которого в известной степени напоминает путь Суворина.

Окончив корпус в 1851 г., Суворин поступил в Дворянский полк в Петербурге — своеобразное учебное заведение, то самое, куда ранее категорически отказался записаться Некрасов, обрекая себя на голод и нищету, впоследствии преобразованное в Константиновское артиллерийское училище. В полку литературные занятия Суворина постепенно приобретали все более основательный характер, и здесь он впервые столкнулся с цензурой. Желая подзаработать на дальнейшую учебу, он принялся за составление «Словаря замечательных людей» (предтеча знаменитой павленковской биографической серии). Составил ее до буквы «Л», пропустив через себя гору всяческой литературы, и представил на просмотр начальству, а начальство устами своих экспертов-рецензентов отнеслось к собранному материалу чрезвычайно сурово и отвергло словарь, между прочим, из-за чрезмерного использования «Отечественных записок» со статьями В. Г. Белинского. В полку же он несколько раз видел и даже, можно сказать, общался с будущим императором Александром II. «Я привык любить императора, когда он был еще наследником-цесаревичем и когда он заступался за воспитанников Дворянского полка во время т. н. кадетских бунтов против экономов, которые нас скверно кормили». Суворин всю свою жизнь глубоко чтил Александра II, считая его царствование и осуществленные им реформы началом новой эпохи в истории России. И, между прочим, именно в течение четверти века правления Александра II в полной мере раскрылись недюжинные таланты Суворина, развернулась его широкая предпринимательская и просветительская деятельность.

В связи с этим позволю себе короткое отступление. Суворина часто упрекали в том, что он слишком раболепствует перед августейшими персонами (см., к примеру,

статьи того же В. И. Ульянова-Ленина). Мера раболепства и идолопоклонства, конечно, сама по себе различна и субъективна в восприятии. Однако в данном случае следует принять во внимание еще и два не столь уж маловажных, связанных между собою обстоятельства. Во-первых, Суворин был воспитан в православно-патриотической семье, где божественное право русского самодержца не подвергалось и не могло подвергаться никакому сомнению. Россия была самодержавной страной, и соответствующее отношение воспитывалось у большинства с малолетства. За веру, царя и отечество, за Русь святую, в конечном счете проливал кровь его отец. Во-вторых же, своеобразный кодекс чести, восходящий к Средним векам, запрещал верноподданному какую-либо критику своего сюзерена. К русским царям Суворин, как и многие, относился как к предстоятелям национального русского государства, предводителям русского народа, как к символу, своего рода орифламме. Отчетливо видя и осознавая многие личностные недостатки правителей России (тому много свидетельств в «Дневнике»), он в то же время не мог себе позволить выступать с прямым вызовом и осуждением. Это запрещала совесть, некое нравственное чувство. Хорошо это или плохо, разумно или нелепо, достойно или позорно — это другой вопрос, но для многих людей в этом проявляется и чувство собственного достоинства, и чувство патриотизма, и чувство гордости и самоуважения. Ведь мог же М. Горький в разгар кровавых игрищ русской революции защищать императрицу и укрывать великого князя. И опять-таки вот именно этого нравственного чувства был начисто лишен В. И. Ульянов-Ленин, для которого все это было «чепуха, ерунда и сантименты». Ан нет! Да кроме того, Суворин, как человек эмоциональный, вполне мог испытывать чисто человеческие симпатии. Чехов по капельке выдавливал из себя раба, Суворин тоже не был рабом, но у него и жизненные задачи и жизненные обязательства были другие. Другим был и весь его жизненный круг. И уж *после всего,* наверное, не нашим современникам и соотечественникам упрекать кого-либо в раболепстве!..

«Я не льстец, во мне говорит чувство русского человека», — писал Суворин...

Выйдя из полка по окончании курса в 1853 г., Суворин не захотел служить в войсках по своей приобретенной, саперной специальности — мечтал об университете, однако денег на продолжение образования катастрофически не было. Пришлось возвращаться в Бобров, где после полагавшихся экзаменов он занял место преподавателя истории и географии в том же уездном училище.

В 1857 г. Суворин женился (венчались в Коршеве) на Анне Ивановне Барановой (1840—1873), женщине сильного характера и, по-видимому, немалой литературной одаренности. Уже в петербургские годы она и сама переводила, писала, выпускала популярные книжки (вместе с Е. О. Лихачевой; 1836—1904)[1], ну а в бобровско-воронежский период их жизни вдохновляла своего супруга на дальнейшие литературные деяния и, главное, заработки. А помимо того исправно исполняла свои женские обязанности — к моменту ее ранней трагической кончины у Сувориных уже в Петербурге было пятеро детей.

Семь лет, проведенных в Боброве (до отъезда в Воронеж в 1860 г.), утвердили Суворина в дальнейшем движении к литературе и искусству: здесь он начал писать, посылая в столичные журналы свои переводы (Беранже, Шенье) и в общем пока малозначительные, но не лишенные наблюдательности и задора сценки и зарисовки. Одновременно с преподаванием он секретарствовал у предводителя уездного дворянства В. Я. Тулинова, заметного общественного деятеля губернского масштаба,

---

[1] В частности они издали книгу Ф. Минье «История французской революции» (СПб., 1866). О смерти Лихачевой, которая, между прочим, была спутницей Суворина в Сербии в 1876 г., см «Дневник», с 479

владельца большой русско-французской библиотеки. «У него я брал "Полярную Звезду" Герцена и "Колокол"». Петербургские связи «дозволяли ему эту роскошь» — получать герценовские издания. «Ими я делился с Никитиным» (уже в Воронеже. — *А. Р.*). В дальнейшем он так же делился запрещенными русскими зарубежными изданиями с Чеховым, давая ему, например, читать «Освобождение» П. Струве. От Тулинова Суворин получил предложение составить каталог его библиотеки — и «щуку бросили в реку». Работа в этом достаточно разливанном книжном море укрепила его феноменальную литературную эрудицию и побудила к созданию своей собственной библиотеки. И вот по прошествии многих лет суворинская «Россика» стала одним из замечательных книжных собраний нашей страны, и каталог ее на двух языках остается весьма ценим знатоками.

В библиотеке Тулинова Суворин основательно познакомился с литературой Франции и полюбил эту страну и ее культуру. Уже в свои весьма «состоятельные» годы он часто бывал во Франции (в том числе и в 1893 г., когда присутствовал при восторженной встрече в Париже русских моряков), ездил на всемирные выставки, любил наблюдать ее и отдыхать в Биаррице, знакомиться с писателями и бегать по парижским театрам и кафе (иногда вместе с Чеховым, который, впрочем, тогда очень даже не чурался менее глубокомысленных парижских развлечений и знал в них толк). Как бы там ни было и что бы там ни было, им было хорошо вместе, этим удалым русским мужикам, понимавшим и любившим друг друга. Однако при всем его уме Суворин не захотел понять, почему раскололась Франция в деле А. Дрейфуса, и даже Чехов не сумел его ни в чем, увы, убедить! Разлад сохранился на те немногие годы, которые им оставалось прожить рядом... Впрочем, Дрейфусов Суворин невзлюбил еще задолго до известного процесса — в декабре 1891 г. он напечатал в «Новом Времени» статью «Излишнее доверие» — об афере одесской хлеботорговой фирмы Луи Дрейфус и Комп., совершившей «мошеннические поставки хлеба самарскому земству». В разгар голода в России эта фирма поставила в Самарскую губернию 30 вагонов зерна с ядовитыми примесями и на этом попалась. Суворин обрушился на недобросовестных поставщиков (МП, декабрь 1891), усмотрел в этом серьезную общественную проблему и потребовал сурового наказания. Фирма подала в суд на редакцию «Нового Времени». Суворин не отступал, но до суда дело, по-видимому, не дошло. Кажется, фирма возместила убытки[1].

* * *

В Воронеже Суворин в общем оставался недолго — на тех же ролях скромного учителя истории с географией. Но окружение здесь было уже совсем иным. М. Ф. Де-Пуле объединил вокруг себя группу талантливых литераторов, и они горячо обсуждали общественные и литературные проблемы, пристально следили за столичными периодическими изданиями, стремились в них участвовать. Самым заметным из них был И. С. Никитин — он «уже тогда прихварывал, но был еще человеком бодрым, общительным и жизнерадостным. Торговал он (книгами. — *А. Р.*) очень хорошо, и жизнь ему начала улыбаться именно тогда, когда подходила чахотка. В хоро-

[1] Фирма Луи Дрейфус существует по сей день и, видимо, активно выступает на российском рынке. 6.08.2004 газета «Известия», № 142 (26699, московский выпуск, с. 9), напечатала заметку С. Черешнева «Агрос и Louis Dreufus нашли общее зерно» — о создании совместного предприятия ООО «Русская элеваторная компания» на территории южных областей России, в том числе и Воронежской.

шие минуты он был неистощим на смешные анекдоты и меткие характеристики из своей мещанской жизни, полной грубости и самого распущенного цинизма в нравах»,— писал Суворин. Он любил Никитина и помогал ему сколько мог в торговых делах, благо и сам был уже любитель книжности. Вместе с Никитиным он участвовал в сборнике «Воронежская беседа на 1861 год», который в Петербурге издали Де-Пуле и П. П. Глотов. Суворин поместил здесь два рассказа, Никитин — «Дневник семинариста». Впоследствии Суворин много писал о Никитине: и воспоминания, и краткую его биографию — писал с сердечной сокрушенностью, с чувством большой скорби о судьбе близкого ему человека и талантливого русского поэта. «Воспоминания о Никитине были для позднего Суворина, видимо, и приятны и тягостны одновременно. Приятны, ибо переносили в действительно лучшую пору жизни; тягостны, ибо служили немым укором за те несостоявшиеся надежды»[1].

В 1861 г. Суворин в Москве, в «Русской речи» гр. Е. В. Салиас де Турнемир. В ее салоне, в домах А. Н. Плещеева, Ольги Энгельгардт, у И. С. Аксакова он знакомится с А. Н. Островским, Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым, М. Е. Салтыковым, со «старшими» и «младшими» славянофилами, с молодыми, полными кипучей энергии Н. С. Лесковым, В. А. Слепцовым, А. И. Левитовым. Кто-то из них очень скоро уходит из жизни, с кем-то достаточно близкие отношения (например, с Л. Н. Толстым) сохраняются на всю жизнь, с кем-то (например, с М. Е. Салтыковым) обостряются до неприличия также на всю жизнь. Определенная близость существовала с Ф. М. Достоевским, который намеревался печатать Суворина в своем журнале. Много позже Суворин в своей газете оплакал смерть Достоевского и посвятил его памяти мистический рассказ «Тень Достоевского» (1895).

В 1862 г. Суворин в пальто, одолженным ему Плещеевым, в нетопленном вагоне 3-го класса отправляется в Петербург, где его имя уже известно. Суворин к тому времени печатался в «Современнике», шел в «Отечественные записки». В «Современнике» откликнулся рецензией на «Воронежскую беседу» (1861, №12) Н. Г. Чернышевский. Они познакомились лично незадолго до ареста критика, встречались несколько раз, даже завтракали, кажется, однажды вместе. Чернышевский хвалил рассказ Суворина, просил писать еще[2]. Естественно предположить, что внимание властителя дум русской молодежи той поры окрыляло Суворина, да и самая личность его была ему симпатична. Едва ли он разделял идеи Чернышевского о всеобщем крестьянском восстании, он все-таки лучше знал русское крестьянство. Да и вообще по складу характера Суворину были глубоко чужды всякого рода теории о революциях и бунтах. Кровавые расправы, будь то еврейские погромы («Я отношусь с искренним порицанием к еврейским погромам», МП, июнь 1905) или разгон нагайками студенческих демонстраций неизменно вызывали у него протест. Арест Чернышевского потряс Суворина, он интересовался всеми обстоятельствами этого дела и подробно расспрашивал своего давнего приятеля-доброжелателя А. Н. Плещеева. Письмо Плещеева к Суворину с описанием его допроса в сенате по делу Чернышевского было изъято при обыске у Суворинных и затем исчезло в недрах III Отделения (кажется, оно так и осталось неизвестным позднейшим исследователям).

Суворин присутствовал при гражданской казни Чернышевского на Мытнинской площади 19 мая 1864 г. и посвятил этому одну из глав своей первой книги «Всякие» (СПб.,1866), печатавшейся до того продолжениями в «СПб Ведомостях». Представление книги в цензуру совпало с днем покушения Д. В. Каракозова на императора

---

[1] См.: *Ласунский О. Г.* И. С. Никитин и молодой А. С. Суворин // Я Руси сын! К 150-летию со дня рождения И. С. Никитина. Воронеж, 1974.

[2] «Дневник» С 210—211.

Александра II — 4 апреля 1866 г. Вызвал подозрения и самый псевдоним Суворина — А. Бобровский, совпавший с именем одного из польских революционеров. Словом, благодаря сплетению разного рода случайностей и обстоятельств Суворин попал под суд, книгу, кроме нескольких экземпляров, сожгли, а ее автора на три недели посадили под арест на военную гауптвахту[1]. И без того популярный журналист стал еще популярнее, а сама эта история, как справедливо замечено, сделалась фактом общественно-политической жизни и борьбы в России середины XIX в.

И вот еще штрих к биографии молодого писателя. Экземпляр книги «Всякие» (из уничтоженного тиража в 1500 экз.) был в библиотеке Н. А. Некрасова, который «интересовался судебным процессом Суворина и, вероятно, присутствовал на заседании судебной палаты»[2]. В письме к В. П. Гаевскому (20.12.1866) Некрасов писал: «Сегодня идет дело Суворина в Судебной палате. Я хотел бы отправиться <туда>, но не знаю даже, где помещается Судебная палата. Скажите, пожалуйста, *где*, в *котором* часу и не поедете ли сами. Я бы за Вами заехал и отправились бы вместе... И пустят ли?»[3] Уничтоженной книге Суворина Некрасов посвятил стихотворение «Пропала книга» («Отечественные записки», 1868, №4)[4], контекст которой, естественно, был гораздо шире.

И между прочим, самое последнее (в жизни) письмо Некрасова было написано Суворину, который поздравил умирающего поэта с днем ангела.

В воспоминаниях о Некрасове, написанных тотчас же после его смерти и похорон, Суворин писал:

«Николай Алексеевич принимал самое теплое участие во мне с тех самых пор, как мы хорошо с ним познакомились. Это было в 1872 г. Никакой ему нужды во мне не было, но он приезжал ко мне на Васильевский остров и долго беседовал о литературе. Тогда же он советовал мне завести свою газету и вести ее так, как я сам понимаю. Участие его, совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, простиралось до того, что в конце 1873 г. он предложил мне значительную для меня сумму на поездку за границу, чтоб оправиться от постигшего меня несчастья (убийство жены А. И. Сувориной-Барановой. — *А. Р.*). Я не воспользовался этим предложением, но не могу не вспомнить об этом с глубокою благодарностью. Он же старался убедить меня купить «Новое Время» и жалел, что сам уж устарел для ведения газеты, для участия в ней. Он дал для нее несколько стихотворений, из которых некоторые были напечатаны под рубрикою «Из записной книжки», но без его имени: другие, вероятно, долго еще останутся в рукописи, хотя они почти все имеют отрывочный, неотделанный характер»[5]. Жаль, что при републикации этих материалов редакция «Литературного наследства» опустила среди прочих и этот фрагмент[6].

В советские времена делались попытки причислить «Всякие» к т. н. антинигилистическим романам, доказать, что будто бы «демократическая печать уловила пасквильные тенденции книги» и что Суворин — по устоявшейся советской традиции, — всего лишь «реакционный журнальный делец», и «уже его либеральничанье было

---

[1] Когда эти времена государственной идиллии миновали, в 1909 г. Суворин перепздал свою книгу с приложением всех судебных документов по этому делу, и она выдержала два издания.

[2] «Литературное наследство», т. 53—54. Некрасов III. М., 1949, с. 416, а также т. 49—50(I), 51—52(II). См. также: Переписка Н. А. Некрасова. М., 1987. Т. 2. С. 467—476 (письма Суворина 1873—1877 гг.).

[3] *Некрасов Н. А.* ПССиП. В 15 т. СПб., 2000. Т. 15. Кн. 1. С. 51—52.

[4] Там же. Л., 1981. Т. 2. С. 226—227 и «Дневник».

[5] «Новое Время», 1878, 1/13/ января, № 662.

[6] «Литературное наследство». Т. 49—50 Некрасов I. С. 200—207.

весьма условным»[1]. Однако современники, видимо, все-таки иначе воспринимали эту книгу.

К середине 70-х гг. Суворин занимает достаточно прочное и заметное место в литературном мире. Он признан журналистским сообществом, популярен у читателей. Его обзоры, рецензии в «Русском Инвалиде», в «Вестнике Европы» построены на свежем материале, они интересны (хотя частенько сводятся к пересказу содержания), порой задиристы и ершисты, что придает им особую пикантность. Его «Недельные очерки и картинки» в «СПб Ведомостях» вызывают широкий отклик, они замечены в чиновничьем мире, к ним начинает прислушиваться администрация. Суворин не избегает самых острых общественных и бытовых, а подчас и политических проблем, но в пределах допустимого. Границы этого допустимого уже четко размечены властями, и все прекрасно знают эти разметки. Кто не знает или не хочет знать, лезет на рожон, едва ли не в одночасье становится «государственным преступником». Память о судьбах М. Л. Михайлова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, о кончине «Современника» еще очень свежа. Сидеть в Петропавловской крепости никому не хочется, а крепость — это не военная гауптвахта. Суворин рисковать не желает, покидать Россию не хочет, он обуреваем жаждой деятельности, он жаждет успеха. Жизнь закипает. Суворин трудится не покладая рук — «каторжный, бесконечный труд». Совершенно феноменальную свою работоспособность он сохранил почти до конца своих дней.

В 1872 г. он начинает издавать ежегодный «Русский календарь», который, несмотря на устойчивую календарную традицию в России, представляет много нового по объему статистического материала, по широте кругозора, по надежности порой неожиданных, но нужных сведений. В течение нескольких лет он самолично, прокладывая тропу, составляет его (кроме отдела астрономии). Календарь приняли, охотно покупают и читают. Издание его прекратилось в 1917 г.

В 1875 г. Суворин женился на Анне Ивановне Орфановой (1858—1936), подруге его старшей дочери, милой, обожающей его женщине, но как будто совершенно чуждой его занятиям и интересам. Но, между прочим, она обучалась пению у М. Баттистини, водила дружбу с А. Чеховым, поддерживала с ним какую-никакую переписку (большая часть писем утрачена) и оставила воспоминания. Во всяком случае, до поры до времени воссоздается семейная атмосфера, возникает дом, устанавливается общий быт. И семья продолжает увеличиваться — рождаются еще дочь, которую потом так хотели выдать замуж за Чехова, и два сына.

Следующий,1876-й — год коренного перелома в судьбе Суворина. Он приобретает «Новое Время» и вскоре становится ее единственным владельцем, хозяином и рабом. С этого момента все остальное отходит на второй план и все силы, все помыслы, все заботы, все радости и неудачи, победы и поражения связаны с газетой. Суворин покупает типографию, совершенствует полиграфию, выписывая ротационные машины из Парижа, создает школу для полиграфистов и стремится воспитать новое поколение мастеров-профессионалов, дать им общее и специальное образование, помочь в организации и защите их прав, поддерживает их материально (у его наборщиков очень даже неплохие заработки, и они трудятся у него десятилетиями).

Растут тиражи газеты, возрастает ее вес, увеличивается круг ее читателей, причем самых разных: от мастеровых и торговцев, крестьян и мелких служащих до высокообразованных профессоров и размундиренных чиновников, от пламенных рево-

---

[1] *Рейфман П. С.* Запрещенная книга А. С. Суворина (Из истории литературно-общественной борьбы 1860-х годов). Ученые записки Тартусского университета, 1970, вып. 251. Труды по русской и славянской филологии. № 15. С 350—356.

люционеров до иностранных дипломатов. Если в 1878 г. у нее было 1562 подписчика, то в 1909 г. — 36 900, т. е. рост примерно в 23 раза. А ведь была еще и розница, приносившая немалый доход. По тем временам это громадный разворот дела, и равных Суворину, пожалуй, не было во всей Российской империи. Доходы были огромны, но огромны были и расходы. Власти тоже не оставляли своим вниманием «Новое Время», хотя в советские времена удобно было считать ее чуть ли не правительственным официозом. Отношения «Нового Времени» с властями были сложными, где-то она их поддерживала, где-то они ее, а нередко велики были и разногласия по весьма существенным вопросам. И Суворин иногда шел напролом. Подобно многим другим дореволюционным изданиям газета так же получала предостережения, ей так же запрещали розничную продажу — на две недели, на месяц — за корреспонденцию, за передовую, за нарушение инструкций и циркуляров, за неточную информацию. В «Дневнике» есть немало записей о вызове владельца в Главное управление по делам печати или к министру по поводу неудовольствия чиновников и даже государя публикацией тех или иных материалов. Приходится уступать, оправдываться и лукавить. Но в главном Суворин был тверд и последователен: для него важно во что бы то ни стало сохранить газету. Не ради собственных прибылей и доходов, но ради самой России и русского слова. Во имя этого он многое приносит в жертву, на многое закрывает глаза, и этого не хотят понять и не могут простить ему борцы против самодержавия. И это вполне понятно: они разрушают и уничтожают — он создает и строит! В России это вечное противостояние.

С годами расширяется диапазон дочерних изданий «Нового Времени»: помимо двух ежедневных выпусков отдельный вечерний, еженедельник, журнал, дважды в неделю иллюстрированное приложение, «Книжные новости», «Вестник книжных магазинов», информационный «Телефон "НВ"», не имеющие себе равных справочники «Весь Петербург», «Вся Москва», «Вся Россия», единственный и неповторимый «Исторический вестник». Все было прекращено в октябре 1917 г.

Хотя бы бегло (в принципе это особый долгий разговор) нужно коснуться еще двух областей, в которых с особенным блеском и великолепием раскрылся суворинский талант. Это книжное дело, книгоиздательство, и театр.

Издательская деятельность Суворина поразительна, и каталог его книжных изданий, составляющий толстый том, сам по себе увлекательное и поучительное чтение. Он выпускает небольшие, доступные всякому книжки «Дешевой библиотеки» (около 400 названий), где представлена по преимуществу русская классика. Он издает писателей современных, многократно того же Чехова, поддерживает их материально (Фофанова, Потапенко, Ежова, тех же братьев Ал. и М. Чеховых — «ради любимого брата моего брата»), хотя, по существу, в них совершенно не заинтересован и они ему абсолютно не интересны. Он создает серии «Научной дешевой библиотеки» и «Новой библиотеки». Он издает великолепные тома России — сочинения иностранцев XVII—XVIII вв. о России, многое впервые, книги по русской истории, А. Н. Радищева и Н. И. Новикова, альбомы памятников мирового искусства из музеев Петербурга, Дрездена Лондона, Голландии. Он заказывает и публикует переводы Данте и Шекспира. Он первым по прошествии пятидесяти лет со дня смерти поэта выпускает несколькими изданиями доступные всем и мгновенно распроданные (магазины брали приступом) томики Полного собрания сочинений Пушкина (под редакцией П. А. Ефремова). По следам событий он издает книги о русско-японской войне. В «Новом Времени» регулярно печатались обзоры новинок, русских и иностранных. Корреспонденты газеты стремились встретиться и побеседовать с писателями французскими, немецкими, английскими.

Самое, пожалуй, удивительное заключается в том, что он не только издавал, но и с успехом продавал свои издания: прибыль приносили книжные магазины в обеих

столицах, в Харькове, Одессе, Саратове, Ростове-на-Дону. Киоски, где торговали суворинскими изданиями, существовали на всех более или менее крупных железнодорожных станциях и вокзалах. У него не было никаких протекций и правительственных субсидий, он никого не подкупал — даже большевикам не удалось обнаружить *ничего* компрометирующего. У него были талант и труд, смекалка и труд, энергия и труд...

И, наконец, театр, перед которым Суворин благоговел. О театре, русском, французском (Михайловском в Петербурге), итальянском, украинском (целая книга, 1907) он написал тысячи страниц, конечно, неравноценных, но неизменно согретых, во-первых, любовью и уважением к артисту и, во-вторых, исполненных чувством глубокого понимания законов и форм сценического действа. В основном он писал о театре драматическом (но и об опере, о балете) и сам сочинял для него пьесы. Одна из них, «Татьяна Репина», с участием М. Г. Савиной достаточно заметно прошла и в «Европах», в Берлине и Праге. В московском Малом театре 16 января 1889 г. главную роль играла М. Н. Ермолова. Но, в общем, думается, драматургия не была его стихией.

В 1895 г. он создал свой театр — сперва Литературно-артистического кружка, потом Литературно-художественного общества, а затем Малый театр им. А. С. Суворина. В разные годы в труппе были П. А. Стрепетова (с которой они страстно и со вкусом ругались, отлично понимая друг друга), А. А. Пасхалова, М. П. Домашнева, Е. П. Корчагина-Александровская, П. Н. Орленев, В. П. Далматов (в дальнейшем многолетний директор его учебной театральной студии), В. И. Качалов, К. Н. Яковлев, В. О. Топорков, К. В. Бравич, М. А. Чехов (Суворину так хотелось всегда иметь при себе Чеховых, не расставаться с ними!). Суворин добивался разрешения ставить у себя пьесы запрещенные и лежавшие много лет под спудом — Суворину обязан русский театр открытием «Царя Федора Иоанновича» и «Власти тьмы». У него шли Островский, Достоевский, Гауптман, но и «Сыны Израиля» («Контрабандисты»), и инсценировка по рассказам о Шерлоке Холмсе. И хотя некоторые из этих спектаклей вызывали скандалы, Суворин упрямо и убедительно доказывал свое право видеть на сцене то, что он считает нужным, мало-мальски интересным и жизненно-важным в данный момент. Об этом говорится и в «Маленьких письмах». Суворинский театр был закрыт в октябре 1917 г., была ликвидирована и его театральная студия...

Так проходила жизнь — в непрерывном «каторжном» труде, когда большие победы чередовались с катастрофическими, оглушающими поражениями. Определились, став по-своему необратимыми, отношения Суворина с большой частью русского общества, сложилось устойчивая, хотя далеко не всегда объективная и справедливая, репутация у его газеты. Нелегкой оказывалась и семейная жизнь. Умирали дети, в середине 80-х гг. он похоронил дочь и трех сыновей. Трудно было с оставшимися. Наследники вырастали совсем не такими, какими ему хотелось бы их видеть. Взаимопонимания не было. Одолевали болезни, одна из которых, самая мучительная (рак горла), после нескольких операций принесла смерть. Суворин скончался 11/24/ августа 1912 г. на даче в Царском Селе — в канун великих событий, положивших конец делу всей его жизни. На его кончину откликнулась русская печать самых разных направлений подводя итоги замечательной жизни.

Вот как проводил Суворина А. С. Изгоев в «Русской Мысли» (1912, 9): «Талантливый он был человек... С широким размахом, с большой инициативой, с необыкновенной энергией и редкой для русского человека трезвой выдержкой он соединял блестящий литературный талант, острый критический ум, дар иронии и шутки. Помимо того он был человеком творчества и дела. Он любил создавать и многое действительно создал... Но рабская психология наложила неизгладимую печать и на самого Суворина, и на все им созданное».

«Крупный талантливый человек, — писал А. Б. Петрищев в «Русском Богатстве» (1912, 9), — фортуна сама пришла к нему... Суворин, как даровитый публицист, как

издатель, как крупный организаторский талант, отошел в историю с солидным активом, но и с большим пассивом. Он оставил сложный и запутанный счет... Покойный был талантливый человек, и его хула была талантлива».

А спустя год лишь один В. Г. Короленко вспомнил о годовщине смерти Суворина («Русское Богатство», 1913, № 8).

* * *

И вот «Маленькие письма», которые в свое время читали по всей России, которые вызывали бури восторгов и бури негодования и которые сейчас собраны в этой книге. Возникает вопрос: нужно ли их издавать в наши дни, спустя десятилетия, во всей их полноте, во всей их пылкой разноречивости и полемичности, со всеми их порой несправедливыми и обидными для многих граждан российского государства суждениями? Издавать во всей их огромности? Сомнений быть не может, ибо это важные страницы русской истории нового времени со всеми ее трагическими и светлыми явлениями. Это памятник эпохи и памятник русской культуры, своего рода итог жизни и деятельности многих поколений, строивших русское, российское государство. «Маленькие письма» историчны, полемичны, биографичны и по-человечески интересны, отражая все верования и все заблуждения ушедших. В нашу задачу здесь не входит их анализ и тщательный, объективный комментарий — смею надеяться, это дело будущего. Мне же хотелось представить эти тексты и того Суворина, корни деятельности которого уходят в его детство, отрочество, молодые годы. Менялась русская жизнь, менялось мироощущение Суворина, но в глубине души он неизменно оставался верен заветам своей молодости, заветам свободы, демократии, просвещения, заветам борьбы против полицейщины в русском государстве и деспотии. Об этом, но, конечно, и о многом другом свидетельствуют и это подтверждают «Маленькие письма». Верность поколений своей стране, ее интересам, ее народу он считал необходимым условием для дальнейшего движения и благополучия России. Он был патриотом и просветителем России.

Александр Романенко

Издание «Маленьких писем» А. С. Суворина было задумано мною несколько лет назад, работа затянулась, а объем материала заставил многим пожертвовать, прежде всего аппаратом.

Постоянную поддержку в осуществлении этого замысла оказывал главный редактор издательства «Алгоритм» *Павел Сергеевич Ульяшов* (1936—2004), которого мне хотелось бы помянуть добрым словом и которому я остаюсь благодарен.

Большую помощь в работе на разных этапах мне оказывали *В. Г. Иванов, К. Г. Сокол, О. Д. Кутасова, Ф. А. Романенко, Т. М. Евдокимова* и *В. А. Симаков,* которым самая сердечная признательность, как и всей редакции издательства.

А. Р.

1889

I

Генеральная битва на носу у Франции. Чем она кончится — вот вопрос, занимающий всех. Ревизионисты и консерваторы уверяют, что победа будет на их стороне, республиканцы и правительство выражают убеждение, что большинство получат они в новой палате. Держатся пари. По мере приближения 22 сентября борьба в газетах и на митингах становится резче. Флоке жалуется, что свобода собраний, признанная законом, обращается в ничто, благодаря лицам, которые врываются в помещения собраний и обращают их в кавардак. Очевидно, митинги не вошли еще в нравы жителей, а без этого свобода обращается в произвол. Беспорядки в собраниях избирателей то и дело. Не только дерутся, воют и визжат, но начинают уж стрелять друг в друга. Так, в Нанси в консервативного кандидата, при выходе его из собрания, дважды выстрелили из револьвера. Некоторые кандидаты заявляют в газетах, что они будут ходить с револьверами в карманах, чтоб отвечать на выстрелы в них. В Тулузе бурный митинг, кончившийся тем, что кандидат Сюзиль, выступивший против Констана, министра внутренних дел, адресовал последнему телеграмму, в которой называл его вором, предателем, убийцей, подлецом и вызывает на дуэль. Констан, разумеется, не отвечал.

Правительство делает чрезвычайные усилия для успеха выборов, сыплет приказаниями, циркулярами и деньгами. Противники стесняются тем еще менее. Нападки на правительство превосходят все то, что вообразить себе можно. За исключением одного г. Фрейсине, к которому все партии относятся с уважением или сдержанно, все остальные члены правительства, не исключая президента, подвергаются ругательствам самым бесшабашным. Г. Карно прямо величают идиотом и лакеем г. Констана.

О заседании кабинета оповещается так читателям:

«Завтра темные шельмы, временно управляющие Францией, собираются в министерстве торговли под председательством фальшивого бриллиантщика Тирара».

Или:

«Разбойничья шайка, покровительствующая ворам и мошенникам, под председательством часовщика Тирара, решила» и т. д.

Г. Констан прямо называется вором, мошенником, убийцей, негодяем.

Сочиняется такая сцена: приходит г. Констан с супругой на завтрак к г. Карно. Мать президента, г-жа Карно, будто говорит сыну:

— Где это Констан украл материю на платье своей жены, в магазинах Лувра или в Bon Marche?

Становится совершенно не понятным, что Рошфор, осужденный на вечное заключение, лишенный всяких прав, продолжает в Париже издавать «Entransigeant», оставаясь его главным редактором и подписывая своим именем статьи, наполненные язвительными ругательствами направо и налево, сенату, прокурору, министрам, президенту. «Сенат — это собрание лысых и беззубых дураков, проходимцев, каналий и лакеев». Для Кене де Борепера сочиняются такие прозвища Рошфором, что им мог бы позавидовать покойный Салтыков, с талантом которого у Рошфора много общего. Во французской печати нет ему равного в этом отношении.

Если около Эйфелевой башни народы собираются во имя согласия и мира, то печать — это вавилонская башня, где смешались языки и где люди рвут друг друга, клевещут друг на друга, клевещут на страну, как якобы на страну беспорядка, продажной администрации, воров и мошенников, политических шутов и шарлатанов; партии яростно сшибаются, лгут на историю, на противников, восхваляют самих себя, провозглашая ежедневно республику либеральную, республику консервативную, ревизию, монархию, империю, коммуну, коллективизм, анархию, буланжизм и черт знает еще что. И все это выдается на решение «народа-государя», «народа — верховного судьи». А народ желает только одного — «хорошего правления», но не зная, как его добыть, играет на выборах на счастье, в чет и нечет...

Один молодой крестьянин, сделавший Тонкинскую экспедицию и ненавидящий войну, сказал мне на мой вопрос, за кого он будет вотировать:

— Откровенно говоря, не знаю еще. Я только в нынешнем году получаю право вотировать и вот думаю, думаю... Ах, если б можно было вотировать за хорошее правление, чтоб народу было хорошо...

В этом все дело. А республиканцы говорят:

— Дайте нам большинство в палате, чтоб могла утвердиться республика, чтоб правительство могло управлять и заставить уважать себя, чтоб палата могла вотировать необходимые реформы. Не дадите нам большинства — стране грозит анархия и междоусобная война...

Ревизионисты, буланжисты, монархисты, бонапартисты, как известно, соединившиеся, говорят:

— Дайте нам большинство в палате. Необходимо прогнать это бесчестное, воровское, неспособное правительство, необходимо пересмотреть конституцию, собрать учредительное собрание и дать народу высказаться. С этой конституцией у нас анархия, бесправие, унижение в Европе, с этой конституцией нам грозит гражданская война...

Замечательно, что об идее реванша нигде нет помину. Только в этом отношении, кажется, все сговорились, и народ действительно не желает никакой войны, и ни с кем...

Тот же крестьянин на мой вопрос, любит ли он немцев, отвечал:

— Я всех люблю, больше всего русских. Вот славный народ... Когда я был матросом, мы встретились с ними в Сиднее и пили... Они кричат: «Мы платим за всех», а мы говорим: «Нет, каждый за себя», а они опять: «Ни за что, мы платим...» Ах, широкие сердца /Larges coeurs/... Но мы настояли...

— И немцы были там?

— И немцы были... Ничего, хороший народ...

— Да ведь они отняли у вас две провинции...

— Не народ отнял, а правительство его, — и он выругал немецкое правительство с энергией большой злобы. — Разве немецкому народу хотелось воевать? Его так же гнали на убой, как и нас... Уверяю вас, сударь, народам совсем не хочется воевать.

Передаю эти речи с буквальною точностью.

7(19) сентября, № 4858

II

В Биаррице целая колония русских, более ста человек. Этот город морских купаний, на границе с Испанией, с видом на Пиринеи и широкое море, сделался излюбленным городом испанцев, русских и англичан. Последние, впрочем, приезжают более на зиму. Семь лет я в нем не был.

Он сильно вырос, обстроился новыми отелями, виллами, домами, украсился роскошными наемными экипажами, voiture de luxe, маленькими и низенькими трехколесными экипажами в виде кресла, в которые запрягаются ослы и маленькие лошадки, причем кучер правит стоя на земле и идет или бежит за экипажем.

Город стал многолюден и шумен и во время сезона купаний вмещает в себе разных знаменитостей. Вилла «Eugénie», принадлежавшая бывшей императрице Евгении, куплена городом и пустует пока; в ней сдается помещение для русской церкви и на лето сюда приезжает священник из По и отправляет богослужение. Около виллы «Eugénie» построена вилла Рошфора, которую занимает княгиня Юрьевская с своим семейством; обе виллы на самом берегу и смотрят на беспредельное, чудесное море, которое катит свои пенистые волны и подмывает скалы...

Однако, я не о Биаррице хотел сказать.

В детстве мне говорили сказку о Митрофане Лазаревиче, который, выехав в поле работать, остановился отдохнуть. Проспав час-другой, он увидел, что кляча его усеяна мухами, мошками и оводами. Митрофан взял веретье, намочил его и накрыл им лошадь и вместе всех насекомых, которые погибли под этими покрывалом. Вернувшись после этого подвига домой, он рассказывал: «Я одним махом сто богатырей убивахом, а мелкой силы и счета нема». Под богатырями он разумел оводов.

Мне вспомнилась эта сказка, когда я прочел в местном листке, что любимое времяпрепровождение биаррицких гостей — стрелянье голубей, tir aux pigeons, и что наиболее ловким стрелком оказался «русский аристократ граф Берг. Был день, когда этих птиц убито было 160» ...

Tir aux pigeons очень распространено на морских купаньях, и французские газеты говорят об этой стрельбе с серьезностью Митрофана Лазаревича, который «одним махом сто богатырей убивахом»...

Мне эта стрельба кажется ужасно противною. Я понимаю удовольствие охоты на медведя, на волка, на зайца, даже на птиц. Охота на дикого зверя соединена с опасностью, на птиц — с усталостью, с ловкостью, с терпением, с выслеживанием, с досадой при неудаче, с удовольствием при удаче и счастье. Об ощущениях охотника прочтите в «Анне Карениной» — лучше этого написать нельзя.

Но я не понимаю, что за удовольствие убивать голубей. Добро бы еще за ними нужно было ходить, отыскивать их и проч. А то нет. Приехав в «тир», вам подадут заряженное ружье; голуби посажены в корзины и прикрыты; вы готовы; крышку открывают и голубь вылетает; вы стреляете, он падает, большею частью не успев отлететь от корзины на аршин. Убили одного, выпускают другого. Расстояние от цели весьма небольшое; голубь представляет собою большую цель, летит медленно и правильно, и настрелять их целую кучу при таких условиях так же легко, как «одним махом убить сто богатырей», севших на клячу сказочного Митрофана. Ни искусства, ни сноровки, ни разнообразных ощущений охотника тут совсем нет. Остается одно разве удовольствие — убивать и смотреть, как птица умирает, в судорогах, даже не та вольная птица, которую надо отыскать и подкараулить, а пленная птица, заключенная в тюрьме, откуда ее выпускают, чтобы доставить удовольствие господам, которые не могут придумать себе другого занятия, более благородного!..

То же делает повар и кухарка, по необходимости, по профессии; но делать это господам ради удовольствия, конкурировать с поварами и кухарками — не понимаю. Я смотрел на эту картину истребления голубей несколько минут, и мне хотелось чуда — чтоб голуби бросились на стрелка или стрельчиху — женщины тоже стреляли — и прогнали их с позором с места этой битвы, преследуя их клювами, когтями и ударами крыльев...

Л. Н. Толстой как-то говорил мне, что теперь многие молодые люди перестают охотиться на птицу, считая это удовольствие безнравственным и жестоким. Но как назвать это истребление *плененной* птицы заезжей аристократией?.. Не говоря о том, что иные голуби, услугами во время войны, займут больше места в истории, чем эти стрелки и стрельчихи...

Вы скажете, что это сантиментально, что в наш реальный век... Ах, а наш реальный век делается столько безобразий, чувство становится столь притупленным, что о сантиментальности пора вспомнить...

8(20) сентября, № 4859

III

Позвольте мне описать избирательную сходку, на которой я был. Правда, сходка происходила в Биаррице, но они все друг на друга похожи, а потому вы будете иметь некоторое понятие о всех...

Сходка происходила в довольно большом зале, устроил ее местный республиканский союз; на ней должны были присутствовать три кандидата республиканской партии и два ревизиониста, но не буланжиста. Допускались на сходку только избиратели. Я пошел туда с одним моим приятелем, русским. У дверей четыре члена республиканского комитета пропускали приходящих по одному, опрашивая их или требуя входные карточки. Один господин, которого не пускали, очень горячился. «Ведь собрание публичное. Понимаете ли — *публичное*. Зачем же не пропускаете меня?» — «Оно публичное только для избирателей», отвечали ему. Я предъявил свою карточку журналиста, и тотчас предупредительно-вежливо просили нас войти в это святилище.

В святилище было человек 200—300; почти все сидели на скамьях, в шапках; было накурено, и воздух не отличался свежестью. Перед лавками — возвышение; на нем — стол с большим колокольчиком и кафедра. За столом и кафедрою — бюст женщины в латах на фоне пяти национальных знамен; на бюсте две буквы — R. F. (Республика Французская); по бокам еще по паре знамен. На стене крупными буквами надпись: «Выходки, крики и неприличные /?/ жесты строго воспрещаются; добропорядочное поведение безусловно необходимо; кто не подчинится этому, тот будет изгнан».

Большая часть выборщиков в сюртуках и пиджаках, но есть и блузы. Сидим, смотрим вокруг и смеемся относительно надписи о «неприличных жестах» (gestes indécents)... Назначенный час для открытия сходки давно прошел. Перевожу «reunion» сходкой, потому что все пришли. Слово это напоминает Россию: сельский *сход,* потому что мужики сходятся; *съезд* мировых судей, потому что господа съезжаются. Ясно и точно. Здесь тоже сходились — значит, сходка.

Начинают в такт топотать ногами и палками, как во французском театре. Принимались несколько раз топотать и всегда в такт. Наконец, на кафедру взошел молодой человек и объяснил причину сходки; три кандидата должны дать объяснение выборщикам по своей программе и отвечать на замечания, которые им сделают выборщики. Аплодисменты. «Выберите председателя». Называют мэра. Мэр всходит на возвышение, благодарит за честь и предлагает выбрать асессора. Выкриками и поднятием рук выбирают двух, потом выбирают также секретаря. Все четверо садятся, потом мэр встает и выкрикивает имена двух ревизионистов. Молчание. Они не явились. «Струсили!» слышатся отдельные возгласы, но потом вы увидите, что дело было не совсем так. Но теперь только молчание. Мэр выкрикивает имя республиканского кандидата. Аплодисменты. Он всходит на кафедру. Взрыв аплодисментов.

Это — старик лет шестидесяти, среднего роста, лысый, с типической бородкой Второй империи. Он начинает с благодарности избирателям за «горячий» прием и председателю за то, что он позволил ему высказаться. Почему он предполагал, что ему не позволят, — не понимаю. А если не предполагал, то и благодарить не за что. Поблагодарив, начинает ораторствовать. Скажет несколько слов, сопровождая их жестами, и выкрикнет эффектную фразу вроде: «я — республиканец, прогрессист и независимый; говорю «независимый», потому что не подчиняюсь отдельным личностям». Сейчас же ему аплодируют более или менее frenetique.

Он за «свободу, равенство и братство». Палаты слишком много посвящали времени политике — пора приняться за дело. Надо помочь земледелию, промышленности и торговле. Он будет на этом настаивать. «Будьте уверены, выкрикивает он, мотая головою и руками, — я недаром республиканец и недаром вы меня назначили своим кандидатом, вы — истинные и непреклонные республиканцы»... Рукоплескания. «Я не допускаю ревизию, как хотят буланжисты и ревизионисты, но ревизию *внутреннюю* конституции допускаю. О, я допускаю, потому что я прогрессист. Не все у нас совершенно, а потому частные перемены необходимы, и уж я настою на них, но под знаменем республики, свободы, равенства и братства». Рукоплескания.

У этого господина ни ораторского искусства, ни идеи, ни программы, даже слов мало, но громких слов он таки понабрал изрядно. Жест его неопределенный, не смелый, смотрит он как-то в сторону и смешно машет головой...

Мэр обращается к сходке — не желает ли кто возразить. Поднимается молодой человек:

— Я желаю спросить кандидата, принимает ли он всю ту программу, которую я буду иметь честь прочесть?

Он начинает читать. Тут все гораздо определеннее: профессиональные школы, рабочие кассы, пенсии инвалидам — рабочим, экономия в бюджете, уменьшение налогов, введение подоходного налога и воспрещение депутатам «совместительства» по финансовым предприятиям.

— О, я все принимаю, — говорит кандидат, — решительно все. Все это я обдумал и оценил. Положитесь на меня — я все сделаю, что прогрессивно, но всякую ревизию отвергну решительно...

Рукоплескания бурные, и он топчется около мэра, приятно улыбаясь... Мэр вызывает кандидатов ревизионистов. Молчание. Они не явились. На кафедре появляется живой черноволосый господин, с выразительной и энергичной физиономией. Его встречают громом рукоплесканий и криками.

— Кто это? — спрашиваю соседа.

— Муниципальный советник.

Советник начинает с благодарности за «горячий» прием. Впрочем, прибавляет он, мне это не в первый раз. Вы предлагали мне быть кандидатом в палату, но я отказался по личным обстоятельствам, на этот раз, — не забывает он пояснить. — Но из этого не следует, что я оставил поле битвы. О, нет, я буду сражаться и я являюсь теперь перед вами, чтоб поддержать кандидатуру моего друга...

Друг его — именно тот самый старик, который обещал все сделать и все одобрить, исключая ревизии. Муниципальный советник гораздо сильнее его по части ораторства, и жесты его выразительнее. Старик делал руками так, как будто он пыль со стола смахивает, а советник, напротив, все загребал ими, как будто видел перед собою нечто в воздухе, что необходимо положить на стол и присвоить себе, и, загребая, он наклонялся над столом, как будто прижимал грудью то, что загреб.

Все это он делал с энергией и решительностью необыкновенной. А слова так и лились. Мы переживаем трудный момент, очень трудный, говорил он. Не для республики. О, нет. Я уверен, что выборы 22 сентября дадут подавляющее большинство. Но трудность заключается в том, что среди республиканцев явились ревизионисты и буланжисты, даже среди республиканцев — радикалов. Но ревизия — это анархия, это — созыв учредительного собрания, которое может изменить форму правления. Я понимаю, что ревизии хотят роялисты для провозглашения короля, бонапартисты — для провозглашения империи, но я не понимаю, зачем ее хотят республиканцы. Отчего не изменить что-нибудь в конституции. Я понимаю, что изменить, добавить что-нибудь нужно. Но что палата сделает? Она уж сделала, например, относительно выбора сенаторов и сделает еще. Но ревизия возможна только в пределах настоящих основ — президента, сената и палаты. Помилуйте, какой у нас президент! Это — само великодушие, щедрость, добрые нравы. Сравните его безупречную жизнь с жизнью того господина, который имел любовниц и тратил на них народные деньги, как это доказано верховным судом... Говорят, республика много тратит. Да, тратит много. Да как же без этого обойтись? Ведь нужны крепости, пушки, ружья, надо следить за наукой, надо школы. Разве это мотовство? Это необходимо. Министры получают 50 000 франков. Разве это много? Конечно, нужна экономия, но что такое экономия?..

И т. д. и т. д. Хорошо говорил и все загребал руками. Ему много аплодировали. Кончил он тем, что пригласил ревизионистов высказаться честно и благородно. Но ревизионисты отсутствовали...

Почему же однако? Это мы узнали под конец, когда был вотирован l'ordre de jour: признать республиканца такого-то своим кандидатом. После этого асессор объяснил с кафедры, что ревизионист Шмидт обещался придти на сходку, но просил прислать пропуск его комитету. Было послано десять бланок, на которых Шмидт мог написать имена членов своего комитета. Шмидт это и сделал аккуратно и роздал бланки этим членам. Но один из этих членов оказался не избирателем, а потому его он, асессор, не впустил. Тогда и все остальные не захотели оставаться, видя в этом несправедливость и притеснение. «Я, — продолжал асессор, — сказал об этом своему республиканскому комитету, который решил впустить всех; я бросился вдогонку за ревизионистами, упрашивал их, но они дошли было до дверей и опять ушли. «Ведь вы дошли до дверей, говорю я им, идите в залу». Но они не пошли»...

Сходка осталась довольна этим объяснением, но, очевидно, республиканцы побаивались Шмидта и сделали несправедливость...

— Они дошли до дверей, а дальше не пошли, — повторил асессор наивно.

— Струсили! — кто-то крикнул.

Поднялся мэр и стал говорить, что Франция переживает трудное время, трудное не для республики, но вообще. Он повторял довольно неумело речь советника и призывал к единению. «Мало того, что вы подадите голоса за республиканца. Нет, вы делайте все то, чтоб других склонить к тому же, убедить их, объяснить им, вообще из всех сил стараться в пользу республики. Да здравствует Франция, да здравствует республика!»

Гром рукоплесканий. Сходка закрыта. Стали выходить. На улице в толпе пронзительные свистки по адресу республиканцев. Французы отлично свистят и отлично аплодируют: свист длинный и резкий, а рукоплескания дружные, но краткие...

Перед нами шли трое блузников и смеялись:

— Теперь неделя обещаний, — говорил один из них. — А потом все пойдет по-старому.

Характерная особенность почти всех республиканских сходок та, что даже республиканцы говорят о ревизии, но только частной. — Кто одолеет на выборах — такого пророка трудно встретить. Но в газетах идет перепалка ужасная. Наша русская полемика — детская игра в сравнении с тем, что говорят здесь журналисты друг о друге. Впрочем, об этом в другой раз.

13(25) сентября, № 4864

IV

Я люблю Черное море, то тихое, то ясное, то бурное, мчащее свои пенистые валы на берег. Но океан, то французское море, шум которого доносится в мою комнату, имеет особенную несравненную прелесть. Когда Черное море волнуется, видишь, что волны его движутся ветром, ветром погоняются, и чем он сильнее, тем ретивее бегут валы, как кони с белой гривой.

Тут, напротив, вечное движение. Каждые шесть часов море отступает от берега и следующие шесть часов снова наступает, точно оно постоянно борется с землею и хочет отвоевать у нее новую область и разрушить скалы, эти крепости, причудливо выстроившиеся по берегам. Солнце ярко светит; в воздухе тишина; деревья мирно стоят, не шевеля ни одним листом, а море идет, наступает, валы его бегут друг за другом зеркальной стеной и, загибаясь на вершине, падают с громом белою пеной и стремительно лезут на берег, рассыпаясь по нем широким, зубчатым кружевом. Часы сидишь на скале и глаз не можешь оторвать от этого чудесного движения. Не ветер гонит эти волны, а нечто другое, невидимое, скрытое от вас, и этот контраст тишины, воздуха и движения волн и очаровывает вас и приковывает...

И как говорливы эти волны, и как разнообразен их говор. Мелкая волна, далеко рассыпавшись, бежит к берегу с каким-то мелким шепотом; этот шепот у более крупной волны обращается во что-то металлическое звенящее; крупные волны вздымаются и ухают, падая, точно утомленный богатырь, сваливший с плеча тяжелую ношу и вздохнувший полною, здоровою грудью.

Хочется сравнить это движение моря с творчеством художественным. Мелкие волны — мелкие вещи, невнятный шепот таланта; но талант растет, начинает звенеть и, наконец, дает шумные вещи, блестящие, ясные, созданные полным вздохом души...

А солнце что делает с этими волнами, особенно при закате! Какими чарующими красками оно их окрашивает и, опускаясь ниже и ниже, стоит, как огненный шар, совсем будто возле вас, над серединой горизонта, а не на краю его...

Хорошо у этого чудного моря. Берег усыпан взрослыми и детьми — точно роскошный цветник. Дети роют канавы, воздвигают песочные валы и крепости. Какая-то лихорадочная деятельность владеет ими; мальчики и девочки, часто разодетые, но почти все босиком, работают молотками с прилежанием изумительным и неустанным, точно в детской душе лежит уверенность в человеческие силы спорить с океаном и не пустить волну далее воздвигнутого вала. Но волна так все снесет, что и следа не останется. Дети отступают и снова роют и строят и надо всем их говором царит вечный шум моря...

Каким славным, чистым, соленым воздухом дышишь, и какое спокойствие нисходит в душу...

Я проехал Австро-Венгрию и Италию. Природа и там хороша. Но там отравляют вас газеты, отравляет вечная пальба, куда бы ни приехали. Все лето и везде австрийцы и итальянцы стреляли, вероятно, готовясь к победам, а журналисты ругались, выдумывая всякие мерзости о России и русских. Только с Женевы я стал отдыхать, ибо в Женеве увидел уже более благородное употребление пороха... на фейерверки.

Человечество только тогда отдохнет, когда от армий останутся одни лишь команды фейерверкеров. Настанет ли когда-нибудь это блаженное время?

Здесь, у этого французского моря, вас не смущают и газеты. Раскрывайте любую из них, ни в одной вы не найдете строчки, оскорбительной для России и для русских. Ваше сердце не болеет, вы смело берете газету и, если встретите что-нибудь по адресу России, то лишь самое дружественное и теплое.

Это большое удовольствие на чужбине.

Биарриц, 14(26) сентября, № 4865

V

Я прочел сегодня в «Новом Времени» выписку из «Гражданина», в которой он, отвечая газете «Le Nord», говорит, что «вся французская цивилизация, отделив от нее технические производства, есть в настоящее время продукт всех революционных начал, самых кровавых и самых безбожных».

Откуда князь Мещерский начинает французскую цивилизацию? Сколько известно, французская цивилизация — одна из самых старых в новой истории; что в цивилизациях вообще преемственность и последовательность составляют черты характеристические; что век «короля-солнца», Людовика XIV был блестящим временем этой цивилизации, что Монтень, Корнель, Расин, Мольер, Буало, Ларошфуко и др. были писателями монархической Франции, что столетие революции, празднуемое выставкой, было наполнено смягчением и изгнанием «революционных начал, самых кровавых и самых безбожных», проявившихся только в непродолжительное время безумного террора. Консульство и империя, царствования Людовика XVIII, Карла X, Людовика-Филиппа, диктатура Луи-Наполеона и империя Наполеона III занимали более трех четвертей этого столетия. Франция все это время усиленно работала, давая замечательных писателей, замечательных художников, талантливых драматургов и публицистов, и развивала во всех отношениях свое просвещение и свою науку...

Третья республика усмирила Коммуну, эту попытку «кровавых революционных начал», употребляя выражение князя Мещерского, и ввела конституцию столь монархическую, что если завтра вместо г. Карно сядет в Елисейском дворце король, то все может остаться в том же виде, как и теперь, за исключением придворного штата. Английская монархическая конституция в некоторых отношениях гораздо дальше пошла, чем республиканская французская: например, дозволяет митинги на открытом воздухе, тогда как во Франции митинги, для избежания беспорядков, собираются не иначе, как в закрытых помещениях...

Краткими изречениями во вкусе «Гражданина» можно наговорить множество всякого вздора. Но, кажется, пора бы краткие изречения немножко пояснять историей, справляться с которой очень полезно, как вообще для граждан, так и для «Гражданина» в особенности...

Биарриц, 12(4) сентября.

20 сентября (2 октября) № 4871

VI

Французские выборы разыгрались великим курьезом: избран Буланже и забаллотирован Ж. Ферри. Совсем не тайна, что Ферри является главным руководителем борьбы против Буланже. Борьба велась решительно и даже неразборчиво. Старались все предусмотреть и ко всему приготовиться и не предусмотрели поражения Ж. Ферри. Это поражение огорчило его партию и его самого чрезвычайно.

«Государь-народ», «верховный судия» республики, очевидно, способен на капризы, вероятно в отмщение за то, что, оставаясь «государем-народом», он часто

не имеет ни штанов, ни достаточно хлеба, тогда как те, которых он выбирает, получают не только новые штаны, но и новых поваров...

Обратите внимание на такое обстоятельство...

Двадцать лет живет французская республика, а кроме Гамбетты, величина которого во всяком случае относительная, она не произвела ни одного замечательного человека. Управляет ею средний человек, не дающий ни новых идей, ни оригинального направления, не отличающийся ни умом выдающимся, ни смелостью мысли и программы. Таков состав палат, таков состав министерств, которых было в 19 лет двадцать пять.

Можно сказать, что страна управлялась сама собою, своей привычкою к внутренней дисциплине в жизни, к труду, к сбережению, управлялась при помощи той крепкой административной рутины, которая сжилась с телом Франции и не зависит почти вовсе от перемены министерств. Это — великий успех Франции управляться сама собою. Министры не успевали раскрыть своего портфеля, как их сгоняли с мест и заменяли другими.

Говоря нашим языком, директоры департаментов и в особенности столоначальники продолжали свое дело, не упуская его из рук и не беспокоясь о том, какого министра даст Бог на другой день. Все равно, никто из них ничего не выдумает путного, да и ничего напортить нет у него времени. Колесо заведено, рабочие прекрасные, трудолюбивые, знающие свое дело — не все ли равно, каков надсмотрщик, случайно выбранный на пустое место, с которого он тотчас же слетит. Есть форма министра вроде гипсовой формы, и всякий встречный лезет в нее и находит, что она по нем, ибо 50 000 франков — хорошее министерское жалованье. Французские чиновники — такой же трудолюбивый народ, как все трудящиеся французы, но их полезная работа не видна за говором палат, и об них никто не упоминает, тогда как на самом деле они значат очень много, ибо очень много работают...

Господство среднего человека в палатах и правительстве доказывает ли, что Франция совсем приспособилась к этому среднему человеку и ничего другого не хочет, что она потеряла зуд к смелому почину, к политическим опытам, к руководящей роли в Европе?

Думаю, что нет. Гений Франции жив, и в душе ее кипят желания лучшего, желания великого. И это доказывается и выборами и даже такими явлениями, как Буланже.

По-моему, только такой посредственный романист и прокурор, как Боренер, мог, волоча в грязи имя Буланже, в грязи действительных или мнимых его позорных дел — не мне их разбирать, — только такой узкий юрист, лишенный чувства анализа и такта, мог волочить в грязи и самую Францию, которая рукоплескала этому Буланже и давала ему популярность.

Дело вот в чем: собрав против Буланже массу фактов зря, без тщательной проверки, и не умея разобраться в этом следствии, не умея отличить важного от неважного, не умея нарисовать фигуру, характер, г. Боренер совершенно обошел те причины, которые сделали Буланже популярным. Причины эти были, и серьезные причины: они лежали не в мнимом легкомыслии французов, а в жажде их иметь даровитых людей вместо этих средних, всем надоевших людей. Буланже что-то сделал для армии, хотя армия обязана своими успехами ближайшим

начальникам, корпусу офицеров, но одно время он умел ее воодушевить, внушить ей уверенность в себе и пообещал что-то новое в политике.

Другими словами, он обнаружил то, что называется талантом и энергией. Среди общей посредственности правителей это все заметили и этим увлеклись. Прокурор именно это обошел и обошел не потому только, что он играл роль не представителя правосудия, а представителя воинствующей партии, но, главным образом, потому, что он не талантлив. Тут надо было хорошего психолога, тонкого аналитика. Эту задачу мог бы исполнить, например, наш г. Кони. Пожалуйста, не улыбайтесь: мы плохо ценим своих талантливых людей. Французский прокурор, будучи плох, просто взял и обставил Буланже так, что кроме плутов и мошенников будто никто ему не сочувствовал, и таким образом вместе с Буланже он волочил в грязи и значительную долю Франции, которая рукоплескала своему генералу, давая ей понять, что она ничтожна, легковерна, что она поверила проходимцу, взяточнику, хвастуну, наперснику какой-то бабы Боннемен и другу каких-то подлых людей, готовых за деньги продать отца родного... Это слишком грубо и аляповато, — а потому избрание Буланже нисколько не удивительно...

Выборы тоже доказывают, что Франция ищет новых людей и, конечно, найдет их, ибо душа ее не оскудела. Напрасно партии кричат о победе или грозят друг другу и высчитывают свои шансы успеха. Дело в том, что палата обновлена, что в нее вошли новые люди и притом талантливые, и каждая партия может насчитать таковых. Это чрезвычайно важно.

Г. Ж. Ферри в своем письме к избирателям говорит, по поводу своего же невыбора, следующее: «Республика была побита (в лице г. Ферри) в прошлое воскресенье 162 голосами меньшинства. Позволительно краснеть от этого, но не отчаиваться». По-моему, и краснеть нечего, ибо в этом же письме г. Ферри произносит суд над собою, говоря, что в течение двадцати лет он только и делал, что боролся с клерикалами и реакционерами. Эта борьба доводилась до абсурда, до оскорбления самых дорогих христианских верований и до забвения вопросов гораздо более важных. Пора с этим кончить. А отчаиваться из-за того, что г. Ферри не избран, было бы не только преступно, но даже глупо и смешно.

Когда видишь Францию вблизи и смотришь на нее непредубежденными глазами и спокойно, то приобретается уверенность, что она становится более зрелою, более убежденною в пригодности настоящей формы правления и наверное выйдет победоносною внутри, чтоб стать победоносною и вне...

Что касается Буланже, то вот мое мнение. Какая-то шетистка — американка вычитала в Апокалипсисе, что Буланже явится новым Наполеоном, и предсказания эти выставила в своей витрине на выставке. Полиция их отобрала совершенно напрасно. Для Наполеона Буланже и стар и наделал столько грубых ошибок, что даже грубые ошибки противников не покрывают их собою. Удивительно, как не хотят этого заметить ни Лагерр, ни Деруледа, поехавший, после своего избрания в депутаты, на поклоны в Лондон, к Буланже. Таким людям, как Лагерр и Деруледа, следует быть самими собою, а не лезть под мантию этого Цезаря in spe, с хорошим аппетитом. Они должны бы понимать, что в мантии этого будущего Цезаря слишком много тряпок Полишинеля и легенда его исчезает постепенно. А ведь легенда эта не то что наполеоновская: в ней много слов, притом достаточно выцветших, но нет ни блестящих побед, ни громкой славы, ни даже несча-

стий, вызывающих сочувствие народа, ибо бегство в Лондон и заочный суд — смешной водевиль в сравнении с Ватерлоо, отречением от престола и страшным пленом на пустынной скале Океана...

Биарриц, 15/7/ сентября.

23 сентября (5 октября), № 4874

VII

Император Вильгельм II после Афин, где он присутствует на свадьбе наследника греческого престола, едет в Константинополь, Софию и Бухарест. Так стоит в газетах.

Многие вышучивают страсть молодого императора к путешествиям; сочли число дней, проведенных им вне Берлина, и число километров, сделанных им в вагоне и на пароходе. Я не принадлежу к этим шутникам. Напротив, эта страсть к путешествиям Вильгельма II напоминает мне такую же страсть Петра Великого. У Петра она была сильнее, и побуждения ее крепче и шире, не говоря о том, что он ездил по Европе и России по скверным дорогам, когда не было не только железных, но и шоссейных. Он хотел видеть Европу, думал ее пересадить в Россию и показать себя. Демон честолюбия и яркий гений владел им в такой степени, что он верил, что невозможное ему возможно...

Параллель я не провожу дальше этого намека, но спрашиваю:

Что было бы, если б император Вильгельм II сидел в своем скучном Берлине, слушал доклады, делал смотры и ездил для развлечения на охоту? Разве так о нем говорили бы, как говорят теперь? Он наследовал необыкновенной славе своего деда, который создал Германскую империю, победил Данию, Австрию и Францию, не считая побед над германскими государствами. Он переделал карту Европы и во всяком событии, большом или малом, слышалось его имя или имя его железного канцлера. Царствование Фридриха III было какою-то печальною интермедией, когда в Германии все замерло.

И вот Вильгельм II все воскрешает снова. Он заставил говорить о себе прежде, чем могла опомниться Европа после смерти Вильгельма I и Фридриха III. Никто не ожидал, что молодой германский император выступит из обычном колеи. А он выступил. Он точно хотел заявить свою самостоятельность, свою оригинальность, свои права не только на общее внимание, но и права свои на такое славное, шумное, грозное наследие...

Он стал путешествовать, он хотел все видеть сам, сам вести переговоры или присутствовать при них, говорить с монархами с глазу на глаз, читать их тайные намерения, их искренность, видеть их министров, их войска, их народ, и он стал являться в России, в Австрии, в Англии, в Швеции, в Греции, в Турции, Болгарии, Румынии. В какой-нибудь год он наполнил Европу своим именем, своими речами, своими намерениями или теми намерениями, которые ему приписывали и приписывают...

Что будет далее, никто не знает. Но нет ничего мудреного, что после Европы он посетит Азию, Африку, Америку, Австралию, весь мир увидит своими глазами, во всем мире покажет себя, как германского императора, как монарха страны, выдвинувшейся так быстро и так грозно...

О, если б он сказал, объездив весь свет: люди — везде люди. У всех головы, руки и ноги; все хотят есть, пить, любить, рожать и воспитывать своих детей, веселиться по мере средств, знать отдых после труда, избегать лишений и горя и отодвигать от себя мысль о смерти как можно далее. Я все видел, везде побывал и, кажется. Бог устроил все гораздо лучше, чем самые лучшие германские императоры. Пора отдохнуть и начать жить в мире и согласии со всеми...

Но, может быть, эта страсть к путешествиям только средство истратить избыток энергии, избыток сил, которые снедают душу германского императора?.. Может быть, он слышит в этой душе своей призывы славе, к битвам, к грому оружия, к триумфам своим и своей родины?.. Может быть, путешествия утомят его и надоедят ему и ему захочется испытать новых и более сильных ощущений? Положение германского императора до такой степени исключительно счастливое, что он может даже мечтать о славе Наполеона и в своем воображении, по крайней мере, видеть, как европейские народы послушно склоняют свою выю и встречают его не как уже гостя, а как императора соединенной Европы. Силою победоносного германского оружия все народы Европы пристали к союзной Германии и признали главенство германского императора...

Надо иметь много воли над собою, чтоб не поддаться подобным мечтам. Разве Вильгельм II уже не император средней Европы? Разве Австро-Венгрия и Италия уже не признают над собою власть Вильгельма II? Без войны и без побед, разве он уже не повелитель их армий и не популярный человек?..

Из монархов Европы никто и никогда еще не был в Константинополе: Вильгельм II первый посетит эту столицу турок и покажет себя на улицах, во дворцах, в св. Софии, на Босфоре; турецкие войска, в которых так много германских офицеров, будут перед ним парадировать, уже приготовленные к этой встрече своими немецкими начальниками и инструкторами. Будут ли речи и тосты? Но столица османлисов впервые встретит у себя европейского монарха как гостя, и — кто знает? — быть может, как союзника...

Зачем шутить над этой страстью Вильгельма II к путешествиям? Шутка ровно ничего не доказывает даже тогда, когда она зла и остроумна, как, например, пришедшее кому-то в голову изменение delirium tremens в defelirium tremens. По-моему, эти путешествия имеют серьезные цели и настолько дальновидно рассчитаны, что заслуживают самого пристального внимания...

В международной политике лучше преувеличивать значение событий, чем отделываться от них легкомысленной шуткой или показывать вид, что их не замечаешь...

Биарриц, 29/17/сентября

24 сентября (6 октября), № 4876

VIII

Письмо это будет очень маленькое.

Г. Шереметьев, женатый на сестре покойного Скобелева, встретился с одним итальянцем, занимающим видное положение в итальянской армии, которая в скором времени будет иметь честь получать повеления из Берлина.

Во время разговора, полушутливым, полусерьезным тоном, как повелевает международная вежливость, итальянский офицер сказал:

— Вот вы увидите, что мы придем в Москву...

— Это будет не впервые, — заметил тем же тоном г. Шереметьев.

— Да, мы были в Москве с Наполеоном...

— Нет, вы бывали и потом в ней много раз одни, самостоятельно.

— Как так? — спросил в недоумении итальянский офицер.

— С шарманкой, — ответил г. Шереметьев.

Биарриц, 25 сентября (7 октября), № 4876

IX

Приехав из Биаррица в Париж я прочел сейчас нумер «Гражданина», где говорится о письме г. Татищева в «Figaro».

Я совершенно согласен с князем Мещерским, что фраза г. Татищева «мой знаменитый собрат и друг», обращенная им ко мне, смешна и даже очень смешна. Я это выразил в письме в Петербург, когда прочел письмо г. Татищева еще в подлиннике, где было сказано «mon éminent confrere et ami». «Éminent» не значит «знаменитый», как переведено в «Новом Времени», а скорее «отменный», «именитый». Но все равно: по-французски такие прилагательные в обычае и в каждом нумере парижских газет можно найти «mon eminent confrere, mon exellent ami» и т. д. По-русски это только смешно. Наш язык скромный, прямой, демократический язык, не избалованный нашим высшим сословием, которое над ним не работало и даже старалось не говорить на нем, предпочитая ему французский. Г. Татищев писал во французскую газету и, естественно применялся к обычному тону французов, игнорируя русские условия...

Да, я совершенно согласен с князем Мещерским, что это смешно. Я вовсе не «éminent», не знаменитый, не отменный и не именитый и никогда этого не искал. Совсем напротив; все эти термины, однако, как нельзя более приличествуют редактору «Гражданина»: князь Мещерский действительно и *знаменит*, и *отменен*, и *именит*. Но я нимало не завидую ни отменности, ни именитости, ни знаменитости князя Мещерского, и могу только искренно сожалеть, что г. Татищев потревожил меня в моей скромности и раздразнил столь знаменитых гусей.

Париж, 5 октября 1889 г.

29 сентября (11 октября), № 4880

X

Я говорил о значении путешествий германского императора. Некоторые соотечественники поспешили сказать, что я прославляю Вильгельма II. Пусть их говорят. Надеюсь, читателям ясно, что я хотел только указать на то, что все то, что делается в Германской империи, делается не зря, а с известными целями, которые и нам необходимо принимать в серьезное внимание.

Я не политик и не дипломат; но я не лишен известной доли наблюдательности и здравого смысла. Я, кроме того, всегда относился с уважением к государственному уму князя Бисмарка и завидовал тому, что Германия имеет человека такой изумительной силы. Поэтому я и думаю, что все то, что делается в Германии, делается со смыслом и расчетом...

Мне хочется поговорить об одном предложении, может быть, странном а, может быть, и вероятном. Это о возможной мечте германского императора сделаться императором Европы...

Да, императором Европы. Сильные шаги уже к этому сделаны. Австро-Венгрия и Италия — почти вассальные государства Германии, и тройственный союз имеет гораздо большее значение, чем то, которое ему приписывают. Не может быть чтобы этот союз притворно говорил о том, что он — «лига мира». За этим словом можно подозревать глубокий смысл. Германия после блестящих воин своих и приобретений действительно может мечтать о всеобщем мире, о том, чтоб война более не тревожила Европу и дала бы ей полную свободу к экономическому развитию, разумеется, с львиное долей в пользу Германии. Как это сделать?

Когда-то Фурье мечтал о союзном устройстве Европы с верховным «патриархом». Соединенные штаты Европы — не новость в публицистике, с тех пор, как Соединенные Штаты Америки получили большое значение. Виктору Гюго они снились в виде союза республик. Германии они могут сниться в виде государств монархических и республиканских под главенством Германской империи и в пупе земли, Берлине...

Соединенные штаты Европы — и *европейский император* как глава своих вассалов — вот золотая мечта разросшейся Пруссии. Она соединила в один союз всю Германию, заставив покориться непокорных. Два десятка государств признали над собою верховный авторитет Пруссии и получили название Германской империи. Если это оказалось возможным относительно Саксонии, Баварии, Ганновера, Вюртемберга и проч., то почему это невозможно для Европы? Мир для всех дорог, спокойная жизнь, обеспеченный труд также. Если настойчиво стремиться к этой цели, быть может, она сделается достижимою. А стремиться к этой цели — заставляет Пруссию-Германию не только ореол славы и могущества, но также желание сохранить за собою Эльзас и Лотарингию, обезопасить себя от реванша и получить все те выгоды, которые даются силою вещей старшему и начальнику.

И вот *лига мира*. Если б Россия вступила в эту лигу, дело было бы сделано скорее. Средняя и восточная Европа, т. е. Россия, представила бы собою такую силу, которая могла бы диктовать законы западной Европе довольно безопасно. Не только Швеция и Норвегия, Дания, Голландия и Бельгия, но даже Франция раньше или позднее увидала бы необходимость смиренно примкнуть к этом союзу. Соединенные штаты Европы были бы готовы, может быть, и не без кровопролития, даже наверное с кровопролитием, но они были бы готовы, осуществление их было бы близко.

На сколько времени? — другой вопрос. Соединиться народам, у которых есть свои стремления, своя история и свое самолюбие и развитие, — трудно. Пока их можно заинтересовать в этом только выгодою. Австро-Венгрия и Италия

пошли в этот союз ради тех обещаний относительного увеличения их территории, которые сделаны им Германией. Австро-Венгрии — Балканский полуостров и часть России, с выделением польских провинций ее и России в отдельное польское королевство, с саксонским принцем во главе, Италии — Ницца, Савойя и Алжирия. По крайней мере, так говорят сведущие люди. Это после того, как Россия будет побеждена, а вместе с нею и Франция...

А если Россия и Франция не будут побеждены? Ведь судьбы войны могут и обмануть кабинетные расчеты г. Вальдерзе. Не лучше ли притянуть Россию в союз, не прибегая пока к войне, но увеличивая союз более и более, затягивая в него Англию, Грецию, Турцию? Будем стараться. Всякий лишний союзник-хорошее дело. Когда Россия увидит, что она окружена полукольцом союза с запада, юга и юго-востока, то вероятно будет сговорчивее, а не будет — воевать еще успеем. Пока же съездим не только в Грецию, но и в Константинополь, чтобы посмотреть, в каком положении проливы и нельзя ли их укрепить самым основательным образом и втянуть в союз Турцию...

Мне кажется, что так рассуждают в Пруссии. Я не только могу ошибаться, но хотел бы ошибаться и был бы рад, если б было доказано, что «лига мира» просто оборонительный союз против Франции и России, без всяких дальнейших целей...

Пока это не доказано, я не могу себе представить, чтоб в Пруссии кто-нибудь серьезно думал, что Россия может напасть на Германию или Австро-Венгрию. Не другой ли тут умысел? Россия не хочет признавать над собою прямое или косвенное главенство Германии; она хочет быть, как и была, сама собою, плохо веря в возможность Соединенных штатов Европы и основательно видя в этом могущество пангерманизма, как известно, самой законной идеи, какую только можно себе представить с точки зрения немцев. Не в этом ли весь вопрос? Французы при Наполеоне, когда идея Соединенных штатов Европы не была еще в ходу, не умели воспользоваться как следует своими победами и быстрым подчинением себе Европы: Наполеон присоединял завоевания к Франции или сажал королями своих родственников, заботясь о своей династии. Теперь другие идеи и народности, сохраняя свои династии, могут войти в общий союз, который будет называться Европейской империей...

Россия играла важную роль в судьбах Наполеона и недаром он обещал ей Константинополь. Дело не сладилось и кончилось 1812 годом, который послужил основанием для водворения Франции в прежние границы. Через пятьдесят восемь лет после 1812 года, сломившего силу Наполеона I, разрушена была империя Наполеона III и сама Франция лежала у ног беспощадного победителя, отец которого сам когда-то лежал у ног Наполеона I. Россия и теперь сохраняет свою роль, но обещают ли ей Константинополь или стремятся к тому, чтобы отрезать ее от проливов окончательно?..

Не удивляйтесь же идее европейского *императора*. Для меня она ясна как день, и иначе я не могу удовлетворительно понять ни лиги мира — ведь не прения же это? — ни этих путешествий германского императора, если они не простая подвижность молодости...

Париж, 12 октября.

11 (23) октября, № 4892

XI

В Вержболове прочел русские газеты, Самое замечательное в них — извещение о трехдневном юбилее А. Г. Рубинштейна. Двухсотлетний юбилей Петра Великого праздновался один день, столетний юбилей Ломоносова также один день. Мертвых больше не беспокоили, вызывая их великие тени. С живыми, быть может, нечего церемониться? Но празднование юбилеев живых, сколько мне помнится, продолжалось тоже только один день; императора Александра II, С. П. Боткина, Айвазовского, Полонского, Майкова, Фета и проч. Ведь не может же быть, что А. Г. Рубинштейн втрое больше всех юбиляров, начиная с Петра Великого и Ломоносова и кончая Фетом? Не слишком ли смело со стороны распорядителей такое удлинение юбилея?

Нет, со стороны распорядителей нисколько, ибо распорядители всегда вдохновенны. Они не прибегают к сравнениям и рассуждают с первобытной простотою, например, так: делать нам нечего, времени у нас много, удивить Европу нечем, Эйфелевой башни мы не воздвигнем, а потому вознесем Антона Григорьевича в виде музыкальной башни, которая будет светиться электрическим светом три дня и собирать к себе благодарную толпу. Кстати же Антон Григорьевич написал «Вавилонское столпотворение» для своего юбилея, где дивными звуками будет изображена и высота Вавилонской башни, и смешение языков, которые Бог рассеял по земле. Ясно, почему Антон Григорьевич написал это произведение: он написал его из патриотизма, подогретый не столько древними сказаниями, сколько новыми об Эйфелевой башне. Он размышлял так: если со времени Вавилонской башни Эйфель первый соорудил высочайшую в мире башню и тем прославил Францию, то отчего же, ему, Антону Григорьевичу, не воссоздать первому Вавилонской башни и тем прославить Россию? Железные клетки, брусья и арки — у одного; клетки, брусья и арки — из нот у другого; необъятный вид на Париж и его окрестности — у одного, необъятный вид на историю со времени Навуходоносора до Рубинштейна — у другого. Еще неизвестно, чья башня лучше и долговечнее...

Правда, правда. Будем праздновать юбилей нашего музыканта три дня... Нельзя ли даже прибавить четвертый день, так, чтобы уж выше этого праздника никогда и ничего не было?..

Сделайте милость, прибавьте. Времени у нас пропасть, а девать его некуда. У нас, в Петербурге, даже театров нет. Чтобы попасть в оперу, надо подавать прошения с марками и томительно ожидать милостивого решения. Давайте же праздновать г. Рубинштейна, четыре, пять, пятьдесят дней, и пусть за каждый день, будь он скучнее обыкновенных дней, берут с нас по сто руб. Мы не способны на правильную, систематическую жизнь, где постоянный труд чередовался бы развлечениями. Но на подвиги мы способны. Трехдневный юбилей — это подвиг, и публика его совершит даже в том случае, если оглушат ее хоры, раздавит вавилонское столпотворение и очистит ее карманы входная плата...

Но вот чего я боюсь: для самого Антона Григорьевича это трехдневное торжество не будет ли тяжело, несмотря на его вожделенное здравие? Три дня стоять и светиться электричеством, не только ночью, но и днем — для этого

нужно иметь нервы Эйфелевой башни, а не человеческие. Не следует ли пощадить этого талантливого человека?..

Вот вопрос, разъяснить который не мешало бы.

13 (25) октября, № 4894

XII

Если все так хорошо, то и прекрасно? У князя Мещерского я читаю следующее. Германский император путешествует в качестве «младшего государя младшего государства», Германия «сшита на живую нитку» Бисмарком; ее все ненавидят и если идут с нею в союз, то поневоле. Франция, конечно, никуда не годная страна, но она все-таки пышет ненавистью к тевтонам. Германия всех боится, ибо всем насолила, а «г. Суворин утверждает, что она никого не боится».

Во-первых, я этого не утверждаю, а утверждает это князь Бисмарк, сказавший, что «мы, германцы, никого не боимся, кроме Бога». Во-вторых, боится ли кого Германия или нет, это вопрос довольно праздный. Мне кажется, что европейские государства если не боятся, то — выражаясь деликатнее — весьма опасаются друг друга. Если б они не опасались друг друга, то не вооружались бы. Кажется, так?..

Император Вильгельм, чувствуя себя «младшим государем младшего в Европе государства», возымел потребность «представиться» своим старшим. Так говорит «Гражданин». Но ведь так мог говорить только Чичиков, который почел необходимым представиться генералу Бетрищеву и другим «старшим». Как ирония, это может сойти, хотя и у Чичикова были дальновидные цели, понятые, к сожалению, только одним Собакевичем, но как серьезная постановка вопроса — она груба и никуда негодна. Ведь никто не смотрит на Вильгельма II как на младшего, и сам он ведет себя в большинстве случаев как старший, как сильный император, как будущий предводитель и воин, постоянно поднимающий бокал во славу прошлых и будущих побед...

Да и Германская империя вовсе не есть младшее государство: она очень старая, имеющая почти тысячелетнюю историю. Возрожденная в Версале, она только продолжает эту историю и, очевидно, намерена продолжать ее с блеском, с твердостью, стараясь расширить союз и преследуя экономические задачи, которые составляют явление совершенно новое в истории Германской империи и первостепенное явление...

Дальнейшая аргументация «Гражданина» также слаба, хотя ее поддерживают и немецкий «Herold» и «St.-Petersb. Zeitung», обратившие внимание на эту полемику. «Гражданину отмечает только внешность, нелюбовь к Германии и якобы насильственность союзов. Он говорит, что Италия могла бы сговориться с Францией, Австрия с Россией и тогда положение Германии было бы «опасно» и «еще хуже». Но на «если б и кабы» ничего нельзя строить. Ведь и Франция могла победить германский союз и тогда не было бы Германской империи. Мы обязаны говорить о том, что существует и к чему существующее стремится, какие у него цели и намерения. Об этом я только и говорил.

Силу обособленности России, о которой говорит «Гражданин» далее, — я очень хорошо понимаю. Но, понимая эту обособленность России, нельзя же смот-

реть в розовые очки на положение, занятое Германией. Мне кажется даже, что нечего и вышучивать мою фантазию, ибо мы, современники последнего тридцатилетия, видели очень много такого фантастического, чего нам и не грезилось. Почти Наполеонов век мы пережили снова — так изменилась Европа. Кому грезилось двадцать пять лет тому назад, что Пруссия так усилится? Как мы смотрели на это усиление? Она громила Данию, отнимала у нее земли, присоединила Ганновер и проч., разбила Австрию; мы глядели и радовались; последовал разгром Франции, мы глядели и радовались. — Ну, куда ей, Пруссии? Ну, куда ему Бисмарку? Наш Горчаков все предусмотрел и обойдет Бисмарка. — На своем веку я сто раз слышал эти фразы. А наш Горчаков, вопреки русской пословице, говорящей «еду, еду — не свищу, а наеду — не спущу», целый век только ехал и свистал, ехал и свистал, а когда наезжал, то спускал и уступал. Полагаю, что и «Гражданину» свистать нечего, ибо если случилось в какие-нибудь двадцать лет столько фантастического на наших глазах, то почему не думать, что фантасмагория еще не кончилась и что Германия напрягает все усилия к чему-то важному и решительному?..

Плохо ли «сшита» Германия, я не знаю, но, «плохо сшитая», она помешала нам воспользоваться плодами нашей войны с турками, соорудила в несколько лет флот, устроила союзы, учится так, что среди новобранцев только 1 из 100 не умеет читать, учена так, что ее университеты пользуются всемирным авторитетом, ее технические школы привлекают иностранную молодежь, которая там действительно научается технике, развивает свои фабрики и заводы так, что не только к нам везет свои произведения, но везет их во Францию и, благодаря довольно низкой плате за труд, в самом Париже немецкие товары сбываются за французские, и так называемые articles des Paris преисправно делаются в прусском городе Оффенбахе, около Франкфурта на Майне. В этой «плохо сшитой» Германии есть не только школьное образование, но и воспитание, есть дисциплина, есть порядок в жизни, есть огромный навык к экономии и труду, есть страшное упорство в достижении целей, систематическое, чисто немецкое... Да мало ли чего там такого, что я с удовольствием увидал бы в своем отечестве...

Все это, может быть, плохо «сшито». Я не политик и не дипломат. Я говорю только то, что думаю, чем мучусь, не заимствуя своих мыслей ни у какой музы. Я не говорю, подобно князю Мещерскому, что выражаю не свои мысли, а чьи-то чужие, и не считаю себя непогрешимым, подобно ему.

Может быть, он прав, утверждая, что «даже фантазии бисмарковских рептилий» не заходили так далеко, как те, которые я изложил, говоря о мечтах Германии образовать союз всех европейских государств. Но ведь рептилии никаких фантазий не смеют иметь, они потому и рептилии, что говорят только то, что внушают им господа их. А господа их умеют хранить тайны...

Я говорю свое, верно ли оно, нет ли, но только свое, и говорю потому, что вижу необычайные усилия немецкого народа на всех путях, вижу необычайную деятельность его государственных людей, его ученых, его техников, его промышленников, всей его интеллигенции, которая у нас далеко еще до этого не дошла. Я говорю потому, что верю в свою родину, в ее даровитость, в ее неисчерпаемые богатства, но желал бы, чтоб и мы также работали на всех путях и не упускали из вида ничего такого, что нам полезно и выгодно, чтоб мы не зевали и не утешались бы тем, что Германию все ненавидят, что она плохо «сшита» и что император Вильгельм II едет в Константинополь для того, чтоб «представиться» султану, как младший государь старшему...

Полагаю, что не только султан, но даже наш азиатский департамент с его почтенным директором не думают, что «младший государь» едет к старшему лишь затем, чтоб засвидетельствовать ему свое нижайшее почтение...

15 (27) октября, № 4896

XIII

Я будто бы «рекомендую российскому кабинету политику враждебного недоверия к Германии и симпатии к Франции»; что эта «пассивная политика роковым образом должна бы переходить в активную и т. д. «Российскому кабинету» я ровно ничего не рекомендую и никаких у меня претензий на руководительство нет. Я говорю с читателями, и если между ними есть кто-нибудь из «российского кабинета», то он, вероятно не сделает такого заключения из моих писем, какое сделал редактор «Гражданина».

Мне думается, что наша политика должна основываться не на враждебном «недоверии» к той или другой стране, а *единственно и исключительно* на доверии к русскому народу, к его силам нравственным и к материальному богатству России. Как скоро это вполне усвоится всеми представителями «российского кабинета», наша внешняя политика получит твердое и неизменное направление, не окрашиваясь никаким «недоверием», враждебным или простым, к той или другой стране. Доверие это к нравственной мощи народа и материальному богатству России должно означать полную независимость нашей политики, как политики не только великой державы, но державы — охранительницы Востока от всяких захватов и всякой эксплуатации Запада...

Так как я глубоко убежден в том, что Германия не только не остановится, но *не может* остановиться на status quo и будет стремиться к развитию своей немецкой гегемонии, употребляя для этого все военные и культурные средства, то и Россия должна также употреблять все культурные и военные средства на то, чтобы отстоять свое могущество, свою неразделенность и свою роль охранительницы Востока. Я проповедую не «пассивную» политику, но активную, активную не в смысле вызова к войне, а в смысле всякой работы, которая может нас сделать сильнее, сделать нас inattaquable[1]. Не подберу русского слова вместо этого выразительного французского. Мы должны быть сильны не для того, чтоб нападать, но для того, чтоб на нас никто не смел напасть...

Я удивляюсь тем, которые утешают себя, что Германия боится России и Франции, а потому заключает союзы. Я удивляюсь им, как удивился бы человеку, который стал бы насмехаться над своим соседом, который начал, вместо жердочки через пропасть, строить прочный мост. Я не могу ни равнодушно смотреть на разъезды германского императора, ни равнодушно читать его телеграммы к князю Бисмарку из Афин — о панораме «прелестных древних Афин», из Константинополя — о «прелестном неописуемом виде». С моей точки зрения это вовсе не прелестно! И если «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» говорит сегодня, что император Вильгельм II является соединителем наций во имя мира», то я начинаю

[1] Неприступными (*фр.*)

думать, что этот орган князя Бисмарка только подтверждает мою мысль если не о Соединенных штатах Европы, то о распространении германской гегемонии...

В чем же должна быть наша активная политика?

Мы несомненно во многом отстали от Европы, но мы полны жизни и здоровья, а потому, по-моему, нет таких миллионов, которые бы не обязаны мы были употребить на свое всестороннее развитие. Я вовсе не за политику «сбережений», ибо думаю, что миллион, сегодня сбереженный, может отозваться в будущем потерею десятков и даже сотен миллионов. Я не поверю никому, кто станет уверять меня, что лучше сберечь на всякий случай сто миллионов, чем построить тотчас же необходимые железные дороги, порты, крепости, технические школы. Государство не может рассуждать, как частный человек, сберегающий на старость и лишающий себя известных удобств. Государство считает свой век не десятками лет, а сотнями, а потому его сбережения — в развитии народных сил, в укреплении государства. Все, что надо сделать для нашей силы и значения, все это необходимо делать безотлагательно, чтоб никто не мог нас застать врасплох.

С этой точки зрения должно смотреть и на Францию, единственную страну, которая, не забывая своего блестящего прошлого, не захочет признать над собою гегемонию Германии. Тут симпатии между Россией и Францией совсем не «платонические», как уверяет «Гражданин», а деловые, захватывающие важнейшие стороны народной жизни.

«Гражданин» уверяет, что эти симпатии к Франции «безусловно лишили бы нас всякой возможности получать *случайные* выгоды от Германии». Да неужели случайные выгоды» так привлекательны?..

«Случайные выгоды!..» От этой фразы несет чем-то неприятным, зависимым, даже оскорбительным. На «случайные выгоды» можно рассчитывать только тогда, когда я не уверен в себе, когда я ничего не рассчитал, когда я сомневаюсь в пригодности своей системы и в упругости своей энергии...

Почему Германия, говоря с нами, желает прочных и постоянных выгод, а мы обязаны желать только «случайных»?..

Нет, «случайные выгоды» — это совсем не хорошо...

22 октября (3 ноября) № 4903

XIV

Сегодня день знаменательный по двум событиям первостепенной важности: закрытие Парижской выставки и отъезд императора Вильгельма nach Venedig. Совпадение это, конечно, случайное, но оно напоминает конец усилий Франции и Германии обратить на себя особенное внимание мира в этом году. Целые шесть месяцев говорили о выставке и восхищались ею, целые шесть месяцев германский император путешествовал, желая укрепить в Европе мир, который никому не приходило в голову нарушать. Вся Европа перебывала в Париже, радостная и веселая. Всю Европу изъездил германский император по суше и по морям, радостно и весело возвещая мир, и поднимаясь до крайнего севера, где солнце не заходит, и опускаясь до самого юга, wo die Zitronen blühen и где Магомет изгнал вино, а потому тостов нельзя было пить ни за мир, ни за победы. Немцы это знали, а потому и говорят, что политики никакой не было...

Выставка закрыта, кончился великий праздник мирного труда и науки, и в этот же день окончено самое блистательное путешествие германского императора в ту страну, за которую французы пролили так много и так бесполезно своей крови. Победительница при Седане победила их и в Константинополе...

Но старик Моммзен, знаменитый историк, вернувшись из Парижа на родину, говорил: «Нам многому надо еще поучиться у французов». Султан, провожая своих немецких гостей, скажет: «Нам многому надо еще поучиться у немцев». А мы можем вспомнить, что и нас обучали немцы, как они теперь начинают обучать турок, и турки так же не любят немцев, как мы их не любили, и так же слушают их, как мы их слушались...

Во всяком случае да здравствует мир и да укротят холодные ветры и морозы горячий пыл воинствующей нации, которая, кажется, теперь может говорить не о triple alliance, а о quadruple allianbe»..

26 октября (7 ноября), № 4907

XV

Наше министерство финансов всегда более или менее беспокоилось о размене. Оно, в самом деле, соблазнительно пустить в обращение звонкую монету и получать за рубль, вместо двух с половиною франков, четыре. Но если б это удалось, то надолго ли?..

Нельзя ли осуществить реформу более легкую, именно уменьшить нашу монетную единицу, и чеканить, вместо рублей, четвертаки. Четвертак, как известно, совершенно равен франку. Наш золотой нового чекана равен ровно 20-франковику, или луидору. Таким образом, в существе дела мы имеем уже в нашей монете и франк и луидор, но они только называются иначе. Я очень хорошо помню еще то время, когда в мелочной торговле четвертак играл роль монетной единицы и говорили: три четвертака, шесть четвертаков и т. д. Стоит только признать четвертак монетной единицей — и реформа готова. Но разве не все равно, что рубль и что четвертак?..

Мне кажется, что далеко не все равно...

Кто бывал да границей, тот, разумеется, наблюдал над собою такое явление. Вещь стоит в Петербурге 10 рублей. Это кажется дешево. Вещь стоит в Париже 25 франков, т. е. тоже 10 рублей по курсу, но вам уж кажется дороговато. 100 руб. еще не Бог весть что, а 250 франков кажутся чем-то капитальным. И от этого чувства трудно отделаться. Вы платите за номер в гостинице 50 франков — это очень дорого, но 20 рублей у себя дома, составляющие те же 50 франков, — это как будто и ничего. За границей франк на водку можно дать в полной уверенности, что получающий это останется очень доволен. Приедешь домой, и из кармана начинают вылетать рубли на тот же предмет. Заграничные вещи, продающиеся у нас, сплошь и рядом котируются купцами так: франк — рубль, марка — рубль тоже. Купец не затрудняет себя и стремится к рублю с легким чувством. Поэтому у нас немецкие вещи дешевле французских, так как марка дороже франка и от нее ближе к рублю, а переходить рубль купец остерегается. Вообще мелкая монетная единица на всю жизнь кладет печать сбережения. Думаю, что

этого и доказывать нечего, ибо недаром же франк господствует теперь во всем мире, и немцы, конечно, не по глупости расстались с талером и сделали из талера три марки. Марка принялась превосходно, и о талере никто не вспоминает...

При нашей широкой натуре, при нашей малой культурности, мелкая монетная единица, быть может, нас немножко бы умерила и развила бы чувство сбережения. Цифра действует на воображение как-то сама собою, и тот, кто имеет 1000 рублей, будет считать себя богаче, когда будет иметь 4000 четвертаков.

Я даже того мнения, что игра с нашим курсом не будет столь азартная при маленькой монетной единице. А если б наш четвертак явился как монетная единица, то он облегчил бы нашу международную торговлю. Впрочем, эти «высшие» соображения, я оставляю на долю финансистам, а стою только за то, что мелкая монетная единица, несомненно, способствует сбережению.

И реформа эта самая простая, не только не затрагивающая вредно решительно ничьих интересов, но, напротив, служащая интересам всех. Никому не повредит, если на десятирублевой бумажке будет напечатано «сорок четвертаков», но обладатель этой бумажки подумает больше, прежде чем ее истратить, больше чем он думает, готовясь заплатить десятирублевую. Купец и фабрикант тоже побольше подумают при назначении цены за товар. Вообще, если государства бесспорно культурные, бесспорно стоящие во главе цивилизации, как Франция, Англия и Германия, имеют мелкую монетную единицу, то из этого следует, что они это делают по соображениям практическим и заслуживающим всякого внимания.

Знаю, что все это не ново, но иногда кстати сказанное старое лучше нового, которого к тому же так мало. Ведь и заем с выигрышами очень старая вещь, но говорят же, что он очень кстати...

Петербург, 28 октября.

29 октября (10 ноября), № 4910

XVI

На днях ждут в Париже буланжистской демонстрации. Правительство республики принимает против нее меры. У нас многие воображают, что ничего нет легче, как произвести в Париже беспорядки, устроить демонстрацию и, пожалуй, революцию. На самом деле это легко только тогда, когда правительство бездействует или когда оно стесняется принимать решительные меры. Нынешний кабинет вовсе не из нерешительных, что он доказал и борьбой с Буланже и выборами. Серьезные беспорядки в Париже возможны тогда лишь, если бы армия приняла сторону народа. Но этого пока быть не может, а потому никакая серьезная демонстрация не удастся.

Я видел Париж во время перебаллотировки. К 9 часам все бульвары были запружены народом и экипажами. На площади Оперы стоял отряд полицейских в кучке. Несколько конных жандармов в разброс стояли поодаль. Нас было трое, русских, и нам захотелось пробраться по бульварам. Только что мы вступили в толпу, которая демонстрировала около редакции буланжистской «Presse», встречая рукоплесканиями, криком и свистом появлявшиеся в окнах редакций имена

избранных депутатов, как встретили пеших полицейских, которые весьма бесцеремонно расталкивали публику, заставляя ее очистить улицу. Полицейские преспокойно брали мужчин и женщин за руки и за плечи и оттаскивали их. Некоторые протестовали, негодовали, дамы вскрикивали, но полиция продолжала ломить, и большинство, волей-неволей, послушно очищало улицу и сдавливалось на тротуарах. Мы кое-как проникли на тротуары и, миновав редакцию «Presse», пошли дальше. За театром «Vaudeville» вдруг неожиданная встреча: три конных жандарма тихо и молча подвигались по тротуару навстречу нам точно каменные командоры. Они двигались не по улице, а, заметьте, по тротуарам, плотно держась друг друга и не обращая ни малейшего внимания на угрозы и брань горячих людей; наиболее смелые из них поднимали зонтики и палки у морд лошадей; лошадям это было неприятно: они отвертывались, подавались назад, но жандармы действовали шпорами, и лошади, кругя головою и как бы говоря: «это, однако, черт знает что — по тротуарам даже заставляют ехать» — подвигались, сгоняя с тротуаров публику на улицу...

Найдя несколько далее пустой экипаж, стоявший в толпе, мы сели в него. Двигаться было нельзя ни взад, ни вперед. Но мы могли с высоты коляски наблюдать. Впереди нас и сзади сплошная масса голов с возвышающимися над нею омнибусами и экипажами, которые то останавливались, то делали несколько шагов вперед; воздух, освещенный газом, полон был пыли и криков, и рукоплесканий, раздававшихся вдали. Зрелище было оригинальное и волнующее. Бульвар спускался, потом шел вверх. В толпе постоянно происходило движение. То там, то здесь она вдруг начинала колебаться, и волна передавалась зигзагами далеко. Послышались обрывистые звуки песни и показалось знамя. Оно двигалось вместе с толпою. «A bas Boulanger!» слышалось ясно, отбиваемое резко и в такт. Толпа засвистала, зарукоплескала, загоготала. Невыносимо резкими звуками наполнился воздух. Казалось, все двинулось, казалось, нас унесет этот поток вместе с экипажами. Ничуть не бывало. Волна разбилась, демонстрирующие прошли, экипажи стали двигаться вперед. Откуда ни возьмись, конные жандармы выстроились в линию, заняли всю улицу поперек и тротуары и, мирно подвигаясь, стали очищать улицу.

Когда мы боковыми улицами пробрались на площадь Оперы, бульвары на большом пространстве были очищены и заперты конными жандармами, которые грубо поступали с публикой, просто наезжая на нее. «У нас полиция вежливее», говорили русские. Действительно, вежливее, но где много свободы, там надо и много порядка, а порядок одною вежливостью не утвердишь. Сама публика это понимает гораздо лучше, чем у нас. У нас полиция обучает на Невском ежедневно и публику, и извозчиков и все-таки обучить никак не может. Мы нетерпеливы, нервны и в глубине души каждый из нас полон произвола. В Париже у каждого есть чувство необходимости порядка и в обыкновенное время порядок соблюдается без участия полиции. А если предвидится беспорядок, то его сумеют предупредить мерами твердыми и решительными...

Буланжистская демонстрация если и состоится, то из нее ровно ничего не выйдет. Кстати, знаете ли вы, что у Буланже любовница русская? Знаете ли вы, что это именно она отговорила его явиться на суд? Россиянка эта с мужем не живет, она хорошей, весьма известной дворянской фамилии и притом урожденная княжна. Буланже подчинился ей вполне, и усердные буланжисты даже говорят, что она получает деньги от французского правительства, чтоб удерживать своего

любовника от решительных действий. Конечно, это вздор, но влияние ее несомненное. Не она ли внушает генералу такую непреоборимую веру в будущее? Ведь это русская черта — чрезмерно верить в будущее и мало заниматься настоящим.

31 октября (12 ноября), № 4912

XVII

Сходите на выставку ученических работ Рисовальной школы, в Художественно-промышленном музее, что на Б. Морской. Вчера эта школа праздновала свой 50-летний юбилей, а сегодня вышла история этой школы, составленная секретарем императорского Общества поощрения художеств, г. Собко. Юбилей праздновался очень задушевно, а присутствие на нем государя и государыни придало ему особенную цену. Школа получила массу поздравлений от лиц и учреждений, и только Рисовальная школа г. Штиглица сочла этот момент удобным для того, чтоб игнорировать свою соперницу, не прислав ей поздравления. Оно и неудивительно: школа Штиглица образовалась прямо на миллионы, а школа Поощрения художеств образовалась на гроши и достигла процветания только благодаря неусыпным стараниям и искренней любви к делу лиц, посвятивших ей свое время и свои усилия: миллионам так естественно не замечать скромных деятелей! Кроме того, школа Штиглица немножко немецкая школа, а немцы стали очень горды...

Я не буду рассказывать историю школы. Скажу только, что сначала она была просто рисовальной школой, а с 1865 года преобразована, благодаря Д. В. Григоровичу, в художественно-промышленную школу. О числе учеников ее в течение пятидесятилетия можно судить по тому, что списки имен их в книге г. Собко занимают 340 страниц, а на каждой странице, по крайней мере, сто имен. Многие ее ученики находятся на местах мастеров, рисовальщиков, граверов и проч. в разных учреждениях, начиная с Экспедиции заготовления государственных бумаг. С 1879 года в школу начали обращаться с заказами частные лица и фабриканты и число этих заказов возрастало. Школа открыла потом три отделения для детей ремесленников и их самих в пригородных местах Петербурга. Между заказчиками явились не только частные лица, но и императорская Петергофская гранильная фабрика и министерство императорского двора. Указываю на это, не только как знак внимания к работам школы, но и как на доказательство того, что работы эти достигли известного совершенства.

Действительно, выставка этих работ заслуживает того, чтоб ее посетить. Вы найдете на ней немало таких изящных по рисункам и исполнению вещей, каких вы не встретите в петербургских магазинах. Обратите внимание на вещи из тисненой кожи, выжигание по дереву, живопись по фарфору — один сервиз приобретен государем императором, — живопись по фаянсу и эмалью, на отдел декоративной живописи, где есть несколько вещей превосходных, и проч. Общество посылало в последние годы своих учениц в русские монастыри для исполнения точных акварельных снимков с разных предметов древнерусского искусства. Эти акварели заслуживают общего внимания, и желательно было бы видеть их издание в свет. По некоторым отраслям, наиболее изящным, господствует женский

труд, и надо отдать справедливость старательной, изящной, нередко талантливой работе женщин. При развитии заказов, чего надо желать, женщины могут явиться проводниками в художественную нашу промышленность вкуса и тщательного исполнения. Это хорошая русская задача, независимо от платы за труд. В этой задаче необходимо принять участие всем тем нашим фабрикантам, которые заботятся не о выгодах только, но и об усовершенствования нашей промышленности, о новых формах и рисунках. Музей школы, собранный Д. В. Григоровичем, представляет много прекрасного материала для образования хороших учеников и учениц. Не надо только летать особенно высоко, а надо смотреть на свое дело серьезно и прямо, как на дело действительно полезное, в котором страшно нуждается Россия. Таланты живописца, скульптора, гравера везде редки, но усердный труд, тщательное исполнение и даже развитый вкус — это поприще открыто всем и победа на нем возможна даже для скромных дарований. Лучше быть хорошим ремесленником, лучше копировать прекрасные вещи, или комбинировать их на свой вкус, для своих, русских потребностей, чем писать посредственные картины для академических выставок. Европа богата художественной промышленностью, потому что в Европе масса школ, подобных нашей. На Парижской всемирной выставке можно было наблюдать образцы работ этих школ, содержимых правительством, обществами и частными лицами. Само собою ведь ничего не делается. Недостаточно быть французом, чтоб иметь вкус, надо еще много работать, и он работает так, как у нас еще не умеют. Если наши художественно-промышленные школы будут так же настойчиво и усердно преуспевать, как школа императорского Общества поощрения художеств, и если наши фабриканты и частные лица поддержат их своими заказами, то наша промышленность может скоро и не нуждаться в образцах, по крайней мере, немецкого происхождения. Надо освобождаться от чужеземного влияния на всех путях, на политическом, литературном, художественном, промышленном, но освобождение никогда не делается словами как бы они прекрасны ни были, а только делами. Дело же требует прежде всего неустанного труда и знаний...

2 (14) ноября, №4914

XVIII

Читаю, читаю о дворянстве и думаю: да было ли дворянство сельскохозяйственным сословием? История представляет нам целый ряд замечательных людей из дворянства на всех поприщах. Но имена знаменитых сельских хозяев, такие имена, которые бы двинули сельскую культуру, которые бы сделали для сельского хозяйства ну, хоть десятую долю того, что дворянство сделало для литературы, — где они? Я не знаю этих имен и был бы доволен, если б кто мне их указал. Но я знаю дворянство с других сторон и мне кажется, что оно не заслуживает ни нападок, ни чрезмерной защиты. То и другое по меньшей мере бесполезно.

История должна быть беспристрастна. Указывая на недостатки сословия, она должна указывать и на его достоинства. И недостатки и достоинства бесспорно зависят в значительной степени от тех условий, в которые было поставлено дворянство. Крепостное право было злом, и это зло, по причинам уже нашей на-

следственности и воспитания, давало дворянским характерам известные черты и привычки, с которыми даже хорошим людям приходилось считаться и побороть их в себе. Эта борьба с собою, гуманное воспитание, чтение и знакомство с цивилизацией Запада привели к тому, что среди дворянства возросла группа людей, которые сами стали говорить и действовать против крепостного права. Люди, предубежденные против дворянства, никак не могут признать с беспристрастием, которое в данном случае необходимо, что в деле отмены крепостного права дворянство играло прекрасную роль и принесло жертвы бесспорные.

Пользуясь этим правом, дворянство, однако, служило культуре своего отечества на всех поприщах, военном, гражданском, промышленном, фабричном и литературном. Полководцы, государственные люди, великие писатели наши, — все это дворяне. Наука тоже вписала в свои летописи несколько значительных дворянских имен; но здесь надо заметить, что это трудное и тяжелое поприще менее всего привлекало дворянство и самое свободное сословие наше предавалось науке только дилетантски барственно, предоставляя ее заезжим иностранцам, в особенности немцам и «разночинцам», если у последних хватало энергии выбиться из неблагоприятных условий общественного положения и материальной необеспеченности.

Искусствами дворянство занималось так же, как и наукой, то есть тоже дилетантски, а потому и наука, и искусства наименее обязаны этому сословию. Но все-таки оно было наиболее образованным и наиболее культурным сословием нашим, и наша культура почти исключительно дворянская. Все, что в ней есть крепкого и что в ней есть слабого, объясняется историей дворянства, его трудом, его службою, его знаниями и характерами, которые оно вырабатывало...

Но история наша и наша культура должны были получить более широкое, более, так сказать, всенародное направление со времени отмены крепостного права. В существе дела это была полная революция, или полный переворот, говоря русским словом. Последовали земство, новый суд, адвокатура, развитие школьного образования, льготы для печати, железные дороги, успехи промышленности. Мы, современники всего этого переворота и его последствий, оглядываясь назад, должны признать, что весь этот переворот со всеми его последствиями совершался как-то наивно, скачками вперед и назад, без системы и надлежащего расчета. Идеи и потребности уносили нас почти без оглядки на развалины, оставшиеся за нами, ибо мы так были уверены в себе и в целебной силе слов, понятий и чувств, которыми полны были наши головы и сердца, что нам казалось, что ничего из прошлого нам не надо, что мы создадим себе все новое и прочное, а развалины пусть себе гниют и разносятся ветром...

Причина этого опять-таки в нашей культуре, недостаточно сильной и прочной, в культуре дворянской. Она, по самому лоску своему, способна была поддаваться течениям, но не способна была управлять ими по недостатку научной подготовки. Можно собирать всякие факты из истории нашего переворота, освещать их так или иначе, негодовать или радоваться, но обвинять кого-нибудь или что-нибудь едва ли кто в праве. Ведь движение дано было дворянством, литература дворянская, большинство, и притом влиятельное, образованных людей было дворянское, и все это наивно верило и надеялось, бедное знанием, просвещением, потрясенное жестокой войной, скудное даже вполне освещенными и всеми признанными, достоверными фактами нашей родной истории, которую и доселе еще никто не написал. При таких условиях надо еще благодарить Бога

за то, что мы достигли и тех результатов, какими владеем теперь. Все-таки создано многое, и если оно не получило еще окончательной прочности и твердости, все-таки оно создано не на песке, а на плодородной почве...

Участвуя во всем этом перевороте и словом и делом, дворянство несло материальные потери, и лучшие его силы должны были напрягать и ум и энергию, чтоб устоять на прежней высоте. Даром почти уж ничего не давалось, и конкуренция грозила со всех сторон, конкуренция страшная, не знавшая ни приличия, ни пощады и отвергавшая самое слово дворянство. Открылись новые профессии: адвокатская, инженерная, железнодорожная и проч. и проч. Деньги стали переходить к другим сословиям и накопляться не в дворянстве, которое их принуждено было только тратить и уступало поле сначала из беспечности, а потом и по необходимости. В этой конкуренции оно было предоставлено собственным силам и если сохранилось, то благодаря опять таки собственным силам, силам лучших людей своих, которые не терялись в этой свалке, а работали, как честные и трудолюбивые работники...

«Разночинец» выдвинулся и занял большое место. Напрасно некоторые публицисты относятся к разночинцу с чувством какого-то презрения и покрикивают ему: «Руки прочь!» У «разночинца» тоже есть родословная, и родоначальник его носит превосходное имя — Ломоносов. Не ахайте, пожалуйста. Не все дворяне одинаковы, и не все разночинцы под одну стать. Я разумею разночинца образованного, смотрящего на науку и труд, как на единственных покровителей в жизни, ибо только такой разночинец и может идти в счет серьезный, ибо он только и есть культурный, а потому и настоящий и прочный соперник дворянства.

Я знаю другого родоначальника «разночинцев», который чуть не посадил на престол свою дочь, которого наш великий поэт назвал «счастья баловнем безродным, самодержавным властелином «. Это — князь Меньшиков. Он представлял собою другой тип разночинца, имеющий также свою историю и своих представителей в эти два столетия. Но об этом только к слову.

Разночинец невежественный, алчный, разночинец кулак и пройдоха, также вступил в конкуренцию с дворянством и, может быть, навредил ему больше всего и безжалостнее всех: со смелостью первобытного человека он протискивался с своей мошной, сначала в передние и людские, а потом и в кабинеты, и обчищал все, к чему его допускали.

Разночинцы честного труда, люди науки и искусства, не скупали земель, не учреждали банков, не разоряли поместий, но они составляли конкуренцию дворянству на всех тех поприщах, где прежде дворянство первенствовало, не исключая и поприща государственного человека, министра...

Эта серьезная конкуренция велась деятельно, и увлеченные принципом демократии, который представлял собою «разночинец», многие дворяне помогали ему и демократизировались с таким великодушием или легкомыслием, что позволяли на себе поехать верхом. В политическом смысле у нас происходило нечто подобное тому, что произошло в последние выборы во Франции, когда роялисты, империалисты и консерваторы заключили союз с буланжистами, чтобы победить оппортунизм. У нас тоже бывали такие союзы для достижения некоторых целей. Дворянство теряло и терялось...

Таким образом, разночинец денежный, но невежественный, и разночинец безденежный, но просвещенный, играли в судьбах дворянства роль, которая ему была невыгодна.

Я не буду говорить ни о банках, ни о кредите, которые пришли на помощь и поздно, и с жестокими условиями. Теряя на поприще служебном и вообще культурном, вследствие конкуренции «разночинца», дворянство должно было поддерживать свои имения, т. е. показать, что оно стоит на высоте сельскохозяйственного призвания...

Но возможно ли было это? Разве дворянство было нечто в роде немецких колонистов? А от него требовались именно такие качества. Откуда же было их взять? Дворянство получало общее или специальное образование вместе с другими. Сельскохозяйственное образование наше было поистине жалкое, школ почти не существовало: где можно было бы его получить? Образцовых хозяйств не было, литературы сельского хозяйства — также. Народ так мало образован и так многочислен, что он своей некультурностью тянет к себе культурные слои и почти подчиняет их себе, а не наоборот. Тут надо было быть господином в полном смысле слова не по крепостному праву, которое исчезло, а по культурному, сельскохозяйственному, которое чувствовало себя бессильным и не подготовленным к той упорной борьбе, которую должно было вести дворянство для своего существования...

Все это надо принять во внимание, когда мы судим о дворянстве...

5 (17) ноября, № 4917

XIX

В Петербурге такая эпидемия, какой не запомнят. Редкий дом не имеет больного. В промышленных, ремесленных, торговых учреждениях, в школах и канцеляриях эти больные считаются десятками. Некоторые хозяева, как говорят, принуждены были приостановить работы в своих мастерских, за недостатком рабочих.

Что это за болезнь и откуда она, никто не знает. Городской голова собирает сведения и ничего не узнал. Ему указали только на сочинение немецкого врача и писателя Гезера (Haeser), и он вычитал оттуда, что это «инфлуенца», странная болезнь, которая появлялась иногда в разных частях света и исчезала.

Я справлялся у Брокгауза и Мейера в их «Conversations-Lexicon». Но там стоит, что «инфлуенца» есть болезнь лошадей, и Брокгауз советует хорошо вычищать конюшни, а Мейер ничего не советует. По крайней мере, никого не смущает. Я взял Британскую энциклопедию («Encyclopaedia Britannica»), перед которой, как известно, Брокгауз со своей энциклопедией все равно что рекрут перед генералом. Тут стоит что название болезни «инфлуенца» (influenza) дано итальянцами в XVII веке, потому что они приписывали ее появление «влиянию» светил небесных. Эпидемии особенно значительные были в 1762, 1782, 1787, 1803, 1833 и 1837 гг. Разумеется, старались угадать причины; приписывали их электрическим токам в воздухе, переполнению его озоном и пр. Последнее предположение говорит о тех микроскопических организмах, которые появляются в воздухе и попадают в организм человека. *Заразительность «инфлуенцы» не подлежит сомнению.* Лечение ее такое же, как катара, но должно быть обращено особенное внимание на поддержание бодрости организма легкою и питательною пищей. Болезнь описана так:

«Симптомы болезни развиваются внезапно со всеми явлениями, сопровождающими обыкновенно сильную простуду или катар. Сперва появляет-

ся озноб или мурашки, потом сильная головная боль, стеснение во лбу, слабость и слезливость глаз, чихание и насморк. За этими признаками следует боль в горле, хрипота, кашель, иногда даже некоторая затруднительность дыхания. Температура возвышена, пульс учащенный и слабый; кожа сперва сухая, становится влажной и выделяет своеобразный запах плесени. Пищеварение также поражено; появляется потеря аппетита, жажда, рвота, иногда понос.

Быстрый упадок сил и необыкновенно угнетенное состояние духа сопровождают эти симптомы и составляют самые характерные особенности болезни. Продлившись два-три дня, симптомы ослабевают, и начинается выздоровление, но в серьезных случаях, и у субъектов престарелых, надолго остается большая слабость, или же приступ болезни осложняется воспалительным состоянием в груди, которое может оказаться гораздо боле опасным, нежели первоначальная болезнь. Помимо этого, обыкновенно инфлуенца не есть опасная болезнь, хотя некоторые эпидемии, например, в 1762 году, отличались довольно серьезным типом и сопровождались многими смертными случаями. Смертность составляет обыкновенно около 2-х процентов, но в случае широкого распространения эпидемии, даже и эта пропорция дает довольно большой контингент смертей».

Было бы желательно слышать мнение докторов о причинах болезни, которая существует и в Москве. В Петербурге некоторые приписывают появление ее фильтру и трубам, где накопляется много всякой дряни, и советуют пить воду не иначе как прокипяченную. Если причина болезни этой, во всяком случае очень неприятной, кроется в нашествии к нам микробов, которые без пушек и бездымного пороха кладут в постель и военных и статских, то эти животные могут попадать и через дыхание и питье. Петербург, во всяком случае, такой превосходный город, что всем этим микробам у нас раздолье, что там ни говори наш муниципалитет, постоянно отстаивающий интересы домохозяев в ущерб тому населению, которое не имеет домов.

10 (22) ноября, № 4922

XX

Очень рад, что на мое письмо ответил г. Z. и напомнил ряд дворянских имен, известных в истории сельского хозяйства в России. Рад тем более, что эти имена, по всей вероятности, незнакомы и огромному большинству дворянства. Но доказывают ли эти имена, что дворянство было сельскохозяйственным сословием? В этом я все еще сомневаюсь. Не дилетантизм ли это, столь свойственный нашему дворянству? Не исключения ли из общего правила все те имена, которые приводит г. Z? Как сословие служилое и культурное, оно естественно работало на всех путях; оно даже учреждало театры и оркестры, воспитывало своих художников, своих балерин и поваров, и не могло тем более обойти сельского хозяйства, на пространстве ста лет, представив нескольких деятельных людей, искренно любивших свое дело и оставивших после себя память в истории сельского хозяйства. Г. Z сожалеет, что эта история не написана. У нас даже и русская история не написана, хотя и пора бы ее написать, а для истории сельского хозяйства едва ли можно набрать достаточно связных фактов.

Обратите внимание вот на какую подробность. После освобождения крестьян помещичье хозяйство встретило затруднения к своему развитию и в капиталах, и в рабочих. В капиталах — понятно. Но почему же в рабочих? Да просто потому, что они никем не были приготовлены к культурному хозяйству. Между тем то, о чем теперь хлопочет часть дворянства, именно власть в селах, была в полном распоряжении дворянства. Обладая этою властью, дворянство не приучило крестьян к улучшенному хозяйству, потому что само не обладало хорошим навыком, и жалуется на них до сих пор, вероятно, справедливо, что они не хотят работать хорошо и хорошими орудиями, что они умышленно портят машины и являются такими консерваторами, что им хоть кол на голове теши...

По-моему, это доказательство в пользу того положения, которое я высказал.

Наши сельскохозяйственные общества, конечно, стары, а одно, именно Вольно-экономическое общество, даже очень старо, но о них, к сожалению, невозможно сказать того же, что говорится о старом вине. К тому же они, кажется, очень уж «вольны» относительно серьезного труда, и недаром же из всех сельскохозяйственных обществ наибольшим сочувствием пользуется Сельскохозяйственный клуб, где хорошо и дешево кормят и шибко играют в карты...

Наше коневодство, конечно, сделало довольно много, но ведь и оно было скорей роскошью и удовлетворяло больше всего городскому деревенскому комфорту и весьма мало общей потребности в хорошей лошади. В самом деле, разве оно много улучшило рабочую лошадь, разве в большей части России не клячи «тасканской породы» (от «таскать» за хвост) и разве наши конские бега и скачки не вырождаются в публичную рулетку, известную под именем тотализатора?

Впрочем, как и г. Z., я не специалист. Обращу внимание вот на какое обстоятельство.

Наша художественная литература чисто дворянская и очень чуткая ко всем явлениям русской жизни. Что ж, представила ли она нам тип сельского хозяина? Она давала нам либералов, консерваторов, радикалов, людей возвышенных теорий, решавших семейные и государственные вопросы не только свои, но и чужие, мировые. Мы с мировыми вопросами даже в баню ходим, как горбуновский купец с медалями. Где же сельский хозяин? Сельского хозяина литература нам изображала в Манилове, Собакевиче, Ноздреве, Хлобуеве, Костанжогло, этих приятелях Чичикова. Из всех из них один Костанжогло являлся еще культурным сельским хозяином, но и о нем наша критика прокричала, что это выдумка Гоголя и совсем не живой человек. После типов Гоголя только и есть один сельский хозяин, Левин из «Анны Карениной» графа Толстого. Но уже это совсем из новых. Левин заслуживал бы подробного анализа именно как сельский хозяин, как продукт новой помещичьей среды. Самый роман, недостаточно еще у нас оцененный, очень интересен со стороны вопросов сельского хозяйства и дворянского. Во второй части (главы XXVI—XXIX) есть превосходные страницы о положении дворянства как сельскохозяйственного сословия, т. е. как людей, живущих на земле и принужденных доставать от нее хлеб свой. Разговор предводителя Свияжского, Левина и умного помещика-крепостника даже в деталях напоминает теперешние разговоры о дворянстве и о необходимости власти в деревне. Крепостник-помещик, «страстно» любящий сельское хозяйство, говорит как «Гражданин», но убежденнее и умнее.

Наша художественная литература правдивая, и если она дала нам так мало о дворянине — сельском хозяине, то потому, что этот тип является и в жизни как редкое явление и, вероятно, еще до сих пор не сформировался вполне.

12 (24) ноября, № 4924

XXI

По поводу шестоднева А. Г. Рубинштейна «Гражданин» приводит отзывы юбиляра о нашем Глинке, заимствуя их из «Исторического Вестника», и выражает негодование к «устроителям оргий» — так он называет рубинштейновский шестоднев.

Посмотрим, что это такое и стоит ли «стулья ломать». Обратимся к самой статье. Она помещена в IV т. «Исторического Вестника» за 1886 г., написана В. В. Стасовым и называется «Пятидесятилетие оперы «Жизнь за царя». Цитируем по «Историческому Вестнику», так как цитата «Гражданина» не совсем сходится с оригиналом, на который он ссылается.

«В 1855 г. Рубинштейн печатал в двух журналах, одном — венском, другом — берлинском («Wiener Zeitschrift fur Musik» и «Berliner Musikzeitnug «Echo»), что «нет никаких национальных страстей, а потому нет никакой национальной оперы. Никому не придет в голову сочинять оперу персидскую, китайскую и японскую, а потому сочинение оперы английской, французской или русской может служить только доказательством незрелости мысли. Всякая попытка создать национальное музыкальное произведение может иметь результатом только — провал... Глинка провалился (Glinka ist gescheitert)... Русские очень расположены к музыке и не бездарны в ней, но по общему непросвещению и по славянской небрежности одержимы непроходимым дилетантством. Русской музыки нет в театре, кроме как в двух еще далеко не вполне удачных операх Глинки»... Шесть лет спустя, в 1861 г., Рубинштейн повторил в газете «Век», что в России занимаются музыкой только дилетанты».

Глинка впоследствии писал Энгельгардту: «Рубинштейн взялся знакомить Германию с нашей музыкой и написал статью, в коей всем нам напакостил и задел мою старуху «Жизнь за царя» довольно дерзко»[1].

Вот факты. Что ж из этого следует? Во-первых, что как критик г. Рубинштейн не только не опередил своего века какими-нибудь оригинальными и глубокими взглядами, но даже отстал от него. Это далеко не Вагнер, который умел создать новое направление в музыке и поддержать его своими исследованиями. Что такое национальная опера — это скорее чувствуется — я говорю не о музыкантах, а обо всей публике, — чем познается. Немцы, печатая статью г. Рубинштейна, позволили ему сказать, что «сочинение оперы английской, французской или русской может служить только доказательством незрелости мысли». А сочинение оперы «немецкой», о которой г. Рубинштейн умолчал, служит ли «доказательством незрелости мысли»? Немцы, бесспорно, музыкальный народ, и тогда, в 1855 году, этого, очевидно, допустить не могли, а теперь с гордостью укажут на Вагнера.

---

[1] Письмо от 29 ноября 1855 года. Оно воспроизведено в «Записках М. И. Глинки», изд. 1887 г., но, кажется, не вполне именно относительно г. Рубинштейна

С 1855 года музыкальная критика так подвинулась вперед, что утверждение Рубинштейна, что «нет никакой национальной оперы», может считаться абсурдом, не более и не менее. Если есть национальные танцы, национальные инструменты, национальные песни, национальная поэзия, то может быть и национальная опера. Мы чувствуем это в «Жизни за царя», в «Руслане и Людмиле», отчасти в «Евгении Онегине» Чайковского, немцы чувствуют это в Вагнере и других. Г. Рубинштейн этого не чувствует и потому не понимает. Для него существует только музыка; музыка может быть хорошая или дурная, но не может быть национальною. Он с искренностью высказывает свое убеждение, он нисколько не фальшивит, потому что не чувствует в себе, в своем духе, ничего национально-русского. Гуно пишет немецкого «Фауста», делает эту оперу общим достоянием. Но хорошо чувствующий немец непременно отличит в композиторе француза. Подобно тому как славянские народные мелодии отличаются от романских и германских, это отличие не перестает жить и в культурных представителях музыки. Напротив, в г. Рубинштейне, как композиторе, можно найти всего понемножку, всего того, что выработала музыкальная Европа, но национально-русского в нем не найдешь, как говорится, и днем с огнем. Если б он был гением, он, быть может, возвысился бы до создания шедевра, который признали бы все народы, но он далеко не гений. Он брал сюжеты для своих опер из жизни разных народов, но ни одна его опера ни одному народу не сделалась особенно люба. Успех «Демона» г. Рубинштейн делит с Лермонтовым, но он не возвысился в музыкальной передаче поэмы ни до музыкальности стихов нашего поэта, ни до изображенного им подъема страсти в главном лице поэмы, Демоне.

Итак, г. Рубинштейн в 1855 г. говорил совершенно искренно, не понимая что такое национальная опера. Зачем же ставить ему в вину то, чего в нем нет и быть не может?..

Что касается его мысли, что русские занимались музыкою дилетантски, то разве это не правда? Я боюсь, что слова г. Рубинштейна, верные для 1855 года, остаются верными и доселе. Только Глинка, при гениальности своей, был и ученым музыкантом. Те затруднения, которые он встречал при постановке своих опер, то непризнавание его долгое время со стороны русской публики объясняется полным господством дилетантизма и в начальстве оперного нашего театра, и в публике. Дилетантизм тем отличается, между прочим, что он никогда не знает наверно, кому надо кланяться и как.

С этим явлением встречаемся мы и в шестодневе г. Рубинштейна. Заслуги его как пианиста, как музыканта, как одного из сильных инициаторов русского музыкального образования — несомненны. Но весьма сомнительно, что эти заслуги надо праздновать шесть дней. Дилетанты же комитета устроили это, ибо они сами не уверены в том, как низко надо кланяться г. Рубинштейну, а потому присудили кланяться ему в землю, до истощения сил. Естественно, что это превознесение до небес вызывает оппозицию и имя Глинки по праву ставится во главе русской музыки, как имя Пушкина стоит во главе русской поэзии. Оппозиция совершенно справедливо советовала умеренность. Комитет как будто назло предположенный трехдневный юбилей удвоил: «Нате, мол, вы против трех дней говорите — так мы вам закатим шесть». Я смею думать, что это не особенно умно, во-первых, во вторых, неделикатно относительно оппозиции, стоящей за русские музыкальные имена. Совсем не секрет, что немецкий и еврейский элементы тут играют роль

каких-то отчаянных противников русского направления в музыке. По крайней мере, так это понимает оппозиция и на увлечения отвечает увлечениями...

Шестоднев, таким образом, обращается в борьбу партий. Г. Рубинштейн, как юбиляр, от этого не только ничего не проиграет, но даже выиграет, ибо поклонники среди борьбы обыкновенно напрягают все усилия, чтобы сделать победу решительную. Но г. Рубинштейн как композитор от этого ничего не выиграет в истории русской музыки.

17 (29) ноября, № 4929

XXII

Есть ли дворянство сельскохозяйственное сословие? Этот вопрос, очевидно, заинтересовал многих, судя по письмам, которые я получаю и за, и против. Вопрос очень прост, даже, вероятно, наивен. Но есть именно простые и наивные вопросы, на которые отвечать трудно. Некоторые корреспонденты упирают на те или другие примеры и имена. Никто, однако, не думает утверждать, что не было хороших сельских хозяев.

Я собирался ответить Г. П. Данилевскому на его письмо, помещенное в № 4931 «Нового Времени». Но откладываю этот ответ вот по какому случаю.

Известно, что в сороковых годах толстые журналы, как «Библиотека для чтения», «Отечественные Записки» и проч., имели постоянные отделы «сельского хозяйства». Вот случайно попавшиеся мне строки г. Лялина в «Библиотеке для чтения» 1840 г., т. 42, строки, заставившие меня отложить ответ Г. П. Данилевскому. Читайте:

«Некоторые из нас (помещиков) настроили фабрик, заводов, набрали акций на модные торговые обороты: но *что мы уделили для земледелия, для улучшения сельского хозяйства?* Ни гроша. Теперь-то мы убедились, что плохо: фабрики и заводы мы закрыли; хлеба нет; все наши фабричные произведения не имеют никакой ценности оттого, что все капиталы обращены на покупку хлеба; мы распустили наших людей фабричных и ремесленных, для того только, чтоб они могли отыскать себе насущный хлеб. Это горько. Но зато мы *начинаем* теперь *поговаривать о необходимости заняться земледелием,* сельским хозяйством. *Дело только стало за тем,* с *чего начать. Без опытности, без знания в сельском хозяйстве,* без капиталов, что предпринять? Ведь сельское хозяйство не фабричное дело: фабрика идет дурно, употребите капитал, и вы в год ее исправите. В сельском хозяйстве совсем уже не то: *поправить истощенную землю, узнать местность, снабдить пахаря орудием и скотом,* которого теперь у нас нет, приучить его к труду, бережливости, искоренить старые обветшалые понятия о сельском деле, показать на опыте выгоды улучшенного хозяйства — все это требует знания, опытности, издержек и, особенно, продолжительного времени. Кто не был сельским хозяином, тому трудно представить себе, с*колько надо иметь умственных и практических способностей для поприща, столь для нас* нового, загроможденного с одной стороны теоретическими бреднями, с другой — невежественным понятием простого народа».

Это говорилось пятьдесят лет тому. Положа руку на сердце, не чувствуется ли теперь еще в значительной степени то же самое? Нельзя разве перефразиро-

вать эти слова помещика для настоящего времени? Не говорит ли он, что помещик знал мало, что для него сельское хозяйство «дело новое», что он очертя голову бросался на фабрики и акции, отрывал крестьянина от земли и сам оставался без денег, а крестьянина оставлял без хлеба. Ведь это ужасная картина.

Далее он говорит: «Сельское хозяйство состоит из многих отдельных частей. Решительно можно сказать, что *в России едва есть несколько экономий*, где бы все эти части были доведены до хорошего состояния: недостаток в капиталах, недостаток в людях, которым можно было бы вверить столь многоразличные занятия, причиною тому, что *дело это недоступно даже образованному и трудолюбивому хозяину*». В заключение он взывает, что следовало бы сделать свод всего того, что сделано по сельскому хозяйству в России; это, по его мнению, «уничтожило бы у многих *то отвращение к хозяйству*, какое мы невольно получаем, читая алкораны сельского хозяйства, тысячи хозяйственных книг, которые таскают «варяги» огромными коробами по России»...

Нет ли чего подобного и теперь, по крайней мере, не было ли этого еще недавно? Составлен ли у нас «свод точных, верных сведений тех улучшений, какие сделаны у нас по разным частям сельского хозяйства», о чем говорит помещик 1840 года? Где наши книги о сельском хозяйстве? У немцев, французов, даже у поляков есть «Энциклопедии сельского хозяйства». Есть ли что-нибудь подобное у нас? В Соединенных Штатах — сотни сельскохозяйственных периодических изданий, имеющих подписчиков.

Почему у нас прокричали об Энгельгардте, как о чем-то необыкновенном?

Сколько таких Энгельгардтов у наших соседей? Г. Мертваго в «Новом Времени» поместил ряд фельетонов о том, как он готовился быть сельским хозяином, как читал книги, как все их бросил, убедившись, что из них ничему научиться нельзя, стал заниматься химией у Менделеева и потом поехал в Париж и нанялся простым рабочим у парижского огородника, чтобы изучить огородничество. Сколько труда это ему стоило и сколько он узнал нового, у нас вовсе неизвестного? Не это ли настоящий путь для того, чтобы сделаться сельским хозяином и иметь право им считаться? У нас интеллигенция хотела «опроститься», ходила в народ, чтобы бунтовать его, и брала на себя бремя сизифовой работы, погибая и увлекая в погибель других. Не следует ли «опроститься» сельскохозяйственной интеллигенции для того, чтобы взбунтоваться против самой себя, против обветшалых понятий и преданий, взбунтоваться для того, чтобы научиться как тому, что знает народ, так и тому, чего он не знает и что должно ему знать?

Это мимоходом. Вопрос важный и надо бы разобрать, что сами условия русской жизни мешали дворянству стать настоящим сельскохозяйственным сословием...

21 ноября (3 декабря), № 4933

XXIII

Прочтите книжку г. Еленева «О некоторых желанных улучшениях в гимназическом обучении». На русском языке едва ли есть другое сочинение, которое при небольшом объеме, было бы так полно здравыми мыслями, фактами и знанием того дела, которое обсуждает автор. Г. Еленев редко берется за перо, но все, что

он написал, например, о деревне, о крестьянском вопросе, было полно самого живого интереса, как и настоящая книжка. Это не вздохи и жалобы родителя, у которого наболело на сердце; нет, мы имеем тут дело с человеком просвещенным, который не только близко наблюдал жизнь учащегося поколения, но и много читал. Опыт сделан, и опыт тяжелый. Вся его тяжесть сознана не только обществом, но и правительством. Сознание общества у нас дело не особенно важное, ибо ведь общество же или его представители, желая отличиться, насадили классические гимназии сплошь и рядом там, где в них не было даже самой отдаленной надобности. Если министру народного просвещения удастся смягчить классическую реформу и сообразить ее с потребностями России, он оставит по себе прекрасную память. «Сперва мы были голландцами, — говорит г. Еленев, — потом французами, затем пруссаками; пытались иногда сделаться и англичанами; но все это выходило у нас в самом жалком и смешном виде».

В самом деле, пора попробовать сделаться русскими и выполнение такой именно задачи лежит на министерстве просвещения. Мне кажется, что мы подчинялись вечно образцам именно потому, что никогда не понимали ни трудности просвещения, ни даже трудности хорошего общественного порядка. Все нам хотелось разом сделать. Петр, как увидел Европу, и заболел желанием сделать русских европейцами. Сильный был человек и нецеремонный, но европейцами нас не сделал. С того времени и пошли все эти опыты усовершенствования. Сегодня так. Прошло 10—15 лет: давай иначе, по другому образцу. Видим, что опять не важно идет дело. Ничего: есть еще образцы. Давай по новому образцу. Вертят, вертят так русского человека, и выходит из него по большей части не просвещенный человек, а верченый. Ни красы, ни радости...

Леонтьев, которому, главным образом, обязаны гимназические программы своею сложностью и трудностью, тоже был своего рода Петр Великий на Страстном бульваре. Г. Еленев сообщает о нем курьезную подробность. Он не имел ясного представления о продолжительности времени. Например, он был уверен, что для такой-то работы довольно получаса; принимался за нее и сидел четыре часа. От Страстного бульвара до вокзала Николаевской дороги он считал возможным проехать в 10 м., тогда как для этого потребовалось $^3/_4$ часа. Как ему ни доказывали, что он ошибается, — он стоял на своем и однажды три дня сряду примерялся поехать на поезд и всякий раз опаздывал. Это маленькая черта, но она многое объясняет в этих программах, которые превосходят требования даже немецких гимназий. Леонтьеву, как и Петру Великому, все казалось возможным, и он добросовестно писал свои программы, веря, что Россия, усвоив их, тотчас же сделается Европою...

Замечательно, что на трудность гимназического преподавания не жаловались только одни евреи. Не потому ли одному педагогу классику пришла блестящая мысль — устроить на казенный счет десяток гимназий специально для евреев и отменить постановление о процентном отношении учащихся во всех учебных заведениях. Для евреев это было бы очень хорошо вдвойне: во-первых, они имели бы свои специальные гимназии, во-вторых, будучи народом выдержанным и юрким, они наверное, своими средствами, тихо и мирно, переделали бы гимназические программы в очень легкие...

Книжка г. Еленева так содержательна, что делать из нее извлечения или резюмировать ее в небольшом объеме невозможно. Я потому и ограничиваюсь тем, что

рекомендую чтение ее гг. педагогам. Г. Еленев не ограничивается одними классическими языками. Он разбирает преподавание и других предметов, математики, закона Божия, истории, естественных наук и обращает внимание на одобрение учебников Ученым комитетом, устроенным крайне неудовлетворительно. Одному лицу предоставлено делать приговор над учебником и, благодаря этому лицу, учебник, иногда мало удовлетворительный, даже с ошибками (г. Еленев указывает и на такие), становится обязательным на многое множество лет. Нигде ничего подобного не делается в Европе, ибо Европа основательно не верит беспристрастию и компетентности одного человека. Мало ли чем может увлекаться один человека, кладя свое одобрение. Я просматриваю теперь берлинское издание «Jahresbericht über das höhere Schulwesen, herausg. von Conrad Rethwisch. III Jahrgang, 1888». Это том в 600 страниц, заключающий в себе обозрение всего того, что сделано по школам в 1888 г., и обозрение всей литературы, всей полемики по школьному вопросу и по преподаванию классических языков, новых, математики, естественных наук и т. д. Какой широкий обмен мысли и какое движение происходит в Германии по школьному вопросу! Нам об этом можно только мечтать.

30 ноября (12 декабря), № 4942

XXIV

Вчера я был в Александринском театре и видел там пантомиму. Лож пять десять было пустых, но партер и раек были довольно полны, несмотря на то что пантомима давалась в 19-й раз. Она называется «Старые годы», а сочинитель ее — г. Шпажинский. Я не знал, что он стал писать пантомимы. Это очень милый род драматургии, близкий к балету. В Париже вот уже года два даются пантомимы, и публика посещает их охотно. Но там эти пьесы играют прекрасно сделанные куклы, а чтение соответствующего текста проводится за кулисами. Так, между прочим, поставлена «Буря» Шекспира, а недавно библейская история Товия. Александринская сцена до этого еще не додумалась, а может быть, не хочет затрачивать средств для устройства кукол, тогда как и актеры могут действовать, как куклы. На александринской сцене пантомима разыгрывается г-жами Савиной, Дюжиковой, Читау, гг. Варламовым, Давыдовым и Далматовым. Все хорошие артистические силы. Что же они делают? Г. Давыдов три раза переодевается, однажды становится на колени, однажды плачет и однажды благословляет. Он отлично переодевается, становится на колени, плачет и благословляет. Г. Варламов дважды одевается, но зато трижды свистит на дудке, один раз приносит чижа и один раз поет пьяным голосом «Не белы снеги». Г. Далматов трижды одевается, потом все ходит, все ходит, справа налево, слева направо, с севера на юг, с востока на запад, по всем направлениям ветров. Иногда вдруг крикнет «зарежу!» или «о, моя дорогая!», но, очевидно, по недоразумению и тотчас толкнет ногою дверь. Он все это исполняет с таким же совершенством, как г. Давыдов становится на колени. Есть еще мужское лицо — Трезор, но он, к сожалению, действует за сценою, именно гоняет кур. Но если б кто-нибудь из актеров оделся в собачью шкуру, а актрис нарядили бы курами, то эта сцена была бы в пантомиме самою выдающеюся. Перехожу к дамам.

Г-жа Савина все больше сидит и вышивает; однажды сбирается выпрыгнуть в окно, трижды стыдливо закрывает лицо, дважды бросается на шею и однажды плачет. Ходит она меньше г. Далматова, но роль тоже бесподобная. Г-жа Дюжикова разливает чай, дважды бросается на шею, однажды вытирает пыль, однажды всыпает яд и однажды зарезывается. Перед этим, впрочем, она и говорит, но так длинно и бесполезно, что она могла бы просто зарезаться, без слов, и все было бы понятно. Г-жа Читау...

Но довольно. Боюсь, что дамы обидятся. Лучше обращу внимание на самую занимательную сцену пантомимы: это подглядыванье трех девок и трех лакеев у одной и той же двери, причем лакеи заигрывают с девками руками. Сцена эта задумана рукою мастера, а может и головою его, и исполняется выходными актерами так же превосходно, как исполняется все прочее первыми.

На этом примере я еще более убеждаюсь, что «Старые годы» могут с отличным успехом исполняться выходными актерами, не говоря уже о куклах. Г. Шпажинский, написавший на своем веку 33 «Майорши», сочинил такую образцовую пантомиму, что все актеры, и первые и последние, чувствуют себя в ней чудесно. Публика тоже довольна. В театре тихо, сидишь и смотришь, как на сцене ходят, вышивают, разливают чай, целуются и режутся. Только иногда вздрогнешь, когда вдруг залает за сценою Трезор, виноват, когда вдруг кто-нибудь закричит «Дочь моя!» или завизжит «Не белы снеги». Эти крики, ни с того, ни с сего раздающиеся, неприятно действуют на нервы. Но было бы еще лучше, еще эстетичнее, если б актеры не произносили ни одного слова. Пускай ходят, садятся, обнимаются, благословляются и режутся без всяких слов. Пусть актеры усилят жесты — и все будет ясно.

«Старые годы» не дают ни характеров, ни нравов, ни мысли, а только протокольный анекдот, для уяснения которого достаточно распространенной афиши в руках зрителя и пантомимы на сцене. И тогда мне, зрителю, как будет хорошо. Я не слышу ничего банального, пошлого, вздорного и свободен дополнять своей фантазией пантомиму. Например, актер и актриса на сцене объясняются в любви жестами. А я, смотря на это, вспоминаю письмо Татьяны Пушкина или душевную бурю в груди Наташи Толстого. А то встанет передо мной полный силы и жара Ромео. Чудесные стихи, прекрасные типы лучших писателей моей родины и Европы явятся в моей голове. Пускай экономка, отравляющая барыню, пантомимой изображает свое раскаянье, вместо трескучих фраз слогом Марлинского, вложенных ей в уста г. Шпажинским.

А я буду воображать себе леди Макбет, в ее сомнамбулизме, с ее краткою, но выразительною речью, среди душной ночи и сияния глаз мстительной Немезиды...

3 (15) декабря, № 4945

XXV

Фельетон г. Василия С-вича «Женщины-врачи» напомнил мне знакомство с женщиной-врачом.

Это было года три тому. Я нанимал в одной из подмосковных губерний усадьбу на лето. В пяти верстах от усадьбы была земская больница, которой много помо-

гал помещик того имения, в котором она помещалась. Земским врачом была женщина. Раз после обеда мы поехали кататься и кстати думали посмотреть больницу. Был час седьмой, когда мы подъехали к больнице. Она была построена особняком, недалеко от помещичьей усадьбы, около пруда, и состояла из двух одноэтажных деревянных строений. Около больницы стояло несколько крестьянских подвод и несколько мужиков и баб. Я вылез из экипажа и пошел в больницу. Приемная была полна мужиками и бабами. Один крестьянин лежал на лавке и громко стонал, не обращая на себя внимания толпившихся в приемной пациентов. В следующей комнате сидела женщина-врач. Я спросил, можно ли ее видеть. Мне отвечали: после приема.

— А давно она принимает?

— Да, надо быть, с утра.

— Как? Не отдыхая?

— Почти что не отдыхала. На полчаса отлучалась к себе. Должно быть, обедала.

Я не хотел прерывать ее занятия и пошел назад. У окна больницы стояла баба и разговаривала с фельдшером, выглядывавшим из окна. Я подошел. Фельдшер допрашивал бабу, как должно принимать прописанное ей лекарство. Баба путала.

— Ведь тебе докторша говорила?

— Говорить-то говорила и запомнить велела. Говорит, фельдшер будет спрашивать и без того лекарства не отдаст.

— И не отдам. Слушай!..

Фельдшер стал ей объяснять и заставил повторить свои слова. Убедившись, что она знает, он передал ей глиняный горшочек с лекарством. Я в первый раз увидел эту незатейливую посуду, в которой отпускаются крестьянам лекарства.

— Это вы всех так опрашиваете?

— Всех, — отвечал фельдшер. — Сперва врач объясняет, а потом я. Народ дикий, особенно бабы. Ей наружное пропишут, а она в желудок. Ей капли, а она разом выпьет...

У встречных мужиков я спросил: и они лечатся у женщины?

— У ней же. А то у кого же.

— И ничего?

— Ничего. Мы привычны. Испокон веку у нас бабы лечат, знахарки...

— А не бывает совестно объяснять ей?

— Чего совестно? Коли болезнь, так какая там совесть...

Заболели у нас дети. Мы позвали эту докторшу. Это была женщина лет 37, уже девять лет практиковавшая, некрасивая, напоминавшая своим видом старую деву. Она бывала у нас несколько раз и оказалась очень душевной особою, внимательною, толковою. В настоящей больнице она года три, а прежде была в другой губернии. Принимает ежедневно и занята с утра до вечера. В первый год у ней перебывало 13 000 пациентов, а когда земство назначило 5 копеек за совет врача, число приходящих и приезжающих уменьшилось до 11 000 в год. Практика огромная. Жаловалась, что не хватает ртути, ибо распространение известной болезни поразительное. И недостаток в хирургах тоже большой. Она сама делает много операций, но бывают трудные случаи и приходится больных отправлять за 90 верст, в губернский город. Жаловалась на полное отсутствие *личной* жизни. Нет ни милого человека, ни общества, ни развлечений. Но вдруг вспомнит какой-нибудь интересный случай из своей практики, особенно детский, и оживится и

начнет рассказывать с такою любовью, точно дело идет о родном. Раз она лечила шестилетнего мальчика. Версты не отъехал мальчик с отцом и матерью от больницы, как лошадь чего-то испугалась, шарахнула в сторону, телега на бок, и мальчик распорол чем-то живот. Докторше привезли его в отчаянном виде. Рассказ ее о том, как она зашивала ему живот, как он лежал в больнице, как болел и выздоровел, так и просился под перо даровитого беллетриста своими подробностями и теплым тоном рассказа.

Кроме приема в больнице, она и ездит, иногда в распутицу, в метель и вьюгу. В эти поездки ей приходилось требовать гигиенического содержания больных, указывать, как устроить ванну при домашних средствах крестьянина, как освежать воздух, поддерживать чистоту, и проч. Крестьяне туго поддавались советам, но все же поддавались, особенно когда видели, что одно содержание больного в чистоте и опрятности быстро восстановляет его силы. Долгою практикою она выработала себе особые приемы опроса больных. Множество курьезных случаев она рассказывала. Вот один из них.

Приходит баба. Докторша спрашивает, что у ней болит.

— Вся больна...

— Как вся? Что-нибудь особенно сильно болит?

— Ничего. А вся больна. Да вот мухи не дают покоя.

— Какие мухи?

— Да мухи. На других не сажаются, а меня вот так всеё облепят. На дворе ли, в избе ли, так вот каторжные и лезут...

Как ни добивалась докторша, ничего более этого не добилась. Велела бабе раздеться. Оказалось, что у неи на ноге большой нарыв, запущенный и злокачественный. И мухи оттого лезли к ней, и «вся была больна» от этого. Постепенно докторша освоилась с крестьянами, с их языком, с манерой их говорить и отвечать, и дело пошло легче, и она получила доверие их. Но только при особенной добросовестности и терпении удается все это. В первые годы обыкновенно все докторши и вздора много делают, и страстно нетерпеливы, и приходят в отчаяние, и стремятся в город. Во всяком случае, труда и терпения требуется от них много, и та, которая победит себя и приобретет доверие народа, заслуживает не только всякой симпатии, но может причислить себя к тем безвестным благодетелям народа, без которых слишком тяжело живется.

6 (18) декабря, № 4948

XXVI

До сколько-нибудь обстоятельной биографии С. П. Боткина еще далеко. Дав его характеристику на днях, как врача и человека, я хотел бы остановиться на некоторых подробностях, как бы ни показались они незначительны.

Сергей Петрович, как известно, происходил из купеческой семьи, переселившейся из Пскова в Москву, и если его славное и прекрасное имя принадлежит всей России, то оно может составлять и гордость купечества.

У нас обыкновенно привыкли указывать на старые дворянские семьи, как имеющие хорошее влияние на развитие характеров. Семьи купеческие у нас знают

исключительно по комедиям Островского. Это или самодуры и деспоты, или что-то распущенное, пьяное, кутящее, или лезущее в знать. Литература наша была тут не совсем на высоте своего призвания; она искала в купечестве европейцев, а не человека, и в патриархальности купеческих семей более всего искала комических и отрицательных черт...

На самом деле купеческая жизнь, представляя черты для насмешек и порицания, в то же время отличалась и симпатичными сторонами. Стоит вспомнить такие прекрасные типы Островского, как Русаков и Бородкин. Может быть, ни в одном русском сословии,— я говорю, конечно, о лучших представителях его, — не сохранилось так много истиннорусского, не разрывавшего с преданиями отцов и дедов, как в купечестве: религиозность, крепкое сознание себя русским во что бы то ни стало, признание авторитета начальника семьи и крепость ее, цельные характеры мужские и женские, приверженность к русским обычаям и уважение к труду, и все это иногда рядом с стремлениями к просвещению. Эти последние стремления считаются несовместимыми с первыми. Но мы очень мало знакомы с тем, что нам оставила древняя русская семья, о которой в наших школах преподают только то, что был поп Сильвестр, который написал «Домострой», книгу вредную и глупую для таких много понимающих и просвещенных людей, как гимназисты, и в этой книге он советовал мужьям «вежливенько хлестать жен плеткой».

Ничтожность наших исторических учебников, одобренных не столько Ученым комитетом, сколько фирмой братьев Салаевых, и достаточно дряблое равнодушие педагогов наших, из которых многие дальше учебника и хлестких статей ничего не знают, утвердили за древней русской семьей в обществе совершенно дикое представление. «Домострои» существовали во всех литературах, как существовали и существуют «Поварихи», «Домашние столы», «Хорошие тоны» и т. д. Поп Сильвестр компилировал свой «Домострой» отчасти по «Домостроям» иностранным и внес в него очень много такого, что никогда не должно умирать, ибо это многое, способное смягчаться и видоизменяться, остается незыблемым основанием семейного строя. Тенденциозная ложь, распространившаяся у нас под влиянием далеко не всегда разумных подражаний, притом плохо понятому Западу, способствовала и распространению не менее дикого представленья о Боярской Думе. Редкая статья, посвященная нашей старине, не цитировала слов Котошихина о Боярской Думе: «бояре, брады свои уставя, ничего не отвечают, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе».

Эта фраза «бояре, брады свои уставя» сделалась ходячим представлением о Боярской Думе и в литературе и обществе. На самом деле фраза эта есть просто грубый подлог. Во-первых, у Котошихина говорится только об «иных» боярах, т. е. о некоторых, а не о всех, как это старалась утвердить цитата; во-вторых, раньше этой фразы Котошихин говорит, что когда царь обращался к боярам по какому-нибудь делу, требующему обсуждения, то «кто из тех бояр побольше и разумнее, или кто и из меньших, и они мысль свою к способу объявливают; а иные бояре брады своя уставя», и т. д. После этой фразы Котошихин еще раз повторяет: «однако сыщется и окроме их (т. е. кроме тех, которые только «брады свои уставят») кому быти, на ответ разумному из больших и из меньших статей бояр»...

Кто был в западных парламентах, тот очень хорошо знает, что значительная часть депутатов обыкновенно люди совершенно ничтожные, влияния никакого не имеющие и делами законодательства не занимающиеся, а дело делают и го-

ворят те, кто «разумнее», дельнее или красноречивее; остальные же «брады свои уставя» и т. д. Таким образом, характеристика Котошихина вполне приложима не только ко всем вообще совещательным учреждениям, но и к каждой современной законодательной палате западных держав. Но лживая тенденция, все старавшаяся осмеять в древнерусской жизни, извращала слова подлинника, а невежественная публика верила. Так же осмеян и разумный обычай древних наших царей — выбирать себе невесту из русских девушек, — обычай, отошедший в область преданий и тоже причисленный к числу «диких» обычаев старины. Дикою и самодурною прослыла и древняя семья и за нею купеческая, как наиболее сохранившаяся в старых преданиях. Но эти представления, очевидно, тенденциозные, следовало бы проверить беспристрастно. Будущему биографу С. П. Боткина такая проверка пришлась бы весьма кстати, ибо семья Боткиных принадлежала именно к числу тех купеческих семей, в которых стремление к образованию не разрушало хороших патриархальных сторон семьи.

До следующего раза.

16 (28) декабря, № 4958

XXVII

В последний раз я виделся с С. П. Боткиным в Биаррице, на юге Франции, на берегу океана. Он приехал туда с семью из Аркашона, где он чувствовал себя нехорошо. У него была сильная одышка и кашель. Зная его за отличного ходока, я удивился тому, что он, гуляя и разговаривая со мной, постоянно останавливался и принимался кашлять резким сухим кашлем.

Есть какое-то странное чувство относительно знаменитых врачей, на которых мы привыкли смотреть как на спасителей человечества от болезней. Доверие к ним так велико, что начинаешь думать, что подобный врач не подходит под общие правила, что он не может серьезно заболеть и если не обладает бессмертием, то проживет, по крайней мере, до самой преклонной старости. Привыкнув надеяться на известного врача, слыша постоянно его имя, как человека могущественного, от которого зависит в некотором роде жизнь и смерть, не думаешь совсем о том, что он может исчезнуть из мира так же быстро и неожиданно, как и ты, на него смотрящий с беспредельной верой.

Подчиняясь, вероятно, этому чувству, я с недоверием услышал от сына С. П., что его отец в Аркашоне почти не мог ходить, что он сильно страдает сердцем, но не придает, к сожалению, значения своей болезни. Вопреки всем больным, любящим говорить о своих болезнях, С. П. ни словом, ни намеком не говорил о своей болезни, но продолжал интересоваться здоровьем других. Биарриц его быстро поправил. Он говорил с восторгом о чудесном морском воздухе и жалел только о том, что он не может купаться в самом море, потому что далеко ходить от купален до воды. Но ванны из морской воды явно восстановляли его силы. Судя по его лицу и по оживлению, с которым он вел разговор, невозможно было и думать, что говоришь с человеком, приговоренным к смерти.

Он умер именно в то время, когда рассчитывал вернуться в Петербург: «десятого или пятнадцатого декабря мы непременно будем в Петербурге, говорил он

мне, и я займусь думскою больницею». Его интересовали болезни стариков, и он думал заняться ими специально, как вопросом во многих отношениях весьма интересным и мало затронутым в медицине.

Старость у нас наступает быстро. Боткин вспомнил нескольких своих знакомых из ученого и врачебного мира во Франции. Человек пятидесяти лет — во Франции еще молодой человек. Он полон еще сил и надежды многое сделать. У нас же эти годы — упадок энергии и начало старчества. Это явление зависит от многих причин и главным образом от нашей малой культурности. Чем менее культурна страна, тем более работы человеку талантливому, человеку направляющей инициативы, умственного труда и знания. В такой стране мало даже цеховых полезностей, и потому деятель отличный, врач ли он, ученый, финансист, делец — он везде нарасхват. А знаменитый врач является просто мучеником. Если он добросовестный человек, ему не оставят минуты свободного времени. Если он человек бескорыстный, каким был Боткин, почти не оставивший никакого состояния, то он рискует пасть под бременем работы и какая-нибудь дума вообразит, что она не весть что сделала «почтив его вставанием».

Как общество малокультурное, мы не знаем еще достаточно хорошо ни цены труда, ни цены времени. Масса интеллигенции у нас или ничего не делает или ничего не умеет делать, и занимается или разговорами без начала и конца, или картами с утра до вечера. Господи, если бы каждый, сыгравший пульку, обязан был бы положить один только камень, какую башню мы бы воздвигли! Но дело делать «некогда» этим господам, и они с удовольствием перемывают бока тем, кто занят вечно и дорожит временем, или считают в чужих карманах не существующие там миллионы...

Во Франции ученый всегда найдет помощников. Там он имеет возможность всю черную, приготовительную работу возложить на силы начинающих людей, на своих учеников, на так называемых «секретарей», которые есть и у ученого, и у писателя, и у дельца. У нас и черновая работа и беловая почти вся в одном и том же лице. Мы еще не совсем вышли из периода Петра Великого, когда он был «и мореплаватель, и плотник» не потому, что так это надо было царю, а потому что не на кого было возложить этой работы, некому доверить.

Боткин говорил, что ему хотелось бы издать свои лекции. Но для этого надобна приготовительная работа: сверка с источниками, указание цитат и т. д. Во время чтения лекций многое говорится на память; но в книге необходимы точные указания.

— У вас в журналистике водятся секретари, люди, которым вы поручаете черновую работу? — спросил он меня.

Разумеется, нет. Да у нас, я полагаю, и министры, и управляющие отдельными частями, делают массу той работы, которую в странах действительно просвещенных делают их помощники. Если б у нас ученый запряг кого-нибудь в черновую работу, заставил делать выписки, компилировать по своей программе, по своей идее, и затем на основании этой черновой работы, которая есть не что иное, как камни в здании, написал бы сочинение и подписался бы под ним, работник на всех перекрестках кричал бы, что ученый его обокрал. Говорят: «это строил Растрелли», и никому не приходит в голову сказать, что это неправда, ибо строили каменщики, штукатуры и т. д. Архитектурная идея признается, но идея ученая еще не признается, ибо тут не неграмотные каменщики, а интеллигенты, а

интеллигент думает, что если он читает и делает выписки по указаниям, то он уже мастер, а не ученик только.

Конечно, на Западе есть и злоупотребления в этом смысле, но признание авторитета известного ученого способствует и его долголетию, и его свободе работы, и обширным трудам, которые хотя являются и под именем знаменитого ученого, но не принадлежат ему вполне. Такова, например, многотомная «Всемирная география» Э. Реклю. Благодаря разделению труда, ученый имеет возможность развивать область своих знаний и двигать вперед науку. У нас этого еще нет, и всякое дело, как бы оно не было сложно, каких бы нечеловеческих усилий ни стоило, лежит на одном человеке, и, разумеется, выдающийся человек преждевременно погибает под тяжестью труда или, поглощенный мелочами, черновою работой, не успевает сделать того, что он мог бы сделать.

Та масса работы, которую делал покойный С. П. Боткин, непременно содействовала расстройству его здоровья, заставляя жить вдвое и втрое. Сам он придавал огромное значение курению. Месяца за четыре до смерти он бросил курить, и бросил разом. Он сознавался, что лишение это было для него так велико, что стоило ему страданий действительных.

Он говорил мне буквально следующее:

— Лет пятнадцать тому стали серьезно говорить о том, что куренье вредно действует на сердце. Но мы, врачи, хотя и говорили больным об этом, но не настаивали. В нас самих являлось сомнение: курим мы лет двадцать-двадцать пять, а ведь вреда особенного не видим. Но дело в том, что к никотину привыкает наш организм только до известной степени, пока еще природа действует сильно. Затем настает такое время — у одних раньше, у других — позже, — что яд начинает действовать быстро и губительно и в несколько лет разрушает организм. Наблюдая теперь явления этой отравы над самим собою, я вспоминаю некоторых пациентов своих, страдания которых я приписывал другим причинам. А вырви я у них тогда папироску, они были бы живы.

Л. Н. Толстой говорил мне, что, бросив курить, он почувствовал себя «другим человеком».

— Вчера я сидел сряду пять часов за работой, — сказал он прошлой весной, — и встал совершенно свежим. А прежде, когда я курил, я чувствовал усталость, головокружение, туман в голове...

Как хорошо делает та молодежь, которая не соблазняется ни примером старших, ни глупым молодечеством среди товарищей, и не пробует этого табачного яду, от которого отстать действительно трудно. Играл ли этот яд в болезни Боткина роль, никто нам с уверенностью не скажет.

18 (30) декабря, № 4960

XXVIII

1889 год уходит не зимою, а осенью. Если б воскрес царь Алексей Михайлович, явился бы сегодня в Петербурге и ему бы сказали, что мы накануне Нового года, он не удивился бы, потому что при нем Новый год праздновался 1 сентября. Разве одно только бы заметил:

«Холода-то завернули слишком рано. А впрочем, это бывает»... Но если б ему сказали, что у нас третий день Рождества — он не поверил бы. Действительно, что-то невероятное в природе совершается...

1889 год уносит у нас одного из замечательнейших русских людей, С. П. Боткина, погребение которого будет в субботу. С этою смертью невозможно примириться. У нас и без того мало людей замечательных, а они нам необходимы, как руководители, как наставники, как средоточие известных идей и понятий. И вот они уходят от нас, не успев совершить всего того, что могли бы совершить. Не умеем мы их и беречь. В Европе нет общества более требовательного, чем наше, и в то же время менее имеющего права требовать, отрицать и считать себя просвещенным...

С Боткиным умер человек настолько сильный, что, проведи он остаток дней своих в бездействии, одно имя его значило бы много и служило бы ярким знаменем для русской науки и ее задач. Другого такого человека нет у нас...

Да другого такого человека и не будет. Замечательные люди тем именно и характеризуются, что они оригинальны и не повторяются в одном и том же виде. Может явиться врач более гениальный, более проницательный и ученый, но в нем не найдутся те достоинства, которые были у Боткина. С. П. останется цельным типом, со своими чисто русскими свойствами, со своим воззрением на науку и людей, и заменить его никто не может вполне.

В чем состоит жизнь врача? Она состоит в сумме того добра, которое он сделал людям, своим ученикам, товарищам, больным, обществу. Жизнь врача может быть бедна даже у знаменитого врача и богата у врача не знаменитого. Все дело в натуре врача, в его сердце, при других, конечно, качествах — знании и таланте. Если врач только прописывает лекарства и дает советы, он исполняет свой внешний долг. Но есть еще дар прекрасной души, выражающийся отношением к больным и любовью к своему делу, которое в деле врачебного искусства есть и любовь к человеку. Врач очень часто помогает, как духовник, с которым у него есть общая обязанность: клятва не выдавать секретов, которые ему сообщают. У врача нередко только и есть одно лекарство — подействовать на душу больного или душу его окружающих. Нередко он своим вниманием и участием спасает лучше, чем своими медицинскими советами. С другой стороны, это внимание и участие дают и врачу доступ к искренности больного. Все это было у С. П. Боткина в высокой степени. Выработал ли он это себе как принцип, было ли это природным его свойством? Я думаю, что-то было природным его свойством: это входило, как составная часть, в его талант. Врачу необходимы твердость и спокойствие, но они должны основываться на доброте и участии к людям. Самая проницательность врача зависит от этих свойств его природы, ибо чем теплее относится он к людям, тем добросовестнее и глубже его исследования. Соединяя все это в себе, Сергей Петрович и представлял собою редкого и замечательного врача...

Когда-нибудь Россия воздвигнет ему памятник за эти прекрасные качества души его и таланта, за то, что он сделал так много добра, за то, что он делал только добро...

В характере его было много того глубоко-привлекательного, что отличает хорошего русского семьянина, что дает семейной жизни прелесть и утверждает семью на взаимной любви и уважении. Сергей Петрович был примерный отец, и дети любили его страстно. Умея любить и внушать к себе любовь их, он умел

дать им прекрасное образование и воспитать в них идею о трудолюбии и самостоятельности, которая лучше наследства и расчетов жить на то, что не сам приобрел. Семья С. П. представляла всегда нечто дружное, крепко связанное между собою его правилами жизни, его характером и сердцем. Взгляд его на женщин никогда не изменялся, несмотря на всевозможные увлечения общества, свидетелем которых он был в течение своей жизни. Человечески мягко относясь к этим увлечениям и поощряя серьезные стремления женщин к науке, он в сущности был поклонником только семейного начала. Назначение женщины — быть хозяйкою в доме и матерью. Это прежде всего и лучше всего. Он был враг той искусственности, которая делает женщину бездетною и в пропаганде которой виноваты некоторые врачи, легкомысленно понимающие свои обязанности и особенно некоторые ученые физиологи, дальше микроскопа ничего не видящие и измеряющие жизнь материальными фактами. «Zwei Kindersystem» и проч. только извращают женский организм и вырождают его; та нервность, та психопатия, те изнурительные болезни и крайняя раздражительность, которые отличают современную женщину не у нас одних, а всюду в образованных слоях, лежат в значительной степени в этом добровольном извращении женского организма и его назначения. Сколько женщин, которые приходили к Боткину советоваться на счет своих нервных страданий и которые получали от него такой стереотипный вопрос: «Давно у вас нет детей?» Обыкновенно оказывалось, что детей уж не было несколько лет. «Это очень жаль. Для вас лучшее лекарство — дети», говорил Сергей Петрович. И серьезно, и улыбаясь своею милою, ласковой улыбкой, он говорил это постоянно. И ему ли не верить, когда он так много видел и так превосходно знал человеческую природу в ее отступлениях от нормального, правильного образа жизни и когда он получил столько исповедей и таких искренних, каких уж в нашем веке не получают священники от своих образованных прихожан и прихожанок...

Все грехи мира, все то, что искажает и извращает человеческий организм, что делает его слабым, безвольным, что побуждает его на массу зла себе, своим современникам и своим потомкам, все это известно было тому врачу, прах которого собираемся мы предать земле. И он знал, что ничего нет лучше телесной и душевной чистоты, ничего нет лучше доброй семьи и того сознания, которое дает право человеку на смертном одре ясно глядеть на окружающих и говорить рыдающим детям своим, как говорил Боткин: «Надо жить не для себя только, надо больше жить для других...»

29 декабря 1889 (10 января 1890), № 4969

1890

XXIX

В то время как александринская сцена не представляет ничего особенно замечательного и не выходит из репертуара современной драматургии, в высшем обществе проявляется особенная любовь к театру. С легкой руки графа Шереметева, который в прошлом году поставил «Смерть Иоанна Грозного» графа А. К.Толстого, а в нынешнем «Бориса Годунова» Пушкина, домашние спектакли получили новую, лучшую окраску: у князя Волконского ставится «Феодор Иоаннович» графа А. К Толстого, не пропущенный совсем для общественной сцены, на Эрмитажном театре «Царь Борис», его же, никогда не являвшийся на сцене, у г. Приселкова «Власть тьмы» графа Л. Н. Толстого, тоже не являвшаяся еще ни на какой сцене. Граф Л. Н. Толстой кончил новую пьесу, комедию, которая, говорят, полна комизма, и тульские любители играли ее на домашнем театре 30 декабря. Это комедия в четырех действиях «Плоды просвещения». Действующие лица: господа, гувернантка, профессор, доктор, и слуги, и мужики. Всего 27 лиц. Завтра мы напечатаем отчет об этом спектакле.

Александринские актеры не знают, что ставить в свои бенефисы, а любители предлагают своей публике выдающиеся пьесы нашей литературы. Мода ли это в высшем обществе, или в самом деле понизился уровень публики, посещающей общедоступные сцены, а также и уровень уставщиков ее, а в публике аристократической поднялся вкус к родной литературе? Не станем углубляться, чтоб ничего не обобщать. Хорошо то, что на домашних сценах являются хорошие пьесы и что «Борис Годунов» Пушкина никогда не был так роскошно поставлен на императорской сцене, как поставлен он теперь на частной сцене, и никогда так полно не был поставлен, ибо даже патриарх является в своем облачении.

Драматическое искусство — хорошее занятие для людей, имеющих много досуга и денег. Это неизмеримо выше стрельбы голубей — храни Бог от светских стрелков эту милую птицу, в образе которой являлся Дух Святой. Рядом с охотою к драматическому искусству, говорят, существует в обществе охота к цыганским песням. Господа одеваются цыганами, госпожи — цыганками, составляются вечера и на них эти импровизированные цыгане и цыганки поют под аккомпанемент гитар. Хотелось бы думать, что эта цыганомания есть переход к русской песне, которая давно стала исчезать в народе, заменяясь дрянной фабричной песнью. Если домашний театр реставрирует старину, то не тому же ли обществу начать реставрировать русскую песню, которая, право же, гораздо поэтичнее и разнообразнее песни цыганской. Самый русский костюм почти исчез в жизни вместе с песней, а он очень мил и живописен в женских нарядах...

Представьте себе светские вечера, где водят хороводы, где раздается русская или малороссийская песня, где возобновляются некоторые игры умершей старины, где являются ряженые и проч. Вы улыбаетесь? Вам кажется это ни с чем несообразным? Светские дамы и барышни, светские кавалеры — и вдруг хоровод! Но почему же цыганские песни возможны? Потому что существует цыганская труппа, дающая представления и заражающая своих слушателей, которые начинают ей подражать. Будь труппа русских песенников и песенниц, могло бы случиться то же самое. Труппа Агренева-Славянского не может заразить. Одетая в театральные боярские костюмы, неподвижная, как истукан, она производит впечатление искусственности и чопорности. Может быть, для «знатоков» — так это и нужно. Но мы говорим не о знатоках, а просто о домашнем развлечении в русском стиле, так сказать. Стоит только кому-нибудь начать с русской песней и начать хорошо, внимательно к музыкальности песен, к костюмам, к живописности групп и такие вечера принесут, пожалуй, больше удовольствия, чем даже домашние спектакли...

Ведь хорошо играть — очень трудное дело, даже при таланте. По-моему, хорошая актриса и между настоящими-то актрисами делается только к тридцати годам и хороший актер к сорока. Исключения бывают только для натур с большим дарованием. Зрелость в искусствах вообще наступает поздно, и без труда и опыта ничего не дается. Гениальные писатели до тридцати лет иногда производят вещи изумительные по своей художественной силе, как у нас Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Но даже для таких больших дарований, как Толстой, Тургенев, Достоевский, полная зрелость наступила только на пятом десятке их жизни. До сорока лет ни один из них не написал ничего такого, что достойно было бы увековечить их память. Я даже того мнения, что слишком молодые супруги не производят особенно даровитых детей. Вероятно, шедевры в роде человеческом, как и шедевры в искусстве, требуют известной степени зрелости. Гениальный Петр родился, когда отцу его, Алексею Михайловичу, было 43 года; отцу Шиллера было 36 лет, когда родился у него сын, знаменитый поэт; Гете родился, когда отцу его было 33 года. В этом отношении было бы любопытно обратить внимание на возраст родителей, когда у них рождались дети, ставшие потом замечательными людьми.

Любители театрального искусства должны принять во внимание тот общий закон для зрелости в искусстве, о котором сказано выше и который существует бесспорно и для них; как бы хорошо ни играли они свои роли в жизни, как бы ни были воспитаны они для того, чтобы свободно и независимо держаться в обществе, скрывать и обнаруживать свои чувства, сцена, даже домашняя сцена, требует упражнения и привычки продолжительной. Прекрасного и увлекательного исполнения на домашних сценах поэтому ожидать мудрено; но тем лучше, что любители берутся за пьесы, которые или вовсе не давались на сцене, или давались в обстановке посредственной. Инициатива домашних сцен в этом отношении весьма поучительна и заслуживает живейших симпатий.

4 (16) января, № 4975

XXX

Я чрезвычайно рад, что увидел, наконец, «Власть тьмы» Л. Н. Толстого на сцене и провел вечер у гг. Приселковых с таким наслаждением, какого давно уже не испытывал.

Вся Европа говорила об этом произведении, которое на сцене производит потрясающее и глубоко нравственное впечатление. Это — перл русской драмы, драгоценный перл, какого другого мы еще не скоро дождемся. Если эта драма не явилась на публичной сцене, так это просто недоразумение, возможное при той слишком правдивой и, потому, местами, грубой рисовке, но недоразумение, которое должно рассеяться, как скоро вникнут в нравственный, очищающий душу смысл этого удивительного произведения...

Припомним в кратких чертах историю «Власти тьмы». Одну зиму решительно весь Петербург читал и перечитывал «Власть тьмы» во всех слоях, от низшего до самого высшего. Драму хотела поставить в свой бенефис г-жа Савина, но ее не разрешили ей; потом в течение поста стали ее готовить к постановке на императорской сцене и среди разгара репетиций вдруг остановили. Прошло два года – и вот, благодаря гг. Пресельковым, по крайней мере для нескольких сот интеллигентных зрителей драма получила жизнь на сцене. И я не обинуясь скажу, что со стороны гг. Пресельковых это значительная заслуга перед русской литературой. Большей похвалы я им не могу сказать, ибо высшей похвалы я не знаю.

Вчера мы привели мнение князя Мещерского о постановке этой драмы. Этот сочинитель желает поставить лицемерную опеку над чистотою и добродетелью великосветских нравов. Он взывает к «русским матерям, женам и дочерям высшего общества», он боится за них, «разучивающих грубые деревенские сцены около гадкого предмета, со скверными подробностями и с тенденциозностью, грубо искажающею правду».

Удивляюсь, почему он не хочет взять под свою опеку это общество, когда оно смотрит на михайловской сцене вещи скабрезные, где осмеиваются супружеские долг и верность, где возвеличивается обман, хитрость, клятвопреступление, где разнузданность республиканской драматургии доходит до того, что некоторые драматические изделия и резюмировать нельзя в порядочном обществе, не оскорбляя стыдливость. Что касается того, что члены высшего общества разыгрывают грубых крестьян и крестьянок, то, во-первых, нечистое к чистому не пристанет и актеры, играющие злодеев, всегда добродушные люди, во-вторых, члены этого общества разыгрывают не грубые крестьянские сцены, а прекрасную драму первого русского писателя. Это надо помнить.

Теперь о «гадком предмете».

По-моему, «Власть тьмы» вертится около того же «гадкого предмета», около которого вертится «Царь Борис» графа А. К. Толстого, репетируемого теперь на Эрмитажном театре. «Власть тьмы», бесспорно, выше во всех отношениях «Царя Бориса», но о сравнительном достоинстве этих пьес говорить не будем. Важно для нас в настоящем случае только то, что обе они очень похожи одна на другую по своему содержанию. В той и другой пьесе — убийство ребенка. В той и другой пьесе стяжание чужого достояния при помощи преступления и пользование этим достоянием до тех пор, пока совесть не заговорила в преступниках. И не явилось возмездие. Не смущайтесь, что там дело идет о Борисе Годунове, а здесь о крестьянине Никите. Там — блеск, бархат и золото, здесь — бедность, овчина и водка. Но там и здесь люди, там и здесь человеческая душа, способная к преступлениям, к порокам, к раскаянию, к порывам, там и здесь карающая Божья десница. Раскаяние крестьянина Никиты, готового искупить свою вину наказанием, выше раскаяния Бориса Годунова, который кается про себя и мучит и заточает в

тюрьмы всех тех, облучения и совестливости которых он боится. «Коготок увяз — всей птичке пропасть» — эта пословица, которою заключается «Власть тьмы» вполне применима и к Борису Годунову. Одно его преступление ведет ко множеству других и погружает целое государство в массу зол. Оно и понятно: он высоко стоял и далеко, и глубоко отражались последствия его черного дела. Чем выше человек, тем он должен быть нравственнее и безупречнее. В «Царе Борисе» мы видим, как он говорит красивые слова и похваляется тем, что, захватив преступлением власть, он делал и добро. Он оправдывается, как будто на это есть у него какое-нибудь право.

Во «Власти тьмы» такая же драма, но в среде низменной, бедной, грубой; оправдания убийства не отличаются красотою выдуманных поэтом фраз в «Царе Борисе»: они грубы и просты и вертятся на одном, что «никто не узнает». Зато тут, в этой крестьянской среде является честный и богобоязненный старик производящий впечатление благородное и благотворное на зрителей; зато тут сам преступник, в порыве заговорившей в нем совести, не только сознается в своем преступлении, но и берет, на себя преступление двух женщин, из них одна — его мать, другая — любовница. Он — мужчина и чувствует, что ответственности на нем больше, чем на бабах, которых никто не учит и спрашивать с них нечего. Спросите всех видевших «Власть тьмы», всех тех, по крайней мере, которые способны чувствовать и понимать какое впечатление произвела на них пьеса? Глубокое, сильное, поэтому и нравственное. Другого ответа быть не может. Почему же «Власть тьмы» кажется невозможною на сцене? По недоразумению, и вот какому.

Обратите внимание на тот странный предрассудок: все низкое, подлое, преступное, безнравственное, бессовестное, гривуазное — все это мы не только терпим на сцене, но и восхищаемся представлением этого, если все это происходит в образованной или богатой среде, если все это прикрыто бархатом, парчою, шелком, батистом; но если нечто подобное представляется на сцене, как бытовая и правдивая картина жизни низших сословий, мы становимся необыкновенно чувствительны и начинаем кричать о безнравственности.

Что это такое? Лицемерие или искренность? Красивый порок нас не смущает и бессовестнейшую оперетку и нескромнейшую французскую пьесу, едва прикрытую легким флером, мы ездим смотреть чуть не с чадами и домочадцами. Но лапти, полушубки, онучи, водка — мы этого не выносим. Отчего это? Не оттого ли, что здесь порок слишком кричит, преступление слишком ужасно и голо, действует поэтому слишком сильно и мы невольно спрашиваем себя: да неужели и у нас то же самое, но только вылощенное? И мы с отвращением отмахиваемся от этого: не хотим погрузиться в тайники нашего сердца и поискать там добросовестно. Как страшное привидение встает перед нами первобытный, дикий человек, и мы бежим от него, вместо того чтобы поискать его следов в самих себе...

Во «Власти тьмы» множество в высокой степени нравственных изречений, поражающих своею правдивостью; во «Власти тьмы» есть сцены, потрясающие своим трагизмом (2-й акт и 3-й) и наполняющие сердце жалостью и глаза слезами; есть сцены, захватывающие каким-то таинственным ужасом (4-й акт), и последний акт — торжество раскаяния. Я решительно не понимаю как можно видеть в этой пьесе что-либо другое, кроме той любви к правде и человеку, даже падшему, которая отличает все произведения Л. Н. Толстого...

Но я никогда не кончу, если захочу сказать все то, что мне приходит в голову. Мне надо еще сказать об исполнении.

Если я скажу, что это почти не любительский спектакль, то еще не много скажу. Были сцены, разыгранные решительно превосходно, так, как дай Бог сыграть их на хорошем заправском театре. Ансамбль очень хорош; исключения бывали, но столь незначительные, что об них и упоминать не следует; иногда любитель или любительница срывались с тона, иногда замечалась некоторая неловкость или излишняя порывистость, иногда следовало бы кое-что произносить помягче: стариков играли все молодые люди, а потому они-то иногда срывались с тона. Самая неблагодарная и в то же время трудная роль Акулины, трудная потому, что она однотонная, да еще надо сделать это лицо «придурковатым». Г-жа Розенбах очень мило провела эту роль в третьем акте, но, мне кажется, не совсем так следовало ее играть в последнем. Режиссером был г. Давыдов, актер александринской труппы, — и режиссер он хороший, и я к нему обращаю это замечание. Вообще извиняюсь за замечания свои, но пьеса так хорошо разыграна, что гг. любители вероятно не посетуют на меня, ради интереса того прекрасного дела, которое они взяли на себя. Марине следует поработать над первым актом, как и г. Карцеву над первым и третьим. Зато он поистине чудесно сыграл трудный 4-й акт, полный драматического подъема. В гриме не мешало бы ему немножко грубее сделать свое лицо. Вообще же он очень хорошо справился с своею ролью. Г. Сазонов (Петр) с большим тактом и чувством сыграл предсмертную сцену; г. Левашов (Аким) всего лучше был в первом акте. Г. Гурко (Митрич) был хорош вообще и типичен, но кое-где следовало бы быть чуть-чуть помягче. Безукоризненно прекрасно сыграла роль Матрены г-жа Давыдова (жена актера): удивительно верный тон, настоящая фигура, мимика и произношение прекрасные. То же необходимо сказать и о г-же Приселковой, как женщине с решительным дарованием. В третьем акте она поражает глубокою правдивостью исполнения. Перед вами вполне живое лицо, такое яркое и интересное с начала и до конца, что его не забудешь. Вообще с этими двумя лицами пришлось бы считаться настоящим актрисам. Об Оле (Анютка) было сказано вчера. Прелесть что за маленькая актриса. Дай Бог ей здоровья, хорошо вырасти, хорошо учиться и — Бог знает — может быть, выйдет из нее отличная большая актриса. Боже мой, как жаль было эту Анютку в 4-м акте, в сцене с Дмитричем! Бедное деревенское дитя! Эта девочка — чудеснейшее создание Л. Н. Толстого. Кума — ***. Не знаю, кто под ними скрывался. Но любительница эта играла превосходно свою маленькую роль. Да откуда же, милостивые государыни и милостивые государи, вы набрались всего то, что показали нам сегодня? Ведь никто не ожидал такого исполнения. Думали: «любители», и вдруг — такое талантливое и согласное исполнение!

12 (24) января, № 4983

XXXI

Видел я «Бедную невесту» в бенефис М. Г. Савиной, не помню, какой год справляет свои актерские именины даровитая любимица публики. Но эти именины всегда привлекают в театр массу публики, и бенефициантка удостаивается шумных и искренних овации. Вчера ее встретили необыкновенно приветливо и поднесли много цветов и, кажется, несколько тысяч золотыми. Г-жа Савина, играв-

шая роль Марьи Андреевны, села за пяльцы, прежде чем рукоплескания умолкли, и должна была еще несколько раз вставать и благодарить. Затем вызовы после каждого действия и особенно многочисленные после четвертого акта, наилучшего в пьесе. Актриса должна быть довольна, ибо любовь публики к ней выражается так же горячо, как и прежде. Это лучшее удовольствие — сохранить своих старых друзей и нажить себе новых.

Надо ли говорить о пьесе? Многим показалась она устарелой и поблекшей. Правда, мне кажется, в том, что вымирают и исчезают те люди и нравы, которые выводил в своих пьесах Островский, и вымирает то настроение, которое господствовало во время появления этой пьесы. Вместе с тем и актеры потеряли тон этих пьес, всегда бывший к тому же не высоким в Петербурге. Несмотря на то, что лучшие силы труппы явились вчера в «Бедной невесте» (гг. Варламов, Давыдов, Сазонов, Свободин), игра их мне показалась бледной и неинтересной. Ничего нового, ни малейшей детали оригинальной не дали актеры, — они явились теми же, какими я видел их так часто в пьесах, мало похожих по своим нравам на «Бедную невесту». Исчезает быт, актер теряет способность воспроизводить его и руководится только преданием, которое мало помогает без творчества. Признаки же творчества трудно найти в воспроизведении таких лиц, как Беневоленский, Добротворский, Милашин, Хорьков и т. д. Я видел просто актеров в париках, которые говорили непривычные им слова. Один г. Далматов был безукоризненно хорош, даже блистателен, если хотите, в роли Мерича. Но Милашин — человек всех времен и переменяется не по существу, но по модам только, по покрою сюртука и панталон и потому всегда его наблюдать можно. Г. Далматову вообще отрицательные типы весьма удаются.

Что же сказать о самой бенефициантке? Тона простой и наивной девушки, возбуждающей жалость, было мало у г-жи Савиной, или, правильнее, она с него сбивалась. Но отдельные места были у нее прекрасные. Полна поэзии была фигура ее после объяснения в любви с Меричем и полны выражения счастья слова ее и лицо, когда она, прислонившись к дереву, говорит: «Он ушел! Хорошо ли я сделала? Мне и стыдно, и весело» и т. д. В пьесе есть знаменитая сцена, когда Марья Андреевна, покинутая и обиженная Меричем, садится играть в дурачки с Милашиным и истерически хохочет. У г-жи Савиной этой сцены не вышло. Она «смеялась», «хохотала», «задумывалась», как сказано в ремарке автора, но все это было не достаточно выразительно. Но зато следующая сцена, когда Марии Андреевне делается дурно, вышла опять очень выразительна и правдива, и прекрасно сказаны слова: «Что, маменька, хороший он человек?.. Он меня станет любить? Если он меня будет любить, и я его буду любить». Быть может, г-жа Савина не хотела повторять общеизвестного эффекта и перенесла центр тяжести на другое место? Это бывает у актеров и актрис, когда они берутся за роли, в которых публика видела их предшественников. В данном случае г-жа Савина может сослаться и на ремарки автора и формально может быть права. Она изучила роль очень внимательно, она была изящна, иногда правдива и проста, местами очень хороша, но цельной фигуры, за которою вы бы следили с возрастающим интересом, в которой бы принимали горячее участие, актриса — повторяю — мало давала. У Марьи Андреевны все просто и непосредственно, и этим именно она и внушает симпатии. Необходимо прочувствовать этот характер, чтоб передать его вполне.

Несмотря на потерю тона актерами и артистами александринской сцены, «Бедная невеста» имела значительный успех и трогала некоторыми сценами.

Я должен вернуться к «Власти тьмы». Весь Петербург говорит об этой пьесе и об исполнении ее у гг. Приселковых. И если б маленькая зала любезных хозяев обратилась в залу Александринского театра, то и тогда не были бы удовлетворены все желающие видеть эту пьесу. Вот что делает сила таланта. Так или иначе, он пробьет себе путь через тысячи препятствий. Сколько бы пугливых или лицемерных восклицаний не раздавалось — все равно, рано или поздно он возьмет свое. Почти все замечательные произведения русской драматургии несли такую же участь: «Борис Годунов», «Горе от ума», «Ревизор», опера Глинки «Руслан и Людмила».

«Ревизор» явился на сцене только благодаря императору Николаю; он же пропустил в печать и «Бориса Годунова». «Горе от ума» десятки лет играли в обрывках, но и оно пошло, наконец, целиком. Музыку Глинки принимали свысока, но и она стала национальною и любимою. Все нашло свое оценку. Теперь все это перлы русского творчества, гордость русского искусства. Время изгладило самое воспоминание о тех «критиках», которые находили все это или ничтожным, или вредным. То же самое будет и с «Властью тьмы». Прейдут не только князья Мещерские, но целые поколения людей более родовитых, если они не оставят после себя ни «мысли плодовитой, ни гением начатого труда», все их позабудут, позабудут их злость и брюзжание, а «Власть тьмы» будет жить наряду с шедеврами русской драматургии. Чтобы предсказать это, не надо быть пророком, а надо только не бояться признать прекрасное прекрасным, хотя оно и изображает среду, покрытую ситцем и овчинами...

А если б вы знали, как работает злость!

Я прочел в «Гражданине» письмо г. Светского человека о постановке этой пьесы. Я убежден, что это письмо написано самим Мещерским князем. Думаю так потому, во-первых, что этот князь постоянно сочиняет к себе благодарственные письма. Скажет глупость или вздор и на третий день уверяет, что получил письмо от «Благодарного родителя», или от «Русского патриота», или от «Светского человека», которые жмут ему руки и благодарят за глупости, им высказанные. Он сочиняет к себе эти письма не столько из любви ко лжи, сколько потому, что ему неловко оставаться в одиночестве с своим мнением; хотя им же сочиненное письмо, но все-таки оно поддержит его в глазах читателей и его собственных и он почувствует себя бодрее для сочинения дальнейших глупостей. Во-вторых, le style c'est l'homme. А стиль тут несомненно мещерский. В-третьих, если б нашелся Светский человек, который бы решился говорить таким неприличным языком, то это был бы не светский человек, а разве светский лакей, которому стыдно подписать свое имя под дрянными строками. Светский человек помнил бы, что то, что он не имеет права сказать в гостиной, не следует ему говорить и в печати. Я понимаю, что могут быть люди разных мнений, могут быть люди искренно не понимающие значения «Власти тьмы», искренне думающие, что пьеса невозможна для представления на театре. Но искренние люди непременно приличные люди, и аргументация у них совершенно приличная, и они не постыдятся открыто высказать свое мнение и подписаться под ним. С такими людьми можно и должно спорить их же совершенно приличным тоном. Дело стоит спора, ибо вопрос об этой пьесе — вопрос серьезный. Но Светский человек кн. Мещерского есть или он сам, или один из тех светских людей, которые гнусными сплетнями и анонимными письмами погубили Пушкина, те самые светские люди, о которых Лермонтов сказал в своих стихах «На смерть Пушкина», что они «свободы, гения и

славы палачи». Теперь другие, совсем другие времена, и великосветские люди считают за честь читать со сцены стихи того самого Пушкина, в котором при жизни его часть «света» признавала только камер-юнкера и вредного человека и на которого клеветала тем более, что к нему благоволил государь. Но это было давно. Если тогда светских людей этого сорта можно было ненавидеть, ибо они составляли собою грубую, давящую силу, то теперь они поблекли и часто не возбуждают ничего, кроме презрительной улыбки.

Другие времена теперь...

14 (26) января, № 4985

P. S. Один из сотрудников нашей газеты доставил следующие строки о третьем представлении «Власти тьмы» на сцене у гг. Приселковых сегодня: «В числе присутствующих было несколько лиц самого высшего общества. Зала была совершенно полна, переполнены были даже проходы вокруг кресел. Пьесу слушали с величайшим вниманием. Этот общий и живой интерес к драме Толстого лучше всего защищает ее от обвинений в грубости и безнравственности. Исполнение было такое же артистическое, как и в первые спектакли, сделавшись только ровнее, что особенно заметно было относительно пятого акта».

XXXII

На днях я имел удовольствие познакомиться с о. Паисием, которого доселе совсем не знал. Московский литератор, с которым я поехал в Александро-Невскую лавру, чтоб поклониться некоторым мертвым на кладбище, вспомнил о живом, о. Паисии. Мы решились его разыскать и пошли на широкий двор лавры с его аллеями. Встретив трех лаврских дьяконов, шедших по аллее и весело разговаривавших между собою, мы обратились к ним с вопросом: где келья о. Паисия?

— Ашиновца? — возразил дьякон веселым голосом. — А вот там. — И он указал рукою, где эта келья.

Указание было, однако, настолько неточное, что встретив монаха, закутавшего свое лицо в теплый воротник, мы спросили опять: где келья о. Паисия?

— Отца архимандрита? — спросил монах.

Мы заметили это различие. В лавре, вероятно, не один о. Паисий. Для монаха тот о. Паисий, которого мы искали, — «о. архимандрит», духовный чин; для беззаботного дьякона, возглашающего с одинаковым чувством и «многая лета» и «со святыми упокой» — он «ашиновец», нечто низшее о. дьякона, у которого никакой особенной клички нет. И не одни дьякона так легко подводят людей под клички. Попадется словечко, и начинаем мы обзывать им всех и каждого. У нас это особенно любят, ибо мы плохие охотники вникать в сущность вещей. Ни в одной литературе нет столько словечек, под которые подводятся люди и явления. Вали все и всех в один мешок. Стоит ли разбирать? Онегины, Печорины, Собакевичи, Ноздревы, Чичиковы, Репетиловы, Фамусовы, Обломовы, просто приятные дамы, дамы приятные во всех отношениях, ташкентцы, и проч., и проч. — как всеми этими словами мы злоупотребляли и злоупотребляем! Писатель создаст тип, выдумает словечко, жизнь даст какое-нибудь явление, и мы носимся со всем этим целые десятки лет, пишем целые тома, объясняем многоречиво, вертимся в одном и том же заколдованном круге, игнорируя успехи жизни, разнообразие ха-

рактеров и побуждений. Бессмертный тип! — восклицаем мы в книгах, журналах, газетах. Критики всех поколений пережевывают эти типы, с увлечением, достойным лучшего дела, а публика не получает от критиков ни существенных знаний, ни правил для жизни, ни даже биографий своих писателей. Мне кажется, что это явление вредно действует на нашу мысль; она отвыкает самостоятельно работать и анализировать человека, который растет и меняется и требует к себе внимания, она делается ленивою, апатичною, поверхностною, пристраиваясь к общепонятным словам и понятиям. Гнет этих типов велик не только над обыкновенными смертными, но даже над писателями такими даровитыми, как Щедрин. Известно, что он старался обновить типы Молчалина, Чичикова, Загорецкого и написал о них больше, чем авторы, создавшие их, и все-таки не прибавил к ним ни одной существенной черты. Да и в типах ли дело? Дело, мне кажется, в человеке, как он является в современной обстановке, при известных условиях жизни, развития, новых открытий науки и проч. Мне даже кажется, что человек всегда выше типа, ибо он сложнее и поучительнее искусственного собрания разных особенностей, наблюдаемых над многими и соединенных в тот образ, который называется типом. Каждый человек представляет собою характер, и есть, конечно, характеры, далеко отходящие от типов, часто направляющие жизнь и представляющие собою явления весьма интересные, и анализ таких характеров был бы плодотворнее анализа типов, притом вечно одних и тех же. У Льва Толстого, как и у Достоевского, всего меньше типов, и всего больше оригинальных людей, и не оттого ли эти писатели так завоевали душу русских и европейских читателей?..

Слово «ашиновец», конечно, слово бессмысленное, и если дьяконам Александро-Невской лавры простительно его употреблять, то нам следовало бы подбирать выражения более правильные. О. Паисий — человек искренний, простой и умный. Годился ли он в миссионеры в Абиссинию, — об этом ничего нельзя сказать, так как этого не случилось. Но для монаха первое дело — послушание. И он поехал туда, куда призывало его послушание. Не его вина, что дело не удалось; успех все оправдывает, неудача ложится совершенно безвинно в настоящем случае и на о. Паисия. О. Паисий был в высшей степени полезным и деятельным человеком на Константинопольском подворье. После ашиновской истории его водворили в Александро-Невской лавре. Теперь он отправляется в Саровскую пустынь, на покой... на покой, когда он способен еще к энергической деятельности, когда его простое, умное и выразительное слово пригодилось бы для простых людей, с которыми он умеет говорить увлекательно. Он хотел вернуться на Афон, но сан архимандрита, полученный им, кажется, послужил причиною, что это желание его не могло осуществиться. В духовной иерархии, как и в гражданской и военной, высокий чин мешает иногда заниматься тем делом, к которому человек привык, с которым сроднился и на котором еще долго продолжал бы приносить пользу.

Я хотел только указать на судьбу этого человека, не более. В мое намерение не входит подробно говорить о нем, да и не настолько я его знаю, но и это немногое, что я сказал о нем, опасаюсь, что примут не так, как следует. В нашем «христианском» обществе иногда полезнее человеку, когда его ругают, чем когда его хвалят и за него заступаются, ибо только характеры беспристрастные, умеющие судить людей с любовью и снисхождением, охотно берегут полезного человека, не поддаваясь ни похвалам, ни порицаниям и преследуя общественные цели...

23 января (4 февраля), № 4994

XXXIII

В Москве под редакцией доктора Е. А. Покровского, директора детской больницы и автора прекрасной книги о физическом воспитании детей, стал выходить «Вестник воспитания. Научно-популярный журнал для родителей и наставников». Передо мною первая его книжка.

Наши педагогические журналы вообще были мало удовлетворительны, многоречивы и всего меньше годились для родителей. Педагоги, издававшие и издающие их, не ясно определяли себе цели. Они помещали в журналах своих полемические статьи, воспоминания, беллетристические очерки, библиографию, заметки о преподавании и программах разных предметов и пр. Хорошая беллетристика в литературных журналах находила себе приют, а на долю педагогических журналов доставалась плохая и притом специальная. Специальность ее заключалась в том, что педагогические беллетристы или сочиняли тенденциозные рассказы, где, большею частью, обвинялись родители или наставники, или писали столь же тенденциозные воспоминания о своем детстве и годах учения. Всего этого написано у нас многое множество, но «Детство и отрочество» Толстого и «Воспоминания» С. Аксакова остаются лучшими, если не единственными беллетристическими книгами о детстве и отрочестве, хотя явились не в педагогических журналах. Один педагогический журнал обещает и теперь своим подписчикам воспоминания о своем детстве разных литераторов. Если б эти воспоминания явились сами собою у литераторов, они, вероятно, были бы так хороши и искренни, что всякий литературный журнал их напечатал бы. Но заказанные, да еще педагогом, они явятся просто балластом или, в лучшем случае, удовлетворением любопытства родителей и наставников, не дав им ровно ничего, кроме курьезов или допотопных методов преподавания, которые никуда не годятся, разве в сборник анекдотов. Да и зачем беспокоить литераторов, когда дело идет о педагогии, о воспитании, о такой науке, которая требует всего человека и специальных знаний?.

Доктор Покровский взялся за дело иначе. Его журнал — явление совершенно новое у нас, ибо ни один педагогический журнал не ставил вопрос воспитания так солидно, как сделано это «Вестником воспитания». Не педагогика только, но естественно-исторические и медицинские науки в последнее время сделали большие успехи в области познания человеческого организма. Антропология показывает важное значение наследственности; редкие родители с нею знакомы, а между тем, зная свои недостатки физические и нравственные, свое прошлое, они могли бы наблюдать их на своих детях и внимательно относиться к устранению их: то, что у себя они победили силою характера и путем опыта своей жизни и что могло передаться их детям, они могли бы помочь им устранить ранее путем воспитания. Физиология, патология и гигиена в деле воспитания занимают такое же важное место. Под влиянием этих наук вопросы воспитания в последнее время стали представлять огромный интерес всюду, кроме России. С улицы прохожего, даже кончившего гимназию, никто не посадит на поезд железной дороги с тем, чтобы этот прохожий управлял паровозом, а управление человеческим организмом поручается всякому, имеющему какой-нибудь диплом, хотя и совершенно незнакомому ни с анатомией, ни с физиологией, вообще с теми науками, которые необходимы при воспитании. Поэтому г. Покровский

ставит вопрос о воспитании в зависимость не только от педагогов, но и от врачей. «Врач без совета педагога, как педагог без совета врача не могут вполне успешно действовать на почве воспитания детского организма, говорит он, вот почему в деле воспитания компетентность врачей должна иметь такое же значение, как и компетентность педагогов». Кроме того, г. Покровский задачи воспитания связывает с русскими условиями жизни и быта, с русским климатом, так как на севере нельзя воспитывать детей так, как на юге Италии, или даже в Средней Германии.

В первой книжке г. Покровский дал свою статью «Краткие понятия об анатомии и физиологии человека», с рисунками, статью проф. Скворцова «Основные задачи воспитания», статью г. Грингмута «Наши педагоги». «Кто у нас в гимназиях считается лучшим педагогом? — спрашивает автор. — Тот, ученики которого лучше всего отвечают и пишут на экзаменах. Какая жалкая, односторонняя оценка! *Полюбил* ли ученик тот предмет, которому его обучал этот «лучший педагог», о том никто не спрашивает... Большинство учителей вызывают в своих учениках лишь равнодушие или даже прямую ненависть и презрение — как к преподавателю, так и к преподаваемому предмету». Эти слова достаточно рекомендуют идеи г. Грингмута. Очень интересна статья доктора Будзько «Мысли немца об английской школе». Немецкая школа является гораздо ниже английской и влияние школы на физическое развитие учащихся лучше всего иллюстрируется тем, что 88% из окончивших немецкие гимназии оказываются неспособными к военной службе. Не опечатка ли эти 88%? Если не опечатка, то это ужасно. Во всяком случае верно то, что на 2160 часов умственной работы, телесным упражнениям немецкою школою отводится только 80 часов. А у нас считали или еще нет?..

Затем идут критическо-исторические статьи, обозрения педагогических журналов и статей у нас и за границей, мелкие сообщения и хроники. Книжка небольшая, но все в ней написано умно, сжато, со знанием дела, с любовью принести пользу воспитанию. Думаю, что, держась строго этой научной программы, не гоняясь за широковещательными статьями, «идейность» которых трудно уловима в их многоглаголании, «Вестник воспитания» завоюет себе обширный круг читателей.

И как хорошо, что заговорили у нас свободно о воспитании. Нам учиться надо много, но именно потому необходима самая строгая экономия в распределении занятий. Дело не в том, чтоб производить постоянные ломки и переходить от одной системы к другой, а в том, чтоб постепенно создать твердую и многостороннюю систему русского образования, которая поддавалась бы постоянному совершенствованию и жила бы русскими силами и русским просвещенным умом. Думаю, что русское общество достаточно наелось общих мест и так называемых «идей», вращающихся в пространстве, и что оно хочет фактов и знаний, как от своих граждан, так и от журналов.

26 января (7 февраля), № 4997

XXXIV

Не знаю, почему автор только что вышедшей книги «Наши государственные и общественные деятели» оговорился в предисловии, что она — нечто вроде перепечатки газетных статей, преимущественно являвшихся в «Новом Времени».

На самом деле этот ряд биографий, более или менее значительных, числом до 60, и кратких заметок, по крайней мере еще о сотне лиц, является в книге значительно переработанным, иногда даже заново написанным. Так, о финансовых деятелях в «Новом Времени» явилось три фельетона, а в книге о них около 200 страниц.

Я помню то впечатление, довольно сильное, когда явилась в «Новом Времени», в день 25-летия прошлого царствования, сжатая характеристика разных государственных деятелей, принадлежащая автору этой же книги. Это была первая попытка в нашей печати критической оценки лиц, живших еще и находившихся у власти. Критика, конечно, была легкая и благосклонная по большей части, но и она давала впечатление бедности общественных сил. Впоследствии, когда критика стала смелее, в особенности относительно тех деятелей, которые умирали или сходили со сцены, эта бедность талантов и умственных сил обнаружилась еще ярче. Очевидно, и государственные и общественные люди наши делят с русским обществом его еще незначительную культурность.

Есть, конечно, исключения, есть люди таланта, энергии и ума. Я не буду называть их, хотя бы ради того, чтоб не было обидно теням тех, которые составляют им противоположность, которые отличались полною бездарностью или оставляли по себе память не в своем ведомстве, а в постороннем, как, например, граф Гурьев, министр финансов, стяжавший себе славу изобретением гурьевской каши. Бывали и такие, которые и каши не изобрели, хотя в своем ведомстве заваривали кашу, которую приходилось расхлебывать целым поколениям. Это особенно относится к министрам финансов, которые то и дело оказывались ниже своего положения. Но есть еще средний человек, есть хороший и честный работник, как в этой книге, так и в книге нашей жизни и, главное, есть нечто такое, что выше всякого отдельного человека. Это ум всего народа, это предание, преемственность, дух народный. Гениев нет, но есть народный гений. Вреден не серый и средний человек с его обыкновенным умом, с его трудом, с его средними способностями, а вредно умничанье, вредно желание выйти из колен, стать выше других, когда нет ни выдающегося ума, ни больших способностей. Тут именно и делают ошибки и трудно поправимые глупости. Люди власти у нас еще с большим трудом усваивают себе понятие, что они для народа и общества, а не наоборот; что они должны быть скромнее, трудолюбивые и рассудительные обыватели, ибо их умничанье, их капризы, их чванство — больно отдаются на жизни миллионов людей. Говоря о народном гении, я разумею то, чем живет и движется русское государство и что существует издавна, ибо крепко выработано было еще допетровской Русью, которая в новейших исследованиях, особенно такого даровитого человека, как г. Ключевский, является все ярче и определеннее. Ведь не случаем же Русь стала такою широкой и сильной. Маленькая, побитая татарами, окруженная со всех сторон сильными врагами, из которых многие были культурнее ее, поляки, литовцы, ливонцы, шведы, она выбилась, подчинила себе всех и выросла в нечто колоссальное. Говорят: «Грубая сила!» Да ведь одной грубой силой можно «разносить», а не создавать, не сплачивать. Есть наследственный, государственный ум, который проникает отдельного человека и сообщает ему нечто столь твердое и крепкое, что он и при средних способностях и среднем уме является полезным деятелем, если только не мудрит и не умничает.

Прочитывая книгу почтенного автора, написанную умно, со знанием дела, полную интересных фактов и анекдотов, напрасно ищешь типического русского

государственного человека. Надо думать, что новая Русь его еще не создала. Мне кажется, что чем мы ближе к Руси допетровской, тем ярче русский государственный человек, потому что он полон был еще, может быть, односторонними, но крепкими традициями царской Руси. Возьмите петровское время, время Елизаветы, Екатерины. Начиная с александровского времени, русский государственный человек начинает путаться и терять под собою почву. Он не то русский, не то европеец. Что-то срединное: от одного берега отстал, к другому не пристал; трусость показаться не европейцем — с одной стороны, с другой — желание пользоваться благами комфорта и власти делали его бледным и требовали большой затраты сил на интриги и образование для себя так называемого положения. Государственные задачи теряют свою ясность и подчиняются случаю, капризу, влияниям иностранных теорий, которые прилагались к русской жизни очертя голову. Это особенно можно сказать о влиянии экономических западных теорий. Кстати. Говоря о фритредерстве Безобразова, почтенный автор книги приводит следующий анекдот.

Герцог Веллингтон, утомленный в одном из заседаний совета министров слишком длинными рассуждениями лорда Гароуби, с досадою сказал «Милорд! У вас слишком много образования для вашего ума». У Безобразова точно так же было слишком много учености для его головы...

Анекдот этот метко характеризует не одного Безобразова. Наплыв европейских идей был так велик, а знание русской жизни так ничтожно, что естественно русские руководящие головы оказывались неспособными переварить их и сообразить с русскими потребностями и нуждами. А так как европейничанье было в большой моде, то всего выгоднее и легче было совсем не утруждать своей головы и брать готовое из иностранных книжек. Получался, в некотором роде, просвещенный человек, но только в некотором роде. В русскую программу входит даже нелепая идея — спасать Европу от честолюбца, тратить дорогие силы на постройку чужого дома, когда свой собственный нуждался в усиленной работе. Традиции царской инициативы, традиции Боярской думы, сохранившейся отчасти в петровском Сенате, порываются. Сам император Александр I является во главе какого-то странного комитета общественного спасения, чего-то среднего между серьезной затеей и легкомысленной комедией. Потом выступает Сперанский в качестве реформатора, напитанный идеями французской революции в исправленной редакции первой империи, и Аракчеев, в качестве Держиморды, но опять же с реформаторством доморощенного Робеспьера — воспитать русского человека... военными поселениями. Автор книги проводит, впрочем, на Аракчеева другой и оригинальный взгляд (стр. 416).

По-видимому, с того времени русский государственный человек недостаточно еще установился, т. е. недостаточно примирил в себе русского человека с европейцем. Это происходило отчасти оттого, что он замечательно был беззаботен насчет истории, не только общей русской истории, но даже истории своих предшественников. Из наиболее последовательно разработанной части книги нашего автора — о финансовых деятелях (стр. 403—577) — эта беззаботность насчет прошлого особенно ярко видна: некоторые министры финансов повторяли ошибки своих предшественников буквально, очевидно считая себя вправе не знать прошлого или презирая его в своем высокоумии. А высокоумие очень нередко избавляло от всякого труда и знакомства с делом и с Россией.

Потому ли, что традиции военного человека глубже идут в истории нашей, потому ли, что он ближе видит жизнь и людей и шире захватывает действительность, или потому, что военный человек более дисциплинирован и менее имеет времени погружаться в теории, во всяком случае в военном человеке, выдающемся, конечно, больше видишь этой гармонии между русским человеком и европейцем. Он крепче, смелее, определеннее и тогда, когда является мирным администратором, и когда требуется от него инициатива, смелость и настойчивость...

15 (27) февраля, № 5016

XXXV

Несколько детей рассматривали иллюстрированный каталог передвижной выставки. Дойдя до картины Ге «Что есть истина?», они, указывая на темную фигуру злобного и шершавого человека, спросили: «Что это, черт?» Гувернантка, пораженная этим вопросом, поспешила сказать, что это человек, а не черт. «Нет, черт, — возражали дети, — посмотрите, у него лапы». Действительно, конец плаща, упавший на землю, очень походит на лапу какого-то зверя. Посмотрите и убедитесь!

Детское мнение о картине, да еще в цинкографической передаче, не может быть принято во внимание. Но и между взрослыми мнения о ней разделяются. Одни находят картину замечательной, другие — ничтожной и нелепой.

На картине всего две фигуры, Пилата и Христа. Пилат стоит задом к публике, повернув лицо профилем к Христу и протянув к нему руку. Он с пренебрежительной иронией говорит: «Что есть истина?» Христос стоит перед ним, в бедной одежде, спускающейся до полу, так что ног не видно, и заложив руки за спину. Именно таким он кажется, хотя художник предполагает конечно, что у него руки связаны назади. Волосы у Него всклокочены, вид угрюмый, глаза блестят злобой. С одной стороны, богатство, — власть, сытость, с другой — бедность и изнурение. Бедность говорит об истине, богатство пренебрежительно спрашивает: «Что есть истина?» — и уходит, не дожидаясь ответа. В этом смысл картины.

Но почему художнику понадобился Христос, да еще в этом виде? Для яркого изображения тенденции, конечно. Можно было бы вместо Пилата поставить князя Бисмарка в уланском мундире и перед ним социалиста в самом неприглядном костюме и с всклоченными волосами, как их обыкновенно изображают немецкие карикатуристы, и подписать те же слова: «Что есть истина»? Выиграла ли бы от этого картина или проиграла? Предоставляя читателям отвечать на этот вопрос, я только скажу, что картина с этими современными лицами, во всяком случае, была бы правдивее.

Сцена между Христом и Пилатом, где последний спрашивает об истине, находится только в одном Евангелии Иоанна (гл. 18). Марк, Лука и Матфей о ней не упоминают, хотя их Евангелия раньше написаны. Евреи, схватив Христа, привели его к Анне, тестю Каиафы. У Анны один из слуг ударил Христа по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику!» Христос отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» От Анны повели Христа связанного к Каиафе, а отсюда — в преторию.

Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ: если б Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал

им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не дозволено предавать смерти никого… Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтоб свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтоб я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.

Привожу этот евангельский текст, который должен помочь нам разобраться в картине. Евангелия написаны так, как ни одна книга. Необыкновенная простота и объективность изложения, нигде нет ни риторики, ни философии, никакого украшения слога, нигде и тени негодования против мучителей или вообще какого-либо личного мнения авторов. Излагаются одни факты и речи, и картина страстей Господних выходит тем поразительнее и ярче. Христос — сама кротость. Ничто не возмущает высокого спокойствия Его души, полной самопожертвования и непоколебимой веры в ту истину, которую Он проповедует. Величайший идеалист по своему божественному учению, Он идеально велик во все время своих страданий. Его изумительная кротость и самообладание характеризуются Его же словами: «Они не ведают, что творят». Если человек таков среди великих оскорблений и страданий, то душа его проявляется в движениях, в поступи, в лице, в глазах. Даже некрасивые черты лица одухотворяются внутренней красотой проявляющейся великой души. Но Христос был молод, силен и красив, по крайней мере, Он действовал неотразимо всей своей внешностью и ярко выделялся среди учеников своих. Поэтому старые мастера, которые веровали, искали идеально красивых и мужественных черт для Богочеловека. И они были правы. Новейшие художники стали демократизировать самую фигуру и лицо Христа. Они стали вырывать Его из области старых представлений и бросать в толпу, как одного из толпы. Г. Ге пошел едва ли не дальше всех, дав в своей картине очень ординарного рабочего, нечесаного, в бедной одежде, с злыми глазами, с каким-то сумрачным, угрожающим видом. По Евангелию, весь разговор Христа с Пилатом запечатлен спокойствием и достоинством. Христа еще не били, не надевали тернового венца на Его голову, и вся Его фигура, начиная с головы, должна бы сохранять тот вид, когда Он был арестован, если и следовать требованиям реализма. Но для г. Ге недостаточно было бы такого Христа. Ему надо было рабочего, с физиономией самой ординарною и пошлою, ничего не выражающею, кроме злобы, и с волосами человека, валявшегося где-то на сеннике, где его и накрыли. Это не идея, а просто бессилие подняться выше посредственности, бессилие, которое выпирает вперед тенденцию. Идея не только ничего бы не потеряла, если б фигура Христа поражала своим величием, спокойствием и вдохновенною красотою выражения, но выигрывала бы перед этим сытым, про-

низирующим человеком, ничего не понимающим в той «истине», о которой говорят Христос. Пилат, как римлянин, не любил евреев и презирал их религиозное сектантство и их фанатизм. Христос казался ему безобидным идеалистом и если против кого он мог негодовать, то только против евреев, которые требовали казни для таких мечтателей. Он и говорил, что «не находит в нем никакой вины».

Таким образом, Пилат не был противником Христа, не был Его гонителем, не считал Его преступником перед государством. Мало того, Пилат желал Его освободить, как по убеждению своему, как по ненависти к евреям-обвинителям, так и потому, что жена его просила «не делать вреда этому праведнику», которого она видела во сне. Врагами Христа являлись те, которые стояли вне претории, которые не хотели переступить через порог ее, боясь оскверниться перед Пасхою, но не считали осквернением для себя требовать казни Христа. *Те* именно знали учение Христа, его значение и силу, а не этот представитель власти, употреблявший все средства для того, чтоб освободить Христа. Зная это, что же представляет картина? Да только то, что Пилат не понимал, что такое за истина, которую Христос проповедовал. «Я не понимаю, о какой истине Ты говоришь, но пойду к этим презренным врагам Твоим, чтоб говорить в твою пользу, потому что считаю Тебя невинным». Вот в сущности правдивая роль Пилата перед Христом.

Но художник, конечно, не это хотел сказать. Он закрыл свирепую толпу евреев Пилатом, как олицетворением власти, и сделал одного Пилата ответственным. Этого требовала его тенденция. Но и это ему не удается, потому что и Пилат так же тенденциозно условный на картине, как и Христос.

В самом деле, представьте себе, вместо этого жирного Пилата, с лоснящимся затылком, Пилата худощавого и благопристойного, и эти две фигуры, Христа и Пилата, потеряют и тот смысл, который хотел в них вложить художник.

Такова судьба всякого произведения, если оно не художественно, а только условно и тенденциозно. Нет художественного произведения пера, кисти или резца, если оно не заключает в себе большой и благотворной идеи и если идея не вполне гармонирует с формой. Картина г. Ге не удовлетворяет требованиям художественности, ибо идея лезет из картины. Переменить фигуру Пилата, и идея поблекнет. Напротив, если б Христос был изображен, как великий учитель, каким Он является в Евангелии, тогда делайте Пилата каким хотите, худощавым, жирным, благолепным, добродушным, внимательным или презрительным, все равно — личность Христа подавляла бы всякого Пилата и светила бы зрителю своим значением и своею высотою...

21 февраля (5 марта), №5022

XXXVI

26-го февраля 1890 г.

Осенью прошлого года я говорил, что император Вильгельм II «выступил из обычной колеи», что он желает «заявить свою самостоятельность, свою оригинальность», что путешествия его по Европе — дело серьезное, а не шуточное, что он стремится сделаться если не «императором Европы», то императором империи более обширной, чем нынешняя Германия.

Его указ об улучшении быта рабочих относится к числу тех же смелых поступков, как и все, что он проделал доселе. Говорят, что он поднял дело слишком серьезное и рискованное, что успехом оно отнюдь не может увенчаться и что даже князь Бисмарк не одобряет этой его затеи. Но никто не был в душе князя Бисмарка, и все очень хорошо знают, как ловко он играет в политике внутренней и внешней. Князю Бисмарку дорога слава Пруссии. Пруссаки уступают среднегерманцам в даровитости и даже в просвещенности; но зато они превосходят всех немцев в энергии и практичности; в то время, как не пруссаки еще размышляли, примеривали и откладывали разные вопросы во имя, может быть, почтенных идей, пруссаки действовали. Бисмарк — полный выразитель именно Пруссии. Постепенно и неустанно работая, со смелостью и часто бесцеремонностью, которая многих и справедливо возмущала, Пруссия стала во главе Германии, а Германия — во главе Европы.

Князю Бисмарку не может быть безразлично, кому выпадет на долю первый почин международного обсуждения вопроса о положении рабочих. Почин — великое дело во всех вопросах, касающихся огромной массы трудящегося человечества, и его ли упускать такому опытному политику?

Но почему же князь Бисмарк желает стереться в этом важном вопросе? Да просто потому, что умеет стираться, когда нужно, когда того требует престиж императорской власти и самое дело. Он и стерся и даже попал, во мнении многих, в число противников императорских указов. Но, стираясь таким образом, он даже лично ничего не теряет, ибо в свое время он сам расскажет всю правду или расскажут ее близкие ему люди. Стереться в этом вопросе могли заставить его и такие обстоятельства: явись князь Бисмарк инициатором этого дела, оно не могло бы внушать к себе доверия в иных государствах, но не доверять молодому императору, имя которого еще чисто от всяких захватов и оскорблений народного самолюбия, нет никакого повода...

Вследствие всего этого возможно предположить, что князь Бисмарк только по видимому против этой затеи императора. В душе же он находится в полном согласии с императором. В самом деле трудно себе представить, чтоб человек, так последовательно проводивший идеи государственного социализма, человек, еще в начале шестидесятых годов представлявший депутацию силезских рабочих Вильгельму I и, тайно принимая у себя Лассаля, беседовавший с ним о рабочем вопросе, чтоб этот человек был против такого открытого и всемирного, так сказать, обсуждения рабочего вопроса, обсуждения, которое собирает Европу в Берлин, в этот город военных, где приготовлялись доселе только усовершенствованные планы для истребления человечества. Ко всему этому надо прибавить, что князя Бисмарка не может пугать неудачный исход конференции, ибо такие большие вопросы не решаются разом, а почин остается в истории и о нем трубят в тысячи труб...

Некоторые русские думают, что за этим вопросом у Пруссии стоит предательская цель. Мне приходилось слышать мнение, что этот конгресс направлен, косвенным образом, конечно, против России, как и пресловутый Берлинский конгресс. На последнем дипломаты Европы судили Россию за ее победы, на новом берлинском конгрессе будут судить ее, как страну, якобы намеревающуюся поработить Европу и мешающую ее мирному процветанию. Брошюра Стофеля явилась недаром и сделала свое дело в том направлении, какое нужно было немцам. Конечно, судить нас будут не прямо, а косвенно, именно путем объединения

Европы в таком важном для нее вопросе, как рабочий. В европейском рабочем вопросе Россия нимало не заинтересована. Наш рабочий вопрос не таких размеров, как в Европе, и совсем не такого качества. У нас земледельческий вопрос важен, а не фабричный, а в земледельческом вопросе у нас сделано многое такое, чего не сделано нигде в Европе. Таким образом, по самому существу вопроса, мы стоим вне Европы. Но это-то и важно для задних целей нового берлинского конгресса. Существенный европейский вопрос не касается России, но всей Европе он близок, вся она в нем чувствует себя родственною. Не есть ли поэтому Россия нечто чуждое Европе и поэтому враждебное? Нельзя ли отсюда вывести такие же заключения о России, какие подсказал уже Стофель? Во всяком случае, у Европы есть важный общий вопрос и в нем надо сговориться. Над «лигой мира» смеялись. Но вот-де вам доказательство, что она действительно лига мира. Первоначально она сплотила Германию, Англию и Италию в лице правительств и армий, теперь император германский, глава этой «лиги мира», желает-де сплотить народы, то есть наиболее грамотный, считающий, политиканствующий, беспокойный и влиятельный класс населения...

Франция играет в этом вопросе двойную роль: с одной стороны, она думает, что, быть может, представится возможность потолковать об исправлении границ и оттянуть что-нибудь от Германии, с другой, обставляя свое согласие участвовать в конгрессе некоторыми условиями, она оставляет себе лазейку, чтоб в случае неудачи не потерять из виду и дружбу России...

Насколько такое мнение правильно, не берусь решать. Поднятое рабочее дело слишком сложно, чтоб какой-нибудь рабочий конгресс мог не только разрешить его, но даже подвинуть его решение сколько-нибудь заметно. Одно мне представляется верным, что германский император вышел из проторенной колеи конституционной политики, что он хочет быть оригинальным, самостоятельным, даже странным, ибо все это способствует его популярности и обращает на него глаза всего мира. А популярность ему необходима. Он не только ищет ее, он охотится за нею с неослабной энергией. Что бы кто ни говорил, но я доселе продолжаю думать, что воображение его смущает титул и значение императора Священной Римской Империи. Поднятый им рабочий вопрос — первая проба для объединения интересов Западной Европы. Если он, как сообщает сегодня одна телеграмма, предложит разоружение под условием нейтрализации Эльзаса, он произнесет первое слово мира, которое доселе еще не вылетало из его уст.

Произнесет ли он его — увидим, но Францию он пригласил в Каноссу, и она пошла, уверяя себя, что идет туда с гордым челом представительницы чего-то высшего, то есть республики...

Присутствие Франции в Берлине, во всяком случае, признак ее чрезвычайно мирного настроения и нежелания покончить с реваншем. Франция вступает в союз будущей Священной Римской Империи, которая увлечет ее постепенно и незаметно. Депутат Лор в своей речи во французской палате сказал, что центром будущих Соединенных штатов Европы должен быть Париж, а потому не следует уступать это место Берлину. Депутат Лор и его единомышленники могут успокоиться: до Соединенных штатов Европы далеко еще. Западная Европа пройдет еще обновленную и усовершенствованную форму Священной Римской Империи, и Париж, может быть, никогда не возвратит себе прежнего политического значения...

27 февраля (11 марта), № 5028

XXXVII

Я говорил еще прошлым летом, встречая в газетах и в разговорах насмешки над императором Вильгельмом II: «Не смейтесь, господа. Напротив, обращайте серьезное внимание на действия императора!» По его непоседливости, по его страсти к путешествиям, я сравнил его с Петром Великим, не распространяя, впрочем, дальше сравнения. Я много раз говорил, что в его горячей молодой голове теснятся разные планы, может быть, несбыточные, но, во всяком случае, столь яркие, что они должны задавать серьезную работу государственным людям Европы.

То, что я говорил, сбывается. Популярность императора растет, и отставка князя Бисмарка увеличила эту популярность более, чем сама конференция о рабочих. Европа почувствовала облегчение, и молодому императору поют хвалебные гимны даже французы. Франция действительно может радоваться даже радостью г-жи Адан, которая в «Revue Nouvelle» воплощает эту радость в негодование на князя Бисмарка и говорит, что Вильгельм II «прогнал его» (chassé du pouvoir par Guillaume II). «Этот победитель знает теперь унижение побежденного: две слезы, вытекшие из его глаз в то время, когда он узнал, что отставка его принята, отмщают ему за все те слезы, которые пролили мы». Говоря это, г-жа Адан черпает в своем женском сердце слишком много великодушия: французские слезы стоят гораздо больше, по моему мнению. «Revue des deux Mondes» также рад. Падение великана было так неожиданно, что публицистам позволительно сыпать фразами довольно банальными, вроде того, что «тот, который потряс всю Европу, чтобы создать железом и огнем Германскую империю, тот, который держал в своих руках все нити европейской политики, который двадцать лет называл себя канцлером и который еще вчера был все, сегодня ничто в Берлине». Царь Давид давно предвосхитил такие фразы известным выражением: «Видел человека, яко кедры ливанские; мимо идох — и се не бе»...

«Никто выше меня и никого возле меня» — таков был девиз канцлера, по словам г. Вальбера (Rev. des d. M.). Бисмарк любил называть себя «добрым христианином», говорит этот автор, но из христианства он усвоил себе в особенности учение о первородном грехе и потому смотрит на народы, как на злых животных, которые требуют постоянного наблюдения над собою, сдерживания, унижения и наказания. Императору Вильгельму II он позволял путешествовать до утомления, охотиться за зайцами до пролития рек крови, говорить страстные речи за обедами и на смотрах до пресыщения, но идей он ему не позволял иметь. А у императора, как нарочно, идей целый ворох и, сгорая под их бременем, он решился, наконец, сказать своему канцлеру, как свидетельствует автор статьи в последней книжке «The Contemporary Review»: «Князь, вы великий человек... Я почитаю в вас великую историческую личность, но вы — история... Я — новое время!»

И представитель «нового времени» выбрал человека, похожего на князя Бисмарка лицом и характером, именно г. Каприви. На каком-то славянском языке *коприва* значит *крапива*. Некоторые газеты производят фамилию нового канцлера именно от этого славянского корня. Крапива жжется, но такого вреда, как железо, приносить не может, а потому если б кто, желая остротою отделаться от серьезного положения вещей, и назвал нового канцлера крапивным, это все-таки мягче и человечнее, чем железо. Не выходя из области шутки, можно ска-

зать, что лига мира стала теперь еще согласнее, ибо в Австрии — Кальноки, в Италии — Крispи и в Германии — Каприви; буква К начинает все три фамилии людей, занимающих первое место в своих государствах после королей и императоров. Но если взять все буквы этих трех фамилий, не составишь фамилии Бисмарка, именно не хватает двух букв, Б и М; имя Вильгельма дает букву М, а имя Гумберта и букву Б. Только из трех фамилий и двух имен короля и императора можно составить фамилию Бисмарка. Шутку, однако, бросим.

Что же будет, господа? Прошла ли гроза, или начинается новая?.. Что будет делать далее беспокойный император?

Он именно «беспокойный» император, и это-то и служит причиною смущения для государственных людей Европы. К Бисмарку применились все. Дипломатам Бисмарк служил даже оправданием в их неудачах. Разве можно соперничать с Бисмарком, разве можно его обойти? Существование железного канцлера как бы покрывало собою существование недаровитых и недеятельных его соперников. Но император — сфинкс. Одно только в нем и определенно — беспокойность, подвижность. «На всех парах вперед»! Это страшно. «Так угодно Богу». Это еще страшнее, ибо ведь на Бога легко ссылаться...

Я в одном убежден, что император еще не закончил круга своих путешествий. Еще прошлою осенью я говорил, что он поедет и в Азию, и в Африку, и в Америку, и вероятно в Австралию. И не поручусь зато что он не захочет прокатиться по России, с севера на юг и с запада на восток. Ему это ничего не стоит. Кровь у него кипит, голова горит — «он жить торопиться и чувствовать спешит!». Европу он видел, надо видеть и Азию, прокатиться по степям, по сыпучим пескам, сделать визит богдыхану. Летом он будет путешествовать, так как это не противоречит его программе «на всех парах вперед». К зиме он выдумает новую конференцию или какой-нибудь пассаж, который удивит всех...

Беспокойные люди больше всего способны удивлять и поражать. Они как будто не по нашему времени, утомленному, рассудочному, погруженному в ежедневные, мелкие работы. Но число вещей, которыми можно поразить и удивить, ограниченно, а потому надо спокойно переждать период удивления, и не засыпать ни на минуту, и всегда быть готовыми встретить удивителя бодро и смело. Что делать? Надо мериться, не мириться, а мериться с людьми и событиями. Император Вильгельм II, очевидно, уже запрягся в колесницу XX века и хочет упредить события, начав «новый» век десятью годами раньше.

Я стар, но молодая энергия увлекает меня, и я невольно слежу за развитием этого человека, в котором есть что-то таинственное, фантастическое, как в сказках его соотечественника Гофмана. Словно для конца этого века, запечатленного спиритизмом, гипнотизмом, телефонами и фонографами, требовался и таинственный человек, который беседует с звездами и, прозревая в их тихом мерцании грядущие события, верит в видения и чудодейственность...

Раз мы с читателем попали в круг отходящих и нарождающихся геннев, действительных или сомнительных, все равно — кончим несколькими строками о роли геннев в истории.

Гёте в разговоре с Эккерманом сказал: «Мы, немцы, люди будущего. Почти два века мы усердно работали в пользу нашей культуры, но еще пройдет века два прежде, чем наши сограждане будут иметь столько ума и высшей культуры, что о них можно будет сказать, что они уж давным-давно были варварами». Гете,

таким образом, не признавал немцев вполне культурным народом. Действительно, для культуры еще мало того, что люди много учатся и много знают; необходимо, чтобы культура говорила всеми сторонами народного быта. Можно много учиться и много знать и все-таки не быть культурным человеком, ибо многому научиться может и варвар.

Недаром у нас, русских, привилось слово «интеллигенция», которым в Европе совсем не обозначается никакого слоя населения. Почему же так быстро и охотно мы усвоили себе это слово? Потому, что у нас культурных людей чрезвычайно мало, мало и образованных людей. Вот и пошла интеллигенция, что-то среднее, неопределенное, прикрывающее собою всякий груз. Не то третье сословие, не то Бог знает что — ни рыба, ни мясо. Говорю это для того, что культуру невозможно смешивать с интеллигентностью.

Ренан говорит о задаче культуры так: «в сумме цель человечества заключается только в том, чтобы воспитывать великих людей... ничего, кроме великих людей. Спасение придет через великих людей». Флобер в письме к Ж. Санд говорит почти то же: «дело не в том, чтоб несколько крестьян научились читать и писать, а в том, чтоб таким людям, как Ренан и Литтре, жилось хорошо». Поклонение аристократии ума. Один из даровитых немецких последователей Шопенгауэра сказал: «Когда царствует культура? Когда люди известного общества постоянно работают над тем, чтобы вызвать существование великих людей. Из этой высочайшей цели рождаются все другие. А какое состояние всего далее от культуры? То состояние, в котором люди инстинктивно и соединенными силами затрудняют пришествие великих людей, частью препятствуя вспахиванию почвы, что необходимо для того, чтобы вырастали гениальные люди, частью упорно борясь со всяким гением, нарождающимся среди них. Такое состояние еще дальше от культуры, чем чистое варварство».

Это положение так хорошо, что его можно проверить историей всякого народа...

25 марта (6 апреля), № 5054

XXXVIII

Есть ли у меня «большое имение около Феодосии?»

Кому это нужно?

Помилуйте, вопрос государственной важности. Можно сказать, даже государственные люди интересуются им и якобы спрашивают: «Есть ли у Суворина большое имение около Феодосии?»

Да зачем это нужно?

Как зачем? Если у меня есть «большое имение около Феодосии», то не только «Новое Время» не имело права писать в пользу Феодосии, но и самая Феодосия поэтому подозрительна. Может быть, даже там и моря никакого нет и порта там никакого устроить нельзя, а просто Феодосия — это выдумка «Нового Времени», у издателя которого есть там «большое имение», да еще феодосийского «царька», И. К. Айвазовского. Они вдвоем и выдумали Феодосию.

Этими соображениями занимается г. Посторонний в «Московских Ведомостях» и князь Мещерский в «Гражданине».

Я должен удовлетворить это любопытство государственной важности, просто в интересах Феодосии. Если знаменитый граф Воронцов возненавидел Феодосию за то, что она его обедом не угостила, то теперь хотят навлечь гнев на Феодосию за то, что там у меня «большое имение».

Непостижимо!..

Около Феодосии, на морском берегу, у меня есть участок земли, *менее десятины,* на котором я построил дачу исключительно для себя, в 7 комнат, с подвалом и кухней. Таково мое «большое имение». Теперь имела ли право газета, издаваемая мною, помещать статьи в пользу Феодосии или она должна была молчать? Вопрос именно так ставится. Если «большое имение», то не имела права, ну, а если маленькое?..

Не соберет ли «Гражданин» у себя новое совещание для решения этого государственного вопроса?..

Я иногда себя спрашиваю: во сне или наяву я живу? Так некоторые явления меня удивляют. Я издаю газету. Имею ли я право говорить о других газетах? Я издаю книги. Имею ли я право говорить об издателях книг? У меня дом в Петербурге. Имею ли я право говорить о выгодах Петербурга? Я пишу пьесы для театра. Имею ли я право говорить о театре? Все это вопросы. Недавно одна газета сказала, что я не имею права говорить об «Энц. Словаре» гг. Андреевского и Ефрона потому, что два года тому назад сам собирался издавать «Энциклопедический Словарь». Извините, господа, я считаю себя вправе говорить то, что я говорю, я даже считаю себя в праве издавать «Энциклопедический Словарь»...

Если б дело ставилось иначе, то я бы сказал: да имеют ли право министры отстаивать свои мнения? Ведь они же люди, а не ангелы с крыльями и «по небу в полуночи» не «летают», а ходят или ездят по земле, имеют свои знания, убеждения и даже пристрастия. Покойный граф Д. А. Толстой имел пристрастие к людям родной своей Рязанской губернии, потому что он их знал лично и мог о них судить. Каждый министр знает какое-нибудь место в России лучше других, потому ли, что там у него имение или потому, что он управлял губернией. Неужели этот министр, когда поднимается вопрос, имеющий специальную важность для того места, которое он знает, ответит в совете министров:

— Я слишком хорошо знаю это место, а потому считаю долгом беспристрастия молчать.

И когда об этом месте будут сообщать несправедливые мнения его товарищи, он ограничится тем, что будет думать про себя: «это несправедливо, это не так, но долг беспристрастия... и я молчу. Пусть сделают ошибку, но я обязан молчать...»

Признаюсь, я бы не мог понять этого молчания. Молчание обязательно только тогда, когда ничего не знаешь...

Редакции газет — те же министерства, но гласные. У нас свои специалисты, свои компетентные люди; когда мы не знаем чего-нибудь, мы посылаем на место корреспондентов, советуемся со знающими людьми, наконец, даем место мнениям противоположным, чтоб выяснить вопрос со всех сторон.

Так разбирали мы вопрос о Феодосии и Севастополе.

Для меня лично гораздо выгоднее, если в Феодосии не будет порта, с его шумом, с его портовым людом, с его грязью, которою он засорит все море и сделает и дачную жизнь, и морское купанье в Феодосии немыслимыми. Для меня

лично, как и для всей Феодосии было очень важно, когда И. К. Айвазовский подарил свою воду городу, но от порта — храни меня Господь!..

Но я имею право говорить о том, что я знаю, такое же право, какое имеет всякий министр говорить о том, что он знает. И когда говорят, что не только Феодосия с плодородным и черноземным уездом, но вся восточная половина Крымского полуострова заброшена, третируются, как пасынок России со времен графа Воронцова, то на это бессмысленно отвечать: «у него там большое имение», чего нет, или: «у него там дача», или «там царек Айвазовский». Да этот царек только благодетельствовал своему родному городу и от него ничего не получал и не получает, кроме словесных благодарностей...

Почему севастопольский городской голова г. Еранцев живет в Петербурге, составляет записки, собирает заседания Общества содействия, собирает заседания у князя Мещерского, ездит ко всем влиятельным лицам и убеждает их в пользу Севастополя, почему его не заподозревают в пристрастии? О, он истинный патриот, потому что он севастополец. Правда, ни он, ни фирма Дрейфуса и Комп., арендующая все хлебные склады, крови своей не проливали под Севастополем, но они имеют свои дома и торгуют на месте крови, пролитой всей Россией, а потому и патриоты, как бы Мнины и Пожарские... Г. Посторонний в «Московских Ведомостях» так и гудит хвалы г. Еранцеву и лицемерные слагает вирши о патриотизме...

Меня этот спор интересует, как нечто такое, что стоит как будто вне всяких практических соображений, нечто такое, что обсуждается с какой-то фразистой стороны и со стороны «дачников». Против севастопольских бухт никто ничего не говорил: они превосходны. Говорят о непригодности Стрелецкой бухты, ставят параллель не между Севастополем и Феодосией, а между Феодосией и Стрелецкой бухтой. Но и это не патриотично. Патриотично только то, что связано с интересами Севастополя!

Дай Бог, чтобы это было патриотично. Но ведь и «шапками закидаем» считалось патриотичным. На деле, к сожалению, вышло не так. Говорю «к сожалению», потому что шапок было бы не жаль.

Чем бы этот вопрос ни кончился, — но спор, им поднятый, не был бесплоден: он выдвинул вперед экономические интересы восточной стороны Крымского полуострова, которые будут уважены каким-нибудь способом, как бы севастопольцы ни кричали, что это подорвет их...

Что касается порта, то надо выбрать и строить его не для гг. журналистов, не для г. Еранцева, не для Дрейфуса и К°, не для г. Дуранте, не для севастопольцев даже и феодосийцев, а *для русской торговли.* Порт надо *для России,* и в этом весь практический смысл вопроса, все его значение и весь патриотизм. Другого патриотизма здесь нет и быть не может...

22 апреля (4 мая), № 5080

XXXIX

С. С. Татищев был в Болгарии и говорил с г. Стамбуловым. Реляцию его путешествия я читал с удовольствием на берегу Черного моря. С не меньшим удовольствием читал я и нападки на г. Татищева, ибо они, заключая в себе много

злобы и инсинуаций, говорили в его же пользу. Для меня несомненно, что г. Татищев говорил только правду, только то, что он действительно слышал из уст иностранных консулов и из уст гг. Стамбулова, Муткурова, Петкова и проч. Если что он скрыл, то это говорило только в пользу такта г. Татищева, не желавшего компрометировать болгарского премьера перед его князем. Несомненно, что г. Стамбулов говорил с г. Татищевым, конечно, с ведома князя, но несомненно также, что г. Стамбулов передавал князю разговор свой с г. Татищевым в своей редакции, довольно далекой от истины. Болгарский князь, со своей стороны, конечно, не так глуп, чтоб вполне поверить этой редакции г. Стамбулова. Самое меньшее, до чего он мог додуматься, заключается в том, что он взял середину из показаний гг. Татищева и Стамбулова и во всяком случае не был доволен приездом в Софию г. Татищева и его разговором с своими министрами. Мне это известно из источника достоверного. После обнародования статей г. Татищева, между князем и г. Стамбуловым произошла довольно горячая сцена. У г. Стамбулова было, как уверяли меня, намерение остаться на почве правды по отношению к г. Татищеву, но объяснение с князем заставило его сойти с этой почвы и уверять, что будто г. Татищев выдавал себя за посланца русского правительства и что единственно поэтому он вступил с ним в разговор.

Замечу следующее. Еще летом 1888 г. г. Татищев предложил мне, как издателю «Нового Времени», съездить в Болгарию с целью на месте узнать положение страны. Я принял это предложение с удовольствием, и сделано было все для осуществления этой поездки. Но некоторые обстоятельства помешали г. Татищеву привести в исполнение свое намерение тогда же, и поездка была отложена до более благоприятного времени. Таким образом, г. Татищев явился в Болгарию представителем общества, по собственной инициативе, как совершенно справедливо говорил он и в своих статьях. Участие газет и частных лиц в политических вопросах дело совсем не новое и часто давало плодотворные результаты. Даже в том случае, если частные люди или газеты не согласны с руководящей правительственной политикой, их усилия могут открыть такие стороны предмета и такие пути, которые могут быть полезны и правительству. Г. Стамбулов вовсе не такая величина, что не способен подчиняться господствующему обычаю, т. е. говорить более или менее откровенно с русскими людьми, с журналистами, явившимися к нему по собственному желанию. Ему несомненно приятно было вести эту беседу и, быть может, решаясь видеть г. Татищева, он давал себе слово быть осторожным, хитрым, непроницаемым, но беседа становилась горячею, пылкою и невольно увлекала: при всей своей хитрости, славянская натура обнаружилась — и г. Стамбулов заговорил начистоту. Это так естественно, что ни один славянин не поверил г. Стамбулову, что будто г. Татищев приписал ему то, чего он не высказывал. Г. Стамбулов дошел даже до того, что отрицал разговор свой с г. Татищевым наедине. Он, вероятно, полагает, что министрам больше верят, чем журналистам...

Говорю это по поводу письма г. Каульбарса к г. Татищеву, которое помещается в этом номере. Г. Каульбарс обратился ко мне с просьбою поместить это письмо в «Новом Времени». Исполняю это тем охотнее, что в письме есть факты, которые доселе не были известны, например, желание Фердинанда Кобургского вступить на болгарский престол, прежде чем Баттенберг принужден был оставить его. Баттенберг еще царствовал, а уж Фердинанд учился по-болгарски и подписывал свое имя в письмах по-русски, прося г. Каульбарса замолвить за него словечко в Петербурге.

Г. Каульбарса многие упрекали за ошибки во время памятной его миссии, за недоверие к людям, которые могли и готовы были от всего сердца помочь ему, и т. д. Настоящее письмо его выясняет, по крайней мере, один пункт, именно сношения его с г. Стамбуловым

22 октября (3 ноября), № 5262

XL

«Князь Игорь» — опера патриотическая в лучшем смысле этого слова. Никто из музыкальных критиков этого не сказал, вероятно, потому, что в музыке не бывает патриотизма. Музыкальные критики притом осуждают более или менее либретто и находят, что вообще «Слово о полку Игореве» не драматично. Сам композитор, Бородин, был отчасти такого же мнения, как это видно из статьи М. М. Иванова. Нет драмы, нет движения и т. д. Я, в этом отношении, еретик. Не говоря уже о «Слове», которое полно драматизма и одушевления, по-моему, и в «Князе Игоре» много драматизма и даже движения, благодаря чрезвычайно даровитой музыке, которая захватывает вас и возвышает душу, настраивая ее на благородные порывы и заставляя принимать горячее участие в судьбе героев. В «Руслане» ведь тоже нет того драматизма, о котором толкуют. Это просто несуразная сказка, положенная на гениальную музыку. Я не могу верить, что Черномор похитил Людмилу, не могу скорбеть, что она находится в замке Черномора, к самому Черномору могу относиться только, как к комическому лицу. Самая поэма Пушкина, из которой выкроен «Руслан», есть вещь совершенно ничтожная в ряду других произведений великого нашего поэта. И, однако, «Руслан» — превосходная опера. Чарующая музыка облекает эту сказку как бы в драгоценную порфиру с бриллиантовой короной, и мы слушаем ее с радостным, живым и гордым чувством. А есть русские оперы, написанные на драматические либретто, и ровно ничего не стоящие. Ведь в опере первое дело — музыка: она должна увлекать меня, она должна волновать меня, радовать, печалить, давать наслаждение, а вовсе не слова и положения. Она же, музыка, должна рисовать мне характеры и выдвигать мне идею композитора.

И музыка Бородина все это делает, на мой взгляд, конечно, который я никому не навязываю: она дает характеры, положения, драматизм, патриотическую идею. Она не только популяризирует лучшее произведение нашей древней поэзии, но трактуя не сказку, а быль, она сумела сделать эту быль живою, яркою и назидательною. Личного драматизма в опере мало, т. е. драматизма завязки и развязки, столкновения отдельных характеров, но она проникнута драматизмом общественным, народным и в этом отношении прямо примыкает к «Жизни за царя». Я не сравниваю Глинку с Бородиным, гений с талантом. Для меня несомненно только, что, слушая «Игоря», я чувствую, что нахожусь в той же области творчества даровитого русского человека, где Глинка набросал целую гору музыкальных перлов и открыл широкую и совершенно новую дорогу для своих преемников, из которых Бородин достоин своего образца. Слушая «Игоря», я проникаюсь сознанием, что только истинный, глубокий талант мог понять, сколько драматизма, высокой любви к родине и сколько благородства и душевной силы в таких русских характерах, как Игорь и Ярославна. Только глубокий

талант мог понять, что всякое шаблонное отношение к этому сюжету «Слова» будет ходульно и фальшиво, что торжество патриотизма не всегда заключается в победах, в льстивых фанфарах и в унижении своего врага.

Ничего бы не стоило сделать пребывание Игоря в плену у половцев даже физически тяжким; дикий хан мог бы измываться над ним, оскорблять его преднамеренно, сделать ему жизнь невыносимою своею местью, диким своим произволом. Это было бы даже натурально, и такие явления бывали. Ничего бы не стоило и окончить оперу победою бежавшего Игоря над врагом и общим победным ликованием. Обыкновенный талант так бы и сделал. Но Бородин именно этого и не сделал.

Да и для чего это? Что нам теперь половцы? Ровно ничего. Народ, исчезнувший совершенно. Что за благодать такая выросшему, большому народу, с которым мир считается, вспоминать свои победы и представлять современной публике пораженным и уничтоженным какой-то народец, который делал много зла нам почти тысячу лет тому назад? Не лучше ли вспомнить, как наши предки обострялись об него свое мужество, свое терпение, учились побеждать и укреплять Русь? Не лучше ли показать любовь к родине в почетном плену, среди забав и комфорта у хана, который любит пленника, у хана, который готов дать ему все, и соколов, и коней, и охоту, и красавиц, и который сам увлекается доблестью своего врага? Свобода, конечно, дорога, но неволя тем сноснее, чем лучше обставлена. Но Игорь — не Наполеон III в Вильгельмсгее, готовый на все уступки за власть: когда хан предлагает ему свободу с тем, чтоб он обязался не воевать против него, — Игорь прямо говорит, что, получив свободу, он тотчас пойдет на половцев. Игорь думает только о родине, о жене, о свободе, о том, чтобы оправдать себя перед Русью новыми подвигами. И летопись так его рисует и влагает в уста его почти те же слова, что либретто. Бородин не выходил из области исторической правды, рисуя Кончака искренно расположенным к Игорю. Игорь действительно пользовался, по летописи, известной долей свободы у Кончака, ездил на охоту, имел при себе служителей и даже священника. Летописная правда в этом отношении совершенно совпадала с требованиями правды художественной и с идеей композитора — сделать эту старую историю более современной, более гуманною и понятною, и придать характеру Игоря тем большую выпуклость и симпатию.

Говорю это я отчасти потому, что мне случилось слышать, что в опере русские хуже, чем половцы. Вероятно, говорят это балетоманы, которые увлекаются половецким танцем. Но ведь танцы эти сочинены в 1890 году, под руководством дирекции императорских театров, которой, как и нам, совершенно неизвестно, как у Кончака танцевали, а потому этот аргумент в счет не идет. Далее, Кончак выставлен, как великодушный и отважный дикарь, но куда же ему идти в сравнение с Игорем? Он мало понимает любовь Игоря к родной стране и жене и с хохотом предлагает ему идти с ним вместе на Русь и сажать на кол и казнить противников. Симпатично выставлена Кончаковна, или Свобода Кончаковна[1], в своей любви к Владимиру Игоревичу.

---

[1] Так она названа в родословной таблице, приложенной к первому изданию «Слова о полку Игореве» (Прическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославовича. М., 1800).

Но исторически известно, что она вышла замуж за Владимира и приехала с ним к Игорю через два года с ребенком Изяславом (впоследствии овладевшим Киевом при помощи половцев). Она забыла все прелести половецкой жизни и отца и предалась более культурному человеку. Под ее влиянием и половчанки так милостивы к русским пленным. Но половцы затем остаются кочевниками и грабителями. Они только и знают, что думают о добыче и грабеже, делят добычу и собираются на добычу. У русских побуждения гораздо выше. Их прельщает слава, удаль, их побуждает любовь к родине, которую они хотят видеть безопасною от набегов кочевников. Воротясь из похода, русский князь, по образному выражению летописца, «утирал мужественный пот за отчизну свою»... А пьянство русских? — возражают мне. Об этом пьянстве все критики говорят. Но уж не говоря о том, что пьют и теперь еще больше, что половцы напиваются допьяна кумысом и что все это исторически верно, я нахожу, что постановка пьяной сцены (1-я картина 1-го действия) неудовлетворительна. Водка тогда еще не была изобретена (помнится, она явилась в Москве только при отце Грозного), и народ пил мед, брагу, вообще напитки менее пьяные, чем водка, а потому чрезмерное опьянение гудочников совершенно неестественно и есть грубое и нелепое поклонение реализму[1], которое совсем не к лицу императорской сцене. Все надо делать в меру и не сваливать вину с больной головы на здоровую. А то критики постановку возносят до небес и все валят на композитора. Г. Соловьев, автор «Мести», даже так выразился, что если, мол, после этой бесподобной обстановки и таких несравненных артистов (ох!) опера не будет иметь успеха, то виновата будет музыка. Конечно. Но авось «Игорь» переживет «Месть».

Вообще Бородин остается верным истории во всех характеристиках. Князь Владимир Галицкий и по истории нахал, кутила, бабник, выгнанный отцом своим, изгоняемый князьями и нашедший приют у Игоря, женатого на его сестре[2]. За исключением сцены пьянства, возведенной в перл реализма постановкой, в которой вообще немало пробелов, русская часть оперы дышит патриотизмом и благородными чувствами горя и радости. Характеры Игоря и Ярославны безукоризненно благородны. Население, провожающее своего князя в поход и встречающее его, полно чувства гордости своим властителем. Женщины возмущаются нахальным поступком князя Владимира, овладевшего какою-то девицею насильно, и приходят просить его отпустить ее, потом жалуются о том же княгине Ярославне, что хотя и не в опереточных нравах, которые так многие любят в жизни и на сцене, но отвечает древнему быту. Боярство, являющееся к Ярославне с известием о плене князя, ведет себя мужественно и крепко стоит за родину. Когда вслед за этим приходят сказать, что подошли к городу половцы и зажгли пригороды, драматическое положение княгини и города, без князя, изображает-

---

[1] Г. Стравинский делает это; ради той же грубости, он является с выбитыми зубами — русские крестьяне сохраняют свои зубы в блестящем виде до глубокой старости. Кому угождают артисты, даже такие даровитые, как г. Стравинский, этим грубым реализмом?

[2] Судьба его очень интересна. Лишенный отцом наследства, он, однако, при помощи бояр овладел Галичем, отнял у какого-то попа жену, прижил от нее детей, был выгнан из Галича, пробрался в Венгрию к королю Беле, который овладел Галичем и заточил Владимира вместе с попадьей на столпе; Владимир бежал со столпа по веревочной лестнице, пробрался к Фридриху Барбароссе в Германию, Фридрих послал его к польскому Казимиру, который и водворил его князем в Галиче

ся в музыке таким подъемом мужественного отчаяния, возвышающего душу, что этот финал производит глубочайшее впечатление.

Да, это патриотическая опера, близкая сердцу всякого русского, и патриотизм этот не кричащий, не фразистый, не победоносный, а тот естественный, необходимый и благородный патриотизм, которым делалась Русь и возрастала и за который народ славил князей и дружину. Верный этой идее и истории, художник-композитор, более чем беспристрастный даже к врагу, и финал оперы строит оригинально при помощи гудочников, служивших Владимиру Галицкому и испугавшихся неожиданного явления князя. Превосходная комическая сцена, вызывающая искренний смех в публике, постепенно переходит в гимн торжествующей радости при виде возвратившегося из плена Игоря. Чувство народное, незадолго перед этим выражавшееся щемящим, изумительным по силе и оригинальности хором, разом выросло, все ожило, и этой сценой кончается опера. Лучшего конца и не надо, ибо апофеоз оперы — современная Русь, вышедшая из стольких испытаний победоносною и сильною, та Русь, которая слушает теперь и будет долго слушать эту родную музыку, прославляющую князя Игоря, храбрую дружину его и верную княгиню...

30 октября (11 ноября), № 5270

XLI

«В области науки мы еще не имели ни Пушкина, ни Гоголя, ни Глинки». Москва должна создать свою вольную академию, в сознании своего призвания, так как на реформу Петербургской Академии наук надежда плоха. Эти слова сказаны проф. В. И. Ламанским в обширной статье, открывающей первый номер нового журнала «Живая Старина». Журнал этот издается Этнографическим отделением императорского Русского Географического общества. Статья г. Ламанского так хороша, правдива, убедительна, с таким знанием и беспристрастием написана, что должна быть прочтена всеми, кому дороги успехи русского просвещения. Прежде всего, он касается вопроса о наших толстых журналах, насколько они современны и удовлетворяют потребности публики. История этих журналов почтенна. Все крупные и средние таланты, представители нашей поэзии и художественной прозы, прошли в публику через журналы. Но главная сила журналов заключалась и заключается в отделах изящной словесности, русской и иностранной, и литературной критики и библиографии. Что же касается серьезных и научных статей, то их всегда было немного, и они придавали «лишь отвлеченной важности журналу, не прибавляя ему новых подписчиков и даже внушая некий страх огромному большинству читателей... и в иных местностях они так и называются *нечитательными*». Так как журнал не только литературное, но и коммерческое предприятие, то естественно, что издатель зависит от читателей и предлагает им то, что они желают, так сказать, вводить в свой духовный организм. Автор статьи рассчитывает, что за последние полвека Россия истратила на ежемесячные журналы до восьми миллионов рублей. «Как бы мы ни возвышали и ни преувеличивали заслуги и значение журналов, все же нельзя отрицать, что, затраченный на них в последние пятьдесят лет капитал слишком несоразмерен с

принесенною ими пользою русской литературе и образованности». Если б отделить из этих восьми млн. руб., хотя бы два млн. руб. и расходовать их ежегодно в течение пятидесяти лет на издания, например, Энциклопедического словаря, целой серии основных хороших книг по разным отраслям знания, дельных иллюстрированных изданий, посвященных описанию разных краев России и проч., наши издатели литературно-научных журналов получили бы больше выгод и оставили бы по себе добрую, заслуженную память в истории русского просвещения».

В краткой заметке я не могу долго останавливаться на аргументации уважаемого профессора в пользу «новой *эволюции*» наших ежемесячников. Аргументация эта и подробна, и интересна. Г. Ламанский проповедует журналы потоньше как во Франции, Германии и Англии, посерьезнее и подешевле. «Мы настаиваем, — говорит он, — на крайней необходимости для русского просвещения возможно большего размножения изданий, служащих не только для развлечения и рассеяния или развития и укрепления известных направлений (в этом отношении едва ли не пригоднее ежедневные или еженедельные газеты), сколько для целей самообучения и самообразования».

Что касается «развития», то оно у нас преобладает над знанием. Знаний именно нет, и наука считается нужною только для ученых. Недостатки нашей молодежи и вообще общества заключаются, с одной стороны, «в отсутствии или слабости у нас преданий, традиций, в неуважении к живому народному обычаю, к свободе и разнообразию жизни, к живой старине, в легкомысленном непонимании, что жизнь общественная и народная бывает здорова и правильна только при непрерывности внутреннего развития, без внешних ломок и насильственного нарушения народного обычая, в малом знании, наконец, России, ее прошлого и настоящего». Г. Ламанский горячо призывает нас к обогащению литературы для народа и изучению инородцев. Петербургская Академия наук, немецкая по своим преданиям, через своих членов немцев давно вошла в непосредственные сношения с инородцами нашими, латышами, литовцами, эстами, с турко-татарами и монгольскими инородцами и «стала издавать на немецком языке и с немецкими объяснениями грамматики и словари этих наречий и памятники их народной словесности», и «в образованных наших инородцах уже начало слагаться воззрение на русских, как исключительно на военных, чиновников, полицейских, на русский язык как на язык власти, а на немцев как на ученых просветителей и покровителей их народности, а на язык немецкий в России как язык свободы, образованности и науки». Значительная масса работ и трудов по исследованию России задумана и совершена у нас не учеными русскими, а иностранными, преимущественно приглашенными в Россию, а также остзейскими, петербургскими и вообще русскими немцами. Почти все их труды о России изданы по-немецки и принадлежат не русской, а немецкой литературе. «Печатание по-немецки этнографических и лингвистических трудов касательно азиатских и европейских инородцев на счет государственный *считаем крупною государственною ошибкою. Отказываемся верить* и скорому преобразованию нашей Академии в русскую, ибо признаем силу привычек, традиций и известных кровных сочувствий. Мы полагаем, что оно всячески не совершится, *пока Москва, в сознании своего призвания, не объединит известным образом различные, состоящие при Московском университете, ученые общества и не создаст у себя вольной, без жалованья, без чинов и орденов, без казенных квартир, но одаренной большими средствами для изданий и всякого рода ученых предприятий Академии*».

Эта мысль, если не ошибаюсь, впервые является на свет Божий и должна быть принята к сердцу Москвой. Г. Ламанский говорит еще о необходимости в Московском университете восточного факультета и рассчитывает на московское купечество, «щедрое на пожертвования в пользу родного просвещения». Мне особенно нравится мысль о Московской вольной Академии. Мысль эта заслуживает тщательной разработки и всероссийского сочувствия. Осуществление ее вовсе не так трудно, как может показаться с первого разу. Победили же художники-передвижники, при грошовых средствах, Академию художеств. Этот пример яркий, доказывающий, что энергия и талантливость всегда найдут доступ к сочувствию и помощи. Достаточно было бы нескольких энергичных людей, которые усвоили бы себе эту мысль и принялись бы за агитацию ее. Я убежден, что мысль эта когда-нибудь осуществится, и если есть примеры крупных пожертвований на университеты, на стипендии, на божьи храмы, найдутся добрые и горячие люди, которые отдадут часть своих капиталов на основание храма русской науки в этом средоточии Руси, в Москве...

1 (13) ноября, № 5272

XLII

Как удивительно тепло и сердечно встречаешь в этой Германии воинственный крик доктора Коха против чахотки! Вот она, настоящая, человеческая политика, поднимающая из глубины души радостное чувство! Какие речи князя Бисмарка, какие речи императора Вильгельма могли произвести такое глубокое впечатление на весь мир! Помните: «мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога!» Какая это нелепая похвальба, рассчитанная на одобрение первобытного дикаря, поднимающего вверх дубину. Сколько фимиама и превыспренних восторгов рождают кровопролитные победы! Какие миллионы идут на усовершенствование пороха и орудий! Если б десятая часть их употребилась на науку, на поддержку ученых, на распространение знаний, как бы шагнуло вперед человечество, как бы оно быстро достигло благосостояния и от каких сильных невидимых врагов оно бы избавилось! Чахоточных, сравнительно, немного в человечестве. Но, посмотрите, какое участие всех к этому открытию доктора Коха! Это участие бескорыстное, истинно человеческое, которое прямо говорит всем, что в сердце людей теплится именно то, что говорил Христос: «Любите друг друга!» И какая слава может быть выше этой славы доктора Коха! В несколько дней имя его облетит весь мир и будет известно во всякой семье, как благодетеля. В этой славе отдельного человека есть крупное зерно славы науки, как во всяком великом открытии. Такие открытия прославляют науку особенно среди тех слоев населения, которые к ней равнодушны или которые о ней совсем ничего не знают. Говорите иным людям о пользе науки с красноречием Цицерона, — они будут глухи. Но скажите им, что наука является прекраснейшим воином против бедствий человечества и укажите на блестящий пример доктора Коха — и неверующие обратятся в верующих...

Гениальный ли это человек, доктор Кох? Мне приходилось слышать споры на эту тему. Мне кажется, в этом случае гениальна наука, а не отдельный человек.

Отдельный человек верил ей, в ней искал спасения и целения, ей посвящал свое время и труд, над ней изощрял свою проницательность, и она открыла ему свою тайну. Народ верит, что, сотворив мир, Бог послал людям и разные болезни, но против всякой болезни Он создал и целительные силы. Все дело в том, чтоб их найти. Проходят века, приносят с собой много талантов и гениев, много работы и знаний, и кому-нибудь выпадет счастливый жребий сделать такое открытие, которое облагодетельствует мир. Человеку случайному, первому встречному, это не дается. Только истинный ученый, ищущий с гениальным терпением, с ненарушимой надеждой и верой, найдет то, чего ищет, а если не успеет найти — проложит дорогу к истине.

Дженнер, открывший оспопрививание, был серьезным человеком науки. Первое привитие он сделал 14 мая 1796 года. Девяностый год и этого столетия прославился именем Коха, первого немецкого полководца. Да, он выше всех немецких полководцев, которые побеждали французов, и слава его прочнее и, главное, человечнее. Берлин впервые получает тот настоящий блеск, который не стирается временем, как мишура и позолота кровавых подвигов. И этот блеск дает ему скромный ученый с своей скромной лабораторией, которая не потребовала, вероятно, и сотой доли тех имперских марок, которые требуются на приготовление одной пушки. Такова ирония науки! Молчит, молчит, готовится в каком-нибудь маленьком кабинете, при свете керосиновой дешевой лампы, сторонясь от всякого блеска и гордых носителей его лучей, и вдруг выпалит таким радостным выстрелом, что он заглушает на время все другие выстрелы и клики, и люди чувствуют, что они действительно люди, что счастье только в счастье и довольстве других, в помощи человека человеку...

Германия нашла своего нового Фауста. Но это Фауст конца XIX века, Фауст не отчаявшийся в науке и слушающий остроумную отрицательную болтовню Мефистофеля, который приводит его к девственному ложу Маргариты и усыпляет до смерти ее мать, чтоб своему клиенту, доктору всевозможных наук, на свободе насладиться любовью и погубить чистую душу. Новый Фауст вырывает людей у отчаяния и смерти и в душу их вливает радость жизни...

7(19) ноября, № 5278

XLIII

Берлинские газеты удивлены, что я написал «горячую» статью о Кохе. Удивление это мотивируется враждебностью моей и «Нового Времени» к немцам. Они, кажется, воображают, что у нас, русских людей, какая-то необъяснимая ненависть к немцу и ко всему немецкому. Но если б это было так, то мы поистине должны бы считаться каким-то странным народом, без всякой будущности. Мы не любим и не любили то немецкое, что мешало и мешает нам жить и развиваться правильно. Но мы любим все то немецкое, что есть вместе с тем и общечеловеческое: мы любим немецкую науку, немецкую поэзию, и великие немецкие писатели у нас популярны. И дело в том, что мы, по всей вероятности, не любим именно то самое немецкое, что не любили и немецкие великие умы и дарования. Правда, мы еще не достаточно культурны, но тем более в нас живет молодой

восторг перед величием мысли и дел, перед величием искусства. Было бы удивительно поэтому, если бы я приходил в восторг от немецких генералов, от круповских пушек, от бездымного пороха, от широких горизонтов специального «немецкого гения», требующего поклонения немецкой силе и собирающегося удивить мир своими кровавыми победами, или от немецко-иудейской биржи, которая собирается заправлять всем миром. Но все в порядке вещей, когда я прихожу в восторг от немецкого открытия. Ничего тут удивительного нет, и ни один русский человек, будь он самый ярый ненавистник немцев, не поставит мне этого в вину, как не поставит в вину он мне поклонение Лессингу, Шиллеру, Гёте, Канту и другим замечательным людям немецкой земли...

Но вот вопрос: восхищаться ли тем, что «прусское государство» берет в свое владение средство Коха? На этот счет я нахожусь в недоумении. Я слышу и читаю столько нападок на «сокрытие тайны научного открытия», я знаю, что общество наше, не исключая врачей и профессоров, так враждебно относится к этому факту, единственному в области научных открытий, что в этом нельзя видеть какого-нибудь каприза или недоразумения со стороны русских. Напротив, все это подсказано хорошим чувством. Но с другой стороны, я чувствую, что дело идет о вещи чрезвычайно важной, о возможности злоупотреблений поразительных, притом с средством опасным, о возможности грабежа самого бессовестного со стороны недобросовестных врачей, аптекарей и шарлатанов. Речь прусского министра г. Гослера у нас приведена в обширном извлечении. Я читал ее в немецком оригинале всю и не могу сказать, чтобы она отличалась особенною ясностью именно по отношению к «тайне». Что-то такое не договорено, что-то такое не хотят как будто сказать. Ясно только, что Кох хотел тотчас же открыть «тайну», но правительство этому воспротивилось и убедило Коха передать средство под контроль прусского государства. Положим, государство это употребит все меры к превосходной фабрикации и даст все средства Коху продолжать исследования и открыть, по словам министра, «новое средство по родственным областям». Положим, все это так. Но почему же устраняется совместная работа врачей и химиков всего мира? Почему, вопреки пословице, есть теперь и один в поле воин — Кох?..

Министр говорит, что «потребуется от двух до трех лет клинических опытов, прежде чем дело настолько подвинется вперед, что может быть действительно сдано с полным доверием в сокровищницу медицинской науки». Итак, тайна будет открыта, но до открытия ее пройдет два-три года. В другом месте речи г. Гослер говорит, что после того, как средство Коха перейдет от приготовления в его лаборатории к производству фабричному в особенно устроенном государством учреждении, «представители культурных стран всего мира получат средство в свои руки». «Представители культурных стран» — конечно, правительства. Но когда перейдет средство из лаборатории на фабрику — опять неизвестно. Осторожность ли это или тут скрывается какая-нибудь задняя идея? И что значит «получать средство в свои руки»? Значит ли это, что будет открыта «тайна» всем культурным странам мира, или открыта будет только правительствам, которые взяли бы на себя приготовление средства и контроль над ним?

Все это вопросы, и тем более интересные, что прусское государство, очевидно, что-то затевает важное и большое, сообразно важности самого средства. «Мы не успокоимся до тех пор, — говорил г. Гослер, — пока государство не получит средства в свои руки». Очевидно, правительство боится, что это средство ускользнет

от него. Почему же? Ответ на это находим в следующих словах г. Гослера: «Мы имеем уже в настоящее время некоторые виды в области гигиены. Я не приведу всего, что неоднократно развивал Кох в беседах со мною. Но установлено то, что в связи с теперешним микроскопическим методом это средство получит такое применение, которое должно произвести большой переворот во всей нашей общественной жизни. Вся наша жизнь в больницах, школах, институтах, попечительствах, женских и мужских монастырях почувствует благотворное влияние, благодаря вновь приобретенному методу».

Если прибавить к этому, что г. Гослер рассчитывает на получение «новых перспектив для тех профессиональных корпораций и тех учреждений, которые благодаря *современному социально-политическому законодательству* должны печись о страждущих собратьях»; если вспомнить, что император Вильгельм полон идеями государственного социализма, то мы едва ли ошибемся, если предположим, что прусское государство берет Коха и его средство в свои руки именно в интересе государственно-народных задач, может быть, с целью реформировать практическую медицину, положить ей новые основания и границы. Не хочется верить, чтоб в деле науки прусское государство затевало какую-нибудь недостойную аферу. Может быть, оно, говоря о передаче средства в руки культурных правительств всего мира, желает, чтобы и эти правительства последовали его примеру, чтоб и они не выпускали этого средства из своих рук и из-под своего контроля, и чтобы в божьем мире, наконец, хоть блага здоровья и гигиены не были привилегией только богатых и достаточных людей...

Вы, пожалуй, скажете, что я уж слишком высоко занесся, объясняя таким гуманным образом «сокрытие научной тайны» прусским правительством, но все подозревать в людях скверность и скверность, все объяснять черствым эгоизмом ведет ли это к добру? Мы на пороге XX века — не будет же он повторением старого, воспримет же он что-нибудь из того благородного и гуманного, за что бились лучшие люди нашего века. Мне, по крайней мере, хочется верить тому, что я говорю, как верю я и тому, что Кох действительно открыл нечто чрезвычайно важное. Думаю я также, что так как в науке не редкость открытие одного и того же почти одновременно двумя-тремя учеными, независимо друг от друга, то прусское правительство, конечно, и это должно принимать в соображение. Ученые другой страны могут придти к открытию того же средства, и «тайна» все равно может обнаружиться, и тем скорее, чем с большею энергией врачи и ученые станут добиваться у науки этой тайны. Если б прусское государство думало о гешефте, то в каком невыгодном свете оно явилось бы. Но, затевая благое дело, оно и в случае открытия этого средства другими все-таки опередит прочие государства и организует для своего населения то, что оно хочет.

Вследствие всего этого, вместо того, чтобы сударить, негодовать на «сокрытие научной тайны» и облекаться в чувство научной оскорбленной гордости, не лучше ли и у нас обратить серьезное внимание на помощь населению, на увеличение средств науки. Ведь говорят, что у нас в Медико-хирургической академии даже надлежащим образом обставленной кафедры бактериологии не имеется, что у нас нет всех тех научных средств и приспособлений, которыми владеют за границей университеты. Для неба у нас один из лучших телескопов в свете, для земли у нас еще близорукие трубы...

23 ноября (5 декабря), № 5294

XLIV

У нас уже раздались наставления и угрозы германскому императору за его речь. Он разрушает предания, он недостаточно вдумался в дело воспитания и образования юношества, он не подумал о том, какой пагубный пример он подает своим легкомыслием и смелостью. Он забыл, что одна классическая школа способна бороться против разрушительного духа века и «горе тому народу и тому монарху, которые этого не понимают».

Все это по адресу императора. В сущности, ему говорят, что он берется не за свое дело и что он должен молчать, сдерживая себя «цензурою своего положения».

Но не рано ли императору напоминать о цензуре? Я, напротив, рад, что он не признает цензуры и говорит то, что придет ему в голову. После отставки Бисмарка он остался без цензуры. И я не вижу, что от этого стало хуже в мире. Мне даже кажется, что стало немножко лучше, немножко светлее, откровеннее и даже честнее.

Император живет быстро, горячо, неутомонно. Он смел. Большая смелость есть свойство большого таланта, гения. Такова была смелость Петра. Но Петр создавал и выращал Россию, из слабой делал ее сильною. Вильгельм прямо наследовал сильную Германию, и я не знаю еще, есть ли его смелость — смелость гения или только смелость императора, который может себе многое позволить, руководясь своим чувством и верою в свое призвание?

Императору ведь можно быть и не гением и все-таки сделать многое, ибо его слова принимаются на веру массою, как вещий глагол. Он может создать веру в себя, может одушевлять. Он и в военных вопросах, и в дипломатических, и в рабочем, и в медицинском, и в школьном — всюду является запевалой, первым человеком и решителем. Он ни разу еще не конфузился и, очевидно, ничем не смущается.

Хорошо это или нет? Мне кажется, таким вопросом еще рано задаваться. Император только начинает, а не заканчивает свое поприще, и начинает чрезвычайно любопытно. Император — не журналист и даже не министр, речи которых сегодня слушают, а завтра забывают. Императорские речи доходят до глубочайших недр сердца его подданных и становятся событиями и ведут за собою последствия. Важность его речей поэтому невозможно отвергать. Ученые могут написать сто томов, и их пропаганда будет все-таки ничто по действию на мир в сравнении с несколькими фразами императора.

Император также знает, что «цензурою его положения», т. е. его сдержанностью, могут злоупотреблять близкие к нему, те, с которыми он говорит наедине и которые влияют на управление страною. Они могут искажать его речи и намерения, придавать им иную окраску, иной смысл, даже противоположный истинному смыслу. Это бывало в прусской истории еще весьма недавно. Он предпочитает являться тем, что он есть, а потому говорливость его никого, по крайней мере, не вводит в заблуждение из его подданных. Они знают, так сказать, подлинные взгляды императора на известные вопросы жизни.

Так я понимаю дело, но не понимаю, о чем мы-то беспокоимся по поводу его речи о школьном вопросе, чего мы-то читаем ему наставления и стращаем? Германия прожила со своей классической системой целые века; латынь была там в моде еще в те времена, когда у нас и по-русски-то не умели писать первые сановники. Мы только начинаем эту систему, пробуем ее, повертываем и перевертыва-

ем, а там она прекрасно испытана, известна и перезвестна; у нас только несколько жрецов ее, согласимся, весьма почтенных, да несколько чехов, плохо говорящих по-русски, а там ведь целые поколения педагогов, филологов, да еще каких! С именами всемирно известными... 407 профессоров подписывают петицию против классицизма одновременно с речью императора. А у нас есть ли и всего-то 407 профессоров? Пускай кто-нибудь сочтет на досуге. В Германии есть переводы всех классиков и тысячи сочинений по классической литературе, искусству, археологии. А у нас ведь нет ничего подобного. Самый метод преподавания классических языков в Германии разрабатывался в тысячах сочинений, на съездах учителей, на съездах ученых. А разве у нас это бывало? Цыплятам ли курицу учить? Ведь, пожалуй, нас обвинят в том, что мы боимся, как бы не иссяк тот источник, из которого мы черпали свою классическую мудрость, и как бы не исчез тот образец, который мы ставили в пример и поучение. Вдруг мы очутимся одни, при наших-то силах и нашей учености!

Но отчаиваться нечего. Германский император не разрушит образования. Незачем давать ему и наставления. Он сам против «полуобразования», он только против перепроизводства классиков, против негодности одного классического образования, которое не делает ни характера, ни человека. Он за национальное образование, за то, чтоб школа была проникнута национальным немецким духом. «Нам следует воспитывать молодых немцев в национальном духе, сказал он, а не греков и римлян». Нам тоже следует этому подражать и воспитывать молодых русских в национальном духе. Греков и римлян, слава Богу, мы не воспитывали, но какие-то индифференты, интернационалы, какие-то общечеловеки выходили и выходят, и их выдают за продукт европеизма. А в сущности, мы и европейцев-то мало воспитываем, а прямо как-то у нас выходят люди определенных партий — либералы, радикалы, консерваторы, социалисты. Уже на первом курсе университета наши «греки» и «римляне» считают себя призванными решать государственные вопросы и влиять на общественную жизнь, воображая, что «аттестат зрелости» дает им на это право. А они русскую историю не знают или знают так, что она стоит им поперек горла, как лишняя и неудобоваримая пища. Они начинают историю с самих себя и действительно делают «историю».

Национальный дух, национальные крепость и сила нравственные и физические — вот что важно прежде всего. Все, что это укрепляет, то все и необходимо. Укрепляет ли все это классическое образование, я не знаю и спорить об этом не буду. Говорят: «школьный учитель», воспитанный на классиках, победил французов в 1870 году. Я думаю, что это красивая фраза, а не действительность.

Мне думается в заключение, что эти наставления германскому императору поспешили высказать люди, которые просто на смерть перепугались авторитета германского императора и которые хотят застращать не его, а нас...

28 ноября (10 декабря), № 5299

XLV

Я советовал бы «Гражданину» соблюдать хоть некоторую добросовестность в полемике, ибо полемика недобросовестная — дело чрезвычайно легкое, не требующее не только никаких нравственных качеств, но даже никаких литературных.

По поводу моего письма о речи императора Вильгельма «Гражданин» говорит, что я сравниваю этого императора с Петром Великим, и дает мне такое нравоучение:

«Император Вильгельм доселе мог проявить свою смелость только в словах, а Петр I только на деле. Это ведь маленькая разница, г. Суворин».

Но разве я не сделал такой же оговорки? Вот мои слова:

«Император живет быстро, горячо, неутомонно. Он смел. Большая смелость есть свойство большого таланта, гения. *Такова была смелость Петра.* Но Петр создавал и вырощал Россию, *из слабой делал ее сильною.* Вильгельм прямо наследовал *сильную* Германию, и я не знаю еще, есть ли его смелость — смелость гения или только смелость императора, который может себе многое позволить, руководясь своим чувством и верою в свое призвание?»

Затем я прибавил, что император еще слишком мало царствует, чтобы можно было судить о нем вполне правильно... Употребленное мною слово «смелость» требует нескольких объяснительных слов.

Говоря о смелости, я разумел смелость творческую, а не смелость Хлестакова. Это не смелость, а наглость. Народ говорит: «смелым Бог владеет». Это значит в переводе на наш литературный язык, что смелым владеет вдохновение, особый Божий дар, то вдохновение, которое дает и новые мысли, и новые обобщения мыслей и фактов известных, и страстное желание искоренить неправду, и создать нечто хорошее и доброе для людей. Это так и в сфере искусства, и в сфере литературной, и в сфере деятельности общественной и государственной. Та смелость, о которой я говорю, может таиться и в людях скромных, застенчивых, неговорливых, любящих уходить в свой внутренний мир, уединяющихся в кабинете, в деревне, даже в монастырской келье. Но она может проявляться и иначе, на виду у всех. Тут важную роль играет характер, темперамент, воспитание. Гоголь был нелюдим: он скрывался от людей и даже предпочитал переписку с ними разговору и общению. Но он был необычайно смел в своем творчестве. Для этой смелости необходима вера в себя, в свои силы, в пользу и нравственность своих идей и начинаний. Без такой веры едва ли можно что сделать, ибо отсутствие такой веры положит печать нерешительности и недоразумений на всякое дело. Разумеется, эта вера не есть та легкомысленная самоуверенность, которая встречается повсюду в людских делах; та вера, о которой я говорю, основывается на работе мысли, на проверке себя мнениями и советами других, на собственном опыте, и на опыте историческом, на любви к людям. Она, конечно, зависит и от размера и широты таланта, как зависят от этого и вдохновение и смелость, их сила и качества. Иные эту веру приобретают рано, другие позже, но без нее невозможно работать сколько-нибудь самостоятельно и плодотворно.

Решать вопрос о том, гениален ли Петр Великий или нет, не газетным заметкам и не авторитету «Гражданина». Для этого есть авторитеты несравненно более сильные, которым я подчиняюсь.

30 ноября (12 декабря), № 5301

XLVI

Американский журналист Ceyton Saxe, возмущенный нападками англичан на Парнелла и желая познакомить с этим случаем Америку, разослал циркулярное

письмо к разным лицам в Европе с просьбою отвечать ему на следующие два вопроса:

«1) Думаете ли вы, что необходимо или справедливо, чтобы человек наказывался в своей общественной деятельности за проступки — не уголовные, конечно, — которые он мог совершить, как простой частный человек?

2) Если мы введем в практику английский принцип, что адюльтер навсегда бесчестит политического человека, который совершил его, то не будет ли затруднительным иметь полный комплект депутатов в европейских парламентах?»

Это письмо, при помощи которого американский журналист желает получить некоторое голосование за и против Парнелла, получил и я в числе других.

Весь шум ирландской партии, ее митинги, весь шум газетный вызваны очень маленьким обстоятельством. Всё взволновалось и грозит Парнеллу лишением главенства над ирландской партией просто за незаконную связь его с г-жею О'Ши, мужнею женою. Человек, бесспорно талантливый, с огромной энергией, оказавший Ирландии большие заслуги, лишается доверия своей партии или значительной части ее за такие, по-видимому, ничтожные пустяки, как связь с чужой женой. Весь свой талант, всю свою энергию, доведенную почти до отчаяния, употребляет Парнелл, чтобы отстоять себя. Большинство высказывается против него и избирает нового главу партии, Мак Кэрти. Этим обстоятельством и вызваны приведенные выше вопросы.

У меня нет никакого желания отвечать на эти вопросы по адресу американского журналиста, ибо за Парнелла я или против, это и для Парнелла и для Америки безразлично. Но вопросы эти имеют значение и сами по себе, ибо, по-видимому, легкое отношение к амурам и скандалам даже со стороны людей, высокопоставленных любовью страны, как Парнелл, начинает возмущать, по крайней мере, часть общества. И это возмущение есть признак очень хороший, как бы он ни умалялся английским лицемерием и cant'ом.

Чем выше стоит человек, тем он должен быть нравственнее и безупречнее. Одно высокое положение человека должно его к этому обязывать, и тем власть его будет законнее и святее. Бог — всесовершенное существо, и потому молитва к Нему, надежда на Него, на Его справедливость и милосердие, вера в Него так прочно утверждаются в сердце человека. Высоко поднявшийся человек нечто вроде бога для остальных людей; владея доверием массы, он должен стремиться к тому, чтоб поселить в ней веру не только в свой разум, в свой талант, но и в безупречность своей частной жизни; ради святости дела, которому он призван служить, ради родины, которая его любит и отличает перед всеми, он обязан забывать свои вожделения и бороться с ними. Иначе что его власть и влияние, если я, грешный человек и от него зависящий, могу бросить ему в лицо, что он развратник, что он держит любовниц, что он вступает в тайную сделку с женщиной, которая не перестает считаться женою другого? Человек, который обманывает другого человека, разве не может обмануть доверие своей партии, своего государя, своего народа? Грех сладок и увлекателен, а обман в адюльтере всегда носит на себе печать утонченного предательства и ехидной личины. Любовница может иметь пагубное влияние на представителя партии, страны, правительства. История знает чуть ли не одну только Аспазию, которая была сотрудницей Перикла в его прекрасной деятельности. Если даже и несколько Аспазий было, то во сколько раз больше было женщин, самым наглым образом злоупотреблявших любовью к себе высокопоставленных людей!..

Необходимо и на то обратить внимание, в интересе управляемых, что разврат, невоздержание, потачка своим страстям уменьшает нравственные силы правителя, уменьшает его энергию, его волю, портит его характер, заставляет раздваиваться. Не потому ли в мире так дурно шли дела, что люди, облеченные властью и влиянием, так легко смотрели на любовные проступки и даже пользовались своей властью и своим положением, чтобы не знать преграды своей чувственности, благо предметы для нее так податливы? История полна примерами того, как пагубно отражались на судьбах народа любовные приключения его представителей и как часто они сами платились за свою невоздержность, совершая, благодаря ей, множество несправедливостей, притеснений и теряя сами силу воли над собою и крепость своего разума. Недаром все жестокие тираны были величайшими сластолюбцами, любителями женщин, с которыми они теряли даже возвышенные способности, отличавшие их в молодых летах, когда силы выносили еще и злоупотребления страстью.

Следует ли отделять частного человека от политического? Ведь при таком разделении политический человек всегда будет иметь способы вывернуться и оправдаться, или доказывать, что его грехи, как частного человека, не имеют никакого отношения к его политической деятельности. Это и делалось постоянно, и история знает много всевозможных порочных людей, которые, как общественные деятели, отличались талантом и значением и которым отпускаются их грехи снисходительной историей поневоле, ибо она, бедная, ищет, ищет добродетельных и, редко находя их, желает иметь утешение хотя в таланте, в политической деятельности человека, а уж о добродетели нечего и говорить!

Что касается второго вопроса, то из него ясно, что адюльтер — такой милый и естественный проступок, что ему подвержены чуть ли не все поголовно. Надо думать даже, что это такой милейший порок, что не совершая адюльтера, человек является естественным врагом женщины ибо уменьшает собою число людей, которые могут доставить ей одно из лучших и приятнейших удовольствий... Если бы к парламентам применить то же правило, которое применено к Парнеллу и если б они от того опустели на время, страны наверное выиграли бы.

Во всяком случае, парнеллевское дело поставило вопрос круто: если ты общественный, политический деятель, то будь так безупречен, чтоб мог смело смотреть в глаза даже врагам, чтоб то чистое и святое дело, которое ты отстаиваешь, находило в тебе полного выразителя своего. Интриги политических партий так сильны, интересы, которым они служат, так сложны и своекорыстны, подкуп так могуществен, что даровитому человеку, вождю страны, нравственная чистота может служить тем более сильным орудием, что добродетель во всяком случае привлекает к себе всех честных людей.

Такой постановке вопроса я вполне сочувствую уже потому, что чем меньше политические деятели будут предаваться амурным делам, тем меньше им потребуется денег и сделок с совестью и тем больше будет у них свободного времени для того дела, на которое они призваны и которым обязаны заниматься.

Юлий Цезарь когда-то сказал, что «жена Цезаря не должна быть даже подозреваема». Но Цезарь должен был бы сказать, что и ему следует себя вести так, чтоб не смели и подозревать его, а так как клевета не щадит и честного человека, то чтоб он мог, по крайней мере, с чистою совестью сказать своим клеветникам, что они клеветники, или подавить их своим правым презрением.

3 (15) декабря, № 5304

XLVII

Итак, и в недрах классицизма, в Германии, облегчены юношеству занятия классическими языками. Император Вильгельм своей речью сделал доброе дело, хотя в данном случае он, хронологически, явился подражателем России, даже в подробностях классической реформы. Тем непонятнее мне, что у нас поднимался вопрос о том, имеет ли право император Вильгельм II подавать свой голос по такому важному вопросу народной жизни? Это право слегка оспаривалось «Гражданином», и решительно отрицалось «Московскими Ведомостями». Говоря о моем отзыве о речи германского императора, «Московские Ведомости» прочли наставление и цитировали известные стихи Пушкина, вложенные им в уста Бориса Годунова, в предсмертной его речи сыну, Феодору.

...Не должен царский голос
На воздухе теряться попустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник...—

цитировала вслед за этим газета несколько строк из записок Пушкина, которому не нравилось, что император Николай Павлович, во время бунта военных поселян Новгородской губернии, говорил с депутатами усмиренных мятежников. «Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению», — говорил Пушкин.

Пушкин, конечно, большой авторитет как художник, но с ним можно и не соглашаться как с публицистом. Верховная власть подчиняется движению истории, новым явлениям жизни, ее все более и более сложному процессу. Она не может оставаться в покое и неподвижности и руководствоваться раз установленными правилами и традициями, везде одинаковыми, во все века и у всех народов. Поэтому, что верно для XVI века, то может быть совершенно не верно для XIX века. Но мне думается, что и относительно XVI века слова Пушкина не совсем верны.

Пушкин прав, как художник, вложив в уста Бориса приведенные слова, ибо они верно характеризуют Бориса, как новичка на престоле, как человека, заботившегося прежде всего об утверждении своей династии; но они очень неверны относительно многих русских великих князей и царей даже допетровского времени, не говоря уже о времени после Петра. Борису надо было окружать себя особенной помпой, величием и таинственностью, чтобы поскорее забыли в нем «вчерашнего раба, татарина, зятя палача». Но сын его, юный Феодор, и погиб отчасти потому, что держался завета отца, не выказав никакой смелой самостоятельности, когда настала гроза. Есть известия, что молодой царь хотел сам выступить против Самозванца, но мать и бояре удержали его. Послушайся он внушения своего молодого сердца — успехи Самозванца, быть может, были бы остановлены.

Но оставим это, ибо мне думается, что и по Пушкину не следует подчинять государей какой-то «цензуре» окружающих их лиц в проявлении их мнений, если, например, заключиться в последний случай выражения императором Вильгельмом своих мыслей относительно классического образования.

По Пушкину, «царский голос должен вещать велику скорбь или великий праздник». К «великой скорби» разве нельзя отнести тех невыгодных сторон

классического образования, на которые указал император? Для отцов и матерей судьба их детей дороже всего, и если их дети страдают от школьной системы, то это «великая скорбь» для родителей. Император называет себя «отцом» своей страны, и ему, естественно, должна быть близка «великая скорбь» его детей, и он о ней вещает, не стесняясь никакими традициями, и его «голос не теряется в воздухе попустому» и не мог теряться, ибо он говорил не о пустяках каких-нибудь, а о воспитании, которое дорого всем и близко всех касается.

Эта же «великая скорбь» родителей дошла и до *сердца* русского правительства, как это всем известно.

Но есть еще опасность для государей, которые не слушают Пушкина и согласных с ним «Московских Ведомостей». Пушкин, говоря о новгородском возмущении, продолжает после тех слов, которые приведены в начале моего письма, следующее: «Чернь перестанет скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может в толпе найтиться голос для возражения».

Комментируя эти слова, «Московские Ведомости» замечают, что «чернь бывает всякая, не только в зипунах, но и в блузах, и в сюртуках, пиджаках и даже во фраках; не только не грамотная, но и снабженная дипломами»; поэтому, продолжает газета, и «императору Вильгельму более всего следовало бы опасаться, что, как сказал Пушкин, «может найтиться в толпе голос для возражения». Я позволю себе прибавить, что «чернь» может быть и в мундирах и даже не менее ехидная, чем во фраках и пиджаках. Но это мимоходом.

Никто не станет доказывать, что государю необходимо лично являться всюду и вести разговоры с чернью, бунтовщиками и проч.; но Пушкин из одного факта, взятого из жизни императора Николая, сделал заключение прямо к нелепому, и предсказание его не оправдалось и не могло никогда оправдаться. Наука управления — одна из самых трудных наук; правитель руководствуется не только знанием, опытом, традициями и советами приближенных, но также своим сердцем, своим великодушным чувством и вдохновением, своею искреннею верою в промысел Божий, судьбы которого неисповедимы. Бывают минуты, когда государь считает необходимым подчиняться своему порыву, направленному на благо подданных, не заботясь даже о собственной жизни. Благоразумные люди могут упрекать его за это, но делать такие замечания, как Пушкин, значит обнаруживать политические понятия очень узкой среды.

Император Николай личным присутствием усмирил бунт на Сенной; Петр Великий явился лично к заговорщикам и арестовал их;

Алексей Михайлович вышел к бунтовавшей черни, требовавшей выдачи воспитателя его, боярина Морозова, и говорил с нею и усмирил ее. Положим, эти государи могли бы и воздержаться от таких порывов, но царская власть нимало не потерпела от этого в своем значении, а история с сочувствием рассказывает это на своих страницах.

Но дело ведь не в таких явлениях, и они вовсе не относятся к предмету спора, хотя и приплетены сюда «Московскими Ведомостями». Одно дело бунт, непосредственный разговор государя с людьми, находящимися в возбужденном состоянии, другое дело — речь императора при открытии комиссии. Возражать на

такую речь при монархе считается неприличным и невозможным, как и возражать на речи, которыми государи открывают парламенты. Но положим, кто-нибудь возразил бы, забыв все обычаи и приличия. Если б возражение сделано было в дерзких выражениях, то оратор возбудил бы общее негодование не только присутствующих, но и всего народа. Если б возражение было сделано в выражениях почтительных, то монарх мог бы его выслушать, нимало не роняя своего величия и достоинства. Ведь выслушивал же даже резкие возражения, например, от Якова Долгорукова, Петр Великий; и не Пушкин ли сказал о Петре:

И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.

По всей вероятности, речь императора и обсуждалась в комиссии и имела на решение вопроса влияние, к неудовольствию иных чиновников и педагогов. Но ведь император есть, прежде всего, император народа, а не император педагогов и чиновников прусского просвещения, быть может, заинтересованных в сохранении старого порядка, своего авторитета и насиженных мест...

Кажется, это ясно?

Ясно для меня, почему и поднят «Московскими Ведомостями» этот странный вопрос о праве императора и вообще государей выражать свои мнения. Дело тут в классической школе, которая и нас касается, ибо мы ее, за неимением собственных филологов и ученых исследователей классицизма, целиком взяли у Германии и применили у себя, взяли как священное что-то, почти буквально, взяли в то время, когда в этой же Германии уже раздавались авторитетные голоса против односторонности классического образования.

Вдруг и Германия объявляет реформу в школе. Что делать? Как поддержать авторитет Каткова, который, как утверждают его поклонники и враги, провел эту реформу в сотрудничестве с несколькими классически-образованными и убежденными чиновниками?

Очень просто. Надо доказывать, что германский император невежда, что он ничего не понимает, что он роняет достоинство монархической власти, что речи его вздорные, поведение его «задорное», ничего хорошего не обещающее Германии. Но ведь за ним стояли ученые, профессора, педагоги и масса общества, во всяком случае, более образованного, чем наше, русское. Конечно, так, но об этом надо умалчивать. Нужно выставить императора в смешном виде— и будет чудесно. А я говорю, что ничего чудесного из этого не выйдет.

Помилуйте, говорит газета, император ничего путного не в состоянии сделать: он уволил Бисмарка, гениального человека, он постоянно путешествует и не по «таким политичным причинам», которые ему приписывает г. Суворин, а просто потому, что он любит путешествовать, как он сам объявил об этом.

Но что мне за дело, что он князя Бисмарка уволил. Разве России от этого хуже стало, разве князь Бисмарк был нашим благодетелем? А что император говорит, что он путешествует только потому, что ему это нравится, я ему не верю, и желал бы, чтоб и другие ему не верили. Бисмарк ездил в Биарриц к Наполеону III и ухаживал там открыто за певицей Лукка. Наполеон III смеялся над «легкомысленным» поведением Бисмарка. Но Бисмарк гнался совсем не за г-жою Луккой, как потом оказалось, и не за морскою волной...

В конце концов, я решительно не понимаю, какая беда для верховной власти, если она выставляет те идеалы благополучия народного, в которые она сама верует, да притом в таком вопросе, который касался решительно всех подданных?. По моему мнению, чем чаще с высоты трона раздаются слова любви и участия к подданным, в форме ли манифестов, рескриптов, речей, тем лучше, ибо эти слова ободряют, вливают в сердце надежду и мир и укрепляют национальный дух и прямую связь между подданными и государем.

13 (25) декабря, № 5314

XLVIII

Позвольте рассказать, как я случайно посетил сумасшедший дом, устроенный в Петербурге на новых началах.

В девять часов вечера, в пятницу, я поехал из Михайловского театра в театр Неметти, думая попасть хотя бы к половине драмы, которую я хотел там видеть. Приезжаю я неожиданно скоро, подхожу к кассе, спрашиваю билет первого ряда. Берут с меня 6 р. 15 коп., я иду. Капельдинер предлагает «программу», я не беру и иду дальше Зал, в который я вошел, походил на театр; я видел ложи и кресла и публику. Очевидно, я попал туда, куда хотел. Усевшись в кресло, узкое, короткое, беспокойное, я ждал, когда начнется действие. В оркестр подали роскошную корзину цветов. Музыканты подходили к цветам и нюхали их с улыбкою. Очевидно, это подношение актрисе, думал я. Заиграла музыка, и поднялся занавес. За сценой пел хор. Это довольно странно, думал я: ни в одном акте драмы, кажется, нет музыки, да и декорация, сколько помнится, другая. Но должно быть, я ошибаюсь. Драму я видел очень давно. Хор прекратился. На сцену вбежали два молодых человека, один в морском мундире с эполетами и голубою лентой через плечо, другой в матросском костюме, и стали говорить что-то странное, причем человек в адмиральском мундире строил рожи, кривлялся, подпрыгивал, поднимал плечи; матрос говорил серьезно, но ужасно глупо. Что за чертовщина такая, думал я, и оглядывался по сторонам. Публика смеялась и кричала bis. Оба молодые человека раскланивались и опять строили рожи. За ними вышла какая-то баба с двумя молодыми людьми, с лицами совершенно идиотскими; баба была в морском мундире и стала что-то орать под музыку; идиоты ей вторили с большим усердием. Публика кричала bis и поднимала адский шум. Но в это время вошел какой-то старик, одетый в странный костюм какого-то прошлого века, с лицом, исковерканным краской, с бровями, проведенными вверх от глаз, и стал представлять старой бабе в мундире двух меланхолических, томных девиц. Старая баба в мундире потребовала от старика, чтобы он отдал своих дочерей в жены ее сыновьям, идиотам. Девицы приятно улыбнулись и тотчас же стали обниматься с идиотами. Но старик-отец оставил одну из них, говоря, что она выходит за вице-адмирала. Действительно, является тот же молодой человек, которого я видел в начале, в эполетах и в ленте, опять делает рожи и начинает крутиться с меланхолической девицею и кричать; публика восторженно орет bis. Он опять прыгает, прыгает, прыгает. Публика кричит bis. Он

показывает жестами, что больше не может: я, мол, устал. Являются еще человек двадцать и что-то кричат и поют, поют прескверно, кто во что горазд. Старик кричит, что предки его известны были еще до Адама, именно племянница Евы была за его предком, а он сам в профиль похож на Ноя.

Я, наконец, понял, куда я попал. Это не тот театр, куда я поехал: это — сумасшедший дом, и нерв журналиста во мне заговорил: вот отлично — кучер, очевидно, привез меня не в тот театр, но зато я первый заговорю о сумасшедшем доме такого типа, о котором доселе еще никто не говорил. Я стал внимательно смотреть на сцену и на публику. Я заметил, что в креслах есть люди, которые серьезно слушали, с несколько усталым видом. Это, должно быть, врачи или смотрители дома умалишенных. Для меня стало ясно, что и большинство публики — из дома умалишенных, как и актеры и актрисы, ибо публика приходила в восторг от кувырканий и глупостей невообразимых. Очевидно, гуманизм дошел до того, что и бедным умалишенным стали доставлять удовольствия. Одних из них повернули в актеры и в актрисы, а других — в зрители. Посторонняя публика допускается на эти представления по возвышенной цене, которая идет на пропитание этих несчастных и на лечение их. Прекрасная мысль, думал я, прекрасная. Хотя эти представления возбуждающим образом действуют и на актеров и на публику из сумасшедшего дома, но, вероятно, дошли до убеждения, что клин клином надо выбивать. Теперь век новых открытий и сильных реакций. Недаром Кох и т. д. Сначала я негодовал на актеров, невыносимо ломавшихся, и на публику, приходившую в ярость восторга, но теперь мне было все ясно, и я спокойно ожидал, когда занавес опустится. Раньше я боялся уйти, ибо сумасшедшие могли, пожалуй, обидеться. Раз убедившись, что я в доме умалишенных, устроенном на новый образец, я даже с некоторым любопытством смотрел, как на сцене все строили рожи, прыгали, визжали, орали, размахивали топорами, произносили идиотские слова, производили идиотские действия и все это под музыку, тоже удивительно идиотскую. Я старался по лицам, словам и движениям определить, что свело этих актеров и актрис с ума: жажда ли добычи, неудовлетворенное ли самолюбие, бедность, несчастье, самомнение о высоком таланте или высокой красоте? Некоторые были еще очень молоды, и тем с большим сожалением я смотрел на них. Замечательно, однако, что, потеряв разум, эти люди не забывали великого закона конкуренции. Я заметил, что актеры и актрисы из сумасшедшего дома друг перед другом старались. Один сделает штуку, другой его передразнит. Никто не говорил и не ходил, как обыкновенные люди. Все ходили и говорили, как нервнобольные; иной выпячивал живот, другой напротив, сгибался и вертел задом; третий шел, не сгибая колен, четвертый, напротив, сгибал их неестественно; пятый, прежде чем выговорить слово, закрывал глаза и делал движение, точно глотал зажженную паклю; женщины естественнее себя вели, вероятно, потому, что в публике сидели смотрители сумасшедшего дома и издали грозили им. Заключаю по тому, что некоторые из них начинали улыбаться и вдруг становились мрачными. Болезненные лица их явно говорили, что их или дурно кормят, или часто привязывают к кроватям. Наконец, среди пиканья и визга, причем все подавались вперед, точно желали перескочить через оркестр, занавес опустился. Я встал. Вдруг знакомый адвокат сзади говорит: «Вы как здесь?»

Не желая посвящать его в тайну своей ошибки, я сказал, что приехал взглянуть на новое филантропическое учреждение...

— Какое учреждение?

— Да ведь это сумасшедшие представляют для сумасшедших?

Адвокат с недоумением взглянул на меня, шучу я или нет. Я говорил с полным убеждением и похвалял эту затею.

— Помилуйте, — сказал он, — это Малый театр и оперетка...

— Оперетка? Я лет пятнадцать не видал оперетки. Так это оперетка? Какая досада! А я ведь вполне был убежден, что это сумасшедший дом.

— Действительно, состав сегодня неважен, — заметил адвокат, любезно меня провожая.

Дорогой и дома, спокойно размышляя о виденном мною и слышанном, я никак не мог помириться с тем, что был в оперетке. Не смеялся ли надо мною адвокат? Неужели это оперетка? Неужели это актеры? Ведь все искусство их заключалось в том, что они строили рожи, кричали, визжали, пародировали идиотов, говорили глупости такие, что сумасшедшие Гоголя, хотевшие спасать луну, показались бы мудрецами. Разве этот молодой человек в морском мундире — не Поприщин? Разве другие — не товарищи Поприщина? Так это оперетка? Так вот во что обратилась оперетка, вот какую эволюцию совершила, выражаясь ученым языком, эта оперетка, гремевшая когда-то по всему миру, привлекавшая к себе когда-то сильных мира даже! Пародирует сумасшедших. привлекает публику, которая смеется над людьми, которые лезут спасать луну, и уверены, что луна приготовляется в Гамбурге, каким-то бочаром? Очень интересная публика...

Так это оперетка? Это певцы и певицы, а не представители и представительницы больниц и дома умалишенных?

Я бывал в балаганах, в цирках, видел гимнастов, клоунов, но никогда мне в голову не приходило там, что я в сумасшедшем доме. Напротив, в балаганах иногда любопытно было просидеть четверть часа; гимнасты показывают физическую силу и ловкость, о которых так беспокоится германский император; клоуны иногда остроумны и школьничают презабавно; в цирках наездницы и наездники дают иногда впечатление захватывающее; и в цирках, кроме того, действуют лошади, эти умные, серьезные и полезные животные, никогда не унижающиеся до пошлости и гадости. Но в оперетке ничего подобного: ни ума, ни остроумия, ни забавной глупости, ни красоты, ни ловкости, ни музыки, ни лошадей. Лошадь является тем идеалом, который остается недостижимым по нравственному своему совершенству для поклонников опереточного искусства. Подражание идиотам, безумным людям, которых поразило ужасное несчастие — потерять разум, потерять разумный блеск глаз, разумное выражение физиономии, координацию движений, здоровые мысли и слова, искать комизма и смеха в сумасшедших домах — да после этого уж некуда идти...

Нет, остается совершить еще последний шаг: из сумасшедшего дома отправиться в приют нищеты, на каторгу и осмеивать бедность, хохотать над преступниками, обремененными цепями, и заставить их канканировать, гремя железами...

17 (29) декабря, № 5318

XLIX

Сегодня в известном «сумасшедшем доме», помещающемся в Малом театре, был бенефис смотрителя этого дома, г. Пальма. Г. Пальм — человек очень внимательный к своим больным и очень осторожный. Его и, главное, его больных покоробило от описания представления в этом доме, сделанного мною на прошлой неделе. Надо было как-нибудь успокоить больных, и г. Пальм прибег к весьма остроумному способу. Он хорошо знает, по долгому опыту смотрителя этого скорбного дома, что сумасшедшие никогда себя больными не считают, а напротив, считают себя до такой степени здравомыслящими, талантливыми, даже высокопоставленными людьми, иногда министрами и королями, что разубеждать их приходится, к сожалению, смирительной рубашкой и привязыванием к кровати. Сообразив все это, г. Пальм вышел на сцену и сказал сегодня: «Господа, известно всему миру, что умнее нас никого нет; между тем, на прошлой неделе извозчик привез к нам случайно с Удельной одного сумасшедшего, который и нашел, что мы все сумасшедшие». Можно себе представить, как обрадовалась публика, состоящая из этих больных! Восторг был неописуемый, и от грома рукоплесканий едва не разрушились стены этого благотворительного учреждения.

Мне очень приятно, что г. Пальм этим простым, по-видимому, способом успокоил своих больных. Я даже думаю, что с моей стороны не будет особенной дерзостью, если я заявлю, что почтенный смотритель скорбного дома на Фонтанке заслуживает поощрения и что ведомство, заведующее делами человеколюбия и милосердия, быть может, исполнило бы свой долг, если б к празднику повысило г. Пальма, сделав его «почетным опекуном сумасшедшего дома на Фонтанке».

22 декабря 1890 (3 января 1891), № 5323.

1891

I

Нечто о «Пиковой Даме» и по сему поводу.

Я очень люблю Чайковского. Это настоящий поэт ясных, всем понятных движений души, настоящий живописец ясных характеров. Я не музыкант, а потому музыкальные термины употреблять не могу, но опера дает и мне свои впечатления, как и литературная вещь. И в опере я чувствую характеры, чувствую живую душу, образность выражений, цельность характеров, живопись ландшафта, симпатию или антипатию к лицам. В «Евгении Онегине», несмотря на безобразное либретто, иногда оскорбительно смешное для того, кто знает бессмертный роман этот, впечатление полно, живо, трогательно. Вся тихая, ласкающая сторона деревенской жизни, с ее простыми, но близкими нам и живописными чертами так и охватывает вас, волнует, радует, печалит. Татьяна, Ольга, их мать, няня. Ленский, крестьяне и крестьянки — все это так чарующе овладевает вашим чувством, погружая вас в простой быт дворянской семьи, где могла вырасти такая изумительная девушка, как Татьяна. Я не преувеличу, если скажу, что Чаковский нашел в своей душе то поэтическое чувство, ту художественную меру, которые примирили нас с этим бытом, добродушные черты которого заслонило страстное отношение к крепостничеству; Чайковский заставляет своей оперой полюбить прошлое, как фантастическую сказку, в его непосредственности, простоте и поэзии. Но сам Онегин — лицо совершенно бледное и ничтожное. Очевидно, Чайковский не мог найти в своей душе никаких нот для этого лица, да и совсем не понял его.

Татьяне он говорит только вздор, вроде «Мой дядя самых честных правил», потом поет, что лицо Ольги кругло, «как эта глупая луна». Между тем, Онегин — лицо совсем не банальное и пошлое, как в опере: у него есть общественные и политические идеи; поэт, правда, не ясно обозначил их, но они чувствуются там не менее и в намеках, и во всей фигуре его. В романе понятно, почему Татьяна полюбила его, в опере не понятно. Если мы прощаем это композитору, то потому что и без оперы знаем, что такое Онегин. Говорю это для того, что художнику должно быть близко то лицо, которое он хочет создать, он должен жить в нем. Объективизм — довольно пустое слово даже относительно Шекспира. Гений потому и гений, что заключает в своей душе все то, что волнует человечество в данное время; это целый мир в одном человеке, и гений поэтому также субъективен. Чайковский не гений, а крупный талант; он может сделаться первым мастером в области тех мирных, тихих, лирических ощущений, которые ему наиболее доступны; во всем том, что выходит из этой области и чего он не понимает, он

слаб или отделывается банальностями. Пробовал он Мазепу, Орлеанскую деву, Чародейку — и получались только хорошие отрывки, а не хорошее целое.

То же впечатление вынес я из «Пиковой Дамы»: хороших отрывков, иногда напоминающих «Евгения Онегина». Разумеется, на всей опере лежит печать таланта, но никогда она не сделается такой любимицей публики, как «Евгений Онегин», по той простой причине, что в «Евгении Онегине» есть общественный и исторический смысл, а в «Пиковой Даме» такого смысла совсем нет. Долго живет только художественно-идейное, охватывающее чувство и разум, только такие произведения, где форма и содержание одинаково значительны.

В «Пиковой Даме» главный интерес лежит в Германне, игроке, в страсти, довольно исключительной и нимало не интересной. Вся опера наполнена «тремя картами», и от этих карт проходу нет; мне кажется, что даже «три географические карты» были бы гораздо интереснее. Я не могу войти в душу этого Германна, да и Чайковский в нее не вошел: Германн остается каким-то внешним обличием, несмотря на бесподобную игру г. Фигнера. «Три карты, три карты, три карты!» Это надоедает, как надоело бы повторение «полквартры, полквартры, полквартры!» в устах пьяного мужика. Чем интереснее «три карты» — «полквартры»? То же пьянство!..

Правда, Чайковский старается облечь оперу в фантастические покровы. Прекрасно. Фантастический элемент тут действительно можно было бы применить благодарно, но тогда надо им воодушевиться до веры в него, ибо без веры и одушевления фантазия остается холодной и бессмысленной. Баллада о трех картах и либреттистом, и композитором написана в насмешливом тоне, тогда как у Пушкина Томский рассказывает об этом серьезно и гораздо лучше, чем в опере. Балладу надо было написать во вкусе баллад фантастических, как их писали Шиллер, Гёте, Уланд, Жуковский, Вальтер Скотт. Конечно, могут сказать, что XVIII век был веком неверия и вольтерианства, но рядом с этим в поэзии и жизни уживалась вера в чудесное и за Калиостро и Сен-Жерменом бегали больше, чем за Вольтером. Либреттист и дальше смеется над содержанием этой баллады и приятелей Германна заставляет его «дразнить» на балу. Скажут, что Германн верит в серьезность баллады, но это недостаточно, ибо и Германн — лицо и неопределенное и неинтересное.

Уж если требовалось перенести действие рассказа из 20-х годов этого века в последние годы Екатерины II и изменить сюжет рассказа Пушкина, то надо было бы, для усиления фантастического элемента, усложнить содержание оперы, например, заставить тень графини явиться сначала Лизе и назвать три карты. Лиза помнит только две, а третья не то дама пик, не то туз: страх отбил у нее память. Она рассказывает Германну. Он в отчаянии и злобе. Он зовет графиню. Пусть она явилась бы и ему — в театре это не мешает, — но тень молчит. Тогда он пробует играть на две карты и выигрывает (это за сценой, конечно). Алчность игрока разгорается. Он мучит Лизу, доводит ее до отчаяния, осыпает упреками и обвинениями. Вся его бешеная, демоническая натура обнаружилась бы вполне, как несчастное положение его жертвы. Теперь сцена на Зимней канавке и малопонятна, и неинтересна, и даже несколько смехотворна. При том изменении, о котором я говорю, она была бы естественна и понятна. Германн решается поставить на пиковую даму, на олицетворение старухи, и проигрывает.

Но этого изменения еще мало. Для фантастического элемента необходимы пружины сложные, события роковые и подавляющие. Теперь нам действия гра-

фини совсем непонятны; увидав Германна, она говорит: «какой он страшный!» На самом деле, г. Фигнер и всякий тенор не могут быть страшны. Мы не знаем, для чего Германну нужны «три карты». Для выигрыша только? Для алчности? Стоило для этого вызывать мертвых! Но Германну можно было бы дать какую-нибудь цель, мечты о каком-нибудь грандиозном предприятии, на которое необходимы большие деньги. XVIII век обилен авантюристами и подобными мечтами. У Пушкина сказано, что Германн походил на Наполеона. Пушкин ничего даром не говорил, а потому это указание либреттист должен был бы принять в соображение, так как опера перенесена в екатерининское время, то Германну можно было бы дать сходство с графом Сен-Жерменом, который и передал графине секрет «трех карт». Это сходство поразило бы графиню, напомнило бы ей о связи с графом Сен-Жерменом, пожалуй, о сыне, которого она имела от него и который брошен ею на произвол случая в Париже, что с нашими барышнями случалось нередко. Я только набрасываю эти мысли, которые, по моему мнению, усилили бы фантастический элемент, и «три карты» не были бы так бессмысленны, как теперь, и фантастический элемент явился бы для разрешения сложной задачи и действительно тяжкого греха графини.

Развитие всего этого повело бы меня далеко за размеры этих заметок. Укажу на то еще, что в сюжете «Пиковой Дамы» нет самого существенного для оперы, естественного участия хоровых масс, что дает опере большое преимущество перед драмой, где эти массы обыкновенно только галдят, или бегают, как угорелые, или устраивают бунты и свалки. Только в опере возможно разумное участие масс, этот хор общественного мнения или прямого участия в действии, как в греческой трагедии. Это превосходно понимали Мейербер, наш Глинка и другие знаменитые композиторы. Чем шире рамка действия, чем глубже она захватывает все общество и даже народ, тем оперный сочинитель свободнее в своем творчестве, тем легче ему черпать мелодии, и тем благодарнее работа, и тем действительнее впечатление на публику. Какие хоровые массы в «Пиковой Даме»? Случайный сброд в Летнем саду и хоры игроков. Все это за волосы притянуто и все это совсем неинтересно или чересчур легкомысленно. Когда Германн убил себя, игроки, конечно, пришли бы в смятение и послали бы за полицией для составления протокола, а в опере они поют что-то вроде «Со святыми упокой». Это нечто кричащее и нелепое, а потому, вероятно, и выпускаемое теперь.

Первоначальная идея оперы на сюжет «Пиковой Дамы» принадлежит директору театра И. А. Всеволожскому.

По всей вероятности, г. Всеволожский соблазнился сюжетом «Пиковой Дамы» потому, что он представлял возможность развития фантастического элемента и перенесения действия во времена Екатерины, во времена роскошной обстановки, костюмов, царствования французского вкуса. Но фантастический элемент вышел очень плоховатый, детский какой-то и бессмысленный, с нелепым повторением о «трех картах», какой-то анекдот, точно анекдоты можно делать предметом оперы сколько-нибудь значительной.

Остается роскошная обстановка.

Г. Всеволожский, бесспорно, человек с большим художественным вкусом, с развитым чувством изящно-красивого, сам хороший рисовальщик. Но стоило ли переносить время действия в XVIII век для того, чтобы придумать постановку бала, идиллии, воскресить в живых картинах изящные и красивые рисунки Ватто?

Какой смысл в этой красоте? Эта картина только для глаза, без того внутреннего освещения, с которым она имела бы смысл, притом картина, с оперой никакой органической связи не имеющая.

Таким образом, «Пиковая Дама» не имеет никакого общественного значения, в нее не положено никакой здоровой, значительной мысли; фантастический ее элемент случаен и анекдотичен; воспроизведение внешней красоты развратного века при помощи материй и кошек с фарфоровых фигурок и картинок никакой заслуги перед родным искусством не представляет. По совету г. Всеволожского, Чайковский написал оперу на сюжет, который был чужд его душе, и вышло только несколько хороших частностей, к которым директор театра прибавил бал и кошек с фарфоровых фигурок, что очень помогает успеху оперы. Но все это так же далеко от значения «Евгения Онегина» Чайковского, как сама «Пиковая Дама» Пушкина далека от значения его же «Евгения Онегина».

Кстати, меня почему-то считают врагом дирекции императорских театров. На самом деле я писал даже очень сочувственные отзывы о постановке русских опер и всегда признавал в этом отношении заслуги настоящего директора театра. Но я не могу мириться с положением русской драматической сцены, с ее случайным репертуаром, на котором не лежит ничьей заботливой руки, словно так это и надо, словно только и следует заботиться об опере и балете. Я, напротив, думаю, что драматическая сцена заслуживает еще большей заботы, чем оперная и балетная, ибо она назначается для более широкой публики, и она есть основа театра. Но об этом в другой раз.

7(19) января, № 5337

LI

Какие милые люди русские врачи! Они трогают меня до умиления. Им нет никакого дела до больных и людей, им есть дело только до науки. Она, alma mater, их утешает, кормит, просвещает, осеняет своим ореолом. Я говорю о врачах скептиках, а их у нас достаточно. Скептицизм — очень почтенная вещь, если он ведет к анализу, к работе, к исканию истины; но скептицизм — презренная вещь, если он существует только как скептицизм, как отрицание новых открытий, как легкомысленное невежество. В первом случае, скептицизм — страдание великих душ и великих умов; он может довести до безверия в Бога, в жизнь, в науку, но и прокладывает новые пути и освобождает от суеверий; это скептицизм Фауста. Во втором случае, скептицизм — самая легкая вещь, он доводит до равнодушия ко всему, кроме легкой наживы и шарлатанства; он третирует великие умы, великие открытия, он ругается, завидует, остроумничает, придирается ко всякой ошибке авторитетов в науке, извращает слова и факты и в то же время наморщивает чело для того, чтоб глупые люди признали его серьезным явлением. Молодым людям должно бояться этого скептицизма, как злой заразы, и гнать его от себя всею силою молодого чувства и энтузиазма.

Я говорю это по поводу съезда врачей в Москве. Там, вероятно, чрезвычайно много настоящих ученых, европейских ученых, имен славных не только от Чухломы до Царевококшайска, но и от Москвы до Парижа. Один профессор Богословский

чего стоит. Полагаю, что ученые его заслуги не ниже ученых заслуг г. Манассеина, который так велик, что даже обыкновенные люди его не замечают за тем сиянием, которое он распространяет вокруг себя. Г. Богословский «Путеводитель» к пятигорским водам напечатал! Это не то, что какой-нибудь немец Кох, открывший бациллы холеры и чахотки. Г. Богословский сделал гораздо больше: он видел в Берлине «300 случаев лечения легочной чахотки по способу Коха», и вредно это лечение или нет — пока еще очень трудно сказать; «сам Кох потерял голову, а между тем наш общий учитель Вирхов занимается рассмотрением этого вопроса и уже теперь работами своими многих заставил молчать о Кохе».

Бедный Кох «потерял голову». Ура! Потому что г. Богословский сохранил свою в целости. «Наш общий учитель Вирхов заставил замолчать многих о Кохе». Ура! Потому что это открыло уста глубокому скептицизму г. Богословского и компании. Но откуда же г. Богословский узнал о содержании лекции Вирхова? Из специального медицинского издания? О, нет, просто из газетных телеграмм и популярных заметок. Но, понимаете, надо было торопиться, чтобы обличить Коха. К несчастью обличителя, в тот самый день, когда г. Богословский говорил это, Вирхов объявил, что ничего не имеет против употребления коховского средства, если оно только не впрыскивается против застарелой чахотки. Кроме того, стало известно, что Вирхов производил опыты не над теми препаратами, над какими следовало производить. Сконфуженный и убедившийся в своей ошибке, Вирхов проговорил: «да, это уменьшает значение моей критики!» Когда проф. Склифосовский, известный хирург, в дополнение к заявлению г. Богословского, одним случаем как бы подтвердил мнение Вирхова, врачи съезда вдруг разразились «продолжительными рукоплесканиями».

Обрадовались! Смерть Коху и его лимфе! Проф. Склифосовский сообщил факт и притом в условной форме, но скептики и этому рады и спешат аплодировать продолжительно. Да и как не аплодировать! Вы только сообразите, что это за горе было бы скептикам врачам, если б открытие Коха оказалось действительным, если б оно действительно указало новые пути медицине и облегчило страдания человечества от ужасных бичей! Скептики тем и милы, что, будучи посредственными учеными и посредственными врачами, думают только о своем авторитете, как он ни мал и ни шаток: хоть за соломинку, да ухватиться! Сколько чахоточных они лечили, сколько с них денег взяли, хотя были вполне уверены, что они и их метод научный — бессильны, и как спокойна была их совесть, когда больные умирали! «Наука бессильна», говорили они себе в утешение и принимались лечить и обманывать нового чахоточного. Но вот впрыскивают умирающему чахоточному лимфу Коха, и больной умирает. Ура! Кричат скептики: наша взяла! И аплодируют в какой-то дикой ярости восторга...

Неужели люди науки так должны поступать?

Прочтите новое сообщение Коха и скажите, потерял ли он голову? Это сообщение дышит спокойствием, скромной простотой и внутренней верой в науку. Он говорит: «это я испытал, в этом убедился, а вот этого не знаю. Будем исследовать, господа!» Скептики, вероятно, останутся жестокими к нему и теперь. Но мы, господа, мы будем верить. Скоро ничего не делается, но, быть может, нам недолго ждать, что новый метод, указанный Кохом, принесет прекрасные плоды. Дело тут идет не об одной чахотке, а обо всех заразных болезнях. В то время, как наши скептики радуются, что «Кох потерял голову», хотя было бы благоразумнее с их

стороны справиться о своей голове, и говорят пустые оппозиционные речи, настоящие ученые и врачи усердно занимаются исследованиями и коховский метод развивается и зреет. Может быть, недалеко то время, когда дифтерит, этот бич наших детей, исчезнет совсем, благодаря этому методу. Производятся опыты над многими другими болезнями, о которых не было и речи, когда узнали о лимфе Коха против чахотки. Получаются результаты поразительные, но врачи говорят: «не сообщайте этого. Мы сами еще не уверены. Не случай ли это только?»...

Мы с вами, читатель, простые смертные; для нас все равно, откуда идет истина, из Чухломы или из Берлина: будем верить и надеяться...

8 (20) января, № 5338

LII

Смерть и жизнь идут под руку. Кто умирает, кто веселится и дает бал. И кто веселится и кто дает бал, тоже умрет непременно. Все те, которые были на похоронах доктора Кошлакова, так же, несомненно, умрут, как и все те, которые были на костюмированном балу графини Клейнмихель. Разница только в том, что одни умрут ранее, другие позже, об одних пожалеют, о других нет, одни оставят имя, другие нет. Конечно, это не ново. Но не покажется ли новым некоторым моим согражданам, если я скажу, что живым следует относиться с уважением к мертвым, в особенности к таким мертвым, которые обладали гением и дали человечеству нечто такое, чего не даст ни один аристократ, если он только аристократ и ничего более. Веселитесь и радуйтесь, господа и госпожи, сколько угодно: жизнь коротка, и пусть всякий берет из нее все, что может и как хочет. Я не моралист...

Но если я читаю, что на балу у графини Клейнмихель, наряду с сановниками, министрами, с князьями и графами, были, в качестве тапёров, Моцарт и Гайдн, то этому я не поверю.

Я не поверил бы этому, если бы они были живы, ибо вполне убежден, что они не пошли бы играть польки и мазурки на костюмированный бал графини Клейнмихель, как не пойдет Рубинштейн, хотя бы ему предложили за это сумму полных сборов нескольких его концертов.

Но Моцарт и Гайдн умерли. Да, они умерли, но все те, которые высоко ставят человеческое достоинство и достоинство гениев в особенности, не могут не отнестись с чувством обиды к такой профанации их имен и фигур. Если гг. тапёры сами до этого додумались, желая обратить на себя внимание, то это, конечно, извинительно им, но хозяйке бала совсем не извинительно наряжать своих тапёров Моцартами и Гайднами. Почему бы не нарядить и не загримировать метрдотеля каким-нибудь покойным графом, каким-нибудь аристократом? Вероятно потому, что считают это неприличным. Но ведь гении — аристократы всего человечества, стало быть, выше всяких аристократов какой-нибудь страны, а потому их хоть по одной этой причине необходимо оставить тоже в покое.

Мне скажут: тапёрное занятие — почтенное занятие, дающее кусок хлеба, а потому что же обидного в том, что Моцарт и Гайдн явились в качестве тапёров? Но ведь и занятие метрдотеля тоже почтенное занятие, отчего же метрдотелю не явиться в образе какого-нибудь покойного аристократа? Но аристократу это

бы не пристало. Согласен. Но почему же гениям пристало играть ту роль, какой они не играли при жизни и, главное, не играют в памяти потомства? Надо быть последовательными. А то сегодня таперов нарядят Моцартами и Гайднами, завтра певца куплетов загримируют Пушкиным. Конечно, гении от этого нисколько не потеряют, но давать их в обиду, во всяком случае, не следует. Моцарт и Гайдн у русской графини таперами были! Нет, excusez du peu: ни они, ни им подобные не были и не будут никогда... Чем дальше идет человечество, тем выше ставит оно великие дары Божий, и сами обладатели этих даров становятся независимее...

11 (23) января, № 5341

LIII

Оперный вопрос! Все хотят в русскую оперу, а мест нет. Предупреждают даже, чтоб в «контору записи» не обращались. Куда обращаться — неизвестно.

Говорят, что «Контора записи» была учреждена для того, чтобы публика не мерзла по нескольку часов у театральных касс и чтоб в распределении билетов установить справедливость, удовлетворяя просьбы по порядку. Но представьте себе, что в «Контору записей» приносит почтальон разом 100 письменных требований, а мест всего 50. Кто раньше написал письмо и сдал его на почту, определить невозможно, ибо почта разносит письма только несколько раз в день. Я написал требование 10 минутами раньше вас, но мое письмо пришло в «Контору записей» вместе с вашим. Контора, разбирая письма, может распечатать ваше письмо раньше моего и вам дать билет, а мне нет. Стало быть, вот уже справедливость невольно нарушена. Но она нарушается и вольно. В то время, когда Контора писала «нет», г. директор театра писал любезные письма тем, которые к нему обращались, с извещением, что он оставляет для них ложу или кресла и просит принять выражение своих лучших чувств...

Г. директор театра — человек светский и обязательный, он имеет множество знакомых в свете и администрации, с которыми встречается и отказать которым в ложе или кресле он считает неделикатным. При достоинствах, у него есть один недостаток, да и то недостаток только в наших глазах, в глазах обыкновенной публики. В глазах же публики необыкновенной, т. е. более или менее светской, недостаток этот обращается в достоинство: г. директор делит публику на части. Для одной он делает очень достаточно, даже много, например, не только прекрасно ставит оперы и балеты, но и приглашает иностранных певцов и певиц, хотя и без них опера полна. Другую публику он как будто сдал в чужие руки, как бы в аренду и мало обращает внимания на то, как арендаторы с нею поступают. Такова публика Александринского театра; это нечто низшее, не стоящее того, чтобы об ней думать. Ей дают что попало и как попало. В течение десяти лет не могут установить порядочного репертуара, не умеют обновить труппу или в надлежащей степени воспользоваться ее силами. Даже московских артисток александринской публике не показали. Их заставили издержаться на поездку в Петербург, выдав по 10 рублей суточных и билет с почтовым поездом, и показали только Михайловской публике. Александринская публика не стоила и этого, особенно после того как часть ее отделилась в Михайловский театр и перестала совсем посещать Александринский. Однако почему же не стоила?

Спорить не станем, да и к чему? Г. директор служит публике излюбленной и служит не только усердно, но и артистически. Как артисту, ему приятно, что любимые им театры посещаются финьфлером общества, знатоками, по его мнению, искусства и всего того, что считается изящным и модным. Для них можно и работать, для них можно и нарушать правила продажи билетов, отделяя часть их в полное свое распоряжение, для них, для этих знатоков и ценителей, можно даже страдать. Как страдать? спросите вы. А вы только представьте себе человека, которого осаждают с утра до вечера просьбами о билетах. Ливрейные лакеи, записки, визиты. При этом надо рассчитать по рангам, по общественному положению. Тем необходим непременно бельэтаж и, в крайнем случае, бенуар, другим — непременно первые ряды кресел. Надо все расчесть, щадя самолюбие рангов и положений. Сколько усилий ума, сложных комбинаций и тонкого воображения надо! Сколько надо написать писем извинительных, сожалительных или удовлетворительных и радостных для просителей. Разве это не страдания? А как они возрастают, когда спрос превышает предложение, когда приходится колебаться между просителями, равными по своему значению! Кому дать? Кому отказать? Это гамлетовский вопрос: to be, or not to be! В самом деле, сколько горьких обид закипает в вашей душе, когда вам, привыкшему к бельэтажу, приходится довольствоваться вторым ярусом, а то и ничем! Какая туча стрел, напитанных ядом, летит в директора театров?..

Но кто же виноват? Он сам виноват, скажете вы...

Сам?.. Хорошо вам говорить: сам!..

А может быть, тут целый вопрос, общий и неразрешенный еще цивилизацией.

В Эмсе, будучи в отставке, покойный граф Лорис-Меликов мне говорил: «Половину моего времени брали ненужные для дела визиты и посещения таких лиц, которых я не мог не принять и которым я не мог отказать в их представлениях и просьбах. Меня рвали на части целый день такими пустяками, которые могла разрешить моя канцелярия, такими просьбами, на удовлетворение которых у меня не было никаких полномочий. Но я должен был выслушивать любезно, выражать свою готовность и свои сожаления. Истратив день на эти пустяки, мне случалось принимать губернаторов в 2 часа ночи, когда у меня глаза слипались от усталости и голова отказывалась понимать!»

Нет ли и в данном случае чего-то похожего? Нет ли и тут крайнего эгоизма, самолюбивой борьбы за свое я, за свое удовольствие. Обращаются к министру, когда надо обращаться в его канцелярию, обращаются к директору театра, когда надо обратиться в контору. Никто не хочет знать ничьих прав, никакого закона, никаких правил, как бы и кем бы они ни были утверждены, хоть сто раз. Всякому только до себя. Всякий считает себя не наравне с другими, а выше других, всякий претендует на привилегию. Никакого понятия о справедливости, о равноправности, о подчинении существующим правилам. Всякий выше их, всякий знать их не хочет. Все для себя и ничего для общего дела.

Мало того: если для нас с вами совершается несправедливость, которая возбуждает неудовольствие многих, мы спокойно молчим, даже защищаем несправедливость, ибо она нам выгодна и приятна. Сколько в Петербурге людей очень рады тому, что без всяких усилий и во всякое время они могут попасть в оперу, в ущерб другим. И как они негодуют на печать, которая поднимает свой голос в пользу справедливости!

Конечно, вопрос об опере не государственный вопрос; можно даже сказать, что это очень маленький вопрос, но маленькие вопросы иногда притягивают к себе вопросы посторонние, побольше; какою-то неуловимой контрабандой возбужденного чувства вопросы побольше проникают в эти маленькие и группируются около них. Да, иногда маленькие вопросы можно сравнить с теми микробами, которые порождают болезни.

Вот этим только и не хороши маленькие вопросы, а потому и то нехорошо, что такие исключительные порядки придуманы в наших театрах, под давлением того слоя общества, который желает стоять в исключительных условиях.

Вот по возможности объективный взгляд на этот оперный вопрос.

22 января (3 февраля), № 5352

LIV

«Послесловие» Л. Н. Толстого к «Крейцеровой сонате» я прочел только на днях: оно почти целиком воспроизведено в книжке проф. Гусева «О браке и безбрачии»[1].

Для кого нужно было это «Послесловие»? Для «многих», говорит автор. «В письмах ко мне многие просили объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа». И он объяснил действительно в простых и ясных словах, что он думает. Он думает о необходимости целомудрия и воздержания, о том, что оно «менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание»; он думает о том, что для целомудрия надо «не пить, не объедаться, не есть мяса и не избегать труда, не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда». Он думает так потому, что всего этого нет в современном обществе, а видит он нечто другое, что совсем не хорошо. Он видит, что супружеская неверность сделалась во всех слоях общества «обычным, приятным поступком, украшающим жизнь»; что «происходит это не столько от вложенного в человека животного свойства стремления к продолжению рода, сколько от возведения этого животного свойства (поэзией, повестями, романами, операми, романсами, картинами) на степень поэтического блага и молодечества», между тем как на самом деле «влюбление и плотская любовь» есть «унизительное для человека скотское состояние». Он видит, что деторождение, «вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений», сделалось «помехой для приятного продолжения любовных отношений», а потому, по внушению медицины, «стало распространяться употребление средств лишающих женщину возможности деторождения, или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в крестьянских патриархальных семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении». Он видит, что «дети воспитываются не в виду тех задач жизни, которые предстоят им, а только в виду тех удовольствий, которые предстоят им. И вследствие этого «дети людей воспитываются, как дети животных»; вся забота родителей, по внушению медицины, состоит в том, чтобы «как можно лучше напитать их, увеличить в них количество мяса, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми. Их

---

[1] *Проф. А. Гусев* О браке и безбрачии. Против «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней графа Л. Толстого. Казань, 1891. Стр. 104. Ц 65 к

всячески холят, моют, много кормят и не заставляют работать; если в низших классах этого не делают, то только по необходимости, взгляд же один и тот же, и в перекормленных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая мучительная чувственность. Наряды, чтение, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картины на коробочках до романов, повестей и поэм, еще более разжигающих эту чувственность». «В нашем обществе, вследствие приданного ложного значения плотской любви и сопутствующему ей влюблению, главные силы людей поглощены в лучшее время их жизни, мужчин — выглядыванием, приискиванием и овладением наилучших предметов любви, для достижения чего считаются простительным ложь и обман; женщин и девушек — заманиванием и вовлечением мужчин в связь или брак, для чего женщины не брезгают употреблением самых низких средств». Чтобы всего этого не делать, «люди должны понять, что цель, достойная человека, — служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли, не говоря уже о служении Богу, — непременно находится вне личного наслаждения и что потом вступление не только в связь, но и в брак, с христианской точки зрения, есть не возвышение, а падение, потому что влюбление и сопутствующая ему плотская любовь, как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе, никогда не облегчает достойной человека цели, но всегда затрудняет его». Утверждая, что «христианского брака быть не может», что Христос не устанавливал брака и ученики его не женились, Толстой признает, что есть «христианское отношение к браку», которое заключается в следующем: «христианин не может смотреть на плотское общение иначе, как на отступление от учения, как на грех; если христианина застанет познание истины уже в браке, то он не может делать ничего, как, не покидая жены, или жена мужа, если говорить о женщине, стремиться вместе с участницей или участником греха к освобождению себя от него, к наибольшему целомудрию в браке и к конечному идеалу, к замене плотской любви чистым отношением брата и сестры».

Ранее г. Гусева «Крейцеровой сонате» посвятил одну из своих «Бесед»[1] покойный архиепископ Никанор, доказывая, что брак есть христианское учреждение; г. Гусев говорит об этом еще пространнее, доказывая ссылками на Евангелие, что брак утвержден Христом, что, указывая фарисеям на Библию (Быт. 2,24), Христос разъяснил: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает», что в Кане Галилейской Христос благословил самый брак своим присутствием и совершенным там чудом, а потом благословил детей, как плод брака (Матф. 19,13—15); г. Гусев указывает на то, что Христос исцелил тещу апостола Петра (Матф. 8,14—15), что жена апостола Петра сопровождала его даже на пути к мученичеству, стало быть, Л. Н. Толстой не прав, говоря, что апостолы не женились. Кроме того, сами апостолы при жизни своей разрешали быть женатыми даже и епископам. Одним словом, можно сказать, что Л. Н. Толстому доказано неопровержимо самым евангельским текстом и самою раннею историей христианства, что Христос установил и благословил брак.

Мне даже думается, что все это и доказывать было бесполезно. Если в основе христианства лежит любовь к ближнему, любовь к людям, то не может лежать в нем основой отчаяние за род человеческий. А допуская, что половая любовь есть

---

[1] Беседа высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского, о христианском супружестве, против графа Толстого. Изд. 2-е, дополненное. Одесса, 1890.

падение, грех, отступление от христианского учения, надо допустить, что Христос совершенно отчаивался за человечество и не видел для него другого пути, кроме самоуничтожения. Я не могу себе представить ни чувством, ни рассудком, что Христос явился на землю для того, чтобы сказать людям, чтобы они как можно скорее помогли друг другу уничтожиться и предоставили бы землю, с ее солнцем, с ее благами в распоряжение зверей, птиц и гадов, которым одним только и можно плодиться и множиться, и наполнять собою землю...

Отсылая читателей к книжке г. Гусева, где он приводит, между прочим, соборные постановления церкви в параллель с нравственными требованиями Толстого, я думаю поговорить совсем о другом, хотя и по поводу этого же «Послесловия».

Прежде всего, зачем оно нужно было? Все те нравственные выводы из повести, которые делает граф Толстой в «Послесловии», были ясны сами собою. Для ссылки на Евангелие? Но она оказалась несостоятельною. Чтобы сделать понятнее и влятельнее самую «Крейцерову сонату»? Но мне думается, что граф Толстой достиг противоположного.

Читая летом прошлого года упомянутую «Беседу» архиепископа Никанора о «Крейцеровой сонате», я искренне огорчался не только тем, что архиепископ называл Толстого «юродом», «сумасшедшим», «велиаром» и т. п., но даже тем, что он не однажды говорил: «поучает герой Толстого, т. е. сам Толстой», или «проповедует герой Толстого, т. е. сам Толстой». Для меня было совершенно ясно, что Позднышев — превосходно созданное художественное лицо. Человек, совершивший отвратительное преступление, в течение нескольких месяцев тюремного заключения имевший возможность оглянуться на свою жизнь, осудить ее и понять всю ее пошлость и презренность, человек, оправданный судом, что только прибавило ему горечи, ибо отняло возможность «пострадать», лишенный своих детей, осужденный на одиночество, с неотступной мыслью о своей жизни, без всякого утешения в настоящем и без всякой надежды в будущем, такой человек, естественным, ходом своих мыслей и своего возбужденного состояния мог придти именно к необходимости «уничтожения рода человеческого» и искоренения плотской любви, которая ему, Позднышеву, отравила всю жизнь, Самая форма повести превосходная — форма исповеди и рассуждений о воспитании, о любви, о браке. Именно так, а не иначе мог каяться такой человек, как Позднышев. Он не достиг смиренного, безусловного покаяния, которое одно только и действительно; он каялся не как мытарь, а как проповедник, желающий, чтоб его слушали и удивлялись его искренности. Он действительно искренен, он откровенен до цинизма, до самоотвержения, но эта откровенность объясняет его поведение и как бы оправдывает его. Это вполне современный грешник; он не теряет своей самоуверенности ни тогда, когда женится, ни тогда, когда убивает, ни теперь, когда кается; теперь он только лучше понял себя и других и спешит проповедовать те истины, до которых он додумался, ибо ему мало того, что он анализирует себя сам с собою, этот анализ кажется ему таким красивым и убедительным, таким решительным и новым, что ему обидно, если б все это пропало даром; ему приятно поэтому выдать эти выводы из своего греха другим за философскую истину. Сколько простых грешников и преступников, но он не простой, он исключение из общего правила, а потому и преступление его должно быть поучительным. Каясь и анализируя себя беспощадно, он остается таким же эгоистом, каким был и до преступления. Не видя для себя никакого просвета впереди, он

желает, чтобы другие уверовали в то, что спасение только в безбрачии и целомудрии до конца дней.

Так, по крайней мере, я понимал Позднышева, и вся повесть казалась мне шедевром и по форме и по содержанию. Я чувствовал всю ту правду, которую Позднышев говорит о воспитании, о женщинах, о браке. Эту правду чувствовал и убежденный противник графа Толстого, покойный архиепископ Никанор, сказавший в своей «Беседе»: «В фактической стороне этой новой проповеди (т. е. «Крейцеровой сонаты») заключено *много поражающей, неслыханной правды.* В прежнее время о ней и не принято было говорить. Прежде многие знали ее про себя и помалчивали. Толстой первый назвал ее по имени вслух всего света»[1].

Но, чувствуя эту фактическую правду, даже пораженный ею, я отметал все крайние выводы Позднышева, как типа того порядка, о котором я говорил. И вот вдруг Л. Н. Толстой подтверждает своим «Послесловием» мнение архиепископа Никанора, что автор «Крейцеровой сонаты» «влагает ему (Позднышеву) в уста не иное что, как свои излюбленные, известные толстовские идеи...»

Для меня это было совершенно неожиданно. Л. Н. Толстой ни в каком отношении не похож на Позднышева, как Сервантес не был похож на Дон Кихота. Автор «Крейцеровой сонаты» — счастливейший человек не потому только, что владеет огромным дарованием «сжигать сердца людей», не потому только, что высоко стоит среди мировых писателей, но и потому, что семейная жизнь его одна из счастливейших. Желать больше счастья, чем он всегда его имел, было бы бессовестно, по крайней мере с точки зрения среднего человека. И если Толстой говорит, что брак есть падение человека, что безбрачие и уничтожение рода человеческого является высшим идеалом человека, то ему решительно никто не поверит, тогда как в устах Позднышева эта проповедь является весьма естественною. Таким образом, Л. Н., став на место Позднышева, разрушил ту таинственную, странную, но тем не менее, существующую связь между художественным созданием и читателем, т. е. ослабил значение и силу самой «Крейцеровой сонаты».

Такие авторские разъяснения у Золя и Доде, у Тургенева и Гончарова не только всегда гораздо хуже произведения, которое они разъясняют, но и ослабляют впечатление от разъясняемого произведения, делая его слишком личным. Художественный образ принимается во всей его целости, он стоит перед вами, как нечто весьма знакомое, близкое нам, как живой пример, как историческое лицо и сильно действует именно своей целостностью. Мы, публика, очень мало беспокоимся об авторе и, имея дело с произведением художественным, видим *живых* людей в его созданиях, а сам он для нас почти мертвый человек. Художественные произведения — дети художника: они живы теперь и будут живы то-

---

[1] Покойный архиепископ оговаривался, что Толстой «преувеличил правду до уродливости». Но преувеличение есть непременное условие не только художественного произведения, которое собирает детали в один фокус и одухотворяется известным настроением, но и прочувствованной церковной проповеди, чему примером могут служить и «беседы» самого архиепископа Никанора, далеко не лишенные всяких преувеличений и даже полемического вздора. Но эти произведения, имея в виду овладеть душою читателей или слушателей, рисуют пороки не столько для того, чтобы подействовать на порочных, а главным образом для того, чтобы защитить чистых и честных и пробуждать в них еще большую энергию хорошего примера, найти в них, так сказать, своих помощников для сеяния добра и правды на земле. Художник-проповедник и церковный проповедник в этом сходятся.

гда, когда и от праха их отца ничего не останется; это — его бессмертное потомство, вокруг которого мысль многих поколений будет обращаться. Мы воспитываемся на сочинениях автора, на жизни его героев, а вовсе не на жизни создателя их.

Представьте себе Рафаэля, который, написав Сикстинскую Мадонну, пошел бы по площадям и кричал всем, что эту Мадонну он написал с такой-то своей знакомой женщины, а ребенок Христос — сын ее соседки. Как бы эта откровенность (в сущности фальшивая, ибо дело не в том, с кого он списывал, а в том, как он написал) подействовала бы на современников художника? Не лучше ли во сто раз, что я не знаю, с кого он списал свою Мадонну, что, глядя на нее, я вовсе не смущаюсь мыслью о каком-нибудь земном образце. Это самое можно сказать о всех художественно изображенных лицах, идеальных, положительных и отрицательных, ибо они никогда не представляют собою одно какое-либо лицо, а сумму лиц, целые ряды личностей, настроение целой эпохи или известного времени. Художнику незачем говорить: это я, это мои мысли, я этим вот то-то хотел сказать: плохому произведению эти изъяснения не помогут, хорошему только повредят, разрушая впечатление живого примера, разрушая, как я сказал, таинственную, но крепкую связь между художественным произведением и читателем. И я знаю многих, которые, прочитав «Послесловие», вдруг охладели к «Крейцеровой сонате»: на ее поучения, на ее мораль как будто надета была этим «Послесловием» какая-то рубашка из прописей, и от самой повести повеяло холодом, как от проповеди, лишенной обаяния храма и ораторского таланта проповедника...

5 (17) февраля, № 5366

LV

Я уезжал на несколько дней в Москву. Был на бенефисе г-жи Заньковецкой и г. Южина и видел г. Плевако, вернувшегося со своего бенефиса в Варшаве. В телеграммах говорилось, что речь г. Плевако произнес блестящую. Я не нашел этого и в этом смысле высказался знаменитому адвокату. Он мне возразил, что речь напечатана слишком сокращенно. Главное его положение, что Бартенев никогда не пользовался успехом у женщин, что он очень некрасив и, что когда Висновская обратила на него внимание, он это очень оценил и сделался рабом ее и, как послушный раб, убил ее. Так ли это?

Вернувшись в Петербург, я нашел у себя несколько писем по поводу этого процесса. Меня, признаюсь, удивило, что эти письма защищают Бартенева, и в особенности женские письма. Человек убил женщину, и женщины его защищают! Не знамение ли это времени? Послушайте.

Одна из моих корреспонденток говорит о своем прошлом, когда она являлась мучительницей мужчин своим возмутительным кокетством и невероятными капризами и повелениями, которые доходили до требования умереть вместе:

«Он согласился (умереть вместе), пишет она. Мы выпили мышьяк. У него сделалась рвота. Он был противен. Мне ничего: я раньше принимала мышьяк и привыкла к нему. Я уехала». Потом она его даже не видала».

Другая женщина говорит: «Если б вы знали, что мы проделываем с несчастными юношами, и если вам не случалось быть в наших когтях, в когтях больных,

скверных и обольстительных женщин, то считайте себя прямо счастливым. Нашему эгоизму, кажется, пределов не поставлено; будучи сытыми, даже не любя, мы гоняемся просто за ощущениями и не щадим никого, ни наших поклонников, ни отцов и матерей этих юношей. Говорю это по собственному опыту и потому, что я видела и вижу».

Вот еще отрывок из письма:

«Среди ухаживателей не было ни одного очень умного, серьезного, строгого, словом, ни одного выше меня, все ниже. Полюбить я никого не сумела. Ко многим я чувствовала привязанность, особенно кто меня любил крепко, и поочередно думала за каждого выйти замуж. Но стоило кому-нибудь взять с меня полуобещание — у меня начинались сомнения, он делался мне гадок. Один был такой любящий, преданный, вечно готовый на самопожертвования. Его я любила, но... наедине, при других же я осыпала его в глаза насмешками, оскорбляла, заставляла пред собою унижаться, всем показывала, что он меня любит до безумия, а я его не люблю, презираю. Когда же я была с ним одна, я была тем мягче, любовнее, добрее, чем злее накануне. Я бранила себя и говорила, что мне один конец — смерть. Я просила у него морфий, достала цианистый калий, плакала, молила о прощении. Эти минуты он называл минутами моего самобичевания. На другой день я смеялась над этим, над ним, оскорбляла его и проч.».

Пропускаю двадцать строк: «Всех их (поклонников), минутами я ненавидела за их любовь и уважение ко мне, больной, глупой и гадкой. Я их бранила и стыдилась, если мне говорили, что я люблю кого-нибудь из них. Но, уверяю вас, я всех любила, как братьев, чисто, но *далеко*. Когда с кем-нибудь из них случалась болезнь, я сама хворала и, наверно, вздумай хоть один из них умирать, я бы все бросила и пошла к нему, не обращая внимания на сплетни».

Это пишет женщина счастливая, приставшая к пристани и имеющая мужество и честность анализировать свое прошлое. До чего она дошла бы сама и до чего она довела бы других, если бы продолжала!

Цитируемые мною письма анонимные и тем скорее верится этим корреспонденткам. В лице Висновской они узнали самих себя и вот почему обеляют Бартенева. Ни г. прокурор, ни г. Плевако не обмолвились насчет этой женской тактики ни словом. Да и возможно ли? Висновская убита, Висновская жертва! И обвинитель, и защитник стараются держать ее на высоте. Они только дополняют друг друга или согласились на счет умолчаний. Но к чему они, когда дело идет о преступлении, выходящем из ряда вон, когда следствие длится несколько месяцев и все-таки не разъясняет того, что в этом деле самое важное. Не лежало ли обязанности на прокуроре и защитнике бросить яркий свет на это дело? По-моему, следовало все говорить, что они знали, должно было говорить на тему об отношениях женщины и мужчины вообще в наше нервное время, и такой женщины, как Висновская, и такого мужчины, как Бартенев, в особенности. Только правдивый анализ и был бы поучителен и давал бы что-нибудь и для общества, кроме факта убийства и восьми лет каторги. Если суд ничего не дает, кроме факта преступления с его циническими подробностями, и наказания, то суд не исполнил своего призвания. Суд должен давать уроки общественной морали и ими предупреждать преступления и проступки, а не одним уложением о наказаниях. В суде без присяжных это тем необходимее. Для чего суд и гласный, как не для того, чтобы он был поучителен, чтобы, рассмотрев зияющую рану, он дал работу для мысли общественной и желание залечить общественную болезнь.

Король Лир говорит: «Нет виноватых». Это все равно, что сказать: «все виноваты». Виноваты не только Висновская и Бартенев, но виноваты и польские, и русские нравы. Не велика храбрость себя оправдывать, истинная храбрость — ясно посмотреть на себя и даже преувеличить свою вину. Это забывается под властью вырастающего эгоизма. О виновности Бартенева не может быть спора, как бы ни защищали его мужчины и женщины. Кто убил, тот виноват, кто убил даже на дуэли своего противника, и тот виноват. Каким бы рабом ни сделался Бартенев своей возлюбленной, он виноват и в том, что он сделался рабом, и в том, что убил ее, как раб. Рабской безответственности в обществе, где всякое рабство осуждается, не может существовать. Как бы женщины ни были испорчены, как бы ни были могущественны их прелести и сети страсти и наслаждения, которыми они влекут и опутывают мужчин, мужчина не имеет права их убивать ни в каком случае. Я бы никогда не оправдал убийцу, ни тогда даже, когда он убил в запальчивости, в раздражении, в пьяном виде. Не будь запальчив, раздражителен и пьян, не смей забывать, что ты человек, помни, что ты не зверь, помни, что ты сам должен воспитывать свою волю и чувства постоянно, до конца своих дней. Если ты этого не делаешь, ты виноват...

В последнем слове подсудимый сказал: «Что касается моей вины относительно нее» (т. е. Висновской)... Он зарыдал, махнул рукою и сел. Перед ней он виноват безмерно. Если он это хотел сказать и не мог за рыданиями, то это лучшая минута его во время процесса.

Что он делал два-три часа после убийства? На мой вопрос об этом г. Плевако сообщил некоторые подробности, из которых об одной я скажу. Грудь убитой была мокрая, не от вина и не от воды, которой совсем в комнате не было. Не проливал ли убийца слез над своей жертвой и не вымочил ли он ими грудь ее? Это очень возможно. Возможны и отчаяние, и слезы, и страх, и раскаяние. Но все это после убийства...

Вина Висновской... Да, и она виновата. Это лицемерие, когда мы устраняем от ответственности женщин, начиная говорить о рыцарстве и т. п. Всякая вина может быть объяснена и отчасти оправдана, но всегда и везде часть вины остается и на отдельной личности. Пусть все виноваты, но и каждый в отдельности виноват, виноват хоть настолько, насколько он служит себе, своему собственному «я», своему эгоизму, своему наслаждению. А она этому служила, а потому виновата. Но я прекрасно понимаю ее положение, как женщины и актрисы. Оно для меня яснее, чем это показали гг. прокурор и защитник, Я вижу, каково было ей среди своих и русских, среди отношений актрисы и отношений женщины. «Чудесная актриса», пока она не сходится с русскими. «Плохая актриса», когда стали посещать ее гусары. Так говорила варшавская печать, а печать — сила. В деле есть еще другие указания на сложное положение артистки. Висновской приходилось лавировать, лгать направо и налево, путаться, играть комедию в жизни; она говорила такие монологи с видом убеждения, на которые и тени отклика не было ни в сердце ее, ни в уме; она красовалась ими, интересничала, лгала с той привычной легкостью ко лжи, которой вообще много у женщин, а у таких, как Висновская, в особенности. «Убей меня!», «умрем вместе» говорила она, но вовсе не желала умереть ни одна, ни вместе. Она страстно любила жизнь, а вовсе не смерть. Если б он убил себя около нее, она утешилась бы тем скорее, что это самоубийство бросило бы блестящий свет скандала-трагедии на ее личность, на ее извест-

ность. Она играла комедию и в предсмертные часы, и тогда, когда писала записочки и рвала их, желая протянуть время и, конечно, перебрасываясь с ним совсем недружелюбными словами, и тогда, когда мочила платок в хлороформе и клала его на свое лицо. Комедия ее утомляла и она хотела уснуть, чтобы отвязаться от нее и от него. Она не думала умереть, не думала, что он посмеет ее убить. И он знал, что она не хочет умереть, что у нее не было ни малейшей причины желать смерти, и все-таки убил ее, горя ревностью и злобою к своим соперникам. «Не мне, так никому». Это чувство знакомо всем и ни все, ни он не заслуживают в этом отношении оправдания, тогда как на ее стороне есть много такого, что внушает к ней жалость и симпатии. Бартенева можно жалеть как всякого молодого человека, но он виноват и должен искупить свою вину вполне. Пусть защитники его вспомнят историю покойного австрийского наследного принца. Разница огромная...

Чтоб оправдать убийство хоть немного — я уже сказал, что совсем никакое убийство не может и не должно быть оправдано, — надобны идеальные до исключительности порывы и чувства. У него их не было. А как сладка и дорога жизнь, он знал сам по себе, когда, убив ее, не имел мужества убить себя самого.

К стыду человечества, убивать других легче, чем себя самого. Когда люди вырастут до того, что не станут убивать других, тогда будет конец и самоубийствам. Жалея чужую жизнь по принципу, по чувству, по разуму, будешь жалеть и свою собственную, как необходимую в общей гармонии любви и уважения друг к другу, т. е. будешь жалеть ее не для себя, что очень легко и часто это равняется жалению своей жизни на счет жизни других, а будешь жалеть ее потому, что она нужна для других, для ближних.

25 февраля (9 марта), № 5386

LVI

Дело вот в чем. Правление Общества Рязанско-Козловской железной дороги выработало очень счастливую комбинацию вместе с директором департамента железнодорожных дел С. Ю. Витте. Комбинация эта необыкновенно выгодна для русской казны и процветания русской промышленной жизни. По крайней мере, такого о ней мнения «Новости». Читаешь и не веришь, что за роскошь такая готовится России, какие широкие планы постройки железных дорог, элеваторов, пароходов, пристаней и т. д. Уж не говорю о казне, которая только и будет делать, что получать «постепенно возрастающие суммы», но что может быть лучше того, что, вследствие осуществления этого плана, «общее благосостояние страны» поднимется? Панегирист «Новостей» даже никаких возражений против плана не допускает, или вернее сказать, он разбивает их заранее, говоря, что все это «возражения заинтересованных лиц и учреждений», которые ничего не понимают в деле «общего подъема благосостояния страны».

Это последнее, однако, очень серьезно. Положим, план обогащения России при помощи железнодорожных обществ — план превосходный. Я не могу быть судьею в этом вопросе, ибо в финансах и железнодорожных делах я совершенный профан и всякому специалисту очень легко мне доказать гениальность фи-

нансового или железнодорожного плана, разбив все мои соображения, какие я могу иметь, как простой литератор. К тому же я человек с воображением и люблю рисовать себе блистательные картины благосостояния моей родины, которую я желал бы видеть в сиянии счастия и славы.

Но с летами я с горестью вижу, что во всех блистательных проектах есть изнанка и потому с некоторым недоверием отношусь к блистательным планам. В данном случае мне кажется удивительно странным изречение публициста, что «заинтересованные учреждения и частные лица ничего не понимают» в деле общего подъема благосостояния страны». Как так — ничего не понимают?! Ведь помещики были заинтересованы в деле крепостного права, и однако к ним же обратились за советом и помощью и среди них нашли людей, прекрасно понимающих интересы благосостояния целой страны. Купечество заинтересовано в тарифе и проч., и однако к нему же обращаются за содействием и советом, и выслушивают его мнения и возражения, и соображаются с ними. Мало того: наши дети, эти птенцы гимназий, несовершеннолетние птенцы, имеющие весьма естественную склонность к лени и шалостям, которые они могут предпочитать науке, и тем не менее даже их положение принимается в расчет и их желают облегчить и дать возможность подолее дышать свежим воздухом, забывая на время тяжелую науку...

И вдруг частные лица и даже «учреждения» объявляются заранее некомпетентными в том плане облагодетельствования России, который создало правление Рязанско-Козловской железной дороги совместно с г. Витте. Честное слово, я этому просто не могу верить. Правление Рязанско-Козловской дороги и г. директор департамента железнодорожных дел, конечно, компетентны — правление в своих выгодах, а г. Витте — в выгодах казны. Я понимаю, что эти выгоды могут быть уравновешены так, что и правление дороги приобретет многие миллионы, и на долю казны перепадет нечто, может быть, и большое. Но я отказываюсь верить тому, что правление дороги и г. директор департамента — непогрешимы.

Я знаю, что папа непогрешим, но непогрешимость признал за ним собор епископов и кардиналов. Каким же образом объявляется, что правление дороги и г. Витте непогрешимы, без всякого собора? Каким образом объявляется, что не только частные лица, но и «учреждения», вероятно, правительственные, будучи «заинтересованы» в деле, ничего не понимают в общем «подъеме благосостояния страны?..

Почему? Где доказательства?

Почему правление Рязанско-Козловской дороги, будучи «заинтересовано» в деле, стоит на такой высокой степени патриотизма и нравственного развития, что превосходно соображает «общий подъем благосостояния страны», а другие этого не соображают? Ведь оно очень заинтересовано, не правда ли? Но положим, что оно не заинтересовано, что оно действует исключительно как высшее проявление патриотизма и готово даром положить к ногам казны свой труд и свои деньги. Это невероятно, но допустим чудо. Однако, и при этих условиях, оно все-таки «заинтересовано»... как автор проекта. Г. Витте заинтересован тоже, как автор проекта. Они заинтересованы в деле, по крайней мере, настолько, насколько Тургенев и Толстой заинтересованы в успехе своих произведений. Если это так, а это так, то отчего же им такие преимущества непогрешимости, а всем другим, частным лицам и «учреждениям», тоже «заинтересованным», ничего, или по крайней мере ничего, кроме корысти?

Составителям проекта со стороны панегиристов — одно бескорыстие и нравственная высота; всем тем, которые против них, — одна корысть и нравственное падение.

Почему так строго?

Позвольте, господа: есть же середина, наконец; для чего же нибудь существуют и «частные лица», и «учреждения»; недаром же говорится, что du choc des opinions jaillit la verite? Или все это вздор? Никаких споров, никакой полемики, никакого обсуждения, а прямо: они облагодетельствуют Россию, если им никто противоречить не будет...

В чем дело, однако? Но об этом до другого раза, если мнение литератора, во всяком случае много видевшего на своем веку, может иметь какой-нибудь вес.

27 февраля (11 марта), № 5388

LVII

Я не совсем понимаю, о чем в сущности идет дело? Совершается ли поворот к концессиям или основывается новая система постройки и эксплуатации железных дорог, не похожая на концессионную?

Что такое концессия на общепонятном языке? Это публичное признание правительства в том, что оно, имеющее деньги, доверие, кредит, имеющее своих инженеров и средства дать хорошую и выгодную работу трудящемуся населению, совершенно бессильно перед первым подрядчиком. Правительство, сознаваясь в этом своем бессилии, говорит человеку почти безграмотному, ничтожному, не владеющему никаким образовательным цензом и никакими нравственными достоинствами: «хочешь быть миллионером, хочешь из ничтожества подняться на высоту? Построй железную дорогу. Я дам тебе кредит, дам гарантию, я поставлю тебя вместо себя так, что все и дома и за границей поверят тебе, что ты излюбленное мое чадо, что ты представляешь собою мой кредит, мое доверие, мою инженерную и денежную силу. Я дам тебе столько, сколько не получал от меня ни один министр, ни один государственный человек, ни один поэт и художник. Мало этого, если сумеешь, ты можешь подчинить себе если не министров, то людей которые имеют влияние на них и на дела».

Разумеется, правительство такого монолога не говорило и даже не воображало, что таким монологом может выражаться сущность концессии, но практика дела показала, что концессионер явился именно человеком с такою властью и силою. Он строил кое-как железные дороги, он эксплуатировал безжалостно рабочих, платя им скверно и кормя скверно, он развел беспримерное взяточничество и подкуп, он завел своих репортеров во всех министерствах, которые доносили ему обо всем, что там делается и затевается, он принизил перед обществом инженера и всякие строительные знания, он высокомерно относился к публике, отвратительно содержал железную дорогу, жил дружно с начальством, снисходительным и любезным к богатству, он давал иногда подачки в виде пожертвований, получал за то чины и ордена, и сосал преисправно бюджет, т. е. народ, который платит подати.

Трудно поверить, что это было, что это считалось нормальным порядком вещей, и что кланялись этим выскочкам-концессионерам, ничтожным и невежественным, образованием своим и своей нравственностью не превосходившим лакеев министерской передней, не заседавшим в кабинетах министров.

Не может быть, чтоб к этому порядку вещей можно было возвратиться. Он был, он осужден и правительством, и обществом, и его больше не будет. Правительство боролось с ним и постепенно исправляло старые грехи, в последние годы с большой энергией и талантом. «Выкуп» железных дорог явился правительственным лозунгом, с радостью принятым обществом. Хотя мы повторяем старую формулу, которой больше тысячи лет, что «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет», но мы знаем, что правительственная инициатива сделала так много и прочно, что доверие русского общества к правительству неизмеримо сильнее, чем к частной инициативе. Эксплуатация правительственных железных дорог, построенных им или выкупленных, прямо доказала, что правительство умеет управлять, что оно гораздо заботливее и честнее в этом деле, чем частные компании. Зачем же признавать себя бессильным, зачем говорить опять· «мы не можем, пусть делают частные люди». В обществе говорят: «опять концессии! Опять биржевая игра! Опять большие капиталы, с которыми трудно бороться»!

На это возражают. О концессиях не может быть речи. Концессия выдавалась одному лицу, которое иногда ничего не имело, это лицо образовывало общество, строило кое-как дорогу, правительственные агенты принимали постройку с шампанским, государство оказывалось в тисках контракта и всяческой недобросовестности и платило, платило, платило без конца, нагромождая капиталы частных лиц и концессионеров в ущерб всем тем, которые своим достоянием жертвуют на бюджет и в ущерб людям знания и науки...

Теперь совсем не то. Постройка отдается обществу, а не лицу, притом обществу состоятельному, богатому, владеющему доходным предприятием. Правда, деньги на постройку оно занимает у правительства или с правительственной гарантией, но правительство совершенно обеспечено в уплате процентов и получает дорогу, которая ему ничего не стоит. Ну, и так далее, действительно, кажется выгодно.

— Но отчего же правительству самому не построить дорогу?

— Денег нет, все бюджетные средства распределены на долгое время.

— Да ведь оно же дает гарантию?

— Дает, но оно получает исправно проценты, тогда как за концессионеров оно приплачивало. Заем лежит на дороге, а не на правительстве. Это очень важно. Правительство выговаривает себе известный контроль и не допустит ни тех расхищений, которые были при концессиях, ни того мошенничества при постройке дороги и приеме ее.

Ну а будущее? Надо ли о нем думать? Мне кажется, надо. У наших потомков будет своего дела много, и навязывать им еще наши ошибки и наши контракты не только недобросовестно, но и не согласно со здравою политикою. Кроме того, теперь, положим, такие-то и такие-то энергические и талантливые финансовые деятели, при которых все может пойти прекрасно. Но ведь они не вечны. Обстоятельства тоже могут измениться, как и люди. Начнутся хлопоты, уступки, по-видимому, неважные, а в конце концов компания очутится в таких условиях, что правительство окажется у нее в зависимости и народные интересы также. Я не говорю уже о биржевой игре, этой подлой язве, которая растет с каждым

предприятием и которая подкупает невольно всех тех, у кого есть акции и заставляет их смотреть снисходительно на действия компании. Аристидов, которые бы ставили народные и государственные интересы выше своих собственных, так мало, что об этом тоже подумать следует. Будущее надо иметь в виду и надо помнить, что правительство должно себя считать выше частной компании и без крайней нужды не поступаться своим авторитетом там, где оно может и должно держать его в интересах всего населения.

Толков много, и толков страстных. Не мешало бы изучить образцы, например, конвенции французского правительства с компаниями. Я выписал целую дюжину книг по этому вопросу, и критика этих конвенций дает огромный материал и для нас, для наших конвенций с железными дорогами.

Предполагая, что все пойдет гладко и хорошо, искренно веря, что дело совсем не похоже на прежние концессии, что намерения самые добрые, для меня остается все-таки неясным вопрос: почему правительству считать себя бессильным в этих предприятиях постройки железных дорог? Выпуская их из своих рук, можно дойти до положения, что, например, и Государственный банк всего лучше отдать частной компании на акциях. Вероятно и тут найдутся выгоды бесспорные, но что правительство потеряет часть своего авторитета, — тоже едва ли подлежит спору.

17 (29) марта, № 5405

LVIII

На этих днях у нас было говорено о преимуществах пассажирского движения в Европе перед нашими порядками, причем выражалось желание, чтобы и мы последовали европейскому примеру. Оказывается, что юго-восточные дороги уже об этом надумали ранее, и сегодня опубликованы, с разрешения министерства путей сообщения, в виде опыта, на один год, облегченные тарифы для кругового движения между Петербургом и Москвою на Волгу и Кавказ. Пассажиры получают уступку в 30%, а на Владикавказской и Закавказской дорогах — 40%.

Все это было бы очень хорошо, если б мы не делали только в половину. Не все европейское к нам применимо вполне, но есть многое в Европе, что если следует применять к нам, то следует применять вполне, а не на половину. Во-первых, к чему эта условность: в виде опыта, на один год? Разве год опыта что-нибудь значит? Публика медленно привыкает даже к таким нововведениям, которые служат в ее пользу и медленно с ними знакомится. В самой Европе круговое движение прививалось целыми годами, несмотря на содействие частных контор, вроде Кука, которые явились посредниками между публикою и железными дорогами. Когда подобное движение вводится в виде опыта, на один год, то все к нему и относятся, как к опыту, то есть спустя рукава. Недовольные опытом, — а такие всегда найдутся и между обществами железных дорог, и особенно между служащими на них, — будут парализовать этот «опыт». Со стороны министерства путей сообщения это ошибка — допускать только «опыт» на один год, ибо это, значит, тормозить начатое дело, заслуживающее всякого поощрения. Будет мало пассажиров для кругового движения, — начнут говорить: «мы предупреждали», «мы говорили», «мы наперед знали». У нас пророки, как известно, все из

числа тех, которые пророчествуют необходимость сидеть сложа руки, не утруждать своей головы размышлениями, чуждыми винта и чиновнических привычек к высокомерию перед публикой. Но что поистине несообразно ни с чем в этих правилах, что почти уничтожает их действительность, это их применение только к петербургским и московским жителям. Совершать движение по *облегченному* тарифу можно только из Петербурга и Москвы. Мне показалось это столь нелепым, что сначала я думал, что тут просто неполнота правил, какой-нибудь пропуск в них. Но ясное указание на то, что «свидетельства» для такого «кругового» движения можно брать только в Петербурге и Москве, убедило меня, что так оно и есть. Для столичных «штучек» это придумано, выражаясь банально. Столичные жители заслужили «облегчения», а провинциалы не заслужили их. Провинциал еще должен заслужить перед железнодорожным персоналом и персоналом путей сообщения, чтобы они подумали и о провинции. А пока *облегченный* путь начинается только от «печки». Приезжайте в Петербург и Москву по *обыкновенному* тарифу, и отсюда уже вы пользуетесь облегченным тарифом, если опять вернетесь в Петербург и Москву, а не к себе домой. Провинция, то есть вся Россия, будет вправе принять эти правила за насмешку над собой. Я могу поехать в Ростов и Тифлис с уступкою 30% и 40%, но у жителя Ростова и Тифлиса отнимается право ехать в Петербург и Москву по круговому билету. К тем многим преимуществам, которыми пользуется столичный житель, прибавляется еще новое. Плохо придумано.

В Европе это не так, как само собою разумеется. Со всех главных станций, находящихся в районе известного кругового маршрута, вы можете ехать по облегченному тарифу и возвращаться на ту станцию с которой начали путь. Но у нас это нельзя. Много заботы чиновникам. Поди, вырабатывай сложные маршруты. Затруднителен контроль. Главное, ужасно затруднителен контроль! А у нас, чтоб ничего затруднительного не было, вероятно, в интересах винта и благородно-неподвижных российских мозгов чиновничьего приготовления.

Знаете ли, что в марте прошлого года Николаевская дорога представила проект скорого поезда между Петербургом и Москвой и вообще изменение поездов для облегчения пассажиров? Все было сделано, что нужно; осталось только ввести эти поезда. Напечатано было о них в газетах. Но этот проект пошел куда-то на разрешение или утверждение и доселе там почивает. Целый год почивает у какого-нибудь столоначальника путей сообщения или директора департамента и, вероятно, будет почивать еще много лет, вероятно, вследствие каких-нибудь важных государственных причин. Не сообщит ли кто-нибудь, где затерялся этот проект? Он уж в том отношении важен, что для пассажиров 3-го класса проектировалось уменьшение проезжей платы между Петербургом и Москвою...

27 мая (8 июня), № 5474

LIX

«Германия в 2000 году». Да, теперь известно, что будет с Германией в 2000 году, благодаря г. Эрману. В Германии есть Ад. Эрман — даровитый египтолог. Теперь нашелся г. Г. Эрман, который написал брошюру «Германия в 2000 г» (Deutschland im Jahre 2000). Брошюра эта составляет 4-ю тетрадь сборника «Немецких сочине-

ний для национальной жизни» (Deutsche Schriffen f. Nat. Leben), предпринятого с целью объяснения и вразумления всякому немцу культурных и национальных задач Германии, их силы и значения.

Если даровитые и умные Эрманы не желают пророчествовать, ибо знают очень хорошо, что с пророчествами далеко не уйдешь, то бездарный и совсем неумный Эрман пророчествует, ибо знает, что есть много глупых и надменных немцев, которые любят пророчества, и чем эти пророчества высокомернее, тем более им верят те немцы, которые глупы и надменны.

Итак, мы в 2000 году. Царствует Вильгельм III, надо думать, сын Вильгельма II. Так как Вильгельм III царствует уже пятьдесят лет, то Вильгельм II скончался около 1950 года, на девяностом году своей жизни. Завидное долголетие. Но в Германии все великие люди живут долго — Вильгельм I, Бисмарк, Мольтке, а может, потому они и велики, что долго живут: на большом пространстве даже не великий человек может кое-что сделать. Доказательство — Герман Финдер, который умер 109 лет, Герман Финдер прославился в XX столетии, родившись 4 марта 1891 г. в Дерпте. Он — истинный лифляндец и всю жизнь свою употребил на верную службу своим германским государям и на агитацию с целью присоединения маленьких немецких земель к большим. Он был верным сыном верного отечества (der treue Sohn der treuen Heimath), точно есть верные сыны неверного отечества. Но по-немецки это, должно быть, не бессмысленно, а глубоко. Г. Финдер на пространстве 109 лет стал великим человеком, но второго разряда, меньше Бисмарка, ибо отныне в Германии, как известно, допускаются великие люди только на престоле. Другим это не дозволяется. Да и зачем, когда императоры германские чем дальше, тем больше живут. Вильгельм II жил 90 лет, а Вильгельму III уже идет 118-й год, а он еще славно царствует и собирается окончательно покорить Россию. Не забывайте, что мы в 2000 году.

В 1895 г. был заключен «священный» мир в Париже и Варшаве, положивший предел «угрозам славянской волны» Европе. Немцы, разумеется, не только победили, но показали неизмеримое благородство и великодушие, и этим благородством и великодушием подчинили себе выродившуюся Францию и заставили ее войти «в немецкие интересы», и Франция сделалась верным другом Германии и, конечно, пошла с нею a la tête de la civilisation. Относительно России немцы тоже оказали беспримерное в истории великодушие, ибо ограничились только тем, что заставили ее заключить выгодный для Германии торговый трактат и дать самостоятельное положение Курляндии, Лифляндии и Эстляндии. Но Россия не поняла немецкого великодушия и продолжала злобствовать. Тогда снова разбили ее храбрые немцы, заключив с нею мир в Петербурге. По этому миру Остзейские провинции, кажется, вместе с Петербургом — этот пункт не ясен — отошли к Германии и стали имперскою землею; русская Польша составила нейтральную полосу между обеими империями, причем почти такая же часть ее все-таки отошла к Германии, подобно Швейцарии и Голландии, которые, разумеется, братски бросились в объятия благословенной Германии.

Россия присмирела, но злобствовала ужасно. В Германии же все процветало, все распри кончились; когда в палате умер выдающийся депутат оппозиции, то вся палата рыдала и обнималась в горькой печали; рабочие разбиты были на классы и всем стали довольны; женщины начали изъявлять желание поступить в военную службу, которая сделалась воспитательницею целой страны, ибо солдаты часть времени занимались службою, а часть — сельскохозяйственными рабо-

тами (должно быть, из России переняли); собирались мирные конгрессы, евреи подверглись германизации при помощи браков и оттого стали лучше; вообще Германия решительно преуспевала, и под крылом ее благоденствовала Европа и все было бы хорошо, если бы не Россия. Злобствовала эта ужасная страна и не хотела понять, сколь велик немецкий народ, сколь он великодушен и непреоборим. В 2000 году в «русской столице», Москве, правительство потребовало от Московского Всесословного Сейма — не забывайте, пожалуйста, что мы в 2000 году, — потребовало сверхсметных кредитов и отклонило предложение Берлина явиться в Люксембург на «международный мирный конгресс». Вместе с этим она сняла телефоны на границе, а воздушную почту сделала неисправной нарочно, так что известие о приготовлении России к войне получено было в Берлине только с голубиной почтой. Газеты сначала не верили этому ужасному известию, грозящему миру Европы. Но вот слухи подтверждаются. В Москве царствует лихорадочное возбуждение. Всесословный Сейм вотировал сверхсметные кредиты единогласно и одобрил отказ своего правительства от мирного конгресса. Русское правительство готовит резкий ответ на приглашение явиться на конгресс в Люксембурге. Русские чувствуют себя достаточно сильными для того, чтобы отстоять свою независимость и снова овладеть потерянными провинциями. В Берлине считают положение опасным для мира. Но ее войска пока остаются еще в казармах. «Боже, защити отечество»! (Gott schütze das Vaterland).

Так кончается немецкое пророчество. Но причем тут Бог, в этой лжи на Россию, в этой проповеди ненавистничества к России, которая будто бы не дает спокойно жить Берлину? При чем Бог в этой ненависти к несчастной «славянской волне», которая имеет, по крайней мере, такое же право на Божие покровительство, как и «германская волна»? Или немцы не на шутку уверены, что Бог непременно на их стороне, ибо, во-первых, они никого не боятся, кроме Бога, — за что Бог должен быть им благодарен — а, во-вторых, немецкие императоры сами служат обедню, а потому нет молитвы, которая была бы более действительна?

Автор этого пророчества, однако, остановился вовремя, не сказав, чем кончилась война 2000 года. Я от всей души желаю, чтобы русские войска жестоко побили немцев в 2000 году, побили бы так жестоко, как были побиты при Иене французами прусские войска. Я желаю этого для блага немецкого народа, ибо постоянное счастье, постоянные победы и во второй половине XIX, и во все время XX века обратят весь немецкий народ в орду тупоумных и надменных людей, среди которой голоса благоразумия будут раздаваться вотще. Несчастие нужно для немцев, чтоб их очистить, чтоб образумить их... Но мы еще в 1891. Есть ли надежда, что крик глупых и надменных немцев заглушат советы умных и добрых?

12 (24) июня, №5489

LX

Тройственный союз заключен снова. Недавно я говорил об аппетитах немцев, теперь послушайте об аппетитах итальянцев.

Какой-то итальянец прислал в редакцию (ommaggio del'autore) свою брошюру «L'Italia a Trieste e l'Inghilterra a Constantinopoli» («Италия в Трнесте и Англия в Константинополе»). Это — приятные мечтания о близком будущем, именно о поражении России. Брошюра написана в форме отчета о том, что уже было.

Дело началось тем, что Болгария, по команде Тройственного союза, объявила себя королевством. Вследствие этого Россия заняла Варну своим флотом, и началась война. Франции пообещали возвращение Лотарингии, и она, в своей трусости, приняла положение нейтральной державы и стала ждать, когда война окончится и когда ей подадут подачку. Солсбери вместе с русскими эмигрантами и при помощи золота, «которого очень достаточно», начал стараться произвести революцию в Петербурге, а г. Таффе начал употреблять усилия произвести революцию в Варшаве, и обе революции, разумеется, должны могущественно содействовать союзникам, особенно при таких мастерах, как г. Солсбери, г. Таффе и русские нигилисты, которые должны более всего обрадоваться золоту. Соединенные флоты Австро-Венгрии, итальянский и английский, под командою англичанина Госкинса, берут Очаков, Кинбурн, Николаев и бомбардируют Одессу, которую скоро занимают итальянцы и румыны. Сухопутная армия австро-венгерская, итальянская, румынская и болгарская, находясь под начальством Франца-Иосифа, бьет русских. Особенно отличаются непобедимостью итальянцы. Они везде успевают и везде побеждают, точно итальянские танцовщицы, приезжающие в Петербург не столько для того, чтобы танцевать, сколько для того, чтобы выгодно заниматься проституцией. В конце концов, Россия заключает перемирие на таких условиях:

Россия уступает императору Францу-Иосифу Польшу вместе с крепостью Ивангород, а Румынии — Бессарабию по Днестру. Кроме того, Россия уплачивает все военные издержки.

Затем в Берне конференция, на которой со стороны России присутствуют г. Гирс, г. Нелидов и г. Гамбургер. На этой конференции решено несколько весьма приятных вещей для союзников и неприятных для России и Турции. Россия, кроме того, что потеряла Польшу и Бессарабию, потеряла и Армению: русская и турецкая Армения образовали королевство, которое находится в такой же связи с Россией, как Бавария с Германией. Константинополь получил самоуправление под главенством Англии, которая взяла себе и Египет. У султана отобрали всю европейскую Турцию и разделили ее между Болгарией, Сербией, Грецией и Австро-Венгрией. Но больше всех получила, конечно, Италия, она получила Мальту, Тренто, Триест, Горицу, Истрию, Фиуме и Далмацию; Албанию занимает своими войсками до плебисцита, который выскажется в пользу Италии, конечно; над Черногорией приобрела она протекторат. Этого мало: она получила еще Корсику, Тунис, Обок и Танжер и некоторые другие части Африки. Одним словом, она получила львиную долю просто потому, что она Италия.

Император Франц-Иосиф, столь мужественно победивший Россию, потерял не только то, что уступил Италии, но еще Чехию, Моравию и Силезию, которые образуют Чешское королевство; потерял Галицию и северную часть Буковины, которые вместе с русской и прусской Польшей образовали королевство Польское; потерял все свои немецкие провинции вместе с Веной, которые образуют Венское королевство, под главенством Германии; потерял Трансильванию и южную Буковину, которые отошли к Румынии; потерял Боснию, Герцеговину, Кроацию, Славонию, Каринтию и Штирию, которые отошли к Сербии. Император Франц-Иосиф принужден был переселиться в Буданешт, который сделался столицей Дунайской империи. Эта Дунайская империя, во главе с Францем-Иосифом, состоит из пяти союзных королевств: Венгрии, Чехии, Польши, Болга-

рии и Сербии, причем короли в Чехии и Польше назначены Францем-Иосифом, но с тем, чтоб уже потом они стали наследственными. Превосходно. Но какая же это награда за победы императора Франца-Иосифа над русскими? Он побеждал, а его выгнали из Вены, отняли у него всех немцев, отняли богатые и прекрасные земли и наградили Болгарией и Сербией, да частью Польши; самое имя Австро-Венгерской империи уничтожено, тогда как Италия получила название Римской империи. Удивительно, как согласился на это император Франц-Иосиф?

Нет ничего мудреного, что король Умберто I, г. Рудини и его коллеги мечтают о Римской империи, которая будет сильнее Германии. Австрии, Франции и разделит свое могущество только с Англией. Но что скажет Германия, когда узнает, что она уступила Лотарингию Франции, а прусскую Польшу Австрии? Правда, она приобрела Венское королевство, но разве этого довольно, когда львиная часть досталась Италии?

Что скажет император Вильгельм II, когда узнает, что во время этой войны, пересоздавшей Европу, о нем ничего не слышно, точно он не существовал или путешествовал в это время где-нибудь в Америке и говорил сладостные речи и провозглашал тосты в честь победоносной Италии и короля Умберто I? Ни его инициативы, ни победы его войск, ни его победоносной проницательности и глубины стратегических и иных планов — ничего этого нет. Везде только итальянцы, румыны и австро-венгры, Франц-Иосиф, Умберто и Госкинс. Очевидно, немцы только смотрели и аплодировали; их участие в войне такое сомнительное было, что Россию даже не обязали платить военные издержки Германии: она уплатила их Англии, Италии, Австро-Венгрии и Румынии, но не Германии. Германии ни гроша. Возможно ли это? Очевидно, ей пришлось наблюдать за Францией, чтоб она не бросилась на Германию или Италию. Германский император и над Европой не властвует, ибо во многих отношениях властвует сенат, состоящий из 38-ми сенаторов от разных стран, составляющих федерацию Европы и заседающий или в Берне или в Риме. Если Швейцария откажется дозволить этому сенату заседать в Берне, то он обязан заседать в Риме, который, таким образом, делается центром и Европейской федерации...

Не правда ли, все это превосходно для Италии? Обратите внимание на разницу в похвальбе. Когда немцы пророчествуют, то рассчитывают на свою силу и непобедимость. Там и говорят: мы сильны, и Бог за сильных, то есть за нас, немцев. Начинает пророчествовать итальянец и рассчитывает на счастье, на случайность, что Франция будет сидеть и ждать подачки и шагу не ступит на итальянскую территорию, а Германия будет сидеть и наблюдать за нею. Итальянец рассчитывает на легкость войны, на победные лавры и на то, что ему удастся всех обойти и провести и, главное, совсем уничтожить Австрию, свою-то союзницу, и даже самое имя ее стереть с лица земли и исключить из истории. В довершение характеристики итальянца надо еще прибавить, что он рассчитывает на миролюбие России: как только император Франц-Иосиф и король Умберто I разобьют ее в сражении при Варшаве, она сейчас же запросит мира...

Очень легко делать подобные предположения, делить шкуру медведя, прежде чем он убит, и сулить себе журавля в небе. Но чему это служит? Убеждению глупцов, распространению легковерия, развитию аппетитов на чужое добро, развитию злорадства и зубоскальства? О, будьте уверены, гг. пророки, что если будет война, будет война страшная, кровопролитнейшая из всех войн, когда-

либо бывших, и Россия не запросит мира, и даже русские эмигранты не набросятся на английское золото. По моему мнению, если эта война будет, в ней не будет ни победителя, ни побежденного. Если она изменит Европу, то изменит ее так, как теперь и не снится этим пророкам с головою петуха. Она сделает такое кровопускание из самих итальянцев, что они умножат только свое нищенство...

24 июня (6 июля), № 5501

LXI

Для России всего было бы необходимее взять хорошенько в руки нашего «настоящего» министра финансов, его высокопревосходительство, г. Урожая. Не только бездарные, но самые талантливые министры финансов много не сделают для нашего благосостояния до тех пор, пока не будет приглашен на государственную службу и не будет на ней прочно утвержден именно этот настоящий наш министр финансов, действительно способный поднять благосостояние страны, счастливо совершить конверсии, уменьшить наш долг, дать средства и на просвещение, и на армию и наполнить кассы безнедоимочным сбором. Нынешний министр нисколько не скрывал в своих отчетах могущественное влияние на улучшение финансов этого высокопревосходительства, г. Урожая. Так и вышло.

Давно ли мы ликовали по поводу наших финансов, давно ли считали мы превышение доходов над расходами, давно ли читали мы похвалы нашим финансам даже в иностранных газетах, не говоря уже о грешных русских газетах, давно ли следили мы за смелыми и молодецкими скачками вперед нашего курса и за границей нам отсчитывали за 100 р. 325 франков? Не успели мы еще износить тех сапог, в которых расшаркивались, как нас посетил голод, курс упал до 256 фр. за сто руб., и превышение доходов уже не блещет в будущем путеводною звездою. Этот блеск, впрочем, неважен, ибо превышение доходов сплошь и рядом не есть избыток благосостояния, а только избыток усердия со стороны сборщиков податей. Важно благосостояние, довольство, или, правильнее, равновесие в доходах и расходах, не то искусственное, которое достигается цифровыми выкладками, а то естественное, которое получилось бы при внимательном отношении народному хозяйству.

У нас не проходит году без голодовки в какой-нибудь местности. Но голодовка и голод не одно и то же и недаром существуют эти два слова. Голодовка — это нужда в хлебе, голод — отсутствие хлеба. В нынешнем году — голод настоящий. Люди на самом деле болеют и мрут от голода. Таких печальных картин его, какие приходится читать в газетах, я никогда еще не читывал. Никогда не было и тех мер, к которым прибегло правительство. Запрещение вывоза ржи было принято общим одобрением: это одна из тех смелых мер, которые принимаются для блага большинства и закрывают глаза на выгоды ничтожного меньшинства. К сожалению, мера эта была в значительной степени парализована отсрочкою по 15 августа. Хорошо еще, что земствам были предоставлены привилегии по отправке хлеба по железным дорогам, иначе ржи могло бы уйти еще больше. Отсрочка вызвала и чрезмерное повышение цены ржи: без нее цена непременно была бы ниже.

Бедствия имеют хорошую сторону, заставляя думать, оглядываться назад и поверять свои поступки и мнения. Это одинаково верно для жизни частной и

общественной. Крупное горе смиряет человека, образумливает его и заставляет искать лучших и более правдивых путей. Настоящий голод вызвал сильную деятельность правительственную, земскую и частную, и дай Бог, чтоб они не ослаблялись, а росли. Гуманные меры по сбору податей, постройки линий железных дорог, чтобы дать народу заработок, устройство общественных магазинов, которые были уничтожены в некоторых местностях, ссуды голодающим местностям, уменьшение пассажирского тарифа для рабочих и тарифа для перевозки хлеба и т. д.

Относительно работ на железных дорогах надо заметить, что в них есть сторона очень печальная — это постройка их подрядным способом даже там, где строит казна. Правительственные инженеры так стеснены мелочным и придирчивым контролем, что подрядный способ царствует. Крупный подряд разбивается на мелкие, каждый подрядчик норовит получить более или менее крупный барыш, и этот барыш покупается на счет рабочих, то есть именно того народа, которому хотят помочь общественными сооружениями. Правительство и народ — две вещи, крепко связанные между собою. То, что правительство переплатило бы рабочим, давая им хорошую цену, возвратилось бы ему в виде исправного поступления податей и довольства жителей. При подрядном способе правительственные инженеры умывают руки и заботятся только о том, чтобы дело было сделано, а сколько платят рабочим, как их обсчитывают и заставляют работать через силу, — это не их дело. Подрядчик может эксплуатировать голод сколько ему хочется, и рабочие далеко не получат того, что получили бы они в другое время и при других порядках.

Заговорили о пошлине на хлеб. Мы так покровительствуем купцам, фабрикантам и заводчикам и так впроголодь кормимся даже в урожайные годы, что пора бы позаботиться о покровительстве земледелию серьезно, не одними пошлинами и налогами на урожайные местности (о таком новом налоге идет теперь речь). Вопрос о министерстве земледелия снова кричит о себе настоятельно. Стыдно сказать, что в каком-нибудь Вюртемберге гораздо больше земледельческих школ и образцовых ферм, чем в Российской империи. Министерство государственных имуществ имеет департаменты горный и земледелия. Выходит, что горное дело нуждается в своем органе как раз столько же, как и земледелие. Очевидно, это несообразно ни с площадью горного дела и земледелия, ни с важностью этих отраслей хозяйства. Если просвещение нуждается в особом органе, то тем более нуждается в нем земледелие: ведь просвещением занимаются более или менее все министерства, начиная с военного и кончая путями сообщения, и занимаются весьма изрядно, а интересы земледелия имеют свой орган только в одном департаменте, состоящем из петербургских чиновников, иногда даже мало знакомых с нуждами земледелия, и во всяком случае очень стесненном общими задачами министерства государственных имуществ. Если сравнить то, что сделано в Пруссии для земледелия, с тем, что сделано у нас, то параллель вышла бы очень не в нашу пользу, и этот порядок вещей, т. е. этот беспорядок вещей будет продолжаться до тех пор, пока не будет у нас деятельного, знающего министерства земледелия, которое выйдет из рутины департамента земледелия и допустит у себя частные совещания, частное представительство из выдающихся сельских хозяев разных климатических и почвенных полос России.

Странные мы люди. Для *сбора податей и налогов* у нас существует масса чиновников, прекрасно поставленных, акцизное ведомство — решительный ари-

стократ в среде русского чиновничества, барин на остатках землевладельческого барства, а для того, чтоб *облегчить населению способы платить подати и налоги,* кроме прощения недоимок, кажется, ничего не существует. Прощение недоимок, предписания собирать их снисходительно, предписания не «выбивать» их, конечно, вещи прекрасные сами по себе, но они нимало не усовершенствуют сельского хозяйства и рассчитаны только на то, что авось его высокопревосходительство милостивый и любезный г. Урожай соблаговолит осчастливить Россию своим посещением — и тогда все благополучно устроится.

А дело именно в том и заключается, чтоб этого всесильного господина, живущего где-то в пространстве и распоряжающегося русскою землею бесконтрольно, с капризами стихии, и следует пригласить на государственную службу и утвердить его на русской земле. Это высокопревосходительство г. Урожай — самый нужный для нас человек: он важнее и нужнее всех министров, ибо без него, как уже сказано, самые сильные министры не могут не почувствовать своего бессилия. Но разве Урожай можно пригласить на государственную службу? По-моему, очень можно, и он непременно пойдет, если взяться за это дело с толком, с энергией, со знанием дела и не пожалеть ему того жалованья, которое он непременно запросит. Жалованье это, вероятно, будет более того, которое получает армия сборщиков податей, заботящаяся о том, чтоб ни один рубль не остался недобранным, ни одна корова не посмела укрыться под сараем неисправного плательщика, но зато он даст столько, сколько не дадут никакие другие финансовые измышления. Урожай у нас нимало не состоит на государственной службе, он — случайный человек, наездник, выбирающий себе пути по стихийному капризу. Но его можно взять, по крайней мере, в известной мере, знанием, опытом, школами, образцовыми фермами, всякою помощью населению лучшей обработкой земли, армией людей опыта и знания, мерами поощрения сельских хозяев, возвращающих земле в виде удобрения то, что у нее взято, улучшенным скотом, одним словом, тою политикою, которая называется *сельскохозяйственною,* которую мы совсем не знаем и которой предпочитаем политику финансовую, стремящуюся к тому, чтоб собрать возможно больше денег и иногда взять во что бы то ни стало. Я превосходно понимаю, что это последнее гораздо легче; гораздо легче создать и армию сборщиков податей даже университетского образования, чем армию людей опыта и знания для помощи народу, но то, что трудно сделать, — не значит: невозможно сделать. Россия может удивить своим богатством, если направить все силы на ее народное хозяйство. Урожай не должен быть только случайным человеком, только наездником, но более или менее постоянным государственным слугою, подчиняющимся усилиям человека над кормилицей-землей... Без своих фабрик и заводов мы еще можем существовать, хотя при современном порядке земледелие платит налог на сельскохозяйственные машины в пользу фабрик и заводов, но без своего хлеба мы существовать не можем, а без урожаев и фабрики и заводы будут работать в убыток.

Пошлина на сельскохозяйственные машины — величина маленькая, но это показывает, что мы относимся к земледелию, как к чему-то такому, что может выносить всякие налоги. Самое министерство государственных имуществ, где существует департамент земледелия, в публике нашей считается очень не важным министерством в ряду других и известно больше потому, что оно прекрасно помещено, чем потому, что оно делает. Это тоже говорит в пользу того, как мал

у нас интерес ко всему тому, что связано с земледелием. И рядом с этим невниманием, как наживается все то, что сжимает в железных лапах земледелие, все эти — земельные банки, все ростовщики, банкиры, биржевики!

Говоря, что необходимо пригласить его высокопревосходительство Урожай на государственную службу, я только кратко и точно формулирую важнейшую задачу русского правительства и русского общества. Пусть этот голод послужит нам поучением, не скоропреходящим, а постоянным и вечно памятным и пусть из него родится целая система полезных для отечества нашего улучшений в сельском хозяйстве.

25 сентября (7 октября), № 5594

LXII

Н. М. Баранов, нижегородский губернатор, распространился насчет крестьянского баловства с одним корреспондентом. Крестьяне не идут на работы, крестьяне балуются, раздача хлеба, под круговою порукою мира, приносит нравственный вред, который хуже самой голодовки. Н. М. Баранов рисует с увлечением, как крестьяне «смело и жадно бросаются на ссуду», как они довольны тем, что им раздают хлеб и «в ус себе не дуют», что на них лежит недоимка в 15 р., которая к весне вырастет до сорока. «Плохой мужик в конец пропьется, изленится и деморализуется. Он привыкнет к даровому хлебу и совсем потеряет охоту работать». Конечно, в разговоре можно увлечься и впасть в такую односторонность, что потом и сам о ней пожалеешь. Но мнение это не составляет исключительной собственности г. нижегородского губернатора. Оно носится в воздухе. В провинции, где я был недавно, я слышал мнения еще более откровенные и факты более бьющие. Не нахожу нужным говорить об них; но думаю, что необходимо считаться с этими мнениями.

Пусть факты, сообщаемые г. нижегородским губернатором и другими, справедливы. Но что ж тут делать? Надо дать общественные работы. Но где они? С весной еще можно выдумать что-нибудь, постройку ненужных шоссе, необходимые ирригационные работы, о которых давно следовало позаботиться серьезно, и проч., хотя это «и прочее» едва ли у кого является чем-нибудь определенным, или таким, что выдержало бы основательную критику.

Но зимой, эти четыре месяца зимы и холодов, какие общественные работы можно выдумать, да еще в губерниях чисто земледельческих, без фабрик, заводов и кустарных промыслов? В прежнее время у крестьянина был извоз, рубка леса. Теперь извоз уничтожили железные дороги, леса сведены, или рубка их подчинена закону. Какая работа у крестьянина зимою? Напоить скот, дать ему корму, исправить кое-что по хозяйству, плести лапти. Голод и эти занятия подрывает, ибо нет ни скота, ни корму, нет хозяйства. Крестьянину нечего делать. Он поневоле ничего не будет делать, если не знает какого-нибудь наследственного ремесла и не работает на фабрике. Читать он не читает, общественных общеполезных бесед у него нет, бумаг не пишет. Трудно выдумать ему какую-нибудь работу, если б у него и было желание работать. Но он плодится, у него семья, он хочет есть, и необходимо дать ему есть, не разбирая, ленивый он или нет, ходит он на общественные работы или нет. Достаточно того, что он голодает, голодает его семья, его скот.

Ведь неурожай застал нас всех, решительно всех, без всякого исключения, врасплох: никто не предвидел размера голода; самых проницательных, трудолюбивых и опытных хозяев неурожай ударил по голове и на некоторое время спутал их мысли. Это несчастие стихийное, редко повторяющееся в таких огромных размерах. Серьезно никого винить нельзя, ни хороших, ни ленивых хозяев, ни тех, которые ленятся, ни тех, которые работают. Хорошие хозяева, зажиточные или трудолюбивые крестьяне перенесут это несчастие все-таки легче, чем худые, живущие и в урожайные годы впроголодь. Дуют ли они себе в ус, или не дуют, это не важно. В хороший год и ленивый заплатит свою недоимку и народит детей, которые могут быть и прилежными, и полезными работниками. Если зажиточные крестьяне просят ссуды потому, что дают ее неимущим, то это доказывает только то, что они мало развиты и не понимают того, что мы должны понимать. А мы должны понимать многое такое, до чего крестьянин еще не дорос. Если правительство дает ссуды неимущим — зажиточным их давать не следует, — то оно отлично понимает, что дает их потому, что необходимо поддержать в народе нравственность, которая без этого может упасть еще ниже и сохранить народные силы, которыми государство живет. Нельзя забывать того, что дает государству этот народ, прилежный и ленивый, пьяный и трезвый, ежегодно в виде податей, выкупных платежей, акциза. Тот ленивый, который и в ус себе не дует, что на нем недоимка в 15 р., может быть, в свою жизнь заплатил государству, отказывая себе во всем, больше, чем иной из нас, интеллигентов, недостаточно, в сравнении с народом, обложенных налогами. Ведь крестьянские бюджеты известны не со времени даже валуевской комиссии, которая приводила их в таких величинах, что они говорили красноречиво даже бедному воображению. В этих курных избах, без свету, без тепла, без мебели, грязных, вонючих, душных, живут люди, наши братья, наши граждане. И как живут! И без них мы, интеллигенты, жить бы не могли, не могли бы жить даже без ленивых. Ведь что ни говорите, как ни мечтайте, что мы — европейцы, что мы — цивилизованная нация, но мы все-таки — мужицкое государство, самое мужицкое и без мужика никакая цивилизация нас не спасет. Вот в Англии постоянный недостаток хлеба, она его покупает всегда. Но Англия — огромная фабрика, Англия — страна городов. Мы — страна сел и страна земледелия. В Англии, так сказать, ежегодный голод, т. е. не родится хлеба на значительную часть населения, и ничего — она о голоде не говорит, ибо она не мужицкое государство.

А мы говорим, беспокоимся, принимаем государственные меры, взываем к общественному великодушию, к человеческой доброте. Потому мы это делаем, что иначе нам нельзя. Нам надо сохранить ту великую народную силу, которая в массе своей столько делает для государства, для просвещения, для цивилизации, для роста нашего, для славы нашей, если нам и слава нужна. Г. Бехтеев, елецкий предводитель дворянства, просил своих дворян написать о состоянии своих хозяйств и высказать свои мнения о настоящем положении. Многие помещики, рисуя свое поистине печальное положение, писали ему, что теперь нечего беспокоиться о них, что теперь народ голодает и потому прежде всего ему надо помочь. Будет он сыт, будут сыты и помещики. Вот как говорит дворянство.

По всему этому, мы слишком рано заговорили о ленивых, о пьяных, о пустельге. Ведь и пьяные оплачивают свое пьянство, да еще как! Столько противоречий между требованиями морали и требованиями практики жизни, что прежде всего надо думать и говорить только о том, чтоб помочь нуждающимся, чтоб

прокормить несчастных и голодных, а не о том, что есть между ними ленивцы, пьяницы и пустельга. Конечно, они есть. Но в каком общественном слое их нет? И кто сосчитал этих ленивых и кто не скажет, что их незначительное меньшинство? Будь это иначе, разве могло бы русское государство жить и расти и просвещаться?..

Народ не идет на работы. Почему же непременно надо это объяснять леностью? Нельзя ли хоть отчасти объяснить это тем, что народ растерялся, что он «ошалел», как выразился один управляющий знакомым мне именем, когда помещик спросил его, почему крестьяне неохотно идут на работы. Это очень меткий ответ. Ошалеешь действительно, когда ничего не родилось, не только зерна, но и соломы, когда скотина идет за грош, когда и себе и семье предстоит голод. Нам, сытым, трудно себе и представить, что такое голод, что он производит в организме, как он уничтожает силы, волю, энергию, всякие человеческие чувства. Русь пережила такой голод три века тому назад, что родители ели своих детей. Мы можем судить отчасти сами по себе, что значит ошалеть, потеряться. Кто испытал из нас, просвещенных людей, горе, несчастия, преследования судьбы, тот знает, что это за состояние, когда в душе поселяется тупое равнодушие, руки отваливаются, воля исчезает, разум тупеет, пропадает не только жалость к окружающим, не только желание работать, но и желание жить. А голод разве не величайшее бедствие, перед которым наши беды и горе, может быть, ничто? Какое же у нас право, во время таких стихийных бедствий, как голод, объяснять нежелание работать только одной леностью, когда мы, образованные люди, окруженные столькими развлечениями, таким разнообразием утешений, чтения, занятий, поддержки и советов друзей, шалеем совершенно и двигаемся, как тени, неспособные ни мыслить здраво, ни здраво поступать, ни работать. Почему эту мерку не прикладываем мы к народу, у которого даже физические силы слабеют от недостатка пищи и, когда разрушается его бедное хозяйство, разрушается семья и нередко вся будущность? Ведь это человек! Для машины нужны пар и масло, машина может сломаться, а мы человека не хотим понять!

Устраивайте общественные работы, думайте, как лучше распределить пособия, думайте о том, чтоб эти пособия шли правильно, поднимайте дух и порядок в народе, действуйте так, чтоб все пособия, как правительственные, так и частные, доходили по назначению и чтоб около голодных не грели руки бессовестные сытые, которых всегда достаточно во время общественных несчастий, и благо вам будет и народ вас благословит и оправится; а обличение лености и пьянства оставим на урожайные годы...

А мы все, не управляющие, будем добры и великодушны, — только это даст нам возможность понять настоящие размеры того бедствия, которое называется голодом. А поняв его, мы не отстанем от правительства и своей щедрой помощью.

19 (31) октября, № 5618

LXIII

Мне пришлось сегодня выдержать горячие споры с моими добрыми знакомыми по поводу вчерашнего моего «Маленького письма». Эти споры, прежде всего, доказали мне, как мы стали чутки ко всему, что касается настоящего положения.

Это очень хорошо, но было еще лучше, если бы мы не преувеличивали при этом ни фактов, ни мнений, а относились бы к ним с спокойною критикою. Все мы ошибаемся — это общечеловеческий недостаток; все мы способны наговорить лишнее — это и общечеловеческий, и в особенности русский недостаток. Я всегда желал одного — быть искренним. Правильно или неправильно я думаю, дурно или хорошо, но в искренности все-таки есть достоинство свободного выражения своего мнения. Если это мнение несправедливо, мне об этом скажут и я буду иметь возможность проверить себя самого и из спора все-таки может блеснуть правда. В таком важном внутреннем вопросе, как голод, мы все можем только выиграть при обмене мнений. Никакого злорадства, никакой партийности тут быть не может, или, по крайней мере, тут быть не должно. Мы все русские люди: и министры, и губернаторы, и земцы, и дворяне, и журналисты. Мы все понимаем более или менее настоящее положение и желаем выйти из него с честью, общими усилиями, общим подъемом мысли, чувства и дела. Все мы желаем помочь общему горю так или иначе и в соединении найти ту силу, которая горами двигает. По крайней мере, во время моих недавних поездок по губерниям я мог убедиться, что этого все желают, что помощь народу становится общим патриотическим делом, именно патриотическим делом в лучшем смысле этого слова.

Я знаю очень немногих губернаторов, но знаю, что дела им в настоящее время по горло, и притом настоящего, хорошего дела, прямо направленного на благо народа. Они очень охотно делятся с корреспондентами сведениями своими и мнениями, понимая очень хорошо, что тут не праздное любопытство, а серьезное, общерусское дело, и разговоры — не болтовня более или менее остроумная, щекочущая нервы читателей, а деловой, скучный разговор, деловые соображения, статистические данные, административные меры и т. д. Полагаю, что все это знакомит общество с положением дела и возбуждает в нем хорошее настроение. Но, разумеется, возникают и недоразумения. Одно из таких недоразумений я хотел выяснить вчера. Повод к тому дал мне разговор нижегородского губернатора с одним корреспондентом. Н. М. Баранова я знаю давно, как человека благожелательного и энергичного. Деятельности его по случаю голода посвящено у нас несколько корреспонденции. Но с одним мнением его я не могу согласиться, или лучше сказать с мнением, которое распространено в обществе и которое он отчасти резюмировал. Я понимаю, что он мог об этом говорить, как губернатор, которого всякая подробность должна интересовать и который заглядывает в будущие затруднения. Но в обществе об этом разговоры идут гораздо шире и направлены на настоящее и задевают чувство гуманности, милосердия, щедрости человеческого сердца. Они в воздухе, как я сказал.

Мне приходилось спорить на эту тему в провинции. Такие мнения высказывались много раз в «Гражданине», высказывал их А. А. Фет и другие помещики. Сегодня несколько приезжих провинциалов, с которыми я имел удовольствие видеться, говорят мне, что я отстаиваю ленивых, что я недостаточно знаком с положением вещей. Но я совсем не выдаю себя за оракула относительно положения вещей. А что касается ленивых, я и сам никогда лентяем не был, и терпеть не могу лентяев. Поэтому мне очень прискорбно, что меня так поняли. Я старался сказать, что дело не в ленивых, нерадивых и пьяницах; они всегда были и всегда будут. Это неизбежное зло. Неурожай случился вовсе не потому, что есть ленивые, пьяные, бездельники, преступники; он случился независимо от них, как независимо от них бывает и урожай. Поэтому я и старался выяснить, что это подробность, не

идущая к делу благотворительности и милосердия, главным образом. Не идущая к делу в той широкой помощи народу, которую оказывает правительство.

Это не есть общий вопрос. Это дело распорядительности администрации, и в этом смысле земские начальники действуют во многих местах совершенно правильно и приобретают симпатии населения. Общий вопрос заключается в том, чтобы помогать голодающим, кто бы они ни были. Пьяные или трезвые, все они несчастные. Кроме того, я старался доказывать, что не всякий тот, который не идет работать, есть непременно ленивый человек: он может быть человеком потерянным, ошалелым. Дайте ему возможность немного оправиться, дайте ему надежду, что он может прокормиться, и он окажется хорошим работником. Дело в том, чтоб не выдвигать вперед «подробность», мало освещенную, подробность, о которой начинают, однако, говорить все, и общее дело теряет, заслоняется, и в глазах некоторых, несерьезно относящихся к общему делу, оправдывает их равнодушие. «Если народ не хочет работать, то и помогать ему нечего». Так уж говорят. «Если мы чествуем победу, то чествуем всех, кто в ней участвовал, и храбрых, и малодушных и не говорим, чтоб нам отделили наиболее храбрых. Так и в несчастии: я сочувствую голодающим, кто бы они ни были, не разбирая их нравственного достоинства, не допытываясь, отчего они голодны. Они люди, они русские люди, и это мне, человеку и русскому, должно быть совершенно достаточно. Есть общая радость, и есть общее горе, и чувству не должны мешать посторонние соображения, которые к тому же не выдерживают ни критики разума, ни критики сердца. Вот что я хотел сказать.

20 октября (1 ноября), № 5619

LXIV

Берлинская «Крестовая Газета» очень недовольна, что русская печать высказалась против воззвания пастора Дальтона, профессора Бергмана и других по предмету сбора пожертвований на немецких колонистов в России. «Правда, собрано было бы немного», замечает газета, но ввиду нужды все-таки должна была бы замолкнуть вражда, и русские должны бы порадоваться, что немцы «хотели» собирать для голодающих. Вместо того указывают на то, что в Германии тоже нужда. «Не хочет ли г. Суворин собрать для нас пожертвования? Мы примем их весьма охотно!» «Московские. Ведомости» остроумно на это заметили: «Кто же в этом сомневается? Они берут при всяком случае и во всякой форме».

Вопрос, однако, имеет смысл и вне сферы остроумия. Русскою печатью руководил в этом отношении не только патриотический инстинкт, но и практический смысл. В своей беде мы разберемся сами и должны сами разобраться. Это говорит нам и чувство русского человека, и сознание своих обязанностей, как граждан великого народа. Этот народ, конечно, заслуживал бы всякой помощи от Европы, ибо он для нее сделал кое-что тем, чем обладает. Он проливал за эту Европу кровь, он помогал своими силами и Германии, и Австрии, он преимущественно пред всеми боролся с антихристианским мусульманством, ослабил грозную Турцию и освободил из-под ее ига несколько народов, приобщив их к семье народов европейских. Он еще в давно прошедшие времена выдержал иго монголов и способствовал тому, что волна этих варваров не нахлынула на Европу. Европа, со своей стороны, ровно ничего не сделала для России ни в этом веке, ни в

веках предшествовавших. Россия одна боролась со своими врагами, одна, только своими силами, объединялась и воздвигала свое государственное здание.

Россия давала Европе то, что у нее было в избытке, свою силу, свое мужество, свое самопожертвование, и имеет право думать, что Европа ей обязана за это. С этой точки зрения, Россия могла бы, не краснея, принять помощь в годину своей беды, от Европы даже, не только от одной Германии, для которой Россия, прямо можно сказать, работала в поте лица и отдавала свою кровь. Но мы знаем по опыту, как Германия дорого ценит свои случайные услуги и как она способна упрекать ими. Дав какую-нибудь тысячу марок нашим нуждающимся, она стала бы кричать десятки лет, что избавила нас от беды, спасла нас. Эта помощь к тому же была бы совсем неискренняя, ибо если не Германия, то ее публицисты напрягают все свои силы к возбуждению в своих соотечественниках вражды к этой самой России, которой якобы желает помочь сердобольный и практический немец.

Нет, Бог с вами. Помощь не подают, потрясая оружием и изрыгая ругательства. Мы обойдемся без вас, как потому, что имеем на это и материальные, и нравственные средства, так и потому, что сознаем, что это — наше горе и наша обязанность. Когда в государственном бюджете есть дефицит, то не обращаются к соседям за помощью. В таких случаях делают займы, изобретают налоги и вся страна несет эту тяготу. Голод — это дефицит в народном хозяйстве, и мы сами его восполним. У нас бывали не такие времена, и мы выходили с честью не из таких бед.

Да Бог с вами, гг. немцы. Потрясайте оружием, готовьтесь к войне, которой так жадно желают, по крайней мере, ваши газетчики и биржевики. А мы будем вести войну с голодом, будем бороться со стихийным бедствием. Эта война закаляет лучшие чувства, она не требует ни крови, ни жертв, ни пороха, ни орудий; она не питает в человеке жажды мести, вражды, жажды легкой добычи. Напротив, она укрепляет те самые чувства, которые во время ваших победоносных войн совершенно исчезали. Наша война требует любви, сострадания, великодушия; она требует не убивать человека, а спасти его, не увеличить его страдания ранами, а уменьшить их, не лишать его крова и имущества, а дать ему то, чего не достает ему. Накормить человека, пригреть его, утешить его, вдохнуть в него надежды и бодрость — вот чего требует наша война, которую мы ведем теперь. Если мы ее окончим победоносно, — а в этом мы не можем сомневаться, — то это будет одна из наших славнейших побед, которою мы можем хвалиться перед всем человечеством, ибо в этой победе руководить нами будут только лучшие человеческие чувства — любовь, сострадание, великодушие, самопожертвование. Любовь к родине также горит в этой великодушной войне, как и любовь к человеку, к несчастному нашему брату. Мы поднимаем это оружие смело, оружие любви и сострадания, и смело говорим, что Бог с нами и за нас, ибо Бог в любви.

Москва, 2 ноября

4 (16) ноября, № 5634

LXV

Я поехал на два дня в Москву, чтоб рассеяться от петербургских впечатлений на московских монастырских кладбищах. Стало близко к смерти, и тишина за высокими монастырскими стенами, вдали от всякого шума, манит меня. Среди мо-

пил, на холодном воздухе, чувствуешь себя далеко от треволнений жизни и отдыхаешь в виду вечного покоя. Но на этот раз вышло совсем не то, что я ожидал.

Я приехал в самый разгар спора Вл. Соловьева с целым собором богословов «Московских Ведомостей». Я стал читать, читать, читать. У Вл. Соловьева я ненавижу его фальшивые антинациональные идеи; что касается его богословских произведений, то для суждений о них у меня нет подготовки. Но спор на страницах газеты о таком необычном вопросе интересовал меня сильно, и я читал и читал внимательно, отдыхая иногда глазами на огромной вывеске, против моих окон, продавца зеркал и стекол, Мартина Бера. Мартин Бер! Есть хроника Смутного времени, хроника голода, самозванцев, приписываемая пастору Беру. Но Мартин он или нет? Если б Вл. Соловьев был Мартином, как Лютер, изменилось ли бы что-нибудь в его существе? Глупые вопросы. Не правда ли? Но я пишу, что думал и что мне виделось.

Я чувствовал шум и крики. Я слышал обвинения тяжкие. Вопрос шел не столько о православии, сколько о том, кто православнее, г. Гринмут или Вл. Соловьев, и о том, где прежде существовала инквизиция, в восточной церкви или западной? Затем: не иезуит ли г. Соловьев? Спор вертелся на таких мелочах. Вл. Соловьев открывает в энциклопедическом словаре Мейера какую-то статью. Г. Николаев вырывает Мейера и доказывает, что г. Соловьев сделал фальшивую цитату. Г. Гринмут пишет огромными буквами — *инквизитор* и доказывает, что инквизитор значил прежде следователь. Вл. Соловьев ссылается на какого-то профессора церковной истории, что инквизиция была в восточной церкви. Г. Николаев берет Мейера и торжественно показывает, что у Мейера об этом нет. Вл. Соловьев говорит об избиении павликиан, а г. Николаев доказывает, что Вл. Соловьев говорит об избиении солунян. Г. Гринмут, наконец, нетерпеливо спрашивает: согласно ли ваше, г. Соловьев, учение с учением православной церкви?

«Да, — отвечает г. Соловьев. — Свое понимание христианства я считаю совершенно согласным с учением св. православной церкви, которое находится в Священном писании, в вероопределениях семи вселенских соборов и в творениях св. отцов, начиная от мужей апостольских и кончая св. Максимом Исповедником, Иоанном Дамаскиным, Федором Студитом, Тарасием и Игнатием Константинопольскими». — «Вы не православный, — говорит г. Гринмут с торжеством. — Вы не православный, ибо признаете православие только до разделения церквей. Упоминаемые вами святые жили до разделения церквей, а потому вы отвергаете «все дальнейшее ее учение, не только православный катехизис, но все изложения православного богословия, явившиеся после отпадения римской церкви от св. православной церкви».

Вл. Соловьев замолчал. Мне стало страшно, что если г. Гринмут и ко мне обратится с вопросом: православный ли я? — что я ему отвечу, я, не изучавший богословия, принявший православие крещением, воспитанный в нем сначала моими родителями, а потом светскою школою и жизнью? Что я ему отвечу? Я грешный, грешный, грешный. Я не могу и подумать о том, что мое православие может идти в какое бы то ни было сравнение с православием свв. Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Федора Студита, православие которых не удовлетворяет такого православного, как г. Гринмут? Да, я только грешный, грешный и грешный, и чем ближе к могиле, тем более я это сознаю. Я не только не могу сказать, как г. Соловьев, но не могу и помыслить, что мое православие подходит к право-

славию такого удивительного отца церкви, как св. Иоанн Дамаскин. Что ж я такое в сравнении с г. Грингмутом, столь победоносно сражающимся? И что за пигмеи, жалкие, презренные пигмеи все те миллионы православных, которые знают еще меньше меня, ибо даже понятия не имеют о разделении церквей? Что за червяки все эти Сидоры, Пахомы, Маланьи, которые верят в св. Троицу и Богородицу и так трогательно просто и с такою верою отходят на суд Всевышнего?.

Мне становилось тяжко. Какая-то физическая боль начинала меня тревожить, и в голове поднимался туман, прерываемый блестками яркого света, которые жгли голову и покалывали ее. В ушах поднимался шум, и мучительная тоска начала преследовать меня. Мартин Бер... трафаретные стекла... Мартин Лютер... Вл. Соловьев... г. Грингмут... г. Ю. Николаев... Д. И. Иловайский — все это лезло в голову, путалось, кружилось, принимало фантастические обличия. Какая-то толпа спорящих, кричащих, клянущих, клянущихся, бегающих, повергающих друг друга, грозящих, и поверх голов огромным мячом летает словарь Мейера, подбрасываемый спорящими с неистовством фокусников; ждущих рукоплесканий праздных зевак, собравшихся на какое-то зрелище, в котором они только и понимают, что кто-то кого-то побивает. Я вижу г. Соловьева, как он, словно пробка из бутылки шампанского, взлетает вверх, опускается вниз, снова летит вверх, все чаще и чаще, мучительно часто для глаз, а гг. Грингмут, Ю. Николаев и еще какие-то люди стараются поймать его за ноги. Я вижу, что на одной ноге у него соскочил сапог, или кто его снял, и этот сапог начинает летать вместе со словарем Мейера и я явственно слышу, как бьются они друг об друга...

Что со мной? Неужели я начинаю бредить?.. Отчего?.. Где газеты?.. Я сейчас их читал, сию минуту... Где Мартин Бер?.. Вокруг темно. Ни газет, ни Мартина Бера, но все могилы, могилы, могилы, и памятники, увенчанные снежными шапками. Я хожу между ними и ищу своей могилы... Где же она затерялась? Мне холодно, я кутаюсь, жажда мучит меня, голова болит, тело ноет, я мечусь по постели и охаю... У меня инфлюэнца...

Ах, какая это скверная болезнь, что за мучительный бред, какие образы и лица, исковерканные, страшные, дикие лезут в глаза, какие отрывки мыслей или бессмыслия рождаются в мозгу и исчезают, порождая новые и новые... Страшный звон колокола не дает мне покою. Я прислушиваюсь... Да это не колокол. Это капли воды, падающие из рукомойника на металлическую чашку. Приступы кашля, страшного, резкого, разрывающего грудь, и такие боли в спине, точно я ею подбрасывал все томы словаря Мейера... Вдруг кто-то подходит ко мне, берет за руку. «Вы православный?» — слышится мне. «Ах, ради Бога, оставьте меня. Что вам за дело до моего православия?» — «Да я доктор. Я не о православии спрашиваю, а о здоровье...»

Таким образом более недели провалялся я в Москве, испытывая все прелести этой изнурительной болезни.

Когда кончился острый период, я вспомнил один июньский день прошлого лета, проведенный мною в Москве в обстановке совсем необычной. Я видел в московском единоверческом монастыре собрание единоверческих миссионеров, съехавшихся с разных концов России. Тут были и старые и молодые, академисты и самоучки, был директор канцелярии Св. синода В. К. Саблер и профессора Вифанской академии. Председательствовал о. архимандрит Павел, известный Павел Прусский, в старорусском монашеском одеянии, которое мне нравится

больше петровского. Обширная палата была полна. Кто стоял, кто сидел. Поднимались важные церковные вопросы. Надо было видеть эти лица, слышать эти речи, чтобы не сомневаться ни одной минуты в том, что тут дело шло о самых искренних, душевных интересах собравшихся. Интересы эти — интересы церковной жизни, духовного просвещения, общения между православием, единоверием и расколом. Вот она, русская жизнь, вот ее духовные потребности, в высокой степени значительные, глубокие, серьезные, прямо отвечающие на запросы миллионов христианских душ русского населения. О. Павел вел прения с замечательным искусством, простотою и благодушием, и живое слово раздавалось свободно и подхватывалось с напряженным, не устающим вниманием. Ни пустых вопросов, ни задетых самолюбий, ни словаря Мейера и других якобы ученых аппаратов и в помине не было. Не было и толпы для рукоплесканий, и никто на них не расчитывал и никто их не ждал. Только внутреннее убеждение, только голос религиозной совести побуждал и говорить, и спорить, и рассказывать наблюдения над народной, религиозной жизнью. Мне случилось быть в первый раз в подобном собрании, и мое впечатление было и глубоко и отрадно. Этот собор духовных и светских лиц, эти речи о любви, о согласии, о мире, о соглашении — вот что нам нужно, что дает мысли и чувству, и простор, и успокоение...

11 ноября, Москва

14 (26) ноября, № 5644

LXVI

Торгуя совестью пред бледной нищетою.
Не сыпь даров своих расчетливой рукою —
Щедрота полная угодна небесам.
В день страшного суда, подобно ниве тучной,
О, сеятель благополучный,
Сторицею воздаст она твоим трудам.
Но если, пожалев земных трудов стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань -
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камней моет дождь обильный.
Погибнут, — Господом отвергнутая дань.

Какая простота и мощь в этом воззвании Пушкина к милосердию! На стенах храма эти строки достойны были бы занять видное место, как глагол молитвы, как призыв к любви и призыв к покаянию жестоких сердец. Ах, какие необыкновенные аппетиты к наживе развил голод, какую бешеную, антипатриотическую игру на бирже и игру с ценами на хлеб. Что рассказывают, верить не хочется, не хочется думать, что русский человек так осатанел, так забыл совесть, стыд, родину. Выученик еврейских биржевых и торговых приемов, он, кажется, грозит, что превзойдет своих учителей. Среди общественного бедствия какая-то вакханалия пройдошества и подлости. Да неужели это мы, русские? Да, это мы, русские, это из наших русских. И это надо сказать прямо и твердо, и надо принять

решительные, твердые меры, какие принимаются во время войны. Ни красноречием, ни убеждениями, ни поэзией, ни конкуренцией и другими экономическими приемами и учениями тут ничего не сделаешь. Тут власть нужна, и ничего больше, власть сильная, энергическая, распорядительная, которая имела бы деятельных и властных агентов, которая умела бы разбудить спящих и ленивых, подтянуть недобросовестных и жадных и заградить им пути вредить государству и народу.

Понимаю, что легко это сказать, но как сделать, с чего начать? В обществе давно уже говорят о необходимости регулировать цены, о таксе на хлеб, о принуждении спекулянтов открыть свои амбары и объявить действительное количество хлеба, тщательно теперь скрываемое. Робкие возражения, что это будет грубою, насильственною мерою, можно смело признавать ничего не значащими. Если существует принудительный курс кредитных билетов, то принудительный курс хлеба в такие голодные года, как настоящий, — не насилие, а гуманная мера, ибо она спасает миллионы народа и избавляет другие миллионы от налога невозможного. Где ему предел, этому налогу? Кто может его указать с достоверностью? Кто может сказать с уверенностью, что он знает эти пределы? Никакие предположения, никакие расчеты, никакие миллионы не избавят нас от уверенности в завтрашнем дне, если властное слово не остановит этой безбожной спекуляции.

Правительство имеет полное право это сделать, и если найдется несколько недовольных, то они спрячут свой голос, чтобы его не слышали. Как поступало правительство? Приняло ли оно разом крутые меры, чтобы лишить торговцев и хлебовладельцев всяких выгод от продажи своего товара? Другими словами: запретило ли оно вывоз всех хлебов, как только обнаружился голод в размерах неожиданных? Нет, оно этого не сделало. Оно щадило торговлю хлебом гораздо больше, чем миллионы рублей, которые выдало на обсеменение полей и на голодающих и которые способствовали этой же торговле, единственной торговле, которая в этот несчастный год процветает и зарабатывает многие миллионы барыша. Запретив вывоз ржи, оно дало такой продолжительный срок, что цены успели сильно вырасти и массы ржи отправлены за границу по ценам превосходным. Щадя ту же торговлю, правительство только последовательно, с перерывами, запретило вывоз и других хлебов. Самого горячего времени для торговли было дано вполне достаточно, чтобы нажить на хлебе огромные барыши. Никто не был обижен не только из производителей хлеба, но и из торговцев хлебом. Они торговали так, как не запомнят. Мало этого, для всех был понижен тариф по железным дорогам, и этим тарифом воспользовалась опять-таки хлебная торговля в свою же пользу, не уменьшив, соответственно этому понижению, цен на хлеб.

Таким образом правительство, не щадя миллионов, способствовало хлебной торговле выбрать такие барыши, на которые она не могла и рассчитывать. Если это так, а это несомненно так, то правительство имеет полное право сказать: довольно! И сильными мерами остановить дальнейшую спекуляцию. Беспредельное возвышение цен на хлеб ложится тяжелым бременем на финансы страны, на голодающих и на общество, которое спешит с своей посильною помощью. Является привилегия тех, которые успели скупить хлеб и запрятать его подальше, одна из тех привилегий, незаконность которых предвидело, например, германское законодательство, дающее правительству право назначать принудительные цены на хлеб. Те миллионы, которые взяла хлебная торговля, останутся в руках ее представителей, те миллионы, которые раздаст правительство в

виде ссуды голодающим, возвратятся в казну ранее или позднее, когда даст Бог урожая; те миллионы, которые даст общество, дадут пожертвования добрых и сердечных людей, пойдут только наполовину голодающим, а другая половина пойдет в руки хлебных торговцев, как их привилегия повышать цены на хлеб до безбожных размеров. Месяц тому назад на рубль можно было купить пуд хлеба, а теперь на рубль можно купить только полпуда. Попробуйте подчесть с миллионами. Ведь из ста миллионов пятьдесят пойдут на удовлетворение повышателей цен на хлеб. За какие блага, во имя какой справедливости? Разве те, которые продают хлеб, которые держат его в своих амбарах, выжидая больших цен, сделали какие-нибудь усилия, выказали особенную энергию в труде, обратили некультурные места в культурные? Ничуть не бывало. Разве те, которые голодают, выказали какую-нибудь особенную лень и нерадение, запустили свои поля, забыли, что такое труд? Ничуть не бывало. Та же стихийная сила одних обогатила, других разорила. Невозможно же давать этой стихийной силе такое господство, чтоб ею пользовались безданно и беспошлинно, без всякого удержу все, которые думают только об одной наживе, не видя ей конца и питая надежду, что чем хуже, тем лучше...

Дело идет о восстановлении простой справедливости. Если правительство держалось справедливости, когда шадило хлебную торговлю, то ему остается только провести эти начала справедливости до конца, последовательно и смело, сказав властное слово: довольно! Сказав его в пользу миллионов голодающих, в пользу своих финансов, в пользу доброго, великодушного чувства милосердия и любви...

15 (27) ноября, № 5645

LXVII

Что лучше и предусмотрительнее: смотреть прямо в глаза бедствию, даже преувеличивая его размеры, и, сообразно этому взгляду, принять целый ряд смелых и решительных мер, или сказать себе, что оно вовсе не так велико, как многие думают, что борьба с ним относительно легка и что меры могут следовать друг за другом, возрастая по мере возрастания бедствия?

Это «быть или не быть» Гамлета. Но он решил себе этот вопрос ничем. Он разобрал только, почему трудно расстаться с жизнью, хотя бы она представляла непрерывный ряд бедствий и, увидев Офелию, занялся разговором с нею, а вопрос «быть или не быть?» так и остался неразрешенным. Но мы должны себе решить его точно, и об этой точности и будет речь.

Статистика нам говорит, что хлеба в России достаточно для того, чтоб прокормить население и засеять яровые хлеба. Но все ли решает статистика? Достаточно ли верны ее сведения? В Соединенных Штатах Америки, где есть министерство земледелия, которого у нас нет и о котором некоторые говорят, что оно только наплодит чиновников — с этим я, как известно, совершенно не согласен, — в Соединенных Штатах министерство ведет статистику изо дня в день, круглый год. Оно не только знает, сколько засеяно десятин и какого хлеба, но знает также состояние почвы, степень ее обработки и, на основании этих данных, высчитывает количество хлеба, которое угодно будет дать его высокопревосходительству г. Урожаю, как известно, не состоящему у нас еще на государст-

венной службе. Министерство земледелия там, в этой Северной Америке, почва которой так близка к нашей, если верить статьям г. Палимпсестова, которые я когда-то читал, министерство земледелия в Америке следит ежедневно, по телеграфическим подробным известиям метеорологических обсерваторий, многочисленно и прекрасно устроенных, состояние урожая, и ежедневно высчитывает степень урожая, увеличивая его или уменьшая, смотря по полученным сведениям. Прошел в известной полосе дождь, прошел вовремя, и министерство земледелия отмечает эту полосу, как благоприятную для урожая и высчитывает его степень. Случилась засуха, выпал град, ураган выбил хлеб — министерство земледелия отмечает эти полосы и места и приблизительно высчитывает, какой вред в этих местах нанесен урожаю и насколько этот вред уменьшает количество всего ожидаемого урожая. Телеграф неустанно дает все сведения министерству, кроме сведений, собираемых на месте иными путями, и оно имеет *каждый день* приблизительную картину урожая.

При таком внимании к почве и степени ее обработки, необходимой для урожая известных хлебов, к дождям, градобитиям и другим воздушным явлениям, от которых зависит урожай, при внимании ежедневном, правительство каждый день знает состояние полей, и неурожай не может быть для него сюрпризом. К жатве оно имеет возможность довольно точно вычислить весь урожай.

Есть ли что-нибудь подобное у нас? В «Вестнике Финансов», с некоторого времени, печатаются карты с указанием урожая, печатаются цены на хлеб — все это труды податных инспекторов, у которых и без того дела много, а дело земледелия им довольно чуждо. Статистический комитет получает сведения от чиновников, от землевладельцев и земледельцев, и выдержки из них печатаются в «Правительственном Вестнике». Но все это данные, в которых случайность, разнообразие характеров и соображений корреспондентов, иногда прямо заинтересованных в том или другом показании, играют немаловажную роль, и это доказывается тем, что нынешний неурожай застал всех нас достаточно неприготовленными к борьбе с ним.

А потому: что прежде всего надобно знать? Необходимо до возможной точности узнать все количество хлеба, которое имеется во всех губерниях Европейской России. (Об Азиатской говорить не будем).

Возможно ли это? Это должно быть возможно. Если производятся народные переписи, да еще ежедневные, то произвести перепись хлеба в известный срок и подавно можно. По-моему, тут даже вопроса о возможности переписи ставить нельзя, ибо без этой переписи все расчеты будут гадательные и меры неуверенные. А при гаданиях и неуверенности невозможно действовать твердо и решительно.

На эту перепись достаточно двух недель, если поставить на ноги все имеющиеся правительственные, земские и дворянские силы. Можно разослать печатные листки с вопросами о количестве хлеба у данного лица, о количестве, ему необходимом для прокормления и хозяйства, и об остатке. В примечаниях должно быть сказано, что правительство, в случае надобности, весь остаток хлеба предоставляет себе право приобрести за деньги. Кроме того, должно быть сказано, что за сокрытие всякой четверти хлеба устанавливается такой-то штраф (в большом размере).

Газеты обсуждают вопрос о «реквизиции», слово, которое кажется многим страшным. Но дело не в этом — правительство имеет право на такую меру — а в том, может ли реквизиция принести те плоды, которых ждут от нее, если не

будет известно, сколько и где находится хлеба? Не явится ли оно мерою, произведенною при условиях весьма неопределенных, даже гадательных? Перепись хлеба, напротив, даст в руки правительства ясные и достаточно точные данные для целой системы мероприятий действительных, основанных на переписи. Будет известно все количество хлеба, будет известно, сколько хлеба необходимо, как для губерний голодающих, так и для губерний не голодающих. Не надо забывать, что есть губернии с урожаем, например, Калужская, но урожая собственного у них хватает или до Рождества, или до марта и апреля, а затем начинаются покупки хлеба из соседних губерний, на этот раз неурожайных. Нужно и для этих губерний определить необходимое им количество хлеба к весне.

Эта перепись прежде всего успокоит всех, что чрезвычайно важно. С ее данными правительство и общество могут смотреть вперед смело с целою системою мер решительных и последовательных. Положение будет ясно. С деньгами можно купить хлеб в Америке, в Индии, в Австралии, и он к весне, во всяком случае, придет. До этого времени скупка правительством хлеба, то есть скупка запасов, определенных переписью, обеспечит население уж во всяком случае.

В заключение этого письма скажу, что перепись хлеба необходима и в том случае, если мы примем на полную веру наши статистические данные. Эти данные ни в каком случае не скажут нам, *где* запасы хлеба и *сколько* их в разных местах. А важность этих вопросов едва ли кто отрицать станет.

23 ноября (5 декабря), № 5653

LXVIII

Комитет наследника цесаревича есть комитет благотворительный. Не его задача — накормить всех голодающих и согреть всех от холода и от мороза. На это недостает у него средств, как бы ни была щедра благотворительность, как бы государь наследник цесаревич высоко ни поднял дело милосердия своим именем, своим высоким положением и всею чистотою, искренностью и благородством своего сердца и своих намерений. Широкая задача принадлежит правительству, финансовым и распорядительным средствам страны, которые есть и которых достало бы и не на такой голод. Но комитету наследника цесаревича принадлежит дело благотворительности, дело русского сердца, которое должно, которое обязано отозваться на народную нужду со всею щедростью, со всем увлечением. Общество не может не принимать в этом участия, если оно себя уважает, если оно есть нечто в русском государстве, а не ничто, если оно хочет, чтоб серьезно признавали его бытие.

Если б был у нас пророк, который мог бы потрясти все сердца, который мог бы нарисовать картину народного бедствия и своим красноречием заставить трепетать всякую живую душу, если б он мог являться везде какою-нибудь сверхъестественною силою, не надо было бы благотворительной лотереи. Но такого пророка нет, да и быть его не может. Цивилизация — великое дело, но она охлаждает сердца, внушает уму расчетливость, бережливость, увеличивает эгоизм. Благотворительная лотерея рассчитывает не столько на жертвы, не столько на полное бескорыстие, а на современного человека, каков он есть. Но если в по-

буждениях лежит некоторый расчет, в результате — помощь. Не все выигрывают, но все помогают. В благотворительном концерте, вечере — тот же расчет на людское удовольствие, а результат — помощь делу. Лотерея даст средства сейчас, тогда как чистое и бескорыстное милосердие, да еще при наших необозримых пространствах и разбросанности, медлительно и случайно. Иметь сейчас несколько миллионов и сейчас же помочь голодным и холодным — чрезвычайно важно,

Довольно мы рассуждали. Пора дело делать и делать его как можно скорей. Нечего разбирать, кто мытарь и кто фарисей и кто та вдовица, которая положила в сокровищницу две лепты и о которой Христос сказал, что она дала больше всех в сокровищницу, «ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Если такие вдовицы есть у нас, то они газет не читают и в счет не идут.

Нужна ли благотворительность? Она необходима.

Фарисеи мы или мытари, это все равно. Искренно или нет, от сердца, из чувства долга, из жалости или из подражания опускаем мы свою лепту в «сокровищницу», особенного значения это не имеет. Значение первостепенное и вредное значение имеет только то, что мы, мало делая, слишком много рассуждаем, слишком много пререкаемся между собою, не только частные люди и частные учреждения, но и правительственные ведомства. Соображая и рассуждая, мы упускаем время, которое не терпит; пререкаясь, мы больше заняты счетами своих самолюбий и честолюбий, своего первенства на иерархической лестнице, иногда своей вражды, своих личных интересов и забываем дело, которое лежит и сочится кровью.

И какое дело? Дело народной помощи, помощи тому народу, который голоден, болеет от голоду и плачет тихими слезами, смотря на голодных детей своих, на гибнущий скот свой, на раскрытые, холодные избы, крыши которых пошли на топливо, на свои дворы, по которым гуляет только ветер и метель. Что значит «жить» у этих бедняков, «жить»? Сравните свою жизнь: свой обильный стол с этим черным куском хлеба приготовленным Бог знает из чего, *что* вы не дадите своей собаке, свои квартиры, теплые, освещенные, полные воздуха, затейливой мебели, эластических тюфяков, — с черною избою, темною, вонючею, холодною, в которую смело входит холод и мороз и злобно терзает исхудалое бедное тело, дрожащее под лохмотьями, один вид которых привел бы вас в содрогание. Сравните свои развлечения, свои театры, свои оперы, свои вечера, свои карточные партии, свое веселье в ресторанах и на пирах, сравните все это с тем, что есть в наших деревнях, где честные удовольствия — только песни, если голодный может петь, где утешение — только молитва в бедной церкви, едва мерцающей грошовыми свечами, и где бесчестное, но распространенное удовольствие — только кабак, от которого иногда избавиться нельзя.

О, не говорите, что у вас совсем иные потребности, а там — другие. Пусть вы правы, но не говорите этого теперь, не говорите просто из уважения к себе, как к человеку, а помните только, что то, что вы разумеете под словом «жить» и что там, в этих жалких хижинах, разумеют под этим словом, — до такой степени не идет ни в какое сравнение, что воображение останавливается в ужасе. Там под словом «жить» разумеют только возможность дышать, двигаться, поддерживать свое существование, дрожать над каждым куском хлеба, ревниво оберегая его, смотреть со страхом и ужасом на свои остатки, на эти куски черного хлеба или на единственный пуд муки и мысленно высчитывать время, на сколько хватит ему и семье и того подобия хлеба, который поддерживал его существование.

Вот что значит «жить» там, где голодают, в той родной земле, которую, по словам поэта,

В рабском виде, Царь Небесный
исходил благословляя, —

как «край долготерпенья», бедный и скудный, но и сильный духом и единением, сильный упорным трудом.

Будем же милостивы и щедры. Не для упреков богатым и сытым говорю я сравнениями, а для того, чтоб они только поняли нужду, а поняв нужду, мы поймем и свои обязанности, свой долг, и сердце заговорит в нас внятнее, и слышнее будет ему народное горе и виднее слезы голодных.

А разум, наш просвещенный разум? Пусть и он говорит так же сильно, как сердце. Он знает, кто мы, что мы и сколько нас! Он знает, что мы, интеллигенция, мы, читающие, господствующие, рассуждающие, управляющие люди, мы — крошечное меньшинство, нас всего несколько миллионов среди стомиллионного царства. Если б мы все поднялись с нашей земли на такую высоту, что могли бы видеть друг друга, то мы ужаснулись бы, как мало нас и как мы бессильны без этого народа. Какое маленькое государство мы бы составили, как быстро и легко задавили бы нас наши соседи. Европа живет городами, мы — еще деревней. Сознаем это и будем щедры к этой голодающей деревне, которая еще долго будет нашей опорой и даст нам могучие средства для того, чтоб расти, мужать и укрепляться. Деревня голодает, она даже не просит нашей помощи; в ней очень много таких еще, которым, при всей нужде, стыдно просить, стыдно садиться за те столы, где кормят беспомощных детей и стариков. Поверьте, что этой гордости еще много; о ней говорят нам и пишут, да без нее и не было бы такого государства, как мы, без нее мы давно бы исчезли с лица земли и история забыла бы русское имя. Под лохмотьями, в курных избах, среди нищеты бьется русское сердце, бьется сознание величия своей родины.

Во имя русского сердца, во имя силы и крепости нашей родины, будем щедры и милостивы. Если б можно было писать слезами и чтоб из этих строк раздавались стоны и мольбы — слезами и надо было бы писать и трогать наше сердце, чтоб оно не окаменело. Во имя Христа... Христа ради, голодающим!

1(13) декабря, № 5661

LXIX

Во всех газетах вчера была напечатана следующая телеграмма из Одессы:

«По поручению петербургских Учетного, Международного и Частного банков местные банкирские конторы начали продавать лотерейные билеты в пользу голодающих по предварительной подписке. Билеты берутся нарасхват».

Очень приятно, что билеты берутся нарасхват. Но как же можно было в этом сомневаться? Сомневаться было можно разве только относительно лотерей в 50 миллионов, а не в 6.

Я думаю, что 6 миллионов — такая ничтожная сумма, что министерство финансов может обойтись без всякого участия банков и банкиров. Не говоря о желании

выиграть сто тысяч или меньшую сумму, есть же в русском обществе и желание помочь голодающим. Двух таких побуждений совершенно достаточно для того, чтобы верить в успех этого выигрышного займа или лотереи. Это ведь не заем в 100 миллионов, да еще 4-х или 3-процентный, где банкирам приходится отдать несколько миллионов за их труд и риск! В данном случае банкирам ничего не следует давать.

У Государственного банка около 90 контор и отделений; в его же ведении около 1000 ссудо-сберегательных касс; в России около 800 уездов, стало быть, 800 казначейств; министерство внутренних дел располагает несколькими тысячами почтово-телеграфных учреждений. Вот уже тысячи правительственных учреждений, которые вполне компетентны продавать лотерейные билеты. Если счесть все банки и всех банкиров в России, то их окажется неизмеримо меньше. При существовании телеграфа организация этого дела не представила бы никаких особенных трудностей, а специальность банкирская тут решительно ни при чем. Продать билет и получить за него 5 рублей — это всякий приказчик сделает, не учившийся ни в какой банкирской конторе, и всякий чиновник, умеющий считать деньги.

Кроме того, в этом деле было бы чрезвычайно важно, чтоб получена была действительно та именно сумма, которая назначена для голодающих, а не меньше, и чтоб биржевая игра этими билетами по возможности была ограничена, если не совсем подорвана. А подорвать ее было бы легко при условии продажи билетов в наивозможно большее количество рук. При продаже только в городах, где есть отделения Государственного банка, банки и банкиры, билеты попадут в ограниченное число рук и тем возможнее игра ими. Если скажут, что продажа билетов тем способом, о котором я говорю, может протянуться несколько недель, то ведь государственная казна не оскудела и может ссудить на несколько недель Особому комитету эти 5 миллионов.

Я сказал, что в данном случае банкирам ничего не следует давать. Их просто надо забыть. Правда, банки пожертвовали в пользу голодающих 100 или 150 тысяч рублей, но ведь из этого вовсе не следует, что они должны взять обратно и притом с лихвою эти пожертвованные деньги с голодающих же. Всякий рубль из этих миллионов, ушедший банкирам, есть рубль, отнятый у голодающих.

Мне думается, что в данном случае сами банки обязаны действовать совершенно бескорыстно и позабыть свои комиссионные и премии. Нажить на голодающих — не великая честь, а скорее — великое бесчестие. Действуя бескорыстно, банки могли бы больше выиграть в общественном мнении нравственного капитала, чем выиграют капитала материального.

В пустыне ли я проповедую, нет ли, но мною руководит убеждение, что добрые и сострадательные люди есть везде и везде есть люди с разумом и здравым смыслом. Здравый смысл должен подсказывать, что мы сами себя должны беречь, что наша собственная польза должна нам диктовать бескорыстие. Пусть говорят «чего захотел, чтоб банкиры это поняли!?», но если один человек из них скажет: «Это справедливо», — и то хорошо. В самом деле, ведь банкирская торговля — не торговля вообще, пользующаяся известным процентом: это — торговля биржевая, наживающая не только сто на сто, но иногда и гораздо более. Никакою торговлею Ротшильд не нажил бы тех капиталов, которыми владеет: он мог нажить их только торговлею деньгами и другими ценностями на бирже. Поэтому, если мы требуем совести от хлебных торговцев, если мы стыдим их и взы-

ваем к их чувству и разуму, то тем более приложимо это в данном случае к банкам и банкирам. Хлебный торговец покупал свой хлеб, хлопотал, рисковал, а тут ничего подобного нет: если можно говорить о труде, то о самом мелком, которым следует пожертвовать в пользу тех, у кого куска хлеба нет.

Биржевая игра лотерейными билетами вполне зависит от банков и банкиров. Они во всяком случае могут скупить большое их количество и произвольно повысить их цену. Может случиться, пожалуй, и так, что голодающие получат меньше, чем игроки на бирже.

И это необходимо принять во внимание и притом самое серьезное. Прежде всего, сами банки, именно наиболее значительные из них, руководящие, влияющие на ценности, должны проникнуться убеждением, что дело это — благотворительное прежде всего и что наживать на нем стыдно. Затем розыгрыш следует назначить тотчас же, как только билеты будут проданы, чтобы не держать долго в напряжении публику и не давать разыграться биржевым аппетитам. Пусть рассчитывают на выигрыш, если уж необходимо было прибегнуть к лотерее, но еще необходимее всеми средствами помешать расчету на игру, которая, при пятирублевой цене билета, может обнять слишком большой круг людей бедных, пожалуй, полуголодных, которые отдадут все, чтоб только купить билет, и потом, когда надежда их обманет, будут грубо выражать свое неудовольствие.

Надо, чтобы разыгралось чувство благотворительности, бескорыстной помощи народу, надо беречь это чувство, как святыню, надо, чтобы этот огонь разгорелся в человеческом сердце в неугасимое пламя, надо, чтобы росла любовь к ближнему, без которой нет ничего прочного на земле.

Помните, что русский обычай встречать «с хлебом и солью» теряет на большом пространстве свой смысл и остается разве только соль.

4 (16) декабря, № 5664

LXX

Бедные Добчинский и Бобчинский! Как над ними смеется одна столичная газета, вот уже несколько дней, с тех самых пор, как открыто, что управская мука не есть заправская мука. Сколько людей в Петербурге, которые желали бы, чтоб все закрыли себе глаза и уши и даже потеряли способность помнить сегодня то, что было вчера. Что было — это такое маленькое происшествие, такое ничтожное, что об нем упоминать-то не следовало. А тут вдруг потревожили столько почтенных людей!

Газетчики! О, эти газетчики! И с каким напускным пренебрежением произносятся эти слова. Вчера я слышал на думском базаре, как один известный гласный сказал другому:

— Я очень рад, что меня не выбрали в комиссию. Если б я стал обелять Управу, газетчики стали бы терзать мое имя. Если б я пошел против Управы, то приобрел бы таких врагов, с которыми ссориться я не хочу.

Вот вам гражданин нашего века и депутат города Петербурга. Бедные члены комиссии! Какое их ужасное или, по крайней мере, обоюдоострое положение! К счастью, оно облегчается тем, что прокуратура приняла участие в деле. И зачем

это было нужно прокуратуре? Что за важность такая? Землетрясение, что ли, случилось? Нева, что ли, поднялась на пять сажен и залила веселую и беспечальную столицу? Ничего подобного. Просто «коммерческое дело», как сказал г. Сан-Галли. Кому какая нужда до коммерции! Коммерция должна наслаждаться свободой, поощрением, широким покровительством. Коммерция и биржа. Вот две сестры, две богини, которые могут канканировать, поднимать ноги выше головы публично, смеяться нахальным смехом в глаза всем честным людям, и никто не смей заикнуться о том, чтоб они вели себя приличнее! Третья сестра — земледелие — загнана, выслана в кухню, навалена на нее непосильная работа и дано ей на дневное пропитание фунт хлеба, не того хлеба, который она, в поте лица своего, собрала с нивы, а фунт хлеба, приготовленного коммерцией и сдобренного биржей. Земледелие — это та «третья сестрица» пушкинской сказки, которая «для батюшки-царя родила богатыря», но этому богатырю ноги ломают и он просит подаяния, тогда как две другие сестрицы благоденствуют и кричат, что «коммерческое дело — таинами в наш неверующий век, подрывающий все, даже великие «таины», — одна коммерческая гуляет по свету и кричит: «С дороги! Я еду!»

И вдруг Бобчинский и Добчинский говорят: «ревизор едет!» И городничий, и Ляпкин-Тяпкин, и Земляника, и другие почтенные деятели всполошились, и началась кутерьма. И в угоду городничему, и Ляпкину-Тяпкину, и Землянике, и другим почтенным деятелям одна почтенная газета смеется над Добчинским и Бобчинским, которые осмелились крикнуть не то, что «ревизор едет», а то, что «ревизор нужен». Но почтенная газета забывает, что в «Ревизоре» только и есть два честных лица — это Бобчинский и Добчинский, для которых ревизор нисколько не страшен. У всей компании подмочена репутация, но Добчинский и Бобчинский никого не угнетают, взяток не берут, подрядами не занимаются, и единственное честолюбие их заключается в том, чтоб о них сказали «государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Я готов в них видеть первообраз газетчика, репортера, людей, которые все высматривают, все узнают. Бобчинский и Добчинский, может быть, сознавали, хотя инстинктивно, что в городе порядки невозможные и что поэтому ревизор непременно приедет, — и они создали его. Газетчик тридцатых годов был ничтожнее Бобчинского и Добчинского. Его почти на корде гоняли. Но с того времени он вырос и в некоторых случаях сам стал ревизором. Быть может, Гоголь это предчувствовал. Недаром же он влагает в уста городничему и проклятие Бобчинскому и Добчинскому и проклятие «бумагомаракам», т. е. писателям. «Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые!» — говорит в злобе великой городничий Бобчинскому и Добчинскому. А о бумагомараках, т.е. о писателях, кричит: «Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! Чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку! В шапку туда ему!»

Удивительно, как почтенная газета не понимает, что Добчинский и Бобчинский гораздо почтеннее и Сквозника-Дмухановского, и Аммоса Федоровича, и Артемия Филипповича, и всей их компании! Чего она смеется? Не над собой ли она смеется? Кому в угоду она смеется? В угоду «коммерческой тайне», которая хотела бы, подобно городничему, «бумагомарак» «в муку стереть»?..

И это из-за муки, из-за управской муки, которую хотят сделать заправской?

23 декабря 1891 (4 января 1892), № 5683

LXXI

Мы попадаем под суд.

В ночь на Рождество Христово мы получили подарок, именно телеграмму от одесской хлебной фирмы Луи Дрейфуса и Комп., извещающую нас, что против газеты и автора статьи «Излишнее доверие» (№ 5680) фирма Луи Дрейфус и Комп. начинает судебное преследование, а потому любопытствует узнать имя автора означенной статьи и прилагает расписку почтовой конторы в том, что за ответную телеграмму деньги уплачены.

Мы возвратили фирме Луи Дрейфус и Комп. ее расписку, так как вовсе не обязаны ни телеграфом, ни почтою удовлетворять ее любопытство: для этого есть путь, указанный законом. Надеемся, что этим путем, если недостаточно будет нашего печатного заявления от имени автора статьи, не замедлит воспользоваться эта фирма, отправившая, по ее собственному признанию, 30 вагонов в Самару такой смеси, которая, по моему мнению, распространила бы между населением болезни и смерть.

Статью «Излишнее доверие», помещенную передовою, писал я. В ней о фирме Луи Дрейфус и Комп. сказано следующее:

«В деле одесской фирмы Луи Дрейфуса «излишнее доверие» тоже играет главную роль. Совершив мошенническую поставку хлеба самарскому земству, фирма Луи Дрейфус свалила всю вину на приказчиков, которые, пользуясь «полною бесконтрольностью, закупали и отправляли всякую дрянь»[1]. Фирма Дрейфуса, наградив своих приказчиков бесконтрольностью, оказывает тем самым приказчикам, очевидно, излишнее доверие».

Вероятно, фирма Луи Дрейфус и Комп. обиделась тем, что я назвал настоящим именем ее поставку всякой дряни самарскому земству именно «мошеннической поставкой». Я жалею только о том, что слишком мягко выразился. Не знаю, как называет закон дела подобного рода, но я знаю, как называет их общественное мнение и для меня этого совершенно довольно. Закон нередко стоит позади возмущенного чувства общественной совести, которая требует его исправления. Поэтому мне нет никакого дела до того, почему судебная власть в Одессе, убедившись в ядовитости хлеба, отправленного фирмою Луи Дрейфуса и Комп., не привлекла эту фирму к следствию.

То, что совершалось в деле отправки того яда, который сама фирма Луи Дрейфуса называет «негодными продуктами», — не мошенничество только, это — заговор против здоровья и жизни населения, притом населения голодающего, которое даже в лице своих представителей, земства, бессильно иногда разбирать, хороший или плохой хлеб ему доставляют. Надо чем-нибудь удовлетворить требования желудка, и нагло подмешанный к хлебу яд идет за хлеб и, вместо насыщения голодных, уничтожает последние их силы и в результате дает страдания и смерть.

Вы скажете, что этот умысел предупрежден. Но предупрежден ли? Это еще вопрос. Член совета министра внутренних дел г. Звегинцев засвидетельствовал, что мука в Самаре оказалась вредною и раздачу ее приостановили. Не мука ли это из зерна Луи Дрейфуса, этого самарского поставщика? Фирма Луи Дрейфус и Комп.

---

[1] Цитата из одесской телеграммы «Новостей» от 13 ноября, № 349

говорит, что она отправила ядовитого хлеба только 30 вагонов и нажила на этом яде только 3 копейки на пуд. Конечно, это великодушно: аптекари на яде наживают гораздо больше, вероятно, потому, что они его за яд и продают, а не за хлеб насущный. Но кто нас убедит, что остальной хлеб, заключающийся в 520 вагонах, хорош? Разве его подвергали тщательному исследованию, как, например, управскую или Пухертовскую муку, которая в течение 20 дней преспокойно ссыпалась, как мука заправская? Нет, его ссыпали и торопливо отправляли в желудки голодных. До исследования ли тут, когда поспешность была обязательна, когда для населения буквально каждая минута была дорога? Не ясно ли вам, что именно на эту поспешность, на эту каторжную необходимость и была рассчитана вся эта поставка. Не успеют доглядеть, да и есть ли возможность тщательно проверить все содержимое 520 вагонов? Вали туда всякую мерзость и заботься только о том, чтоб получить за нее настоящие деньги.

Фирма Луи Дрейфус только об этом и заботилась. Она не приняла бы фальшивых бумажек; для приема денег у нее есть опытные кассиры, которые во всякой пачке отделят фальшивую бумажку от настоящей. Но для отделения фальшивого хлеба от настоящего у нее никого нет, и она возлагает эту обязанность на покупателей. Не доглядели, стало быть, они виноваты, а не купец. На то и глаза, чтобы смотреть. Купцы-мошенники так и рассуждают. Зазевается покупатель или ничего не понимает в товаре — сейчас же обмерит его, обвесит, подсунут дешевый и негодный товар. И посмотрите, с какой наивностью, с каким чувством собственного достоинства сознается в таких торговых приемах фирма Луи Дрейфуса и Комп.! Мы, говорит, не виноваты: виноваты земские агенты, которые не присутствовали при ссыпке той мерзости, за которую мы взяли с них деньги, как за хлеб. Впрочем, так как обнаружилось в Самаре, что хлеб, нами купленный, действительно, какая-то дрянь, то мы готовы «заменить негодные продукты другими и из присланного зерна удалить негодные примеси на наш счет». И притом-с мы взяли барыша всего 3 копеечки-с на пуд!

Какое великодушие, какая примерная честность! Да ведь это не платье от Ворта, которое ждала светская женщина к балу и которое оказалось подмоченным в дороге! Светская женщина могла быть в отчаянии, но ведь это не отчаяние голодных, которые вместо хлеба получают ядовитое зелье, или с подведенными животами дожидаются, когда-то на счет Луи Дрейфуса отделят ядовитое зелье от зелья съедомого! Ведь это — пища, господа, пища, от которой прямо зависят силы, здоровье и жизнь населения. Это — не кусок материи, а пища, без которой и душа в теле не живет. Но для фирмы Луи Дрейфуса — это все равно. Товар как товар. Оказался негодным? Что ж, мы переменим. Все в нашей власти.

Действительно, все в их власти. Вообразите только себе картину этого заговора, насколько она известна по корреспонденциям. Широкая организация соединяет воедино всех этих комиссионеров и агентов. Они умеют как-то проникать даже в телеграфные тайны. Тайных нитей этой организации проникнуть нельзя, но ее следовало бы изучить и открыть. Идет закупка хлеба и доставка его. Зашевелилось все, что имеет какое-либо отношение к хлебному делу. Фирма Луи Дрейфус и Комп. стоит во главе, как главнокомандующий, но она не отвечает за своих приказчиков и комиссионеров: она только смотрит в оба, чтобы не было фальшивых бумажек, а что касается фальшивого хлеба, то смотрите в оба вы сами, чтоб вас не надули. И вот начинается подделка хлеба на станциях Юго-

западной дороги с нахальством замечательным. На глазах всех открыто производится фабрикация негодного хлеба. Начальники станций с ужасом видят, что совершается что-то баснословное. Привозят куколь, ссыпают его всюду, даже в частном магазине. Железная дорога бессильна противодействовать злу, но надо, по крайней мере, оградить себя от нареканий. Жандармам предписывается составлять протоколы и брать образцы хлеба. Оказывается иногда от 40 до 60% куколя в хлебе, тогда как и незначительная примесь куколя уже вредно действует на здоровье человека.

40 и 60 процентов вредной примеси! Ведь волосы становятся дыбом! Ведь это действительно яд, отрава, мор населения, ведь это не торговцы — это публичные отравители!

И вот знают о такой отраве и начальники станций, и правление железной дороги, и жандармы, и все они негодуют и принимают меры открыто, чтоб засвидетельствовать свое бессилие против наглого мошенничества, против этого заговора, направленного во вред здоровью и жизни бедного, голодного населения. Один главнокомандующий над своею армией, т.е. фирма Луи Дрейфуса и Комп., об этом ничего не знает. Никаких даже слухов до нее не доходит об этом. Около нее курится фимиам, сквозь который ничего ей не видно, и сама она занята только счетом денег и барышей...

Несмотря на отметки в накладных, сделанные начальниками станций, что хлеб с подмесями, несмотря на протоколы жандармов, ядовитая, безобразная смесь медленно двигаясь, благополучно достигает до самой Самары, где, по всей вероятности, хватились тоже поздно, ибо только тридцать вагонов, т. е. 18 000 пудов признано никуда негодными, а все остальное, вероятно, уже съедено и нельзя счесть, сколько приходится заболеваний в Самарской губернии за счет фирмы Луи Дрейфуса и как бы она на «свой счет» это исправила, вылечила бы больных и воскресила умерших! О, это почтенная фирма: получая за отраву такие же деньги как за хлеб, она бы и бровью не повела, если б и эти 30 вагонов были приняты с доверием и с доверием пошли бы в желудки голодных, как и прочие 520 вагонов.

Она ведь ничего не знала; во всем этом ужасе фирма Луи Дрейфус ни при чем. Она отвечала бы, если б принимала фальшивые бумажки, но, отправляя фальшивый хлеб, она только исполняет заказы и ведет честную торговлю. После этого, что ж такое бесчестная торговля и что такое бесчестные фирмы! В каких трущобах наглости искать бесчестную торговлю, когда именем честной фирмы Луи Дрейфуса и его компании в хлеб подбавляется 60 процентов вредной примеси!

Пусть закон бессилен против этих беспорядков — закон дело подвижное, вечно прогрессирующее, когда жизнь докажет ему, что его средства недостаточны. Хлебную торговлю необходимо сделать вполне честною — это пища — и заставить хлебные фирмы отвечать за свои поставки. Иностранцы недаром подозрительно относятся к русскому хлебу, и вот мы испытываем у себя самих, *что* это за торговля! Но пока закон этого не сделал, мы, печать представители жизни, представители общественного мнения, не можем молчать и не можем верить бездоказательным опровержениям фирмы Луи Дрейфуса и Комп., что она ничего не знала, она должна была знать и не могла не знать того, что столь многие знали! Пусть закон сажает в тюрьму представителей печати, осмеливающихся назвать мошенничеством доставку ядовитого зелья вместо хлеба. Но наша совесть будет спокойна и, путем суда, на свет Божий явятся те торговые порядки,

которые теперь составляют «коммерческую тайну», эту возмутительную тайну, где под «тайной» кроется просто мошенничество, наглость и преступление против имущества и жизни населения!

28 декабря 1891 (9 января 1892), № 5686

LXXII

В дополнение к вчерашнему письму о фирме Луи Дрейфус и Комп. считаю нужным добавить вот что. Я говорил вчера, что, судя по 30 вагонам «негодных продуктов», которые однако фирма, пойманная, так сказать, на месте преступления, изъявила согласие заменить «годными продуктами», можно судить и о негодности если не остальных 520 вагонов, то многих из 520, содержимое которых пошло в желудки голодающих. Это мое предположение находит вероятие в том способе приемки, который практиковался и практикуется земствами. Способ этот рассчитан не на мошенничество поставщиков, а на полное доверие к фирме Луи Дрейфуса и Комп., которого она ничем не заслужила. Как скоро земство получало уведомление от станции железной дороги, что хлеб пришел или придет тогда-то, уездные земские управы делали наряд крестьянских подвод, и подводы эти ехали на станцию назначения, и вагоны опорожнялись прямо на подводы, которые и развозили хлеб по деревням по заранее сделанному управами расписанию. Отсюда ясно, что никакой поверки доставленного зерна не делалось и, если фирма Луи Дрейфус и Комп. попалась с 30 вагонами, то благодаря какому-нибудь случаю или тому обстоятельству, что прежде этого доставленный хлеб дал себя знать своими вредными свойствами голодающему населению. Обстоятельство это должно быть выяснено, во всяком случае, не доверием к словам этой фирмы, а следствием.

Сегодняшняя наша телеграмма со станции Измалково Орловско-Грязской дороги говорит о вредном хлебе, который раздает земство крестьянам. Откуда этот хлеб? Не так ли он был доставлен, как хлеб фирмы Луи Дрейфуса и не так ли был принят?

Меня сегодня спрашивают: отчего такая разница между Петербургом и Одессой? В Петербурге прокуратура производит следствие над поставщиком, г. Пухертом, а не над его приказчиками, а в Одессе следствие производится не над поставщиком, Луи Дрейфусом, а над его приказчиками, тогда как Луи Дрейфус объявляет, что он ни при чем в этом деле, объявляет, впрочем, сам, а не судебная власть. Вопрос этот нельзя считать неуместным, и я ставлю его как вопрос.

29 декабря 1891 (10 января 1892), № 5687

1892

LXXIII

Прошедший год есть, в некотором отношении, год открытия России, сделанного нами самими, русскими людьми, всех званий и общественных положений. И это очень хорошо, что открытие совершено нами самими и, полагаю, вовремя.

Дело в том, что с самых первых известий о голоде и, пожалуй, допуская некоторые оговорки, и до настоящего времени, особенно поражало, вероятно, всех нас — наше незнание, незнание своей земли и всего того, что на ней живет и что на ней произрастает. Незнание повальное. Я не помню времени, не помню события, которое бы более ясно и определенно указывало на этот наш недостаток. За «высшими соображениями», которых у нас слишком много, мы забыли соображения низшие, без которых, однако, и высшие оказываются бессильными. Гордые этими «высшими соображениями», отдаленными задачами, мы еще хорошо не решили себе даже вопроса о том, цивилизованное мы государство или нет.

Всего 30 лет прошло с тех пор, как у нас уничтожено рабство и как десятки миллионов народа поставлены на свои ноги. Разве 30 лет много значат в истории? Разве это такой срок, в который можно догнать Европу? Разве у нас еще не миллионы совершенных дикарей? И разве давно мы стали изучать Россию? Мы заботились о том, чтобы управлять ею, чтобы защищать ее от врагов, чтобы насадить начатки просвещения, но чтоб узнать ее — мы заботились мало, случайно и разбросано.

Выражение Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю» — может быть переведено каждым из нас для себя таким образом: «я ничего не знаю, но думаю, что я все знаю». Думаю или обязан думать, что все знаю, — это все равно ведет только к путанице, к отсрочке мер необходимых, к колебаниям, неустойчивости взглядов и действий. В самом деле, кто все предугадал и все предупредил, или кто ясно и твердо начертал себе путь и шел по этому пути твердо и неизменно? Кто может сказать и теперь, что он отлично знает, что надо делать и как делать? Где эти мудрецы? Я их не знаю, я их не встречал, не видел и не слыхал об них. Но я видел зато умных людей, которые говорили и делали глупости, и многие из них сознавались в этом. Я слышал и читал множество мнений, взаимно друг друга исключающих. Один инженер говорил, что общественные работы зимой невозможны, другой говорил совершенно обратное. Одни стояли за то, чтоб допустить вывоз хлеба, другие — за полную свободу торговли, хотя точно не было даже известно, может ли страна прокормить себя. Одни отрицали голод, другие

настаивали на нем. Всего больше в ходу была догадка и посторонние соображения, а не знание, не фактические данные. Произнесено было слово «реквизиция» и застыло без результатов. Рядом с ним предложено множество мер, за практичность которых никто не мог поручиться. Все отзывалось какою-то отрывочностью, бессистемностью. Открылось, что хлеб продается с подмесями даже вредными, как и мука. Начинается шум — и открывается, что никто не знает, как идет торговля зерном и какая такая мука бывает. Может быть, даже в столицах мы едим скверный хлеб с подмесями, которые способствуют развитию болезней, но никто этого не знает, и поселяются в обществе одни сомнения, а не знания. Относительно суррогатов хлеба и корма для скота приходилось слышать и читать необыкновенные курьезы. Дело доходило до того, что рекомендовалась в Уфимской губернии, например, смесь из 35 фунтов муки из соломы (т. е. солому молоть в порошок) с 5 фунтами ржаной муки и этот хлеб назывался «вкусным». Вкусно — и баста! Люди науки оказались сомнительными учеными, которые, например, не знали ничего о лебеде, не думали никогда о суррогатах хлеба. Рекомендовались крестьянам супы с лавровым листом и другими прибавками, самые названия которых они никогда не слыхали. Многие с изумлением, в первый раз, узнавали, что скот кормится зимою не сеном, а соломою, а другие с не меньшим изумлением, — что жмыхи составляют отличный корм для скота.

Если б собрать воедино все мнения, все курьезы, то оказалось бы, что за классическая булка, растущая в поле, совсем готовая, которою характеризовалось незнание жизни у наших институток, совсем уж не так смешна и невозможна даже среди мужчин. Мне невольно вспоминается «Антидот» Екатерины II, книга, в которой она старается опровергнуть аббата Шаппа, проезжавшего по России в Сибирь для астрономических наблюдений в 1761 г. и издавшего в 1768 г. три тома о России (Voyage en Syberie), где он нарисовал бедность русского народа. Аббат Шаппа говорит, что народ ест черный хлеб, что он ест конопляное масло. Екатерина отвергала это с негодованием, утверждая, что, кроме Камчатки, «где все едят», т. е. едят что ни попало, в России едят калачи, а «конопляное масло употребляют лишь для ламп». Лампы у крестьян в 1761 г.! Конечно, мы ушли от этих представлений, но мы еще не пришли к настоящему знанию народной жизни и не усвоили себе, до какой степени необходимо это знание. И если мы так шатались и больше говорили, чем делали, более рассуждаем и обсуждаем, то единственно потому, что мы не знаем как следует ни родной земли, ни того, как на ней живут, и что и как на ней произрастает.

И голод стал нас учить суровой и трудной науке жизни: каждый день что-нибудь открывал нам, на что-нибудь указывал. Русская искренность в этом случае сказалась как всегда. Все приняли участие в работе взаимного ознакомления со страною — администрация, печать и общество. По крупице, но знания собирались, сознание народной беды росло, легкомысленное, поверхностное отношение к ней исчезало. Те, которые говорили, что народ «надо подтянуть», те, которые видели в земских начальниках только это назначение, те, которые говорили только о лени народной, стали говорить о нужде значительной части крестьянства, о расстроенном хозяйстве, о податных тягостях; земские начальники явились полезными помощниками во многих отношениях, определяющих народную жизнь. «Гражданин», который говорил, что все дело только в том, чтоб крестьян «подтянуть», поместил несколько прекрасных статей о беспомощном состоянии крестьянства, и в печати теперь нет органа, который говорил бы иначе.

Таким образом, подобно тому, как пожар «способствовал украшенью» Москвы, так голод способствовал тому, что мы многое узнали и узнаем ежедневно. К сожалению, время идет и не дожидается, когда мы все узнаем в точности. Но мы узнали достаточно для того, чтобы торопиться необходимыми мерами и не жалеть денег на то, чтобы поставить на ноги нуждающихся. Твердая распорядительность в этом случае — великое дело.

Как явление исключительное, голод требует огромной затраты сил, увеличения деятельности; недаром же приходится слышать от общественных и административных деятелей, что они сбились с ног, что времени не хватает у них для исполнения всей работы, которую исполнить необходимо и притом в условиях тяжелых и непривычных. Не следует ли из этого, что для борьбы с голодом необходимы и исключительные и специальные деятели, что обычный порядок должен быть признан недостаточным?

6 (18) января, № 5695

LXXIV

«Какое торжество готовит древний Рим, куда текут народа шумны волны?»

Право, мне хочется начать именно этими стихами Батюшкова описание торжества Городской управы и посрамления излишнего усердия «Нового Времени» по поводу управской муки. Торжество готовилось издали. То там, то сям вылетали ракеты. Одна из этих ракет говорила, что «Новое Время» раздуло дело с мукой для того, чтобы помешать г. Лихачеву сделаться министром. Ракету эту выпустил «Гражданин», специалист по части тайных советников, о которых иногда он зло говорит. Признаюсь, я не знал, что г. Лихачев рекомендуется кем-нибудь как фютюр-министр. Я не мог предполагать такой карьеры для городского головы, ибо думаю, что для министра необходимо знание России, чего у г. Лихачева совсем нет. Разве через несколько лет, когда он Россию узнает? Но через несколько лет меня наверно не будет в живых и я буду совершенно равнодушен к министерству В. И. Лихачева, хотя бы оно состояло из таких лиц: г. Лихачев — министр внутренних дел, г. Яблонский — министр финансов (знает подрядное дело и типографское), г. Ниман — иностранных дел (знает по-немецки), г. Сан-Галли — министр народного просвещения (не знает по-русски) и т. д.

Я нисколько не удивлюсь ракетам, которыми будет возвещаться, что управская мука совсем выдумана «Новым Временем» и даже подделана им; я нимало не удивлюсь тому, что те самые люди, которые кричали гораздо более «Нового Времени», станут кричать еще громче против «Нового Времени». Я — старый журналист и видал на своем веку много такого, чего теперь и не снится нашим мудрецам. Поэтому я не смущаюсь и не смущусь нимало ни этими ракетами, ни самыми безумными клеветами. Дело, которое подняло «Новое Время», уже принесло плоды и принесет их еще в будущем. В этом я убежден и этого для нас довольно.

Для чего нужна была мука Петербургу? Ведь Петербург — город не голодающий, а сытый. Петербургу нужна была мука не для того, чтоб как-нибудь накормить голодных, а для того, чтобы регулировать цены на нее, не дать им повышаться! В этом весь вопрос. А для этого необходима была мука хорошая, а не плохая. Что ж оказалось, по словам защитников Управы?

Оказалось, что Управа купила плохую муку и переплатила на ней от 1 руб. до 5 руб. на четверть. Это уже оказалось. Это оказалось по словам «Новостей» — адвоката Управы. Оказалось также, по словам г. городского головы, что Управа дала в этом случае маху, что он выразил мягкою фразою: Управа оказала «излишнее доверие» г. Пухерту, или, говоря погрубее, <проявила> большую халатность.

Представьте себе, что из того дела, которое подняло «Новое Время» ничего больше не оказалось бы. Но разве это не результат? Неужели это не урок для этой и для будущих управ и урок назидательный? Неужели это не урок для городского представительства? Газета — не прокурор, не следователь. Она не может приказывать, не может призывать к допросу, не может арестовать ни лицо, ни имущество, не может для экспертизы брать целые кули, а должна ограничиваться пробами и т. д. Газета — частное лицо, у которого далеко не все средства для того, чтобы узнать всю истину, чтобы бороться с тьмою всяких тайных махинаций и сделок. Она может и преувеличить вполне добросовестно, может и вполне добросовестно уменьшить то или другое событие. Обратить внимание общества и правительства на то или другое событие — вот задача газеты, и если добросовестный следователь и прокурор не несут упреков, когда присяжные оправдывают подсудимого, то тем менее заслуживает упреков газета, не обладающая всеми средствами официальной власти.

Я ставлю на вид только факты. Кроме того несомненного обстоятельства, что Управа купила муку дорого, что покупка произведена халатно, недобросовестно, как покупать невозможно на общественные деньги, на податные деньги, кроме этого выдвигаются очень важные вопросы и соображения, прямо вытекающие из этого дела.

У нас уж это так заведено, где наука, там и партии. Но я предполагаю, что у нас между химиками никаких партий нет и что нет никакого различия между мокрым способом исследования муки и способом при помощи сгорания ее. Пусть химические исследования доказывают, что есть управская мука порядочная и что есть мука плохая. Но разве не в *первый раз* химики исследуют муку и не *в первый раз* для всех торговцев и жителей становится ясно, что наука обладает способами, недавно открытыми, узнать в муке вредные и простые примеси? Отныне в торговле с этими примесями надо будет обращаться осторожнее, а то, пожалуй, наживешь себе беды и попадешь под суд. Более тридцати лет занимаюсь я журналистикою, но никогда не слыхал, чтобы наука и суд вмешивались в торговлю хлебом с своим непреложным авторитетом, в торговлю самою насущною потребностью жизни. Неужели это не результат? Какой-нибудь газетчик, пожалуй, скажет: это всем известно. Неправда: это даже Управе не было известно, и она, чтоб проверить доброкачественность муки, стала печь из нее хлеб и отправлять его на пробу больным. Увы, мы ужасно мало знаем, и то, о чем я говорю, есть важное прибавление к нашим знаниям, к нашей защите против халатности одних и наглости и мошенничества других.

Затем в торговле существуют такие правила, на которые не мешает открыть глаза всем. Наши кухарки и повара, покупающие для нас провизию, пользуются известным процентом с купцов, у которых они покупают, и купцы наверстывают это нередко на том, что ставят в счетах хозяевам или большее количества товара, чем забрано, или возвышенные цены за товар худшего качества. Это торговое правило распространяется всюду, где есть посредники. Ни для кого не секрет,

что в подрядном деле посредники пользуются всегда известным процентом. Чем более подряд, тем сумма этой *благодарности* выше. Все это водится как в частных предприятиях, так и в общественных, и открыть это чрезвычайно трудно, хотя об открытии именно этой Америки и следовало бы похлопотать.

Как бы то ни было, в общественное представление все эти вопросы пущены, и они несомненно принесут свою пользу, как бы ни были хитры кошки, съевшие чужое мясо, и к каким бы средствам они ни прибегали. Кошачий концерт всегда противен своей явной фальшью, и общественное мнение ему не поддается.

7 (19) января, № 5696

LXXV

«Это только один комический факт!»

Так говорят «Новости» о той агитации, которую мы подняли о хлебе насущном.

Это только комично! Гоголевский мичман Дырка, смеявшийся при всяком удобном и неудобном случае, радуйся: твоего полку прибыло! Смешно, что говорят о таком пустом деле, как мука, как хлеб. Достаточно того, что есть вещество, называемое мукою; достаточно того, что на это вещество существуют такие-то и такие-то цены, а какова эта мука — не все ли равно? Я думал, что мука получается так: везут рожь или пшеницу на мельницу, мелют там и получают то, что называется мукою. Совсем нет: мукою в торговле называется всякая смесь, всевозможные вредные и безвредные примеси, которые могут увеличить барыш торговца и набить чем-нибудь брюхо бедняка, — вот что называется мукою!

«Комический факт» в том, чем кормят бедняка, за что с него деньги берут. Комический факт в том, что каких-то гг. химиков тревожат такою непривычною работою, когда у них есть дела поважнее и попривычнее. Комический факт в том, что дело, которое подняло «Новое Время», взволновало общественное мнение в России и администрация и земства принялись проверять купленные муку и зерно и открывать в них всевозможные примеси. Комический факт в том, что в Орловской губернии перестали продавать порченые отруби, в Нижнем Новгороде по распоряжению губернатора и под влиянием этого петербургского дела сделаны исследования муки в центральных складах ее и открыто в ней множество примесей. Комический факт в том, что интендантство, заготовляющее муку для солдат, никогда бы и не подумало принимать муку такого низшего качества, какую принимала для города Петербурга его Управа, комический факт в том, что у нас есть заявления петербургских жителей, что с того времени, когда суд начал это дело, хлеб стал лучше. Все это — «комический факт!»

Мичман Дырка, радуйся. Нет, он выше этих господ. Он смеялся по глупому добродушию, а они смеются своим жалким, деревянным или самодовольным смехом по злобе и злоба ими руководит, злоба партии, злоба родства, злоба приятного знакомства, всяческая злоба, которой приносится в жертву и правда, и наука, и интересы народа, и доброкачественность насущного хлеба. Эта злоба выше всего. Помилуйте, можно ли отдать на суд общественного мнения таких приятных господ, таких представителей общественного самоуправления?

И какой вздор?!

Нашлись какие-то два журналиста, которые, никого не спросясь, пошли, отсыпали муки, не приложили к ней пяти печатей, не позвали полицию и смеют говорить, что это та самая мука, которая привезена для Петербурга? Где печати, где протокол полиции? — восклицают все, уязвленные этим делом так или иначе. О, они полиции верят, вероятно, потому, что полиция им не верит. Увы, журналисты не запаслись этим свидетельством, ибо они думали напечатать все то, что они узнали, а напечатанное могут проверять все, и полиция, и суд, и общество. — А, у них нет протоколов с приложением печатей, так они подделали муку! Наверное подделали! Они же не могли найти тех самых мешков, откуда брали они пробы. Правда, эти мешки чуть ли не припрятаны, во всяком случае то место, где они лежали, теперь узнать нельзя — несколько тысяч мешков туда навалено. Но все равно — журналисты дело сделали. Но если вы смеете это говорить, почему я не имею права говорить, что вы, «Новости», даете у себя приют управскому дельцу, который постоянно выкрикивает: «Пухерт, Пухерт, а Управа ни при чем!» Почему? Ведь вы и сегодня повторяете этот же прием, не дождавшись следствия? Почему я не имею права говорить, что даже г. Костычев, г. Коновалов и решительно все те, на которых справедливо или ложно хотят ссылаться наши противники, не подделали анализа и не улучшили ту муку, которую им дали для анализа, например, просеяв ее? Почему нет? Почему журналисты — бесчестные люди, а профессора — честные люди? Если мы станем на этот путь подозрений, то мое подозрение в недобросовестности профессоров совершенно точно так же основательно, как ваше подозрение относительно журналистов. Вы скажете, что профессора получили муку запечатанную? Да ведь они же ее распечатали. Почем я знаю, что потом они с нею делали? Почем я знаю, верен ли их анализ, когда я не могу сам сделать химического анализа и когда я знаю, что наука не сама говорит, а устами людей, и всем известно, по судебным процессам, как ее представители противоречат друг другу, иногда доказывая совершенно противоположное друг другу? Вы говорите, что «Новое Время» раздуло это дело ради каких-то личных целей и неприязни к тем или другим лицам? Почему же какой-нибудь химик не может сделать фальшивый анализ ради неприязни к «Новому Времени» и приязни к кому-нибудь, кто замешан в этом деле? Уж если подозревать журналистов, то давайте подозревать и профессоров и сведем все дело к тому, чтоб «оставить его под подозрением», по старине. Давайте кричать, что это смешно, что это глупо, что это недостойно никакого внимания, что все это чистейший вздор, выеденного яйца не стоящий. Все лгут, все, исключая одной Городской управы, исключая даже одного г. Яблонского, который поспешил снять с себя всякую ответственность и обвинить своих товарищей по Управе, которые только хлопали в это время глазами и не смели слова произнести. Вознесем их на высоту, во имя общественного самоуправления, осмеем литературу, профессуру, суд — и да здравствует нынешняя Городская управа отныне и во веки веков, а вместе с нею ее архитектор и механик, г. Сан-Галли!

«Уважайте принцип самоуправления», говорят нам между строк. Мы его уважаем, но мы имеем право не уважать людей, действующих под широкою тенью этого принципа. «Мы спасаем принцип самоуправления», думаете вы. «Неправда, говорю я вам, вы его губите».

Вы его губите, потому что потакаете тому, чему потакать не следует. Вы его губите, потому что своим бесстрастием, своим равнодушием, своим излишним

доверием вы вводите вора в соблазн и даете ему власть над собою и он накидывает на вас сеть, в которой вы бессильно барахтаетесь. Вы губите этот принцип и потому, что вы заботитесь не о принципе, а о самом себе, ибо честолюбие и в вас горит, и вам хочется попасть в какую-нибудь комиссию или Управу, и вам хочется заслужить перед богачом, который вертит всем. Вы губите его и тем, что раз вытрясли вы деньги из своего кармана, в виде податей и налогов, вы начинаете их считать безличными, чужими и они странствуют неизвестно где и неизвестно как, и вы об этом не беспокоитесь.

Вы доверяете своим выборным городские интересы, интересы столицы, которая должна служить примером всем городам, и вы не знаете, как они исполняют свое дело, а когда вам говорят, как они действуют, вы отмахиваетесь во имя своего спокойствия.

Надо украсть из ваших карманов не 50 тысяч рублей, а пять миллионов, чтоб вы нашли, что есть о чем беспокоиться. Вы подо все подделались, всякие прямые слова считаете оскорблением; мошенничество у вас — фальсификация, песок в муке — хруст — нежное и непонятное слово; воровство — халатность, халатность — излишнее доверие. Язык гостиных надо, чтоб говорить о представителях общественного самоуправления, справляться надо со Сводом Законов, чтоб именовать правильно их действия.

Но они, ваши доверенные, должны быть безусловно честны, деятельны, исправны. Не я, журналист, должен помнить о том, что они представляют собою дорогие принципы самоуправления, а они должны это помнить, они, ваши доверенные, и вы, гласные. Они должны вести дело, им порученное, так, что если б вы, гласный, вы, выборный человек, сказали бы заподозренному: «Вас обвиняют в нехорошем деле, докажите, что вы — честный человек. Куда вы дели те излишние деньги, которые вы переплатили за муку, от одного до 5 рублей на четверть? Не говорите, что вас надули, — мне до этого нет дела; не ссылайтесь и на то, что вы внесли столько-то тысяч. Нет, вы оправдайтесь во всем или убирайтесь вон из управы», — и он, заподозренный вами, или публично обвиненный, обязан дать вам отчет и оправдаться.

10 (22) января, № 5699

LXXVI

Величайшее открытие наших дней!

«Новости» открыли, что в состав самой ржи входит песок, а потому, естественно, во всякой муке песок обязателен. Отсюда несомненно следует, что если в муке нет песку, то мука плохая, ибо она лишена одной из составных частей своих. Отсылаю к «Среди газет и журналов», где есть подробности об этом открытии. Здесь же скажу о том притязании «Новостей», с которыми они выдают себя чуть ли не за орган гг. химиков, Коновалова и Костычева, ссылаясь постоянно на них, как на авторитеты непреложные и даже ссылаясь на их анализы неопубликованные и, поэтому, давая понять, что они находятся в постоянных, по крайней мере, постоянных мучных сношениях с лабораториями гг. профессоров. Но если б это было так, то гг. Коновалов и Костычев поспешили бы сделать поправку к статье

излюбившего их органа сегодня же; но сегодня поправки нет, и *песок во ржи* гуляет два дня для утешения всех тех, которые песок в муку подсыпают.

Эта новооткрытая химия напоминает, блаженной памяти, Пифию в Дельфах, у которой спрашивали советов в обстоятельствах затруднительных люди не только весьма умные и даровитые, но и просвещенные. И Пифия бесподобно умела туману напустить. Я смею думать, что и новая химия, по крайней мере в этом мучном вопросе, тоже только туману напускает. Не отправить ли муку в Берлин, Вену или Париж, не обратиться ли к тамошней химии — авось она научит нас уму-разуму и, может быть, скажет, что относительно питательности, усвояемости организмом и т. п. качествах муки надо обратиться к физиологии, а не к химии, или, по крайней мере, проверить химический анализ анализом физиологическим?

А то ведь вот какая история выходит: интендантские эксперты говорят буквально следующее: «если б мы приняли для армии такую муку, как управская, то нас бы предали суду», а эксперты химии, по уверению «Новостей», конечно, говорят нечто вроде того, что «мука как мука, и если есть в ней недостаток, то разве в том только отношении, что в ней мало того самого песку, который входит в состав ржи». В Дельфах Пифия отвечала бы, вероятно, подобным же загадочным выражением, например: «спасайтесь не мукою, а песком и шелухою», и мудрецы стали бы ломать голову над этою загадкою, как ломаем и мы, отыскивая различие между Пифией и Химией.

Отвечая мне, «Новости» подозревают, что я хочу, чтоб по моему «повелению рубили головы». Нет, я этого не желаю. Но я был бы поистине счастлив, если б обладал такою сверхъестественною силою, чтобы по моему повелению приставляли головы тем, у кого головы нет.

12 (24) января, № 5701

LXXVII

Мне хочется поговорить об одном вопросе, который все чаще и чаще встречается в газетных статьях и корреспонденциях. Этому вопросу придается особое, даже опасное и грозное значение.

Вопрос этот о «Царском пайке».

Мне кажется, что это речение необходимо разъяснить с полною откровенностью. Переговорить — нехорошо, но не договорить — еще хуже, потому что именно из недоговоренного слагаются вредные сплетни и вредные слухи.

Еще в начале октября, когда я был в Орловской губернии, мне говорили помещики, что народ ждет «Царского пайка», что это ожидание заставляет крестьян отказываться от предлагаемых им работ, возбуждает в них несбыточные надежды, приучает к лени, пожалуй, может привести к самоуправству, к беспорядкам и т. д.

Но, слава Богу, мы доживаем с того времени четвертый месяц довольно благополучно. Народ идет на работы, где они есть, просит и ищет работ, уходя за ними в дальние губернии, благодарит за всякую помощь, ему оказанную, кое-где перебивается милостыней, кое-где -хлебом из лебеды, кое-где — «комическим»

хлебом, производя это слово, вовсе не в насмешку, от земской комиссии и за все за это благодарит и терпеливо выносит бедствие.

Ожидание «Царского пайка» существует. Да и каким образом вы хотите, чтоб этого ожидания не было, ожидания милостивой помощи от царя?

Хотя существует народная пословица «до Бога высоко, до царя далеко», но эта пословица указывает на то, что у народа две надежды — на Бога и на царя, как бы ни высоко было пребывание Вседержителя вселенной и как бы ни далеко было пребывание государя. Бог поможет, царь поможет; Бог не допустит умереть без покаяния, царь не допустит умереть с голоду. Молитвы — к Богу, надежды — на царя и молитвы за царя. Это завелось не нами, не нами и живет в народе, и не нам этого опасаться, да и опасного в этом я ничего не вижу.

Напротив, я вижу в этом крепкую связь между народом и царем, связь, которая не только не прерывается, но укрепляется во время бедствий и растет. Эта связь мне всегда представляется тою сердечною, простою, трогательной любовью, которая была у Корделии к отцу своему, Лиру. Лир не оценил этой простой, немногоречивой любви Корделии, которая только и могла сказать: «Я люблю вас, государь», тогда как сестры ее выражали свою любовь в блестящих, высокопарных и красноречивых монологах. Народ не знает этого красноречия, чувство его просто и глубоко, и просты слова, которыми он выражает свои чувства. И русские государи всегда ценили эту любовь, и народ любил государей и ценил их заботу о себе, и потому так крепка Россия, потому она так широко раскинулась и во всех концах ее любовь к царю, надежда на царя никогда не угасают.

Чего не пророчили пророки отечества в день освобождения крестьян и в дни, предшествовавшие ему и последующие? Пророчили чуть не всероссийский бунт, новую пугачевщину. Я очень хорошо помню это время и те толки, которые ходили тогда решительно во всех слоях общества, либеральных и консервативных. Я помню, как все удивлены были тому изумительному спокойствию, которым ознаменовался этот громадный переворот во всей русской жизни, переворот, по важности своей не имеющий подобного во всей нашей истории. Никто не ожидал, что народ обладает таким благоразумием и такою верою в царя. Незначительная вспышка в Бездне, раздутая в то время, недоразумения кое-где, быстро разъяснившиеся, — вот все, что было и на что могли ссылаться пророки, которые должны были в глубине души сознаться, что изречение «нет пророка в своем отечестве» и к ним относится, хотя это пророчество было одним из тех, осуществление которого ни с какой стороны не было желательно.

А можно ли сравнивать временное бедствие с таким переворотом и те ожидания, которые были тогда, с теми ожиданиями, которые существуют теперь? Теперешние ожидания — только ожидания помощи, и эта помощь идет. Откуда она идет? Она идет от царя, она приказана царем. Так народ думает, так он говорит везде, да так оно есть и на самом деле. Не министерство же финансов или не земство же помогает народу и распоряжается по своему благоусмотрению. Помогает царь. Те восемьдесят миллионов или около того, которые отпущены в помощь народу, те десять миллионов, которые назначены на то, чтоб дать народу заработок там, где можно, все эти девяносто миллионов отпущены по приказанию царя, а не кого-либо другого.

«Царский паек», с первого знакомства с этим словом, кажется странным, непонятным. Такого слова нет в языке образованных классов. Но в народном пред-

ставлении оно совершенно ясно: это — царская помощь, царская милость, это — тот пай из государственных доходов, который царь велел отделить для помощи народу в этот голодный год. До этого года об этом слове никто не слыхал; оно явилось после неурожая, связалось с таким временем, когда народу нечем было взяться: ни работы, ни хлеба. На кого же и на что надеяться? О ком прежде всего и о ком исключительно даже подумал народ? О царе, о царской, милостивой помощи. Да и о ком же он мог думать, на кого он мог надеяться, когда искони веков в нем держалась надежда на царя, когда царь освободил его и когда царь велел отпустить миллионы на помощь нуждающимся? Почему же явлениям естественным необходимо придавать какой-то таинственный и опасный смысл, когда они просты и ясны и когда они свидетельствуют о прочности царства?

Но говорят, что это опасно. Почему же? Разве народ — бессмысленная орда, которая горит желанием сесть кому-нибудь на шею, грабить и бунтовать? Что в народе есть глупые, злобные, лихие люди, об этом спорить никто не станет. Но масса крестьянства консервативна, трудолюбива и любит порядок. Если бы это было иначе, неужели Русское государство могло бы сложиться так прочно и сделаться таким сильным? Против глупых, злобных и лихих людей разве нет средств, нет убеждений, распорядительности, энергии, авторитета власти?

Что за таинственность такая!!!

Говорят: «даровой хлеб» развращает. Да, развращает, если он постоянно даровой хлеб. Он достаточно развратил нас, интеллигенцию, которая всегда не прочь от даровщины, от дарового воспитания, от даровых поездок, от того, чтоб побольше получать и поменьше делать, получше жить при меньшей затрате сил и труда. Но далеко не большая часть и нас развращена и работников из нас так много, что мы даем направление промышленности, торговле, наукам, искусствам, технике и проч. Везде есть много полезных, бодрых и добрых слуг своего царя и отечества. А когда мы говорим о том классе народа, который привык зарабатывать свой хлеб и действительно его зарабатывает постоянным и упорным трудом, не делаем ли мы уж слишком большой скачок, воображая, что *временная,* даже *даровая* помощь во *временной* нужде есть зло, есть опасный прецедент, который может приучить народ смотреть на эту помощь как на право? Этого не может быть. В понятии о «Царском пайке» не заключается права — для этого слишком высоко царь стоит в представлении народном; он — отец и помощник; он может оказать милость тем, которые ее заслужили, он может простить виновного, может помочь и недостойному, но он свободен в своей милости и своих щедротах. Поверьте, что народ это прекрасно понимал и понимает.

Между тем наша забота о том, чтоб как-нибудь не дать хлеба среди нуждающихся и тем, которые в помощи не нуждаются, может привести к результатам весьма нежелательным, и эти результаты уже есть. Я разумею то, что помощь приходит несвоевременно, что есть забытые, которые и сами о себе не имеют возможности напомнить и другие об них не напоминают. Есть земства, которые осенью раздавали зря и нуждающимся, и не нуждающимся, а потом забыли и нуждающихся в своем великом стремлении к описке, переписке и всевозможной регламентации, руководясь именно тем, чтоб не попал хлеб даром способным работать, хотя работы неоткуда было взять. Таков лозунг многих земств. Есть земства, которые обставили выдачу хлеба такими сложными порядками и странствиями, что прежде чем дойдешь до хлеба, все животы подведет. Самое

разделение нуждающихся на категории по летам не выдерживает основательной критики и не может не оставить без действительной помощи целую массу народа. Многие гоняются непременно за тем, чтоб давать только женщинам и детям до юношеского возраста включительно, что порождает постоянные недоразумения и совсем нежелательные толки. Надо бы разобраться в этом деле иначе, пошире, посправедливее и, главное, помилостивее и не создавать себе какие-то неосмысленные страхи. Надо действовать дружно и прямо, понимая толки крестьянские в прямом их значении, а не придавая им какого-то таинственного смысла.

Дело не в голоде — это говорят теперь все, — а дело в своевременной помощи, дело в тщательном внимании к народной нужде. Если служба всегда должна быть честной и усердной, то в настоящее время она должна быть особенно усердной и честной. И земство, состоящее из помещиков и землевладельцев, и местная администрация должны это помнить ежеминутно и не пропускать ни одного известия, ни одного слуха о нужде мимо ушей и не откладывать никакого дела на завтрашний день. Это в интересе народа, порядка и высшей администрации, которая распоряжается большими суммами и желает знать все начистоту.

Если мы постоянно говорим: лучше простить десять преступных, чем наказать одного невинного, если на фронтоне нашего суда стоит «правда и милость», то и подавно это правило должно бы руководить нами в помощи нуждающимся. Надо уметь устранить сытого и надо уметь не обойти голодного; а если и сытый иногда получит, что за важность — лишь бы не было голодных. Я совершенно убежден, что при тех средствах, которые отпускаются по милости и приказу государя, и при энергии, усердии и добросовестности всех служащих не особенно трудно достигнуть того, что в Русском царстве не будет ни одного голодного.

23 января (4 февраля), № 5712

LXXVIII

Министр путей сообщения оставил свой пост. Министерство является в каком-то невероятном разложении, если верить «Гражданину». Но я ему не верю, не верю, чтоб такой хаос, такие беспорядки, такое отсутствие всякой дисциплины могли существовать в этом ведомстве. «Гражданин» — чересчур крайний человек и если начнет хвалить какого-нибудь администратора, то произведет его немедленно в святые или посоветует поставить ему при жизни Хеопсову пирамиду, а начнет бранить — так все основы трещат, государство рушится и никакого спасения не видно. Оттого в этих крайностях и невозможно отделить правду от неправды, и сам «Гражданин» ее едва ли видит и «наскоро» (такой отдел есть в нем) начинает советовать «взять метлу и выместь из ведомства всех взяточников». Такова его государственная мудрость. Но я думаю, что метла и на улицах культурных городов — орудие плохое и недостаточное; а для вымётания людей — совсем никуда негодное. Метла обыкновенно не разборчива и метет все, что ни попадет под руку, а затем выметенный сор опять накопляется — и опять мети. Министерство — не улица, и люди — не сор. Думаю, что для разумного порядка во всяком министерстве вовсе не метла нужна, а способности, знания, дисциплина и система.

Что такое министерство путей сообщения? Мне кажется, что оно как отдельное ведомство едва ли имеет резонное право существовать. Теперь много на этот счет разговоров, но большая часть их относится к гаданиям о том, кто будет министром, а не о том, *что* будет министерство.

В газетах проскользнуло желание, чтобы это министерство присоединено было к министерству финансов. Я не могу уловить той связи, которая явилась бы естественною между путями сообщения, требующими постоянных расходов, и финансами, требующими экономии. Министр финансов или будет пристрастен к путям сообщения, как к своему ведомству, или на них будет экономить, чтобы удовлетворить потребности других ведомств. По крайней мере, в этом его могут заподозрить и тем легче, что ни для кого не секрет существующее у нас соперничество между разными ведомствами. Кроме того, у министерства финансов очень много работы и без того. Без движения остаются те вопросы, которые оно само возбудило, именно о преобразовании казенных палат, о преобразовании системы акцизных сборов; необходим пересмотр и вообще податных сборов. Это чувствуется всеми, и все это вопросы чрезвычайно важные, от которых прямо зависит бюджет и народная жизнь и разрешение которых необходимо.

Если присоединить пути сообщения к какому-нибудь министерству, то всего ближе было бы к министерству государственных имуществ, которое заведует такими отраслями производительной жизни страны, как сельское хозяйство, лесное дело, горное дело. Чтобы дать жизнь министерству путей сообщения, необходимо было бы найти прямую связь его с главными отраслями народной жизни, которые сами по себе дали бы ему внутренний смысл, инициативу и значение. А самое важное для нас — сельское хозяйство, и для этого хозяйства и зависящей от него промышленности прежде всего и нужны пути сообщения. Разумеется, министерство государственных имуществ в случае такого соединения с министерством путей должно подвергнуться коренному преобразованию.

Но так как преобразование почти все равно, что образование нового учреждения, то, может быть, самое лучшее было бы присоединение путей сообщения к министерству земледелия и промышленности, которое продолжает стучаться в дверь и эту дверь непременно когда-нибудь надо будет отворить. Созданное теперь, это министерство земледелия, соединенное с путями сообщения и общественными работами, принесло бы большую пользу даже в данное время, не говоря о будущем, которое нельзя же оставлять на произвол стихий.

Не особенно удивительна безурядица на железных дорогах, обнаруживавшаяся при поставке хлеба, если принять в соображение, что министерство путей сообщения никогда не предвидело подобной потребности в хлебе и едва ли имело определенное понятие о том, где урожайные местности и где неурожайные. Поставленное в зависимость от случайностей, от ходатайств тех или других, от приготовленных планов по какому-нибудь экстренному случаю, который прошел и без того и забыт и т. д., министерство путей сообщения само по себе является достаточно бесцветным; но, тесно связанное с сельским хозяйством и промышленностью, оно представило бы собою нечто цельное, систематическое, зависимое от внутренних причин самого своего существования. Сама инженерная наука имеет тесную связь с сельским хозяйством — каналы, оросительные работы, общественные работы, элеваторы и т. д. Представьте себе, что все это сосредоточено в одном ведомстве, все направлено к одной и той же цели — облег-

чить народную жизнь, дать народу заработок, пути сообщения, удобства передвижения, по возможности льготные, устроить орошение, провести каналы, построить вместо запасных магазинов элеваторы и все это поставить в прямую зависимость от потребностей сельского хозяйства и промышленности — такое министерство явилось бы полезным деятелем и прямым помощником и министерству финансов, ибо оно способствовало бы благосостоянию народной массы и поднимало бы ее, как говорится, платежную силу.

Разумеется, я высказываю это как мысль, которая требует обстановки более существенной и большего знания дела, чем то, которое я имею.

На этом я расстаюсь с читателями недели на две. Я уезжаю на днях в Воронежскую губернию, в те села, которые я знал в моей юности и которые теперь числятся среди пораженных неурожаем. Я поеду посмотреть, что там делается, как живется, и освежиться от петербургской сутолоки. Я убежден, что у голодающих спокойнее, яснее и проще, чем здесь в этой свалке противоречивых мнений. Вы себе не можете представить, что за каторга ежедневно по несколько часов выслушивать и говорить о голоде, о голодающих, о продовольствии, об общественных работах, о министерстве путей сообщения, о железных дорогах, о г. фон Вендрихе, о графе Толстом и т. д. В жизни своей я не помню более трудного времени, чем настоящее, для журналиста, который хочет знать правду, хочет разобраться в тех противоречиях и слухах, в тех письмах, статьях, спорах и разговорах, которые осаждают его со всех сторон. Решительно голова кругом идет. Думаю, что нечто подобное должны испытывать и правительственные лица и земцы. В воздухе стоит какой-то гул, какие-то слова, целое море слов, где не только мысли исчезают, но исчезают и факты и явления. Я не помню времени, когда бы обнаруживалось столько проектов, столько разнообразных, сплошь и рядом противоречивых друг другу мнений, как теперь. Почти нет человека, который не оставался бы при «особом мнении» в каком-нибудь вопросе и не таил бы в глубинах своего мозга какой-нибудь все разрешающий проект.

Когда поедешь и посмотришь сам, все-таки дело будет яснее, по крайней мере, самому себе.

28 января (9 февраля), № 5717

LXXIX

В провинции очень интересовались назначением нового министра путей сообщения, ибо от «путей» очень многое зависело и зависит в этот неурожайный год. На возвратном пути из Воронежской губернии один господин, по-видимому, очень сведущий, говорил мне, что пост министра путей будет совсем упразднен, но при министерстве финансов образуется особый отдел путей сообщения под начальством г. Витте. Другие слухи называли разных претендентов в министры, военных и статских, но большею частию с товарищем, г. Витте: он будет работать, а министр будет занимать почетное место, будет царствовать, а не управлять, говоря конституционною формулою. Этого многим хотелось, и такой порядок считали наиболее нормальным. Случилось не то: новый министр будет министром самостоятельным, будет сам работать и управлять.

Когда становишься слишком старым, как я, то чувствуешь прекрасно, как необходимы у нас сравнительно молодые и бодрые деятели на всех поприщах. Старость может быть прекрасна, может отличаться опытностью и даже мудростью, но она в большей части случаев недостаточно подвижна и энергична, слишком осторожна и рутинна, вечно справляясь, при всяком случае, как поступлено было прежде, бывали ли такие-то и такие-то прецеденты, не задевает ли это таких-то и таких-то интересов, особенно интересов таких-то личностей, которые могут быть полезны или враждебны. Старость не любит борьбы, потому что борьба утомляет, а потому охотно обходит все Сциллы и Харибды; или тянет борьбу вяло, длинно, утомительно и капризно. Поэтому очень хорошо, что новый управляющий министерством человек сравнительно молодой.

Говорят, трудно быть министром, не имея связей, не занимая в обществе привилегированного положения; говорят, что это такой пост, при котором приходится тратить массу времени на занятия посторонние, на поддержку и культивировку связей, на удовлетворение таких просьб, исполнение которых обязательно для человека, который хочет утвердиться на своем месте и иметь побольше друзей. Может быть, это и так, когда человек заботится больше всего о сохранении своего места и подчиняется рутинному воззрению на вещи; но это, может быть, и не так, если человек задается работою для дела и если дело он ведет и понимает так, что оно удовлетворяет насущным потребностям родной земли. Тогда самое дело за него, за него результаты деятельности. Но все это еще впереди.

Мне приходится начать отчет о своей поездке такими строками, которые я не предвидел, но которые, быть может, всего уместнее, ибо новому министру придется принять ряд мер для усиления перевозки хлеба. Март месяц на носу, на носу распутица; на юге голодающих местностей дороги начинают портиться, снег тает под теплыми лучами солнца, бугры почернели, в лощинах появляются лужи, полозья саней чувствуют грязь, и голодные, испитые клячи останавливаются, равнодушные к крикам и кнуту возчика. Далеко не везде хлеб, необходимый для обсеменения полей, доставлен на место, далеко не везде он доставлен на железнодорожные станции, с которых его придется еще везти на лошадях на десятки верст. Как бы он не застрял на этих станциях, когда пашни будут ждать посева; осенью случались такие казусы: поля были вспаханы, а зерно не приходило и пашни ждали по неделям, и иногда оставались только вспаханными или засеянными позднее, или засеянными наполовину, на треть, на четверть. Местности, находящиеся вдали от железных дорог, а таких много, находятся именно в этом неприятном положении, и местные деятели не скрывают от себя грядущих затруднений. Об этом я слышал в Воронежской губернии, об этом говорят и в других губерниях. Доставка и по железным дорогам производится медленно, и еще затруднительнее будет доставка в весеннюю распутицу и притом на тех лошадях, которые в большинстве похожи на тени, едва держась на ногах. Хозяева иногда держат их у себя в сенях, на подвязях, под живот, чтоб не упали: упадет и уж не подымется; иногда стоит только толкнуть нечаянно несчастное животное, и оно падает. Январские морозы погубили множество скота, лошадей и коров; голодные, они не выдерживали стужи и замерзали; некоторые спасли свою скотину, втаскивая ее в избы. Я еще застал в Воронежской губернии свежие рассказы о тех опустошениях и отчаянии населения, которые произвели жестокие январские морозы, явившиеся на помощь голоду. Голод тоже сделал свое дело,

и гораздо грознее, погубив массу лошадей, иногда даже дорогих, в 100-200 руб. за штуку, что в этой губернии не редкость. Эти драмы около скота были гораздо трогательнее тех драм, которые мы слушаем на сцене, проливая дешевые слезы.

Еще в августе некоторые предусмотрительные люди предлагали для Воронежской губернии отправку лошадей на Кавказ, что и возможно было и удобно; но предложение это осталось безрезультатным; затем за него опять схватились месяца два спустя, но уже было поздно; вообще опаздывание с мерами — явление общее и оно более всего увеличило последствия неурожая не только для скота, но и для людей, которым приходилось очень жутко ждать и ждать, проедаться, разориться и голодать. Говорят, что гибель лошадей явление не исключительное, что все равно крестьяне продают обыкновенно осенью своих лошадей на шкуру, так как гораздо выгоднее весною купить новых, чем кормить дешевую лошадь. В этом есть доля правды, но только доля. Такой гибели лошадей, как в нынешнем году, никогда не было; крестьяне, помнящие голодовку 1840 года, говорят, что тогда не уродилось зерна, но была солома и, кроме того, особенно много уродилось лебеды, которою и питался скот. В нынешнем же году ни соломы, ни лебеды, ни сена. У государственного Хреновского завода 2400 десятин собственной степи и на всем этом громадном пространстве постановлено всего 30 стогов сена — так ничтожен был урожай трав. Один псовый охотник мне рассказывал, что он каждый год покупал для собак одну-две лошади; в нынешнем году он купил 20 по 75 и по 50 коп., и если б ему потребовалась сотня их для прокормления своей стаи, он без труда нашел бы ее по 50 коп. и даже менее за штуку. Предложение огромное за какую хотите цену. Но хорошие и вскормленные лошади были очень дороги. В городе Боброве есть конная ярмарка в первых числах марта (евдокиевская); в нынешнем году она отошла уже в январе и лошади покупались втридорога наезжими из Западного края.

Воронежский губернатор, Е. А. Куровский, принял очень хорошую меру для сохранения лошадей, но при недостатке денежных средств в ограниченных размерах. Он купил две или три сотни лошадей и отдал их наиболее хорошим крестьянам, лишившимся лошадей и вызванным им в Воронеж из уездов. Крестьяне эти кормятся в столовых, и лошади их получают корм и работу; работа эта высчитывается и идет на погашение стоимости лошади. В марте крестьянин отпускается с этою лошадью, которая делается его собственностью; что он на ней заработал, то вычитается из цены, за которую она куплена, остальное записывается за ним как долг, который он обязан впоследствии уплатить. Вслед за этим было предложено крестьянам, имеющим лошадей, являться в Воронеж, и им обещан был корм и работа. И на этот призыв явились крестьяне, и эти меры помогли перевозке земского хлеба. В уездах предложено было сделать то же самое. Во всяком случае, дело ограничивается 500—600 лошадей и возчиков на всю губернию, что, конечно, очень мало. Один землевладелец Усманского уезда хотел устроить столовую для лошадей в 400 штук и выписать для этого с Кавказа прессованного сена. Но в Козлове ему сказали, что сено едва ли придет и через три недели. Бобровское земство выписало этого сена по 20 с небольшим коп. за пуд и этим помешало на местном рынке чрезмерному повышению цены на сено. Если б хватились за корм для скота ранее и приняли бы общие меры деятельно, вопрос о корме для лошадей разрешился бы гораздо благоприятнее для сельского хозяйства.

21 февраля (4 марта), № 5740

LXXX

В Вене и Берлине — голодные бунты; оборванная, голодная толпа просит хлеба и работы; правительство, через полицию, раздает пинки и удары холодным оружием. Там не полагается поступать иначе, и у правительства нет для помощи населению сотни миллионов. Германские и австрийские газеты сочиняли голодные бунты у нас еще в сентябре месяце; наши алармисты тоже ждали этих бунтов. Слава Богу, ничего подобного у нас не было, да и, вероятно, не будет. Наше правительство руководится прекрасным правилом, полным гуманности, — спешить на помощь голодающим, поставить на ноги все средства страны, чтоб облегчить положение народа. На эту тревогу, на эти общие усилия наши за границею смотрят с своей точки зрения, не понимая условий нашего быта и наших правительственных задач. Организация всего этого — дело чрезвычайно трудное, а критика — дело легкое, как известно; ошибок и упущений сделано довольно, как в системе, так и в подробностях, но, по мере течения времени, по мере применяемости мер и знакомства с населением и его средствами, дело пошло правильнее и живее, и дай Бог, чтоб оно прогрессировало и администрация, и земство, и общество продолжали напрягать усилия для устранения беды. Таково, в сущности, общее мое впечатление, а подробности следуют.

Воронежская губерния принадлежит к числу наиболее пострадавших от неурожая; эта губерния почти исключительно земледельческая, население оседлое, почти не знающее отхожих промыслов; из 12-ти уездов семь сделались жертвою неурожая. Составленные местными статистиками картограммы этих семи уездов дают сразу наглядное представление о нужде населения; за основание их принято 16 пуд., потребных для продовольствия одного человека в течение года. Эти 16 пудов приняты за 100, и в процентном отношении вычислен недостаток хлеба в каждом селе, в каждой волости и затем в целом уезде. Наглядность этой картины производит удручающее впечатление, как в целом, так и в подробностях. В Нижнедевицком уезде, особенно пострадавшем и имеющем наименее работающее и внимательное земство, только *два* села имеют вполне годовой запас хлеба; в Задонском — только три села; все остальные более или менее нуждаются. В семи уездах 117 волостей; изо всех этих волостей только три вовсе не нуждаются; в одной волости недостает только 10-ти процентов всего необходимого количества хлеба, т. е. недостает 1 пуда 6 фунтов на человека; в 2-х — 15%, в 2-х — 18%, в 2-х — 20%; в 49-ти волостях недостает свыше 60% хлеба; в 25-ти волостях недостает свыше 70%, в 10 волостях свыше 80%, в 4-х свыше 90%, т. е. в этих четырех волостях почти ничего нет. 8 пудов на человека не хватает в 75 волостях, т. е. больше чем в двух третях всего населения семи уездов. Цифры эти требуют некоторой поправки, потому что при вычислении недостающего хлеба не были приняты во внимание запасы в общественных магазинах; но запасы эти незначительны, исключая чуть ли не одного Острогожского уезда.

Урожай 1891 г. в Воронежской губернии ниже среднего почти на 74 процента. Численность крестьянского населения обоего пола равняется в этой губернии 2 159 105 душ в том числе детей до одного года считается 107009, работников и работниц 1 095 483, стариков и старух 139 989 и лиц остального возраста 825 624 души.

Не поскучайте, пожалуйста, всеми этими цифрами. Цифрами мир управляется, и они выразительнее всяких слов, если в них вдумываться как следует. Я знаю, что вы любите картинные описания и анекдоты, выпуклые подробности, отдельные ужасающие случаи, которые легко запоминаются и переходят из уст в уста, вызывая вздохи и соболезнования. Но я думаю, что если цифры дают вам убеждение, что сотни тысяч человек в губернии не были уверены в завтрашнем дне, или были уверены в том, что завтра им есть нечего, если какой-нибудь случай не поможет, то эта цифровая картина достаточно говорит воображению. Когда есть нечего, продать нечего, заработков нет — значит, голод. Не только ощущалась *тоска по хлебу*, но и *тоска по соли*. Знавали вы такую тоску? Но крестьянин узнал ее в нынешнем году и говорит о ней...

Надо знать, что второпях было насчитано голодающих в семи уездах всего 52 тысячи; потом сумма эта была дополнена, на основании епархиальных сведений, представленных воронежским архиереем, и получилось их 197 тыс.; но это малейший минимум, выражающий собою *крайнюю* нужду и беспомощность; принимая его, надо помнить, кроме того, что число нуждающихся к весне не уменьшается, а увеличивается.

Я еще займу вас цифрами, потому что они лучше всяких слов укажут вам на одну из причин обеднения крестьян, и притом на одну из таких причин, о которых меньше всего говорят.

Цифры эти относятся к окладным сборам, поступившим по Воронежской губернии за 1891 год. Прочтите их хотя бы для того, чтоб познакомиться с тем участием в бюджете государственных доходов, которое принимают наши провинции. Ведь вы, полагаю, понятия об этом не имеете, а в настоящий год надо побольше узнать.

Окладные сборы по губернии колеблются между 5 235 000 и 5 239 000 рублей (сотни откидываю). Возьмем за среднюю цифру 5 238 000 р. За пять лет, с 1887 по 1891 г. включительно, эти окладные сборы составят 26 190 000 р. Значит, Воронежская губерния должна была заплатить в пять лет эти 26 миллионов 190 тысяч рублей. Я попрошу вас удержать в памяти эту цифру.

За эти самые пять лет, 1887—1891, было собрано с Воронежской губернии 25 727 700 р. Вычитая эту цифру из предыдущей, которую я просил вас запомнить, получим в остатке 462 300 р.

Таким образом, Воронежская губерния в пять лет не уплатила казне только 462 тысячи руб., несмотря на голодный 1891 год. Другими словами, *несмотря на голод, Воронежская губерния уплатила почти полностью все окладные сборы за пять лет вплоть до 1 января 1892 года.*

Да неужели и в голодный год платежи поступили полностью?

О, совсем нет. За 1891 год окладных сборов поступило чуть больше половины того, что следовало, а по тем уездам, которые оказались голодающими, поступление их было поистине плачевное. По Нижнедевицкому уезду, например, в ноябре 88 г. поступило 80 тысяч, а в ноябре 91 года всего *одна тысяча семьсот семьдесят семь рублей.* Большего контраста трудно себе вообразить.

Отчего же такой хороший результат за период в пять лет, хотя один из этих годов голодный?

Очень простая причина: в урожайные годы собирали *больше* годового оклада — в 1887 г. собрано 6 мил. 102 тыс., в 1888 — 6 мил. 301 тыс., и таким образом

излишек, собранный в эти два года, почти покрыл более чем двухмиллионный недобор голодного года.

О каком *излишке* вы говорите? — могут спросить меня гг. финансисты. Ничего *излишнего* не собирается и не может собираться.

Виноват. Действительно, *излишек*, о котором я говорю, называется не излишком, а *недоимками* за прежние годы и обыкновенно эти недоимки так строго взыскиваются, что это называется «выбиванием» их. Этих недоимок по Воронежской губернии было к 1888 году 2 миллиона 677 тысяч; в 1891 году они сократились до 1 миллиона 609 тысяч, а к 1892 году возросли до 4 миллионов 205 тысяч, т. е. в течение трех лет, 89—91, возросли более чем на полтора миллиона.

Но знаете, что мне кажется, мне, не финансисту? Мне кажется, что если б этих недоимок не собирали, если б собирали строго только то, что следовало по окладу, то положение неурожайных уездов Воронежской губернии в настоящее время было бы гораздо лучше, правительственная помощь потребовалась бы гораздо меньшая и население встретило бы голодный год гораздо бодрее. По-видимому, урожайные годы должны бы давать возможность отдохнуть крестьянину, оправиться, укрепиться, и он оправился бы, укрепился бы, если бы не сбор недоимок за прежние годы, который не давал ему возможности сделать какой-нибудь запас в хлебе, потому что его требовалось *много* продать по *дешевым ценам* урожайных годов для того, чтоб уплатить даже *немного* недоимки. Теперь пуд стоит 1 р. 20 до 1 р. 40 к., а тогда, в 87 и 88 годах, пуд стоил всего 27—30 к. Сообразите!

Следя за цифрами сборов недоимок, убеждаешься в том, как истощается крестьянин и беднеет и каким он является беспомощным, когда грянет гроза неурожая и когда окажется, что нет у него ни снопа на гумне, ни зерна в закроме. Возьмем тот же Нижнедевицкий уезд, где голод оказался в больших размерах, где смертность в некоторых селах доходила до 70-ти проц., то есть вдвое более нормальной. Окладных сборов Нижнедевицкий уезд платит 430 тысяч в год. Но недоимки у него было к январю 1887 г. около 550 тысяч. И вот в 1887 и 1888 г. с него, кроме 860 тысяч окладного сбора, взимают еще 260 тысяч недоимки. Эти усиленные сборы сказались тотчас, и уже в следующем 1889 году не добрано в уезде 80 тысяч оклада, в 90 году 42 тысячи, а в 91 году 369 тысяч недобору, и к 1892 году недоимка по уезду превысила 787 тысяч, и уезду надо гораздо больше этой цифры, чтоб прокормиться, и несколько лет, чтоб поправиться более или менее.

То же следует сказать относительно всей губернии, с которой собрано в два года, 87 и 88, около двух миллионов недоимки. При существовавшей тогда цене за пуд ржи 27 и 30 к., надо было продать ржи от 6 до 7 млн. пудов, чтоб уплатить 2 млн. руб. недоимки. Представьте себе, что недоимка не собиралась и что эти 6—7 миллионов пудов хлеба, проданных для покрытия недоимки, остались в житницах или на гумнах: они прокормили бы 500-тысячное население в течение целого года, а по нынешним ценам эти 6—7 мил. пудов стоили бы не 2 млн. руб., за которые они проданы были в 87 и 88 гг., а 7—8 мил. рублей.

Мне скажут, что я проповедую баловство крестьян. Не то, господа: я говорю только против усердия не по разуму. Местная власть и местное земство должны очень хорошо знать и знают действительное положение населения и его способность платить подати. И сообразоваться с этим необходимо для того, чтоб государственное хозяйство установилось прочно.

22 февраля (5 марта), № 5741

LXXXI

Большой кабинет губернаторши и вместе председательницы дамского комитета Красного Креста, Е. М. Куровской. Она сидит за своим столиком и подписывает чеки на муку, крупу, горох и проч. В стороне — перед диваном — что-то похожее на железное ведро, только что принесенное, чтобы показать кому-то из приезжих. Подобные печки приготовляются в пригороде: взял старое железное ведро, выложил его гжельским кирпичом, прорезал поддувало, приставил жестяную трубу, и печка готова. Стоит она от 1р. 20 к. до 1 р. 50 к. Топится углем, которого требуется ничтожное количество. Рекомендуется крестьянам, в особенности в видах распространения топки каменным углем. Губернаторша эту печку усовершенствовала так, что на ней можно вскипятить воду и сварить кушанье. Существует «наставление», как управляться с этой печью, и в холода она очень практична, ибо долго горит и быстро нагревает избу.

Целый день то тот, то другой у губернаторши: священники, врачи, чиновники, приезжие из уездов, из столицы, дамы, девушки, монахини и проч. Времена визитов и городской болтовни исчезли на это время голода, и все заняты делом, говорят о деле. Столовые в городе, столовые в уездах, выписка муки, круп, мастерские, рассказы о голодовке, споры о суррогатах, об ячменном хлебе, о питательности того или другого продукта, об усвояемости, о смертности детей, о том, уменьшились ли преступления или увеличились, о том, какие меры приняты и какие надлежит еще принять. В гостиных тепло и уютно, за обедом изобилие, но надо всем царствует вопрос о голоде, о нужде, царствует и повелевает. На душе и грустно и отрадно. Грустно потому, что положение невеселое, отрадно потому, что над пустыми интересами возвысился интерес серьезный...

Столовые Красного Креста носят названия «трапезных». На 1 человека полагается 20 ф. муки, 2 ф. кукурузы, 2 ф. пшена и 1 ф. гороху. Это на месяц. Покупается все это у оптовых торговцев, которые делают скидку. Для открытия столовых в уездах посылаются дамы и девушки и в помощь им даются монахини из весьма населенного Алексеевского монастыря. В одной постройке, принадлежащей кадетскому корпусу, устроена Красным Крестом рогожно-кулечная мастерская для пострадавших от неурожая. Обучающиеся в мастерской платы не получают, но их кормят; обучившиеся получают по 45 к. за рогожу и по 50 к. за кульки за пуд выработанного товара. Работают большие и малые, до 100 человек. Станки очень простые, одни, похожие на станы, на которых бабы ткут холст, другие еще проще. Выучиваются очень быстро, так как работа немудреная. Губернаторша старается собрать из уездов побольше подростков-крестьян в Воронеж, чтобы обучить их тут, и затем они перенесут мастерство в деревню, куда мочало будет высылаться из Воронежа и других пунктов губернии. При столовых есть мастерские для бумажных пакетов. Там же получил начало приют для брошенных детей, которых губернаторша собрала около 20, мальчиков и девочек, от 4 до 11 лет. Их одевают, кормят и учат.

Нижний этаж губернаторского дома весь занят канцелярией благотворительности. Все работают даром, начиная с начальника, которым состоит прокурор окружного суда.

Женщины много делают в настоящее время, и мне даже кажется, что они и способнее мужчин помогать нужде и понять нужду. Они не задаются, подобно

мужчинам, разными политическими соображениями, не умствуют лукаво, не откладывают дела потому, что, мол, надо собрать точные справки и решить сначала вопрос о том, нельзя ли найти какую-нибудь работу нуждающемуся, и уж если таковая не найдется, тогда только и помочь. И проходят дни, недели и месяцы в бесплодных поисках за работою и в соображениях экономического благоденствия, а нуждающийся ждет не дождется. Тот «короткий ум», который приписывается женщинам, есть быстрый ум, прекрасно видящий вблизи, наблюдательный, горячий, деятельный. На помощь ему идет отзывчивое сердце. Там, где мужчина будет соображать препятствия и затруднения, где он будет медлить и отыскивать более справедливое и глубокое, по его мнению, решение вопроса, там женщина прямо берется за дело и исполняет его. Скоро помочь — в этом задача, и эта задача как раз по женщине. Там, где мужчина, сообразив средства и увидя, что ему надо прокормить сотню людей, а он может помочь только десятку, говорит, что не стоит кормить и этот десяток, если нельзя накормить сотню, женщина станет помогать этому десятку и, глядишь, средств достало и на 20 человек. Она успела тронуть сердца, возбудить к деятельности нерешительных, растолкать равнодушных. Не может накормить разом всех, сегодня накормит сто человек, завтра — других сто, послезавтра — третьих сто. «Да как же это так? — говорите вы. — Обед через три дня?» — «А что ж делать — разве лучше целую неделю не обедать? Два дня останется на хлеб с водой, а на третий день все-таки щей поесть и каши. И посмотрели бы вы, как ждут своей очереди и с какими сияющими лицами приходят...»

Мне рассказывали много случаев самой почтенной деятельности женщин, и где этой деятельности нет, там, значит, не умели ее вызвать или умели наложить на нее формальности, уничтожающие личность и энергию. Одна из этих отличных женщин приехала с Тихорецкой станции в Воронежскую губернию и одна сделала много. В известном изречении, что чего женщина хочет, того Бог хочет, очень много справедливого, высоко ставящего женщину в годины несчастий и общественного горя. Женской энергии конца-краю нет, если владеет ею одушевление, и перед ее подвижностью и неутомимостью останавливаешься в изумлении.

У воронежской губернаторши, женщины очень деятельной, обладающей инициативой, я познакомился с С. А. Давыдовой, имеющей кружевную школу в Петербурге, написавшей премированную Академией Наук «Историю русских кружев». Е. М. Куровская называла С. А — ну «наш министр». С. А. Давыдова, по рекомендации министра государственных имуществ, отправлена Комитетом наследника цесаревича в разные губернии для того, чтоб раздать крестьянкам работу. Много лет изучает она кустарное дело и исколесила Россию вдоль и поперек. Путешествие для нее по России — дело знакомое и привычное. Когда говоришь о трудностях этих длинных переездов, она смеется, как человек, которому рассказывают сказки. В холода и метели, тепло одевшись и завернувшись в кавказскую бурку — отличный костюм, по ее мнению, зимою прекрасно защищающий от ветра, — она сделала более 500 верст по голодающим местностям губернии, одна-одной. Приехав в деревню, она шла в первую избу и начинала разговор с бабами. Тотчас молва об ее приезде распространялась по деревне, и изба наполнялась бабами. Среди разговора, то в одной, то в другой избе, она знакомилась с наиболее нуждающимися, узнавала, как и кто работает, на каких условиях бабы могут взять работу исполу прясть нитки или ткать холсты. Она раздавала работу, пробовала заинтересовать новым материалом, который не был еще из-

вестен бабам, и ехала в другую деревню. В первых числах февраля она уехала в Нижегородскую губернию, где ее давно ждали.

Не могу не упомянуть о женщине, которую я не знал, но о которой много слышал хорошего, — г-же Веневитиновой, жене воронежского предводителя дворянства. Совсем молодая, она принимала деятельное участие в благотворительности, заразилась черной оспой, которою заболела тотчас по приезде в Москву из Воронежа и умерла. Все искренно сожалели об этой безвременно погибшей прекрасной женщине.

И что особенно хорошо в этих деятельных русских женщинах, это отсутствие чванства, претензии на героизм. Они делают свое дело просто, а не священнодействуют. В такой год, как нынешний, при известном поощрении, при известной свободе, не стесняемой формальностями централизации и недоверием, они могли бы сделать массу добра, имея своими союзницами крестьянок, такой же подвижной и быстро соображающий элемент, как их старшие сестры, интеллигентные женщины. При устройстве столовых дело приходится иметь почти исключительно с бабами. И вы себе представить не можете, как горит у них дело в руках, как скоро они собирают посуду, чугуны и горшки у соседок, как быстро схватывают пользу дела и все его подробности — и оно готово прежде, чем вы успели все рассчитать и сообразить.

Немало мешали делу «призраки». Ах, эти призраки, Бог с ними, как они тормозили охоту жертвовать и частную инициативу. Как вы там ни рассуждайте, а русский человек вырос, стал самолюбивее, требует доверия к себе, к своим силам, к своему личному достоинству. «Я хочу делать так, я не хочу, чтобы мне мешали, чтобы мне указывали». Это вы услышите часто и с этого пункта вы его не собьете, да и сбить трудно. Я, впрочем, не слышал ни об одном случае, где бы мешал кто-нибудь делать добро; но слышал о неудобствах централизации. Излишняя централизация в губернских комитетах могла бы быть отложена в сторону, чтоб дать более свободы уездным комитетам и вдохнуть в них энергию. Ведь энергия возбуждается только подъемом духа, а дух любит известную ширину и свободу. В деле благотворительности эта свобода вещь чрезвычайно важная, ибо она порождает порывы к добру, дает инициативу, изобретает средства применяться к нравам, обычаям, местности. Из губернского города далеко не все видно, и если в нем кипит работа, в уездах, по крайней мере некоторых, она слаба и ленива. Оттого распределение пособий довольно неравномерно. В одних местах все есть, в других ничего нет, в одних помощь обильная и систематическая, в других она случайна и потому мало действительна. Много зависит от личностей, разумеется. Иногда не надо только мешать, иногда надо подтолкнуть, вызвать на работу, одушевить. Вообще надо много такта, и уменья, и усердия в это трудное время, и благо тем, кто несет свою лепту и отдает делу свое время и свое сердце. А таких много, кто бы что ни говорил.

23 февраля (6 марта), № 5742

LXXXII

Дорогою услышишь и узнаешь многое такое, чего до Петербурга не долетает, в особенности узнаешь много анекдотов, не тех, которые печатаются, по примеру «Figaro», в газетах и выдумываются более или менее неостроумно, а тех, на об-

ложке которых можно поставить «подлинные анекдоты», Анекдотами теперь Россия полна; их рассказывают все, и едва ли есть такой человек, который не имел бы в своем запасе несколько хороших анекдотов, которыми сдабривается скучный продовольственный вопрос. Есть анекдоты о губернаторах, помещиках, земцах, земских начальниках, врачах, хлебных торговцах, либеральных и консервативных плантаторах, и даже есть анекдоты о мужиках. Русского человека разворошил этот продовольственный вопрос, как называют всю сумму мероприятий для помощи населению, дал факты, положения и развязал язык. Самые взгляды на вещи порою можно назвать анекдотическими.

Главных течения два — оптимистическое и пессимистическое. Для одних — все скверно и нет никакого просвета ни в настоящем, ни в будущем; самые мрачные картины наполняют их голову, и они высыпают, как из рога изобилия, ядовитую критику на всех и на все. Даже самого голодающего не щадят, говоря о нем, что это такая свинья, что готова жрать всякую мерзость и чувствительно благодарить за нее. Они высчитывают с необыкновенными математическими способностями, сколько осталось в карманах подрядчиков, земцев, купцов из тех миллионов, которые отпущены в ссуду населению. Для другого — все ничего, даже опаздывание с мерами имеет свои хорошие стороны: во-первых ту, что если бы вовремя оные были приняты, то потребовалось бы гораздо больше денег; во-вторых, ту, что мужику не мешало дать понять, что его баловать не намерены и что он поэтому должен сам о себе подумать; в-третьих, ту, что положение вещей стало яснее и определеннее, ибо не надо уже спорить о том, что есть ли голод или нет. Но с этими взглядами еще можно спорить; по-моему, хуже гораздо то равнодушие, которое не имеет, по-видимому, никакого взгляда на вещи, ни хорошего, ни дурного, которое старается показать, что ничего не произошло и даже что если и произошло что-то такое, то это дело начальства, и как оно хочет, чтобы казалось, так и будет, а что из этого произойдет — не все ли равно?

Один из первых анекдотов, который я слышал, был о господине, который объездив несколько уездов, привез с собою ящик мадеры и говорил своим знакомым:

— Рекомендую, отличная мадера, беспошлинная мадера высокого качества.

— Откуда же это вы ее взяли?

— А из больниц, — с веселым выражением в лице отвечал господин. — Больницы получают мадеру без пошлины для больных, а я полагаю, что и здоровым она не вредит, в особенности в голодающее время.

Другой анекдот о мужике, о старом мужике.

Ходит этот мужик в столовую целых три недели и наконец заявляет дежурной даме, что он хочет получить жалованье. Дама удивлена и спрашивает, за что же он хочет получить жалованье?

— А за то, что я хожу в столовую. Даром, что ли, я ходить буду?

Ему объяснили, что ему делают благодеяние, но он обиделся и несколько дней голодал, не приходя в столовую. Потом опять стал ходить. Вопрос, кто лучше, этот мужик или господин с мадерою?

В Козлове мне рассказывали о земском начальнике-реформаторе. Впоследствии я познакомился и с другими такими же реформаторами, которые очень широко поняли свою должность. Козловский начальник проникся убеждением, что голодающим ничего даром нельзя давать, чтоб не создать в будущем политических затруднений. Поэтому он дошел собственным умом, что и благотворительные деньги следует выдавать не иначе, как в ссуду. Затем, после урожая, кото-

рый непременно когда-нибудь будет, собрать эти деньги с крестьян и образовать особый фонд, который употребить на учреждение сберегательных касс, больниц, профессиональных школ и т. п. полезных учреждений, которых не достает деревне. Так он и сделал и раздавал помощь крестьянам под расписки, в которых они обязывались возвратить стоимость помощи или деньги по первому требованию. В губернии эту идею нашли прекрасною и одобрили совершенно.

— Крестьяне с удовольствием дают эти расписки, — говорил он. — Сколько добра потом можно сделать на них!

— Действительно, это прекрасная идея, — поощряли его губернские реформаторы. — Остается только принять ее к руководству и сделать общею, всероссийскою.

К сожалению, один из членов благотворительного комитета, именно предводитель дворянства, смел свое суждение иметь. Он объяснил, что, конечно, баловать крестьян не следует, что ссуда дело самое законное, но что есть разница между тем, что дает правительство, и между тем, что дает общество. Правительство не может давать иначе, как в ссуду, независимо от того, рассчитывает оно или нет получить ее обратно, но общество дает даром и не может иначе давать, как даром, а комитет есть не что иное, как посредник между дающими милостыню и получающими ее и своих взглядов на это дело проводить не имеет никакого права. Речь эта показалась некоторым неуместною, но свое действие она возымела, и реформатор должен был отложить до другого раза свои прекрасные мечты.

Другой земский начальник, человек старый, поклонник Шульце-Делича, — не из Тверской губернии — стремился соединить грозу с реформаторством; как Петр Великий. Гроза, по его мнению, необходима была для того, чтоб установить непременно свой авторитет между крестьянами. Когда они научатся не противоречить и слушаться первого слова, тогда и начать шульце-делические учреждения в деревне, ввести потребительные общества и лавки и т. д. Он говорил об этом с увлечением и с верою в свои идеи и в то же время насаждал свой авторитет столь грозными приемами, что на это обращено было внимание и посоветовано не горячиться. Его это очень удивило, и он вдруг перестал мечтать и даже на свою энергию взглянул как на дело бесполезное.

Вообще о земских начальниках много анекдотов и много мнений. Одни их считают учреждением бесполезным и, по меньшей мере, и приводят в подтверждение свои анекдоты; другие, напротив, считают их полезным учреждением и необходимым и приводят тоже свои анекдоты. Пока дело и стоит на анекдотах и суждения основываются не столько на достоинствах или недостатках самого учреждения, сколько на достоинствах или недостатках личностей. Одни губернии прямо хвалятся отличным составом земских начальников, другие высчитывают процент хороших. Есть земские начальники, которые стараются устроить порядок мерами благоразумия и такта и выбиваются из сил, чтоб везде поспеть и помочь нужде, постараться, чтоб помощь распределялась правильно и по возможности справедливо. Они возбуждают пожертвования, не дают воли ни кулакам, ни пьяницам. Другие заботятся больше всего о своем авторитете, кричат на сходах: «Молчать! В холодную! Под арест»! Один мешал своему собрату, податному инспектору, устраивать столовые, которым он не сочувствует; другой, напротив, великий поклонник столовых и для людей и для лошадей; один сочинил бунт, который на весах прокурора свелся к дерзкой речи одного мужика против земского начальника; когда сход, мнения которого земский начальник не хотел слушать, стал расходиться, говоря, что ему нечего делать, коли «старикам» не

позволяют говорить и кричат «молчать», он бросился самолично догонять уходящих и разбегающихся крестьян, к общему соблазну. Этот молодой человек так сконфузился опытами своей энергической деятельности, что попросился в отпуск, а ему сказали, что теперь не время для отпусков и он лучше сделает, если подаст в отставку.

Есть мелочи, но характерные. Члены сельских сходов серьезно обижаются, когда им говорят «ребята». «Какие мы ребята? Мы старше его». При расспросах о земских начальниках крестьяне либо отмалчиваются, либо выражаются так, что ничего определенного не выходит: «Да ничего», «Да Бог его ведает». Но мужики состоятельные, пользующиеся уважением или влиянием по своим материальным средствам, иногда прямо выражают свое неудовольствие, если земский начальник их обидел, «оборвал», как говорится, на сходе, унизил их авторитет перед односельчанами. Зависит ли это от того, что в зажиточной части населения чувство собственного достоинства значительно выросло против прежних времен, или от того, что первые лица в деревне, привыкнув играть роль и быть в отличных отношениях с начальством, которое им мирволило, вдруг увидали, что новое лицо, земский начальник, не признает их авторитета и не отличает между другими? Я этого вопроса решать не берусь. Один крестьянин говорил мне: «Да за что он меня арестовал? Я только и сказал, что не бывало прежде, чтоб старшина в первый же год получал 325 р. жалованья; в первый год у нас положено 200, а там увидим. Разве это порядок? Я в земском собрании говорил, между господами, да никто не кричал на меня: молчать! под арест. Коли молчать, так зачем же сходки? Пусть он сам все делает».

Выработается ли эта должность в известную систему, трудно сказать. Личный состав земских начальников так разнообразен по развитию и образованию, убеждениям и даже по летам (26 лет и 60), что согласие установить будет чрезвычайно трудно. Что земские начальники внесли уже в жизнь долю добра, это, несомненно, но едва ли возможно ожидать от их деятельности каких-нибудь чрезвычайных результатов. Есть своего рода невыгоды для большой власти, если она слишком непосредственно соприкасается со всеми мелочными сторонами быта подчиненных. Быть отцом, полицейским и судьей — дело трудное, а лицемерное «вы — наши отцы, а мы — ваши дети» ушло в историю и едва ли снова придет. Идиллии невозможны. Надо видеть правду обоими глазами и не подступать к народу ни с чревовещаниями о золотом веке крепостного права, ни с идеализмом славянофилов. Но в народе есть чувство правды, и совесть его не заснула. Один земский начальник, молодой человек, лицеист, говорил мне, что ему приходится удивляться той добросовестности и честности, с которыми крестьяне указывают на более бедных при распределении помощи, хотя сами нуждаются. Этой совестливости могли бы позавидовать образованные люди.

26 февраля (9 марта), № 5745

LXXXIII

«Очень интересно бы знать, где такой случай мог бы произойти. Такая щепетильность едва ли где возможна», — замечают «Московские Ведомости» по поводу моего сообщения о том, что члены сельских сходов серьезно обижаются, когда земские начальники говорят им «ребята».

Я не думаю, во-первых, что это щепетильность; во-вторых, по-моему, этой обидчивости всегда можно ожидать, если говорит со сходом очень молодой человек и притом говорит не так, как следовало бы, не тем тоном. «Тон делает музыку» — это и крестьянам весьма понятно. Покойный граф М. Т. Лорис-Меликов нередко употреблял слово «ребятушки» в разговоре с интеллигентными людьми из своих подчиненных и даже не из подчиненных. Это звучало немножко странно, но объяснялось привычками военного человека. Сельские и волостные сходы усвоили себе известные правила приличия и обращения; между крестьянами, их составляющими, есть люди весьма почтенные, дорожащие своим достоинством. Слово «старик», «старики», «господа старики» для обращения к сходу термины во многих местах издавна усвоенные. Поэтому сообщать, «где такой случай» мог произойти, совершенно бесполезно. Я скажу только, что слышал это от самих крестьян, бывших государственных, которые вообще благополучнее и у которых чувство собственного достоинства развито более, чем у бывших помещичьих. Притом я слышал это в местности, не затронутой канканами городской культуры с ее «пинджаками» и «кадрелями», сохранившей костюмы и нравы былых времен.

По поводу этого замечания надо бы сказать вообще, что те помещики-реформаторы, которые каждый номер «Гражданина» угружают своими проектами насчет благополучного для себя устройства крестьян, жестоко ошибаются, воображая, во-первых, что народ — их бывшие крепостные и, во-вторых, что так вот и легко все то ввести, что они желают. Время с 19 февраля 1861 года прошло совсем не даром, кто бы что ни говорил насчет невежества и инертности массы. Если она во многих местностях обеднела, частью от причин весьма естественных, то везде нравственно выросла под влиянием школы, земских собраний, новых судов, общей воинской повинности и своего самоуправления. Крестьянин, ставший патриархом Никоном, и крестьянин Ломоносов, ставший во главе русской науки, целые столетия оставались одинокими; но они родились среди свободного крестьянства; среди закрепощенного образование вело только к трагедиям и унижению человеческой личности. В XX столетии крестьянство выпустит массу своих людей, ученых и образованных; уже и теперь вы иногда слышите, что у такого-то мужика, часто бедного, сын в университете; сознание необходимости школы быстро растет и преимущества образования становятся ясными для всякого; если школа не то что выучит читать и писать, но если она выучит мальчика только известной опрятности, познакомит его с употреблением мыла, и тогда уж она полезна, ибо порождает новые потребности и будит инициативу для их удовлетворения. Мне видится иная жизнь и живой рост населения. Начала обыкновенно трудны и медлительны, а потом дело идет быстрее и шире, охватывая миллионы и десятки миллионов. Реформаторы «Гражданина» немножко опоздали со своими проектами и вожделениями. Те, которые восставали против освобождения крестьян и работали в пользу остановки его последствий в первые же шестидесятые годы, были проницательнее наших современников, хотя и они, даже при успехе, едва ли что могли сделать. Мне всегда казалось, что существование государственных крестьян обок с помещичьими было превосходным средством для разложения крепостных основ. И «ребята» в устах земского начальника, обращающегося к миру, который никогда не знал крепостного права, звучат непривычно и несколько обидно.

«Кулаки», «кулачество» — эти слова, которые не сходят с лица газет и журналов, явление очень естественное и вполне ничем не устранимое. Кулачество среди

крестьян образуется вследствие таких же причин, как и буржуазия. Наиболее способные, энергичные выделяются и начинают господствовать более или менее, пользуясь всеми правдами и неправдами. Духовенство, по крайней мере, во многих местах, тянет сторону этой буржуазии, потому что и само зависит от нее. В двух-трех деревнях я встретил явление, может быть, случайное, а может быть, и естественное при близких отношениях между духовенством и крестьянской буржуазией: последняя начинает предпочитать церковноприходские школы земским. Кстати, вот курьезный обычай воронежского духовенства, существующий, по крайней мере, в некоторых селах Бобровского уезда: за крестины мальчика священники установили таксу 60 коп., за крестины девочки — 50 коп. Что-то очень некрасивое и неленое, точно таинство крещения неодинаково для мальчиков и девочек.

Крестьянство обеднело; обеднели помещики. Реформаторы «Гражданина» и тульские публицисты, Р. И. Змеев, А. И. Пареный и Ю. В. Арсеньев, авторы «Мнения о неделимых дворянских участках», любят указывать причины крестьянского обеднения в пьянстве, лености, распущенности и безначалии, а причины своего дворянского обеднения — в «отнятии» престижа у дворянства — престиж зависел от крепостного права, — в вольной продаже вина, в отдаленности всякой власти, полной безнаказанности проступков крестьян, во всесословной земской реформе, всеобщей воинской повинности, в открытии банков, «доступных всем», в Крестьянском банке[1]. Приписывать свое обеднение реформам и учреждениям прошлого и нынешнего царствования, имеющим в виду равноправность сословий перед законом, значит просто говорить: «возвратите крепостное право под другою формою». Это, по крайней мере, прямее было бы. Но я того мнения, что время окончательно упущено и что волна образовательная сословий, захватывающая более и более крестьянство, выдвинет на все поприща свежие и деятельные образованные силы, выдвинет таланты, способности, выработает постепенно верные средства для борьбы со всем тем, что недеятельно, что живет более в сфере отвлеченной, чем в практической. Реформаторы понимают эту угрозу, но молчат об ней: им главное — унизить, во имя своего сословия, реформы. Поэтому, совершенно понятна их неприязнь к школам вообще и к сельскохозяйственным в особенности, понятно и их равнодушие к министерству земледелия. Сельскохозяйственные школы сейчас же дадут такой контингент *новых* земледельцев и мелких землевладельцев, который усилит сельскую культуру и сельскую буржуазию и даст образцы хозяйства и заработок крестьянству незажиточному. Поэтому же они так радостно встретили земских начальников, увидев в них не то, что видело в них правительство, своих судей и агентов для водворения порядка и справедливости, а перемещение своей прежней помещичьей власти в руки этих новых чиновников. Земский начальник являлся в их понятиях помещичьим приказчиком или, благороднее, депутатом от дворянства вроде прежнего исправника, заведовавшего земским судом. Еще на днях в «Гражданине» я читал статью, которая проектировала усиление власти земского начальника именно в этих помещичьих видах.

И среди помещиков, и среди своего литературного кружка я встречал людей, которые негодуя относятся к этим проектам гражданских реформаторов. Но я читаю и слушаю все это спокойно. У меня такая сильная вера в здравомыслие

[1] «Мнение о неделимых дворянских участках». Тула, 1891, стр. 4, 8—10

русской жизни, в ее перерабатывающую и увеличивающуюся силу, что я думаю непреклонно, что все это — мечты, праздные мечты уязвленных самолюбий, все это — проекты амурные, амурные в том смысле, что амур все клятвы пишет стрелою на воде, а эти господа пишут свои проекты пальцем на воде. Если б они поразмыслили основательно, то сами увидали бы, что даже в их интересах эти проекты и надежды на их осуществление невыгодны.

Во-первых, проекты и надежды ослабляют собственную энергию: авось придет Улита! А Улита когда-то еще будет, да и будет ли? А жизнь идет, воюя и побеждая. Каждый день уменьшает шансы на успех и ослабляет силу оружия. Я смею думать, что не пройдет много времени, когда все эти реформаторы убедятся, что земские начальники ~ не их приказчики. Да и стоит ли рассчитывать на приказчиков, когда у самого ни уменья, ни опыта, ни знанья! Ведь приказчики себе на уме и умеют втирать пыль в глаза. В худшем случае, земские начальники не удовлетворят надеждам правительства, ни надеждам помещиков. В лучшем случае они выработаются во внимательных и независимых от помещиков и крестьян пособников порядка и справедливости. Даже тот анекдот о грозном земском начальнике, который соединял необходимость грозы в настоящем для того, чтобы приобрести авторитет для насаждения в селах шульце-деличских учреждений, говорит в пользу того, что для них небезразлично сельское благосостояние и что у них есть свои идеи, может быть, смутные, но, при ближайшем знакомстве с сельскою жизнью могут выработаться и практические идеи, полезные для населения.

Слепота этих реформаторов простирается до того, что они не видят даже того, что делается в природе, что ослабляет русскую землю; они хлопочут о фантастике, о спиритических возобновлениях «престижа», когда у них под ногами размыт чернозем, когда уходят реки и исчезают леса. Все это будто возвратит «престиж» по мановению волшебного жезла: леса вырастут, чернозем затянет глину, реки наберутся воды. Но, господа, мы живем в век престижа энергии, сильной воли, талантов и знания. Кто жалуется, плачет и просит, у того чего-нибудь не хватает.

3(15) марта, № 5751

LXXXIV

Два слова князю Мещерскому.

Ему очень не по душе мои письма. Он боится того, что на них обратят внимание какие-то «серьезные» люди, и потому он старается меня вышутить. Но шутка удается только тогда, когда она искренняя, а не тогда, когда она натянута и основана на преднамеренной лжи. Князь Мещерский говорит, что у меня есть «подробное описание кабинета воронежского губернатора», о чем у меня не было ни слова; никогда не занимался я описанием чьих бы то ни было кабинетов, хотя бы они были во сто раз лучше губернаторских. Солгав раз, князь Мещерский продолжает. Он говорит, что я будто бы заметил «в помещичьей среде — *всеобщее стремление* под разными предлогами восстановить крепостное право». «Всеобщее стремление» он печатает даже курсивом, чтоб обратить на это внимание. Ничего подобного я не только не говорил, но никогда не думал: я говорил

только о подобных стремлениях у реформаторов «Гражданина», который отнюдь не служит органом русского дворянства, в своем большинстве не читающего газету князя Мещерского. Я даже прямо сказал, что слышал «среди помещиков» негодование на гражданинские проекты. Почтенный князь продолжает лгать и далее, говоря, что я будто бы утверждаю, что «крестьянам надо говорить «господа старики». Я говорил, что существует *обычай* говорить *сходу*: «старики» и «господа старики», что совсем не одно и то же. По-моему, в этом обычае ничего нет дурного. Почему «господа старики» хуже, чем «батюшка барин»? Почему «господа старики» — очень смешно, умора да и только, а «батюшка барин» трогательно и вполне благородно? Ведь сходки заправляли распорядком крестьянской жизни гораздо раньше, чем народился «батюшка барин», а потому за ними старшинство несомненное, не говоря о том, что были государственные крестьяне, совсем «батюшку барина» не знавшие, и рук у него не целовавшие, и других рабских обязанностей не исполнявшие. Что касается того, что я не понимаю ни крестьянской жизни, ни помещичьей, то я, действительно, не понимаю ее так, как князь Мещерский со своей компанией. Вообще я думал и думаю совершенно иначе, чем «Гражданин», о многих вопросах народной жизни. А главное — я думаю, что лгать не позволительно порядочному человеку, даже в том случае, если он княжеского рода...

5(17) марта, № 5753

LXXXV

Старики болеют, переутомляются и уходят на покой. И какие старики! На Западе это еще люди полные сил.

И. А. Вышнеградского переутомление заставляет уехать на отдых. Он действительно работал чрезмерно, точно около него нет помощников. Он входил во всякие мелочи, поверял всякие расчеты, изучал сам всякое дело. Теперь ему советуют безусловный отдых и затем, когда поправится, заниматься не более 4 часов в день.

Советовать очень легко, но выполнить это трудно. Люди, привыкшие работать целую жизнь, обязанные исключительно своей работе всем своим положением, едва ли способны распределить свое время правильно, и даже самая мысль о необходимости такого режима может отравить их существование. Все их наслаждение, все их удовольствие — в труде, в занятиях. Отнимите у них это и вы отнимите у них очень многое, и они не будут знать, куда девать свое время. В этой погоне за работой, кроме привычки делать все самому, есть еще недоверие к другим, к их силам и способностям, к их методу работы, к той форме, в которой работа является. И чем больше ответственность, лежащая на таких людях, тем сильнее это недоверие. Оно вкореняется в человеке вместе с привычкою к труду, вместе с уверенностью, что сам он все это лучше сделает. Даже помощники, докладчики и секретари нужны ему не сами по себе, а как стимул к большему уяснению себе дела, его подробностей и значения. Докладчик докладывает, воображая, что он убедительно действует своими доводами на начальника, а в голове начальника идет самостоятельная работа, воспринимающая доклад совсем не с положительной стороны. Иногда он поспорил с ним, с докладчиком, и,

по-видимому, с ним согласился. Но это только по-видимому. Когда он ушел, самостоятельная работа продолжается, и доклад послужил ей только своими побочными доводами и укрепил в голове начальника его собственный план, а вовсе не план своего докладчика.

Хорошо это или нет — другой вопрос. Но это так бывает сплошь и рядом с людьми самостоятельными, даровитыми, берущими на себя большую ответственность. Про них нельзя сказать, что они загребают жар чужими руками, но зато все достоинства и недостатки порученного им дела должны лежать исключительно на них.

Чрезмерная лень — с одной стороны и чрезмерная работа — с другой — это характерная черта русской жизни. Она очень укреплена была крепостным правом, когда не только работать многочисленному классу интеллигенции не надо было, но не надо было и думать. Жизнь текла сама собою, беззаботная и милая, посвященная еде и питью и развлечениям на лоне природы. Если была работа, то самая не утомительная и даже полезная в смысле гимнастики тела — проехаться, распорядиться, покричать, наказать. И если было в употреблении слово «устал», то это была та физическая усталость, после которой хорошо спится.

Но из этого, конечно, не следует, что работников не было. Они были всегда и обыкновенно работали за десятерых, за сотни. Слово «переутомление» — новое слово, но понятие, им выражаемое, очень старое. Петр Великий умер от переутомления, от чрезмерной работы, которую не вынес его поистине железный организм. В сущности, всякий русский государь рискует тем же, если принять в соображение ту массу работы, которая лежит на русском самодержце, работы, которая имеет все шансы увеличиваться, а не уменьшаться по мере возрастания годов государя и убыли сил вместе с ними. Карамзин умер от переутомления, как умерли от того же многие известные и неизвестные труженики наши и даровитые люди, бравшие на себя, в силу самих обстоятельств, непомерные труды. К старости, когда силы уменьшаются, работы не только не уменьшается, но ее прибывает больше и больше, и человек не замечает, что смерть давно стоит за его плечами. Русские люди не то что не боятся смерти, а забывают об ней совсем, точно она и не придет.

Новая жизнь, усложнявшаяся со дня на день, потребовала труда от всех, помимо дарований, которые всегда довольно редки. Но охотников трудиться вовсе не так много, как кажется. Какие голоса мы слышали постоянно в настоящее время, когда неурожай дал нам столько заботы? Голоса о лени, о тунеядстве народа — вместо того чтоб говорить: «Мы сами ленивы, не прозорливы, не предусмотрительны; исправимся, дадим пример тем, которые стоят ниже нас и которые легко сбиваются с правильного пути; будем твердить о необходимости своей работы и не станем страшиться переутомления, до которого нам далеко еще». Нет, мы боимся труда и спешим набрасывать праздные мысли в виде проектов, которые меньше всего требуют от нас труда, способностей и инициативы. Поставьте нас в прекрасное положение, ибо мы — соль земли и заслуживаем особенных привилегий. Дайте нам возможность только приказывать и понуждать к труду — вот наши вожделения. А это — результат боязни труда и неуменья за него взяться.

Мало еще охоты к труду, надо уменье для этого, надобна привычка, необходима способность инициативы, которая прокладывала бы новые пути и помогала бы тем, которые трудиться готовы, но не знают, где и как.

Уменья трудиться у нас еще меньше, чем охоты к труду, а инициативы еще меньше. Оттого у нас на всех поприщах мало-мальски выдающиеся люди, доказавшие свои способности, свою энергию, распорядительность, — нарасхват. Если им не повезло на государственной службе, частная служба сейчас же их возьмет.

Так называемые неудачники, жалующиеся и стонущие, по большей части, наверно, сами виноваты в своих неудачах, хотя всякий человек склонен винить в своих неудачах других и относиться к себе с необыкновенной благосклонностью и добродушием. Кто вел какое-нибудь большое дело, тот знает по личному опыту, как много предлагающих работу и как мало умеющих ее делать. И обыкновенно чем больше самомнения, тем меньше способностей. Еще Декарт, этот гордый гений, знавший себе цену, сказал, что только «слабые и низшие натуры уважают себя более того, что они стоят, и походят на те маленькие сосуды, которые три капли воды могут наполнить».

Недостаток людей знающих и делающих у нас теперь ощутительнее, чем когда-нибудь, ибо жизнь все развивается и усложняется и требует людей. Оттого выдающиеся люди, по способностям своим или положению, должны нести на себе труд поистине колоссальный, оттого они так скоро сходят с поприща, оттого переутомление грозит их здоровью и жизни, в особенности если у них нет достаточного доверия к силам своих помощников. А доверие растет только по мере увеличения способных и умеющих хорошо и исправно делать дело людей, по мере возвышения уровня деловитости и прилежания. Доверие тогда вырастает само собой и сохраняет силы выдающихся людей, которые принуждены теперь разбрасываться на всякие мелочи, тогда как в сущности они могли бы только направлять, только держать все нити в своих руках и работать над общими планами, над целым.

Старики сходят со сцены. Явятся ли на их место старики же, или более молодые? Это вопрос, который решит будущее. Наш режим требует и способностей и опыта, много способностей и много опыта. Частая перемена людей, замена одних другими через небольшие промежутки, у нас менее всего желательна, а потому я за молодых, которым жизнь сулит еще долгие дни и возможность наверстать опытом и трудом то, чего у них недостает.

9 (21) апреля, № 5786

LXXXVI

Князь Мещерский и Н. М. Баранов, нижегородский губернатор, вступили между собою в горячую полемику. Это было бы очень мило, если бы не было так грустно.

Князь Мещерский перепечатал вчера речь генерала Баранова, хотя не целиком, но в перепечатке этой сохранил решительно все то, что говорил нижегородский губернатор о князе Мещерском и его газете. Вслед за этой перепечаткой он поместил фантастическое заседание продовольственной комиссии, где князь Мещерский отвечает на обвинения Н. М. Баранова. Это сочиненное заседание, написанное в сатирическом духе, не совсем выдержано: очевидно, почтенный издатель «Гражданина» писал свое самооправдание еще с духом истерзанным и не умиротворенным елеем отмщения. Елей отмщения — лучшее лекарство для

уязвленного журналиста. В этом самооправдании и затем в «Дневнике» князь Мещерский говорит не тоном веселого юмора, который был бы тут наиболее уместен и доказателен, а тоном человека, задетого за живое и потому изрекающего направо и налево клички «мошенников пера», «Равашолей» и т. д. Смеясь над тем, что Н. М. Баранов назвал князя Мещерского «государственным преступником» и советуя ему назвать его даже «перегосударственным преступником», князь Мещерский продолжает раздавать такие же эпитеты всем тем, кто с ним не согласен, «Новому Времени», «Новостям», «Вестнику Европы», «Свету». Таким образом, князь Мещерский старается сохранить за собою исключительное право публичного обвинителя в государственных преступлениях и огорчен всего более тем, что нижегородский губернатор как бы похищает у него это право непогрешимости, обвиняя его самого в государственном преступлении, «в посягательстве на достоинство и крепость отечества попыткой расчленения его на слои» и т. д.

Обвинения князем Мещерским всех своих противников во всевозможных преступлениях начались вовсе не вчера, а с тех самых пор, как он взял в руки журнальное перо. Он успел состариться в этом бою, и его обвинения износились до такой степени, так полиняли, что не только потеряли свой прямой смысл, но даже стали читаться в обратном смысле. Это — естественный результат полемики такого рода, обвинений без всякого разбора, обвинений бессмысленных, по-видимому грозных, на самом деле, от постоянного злоупотребления ими, превращающихся просто в чесание языков.

Н. М. Баранов, конечно, все это знал прекрасно, но, если верить князю Мещерскому, он тем не менее писал ему «горячие письма» с выражением сочувствия его газете, называл эту газету «органом порядочных людей в отличие от других органов *сволочи*» и «любезно заботился о вербовке подписчиков» для этой газеты. Если делал это Н. М. Баранов, человек деятельный, умеющий постоять за себя и свою самостоятельность, умеющий быть смелым и решительным в тяжелое время голодовки, то другие губернаторы и подавно писали, конечно, князю Мещерскому горячие письма и оказывали любезные заботы о «продовольствии» его газеты.

Что же это за феникс такой? Почему это тяготение губернаторов к «Гражданину»? Боялись они, что ли, его статей, его резкого языка и авторитетного тона, боялись ли они попасть в число «тайных советников», над которыми он издевался, или они сочувствовали направлению его газеты до того, что считали своей обязанностью уделять свое время и на «вербовку» подписчиков для «Гражданина», т. е. на его «продовольствие»? Бог знает. Вопросы неразрешимые, как все великие вопросы. Мы знаем только, со слов Н. М. Баранова, что князю Мещерскому «помощью целой системы манипуляций удалось уверить множество легковерных людей, что он есть редактор «негласного Правительственного вестника», что газета его есть веский настольный журнал и что сам он, неся знамя дворянства, призван быть комментатором высших правительственных идей, симпатий, целей, желаний и стремлений».

Вот оно что! «Негласный «Правительственный вестник», комментатор высших правительственных идей, симпатий, целей и желаний! Боже мой, как это высоко! Вот чего я никогда не думал, полемизируя с князем Мещерским. Я воображал, что имел дело просто с писателем князем Мещерским, у которого свое мировоззрение, свои достоинства и недостатки, свои увлечения, цели, симпатии и антипатии. Писательскую деятельность его я знаю наизусть, я полемизирую с ним лет двадцать, и никогда не думал, что он занимает такое возвышенное положение!

Но если я, живущий так долго в Петербурге, слышащий множество сплетен, находящийся всегда более или менее au courant событий, не знал ничего о таком высоком положении почтенного князя, то каким образом нашлось даже вне Петербурга «множество легковерных людей», которые поверили такому положению сего писателя, как выразился бы г. Иловайский? Генерал Баранов говорит об этом довольно темно: «помощью целой системы манипуляций» уверил он их...

Никогда не слышал и об этой «системе», и думаю, что князь Мещерский менее всего систематик. Это натура разбросанная и разбрасывающаяся, противоречивая, способная сегодня плакать над тем, над чем завтра будет смеяться.

«Множество легковерных людей», очевидно, ни в какой системе не нуждались. Очевидно, все это люди без способностей, без убеждений, без характера; люди, боящиеся того, чтоб князь Мещерский не щелкнул их как-нибудь мимоходом; люди, ищущие не того, чтоб выказать свои способности и знания, а того, куда дует ветер и как легче идти по этому ветру. По всей вероятности, к этой группе «легковерных» примыкали и совсем не легковерные люди, которые водили за нос самого князя Мещерского. Во всяком случае, не князь Мещерский выдумал какую-то «систему манипуляций» для убеждения «легковерных», а они, эти легковерные, неспособные люди выдумали князя Мещерского как «комментатора» высших целей и стремлений. Без руля и без ветрил носились эти бедные и беспомощные создания, и нашли маяк в «Гражданине», и ловили его свет...

Вот в этом печальная сторона этого явления...

Но Н. М. Баранов — человек способный, человек энергии. Каким образом он попал в число легковерных? Поветрие ли это какое, эпидемическая болезнь fin de si cle, одинаково поражающая и слабых и сильных? А ведь он попал, он писал ему «горячие письма», оказывал «любезные заботы». В «Гражданине» бывали хорошие статьи, бывали хорошие статьи самого князя Мещерского. Может быть, он ими увлекся и по экспансивности своей природы начертывал свои симпатии в свободные часы от занятий? Может быть. Вопрос, однако, остается открытым, как все великие вопросы.

Как же случилось, что Н. М. Баранов, наконец, понял, что «Гражданин» есть «Гражданин», а князь Мещерский есть просто публицист, романист, драматург, фельетонист, а вовсе не комментатор высших идей и стремлений, вовсе не «негласное правительство»?

Случилось это поистине сверхъестественным образом и притом в то самое время, когда русские читатели узнали о существовании Лукояновского уезда. Есть голод или нет голода в этом уезде? «Гражданин» заподозрил с обыкновенною своею «продовольственной» проницательностью, что в этом уезде голода не было и быть его не могло, и что-то такое написал об этом неприятное для г. нижегородского губернатора. Я две недели был в отсутствии из Петербурга и потому не читал этой полемики и не знаю хорошо этого дела, но знаю, что написано было что-то неприятное как для самого губернатора, так и для лиц ему подчиненных. До сего времени между Н. М. Барановым и князем Мещерским, повидимому, существовали самые любезные отношения. Но с сего времени пошел раздор. Почему?

Я того мнения, что дело это самое обыкновенное. Если «Гражданин» сообщал лживые или тенденциозные сведения, то он обязан был, по закону, напечатать разъяснения и опровержение местной администрации. Главное управление

по делам печати существует для всех без исключения периодических изданий, и силу его испытывал и «Гражданин», подвергавшийся не однажды административным карам, наравне с другими газетами. Полемика между газетою и нижегородскою администрациею могла бы, кажется, улечься и в этих законных рамах и осветила бы деятелей Лукояновского уезда с двух сторон.

Но Н. М. Баранов прибег к путям сверхъестественным: он возбудил прения об этом предмете в продовольственной комиссии, провозгласил князя Мещерского государственным преступником, назвал его «фигляром, морочащим народ», а газету его — «бутафорской тряпкой из балагана»; г. Гацискому, одному из членов продовольственной комиссии, он же дал возможность выразиться чисто в парламентарном духе, именно, что «к мнениям князя Мещерского можно применить одну известную русскую пословицу *непечатного* свойства». Должно быть, пословица хорошая и, вероятно, тоже «продовольственная»...

Почему именно так поступил генерал Баранов, а не иначе, понять я не могу и поводов для такого поступка не вижу. Может быть, так следовало по морской стратегии, а генерал Баранов легко мог вспомнить свою прежнюю морскую службу? Если он действительно ее вспомнил и поступил по морской стратегии, то аплодировать ему и в этом случае я отказываюсь.

Журналистика отражает в себе все грехи мира и менее всего слова Спасителя, повелевшего любить ближнего, как самого себя. Журнальная полемика есть война, где стороны не щадят друг друга. Если кто вас назовет «фигляром», то вы непременно постараетесь назвать его еще крепче. Естественно, что если губернатор называет журналиста «вредным фигляром», «государственным преступником», то журналисту тоже должно быть дано право выражаться так же о губернаторе. Без этого права над печатью уж слишком было бы много начальников и «ценителей». Одних губернаторов несколько десятков. Один губернатор аттестует «Гражданин», который ему стал неприятен, другой -»Новое Время», третий — «Новости», четвертый громит «Московские Ведомости», пятый предает анафеме «Русские Ведомости». При этом чиновники губернаторские выказывают сугубое усердие и отыскивают в губернских архивах непечатные пословицы» для уязвления нелюбимых редакторов, и все это публикуется в подведомственных губернаторам изданиях. Губернаторские канцелярии обращаются в сатирические бюро, статистические комитеты — в архивы для собирания и хранения непечатных пословиц и изречений, подобранных на улицах и базарах...

Но позвольте, господа, ведь это черт знает что такое будет, в особенности если журналисты, потеряв всякое терпение, начнут отчеканивать в отместку и губернаторов! Кто же будет управлять и заниматься прямым своим делом?

Таков этот инцидент. Неприятный инцидент. Но поучение из него во всяком случае извлечь можно. Легковерные люди должны убедиться, что князь Мещерский не есть «комментатор высших идей» и что самый верный путь к заслугам и отличиям заключается в собственных способностях, усердии и деятельности, а не в поисках покровителей и славославителей; что печать есть печать, т. е. собрание разных мнений, более или менее противоречащих друг другу, но все-таки выясняющих положение вещей в данную минуту. Губернаторы должны понять, что критика, что разбор их деятельности нисколько не умалит их достоинств, если таковые у них есть; что для признания этих достоинств вовсе не следует кому бы то ни было «вербовать подписчиков», а если достоинства не признаются,

то вовсе не следует выходить из себя и обращаться в журналиста, не щадящего изречений и напускного, а потому фальшивого пафоса. Вообще же следует воспитывать свой характер, умерять свои своевольные наклонности, искать не столько восхвалений, сколько критики, и уметь отыскивать в этой критике, какова бы она ни была, благожелательная или неблагожелательная, такие стороны, которые полезны для продолжения своей общественной деятельности.

А дальше что? А дальше — возлюбим друг друга, ибо это никогда и ничему не мешало, а в настоящее время нужнее, чем когда-нибудь. Самый инцидент следует считать исчерпанным, и так как обе стороны поменялись равным оружием в очень достаточной степени, то надо желать, чтоб он оставлен был без всяких последствий.

8 (20) мая, № 5815

LXXXVII

Помните, С. С. Татищев рассказывал в «Новом Времени» свое свидание с г. Стамбуловым. Читая этот рассказ, я выводил заключение, что г. Стамбулов — ловкий и неглупый человек, стоящий гораздо выше своих товарищей министров. Теперь я начинаю думать, что С. С. Татищев сочинил своего собственного Стамбулова и вложил в его уста свои собственные речи или, по крайней мере, придал им некоторый внешний блеск. Начинаю я думать так, прочитав в «Figaro» свидание репортера этой газеты, г. Эмиля Берра, молодого еврея, с г. Стамбуловым. Совсем другой человек, чем у г. Татищева! Это — какой-то толстый и жирный пошляк, самонадеянный, узкий в своих взглядах и довольно глупый. Правда, он с трудом объясняется по-французски, а г. Эмиль Берр знает только по-французски и, вероятно, еще еврейский жаргон, на котором не говорит г. Стамбулов. Но репортер «Figaro» явился в Софию, предварительно испросив позволение приехать туда из Парижа, и г. Стамбулов имел полную возможность приготовиться к этому свиданию и дать сколько-нибудь разумные объяснения на те вопросы, сущность которых не мог не знать болгарский диктатор заранее. И вот репортер спрашивает, а г. Стамбулов отвечает:

— Правда ли, что вы повесили людей, неповинных в убийстве Бельчева?

— Совершенная правда. Убийц Бельчева мы не нашли, но мы попутно нашли заговор и повесили четырех. Казнили же вы Равашоля. Дайте и нам вешать тех, кого мы хотим. Мы только справедливы и оберегаем независимость Болгарии. Поверьте, я еще многих мог бы повесить, которые теперь ходят на свободе, но я отлагаю это до будущего времени. И если меня убьют, вы увидите, что я мало вешал.

— Скажите, ваше превосходительство, говорят, что документы, которые вы печатаете в «Свободе», подделаны?

— Какой вздор! Если б я хотел подделывать, то давно уже мог бы это сделать. Если же я этого не делал, то ясно, что документы настоящие. У меня их еще много, и я недаром заплатил за них 30 000 франков из бюджета.

— Как вы превосходно говорите, ваше превосходительство, — *мог бы* сказать г. Берр, — и как ваши доказательства неопровержимы! Действительно, вы всегда могли подделать... Всякий вор, захваченный с поличным, мог бы так оправдываться: я не крал до сих пор, следовательно, и теперь не воровал...

— Кроме того, если б документы были фальшивы, то русское правительство не стало бы искать Якобсона, у которого мы купили эти бумаги...

— Позвольте, ваше превосходительство, — *мог бы* сказать г. Берр, — но ведь мошенников и воров всегда ищут, как тех, которые крадут, так и тех, которые, желая нажить деньги, продают поддельные документы за настоящие с целью компрометировать правительство...

Но репортер «Figaro» был все время скромен и ничего не возражал, любуясь зубами г. Стамбулова.

— Ну, скажите, похож ли я на кровожадное животное, — спросил г. Стамбулов,— каким меня выставляют французские газеты?

— О, нисколько. Может ли быть кровожадным человек с «такими прекрасными зубами» (l'homme aux jolies dents)? Ну а принц Фердинанд, как вы его находите?

— Чудесный человек. Он — больше болгарин, чем я, и мы с ним заодно.

— Ну, а Болгария с вами?

— Как один человек. Спросите, кого хотите. Наводите справки. Мы желаем только беспристрастия.

И репортер «Figaro» сказал: «непременно наведу справки и буду беспристрастен». И он отправился за справками... к принцу Фердинанду, к гг. Грекову и Начевичу. Чего справедливее и остроумнее? Не к народу же, не к оппозиции, не к г. Караславову пойдет репортер «Figaro» за справками, когда его так мило и предупредительно приняли и когда он, может быть, подобно Хлестакову, «поистратился в дороге».

Принц Фердинанд говорил много, негодовал против панславистов, выражал свое сочувствие Франции, ее кухне и мебели, и хвалил г. Стамбулова.

— Знаете, я — немного деспот, — сказал он между прочим, — но г. Стамбулову я обязан тем, что он воспитывает меня в конституционных идеях. Мы с ним — заодно и иногда я не знаю, где оканчивается Стамбулов и где начинаюсь я.

— Отчего вы не женитесь, ваше высочество?

— Да как-то все некогда. Принцесс предлагают мне пропасть, и все такие душки, что прелесть, но я еще не расположен. Когда меня «признают», тогда, может быть, выберу, чтоб дать Болгарии прочную династию...

И Эмиль Берр хвалит красоту принца, его ум, способности, его дружбу со Стамбуловым, точно хорошая сваха.

Гг. Греков и Начевич совершенно подтвердили все то, что говорил г. Стамбулов, так что теперь в редакции «Figaro» все убеждены в превосходстве этих правителей, и если в Болгарии кого-нибудь вешают, то это так же просто и справедливо, как срубить голову Равашолю. Болгария — это Стамбулов. С необыкновенным умилением сотрудник «Figaro» описывает поездку Стамбулова в Варну. Повсюду жандармы, заставы, даже в вагоне, на столике перед г. Стамбуловым, рядом с бутылкой бенедиктина лежало заряженное ружье Манлихера, и г. Стамбулов мог и пить, и стрелять.

Г. Стамбулов — как раз по Болгарии, точно так же, как и принц Фердинанд. Известно, что в смутные времена правителями являются не самые умные и образованные люди, а, напротив, наименее умные и наименее образованные, но смелые и бессовестные. На этот счет можете справиться у Ломброзо, в его новой книге «Le crime politique et les revolutions», обилующей историческими примерами по-

добного рода. Даже сумасшедшие забирали в руки бразды правления, быстро воспринимая, по безумию, самые крайние идеи и увлекая за собою толпу. Г. Стамбулов не грешен увлечениями в пользу крайних идей. Он — человек старого порядка и старых средств и сам признался сотруднику «Figaro», что идея суда, судившего его врагов, заимствована им у Турции. В течение всего разговора с г. Э. Берром, г. Стамбулов не обмолвился ни одним либеральным словом, ни одной сколько-нибудь человеческой идеей. «Мы вешаем и будем вешать» -вот и все, что он сказал. Россия — враг его, и он этого выносить не может. Как человек узкий и мстительный, хотя и «l'homme aux jolies dents», он свою политику основал на своих личных взглядах и личных предубеждениях. Я бы не желал, чтоб он погиб тою смертью, какою погиб Бельчев, ибо это возвысило бы его среди болгар, дало бы ему мученический венец, которого он не стоит, и, пожалуй, оправдало бы отчасти его политику. Он должен пасть сам собою, когда оборвутся те веревки, которые он натянул. Он знает, что они непременно оборвутся, и страстно ждет того момента, когда Болгария будет провозглашена независимой. Это будет оправданием его политике перед толпой. Он достиг этого, достиг, несмотря на Россию и даже вопреки ей. Правда, без России Болгария продолжала бы быть турецкой провинцией; но, по мнению г. Стамбулова, Россия освободила ее для того, чтоб подчинить себе, и он, Стамбулов, является освободителем Болгарии от России. Сам по себе он — очень маленькая величина; сам по себе он ровно ничего не мог бы сделать, кроме того разве, чтоб казнить своих врагов, сечь их и пытать, для чего совсем ума не требуется. Но он — австрийский застрельщик, которого готовы поддержать и Германия, и Италия, и Англия. Но они медлят и это составляет причину страданий этого ожирелого человека. Зачем они медлят? Что стоило бы им оказать удовольствие Стамбулову и сделать его героем-освободителем? Он подготовляет себе почву в Константинополе, едет к султану и получает драгоценную табакерку. Он интригует против России всячески, не останавливаясь перед подделкою документов и таинными нашептываниями в Константинополе. Все, что он делает, он делает не для Болгарии, а для себя, для оправдания своей политики. Ему важен момент, но не будущее. Если Болгария сделается данницей Австрии, то это — не его дело. Он ведь не вечен, и его наследники во власти будут причиною этого подчинения, а не он, освободитель. У людей подобного рода очень много самоуверенности и легковерия, которые их и губят обыкновенно. Первая крупная неудача — и они пропали. Публикация в «Свободе» якобы русских документов — уже преддверие будущих крупных промахов. Г. Стамбулов плохо рассчитал успех. Документы эти вовсе не вызвали той сенсации, на которую он рассчитывал; немецкие газеты, даже большинство их, уделяли очень маленькое место на своих страницах и повторяли избитые фразы о положении России. Даже «Times» заподозрила их подлинность, а французские газеты совсем и знать не хотят этих документов, называя Стамбулова и принца Фердинанда «палачами» и «вешальниками». Это фиаско с документами заставило г. Стамбулова ухватиться за репортера «Figaro», как за якорь спасения. Франко-еврейский журналист сделал все, что от него зависело, боясь явиться защитником таких непопулярных людей, как г. Стамбулов и принц Фердинанд, он напустил на себя некоторую наивность и, видя, что слова и речи Стамбулова и его принца ничего не стоят, что эти слова и речи даже дуралеев не проведут, он стал расхваливать красоту принца, его огорчения, что даже Рошфор в своем «L'Intransigeant» явля-

ется врагом болгарских правителей, точно Рошфор имеет какое-нибудь человеческое основание предпочитать принца Фердинанда, Стамбулова, Грекова и Начевича четырем повешенным болгарам. Или принц Фердинанд думает, что граф де Рошфор должен питать симпатию к принцу Фердинанду, как аристократ к аристократу? Вообще этот принц, несмотря на потуги г. Эмиля Берра, является очень несущественным человеком по уму и взглядам политическим. Чтоб выставить г. Стамбулова сколько-нибудь неотвратительным, г. Эмиль Берр расхвалил его зубы, его золотую цепь по животу, буржуазный почтенный вид и его сантиментальное настроение в вагоне при виде ручейков и речек.

Но все усилия франко-еврейского журналиста ни к чему не привели. Французская печать то с насмешкой, то с негодованием встретила откровения «Figaro». Читатели знают уже статью Шарля Лорана в «Matin»: «Chez les bandits» (см. № 5916 «Нового Времени»). Она может служить образчиком того, как смотрит французская печать на этих двух Аяксов болгаро-немецких. «L'Intransigeant», мнением которого принц Фердинанд так интересовался, передавая статью «Figaro» в извлечении, говорит: «le hidens Stambouloff et son digne maitre Ferdinand le Pendeur», т. е. «омерзительный Стамбулов и его достойный господин Фердинанд Вешатель»...

Не знаю, как немецкие газеты встретили статью «Figaro». Вероятно, умилялись. Нашли же, наконец, немцы среди славян холопа и преданного, и злобного, в лице этих представителей Болгарии. Но смею думать, что и немцы, по крайней мере про себя, говорят о Стамбулове и принце Фердинанде: «сидели бы себе в Софии» и вешали, а уж к Европе не обращались бы с оправданиями»...

Биарриц, 29 августа

21 августа (2 сентября), № 5919

LXXXVIII

Я не получаю здесь «Гражданина». Но кто-то прислал мне сюда один нумер, с отметкою красным карандашом на первой странице:

«См. Дневник». Посмотрел я «Дневник». Князь Мещерский недоволен тем, что я недостаточно уязвил Стамбулова, и он счел необходимым уязвить меня.

Благодарю покорно. Но что ж из этого следует?

А ничего. Разве только Стамбулов сошлется на князя Мещерского, как на эксперта по части уязвлений, что я действительно недостаточно уязвил болгарского диктатора. Но я того мнения, что шкура этого достаточно первобытного человека совсем не создана для того, чтоб чувствовать уколы печати. Он сечет, пытает, вешает, подделывает документы, он ездит по железным дорогам, держа в одной руке рюмку бенедиктина, а в другой — ружье, во свидетельство общей любви к нему болгар. Естественно, что он только тогда почувствует уязвления, когда его станут сечь. Поэтому и князь Мещерский напрасно думает, что именно он в состоянии уязвить Стамбулова настоящею язвою. Бог мой, как он его язвит! Знаете как? А вот как. Он уверяет, что все дело в том, что Стамбулов был «пошленьким либералом» и, добравшись до власти, естественно, стал сечь и вешать всех с ним несогласных. Такова уж судьба всех либералов, таково им предопределение, особенно русским или воспитанным в России, как Стамбулов.

Попал во власть, сейчас же начинает «есть бифштекс и вешать»! «Все, говорит князь Мещерский, наши либералы-интеллигенты — те же Стамбуловы, как две капли воды — то же самое: молчите, дураки, молчите, крепостники, молчите, мракобесы». Вся разница в том, что «у наших либералов власти нет», а у Стамбулова «в руках городовые, жандармы, палачи».

Вот как умно размышляет почтенный князь. Но ведь у «крепостников» была же власть, и притом крепостники далеко не все были «дураки и мракобесы» — хотя на отсутствие в своей среде «дураков и мракобесов» им и грех было бы пожаловаться, — однако, сколько я помню из дней моей юности, они не только кричали «молчите, дураки!», но брили лбы, секли, отправляли в Сибирь, заводили гаремы и вообще совершали деяния столь скверные, что русский царь взял и освободил этих несчастных. Очевидно, не было других средств восстановить справедливость. А теперь разве «крепостники, дураки и мракобесы» не кричат своим противникам: «молчите, пошляки, либералы, интеллигенты!»

Увы, дело совсем не в либерализме Стамбулова и не в консерватизме князя Мещерского. Если бы дело состояло только в этом, то как легко было бы все исправить: наставил бы везде консерваторов, и зацвели бы страны и народы Божий. Но дело гораздо глубже и сложнее, и нам не мешает это помнить. А то мы вообще склонны — по невежеству ли своему, или потому, что живем интеллигентною жизнью еще очень недавно, — к тому, чтобы разрубать все вопросы, а не решать их. Партия князя Мещерского, как наиболее старая, наиболее к этому склонна. Достаточно для нее заметить какое-нибудь грубое или дикое явление в русской жизни, чтобы тотчас же объяснить его либерализмом, реформами, революционным духом и т. д. Эта партия ничего не знает лучшего, как возвращение к старому, точно при старом порядке все было бесподобно и великолепно, не было неудовольствия, вражды, бунтов, дикости и произвола.

«Вот вам тема для размышления на досуге», говорит мне князь Мещерский, — сравнив либерала Стамбулова с нашими либералами и порадовавшись, что и у них, «к счастию», нет власти, и у меня также. Но ведь Болгария жила под турецким владычеством, правили ею весьма консервативные паши, которые не только кричали «молчать», но преисправно вешали и мучили болгар, так исправно, что русский царь пошел со своей армией на Балканы и освободил Болгарию от пашей, державших ее население в струнке и в страхе. Не ближе ли Стамбулов к турецким пашам, чем к какому бы то ни было либерализму?.. Иначе, становясь на точку <зрения> князя Мещерского, надо будет признать, что Россия совершила две великих несправедливости: освободила крестьян и Болгарию, руководясь христианскими идеями. Не надо, что ли, было делать ни того, ни другого, и тогда все было бы прекрасно? Или, быть может, следовало все это сделать, но как-нибудь иначе? Как же? Если б у партии князя Мещерского и были прекрасные рецепты, то они уж в том отношении никуда не годны, что совершенно подобны тем докторским верным рецептам, которые написаны на трупе умершего человека, для выздоровления которого рецепты эти назначались.

— Жаль, что он умер, а то мой рецепт поднял бы его на ноги!

Задним умом крепки, а впереди ничего не видят.

На досуге есть у меня о чем подумать и без тех глупостей, о которых думает князь Мещерский десятки лет и ни до чего не додумался. «Молчите, дураки, крепостники, мракобесы!» Да, либералы так кричали, но князь Мещерский и ему

подобные кричали еще громче и продолжают кричать, воображая, вероятно, что они обладают первоклассными голосами теноров, баритонов и basso-profundo, а потому нисколько не заботясь о содержании своих арий. Или, может быть, они думают, что весь вопрос в том, кто кого перекричит, а не в том, чтоб разобраться в наших больных вопросах и найти им спокойный и стройный путь?..

Криком сильна толпа, но не у толпы же искать поучений и здравого смысла. Есть вещи, которых ничем не остановишь, сколько бы вы ни кричали, но необходимо готовить им хорошие, испытанные пути и хороших руководителей. А партия князя Мещерского даже не решила себе вопроса: полезно ли образование или вредно? Она не решила его себе в такой степени, что, с одной стороны, требует, чтоб гимназист учился бы только в классах, а дома ничего бы не делал, а, с другой стороны, чтоб учили только привилегированные классы, а остальных оставляли бы в диком и первобытном состоянии. Она до такой степени мало думала и думает, что воображает, что это возможно!..

Я убежден, что если б князь Мещерский попал в министры народного просвещения и вместе с тем в первые министры и если бы в этой должности ему суждено было бы остаться четверть века, то и тогда оказалось бы, что, умирая, он с горечью должен был бы сказать окружающим его смертный одр чиновникам:

— Увы, я умираю побежденный духом времени: бывший мой камердинер сегодня защищает диссертацию на степень доктора, а дочь моей судомойки венчается с тайным советником!..

Биарриц, 27 августа (8 сентября)

2(14) сентября, № 5931

LXXXIX

Я думал, что барон Альфонс Ротшильд если не храбрый человек, то, по крайней мере, имеет храбрость своего мнения, как говорят французы. Но, увы, общественное мнение сыграло с ним злую шутку.

Вы, конечно, знаете, что репортер «Figaro» обнародовал свою часовую беседу о положении социального вопроса с этим королем золота. Беседа эта произвела сильное впечатление, но совсем не в пользу г. Ротшильда. Друзья его ахнули, враги возликовали. И было в самом деле от чего.

Приготовленный к этой беседе заранее — у него испрашивалась редактором «Figaro» аудиенция для своего сотрудника — барон Ротшильд обнаружил такую прямолинейную пошлость взглядов на рабочий вопрос, на социализм, на труд, какая извинительна была бы разве у биржевого зайца. Одна парижская газета назвала мысли г. Ротшильда «мыслями золотого тельца» (les pencées du veau d'or). Несколько других, насмеявшись над ним, подняли тон и объявили его врагом Франции, врагом рабочих, высокомерным эксплуататором, пьющим кровь народа, среди которого он приютился. Даже газеты юдофильские объявили, что барон Ротшильд лучше бы сделал, если б не открывал своих золотых уст, очевидно совсем не приспособленных к мыслям, что, во всяком случае, он хорошо сделает, если на будущее время придержится этого правила, иначе его «мысли» только могут дать несколько лишних «прекрасных дней» (beaux jours) для антисемитизма.

Короче говоря, «мысли» барона Альфонса Ротшильда произвели общественный скандал и значительную долю искреннего смеха. «Золотой телец», пока не говорил, возбуждал некоторое чувство благоговения в верующих. Заговорил «золотой телец» и поднял смех, и «les pensées du veau d'or» не скоро забудут французы.

По мнению г. Ротшильда, социализм — чистый вздор, что им занимаются только «ленивые и дурные» рабочие, что «хорошие рабочие» как нельзя более довольны своим положением; если хозяева дают малую плату, то стачки сейчас же поправляют дело. Толки о восьмичасовом рабочем дне — праздные толки: проработав восемь часов, рабочий остальное время будет сидеть в кабаке. Никакой опасности от развития социализма не может быть со стороны рабочих, но она может быть со стороны правительства. Если правительство станет мешаться в отношения хозяев и рабочих, если оно законодательным порядком станет регулировать эти отношения, то беда будет неминучая, капитал уйдет из Франции и французская торговля и промышленность погибнут. Барон Ротшильд намекнул даже, что он уйдет из Франции и с ним вместе уйдут все капиталы. Стоит ему подняться, и вся сеть капиталистов расползется. Что такое капитал? Капитал есть труд. «Я всегда сравниваю капитал с водою, — сказал барон, — если ее схватить ладонью, она вся уйдет и в ладони ничего не останется. Но если провести каналы, благоприятные для капитала, то он потечет по ним сам собою, увеличивая благосостояние страны».

— Что такое счастье? — спросил его сотрудник «Figaro».

— Счастье, счастье настоящее, единственное, — это труд, — отвечал барон Ротшильд (Le bonheur, le vrai, le seul, c'est le travail).

Один мой знакомый, прочитав это, сказал:

— Об этом надо бы спросить у почтовой лошади. Если б она говорила, то, вероятно, была бы одного мнения с Ротшильдом.

По всем признакам, сотрудник «Figaro» очень верно передал свою беседу. Она написана в почтительном, несколько наивном тоне и разве только упоминание о скверной сигаре, которую он курил, можно счесть за подробность лишнюю. Есть основание думать, что редакция «Figaro» не разом решилась напечатать эту беседу, ибо она лежала целый месяц в рукописи[1].

Барон Ротшильд выходит цельным человеком, с умом ограниченным, с видами узкими, но мастером своего денежного дела, понимающим, где раки зимуют. Его речи — это своего рода катехизис биржевика, который не хочет видеть или притворяется, что не видит настоящего положения вещей; он весь погружен в свои денежные расчеты и махинации и напрягает все силы только к увеличению капитала и к тому, чтоб продолжить настоящее положение вещей, выгодное для него, постоянно увеличивающее его власть. Он говорит, что все благополучно, что тревогу бить не из-за чего, что биржевая игра процветает как нельзя лучше, ежедневно увеличивая круг своих почитателей, что никакого Haute Banque нету, а есть только люди более богатые и менее богатые; он говорит правительству, чтоб оно держалось его, Ротшильда, чтоб оно его слушало, как оракула. Раз оно повернется к народу, раз оно подумает о том, чтоб улучшить его положение, хотя бы для безопасности государства, оно погубит промышленность и торговлю и увеличит только народное пьянство.

---

[1] Это дало повод Ротшильду сказать в своем письме, о котором речь ниже, что память, вероятно, изменила сотруднику «Figaro».

Золя, как известно, нарисовал Ротшильда в своем романе «L'Argent», но краски его гораздо бледнее в сравнении с тем, что дал сам о себе Ротшильд в этой беседе с журналистом. Тут каждое слово запечатлено самым черствым эгоизмом. Самая манера говорить отрывисто, с некоторой халатной грубостью являет человека, уверенного в своей силе и в силе и непреложности своих афоризмов. Он ничего не сказал глупого, но все, что он говорил, необыкновенно пошло по своей ординарности. Первый человек в мире по богатству, «король Франции», как его называют, а ум его и идеи — что-то необыкновенно расхожее, мелкая медная монета. И тем не менее вы чувствуете, что это -верный тип еврея-банкира, самого большого и самого сильного еврея, который в наши денежные дни, понизившие курс идеалов, спокойно и самоуверенно диктует новые «заповеди» и эти заповеди, как нельзя лучше применяются к практике жизни. Скрижали золотого тельца давно стоят вместо скрижалей Моисея, а уж о христианском учении и толковать нечего. В этой прекрасной Франции оно почти официально отменяется и в государственном бюджете стоит в расходе 20 000 франков на снятие креста с Пантеона: вероятно, там готовится усыпальница для такого великого французского гражданина, как барон Альфонс Ротшильд...

Это одна сторона дела.

Но вот другая сторона — общественное мнение. Смех и негодование, поднятые этими откровениями, серьезно встревожили Ротшильда и его многочисленных друзей в обществе и даже в правительстве. Помилуйте, сколько теряют чиновники, если авторитет этого банкира упадет.

Сам барон увидал, по истечении нескольких дней, что выходит в самом деле что-то неладное. Пока его описывали, пока его ругали, все это можно было поставить на счет ненависти, зависти, антисемитизма. Но ведь тут является, так сказать, «самоописание», это Rotschild peint par lui m me. Что делать? Надо опровергнуть как можно категоричнее. Так как отчет журналиста в редакции «Figaro» пролежал целый месяц, то можно сказать, что сотрудник и написал отчет спустя месяц после беседы, и ясно, стало быть, что память ему изменила. Кстати он упомянул о скверной сигаре. Кто поверит, что Ротшильд курит скверные сигары? А потому сигарою надо воспользоваться. Потом надо упомянуть о своих благодеяниях несчастным. Сказано — сделано. Сам барон подписал это письмо, которое и явилось в «Figaro». «Я не мог сказать, что que tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, напротив, в среде рабочих много страдания, и мы не упускаем ни одного случая, чтоб помочь им». Дружественные газеты сейчас же воскликнули: «мы так и думали: барон Ротшильд не мог говорить таких глупостей».

Газета «Temps», орган оппортунистов, поспешила в передовой заметке, напечатанной, однако, мелким шрифтом, напасть вообще на репортерство и, в частности, распространилась о том, что человек «такого высокого финансового положения», имеющий все средства осведомиться о настоящем положении дела, чтоб такой человек мог проповедовать такой «ханжеский оптимизм», чтоб такой человек мог сказать, что «счастье, настоящее и единственное счастье — в труде». Заметка «Temps», впрочем, так написана тонко, что ее можно прочесть и как защиту Ротшильда, и как ироническую выходку против него. Как бы то ни было, оптимизм Ротшильда верно назван «ханжеским». Король золота, человек, опирающийся на него, как на божественное право, именно и должен быть ханжою-оптимистом, ибо ничто его так не оправдывает в своих собственных глазах, как

это оптимистическое ханжество, как эта якобы блаженная уверенность, что все обстоит благополучно в этом лучшем из миров, а оно действительно обстоит благополучно только для благополучия таких господ, как Ротшильд.

И единственное право на величие — деньги, единственное право на поклонение — деньги. Бывали настоящие французские короли такие же не умные, такие же эгоисты, так же мало смыслившие в положении вещей, но у них был ряд предков с действительными заслугами, с подвигами, иногда с самопожертвованием для страны. Была целая традиция славы, административных и военных дел. А у этого короля золота и предки такие же, как и он, и ни малейших заслуг перед страною у них нет и не было...

Вот вам финансовый гений с сущностью самого банального буржуа. Не было бы богатства — был бы ничто. А теперь может изрекать глупости, в которых его лакеи находят ум и гениальность, может вас опечалить и может осчастливить, когда вы собираетесь занять у него деньги. Скажет «не дам» — опечалит, скажет «дам денег» — осчастливит, да еще как осчастливит: часть его «гения» засияет и на вашей голове, как непременный признак вашей даровитости, вашего ума.

Биарриц, 18 (7) сентября 1892

13(25) сентября, № 5942

XC

Нужна ли русская церковь в Биаррице? Вот вопрос, которым бесполезно задаваться, ибо, во-первых, памятники Христу нужны везде. Мы должны ставить их на чужбине и потому, что нас мало знают вообще и, в частности, как христиан православных. Во-вторых, церковь построена и освящена. Но вот вопрос, который далеко не безразличен: на какие средства будет содержаться церковь?

Надо знать, что на юге Франции теперь две церкви: одна — в По (Peau), другая — в Биаррице. Синод отпускал на церковь в По 1200 рублей золотом, но потом прекратил этот отпуск, и церковь в По содержится на частные средства. Биаррицкая, следовательно, тоже должна содержаться на частные средства. Хватит ли их? Обе церкви построены на частные средства и стоили около 300 000 франков. Деньги значительные, указывающие на то, что русские люди вопросы религиозные принимают близко к сердцу и начинают подражать в этом случае англичанам, которые построили в разных курортах массу своих церквей. Я того мнения, что в данном случае церковь должна содержаться на частные средства, на средства богатых и достаточных людей, которые ездят за границу. Если не религиозные чувства, то чувство народного самолюбия должно бы подвигать к этому русских людей. Церковь наша напоминает о России, об ее значении, об ее голосе в Европе и всемирной истории. Св. Синод может помогать церквам из того же чувства, но едва ли может быть обязательным для него содержание церквей, воздвигнутых за границей для потребностей людей богатых. Содержатся же церкви сельскими общинами, и притом с пожертвованиями огромными. Иногда для того, чтобы иметь порядочный колокол, сельские общества входят в долги, отдают в наем земли, которые им самим нужны. Богатые и вообще зажиточные люди, имеющие возможность путешествовать за границу, и подавно обязаны это делать. Правда,

они не составляют постоянной общины, постоянных посетителей известных заграничных курортов, эти посетители меняются, но тем шире должна быть эта добровольная община. При известных условиях, при известной организации возможно составить общественный капитал для поддержания таких заграничных церквей. Многое в этом случае может сделать и священник, если он человек действительно почтенный и действительно преданный русским религиозным интересам.

Город Биарриц с большим сочувствием отнесся к русской церкви и на другой день после ее освящения устроил эффектную факельную процессию с музыкою и сжег прекрасный фейерверк. Как купальное место, Биарриц становится излюбленным местом для русских, которых год от году прибывают сюда больше и больше. Нет основания думать, что этот прилив уменьшится когда-нибудь, а потому и нет основания предполагать, что русские люди забудут свою церковь, которая ежедневно будет им напоминать о себе, так как она возле пляжа и видна всем купающимся. Но было бы необходимо учредить такое общество, которое бы заботилось о всех заграничных церквах русских, устроенных на частные средства. В это общество, если бы обязательные взносы не были значительны, могло бы поступить много членов. В этом случае Св. Синод мог бы оказать большую нравственную помощь. Самое трудное, конечно, содержание хора певчих, и если б наша церковь не была против органа, то дело устроилось бы проще и дешевле. Я люблю орган и с большим удовольствием слушаю его в католических церквах. Он всегда настраивает высоко. Но, вероятно, самое упоминание об органе будет сочтено многими за некоторую ересь, и потому умолкаю.

Биарриц, 17(23) сентября 1892 г.

23 сентября (5 октября), № 5952

XCI

И дым отечества нам сладок и приятен...

Я с этим не согласен. Всякий дым, отечественный и иностранный, ест глаза. Если он приятен, то издали, когда клубится капризными изгибами, живописно исчезая в воздухе, но сладок он и тут не бывает. Курные избы ни в каком отношении не могут быть сладки и приятны и не могут радовать сердца уже потому, что они говорят о нашей бедноте и первобытной культуре...

Вообще же я того мнения, что мы чрезвычайно отстали от Европы во многих отношениях и если иногда похваляемся, то потому, что не берем в расчет сравнений из Европы, а судим по сравнению с нашим прошлым. Конечно, теперь лучше, чем прежде, старое негодное упразднено, новое народилось и зреет, но все-таки до Европы нам далеко. Я это говорю не в обиду своему отечеству, а просто «констатирую факт», как выражаются герои И. Ф. Горбунова. Бог нас всем обидел: и климатом, и географическим положением, и историей, и Петербургом, Петербургом особенно. Это — препротивный город, мельчающий год от году, остановившийся на каком-то распутии и не знающий ни того, что ему делать, ни того, что с ним будет...

Когда француз, в первый раз приехавший в Петербург, выражал мне свое удивление относительно безжизненности нашей столицы, которая хуже не только

Вены, но и Берлина, чрезвычайно быстро растущего, я, не желая выдавать всей правды, попросил его вообразить себе Париж со всем его населением, с его домами, Лувром, музеями, магазинами и порядками, на берегах Невы. Невский Париж захирел бы тотчас, уличная жизнь тотчас исчезла бы, приезд иностранцев сократился бы до минимума, сократилась бы торговля и промышленность, наука и искусство и т. д. Я попросил его вспомнить, — он, впрочем, не мог вспомнить того, чего не знал, и я просил его вспомнить только из вежливости, что когда в Париже царствовал Генрих IV, обещавший всем курицу в суп, у нас на Москве царствовали неграмотный Борис Годунов и Гришка Отрепьев; когда во Франции были Рабле и Монтень, у нас процветали такие писатели, как поп Сильвестр. Переходя к ближайшему времени, увидим то же самое, ибо историческим скачкам довольно мудрено верить, если страна к ним не подготовлена долгим опытом. Наш «просветительный» XVIII век видел Кантемира, Ломоносова, Державина и пр., но нельзя же их сравнивать с Вольтером, Дидро, Руссо и проч. и проч. Мы еще только начинаем, а они, может быть, уже кончаются, и в этом наша выгода, как выгодно быть юношей перед стариком.

Все это, так сказать, исторические утешения, а современный человек живет настоящим и берет сравнения из настоящего. Нельзя постоянно думать, что потому мы отстали, что позднее других начали. Сравнение напрашиваются невольно. В Европе уже стены домов моют мылом, а у нас и руки мылом не моют десятки миллионов людей; у нас даже в столице счищают грязь первобытными метлой и лопатой, а там метлы давно не знают и гуттаперчевые щетки счищают грязь с улиц несравненно лучше нашей метлы и лопаты. В столицах Европы движение свободно для всех и по всем улицам, как в каретах и колясках, так и на ломовых извозчиках, которые, кстати сказать, там лучше и опрятнее наших. В Петербурге, как известно, движение еще не совсем свободно и ломового не пустят по всякой улице. Прошлой весной мои два внука, мальчики 12 и 13 лет, пошли с гувернанткой гулять по набережной. Гувернантка отстала, и мальчики очутились впереди. К ним подошел городовой и сказал им, что им по набережной гулять нельзя, потому что они в высоких, русских сапогах. В высоких сапогах никому не дозволяется гулять по набережной. Внуки с удивлением мне об этом рассказывали и спрашивали: почему это так? Сапоги эти никого не шокировали дома, никого не шокировали из гостей моих; но это шокирует городового или культурные понятия его начальства, и вот свобода движения ограничена в пользу сапог, которые закрываются панталонами. Сапоги с открытыми голенищами, таким образом, не соответствуют еще требованиям петербургской цивилизации или оскорбляют петербургское чувство изящного...Вообще у нас еще много своеобразной петербургской культуры и не достает кое-чего такого, что действительно культурно.

Правда, у нас «дух» народный превосходен, но я начинаю думать, что и это превосходство требует культуры, ибо народ бунтует и убивает врачей, убивает своих благодетелей и верит самым нелепым слухам и даже на столичных улицах произносит громко такие гнусные слова, какие произносил он еще при Иване Грозном. Мне смешно читать в «Гражданине» статьи под заглавием: «Об упадке чувства законности в народе». Чувство законности — легко сказать! Ведь такое чувство — одно из высших проявлений цивилизации, и много ли просвещенных людей могут похвалиться этим чувством? Но если есть «упадок» этого чувства, значит, был его высокий уровень. Когда же это? Любопытно было бы знать этот

высокий момент русской цивилизации, когда чувство законности процветало? Я такого момента не знаю. Я знаю моменты подъема патриотизма, самопожертвований, но чувство законности — excuser du peu...

Корреспондент одной английской газеты, молодой и симпатичный человек, посещавший голодавшие наши губернии и схвативший даже там тиф, говорил мне:

— Вы — самая счастливая и вместе с тем самая несчастная страна в Европе.

Мне показались странными эти слова, и я попросил объяснения.

— У вас народ не избалован, он чрезвычайно терпелив, нетребователен, довольствуется малым и обладает большим здравомыслием; такого другого народа в Европе уже не найдешь, и это ваше величайшее счастие. Но вы — самая несчастная страна, потому что вы — страна самая невежественная.

Но будем благодарны судьбе и за то, что мы — народ действительно умный, крепкий и способный, а так как наша цивилизация началась только со вчерашнего дня, то нам отнюдь отчаиваться нечего. Надо только работать, работать и работать и совершенно доверчиво брать из Европы все то, что пахнет наукой, искусством, ремеслом и вообще просвещением, и не утешаться тем, что дым отечества нам сладок и приятен...

9 (21) октября, № 5968

XCII

Сегодняшнее представление в Михайловском театре комедии Островского «Шутники» окончилось трагически — умер один из самых даровитых наших актеров, Свободин, умер в той пьесе, после той подлой шутки, которая действительно могла поразить человека, как поражает предательская вражеская пуля. Фантазия писателя и действительность печально сошлись.

Вы знаете эту пьесу. Бедный чиновник Оброшенов, нуждающийся в деньгах для спасения жениха своей дочери, находит пакет, на котором написано: «со вложением шестидесяти тысяч рублей». Пакет этот подбросили московские шутники, Недоносков и Недоростков, каких и теперь в Москве непочатый угол. Это та бессовестная и бесчестная челядь, которая от нечего делать пьет, бражничает, напаивает других для своей потехи и сама, полная рабства и нравственной гнили, смеется над горем, хохочет над бедностью, шутит над безответными. Вот оно истинное варварство, варварство полуобразования — этот смех над всем без разбору. Найдя этот пакет, Оброшенов чуть не сходит с ума от радости, от мысли, что он представит этот пакет и получит законную часть, двадцать тысяч! Это — счастье, это — спасение семьи, это — довольство на целый век. Он приходит домой, страшно взволнованный, почти сумасшедший от радости. Он смеется, шутит, принимает таинственный вид. Домашние в тревоге, не знают, что это значит. Наконец, он объявляет в чем дело, раскрывает пакеты, ищет, находит газетную бумагу, один лист, другой...Денег нет. Ах, он потерял, он выронил эти деньги. Молодой человек, жених его дочери, который тут присутствует, говорит ему, что в пакете вот эта бумажка, где безграмотно написано: «не гонись за чужим добром». Но он не верит, он думает, что потерял их и шатаясь выходит в другую комнату. Свободин сыграл эту сцену превосходно, не повышая голоса, но

нервно, сосредоточенно, правдиво до полной иллюзии. Выходя в дверь, он упал через порог. По пьесе падать не следовало Оброшенову. Дочери идут за ним и кричат: «доктора, доктора!» Занавес падает. Публика аплодирует. Свободин выходит с г-жами Васильевой и Потоцкой.

В публике кричат: «Свободина, Свободина!» Он выходит один и раскланивается.

Антракт. Музыка играет. Выходит театральный чиновник и объявляет, что по внезапной болезни г. Свободина роль Оброшенова будет играть такой-то...

Публика усаживается, ничего не зная.

В театре присутствуют директор театров г. Всеволожский, начальник театральной конторы г. Погожев, будущий главный режиссер г. Крылов, принявший предложение дирекции усовершенствовать сцену.

Публика усаживается, веря, что г. Свободин внезапно заболел. На самом деле он умер. Придя, после выхода на вызов, к себе в уборную, он позвал портного, чтоб переменить что-то в костюме, и вдруг, схватившись обеими руками за ворот своей рубашки, закричал:

— Рвите, рвите, я задыхаюсь, — и упал.

Позвали доктора. Доктор послушал и сказал, что Свободин умер.

Умер актер! Ну, что ж делать! A la guerre comme a la guerre! Пусть продолжают пьесу. Пьесу продолжают.

Вместо Свободина, в роли Оброшенова, является новый актер с тетрадкой и по ней читает. Это очень странно. Весь драматизм положения исчезает. Публика смеется, хохочет, хотя драматическое положение усиливается. Актрисы, актеры почти плачут и становятся к публике задом, желая скрыть свои слезы. Г-жа Васильева не может скрыть своих слез. Публика приписывает это чувству актрисы, а не женщины. Актер в роли Свободина, труп которого лежит на сценой, ходит, жалкий и смешной, с своей тетрадкой и, едва разбирая, произносит монологи. Публика в самом добродушном расположении, смеется над этим учеником, над этой странной и неожиданной репетицией, которую ей поднесли, не желая сказать ей правду, не желая, вероятно, ее огорчить или взять деньги за недоигранный спектакль.

Удивительно! Мне, господа, это удивительно. Я смею думать, что нельзя заставлять играть актеров, нельзя заставлять играть актрис, женщин, всегда глубже чувствующих, когда их товарищ, десять минут тому назад игравший с ними, живший с ними театральной жизнью, поражен не театральной, а настоящей смертью и труп его лежит за кулисами. Ведь это люди, господа, люди! Ведь смерть всех нас уберет с этого света, всех тех, которые были в театре, и начальство всякое, и зрителей всяких, решительно всех. Бессмертных нет, и всякому следовало подумать о том, что если он умрет среди своих занятий, за канцелярским ли столом, в своем ли кабинете, среди гостей, неужели присутствующие прикажут лакеям убрать труп, как убирают на арене убитого быка, и станут продолжать разговаривать, играть в карты или обсуждать прерванный внезапной смертью товарища вопрос?

Удивительно, решительно удивительно, что не нашлось ни одного авторитетного человека в театре, чтоб прямо объявить публике о смерти несчастного бойца на театральной сцене и прекратить представление.

Не нашлось никого. Это очень нехорошо, господа.

В антракте узнали о смерти Свободина. Она поразила всех. Оркестр заиграл какую-то польку, после которой должна была идти пьеса г. Гнедича, тоже присутствовавшего в театре.

Публика начинает шикать, громче и громче.

Оркестр продолжает играть польку.

— Не надо, не надо! Перестаньте играть, перестаньте! — кричит публика в ложах и в партере.

Полька продолжается, но тише и тише. Очевидно, и оркестр смущен и смычки не берут смело струны...

Начинается стук стульев, шум, шиканье, крики.

Полька продолжается...

Публика шумно и негодуя выходит из театра, под звуки польки и, таким образом, она сама прекратила представление...

Около 12 часов бездыханного Свободина привезли на квартиру, на Николаевскую улицу.

Вот вам тяжелая, настоящая трагедия!

10(22) октября, № 5969

XCIII

Свободин был болен около года.

По совету Захарьина, он брал отпуск, ездил на Кавказ, лечился. У него развивалась, кажется, грудная жаба. Он знал свое положение, но не думал о таком скором и внезапном конце. Роль, которую он исполнял и которая требовала напряжения сил, несомненно ускорила его конец. Он пал, как солдат, исполняя свой долг, служа своему искусству. Смерть прекрасная и, если можно завидовать смерти, то эта смерть поистине завидная, чудесный венец сценической карьеры.

Трагические случаи на сцене не редкость, благодаря тому увлечению ролью, которая овладевает актером, забывающим себя и размеры своих сил. Во время господства мистерий в Меце один священник, игравший Иисуса Христа, так вошел в свою роль, что умер бы на кресте, если б не заметили присутствовавшие мертвенной бледности его лица и не поспешили его снять. В другом городе, в той же мистерии, капеллан, игравший Иуду, повесился с таким увлечением раскаяния в предательстве, что его сняли почти бездыханным. Но вот случай поистине ужасный, стоящий одиноко в истории театров.

В Швеции в царствование короля Иоанна II давали «Мистерию Страстей Господних». Актер, изображавший Иисуса Христа, был на кресте; актер, игравший сотника Лонга, вместо того чтоб только тронуть концом копья бок распятого, увлеченный игрою, не помня себя, вонзил копье в бок несчастного. Пораженный насмерть актер, падая с высоты, задавил Деву Марию, которая стояла у подножия креста. Король, видевший все это, в негодовании бросился на сотника и ударом сабли отсек ему голову. Дело этим не кончилось. Зрители, очарованные правдивостью игры сотника, были так раздражены грубым вмешательством короля Иоанна, что бросились на него толпою и убили на месте.

Французский посол в Испании, Гобье де Бано, бывший в театре, где давали сражение при Павии, увидев на сцене, как испанец нападает на француза и заставляет его просить у себя пощады в унизительных выражениях, вскочил на сцену и, в присутствии всех зрителей, проколол шпагою актера.

Французский актер Мондори, игравший Ирода в трагедии «Марианна», с такою силою старался изобразить свою роль, что упал, разбитый параличом, на сцене, но не умер. Но два других актера умерли на сцене: один — Монфлери, старавшийся изобразить слишком правдиво ярость Ореста в трагедии «Андромаха», другой — Брекур, игравший роль Тимона в одной из своих пьес. Французская актриса Шанмелэ, игравшая Медею в трагедии Лонжпьера[1], нажила себе болезнь, от которой и умерла. Смерть Мольера известна. Страдая грудью, кашляя кровью, он продолжал играть, Когда уговаривали его друзья отложить представление комедии «Le maladie imaginaire», он сказал : «Как же могу я не играть, когда пятьдесят рабочих, живущих поденною платою, зависят от того, стану я играть или нет. Я бы упрекал себя, если б один день отнял от них». И он явился в комедии своей. В том месте своей роли, где он притворяется умершим, он действительно походил на мертвеца. Тем не менее он продолжал играть; в интермедии, заканчивающей пьесу и посвященной шутовскому изображению церемонии посвящения в доктора, произнося клятву jugo (клянусь), почувствовал себя так дурно, что не мог удержаться от конвульсивного движения; но увидав, что публика заметила это, он начал принужденно смеяться и от усилия кровь хлынула у него изо рта. После окончания пьесы его отвезли домой, где он и умер.

Это — одно из величайших усилий над собою, какое когда-либо представлял актер. Случаев апоплексии на сцене и за кулисами я мог бы привести еще несколько примеров. Ограничусь двумя. Англичанин Бонд, увлекшийся «Заирою» Вольтера, перевел ее и желал поставить на сцене; но театры отказывали. Тогда он решил поставить «Заиру» на домашней сцене, пригласил избранное общество и сам явился в роли Лузиньяна. Он произносил ее с таким увлечением, что привел в восторг всю свою публику, и вдруг погрузился в обморок в своем кресле. Публика подумала, что это так в роли, и несколько минут молчала. Но исполнители ролей Шатильона, Нерестана и Заиры, которые были на сцене, подошли к нему и шепнули, что надо продолжать пьесу; вместо ответа он упал с своего кресла мертвый. Знаменитый английский актер Пальмер потерял жену и сына, которых горячо любил. Эта потеря погрузила его в глубокое горе. В 1798 г., играя иностранца в пьесе Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», он проникся до высокой степени чувствами, вложенными в роль; в третьем акте он должен был, вступая на сцену, отвечать на вопрос о здоровье своих детей и вдруг упал и с глубоким вздохом умер тут же.

В смерти Свободина можно найти несколько подобных черт.

Но перебирая все подобные случаи внезапной смерти актеров на сцене за границей, я нигде не встречал такого равнодушия к смерти актера, какое обнаружило наше театральное начальство. Надо прибавить к тому, что я вчера писал, что за сценой, в антракте, с актрисами были обмороки, когда умирающий страшно вскрикнул и скончался, обмороки и слезы. Это видели и знали; знали, кроме того, что пьесу нельзя продолжать сколько-нибудь сносно, ибо не было актера, который знал бы роль. И тем не менее, приказано было продолжать, точно хотели непременно, чтобы и пьесу г. Гнедича сыграли, но тут уж сама публика приказала окончить спектакль. Не доставало только того, чтобы закрыть двери залы

---

[1] Эта трагедия перенесена была и на русскую сцену, и роль Медеи играла знаменитая Семенова

и заставить публику, bon gre, mal gre, выслушать произведение г. Гнедича в присутствии трупа...Случай единственный в истории театра вообще и, разумеется, освещает петербургскую культуру оригинальным светом...

Когда третьего дня я писал о петербургской культуре, я никак не думал, что тотчас же натолкнусь на блистательное подтверждение своих мыслей, и притом в сословии столь образованном...

11 (23) октября, № 5970

XCIV

Считаю необходимым сделать поправку к тому, что я писал о смерти Свободина.

Я писал то, что видел, но то, что происходило за кулисами, я писал по слухам, в которых трудно было разобраться. Не желая никого вводить в заблуждение и дорожа правдою, я спешу сообщить следующие сведения, рассказанные мне сегодня очевидцем, сведения, видоизменяющие дело и мои о нем выводы.

Свободин отступил от оригинала пьесы, когда упал в конце третьего действия, уходя со сцены. В пьесе этого нет, как я уже говорил. Там Оброшенов (Свободин) уходит вместе с дочерьми, и потом дочери являются на сцену и обмениваются своими впечатлениями о состоянии отца. С этим изменением пьеса и репетировалась, как мне теперь известно. После двух вызовов он ушел в уборную, попросил себе чаю, был весел и доволен приемом публики и разговаривал с некоторыми актерами. Перед открытием занавеса помощник режиссера, по принятому обычаю, пошел к нему объявить, что действие начинается — готов ли он? Он сказал, что он выходит только в третьей сцене, а потому пусть начинают: он будет готов. Прошло несколько минут, как прибежали из уборной и сказали режиссеру, что Свободин упал в обморок. Режиссер бросился к нему в уборную, велел снять с него парик, позвал доктора и отправился доложить об этом по начальству: Свободин еще дышал в это время. Решено было объявить об его болезни и дать другому актеру читать его роль: о смерти Свободина еще не знали, хотя он уже умер, когда подняли занавес (уборная его далеко от сцены, вверх по лестнице). После 2 явления 4 действия, где купец Хрюков делает бесчестные предложения дочери Оброшенова и выражает сомнения насчет его болезни, о которой объявила ему девушка, занавес опустили; оркестр сыграл какую-то пьесу, и занавес снова подняли, и пьесу докончили, как было у меня сказано. Очевидец, передававший мне эти подробности, говорил, что очень естественно, что на сцене растерялись после такого совершенно неожиданного случая, и немудрено, что возник вопрос, можно ли прекратить представление., Пока его обсуждали, публика узнала о смерти актера и выразила желание, чтоб представление окончили. Желание публики решило вопрос.

По поводу того, что я упомянул о г. Гнедиче, пьеса которого должна была закончить спектакль, он мне пишет, что был за прекращение спектакля.

12 (24) октября, № 5971

XCV

«Гражданин» говорил, что я проповедую нехристианские воззрения, говоря, что смерть Свободина «завидна», что это мнение, высказанное печатно, смущает верующих, и, между прочим, смутило какого-то г. Н. Федорова, который и поспешил сообщить, что он верует в бессмертие души и в то, что каждый должен быть готов всякую минуту «предстать на суд пред престолом Всевышнего». Прекрасно, но если г. Н. Федоров — такой прекрасный христианин, зачем он, рядом с изложением своей веры, переначивает смысл моих слов, зачем он хвастается тем, что он — христианин и притом из самых превосходных? С какого времени христианство начинает состоять в клевете на других и в хвастовстве своими добродетелями, о которых нельзя произвести судебного следствия? Но главное, зачем князь Мещерский помещает эти лицемерные вывески каких-то добровольцев, эксплуатирующих религию? К кому мы обратимся за решением такого личного вопроса, в Святейший Синод или к прокурору суда, или князь Мещерский возьмет на себя роль решителя?

Я того мнения, что вопросом о бессмертии души не нам заниматься с князем Мещерским, не нам говорить о том, что мы такие христиане, что нас хоть в митрополиты ставь. Вопрос о бессмертии души — не только христианский вопрос, но мировой и надо быть слишком маловерным или слишком самоуверенным человеком, чтоб отрицать свою душу и верить, что она исчезает вместе с последним биением сердца. Кто мыслит, кто не воображает себя человеком, для которого все вопросы решены, тот не может не верить в бессмертную душу и Бога. Ведь о бессмертии души едва ли кто лучше писал, чем язычник Платон, передавая предсмертный разговор Сократа со своими учениками («Федон»). По крайней мере, христианские богословы постоянно его цитируют, но ни меня, ни князя Мещерского, хотя мы христиане, цитировать не будут. Да и какие мы христиане? Мы — журналисты прежде всего. А журналист — человек дня, человек впечатления, боец по преимуществу, полемист. Когда журналист надевает христианскую маску, то сейчас же видишь, что в нем и тени нет тех христианских добродетелей, о которых говорит Евангелие: люби своего ближнего, люби даже врага своего, подставь правую щеку, когда тебя ударят по левой. Что же, князь Мещерский может сказать, что он исполняет это, что он любит ближнего своего, как самого себя, что он любит даже врагов? Ведь этого нет, ведь на это способны только совершеннейшие люди, те, которых мы называем святыми, или те скромные и неведомые никому люди, которые совершают свои подвиги жизни, не крича о себе, не беря на себя проповедничества, и не злобствуют, не обличают, а любят ближнего своего иногда больше себя и на служение ему посвящают свою жизнь. Злобствующие и кричащие о себе, видящие у других соломинку в глазу, а у себя бревна не замечающие — фарисеи и лицемеры.

Меня постоянно удивляло, на каком основании князь Мещерский считает себя стражем православия и обличителем? Воспитывался он в Училище правоведения, учился закону Божию у своего законоучителя, которого не мог превзойти в знаниях, потом был чиновником, потом написал множество романов, ничего общего с задачами христианства не имеющих, потом написал тысячи светских статей, то с долею правды и искренности, то с долею ненависти и злобы. Во всем

этом нет никаких прав для звания блюстителя православия и для права оценки христианского чувства у других. Где же те киты, на которых он мнит стоять? Собственная беспорочная жизнь, что ли, высокий, что ли, нравственный и христианский строй мысли? О жизни князя Мещерского я ничего не знаю и, если б знал, то не считал бы себя вправе обсуждать ее; но, судя по его писаниям, я ничего высоконравственного и христианского в нем не обретаю. Грешник, как все, с теми особенностями, которые несколько напоминают «хитрого мужичонка».

Он спрашивает у меня, почему, сравнивая русскую культуру с европейской, я противопоставляю Генриха IV Борису Годунову и Лжедмитрию, а не св. Сергию Радонежскому? По очень простой причине: сравнивают величины однородные. Генрих IV был король французский, Борис Годунов — русский царь, и царствовали они в одно время. Как представители своих народов, они выражают собою степень культуры. Св. Сергия можно сравнивать только со святыми, с людьми, посвятившими себя Богу и ближним. И такие люди были и на Западе. Достаточно назвать Франциска Ассизского и Викентия де Поля. Придравшись к Вольтеру, которого я упомянул, князь Мещерский говорит, что на Западе были все отрицатели, тогда как у нас «отцы церкви» проповедовали положительное христианское учение. Начать с того, что «отцы церкви» общие у нас с Западом — Иоанн Златоуст, Григорий, Василий Великий, Августин и др. Но я пропускаю этот lapsus linguae и обращаю внимание князя на таких людей, положительных, как Декарт, Паскаль, Боссюэ, Бурдалу и др. С Паскалем можно даже связать то старокатоличество, которое отрицает папу, позволяет священникам жениться даже до трех раз, стремится к единению церквей и позволяет в своих храмах отправлять богослужение священникам всяких христианских церквей. По-моему, христианство тогда только победит неверие, когда все христианские церкви соединятся и забудут, как тяжелое предание, свою вражду. Как русский, я искренно сознаю, что православие много способствовало объединению Руси, что оно сыграло у нас даже роль второго «отечества», роль духовной «народности». Но я не думаю, что оно уже все сделало и не могу утешиться, подобно почтенному князю, тем, что народ умеет класть крестное знамение: православию предстоит еще благодарный труд и развитие в духе Христа и истины, путем христианской любви и просвещения.

22 октября (3 ноября), № 5981

XCVI

Можно отвергать образование, культуру, науку, как ложные, фальшивые, не ведущие к высоким идеалам христианской любви: есть такие убежденные смельчаки, но отвергать все это для подъема дворянского сословия — неужели это не вздор? Чтоб отвечать идеалам князя Мещерского, дворянство должно ограничиться курсом гимназии и обратиться, таким образом, в «дворянство гимназическое».

Бедное дворянство, чего только ему не советуют! Мне его сердечно жаль бывает. Никто доселе не написал его историю, никто не разобрал это сословие в его заслугах, в его недостатках, в его добре и зле, в его психологии. А оно заслуживало бы нечто лучшее пустого панегирика, лицемерной похвалы или самодовольного отрицания и тенденциозной насмешки. Оно жило, служило, волнова-

лось, радовалось, страдало, грешило, оно несло на себе нравственные и политические путы, добро и зло русской жизни и теперь... принимает с благодарностью ходатайство журналиста, правда, журналиста-князя, но все-таки журналиста.

Мой талантливый собрат, С. Н. Атава, написал «Оскудение». Никогда в глубине своего сердца я не сочувствовал этому сочинению. Оно слишком весело и забавно. А в оскудении ничего забавного я не вижу. Кроме того, мне думается, что это оскудение произошло не оттого, что дворяне были легкомысленны, непрактичны, ленивы, что они проели и пропили выкупную сумму, а просто по силе вещей. Будь дворянство во сто раз выше того уровня, какой оно имело во время освобождения крестьян, он все-таки оскудело бы непременно просто потому, что лишилось рабов. Это был страшный, непоправимый удар для его значения и жизни, как сословия зажиточного, самостоятельного и привилегированного. Оно получило выкуп за землю, за надел, но рядом с этим оно окружило себя земледельцами-собственниками, положим, бедными, но все-таки собственниками и притом общинниками; но, главное, дворянство ничего не получило за самое важное, чем распоряжалось, — за даровой и обязательный труд. Оно отказалось от самого существенного права своего, отказалось по долгу, по совести, по принципу, который стал слишком ясен и требователен для продолжения существования христианского государства. Принцип торжествовал, миллионы рабов вздохнули свободно, но дворянство принесло жертву и подписало свое оскудение, может быть, в большинстве своем, не разумея всей важности для себя этой жертвы. Ни у родителей моих, ни у моих родственников, ни у меня никогда не было ни одной крепостной души, и потому я говорю это, как зритель, не заинтересованный: я хочу быть только беспристрастным. Что значит даровой труд — это всякий землевладелец, фабрикант, промышленник легко рассчитает. Даровой труд — это почти все. Посмотрите на остатки великолепных усадеб, построенных при крепостном труде. Усадьба стоит, по теперешним ценам, полмиллиона, а все состояние помещика не стоило двухсот тысяч. Что получил бы фабрикант, сахарозаводчик на свой капитал, если б труд был у него даровой!

Отказавшись от дарового труда, дворянство отказалось, разумея или не разумея, от своего значения. А это значение было поистине громадно, ибо дворянство в существе дела распоряжалось всем в государстве: и администрацией, и полицией, и судом, и в очень значительной степени не только сельскохозяйственною промышленностью, но и промышленностью вообще. Как вообразишь себе беспристрастно и ясно, с птичьего полета, вне всяких условных умолчаний и партий, *что* такое было дворянство и чем оно стало в силу такого громадного дела, как освобождение крестьян, то голова кружится. Между прежним и теперешним — целая бездна, и, мне кажется, ее невозможно ничем наполнить, и все те проекты, на которые так щедр князь Мещерский и в которые он, очевидно, верит, не в состоянии поднять дворянство до той высоты, на которой оно стояло. Ему остается только образование, упорный труд, конкуренция с другими сословиями, конкуренция с капиталом, этим, к сожалению, самым могучим двигателем современной жизни, и служба. Вне этого я ничего не вижу. Помогать дворянству бороться с жизнью — другой вопрос. Ему и помогают, и в крепких и сильных своих представителях оно занимает подобающее место в администрации, в суде, в адвокатуре, в акционерных предприятиях и, главное, в селе, в деревенском хозяйстве. Князь-журналист, однако, этим недоволен и настойчиво при-

думывает меры к тому, чтоб дворянство опять заняло исключительное положение. Но возможно ли это? Ведь говорить все можно, но жизнь — такая ужасная вещь, что не слушает никого и даже в такой классической стране дворянства и лордов, как Англия, вопрос этот мельчает, разбиваясь об неугомонную всесословную волну. Волна эта уж тем сильна, что она многочисленна и многоплодна и стремится к образованию с замечательным рвением, не к образованию для образования, а к образованию как к средству выйти в люди, получить от жизни как можно больше, по крайней мере больше того, что дано рождением. Остановить эту волну? Приостановить, может быть, возможно, но остановить нельзя. И в это-то время советовать дворянству ограничиться гимназическим курсом, который не даст ему никаких практических знаний, кроме знания латинского и греческого языков, чтоб говорить с Гомером и Вергилием. В дворянстве есть известная культурная наследственность, полезная, как соревнование, для других сословий. Но ведь и эта наследственность должна упасть, если дворянство очутится среди недворян, лучше его образованных. В былые времена были недоросли из дворян; традиция недорослей продолжалась долго, вероятно, вплоть до 19 февраля. Но недоросли могли жить припеваючи на крепостных хлебах. Князь-журналист думает, что можно уготовить им места в канцеляриях с целью воспитать из них администраторов. Мне кажется, все это легкомысленно и непрактично. Я, впрочем, вернусь к этому вопросу, в виду тех обвинений, которыми сыплет в меня князь Мещерский.

27 октября (8 ноября), № 5986

XCVII

Ну, вот и слава Богу, договорились. Князь Мещерский на откровенность отвечает откровенностью, и я ему искренно благодарен за это.

Он говорит, что рабства у нас не было: «не было ни рабов, ни плантаторов, ни дарового труда», что все это только веяния «той эпохи, которая именно тем и согрешила против исторической правды и, как потом оказалось, против государственных интересов России, что освобождение крестьян от крепостной зависимости признала освобождением рабов от каких-то плантаторов». Все это сочинили в Петербурге «интеллигенты-либералы для того, чтоб иметь право плевать на дворянство». «Крестьяне были именно близки к типу друзей и детей помещика, и это близкое уподобление помещичьей власти родительской и было той отличительной и прекрасной исторической чертой в истории нашего крепостного права, которою дворянство, если б имело больше уважения к себе, могло бы гордиться в истории цивилизации мира... Восстановление этой родительской власти помещика в деревне и должно быть задачею нынешнего дворянства и в экономическом, и в государственном смысле не может не быть заботою правительства».

Это ясно и точно. Но князь опасается, что я стану отвечать ему ссылками на жестоких помещиков, которые, по его мнению, были только «редкими исключениями в огромной массе помещиков, любивших своих крестьян, как чад своих».

Он ошибается: у меня не было и нет ни малейшего желания отвечать такими банальными приемами. Жестокость только следствие, а не причина. Жестокость

только освещает ярким светом даже для слепых истинное положение вещей. Совершенно неважно, что Нерон был жесток, что Гелиогабал был безобразный распутник, но важно то положение вещей, которое все это допускало, давало возможность проявляться звериным наклонностям человеческой природы. Нам не для чего сравнивать южные штаты Америки с Россией, помещиков с плантаторами, негров с крепостными рабами. Будем держаться своей действительности, своей истории и своих нравов. Там все-таки были две расы, из которых черная и наукой признана расою низшей, менее одаренной, чем белая. У нас — одна раса, мы все — один русский народ, и тем не менее у нас было рабство, были рабы, рабы настоящие, бесправные рабы, до того рабы, что с манифеста 25 ноября 1741 г., крестьяне были исключены из присяги на верноподданство, т. е. не признавались членами русского общества. Их продавали, как продают собак, дарили, как дарят вещи, без суда ссылали в Сибирь, продавали в рекруты, запрещали жаловаться на помещиков под угрозою жестокого наказания, которое и применялось. В истории крепостного права бывала, без сомнения, патриархальность, бывали добрые и честные отношения, как бывают добрые и честные люди, помнящие Бога и совесть. Но нравы, привычка играют большую роль в жизни. То, что сегодня стыдно сделать, завтра будет менее стыдно, а послезавтра и совсем в порядке вещей. Это всякий искренний человек на себе может проверить, на своих привычках, на своих небольших грехах. Это — азбучная психологическая истина. Право произвольного обращения с крепостными портило даже хороших людей и заставляло молчать их совесть в тысячах мелких случаев, которые в сумме своей составляют иго и характеризуют рабство и рабов.

Знает ли почтенный князь историю нашего рабства? Семьсот с лишком лет мы жили без крепостных, жили в такое время, когда Русью владели монголы, когда Русь со всех сторон окружена была сильными врагами, крымцами, Польшею, Литвою, Казанью, Астраханью, и Русь все это одолела, невежественная, отставшая от Европы, но умная и свободная. Без крепостного права мы отстояли свою независимость и свой государственный порядок во время Смуты и самозванцев. Прикрепление крестьян (собственно одних неисправных перед помещиками крестьян) к земле в конце XVI века не было еще рабством. Робко, воровски прокрадывалось оно, прокрадывалось обманом, обходом закона, поблажками, исключением из общих правил, которое постепенно становилось правилом, втиралось в обычаи, в закон. У крестьян стали отнимать права особенно со времени ревизии 1719 г., преимущественно во имя финансов, во имя сборов и податей. До 1739 г. крепостные еще имели право покупать себе людей в услужение и для поставки вместо себя рекрут. С этого года они были лишены этого права. В 1747 г. помещики получили право продавать крестьян в рекруты, потом ссылать в Сибирь и т. д. и т. д.

Но до 18 февраля 1762 г. все-таки крестьян, строго говоря, нельзя назвать полными рабами. У них оставалось утешение, что они служат дворянам, а дворяне служат государству. Если они были стеснены в своей воле, то и дворяне с семи лет записывались в службу. Тут была как бы государственная необходимость, обязательные отношения с обеих сторон, была хоть двусмысленная справедливость. Но 18 февраля 1762 г. Петр III издал жалованную грамоту дворянству, которая известна под именем вольной грамоты; вследствие этой грамоты дворянство стало свободным от службы и разорвало последнюю связь крестьян с

государством, сделав их полною личною собственностью дворян, то есть сделав их рабами. Я не вхожу в рассмотрение ограничения этой грамоты в следующем году, не говорю о бегстве крестьян, об ужасной пугачевщине, о бунтах, продолжавшихся вплоть до 19 февраля, о просьбах крестьян принять их в военную службу, о просьбах настойчивых, целыми селами, например, во время севастопольской кампании, и тому подобных проявлениях сыновних чувств к своим родителям, помещикам. Я хочу только указать, что по какой-то исторической судьбе, по какому-то чудесному совпадению чисел рабство наше продолжалось ровно девяносто девять лет, начавшись 18 февраля 1762 г., оно кончилось 18 февраля 1861 г., так как 19 февраля крестьяне уже были свободны...

Этот день останется вечно великим днем, и за императором Александром II останется вечно славное имя Освободителя. Что касается желания князя Мещерского восстановить якобы «родительскую власть», то я готов прозакладывать все, что имею, готов прозакладывать жизнь, что если дворянство об этом поголовно спросить, оно откажется от этого права, оно произнесет свое решение огромным большинством, и не по чувству, не по гуманности только, не по стыду перед историей и миром, а по разуму, по холодному рассудку, который скажет ему, что это невозможно и гибельно.

Да, дворянство откажется. И даже те из них, которые сочувствуют князю Мещерскому и удостаивают его своим сотрудничеством, отнесутся с понятным чувством осуждения к тому сравнению, которое он позволил себе, сказав, что отношения помещиков к крестьянам напоминают ему отношение Христа к своим ученикам. У Иоанна (гл. 15, ст. 15) говорит Христос: «Не к тому вам глаголю рабы, яко раб не весть, что творит господин его: вам же рекох други, яко вся, яже слышах от Отца моего, сказал вам». И приведя этот текст, князь Мещерский сказал, что подобные же отношения были у помещиков с крестьянами. Он это сказал и напечатал, и даже религиозное чувство его не возмутилось...

Этого еще никто не говорил, и никто так отважно не попирал истину!..

29 октября (10 ноября), № 5988

XCVIII

По поводу динамитного взрыва в Париже нельзя не вспомнить, что участие русских в европейской эволюции было самое вредное, самое разрушительное. Они явились туда совершенно свободные от каких бы то ни было культурных традиций, от какого бы то ни было интереса к этой могучей цивилизации, в которой ни они, ни предки их не принимали никакого участия. Не умея ничего создать, не обладая знаниями созидательными, энергией борцов полезного труда и европейской мысли, бессильные в той конкуренции работы умственной и практической, для которой нужна была особая подготовка, они явились туда демонами разрушения, внушая недовольным массам, при существующей там свободе слова и печати, идеи анархии. Распространяя у себя дома нигилизм, русские за границей дали формулы для анархизма. Двенадцать веков тому назад китаец Лао-Цзы первый формулировал учение анархизма. За ним перс Маздак-маг сделал то же в Персии. Русский Бакунин возобновил анархизм в наши дни. «Монголы — родона-

чальники анархизма, монгол Бакунин — возобновитель его, — говорит один французский исследователь, — анархизм пришел из Азии, как и холера».

На конгрессе мира в Женеве, в 1867 г., устроенном международною ассоциацией рабочих, Бакунин впервые формулировал учение анархизма. Известный Карл Маркс протестовал тогда же против нового учения, но Бакунин сказал ему: «мы — настоящие революционеры, а вы — только реформаторы». Во время франко-прусской войны Бакунин возбуждал революционные массы в Лионе и Марселе и не был чужд революционным попыткам в этих городах присоединиться к Парижской коммуне. В то время как Карл Маркс употреблял усилия для того, чтоб собрать общий рабочий конгресс в Гааге, куда положено было не допускать Бакунина, Бакунин собрал в Шо-де-Фоне в 1872 г. нескольких представителей рабочих испанских, итальянских, французских, американских и прусских и на этом сборище были сформулированы положения анархизма. С этого времени анархисты начинают проявлять себя делом и учреждают собрания в определенные сроки. В 1876 г. Бакунин умер в Берне, и итальянский анархист Малатеста становится во главе пропаганды действием. С помощью тридцати анархистов он овладел в 1877 г. одной деревней, взял в плен мэра, похитил кассу и сжег на площади архив. Карабинеры поспели на помощь жителям, и анархисты были схвачены.

В это же время выступил на сцену князь Кропоткин, живший в Швейцарии под именем Левашова. Он познакомился с известным географом Элизе Реклю и вместе с ним написал меморандум об анархизме, который и был принят на конгрессе в Фрибурге. В 1879 г. эти друзья несколькими французами и немцами основали в Женеве газету «La Révolte». С газетою пропаганда пошла еще живее. Явились новые союзники анархизма в лице прощенных коммунаров, возвратившихся из Новой Каледонии во Францию, конечно, не примиренные, но обозленные. Анархизм особенно развился в Лионе, где в три месяца было основано шестнадцать революционных газет с яркой анархистской окраской. В 1883 г. пятьдесят два анархиста были схвачены и представлены в суд исправительной полиции в Лионе. Во главе их был Кропоткин, арестованный в Тононе в то время, как он произносил речь на могиле анархиста Ананьева. В суде анархисты торжественно прочли «декларацию» о том, что такое анархисты. Это — люди, требующие «неограниченной свободы», права «всякому делать все, что он хочет и делать только то, что ему нравится»; права «удовлетворять, сообразно этому, все свои нужды, останавливаясь только перед невозможностью»; вследствие этого они отвергают весь существующий порядок, сверху донизу, всякую форму правления, монархическую или республиканскую, отвергают Бога, собственность, всеобщую подачу голосов и говорят, что все правительства похожи друг на друга и «лучшие из них — самые худшие». Кропоткин с товарищами был заключен в тюрьму, но Элизе Реклю оставлен на свободе, Малатеста также, и оба они пишут анархистские книги для пропаганды. Анархистские листки растут, как грибы, и пропаганда между рабочим населением Франции идет еще деятельнее. Суды действуют, и в 1885 г. судебный отчет устанавливает 378 преследований против анархистов, которые все вместе присуждены к 260 годам тюремного заключения. Выпущенные на свободу, Кропоткин и Луиза Мишель начинают снова агитацию в Париже. В течение нескольких лет являются десятки книг и брошюр, печатающихся от 3000 до 70 000 и даже до 120 000 экземпляров. Все это читается, комментируется, воспринимается массою, сообразно ее развитию и характерам. Одни восприни-

мают это как теорию, как чаяние, проникаясь ненавистью к существующему порядку вещей, другие прямо переходят к практике. Начинается пропаганда в теории и на деле воровства, убийства, взрывов. Глагол «dynamiter» входит в общее употребление; поэты сочиняют песни для детей, где их учат непослушанию, своеволию, воровству, отрицанию Бога; для взрослых распространяются песни с веселым и шаловливым припевом: «Dynamitons, dynamitons». Все это является на улицах Парижа, и прежде чем полиция и суд наложат на это руки, тысячи экземпляров разойдутся по рукам. То, что исследователи гипнотизма называют «внушением», действует на подготовленной почве неудовольствия и борьбы партий самым действительным образом. Рядом с пропагандистами является масса равнодушных, для которых кто ни поп, тот батька, и еще *большая* масса «молчащих», которые втайне сочувствуют движению, но молчат и живут корректно, работают и занимаются привычным делом. В кафешантанах, наполненных буржуазией, поются песенки, где глагол «dynamiter» высмеивается и где проходит заметною струей сочувствие отрицанию всякой нравственности. Буржуазия аплодирует с удовольствием, рассматривая плечи, грудь и юбки певицы.

Культ «революции», находящийся в основе современного порядка вещей во Франции, чрезвычайно помогает анархизму, как и попирание основ религии, почти открытое преследование христианства и церкви с ее обрядами. Вместо христианства ставится наука, как будто способная заменить для человека религию. В учебниках французских школ — или полное умолчание о религии, или насмешки над церковными обрядами, и христианская мораль заменяется моралью гражданскою, сухими правилами, которые легко перевернуть, когда за ними нет авторитета. В учебнике, например, всемирной литературы, который лежит передо мной и который читается молодым людям 16—17 лет, указывается на те новеллы Боккаччо, где выставлена на посмеяние церковь и т. д.

Столетие со времени революции сделало очень много для того, чтобы воспринять учение анархизма: партии пожирают друг друга в палате, на выборах, в газетах, и усталые бойцы равнодушнее и равнодушнее стоят перед анархизмом, который в судах кричит: «Vive l'anarchie!», запутывает взрывами, угнетает своей дерзостью судей и присяжных, на улицах носит свое черное знамя (вместо красного), вламывается в церкви, смеясь над службою, разгоняет сходки социалистов и, овладев их бюро, постановляет свои решения, громко отвергает свое отечество и все его интересы, как интересы и права каждого гражданина, который не разделяет его убеждений. Всяческое насилие — его лозунг.

Газеты его издаются непрерывно: суд осуждает одного gérant (редактор), другой садится на его место[1], и газета продолжает выходить. На парижских бульварах эти газеты не продаются, но каждая продавщица достанет их вам на другой день. Сами буржуа покупают эти газеты для развлечения и не без улыбки читают, как анархист отделывает городовых, чиновников, министров, депутатов: последние, например, иначе не называются, как «les traitres» и «les escrocs». Дилетанты революции, которых много, покупая анархистские листки, способствуют пропаганде, не сознавая сами того. Бывший префект полиции Андрие хвастался тем, что он субсидировал казенными деньгами одному анархистскому листку («La

[1] Каждый неопороченный по суду и совершеннолетний француз имеет право издавать газету: он только заявляет в полицию о своем желании и вносит около трех франков пошлины. Ни залога и никаких других формальностей не существует.

Révolution sociale»), чтоб держать его в пределах приличия и науськивать на буланжистов, как на врагов республики. Он, очевидно, не разумел, что анархизм неизмеримо вреднее всякого буланжизма.

Анархистские газеты издаются на языках французском, английском, испанском, итальянском и еврейском (орган *русских* евреев-анархистов в Париже). В настоящее время считается тридцать три главных анархистских органа, имеющих до двух с половиною миллионов читателей. В Париже анархистские газеты (все еженедельные, как и большая часть в других государствах) печатаются каждую неделю в 40 000 экземпляров. В Германии анархистские газеты запрещены, но проходят через почту под невинными заглавиями, и в массе посылок и бандерольных отправлений трудно за ними следить. Ввиду такого распространения анархистских газет совершенно понятно требование Лубе о пересмотре законов о печати.

Понятна и та паника, которая распространилась в Париже во время взрыва, произведенного Равашолем, и теперешнего на улице Bons-Enfants. Тогда домохозяева не хотели пускать к себе на квартиру чинов суда, теперь соседи дома, где произошел взрыв, требуют, чтобы контора правления Кармо была выселена. Чтобы оценить эту панику, достаточно сказать, что в Париже 2410 километров публичных путей, т. е. что, если бы улицы Парижа, оцепленные с обеих сторон непрерывным рядом домов, вытянуть в одну улицу, то она заняла бы все пространство от парижского собора Notre-Dame до Казанского собора в Петербурге; 2410 километров составляют 2 410 000 метров. Равашоль взорвал всего пространство в 5 метров, а паника распространилась более чем на два миллиона метров. Я говорю, что это понятно, потому что взрывы напоминают читателям всю совокупность анархизма, все его распространение, весь тот неисчислимый вред, который он может принести и который он уже принес. В последние шесть лет было в Европе 1123 динамитных взрыва, да 502 в Америке, итого 1625 динамитных взрывов. Правда, они были незначительны и число жертв в сравнении с числом этих преступлений не велико (всего 21 <человек> убит), но ведь этим утешаться невозможно.

Когда взрывы раздаются, анархисты обыкновенно печатают, что они не солидарны с динамитчиками. Так поступила «La Révolte» Кропоткина после взрыва Равашоля. Но когда негодование общества улеглось, «La Révolte» Кропоткина поспешила принести покаяние перед анархистами-динамитчиками и выразила Равашолю свое сочувствие. После недавнего взрыва Э. Реклю написал тоже в газетах письмо, в котором свидетельствует о своем отвращении к динамитчикам.

Мне рассказывали за границей этим летом, что одна русская дама встретилась с Кропоткиным в вагоне железной дороги. Они мирно поговорили на разные темы, прежде чем она узнала, кто ее собеседник. Дело было во время процесса Равашоля.

— Как же вы можете сочувствовать этим злодействам? — спросила русская.

— Я им не сочувствую. Но среди нас есть «les frères pures» и «les frères impures» (чистые братья и нечистые братья). Равашоль — frères impure...

Какой лукавый «чистый брат»! Он проповедует всякие насилия, он смиренным слогом, как ловкий иезуит, живописует в «La Conquête du pain» все прелести будущей революции; когда народ овладеет Парижем, комфортабельно разместит-

ся в чужих домах, где живет теперь буржуа, овладеет магазинами с готовым платьем, бельем, обувью и пр. и во все это оденется, он убеждает в законности всякого переворота и умывает руки, когда «нечистый брат» начинает взрывать и нагло хвастается своим делом. Разве проповедник не отвечает за результаты своей проповеди, очень хорошо к тому же понимая, что она найдет себе последователей-практиков именно в той среде, которая и без того готова преступлениями добывать себе удовольствия и средства к жизни?

Какие меры могут остановить анархизм в его развитии? Во всяком случае, конечно, только общеевропейские.

8 (20) ноября, № 5998

XCIX

Почему какой-то дворянин воображает в своем петербургском органе, что мы не заинтересованы в твердой власти и что мы «злорадствуем» по поводу предания суду земского начальника Протопопова? Я думаю так: зачем власть, если она не твердая, если она не авторитетная? Если власть слабая, не уважаемая, не умеющая, то, по-моему, это только излишнее расположение чиновников и излишние расходы по бюджету. Кто у власти, тот должен веровать в эту власть и олицетворять ее так, чтоб она была бы действительная, чтоб она казалась и была необходимою для всех тех, над кем она поставлена. Кто у власти, тот должен стараться не о том, чтоб «отличиться», а о том, чтоб привести в сознание подчиненных, что он делает дело полезное и справедливое и в интересе всех, в интересе общего, государственного порядка. Пусть он только спица в колеснице, но эта спица должна быть здоровою и твердою. Если попадает спица из гнилого дерева, ее удаляют и заменяют крепкою. Это совершенно понятно, и тут не о чем спорить.

Я говорю, что кто у власти, тот должен думать не о том, чтоб «отличиться». Говорю это потому, что у нас этот глагол приобретает иногда не то значение, какое он должен иметь в жизни. Можно, например, отличиться широковещательным циркуляром, где много хороших слов и мало дела. А надо начинать с дела, спокойно, уверенно и разумно. Можно начать с зуботычин, с криков, раздражения и тому подобного, и думать, что именно это даст необходимый авторитет. Но всем этим можно только нашуметь и самое большее — напугать на некоторое время. Я того мнения, что настоящая власть именно та, которая не шумит, а работает в интересе дела, соображая все обстоятельства, условия и основы жизни, не рекламируя себя, не выкрикивая себя спасителем отечества. Возьмем примеры очень большие для наглядности. Царь Иван Грозный нашумел о себе ужасно, казнил и рубил направо и налево, воображая, что он устанавливает крепкую и сильную власть и, конечно, не думая, что его царствование будет началом Смутного времени. Царь Алексей Михайлович, недаром названный Тишайшим, раздвигает пределы России чрезвычайно и приготовляет ее к петровской реформе, несмотря на опасные явления в русской жизни, бунты в Москве, бунт Разина, самовластие Никона, чуму и т. д. Петр почти на два столетия затмил своего тишайшего отца, но истина выступает на свет Божий в наши дни, и невидимые для близоруких заслуги второго царя из дома Романовых выступают ярко теперь.

Смешно, конечно, вспоминать о царях по поводу земских начальников. Но им придано такое значение, что о них говорят более, чем о министрах. Скажу более: они заслонили собою все другие интересы в глазах некоторых, по крайней мере, соотечественников, точно без них Россия не жила и жить не могла. Я не удивлюсь, если кто-нибудь переделает на современные нравы «Горе от ума» и сделает Чацкого земским начальником, заставив его, наслушавшись речей в большом свете, воскликнуть в конце пьесы вместо «карету мне, карету» — «В участок мой, участок!»

Я слышал много раз о таких земских начальниках, которые делают свое дело разумно, тихо и вполне добропорядочно и приобретают необходимый авторитет и уважение. И было бы странно, если б этого не было: ведь земские начальники выбираются из сословия передового и оно прежде всего заинтересовано в том, чтоб оправдать это доверие. Но есть и другие, и между ними, конечно, тот земский начальник, который предан суду совершенно справедливо и по поводу которого «Гражданин» изъявил желание, чтоб подобные дела разбирались секретно.

Я, право, не понимаю необходимости секретов в данном случае. Секрет имеет то постоянное неудобство, что он дает повод к толкам самым безобразным и самым нежелательным. Что за неисправимая беда, что на несколько сот человек нашелся один, который все дело поставлял в расправе, которая, право же, отживает свой век.

Когда-то всех пороли нещадно, все сословия без разбора; потом порка осталась привилегией крестьян. Теперь и этой расправе наступил конец. Что за беда такая? Когда-то, даже не совсем давно, все умели пороть очень исправно. В школах, на моей памяти, во всяком классе был «секутор» и эта должность была даже в некотором роде почетная и ученик принимал ее с достоинством. Потом секуторов отменили и вручили розги сторожам. На конюшнях помещичьих усадеб пороли самым артистическим образом. Не было того солдата, который не умел бы пороть, ибо наказание розгами и «сквозь строй» было обычное и к нему так привыкли, что оно составляло зрелище, которое посещали даже дамы в колясках: я это сам видел во дни юности. А теперь пороть все разучились или, по крайней мере, все разучиваются.

По-моему, это очень хорошо, это превосходно, что не достает даже тех, которые умеют пороть. Поднимается человеческое достоинство, и вместе с тем — это надо сказать — быть у власти становится труднее, ответственнее, тяжелее. Получить авторитет при помощи порки — на это хватит всякого встречного. Но получить его, строго исполняя закон, — на это надо много такта, выдержки, способностей, а иногда и самоотвержения. Было бы неблагоразумно и даже несправедливо преследовать судом земского начальника за всякую ошибку, за всякую оплошность, за малейшее превышение власти, какой у них, впрочем, и без того много. Едва ли есть такой министр, губернатор, который бы мог сказать наедине со своей совестью, что он не делал промахов, не виноват в упущениях и ошибках. Но ведь харьковского земского начальника предали суду не за ошибки и одиночные промахи, а за целую систему действия, за то, что он свой темперамент хотел поставить на место закона. Предавая его суду, правительство хотело сказать, что этот земский начальник не оправдал его доверия и что оно не одобряет той системы, которой он следовал. Какой же тут соблазн?

10 (22) ноября, № 6000

С

Князь Мещерский уверяет, что я когда-то в одном фельетоне написал, что «розги как наказание нисколько достоинства человеческого не опозорят», и в доказательство ссылался на древние образованные народы, у которых «понятие о достоинстве человека было высоко развито, но телесное наказание для детей и для известной категории наказуемых все-таки существовало».

Я уверен, что память изменяет князю Мещерскому. Фельетоны я перестал писать лет десять тому назад. Около того же времени было нечто вроде террора изгнаний за проступки из гимназий. Возможно, что я и сказал тогда, что уж лучше высечь мальчика, чем лишать его всякой будущности. Но никогда я не мог приводить в доказательство древние народы с их рабством, с их отношением к детям. Хорошо человеческое достоинство, когда военнопленных делали рабами, когда их унижали всяческим образом и когда положение рабов было до того бесправное, что ими кормили мурен, чтоб мясо этих рыб было вкуснее! Что касается детей, то о бесправности их князь Мещерский, очевидно, не имеет никакого понятия. В всех частях света и у всех племен обычай и закон дозволяли детоубийство в такой степени, что иногда приносилась в жертву половина новорожденных. Эти жертвоприношения были особенно часты там, где боялись превышения населения ввиду недостаточных средств к жизни. Так как девочки не годились для войны, то их истребляли особенно безжалостно. В Греции и Риме отец имел право жизни и смерти над своим ребенком, и этим правом отцы пользовались довольно широко. Продажа детей была делом весьма обыкновенным у древних народов и сохранилась доселе у некоторых диких племен. У евреев дозволялась и продажа детей по желанию родителей и продажа их за долги, о чем можно найти и в «Исходе», и в «Книгах Царств». Римляне продавали детей даже после установления христианства, германцы — до самого Карла Великого. Во Франции вплоть до революции отцы могли сажать своих сыновей в тюрьму, а дочерей насильно постригать в монахини. Права детей еще очень недавно стали определять, и я никак не мог в древности искать примеров для подражания. Князь Мещерский говорит, что его отец высек его за кражу плодов из оранжереи и что, может быть, этому он обязан тем, что не сделался вором. Но наказания, которым нас подвергали наши любящие отцы и матери, не могут идти в сравнение с теми, которые рекомендует князь для крестьян. Отцы и матери наказывали любя и сами страдая, может быть, больше своего сына. Но разве помещик страдал, разве полиция страдала, разве будут страдать те, которым князь с удовольствием дал бы розги в руки? Князь Мещерский — такой человек, что убедить его в чем-нибудь нет возможности. Я тем охотнее ограничиваюсь этими строками, что глубоко убежден в том, что все его советы — на ветер. Есть вещи, которые, будучи отменены раз, не могут быть возобновлены никогда. Теперь животных перестают истязать и мучить, и не может быть, чтоб когда-нибудь человека поставили опять ниже животного.

15 (27) ноября, № 6005

CI

Правда ли, что суд присяжных будет заменен, или отменен, или изменен? — спрашивал я людей знающих, близко стоящих к источникам. Они отвечали, что это вздор, что это пустые слухи. И я вполне убежден, что это именно пустые слухи, порожденные какими-то проектами, которые сочиняются так же свободно, как романы беллетристами.

Говорили о каком-то проекте сенатора Безродного, потом еще о другом проекте уже не сенатора, но юриста, потом о третьем проекте и не сенатора, и не юриста. Вероятно, существует еще несколько проектов, самых превосходных, о так называемом «упорядочении» жизни, точно в самом деле у нас уж так все беспорядочно, что где ни тронь — сейчас дыра, которая требует затычки бумагою проекта.

Петербургский воздух по временам бывает полон проектами, которые приписываются иногда людям, никогда проектов не сочинявшим, но молчащим, потому что все-таки приятно, когда говорят, что я сочинил проект и что этот проект одобрен теми и теми и что есть вероятия, что он поступит если не в Государственный совет, то в особую комиссию, а если не в особую комиссию, то на «беседы» г-на Икса или «четверги» г-жи Игрек. У нас временами идет какая-то политическая агитация, или, вернее, личная агитация, а еще вернее — сплетническая агитация, где не находишь ни конца и ни начала, и, отуманенный ею, начинаешь верить, что не только на луне живут люди, но даже на облаках, и что не только могут существовать разные проекты о суде присяжных, но даже проекты о том, какие следует принять мероприятия наиболее действительные, чтоб солнце восходило иногда с запада, а иногда с востока, чтоб распределить его свет равномерно и безобидно для обеих сторон Невского. Я думаю, что и такой проект будет с интересом обсуждаться на «беседах» г. Икса или на «четвергах» г-жи Игрек.

Думаю, что это происходит оттого, что мы обленились, так обленились, что мыслить перестали. Тяжело, изволите видеть, утруждать свою российскую голову, которая привыкла к простейшим формам жизни. Чуть что-нибудь новое заведем — сейчас же кричим о недостатках этого заведенного, и вместо того, чтоб стараться недостатки исправить временем, подготовкою и выбором людей, исправить терпеливо и ждать лучших результатов, мы предпочитаем говорить стихом Кольцова «вороти назад». Точно прямо уж отказываемся от себя самих, от своей силы, от своих способностей, которые засвидетельствованы и народом в своей массе, и лучшими русскими людьми на всем протяжении нашей истории.

Я понимаю критическое отношение к людям, к учреждениям, к законам, понимаю критику даже придирчивую. Когда один министр уходит в отставку и другой на его место назначается — это так же просто, как проста смерть. Но когда одно учреждение заменяется другим -дело совсем иное. Тут не только люди, но и почва уходит из-под ног, и нравы подвергаются изменениям, и личность чувствует себя выбитой из колеи, к которой она привыкла. Мудрость не в том, чтоб менять учреждения, а в том, чтоб применять их к росту общества. Учреждения должны жить гораздо дольше, чем живет всякий отдельный человек, и менять их часто — значит, втискивать в головы россиян, что ничего постоянного и устойчивого нет и что самое лучшее жить спустя рукава, ничего не любить, ни во что не верить, ни за что не держаться.

Авторы всевозможных проектов и эти новейшие консерваторы, вероятно, не думают об этой стороне, которая, однако, чрезвычайно важна в общественной психологии, настраивая людей так, как настроен ныне курс — то поднимется, то опустится, и почему он поднимается и почему опускается — обыкновенному смертному и понять невозможно. В мире общественной психологии эта проектомания прямо вредна: настраивая одних на равнодушие, других она нервирует бесполезно. Нам надо войти в берега и плыть, расчищая мели, устраивая шлюзы, углубляя фарватер для прочных и крепких судов, для свободного и безопасного плавания, которое требует гораздо больше ума и способностей, проницательности и добросовестности, чем сочинение всевозможных проектов сидя на пароходе, да еще с даровым билетом.

24 ноября (6 декабря), № 6014

CII

Я хотел издавать «Новое Время» в Париже, по-французски — не перевод статей «Нового Времени», а самостоятельную ежедневную газету международного характера, с целью выяснять русские интересы и знакомить Европу с Россией, с ее литературою, искусством, театром, жизнью. Но сегодня дело не в программе газеты, а в том, что я узнал, собирая разные справки и рассчитывая стоимость издания.

В Париже не существует системы объявлений, принятой в Англии, в Германии и у нас. Объявления там очень дороги (несколько франков за строку), и так как число их не велико, то доход с этого рода объявлений незначительный. Но зато существует т. н. «publicité». Сюда входит все: и статья, которую вы хотите о себе напечатать, и библиографический отзыв о вашей книге, и рекомендация вашего магазина, и известие о вашем приезде в Париж, и известие о вечере, который вы даете, и прославление вас как певца, как певицы, как актрисы, как фабриканта и т. д. За все пожалуйте деньги, по таксе, по числу строк, вам посвященных.

«Figaro», например, прямо печатает во всех гидах и указателях, что стоит у него «publicité«. На первой странице — 40 франков за строку, на второй странице — 20 франков и т. д. Все, что относится к «publicité«, входит в самый текст газеты, и эти статьи и статейки нельзя отличить от статей редакционных. Они то подписаны каким-нибудь постоянным служащим в газете, то не подписаны. Вы читаете пять строк о том, что Поляков приехал в Париж, что это сын известного железнодорожного короля и т. д. Значит, за пять строк он заплатил 200 франков. Вы читаете десять строк о том, что какая-то дюшесса вышла замуж за такого-то господина и что венчание происходило в церкви Мадлен, — значит, заплачено за это 400 франков. Вы читаете статью «о театральном кризисе». В статье этой говорится, что театрального кризиса нет, и что театры, напротив, полны, и что парижане начинают являться в театр в смокингах, но многие думают, что смокинги дороги. Это — вздор: смокинги совсем не дороги — стоит только обратиться к такому-то портному. Статья занимает 100 строк на второй странице и, значит, за нее уплачено редакции 2000 франков. Сколько таких оплаченных строк помещается в нумере, это зависит от степени распространенности газеты и от степени общественного положения читателей ее. Так как парижские газеты почти все на

акциях и так как чем выше дивиденд, тем лучше, то газеты усердно ищут такого рода publicité.

Эти порядки всем известны, и парижане каким-то нюхом безошибочно отличают статью редакционную от статьи, которая есть просто объявление, реклама, publicité. Но Париж кишит иностранцами и они-то сплошь и рядом поддаются этим рекламам. Между французскими писателями много таких, которые возмущаются этим порядком вещей, но выносят его, как прочно установившийся обычай: «Что ж делать? Я подписываю свои статьи, меня подкупить невозможно, а до других мне нет дела». Так говорят они.

А вот то, что происходит при подписке на акции разных промышленных компаний. Рассказывал мне об этом самым наивным образом редактор одной большой французской республиканской газеты, которая существовала лет десять и теперь не выходит.

Несколько раз в году происходит подписка на акции разных акционерных предприятий, на займы и т. д. Секретарь общества, выпускающего акции, является в редакции газет со списком, где против каждой газеты проставлена та сумма, которая ей предназначена. Предприятия, даже не особенно большие, платят, начиная с 15 до 40 тысяч франков самой влиятельной газете, потом, по порядку влияния и распространенности, следуют газеты, которым назначено 20, 15, 10, 5 тысяч, и кончается список газетами, подачка которым не простирается более 1000 франков. Список утвержден директорами компании и служит оправдательным документом для секретаря и удостоверением для газеты, что ей назначена именно такая сумма. Порядок этот всем известен. Разумеется, происходят споры, но секретарь компании ни увеличить, ни уменьшить суммы подачки не может без доклада совету директоров.

— Но позвольте, ведь это же взятка, вы поддерживаете компанию за деньги и тем самым вводите в заблуждение публику.

— Я не говорю, что это хорошо, но так у нас принято. Это — не взятка, а publicité. С какой стати я стану даром печатать о компании, которая располагает миллионами и хочет получить их с публики? Это — торговое дело и я смотрю на него, как на торговое дело. Я помогаю его распространению, значит, мне надо за то заплатить.

— Но для этого есть объявления. Публика тогда будет знать, кто печатает, и ее дело — подписываться или нет. Кроме того, вы сохраняете свою независимость и можете критически относиться к компании.

— Что ж объявление даст? Пустяки. Да представьте себе, что я буду говорить против компании. Но почему ж я знаю, что из нее выйдет? Может быть, это хорошее дело, — кто их разберет, кто отличит мошенническое дело от серьезного...

— Если дело окажется хорошим, вы тогда и скажите, что оно хорошо.

— А мне скажут, что я бранил компанию прежде потому, что она не прибегала к publicité моей газеты, а теперь хвалю потому, что мне заплачено. Тут — безвыходный круг. И начинающаяся газета не избегнет расходов на подобную publicité. Начинающейся газете publicité стоит от 60 до 100 тысяч франков. Без этой затраты нечего и думать начинать...

Продолжая сообщать мне подробности *обычаев* французской печати, он рассказал, между прочим, как поступают директоры, ища publicité от новых компаний.

— Раз газета поставлена более или менее прочно, — говорил он, — я поступаю так. Является ко мне секретарь акционерной компании со списком газет и

говорит, что вот моей газете назначено 5000 франков, тогда как я знаю, что другим, 20, 25, даже 40 тысяч франков. Тогда я говорю секретарю: «Mon cher ami, ça ne va pas». Это не идет». — «Почему?» — спрашивает он. — «Да потому, что нам не надо 5000 франков. Мы — газета прочная, наш издатель — богатый человек».

Он так и сяк старается убедить. Но я твердо стою на своем: не надо. Тогда он уезжает и советуется с директорами компании: так и так, мол, не берет. Директоры соображают значение моего голоса и предлагают мне, например, 10 000 франков. Приезжает с этим предложением секретарь опять, и, судя по тому, прилично ли взять эту сумму моей газете или нет, я или беру, или опять отказываю. В обоих случаях я поднимаю значение газеты. Если я беру, то даю ему понять, что это только на этот раз, а в следующий я потребую 20000 франков. Если я не беру 10 000, то вся биржа, все дельцы узнают об этом и уж при следующем деле примут это во внимание и не предложат мне 5000 франков, а назначат сумму более крупную.

Слушая это, я удивлялся прямодушному тону речи, отсутствию всякого смущения в открытом и интеллигентом лице моего собеседника. Так это все обычно, так это прочно вошло в нравы парижской печати. И евреи и тут играли и играют большую роль и будут ее играть, несмотря ни на какие обличения и скандалы. Чем больше евреев в журналистике, тем больше связей с заправилами денежных предприятий, которые не могут обойтись без евреев, и тем эти связи легче. Разумеется, христианские души, поддающиеся таким влияниям, не Бог весть какого сочувствия заслуживают, но тут прямо борьба ловкости, смелости и соблазна золотом, в которой христианин погибает и подчиняется еврею.

Что утешительного в этих раскрытиях подкупа газет? А разве и тут есть утешительное? — спросите вы. Есть. На подкуп не идут таланты литературные. Литераторы ни с какой стороны в этом деле не замешаны, а из журналистов замешаны только дельцы. Ни одного талантливого имени нет среди этих взяточников-журналистов. Кассаньяк остается чист от всяких подозрений с «Autorité«, Рошфор остается чист с «Intransigeant», Дрюмон — с «Libre Parole». Эти три газеты, по направлению своему весьма различные, даже противоположные, держатся почти исключительно талантами своих редакторов, которые постоянно в них пишут. Называем только три, но их, конечно, гораздо больше.

Всего замечательнее, что известные нравы необыкновенно быстро прививаются. Наш соотечественник, г. Цион, например. Что он наговорил о панамском деле в конце своего письма, где он обращается к злоупотреблениям этого общества? Всем было известно, что панамское дело — мошенническое дело, но зачем говорить об этом? Так восклицает бывший профессор Медико-хирургической академии и директор «Gaulois». Значит, мошенничества должны существовать шито и крыто и, ради спокойствия честных граждан, об них говорить не следует. Почему же? Потому ли, что надо желать, чтоб под покровом тайны мошенничества развивались беспрепятственно, или потому, что в мошенничестве замешаны влиятельные правительственные лица, банкиры, евреи, журналисты и даже депутаты? Я этого не понимаю. Если открытие мошенничества роняет репутацию влиятельных лиц, то почему же французский народ своими боками и карманами должен поддерживать эту репутацию, которую они, эти влиятельные лица, не желают сохранять честным служением государству? Еще древние греки говорили: кто выше стоит, тот должен быть чище других. Но этот панамский скандал грозит республике? Но уж будто в республике нет честных людей, уж будто она

так оскудела, что остались мошенники, у которых еще есть дарования, а все другие — и мошенники, и глупцы? Очевидно, это — вздор. Но г. Цион, живя в кругу журналистов-дельцов и банкиров, вероятно, заразился их взглядами и говорит: «Ах, пожалуйста, зачем обличать мошенников Панамы, когда всем известно, что они мошенники?» Но ведь они руководят жизнью страны, ее финансами, ее промышленностью, ее политикою. Не все мошенники, о, далеко не все, и волков необходимо отделять от овец...

27 ноября (9 декабря), № 6017

CIII

Знаменитый ученый заговорил о возможности исцеления верою и заговорил таким прямым языком, который не допускает колебаний. Говорю о статье доктора Шарко, которую мы печатаем и которую я прочел всю раньше, чем прочтут ее читатели. Шарко, как известно, первым признал, что сомнамбулизм — не шарлатанство, а психическое явление, достойное тщательного изучения. Те факты, которые открыты путем опыта и изучения в явлениях гипнотизма, способствовали серьезному отношению к явлениям и в области телепатии. Вообще можно сказать, что работы Шарко и его последователей выдвинули снова вопрос о душе, который материалисты сдали было совсем в архив. А у нас, при нашем малом образовании, которое черпает свои положения преимущественно из журнальных статей, передающих якобы последние слова науки, — материалистические воззрения, как известно, получили самое широкое распространение и россияне радовались, что наконец-то они могут вздохнуть свободно: нет души, нет Бога!..

И вдруг: есть душа, есть Бог и еще дальше — вера спасает, вера творит чудеса. «Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что было со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет. И все, что ни попросите в молитве с верою, получите». Так говорил Христос, творивший чудеса, как Бог, но и людям сказавший, что верою они могут творить чудеса. И вот наука, в лице такого ученого, как Шарко, говорит, что вера спасает, что вера творит чудеса, что это несомненно, что чудо — не шарлатанство, не обман легковерных и невежественных людей, а такое явление, которое наука не может не признать, что наука и терапевтика чуда шли параллельно, что наука теперь может объяснить чудо путем естественным, но только отчасти.

Но то, что наука объясняла вчера так, сегодня она объясняет иначе, и мы не можем себе представить, где кончается естественное и где начинается сверхъестественное. Наука не со вчерашнего дня объясняет чудо, но объясняла его иначе, чем объясняет теперь Шарко. Что-то таинственное, вечное остается необъяснимым, непонятным, и только вера все себе объясняет.

Шарко говорит, что чудо всегда существовало, что обстановка чуда всегда оставалась тою же, что и ныне. Менялись религии, но в обстановке чуда менялись только подробности. Оно и понятно — душа человеческая всегда была, с ее таинственным миром, с ее необъяснимыми явлениями. Просвещение начиналось религиями. Религии заключали в себе все самое благородное, возвышенное, идеальное, к чему способны были лучшие люди известной страны, на известных

ступенях развития. Религия — самое чистое, самое полное выражение человеческой души, никогда не умирающее, породившее все самое высокое в мире. А христианство, на знамени которого написана величайшая мудрость «полюби своего врага», есть религия идеальная, и когда мир дойдет до любви к своему врагу, когда он поймет это и воспримет своей душой, всем своим организмом, будет действительно единое стадо и единый пастырь, тот пастырь, который сказал, что вера спасает, что вера творит чудеса.

Пускай наука объясняет чудо. Важно то, что и наука, практическая медицина, одна из самых материальных наук, имеющая дело преимущественно и почти исключительно с материальным организмом, эта наука говорит в сущности: верую! Вера творит такие чудеса, которые не творит еще наука, и Бог знает, в состоянии ли когда-нибудь <будет> творить их.

Нынешним летом Золя был в Лурде, на юге Франции, где находится чудотворный грот Богородицы и куда направляются сотни тысяч французских богомольцев, постоянно высмеиваемых не только всей либеральной и радикальной печатью во имя науки, но и всякой ничтожностью, с наукою столь же знакомою, как с обитателями Юпитера. Наука будто бы отрицает всякое чудо, как предрассудок, как нелепость, как вздор. И вот первый представитель европейского романа едет в Лурд, наблюдает, расспрашивает, и впечатление, на него произведенное всем виденным, глубоко потрясает его душу, и он не скрывает это. Над ним смеются, его изображают в карикатурах, но он верит своему впечатлению, и ореолом чистой поэзии облекается перед ним та девушка, которая первая получила исцеление в Лурдском гроте. Но Золя говорит о высоком впечатлении, Шарко прямо берет факты, разбирает их и, как истинный ученый, не боящийся никаких насмешек, повторяет старую истину, что «есть на небе и на земле много такого, о чем не снилось вашей философии» и что вера действительно творит чудеса. В душе человеческой и в мире остаются тайны, никому неведомые, и где кончается естественное и начинается чудесное, никто не знает, кроме тех, которые в своей самоуверенности нашли ответы на все вопросы, мучающие человечество и дающие ему высокую отраду...

28 ноября (10 декабря), № 6018

CIV

Трудно понять ту мораль, которую проповедуют некоторые наши газеты по поводу панамского дела. Одна защищает Эбрара, директора «Temps», который взял 1 600 000 франков с Эйфеля за то, чтоб подсунуть его в подрядчики «Панамы» и который гордо сказал в комиссии дознания, что не обязан никому отдавать отчета в своих действиях. Другая защищает Греви, который взял 20 000 франков за *фиктивное* участие в синдикате. «Эта доля, говорят «Новости», за фиктивное участие в синдикате по панамскому делу есть прибыль от предприятия, которое законом не запрещено. Промышленные дела совсем остановились бы (??), если б не было подобных синдикатов или отдельных личностей, рекламирующих предприятие, *искусственно* создающих ему успех». Я приглядывался к напечатанным строкам, действительно ли это так напечатано, нет ли тут какой опечатки?

Странно, в самом деле. Ведь Греви — не биржевой агент, не заяц, не профессиональный рекламист, а сенатор. Что позволяет биржевая мораль, того не может позволить мораль просвещенного человека, мораль представителя народа, законодателя. Ведь он — один из законодателей, этот рекламист. Он — сенатор! Если сенат и палата обратятся в биржи и в рекламисты промышленных предприятий, то что же это за представители народа, интересы которого сплошь и рядом стоят в противоречии с интересами биржи? Если сенатор и депутат могут брать на себя роли посредников, биржевых агентов, то чиновникам и подавно это простительно. Они ведь только исполнители, а не законодатели. И вот вам безвыходный круг взяточничества, продажи всякой справедливости, проповеди о законности произвола сильного, власть имущего. Неужели, в самом деле, «Новости» этого не понимают? Можно спорить о том, что лучше, «протекционизм» или «фритредерство», можно спорить об этом впредь до пришествия антихриста, который явится непременно из фамилии Ротшильда, но нельзя спорить о том, что сенатору и законодателю вполне приличествует роль рекламиста и посредника в двусмысленном предприятии. Мне кажется, нельзя. Но почтенная газета на этом не останавливается. Она прямо и без обиняков защищает даже такую мораль, что цель оправдывает средства. Вот ее слова:

«Не следует забывать, что к таким обширным предприятиям, как панамское, почти не приложима (?) обычная мерка заурядной морали! Если бы тот же Лессепс окончил свой труд благополучно, то успех покрыл бы все недочеты и предосудительные сделки. История Суэцкого канала, быть может, еще более богата эпизодами уголовного свойства, однако кто о них помнит? Величие достигнутых результатов подавляет собой всякие недостатки и ошибки (!)».

Вот вам. Обычная мораль почти не приложима к большим предприятиям! Обычная мораль хороша только для мошенников, крадущих несколько рублей, но для миллионеров — помилуйте — разве это возможно? Чем больше воровства, тем и благороднее. Оно и понятно: в большом грабеже есть «величие», как и в большом мошенническом предприятии. Во имя «величия результатов» делайте все, что вам угодно. Раз вы убеждены в величии результатов, не стесняйтесь, пожалуйста. Чего церемониться? Величие результатов вас оправдает. Конечно, вы можете ошибаться даже совершенно искренно в величии своих целей. Вы можете верить в призрак, можете верить просто в необходимость господства денег ради возвеличения капиталистов и соединения капиталов в одних руках. Но это ничего — кто не ошибался? Таким образом, самое «величие» может быть сомнительно и у всякого это величие на свой салтык. Вы берете взятки. Вы подкупаете. Ничего. Мы это делаем ради «величия результатов». Чудесная мораль! Но ведь она может быть распространена решительно на все — на промышленные предприятия, на гражданские и семейные нравы, на политические перевороты, на динамитчиков...

Всем известно, что русские железные дороги во время концессий создавались далеко не без подкупа, не без взяток, которые давались и брались очень бесцеремонно. В числе тех миллионов, которых они стоили, миллионы пошли на подкуп и на взятки. Но это ничего не значит — величие результатов все покрывает! Но ведь позволительно спросить, величие результатов не было ли бы лучше, если б взяток не брали и взяток не давали, если б миллионы шли только на дело и если б дороги проводились согласно всесторонне проверенным нуждам насе-

ления, а не согласно сумме кредитных билетов или промесов, которыми располагал концессионер «для убеждения»? Кроме того, самое «величие результатов» дело всегда спорное. Для одних оно — величие, для других — беда и разорение. Кого больше, тех ли, которым это «величие» приятно, или тех, для которых оно — беда и разорение? Разумеется, лес рубят — щепки летят. Но рубить лес следует подумав и даже очень подумав. А то, пожалуй, получится пустыня, где будет свободно ходить ветер и выть шакалы...

«Величие результатов!» Да ведь инквизиция преследовала «величие результатов», террор французской революции гильотинировал во имя «величия результатов»!..

Если эту поистине подлую мораль проповедовать, то камня на камне не останется, люди в зверей обратятся и в вертеп разбойников. «Величие результатов»! Да анархисты верят в «величие» своих целей, и эти цели их — рай земной, общее довольство, общее равенство, безусловная справедливость и т. д. Послушайте-ка, что они сулят! Ни в одной сказке не прочтешь о таких медовых реках и сахарных горах. Что ж, им позволительно начинять бомбы, взрывать дома, истреблять людей, уничтожать честный и гениальный труд прошедших поколений, наводить страх и ужас на жителей, проповедовать и практиковать воровство? Позволительно или нет? Ведь если вы проповедуете такую мораль, что цель оправдывает средства, что «величие результатов» все покрывает, то надо идти до конца и не бояться логических последствий такой морали...

Вы скажете, что это не одно и то же. Прорытие Панамского канала и мечты анархистов — разве это можно сравнивать? Отчего же нельзя, если цель оправдывает средства? Если правительственные лица, депутаты, сенаторы, журналисты образуются в солидарное общество для того, чтобы подкупом, воровством, обманом выманить у публики миллиарды во имя «величия результатов», если эти богатые, во всяком случае не нуждающиеся люди прибегают к личной наживе всеми средствами, разоряют сотни тысяч доверчивых людей, положивших в предприятие свои сбережения, то почему же врагам общественного порядка, врагам этой цивилизации, созданной тысячелетиями, почему Равашолям не позволительно, во имя «величия результатов», о которых они так громко говорят, соединиться в общество, грабить, воровать, убивать? И те и другие говорят о «величии» целей, тем и другим все равно, что будут жертвы, разорение, плач и скрежет зубовный. Разве теперь остались такие дураки и негодяи, которые говорят: «Мы действуем во имя разврата, во имя пожаров, во имя грабежа, во имя собственной подлости и разнузданности своих аппетитов?» Разве есть такие дураки? Нет таких дураков. Только бешеные звери не оправдываются, когда кусают. А человек вечно оправдывается. У него в распоряжении великолепные фразы. Великолепная фраза прикрывает всякое подлое дело — будь оно делом панамиста или анархиста — но необходимо же разбираться в этой фразе и показывать, что за этим великолепием скрывается зверь, его плотоядные клыки, его ненасытная утроба...

Нет, будь оно проклято, это «величие результатов», если оно требует для своего осуществления презрения к честной морали, если оно требует обманов, лжи, подкупов, грабежа достояний, разорения, динамитных взрывов, горя и слез!

30 ноября (12 декабря), № 6020

CV

Панамское дело раскрывает кулисы финансовых предприятий и те тайны промышленной и финансовой нравственности, которая якобы необходима для достижения «величия» финансовых и промышленных результатов. Вопреки некоторым моим собратьям, болезненно восклицающим: «ах, какой скандал!», «ах, зачем это?», «ах, это все враги республики!», я очень доволен этим явлением, доволен тем, что с финансовой Изиды так смело срывают покрывало и видят, что она просто проститутка. Конечно, в этом «скандале» участвуют партии, и разжигают его их взаимная вражда, но результат этих раскрытий непременно очистит воздух. Какое детское произведение «Деньги» Эмиля Золя после всего того, что дает та самая жизнь, которой он только поверхностно коснулся, как теперь оказывается! Или Вторая империя, язвы которой он раскрывал, не дошла еще до тех тонкостей разврата, какие усовершенствовала Третья республика!?

Как и в романе Золя, так и здесь является на первом плане еврей, ставящий финансы выше всего в мире и ими побеждающий. Когда Константин победил Максенция, на небе увидели крест с надписью: «сим знаком победишь». Теперь на небе воспроизводят, при помощи электричества, рекламы и объявления, и знак, который там является для верующих в финансовый прогресс, — еврей с грудою золота и с своею финансовою нравственностью.

Отчего же евреи так необходимы в финансовых предприятиях, вообще в финансах? Чуть что-нибудь финансовое, сейчас еврей, еврей и еврей. И не то, чтобы какой-нибудь большой еврей, а иногда просто первый попавшийся, какой-нибудь служащий еврейчик в каком-нибудь банке, нечто вроде Хлестакова по наглости, того Хлестакова, которого купцы богоспасаемого града называли «ваша высокоблагородная светлость г. Финансов». Хотя Хлестаков и сказал, что «такого чина нет», но этот чин есть, и им облечены многие дельцы, преимущественно еврейские. Но неужели все финансовые предприятия именно такого рода, что требуют непременно высокоблагородной светлости г. Финансова, и непременно еврея? Странное ли это заблуждение христиан или предопределение какое?

Я думаю, что это предопределение, и думаю это на основании Священного Писания. Именно в Библии, во Второзаконии, гл. 28, ст. 12, буквально сказано следующее:

«И даси взаим языком многим, ты же не одолжишися; и обладаеши ты многими языки, тобою же не возобладают[1].

Вот видите, как ясно тут предсказано господство евреев над всеми народами, благодаря тому, что они будут давать взаймы; со времен Моисея практику займов, конверсии и финансовых предприятий вообще они усовершенствовали до того, что без них ни одно денежное дело не обходится, и прямо можно сказать, что всемирный денежный рынок обретается в их руках. Они — все гг. Финансовы, умеют всюду пролезть, всюду «предложить», то «чек», то «промес», то «комиссионный процент», то «разницу». А христиане берут, притворяясь, что это в самом

---

[1] Для незнающих по-славянски привожу это изречение по-русски: «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».

деле нечто безобидное, нечто усовершенствованное, publicite, вполне культурное, вошедшее в нравы и освященное тем храмом, который называется «биржею», и теми жрецами, которые называются банкирами и биржевиками. И как не соблазниться, когда еврей необыкновенно самоуверен и не остановится перед тем, чтоб восхвалять себя самого до небес, и найти таких людей, которые бы его хвалили. Вследствие этого он в высокой степени обладает свойством «внушения», которое требует вообще большой беззастенчивости и самоуверенности. Чтоб дойти до виртуозной беззастенчивости еврея во всех этих финансовых предприятиях, христианину нужна целая школа практики, насилие над собою, над своею волею, над своими унаследованными понятиями и над своим религиозным чувством. Еврей родился и готов уже для этого. Тысячелетние традиции образовали в его мозгу, в его нервах ту особенность, которой нет у других народов, или она еще, так сказать, в колыбели. «Посредничество» — это жизнь еврея. Без нее он пропал. А «посредничество» — это целая поэма, воспевающая разнообразнейшие подвиги служения золотому тельцу, подвиги, которые вызывают на бой самого Бога, на бой в потемках, из-за угла, на бой, полный клятвопреступлений, обманов, лжи, подкупа, красноречия самого предательского и самого грубого. Евреи выработали систему посредничества превосходно и, так сказать, для всех сфер, начиная от посреднической продажи мыла и кончая заключением займов, конверсий, основанием огромных акционерных предприятий. Они воспользовались с чутьем, развитым тысячелетиями, всеми пороками человека, всеми недостатками цивилизации, всеми прорехами гражданского строя, всем формализмом и проволочками администрации. И понятно, почему ни одно денежное дело не обходится без еврея, почему они — непременные члены во всем том, что пахнет финансами, почему они друзья-приятели министров, депутатов, сенаторов, почему, наконец, они овладевают миром постепенно, но прочно:

«И даси взаим языком многим, ты же не одолжишися; и обладаеши ты многими языки, тобою же не возобладают».

И нет ничего мудреного в том, что будет когда-нибудь время, когда министры финансов во всем мире будут из евреев. Ведь есть уже король финансов, некоронованный, но могущественный, Ротшильд, король, который держит эту прекрасную Францию на узде, которому служат вернее и лучше, чем королям коронованным и наследственным; король, которому платит подати весь мир и в котором весь мир готов заискивать...

В какой мере финансовое влечение владеет евреями, доказывается тем, что как бы они ни были воспитаны, а в конце концов природное влечение берет верх над воспитанием. Г. Цион, например, был физиологом, профессором Медико-хирургической академии, а стал финансовым агентом, финансистом, устроителем займов и конверсии. А этот Корнелий Герц, игравший такую роль в панамском деле? Был химиком, хирургом — и стал оперировать финансами. Еврею надо, вероятно, обладать такими талантами, как Спиноза, Гейне, Мейербер, наш Рубинштейн, чтоб не открывать гласную или негласную кассу ссуд, не заниматься агентурой, не играть на бирже, не проводить финансовых предприятий. Только огромный талант или необычайная доброта сердца — есть и такие примеры — спасают еврея от всего того, что называется гешефтом. И христианин, волею-неволею, проходит еврейскую школу и, надо сказать, довольно успешно, до того успешно, что начинает считать ее культурною, необходимою, даже нравствен-

ною, привлекая в последнем случае за волоса «величие результатов» и, разумеется, постоянно нуждается в помощи своего несравненного учителя, ради которого он начинает чувствовать симпатии к религии Моисея и пренебрежение к учению Христа, как религии непрактической и несообразной с современностью...

Но это же панамское дело доказывает, что в этой современности далеко не все находится в распоряжении еврея, что истинно-культурное христианское чувство возмущается против этой продажности и подкупа и не хочет прикрывать мнимым «величием результатов» пороки своей администрации и своих законодателей, депутатов и сенаторов...

8 (20) декабря, № 6028

CVI

Говорят, будто подготовляется какая-то кампания газетная в пользу преобразования Государственного банка в банк акционерный по примеру Европы. Из Европы мы не берем много такого, чтоб взять бы следовало, долго не рассуждая, для того, чтоб усилить нашу культурность, и спешим брать все то, где может пристроиться «его высокоблагородная светлость г. Финансов». Слабо наше просвещение, мало развиты наши школы, нет у нас в достаточном числе ни технических, ни ремесленных школ, слабо наше общественное мнение, слаба наша наука и ее представители, а если между ними находятся выдающиеся, то они не пользуются ни надлежащим почетом, ни надлежащим влиянием, но г. Финансова мы стараемся перетащить из Европы целиком, одеть его в порфиру и висон и славить его на трубах и литаврах. Ученым человеком, талантливым и знающим теоретиком у нас пользуются еще нехотя, как бы с некоторым снисхождением: «ну, пожалуй, так и быть — скажи свое мнение, а я послушаю... Изложи там, что по науке следует»... Он изложит, ему пожмут руку, иногда дадут весьма умеренный гонорар, чтоб он не забывался очень, и сейчас на сцену их высокоблагородные светлости гг. Финансовы. С теми совсем другой разговор, другие условия — тут валяй миллионы комиссии и куртажа, потому что это уж практика, это деньги, тот «презренный металл», который вращает гордым человечеством, а не эта наука, которая сидит в скромных кабинетах и зарабатывает только хлеб насущный своим жрецам.

Странное несоответствие! Мне иногда кажется, что придет время, когда это несоответствие будут клеймить, как клеймят теперь рабство. Какие-то подозрительные люди, без образования, воспитанники банков и биржевых зал, привыкшие не считаться ни с наукою, ни с совестью, заправляют, в качестве «посредников» между государством и банкирскими домами, целыми народами, облагая их непосильными процентами и даже иногда разоряя их. Почтенные ученые, даровитые администраторы, сок интеллигенции, собираются на конференции, на конгрессы для того, чтобы решать вопросы политические, статистические, тюремные и т. д., а вопросы финансовые, заключение займов и т. д. совершаются самым первобытным образом, в таинственной тьме контор и биржевых кулис, в величайшем секрете, и людьми часто никому неведомыми или ведомыми со стороны совсем непривлекательной. Эти люди, эти «посредники» пользуются полным доверием на миллионы, из которых они раздают направо и налево, не заботясь даже об

отчетности. Да и какая отчетность может быть в секрете? Секрет есть секрет, и отчетность только выдаст его...

Мне кажется, что тут есть что-то совершенно несообразное с тем прогрессом, которым хвастается наш усталый век, с тем уважением к науке, о чем кричат многие так громко, что ставят ее на место религии, а религию провозглашают предрассудком.

Я, разумеется, могу высказывать мысли, над которыми улыбнется финансист и покачает головою. Может быть, финансовая наука именно и есть самая таинственная, самая секретная, самая сложная, требующая посредников ловких, подвижных, у которых ni foi, ni loi. Но я сужу, как профан и, как профан, удивляюсь.

Я стал удивляться еще в те годы, когда я был Незнакомцем и исследовал финансовые нравы во время господства Е. И. Ламанского в Государственном банке, в Обществе взаимного кредита и на бирже. Какая тогда шушера поднималась и обогащалась, как лезли в гору ничего не стоящие акции и как они низвергались вниз, несмотря на всевозможные содействия Государственного банка в лице его представителя, являвшегося всюду акционером и, можно сказать, олицетворявшего в самом себе идею и практику национального акционерного банка! Россияне тогда были еще совсем невинны по части биржи, но их высоко-благородные светлости гг. Финансовы бесцеремонно грабили публику и расхищали государственную экономию. Это было двадцать два года тому назад, и все даже забыли знаменитое изречение Е. И. Ламанского: «мы не созрели». Между тем Государственный банк и Общество взаимного кредита помещались вместе, через коридор, и артельщики в корзинах носили кредитные билеты из одного учреждения в другое весьма свободно и весело. Это было какое-то гульбище, какая-то распущенность и какое-то единение «зрелых» гг. Финансовых, что-то похожее на обращение Государственного банка в акционерное общество...

Однако к делу. Зачем же хотят созревшие люди обратить Государственный банк в акционерный?

Говорят, его надо отделить от Государственного казначейства, а единственное для этого средство заключается именно в том, чтоб образовать независимый акционерный банк, хоть не так, как в Англии, но как в Германии и Франции. Так, мол, в Европе, так и у нас надо, и сейчас же мы процветем необычайно. Такая же решительность как для «свободной торговли». Зачем протекционизм, зачем покровительство отечественной торговле? Объявите свободную торговлю, и все бабы оденутся в шелк и бархат, а мужики наденут смокинги и цилиндры. А мне кажется, процветание начинается не с концов, а с начал, как и наука начинается с дважды два, а не с логарифмов. Процветание капиталистическое совсем не процветание. Отдать Россию в распоряжение акционерной компании, в распоряжение дельцов и непременно в распоряжение евреев — вовсе не значит способствовать ее благоденствию, а значит только способствовать благоденствию капиталов, благоденствию и государственному влиянию денежных людей исключительно и евреев преимущественно.

Странное дело — против господства дворянства, против аристократии мы готовы вооружаться всеми силами, а против господства капиталистов, т. е. людей, торгующих только деньгами, — сохрани Бог, точно капиталисты лучше дворянства, лучше аристократии, точно у них есть какие-нибудь идеалы, и они смотрят в голубое небо, и ищут там вдохновения. Конечно, постараются всеми сред-

ствами доказывать, что можно акционерный национальный банк устроить без евреев, что это будет исключительно русский банк, что влияние правительства в нем будет могущественное и неослабное, причем не пожалеют фраз на самые льстивые чувства, ибо в этих случаях цель оправдывает средства, а цель — «величие результатов» вроде панамского дела! Вы скажете, кто ж не знает этих обманных и лживых фраз?.. Во всяком случае, на золоте не написано никакой национальности, а у кого оно есть, тот и будет заправлять делом. Эти акционерные национальные банки — одно из самых могущественных средств для победы еврейства, что ни с какой стороны нежелательно, по крайней мере, до тех пор пока мы сами не вырастем вполне, чтоб не бояться этой даровитой и сплоченной силы Израиля, за которую все те христиане, которые веруют в успокоительную мораль: apres nous — le déluge. Но если б и на русские деньги образовался такой банк, если б можно было поручиться, что ни золотника еврейского в нем нет — все равно. Это повело бы к русской Панаме, грубой и нахальной, и такой банк представил бы собою только знаменитый Скопинский банк, но выросший до облаков...

Подождем годков десяток еще и постараемся преобразовать Государственный банк как-нибудь так, чтобы он удовлетворял насущным потребностям, не обращая Россию в государство Конго, управляемое акционерной компанией. Будем жить своим умом и своими средствами. И ума, и средств у нас довольно, но надо уметь их найти.

10 (22) декабря, № 6030

CVII

Я говорил против обращения Государственного банка в акционерный. Сегодня «Гражданин» изливает на меня свое негодование в следующих выражениях:

«Не знаем, чему удивляться: нелепости известия, послужившего темою для такой выходки против несуществующего проекта, или наглой смелости в обращении этой лжи, заведомо пущенной в ход — для сенсации!

Нигде (?) и никто (?) не думает о чем-либо похожем на акционерный банк. Думают только о диаметрально противоположном: о расширении деятельности нашего Государственного банка для облегчения нашего промышленного и торгового труда, то есть думают о том, что должно возродить Россию и в чем прежде всего вся Россия нуждается, а г. Суворин пишет целый дифирамб (??) против им же сочиненной (?) лжи, с целью ею воспользоваться, чтобы, *приписывая намерениям правительства нелепость, заранее дискредитировать в легкомысленной публике серьезные планы министерства финансов по реформе Государственного банка (??)*».

По-видимому, эти строки не нуждались бы ни в каком опровержении с моей стороны не потому, что они написаны в сердитом и грозном тоне человека, власть имеющего разрешать говорить о «возрождении России» и власть имеющего запрещать говорить о чем бы то ни было, а потому, что они преднамеренно искажают мои слова и приписывают мне то, чего я не говорил. Но у нас нельзя оставлять без возражений даже явной для всех клеветы, а потому — к делу.

Я говорил о «газетной кампании» в пользу обращения Государственного банка в акционерный. Что может быть общего между «газетной кампанией» и

«серьезными планами министерства финансов», которые должны «возродить Россию», по словам «Гражданина»? Уж не вообразил ли «Гражданин», что я его разумею под «газетной кампанией»? Пусть он успокоится. Я говорил о той категории людей, которая проповедует принципы фритредерства и которая пробовала обратить Государственный банк, под предводительством Е. И. Ламанского, если не в акционерный, то в главный центр биржевых спекуляций и необузданной акционерной горячки. Мне смешно, когда «Гражданин» говорит «нигде и никто не думает» и проч. Неужели «Гражданин» такой всеведущий, что проникает во все головы российской интеллигенции? Ведь существует ученая диссертация, доказывающая необходимость этой реформы, существуют специалисты по финансовым и банковым вопросам, с мнениями которых приходится считаться и которые желают подобной реформы Государственного банка и могут проводить ее путем печати. Мне говорили из источника совершенно верного, что для этого образовался некоторый союз, и я могу назвать даже этих лиц, с министерством финансов ничего общего не имеющих...

Вот против кого я говорил. В моих намерениях не было и тени предположения о том, что *правительство* затевает реформу обращения Государственного банка в акционерный или что «Гражданин» затевает «частную компанию». Поэтому незачем было искажать прямой смысл моих слов с целью, очевидно, самой фискальной, фискальной не в финансовом смысле, а в школьном.

Впрочем, остается вопрос о «легкомысленной публике». Я полагаю, что этим термином у нас слишком злоупотребляют. Как что-нибудь не нравится — сейчас «легкомысленная публика». Уж будто она так легкомысленна, а мы так глубокомысленны? Я в этом сомневаюсь. Публика, бесспорно, растет не только численно, но и нравственно. У ней мало знаний, но у нас уж будто их так много, что мы не нуждаемся ни в чьем совете, ни в чьих поправках, ни в чьей критике? Уж будто мы владеем бесспорным правом говорить: «мое мнение единственно справедливое, потому что я хочу возродить Россию». Уж будто никто не имеет права нас спросить: а позвольте, какими это средствами и приемами? Что такое наша публика? Ведь эта публика служит на государственной и частной службе, занимается земледелием, промышленностью и торговлею, несет воинскую повинность и будет проливать свою кровь за царя и отечество, будет жертвовать своей жизнью и достоянием, эта публика, наконец, платит налоги. Я думаю, что все это она делает сознательно и что без нее во всяком случае нельзя обойтись. Почему же она непременно легкомысленна и ум ее так направлен, что только восторженное состояние князя Мещерского способно оградить ее от кривых толков? Я думаю, напротив, что именно к такому восторгу она менее всего способна относиться с доверием и что именно восторг этот она способна считать неискренним, деланным и бросаться от него в сторону совсем противоположную.

«Возрождение России»! Шутка сказать! Точно до сегодня она не возрождалась и об этом никто не беспокоился, что только нынешнему управляющему министерством финансов, С. Ю. Витте, пришла в голову эта счастливая идея? Не было целой плеяды даровитых людей на троне, на государственной службе, в литературе, в искусствах, в промышленности, которые несли свой труд, свои знания, свою жизнь на дело возрождения России? Я этому не верю, потому что это — вздор. Новое возрождение России началось с 19 февраля 1861 года и продолжается до сегодня непрерывно, благодаря прежде всего заботливости наших

государей; правда, были перерывы, был необходимый отдых, но в народной жизни, в жизни такого обширного государства, как наше отечество, без этого обойтись нельзя. Народ, как и всякий отдельный человек, может напрягаться только до известной степени. Поэтому я не верю «Гражданину», который чуть не ежедневно говорит, что только с назначением С. Ю. Витте на пост управляющего министерством финансов началось и начинается возрождение России. Я уже не говорю о том, что С. Ю. Витте всего три месяца занимает свой пост, и если б он был умнее и талантливее Петра Великого, в чем я позволю себе сомневаться до конца моих дней, то и тогда он не мог бы в такой краткий промежуток времени прибавить что-нибудь, самую малость даже к тому возрождению, которое совершилось трудом многих поколений. Как все русские люди, верующие в Россию, желающие способствовать чем кто может ею счастию, ее спокойному и честному развитию, я искренно желаю, чтоб и С. Ю. Витте, сам верующий в Россию, прибавил как можно больше к этому возрождению. Но и тогда, когда будет это сделано, я свои восторги принесу к подножию трона, а не к подножию кресла министра финансов.

12 (24) декабря, № 6032

CVIII

К Рождеству в прошлом году я получил подарок от хлебного поставщика, французского еврея Дрейфуса, в виде телеграфного извещения, что он преследует меня судом за клевету. Суд этот до сих пор не собирался. В нынешнем году я получил подарок из противоположного лагеря, от антисемитов французской газеты «Libre Parole» во главе с г. Моресом, который прославился тем, что убил еврея Майера на дуэли. Думаю и на этот раз, что черт не так страшен, как его малюют, и что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Однако телеграмма, которую получило «Новое Время» от своего парижского корреспондента 21 декабря и которая помещена у нас вчера, удивила меня очень. Более неожиданной клеветы я не чаял, хотя привык к тому, что клевета — дело обыденное и что чем она наглее, тем кажется более правдоподобной.

Куда-то исчезли 500 тысяч франков из Панамского общества, наравне с сотней миллионов, которые пошли на печать. Кто-то сказал, что 500 тысяч получили «Московские Ведомости». Потом было сказано, что не 500, а всего 250 тысяч получено этой газетой. Прошло несколько дней, и благодаря усилиям «Московских Ведомостей» в Париже комиссия дознания сказала, что у нее нет никаких документов, которые бы указывали на эту взятку. И слава Богу.

Теперь оказывается, что выплывают новые 500 тысяч франков, а, может быть, и те самые, которые сулили «Московским Ведомостям», Бог знает. Извещают, что Флоке их подарил «сотруднику» «Нового Времени». Человек, заявивший об этом, заслуживает ли доверия?

Но это вопрос праздный, господа. Кто бы ни пустил клевету, она гуляет по свету беспрепятственно, постоянно возрастая и приумножаясь до тех пор, пока что-нибудь новое ее не вытеснит. Одни повторяют клевету серьезно, другие — смеясь и как бы дружески и приветливо, третьи — сочувственно, чуть не со сле-

зами на глазах. Я уверен, что многие говорили вчера: сколько же получил Татищев и сколько — Суворин? Поделились ли они поровну, по-братски, или Суворину досталось больше? Но ловкие ребята, нечего сказать! Сомневается ли кто, говорит ли кто: этого быть не может? Едва ли. А если кто сомневается, то разве для виду, а в душе глубоко убежден, что иначе и быть не может.

Что ж тут делать? Надо доказывать, что это клевета, надо из души тянуть пышные слова и напрягать свои чувства, чтоб своим благородством тронуть нервы читателя и потрясти его? Но он все равно остывает, и через час будет повторять, что 500 тысяч — куш действительно соблазнительный, а потому как его не взять? Надо быть ангелом или дураком, чтоб не положить в карман полмиллиона.

Но за что г. Флоке мог отсчитать 500 тысяч г. Татищеву! Неужто только ради дружбы? Ведь это не свои деньги, а чужие, и г-ну Флоке, как он ни дружен с г. Татищевым, все-таки было бы выгоднее оставить их в своем кармане, заставив расписаться какого-нибудь клерка, как то не раз и бывало в этих панамских плутнях. Но он их великодушно дал. За что же? Что это за важное лицо такое, г. Татищев? Уволенный из службы дипломат, потом солдат в русско-турецкую войну и георгиевский кавалер, потом публицист и историк нашей дипломатии, удостоенный за свои труды степени доктора от одного из наших университетов. Больше за ним ничего не было. Дипломатия наша относилась к нему отрицательно, как к критику своих действий, особенно в восточном и болгарском вопросе. Ни одного органа печати за ним не стояло. Он печатал обширные статьи исторические в «Русском Вестнике» Каткова, которые выпустил потом книгами, печатал статьи в «Историческом Вестнике», фельетоны в «Новом Времени» по вопросам тоже историческим и дважды по болгарскому вопросу. Этим его сотрудничество у нас и ограничивалось. Работая в архивах, он открывал новые документы, иногда очень важные; его связи с князем Горчаковым и прежняя дипломатическая дружба дали ему знание людей и верные выводы о задачах русской дипломатии, об ее промахах, упущениях, вялости и ее приверженности к немцам. Это — главное. Немцы его возненавидели. В последние два года он вел политическое обозрение в «Русском Вестнике», то живя в Петербурге, то в Париже, не переставая работать в архивах Парижа, Вены, Лондона. Он, бесспорно, осветил своими изысканиями некоторые вопросы русской истории XIX века, в особенности русско-немецкие и русско-французские отношения, и эти заслуги его бесспорны не только в России, но и во Франции, где тоже печатались его статьи в «Revue Nouvelle» и отдельным книгами. Но ведь из этого не следует никаких обязательств для французского правительства в уплате 500 тысяч г. Татищеву.

Но за ним, говорят, стояло и стоит «Новое Время»! — Никогда оно за ним не стояло. Политический отдел в нашей газете ведет непрерывно целых десять лет одно и то же лицо, именно М. А. Загуляев, известный в дипломатических наших кружках своею приязнью к Франции, но никогда не мирволивший французскому правительству. С. С. Татищев не мог иметь и не имел на наши политические взгляды ни малейшего влияния. Поддерживая с ним приятельские отношения, нам много раз приходилось спорить, но я всегда уважал его знания, его упорную, серьезную работу, его скромную жизнь и мне никогда и в голову не приходило того, что вопросил о нем г. Морес.

И до сих пор я не могу понять, за что могли ему отсчитать 500 тысяч? Правда, он был преданным другом Франции и проповедовал в своих обозрениях

«Русского Вестника» франко-русский союз, но он стоял при этом за выгоды России, проповедуя политику «утилитарную», а не политику чувства. И кто же этого союза не проповедовал? И «Московские Ведомости», и «Русские Ведомости», и «СПбургские Ведомости», и «Новости», и наши ежемесячники, и вовсе не со времен Панамы, а гораздо прежде. Это был, можно сказать, голос всей России, голос сознательный, голос бескорыстной любви к отечеству. Ведь Панаму никто не проповедовал в русской печати, она даже прошла незамеченной среди шума буланжизма и кратковременного царствования Фридриха III. Проповедовалось дело благородное, патриотическое, завершенное кронштадтскими событиями, дело, в котором С. С. Татищеву принадлежит видная роль.

Неужели он взял за это? Если он взял, то это — скверное дело. Русский писатель должен быть чист не от подозрений, от которых никто не убережется, а от самого факта подкупа. Русский писатель должен прямо смотреть в глаза не только русским людям, но и иностранцам. Честность — великое дело для русского человека вообще и для русского писателя в особенности. Давно бы пора настать веку честности, веку честных людей. Дарования зависят от Бога, а честность — от самого человека, и если честность явится руководящим правилом в жизни частной и государственной, — многое в мире изменится к лучшему и мы ближе станем к идеальной нравственности того Христа, рождество которого празднуем ныне.

Честность должны проповедовать литература и журналистика и в этом непременно стоять выше уровня той толпы, которая нас читает. Кто может сказать: я устоял от соблазнов этой продажной культуры, тот может считать себя счастливым.

Но если г. Татищев не взял? Я верю, что он докажет, что на него взведена клевета, и я ему желаю этого от всей души, не только как русскому публицисту, но просто как человеку, который после бурной и грешной молодости вошел в рамки серьезного, деятельного и полезного человека при своей несомненной, выдающейся даровитости.

Если он не взял, то тут самая подлая политическая интрига, которая хочет панамской грязью забрызгать дружбу двух великих народов и потопить ее в этой мерзостной клоаке.

Вот почему это — серьезное дело. Вот почему мой сын, Алексей Алексеевич, по собственному почину сегодня же уехал в Париж, чтоб на месте расследовать это дело. Туда же и с тою же целью уехал С. С Татищев.

25 декабря 1892 (6 января 1893), № 6045

1893

CIX

С Новым годом, господа. Я бы желал немножко новой жизни. А вы, господа, ведь тоже желали бы?..

Если б надо было формулировать определенно свои желания, то я, по всей вероятности, затруднился бы. Так все общественные формы начали ветшать, даже парламентские, которых мы не испытали.

Но у меня есть и нечто определенное, навеваемое этим ужасным Панамским делом, которое будет еще иметь такие последствия, которых теперь и не предвидят. Мне кажется, надо бы постараться устранить по возможности посредничество в делах государственного значения, устранить тех агентов, которые помнят только свои выгоды и предлагают свои услуги всюду, особенно в делах финансовых.

Я уже говорил об этих агентах, примазывающихся ко всякому займу, ко всякой конверсии, ко всякому финансовому предприятию. Государство во всех этих случаях только теряет, будь этими агентами кто хотите — все равно. Если б сосчитать всю сумму тех комиссий, которые Россия уплатила при своих займах, то она, пожалуй, превзойдет сотню миллионов, и мы платим ежегодно за эту комиссию процентов миллионов пять, а то и более, и для погашения ее выдумываем маленькие налоги с самых маленьких людей, именуя их «гомеопатическими», и доказываем весьма свободно и непринужденно, что гомеопатия в финансовой науке — лучшая система. Оно, быть может, справедливо было бы это восхваление финансовой гомеопатии, если бы мы все были одинаково достаточны или одинаково бедны. Со всякого по полтиннику — наберется пятьдесят миллионов, а по рублю, так и целая сотня. Но разве это справедливо? Оно, конечно, соблазнительно мечтать финансисту на такую тему: из копеечек и рублей, из «гомеопатических доз» соберутся миллионы, в некотором роде океан микстуры уже аллопатической, из которой можно пролить, по всем правилам науки, на россиян всевозможные блага. Мечта, повторяю, соблазнительная, но гомеопатия в этом случае полезна только желудкам богатых людей, а не тех, которые иногда принуждены переваривать чуть не камни...

Я, конечно, плохой финансист, но мне думается, что у «настоящих» финансистов целая пропасть унаследованных традиций, за которые они держатся, как жрецы держались за элевзинские тайны, выдавая причудливые и дорогие фокусы за истинную мудрость. Что это так, доказывается тем, что в финансисты попадают сплошь и рядом люди не интеллигентные, не нравственные, презирающие христианскую мораль и усваивающие себе вредоносные оппортунистиче-

ские принципы. Бог, конечно, с ними, что они с малым нравственным и политическим багажом наживают игрою на бирже и участием в финансовых предприятиях целые миллионы. Печально то, что с репутацией финансиста они являются заправилами политической и общественной жизни, что они диктуют правила, что деньги начинают управлять народами, а не талант, не честность, не усердие к родине, не самопожертвование ей. И в печальной картине Панамского скандала самое печальное именно это — деньги управляют народом, мешок с золотом давит на головы, и они делаются бессильными, даже вредными, а без этого давления они могли бы служить с пользою своей родине.

Вот от чего храни нас Бог и наш любящий своих подданных государь. Поменьше посредников между задачей и исполнением ее. А то ведь их целая бездна, этих посредников. Уж если нужны займы, пусть министр финансов сам говорит с банкирами, сам с ними уславливается, а не через частокол посредников более или менее еврейского, западного или юго-западного направления. Ведь теперь съезжаются на свидания государи и ведут между собою прямые сношения, ведут беседы о самых важных политических вопросах. Роль дипломатии значительно ослабевает, сами государи выступают вперед, почему же роль финансовых посредников только растет, почему они составляют планы и проекты, очень чистенькие по виду и очень черные внутри?

Почему деньги такая сила, что они людей ничтожных, оппортунистов самого безнравственного пошиба, выставляют вперед и дают им такую силу? Неужели само государство бессильно взять в свои руки этот источник промышленной жизни и распоряжаться им, не подчиняясь капризам посредников и банкиров? Разве банкиры могли бы существовать без государства? Зачем вечный шепот с ними и тайные свиданья, причем роль поющего соловья играет звон золота? Почему подрядчики, невежественные, с целою системою эксплуататорских традиций, играют роль каких-то незаменимых специалистов, какой-то решающей силы во всех важных государственных сооружениях? Разве для государства хуже, если оно станет на место подрядчика, если оно своим людям поручит это и станет в прямые отношения к труду? Скажут: «наивные вопросы!» Но почему же правда не в наивности?..

Г. Цион, в качестве финансового нашего агента, получил за хлопоты по первой конверсии 600 000 франков. Эту цифру он сам мне называл, да еще жаловался на И. А. Вышнеградского, который якобы не додал ему еще 200 000 франков, которые он поставил ему в своем комиссионном счете, конечно, с аптекарским характером. Эти 200 000 франков так подняли патриотическое чувство г. Циона, что он разобрал по косточкам всю деятельность бывшего министра финансов и начертал свою программу финансов, вероятно, превосходную, но несомненно оппортунистическую. Получи он 200 000 фр., он был бы мил и любезен и не горел бы патриотическою критикою. А теперь… теперь он становится под тень Каткова и грозит в «Revue Nouvelle» русским финансам, точно у него в кармане ключ от них. И сколько таких людей, которые воображают, что ключ у них в кармане, или которые протягивают руку к этому ключу!

Я совершенно убежден, что ключ от них не у банкиров, не у посредников, а в народном труде, в поощрении этого труда, в облегчении всякой честной и производительной инициативы, в улучшении земледелия, в государственной помощи всем истинным труженикам, которые работают на себя и на государство; этот

ключ в просвещении, в общеобразовательных, ремесленных, земледельческих, промышленных школах; этот ключ в разумной финансовой системе, вполне национальной, вполне самобытной, которая была бы соображена с нуждами населения самым справедливым образом.

Дай Бог, чтоб нашли мы этот путь, чтоб вступили на него твердо и неуклонно, отрекаясь от всего того западного, что обнаружило так ярко панамское дело. Будем русскими, но просвещенными, честными русскими, которые не забывают, что есть Бог, есть христианская нравственность, есть масса бедного народа, есть Христос, которого гонят оппортунисты-дельцы, ставя свою нравственность впереди всего, но который продолжает светить своим лучезарным светом любви и братства.

1(13) января, № 6050

CX

В газетах прочел: «В первом заседании комиссии по вопросу о преобразовании Государственного банка присутствовали... автор проекта реорганизации Государственного банка проф. А. Я. Антонович».

Удивительно, как повезло юго-западу, в особенности «матери городов русских», Киеву. Что ни говорите, юг имеет чудные свойства. Помню, Альфонс Доде мне говорил: «наши талантливые люди в большинстве с юга». А что такое юг во Франции, когда в ней во всей почти нет зимы? У нас и на юге есть зима, но зато солнца там неизмеримо больше, чем у нас на севере, а где больше солнца, там и человек чувствует себя лучше, свободнее, смелее его воображение, горячей и шире его планы и светлей его вера в них.

Петербург с Петром, с своей оторванностью от России, с своими дождями и своим серым небом, с своим рукавом моря, которое идет в Атлантический океан, на запад, породил «западников». Москва с своими преданиями, с своим центральным положением, с своей нелюбовью к Петербургу породила «славянофилов». Две партии эти долго враждовали между собою, выставили бойких, смелых, талантливых, иногда глубоких бойцов и затем, вымирая и уставая, смешались между собою так, что яркая определенность их, если не совсем еще исчезла, благодаря Славянскому благотворительному обществу с своим почтенным председателем, графом Н. П. Игнатьевым, и некоторым профессорам, в особенности В. И. Ламанскому, то заметно исчезает и перестает играть роль в русской жизни.

Очевидно, настала очередь Киеву, с его святынями, почитаемыми русским народом, который наиболее и поддерживает связь Киева с Великороссией, с его смешанным малорусским и польским населением, с его еврейским посредничеством, с его сахарною биржею, с его университетом св. Владимира, с его юго-западными железными дорогами, наконец, с его окраинным международным положением. Первая столица русского царства — Новгород — погиб под ударами золотого тельца, вторая, Киев — под ударами татар, и вот, много столетий спустя, снова намеревается возблистать матерь городов русских. Давай Бог. В истории есть своя преемственность, свои перемены декораций, направлений и идей.

С Киевом начинается, быть может, новое направление, юго-западное, сменяющее западничество и славянофильство. Выступают на поприще жизни — *юго-западники*.

Если И. А. Вышнеградского можно только с натяжкой отнести к юго-западникам, то его преемника, молодого и энергичного С. Ю. Витте, который служил на юге и юго-западе, можно причислить к юго-западникам. Мне думается, что тут не одно географическое положение играет роль, а может быть, множество причин, которые и дали то, что я назвал бы юго-западничеством. Это направление характеризуется, по моему мнению, прямо жизненными задачами, не идеями, не теориями, а практикою идей, приложением их к жизни и известною смелостью. В этом отношении юго-западничество является как бы практическим осуществлением западничества и славянофильства, не в целом их объеме, не в системе, а в некотором эклектизме того и другого, эклектизме деловом. Кто внимательно читал речь С. Ю. Витте, которою сопровождается бюджет на 1893 год, тот не мог не заметить в ней довольно яркой струи славянофильства, очень симпатичной во всем том, что говорится о взаимных отношениях царя к народу. Но предпочтение косвенных налогов всем прочим — это не из славянофильства, потому что эти налоги, при их минимуме даже, способны выбрать из народного хозяйства понемногу очень много, то есть больше того, что может дать население. У славянофилов подоходный налог стоял во главе, перенося тяжесть налогов на достаточные классы. Но я думаю, что финансовая миссия С. Ю. Витте так еще молода и неопытна, что произносить о ней суждение преждевременно. Это, так сказать, еще заря новой финансовой системы, не без блеска энергии и добрых намерений.

А. Я. Антонович — профессор киевского университета, где он читал, а может и теперь читает полицейское право[1]; он доктор политической экономии, которую читал на Высших женских курсах в Киеве, он и типографщик, он и журналист, редактор и издатель ежедневной газеты «Киевское Слово». Ему 44 года. Он сын священника. Журнализму он обучался в «Киевлянине», где был деятельным сотрудником. Теперь седьмой год издает свою газету, которая очень успешно конкурирует с «Киевлянином». Лет десять тому, проездом через Киев, я с ним познакомился. Он произвел на меня впечатление человека молодого, бойкого, остроумного. Говорили мы о пустяках, и никакими знаниями и взглядами он меня не поразил. Теперь он явился в Петербург с проектом реорганизации Государственного банка. Сколько я слышал, проект его очень напоминает тот, о котором говорил у нас вчера молодой магистр финансов, г. Гурьев. Это — миллиард банкнотов. Смелость и вера юго-западника. Но что может выйти из этого — Господь один знает. И Джон Ло был смел и увлек массу французов своими бумажными ценностями и своими яркими картинами будущего благоденствия. Но в результате получилось нечто ужасное. Смелость вообще далеко не всегда города берет, особенно теперь, при усовершенствованной культуре.

Миллиард банкнотов мне напоминает «миллиард в тумане» покойного Кокорева, которым его долго дразнили и который так и остался в тумане. Г. Антонович печатает теперь в своем «Киевском Слове» роман Марии Павловны Лобановской «Дананда», в 4-х частях. Так и печатается: Марья Павловна Лобановская. Должно быть, местная знаменитость, а, может быть, просто изысканная вежливость редактора к даме. Я романа «Дананда» не читал, но заглавие его мне очень нравится. Оно напоминает проект реорганизации Государственного банка с этим

[1] В официальном Адрес-календаре показано, что он читает римское право, но это, кажется, не верно.

миллиардом банкнотов, который может уйти в бочку Данаид и никогда ее не наполнить. Когда г. Антонович, написав свой проект реорганизации Г. б., начал печатать эту «Данаиду», ему, конечно, и в голову не приходило соотношение его проекта с романом. Но в жизни такая масса случайностей и загадочных, таинственных сопоставлений, что, как ни отрицай их, они занимают мысль...

А впрочем, все от Бога. Юго-западники мне нравятся своей смелостью, своей молодой энергией и верою в свое дело. Чем больше старею, тем больше у меня симпатий к молодым силам. Им, вероятно, многого не достает, может быть, смелости слишком много и мало опыта, но они хотят жизни и, мне кажется, верят в ее обновление. И я этому верю, но желаю обновления не одного только юга, а всей России. В последние же годы южные интересы у нас значительно начинают возобладать над интересами средней и северной России. Тянет ли нас туда солнце или что другое? Или во главе администрации становятся все люди с юга, и нужды этого края поэтому им ближе? Во всяком случае, мне кажется, что юго-западники — не пустое слово...

13 (25) января, № 6062

CXI

С тех пор, как я обмолвился «юго-западным направлением», прошло довольно времени. Я в это время успел получить несколько писем и об юго-западном направлении, и о тех лицах, которые, по крайней мере географически, его составляют. Мне указали на покойного Кистяковского, как одного из выдающихся юристов; мне указали на Н. Х. Бунге, которого я совсем забыл, а он был первым министром финансов с юго-запада и министром, при котором не только отменена подушная подать, но и призваны к налогам новые общественные слои и улучшена самая система сборов. Н. Х. Бунге, сколько можно было судить по его деятельности, был вообще за большее обложение имущественных классов и этим возбудил против себя многих. У нас имущественные классы не любят платить, не у нас одних, впрочем, но у нас, кроме того, они почему-то воображают, что их-то и необходимо щадить. Конечно, поступая «политично», так и надо, ибо поддержка Ивана и Сидора, или протест Ивана и Сидора ничего не значат, тогда как поддержка или протест людей, которых называют по имени и отчеству, да еще с почетными прилагательными, много значат для всякого министра финансов, невольно ослабляя его энергию. Как вспомнишь агитацию «Московских Ведомостей» и «Гражданина» против Н. Х. Бунге, так даже удивляешься теперь ее беспощадности. Точно явился какой разрушитель и враг отечества в лице Н. Х. А на самом деле он первый заложил основы рациональной финансовой системы, которая после него только развивается. Если он действовал не совсем решительно, то тому были весьма уважительные причины в разных обстоятельствах, очень крутых и неблагоприятных, при которых он принял пост министра финансов. Но он действовал последовательно и систематически, и имя его останется в истории русских финансов как имя одного из лучших, просвещенных и благонамеренных в лучшем смысле этого слова наших деятелей.

Какая-то газета заметила мне, что я ошибаюсь относительно «юго-западников», приписывая им особенное значение, что достаточно было присутствовать на

годовщине Татьянина дня, чтобы увидеть, как много на государственных постах москвичей.

На это я мог бы указать, что разумел только направляющие государственные силы. А. А. Абаза — южанин, много лет игравший выдающуюся роль в Государственном совете и бывший некоторое время министром финансов; граф И. Д. Делянов, министр народного просвещения — южанин; И. Н. Дурново, министр внутренних дел, уроженец Черниговской губернии, бывший екатеринославский губернатор; А. В. Кривошеин, министр путей сообщения, по месту своей прежней деятельности — тоже южанин; министр военный П. С. Ванновский — уроженец Западного края, по воспитанию — москвич, по службе — петербуржец; морской министр, Н. М. Чихачев — южанин по всей своей предшествующей деятельности; С. Ю. Витте — южанин.

Я мог бы указать еще на нескольких лиц, тоже южан, которые приобрели значительную известность на местах второстепенных, и я вовсе не считаю этого явления случайным. Юг делает человека живее, подвижнее, изобретательнее. Ограничусь указанием на К. А. Скальковского, г. Ковалевского, А. А. Скальковского, В. И. Лихачева, бывшего петербургского голову, г. Алексеева, московского голову, в крови которого много южной крови по матери. Если б у нас были биографические словари, как в Германии, Франции и Англии, можно бы составить любопытное историко-статистическое исследование о значении разных климатических полос России по выдающимся деятелям в жизни государственной, ученой, литературной и художественной.

Вчера я прочел в «Новостях», по поводу беседы министра финансов с представителями банков и бирж, нечто такое, что меня решительно поразило. Дело идет об «энтузиазме» биржи, и это выражено в следующих словах:

«*Энтузиазм*, внушенный биржевому миру спокойными, логическими и доброжелательными разъяснениями министра финансов, *не поддается описанию*».

Признаюсь, что ничего подобного я никогда не читал. О, бедный русский язык, не обладающий даже такою силою, такой выразительностью и образностью, чтобы описать энтузиазм гг. Френкеля, Гольштандта, Мурани, Шварца и др. почтенных представителей банковского дела. Милый, чудный, честный русский язык, ты, обладающий силою для прославления Бога, для описания божьего мира, для выражения самых возвышенных, самых тонких и чистых чувств, ты спасовал перед описанием «энтузиазма» гг. Френкеля, Гольштандта и Шварца! Чудеса! Энтузиазм — ведь это «восхищение, страстное обаяние, восторженность», по словарю Даля и по русским понятиям; это нечто вроде того, или то же самое, что случалось с известным учителем истории, который, когда он начинал говорить об Александре Македонском, то ломал стулья. И что же привело в «страстное обаяние», в «восторженность» этих достопочтенных гг. Френкеля, Гольштандта, Мурани, Шварца и проч.?

Объяснения министра финансов, что стыдно играть русским бумажным рублем, что непристойно как русским людям вообще, так и русским банкирам с иностранными фамилиями, в частности, играть в руку берлинской бирже, или, выражаясь словами «Новостей»: «С. Ю. Витте сумел весьма убедительно в беспристрастной, спокойной речи выяснить им громадный вред, проистекающий для государства и самих биржевых сфер от спекулятивной игры русскими ценностями, направляемой из Берлина и усердно поддерживаемой на русских биржах». И они поняли и пришли в восторженное состояние!.. Чудаки!..

Невероятно, но я верю; я верю тем охотнее, что не верю в прочность энтузиазма. Это состояние у всех скоропреходящее и сменяющееся обыкновенно реакцией.

Энтузиазму я предпочел бы спокойную, доброжелательную и логическую решимость гг. биржевиков не играть на рубли, как была спокойна, логична и доброжелательна речь министра финансов. Достаточно платить тою же монетой, а уж куда там энтузиазм...

Говорят, что будет маленький налог на вывоз за границу бумажных рублей. Всего копейка с рубля. Это, конечно, мало, но если вы захотите вывезти миллион, то заплатите 10 000 рублей. Миллионы отчего же не обложить, но публику мне жаль. На таможне вообще чувствуешь себя пренеприятно и смотришь на таможенников, как на врагов, хотя бы они были безмерной вежливости. А вдруг что-нибудь откроют подозрительное, да штраф возьмут, да обыскивать станут? Пронеси меня, Боже. И когда получишь пропуск, чувствуешь себя на крыльях. А тут извольте объявлять, сколько у вас рублей, считать, ошибаться, получать квитанцию...Конечно, можно избежать этого, разменивая рубли в Петербурге и Москве, притом по курсу правильному, в Государственном банке и его отделениях. Но когда едешь за границу, всегда рассчитываешь, авось курс поднимется, и берешь с собой рубли. Кроме того, посылка рублей почтой потребует формальностей и досмотра. И все эти стеснения, благодаря этим «энтузиастам», гг. Френкелю, Гольдштандту, Мурани, Шульцу и т. д., которые играют рублями с энтузиазмом и с энтузиазмом клянутся перестать играть. Нечего сказать, энтузиасты! Но нельзя ли накрыть гг. энтузиастов и без этого налога? Разве нельзя иметь на берлинской бирже каких-нибудь доверенных людей, которые бы следили за «энтузиастами», вместо того, чтобы следить за всеми россиянами на границах и на почтах?

А впрочем, не потому ли гг. Френкель, Гольштандт и др. пришли в восторженное состояние, в неописуемый энтузиазм, что за их грехи будут отвечать все?

Бог их знает! Народ они банкирский и биржевой, и энтузиазм у них особенный. К тому же, господа, pour être belle il faut souffrir, говорят женщины. Может и нам, чтоб поднять курс, il faut souffrir...

9 (21) февраля, № 6088

CXII

«С свойственным ему легкомыслием...» Так рекомендует князь Мещерский мои несколько слов о Н. Х. Бунге, сказанные мною третьего дня. Ах, Боже мой, Боже мой, да где же это у нас глубокомыслие! Признаться, я редко встречал его на своем веку и напрасно стал бы его искать теперь. Уж не князь ли Мещерский глубокомыслен? Но его замечания на мои слова о Н. Х. Бунге не только не глубокомысленны, но прямо несправедливы. Отсылая читателей к передовой заметке, возражающей «Гражданину» по существу, я остановлюсь на подробностях.

Будто бы «ни с того, ни с сего» я заговорил о Н. Х. Бунге. Но о нем можно говорить и «ни с того, ни с сего», как о значительной силе. Кроме того, говорить о прошлом приятно уже потому, что тут чувствуешь себя более свободным, и потому, что прошлое всегда настоящему наука. Без прошлого не было бы настоя-

щего. Князь Мещерский говорит, что, кроме обложения 5-процентным сбором купонов билетов, он не запомнил других мер г. Бунге «привлечь имущие классы к обложению *больше* неимущих»! Чтоб имущие платили больше неимущих — этого у нас еще никогда не было, и сделать это скоро едва ли возможно. Но стремиться к этому необходимо, и г. Бунге именно стремился к тому, чтоб обложить «доходы» и уменьшить тяготу для тех, у которых только «труд», а не «доходы». Отмена соляного акциза, восстановление которого князь Мещерский приветствовал при первых о том известиях, была приготовлена, конечно, г. Бунге, который был в то время товарищем министра финансов А. А. Абазы, при котором акциз был сложен. Отмена подушной подати (до 50 млн) и уменьшение выкупных платежей (до 12 млн) были при Н. Х. Бунге. Если считать отмену акциза с соли (до 12 миллионов), при г. Бунге с неимущих или малоимущих было сложено налогов до *семидесяти пяти миллионов рублей*. Это очень большая сумма, и ее надо было добрать с имущих. Вот что мне в высокой степени симпатично — это забота о тех, кто обложены чрезмерно. Им надо дать отдых и возможность вздохнуть свободнее, для них, для этого ядра нашего, следует быть разборчивым в налогах, хотя бы для этого пришлось сводить бюджет с дефицитом. Кто больше и лучше сделал, Н. Х. Бунге или его преемник И. А. Вышнеградский — я не знаю, да и решить это может только правдивая история будущего. Теперь можно только сказать, что оба они управляли финансами почти одно и то же время. Н. Х. Бунге с 6 мая 1881 г. по 1 января 1887 г. т. е. 5 лет 7 месяцев и 25 дней, а Вышнеградский с 1 января 1887 г. по 30 августа 1892 г., то есть 5 лет 7 месяцев и 30 дней, всего пятью днями долее своего предшественника, но у г. Вышнеградского были лучшие условия, лучшие урожаи. Князь Мещерский, желая уменьшить значение г. Бунге, договорился до такого вздора, будто он «признал всенародно», что «средства России истощены». Я прочитал «последний отчет», на который ссылался в подкрепление своих слов князь Мещерский, и ничего подобного там не нашел.

Вот подлинные слова всеподданейшего отчета Н. Х. Бунге при представлении бюджета на 1887 г.:

«Поспешное установление новых крупных налогов не только представляется несвоевременным вследствие продолжающегося сельскохозяйственного кризиса, но может оказаться даже излишним, потому что при наступлении более благоприятных обстоятельств и некотором ослаблении сельскохозяйственного кризиса наступит снова естественный рост государственных доходов... Это тем вероятнее, что последовавшее с 1880 г. сложение акциза с соли, уменьшение выкупных платежей и отмены подушной подати не останутся без влияния в будущем на возрастание доходов от податей с потребления. Кроме того, и теперь уже заметно некоторое, хотя и слабое улучшение в поступлении доходов за последние месяцы».

В этих словах никакого «всенародного признания» об истощении средств России никто увидеть не может. Н. Х. Бунге был несчастлив тем, что в его управление были неурожаи, цены на хлеб понизились и господствовал сельскохозяйственный кризис. В этом виноват он не был. Но он был прав, ввиду такого положения дел, что не находил возможным увеличивать старые налоги или измышлять новые, т. е. еще более истощать население. «К крупным финансовым мерам, — говорит он, — следует прибегать с осторожностью и по тщательном их изучении». И он указывал на две меры, для приведения которых в исполнение были предприняты предварительные работы — это казенная монополия продажи вина

и табачная регалия, меры, не осуществленные и до настоящего времени. Из приведенной выписки из отчета Н. Х. Бунге видно, как прекрасно он понимал задачи министра финансов, не желающего прибегать ни к каким фокусам. Он рассчитывал, что уменьшение налогов с неимущих классов отразится на «возрастании доходов от податей с потребления». Он предвидел, что «с некоторым ослаблением сельскохозяйственного кризиса наступит снова естественный рост государственных доходов». А г. Вышнеградский, принявший финансы 1 января 1887 г., был необыкновенно счастлив тем, что предвидения г. Бунге вполне оправдались: 1887 год был урожайный, сельскохозяйственный кризис миновал и доходы возросли. Оставайся г. Бунге министром, урожай 1887 г. тоже был бы непременно, ибо урожай от личности министров не зависит, как известно, и доходы возросли бы и при нем. Автор известной книги «Наши общественные и государственные деятели» (Спб, 1890) говорит:

«Слух о принятии просьбы об отставке г. Бунге (1 января 1887г.), понятно, в рядах всех его противников произвел огромное впечатление и нескрываемую радость, которая, однако, была весьма и весьма умерена известием, что увольнение послужило только для повышения г. Бунге на важный пост председателя Комитета министров». Это доказывает, как дорожил государь человеком, который проводил в своей финансовой системе принципы справедливого обложения и гуманного воззрения на население, живущее исключительно трудом.

Издатель «Гражданина» заявляет о своем «глубоком уважении», которое он питает к Н. Х. Бунге. Но он лучше бы выказал свое уважение, если б не искажал его прошлой деятельности, уверяя, что он «признал всенародно» истощение средств России, и вспомнил бы с благодарностью его поистине просвещенную и широкую терпимость к мнениям печати...

Сегодня тот же журналист, говоря о мнении Маньяра из «Figaro» о «запросах» в палате, запросах, которые Маньяру не нравятся, прибавляет следующее:

«Я слышал, что недавно нечто подобное осуществилось или предложено к осуществлению у нас в высших совещательных учреждениях в виде предложения господам членам, в случае желания сделать запрос или представить возражение министру по какому-нибудь его представлению, заблаговременно о нем заявить, дабы министр мог в заседании иметь все данные для дачи им разъяснения. Нельзя не признать такую меру практическою и целесообразною (?)».

Начать с того, что «запросы» в палате совсем не то, что «вопросы» или «возражения» министру при обсуждении какого-нибудь закона. Вопросы и возражения — дело совсем естественное и необходимое; без них и обсуждение проекта закона невозможно. Но есть вопросы и возражения важные, есть вопросы и возражения неважные, детальные, хотя, правду сказать, их трудно разделить. Если министр изучил вполне законопроект, то он не может и не должен затрудняться возражениями принципиальными: он их обязан предвидеть и иметь все данные для того, чтоб дать разъяснения и встретить своими аргументами возражения. Но что касается деталей, то, конечно, министр, и изучив вполне вопрос, может не быть готовым отвечать по разъяснению всяких подробностей. Наша территория так велика, так разнообразна по климату, производствам, населению, что отвечать на все детали невозможно. И если действительно справедливо известие князя Мещерского, то оно, без сомнения, относится только именно к таким деталям, а не к основаниям, не к принципам. Иначе трудно, даже невоз-

можно будет членам совещательного учреждения предвидеть все свои возражения. Ведь во время совещания мысль работает не только у каждого члена в отдельности, но идет, так сказать, и общая работа мышления, обнаруживающаяся тем, что мысль отдельных членов учреждения *дополняется и развивается* тем, что они слышат во время заседания. Чужая мысль, иногда недосказанная, неполная окрыляет нашу мысль. Самая мыслительная способность у людей не у всех одинаково совершается, как это доказано теперь психологами и показаниями людей замечательных о способах их мышления. Одни думают про себя, приготовляют возражения или речи в тиши кабинета, у других, напротив, эта способность является во время спора, во время самого обсуждения дела: они думают, говоря и слушая. Если каждый член совещательного учреждения будет обязан предварительно заявлять министру о всех своих возражениях, даже принципиальных, то это даст слишком большие преимущества министру перед членами совещания, и справедливость потребует, чтоб были предварительные заседания, без докладчика, где бы члены учреждения могли обменяться друг с другом своими мыслями.

12(24) февраля № 6091

CXIII

Говоря об одной моей заметке, об «юго-западниках», «Киевское Слово» напоминает, «что, по словам летописца, из Киева вышла Русь, но, к сожалению, вся вышла, так что у нас теперь русского человека не сыщешь и днем со свечой».

Неужели это правда? Мать городов русских — и там не сыскать русского человека и днем со свечой. Что же это такое? Куда девался русский человек или во что он преобразился? Но мне этому не верится. Я мало знаю Киев, но там прекрасные русские извозчики из Орловской и Тульской губерний. Я верю даже в извозчиков, как в русскую силу. Журналисты — тоже в своем роде извозчики, не потому только, что они иногда ругаются, как извозчики, но главным образом потому, что они развозят идеи, понятия и факты. Если в Киеве нет русского человека, то каким же образом там процветают две русские газеты, «Киевлянин» и «Киевское Слово», которые имеют успех и хорошо издаются. Сам г. Антонович, редактор «Киевского Слова», разве не русский человек? На чем же он основал значительный успех своей газеты? Про него говорят, что будто ему предлагают в Петербурге прекрасное финансовое и влиятельное место, но он упирается, говоря, что это место не вознаградит его так, как вознаграждает «Киевское Слово». Кто же его читатели? Неужели поляки и евреи? Неужели они его поддерживают, а не русские люди? Ну, а профессора университета — разве среди них нет русских людей? А администрация края — разве и там нет русских людей? А монастырь и монашеская братия? Ведь это же русская сила и оставляет же она после себя след и на земле, помимо служения Богу?

Нет, тут что-то не так, а если это так, то ведь это — беда. На одних извозчиках далеко не уедешь, как бы ни были они крепки русским духом.

Мне думается, что вопрос этот, о котором «Киевское Слово» бросило две-три строки, заслуживает серьезного внимания, и напрасно киевские журналисты к нему не возвращаются постоянно.

Судьбе угодно было, чтоб мать городов русских сделалась не центром, а окраиной. А относительно окраин у нас господствует убеждение, которое я не совсем разделяю. На них мы слишком обращаем внимание в ущерб внутреннему великорусскому ядру. То надо их обрусить, то надо им сделать льготы, то надо провести там стратегические дороги, помимо тех дорог, которые вызываются нуждами промышленности и торговли. А так как всякая железная дорога, не исключая и стратегических, служит и интересам населения, то окраины получают преимущество перед центром. Окраины надо обрусить. А для обрусения надо просветить прежде всего, и мы тратим великие деньги на народное образование на окраинах. Если поискать, то таких преимуществ найдется немало. Мне говорили, например, что на Кавказ государство тратит до 45 миллионов, а получает от него только 18 миллионов, т. е. Кавказ дает нам дефицит 27 миллионов. Между тем, если Кавказ сравнить с ядром России, то он даст 54 миллиона, т. е. не только покроет весь расход на него, но даст 9 миллионов избытка. Было бы любопытно подвести итоги тому, что нам стоят окраины, что поглощают они в ущерб центру, ядру нашему. Я не говорю, что такая политика не должна иметь места. Она вынуждается сложными причинами. Но мне кажется, пора бы попробовать равновесия. А то ведь и теперь уже ясно, что грамотность на окраинах и благосостояние там выше, чем в центре нашем. Не пора ли позаботиться о центре и постараться поднять его так, чтоб он *силою своей культуры* притягивал к себе окраины, чтоб русские люди из центра являлись на окраинах, как несомненно культурные люди, знающие, полноправные в смысле образования общего и специального.

А то ведь, пожалуй, «Киевское Слово» и право: нет русского человека, нет его, конечно, в том европейском смысле, каковой необходим и на окраинах, и везде. С одним русским духом многого не сделаешь. Времена переменились, и требуется образование, специальности, требуется борьба не полицейская только, а образовательная, политическая борьба с равным оружием в руках. Недостаточно, что вы бесспорно русский человек по убеждениям, по характеру, по преданности монархии и династии, но надо еще образовательный авторитет. Мало той власти, которою вы облечены, необходима еще власть таланта, знания, просвещенной инициативы. Русский человек должен быть носителем культуры, он должен являться на окраинах, как власть имеющий культурную.

А для всего этого необходимо поднять центр России, необходимо его культурно крепить и возвысить. Разве довольно нам одного Московского университета и нескольких высших школ в Москве и одной в Ярославле? Нам не худо бы иметь университетские факультеты по крайней мере в Нижнем, в Пензе или Симбирске, в Саратове, в Курске, в Воронеже. Русский человек должен блистать образованием, а не отставать от окраин; русская промышленность, торговля и земледелие должны стоять как пример развития для окраин, а не завидовать им и не зависеть от них.

Вот о чем должны позаботиться «юго-западники», вот на что они должны употребить свои силы, если силы у них недюжинные, если взгляды у них широкие, русские. Прочность России, ее долголетие и ее крепость зависят от прочности центра, от притягательной, внутренней, органической силы его.

17 февраля (1 марта), № 6096

CXIV

Я не видел здесь выставки г. Антокольского, но видел ее прошлым летом в Мюнхене, где я пробыл неделю, посещая музеи и выставки с утра до вечера. На мюнхенской международной выставке я проводил в течение пяти дней часа по три, всегда заходя в комнату, где были выставлены статуи г. Антокольского. Комната эта — вовсе не зала, как говорит г. Стасов, любящий все преувеличивать. В южном выступе здания — три небольшие комнаты, соединенные коридором: в двух крайних — бельгийские и американские художники, а в средней, наименьшей — 22 вещи г. Антокольского в мраморе, гипсе и бронзе, довольно тесно размещенные и довольно плохо освещенные сверху.

Скульптор на всей выставке было 262, принадлежавших 116 скульпторам разных стран. На долю г. Антокольского приходилась двенадцатая часть всех скульптурных произведений. В каталоге выставки из 262 скульптор дано фотографическое воспроизведение только 14, в том числе одно г. Антокольского — «Не от мира сего».

Выставка его была очень разнообразна, но публикой она посещалась так мало, что я за пять дней не видал в комнате г. Антокольского и пяти человек.

Это происходило, помимо равнодушия к русскому искусству, и от того, что комнату, где помещалась выставка г. Антокольсого, можно было пройти незаметно, как и я ее не заметил в первый раз и отыскал только по плану каталога и достаточно ориентировавшись среди огромного стеклянно-железного здания выставки.

Больше всего меня интересовала фигура Нестора. Г. Стасов от этой фигуры в восторге, как и от всего остального. Мне эта фигура ничего не говорила. Вот как г. Антокольский изобразил нашего первого летописца, по словам самого г. Стасова: «Он так вперил глаза в древнюю книгу, лежащую у него на руке, сам готовый старинным пером *вписывать оттуда* древние сказания в свою тетрадь, что, кажется, войди к нему сию секунду кто хочешь в келью, он не услышит и не увидит. Это самая древняя благочестивая русская Византия сидит перед нами, сгорбившись и углубившись, с постным монашеским лицом, потухшими глазами и впалыми щеками». Так характеризует г. Стасов Нестора г. Антокольского. Но почему же Нестор был именно такой? Да просто потому, что так именно изобразил его г. Антокольский. Других оснований я не вижу.

Нестор — старик с постным лицом, с потухшими глазами, старик, который *вписывает* из древней книги сказания, старик, вперивший свои потухшие глаза в эту книгу. Почему же это — отец русской истории? Почему это — не случайный монах, *переписывающий* древнюю книгу, почему это — не ординарный компилятор, старательно списывающий древние книги, в которые и вперяет свои плохо служащие уже ему глаза? «Тип таков, — говорит далее г. Стасов, — какой и до сих пор можно еще найти у нас в России, всего чаще в старых одиноких монастырях». Значит, нечто общее, обыкновенное, доселе встречающееся, нечто благочестивое русско-византийское, ничем особенным не отмеченное. И это — отец русской истории! Это — человек «с высоким умственным превосходством», к труду которого «с таким доверием и таким благоговением привыкли относиться все исследователи русской истории от Шлецера до наших времен, чей труд по-

служил образцом и источником всех позднейших трудов!» Так говорит о Несторе известный наш историк г. Бестужев-Рюмин. Я того мнения, что г. Бестужев-Рюмин, не говоря о Шлецере, Карамзине, Соловьеве, гораздо лучше г. Антокольского и г. Стасова знаком с первым нашим летописцем, фигура которого, конечно, не раз носилась перед его умственным взором. Был ли первым летописцем Нестор или кто другой, одним ли лицом или многими написаны «Повести временных лет», все эти вопросы решались и так и сяк, но никто не сомневался в исключительных достоинствах первого нашего летописца. Нестор — легендарная личность, высокая по умственному строю, по необыкновенной проницательности, беспристрастию и вдумчивости в события. Это не был обыкновенный монах с потухшим взором и т. д., тип, который встречается и теперь. Не сам ли г. Стасов внушил этот тип г. Антокольскому, который «Повести временных лет» не только не исследовал, но едва ли может прочесть их и понять их в оригинале? Внушив этот тип художнику, г. Стасов, быть может, и восхваляет в сущности самого себя и свою творческую проницательность? Если б г. Антокольский знал что-нибудь о том, какой высокой исторической репутацией пользуется Нестор, и о том, что он был не переписчик чужих сочинений, а проницательный, образованный по своему времени человек и человек с большим литературным талантом, он, быть может, нашел бы в своей душе иной образ, иное положение и иное выражение для фигуры отца русской истории, для этой славной русской легендарной фигуры.

Г. Стасов распространяется о деталях, о столе, о туфле, о клобуке, другие даже о гвоздиках и т. п. Но будто это так важно? Нам надо лицо, фигуру, а вовсе не гвозди, не столы и т. д. Кому придет в голову описывать кресло, на котором сидит Иван Грозный того же г. Антокольского, когда его фигура такая выразительная, когда все дело в превосходно вылепленном лице, в характерной фигуре Грозного. Если б зритель и не знал, что это Грозный, он все-таки остановился бы перед этой фигурой и задумался бы над этим характером. Разве художник не был обязан так же отнестись к Нестору и отличить его в массе монахов и переписчиков не одною надписью? Нестора можно изобразить и не за столом, не в этой натуралистической обстановке, которая говорит скорее о *писце, о переписчике,* чем о летописце, в особенности о первом летописце. Г. Стасов упоминает о Пимене Пушкина и уверяет, что и г. Антокольский так же изобразил Нестора. Далеко не так. Изображение Пушкина поистине гениальное, и неудивительно, что слушавшие впервые эту сцену в чтении нашего поэта пришли в шумный восторг. И эта сцена остается одним из бесподобных шедевров нашего поэта. Пимен у Пушкина говорит:

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходит предо мною...

Это — процесс творчества; это — не старец только с постным лицом и потухшими глазами; если блеск его очей ослаб, проницательнее стали внутренние очи, и он полон творческого оживления, видений минувшего, которые заставляют его «сызнова» жить. Если страсти его потухли и напоминают о себе только во сне, то дух его бодр, ум его светел и жив и умеет разобраться в минувшем и представить «правдивые сказанья». А для *правдивых* сказаний надо очень много души, умственного света и сердечной доброты. Какой глубокий взгляд у Пимена на Грозного, как жива в его устах сцена народного бунта в Угличе! Мне скажут, что внешность этого Пимена, этого Нестора, может быть, была самая смиренная,

самая незначительная. Но, во-первых, кто же это знает? А, во-вторых, разве искусство в том, чтобы списывать с действительности, чтоб брать общие черты, чтоб быть верным только одежде, столу, перу, гвоздям, чтоб схватить общий монашеский тип? Может быть, и внешность Моисея была незначительна, может быть, и борода у него была маленькая, жиденькая? Ведь нет ни портретов его, ни описаний его наружности. Почему же Микеланджело изобразил его таким необыкновенным, таким сильным и могучим, с такой удивительной бородою? Отчего бы не взять ему общий тип еврея, прибавив условные подробности его одежды и т. д. Обыкновенный художник так бы, может быть, и сделал, а необыкновенный сделал необыкновенно. Если б и не было условного «сияния» в виде рожков на голове Моисея, если б не было известно, что именно Моисея хотел изобразить великий художник, всякий остановился бы под этой фигурой и сказал бы: «Это — великая сила, это — повелитель, перед которым падал ниц обыкновенный человек».

И скульптор обязан поступать так же, когда он думает изобразить легендарную, высокую личность, с светлым, необыкновенным умом, к которой относятся «с доверием и благоговением все исследователи русской истории», личность, имя которой становится известным всякому школьнику при вступлении в родную историю, личность, которая способствовала воспитанию исторического чувства русского народа. И вместо такого человека, г. Антокольский дает ординарную личность, общий тип византийского монаха, с потухшим взором, готового *вписывать* из древней книги сказания. Разве это не ординарный компилятор?

«Так изображались, — говорит г. Стасов, — в старых наших рукописях — евангелисты, которым образцами служили, конечно, такие же монахи, как Нестор». Это так же плохо, как все остальное. Неужели задача современного скульптора заключалась в том же, в чем заключается задача переписчиков книг и рисовальщиков евангелистов! Ведь то были ремесленники, иногда весьма искусные, но все же ремесленники, а не творцы. Если б скульптор задумал вылепить евангелиста, неужели он полез бы теперь к старинным нашим рукописям за типом евангелиста? Культура переменилась, и условия искусства не те. Г. Стасов это очень хорошо знает, но он презирает публику и считает ее за стадо глупых овец, которое он может вести куда хочет: он воображает, что ему сейчас все и поверят, что Нестор был самый обыкновенный монах, писец и переписчик, которых всегда было достаточно. По-моему, это был монах необыкновенный, как Никон был совершенно необыкновенный патриарх между русскими патриархами, а потому г. Антокольский дал нам совсем не Нестора, не отца русской истории. И восклицание г. Стасова «кто из других наших художников предпринимал когда-либо что-нибудь подобное?» — никуда не годно. Наши художники, вероятно, думали и над этим, но задача эта трудная. Г. же Антокольский взял и решил ее, как те ремесленники-писцы, о которых говорит г. Стасов.

Пусть г. Стасов не воображает также себя победителем, говоря, например, что Сократ был безобразен, а потому художник и должен изображать его безобразным. Сократ был невзрачный и курносый старик. Но если художник, задумав цельную его фигуру, его характер, не даст нам его внутренней красоты, того одушевления, когда это невзрачное, курносое лицо становилось необыкновенно выразительным, когда юношество поклонялось Сократу, когда оно не только ждало его слова, но даже его ласки и любви, то что же даст художник, кроме повторения античных бюстов? Ведь все люди во многих отношениях равны между собою; но кому же придет в голову изображать всех людей одинаково и во

всех положениях? Ведь даже, когда с г. Стасова снимают портреты и бюсты, он старается показаться лучше, чем он есть, он расправит бороду, поднимет голову, станет смотреть не как всегда. Ведь у г. Стасова могут быть такие естественные и «типические» вместе с тем позы и выражения, когда и в голову г. Антокольскому не придет лепить с него в то время не только фигуру бытописателя русского искусства, но даже просто человеческую фигуру. Если в таких простых вещах делается выбор, то как же удовлетворяться таким произведением искусства, в основе которого лежит высокая личность и высокая идея? Смерть Сократа вовсе не в его позе, а в приготовлении к этой смерти, в великом равнодушии к ней, в любви к живущим, в необыкновенном блеске и ясности его ума, когда он, ожидая яда, говорил с своими учениками о бессмертии души — одна из самых дивных его бесед. И Сократ г. Антокольского — такое же неудачное произведение, как и Нестор. До Сократа, впрочем, мне нет дела — у всякого художника бывают вещи слабые, к которым можно оставаться равнодушным, но Нестор — это наше родное, наша слава, и он еще будет ждать своего художника и выразителя, и дождется несомненно.

18 февраля (2 марта), № 6097

CXV

На мои заметки о «Несторе» г. Антокольского отвечал в «Новостях» г. Стасов. Меня удивило, что он не ругается, но, однако, сердится и все время желает уколоть меня. Я будто бы писал о «Несторе» по тому описанию статуи, какое дал г. Стасов, а его описание неверное, ибо в него вкрались грубые опечатки. Поэтому он дает *новое* описание той же самой статуи, из которого следует то же самое, именно, что статуя неудачная.

Во-первых, я судил о статуе потому, что видел ее несколько раз. Я привел описание г. Стасова потому, что он, описывая ее, восхвалял ее до небес. Если он неверно описал статую, то и восхваление неверно, ибо оно основано на неверном описании, которое, однако, оставалось неисправленным ровно *целую неделю*. Г Стасов это чувствует, а потому старается уверить довольно курьезным образом, что почти все его описание — опечатка и виноват в этом корректор. Когда поезды сталкивались, виноваты бывали не генералы и тайные советники, а самый низший чин — стрелочники. Так и тут г. Стасов — тайный советник, а потому виноват самый низший чин — корректор...

Вот какая якобы опечатка вышла. В № 46 «Новостей» г. Стасов сказал следующее:

«Он (Нестор) так вперил глаза в *древнюю* книгу, лежащую у него на руке, сам готовящийся старинным пером вписывать оттуда древние сказания в *свою тетрадь*, что, кажется, войди к нему сию секунду кто хочет в келию, он не услышит и не увидит».

А вот как г. Стасов поправляет эту, якобы опечатку, в № 53 «Новостей»:

«Сначала я написал в своем тексте, что Нестор вписывает древние сказания в *тетрадь*, потом поправил — *в книгу*, а потом так оно и было напечатано, и то, и другое зараз, только вместо *туда* напечатали *оттуда*».

Вместо *туда — оттуда*? Куда туда? Превосходная манера поправлять опечатки: г. Стасов не приводит текста, который я привожу из № 46 «Новостей», ибо

всем было бы ясно просто из сопоставления текста и поправки, что это совсем не опечатка, а подлинный, правильный текст его статьи, где корректор был весьма исправным корректором. Но это обыкновенная манера г. Стасова полемизировать. Он никогда не беспокоится о верности цитат, которые приводит, никогда не останавливается перед искажением слов своего противника и, искажая их, даже преследует бранью и хулою противника, чтоб не дать ему опомниться. Полемизировать с ним, вследствие этого, очень неприятно, ибо приходится употреблять массу времени и труда на изобличение одних его искажений. Я помню только один случай весьма удачной с ним полемики, когда г. Фаминцын привлек его к суду именно за нечестную полемику: суд приговорил г. Стасова к аресту, и он с судом уж не полемизировал, а просто отсидел и даже, кажется, несколько сконфузился.

Итак, вместо *оттуда*, надо *туда,* но остается непоправленной *своя тетрадь,* не просто *тетрадь*, как уверяет г. Стасов в своем исправлении мнимой опечатки, а именно *своя тетрадь*. Ну, да пускай будет и в *своей* тетради корректор виноват. Не все ли равно? Остановимся на *оттуда* и *туда*. Нестор не *оттуда* выписывает, т. е. не из *древней книги*, а туда вписывает, т. е. в *древнюю книгу*. В какую же такую он *древнюю книгу* вписывает? «Древняя книга» — значит, древняя, рукописная книга времен Нестора. Выходит, следуя «поправке» г. Стасова, что Нестор Антокольского вписывает в какую-то «древнюю книгу» «древние сказания». Что за чепуха! Прежде Нестор вписывал древние сказания из древней книги в свою тетрадь, а теперь вписывает древние сказания в древнюю же книгу, а статуя остается та же. Вот чудеса! Выходит, Нестор — не переписчик и не летописец, а какой-то юродивый монах, который занимался тем, что портил *древние книги* своимиписками в них древних сказаний. Вот до чего дошел г. Стасов, желая возвеличить нашего скульптура и поправить свою статью. Он дошел до отрицания и того маленького смысла, который оставался в статуе. Но, увы, в ней все обстоит по-прежнему, несмотря на «поправку» г. Стасова: Нестор «вперил потухшие (т. е. очень слабые) глаза» в древнюю книгу, стараясь прочесть в ней те строки, которые он готовится вписать в листы, лежащие над древней книгой, т. е. прежнее «описание» г. Стасова верно.

Мне жаль г. Антокольского не потому, что он вылепил совсем плохую, ничтожную фигуру Нестора — с кем не бывает греха, — а потому, что у него такой неловкий, такой странный и даже несколько нелепый адвокат, сегодня говорящий одно, а завтра другое об одной и той же статуе. Но и хороша статуя, если она так неясна, так неопределенна и сбивчива, что даже такой «авторитетный» ценитель, как г. Стасов, такой вдохновитель и апологист г. Антокольского никак не может уразуметь ее!

Бедная статуя!

А я вышел «лжепатриотом» за то, что мне она не понравилась. Так г. Стасов меня называет. Но кто же г. Стасову дал имя патриота за то, что ему Нестор нравится? Неужели г. Антокольский уже раздает дипломы на патриотизм? Это чудесно было бы! Но ведь я доказываю, почему мне Нестор не нравится, и так доказываю, что г. Стасов принужден отказываться от своих слов и «сочинять» новое описание статуи. Ведь это факт.

Сознавая свое поражение, он начинает говорить, ни к селу, ни к городу, что я в музыке ничего не понимаю, что я «закорузлый итальянский меломан». А кто

меня хвалил в «Северном Вестнике» за статью об «Игоре» Бородина? Хвалил меня г. Стасов. Но раз я не прихожу в восторг от ничтожной статуи Нестора, я никуда негоден. Г. Стасов даже поучает меня, что летопись Нестора по большей части только «свод» чужих рассказов и записей и восклицает: «не история, слышите ли, г. Суворин?» — Слышу, батько! Как не слыхать, когда вы говорите! Знаю, что летопись Нестора по большей части «свод». Но всякая «история», генерал, есть прежде всего «свод» чужих рассказов, записей, документов. Я не называл Нестора «историком», но «отцом русской истории», и это имя признано за ним всеми. Да если правду сказать, у нас до сих пор нет еще настоящей русской истории, и она выходит из «свода» только понемногу, да и то только в монографиях, в некоторых отделах своих. До сих пор даже не решено, кто были варяги — Русь. Во всяком случае, «свод» Нестора не то, что изображает г. Антокольский, у которого Нестор вписывает «туда» или «оттуда». Пусть себе вписывает туда, сюда, оттуда, отсюда — лучше не будет, дело не в том, откуда он вписывает и куда, а в самой фигуре, ничего не говорящей. Для «свода» надо было изучение, проникновение в смысл событий и в связь их. Нестор изучил их, усвоил себе, знал наизусть, держал все в уме, прежде чем составился его «свод». Это был талантливый, выдающийся человек, и по образованию, и по уму, и по характеру. Вот в чем ошибка г. Антокольского. И напрасно, ох, напрасно, г. Стасов говорит, что Нестора «не потрясали и не волновали» никакие события, «даже самые жестокие, варварские» и волновать даже «не *должны* были, по его званию и жизни». Боже мой, что за вздор! Да неужели г. Стасов не понимает, что это невозможно, что монах самый византийский не есть еще деревяшка или кусок мрамора, с комком вместо бороды, как Нестор г. Антокольского. Одно дело волноваться и потрясаться и *выражать* в то же время это волнение и потрясение, и другое дело волноваться и потрясаться и *не выражать* это волнение и потрясение тотчас, а дать ему успокоиться, уложиться в памяти и уме, уметь простить, уяснить себе, или увидеть во всем волю Божию. Монахи называли себя «ангелами на земле и небесными человеками» — неужели за то, что режь, руби и коли при них — а им и горюшка мало? «По званию и жизни, они не должны ни волноваться, ни потрясаться!» Господи, отпусти Владимиру Васильевичу, не ведает, что говорит! У Пушкина есть прекрасное выражение о летописце: «описывать не мудрствуя лукаво». *Лукаво не мудрствовать* — это свойство художника и прекрасное, дорогое свойство нашего летописца, который был человеком, а не деревяшкой, а потому волновался, как человек...

Нападает г. Стасов на меня и за то, что я упомянул о «натуралистических» подробностях. Но когда нет главной фигуры, нет идеи, то мало толку в натуралистических подробностях. У г. Антокольского, кроме того, они спорны. Что это за стол, за которым сидит Нестор, почему Нестор сидит именно за столом с наклоненной крышкой, как столы в школе? Чем доказывается, что такой именно стол был у него в келье? Почему Нестор сидит на подушке, положенной на скамью? На таких подушках сидели князья, цари, но монаху как будто неприлично, особенно строгому монаху. Почему Нестор повесил четки свои под крышку стола? Монахи свыкаются с четками, как женщины с браслетами. Они им не мешают при письме и чтении. Наконец, ведь Нестор в келье; в келье есть икона, и монахи вешают четки на иконы, как я это видел много раз, живя в молодости у родственника своего, монаха, около месяца. Я делаю эти замечания потому, что нату-

ризм — сам по себе, без идеи, без освещения, да еще при такой легендарной личности, как Нестор, — чистый вздор, да и сделать натуралистические подробности — на это довольно одного ремесла! В Италии ремесленники такие выделывают вещи из мрамора, что чудо. Чего же г. Антокольскому таким вздором хвалиться? Я ведь сказал, что Грозный этого скульптора сидит на кресле, но кому приходит в голову любоваться креслом и определять стиль его, когда самая фигура Ивана IV поглощает все внимание зрителя и критика? А Нестор так ничтожен, что на первый план выступают натуралистические подробности и поглощают фигуру. Все дело, генерал, в этом...

Однако, будет. Укажу, в заключение, г. Стасову, что неверно его описание, будто около стола, за которым сидит Нестор, «на полу навалены книги». На полу только одна книга, которая притом навалена быть не может. Вероятно, опять корректор. Бедовый это человек в «Новостях». Надо же было народиться ему, чтоб испортить всю музыку г. Стасову!

Желаю г. Стасову от всей души здоровья и бодрости.

1(13) марта, № 6108

CXVI

Г. Стасов опять отвечает и отвечает по обыкновению бесподобно, повторяя все то, что он говорил прежде, и с теми же высокопоставленными приемами полемиста. Таким манером можно спорить до второго пришествия или до отшествия на небо. Пусть г. Стасов продолжает, а я замолчу. Пусть г. Антокольский будет выше всех, пусть Микеланджело перед ним мальчишка, а Канова — щенок, тем лучше. Пусть Нестор выше Моисея, тем славнее для нас: Нестор побил Моисея. Пусть г. Стасов будет велик, как все Стасовы, поставленные один на другого, пусть он будет деликатен, как институтка, обворожителен, как г-жа Рекамье, глубок, как Лессинг, остроумен, как Вольтер, решителен, как Семирамида, мужествен, как Леонид, тем лучше, тем почетнее для России. Зачем спорить, когда спор так сердит г. Стасова? В наши годы это вредно. Я ему благодарен за следующее указание: я принял за четки не четки, а «тесемки или шнурки с шариками на концах, служащими закладками в книге». Но и за все остальное я ему признателен. Я сказал «крышка» стола. Г. Стасов говорит, что никакой «крышки» нет, крышка может быть только у стола с ящиком, а если ящика нет, то и крышки нет, а есть просто доска. Ну, Бог с ней, с крышкой — пусть у стола не будет крышки. Не все ли это равно? Ведь не я, а Нестор сидит за столом без крышки. Но Нестор мраморный, а потому и ему это все равно. Значит, прекрасно. Я сказал, что строгому монаху как будто и неприлично сидеть на подушке. Г. Стасов говорит: «На древних наших миниатюрах люди сидящие *всегда* сидят на скамьях с подушками». Ну и пусть *всегда* сидят на подушках, ангелы с ними. Я знаю, что на древних миниатюрах и на образах люди сидящие сидят и на подушках, и на ковриках, и без подушек, и без ковриков, просто на голых скамьях. В этом можно убедиться, просмотрев, например, рисунки в известном сочинении Ф. И. Буслаева «Исторические очерки русской народной поэзии и искусства», Спб, 1861. Но Буслаев, конечно, сам это сочинил, миниатюры поддельные, образа поддельные — все на-

стоящее и неподдельное только у г. Стасова. Пусть все сидят на подушках, пусть и г. Стасов сидит на подушке отныне и до века. На подушках гораздо приятнее.

Я сказал *от себя*, что «Нестор старается прочесть в древней книге то, что готовится вписать в листы». Г. Стасов восклицает: «Я никогда этого не говорил. Все это — клевета, выдумка и ложь». Я мог бы сказать ему: «*я это* говорил, а не вы, и вам я этого не приписывал». Но зачем? Говоришь свое мнение — он кричит: «Я этого не говорил; это клевета, выдумка, ложь!» Приведешь *его слова* — он кричит: «опечатка, опечатка!» Пусть так и будет. Он лучше знает. Да и кому какой вред от этого?

Относительно своей полемики с г. Фаминцыным г. Стасов говорит, что его присудили к аресту за то, что он назвал Фаминцына «лгуном». «Я рассказывал (в суде), говорит он, ... что кто лжет, тот и есть лгун, и если за это взыскивать, то надо всю Россию посадить под арест». Это справедливо, и г. Стасов, конечно, недаром сидел. Я и тому верю, что «суд его оправдал» и вместе с тем суд его «осудил». Обыкновенных людей либо осудят, либо оправдают, а г. Стасова суд и осудит, и оправдает вместе. Такой уж он человек: он исключение из общего правила. Дай Бог ему здоровья!...

4 (16) марта, № 6111

CXVII

Н. А. Алексеев скончался сегодня ночью. Мне его глубоко жаль, жаль эту энергическую, честную, деятельную душу. Как он мужественно встретил смерть, как спокойно смотрел ей в глаза и как много страдал. Не говорю об его домашних, о жене его, о матери — у него, говорят, жива еще мать. Такая смерть — страшная драма...

И что за беспутная, за безобразная жизнь наша! Какой-то проходимец, новохоперский мещанин, ничего не делающий и ничего не умеющий делать, может быть, действительно сумасшедший, а, может быть, полоумный маньяк, придет к вам и на вопрос: «Что вам угодно?» ответит выстрелом, и ваша полезная жизнь, посвященная идеям и любимому делу, кончена. Какой-то бессмысленный, непроходимый невежда, вообразивший в своем мещанском скудоумии какую-то связь между электричеством и инфлюэнцей, берет револьвер и стреляет в человека, которого он мизинца не стоит. Это решительно возмущает совесть, и болит душа от этой бессмыслицы, от этой возмутительной случайности.

Вы скажете, не то ли же самое болезнь, катастрофа на железной дороге и всякая другая случайность, такая же тупая, как этот новохоперский мещанин? Нет, это не то же самое. Зависимость от того, что всеобще, как болезни, зависимость от таких сооружений, которые устроены для пользы людей, — совсем не то, что зависимость от какого-то маньяка, который в своей воробьиной голове решает вопрос вашей жизни и связанной с нею общественной деятельности. Вы виноваты перед этой набитой глупостью чучелой только в том, что неизмеримо выше его. Бревно бьет вас по голове, бревно в образе человека, бревно, способное взять в руки револьвер, уничтожает жизнь, которая дорога была многим.

Это ужасно, ужасно и возмутительно!

И это бревно поступает на испытание людей науки, оно будет есть и пить, дышать воздухом и, пожалуй, высказывать свое неудовольствие на то, что к нему недостаточно почтительно и вежливо относятся. Не жалея свою жертву, это бревно жалеет себя самого и бережет свою вредную для людей жизнь и, убивая, знает, что останется жить. Ничего нет выше собственного «я», своего мелкого эгоизма в этом бессмысленном бревне, которое воображает, что и в него Бог вложил бессмертную душу, что он не бесчувственное дерево, только и годное на то, чтоб его срубить. Ни искры любви к человеку, к человечеству, к родине, ни искры понимания своих человеческих обязанностей, ни искры бессмертной души, которая дрогнет перед преступлением, даже гораздо меньшим. Иначе что такое душа и что стоит это тело, в которое заключена такая презренная, мелкая, лишенная всякого подобия Божьего душа! Душа муравья, который неутомимо работает и никому не вредит, гораздо лучше, чище и возвышеннее этих людских, отвратительных душ.

Умирать, конечно, когда-нибудь надо, но тяжко думать, что жизнь выдающихся наших людей зависит от таких маньяков, не стоящих и Божьего солнца, которым пользуются все твари земные!..

Но он — жалкий сумасшедший, скажут мне. Однако он не бросился с выстрелом на такое же ничтожное бревно, как он сам. Он выбирал, подготовлялся к своему преступлению, он метил на лицо выдающееся, популярное, он нагло бравирует своим убийством. Этой вменяемости довольно. Но его еще будут испытывать, производить два следствия, адвокаты защищать, прокуроры обвинять, интеллигенция научная, судебная, административная займутся этой презренной особой, этой поврежденной или мелкой душонкой, стоящей ниже в порядке Божьего создания того муравья, которого вы давите без сожаления ногой.

Как подумаешь, удивительно создал сам себя человек! Ведь если б оценить все горе, которое принес этот новохоперский мещанин, если б оценить усилия ума, знания, какие ему будут посвящены, если б оценить все то время, которое возьмет он у суда, у следователей, у присяжных, у врачей и проч., если б оценить все это, то получилась бы такая сумма, которая спасла бы от нищеты целую сотню полезных и хороших людей.

12 (24) марта, № 6119

CXVIII

Никак не ожидал, что несколько слов, сказанных мною по поводу убийства Алексеева, удостоятся стольких комментарий в некоторых газетах. Это «слишком нервно», это «проповедь варварства средневекового», «публицисты не должны писать нервами», «органы законной власти, конечно, не будут смущены этой варварской проповедью», и т. д. и т. д. Благодарю покорно, господа. Но я никогда не мог избавиться от моих нервов. И что такое нервы? Другими словами — это чувства. Я бесчувственным никогда не был и никогда не мог подчиниться диктовке холодного разума. Меня ужасают некоторые явления нашей жизни, я не могу спокойно присутствовать при этих драмах и передаю свое впечатление, а вы рассуждайте — я не мешаю. Если я вношу слишком много нервов, вносите побольше ума и, может быть, мы дополним друг друга, друг другу поможем...

Когда бесполезно тратится жизнь, когда револьвер подсекает ее в одно мгновенье, я спрашиваю, для чего, с какою целью, из-за каких причин? Никто не знает. Для меня очень мало говорит врач, который объясняет убийство сумасшествием, манией величия, манией преследования, а самоубийство — «мгновенным сумасшествием». Я — не психиатр, для которого все ясно, но я даже думаю, что и для психиатра совсем не все ясно, и его ясность весьма подозрительная, потому что она условлена данными науки настоящего времени. Он и стоит на ней, на этой науке, но он ведь не все знает, он не знает того, что завтра откроет опыт, новое наблюдение. Его объяснение холодно, как лед, может быть, разумно, но оно не дает ни слова утешения, ни луча надежды на то, что эти явления не повторятся. Завтра случится то же или подобное, и завтра так же немы будут и бесцельны объяснения науки.

А факты останутся фактами, драмы — драмами, а дорогая жизнь, иногда только что расцветающая, яркая, благоуханная, жаждущая света и солнца, окруженная любовью матери, отца, любовью всех близких — вдруг исчезает от предательской пули. И ее нет, этой жизни, она угасла навеки, и бездыханное тело лежит недвижно, глаза закрыты, и тайна смерти мучит живых отчаянием, сокрушает безвыходным горем, а рыдания матери заставляют рыдать и посторонних. «Не плачьте, не отчаивайтесь — он не страдает, он — в бесчувственном состоянии», — говорит врач у одра умирающего, предсмертное хрипение которого потрясает все существо даже посторонних. «Не плачьте, не отчаивайтесь!» О, Боже мой, как это мало, ничтожно, как это ничего не говорит. Ушла душа, любовь, ласки, ушла милая речь, ушло счастье, которого и так мало на земле, а вам говорят: «Не плачьте, он не страдает!» Да разве в этом дело? Мертвым легче, чем живым, и живые бессильны объяснить что-нибудь в этом ужасе, который свалился на них, как гром, и который долго будет терзать их жизнь и поднимать слезами их грудь...

Кто оценит чувства близких, когда какая-то роковая, бессмысленная смерть берет человека здорового, молодого, крепкого, полного надежд? Кто оценит и поймет эти чувства, обыкновенно не выносимые на улицу, но тяжкие и ужасные, когда ноющее и потрясенное сердце вспоминает о минувшем счастье, зовет усопшего и мучительно болеет тем, что он унес с собою в могилу и чего уж никто и никогда не увидит? О, если б заговорили эти милые уста, если б вспыхнул хоть на минуту потухший взор, если б чудо совершилось... Но чудо не совершается, и душа плачет в этих сиротах, в детях, в женах, в отцах, во всех, кого уязвила роковая потеря, и плачет душа особенно горько и трогательно в матери, которая в тоске своей клевещет на себя, воображая, что любовь ее, безграничная и самоотверженная, была недостаточна сильна...

Я говорю вообще о насильственной смерти и о тех, которые остались с нервами, с чувством, с любовью. Я совсем не пессимист. Я радостей желал бы всем, я желал бы слез от радости, а не слез от горя. В нашей жизни и так много горького, чтоб пессимистическими стонами делать ее еще горше. Мне надоел бесчувственный натурализм с его холодным анализом даже в даровитых литературных произведениях. Он пришибает в человеке душу, а не возвышает ее. Он вываливает в изобилии грязь жизни и приучает к грязи и не ведет душу в те области, где светятся надежды, где блещут идеалы жизни, где добро и радость. Юмор, всесмягчающий юмор исчез, осталось только раздражение и злоба или бессмысленный, бесцельный смех оперетки. Я готов звать к жизни всех и говорить, что, ка-

кова бы ни была она, она лучше смерти, она всякому, даже самому несчастному все-таки даст несколько радостей и потрясет восторгом и благодарностью к Творцу его душу.

Что мне говорят о сумасшедших, о домах для умалишенных? Разумеется, скверно, что сумасшедшие гуляют на свободе. Но сколько бы вы домов для умалишенных ни построили, сумасшедшие будут гулять по улицам. Что мне читают наставления о том, что я будто бы проповедую средневековые нравы? Разве я не сказал, что «удивительно создал себя человек»? Сколько внимания положено на то, чтоб преследовать и наказать преступление, как мало все мы обращаем внимания на то, чтоб предупредить несчастие... «Средневековые нравы!».. А разве это не средневековые нравы в устах писателя: «Я его отделал!» Он его отделал!.. И он этим хвастается, ища рукоплесканий своей толпы... Плачьте над сумасшедшими, объявляйте невменяемыми при всяком сомнительном случае, стройте дома для умалишенных — разве я могу и желаю помешать этому? Я говорю только, что ничтожнейшая тварь, бесчувственное бревно становится сейчас же важной особой, как только эта тварь переходит в разряд убийц и преступников. О добродетели, молчат или в ней сомневаются, или над нею иронизируют, а о преступлении никак не наговорятся, никак им не налюбуются...

16(28) марта, № 6123

CXIX

РЕВОЛЮЦИЯ «БУЛЬ-МИШ»

— Le Boul'Mich, numero special, dix centimes, — кричат разносчики на бульваре Сен-Мишель на все голоса, среди толпы, которая простирается до десяти тысяч человек. «Boul'Mich» — сокращение Boulevard St.-Michel, который находится за Сеной, в Латинском квартале. Парижане любят сокращения; когда мы добросовестно выговариваем на своем длинном языке «велосипед», они называют этот инструмент просто «вело».

«Boul'Mich» называется и студентская еженедельная газетка, посвященная стишкам двусмысленного содержания, кокоткам Латинского квартала и сплетням самым дрянным, по большей части непристойным. Но сегодня «Буль-Миш» выпустил экстраординарный номер с заглавием: «Pour le venger» («Чтоб за него отомстить»).

Вы знаете события, приведшие к этой бульмишской революции. В «Quat-z-Arts» (Quatres arts) один из учеников Ecole des beaux arts устроил бал, на котором присутствовало до 3000 человек. Ученик этот Гильом. В этом зале известные кокотки и танцорки публичных сходов, вроде Гулю (мамзель Вебер), сидели в ложах, покрытые только газом, среди молодых и старых развратников, распивая вино. По данному знаку они сбросили с себя газ и, становясь на стулья, являлись публике голые, или совсем, или покрытые только сеткою, как на картине Рошгросса «Взятие Вавилона». В ложах шла целая оргия, по образцу вавилонскому. Голые девы бросали цветы в публику и получали цветы и сами; потом на столе явилась голая женщина, которую пронесли по залу в свите тоже совершенно голых женщин. Все это выло, кричало, принимало разные позы — и все это называлось «художественным балом». В самом неприличном журнале — «Courrier

Francais» — явилось подробное описание этого торжества. На беду, на бале был сенатор Беранже, имя которого связано с весьма гуманным законом. По этому закону суд имеет право постановить решение по делу подсудимого, но не приводить его в исполнение. Подсудимый и осужден, но избавлен от наказания. Зато при повторении преступления суд имеет право усилить наказание, как рецидивисту. В уголовной практике это важно в том отношении, чтобы *первое* преступление, иногда совершаемое без умысла или вследствие каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, не ввергало преступника в тюрьму, из которой он является потом в общество уж совершенно испорченным человеком. Закон этот не мешало бы ввести и у нас, где тюрьмы так переполнены.

Итак, Беранже был на этом балу и сообщил об его безобразиях кому следует. Надо знать, что вместе с Жюлем Симоном он — основатель лиги, преследующей безобразия, наглые нарушения нравственности на улицах и в публичных садах. Началось дело. *Эти* дамы и господа показывали на суде, что они вели себя прилично, что, конечно, они были голые, но в чулках; господа завертывались в «художественность», публика смеялась на суде. Суд приговорил виновника Гильома и некоторых других к штрафу в 100 франков, но применил к ним закон Беранже, т. е. этого штрафа они не заплатили. По-видимому, эти «художники» и «художницы» должны бы быть довольны. Но известная часть печати высмеивала Беранже с его моралью. Молодежь Ecole des beaux arts вступилась за своего товарища и устроила демонстрацию против Беранже и Жюля Симона. Тысячи две человек учащейся молодежи, среди которой было множество всякого праздного люда, готового принять участие во всяких беспорядках, прохаживалась по улицам, крича: «conspuez Beranger, conspuez Jules Simon». Они побывали на площади Оперы, на площади Мадлен, в улице Ришелье и проч. Полиция старалась воспрепятствовать этой процессии и схватывалась с манифестантами в драку. В то время, когда мы видели эту манифестацию на площади Оперы, в то время, когда эта молодежь защищала распутных товарищей и распутных женщин, приглашая парижан поднимать на смех пожилых людей, знающих, до чего дошел парижский разврат, в это время в больнице Шаритэ происходила драма: там умирал молодой человек, купеческий приказчик Нюже, убитый в свалке с полицией у кафе Аркура, находящегося на бульваре Сен-Мишель, в нескольких домах от Сорбонны. В этого несчастного кто-то пустил спичечницей, попав ему в голову; он упал без чувств и умер от кровоизлияния в мозгу. Эти спичечницы — фарфоровые, тяжелые, в форме усеченного конуса, встречающиеся и у нас везде, особенно в трактирах. Смерть молодого человека, совсем не принадлежавшего к манифестантам, сидевшего в кафе с своим приятелем, подняла целую бурю в печати и среди молодежи. Полиция здесь отличается действительно замечательной грубостью и неразборчивостью в средствах. Вероятно, это естественное наследие революционной практики и того правила, что всякие манифестации явятся опасными, если не уничтожить их в начале. К тому же полиции мало, и вежливостью не всегда можно взять, в особенности с толпой в несколько тысяч. Как бы то ни было, подымался град обвинений на полицию. Свидетели показывают, что полицейский агент бросил спичечницей в толпу и убил Нюже. Сегодня студенты толпой пришли к палате и требовали смещения Лозе — префекта полиции. Им сказали, что Лозе смещен, и они разошлись. Вчера они сделали постановление,что *останутся в революции*, пока Дюпюи не выйдет в отставку

вместе с Лозе. Молодежь, таким образом, претендует на право смещать министров и выгонять в отставку кабинет.

В 7 часов вечера вместе с художником Кравченко я отправился в кафе Аркура и провел на бульваре Буль-Миш до половины 12-го.

Кафе это выходит на площадь Сорбонны и бульвара С.-Мишель. Оно из лучших, прибежище состоятельного студенчества, могущего платить 2 фр. 50 сант. за завтраки и 3 фр. за обед. Множество кокоток студенческих тут же обедают и промышляют вечером. В 8 часов вечера были уже толпы, и все места в этом кафе и других, особенно в La Source, были заняты. В La Source студенты собирали деньги на похороны Нюже. В 9 часов являются отряды молодых людей, которые проходят по тротуару и по улице, напевая: «Conspuez Loze, conspuez Loze», все одну и ту же фразу бесчисленное число раз. Зрителей гораздо больше, чем участников беспорядков. Они становятся на стулья, лезут на фонарные столбы, где-то слышится какой-нибудь особенный крик. Полиции негде не видать. Очень жарко. Шум, свист и крики все больше и больше наполняют воздух. Множество кокоток сидят у кафе или фланируют, то одиноко или с мужчинами. Другие сидят с мужчинами обнявшись и целуются. Жидовка Сара, известная в квартале, как продавщица цветов на наличные и в долг и как сводня, предлагает назойливо всем цветы. Две кокотки ссорятся. Собирается толпа и провожает свистом и гиком наиболее кричащую.

— C'est la femme de Beranger! (Это — жена Беранже!),— кричит кто-то.

Смех и свист.

— Boul'Mich, edition speciale, dix centimes, — постоянно звучит.

Покупаю «Boul'Mich». Редакция заявляет, что Лозе подал в отставку, но что этого недостаточно: студенчество требует отставки Дюпюи и приглашает товарищей к манифестации во время похорон. Язык газеты вызывающий, дерзкий. Тут же стихи «Проклятие», начинающиеся так:

Es tu content, Loze? de ton bestial sourire
Tu vas glacer de tes valets...—

и т. д., величая его «imbecile», «brute» и предавая проклятию поколений и веков. Стихотворение кончается так:

Mieux vaut un corps tout nu qu' un grand voile de sang.

Из-за голого тела затеялась вся история. Слышу, что толпа пошла манифестировать перед квартирой Беранже и Ж. Симона, где полиция ее разгоняла. Молодежь, участвовавшая в манифестации перед Палатой, бросала пятаки через решетку двери, крича: «Панама! Панама!» депутатам. К этим крикам присоединялись другие, требовавшие отставки Лозе и Дюпюи. Одного полицейского студенты избили перед Палатой.

Мы едем по бульвару вниз. Улицы плотно заняты людьми. Экипажи проезжают шагом, постоянно останавливаясь. На омнибусах пассажиры стоят, перекидываясь с толпою словами. В окнах домов масса зрителей. В 10 часов кафе La Source закрылось. Я стоял у киоска и смотрел на волнующуюся толпу.

— Отойдите отсюда, — сказал мне молодой человек, — сейчас будут бить киоски.

Действительно, через минуту задребезжали стекла в одном, в другом, в третьем киоске; некоторые газовые рожки потухли. Разбитые стекла приветствовали рукоплесканиями. Кто-то заметил, что это убыток городу Парижу и что киоски ничем не виноваты. Его проводили криками и угрозами. У молодых людей толстые палки в руках; иногда выделяются на них шляпы и стены сотрясаются от неистовых криков в воздухе. Возбуждение сильное, но полиции не видать. Я думаю, что она будет благоразумна и не явится вовсе, и дело обойдется битьем стекол в киосках. Но в половине 11-го являются отряды полицейских, человек по 10. Они идут, кто серьезно, кто улыбаясь. Поднимается адский крик. Огромная толпа устремляется вслед за ними, ругаясь и угрожая.

— Conspuez (клеймите) Loze, conspuez Dupui. Assassins, assassins, assassins (убийцы), — кричат повсюду. Но полицейские продолжают шествие в Rue des ecole, которая мигом вся запружена народом. Еще несколько киосков трещат и звенят. Вдруг кто-то говорит, что едут жандармы. Толпа сломя голову бросается бежать, давя друг друга. Но жандармов еще нет. Они еще у моста, перед бульваром С.-Мишель, стоят выстроившись. Полицейские прячутся среди лошадей. Толпа кричит жандармам «убийцы!», орет и свищет. В это время толпа перед префектурой полиции кричала то же самое, ругая Лозе и министров и бросая в окна камни. Множество окон было разбито. Терпение полиции лопалось. Возбуждение росло, а возбуждение действует заразительно; в толпе поневоле каждый чувствует себя участником и сочувствует ей или радуется, как радуется зритель в театре, когда убивают злодея. Начинаются свалки в разных местах. Горят киоски. Шум страшный, крики, свист. Заложив два пальца в рот, к краям губ, молодая грудь свистит, как локомотив. Есть раненые. Говорят об убитых.

4 июля. Сегодняшние газеты возбуждают толпу против полиции г. Дюпюи. Описания преувеличенные. «Париж предан убийцам Лозе», — «Новые убийства», — «Убийства Дюпюи», — «Бунт в Париже», — «Множество убитых». Вот перечень заглавий, крупным шрифтом, в газетах, во всю их ширину. Подробности рассчитаны на ненависть к полиции. Говорят о многочисленных убитых. Но это несправедливо. Есть раненые — и серьезно. Несколько сотен молодых людей арестовано. Несколько сот ранено. Ранено несколько десятков полицейских. С утра на бульваре С.-Мишель толпа полицию встречает камнями и палками. Трое агентов ранено. Камни, приготовленные для мостовой, складывают на возы и увозят. Боятся баррикад. Ждут похорон Нюже, но, говорят, тело его будет увезено тайно. Вчера отец несчастного молодого человека в разговоре с сотрудником «Journal des Debats», прямо сказал, что сын его погиб жертвой манифестации и что он не желает манифестации над его трупом. И какой манифестации, из-за голых проституток! Знамение ли это времени? Надоело ли парижанам слабое, безличное правительство и все эти скандалы, начиная с Панамы? Но воздух напоен электричеством. Центр жизни перенесен в Латинский квартал, где целый день необыкновенное движение. Получаются из провинциальных университетов сочувствия. Провинциальная молодежь приезжает сюда. На небе собирается гроза. Авось она поможет успокоению.

27 июня (9 июля), № 6223

CXX

Париж, 5 июля.

Надо было видеть, что происходило третьего дня и вчера в Париже, чтоб судить, сколько горючего и недовольного материала в этой столице. Кто мог ожидать, что мальчишеская выходка студентов, направленная против сенатора Беранже и в защиту голых телес женщин, поднимет целый бунт? Если это не революция, то несомненный бунт. Студенчество тотчас было устранено элементом недовольных, анархистами, сутенерами, всяким отребьем, готовым на всякие беспорядки. Полиция, конечно, тут, как и везде, является козлищем отпущения. С одной стороны, от нее требуют порядка, энергии, с другой — вежливости и деликатности. Понятно, что она может исполнять только первое и исполняет грубо, не разбирая правого и виноватого. Как она беспощадно толкает, как берет за шиворот, с каким остервенением рубит она голыми саблями и кулаками — это надо видеть, чтоб понимать негодование тех, которые попали под ее удары, и эти крики «убийцы», и затаенную радость зрителя. Среди толпы множество равнодушных, любопытных, которые пришли на зрелище самое возбудительное и сначала, когда страсти еще не разгорелись, довольно безопасное. Можно стоять на тротуаре, сидеть за стаканом прохладительного в кафе, фланировать и все видеть и слышать. Опасность является позже, когда наступает полиция, во главе с комиссаром, который приказывает разойтись, и сейчас же подчиненные его выхватывают из ножен сабли и, как звери, бросаются на толпу. Толпой сейчас же овладевает удивительная паника: она орет, как угорелая, и, не щадя друг друга, спасается вспять по улицам и переулкам, в магазины и подъезды, если они отперты. Я решительно недоумевал, глядя на это бегство толпы, на этого «стрекача», который она себе давала. И еще более удивлялся тому, как она снова сбиралась, овладевая минутою свободы от преследований, и начинала как ни в чем не бывало орать, свистать, кричать в размер и такт: «assassins, assassins», или овладевала омнибусами, отпрягала лошадей, валила омнибус на бок, и он падал, стуча и гремя разбившимися стеклами, при общем хохоте и диких криках. Иногда кучера сами помогали. Толпа бросается отпрягать лошадей, а кучер говорит:

— Позвольте. Лучше бы я прежде повернул его поперек улицы — тогда он лучше защитит.

Но толпа не ждет. Омнибус падает. А кучер опять с советом:

— Разбейте колесо. Тогда его нельзя будет поднять, а иначе полиция легко его поднимет.

Ломаются скамейки, выдергиваются железные решетки, которыми окружены все деревья у своего основания, поднимаются мостовые, деревянная и каменная, железные решетки разбрасываются по мостовой, чтоб воспрепятствовать кавалерии, лошади, которой спотыкаются и ушибают себе ноги, ломаются киоски и сваливаются тут же. Работа кипит, и через несколько минут улица загреждена, и за баррикадой — радостная, гогочущая, свистящая и кричащая толпа. Проезжает муниципальный советник в карете. Останавливают. Он протестует: «Я, — говорит, — стою за студентов против полиции и везу важные сообщения». — «Ладно, — отвечают,— иди пешком, у нас поважнее дело». И советник грустно удаляется. Но вот крики «полиция!» приводят толпу в беспамятство, и она, бросив в полицию что попало под руку, нанеся несколько ударов и получив вдвое и

втрое, разбегается с невыразимым шумом. В толпе почти всегда и женщины, и дети, и среди криков слышатся стоны и плач. Эта смесь отваги и трусости вполне объясняется французским характером, живым, быстро воспламеняющимся, где впечатления сменяются и возникают быстро. В отдельных случаях женщины бросались на полицейских и вцеплялись в их физиономии. Участие учащейся молодежи было незначительное. Она расхаживала с толстыми палками, с иммортелями в петличке и, видя, что дело принимает серьезный характер, устранялась и ограничивалась ролью зрителя. Я думаю, что в глубине души она расканвалась и сознавала, что неповинный человек благодаря ей лишился жизни. Почтить его похоронами было желанием искренним. Это являлось как бы искупительной жертвой. И вчера толпы молодежи наполняли улицу Жакоб, где больница Шаритэ и где находился труп убитого. Толпа стояла чинно, хотя говор был большой.

Приехала туда и та кокотка Сара, которая отличилась своими телесами на балe Quat-z-Arts. Сара — теперь самая известная женщина в Париже, говорили молодые люди, указывая на довольно изношенное лицо этой девицы. Студенты заставляли кучеров снимать шляпы, крича: «шапо, шапо». Кучера иногда не хотели исполнять этого приказа, но седоки снимали шляпы и раскланивались.

С похоронами Нюже правительство медлило — допустить их торжественность или нет? Оно льстило студентским депутациям, боясь, что студенты снова нахлынут к Палате: депутаты боялись этого третьего дня, когда студенты бросали медяки за решетку, крича: «воры», «Панама» и «чекары» (от «чек»). Но к вечеру оно решилось разогнать студенчество и приказало полиции вступить в управление больницей и тайком увезти тело Нюже. Так и сделали. Человек 500 агентов били и рубили толпу среди страшного крика и проклятий, а возмущенные жители улицы Жакоб бросали в полицию из окон тарелки, стаканы, бутылки, обливали их жидкостью, и это еще более раздражало полицию и одушевляло ее. В разных местах устроились баррикады, на бульваре С.-Жермен — целых четыре, на углу улицы Ренн и других, пересекающих тут бульвар. Схватка была жаркая. Во время паники бегущей публики начался грабеж и поднялись крики:

— Уважайте собственность! Respectez la propriete...

Несколько русских, в чинах, поехали смотреть «революцию» и, попав в свалку, побежали. Стоит офицер. Думают, станем около него. Только что стали они, как сам офицер пустился бежать от полиции — и шибче других.

В нескольких кафе по соседству анархисты пели «Карманьолу» и выплясывали. Явились красные печатные листки с заглавием: «La Marseillaise des etudiants» — довольно аляповатые стихи, а на обороте: «Précieux conseil aux sportsmen» — как верно выигрывать на конских скачках. Курьезное сопоставление, не правда ли? Но явились войска. Перед их глазами строили баррикады и кричали: «Vive l'armée». Офицеры брались за козырек. Войска никого не били, предоставив эту грязную работу полиции. Когда толпа валила омнибусы, войска ограничивались тем, что снова впрягали лошадей. В одном месте, около баррикады, толпа взрыла торцовую мостовую, только что смоченную дождем, и разбросала торцы в разные стороны: кавалерия погрозила издали, но не двинулась, и толпа кричала: «Vive l'armée» и аплодировала. Хотя прошедший дождь смягчил духоту, но не охладил рвение толпы. То там, то сям воздвигались баррикады, потом начались пожары: обливали керосином омнибусы, киоски, скамейки, сваленные в кучу, и зажигали. Потом стали разбивать фонари и гасить газ. Магазины в этой части города давно были закрыты, многие не открывались целый день. На улицах стало

темновато. Кавалерия стала прогонять толпу, явились пожарные с резкими звуками трубы, и толпу стали гнать куда попало, награждая сабельными ударами полицейских и тумаками. Свалка пошла невообразимая, и от описания ее я воздерживаюсь. Все эти картины насилия и расправы препротивны. Точно охота на людей, и люди ведут себя, как гонимые звери на облаве, бросаясь в разные стороны, а полиция — как рьяные охотники, стремящиеся не пропустить случая захватить зверя, утащить его в кутузку, прибить, надавать тумаков и даже нанести рану. У охотников кровожадность и ожесточение вырастает, грубейшие инстинкты зверя с какой-то неудержимостью и ненужностью. Полиция накинулась на интернов больницы Hotel-Dieu, стоявших у дверей, но свиставших. Интерны (врачи, не имеющие еще права лечить вне больниц) только что перевязывали раненых и, разумеется, не питали к полиции нежных чувств. И полиция набросилась на них, надавала тумаков, двух арестовала. Охотники, что и говорить, и как тут судить, кто прав и кто виноват, но все это противно, противно и противно.

Проезжая часу во втором ночи по месту побоища, я видел разломанные киоски, вырванные решетки, взрытую мостовую, кучи камня и торца и патрули конные и пешие на каждом шагу. Улицы были едва освещены; вырезывался серп луны между зданиями, красный и большой, с одной стороны точно изрубленный ударами сабель. Извозчика пришлось оставить и идти пешком, постоянно спрашивая позволения у патрулей, которые пропускали в одном месте, в другом — направляли в боковые улицы. Нас было несколько русских, между прочими известный беллетрист с женою. Полицейские, на вежливый вопрос: «можно ли пройти?», иногда отвечали тем, что повертывали вас руками за спину назад и не удостаивали слова. Было жутко среди этого множества полиции и военных, пеших и конных, точно в неприятельском стане. Везде пахло гарью, и дома, и вся полуразрушенная обстановка улиц смотрели неприветливо, мрачно. По Сен-Жерменскому бульвару, по Rue des écoles полиция еще продолжала охотиться за людьми в соломенных шляпах; они бежали крича, полиция — за ними. У Notre Dame мы повернули к набережной, по мрачной уличке, указанной нам патрулем. Человек двадцать в соломенных шляпах юркнули мимо нас и из окон послышались энергические крики: «assassins, assassins» и пронзительные свистки...

Мы прошли через мост к префектуре, где целые массы военных. Им придется не спать ночь, и они стоят мрачные, молчаливые... Никому не было весело в этот день в этих кварталах, где были начатки настоящей революции, с баррикадами, керосином, ранеными, с проклятиями и ненавистью, сильною ненавистью. Многие парижане вспоминали Коммуну, и эти дни оставят после себя воспоминания.

Зато Большие бульвары, Елисейские поля оставались в своем всегдашнем виде. У кофеен сидит масса женщин и мужчин. Иветт Гильбер поет в «Ambassadeur» свои веселые гривуазные песенки, в «Jardins de Paris» кокотки выплясывают канкан, поднимая юбки до пояса и ноги выше головы, и две танцорки складывают на этой высоте ступни своих ног, придерживая их руками, и стоят неподвижно целую минуту, как бы отдавая честь ногами присутствующей публике...

Живи, веселись и пей радость жизни. Не из-за этого ли все эти бунты, и эти удары сабель, и эти баррикады, и эти поднятые вверх ноги тех самых женщин, из-за которых произошла вся эта революция? Может быть, это только начало? От грошовой свечки восковой Москва сгорела. Причины глубоки, но поводы всегда ничтожны...

28 июня (10 июля), № 6224

CXXI

Садясь в вагон в Берлине, я взял с собою вышедшие немецкие газеты и нашел в них на первой странице императорский указ, подписанный на яхте «Гогенцоллерн», в Коу, о 50%-ном возвышении пошлин на русские товары. С истинной немецкой аккуратностью и подробностью выписаны все товары, получаемые Германией из России, и против каждого поставлена новая пошлина. Оказывается, что мы вывозим очень много. Немецкие газеты высчитывают наш вывоз в Германию в 500 млн. марок, а свой вывоз к нам в 150 млн. марок.

Я был в Париже, когда впервые появились слухи о применении к Германии максимального тарифа. Несколько наших крупных торговцев хлебом относились к этой предполагаемой мере с большим смущением и неодобрением. Они говорили, что терять привычный рынок даже на время очень невыгодно. Привычка во всяком деле играет важную роль, в торговом особенно. Временное запрещение вывоза во время голода вредно повлияло на торговлю хлебом. То, что выписывалось у нас, стали выписывать из других мест, завязались новые связи, проложены новые пути. Конечно, храбрость города берет, но всегда надо знать, во-первых, что будешь делать с городом; во-вторых, стоило ли брать самый город? Так говорили гг. торговцы и, разумеется, на долю министра финансов выпадало при этом достаточно сильной критики.

Из Парижа я уехал, останавливаясь по разным городам, которые лежали мне более или менее по пути в Питер. В Берлин я приехал в тот самый момент, когда все газеты, от мала до велика, говорили о максимальном тарифе. Нашего посла в Берлине не было. Остальной персонал мало что знал, вероятно, да и не интересовал меня. Я по опыту знаю, что всего лучше обращаться к высшим, к главам, а не к начальникам канцелярий. Иногда, конечно, подчиненный знает больше своего начальника, но зато скажет он всегда меньше и сказанное облечет в канцелярскую форму. Мне очень жаль, что графа Шувалова не было. Это один из тех людей, в котором русские чувства и русский ум соединены с глубоким тактом европейца. Приходилось довольствоваться газетами и случайными разговорами. Газеты из себя выходили. Очевидно, в Берлине не ожидали, чтобы русское правительство поступило так решительно, а если ожидали, то думали, что оно не выдержит борьбы и что если насесть на него со всем арсеналом газетной ненависти и угроз, то оно уступит. И вдруг, с нашей стороны, за одним решительным ударом другой, третий. Русское правительство почти заперло высокими пошлинами вход в наши порты немецким судам. Когда я был в Берлине, об этом только говорили на основании слухов и телеграмм, полученных из Одессы. Признаюсь, я сам не верил этому: мне казалось, что это уже чересчур, что борьба принимает слишком острый характер. Но внутри, в глубине сердца, я радовался этой решительности, которую мы давно не пробовали. Что будет, кто осилит в этой борьбе двух государств, неравных по своей культуре? Радовалось чувство, вопреки, может быть, уму, который рассчитывает шансы этой таможенной войны. Ум именно говорил, что никто и ничто нас не толкает и что, если хорошо разобрать дело, то все-таки остались лазейки даже в этой решительности: Финляндия осталась свободною от максимального тарифа, хлеб может быть направлен туда, порты ее открыты немецким судам. Так как Германия вывозит много во Францию и Австрию, то товары ее пойдут к нам через эти страны, особенно через Авст-

рию. И наши товары через Австрию могут проникать в Германию. Самих немцев Австрия злит: вот союзница, которая играет двусмысленную роль и которая воспользовалась прекрасно и торговым трактатом с Германией, в ущерб последней, и воспользуется, в ущерб ей же, максимальным тарифом. Во всяком случае, война эта будет стоить многих миллионов обеим странам. Зачем это, для чего?

Современникам вообще трудно судить о том, что происходит в данный момент. На все есть своя история, как на все существуют причины. Но судить о том, что может сделать эта таможенная война с Германией, может быть, всего труднее, ибо, по моему мнению, это вещь очень чреватая и все будет зависеть от обстоятельств очень сложных, от самой жизни во всем ее многообразии. Пока есть один важный вопрос, который следует решить тотчас же: выдержим ли мы эту борьбу так же последовательно, как начали, т. е. настаивая на том, чтоб Германия сделала нам те же уступки, которые существуют относительно других стран? Мне кажется, да, мы можем выдержать. Мы несомненно выросли и можем довольствоваться своим без особенных затруднений. А наш хлеб? А что скажут помещики? И помещики со своим сужденьем могут обождать. Дело в том, что в последние годы мы столько вывозили хлеба, что сами жили впроголодь. Наши тарифы были устроены так, благодаря С. Ю. Витте, что выгоднее было направлять хлеб к портам, за границу, чем на внутренние рынки. Вся тарифная политика была направлена к этому. Голодный год показал недостатки этого. Следующий затем 1892 г. мог отправить за границу немногое и восполнить кое-где запасы, истощенные голодом.

Новые тарифы, которые вступят в силу с августа, тарифы, которыми С. Ю. Витте поправляет свои прежние, будут способствовать более правильному распределению наших продуктов на внутренних рынках. Народ не будет нуждаться в хлебе, мы пополним свои запасы, наполним свои элеваторы, и народ будет есть вволю чистый хлеб, а не с лебедою. Сытый народ будет лучше работать и непременно больше получать. У народа будет больше энергии и больше энергии во всей нашей промышленности, в нашем земледелии. Что касается капиталов, то они придут непременно. Мы, конечно, потеряем в известный срок, но мы можем все потерянное наверстать, если наша внутренняя политика будет обращена с надлежащей энергией и последовательностью к поднятию народного благосостояния.

Во всяком случае, нам отступать невозможно, по моему мнению. Что-нибудь одно: или мы правы в своей настойчивости, требуя уравнения пошлин с другими странами, или мы не правы. Если мы не правы, нечего было и начинать. Но мы начали потому, что считали себя правыми, а, следовательно, нам остается ждать, чтоб Германия захотела мира, чтоб она посмотрела на Россию, как на добрую соседку, а не как на врага. Захочет она мирного обмена наших торговых сношений, мы, как добрые соседи, никогда не прочь от соразмерной уступчивости. Можно тотчас же начать переговоры и остановиться на каких-нибудь предварительных условиях, безобидных для обеих сторон. Как в Германии есть товары, для нас необходимые, так и в России есть товары, необходимые для Германии. Не захочет — помолчим сдержанно и посмотрим. Для нас все-таки необходимее всего то, что, благодаря Бога, не несут на себе никаких пошлин именно знания, изобретения, наука. Все это будет приходить к нам по-прежнему без всякого таможенного тарифа, и всем этим мы будем пользоваться чем дальше, тем больше, и этого Германия не остановит ни ныне, ни вовеки...

23 июля (4 августа), № 6249

CXXII

Вчера я прочел в одном органе маленькой печати следующие строки по поводу нашей таможенной войны с Германией:

«Найдут ли себе, помимо России, сбыт произведения германской обрабатывающей промышленности, которыми до сих пор заполонялись все (?) внутренние рынки России?

У соседей Германии — Франции, Австрии, Италии и даже Англии — обрабатывающая промышленность так развита и настолько стоит выше германской, что на внутренних рынках этих стран Германии нет никакой возможности конкурировать с туземными произведениями (??)».

Мне показалось это очень ново. Бедная Германия! Только с одной Россией она и может конкурировать. В остальной Европе и места нет ее товарам, и, если мы перестанем получать ее произведения, то она несомненно погибнет. Для русского сердца как бы это было любезно! Но, к сожалению, это совершеннейший вздор для всех тех, кто хоть несколько знаком не то что с производительностью Германии, но только с статистикой европейской торговли. Германия сделала огромные шаги в промышленности и вывозит на сотни миллионов марок своих произведений в Англию, Австрию, Италию, Америку и даже Францию. Дешевизна рабочих рук, трудолюбие и демократическое направление в германской промышленности сделали то, что ни одна страна не обходится без дешевых немецких произведений, рассчитанных на комфорт средних и малых кошельков. В этом не только верный практический расчет в наше демократическое время, но и заслуга перед человечеством. Дать возможность людям небогатым, людям рабочим известный комфорт за дешевую цену, это заслуживает всякого уважения. С каждым годом таких людей становится больше и больше. Франция остается аристократической страной и в республике, с своим изящным, неподражаемым вкусом, с своим стремлением к роскоши, к артистичности. В Париже иная смотрительница публичных вальтерскотов[1] одета в шелковое платье и чуть не декольте, в Берлине шелковое платье редкость и на женщине с почтенным общественным положением. Германия отлично поняла свою задачу около изящной соседки, этой современной афинянки, и не стремится к производительности роскоши. Дороговизна рабочих рук во Франции делает то, что сплошь и рядом заказы, например, на готовое платье из Америки, получаемые французскими торговыми домами, изготовляются в Германии, по приказу этих французских домов. Фабриканты дорогих и изящных вещей, изготавливаемых в Германии и Австрии, стремятся в Париж и устраивают там свои филиальные отделения, как в средоточии артистического вкуса. Кто не видал Парижа лет десять, тот удивится приросту немецких фирм на Больших бульварах и появлению немецких произведений в роскошных французских магазинах. Огромное количество дамских вещей и материй, которые россиянки покупают в Grands magasine du Louvre, Bon Marché, Printemps и т. д., немецкого происхождения. Даже знаменитые «articles

[1] Так француженки называют известные необходимые места. Англичанки называют их «дубль-си», по инициалам W. C.

de Paris» в огромном количестве приготовляются в немецком городе Оффенбахе, недалеко от Франкфурта-на-Майне. Немецкая промышленность смело конкурирует везде, где дело идет о дешевом комфорте, о всем необходимом в жизни человека малого и среднего состояния. Германия ввозит в Англию все более и более: ввоз немецких продуктов, простиравшийся в 1886 году до 21 422 000 фунтов стерлингов, вырос до 27 миллионов фунтов стерлингов в 1890 году, тогда как ввоз английских продуктов в Германию за этот год составлял всего 19 миллионов фунтов стерлингов.

Германия — старая культурная страна, и нам незачем забывать, что этой германской культуре и мы обязаны кое-чем весьма полезным. И тем менее следует распространять невежественные сказки среди невежественных читателей в то время, когда мы начали с нею серьезную тарифную борьбу, которая совсем не решается самодовольным отрицанием у нашей соседки культуры и промышленности. Нашей промышленности, во всяком случае, далеко еще до германской. Там немало такого, что достигло уже известного совершенства, а у нас только начинается. Стоит вспомнить Лодзь, которая выросла на наших глазах благодаря энергии немцев и которая стала конкурировать с московскими фабрикантами по целой России.

25 июля (6 августа), №6251

CXXIII

Прочитав «сообщение» министра финансов, я подумал нечто такое, что, быть может, покажется читателям величайшим вздором, но что тем не менее не выходит из моей головы. Так как я человек достаточно откровенный, то и выскажусь прямо, в чем заключается то, что вы можете назвать «величайшим вздором»: я бы не стал заключать договора с Германией до тех пор, пока она сама не запросила бы и не сделала бы выгодных предложений России...

Да, я не стал бы заключать торгового договора с Германией — и вот почему: «сообщение» министра финансов несомненно доказывает, что Россия сделала не только все то, что должна была сделать в интересах миролюбия и соседства, но как будто даже переступила несколько границы возможного. В самом деле, мы шли постоянно в наших переговорах на самые важные уступки, но Германия нарочно, с умыслом затягивала переговоры, покупая голоса аграриев в пользу военного законопроекта и, в то же время, стороною, убеждая промышленников подождать, давая им полную надежду, что договор непременно будет заключен и русский рынок останется за Германией. Видя, что переговоры затягиваются при бумажных сношениях, мы предложили конференцию; Германия отвечала: «Конференция эта могла бы привести к *благоприятным* результатам *при одном лишь условии,* если русское правительство расположено удовлетворить *все* германские пожелания относительно *понижения* русского тарифа, за немногими исключениями, которые *во всяком случае не должны бы коснуться интересов земледелия и металлургических производств Германии!*»...

Таков был ультиматум Германии. Это именно ультиматум, господа. Она командовала, а не предлагала; она предрешала результат конференции и приглашала на нее Россию в качестве державы побежденной, которой диктуются усло-

вия мира. Мало этого, она выговаривала себе льготные условия и в будущем, на случай сравнения финляндского тарифа с русским. Несмотря на все это, несмотря на этот ультиматум, Россия попробовала предложить временное соглашение, подобное тому, которое заключила Германия с Румынией. Мы не стояли за то, чтобы нас приравняли к молдаванам и валахам! Германия отвергла и временное соглашение. Что же оставалось делать? Ждать конференции? Но Германия обусловила свое согласие на конференцию невозможным образом. Уважая себя, великой державе не пристало выслушивать приказы, хотя бы они были облечены и в отеческую форму. Срок для заключения договора назначен был 1 апреля 1893 г., и Германия на это согласилась. Россия больше трех месяцев, после срока, продолжала переговоры и все-таки не могла ничего достигнуть. Нас третировали, как ничтожную величину, и терпение наше должно было лопнуть, наконец, и оно лопнуло, и мы ввели максимальный тариф и закрыли немецким судам наши порты. Германия сначала удивилась этой смелости, а потом согласилась на конференцию уже без той оговорки, которая равнялась ультиматуму...

Таким образом, наша решительность заставила Германию согласиться на конференцию без обидных для нас условий. Но что еще будет на этой конференции — мы не знаем. Германия несомненно попробует нас раздеть как можно более. Ведь очевидно, она думает, что Россия — это в некотором смысле ее колония, нечто вроде того, что Индия представляет для Англии, что без Германии Россия и существовать не может. Я далек от мысли уменьшать значение успехов немецкой промышленности и выразился в этом отношении так определенно и прямо, что немецкие газеты осыпали меня за это похвалами. Но я также далек от мысли, что русская промышленность самим Богом, так сказать, предназначена к тому, чтобы стоять на одном месте и не двигаться. Если мы вспомним, что русской промышленности, очень молодой еще, приходится бороться с промышленностью старой, с старой культурой, что покровительственная система существует у нас еще недавно, что у нас нет в достаточном числе промышленных школ, профессионального образования, что мы стремились совершенно напрасно догонять Германию в усвоении классических языков, для нас мало надобных, основывая классические гимназии, что мы не только у себя учредили специальный институт для изучения мертвых языков, которые у нас всегда останутся мертвыми, но даже в самой Германии, в Лейпциге, учредили для этого семинарию; если мы, соображая все это, обратим внимание на успехи нашей промышленности, то увидим, что она, несмотря на все это, сделала все-таки сильные успехи, что русский народ, несмотря на все свое чрезвычайное невежество, — народ, быть может, наиболее одаренный в Европе, способный создать свою прочную промышленность, если предоставить ему возможность взяться за дело энергично и толково...

Вот я и думаю, что прискорбна, конечно, эта война, но ведь она могла бы и оказать нам услугу незаменимую, раскрыв нам глаза, отуманенные классицизмом, и направив нас на образование реальное, промышленное, на воспитание хороших, знающих техников, мастеров, подмастерьев и т. д., всех тех необходимых нам людей, без которых промышленность обыкновенно двигается медленно. Я не говорю, подобно некоторым моим собратам, что все обстоит благополучно, что не из Германии, так из Франции, или Англии, а получим-таки мы все, что нам нужно. Напротив, в промышленном деле у нас неблагополучно, неблагополучно в нашем образовании, но эта таможенная война, благо Германия сделала ее не-

обходимою, заставила бы нас двинуться быстро вперед и рассчитывать более на нас самих, а не на Европу. Лет двенадцать тому назад я проектировал 100 миллионов на народное образование, и мы могли бы это вынести, ибо, по-моему, народное образование важнее железных дорог. Дороги строятся, и образование надо строить; если дороги приносят доход, то образование приносит еще больший. Если на дороги находятся сотни миллионов, то и на образование они найдутся, а без него, конечно, всякая таможенная война нам тяжела. Но выдержать ее мы могли бы, если бы даже не поддались ни на шаг в уступках Германии. Выдерживаем же мы настоящие войны и связанные с ними страшные потери.

Но хлеб, хлеб, хлеб, что нам с хлебом делать? — Есть, есть надо хлеб и делать из него все, что делают другие. — Хорошо вам говорить, скажите вы: ведь хлеб будет дешев. — Ну, что ж? Я бы желал спросить мужиков, приятно ли им, что хлеб будет дешев? Но как спросить? Мы не спрашиваем мужика и смело говорим от имени России. А если б нашлось средство спросить его, может быть, он отвечал бы, что хорошо, что хлебушка дешев. Но помещикам, особенно крупным, дешевый хлеб, действительно, невыгоден, и им, естественно, приятнее, если он дорог, им естественно сожалеть, что мы с Германией разорвали. Но представьте себе, что мы с ней не разорвали, что продолжали бы ожидать, когда ей будет угодно осчастливить нас принципиальным согласием на конференцию? Мы бы ожидали, а ее дифференциальные пошлины действовали бы. Ведь они еще не испробованы нами на деле. Как бы пошел хлеб в Германию и по какой цене при этих пошлинах? Может быть, вышло бы то же самое, что случилось после этого разрыва, а, может быть, и хуже. Я не знаю. Но я знаю в то же время, что Германия страдает, что в ней промышленность ропщет и боится упустить русский рынок, что даже аграрии обмануты в своих надеждах на большие барыши. Они думали, что, устранив русский хлеб с немецкого рынка, они сами явятся полными распорядителями цен. На деле выходит не то. Цены не слушаются политических и экономических партий и зависят от причин гораздо более сложных. Они видят, что, так или иначе, русский хлеб станет искать новых путей и, главное, непременно повлияет на установление цен, как бы аграрии ни бесились. А они именно бесятся и после победы, доставленной им графом Каприви, уж громко ропщут на Америку и Австрию. С другой стороны, германская промышленность столько теряет, что для утешения ее раздаются голоса в пользу того, чтобы *заставить* Россию заключить трактат!! Да, заставить... оружием, ибо-де западная полоса России есть естественное продолжение Германии. Вот куда хватают! И эти голоса даже в таком официозном издании, как «Post». Не правда ли, как это деликатно! Немецкие официозы, вероятно, думают, что мы сидим и ежимся в неописанном страхе, что у нас нет никакого национального достоинства, никакой способности к самопожертвованиям. Кого не возмутит этот тон, эти к небу поднятые, фыркающие немецкие носы, хотя бы только немецких журналистов.

Вот я и говорю: не станем заключать торгового трактата, попробуем опыт полной независимости от Германии, напряжем все силы на народное образование, на широкую его систему, на прогресс сельского хозяйства и промышленности...

Вы что на это скажете, вы, хорошо помнящие Берлинский конгресс?..

4 (16) августа, № 6261

CXXIV

Умер знаменитый доктор Шарко. Имя это хорошо известно всему свету, как проницательного ученого и врача, главного директора парижской больницы Сальпетриер, составляющей целый городок, с шеститысячным населением, преимущественно женским: мужское отделение всего на 40 человек. В этом городке целые улицы, переулки, тенистые аллеи, даже есть красивый ландшафт...

В прошлом году, после одной лекции в Сальпетриере, с Шарко сделался небольшой обморок. Это очень встревожило его семью, учеников и друзей, которые увидели в этом зловещие признаки паралича. Летний отдых, казалось, восстановил его силы, и он целый сезон аккуратно читал свои лекции в Сальпетриере, по вторникам, многочисленной аудитории. Читал он с необыкновенной ясностью и увлекательностью, и лекции его, записанные его учениками почти слово в слово и изданные в 10 больших томах, читаются с большим интересом.

В прошлом мае месяце я имел большое удовольствие познакомиться с ним, обедал у него и провел с ним целый вечер. Наш русский врач А. А. Любимов, давно знакомый с Шарко, сказал ему по моей просьбе, что я очень интересуюсь явлением гипнотизма. Шарко тотчас поручил своему сыну, тоже доктору, служащему в Сальпетриере, удовлетворить мое любопытство. Молодой Шарко принял меня очень любезно, показал больницы, аудитории и в кабинете своего отца в Сальпетриере прочитал в течение полутора часа целую лекцию о гипнотизме, демонстрируя эти явления на больных. Я много читал о гипнотизме, отчасти для моего романа «В конце века», но в этом чтении многое оставалось для меня неясным. Лекция молодого Шарко, прочитанная прекрасно, и его демонстрации над двумя женщинами познакомили меня с этими удивительными явлениями несравненно лучше, чем прочитанные мною книги. Только эти демонстрации указали мне всю ту мистификацию и шарлатанство, которые я видел до этого, присутствуя на некоторых опытах «профессиональных» мошенников и мошенниц или, говоря деликатнее, фокусников и фокусниц, усвоивших себе внешние приемы гипнотизации и сделавшие себе из гипнотизма выгодное ремесло. Когда-нибудь расскажу, что я видел. Теперь же мне хочется познакомить читателей с личностью этого знаменитого ученого, как я его видел в тот вечер, который я провел с ним.

Шарко жил в собственном доме или, как говорят французы, в собственном отеле, на Сен-Жерменском бульваре. Он женился на богатой девушке, Ришар, от которой имел сына и дочь. Дочь сама выучилась по-русски. Это очень миловидная и живая девушка, читавшая Пушкина и Лермонтова. Отель — небольшой, но убран, как музей, античной мебелью, гобеленами и разными objets d'arts, частью вывезенными из Италии, Испании и других стран, которые посещал покойный ученый, частью полученными в подарок от богатых пациентов. Обедало нас человек десять, включая сюда самого Шарко, его жену и двух детей. Хозяин и гости-мужчины были во фраках и белых галстуках. Сервировка стола отвечала всей той артистической роскоши, которую я видел в комнатах. Я начал с благодарности за его внимание ко мне, упомянув, что его высоко ценят в России. Он отвечал несколькими словами о С. П. Боткине, которого он знал и которого принимал у себя, как и некоторых членов его семейства. «Это был замечательный человек», — сказал он. На мои слова, что нет теперь у нас такого врача, он сказал: «Ça viendra.

Нельзя же все разом. У вас есть хорошие врачи и будут славные врачи. У вас все еще начинается». На мою похвалу о лекции его сына, которую я слышал, он только заметил, что «гипнотизм — это уже старье», нечто вроде старого оперного мотива, который поют все. За несколько дней до этого свидания с Шарко мне писали из Петербурга о самоубийстве молодого человека, которое петербургский судебный следователь приписывал «внушению». Шарко улыбнулся и сказал: «самовнушение — может быть, но внушения не могло быть». Я знал, что школа Нанси, расходящаяся относительно некоторых явлений гипнотизма с школой Шарко, верит во «внушения» даже преступлений и сказал, что в Петербурге есть последователи этой школы.

— Как всегда, — отвечал он, — она доступнее и далеко идет, а это любят. Что ограничено рамками точных наблюдений и, не фантазируя, опирается только на непреложные факты, интересует лишь тесный кружок ученых, привыкших к точности. А остальные любят простор и обобщения.

За обедом разговор сначала не клеился, несмотря на шампанское, которое стали пить уже за супом. Я сидел рядом с г-жою Шарко и против самого Шарко. Он — среднего роста, продолговатое лицо, обрамленное седыми гладкими волосами, спускавшимися ниже ушей, бороду и усы бреет; глаза необыкновенно выразительны и придавали его лицу некоторую суровость. В начале обеда он и смотрел сурово, а, может быть, устало, и вставил несколько замечаний в общий разговор, сказанных очень нервно. Потом черты его смягчились, и он добродушно принимал участие в общем разговоре. Кто-то из обедавших стал считать, сколько у Шарко собак. Оказалось, что у него всегда их было много. Слово за слово, он разговорился, хваля ум и другие качества животных. Говорил он очень хорошо, с примесью маленькой иронии, которая вдруг переходила в одушевление, нервность.

— Вообще я люблю животных, — сказал он, — я — зоофил, и никогда не мог решиться делать опыты над животными и не делал их, как другие. Вальян написал о тех, которые собирают животных, ухаживают за ними, любят их, и причисляет таких людей к выродившимся (dégénérés). Он говорит, что сильные люди были сильны на войне, в битвах, смело убивали людей, не сентиментальничали, а сентиментальничают только вырождающиеся. Ну, так я тоже принадлежу к dégénérés. Я был зоофилом и останусь зоофилом. Мне, однако, приходит в голову, что зоофилами были и некоторые сильные люди. Леонардо да Винчи, например, художник, архитектор, ученый, инженер, кажется, вообще сильный человек, а он ходил на рынок покупать птиц, чтоб выпускать их на свободу. А вот другой сильный человек — Шекспир. Если внимательно почитать его, то можно найти у него много мест, где он говорит о любви к животным и смеется над охотниками. Человек менее его гениальный, Гюго, обдавал охотников сарказмами. Все это зоофилы, и в такой компании не стыдно быть...

— Ну, ты опять за свое, — заметила г-жа Шарко и обратилась ко мне с вопросом: не охотник ли я?

— Нет, сударыня, я не охотник.

— Да, опять за свое, — продолжал Шарко своим твердым и решительным голосом. — Некоторых явлений современной жизни я выносить не могу, они меня волнуют, и я не перестану о них говорить. L'ame modern (новая душа) требует новых отношений к явлениям жизни. Новая душа народилась и выросла и не

мирится с тем, что так общепринято, что вошло в нравы или одобряется бессмысленной модой. Что может быть возмутительнее охоты? Женщины ею заразились. Представьте себе этих красавиц, эти нежные души, которые ласкают прирученного оленя, кормят его хлебом из своих рук, целуют его и вслед за тем берут ружье, нападают на несчастное животное, убивают его, и труп его несут перед ними, как трофей победы, и они хвастаются своим убийством. Это — предательство, это — высшая жестокость, до которой только может дойти человек. О мужчинах уж и говорить нечего. Какой-то праздник убийства делается, радуются, хохочут, кричат, глаза горят, уста полны словами дикого бессмысленного торжества и хвастливости своими подвигами... Что же восставать против тех, которые убивают людей на войне, убивают и взрывают на воздух в мирное время?.. Ведь это тоже спорт, и где он остановится, до чего он дойдет? Ведь всему можно находить причины и извинения. Послушайте динамитчиков, что они говорят, как они оправдываются... Мне так и хочется сказать: убивайте, убивайте, — увидите, до чего дождетесь!..

Все молча слушали. Это было к концу обеда, после которого мы перешли в кабинет доктора. Кабинет этот — длинная комната, почти вся уставленная полками с книгами по стенам, галерейка с лестницей разделяет полки на два этажа.

По одной стене, перед полками, длинный стол, заваленный книгами и бумагами. Около художественно исполненной сидячей фигуры Будды, подаренной Шарко одним из его пациентов, большая картонка, наполненная карточками — каталогом его библиотеки. На самом же столе — бронзовый Моисей Микеланджело и еще несколько objets d'art. У противоположной стены — маленький стол, за которым он занимается. Другая часть кабинета уставлена креслами, диванами и полками с objets d'art. На столе был приготовлен кофе, стояло шампанское в графинах, ликеры, пиво и другие напитки. Дочь Шарко приготовляла кофе и раздавала его гостям.

Продолжая разговор об охоте, Шарко сказал:

— Я понимаю одну охотницу, Диану. Вся голая, с луком в руке, с колчаном стрел, она носится по лесу, ветви деревьев стегают ее, ноги изранены. Она не думает ни о своем костюме, ни об опасностях...

Присутствующие засмеялись на шуточное замечание одного гостя, что Шарко нравится голая Диана...

Улыбаясь, он отвечал, что, разумеется, нравится. «Это — сама природа, олицетворение ее сил, символы. А эти Дианы и Венеры в шелку и бархате, с ружьями в руках, стреляющие голубей, приготовленных для них специально, отвратительны... Женщины!?.. Разве это женщины, эти испанки, француженки, русские? Они имени этого не стоят... Единственно, что отравляет мой покой в деревне, это выстрелы по голубям...»

Любимая его такса сидела против него и умно смотрела ему в глаза. Он ее погладил.

— У бедняжки эпилепсия, — сказал он.

— Разве эпилепсия бывает у такс? — спросил я.

— Очень часто. Все равно, что в тех дворянских родах, которые заключают брачные союзы исключительно между собою...

Окончу в другой раз.

8 (20) августа, № 6265

CXXV

Мы остались втроем в кабинете: Шарко, Любимов и я. Остальная компания ушла в гостиную и бильярдную. Разговор мне хотелось повернуть на гипнотизм, о котором в последние годы появлялось столько интересного. То, что он говорил о «новой душе», о «l'ame moderne», мне чрезвычайно нравилось. Я, вспоминая это его выражение, сказал, что имя Шарко теперь примешивается всюду, во все научные или мнимонаучные исследования, не только в трактаты о гипнотизме, но в статьи и книги о телепатии, спиритизме, бессмертии души, загробной жизни, о «новой душе»...

— Да, вы правы, меня всюду суют, куда можно и куда нельзя. Но меня же называют отсталым. Я им открыл ящик Пандоры, и они ухватились за все, что из него вылетало. Многое они исказили и извратили. Многое стали развивать и бросаться, очертя голову, вперед, в воздух, в беспредельность. Явилось много путаницы, обобщений невозможных, потому что они построены на единичных фактах и явлениях, а иногда на притворстве (симуляции) пациенток. С этим притворством постоянно надо считаться: нервные женщины — большие комедиантки, и надо много опыта и много научных приемов, чтобы убедиться в действительности явлений. Но все это пройдет, скачки в область предположений сгладятся и — кто знает? — может быть, останется научно верным только то, что открыл Шарко.

— А явления телепатии, привидения, о которых так много говорили последние годы? — спросил я и указал на английскую книжку с описанием подобных явлений.

— Читал, читал, — сказал он, улыбаясь. — Я не видал привидений и не знаю, существуют ли они или нет. Ни за это, ни против этого я не могу говорить. Мне только кажется, что показания о привидениях недостаточно проверены, все они основаны на свидетельствах единичных лиц, иногда смутных, не выдерживающих критики, противоречивых. Сплошь и рядом мы и не знаем, что это за лица, насколько они заслуживают доверия. Мы не знаем их жизни, воспитания, их обстановки и проч. и проч. Если факты и их объяснения, сообщаемые известными учеными, требуют критики, то как же следует относиться к этим сообщениям лиц, никому не известных? Вообще в этой области только догадки и россказни. В науке еще много дела впереди, чтоб только разобраться в человеческой душе, в его здоровых и болезненных проявлениях...

— Вы допускаете бессмертие души?

— Бессмертие души — хорошо бы, — сказал он, смотря на меня с доброй улыбкой. — Я бы желал бессмертной души, но иногда мне кажется, что жить вечно и слушать все одну и ту же музыку — скучно, ужасно скучно...

— Ваш сын говорил мне, что вы не допускаете «внушений» к преступлению, что всякий раз, когда гипнотизируемой давали картонный кинжал и внушали ей поразить им кого-нибудь, она вставала, подходила к указанной жертве с признаками явного мучения и падала в конвульсиях, в истерике...

— Действительно, — сказал Шарко, — мы никогда не могли доказать, что подобные внушения возможны, что человек в такой степени подчиняется нашей воле, что становится обыкновенной машиной. Убийство противно человеческой природе, в которой всегда остается настолько силы, чтобы бороться с внушени-

ем. Бергейм и другие утверждают, что подобное внушение возможно. Я этого не знаю, не видал, никогда не мог этого достигнуть, несмотря на все мои усилия и опыты с массой лиц в Сальпетриере. Я не знаю также, можно ли делать внушения на расстоянии. Я сижу вот здесь, в своем кабинете, и говорю моей пациентке, которая на другом конце города, в другом городе: сделай вот это, сделай то, и она делает. Я этого не испытал. Я не отрицаю этого, я хочу верить в добросовестность моих собратьев, которые это утверждают, но я этого не знаю и не могу уже узнать. У меня и своего дела очень много. Поверьте, чтоб доказать (démontrer) и маленькие явления, надо очень много труда, метода, сосредоточения. Если б я стал за всем гоняться, во что бы обратился мой мозг, как перепутались бы частички моего мозга. Довольно и того, что я сделал, открыв некоторые новые пути, по которым пойдут и идут уже другие. Но надо всегда иметь «bon sens» (здравый смысл). Я не знаю, есть ли на русском языке это слово, но руководить должен bon sens. В науке надо еще, кроме того, искусство, уменье избрать верно опыты, верно направить их и приложить. Недостаточно быть ученым, надо еще быть артистом...

Он говорил именно «artiste». На русском языке, в устах ученого, это слово звучит несколько странно, но на французском, кроме специального своего значения на театральном языке, оно значит «художник» именно в том смысле, который мы придаем этому слову. Ученый и художник вместе, человек с художественным чутьем, с оттадкой, видящий то, чего другие не видят, проникающий в серьезность и связь явлений, Шарко обладал этим свойством в высшей степени, а потому-то и мог приобрести такой авторитет в науке и образовать свою школу.

Разговор продолжался. В начале этого года я где-то читал отчет о том, как один врач переводил личность человека в стакан с водой, и когда эту воду кто-то выпил, то человек ужасно страдал. Я сказал об этом Шарко. Он, смеясь, отвечал, что и сам читал об этом, и опять повторил свое «не знаю».

— Личность одного человека, — прибавил он, — можно перевести в другое состояние. Такие случаи видел, но они редки. Вообще гипнотизм — патология, а не физиология. Такие типы больных, которые вы видели в Сальпетриере, очень редки. Может быть, десяток во все время моих занятий нервными болезнями. Типы эти в достаточном совершенстве представляют собою полный образ того истерического состояния, которое поддается всевозможным опытам гипнотизации. Но гипнотические явления, не в таком полном виде, встречаются часто и среди мужчин, и среди женщин. Есть и истеричные мужчины, как есть истеричные женщины. Среди прусских отборных солдат Фридриха II были истеричные, и число их увеличивалось постоянно. Есть истеричные среди ваших гвардейцев. Мы следим за болезненностью войск и по отчетам официальным, и по наблюдениям над пациентами в больницах в наши приемные дни на дому. Для меня несомненно, что, при современном развитии милитаризма, истеричность среди военных растет не только в корпусе офицеров, но и между солдатами. И она будет расти и может вырасти в такой прогрессии, о которой теперь не думают. В немецком войске истеричных, может быть, больше, чем где-нибудь, благодаря той суровой дисциплине, которая там царствует. Никакое напряжение человеческого организма не проходит безнаказанно...

Я оставляю до другого времени все то, что он говорил еще о гипнотизме, так как это имеет связь с тою лекцией, которую читал мне его сын. Упомяну о том,

что он говорил о работах Монтегацца и Ломброзо, которые и у нас имеют большое распространение. Я спросил о них его мнение. — Это — не вульгаризаторы, — сказал он, — а симплисты (simplistes). Вульгаризаторы излагают научные данные, стараясь сделать их понятными для читателя неприготовленного, неученого, а симплисты все упрощают и обобщают; они ловят факты, научные открытия и, не зная глубоко предмета, смотрят на него с одной стороны, поверхностно, и спешат делать заключения самые смелые. О чем бы они ни говорили, о наследственности, о преступности — везде поверхностная односторонность.

— Не знаю, — прибавил он, — есть ли слово «simpliste» у Литтрэ? Посмотрим...

И он развернул на своем длинном столе Литтрэ и стал рыться. Оказалось, что слово это есть у Литтрэ: оно впервые было употреблено у Фурье и вошло в разговорный язык. Он посмотрел и слово «vulgarisateur» — точно для того, чтобы поверить себя. Эта маленькая черта указывает на привычку его к точности, к поверке самого себя. Указывая на свою библиотеку, на массу книг, из которых торчали бумажки, указывающие на какие-либо места, замеченные при чтении, он, переходя от суждения об античном искусстве и новом (moderne), сказал:

— Куда деваться вот от этого moderne? Не знаешь, куда вместить эту массу книг, повторяющих друг друга. А без них все-таки нельзя обойтись. В иной есть страница новая, в иной несколько строк, драгоценных по оригинальности, по личному наблюдению, и вот приходится иметь все это под рукою для справок, для поверки своих наблюдений.

Начитанность Шарко не ограничивалась специальною литературою. Независимо от ученого специалиста, в нем был отлично образованный человек, с яркими суждениями об искусстве, живописи, скульптуре, музыке. Шекспира он не только читал, но изучал в оригинале, прекрасно говоря по-английски и употребляя иногда в разговорном языке старые шекспировские слова, вышедшие из употребления. В его лекциях встречаются ссылки на Шекспира, как на авторитет, который, не зная физиологию, художественным чутьем отгадывал научные истины. Так, в лице леди Макбет, он необыкновенно верно описал сомнамбулизм, а в «Генрихе IV» и в «Как вам угодно» так чудесно описал явления старости, что это описание может считаться вполне научным, не переставая быть художественным.

На мой вопрос, почему французы так мало ценят Шекспира, он объяснял различием национальных черт двух народов, которые во многом противоположны, и малою распространенностью среди французов знания английского языка. Чтоб ценить вполне великого писателя, надо читать его в оригинале, надо усвоить себе манеру его выражений и, усвоив, оценить. У Шекспира язык необыкновенно образный, а образы, сравнения его неожиданны, необычайны, резки; он берет их во всем разнообразии психической и материальной жизни, не стесняясь ничем, никакими условиями, никаким приличием. Французу это кажется странным, диким, несообразным. В своих классиках француз привык совсем к другим образам и другой манере...

Показывая мне разные objets d'art, он останавливался на русских серебряных вещах, на кокошниках и душегрейках, которые он вывез из России, и сказал о Москве, что она подурнела.

— В первый мой приезд туда она поразила меня своей оригинальной красотой. Когда я приехал туда во второй раз, спустя десять лет, я увидел там пятиэтажные дома по европейскому образцу. Я называю это «déjat» (порчей). И уж это конец — так пойдет и дальше, и Москва потеряет свою оригинальную красоту.

Часы, проведенные мною у Шарко, я никогда не забуду, как не забываю часов, проведенных у Л. Н. Толстого, этого другого великого мастера даже в деле интересного и поучительного разговора. Шарко напомнил мне его даже манерою разговора и некоторыми взглядами на современные явления жизни. Не значит ли это, что l'ame moderne, о которой говорил Шарко, более или менее одинакова у всех выдающихся людей нашего времени или что все они ее чувствуют и желают ей простора...

10 (22) августа, № 6267

CXXVI

Я получил сегодня следующее письмо от Эмиля Золя:

«М. г. Мне говорят, что Гюи де Мопассан оставил в России воспоминания живой симпатии. И мне пришло в голову, что, с вашим великодушным содействием, мы могли бы собрать что-нибудь на памятник, который мы хотим поставить в его память.

Не можете ли вы открыть в своей газете подписку? При этом я сообщаю вам письмо, которое я написал всем друзьям Мопассана во Франции. Вы можете просто его напечатать, сделав, с своей стороны, воззвание ко всем друзьям, на которых может рассчитывать романист. И потом вы доставите собранную сумму в наше Общество.

Извините меня за эту просьбу, которая сделана во имя дружбы и уважения, и как бы вы ни решили, м. г., верьте искренней моей преданности.

Эмиль Золя.

Лондон, 16 августа (18)93».

Вот письмо, о котором упоминает Э. Золя:

«М. г., Комитет Общества Литераторов (Le Comité de le Société des Gens de Littres), открыв подписку на памятник Гюи де Мопассану, имеет честь просить лично у вас содействия.

Он надеется, что вы захотите почтить таким образом память одного из тех, которые в нашу эпоху наиболее содействовали прославлению французской литературы, и просит вас принять с благодарностью выражение его отличных чувств.

Председатель комитета *Эмиль Золя*».

Не исполнить даже какой-нибудь просьбы знаменитого романиста было бы грешно. Но эту просьбу я исполняю с особенным удовольствием и с особенною, глубокою симпатией как к Эмилю Золя, так и к почившему Гюи де Мопассану. Если братство народов возможно, то оно прежде всего должно выражаться и выражается в братстве литературы, искусства и науки, в уважении и признании замечательных людей всех стран, трудящихся на этих прекрасных поприщах, где прежде всего все народы сходятся. Это — авангарды грядущего братства. Я начинаю эту подписку тем, что препровождаю в контору «Нового Времени» от нашей газеты сто франков на памятник Гюи де Мопассану и позволяю себе думать, что на братский призыв Эмиля Золя отзовутся по мере своих средств и наши читатели.

11 (23) августа 1893, № 6268

CXXVII

В этой таможенной войне положение нашего министра финансов не из блестящих. Уступит он Германии в нашем покровительственном тарифе — промышленники обвинят его в том, что он жертвует интересами русской промышленности и оттягивает ее развитие на долгие годы. Не уступит он — землевладельцы обвинят его в том, что он пренебрегает интересами русского земледелия, что он обесценивает хлеб и уменьшает доходы помещиков. Найти средний выход, который удовлетворил бы и тех, и других, едва ли возможно. Земледелие и промышленность выступают как враги. То же самое и в Германии, но в Германии существует еще третье лицо, голос которого явственно слышен. Это — потребитель, рабочий. У нас потребителя совсем не слышно, а его бы следовало принимать в расчет и именно на нем помириться земледелию и промышленности, на нем и ради него сделать друг другу уступки и идти рядом в этой борьбе, помогая друг другу...

Странно, в самом деле, признать такое явление как естественное: народ голодает, крупный производитель хлеба, торговец благоденствует и наполняет свой карман. Народ сытно ест и имеет хорошие запасы хлеба на случай неурожая и голода, крупный производитель хлеба недоволен, бушует, кричит, что его разоряют. С другой стороны, стоит уменьшить какую-нибудь пошлину хоть на 5%, промышленник кричит, что его разоряют, не дают промышленности стать твердо на ноги. Среди этих обстоятельств какой путь избрать государственному человеку, который не может не видеть все эти несообразности, эту экономическую ложь, чтоб удовлетворить и тех, и других? Конечно, путь государственного интереса, где большинство населения было бы довольно. Министр должен считаться с современниками и выслушивать их, но, кроме современников, есть будущее, есть история, есть благо всей страны. Понять это благо и идти к нему твердым путем — вот постоянная задача государственного человека. Конечно, это трудный путь, требующий много самоотречения, силы воли, предвидения, благоразумия; трудный путь еще потому, что в этих случаях кричат далеко не те, которые стоят за благо родины, за благо большинства, а больше те, у которых в деле замешаны крупные интересы. Маленький человек молчит, маленький человек даже не знает, что такое кругом его делается, да и о нем не знают, что он делает, чего он желает, чем он живет...

Есть еще одно соображение. Мы жили больше скачками, мы поднимались одушевлением, увлечениями.

Если б я стал писать русскую историю, я поставил бы в начале книги, эпиграфом, стих из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо в переводе Ранча:

Вскипел Бульон, потек во храм.

Дело идет не о бульоне, а о Готфриде Бульонском, если вы об нем слышали. У нас постоянно было именно так: «вскипел Бульон, потек во храм», и двери запирались, и о нем ни слуху, ни духу. Проходят годы, десятилетия, опять вдруг «вскипел Бульон, потек во храм», и двери снова захлопывались до нового вскипения. Я совсем не вышучиваю этого явления. Напротив, оно поднимало, воодушевляло население и особенно отдельных лиц, которые являлись настоящими Бульонами. Ряды поколений проходили не бесследно и в промежутки кипений,

но воспоминание о вскипении и о его результатах хранилось как время подъема чувства, труда, самопожертвования, и уровень поднимался, и новые вскипания Бульона поднимались все выше и выше, обозначая даты нашего развития.

В этой таможенной войне я тоже вижу, что «Бульон вскипел», и я рад, что он вскипел: так мы давно не кипели. Но я боялся, что он простынет так же быстро, как вскипел, и потечет. Берлин будет праздновать победу. Не думайте, что я враг немцев. Напротив, я люблю немецкий народ и его культуру, его демократизм, люблю даже великие качества ума Бисмарка, его энергию, его патриотизм, но я не люблю ни прусского милитаризма, ни прусской заносчивости, ни прусской команды, которая раздается по всему миру. Я хочу, чтоб нас уважали, чтоб к нам относились, как равный к равному. Поэтому я посоветовал не заключать торгового договора с Германией до тех пор, пока она не предложит нам выгодных условий. Газеты ничего существенного не нашли на это возразить, кроме сожаления о моем «крайнем увлечении» и якобы «неуместности» в торговых делах «национального достоинства», о котором я упомянул. «Гражданин» что-то соврал насчет нигилистов, а «СПб Ведомости» воскликнули, что я хочу «шапками закидать».

Помоему мнению, национальное свое достоинство надо всегда держать высоко во всех делах, политических, частных, торговых. Не надо наступать на чужую ногу, но не надо дозволять наступать и на свою. Что касается «шапками закидать», то я никогда этого не проповедовал и не стал бы проповедовать, если бы имел в своем распоряжении все шапочные фабрики Российской империи. Я только желаю стоять в шапке, когда немец стоит в шапке. Если я подниму руку к шапке, то желаю, чтобы и немец это делал. Разумеется, и наоборот, вежливость должна быть взаимная. Ничего заискивающего перед немцами я не желаю ни в малых, ни в больших вещах. Россия, в своих переговорах с Германией, идет на большие уступки, она допускает понижения в своем покровительственном тарифе, несмотря на то, что он только что вступил в действие, но не хочет и не может допустить, чтобы в нем пробивалась брешь, чрез которую могли бы свободно проникать изделия более развитой западноевропейской промышленности и повалить всю покровительственную таможенную систему. Вот чего мы никогда не допустим, но именно этого добивалась Германия в самом начале переговоров и от чего, кажется, не отступает и в настоящее время. Здраво и по-соседски рассуждая, обе стороны должны бы идти навстречу друг другу, ибо германский рынок нам полезен, а русский рынок полезен Германии. Насчет этого не может быть никакого спора. Гадать о том, кто кому необходимее, все равно, что считать в комнате мух, вместо того, чтоб делать дело и постараться понять друг друга. Раз Германия не хочет отступить от своих требований, что ж нам навязываться к ней и делать все большие и большие уступки до тех пор, пока она не скажет: «Теперь я довольна».

Естественно, все наши ведомства должны помогать друг другу всеми силами, чтоб выдержать кризис твердо. Я с удовольствием смотрю на эти меры, которые принимаются в интересах хлебного рынка. Конечно, это паллиативы, но важно то, что мы не сидим сложа руки и что, очевидно, правительство наше намерено выдержать этот кризис, хотя бы это стоило временных жертв и напряжения. Пусть Берлин знает, что мы готовы защищать наше народное дело, потому что оно и дело нашего настоящего и нашего будущего...

12(24) августа, № 6269

CXXVIII

Наше купечество не особенно любит говорить публично, предпочитая этому разговор в кабинетах высокопоставленных лиц. Поездка министра финансов в Нижний развязала языки и представителей нашего купечества. В Москве говорил г. Найденов, в Нижнем — г. Морозов. Г. Найденов свидетельствовал о «крайне тревожном недоумении промышленного сословия в виду проектированных уже понижений по весьма значительному числу тарифных статей и притом в неопределенном размере». Он выразил надежду, что «правительство не откажется принять надлежащие меры к устранению всех подобных опасений». Речь его прямолинейна и ясна: он хочет, чтоб таможенный тариф не подвергался изменениям. Для чего, думает он, создавать такой высокий тариф, если имелось в виду понизить его? Тариф этот так обстоятельно обсуждался. Целый парламент был собран для его разработки. Г. Менделеев написал о тарифе целых два тома, в защиту высоких пошлин. Вообще ученым силам дано было первенство при назначении пошлин. Казалось, все в нем предусмотрено, и вдруг изменяют. Неужели высокий тариф создавался потому, чтоб было из чего уступить в случае надобности? Неужели государства находятся еще друг к другу в таких же условиях, как продавцы к покупателям, и до prix fixes еще не дошли? Так мог думать г. Найденов, выражая свои мысли. Повторяю, он прост и ясен, и спор с ним может быть прост. Другое дело г. Морозов.

Речь г. Морозова читатель найдет ниже. Она произвела большое впечатление на нижегородской ярмарке и, кажется, возбудила даже в гг. нижегородцах такое соревнование, что явились ораторы, которые стали вспоминать Минина по поводу этой таможенной войны и уподоблять настоящее «патриотическое» возбуждение патриотическому движению 1812 года. Об этом можно только сказать, что уж если звонить, то звонить во все колокола: по крайней мере, шуму будет много. Но дело совсем не в шуме, а в серьезном и обдуманном спокойствии.

Речь г. Морозова сильна чувством. «Богато наделенной русской земле и щедро одаренному русскому народу не пристало быть данником чужой казны и чужого народа». Это очень хорошо звучит и отвечает чувству национальности. Оно звучало бы не хуже, если б просто было сказано: «русской земле и русскому народу не пристало» и т. д. Богатое наделение и щедрое одарение можно бы оставить в покое. Но есть другое место в этой речи, более значительное, на которое я хочу обратить внимание. Оно тоже сильно чувством, но совсем слабо анализом.

Г. Морозов говорит, что, сравнивая условия промышленности на Западе с нашими, он приходит к убеждению, что «Россия, благодаря *громадным* своим естественным *богатствам*, благодаря *исключительной* промышленной *сметливости* своего населения, благодаря *редкой выносливости* русского рабочего, может и должна быть *одною из первых*, по промышленности, стран Европы».

Я прошу вас обратить внимание на подчеркнутые слова: «громадные богатства», «исключительная сметливость», «редкая выносливость». Все это — первобытные условия, в которых культура ни при чем. Богатства всегда были, сметливость всегда существовала, выносливость — еще при татарах была известна. Но смею думать, что на одних этих качествах далеко не уедешь, как бы ни были мы сметливы и выносливы, Запад будет иметь всегда перед нами преимущество своего образования, своей культуры, школы. У нас еще все самоучки, на Западе — все

уже произведение школы, культуры. Сколько бы г. Морозов ни толковал о сметливости и выносливости, все же и ему известна пословица, что за одного ученого двух неученых дают. Правда, народу у нас пропасть. Есть экономисты, которые даже говорят, что не худо бы его поубавить эпидемиями: оставшиеся в живых сделались бы несколько богаче. Но ученых у нас так мало, что нам и пословица эта ни к чему. Мы привыкли хвастаться самоучками, и они действительно иногда замечательны по своему дарованию; но пора бы подумать, что стыдно, наконец, этим хвастаться. Самоучки гибнут, мимоходом удивляя нас, потому что они не могут соперничать со школою. Искусный, даровитый самоучка, пройди он хорошую школу, выдвинулся бы как талант, как изобретатель, как двигатель прикладного или изящного искусства, а он тратит огромное количество своих сил на самообучение, тогда как хорошая школа сохранила бы ему эти силы и то, что он потратил на азбуку, он потратил бы на высшее свое развитие.

И мне удивительно, что г. Морозов, один из богатейших фабрикантов, строит благополучие русской промышленности на природной сметливости и выносливости населения. Понятно поэтому, что в его устах громкая фраза, что «русскому народу не пристало быть данником чужой казны и чужого народа», есть только одно недоразумение. Если мы данники чужой казны и чужого народа, то не потому ли, что мы все еще строим свое благополучие на природных богатствах России, на сметливости и выносливости населения? Чуть что-нибудь важное, мы сейчас к иностранцу: помоги! Нужны рисунки, образцы, пособия — ничего на русском языке, и мы опять: немец, помоги, помоги, англичанин, помоги, француз. Вот в чем беда. Про мужика давно сказано: «сер-то он сер, да разум его черт не съел». Но одного разума мало в этом промышленном соревновании. Необходима такая же сеть школ, как на Западе, необходимо то, что создал Кольбер во Франции в прошлом, XVII веке, что создал в Европе XIX век.

И мне странно, что крупный промышленник не запнулся перед министром финансов о таком деле, о котором надо кричать с крыш, не запнулся о том, что промышленники готовы действовать в этом направлении. А г. Морозов так красноречив!.. Слова хорошие, звучные, убежден, что и чувства искренние, но с одним чувством мы дела не сделаем...Когда армия побеждает, она побеждает не одной храбростью и выносливостью. Все европейские страны, и мы в том числе, ревниво следим друг за другом, за совершенством пороха, оружия, за обучением солдат, за развитием военных школ. В промышленности должно быть то же самое соревнование еще в большей степени, ибо храбростью и выносливостью она не победит, тогда как армии иногда и побеждают только храбростью и выносливостью...

18(30) августа, № 6275

CXXIX

Я читал интервью корреспондента «Новостей» с г. Кази. Он против договора с Германией, как и я. Но есть между нами разница. Я говорю, что, если не заключать с нею договора, то необходимо напрячь все силы для подъема народного образования, основать целую систему профессиональных школ и не жалеть на возвышение нашей культуры денег, как не жалеют их на военное дело. Я разумею

не один теперешний момент, но будущее, и рассчитываю вовсе не на гг. промышленников и их «патриотические» чувства, выраженные громкими фразами вроде «не пристало русскому народу быть данником чужой казны». Я знаю, что эта фраза в переводе на простой и обыкновенный язык значит, что «не пристало русскому народу покупать иностранные вещи, когда С. Т. Морозов, г. Кузнецов и т. д. и т. д. умеют их приготовить дома». Кроме того, наше «данничество», о котором говорил г. Морозов, приносит нам большие миллионы, в виде таможенных пошлин. За право торговли у нас немецкими товарами мы берем деньги, как немцы берут с нас деньги за право торговать в Германии нашими товарами. Приняв все это в соображение, громкая фраза почтенного С. Т. Морозова не что иное, как пена чувства.

Итак, я рассчитываю на успех нашей промышленности вовсе не в союзе с С. Т. Морозовым и другими столь же знаменитыми или именитыми промышленниками, а единственно в союзе с народным образованием. Не один министр финансов должен вести эту борьбу, но и министр народного просвещения. Я непоколебимо убежден в том, что никакая покровительственная система не уравняет нас в промышленном отношении с Европой, если мы не выйдем из рамок, из программы, из рутины, из цифр нашего бюджета народного образования.

Г. Кази, кажется, на этот счет другого мнения. Он убежден, что дело пойдет и так, просто в силу высокого тарифа. Конечно, крестьянину необходимо продавать, говорит он. Но этому легко помочь: пусть «правительство берет у крестьян хлеб взамен податей». Легкое дело, не правда ли? Если б кто-нибудь вздумал привести в исполнение этот совет, то ни правительство не осталось бы довольно этой практикой, ни даже крестьянство. И если можно с крестьянства брать подати хлебом, то отчего не брать подати и платежи хлебом же с помещиков, отчего с фабрикантов миткалем и ситцем? Отчего рабочим на фабриках не платить тоже миткалем и ситцем вместо денег? Впрочем, фабриканты стараются платить рабочим натурою, заставляя их брать у себя провизию и т. д. Но это едва ли заслуживает подражания.

Отвечая своему вопрошителю, который выразил мысль насчет возможности превращения таможенной войны в войну с оружием в руках, г. Кази сказал, что теперь «вооруженные войны заменены экономическими; в экономической же войне побеждает не сильнейший, а умнейший».

А что такое «умнейший»? Ведь ум — вещь относительная. Шекспир умен, и Бисмарк умен, и биржевик умен, и закладчик умен, и фабрикант умен, и чиновник умен. В экономической войне кто же умнейший? Его трудно определить, этого умнейшего, ибо ум зависит, кроме природы, еще от разных обстоятельств, и прежде всего и главнее всего от степени развития, так сказать, ума промышленного и от культуры вообще. Мы культурнее Востока, и наша роль там прямо цивилизаторская, и эту роль не оспаривают у нас даже беспристрастные европейцы. Азиаты подчиняются нам, как народу более их культурному. Но нельзя сказать, что мы вообще умнее их; мы умнее их лишь постольку, поскольку владеем европейским образованием и нашей собственною культурою, существования которой невозможно отрицать даже и во времена допетровские. Но Запад сильнее нас культурою, сильнее уж потому, что он старше нас. Почему, например, немцы создали у нас Лодзь и стали победоносно конкурировать с московскими мануфактурами? Не культура ли тут виновата? Не победит ли и в экономической войне не тот, кто умнее — ум тут трудно измерить — а кто сильнее культурою?..

Ах, я очень желал бы, чтоб мы победили. Мне очень симпатично, что наши землевладельцы, подсчитывая убытки свои, не кричат о жертвах, а подсчитывают их молча. Если хотите, это патриотичнее громких фраз о «данничестве». Мне очень симпатично все то, что делает правительство для поддержания цен на хлеб, и эта быстрота мероприятий, к которой мы вовсе не привыкли. Но надо, кроме того, делать для будущего, делать для нашего образования, для нашей культуры. «Победит умнейший»... Что ж, станем показывать ум, если у нас его много. Это никогда и ничему не мешает. Но станем показывать ум не громких фраз и бойких теорий, а тот практический, осторожный ум, ум с оглядкой и выдержкой, который основывается на точных знаниях наших средств и сил. А если эти средства и силы мы станем развивать народным образованием, то, если теперь не победим, победим в будущем. Надо делать так, чтобы потомство готовило нам лавровые венки и благодарность, а не современники с бокалами шампанского в руках. Эти лавры засыхают вместе с пеной шампанского...

24 августа (5 сентября), № 6281

CXXX

Тайный советник Геффкен...

Позвольте. Говорят, что во дворце лежала книга, в которую только тайные советники могли вписывать свои замечания, наблюдения и советы. Лежит ли такая книга в кабинете прусского короля и германского императора и в настоящее время, или она давно уже съедена мышами, которые должны были ее любить за масляные пятна, оставленные на листах ее жирными пальцами прусских тайных советников, — я не знаю. Но я вспомнил об этой книге потому, что есть основание думать, что сочинение г. Геффкена «Frankreich, Russland und des Dreibund» вполне оправдывает его чин тайного советника и его обязанности «писать» в книге советы. Естественно также — и это главное, — что каждый тайный советник пишет только те советы, которые нравятся тем, от которых зависит его повышение и награды за усердие. Иначе совсем не надо и быть тайным советником: независимые советы, без расчета на награды, может подавать всякий немецкий гражданин.

Хотя в «Новом Времени» и была помещена некоторая оценка усердия г. Геффкена, но я думаю, что не лишни будут и мои строки об этой книге, которую я только что прочел здесь.

Книга эта любопытна именно только, как произведение тайного советника, совсем не убежденного в том, что он пишет, но зато убежденного в том, что его похвалят там, где не хвалят независимых мнений. Читается она со скукой, несмотря на анекдоты, понадерганные из исторических книг Вандаля, Татищева, Чарторижского, Талейрана, Ранке, газетных статей и канцелярских и придворных слухов. Даже слог ее нисколько не напоминает ни китайского лака, ни даже блеска хорошей ваксы на сапогах придворного лакея. Что в ней есть исторического, то всякому известно, но это историческое прошло через горло, воспаленное насморком прусского патриотизма нового курса.

Как известно уже нашим читателям, дело в этой книге идет о том, чтоб доказать, что несмотря на ряд усилий Петра Великого, Елисаветы, Павла, Александра I, Николая I и Александра II, союз России с Францией никогда не удавался; но, на основании прошлого, судить о будущем и настоящем с такою уверенностью,

какая является у г. Геффкена, по меньшей мере легкомысленно. Да это не уверенность, а льстивая фраза по адресу «нового курса». Г. Геффкен говорит, что ему очень хорошо известно, что и в настоящее время между Россией и Францией не существует никакого союза ни в какой письменной форме, ни даже в форме протокола. Все это «выдумки», говорит он. Но почему же г. Геффкен достовернее в этом случае, чем я, например? Если я скажу: мне достоверно известно, что союз Франции с Россией существует не во взаимных только симпатиях и общности интересов, но и в более реальной форме, — то почему мои источники менее достоверны, чем источники г. Геффкена? Потому разве, что я не «тайный советник»? Ведь другой причины не может быть. Мне также доступны все те сочинения и газеты, на которые ссылается г. Геффкен, не исключая такой редкой газеты, как «Figaro», много раз служащей прусскому тайному советнику «достоверным» источником. У меня существует убеждение относительно франко-русского союза прямо противоположное убеждению г. Геффкена, и наши источники, по крайней мере, одинаково достоверны, и если есть между моею «достоверностью» и «достоверностью» г. Геффкена разница, то она единственно только в наших чинах.

Но что всего лучше, у г. Геффкена решительно нет ни одного источника сколько-нибудь авторитетного: все книги, брошюры, газеты, — и все это для того, чтоб восхвалять Тройной союз, его силу военную и нравственную, его незыблемость, его громадную твердость. То Эмиль Жирарден с газетою «Liberté», то «Figaro», то полковник Морис с своим «The balance of military power in Europe», то «Economiste francais». Г. Геффкен летает от книги к книге, от статьи к статье, от слов одного министра к словам другого в парламенте, от анекдота к анекдоту, от случайного слуха к слуху, и думает, что он доказывает что-нибудь, кроме того, что ему доказать повелено. Рисуя печальное финансовое положение Италии, например, положение, которое, очевидно, и тайному прусскому советнику скрывать нельзя, г. Геффкен говорит, что оно «нисколько не зависит от вступления Италии в Тройной союз». Почему? Да просто потому, что итальянский военный министр в парламенте 21 октября 1892 г. объявил, что Тройной союз не влиял на военные расходы Италии. Вот вам и все, если не считать того, что г. Геффкен согласен с итальянским военным министром. Что возражали военному министру в парламенте, какие протесты вызваны этим в итальянских газетах, об этом ни слова у Геффкена. Он словно боится огорчить кого бы то ни было из людей нового курса даже тенью критики устойчивости Тройного союза, а потому спешит прибавить, что положение Италии было бы гораздо хуже, если б она не вступила в Тройной союз, точно Италия не могла бы уже нигде найти себе союзников, если б ее политические люди были бы дальновиднее. Правда, существует irridentская партия, но она так ничтожна, говорит г. Геффкен. Остальная Италия вся в восторге от Тройного союза. Так ли?

Во время путешествия императора Вильгельма II в Италию прошлой весной я жил в Италии и видел своими глазами и слышал своими ушами нечто такое, что не совсем согласно с восторгами прусского тайного советника. Кроме своего собственного свидетельства, у меня есть собрание итальянских газет, явившихся в свет и схваченных полицией, но тем не менее продававшихся разносчиками рядом с городовыми. Среди криков приветствия германскому императору, некоторая часть итальянского населения, особенно в Неаполе, резко высказывала враждебные чувства к немцам. Эти выражения были неделикатны, даже грубы, конечно, только маловоспитанная часть населения позволяла себе эти выходки, но исто-

рия должна считаться и с этим, и это занесено даже в некоторые итальянские газеты, и, упоминая об этом, я только сообщаю факты. Военные итальянцы выражались жестко, не скрывая своего оскорбленного чувства, когда стало известно, что германский император за официальным обедом в Риме провозгласил тост на немецком языке, точно Италия уже германизирована и обязана понимать по-немецки. Что Италия этого не забыла, доказывается тем, что наследный итальянский принц во время нынешних маневров отвечал на тост императора тостом на итальянском языке, хотя наследный принц знает по-немецки.

Злые языки говорят, что будто на каждом немецком ядре выливается теперь надпись: «Gott mit uns» (Бог с нами), так что Бог будет лететь с каждым немецким ядром и производить опустошения в неприятельских рядах. Конечно, все это превосходно и даже логически превосходно, но все это, однако, еще ровно ничего не доказывает, как бы ни старались убедить нас тайные советники, что все обстоит благополучно в Тройном союзе. Каждый из союзников очень усердно смотрит в сторону, и Австрия, подписывающая, вопреки желанию Германии, торговый договор с Россией, тому наглядное доказательство. Погодите, еще настоящие кости не брошены, и парады, маневры и шумные речи не закрывают прорех в этом малоестественном союзе, скорее похожем на опеку Германии над союзниками. Наполеон в 1813 г. сказал Меттерниху в Дрездене с своим обычным цинизмом: «et encore la plupart du million d'hommes que j'ai perdu etaient des allemands», на это Меттерних ему ответил: «Mersi pour les allemands». Кто знает, когда-нибудь германский император тоже скажет: «J'ai perdu un million d'hommes, mais, Dieu mersi, la plupart etaient des italiens et des autrichiens». А будущий Меттерних или Кристи ему ответит: «Sir, vous etes grand comme Napoleon». Всякое может случиться. Напрасно г. Геффкен говорит, что Франция и Россия только «шумят» и что «за шумом ничего важного нет», тогда как Тройной союз «действует в тишине». Помилуйте, где же эта тишина? Русские наделали шума в Кронштадте, французы, может быть, наделают шума в Тулоне — вот и весь шум на пространстве трех лет. А Тройной союз шумит чуть не ежедневно, наполняя воздух грозными речами, тостами во славу оружия, боем барабанов и пальбою из пушек холостыми зарядами. Немецкие победы во Франции не сливались с таким шумом и азартом, как эти застольные победы и парады войны. Если б вычислить работу международного телеграфа, потраченную на передачу шумных речей и шумных военных процессий Тройного союза, то эта работа наверно превзойдет работу телеграфа, потраченную на передачу действительных немецких побед, где было мало речей, но много дела. Подождем этой «троицы» на деле, ничем не хвастаясь, не унижаясь, не крича заранее «ура в первый раз, ура во второй раз, ура в третий раз», как это было во время маневров в Меце, подождем, сохраняя свое достоинство, внимательно прислушиваясь к тому, что о нас говорят, и внимательно устраивая свои внутренние дела. Авось, Бог не выдаст и Геффкены нас не съедят. Германия состоит не из тайных советников только и не из людей, только говорящих шумные речи. Есть тут и люди дела, и люди мира, и много таких людей, с которыми можно и сговориться, и столковаться и которые не только не приходят в восторг от современного порядка вещей в Германии, но открыто и резко порицают даже эту таможенную войну, предпринятую Германией во славу отдохновения тайных советников и министров...

Берлин, 29 августа (10 сентября)

3 (15) сентября, № 6291

CXXXI

Я очень мирно настроен, почти так же мирно, как император Вильгельм. Правда, он маневрирует, говорит речи, предлагает тосты, на портретах он строг и даже вооружен. Я видел его портрет с фельдмаршальским жезлом в руке и со взором, обращенным в даль, как рисуют победителей, великих полководцев. Но это ничего не значит. Всем известно, что он побеждал только на маневрах и знает битвы постольку, поскольку знает историю. Это если полководец, то полководец мира и на этом поприще он может быть непобедим. Да, непобедим, и это поприще единственное, на котором он может себя прославить, и я думаю, это единственное, о котором он мечтает. В самом деле, попробуйте рассуждать логически. Говорят, он честолюбив. Верю, что он даже очень честолюбив. Но разве можно немецкому императору удовлетворить свое военное честолюбие так, как подобает наследнику его великого деда? Одержать столько побед, взять столько миллиардов, овладеть столькими землями, усыпать свой путь блистательными сражениями в количестве почти бесчисленном — разве такое повторение возможно? А если повторения не будет, то какое это удовлетворение военного честолюбия? Ну, победитель, но какой? Ну, станут прославлять, но как? Ну, станут измерять тоннами пролитую кровь; ну, станут складывать башни из трупов; ну, положим, число тонн крови будет больше, башни из трупов будут выше, но дальше? Число сражений, число побед, число миллиардов и отторженных земель? Нельзя верить, что он во всех отношениях превзойдет деда. Это невозможно. Такое счастье не повторяется. И потом, возьмите в соображение, что если Пруссия победила Данию в союзе с Австрией, то Австрию и Францию она победила одна. А если теперь император Вильгельм II кого-нибудь победит, то победит в союзе с Австрией и Италией. Совсем не то. Всего треть славы, треть миллиардов, даже треть всех тонн пролитой крови. Стоит ли из-за этого волноваться? Да хорошо еще, если треть, а если четверть или одна восьмая, если Италия или Австрия — чем черт не шутит — одержат больше побед, приобретут больше славы и прольют больше тонн крови? Тут уж просто обида будет, и даже самые обстоятельства гегемонии могут перевернуться. Я уже не говорю о новых реваншах, которые будут порождены победами, и о новых вооружениях. Одно мечтание французов о реванше чего стоит Германии — страсть! Одно это выбить из головы французов такая задача, что стоит великих пожертвований со стороны немецкой нации. Все эти союзы, маневры, барабаны, тосты, поездки — все пока начало этого. Конечно, император осуществляет вездесущее Божие в пределах железных дорог, ну, а потом уж надо будет по воздуху летать, а еще неизвестно, скоро ли можно будет летать по воздуху...

Нет, что ни говорите, я не верю тому, что император Вильгельм II хочет войны и побед. Он хочет мира, он хочет тех блистательных лавров, которыми не украшались еще его предшественники. Мечтать о мире, о всеобщем разоружении — мечта, помечтать о нем при всеобщем вооружении — совсем не мечта. И в этом отношении едва ли кто его может превзойти. Нельзя рисковать военной славой, приобретенной Вильгельмом I. Нельзя эту славу превзойти. Остается ее поддерживать, сделать ее гранитной, вавилонской башней, пределом, за которым остается только мир и кончаются всякие военные дерзания. Вот мечта Вильгельма II.

Поэтому он так нецарственно считает неприятельские войска. Стоит объявится в противном лагере одному лишнему солдату и двум лишним пушкам, сейчас же находятся два солдата и три пушки в Германии. И это не для победы, а для равновесия. Конечно, союзники его могут воображать, что будет война и что этой войною они нечто приобретут. Германский император, конечно, ласкает эти надежды, ибо без этого нельзя, но в глубине души он только за мир, потому что только мир и нужен Германии. Всякая война, даже победоносная, ей только во вред.

Все это предисловие в книге «Der grosse Krieg von 189...», явившейся на этих днях в Берлине. Книга эта есть не что иное, как перевод статей из английской книги «Black and White», явившейся в конце и начале нынешнего года с иллюстрациями сражений. Перевод сопровождается очень скромным предисловием немецкого генерала фон Белова. В оригинале книга написана контр-адмиралом P. Colomb, полковником I. F. Maurice, капитаном Maude и штатскими: Archibald Forbes, Charles Lowe, D. Chistie Murray и F. Skudamore. Семь человек трудились над «будущей войной»; из них Archibald Forbes известен как корреспондент во время нашей войны с турками, а полковник Maurice состоит в редакции «Times».

Что за войну они сочинили, об этом в другой раз. Пока сообщаю о том впечатлении, которое произвела эта книга на императора Вильгельма, когда поднесли ее ему в немецком переводе. Прочитав ее, он сказал:

— Семь английских коров впряглись в колесницу Беллоны, но с места ее не сдвинули. Слишком ли тощие, или слишком жирные эти коровы?

Если хотите, несколько загадочно это воспоминание о коровах Иосифа, вызванное произведением английского контр-адмирала, английского полковника и английского капитана, которые с четырьмя остальными писателями составляют, действительно, число семь, но il y en a quelque chose, не совсем приятное для этих «английских коров», на что, кажется, они не могли рассчитывать после того фимиама, который воскурен императору в их книге. А фимиаму было много. Например, в начале войны император Вильгельм с своей свитой, проезжая мимо статуи Коперника в Торне, говорил следующие слова:

— Да, господа, там вы видите человека, который впервые открыл глаза миру на истинную природу солнечной системы. Будем надеяться, что и нам удастся, с Божией помощью, указать России истинное место в системе народов.

Надейтесь, meine Herren mit Gottes Hilfe...

Берлин, 14 (2) сентября 93.

5(17) сентября, № 6293

CXXXII

Боже, как нас бьют, как нас бьют!.. во время «Великой войны 189...», сочиненной семью англичанами (см. предыдущее письмо, № 6293 «Нового Времени»), из которых трое все-таки военные люди, хотя никакими военными подвигами они и не отличились еще. Кажется, Диккенс сказал, что если англичанин начнет говорить патриотические пошлости, то решительно превзойдет все нации в мире. И контр-адмирал Коломб (Colomb) в союзе с полковником Морисом (Maurice) и капитаном Модом (Maude) действительно наговорили столько пошлостей, что

гасконец перед ними показался бы очень скромным человеком. Я читывал немцев, задававшихся «будущей войной», и находил в их сочинениях и знания, и стратегические соображения, и добросовестность по отношению к своему противнику, которого они разбивали на бумаге. Я понимаю, что в «будущей войне» всякому хочется победить, и пером подобного сочинителя руководит патриотическое чувство больше, чем холодный разум; но все же должна быть некоторая добросовестность, хотя бы в том соображении, что предсказать будущее очень трудно даже дамам, которые гадают на картах и бобах. Ведь никому не удалось предсказать ни побед и поражений Наполеона, ни побед немецкой армии во Франции. И военная наука не наука предсказаний, а наука выводов из того, что случилось. Но семеро англичан, будто бы названные императором Вильгельмом семью английскими коровами, которые впряглись в колесницу Беллоны и не сдвинули ее с места, — эти семеро всем пренебрегли, даже формой, избрав форму корреспонденций и театр войны по телеграфу, форму, избавляющую от всякой ответственности в том деле, которое они решились пропагандировать с целями специально английского патриотизма, рассчитанного на массу. Появление этого сочинения на немецком языке и предисловие к нему генерал-лейтенанта фон Белова можно объяснить себе только разве желанием немцев иметь в Тройном союзе и Англию, которая в этой «будущей войне» играет первенствующую роль. Генерал фон Белов, ограничиваясь в своем предисловии несколькими так называемыми «теплыми словами», замечает, что гг. сочинители, очевидно, принадлежат к тому кругу англичан, которые еще сохранили «воспоминания о гордых временах Питта и Пальмерстона». Мне думается, напротив, что эти господа сочинители принадлежат просто к кругу пустых болтунов и льстивых хвастунов английского штаба...

Война начинается тем, что сербы, воспользовавшись покушением на жизнь Фердинанда болгарского, вступают в Болгарию. Болгары мгновенно разбивают их наголову при Драгомане. В тот же день Австрия занимает Белград. Россия посылает Австрии ультиматум с требованием очистить Белград, иначе грозит занять Варну и Бургас, в интересах поддержания мира. Австрия отказывается, и Россия занимает Варну. Гуманный император, уведомленный об этом, говорит длинную речь, начинающуюся такими словами: «Господа, Бог восхотел, чтоб Германия вынула свой меч для защиты своего союзника, и мы должны исполнить Господнюю верховную волю». Надо отдать справедливость английским авторам, что они хорошо пародируют императорские речи. Известно, что немцы никого не боятся, кроме Бога. Не менее известно, что Бог, узнав об этом, почувствовал к немцам такую благодарность, что стал непосредственно разговаривать с представителем Германии, как древле с Моисеем. После речи германские войска мобилизируются и идут к русской границе, во главе с императором. Происходят пограничные стычки, узнав о которых Париж возмутился и объявляет войну Германии. Тогда гуманный император говорит, что его место там, где предстоит большая опасность, а это опасность со стороны Франции, а не России, с которою может расправиться саксонский король и его брат Георг. Сказав это, он покатил во Францию за лаврами своего деда. Разумеется, он не ошибся, что со стороны России опасность предстояла совсем ничтожная, совсем не требовавшая гениального полководца. Немцы почти без боя заняли Александров; благодаря беспечной халатности русских они овладели 123 вагонами, 9 локомотивами и прочим материалом, а через два-три дня наголову разбили при Александрове же русскую

армию под начальством генерала Гурко. Значение этой победы, однако же, несколько уменьшилось благодаря тому, что великий князь Владимир Александрович одержал довольно значительную победу над силезской армией при Ченстохове. Но, увы, прошла какая-нибудь неделя, и соединенные армии Гурко и великого князя Владимира Александровича потерпели такое страшное поражение при Скерневице от немцев, предводимых королем саксонским, что оставалось только стянуться к Варшаве и размышлять о суете сует. В тот же день армия генерала Драгомирова была разбита наголову австрийцами при Люблине, и генералу Драгомирову осталось только спешить на соединение с армиями генерала Гурко и великого князя. Так, в какие-нибудь две недели немцы покончили с русскими армиями на западной границе.

Но на нашем западе оставался еще флот; флот этот даже соединился с французским флотом на Балтийском море и готов был вступить в бой с немецким флотом. Но тут случилась штука поистине изумительная, очевидцем которой был сам контр-адмирал Коломб, один из сочинителей книги. Он плавал на собственной яхте вместе с супругой своей, контр-адмиральшей, и спас из волн одного русского офицера и двух матросов с русского торпедного судна, которое на глазах г. Коломба пошло ко дну. Описывая эти будущие происшествия и все предвидя, г. Коломб не предвидел, как английский броненосец «Виктория» пошел ко дну, не во время «будущей войны», а в прошлом июле месяце, причем многие английские морские офицеры оказались не на высоте своего положения. Не предвидел г. Коломб и того, что герцог Эдинбургский сделается великим герцогом Кобург-Готским, иначе он не поставил бы его начальником английского флота, который очутился в Балтийском море как раз в то время, когда франко-русский намеревался вступить в бой с флотом немецким. Тут и случилась та удивительная штука, о которой я упомянул выше. Герцог Эдинбургский объявил франко-русскому флоту, что если он тотчас не отправится восвояси, то он соединится с немцами. Эта угроза наполнила ужасом сердца русских и французов, и они, не долго думая, раскланялись друг с другом и отправились, одни на юг, в воды Франции, другие на север, в Кронштадт, под эскортом в тылу же английских судов. Таким образом, Англия, одним своим словом, уничтожила всякое значение флотов русского и французского и обеспечила этим немецкие берега и немецкие победы над тремя нашими армиями. Но подвиги Англии этим не ограничились; без нее Тройной союз ничего не сделал бы путного, и с этой целью и написана книга.

Италия разбивает французов при Гиере или, вернее, при Костебеле, и разбивает наголову, так разбивает, что германский император шлет королю Гумберту депешу, в которой говорит, что итальянцы дрались не хуже немцев при Росбахе и Седане и что это возрадовало императорское сердце донельзя. Но победа эта осталась бы без результатов, если б Англия и тут не явилась спасительницей, разбив французский флот в Средиземном море. И как это мило случилось: французы стреляли все издали, и все патроны расстреляли; английский же адмирал придумал штуку важную: он не велел стрелять до тех пор, пока французский флот не подойдет на близкое расстояние. Как он подошел, тут его и разбили в пух и прах, и он ушел в Тулон размышлять о суете сует.

Ну, а на востоке как наши дела? Ах, очень плохо. Мухтар-паша нанес жесточайшее поражение русской армии около Эрзерума, причем турки нарезали столько носов от русских лиц, что они лежали холмами и радовали сердце английского корреспондента. Когда англичане предложили свою помощь туркам,

то Мухтар-паша отвечал: «Не надо. Я один управлюсь с русскими». Затем Англия вступила с своим флотом в Черное море, бомбардировала Варну и нанесла на суше, при Козлудже, такое поражение русским, какого они еще никогда не испытывали. Вот как характеризуется эта победа англичан: «никакая другая европейская держава не могла бы уничтожить с такой легкостью и с такой уверенностью опасное русское войско, которое могло получать бесконечное подкрепление, пока Россия владела бы Черным морем». Вот каковы англичане! И все это сделал адмирал Вольслей (Wolscley) в самое короткое время, тот самый Вольслей, который отличился в египетском походе.

Осталось доказать немногое. Вы помните, что император Вильгельм отправился во Францию. Нанес несколько поражений французам, взял Реймс; немцы подошли к Парижу и стали его бомбардировать. Но французы, под начальством Галифе, сделали такую мужественную вылазку, что заставили немцев снять осаду и скорым шагом отступить. Это отступление было рядом поражений императора Вильгельма, который, наконец, жестоко был разбит при Шалоне. Немцы, потеряв всякое уважение к своему царственному полководцу, восклицали: «Ах, если б хоть на один день нам Мольтке». Но Мольтке не вставал из гроба...

Результаты сражений: французы разуверились в силе русских и, несмотря на свои победы, не могли продолжать кампанию одни, и потому границы между Германией и Францией остались теми же самыми. Русские просили мира, который дарован был им на самых унизительных условиях: Царство Польское восстановлено вместе с северо— и юго-западным краем. Англичане овладели всем Афганистаном и приобрели некоторые французские колонии. Мужество Англии выросло необыкновенно, и есть надежда, что она будет распорядительницей Европы и всего мира.

Так легко совершаются «будущие войны». Так приятно пишут семь англичан. Если когда-нибудь они попадут в русский плен, то их надо будет тотчас отпустить с миром, ибо, кроме глупостей, они ровно ничего не могут сделать для своей страны. Но книга их — отголосок английской ненависти к нам, ненависти, готовой питаться даже фантастическим описанием грядущих бедствий на Россию. Гг. семеро иногда отдают справедливость солдатам нашим, да и то высокомерно, но зато и офицеры, и генералы ничего не видят, повторяют старые ошибки, в угоду англичанам, и всячески стараются наделать как можно больше глупостей, чтоб англичане могли наделать как можно больше подвигов. Их Вольслей — какой-то сказочный богатырь, чуть не ходящий по водам, как по суше, и по суше, как по водам. Перед ним все никнет: и французы, и итальянцы, даже немцы с саксонским королем и императором Вильгельмом вместе. Чудный гений! Ему решительно надо умереть до войны; если он до нее доживет, то страшно огорчит семерых англичан, ибо, понятно, не совершит и малой доли тех подвигов, которые совершил он у семи англичан. Ненавидят нас эти «мореплаватели» ужасно. Наш настоящий враг совсем не немцы, а именно англичане. Только Наполеон I нас так ненавидел, как они нас ненавидят. Они готовы были бы всю Россию сослать на остров св. Елены и распоряжаться в Азии беспрепятственно. Но увы! Сколько бы ни писали глупых сказок военные англичане, как бы они ни поражали Россию в своем воображении, мы все-таки намерены жить и даже сильно жить!

Берлин, 5 (17) сентября

9(21) сентября, № 6297

CXXXIII

Позвольте мне сказать несколько слов о том большом движении, которое существует решительно во всей Франции, вызванное визитом русской эскадры в Тулон. Разговоров, приготовлений, статей в газетах так много, что это действует и на нервы. Есть люди, которые готовы видеть в этом что-то неестественное, что-то натянутое и недостаточно искреннее. Я на этот счет другого мнения. В этих празднествах мне чуется что-то большое, даже очень большое, которое теперь еще не сознается достаточно. По моему мнению, это побольше Кронштадта. Я, впрочем, ничего не сравниваю, но трудно избежать сравнения, когда дело идет о Париже и Петербурге. Петербург — русская столица, столица великого и сильного царства и больше ничего, хотя и этого достаточно. Париж — не только столица Франции, но в значительной степени и столица всего мира. Вот это и надо принять в соображение в настоящем случае.

Кронштадтское событие было чем-то внезапным и увлекательным по своему порыву, по своей необычайной искренности; никто его не готовил: у нас не было никаких комиссий, никаких синдикатов, никакой пропаганды, ни тени этого предварительного шума и тех приготовлений, которые видим здесь. Сделалось как-то разом, по какому-то молчаливому соглашению всех и каждого в Петербурге и Москве, сверху донизу. Русское чувство рванулось навстречу Франции, как к брату давно желанному, как к стране, жестоко пострадавшей и безжалостно униженной, но силою своего гения и упорного труда снова воспрянувшей и воскресшей. Политика при этой встрече у нас почти исчезала под наплывом какого-то пламенного чувства братства и радости вместе с удивлением перед внутренней силой этой богато одаренной страны. Лед прорвало разом и брызнуло пламя, то русское пламя, которое делало чудеса...

Здесь, во Франции, дело стоит несколько иначе. Политика на первом плане — и не та узкая политика, которая считается с Германией, с Берлином или Римом. Нет, она метит дальше. Франция привыкла удивлять мир, и мир привык удивляться Франции. И французы и тут хотят удивить мир, хотят дать зрелище, которое надолго бы осталось в памяти целого мира не только как зрелище, но и как важное историческое явление. Отсюда все эти приготовления, весь этот шум, на который сбегается если не целый мир, то сбегаются решительно со всего мира. Десятки тысяч путешественников поплывут в Тулон и в особенности в Париж, поплывут с деньгами, которые оставят во Франции, в отелях, ресторанах, магазинах и взамен этого унесут с собою сильное впечатление от празднества. Надобно, чтоб впечатление это было непременно сильное, незабываемое, а потому это праздник не для русских только моряков, не во славу только союза республики и монархии, союза, в который не верят ни немцы, ни итальянцы, хотя XIX век должен бы приучить всех к неожиданностям, к той видимой нелогичности, которая в существе своем оказывается логичной и неизбежной, как судьба, как фатум. Это праздник, если хотите, для всего мира, куда только проникает французский язык, где только не отрицают великого исторического значения Франции. Вот почему тут такое единодушие, такое соревнование всех и каждого; вот почему даже Рошфор, этот гран-сеньор, социалист и революционер, этот непримиримый, прочитал остроумно жестокий урок тем пяти членам парижского муници-

палитета, которые, с г. Вальяном во главе, воспротивились назначению от города Парижа сумм на прием русских моряков. Пять человек из пятидесяти пяти — это смехотворное меньшинство в парижском муниципальном совете, полном радикалами и социалистами. Конечно, есть протесты и кое-где еще, например, в городе Сен-Дени, но эти протесты социалистов только показывают их совершенное незнакомство с Россией и совершенное непонимание того движения, всенародного движения, которое теперь происходит, и, главное, того всемирного значения, которое должно иметь это празднество. Министр иностранных дел г. Девелль сказал одному высокопоставленному русскому: «Я уверен, что в день въезда русских моряков в Париж на улицах будут миллионы народа, который будет их приветствовать. Этого еще никогда не бывало». Да это и может быть только в Париже, где, что там ни говорите, бьется тот всемирный пульс, который ощущает всякий образованный человек, где бы он ни жил. В этом и разница с Петербургом. Там мы, русские и французы, были только одни, лицом к лицу; здесь, в Париже, мы будем перед зрителями всего мира, которые соберутся и собираются сюда, специально для того, чтоб видеть это празднество. Были всемирные выставки, так удававшиеся французам, преимущественно благодаря Парижу, как всемирному центру, теперь предстоит всемирное празднество в честь международной дружбы; всемирная, так сказать, выставка того благородного чувства, которое когда-нибудь уничтожит международную вражду и приведет европейские страны к добровольным и бесспорным границам и к вечному миру. Это начало будущего, может быть, далекого, но первый камень кладется именно теперь, во Франции. Немцы этого понять не хотят. В «Temps» я прочел выписку из «National Zeitung», которая говорит, что «восторженная встреча русских моряков французами есть как раз нечто противоположное мирной и братской манифестации и что это празднование приготовляет к будущей войне». Но как же смотреть после этого на эти маневры Тройственного союза, на публичные лобзания императоров и королей под гром пушек и бой барабанов среди глазеющей и довольно равнодушной толпы, дивящейся блеску официальных приемов и мало понимающей что-нибудь в этих постоянных парадах войны, в этих тревогах, в этих заботах об увеличении армии и проч. и проч.? Если ведь что-нибудь пробуждают все эти действия Тройного союза в армиях, то разве только вражду к другим, к несоюзникам. Если что-нибудь им напоминают в высокопарных застольных речах, то лишь минувшие битвы, кровавые столкновения, насильственные отторжения провинций, наслаждавшихся счастьем и довольством до войны, до этих побед, ненавистных для самих этих отторженных провинций. Чувство злобы, раздражения, похвальба несправедливостями — вот что проповедуется этими маневрами Тройного союза, этими встречами и лобзаниями триумвиров, делящих между собою Европу и связанных между собою только выгодами будущих приобретений оружием, а не культурой. Ничего подобного нет в франко-русском союзе, и не вражду он воспитывает и не ко вражде призывает Франция этим праздником международного братства. Здравый смысл французов, их гордость своей высокой культурой, своими передовыми идеями подсказывают им эту блестящую программу праздника, веселого, радостного, увлекательного, украшенного мирными искусствами, дарами истинной цивилизации. И те зрители, которые соберутся в Париж, могут испытывать только доброе чувство, ибо в каждом образованном человеке к какой бы нации он ни принадлежал, бьется сердце,

способное понимать выгоды мира и дружбы, способное увлекаться идеалом будущего и ценить все то радостное и прекрасное, что дает мирное развитие и уверенность в будущем. Если, как говорится, на людях смерть красна, то на людях, перед глазами представителей всего мира, жизнь еще краше и впечатление сильнее. Зрители в этих случаях, как в театрах, испытывают одно общее чувство и некоторое время им живут. Поэтому, если есть праздники, поднимающие душу, настраивающие ее благотворно, бросающие яркие лучи к будущему, то это именно тот праздник, который устраивает с таким уменьем, блеском и единодушием Франция и Париж.

Биарриц, 2 октября

27 сентября (9 октября), № 6315

CXXXIV

Я не совсем хорошо понимаю представительство русской печати во время парижских праздников. Недостаточно ли было одних корреспондентов русских газет? Какую роль будут играть эти делегаты, в числе которых и я состою? Спичи говорить, выражать свои чувства, благодарить парижскую печать от имени русской за хлебосольство, которое она оказывает русским морякам? Но в таком случае, и петербургская дума должна бы отправить своих делегатов, чтобы благодарить парижскую думу за это хлебосольство, и петербургские театры отправить делегатов благодарить парижскую оперу и балет, и петербургские музыканты отправить своих делегатов благодарить парижских музыкантов и т. д. и т. д. Я не вижу особой надобности в таком исключительном явлении, как делегаты петербургской печати. И притом, почему же одна петербургская печать выбирает своих делегатов, а не выбирает их московская, не выбирает провинциальная? Мы являемся каким-то отрывком, недостаточно мотивированным, и остальная печать может сказать, что Петербург и в этом случае сыграл роль монополиста, весьма беззаботного на счет всей остальной печати. Конечно, чем больше людей получат неизгладимое впечатление от этих бесподобных праздников, тем лучше, чем больше людей передадут своим согражданам высокие чувства братства и любви, тем опять лучше. Но все-таки как-то неловко быть в некотором роде выскочкой.

Я говорю за себя только и говорю в городе, где слышен не шум жизни, а шум моря, которое в эти дни очень сильно волновалось от бурь, которые шли с юга, от Средиземного моря, точно и природа хотела заявить себя в этом торжественном случае особенным напряжением. Но я думаю, что и другим делегатам это чувство знакомо.

Вот еще есть какое соображение: почему представительство идет только от периодической печати и притом только от газет? Это уж едва ли и сообразно с простой логикой. Общественное мнение выражается не одними газетами, но и журналами; в данном вопросе, т. е. в франко-русском союзе, играли роль и журналы. Как же можно было пропустить «Русский Вестник», например, со статьями г. Татищева, который, т. е. г. Татищев, в течение нескольких лет пропагандировал этот союз и в своих ежемесячных обозрениях, и в книгах. Да, наконец, и это не все. Почему отсутствует литература? Журналистика только часть ее, и притом

не самая важная. В списках пожертвований на празднества, в списках, публикуемых газетами, я вижу имена французских литераторов, французских драматургов, А. Дюма, Сарду и проч., людей, не принадлежащих к журналистике, а только случайных гостей ее. Стало быть, в празднествах участвует вся французская литература, а не журналистика только.

В спектакль gala, как известно, вмешалось французское правительство и притом вмешалось с большим тактом. Комитет печати хотел было сделать этот спектакль достоянием случайных посетителей и притом наиболее богатых. Он объявил уже цены за места от 8 франков до 100 франков. Нет сомнения, что места все были бы распроданы. Но французское правительство объявило, что оно берет на себя все расходы по этому спектаклю, а печати предоставляет приглашения на этот спектакль. Печать, разумеется, отказалась от такой трудной роли, и после совещания печати с министрами было решено послать приглашения всем выдающимся лицам администрации, посольствам, военным людям, ученым, литературным, художественным учреждениям, одним словом, всем тем, кто представляет собою важные стороны административной и умственной жизни Парижа. Этот спектакль gala будет единственным в своем роде, едва ли когда прежде существовавшим, ибо едва ли когда-нибудь такое собрание выдающихся людей страны присутствовало в каком-нибудь театре мира или в каком-нибудь общественном зале. Это тоже одна из ярких особенностей этого празднества, таких особенностей, которые осуществить можно было только в Париже и какие будут служить примером для будущих международных праздников подобного рода. В спектаклях gala обыкновенно участвуют только лица высшей администрации, сановники, придворные и затем счастливая часть публики, умевшая достать себе билеты в поте лица и покорнейших просьб. Никто никогда не думал в Европе об академиях, университетах и других подобных представителях общественной жизни. Франция первая дает этот пример, и французское правительство поступило в этом случае с отличным тактом, как правительство самой передовой страны в мире. Ввиду этого наше представительство только от петербургских газет является незначительным и невыразительным. Если есть что хорошего в этом представительстве, то разве только инициатива петербургской печати, которая поспешила откликнуться на горячее воззвание парижской печати, обращенное к французскому обществу. Г. Канниве, редактор «Paris», сделал это первым, и движение стало общим и единодушным.

Мое предыдущее письмо, где я говорил, что это будет всемирный праздник, небывалый международный праздник, могло показаться преувеличенным и по смыслу, и по выражениям. Но общее настроение такое, что невольно ему поддаешься, но приготовления такие, что выходят совершенно из ряда обыкновенного.

Оценить этот праздник надлежащим образом можно только в будущем, а умалить его значение, разумеется, найдется тьма охотников между немцами, англичанами и итальянцами, но это неважно. Читали вы песенку Деруледа «Nitchevo»? Она очень мила и по содержанию, и по тону...

Биарриц, 6 октября

30 сентября (12 октября), № 6318

CXXXV

Правду говорят — событие всемирное, изумительное, трогающее до слез, поднимающее душу, заставляющее ее трепетать той любовью, которая видит в людях братьев и которая ненавидит кровь и насильственные присоединения, отторжение родных детей от любимой матери. Я в каком-то чаду в течение нескольких часов. Мне было странно, почти непосильно стоять на станции Лионской железной дороги, среди представителей французской администрации в золотом шитых мундирах, среди муниципалитета во фраках и слышать крики «Vive la Russie, vive le Tzar!» и наш народный гимн, исполняемый несколько раз сряду. Где я? Что такое случилось? Какая волшебная струя соединила все это в одно чувство, в один разум? Разве не чувствуется тут присутствие Бога любви и братства, присутствие чего-то высшего, идеального, сходящего на людей только в высокие минуты? Сердце так полно чем-то прекрасным, и чистым, и возвышенным, что перо не в состоянии всего этого выразить. Слова бледны перед тем, что я видел, что я чувствовал. Это не восторг, слово это слишком банально, слишком часто оно употребляется для описания всевозможных торжеств. Это лучше восторга, живописнее, глубже, радостнее, разнообразнее. Помимо общего чувства, соединившего всех, тут каждая душа, каждый француз, каждый русский проявляли себя по-своему. Во все время этого триумфального, невиданного шествия, продолжавшегося больше часу, почти постоянно шагом, слышны были крики, шутки, замечания, видны были радостные, веселые, любопытствующие лица; толпа бежала у колясок моряков, горячо их приветствуя, пожимая руки; рукопожатия ни на минуту не прерывались; у женщин восторженные лица, слезы на глазах у многих мужчин даже; и все это шумело, все радовалось тою радостью, которая говорила об уверенности в мире, в спокойствии, в устранении будущей опасности. И это чувство было преобладающее. Не военными кликами, не отмщением, не жаждою отмщения были полны груди этих миллионов зрителей, а жаждою мира, надеждою на этих союзников, которые пришли не для того, чтоб взывать к войне, а для того, чтоб дать убеждение в мире. Нельзя описывать того, что было у «Cercle militaire», когда появился на балконе второго этажа адмирал Авелан. Тут слова ничего не скажут. Надо было видеть и чувствовать это открытое, честное, благородное сердце народа. У русской церкви тоже толпа. Нечего и говорить, что нет ни одного окна и балкона, которые были бы не заняты зрителями. Во время молебна, когда певчие пели в церкви «Спаси, Господи, люди твоя», в открытые двери врывались торжественные звуки Марсельезы духового оркестра, который играл на улице. Что-то изумительное по впечатлению, непередаваемое.

17 октября, Париж

9(21) октября, № 6327

CXXXVI

Ниже все подробности банкета, который мы дали от имени русской журналистики и литературы представителям французской науки, литературы, искусства и печати. Устройство обеда — дело нелегкое в таком городе, как Париж, где

столько партий и столько деятелей на всех поприщах. Оно являлось тем труднее, что нам оставалось два — три дня, и то неполных, для того, чтобы все приготовить, составить списки, напечатать их, разослать, получить ответы, согласиться в подробностях и т. д. Нам очень помог избранный нами председатель, г. де Вогюэ, которому мы бесконечно благодарны за ту горячую искренность и задушевность, с которыми он отдался идее этого банкета и его осуществлению, *первого* банкета, который русские литераторы давали в такой блестящей обстановке. Банкет этот соединил несоединимое, соединил непримиримых врагов в братской идее общности научных, литературных и художественных интересов двух великих народов. Мало этого, такого банкета, где бы сходились вместе Французская Академия, литература, художество и журналистика, до сего времени *никогда не бывало в Париже*. И обед был очень живой, одушевленный. Собирались в течение целого часа, и несколько гостиных в «Hôtel Continental», который дал нам самые роскошные залы, великолепно убранные, представляли группы очень живые, где шел одушевленный разговор. Конечно, в этих группах можно было бы собрать много замечаний и интересных мыслей, которые были бы гораздо интереснее для наших читателей, чем те же речи нас, русских, которые мы импровизировали на всех парах, боясь к тому же длиннот.

Достойны мы или не достойны представлять русскую журналистику и литературу, но мы гордились ею, ее успехами, тем, что ее признавали так явно, так сочувственно все эти представители ума и таланта. Если «незаконно» было наше представительство, зато законна была наша гордость и радость. Нашу военную силу признавали давно, но русскую мысль, русскую литературу только недавно. Мы делали этим банкетом нечто историческое и серьезное. Мы не выдвигали имени журналов и газет, но выдвигали только литературу русскую, только русскую печать.

Но, видя этот успех, нам досадно было, что мы кое-кого пропустили пригласить, хотя второстепенных известностей было так много, что мы совершенно терялись между ними. Отказы приехать со стороны приглашенных были полны большими любезностями (см. ниже выписки из ответов). Думалось, что за обедом будет тоскливо, но он тотчас же принял живой и шумный характер.

Я сидел между непременным секретарем Французской Академии, Камилем Дусе, и президентом института, Сенаром. Камилю Дусе 82 года, но это еще живой и интересный человек, рассказывавший мне о m-lle Мари, о Рашели и пр. Сенар — известный ориенталист, горячо говорил мне о покойном Минаеве, нашем санскритологе, сочинение которого о буддизме вышло во французском переводе. Дусе сказал мне, что Золя будет опять баллотироваться в Академию в январе, но «едва ли пройдет» и на этот раз, хотя в последних произведениях он и «исправился». Это, во всяком случае, «великий талант», сказал он мне. Обед прошел так живо, что возбудил чуть ли не зависть к нам во французских журналистах «La salle est belle, — говорили они, но — la passe sera mauvaise», т. е. что печать не будет благосклонна, тем более что мы пригласили только директоров 27 газет, которые присоединились к комитету печати, устраивавшему франко-русские праздники. Было много, поэтому, обиженных. Оживленна была зала во время речей, и оживленные группы составились после обеда. Гости все оставались, по крайней мере, еще в течение часа. А там начался артистический вечер с г-жою Жюдик, Ивет Гильберт, Муне-Сюлли и др. Ограничиваюсь этим на этот раз.

Париж, 29 октября

22 октября (3 ноября), № 6340

CXXXVII

Франко-русские праздники подсказывают мне следующие мысли.

Мне хотелось бы каким-нибудь волшебством предстать пред очи германского императора и со всем довлеющим почтением, от полноты моего сердца, сказать ему:

«Государь, Вы выросли в обаянии военных успехов, одержанных Вашим дедом; Вы живете в области побед, в лучах военной славы; Ваш ум говорит Вам о необходимости держать на высоте приобретенное величие и, заключив Тройственный союз, Вы думаете вооруженным союзом сохранить политическую гегемонию Германии, и мир слышит постоянно Ваши мирно-воинственные речи и постоянно тревожится призраком новой войны. Лучи военной славы, падающие на Ваше величество, заслоняют от Вас, быть может, блага мира, как их чувствуют народы, как их чувствует французский народ. Вы не видели ужасов войны, не слышали криков раненых, не наблюдали отчаяния мирного населения, когда войска Вашего деда громко праздновали победы. Естественно, что Ваше величество в франко-русских празднествах в Тулоне и Париже видит не совсем то, что видим мы, свидетели этих праздников. Но если бы Ваше величество могли невидимо присутствовать на этих праздниках, Вы своим чутким, молодым сердцем поняли бы, что значат блага мира и как их желают народы. Все трепетало радостным чувством жизни на этих праздниках, не чувством отмщения и реванша, а чувством уверенности в мире, которому грозят всякие случайности. В лице русских моряков, посланных русским царем во Францию, французы, огромное большинство их, видели посланников мира, и в воздухе стояли клики восторга и развевались знамена народного братства, а не народной вражды. Миллионы провинциальных жителей приезжали в Париж, чтобы увидеть этих посланников мира, пожать им руки и возвратиться к своим делам, под домашний кров, с радостным чувством и кликом: «Слава Богу, войны не будет».

Депеша нашего государя, от 27 октября, из Гатчины на имя президента Французской республики наполнила сердца французов еще большей радостью. «Войны не будет!» Наш государь видел ужасы войны и не может желать ее повторения. Вы, государь, не видели ее и не желаете ее видеть: ее ужасы не выкупаются славою, и народы это сознают глубоко, и народные сердца полны желания мира не только в России и Франции, но и в Германии. Верьте, государь, в народную честность и берегитесь тех, которые хотят объяснить эти празднества чувством реванша. От Вашего величества зависит многое, но если Ваше чуткое сердце прислушается, вне всяких посторонних наветов, к этим крикам радости, то оно не может не услышать в них только одно желание — желание мира, желание сохранить своих детей, свое достояние, желание работать без всякой помехи, без всякой думы о кровавых жертвах. И в сердце Вашем, быть может, зародилась бы мысль единственно великая, единственно благородная — разоружиться и вывести Европу из леса штыков».

В этой речи я бы передал сущность моих впечатлений в эти незабвенные чудесные дни. Радость была так велика, что о Тройственном союзе все забыли, точно он исчез куда-то, точно его никогда не было и никогда не будет. Не только не произносилось слово «Германия», но не было никаких намеков ни на нее, ни

на Тройственный союз. Толпа была великолепна в своей радости. В газетных типографиях не доставало буквы s, так часто произносились печатные слова Russie, russes. И в разговорах, в чувствах, в сердце народном постоянно стояли эти слова вместе с словом «царь». Мы, свидетели всего этого, не верили своим глазам и своим ушам. Это была фантастическая сказка, рой чудесных видений, и русское сердце могло только гореть сознанием силы своей родины и желанием ее роста, развития ее цивилизации, ее благоденствия, роста русской литературы, русской науки и русского искусства.

Ах, Господи, какие это чудесные, славные чувства и как сладки слезы радости!

23 октября (4 ноября), № 6341

CXXXVIII

Мы решительно во всем отстали от Европы, даже в таких немудреных вещах, как почта и телеграф. Европейская почта, почта в Берлине, в Париже, в Вене, служит публике гораздо быстрее, лучше, просвещеннее, чем наша. Множество нововведений, сделанных почтою в последние годы повсюду в Европе, у нас совсем не существуют, хотя они и просты, и практичны. В Париже вы можете послать телеграмму в городе в несколько сот слов за 50 сантимов, т. е. за 20 копеек. По всей Франции слово стоит 5 сантимов, т. е. 2 копейки, в Германии приблизительно столько же. У нас более, чем вдвое. Телефоны везде в Европе принадлежат правительству, у нас в Петербурге концессия, да еще говорят, что она будет продолжена. Если вы сравните наши допотопные телефоны с берлинскими или парижскими, то вы даже по виду не узнаете, что это телефоны.

Но особенно страдают газеты и от почты, и в деле телеграмм. Читают нас все, и, кажется, поэтому все должны бы быть заинтересованы в том, чтобы телеграммы являлись своевременно. На деле никто не интересуется, кроме самих редакций. В Европе десятки лет газеты имеют свои проволоки. У нас это считается невозможным. В Европе газеты пользуются на телеграммах уступкой в 50 %, у нас мы платим, как все. Уж не говоря о том, что газеты служат публике в этом случае, это просто несправедливо и не согласно ни с какими обычаями. Каждый магазин, каждый фабрикант делает уступку постоянному покупателю. Чем чаще и больше я забираю и притом на наличные деньги, тем уступка больше. Железные дороги приняли тоже это за правило, уменьшая цену билетам «туда и обратно», «круговым» и сезонным. И во всем этом справедливо видят выгоду не только для публики, но и для самих себя, для развития своих предприятий. Естественно и справедливо, чтоб и телеграф понизил цену для тех, которые пользуются им ежедневно, т. е. для газет. Но, кажется, и тут мешает концессия «Северного Телеграфного Агентства», которое выговорило себе привилегии на 12 лет и, пожалуй, выговорит их еще на 12 лет.

Затем цензура газетных телеграмм. Если она необходима, то необходимо ее устроить так, чтоб не терялось время напрасно ради удобства г. цензора. Цензор должен быть на главной телеграфной станции и прочитывать депеши по мере их снятия со станка. В деле газеты каждые 10 минут дороги. Опоздает на 10 минут газета в машину, она опоздает на почту и пойдет подписчикам только на другой

день из-за этого опоздания на 10 минут. Иностранные телеграммы необходимо посылать вечером, ибо только к вечеру становятся известны события дня, вечером кончаются парламентские собрания. Уже разность часов (когда в Париже 4 часа, в Петербурге 6) играет тут неблагоприятную для телеграмм роль. А если телеграмма посылается сначала на квартиру цензора и только оттуда идет в редакцию, то уж на одно это необходим час времени, а иногда и больше. Оттого вы слышь и рядом читаете телеграммы от 10 числа 12, а не 11, как бы следовало. Я просто пришел в ужас, когда увидел свою телеграмму из Парижа о спектакле gala в Опере от 13 октября в номере от 15 только числа. Голубушка, чем она провинилась, она, возвещавшая такие прекрасные для России подробности этого спектакля[1].

Все это неприятно и все это хотелось бы устранить, и устранить это при желании очень легко. Ведь для этого надо совершить очень маленькую реформу, и было бы желательно, чтобы вняли этой просьбе. Ведь русская печать, ей-Богу же, не игрушка. Это — очень серьезное дело и, право же, оно заслуживает некоторого внимания. Печать служит и правительству, и обществу — и служит с примерным усердием. Надо бы хоть немножко поощрять ее усердие. Я того мнения, что от этого все бы выиграли.

Париж, 30 октября

25 октября (6 ноября), № 6343

CXXXIX

Мне очень досадно, что «Новое Время» перепечатало корреспонденцию «Новостей», где взведена небывальщина на С. С. Татищева в деле тоста Рошфора за русскую печать на нашем банкете. Дело происходило совсем не так, как повествует корреспондент «Новостей», умолчавший о деликатных подробностях, сопровождавших этот случай.

Все гости были в сборе, и оставалось не более 10 минут до обеда. К Татищеву подходит Верворт, племянник Рошфора и секретарь редакции «Intransigeant», и говорит ему, что Воган, редактор этой газеты, получил от Рошфора из Лондона депешу с тостом в честь русской печати. Татищев сказал, что мы, распорядители обеда, положили депеш не читать за обедом, а напечатать их в русских газетах, и потому просил его передать ему депешу, которая будет напечатана вместе с другими, например, с депешей Деруледа. Верворт прибавил, что тост будет провозглашен от «великого французского изгнанника», а не просто от Рошфора, и повел Татищева к Вогану. Воган сказал, что он не получал от Рошфора депеши с тостом, а получил от него уполномочие сказать за банкетом речь и провозгласить означенный тост. Но речи были уже распределены и дать право произносить их зависит вполне от председателя банкета де Вогюэ, с которым Татищев предложил познакомить Вогана тотчас же, причем он может заявить ему свое желание произнести речь и тост. Устраняясь от этой формальности, Воган просил Тати-

[1] Эта телеграмма, посланная из Парижа в 4 час. 40 мин. дня, получена была на аппарате в Петербурге в тот же день, 13 октября в 10 час. 20 мин. вечера; в редакции она была получена днем 14 октября.

щева переговорить с де Вогюэ. Наш председатель заметил, что он ничего против этого не имеет, как ничего не имел и Татищев, но он обращает наше внимание на то, что мы в Париже гости и обязаны уважать законы той страны, где мы находимся, а эти законы, справедливо или нет, осудили Рошфора, и что поэтому речь Вогана явится политической манифестацией, чего цели нашего банкета отнюдь в виду не имели. Кроме того, на нашем банкете присутствовали члены нашего посольства, которых подобной манифестацией мы можем поставить в неловкое положение к французскому правительству. Татищев обратился к Н. К. Гирсу и передал ему этот случай. Весьма естественно, что Н. К. Гирс вполне разделял мнение де Вогюэ. Времени до обеда оставалось так мало, что Татищев не мог собрать нас всех и предложить этот вопрос на обсуждение. Он взял ответственность на себя и хорошо сделал, по моему мнению: он подошел к Вогану и Верворту и объяснил им положение вопроса. Оба они тотчас же признали справедливость этих замечаний, и вопрос о речи и тосте был кончен. Де Вогюэ подошел к Верворту и благодарил его за эту любезность. Татищев рассказал нам потом обо всем этом, и мы могли только признать, что он действовал с большим тактом, столь необходимом в нашем положении. Оставаясь до конца вежливыми, мы на другой день были в редакции «Intransigeant» и объяснились с Воганом. Случай этот дал повод редакции «Intrasigeant» совсем умолчать о нашем банкете. Вот и все. В парижской печати об этом случае не было ни одного слова, и я жалею, что корреспондент «Новостей», очевидно, не знавший всех подробностей, сообщил о нем. Случай маленький, прошедший совсем незаметно, и вспоминать о нем вовсе не следовало, и тем менее обвинять С. С. Татищева, который сделал все от него зависящее, чтоб мирно покончить это дело.

Берлин, 8 ноября

30 октября (11 ноября), № 6348

CXL

Я вернулся в Петербург, когда одним большим человеком, одним звучным и прекрасным талантом стало у нас меньше. Я возвращался в Берлине от знакомого, где узнал о смерти Чайковского, в «Hotel Bristol». Швейцар этого отеля, знавший, что я русский, встретил меня словами: «Знаете ли, что Чайковский умер?» Слова эти удивили меня. — «Откуда вы знаете Чайковского?» — «Помилуйте, — ответил он, — я был в Лейпциге и слышал там его симфонию. Это удивительная музыка». Из этого вы можете видеть, что имя нашего композитора становилось истинно популярным и за границей. И умереть во цвете сил, умереть от холеры!.. Это ужасно обидно...

Когда дорогой я читал некоторые речи и стихи над его могилой, речи и стихи, приглашавшие не жалеть об этой потере, ибо, говорил один оратор, он умер в «светлую неделю», т. е. в франко-русские праздники, что совсем не верно, так как праздники уже миновали; ибо, говорил другой напыщенными стихами, «перед тайной мировой благоговейно сложим руки» и будем верить, что «смерти нет для мысли, чувства, правды, знанья». Когда я читал этот вздор, мне становилось еще грустнее от мысли, что находятся же такие празднословцы, которые выму-

чивают из своего нутра никому не нужное краснобайство. Я бы, напротив, приглашал публику к скорби, я бы сказал ей, что она теряет ничем не вознаградимое, теряет созревший талант, мужественный, не робевший перед неуспехами, не устававший работать, талант, богатый драгоценным опытом на той трудной тропе, с которой столкнула его бестолковая смерть, талант, прославлявший нашу родину. Именно это надо твердить, чтобы вызывать горячую любовь к выдающимся нашим художникам, чтоб эта любовь защищала их, охраняла и расчищала им тяжелый творческий путь. А они прописной моралью болтают слова утешения...

Я не только возмущен этой смертью, но недоволен и г. Бертенсоном, который лечил Чайковского. Я знаю, что всякого доктора легко винить, и часто винят их без всякого права и даже без всякого смысла. Г. Бертенсон и сам непременно умрет когда-нибудь, — я желаю ему умереть только от старости, — и врачебное искусство и у его постели окажется бессильным, как, может быть, оно бессильно было и у постели нашего чудесного композитора. Но это «может быть» и смущает. Я недоволен г. Бертенсоном не потому, что он не вылечил Чайковского, а потому, что он, уехав от больного, поручил его своему брату и своему «доценту». Родственные чувства, конечно, вещь хорошая, но еще лучшая вещь, если в серьезном деле можно обойтись без «родного человечка». Г. Бертенсон не сделал всего того, что необходимо было сделать, и мне кажется, есть основание спросить его: почему он не собрал консилиума? Потому ли, что он верил своему авторитету, или потому, что он верил в выздоровление своего больного? Верил ли он тому или другому, он, во всяком случае, ошибся, и фраза умирающего, получившего сначала некоторое облегчение «вы вырвали меня из когтей смерти», звучит теперь жестокой и справедливой иронией над г. Бертенсоном. И этой иронии не устраняет письмо г. М. Чайковского, прописывающего en toutes lettres имена и отчества двух братьев Бертенсона и свидетельствующее об их неусыпной заботе около больного. Все, мол, было сделано, но смерть неумолима. Нет, все не было сделано. Говорят, что г. Бертенсон хороший доктор. Очень может быть. Но я смею думать, что он, по крайней мере, плохой психолог. Есть больные, которые при всяком прыщике зовут доктора и своим беспокойством беспокоят своих близких. Есть больные, которые, напротив, не любят беспокоить своих близких и раздражаются, когда им говорят о враче, хотя в то же время желают его присутствия, но так, чтоб об этом не догадывались сами близкие. Они не хотят, быть может, выказать своей слабости, не смеют сознаться в своем малодушии, подсказываемом им болезнью, и борются с ним, не выдавая его даже близким. Точно так же, по тем же причинам, они станут говорить против консилиума, но внутренне его желают. Мне кажется, что люди деятельные, как Чайковский, привыкшие работать, сознающие, что они имеют все права на уважение и заботливость о них, принадлежат именно к этому роду больных. Бертенсон упирает на то обстоятельство, что мать Чайковского умерла от холеры в то время, когда сажали ее в ванну, и потому он так медлил предложить ему это средство. Г. Бертенсон, очевидно, видит в этом своем поступке особенную деликатность к больному. А тут просто полное непонимание больного и отсутствие истинной деликатности врача. Кто может утверждать, что Чайковский был бы против консилиума, если б он был собран, не спросившись его? Кто утвердительно может сказать, что врачи, собранные на консилиум, не убедили бы его против этого предрассудка относительно ванны и, быть может, не внушили бы ему и нравст-

венной энергии? Не может же г. Бертенсон утверждать, что Чайковский верил в него, как в Бога, и эта вера ни разу в нем не поколебалась? А если это так, то г. Бертенсон не все сделал, что должен был бы сделать, когда на руках его был больной, дорогой всей России...

Мои строки могут показаться г. Бертенсону жестокими тем более, что они совершенно бесполезны для умершего, но я пишу их для живых вообще и для врачей в особенности, которые в этом случае могут почерпнуть для себя некоторый урок...

3 (15) ноября, № 6352

CXLI

По мнению «Вестника Европы», русские вообще вводили в заблуждение Францию во время минувших празднеств, но «наиболее вводили французов в заблуждение некоторые наши журналисты, фигурировавшие в качестве «делегатов русской печати»; они произносили речи о политике в таком тоне, как будто это для них самое обычное занятие на родине, и они высказывали от имени нашего общества такие чувства, которых вовсе не выражают у себя дома». Я думал, что «Вестник Европы» приведет примеры. Но примеров не оказалось, да их и не было. Если мы говорили политические речи, то они все напечатаны не только во Франции, но и в России; если мы «произносили их в таком тоне, как будто для нас это самое обычное занятие на родине», то, значит, во-первых, что мы умеем их говорить, а, во-вторых, что действительно это «самое обычное наше занятие на родине».

Вы удивлены? Но рассудите: говорить политические речи у себя дома вроде тех, которые мы говорили, решительно никому не возбраняется. Ежедневные газеты говорят их ежедневно, а «Вестник Европы» — раз в месяц. Разве его «Иностранное обозрение» не политическая речь, которую читают тысячи читателей? И недавно никто не возбранил бы г. Стасюлевичу за обедом произнести ста человекам любое свое «обозрение» в виде спича, даже либеральнее, чем на страницах журнала. Как раз сегодня г. Гр. Градовский читает политическую лекцию в зале Городского Кредитного общества. Двадцать лет тому назад известный профессор и публицист, теперь умерший, тоже Градовский, читал публичную лекцию о славянах, когда этот вопрос назрел. И мало ли было подобных речей и лекций! Таким образом, мы вовсе не вводили в заблуждение своими речами французов, но «Вестник Европы», очевидно, введен в заблуждение своими ужимками и своим желанием показать, что он знает, чем отличается Франция от России. Но и мы это очень хорошо знаем. Прежде всего, она отличается гораздо большей культурностью, и вследствие этого во Франции едва ли найдешь среди журналистов таких бестактных людей, как г. Стасюлевич и его политическая компания. Я с удивлением открываю в «Вестнике Европы» приемы и упреки «Гражданина». Они (т. е. мы) «показывали не тот дух, каким отличаются на родине», — говорит он. Но если б это и так было, то, по-видимому, надо было бы этому радоваться: вот, мол, слава Богу, русские люди вели себя, как европейцы. А вот г. Стасюлевич ведет себя как азиат!..

Мы ездили в Виль-д'Аврэ, около самого Парижа. Мы посетили маленькие, низенькие, скромно убранные комнаты в домике, напоминающем новодеревенские

дачи самого среднего разбора и расположенном в узком переулке. В этом домике жил последние месяцы и умер в нем Гамбетта. Маленький садик зато украшен великолепным мраморным памятником, и этот памятник возле скромного домика ярко свидетельствует о том, какой большой человек скончался в этом скромном жилище. На постель Гамбетты, на которой он умер, мы возложили роскошный венок «от русской печати». Друзья Гамбетты, во главе с сенатором Ранком, дали нам потом завтрак. Опять-таки, по-видимому, мы поступили как следует порядочным русским людям. Но «Вестник Европы» опять злобствует, что мы «публично засвидетельствовали свое уважение к памяти Гамбетты», что чествовали память «великого патриота, основателя окончательной республики». Спрашивается: какое заключение могли отсюда вывести французы об истинных тенденциях наших газет?

Поставив этот ехидный вопрос, «Вестник Европы» на него не отвечает, вполне убежденный в том, что читатели его ответят так: «конечно, французы вывели такое заключение, что все это — «окончательные республиканцы». Полагаю, что «Вестник Европы» в этом случае даже на своего читателя взводит клевету, ибо он вовсе не так глуп, как думает о нем г. Стасюлевич. Что касается французов, то они вывели отсюда прежде всего такое заключение, что имя Гамбетты очень известно в России и что в России его считают одним из замечательных людей Франции, энергично боровшимся с немецким нашествием и сильно способствовавшим установлению французской республики. Затем, я думаю, они вывели такое заключение, что образованным людям свойственно поклонение замечательным людям, как бы они ни назывались, и что представители русской печати поступили, как образованные люди, хорошо знающие историю Франции и убежденные в том, что лучшая форма правления для Франции — республиканская и что вся страна именно при этой форме правления горячо откликнулась на русскую дружбу. Наконец, в России многим известно, что в последние годы Гамбетта серьезно думал о сближении с Россией, а потому помянуть о нем во время этих праздников следовало, и мы помянули. Кажется, это просто. Неужели «Вестник Европы» думает, что только он мог бы достойно свидетельствовать свое почтение Гамбетте — г. Стасюлевич как раз в величину этого патриота, и если еще не установил «окончательной республики», то к установлению «окончательного недомыслия» весьма причастен. О, я весьма чувствую, как велик г. Стасюлевич в сравнении с нами и как им заслужено то высокомерие, которое он показывает...

Ранк, любивший Гамбетту так, что не может вспомнить о нем без слез, говорил мне: «Раз вижу я Гамбетту необыкновенно оживленным, празднично, радостно настроенным. Давно не видав его таким, я спросил его: что, вероятно, случилось что-нибудь необыкновенно приятное? Да, я провел два часа со Скобелевым, отвечал он». Воображаю, в каком восторге был бы Гамбетта, если б провел два часа со Стасюлевичем, который, конечно, и на Скобелева смотрит с высоты своего вестнического величия !..

Став на эти деревянные ходули, «Вестник Европы» скорбит о том, что между французами «не возникало даже никакого сомнения в том, что, например, «Свет» и другие газеты представляют передовую, прогрессивную, по понятиям французов, силу нашей печати». Но, серьезно говоря, неужели г. Стасюлевич, вы полагаете, что представляете не сами собою — не смею этого вопроса и касаться, — но своим журналом «прогрессивную, передовую, по понятиям французов», печать? Неужели вы думаете, что те коньки, на которых вы ездите, в самом деле,

«по понятиям французов», нечто передовое? Да ведь они на этих коньках ездили уже двести лет тому назад, если не больше, и чего только с того времени не проделали, каких только идей не провели в жизнь! Чем же вы, якобы, «передовой», благоудивили бы их, что бы вы сказали такое во время этих сердечных, братских праздников, чего бы мы не могли сказать? Разве вы теперь не повторяете почти дословно то, что мы говорили об этих праздниках, об их значении, гораздо прежде вас? Ведь если в вашей статье есть что-нибудь для нас новое, то это только шипенье совершенно в тоне немецких газет и ужимки малокультурного русского человека, который показывает шиш в кармане. Ах, только самомнящий россиянин, воображающий себя впереди мира, стал бы обыскивать своего собрата в его политических убеждениях. Нас принимали журналисты, литераторы, ученые, принимали люди разных убеждений, консерваторы, монархисты, республиканцы, социалисты, непримиримые, и мы чувствовали себя среди них совершенно свободно, и ни им, ни нам не приходило в голову экзаменовать и экзаменоваться. Нас соединяли общие чувства, достаточно почтенные для того, чтобы не смешить друг друга «прогрессивностью» политических убеждений, и соединяла литература, почтение к великим именам Франции и России, дорогим всем партиям без различия. Неужели премудрый «Вестник Европы» этого не понимает?

«Вестник Европы» понимает, но он не может удержаться от своих ужимок и не может удержать свою злость на то, что никто не посрамил русской земли, что представители русской печати вели себя так, что враги ее даже должны были признать их такт. Он ожидал скандалов, он потирал себе заранее руки, как это он посмеется, и вдруг становится сам смешным с своей мелочностью, с своей затаенною злобою на этот успех. Он уже ничего не различает, не понимает французского остроумия, удачных сближений и, развесив серьезно губы и распустив крылья, как индюк, придирается к Вогюэ, к Золя, к Эбрару, не говоря уже о нас. Никто не говорил в тоне «Вестника Европы» — вот беда, и он, недовольный, сплетничает даже, почерпая сплетни из немецких газет. Но так как не только немецких, но вообще иностранных корреспондентов не приглашали на эти банкеты франко-русской печати, то они могли прибегать только к выдумкам и сплетням — и, действительно прибегали. «Вестнику Европы» не делает большой чести, что он эти сплетни переносит в русскую печать. Я о них говорить не буду.

11 (23) ноября, № 6360

CXLII

Читали ли вы переписку католического священника, о. Жонке, и русского священника, о. Янышева, духовника их императорских величеств государя и государыни? Обменялись они письмами по поводу франко-русских праздников с любовью, как дети одной и той же христианской религии, хотя двух церквей. «Мы, французские священники, — говорит о. Жонке, — желаем протянуть дружескую руку русским священникам: не братья ли мы во Христе Иисусе, Господе нашем? Не исповедуем ли мы одну и ту же, почти во всех пунктах, веру? Не одинаково ли мы чтим Пресвятую Деву?» Среди толпы, которая встречала русских моряков, которая по часам стояла перед Cercle militaire, где наши моряки жили, я

постоянно видел французских священников, которые так выделяются своей одеждой и лицами. Стало быть, священники были вместе с народом, и слова о. Жонке звучат искренностью: «в наших сердцах глубоко запечатлена любовь к России, к Его величеству Александру III и его августейшей фамилии». О. Янышев отвечал ему в том же тоне любви и братства, называя чувства католического священника «прекрасными, истинно-христианскими и братскими». Все то, что говорит о. Жонке, говорит о. Янышев, «в высшей степени дорого и отрадно русскому сердцу и как нельзя более гармонирует как с характером нашего богобоязненного и царелюбивого народа, так и с духом православной церкви, ежедневно в своих храмах молящейся о мире всего мира и о соединении святых Божиих церквей». В конце своего письма о. Янышев говорит, что следует «забыть всякие разногласия, сплотиться воедино для сохранения и распространения в мире того, что всегда и всюду было признаваемо христианами за единое на потребу (Лука, X, 42)». «Единое на потребу» — слова Христа Марфе, которая суетилась и заботилась тогда, как Мария сидела у ног Христа и «слушала Его слово». Таким образом, «единое на потребу» — учение Христа.

Проповедовать это учение, в котором так много отведено любви и братству, — вот то общее, что должно соединять все церкви, всех христиан в едином чувстве. Те различия обрядов, которые так часто и так долго вели к борьбе и вражде, не должны более мешать любви и братству. Известно, что глава католической церкви, Лев XIII, показал высокий пример религиозного общения, предписав католическим священникам служить молебны о здравии наших моряков. Не подумайте, однако, что я желаю перейти в католичество, как однажды уж обвиняли меня в этом по поводу того, что я высказался за органы в православных церквах.

Я хотел бы быть в настоящее время православным священником и притом обладать ученостью, красноречием и сердечностью о. Янышева. Я хотел бы это для того, чтобы написать такое же письмо, в тех же выражениях братства и любви во Христе, с тою же, нет, еще с большею, гораздо большею, убедительностью в «близости по вере», в любви к нашему государю, в любви к нашей родине, России и т. д., но это письмо я написал бы ... к старообрядческому священнику.

Какие «разногласия» нас разделяют, стоят ли они той вражды, которая так продолжительно, так горько чувствуется как многими православными, так и старообрядцами? Неужели эти две ветви православия так и должны вечно расти врозь для того, чтоб подниматься с молитвами к небу и проповедовать мир и любовь? Неужели они, эти две сестры одной и той же матери, которых разделяют не сущность, а буква, будут все еще с укоризной и обличением смотреть друг на друга и считать свои победы и поражения? Если вспомнить нашу историю, какими печальными, иногда ужасными страницами испещрена она, когда эти две сестры воинственно восставали друг на друга, не признавая друг друга и друг друга проклиная. Жертвы этой борьбы страдали и укреплялись в своем отщепенстве, применяя к себе слова Христа: «Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать» и его же слова о «малом стаде». Сколько обмана, подкупов администрации, всевозможных уловок употреблялось старообрядцами для того, чтобы существовать с тою верою, которую они приняли от отцов своих, и сколько страданий они вынесли! Мы, просвещенные люди, более или менее равнодушные если не к религии, то к обрядам ее, этого и понять не можем, ибо у нас есть такие утешительные слова, как «суеверие», «фанатизм» и т. д. Мы можем пожимать

плечами и говорить: «вольно же им!» Но человек неволен, когда его наполняют предания и вера в то, что он считает, правильно или неправильно, истинным. Сколько смеха и лжи разнесла о старообрядцах и наша светская литература, когда она не поднималась до художественного изображения, а только обличала! А когда она поднималась до этого? Даже у Мельникова (Печерского) этой художественности только капля.

А сколько эта борьба между православием и старообрядчеством породила сект, далеко отошедших не только от православия, но от нравственности вообще. Но вражда только и может дать такие последствия. Повелевая любить своих врагов, Христос недаром произнес слова, которые еще долго будут звучать укором миру: «если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли же делают и мытари?» И действительно, какая заслуга любить только любящих вас?

И столетия тянулась эта борьба то распаляясь, то притихая. Император Павел дал облегчения старообрядцам, и затем только два последующих царствования снова вступили по отношению к старообрядцам на путь равноправности. Устроен был мост между православием и старообрядчеством — «единоверие». Странное слово: «единоверие» с кем, с православием или старообрядчеством? Православная церковь, в сущности, признала старообрядчество в его целости, его иконы, его богослужебные книги, его обряды, но признала в «единоверии». Те самые книги, которые отбирались и преследовались сравнительно недавно, как нечто преступное, печатаются так же беспрепятственно, как и книги, исправленные при Никоне. Старообрядцы пользуются этими книгами наравне с единоверцами. В эти же два царствования, и в особенности в нынешнее, взгляд на старообрядчество существенно изменился и у писателей духовных. Теперь уже все признают, что до Никона крестились и тремя перстами, и двумя перстами, и спор об этом становится бесплодным. Макарий, умерший митрополитом московским, значительно изменил свой взгляд на раскол во втором издании своего капитального труда «История русской церкви». Современные православные исследователи старообрядчества пошли еще дальше его и, рассматривая старообрядчество, как историческое явление, признают за ним право на существование. Самый вопрос о «священстве» рассматривается спокойно, и есть писатели, которые признают правильным преемственность т. н. австрийского священства. Годы просвещения сделали свое дело, и, может быть, пора нам обнять, как братьев во Христе, старообрядцев, признать их, как признали мы единоверцев, и вместе с ними работать на пользу и утверждение православия.

Я пользуюсь перепиской о. Жонке и о. Янышева для тех миллионов русских, которые ждут давно, чтобы им сказали: вы — наши братья во Христе. Мы — братья по племени, по родине, по царю, которых мы любим и почитаем, как и вы. Забудем всякие разногласия; мы вам первые протягиваем руку во имя Христа и Его божественного учения о любви и братстве. Стройте ваши храмы, служите Богу в наших храмах, как мы будем Ему служить в ваших...

А они возгордятся, скажут мне, они подумают, что мы уступили из слабости!.. О, Боже мой, да разве сильный не должен смиряться во имя Христа и первый протягивать руку слабому? Разве истинная гордость не в христианском смирении? Разве смирение, кротость и любовь не есть сам наш Спаситель Христос?..

17 (29) ноября, № 6366

CXLIII

Князь Мещерский говорит сегодня, что он познакомился с одним человеком. «Человек этот Тульской губернии, предводитель дворянства...Хотя, как это читатели помнят, этот г. Арсеньев много делает и много трудится, но его отличительная черта — смирение и в противоположность г. Суворину он никогда не употребляет местоимения *я* ... Мы хотя и различных мыслей по тому или другому вопросу, но сошлись на том, что дворянство существует».

Очень любопытно узнать о существовании в Тульской губернии человека, который *никогда* не употребляет местоимения *я*. Это решительно феномен. Но означает ли неупотребление *я* — смирение? Мне, кажется, нет. Когда я говорю *я*, то вовсе не из гордости или самомнения, а именно потому, что не желаю навязывать своего мнения никому, оно только мое, и потому нисколько не обязательно, и нисколько не претендует на всеобщность, на аксиому, даже на кружок людей, от имени которого употребляют местоимение *мы*. «*Мы* (князь Мещерский и г. Арсеньев) согласились на том, что дворянство существует». Значит, только двое. Я думаю, что дворянство существует, значит, только я один так думаю. Но, кстати, неужели оно не существует? В комиссии министерства финансов, заседающей теперь в Берлине, нет ни одного представителя от помещиков, от дворянства, хотя его интересы в этом вопросе играют важную роль. Следует ли отсюда, что дворянство не существует, а существует только купечество?

В конце своего «Дневника» князь Мещерский говорит: «На вопрос некоторых, редакционные ли статьи, помещенные о железнодорожном мире, спешу (*я*) ответить: нет, это статьи одного из наших сотрудников; на вопрос же, согласен ли *я* со взглядами автора статей, спешу (*я*) ответить: *нет*, и если они помещены, то только потому, что *я* даю свободу высказываться, и затем, чтоб *я* с своей стороны мог возразить на них и дать возбужденным вопросам полное и беспристрастное освещение»,

Вот сколько *я*, и тут *я* притязательное. Оказывается, все сторонние мнения несправедливы, пристрастны и односторонни. Только один он, князь Мещерский, способен дать «полное и беспристрастное освещение». Я не думаю, что князь Мещерский все разрешает, и даже не думаю, что *я* все разрешаю...

18(30) ноября, № 6367

CXLIV

Мне кажется, что наиболее больные писатели в Москве, — в «Московских Ведомостях». Эти писатели не то что с ума сошли, а просто никогда не имели настоящего ума, чтобы стать тем, чем они хотят сделаться. А хотят они сделаться не более и не менее, как «наследниками» Каткова, не в материальном, разумеется, смысле, а в политическом. Они хотят иметь такое же влияние, какое имел последний, пользуясь тою репутацией, которую создал себе и «Московским Ведомостям» талантливый публицист и превосходный знаток русского языка, владевший им иногда как поэт-сатирик, как красноречивый и пламенный оратор. Но вот

это последнее обстоятельство и некоторые другие и упускают из виду его «наследники», очевидно, не понимающие того, в чем таилась сила Каткова. Вообще говоря, она таилась в его большом таланте, в его одушевлении, в его необыкновенном чутье того, что надо в данную минуту, а вовсе не в т. н. «убеждениях». Можно иметь очень почтенные убеждения, быть в них твердыми, как скала, и в то же время не иметь никакого значения, тогда как Катков заставлял себя слушать, и его слово проносилось, как неодолимое «внушение», и он больно бил не либералов только и радикалов, но и консерваторов. Катков «горел» во время событий, как известно, чрезвычайно ярких, знаменательных, именно «горел», и слово его жгло. Я очень помню, что, когда одна либеральная московская газета, теперь прекратившаяся, упрекала его в том, что он когда-то писал либеральные и радикальные статьи, Катков ответил, что он и теперь остался в известной степени радикалом. Действительно, его убеждения трудно было уловить и привести в систему чего-нибудь единообразного, но польза, принесенная им государству в известные моменты нашей политической жизни, очень осязательна. Он увлекался, нередко был несправедлив, менял мнения, обобщал то, что обобщать не следовало, преувеличивал, но это был талант, чувствующий и чуткий к политической жизни человек, облекавший свою речь в красивые, образные, одушевленные формы. Это была яркая литературная личность.

Именно такой литературной личности нет среди его «наследников»: у них только болезненное желание стать на его место и распоряжаться, не понимая, каких годов усилий и какого таланта стоило Каткову, чтоб занять то положение, которое он занимал. Даже в своих убеждениях они никак не могут разобраться без его руководства и без его таланта, без его души, одним словом. Она ушла вместе с ним и никогда не вернется. Они восприняли только то, что бросалось в глаза, как яркие внешние признаки. Они усвоили себе недостатки Каткова, но не его достоинства, его резкость, но не его горячее слово, отчасти даже его стиль, но без его таланта, одушевления и сарказма, без его знания языка, без его понимания положения вещей и знания, куда именно направить свои силы, этот стиль «наследников» его выходит или высокопарным набором слов, или славословием подчиненного чиновника, или наветом какого-то усердствующего или обозленного не по разуму человека. Если бы Катков воскрес и ему принесли бы корректуру статей этих его наследников, он бы перемарал ее, он изломал бы над ней перо, бросил, наконец, и написал бы сам, и писал бы совершенно *не так*. В этом *не так* вся сила таланта. Не для сравнения, а для пояснения, скажу, что и у Рафаэля были ученики и писали они тоже Мадонн, но *не так*, как он.

Не так, как он пишут наследники Каткова. Говорят, что первую скрипку между ними играет г. Грингмут, педагог. И этому можно поверить, ибо приемы публицистики «Московских Ведомостей» чисто педагогические, притом с печатью педагога узкого, придающего огромное значение внешности. Вы не так сидите, не так причесаны, у вас пуговица расстегнута, вы говорите не тем тоном, не теми выражениями, вы кланяетесь недостаточно низко. Все такие замечания по адресу печати почти ежедневны, и, так как она мало обращает внимания на начальнический тон г. Грингмута, то он начинает сердиться, придираться, перетолковывать ваши слова, даже подтасовывать их, может быть, не предумышленно, просто вследствие педагогической привычки распекать и приводить в надлежащий порядок. Для этого педагога Россия — просто класс учеников, и он вообра-

жает, что необходимо сделать и характер, и мнения однообразными или, по крайней мере, приплюснутыми. Лучшее средство для этого — пугать, сделаться страшным, внушать боязнь. Бедный педагог, г. Гринмут знает, что Каткова боялись, но он не понял, почему его боялись. Он не понял, что бояться авторитета литературной личности, которая всегда готова поддержать его силою своего таланта и знания того, что нужно в этот момент, совсем не то, что бояться строгого городового или урядника, или даже педагога, не в меру усердного и даже направляющего свое усердие не туда, куда следует. Он не понимает, что жизнь в разнообразии, а не в однообразии. В однообразии или смерть, или обмирание. Он печатает проекты о печати какого-то г. Spectator'a, который сочинил нечто такое, что, если б привести в исполнение этот проект, то вышел бы или сумбур, или подчинение всего правительства нескольким журналистам и цензорам. Место первого министра очутилось бы в руках «руководителя печати», который помыкал бы всем: и печатью, и правительством, совсем не будучи министром. Он печатает проект верейского помещика о каких-то «сельскохозяйственных ротах», воскрешающих времена военных поселений графа Аракчеева или фаланстеры Фурье. Во всем этом г. Гринмута соблазняет единообразие классной дисциплины и внешнего порядка. Сущность он не может схватить и понять, как не может понять сущности таланта Каткова, который заключался совсем не во внешних приемах. Он каждый день преподает что «вредно» и что «опасно» и преподает в статьях холодных, написанных суконным языком, вероятно, вследствие иностранного происхождения этого педагога. Я заговорил с симпатиями о старообрядцах, выразив желание, чтоб им протянули братскую руку во имя Христа, г. Гринмут сейчас написал: он заступается за пашковцев и штундистов, хотя я заступался только за старообрядцев. Но в этом приеме вы видите всего человека и все его бессилие. У нас сказано было несколько слов о реакционной печати, он тотчас все извратил и даже в цитате из поэта об «игре младой жизни» увидел что-то чрезвычайно вредное. Во всем этом ни капли искренности и таланта г. Гринмут не обнаружил, но способность к подтасовке и лицемерию обнаружил довольно большую.

Наконец, я прочел в «Московских Ведомостях» претенциозную фразу о том, «как должна вести себя печать в самодержавном государстве». Ни Катков, ни Аксаков такой фразы никогда бы не написали. Ее мог написать только педагог, помешанный на внешности и порядке единообразия, привыкший мальчикам говорить о том, как «вести себя». Катков и Аксаков сами тон умели давать и инициативой обладали. Вот сила настоящего таланта. Они умели «создать» вопрос, если его намечала жизнь, бросить его в публику, в правительственные сферы и возбудить горячую полемику. Оба они «создавали» своей деятельностью свободу печати, завоевывали ее, и печать им в этом отношении многим обязана. Оба они доказывали, каждый своим путем, своими воззрениями, часто противоположными, что искренность — первое дело для публики, а для того, чтобы быть искренним, надобна известная и довольно большая свобода печати. Аксаков написал красноречивые страницы об этом. Писал ли о свободе печати Катков, я не знаю, но, несомненно, он создавал ее своим талантом и, если б его искренности положили узкие пределы, такие пределы, когда надо подыскивать слова и выражения, боясь, чтоб их как-нибудь не истолковали превратно, когда надо обходить то одно, то другое, то третье, боясь гусей раздразнить, когда надо было пролезать слову сквозь игольное ушко, он замолчал бы или стал бы говорить на том

эзоповском языке, который каждый читает по своему усмотрению и который создает в обществе совершенно смутные и вредные понятия. Ни Катков, ни Аксаков — я Каткова не знал лично, но Аксакова знал близко, — ни тот, ни другой никогда не задавались вопросом, консервативную, либеральную или радикальную статью они пишут. Эти шаблонные ярлыки были противны их талантливым натурам. Писала их литературная личность, их одушевление, их нервная отзывчивость на события дня. Всего этого «Московские Ведомости» или не понимают, или воображают, что подделаться под Каткова и провести читателей очень легко. Нет, никогда подделаться под Каткова невозможно, и потому ваши усилия совершенно напрасны. Можно ли провести читателей этой подделкой — другой вопрос. Читатели бывают всякие, но никто не позавидует тем из них, которые «перекопию» готовы признать за оригинал.

5(17) декабря, № 6384

CXLV

Читатели, вероятно, заметили мнение Эмиля Золя об анархизме (№ 6384 «Нового Времени»). Являясь сторонником запрещения анархистских листков и закона о взрывчатых веществах, он считает, однако, «недостаточными все средства к задержанию волны анархистских учений». Чего же не достает? «Я, — говорит, — знаменитый романист, я, который так долго ратовал за позитивизм, да! после тридцатилетней борьбы, я поколеблен в своих убеждениях: *только религия, только вера могла бы помешать распространению таких учений,* но ведь ныне она почти исчезла. Кто даст нам новые идеалы?» Таким вопросом он заканчивает, он, ратовавший за позитивизм, правду сказать, не спросясь умаразума. Позитивизм, истреблявший христианство, истреблял вместе с тем душу, давая ей вместо веры какое-то собрание правил, от которых веяло холодом и полемическим задором. И один из здравомыслящих людей и даровитых художников тридцать лет ратует за это учение. Но он «поколебался» и взывает к религии, к вере, как взывает к ней целая партия молодых французов и такой выдающийся человек, как Вогюэ, несколько лет сряду посещавший Россию. Я не думаю, однако, что во Франции вера «почти исчезла». Она несомненно еще живет в народе, живет и среди почтенных обломков французского дворянства и есть несколько органов печати, которые издаются в духе католической религии. Но среди управляющего и интеллигентного класса она действительно «почти исчезла». Полуобразованный рабочий класс совершенно к ней равнодушен. Правительство в борьбе своей с т. н. клерикализмом увлеклось так, что христианство почти официально упразднено. В школах Закон Божий изгнан; вместо религии заучиваются «правила нравственности»; в учебниках проповедуется материализм; в учебниках истории — ядовитые выходки против католичества и христианства вообще. Во время франко-русских праздников в Париже только раз я видел духовное лицо, именно во время обеда в залах парижской городской думы (Hôtel de Ville). Это был каноник французского флота. Да и он, я думаю, попал туда только благодаря тому, что на обед, на котором присутствовало 600 человек, был приглашен наш священник, о. Васильев, бывший в шелковой рясе и в орденах. Увидав его,

Э. Золя спросил меня: «Кто это?» Когда я сказал, он заговорил, что этот священник прямо напоминает ему восток. «Да, мы и есть восточники», заметил я ему. Э. Золя слышал русскую панихиду перед этим и перешел к нашему церковному пению, которое произвело на него глубокое впечатление. Несколько дней спустя, когда я с ним завтракал, он хвалил нашу Херувимскую. Херувимскую эту пел хор человек в 200 во время этого же обеда в Hôtel de Ville, помещавшийся на хорах. Как только все сели за обед, с хор раздались звуки Херувимской песни, исполненной превосходно.

Но анархисты ли привели Э. Золя к мысли о религии? Подвиги их начались не со вчерашнего дня, даже в парламентах. Известно, что в 1882 г. был взрыв в лондонской палате депутатов, и два анархиста были осуждены на вечное заключение. Когда сорок лет тому назад Прудон, знаменитый противник собственности, заседая в Учредительном собрании, предсказывал нашествие анархизма, в палате раздался смех.

— А, вы смеетесь моему предсказанию, — вскричал он. — Ну, так я вам говорю, что то самое, что вас заставляет смеяться, и убьет вас.

И эти сорок лет, как нарочно, стремятся к тому, чтоб убить нравственность и религию, при империи — нравственность, при республике — религию, и результаты налицо. Исчезает страх Божий, человеческий страх не останавливает. «Кто даст нам новые идеалы?» — восклицает Э. Золя. Да, они вечны, они в той же христианской религии, именно в религии христианской, а не в христианстве без религии, не в христианстве только как в учении, ибо такое христианство есть все-таки только одно собрание правил нравственности, бессильное действовать так на душу человеческую, как действует религия. Я думаю, что Лурд заставил усомниться Эмиля Золя в позитивизме, Лурд напомнил ему религию, Лурд с его десятками тысяч пилигриммов, прибегающих к чудотворному источнику Божией матери. Известно, что Э. Золя теперь пишет роман «Лурд». Я спросил его, что это такое будет? Роман безверия и насмешки над этими верующими? — «О, совсем нет, — живо ответил он, — это будет роман милосердия и веры. Человеку надо где-нибудь отдохнуть и успокоиться, надо во что-нибудь веровать. Я беру женщину, у которой нечто вроде рака. Она обращается ко всем средствам, знахарям, знахаркам, к науке, к врачам. Целый мартиролог болезней, страданий и отчаяния. И когда все средства испытаны, когда она изверилась во всем, она идет в Лурд, погружается в источник, и болезнь как рукой снимает». Он внимательно прислушивается к тому, что я рассказывал о покойном Шарко, который говорил мне, что желал бы «бессмертной души» и что в этой душевной области еще многое нам неизвестно. — «C'est cela, c'est cela», — повторял он.

7 (19) декабря, № 6386

CXLVI

Скучно, господа. У нас вообще гораздо скучнее жить, чем на Западе, уже потому, что там теплее, больше солнца и больше возможности быть на воздухе. У нас все в комнатах, все взаперти. Даже нет кафе, где можно бы посидеть, встретиться с знакомыми, поболтать. В театрах ничего нет. Все старое и старое.

Я думал, что В. А. Крылов обновит нам театр чем-нибудь, я прямо на него рассчитывал, но он не обновляет, вероятно, потому, что не собрался с силами. В оперу попасть можно только по протекции, а у меня протекции нет, да и у вас, вероятно, также. Куда бы пойти?

Сегодня принесли мне длинную афишу о бале в Дворянском собрании на 15 декабря, устраиваемом Человеколюбивым обществом «для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство». Очень почтенная цель. Общество объявляет, что балы его устраиваются комиссией из действительных членов, избираемых общим собранием, «без всякого участия каких-либо антрепренеров или посторонних Попечительству лиц». Это очень хорошо, что без посредства комиссионеров. Бал будет «большой художественно-маскарадный и костюмированный», не просто «маскарадный», а «художественно-маскарадный», заметьте! Значит ли это, что в нем участвуют «художники» или в самом деле маскарад будет «художественным» — неизвестно. Но тем пикантнее, что неизвестно.

Я, конечно, желаю всякого успеха этому балу во имя его прекрасной цели, да успех, вероятно, и обеспечен, ибо объявлено, что «число билетов ограничено». Между приманками есть одна, о которой мне хочется сказать. Это «премия за красоту». Жюри состоит из художников: Боброва, Мещерского, Попова, Микешина и Сухоровского. Первая премия — золотой жетон и «право на получение своего портрета, написанного масляными красками, работы художника М. Г. Сухоровского». Не ясно: масляные ли краски работы г. Сухоровского или портрет его работы? Но это все равно. Вторая и третья премии, кроме золотого жетона, дают право красавице посещать бесплатно вечно балы попечительства. Этих двух увидит и XX век.

Меня, собственно, занимают вопросы, как это жюри будет определять красоту? Выстроятся женщины перед художниками в зале или в отдельной комнате? Будут ли они в костюмах или в подобии костюмов? Принимаются ли женщины всех лет или только определенных лет? Прикажут ли им смыть, в присутствии жюри, белила и румяны или на этот счет им предоставлена будет полная свобода? Не зная ответов на эти вопросы, я не могу рассуждать о том, чем и как определяется красота.

Конечно, вольная воля женщинам подчиняться этому конкурсу. Я думаю, что, если есть выставка собак, то от чего же не выставить женщин и не дать возможности Боброву, Мещерскому, Микешину и т. д. выказать свой вкус, а Сухоровскому написать портрет первой красавицы из тех, которые пойдут на этот конкурс? Собак на выставку ведут поневоле, и они, бедные, сидят в клетках и воют. Когда им дают премии и медали, то они не чувствуют от этого удовольствия, и, если б положили перед ними медаль и кусок мяса, они предпочли бы последнее. Отсюда несомненно следует, что гораздо гуманнее выставлять женщин и давать им премии за что угодно, чем выставлять собак. В сущности, выставленные собаки — просто развлечение и удовольствие для хозяев их. Ни человечество, ни хозяйство ровно ничего не выигрывает от породы собак. Женщины на такой выставке тоже играют роль собак, служащих для развлечения мужчин, но собак, понимающих значение своей красоты и золотого жетона. Естественно, что ни одна порядочная женщина не пойдет на эту выставку и не станет перед очами художников. Золотой жетон, таким образом, будет значить очень мало для удостоверения красоты, и настоящие красавицы останутся «вне конкурса». И это слава

Богу. Красота определяется не жюри и не портретами г. Сухоровского. Стало быть, для истинной красоты все обстоит благополучно.

Затем, я уверен, что ни один истинный, уважающий свой талант и свое искусство художник не пойдет в это жюри и что, например, г. Репин, теперь первый русский художник, отверг бы такое предложение с негодованием. Он сказал бы, что это не его дело, если б вежливо хотел отклонить такое предложение. Если б его попросили высказать мотивы отказа, он сказал бы нечто такое, что не понравилось бы гг. Боброву и т. д. Но опять: вольному воля. Если находятся женщины, идущие выставлять свои физиономии или свое тело перед жюри, то естественно, что находятся и художники, не сомневающиеся в своем вкусе и в своем призвании ценить женскую красоту и пришпиливать ей жетон.

9 (21) декабря, № 6388

CXLVII

При министре финансов образована комиссия для обсуждения вопроса об учете векселей иностранно-подданных купцов в Государственном Банке. Товарищ министра финансов, г. Антонович, находит вредным давать кредит иностранцам, а потому необходимо принять в этом отношении стеснительные меры. Почему он находит вредным, в «Гражданине», откуда я беру эти сведения, не сказано обстоятельно. Приведена лишь фраза, которой сравнивается торговля иностранцев в России с насосом, который выбирает русские деньги для передачи их за границу. Фраза довольно поэтическая, но говорить о практической жизни даже фразами лучшей поэтической чеканки, чем та, на которую способен г. Антонович, еще не значит сказать что-нибудь убедительное. Все древние цивилизации развились общением народов. Англия не была бы могущественной державой, если бы смотрела на торговлю с точки зрения г. Антоновича. Франция вела с Германией кровавую войну и потеряла две провинции, а это нисколько не мешает ей вести с Германией весьма деятельную торговлю. Г. Ковалевский, напротив, совершенно другого мнения: он находит, что учет векселей иностранных купцов никакого вреда нашей торговле не приносит и что привлечение иностранных предприятий может лишь служить к благу государства. Это взгляд всей Европы, выработанный всей цивилизацией, и делать в ней русские поправки по меньшей мере бесполезно. Комиссия заключила: предоставить иностранным купцам право учета векселей в Государственном Банке на сумму до 100 тысяч рублей. А кто желает получить кредит выше этой суммы, тот должен обращаться с просьбою к министру финансов. Лишнее самообольщение и лишнее обременение министра финансов. По русским законам, со времен Александра I иностранные купцы пользуются такими же правами, как и отечественные, и, стало быть, для проектируемого ограничения их придется изменить самый закон, что уже нисколько не зависит от взглядов г. Антоновича. Нужно ли менять этот закон во имя вышеприведенной фразы о «насосе» и даже во имя других фраз, быть может, сказанных, но не приведенных «Гражданином»? Ведь мы торгуем преимущественно вывозным товаром, стало быть, нам следует приручать иностранцев к нашему товару, а не отучать их. Но, может быть, патриотические чувства диктуют эти стеснения?

Но я говорил об этом с человеком, патриотические и даже специальные патриотически-торговые чувства которого не могут быть заподозрены. Это С. Т. Морозов, о патриотической речи которого во время приема министра финансов на нижегородской ярмарке я говорил в свое время отнюдь не с одобрением. Это молодой еще человек, образованный и интересный по тем практическим знаниям в торгово-промышленном деле, которым он посвятил себя. Г. Морозов говорил мне, что кредит Государственного банка, открытый иностранным купцам, простирается до 28 миллионов рублей, а иностранные купцы кредитовались всего на 7—8 миллионов, т. е. далеко не исчерпывали этого кредита и, стало быть, не особенно в нем нуждаются. В самом деле, кредит за границею дешевле, чем у нас на полтора, даже на два и больше процента. Мало-мальски кредитоспособный человек найдет его за границею или в частных наших банках. Только крайняя необходимость может заставить иностранного купца прибегать к услугам русского Государственного банка. Г. Морозов высказывался мне прямо против этой меры. Я готов прибавить к тому, что он говорил, что, сократив этот кредит, Государственный Банк только сократит свои операции, и без того неважные, и, дав повод к нареканиям со стороны иностранцев и иностранных газет, принесет пользу только отечественным евреям, которые более русских способны у нас вытеснять иностранцев. Иностранные купцы легко обойдутся без Государственного банка и, следовательно, из проектированных комиссией г. Антоновича стеснений выйдет только «много шума из пустяков», как говорит Шекспир, и притом шума для нас по меньшей мере бесполезного, если не вредного.

P. S. Ровно два года тому назад, во время голода, перед Рождеством, я получил из Одессы подарок: г. Дрейфус привлекал меня к суду за статью, в которой я назвал его торговлю хлебом мошенничеством. Но мои факты были верны; посланный мною в Одессу корреспондент собрал новые. Г. Дрейфус и Комп. сами попали под следствие. Сегодня, опять перед Рождеством, пришла из Одессы следующая телеграмма:

«Одесса, 10 декабря. Одесская судебная палата утвердила обвинительный акт о предании суду еврейской фирмы Дрейфус и Комп., обвиняемой в злоупотреблениях по поставке хлеба голодавшему населению Самарской губернии. Привлекаются к делу 7 обвиняемых, вызываются 158 свидетелей и 9 экспертов».

Следствие шло медленно, как видите. Целых два года. Но, вместо меня, очутились на скамье подсудимых Дрейфус и Комп., с чем я их поздравляю.

11(23) декабря, № 6390

CXLVIII

С моей легкой руки о Каткове явились статьи в «СПб Ведомостях» и «Московских Ведомостях». Обе характеризуют Каткова для того, собственно, чтобы противопоставить его мне. Вот честь, которой я не ожидал и никогда к ней не стремился. Я много полемизировал с Катковым, особенно отстаивая реальное образование, много говорил против напыва классиков, не только плохих вообще, но полуграмотных в русском языке, иностранцев, для которых русское юношество служило только неразборчивым средством снискания хлеба и наград. Для Катко-

ва в этом отношении все средства были хороши. Кое в чем другом я не соглашался с ним, но его публицистический талант настолько ценил, что после его смерти издал целый том «Катков и его время», с большими выписками из его статей, написанный г. Неведенским добросовестно и не без таланта. Мои симпатии, мои убеждения были гораздо более на стороне Аксакова, чем Каткова. «Московские Ведомости» говорят, что я «умалчиваю», что Катков *«не хотел меня знать»*. Не понимаю, почему бы мне скрывать такое обстоятельство? Катков знал очень многих и очень разнообразных людей. Он знал и хотел знать сахарозаводчиков, железнодорожников; он рекомендовал иногда в своей газете таких людей, о которых история не будет его мнения. Если Катков не хотел меня знать по гордости, то я не хотел его знать по скромности, ибо во всю свою жизнь ни разу не искал случая с ним познакомиться. Я любил его слог, его язык, его талант, признавал его заслуги в некоторых вопросах, очень важных, но *целый* Катков, его литературная личность во мне симпатии не возбуждали. «СПб Ведомости» стараются доказать, что моя характеристика Каткова неверна. «Его речь, — говорит г. Авсеенко, — всегда была обращена не к публике, а к власти (?); это был государственный трибун, а не куплетист открытой сцены. Если ему казалось, что при данном стечении обстоятельств бесполезно говорить к власти, он молчал целые годы, и на целые годы его газета превращалась в печатную бумагу, выпускаемую по контракту с московским университетом. Если в нем был политический деятель и публицист, то совсем не было газетчика». По-моему, тут все несправедливо. Во-первых, из слов г. Авсеенко выходит, что чья речь обращена к публике, а не к власти, кто не государственный трибун, тот куплетист открытой сцены. Так как г. Авсеенко к власти обращается с своей речью только с просьбами о казенных объявлениях, а во все остальное время говорит с публикой, то выходит, что он — куплетист открытой сцены. Так как он преимущественно говорит о женщинах, то в нем и могло зародиться такое представление о журналисте. Но я и о нем этого не думаю. Во-вторых, всякий сильный талант тем и обнаруживается, что его читает публика и к нему прислушивается власть. Сильный талант сильно и одушевлен своей идеей и так выразительно ее высказывает, что она обращает на себя внимание власти. Поэтому, только *казалось*, что Катков обращался к власти; на самом деле он говорил с публикой, с обществом, среди которого находил сочувствующих и врагов, и *искал* сочувствующих. Он был журналистом, которого тянуло на всенародную кафедру публицистики, как художника тянет на всенародную кафедру литературы. Он имел свои слабости, свои недостатки, даже как журналист; он болел и тем, как журналист, что не всегда мог высказаться вполне. И он ломал себя и искал удобной формы. Что чувствовал каждый мало-мальски талантливый журналист, и он чувствовал, и он, вероятно, в степени сильнейшей. Он выносил мелкую вражду зависти и мелочность обиженных им администраторов. Он заботился и о материальном успехе своей газеты и вел процесс с московским университетом чисто материального свойства. Не унижать я его хочу, а хочу говорить правду, которая не унижает, а позволяет только разобраться в человеке вернее. Нет смертного, у которого не было бы своих слабых сторон. Я имею твердые основания думать, что и то неправда, будто Катков целые годы молчал, когда «бесполезно было говорить к власти». Таких годов не было, и никогда его газета не «превращалась в печатную бумагу, выпускаемую по контракту с московским университетом», подобно «СПб Ведомостям».

Катков дорожил своими идеями и своим читателем и не оставлял его без постоянного руководства, зная очень хорошо, что это опасно в смысле влияния.

«Московские Ведомости мне отвечают так, что мне жалко их. Катков «великий», «гениальный» публицист, он «выше не только русских, но и всех когда-либо бывших публицистов». «Наследники» его в такой неумеренной степени прославляют его — знаете ли почему? Единственно потому, чтобы им что-нибудь осталось: если Катков «гениальный», то и они, «наследники», таланты не великие, конечно, не гениальные, но, по крайней мере, большие таланты, проповедующие якобы «катковское» учение, которое он завещал таким «истинно русским» людям, как г. Грингмут, как г. Лев Тихомиров. Но этого не видно даже из их статьи о Каткове, которая блещет общими местами, высокопарностью и набором громких фраз, за которыми скрывается пустота и лицемерие.

Они длинно мне доказывают, что Катков имел убеждения. Но это само собой разумеется. Разве можно что-нибудь говорить от души, разве можно что-нибудь внушать читателям, если не имеешь убеждений и идеалов? Я говорил, что сила его заключалась в таланте, а не в убеждениях потому, чтобы ярче определить его талант; об его убеждениях я выразился, что «их трудно было уловить и привести в систему чего-нибудь единообразного». «Московские Ведомости», напротив, уловили систему, именно «самодержавие, православие и народность». Но ведь это слишком общая характеристика такого публициста: он был русский здравомысленный человек прежде всего, а потому не мог поэтому самому выделяться из народности, крепкой самодержавием и православием. В общих чертах и убеждения славянофилов основывались на том же и были развиты ими еще раньше Каткова, даже раньше его увлечения парламентаризмом в «Русском Вестнике». И, однако, выходя из одних и тех же оснований, славянофилы и Катков во многом не сходились, особенно в сфере средств для развития русской жизни на основах православия, самодержавия и народности. Очевидно, «Московские Ведомости» в Каткове очень мало смыслят и следуют не его пути, а своему собственному, прикрываясь только его знаменем.

14(26) декабря, № 6393

CXLIX

Конкурсы красоты устраиваются теперь во всей Европе. Почему же нам отставать? Давайте и мы устраивать. И если, с одной стороны, женщины стремятся к какой-то «эманципации» и снисканию прав наравне с мужчинами, то, с другой стороны, женщины же стремятся поставить себя наравне с бессловесными животными и вещами. Это, может быть, даже мужчина нарочно устроил для того, чтобы показать, что женщины напрасно стремятся туда, где им места нет, что настоящее им место — выставка, так или иначе, торговля ими, женский базар, как на Востоке. С Востока, я думаю, из мусульманских стран, и заимствован этот прекрасный обычай. Свет теперь идет с востока вместе с солнцем, а не с запада, где оно закатывается. Очевидно, все становится натуральнее...

Завтра, если не ошибаюсь, в Дворянском собрании будет бал и, между прочим, конкурс красоты. И серьезный конкурс! Помилуйте, даже русские художники будут судьями, ибо кому же и судить о красоте, как не художникам нашим, не написавшим ни одной красивой женщины, если не считать портретов. Впрочем,

г. Сухоровский написал два «тела», довольно безжизненных, и ездил даже по Европе показывать их. И если Европа не обратила на них внимания, то ведь Европа мало ли что видела. Но и г. Сухоровский тут же, в жюри, и даже, за известный гонорар вызвался написать «первую» петербургскую красавицу. Жюри состоит из художников: Боброва, Мещерского, Попова, Микешина и Сухоровского. Первая премия — золотой жетон и «право на получение своего портрета, написанного масляными красками работы художника М. Г. Сухоровского». Не ясно: масляные ли краски работы г. Сухоровского, или портрет его работы? Но это все равно. Вторая и третья премии, кроме золотого жетона дают право красавице посещать бесплатно вечно подобные балы, этих двух увидит и XX век.

Меня, собственно, занимают вопросы: как это жюри будет определять красоту? Выстроятся женщины перед художниками в зале, под контролем публики, или в отдельной комнате? Будут ли они в костюмах или в подобии костюмов? Принимаются ли женщины всех лет или только определенных лет? Прикажут ли им смыть, в присутствии жюри, белила и румяны, или на этот счет им будет предоставлена полная свобода? Будет ли красота определяться детально, например, будут ли смотреть им зубы, измерять их уши, руки, свидетельствовать волоса на голове или просто судить по лицу орлиным взглядом русского художника? Не зная «художественных» приемов гг. Микешина, Сухоровского и т. п., не могу судить о правильности их экспертизы. Раз они взялись за это дело, то, значит, чувствуют себя мастерами на этот счет...

Конечно, вольная воля женщинам подчиняться этому конкурсу. Я думаю, что если есть выставка собак, то отчего же не выставить женщин. Собак на выставку ведут поневоле, и они, бедные, сидят в клетках и воют. Когда им дают премии и медали, то они не чувствуют от этого удовольствия, и если б положили перед ними медаль и кусок мяса, они предпочли бы наверное мясо. Отсюда несомненно следует, что гораздо гуманнее выставлять женщин и давать им премии за что угодно, чем выставлять собак. Но выставленные собаки — просто развлечение и удовольствие для хозяев их. Ни человечество, ни хозяйство ровно ничего не выигрывает от выставок собак. Выставленные женщины тоже играют роль собак, но собак, понимающих значение своей красоты и золотого жетона. Естественно, что ни одна порядочная женщина не пойдет на эту выставку и не станет перед очами художников. Золотой жетон, таким образом, будет значить очень мало для удостоверения красоты, и настоящие красавицы останутся «вне конкурса». И это слава Богу, сто раз слава Богу. Красота — чудесный Божий дар, но это не заслуга. Заслуга красавицы все-таки в том счастье, которое она дает своему мужу и своим детям, и это еще поднимает достоинство красоты. Стало быть, для истинной красоты все обстоит благополучно.

Затем, я уверен, что ни один истинный, уважающий свой талант и свое искусство художник не пойдет в такое жюри и что, например, г. Репин, теперь первый русский художник, отверг бы такое предложение с негодованием. Он сказал бы, что это не его дело, если б вежливо хотел отклонить такое предложение. Если б его попросили высказать мотивы отказа, он сказал бы нечто такое, что не понравилось бы гг. Боброву, Микешину и т. д. Но опять: вольному воля. Если находятся женщины, идущие выставлять свои физиономии или свое тело перед жюри, то, естественно, что находятся и художники для присуждения им премий.

У нас, в древней Руси, тоже был конкурс красоты, в своем роде. Русские цари созывали в Москву красивых девушек и давали одной из них драгоценную пре-

мию — свою любовь и корону. Остальные возвращались домой, довольные тем, что видели Москву, царские палаты, царя, хорошо жили и, может быть, иные из них и находили суженого в Москве или по дороге, во время остановок. На *тех* красавицах женились. Нынешние премированные красавицы тем отличаются от прежних, что на них не женятся. Золотой жетон и портрет, писанный г. Сухоровским, — это премия скорее уменьшает шансы на выход замуж, чем их увеличивает. И понятно, кто же станет руководиться чужим вкусом, вкусом г. Микешина, г. Боброва, г. Сухоровского для выбора женщины? У всякого свой вкус, и поэтому премии за красоту — это вовсе не значит за красоту, а только за то, что счастливицы эти понравились нескольким русским художникам, взявшимся за такое дело, которое их ни с какой стороны не рекомендует, ни со стороны художественной, ни со стороны человеческой. Но они могут мне ответить, что три богини спорили о красоте и явились перед Парисом, который предпочел всем Венеру, а потому и русские художники нечто вроде Париса. Но, во-первых, это давно было, во-вторых, три богини были настолько умны, что явились только к одному лицу, рассчитывая на его единичный вкус, а в-третьих, теперь хорошо всем известно, что этих богинь совсем не было...

15 (27) декабря, № 6394

CL

Считаю своим приятным долгом извиниться перед г. Микешиным, имя которого я упоминал в числе других художников по поводу конкурса красоты. Хотя имя г. Микешина и стояло в числе художников, составлявших жюри, но он ограничился тем, что пожертвовал свой рисунок в пользу прекрасной цели, с которой устраивался бал, но отказался еще несколько дней тому назад, следовательно, до появления моей заметки, от предложенной ему чести участвовать в этом жюри. Мне тем приятнее заявить об этом, что главную цель, которую я преследовал в данном случае, заключалась в том, чтобы освободить молодое и здоровое русское искусство от упрека в участии в таком деле, которое отнюдь не может составлять его специальности.

Да, это не занятие для художников. Поклонение красоте, изящному, совершенному в Божьем создании я очень хорошо понимаю. Я понимаю, что художник больше, чем всякий другой человек, способен к тому, чтобы судить о красоте и понимать ее, но я никак не могу представить себе художника в роли эксперта-барышника, в роли эксперта-собачника, которые хладнокровно смотрят в зубы и разбирают и соображают всякие достоинства и недостатки породистых лошадей и собак. Художник — нечто высшее этих экспертов и нечто гораздо большее, и цели его искусства метят гораздо дальше, чем цели экспертов на разных выставках животных. Красота, одушевленная чувством, мыслью, красота, воспринятая художником и воспроизведенная им в той гармонии, которая живет в его дарованиии, в его художественной фантазии, в его душе — вот цели художника. Конкурс же красоты есть просто забава, реклама, рассчитанная на пошлое, праздное любопытство, на страсти довольно низменного свойства, страсти и без того бьющие через край. Эти конкурсы не удовлетворяют даже и тем целям, которые имеются ввиду на выставках разных животных. Эти цели преследуют улучшение

или изменение породы лошадей, коров, свиней и т. д. Конкурсы красоты не удовлетворяют даже этим целям. И мне чрезвычайно странно, что «СПб Ведомости» называют мой взгляд на женскую красоту «деланно-ханжеским» и, рекомендуя мне «опросить гг. Зичи, Маковского, Семирадского, Сведомского, Якобия, Клевера, Степанова и многих других», заранее выражают уверенность, что этот взгляд мой покажется им «смешным». Я был бы очень благодарен этим художникам, если б они сами вызвались подать свое мнение об этом современном явлении. Но смешон ли мой взгляд или нет, я останусь при нем, ибо, независимо от всего прочего, не могу понять, каким это образом художник, не краснея, по крайней мере, в душе, может обратиться в эксперта женской красоты, которая применяется к современным, противохудожественным требованиям, примазывается и прикрашивается, носит на своем теле следы корсетов и т. п. и, главное, бежит на осмотр с целями совсем иного «художества», чем то, которое составляет действительное художество? Я не могу себе представить художника перед этими женщинами, у которого не родилось бы чувство брезгливости или, пожалуй, жалости к ним и к людям, которые это устраивают, и которому не мешало бы это чувство сохранить независимость своего суждения и независимость тех идеалов красоты, которые он носит в душе. Мне кажется, истинному художнику будет стыдно перед этою выставкою женщин. Мне кажется, истинный художник не может обойтись без того, чтоб не вспомнить при этом о своей матери, о своей невесте, о своей жене, о женщинах, ему дорогих. А вспомнив их, он, быть может, содрогнулся бы в душе своей, если б вообразил, что они были или могут быть на подобном конкурсе. В самом деле, пусть художник вообразит, что его жена-красавица идет на этот конкурс, или его дочь. Почувствует ли он удовольствие от этого? И его картина, и его статуя, и его дочь — его произведения. Но будет ли он в таком же восторге от жетона, который получит его дочь на конкурсе красоты, в каком он будет, если его картина или статуя получит первую премию? Ах, господа, относительно женщин в особенности столько проклятых вопросов, которые вовсе не знаменуют собою «ханжества». Примеряйте на себе, на своем чувстве, поставьте себя в известное положение и затем защищайте этот культ выставочной и совсем сомнительной красоты. Выставляйте своих жен, своих дочерей, своих невест и оповещайте о том, что такие-то художники признали их достойными жетона или красок-подмазок г. Сухоровского. Тогда будет дело начистоту. Бравируйте общественное мнение собственным примером, а не чужими боками, не соблазном, красиво обставленным декорациями и благотворительными целями. Наконец, почему, господа, вы самих себя не выставляете, — вы, господа мужчины? Теперь есть художницы — пригласите их в жюри, устройте конкурс мужской красоты с благотворительной целью, а мы посмотрим. Ведь в стране культа красоты, в Греции, были не Венеры только и Дианы, но и Аполлоны, и Антиное...

17 (29) декабря, № 6396

CLI

Как мне жаль бедных наших хохлов в Париже. Дела их очень плохи. Они отказались от публичной подписки, и это очень хорошо, это приносит им большую честь, но сборов все-таки нет. Г. Дергач вообразил, что франко-русский союз значит многое и в деле малорусской драмы и предпринял это путешествие, рас-

считывая на успех. Он, очевидно, не знал, что в Париже ничего нельзя сделать без денег и даже в журналистике надо платить. С труппы некоторые парижские газеты требовали за 20 строк 500 франков. Какой сюрприз! В России все эти артисты и артистки воображают, что они если не гении, то столь замечательные таланты, что если какая газета не поет им похвальных песен, то это из ненависти. Их авторы полны уверенности, что хохлацкие драмы столь же глубоки, как Шекспир. Почтенный и милый Д. Л. Мордовцев не шутя говорил им это. И вдруг такая обида — и где же? В Париже, где так недавно моряки вызывали такой неподдельный энтузиазм. Если моряки вызывали такой восторг, ничего не играя, никого не забавляя, не танцуя народных танцев, то как же малороссы могут потерпеть фиаско, эти славные артисты и артистки в своем муравейнике, как они могут потерпеть фиаско в своих нарядах, в своих оригинальных шапках, с своим танцованьем? А вот полное фиаско. Драмы наивные, пение наивное, язык невозможный. Публика не ходит. Она в два дня дала, подпиской, 8000 франков, но смотреть их не хочет. Она выросла из этой наивности, из этого гопака. И доброжелательные им газеты советуют хохлам переменить программу: давайте танцы, *мимические* сцены, декорацию малорусской жизни, а разговор — оставьте про себя... этот милый малорусский разговор...

Это обидно, но с этим необходимо мириться. Грандиозная парижская манифестация нашим морякам ничего не имела общего ни с русским, ни с малорусским драматическим искусством. Там дело шло о глубоких национальных интересах; здесь дело частное, житейское, дело развлечения, дело того, где и как провести вечер. Тот возвышенный политический пульс, который бьется у обоих народов-союзников, когда они думают об исторических задачах своих стран, совершенно останавливается, когда дело касается того, кто больше доставит удовольствия французу — г. ли Дергач или г. Го, г-жа ли Петровская или г-жа Жюдик? Тут и претендовать нечего. Видеть дикие танцы, слышать слабые голоса, заунывно что-то распевающие, видеть пьесы, в которых ничего не понимаешь, — что за удовольствие! А требовать «сочувствовать», ходить в театр «из сочувствия» к России или Малороссии — это даже и неделикатно.

Нам рано показывать свое драматическое искусство за границей на нашем родном языке, которого никто не знает; нам надо сидеть дома и не мечтать о том, что нас желают видеть в Париже, в Лондоне. Хорошего русского певца, хорошую русскую певицу оценят везде, когда они поют по-итальянски или на языке страны, которая их слушает. Г-жа Мравина имела успех в Лондоне. Русскую живопись и русскую скульптуру легче знать, ибо тут достаточно видеть, но русскую живопись знают только почти по одному Верещагину, русскую скульптуру — по Антокольскому; русскую литературу — по переводам, по Тургеневу, Достоевскому и Толстому; русскую музыку — по Глинке и Чайковскому. Но у малороссов нет ничего такого, что они могли бы показать за границей, кроме разве своих костюмов; нет ничего такого, что они могли бы дать французам в переводах, кроме Гоголя, но Гоголь — наш, русский, он писал на русском языке, и потому он, Гоголь, наша общерусская слава. На хохлацком языке он едва ли сделал бы больше Основьяненки. Конечно, малороссы могли бы показать Парижу г-жу Заньковецкую, но только ее одну, да и то в том лишь случае, если б Париж умел говорить по-хохлацки, или если б г-жа Заньковецкая стала играть по-французски. А так как она даже русского языка чуждается, то им нечего и ее везти на показ. Оставайтесь дома, господа, и ждите того времени, когда и русская публика отка-

жется понимать вас и признает ваши драмы слишком наивными, ваши песни и пляски слишком наивными тоже. А это будет. Я люблю малороссов и смело могу сказать, что содействовал их успеху в Петербурге и их известности в России. Но я предчувствую время их падения, предчувствую, что интерес к ним будет ослабевать, ослабевать и ослабевать. Это печально. Но что ж сделаешь против истории?

20 декабря 1893 (1 января 1894), № 6399

CLII

Несколько времени тому назад я написал по поводу переписки о. Жонке и о. Янышева о старообрядцах. Я выразил желание, чтоб эти две ветви православия перестали враждовать между собою и соединились бы во имя Христа и братской любви и во имя общего действия на пользу православия. Протопресвитер о. Янышев прислал письмо в «Новое Время» (№ 6367), в котором, между прочим, «искренно благодарил» меня за *«доброе, истинно-христианское употребление»*, которое я сделал из этой переписки *«в пользу наших старообрядцев»*. Относительно старообрядцев он заметил, что «привязанность к церковной внешности, к обряду, без соответствующего религиозно-нравственного просвещения, составляет великое несчастие не одних только старообрядцев у нас, и, доколе школа и церковная проповедь не будет исполнять свой долг, искреннее объединение их с православными «в едином на потребу» немыслимо».

Мне очень дорого сочувственное отношение к моим словам такого выдающегося духовного лица, как о. Янышев: бывший ректор Духовной академии, конечно, знаком с историей раскола лучше меня и лучше «Московских Ведомостей», которые поспешили тотчас же враждебно отнестись ко мне и даже выразили милое предположение, не сошел ли я с ума. Эти светские люди, вносящие вражду в полемику по религиозному вопросу, и это духовное лицо, с любовью отнесшееся к мысли о примирении православия и старообрядства, в своем роде явление замечательное в наши дни. «Московские Ведомости» не впервые являются в роли блюстителей буквы православия и, по-видимому, намерены продолжать ее. Катков, сколько мне известно, писал знаменитый адрес старообрядцев императору Александру II, где было сказано: «в новизнах твоего царствования нам слышится старина». Наследники его видят в расколе только дух непокорности и вражды. После первой выходки против меня явилась в той же газете статья г. С. П-вского, который мало того что искажает смысл некоторых моих речей, но и упрекает меня в «недомыслии», в «легкомыслии», в «незнании», в «неблаговидности» и причисляет меня к «либеральным подстрекателям», «которые *под личиной служения единству Церкви* в сущности вредят ему, разжигая в среде раскола страсти, поддерживая колеблющееся самообольщение и подстрекая к *панибратству* с Церковью и ее представителями». Столько обвинений заставили бы меня призадуматься, если б они были доказательны и если б они не сопровождались смиренным восклицанием автора: «Да простит их Бог (меня в том числе), не ведят бо что творят». Мне показалось, что этому обвинителю, говорящему злобствующим тоном, не пристало повторять слова Христа, произнесенными Им во время тяжких человеческих страданий, которым он был предан своими обвинителями и мучителями.

Что-нибудь одно: или любить и прощать, или обвинять и злобствовать, вместе же все это — две вещи несовместимые. Вспоминая слова о. Янышева о «проповеди», я осмеливаюсь думать, что статья г. С. П-вского, по самому духу своему, именно та проповедь, которую давно пора оставить, ибо она, являясь только «обличительной», т. е. обвинительной, даже тоном своим враждебна всякому примирению.

И что это за подозрения? На каком основании г. П-вский полагает, что я пишу только под «личиной служения единству православия», а не искренно? Неужели так-таки и нельзя выразить никакой мысли, которая просится наружу, чтоб ее тотчас же не заподозрить в «неблаговидности», в «либеральном подстрекательстве»? Почему следует продолжать традиции патриарха Никона, который, в злобе своей, даже царя Алексея Михайловича обвинял в латинстве? Почему обязательны никоновские приемы, желал бы я знать? Если вносить в полемику такие *обвиняющие* приемы, то говорить ничего нельзя, а надо только умиляться и преклоняться перед действительностью. Я говорю не о догматах Церкви, а только об истории раздвоения православия и призываю обе стороны к любви и братству. Я говорю, что враждой ничего не сделаешь, что целые два века доказали нам, что вражда только развила раскол и увеличила число сект. И иначе это быть не могло. Когда людям не давали спокойно молиться, когда не дозволялось им строить церквей, когда они обманом только, подкупом, притворством, уплатою двойных податей и т. д. могли существовать, когда у них не было священства, когда их священникам не дозволялось совершать требы, то естественно было с их стороны приноравливаться к жизни и искать выхода для своей религиозной мысли, для своей верующей души, которая искала Бога в своем храме, но этот храм закрыли. Когда человеку негде молиться, когда молельня его ветшает и он без взятки полиции не может исправить на ней даже покачнувшийся крест, этот символ спасения, то он постепенно доходит до отрицания храмов и священства и говорит: «церковь — это я». Секты развились именно поэтому, главным образом. Священники и наблюдатели раскола, в последние двадцать лет, постоянно свидетельствовали о переходах из поповщины в беспоповщину, которая усиливается именно этим переходом: нет своих церквей, свое священство неудовлетворительно и не признаваемо, — и вот переход в ту область раскола, где священство отвергается вовсе, где говорится: «церковь — это я», то есть каждый. Г. С. П-вский говорит, что раскол «делается все более доступным просветительному влиянию Церкви». Я был бы этому очень рад, но мало этому верится. Я просматривал за девять последних лет (1881—89) «Отчеты г. синодального обер-прокурора» и нашел, что за это время из раскола перешло в православие и единоверие всего 41 065 человек, тогда как всех обратившихся в православие в это время было 127 766 человек, то есть только треть всех обратившихся приходится на раскол. Это очень и очень немного. Счисление раскольников почти неуловимо, и настоящей цифры их мы не знаем. Но можно предполагать, что поповцев и беспоповцев не менее 15 миллионов теперь. Таким образом, ежегодный прирост их рождениями равняется наверное 200 тысячам душ. Что ж значат приведенные выше цифры обращения из раскола в православие? Ведь это только капля в море. Ежегодно обращается от 3 до 6 тысяч душ, а рождается ежегодно 200 000 душ. За девять лет одним рождением прибавилось до двух миллионов старообрядцев, поповцев и беспоповцев, а перешло за это время в православие всего только 41 тысяча. Цифры в данном случае говорят лучше всяких рассуждений. Я знаю

несомненные факты, что старообрядцы идут в университеты, кончают там курс и остаются верными своей старой вере. Есть и беспоповцы, получившие высшее образование и остающиеся в своем толке и заключающие браки без всякого участия Церкви. Желательно ли такое продолжение вещей? Вопрос этот гораздо серьезнее, чем о нем думают. При всем моем уважении к о. Янышеву, я не могу не заметить, что путь церковной проповеди и школы, во-первых, очень длинный путь, во-вторых, и довольно ненадежный. Старообрядцы всегда любили грамотность; их начитанность в деле веры, их способность к состязанию общеизвестны; в массе своей они грамотнее православных, и, если, как я сказал, университетское образование не побуждает их переходить в православие, то едва ли школа много сделает, особенно при развитии в старообрядстве рационализма. Я думаю, что тут есть только один путь — протянуть руку старообрядцам во имя Христовой любви и братства, во имя равноправности. Но я еще не кончил с г. С. П-вским, которому намерен отвечать по пунктам и со всевозможным спокойствием. Он так цельно олицетворяет собою приемы патриарха Никона, хотя с того времени прошло больше 200 лет.

Я буду говорить во имя опыта двухсот лет, который нам достаточно показал, что надо думать о примирении, а не о покорении...

22 декабря 1893 (3 января 1894), № 6401

CLIII

Двести двадцать шестой раз православная Русь встретила Рождество Христово не в том братском единении, какое было прежде. Собор 1667 года разделил православных великороссов враждою друг к другу. Вы едва ли знаете подлинный акт этого собора. В историях раскола он передается в извлечениях, причем опускается та его часть, которая слишком явно свидетельствует о жестоких нравах того времени, ярко отразившихся в этом соборном постановлении. В самом начале царь Алексей Михайлович называется «новым Константином» и «мстителем» «раскольникам и непокорникам». Собор, придающий этот титул мстителя в делах веры царю, тем самым возлагал на него обязанности, противные духу учения Христова, духу кротости, снисхождения и любви. Глубоко религиозный царь, естественно, должен был принять к руководству политику преследования, а потому те тщательные оговорки, которые делает, например, митрополит Макарий в своей «Истории раскола», что казни и преследования раскольников шли «от гражданской власти», а не от духовной, теряют свой смысл. Постановлением церковного собора предписывались «мстительные» меры. Далее, самое проклятие, наложенное на всех тех, которые крестятся двуперстием и вместе с некоторыми обрядами почитают старые книги, выражалось в таких словах, что даже людям того времени оно могло показаться вне власти и компетенции собора. Предавая «проклятию и анафеме» всякого непокорного, собор продолжает: «да будет он и *по смерти* отлучен и непрощен, и часть его и душа со Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и со Арием и с прочими проклятыми еретиками; железо, камение и древеса да разрушатся и да растлятся, а тот да будет не разрешен и не разрушен и яко тимпан[1], во веки веков, аминь». Этими словами собор

[1] *Тимпан* — музыкальный инструмент, упоминается в «Псалтире». В каком значении он тут употреблен, признаюсь, не понимаю.

1667 г. предписывал, как видите, самому Всевидящему Богу, читающему в сердцах, не прощать старообрядцев и после смерти души их помещать вместе с душою Иуды предателя. После этих слов уж ничего не значит, что сугубое аллилуіа названо таким ругательным словом, что его невозможно повторить теперь в печати.

Вспоминаю об этом для противников моих в «Московских Ведомостях».

«Протянуть руку расколу! — восклицает один из них, г. С. П-вский. — Да разве церковь не делает этого вот уже два столетия? Разве вся история (?) отношений Церкви к расколу за все это время не есть *непрерывный* материнский призыв, обращенный к заблудшим чадам с мольбой о возвращении в лоно матернее?» Несомненно, что церковь, в идеальном своем виде, в словах Евангелия, в богослужебных молитвах, исполненных кротости, снисхождения и любви, «призывала заблудших», но ведь оставалась практика жизни, оставались люди с своими страстями, проклинавшие невозможными клятвами, предписывавшие преследования, заточения, железо, пытки. Причем Церковь, как святыня, в этой вражде, в этих низменных страстях? Разве церковь виновата в том, что греческие митрополиты, приезжавшие в Москву, продавали отпущение грехов? В «Истории русской Церкви» митрополит Макарий говорит, что религиозная «борьба началась преимущественно из личных побуждений» и «с обеих сторон». Самовластие, неукротимость, своеволие, сатанинское честолюбие Никона, не останавливавшегося перед подчинением себе верховной власти, перед порабощением царя, играло в этой борьбе огромную роль. Он ли поступал с «справщиками» и с теми, которые осмеливались противоречить ему, «как мать»? Неужели дальнейшие преследования раскола, казни, ссылки, тюрьмы, заточения, дальнейшие гонения, породившие бунты в Москве, в Соловецком монастыре, породившие «самосожигателей», бросавшихся в огонь от насилия и грабежа, — все это «материнский призыв к заблудшим чадам о возвращении в лоно матернее»? Правда, все это было во времена давнопрошедшие, но они входят в те «двести лет», о которых говорит автор статьи «Московских Ведомостей». Как осуждать народные массы и их учителей, если они в церковных новшествах Никона видели нарушения православия и жертвовали своим спокойствием, своим достатком, даже своей жизнью для защиты старых книг, двоеперстия и некоторых старинных церковных обрядов? Они ведь знали, что этим старым православием, которое вообще являлось тогда не только народу, но и книжникам, «искусным таинственникам», преимущественно, если не исключительно, только со стороны обрядности своей; они знали, что им, этим старым православием жила русская держава, усиливалась, объединялась, что по этим старым книгам спасались и св. Сергий Радонежский, и митрополиты св. Алексей, Петр и Иона, что по этим старым книгам молились благочестивые русские цари, патриарх Филарет Романов, сын его Михаил, и тот же Алексей Михайлович, которого подчинял себе Никон и который с трудом выбился из-под этого влияния. Мало того, русский человек гордился своей церковью, считал ее первою на всем Востоке и, может, даже единственно истинною, и вдруг это сокровище, с которым сросся весь его быт, разрушают, по его мнению. Не надо забывать и того, что двоеперстие и сугубое аллилуіа были возведены на степень догмата Стоглавым собором, и этот догмат грубо изгоняется и преследуется, как преступление, как убийство, как Иудино предательство. Ведь это ужасно! Ведь религиозные вопросы — это душа жизни народной. Ведь Европа тридцать лет вела истребительную войну из-за них! Что ж удивительного и непонятного, если

множество русских не только захотели остаться при старых книгах, но считали смертным грехом подчиниться новшествам, о которых столько столетий Русь не слыхала. Это старое православие подняло Русь в Смутное время, оно объединило ее своей силой и крепостью, оно вдохнуло мужество в иноков Троицкой лавры, и воспоминания обо всем этом были еще свежи во времена Никона. Что удивительного, что эти люди предпочитали гонения и смерть тому, что они считали изменой православию? Что удивительного, что этим людям приходили в голову вопросы: если по этим старым книгам так многие спасались, так многие угодили Богу в такой степени, что сделались святыми и творят чудеса, то каким же образом проклинают эти книги и эти обряды? Будут ли спасаться по новым книгам, по новым обрядам — это еще неизвестно, но ведь старина доказала свою святость. Если тут была «духовная гордость», как выражается автор статьи «Московских Ведомостей», «духовная гордость», которую он ставит в упрек оставшимся верными старому обряду, то это гордость святостью и величием православия. Что ж мудреного или неясного, что в никоновских новшествах народ XVII века видел гибель веры, гибель всего православия? И если Никон мог решиться на такую меру, то потому лишь, что его ослепляло неукротимое честолюбие и неразборчивая любовь к блеску, к подражанию грекам, к властному распоряжению всею Русью. Понравился ему греческий клобук, который шел ему к лицу, он переменил русский клобук на греческий, прибегнув к обману царя, и возбудил народное неудовольствие. Так же легкомысленно он поступил и с гораздо более важным, требовавшим большей осторожности и постепенности, с своими новшествами, притом несовершенными. Относительно тех новшеств, которые ему не нравились, он был глубоко консервативен. Он ненавидел «Уложение» царя Алексея Михайловича и требовал заменить его «Кормчею», ибо это усиливало бы его власть. Но тут, в делах веры, которые требуют особенного внимания, особенной деликатности, он поступал, как человек ослепленный. Он ссылался на патриархов, когда они ему были нужны, и он же в грош не ставил их во время суда, выставляя на вид их пристрастие, их низкопоклонство, их продажность. Собор, осудив Никона, утвердил его новшества и произнес известные проклятия на «старую веру». Как тут было разобраться народу, во всей этой путанице, во всех этих противоречиях, судах, соборах, когда и теперь еще во всем этом не разобрались многие? Никон был осужден, но никоновская политика продолжала процветать и после него, эта политика хотела взять старообрядство измором, лишив его храмов, священства и всех благ мирной жизни, всех благ равноправности с теми, которые крестились тремя перстами и слушали литургию по новым книгам. Это была поистине глубокая трагедия в жизни старообрядцев, и это поймут все те, которые способны понимать народную душу, ибо для нее вера составляла самое важное в жизни. Надо ж быть когда-нибудь справедливым и без всякого лукавства сказать ту правду, которая подсказывается сердцем.

Автор «Московских Ведомостей» с легким сердцем именует «фанатиками» старообрядцев, их приверженность к старой вере «фанатизмом». Автор, — очевидно, просвещенный человек, умеющий веровать умеренно и аккуратно. Но ведь не всем дана эта легкость, умеренность и аккуратность. Народная масса, к тому же не по своей вине, не может пользоваться теми благами просвещения, которыми воспользовался автор статьи «Московских Ведомостей», спрашивающий: «отчего же раскол полностью не перешел в единоверие», «давшее, под условием едине-

ния с церковью, полную возможность любителям *мнимодревнего* «благочестия» *легально* употреблять излюбленные обряды?»

Я думаю, оттого, между прочим, что такие истинно-православные и просвещенные люди, как автор статьи «Московских Ведомостей», называют *фанатизмом* это старое православие, с насмешкой говорят о «мнимодревнем *благочестии*», подчеркивая это слово, с насмешкой относятся к «излюбленным» обрядам и «мнимодревнему *благочестию... того же самого* «единоверия», которое рекомендуется им. Ведь единоверие существует легально, исповедуя тоже древнее благочестие, а автор над ним потешается!.. Да, между прочим, вот это высокомерие таких просвещенных православных людей, как г. С. П-вский, высокомерие, ничего не имеющее общего с христианской любовью, высокомерие насмешливое, прямо оскорбительное для верующих — вот одна из причин того, что в единоверие не пошли многие. Были и другие, того же характера, но об этом в следующем письме.

29 декабря 1893 (10 января 1894), № 6406

1894

CLIV

С Новым годом, милостивые государи и милостивые государыни. Не знаю, как вам, а мне жаль старого года. Это был милый год, год некоторого подъема нашего духа и с грустью расстаюсь с ним, точно с добрым и хорошим знакомым. Впрочем, и в Новый год мы вступаем, кажется, благополучно. Говорю не о частных наших делах, а о делах государственных, с которыми, однако, связаны и наши частные дела. Наша государственная роспись так хороша, что появилась, вопреки обычаям, еще вчера в «Собрании Узаконений» и сегодня, 31 декабря, в газетах. Она, очевидно, просилась скорее на Божий свет, до срока, во всем своем блестящем одеянии. Но «Новое Время» осталось верно обычаям и печатает ее только в Новый год. У наших читателей будет таким образом лишний кусочек если не счастья вообще, то нового счастья. Новое это счастье заключается, между прочим, в том, что «ныне, по словам министра финансов, государственный бюджет вступает во второй миллиард обыкновенных доходов». Идем вперед. Речь министра финансов отличается твердостью и уверенностью в этом отношении. Это хорошо со стороны человека, который имеет дело с цифрами, вступающими во второй миллиард доходов, и с наличностью золота в 609 миллионов рублей. Меня немножко беспокоит, что «сбыт хлебов на иностранные рынки может с течением времени все более и более затрудняться». Не ради себя беспокоит, ибо имений у меня нет совсем, а ради землевладельцев. Но министр рассчитывает на «создание внутренних рынков, т. е. развитие неземледельческих отраслей труда». Думаю, что, другими словами, это значит, что, чем народ будет богаче, тем он больше и лучше станет кушать и больше покупать у наших фабрикантов, столь благополучно отстающих от Европы. Очевидно, сам министр того мнения, что это будет не скоро, если утверждает, что сбыт нашего хлеба за границу «все более и более будет затрудняться». «Разнообразие климатов и почвенных условий и неисчерпаемость естественных богатств заключают в себе все данные для полной национально-экономической независимости». Это необыкновенно верно. Эти условия существуют давным-давно и стали у нас общим местом. Дай Бог, чтоб скорее вперед не на словах только, но и на деле. На «неземледельческие отрасли труда», признаюсь, я мало рассчитываю. По щучьему велению это не делается. Надо годы, годы и годы. А потому более всего радует меня в речи министра финансов, что «надежды на будущий урожай озимых представляются в настоящее время весьма утешительными». Его высокопревос-

ходительство урожай все-таки состоит верховным министром финансов и, конечно, переживет еще многих министров финансов. Некоторое противоречие нахожу я в сообщении, что вывоз хлебов за границу с 16 августа до 11 декабря превысил вывоз 1888 года — самый значительный за последнее десятилетие — почти на 15 миллионов пудов. С одной стороны, министр пророчит, что вывоз будет затрудняться все более и более, а с другой стороны, этот вывоз превосходит «средний вывоз за пятилетие на 32%». Но тут, вероятно, есть что-нибудь такое, чего я не понимаю. Не был ли этот вывоз по нужде, по каким бы то ни было ценам? Во всяком случае, «финансовое благосостояние России, далекое от какого-либо ослабления, крепнет и могучими шагами двигается по пути развития», говорит министр финансов. Я очень люблю «могучие шаги». Еще ребенком я слышал от моей матери сказки о могучих богатырях и с того времени верил и верю, что русский народ действительно могучий богатырь, что он был им всегда, как при нынешнем министре финансов, так и тогда даже, когда о министрах он ничего и не слышал и их не было. Я желаю народу, чтоб он был богат, чтоб он получал больше того, что он платит, чтоб распределение налогов было правильнее, чтоб народ просвещали, чтобы не жалели средств на его образование, особенно теперь, когда «бюджет доходов вступает во второй миллиард». При одном миллиарде мы тратили немного на этот предмет. Пусть же «вступление во второй миллиард» будет базой для народного образования и пусть «могучие шаги финансового благосостояния России» будут вместе и могучими шагами на пути народного просвещения...

P. S. Я написал эти строки, когда узнал о смерти Павла Александровича Гайдебурова, издателя-редактора «Недели». Мир праху этого прекрасного человека и искреннего и бодрого литературного деятеля. Не помню, чтоб канун Нового года сопровождался когда-нибудь потерей в нашей литературной семье. А эта потеря важная. «Неделя» поставлена покойным так твердо, что на ее судьбах не может отразиться смерть ее основателя. Все умирает, и все нарождается и обновляется. Это — закон природы. Но исчезновение этого человека, всей душою преданного литературе, которую он любил искренно и глубоко, опечалит всех нас остающихся... в ожидании неизбежной очереди. Он умер, вероятно, от грудной жабы, первые приступы которой он почувствовал в Париже, во время франко-русских праздников. Из Парижа он проехал в Ниццу, где немножко отдохнул, но где снова был с ним припадок, как он мне говорил, возвратившись в Петербург. Но он не тревожился особенно этою болезнью, которая может тянуться целые годы. Вот и жизнь наша. Веселые тосты и поздравления с «новым счастьем», а смерть ходит невидимо между нами и намечает свои жертвы. Будем же добры, будем милостивы и великодушны.

1 (13) января, № 6409

CLV

Державин в своем «Памятнике» говорил, что он «первый дерзнул»

В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить...

В настоящее время в «Русском Обозрении» завелся публицист из Петербурга... Позвольте, надо рассказать в чем дело.

С месяц тому назад говорил я об учете иностранных векселей в Государственном банке по поводу мнения, высказанного председателем комиссии, г. Антоновичем, который находил необходимым принять стеснительные меры относительного этого предмета. Я высказался против этого предположения и, между прочим, сослался на С. Т. Морозова, с которым случайно говорил об этом и который был того мнения, что иностранные купцы не особенно нуждаются в этом кредите и что, поэтому, стеснять этот кредит он не видит никакой нужды. Я прибавил, что «из проектированных комиссией г. Антоновича стеснений выйдет только «много шума из пустяков», как говорил Шекспир; и притом шума, для нас, по меньшей мере, бесполезного, если не вредного». Действительно, как свидетельствует теперь петербургский публицист «Русского Обозрения», «заключения комиссии вызвали такую бурю негодования в здешней космополитической и инородческой среде, что С. Ю. Витте должен был отложить до января свое окончательное заключение по этому предмету».

Последовало ли что-нибудь в январе или последует относительно этого со стороны министра финансов, мне неизвестно. Но я продолжаю думать, что в этой мере нет ни малейшей надобности. Мы еще нуждаемся в иностранных капиталах и капиталистах, ибо наши потребности в развитии торговли и промышленности *превосходят* ту степень их, на которых эти отрасли стоят у нас. Само правительство заключало и заключает займы и делает конверсии за границей, и даже если эти операции убыточны нам в данное время, то они несомненно двигали и двигают вперед нашу культуру, а культура наверстывает с лихвой убытки. Наше правительство в этом случае не составляет исключения: были аналогичные периоды в истории иностранных государств, которые поступали, как наше, и с теми ж культурными целями. Были эти периоды и прошли, и у нас они постепенно пройдут, когда поднимется наша культура. А она, слава Богу, не стоит на месте. Но пока наших бумаг на иностранных рынках несколько миллиардов, нам было бы более чем странно стеснять учет иностранных векселей на несколько миллионов. Иностранцы нам доверяют за известные проценты, а мы им доверять не станем за известные же проценты. Благодаря конверсиям они с нас берут теперь 4% по займам, а Государственный банк берет за учет первоклассных векселей от 4½% до 5%, т. е. выше, чем иностранцы с нас. Во всяком случае учет векселей — операция выгодная для Государственного банка. Быть может, идеально было бы такое положение, если бы наш Государственный банк мог, не стесняя кредита для русской промышленности и торговли, учесть иностранных векселей на такую сумму, чтобы доход его от учета равнялся бы сумме тех процентов, которые мы платим за границу по нашим займам. Предположение это, конечно, невозможное, и я говорю о нем только для наглядности той выгоды, которую банки вообще получают от учета и переучета. Не говорю о том, что Государственный банк, стесняя учет иностранцам, тем самым оттоняет от себя клиентов, которые уйдут к частным банкам.

Мне кажется, что в этом вопросе патриотизм ни мой, ни г. Антоновича не играет никакой роли, хотя публицист «Русского Обозрения» видит тут какие-то патриотические задачи, «истинно русские воззрения» со стороны товарища министра финансов и истинно нерусские с моей. Я же думаю так: г. Антонович гораздо моложе меня и поэтому стоит за решительные меры против иностранцев;

я старше его и, быть может, поэтому стою за известную осторожность и постепенность для государства, которое еще принуждено заключать и иностранные займы. Этот маленький вопрос, если хотите, имеет еще ту практическую, даже политическую сторону, которая должна бы подсказывать государственным людям, что не следует дразнить гусей из-за пустяков. А это пустяки, но, конечно, такие пустяки, которые нравятся публике, падкой на громкие фразы и охотно считающей себя «живою Русью». Расходясь в этом вопросе с г. Антоновичем, оба мы остаемся русскими людьми и оба желаем развития России. Особенно странными показались мне следующие слова публициста «Русского Обозрения»:

«Но браня (??) г. Антоновича за его истинно русские воззрения, г. Суворин даже не подозревает, какую огромную делает ему услугу. Живая Русь не из дела, не из книг, а по личному ежедневному опыту знакомая с деятельностью у нас всяких инородцев, с радостью узнает, что на правительственных высотах в звании товарища министра, облеченного доверием и властью, стоит человек, для которого русские интересы понятны и дороги. Да, можно думать, что, благодаря «Маленькому письму» А. С. Суворина Россия лучше ознакомится с А. Я. Антоновичем, чем из десятка хвалебных статей».

Для меня это очень лестно, и я очень рад, если мое «Маленькое письмо» сделало больше для славы А. Я. Антоновича, чем «десятки хвалебных статей» г. Шарапова и других петербургских публицистов, отправляющих свои хвалебные писания в «Русское Обозрение» и другие места. Но где же я «бранил» товарища министра финансов, г. Антоновича? Пусть мне это укажут публицисты «Русского Обозрения», ибо это для меня очень любопытно. Я совершенно убежден в том, что сам г. Антонович мне этого не укажет, ибо очень хорошо знает по собственному опыту издателя «Киевского Слова», что такое «брань». Я только высказал мнение, почти противоположное мнению товарища министра. Но мнение не называется бранью. Принимая новую номенклатуру усердного публициста «Русского Обозрения», придется дойти до пределов совершенно уничтожающих всякую возможность высказывать какое-нибудь мнение в печати, несогласное с мнением лиц, «стоящих на правительственных высотах». Лет десять тому назад я слышал анекдот об одном русском министре. Желая наглядно изобразить расстояние, отделяющее министра от товарища министра, он сказал: «он мне товарищ, но я ему не товарищ». Из этого можно вывести заключение, что если несогласие с товарищем министра называется теперь «бранью», то несогласие с министром надо будет называть... богохульством, что ли? Как это далеко от Державина, двумя стихами которого я начал это письмо! Предполагал ли он, что через сто лет после него явится усердный поэт в прозе, который не позволит «с улыбкой правду говорить» даже товарищу министра финансов?..

9 (21) января, № 6417

CLVI

Мне кажется, что князь Мещерский начинает страдать манией величия. Он пишет теперь уже не «Дневник», хотя это заглавие остается, а приказы и циркуляры. Он и прежде писал циркуляры, но только для руководства земских начальников;

теперь он пишет циркуляры и распоряжения для 100 миллионов русских крестьян, о быте которые он не имеет никакого понятия. Он излагает свои распоряжения слогом твердым и не допускающим возражения. В мыслях его изрядная путаница, происходящая от впечатлительности и незнания быта и истории, но этого никогда и не требовалось ему для начертания своих реформ. Он напоминает мне художника-импрессиониста, который мажет картину с деревьями багрового цвета, с землею желтого цвета и с малиновой водою. Он так видит в данную минуту и потому так и пишет. Приятели смотрят и хвалят. Хвалят не потому, что и для них земля желтого цвета, а вода малиновая, а потому, что они совсем забыли в Петербурге, при отсутствии солнца и света, всякие цвета.

Вот уже несколько дней как почтенный импрессионист пишет о том, что крестьянских сходок, мира, не надо, что все беспорядки и неустройства в деревне происходят именно от мира, что даже сами крестьяне не хотят мира: «ни один порядочный крестьянин его не желает», говорит князь Мещерский. Не думайте, что он опрашивал десятки и тысячи крестьян и этим опросом убедился, что порядочные крестьяне не желают схода. Нет, тут прием очень простой: если крестьянин желает схода, то он не порядочный, если не желает, то порядочный. Для этого достаточно опросить двух дворников. Коротко и ясно. В «растлевающем и разрушительном» влиянии мира князь Мещерский убедился... цитирую подлинное его выражение: «главная идея, которая бы меня к тому («упразднению» мира) решительно и бесповоротно побудила — есть убеждение, основанное на тридцатилетнем опыте». Я не знал, что князь Мещерский состоял 30 лет мужиком, платил подати и участвовал в сходе. Я думал, что он 30 лет сидел в Петербурге, писал и знал жизнь крестьянскую только по разговорам с помещиками, которые являлись к нему за поучениями в мудрости. По-моему, этого «опыта» недостаточно. Сход крестьянский, действительно, слишком уже привержен к кабаку, и «упразднить» влияние кабака на мир — дело полезное, упорядочить сходы — тоже полезно, но упразднить самый мир — дело вредное, которое может отразиться страшным потрясением всего русского организма и потребует массу денег для того, чтоб заменить мир таким учреждением, которое бы могло стать на его место. Ни один министр финансов не найдет такую уйму денег. Переделывать жизнь и упразднять народные обычаи могут только люди, подобные Петру Великому, да и они принесли много вреда русской жизни, вытолкнув ее из своей природной колеи. Наши историки оставили уже дифирамбы петровской реформе и весьма критически относятся к той ломке, которую он затеял. Если до сего времени мы никак не можем справиться с расколом, который столько же в церковной букве, сколько в бытовом порядке, древнерусском, когда «приход» был важною единицею, выбирал священников и диаконов и т. д., что сохраняется и теперь у единоверцев, то какую ограниченную петербургскую голову надо иметь, чтоб говорить об «упразднении» мира. Благодаря этому миру, в сельском быту существует все-таки порядок. В наших деревнях нет никакой полиции и нигде ее там не видно, а преступлений, по отношению к численности населения, совершается в селах меньше, чем в городах, где существует полиция. Сельчане, благодаря миру, сами смотрят друг за другом. «Упраздните мир — и вы упраздните эту солидарность всех и каждого и для каждого села потребуется целый полицейский штат. В рабочую пору в селе остаются дети и старики, и никто не боится там нашествия разбойников и грабителей. Избы открыты, замков крестьянин почти не

знает, его незатейливый, дырявый двор открыт, его скот бродит на воле, но возьмите миллион горожан и миллион сельчан и сопоставьте цифру преступлений и вы увидите, что города, несмотря на полицию, имеют далеко незавидное преимущество перед селом. Крестьянский скот больше страдает от хищничества диких зверей, чем от воров. Мир, так сказать, невидимо поддерживает порядок в селе и поддерживает его так, как не может поддерживать видимая полиция в селе. Есть, конечно, села буйные, есть села конокрадческие — в семье не без урода, — но большинство сел живет порядочною жизнью, именно благодаря миру.

Впрочем, что же об этом говорить? Упразднить мир — из петербургского кабинета очень легко, но на деле это невозможно. В петербургском кабинете можно говорить даже такие глупости: «допускаю, что сходы могли быть до Бориса Годунова, но с введением крепостного права сельский сход стал преданием». Эту фразу произносит князь Мещерский. Он «допускает сход до Бориса Годунова». Какая особа, подумаешь! Но особа, несомненно, невежественная! Он воображает, что Борис Годунов обратил всю Россию в крепостную, рассадил помещиков по селам и уничтожил мир. Порядочный гимназист может сказать почтенному князю, что он обращается с историческими фактами, как человек, давно забывший учебники и ничего не читавший с тех пор, как стал самостоятельным человеком, за недосугом: он все писал, писал и писал, воображая, что читать не следует вовсе. А почитать бы следовало. Может быть, он тогда бы понял, какое значение имел «мир» в истории нашего быта, он, может быть, понял бы, что та страшная пора, которая известна под именем «Смутного времени», окончилась победою русского племени над польским и победою порядка над разорением именно благодаря «миру», благодаря той сущности, которая заключается в этом слове. Сам Минин явился не потому, что какая-нибудь власть толкала его на подвиг, а потому, что в этом растерзанном государстве крепко стояло православие и крепко стояло то начало, которое называется «миром». Чтоб понять это, достаточно почитать хоть румянцевское «Собрание Государственных Грамот»...

27 января (8 февраля), № 6435

CLVII

Последние дни были у нас радостными днями. Все разговоры обращались к одному и тому же предмету и все интересовались одним и тем же с возраставшею светлою надеждою и успокоением. Вчера стали приходить иностранные газеты и телеграммы, которые говорили в такт русскому чувству. Выздоровление государя приветствуется всею Европою, которая поняла, какой это искренний защитник мира и искренний человек, желающий блага человечеству, потому что он желает истинного блага своему народу. Желание истинного блага своим подданным, желание мира, справедливости и любви, нераздельно с желанием всего этого и всему человечеству. Только в минуты опасности, угрожающей человеку, познается все его значение, вся его человеческая высота. Даже из тех стран, где мы не избалованы симпатиями, приходили свидетельства, дорогие для русского чувства.

Я был прекрасно настроен. Не говорю уже о том, что в старости любишь более мирную беседу, чем горячие споры. Но вот я взялся за газеты, и меня возмутил

князь Мещерский своей собственной статьей, полною злобы, пристрастия и лжи. Стоит ли обращать на это внимание? Увы, стоит. Печать «внушает» невольно, гипнотизирует, заставляет повторять искаженные факты, искаженные слова. Если бы полемика велась честно, она могла бы только служить разъяснению дела. Но она ведется весьма нередко под влиянием раздражения, уязвленного самолюбия, а иногда и других расчетов, далеких от всякого желания отыскать относительную истину.

Дело вот в чем. Кто-то прислал князю Мещерскому статью «Нового Времени» «Безнадежная компания» (№ 6432, 24 января), где говорилось, что в деревне не так дурно, как о том говорит «Гражданин», что «Русское царство не рушится, а крепнет, не разлагается, а растет». «Мы вовсе не хотим сказать, что нынешние порядки в нашей деревне не оставляют желать ничего лучшего. Но чтоб дать сельскому люду хороший порядок, надо прежде всего исходить из справедливости и благожелательности к этому люду». Вот что говорилось в нашей статье. Но там были и такие строки: «Бессовестно лгут на мужика те мудрые господа, которые усиливаются создать в обществе и в правительстве представление о мужике, как об опасном звере, зараженном вдобавок ненавистью к порядку и благоустройству». Естественно, что князь Мещерский принял это на свой счет и совершенно справедливо. Какой-то «интеллигент из крестьян» — догадка князя Мещерского — прислал будто бы ему эту статью при письме, в котором говорит, что правду следует узнать от крестьян, а не от помещиков, что помещики несправедливы, что земские начальники ничего не сделали, а только «заставили крестьян косить крапиву по дорогам».

И вот мы виноваты, что осмеливаемся говорить против мрачных картин сельской жизни князя Мещерского, против его одностороннего и пристрастного взгляда на жизнь, который вызвал и у его случайного корреспондента, положим, крестьянина, тоже весьма односторонние и пристрастные мнения относительно помещиков и земских начальников. Правду надо узнавать не у одних крестьян, но и у помещиков, из которых огромное большинство одного с нами мнения, выраженного в той же статье «Безнадежная компания», где говорилось: «Надо искать средств для создания в деревне порядка всем удобного, всех обеспечивающего в справедливых и законных интересах, — такого порядка, в охране которого сами крестьяне и все порядочные люди имели бы свой собственный насущный интерес, которым они дорожили бы потому, что видели бы в нем условие для спокойного занятия своим хозяйством, своими трудовыми заработками и для отправления привычного образа жизни». Да, все порядочные люди, будь то помещики или крестьяне, могут только желать такого порядка. Но князь Мещерский проникся злобою и, под ее влиянием, все это исказил. Он восклицает: «caveant consules!», восклицает дважды. Другими словами это значит: «запретите «Новому Времени» писать против «Гражданина», единственной газеты, которая говорит то, что нужно, то, что спасает Россию». Для того, чтобы увеличить значение своего воззвания к «консулам», он преспокойно приписывает «Новому Времени» мысли, которых оно не имело, и слова, которых оно не произносило и которые оно не подразумевало: он печатает курсивом слова *изверги помещики,* приписывая их «Новому Времени». «Да простит мне «Новое Время», восклицает он, но если компания этих *извергов помещиков,* по его словам, безнадежна, то его поход против честных русских людей (?), собирающихся беседовать о деревне во

имя *не своих,* а государственных интересов порядка, *гнусен». Я* вам прощаю эту клевету, князь Мещерский, потому что вы часто невменяемы, потому что вы постоянно называете себя самого «честным человеком» и «честными людьми» только своих приятелей или тех, в которых вы нуждаетесь. Но я вам прощаю клевету только за себя, а не за то дело, о котором идет речь. Я не боюсь ваших инсинуаций, ваших обращений к «консулам», которые умеют читать прямо, без ваших указок. Но я боюсь за «внушение» ваших мыслей тем, которые недостаточно знают деревню, я боюсь за распространение ваших пристрастных, ваших злобствующих взглядов, которые вы так часто выдаете за взгляды единственно «честных людей». А потому не перестану говорить против вас всякий раз, когда вы прибегаете к средствам не... позволительным, стану отвечать, не заботясь о том, читает ли какой-нибудь мужик «Новое Время» и «Гражданин». Он, если верить вашим словам, знает «Новое Время» и «Гражданин». И он не особенно не прав. Он грубо преувеличивает подобно вам, но я нахожу в этом же нумере «Гражданина», где вы разражаетесь против нас, подтверждение тому, что земские начальники, если и не «заставляют косить крапиву по дорогам», то заставляют делать нисколько не лучшее. Я нахожу это на первой странице «Гражданина», в статье «Земские начальники и деревенские порядки», подписанной г. Земским Начальником. Письмо это одно из разумных. Он говорит, что земским начальникам не следует «врываться в область частной крестьянской жизни» из боязни затронуть «самые священные основы семейного права у крестьян», он советует не производить «ломку» таких «прав», которые «выработались тысячелетнюю историей русского народа»: эта ломка, эти «баронские фантазии земских начальников, говорит г. Земский Начальник, могут возбудить понятное недовольство массы». Я знаю примеры, продолжает он, когда земские начальники, проезжая по деревне, призывали домохозяев и приказывали — одному поправить забор, другому разломать его, третьему перенести баню, четвертому сеять вместо картофеля хмель и т. п. Все подобные приказания принимаются, конечно, *с крайним неудовольствием, как посягательство на свободу личности».* А вы, почтенный князь, хотите даже «мир» упразднить. Это ведь почище хмеля и крапивы. Этот же земский начальник свидетельствует, на основании трехлетнего опыта, что мужик послушен, что у него есть и укрепляется «уважение к закону», что он ценит беспристрастие и справедливость, что в нем существует «чувство отчетливого сознания своих обязанностей, своих прав и своего места в государстве». Он говорит, что этому способствуют земские начальники, но не те, которые заставляют крестьян косить крапиву по дорогам или сажать хмель вместо картофеля, и обратно, не начальники с «баронскими фантазиями», а те, которые стоят на почве закона, преследуют пьяниц, открывают школы вместо кабаков, дома призрения для нищих, стариков и калек, и т. д. Даже необходимость знаменитых розог, за которые так стоит князь Мещерский, земский начальник отвергает. Да это вредный человек, этот земский начальник, с точки зрения князя Мещерского, но я ему верю больше, чем этому «честному, бескорыстному» публицисту, действующему во имя «государственных интересов, а *не своих».*

Естественно, что в нашей статье князю Мещерскому зрятся веяния «диктатуры сердца», зрится «петербургский лев, тот сановник-либерал, тот красный тайный советник, которого затревожила мысль: не хотят ли в самом деле вводить порядок в деревне?» Боже мой, кто этот «петербургский лев», этот

«красный тайный советник?» Автора статьи «Безнадежная компания» я знаю 17 лет и знаю, что он не тайный советник, но «петербургского льва» не знаю и о нем не слыхал. Вы не знаете, господа? Но я знаю вот что. Я знаю достоверно и непреложно, какие льстивые статьи писал князь Мещерский по адресу графа Лорис-Меликова, управление которого названо Катковым, в насмешку, «диктатурой сердца»; я знаю достоверно, что князь Мещерский даже поднес ему стихотворную оду своего сочинения. Да, он подносил ему стихи своего сочинения, в которых прославлял этого «диктатора», насколько хватало стихотворных сил.

28 января (9 февраля), № 6436

CLVIII

А где сей Цезарь, сей Кюи?
Он стал фельетонистом
И мечет грозные статьи
На радость гимназистам.
Он, как Радклиф, наводит страх.
Ничто ему Бетховен!
И даже престарелый Бах
Бывал пред ним виновен.

Это отрывок из ненапечатанных стихов покойного Апухтина, случайно мною на днях слышанный в одном разговоре о г. Кюи по поводу его «Флибустьера», данного в Париже. Известно, что возник вопрос: имела ли успех эта опера или нет? Я читал показания за и против, и думаю, что она имела немножко более того успеха, который называется succès d'estime. На это указывают и две заметки, одна в «Revue des deux Mondes», другая в «Nouvelle Revue». Любезности, очень милые, очень лестные для г. Кюи, которого называют французы постоянно «генералом», вероятно, полагая, что во время будущей войны он станет осаждать Кенигсберг или составит отряд флибустьеров. О г. Кюи у меня самые приятные воспоминания, именно из того времени, когда

И престарелый Бах
Бывал пред ним виновен.

Я работал с ним вместе в «СПбургских Ведомостях», где он поражал европейских композиторов и сбивал с них шапки, воображая, что их совсем повалил. Однажды я написал ему даже письмо, возмутившись его фельетоном о «Дон Жуане» Моцарта, и убедил своего редактора, В. Ф. Корша, не помещать этого фельетона в таком резком виде. Воображаю, каким невежественным человеком в музыке я ему показался, но я был тогда очень горячим человеком, и, пылая отвагою, преклонялся, однако, перед дорогими авторитетами в искусстве и поэзии. Это письмо, однако, не повлияло на наши отношения. Мне нравились романсы Кюи, нравились места в «Ратклифе», хотя я смеялся над фразою В. В. Стасова, который возглашал, что любовный дуэт в «Ратклифе» — «единственный в мире» по красоте и страсти. Я слышал на дому у г. Кюи отрывки из его «Анджело» и, помню, расхва-

кался, слушая последнюю сцену. На театре «Анджело» я не видал. Говорили, что он не достаточно искусно инструментует, что у него мелодия сама по себе, а оркестр сам по себе. Я этого не знаю. Но музыкальная впечатлительность есть у меня, и есть гордость всем тем родным, что действительно прекрасно и высоко.

В Венеции, в прошлом году, слушая «Фальстафа» Верди, я чуть не крикнул в театре, что Верди украл «Фальстафа» у Глинки, именно из «Руслана и Людмилы». Фальстафа исполнял Морель, и превосходно. Когда он запел арию во второй половине 3-го акта «Quand' ero paggio del Duca di Norfoick» (Когда я был пажом у герцога Норфолька), я воспрянул в изумлении — так она напомнила мне «Близок уж день торжества моего» Фарлафа. Восторг был общий. Морель повторил. Театр стоном стоял, и Морель пропел в третий раз. Мне хотелось крикнуть, что это наше, русское. Морель пел речитативом, быстро, как покойный Петров в роли Фарлафа, необыкновенно выразительно, в том же самом темпе. Я продолжаю и теперь думать, что сходство тут есть, хотя рецензенты об этом не говорят. Этот речитатив был *единственное* место в опере, которое имело большой успех; за ним хор кумушек был повторен, остальное нет.

В молодости мне хотелось писать оперу, хотя я по нотам даже читал плохо, но сюжет у меня был эффектный. Несколько лет тому назад я возвратился к нему и написал либретто оперы «Потемкинский праздник» для М. М. Иванова, но либретто встретило цензурные затруднения потому, что в опере действовал Потемкин, выставленный, впрочем, в довольно симпатичном виде и умирающий в степи, в предсмертном бреде о Константинополе. Опера так и осталась в портфеле у композитора, которому я советовал, для устранения цензурных затруднений, перенести действие в Индию, но он не согласился. Один акт из моего либретто попал потом непостижимыми судьбами в оперу Чайковского «Пиковая Дама», разумеется, не в таком виде, но очень похожем. Это тоже осталось загадкой для меня, разгадать которую у меня нет охоты, в особенности после смерти Чайковского.

Возвращаюсь к г. Кюи. К нему несправедлива музыкальная критика. Это мое мнение, мнение музыкального невежды. Г. Кюи — бесспорно музыкальный талант, обладающий чувствительностью, мелодией, и оригинальностью; не знаю, впрочем, как его качества можно назвать на языке музыкальной терминологии, но на языке литературном эти качества называются поэтическими. Это нечто такое, что говорит вашему чувству, вашему воображению, что облекает в соответствующие тоны мысль поэта, что дает вам известное настроение и иногда сильное. О размере его таланта я не могу говорить, но это талант. Конечно, служение музам не терпит суеты, и писать оперы и преподавать фортификацию, быть может, такие же «две вещи несовместимые», как гений и преступление. Я, однако, убежден, что на музыкальном поле г. Кюи сделал бы больше и лучше, чем на поле перед крепостью. Но уж тут наша жизнь виновата. Как-то все стоят не на своих местах, а музыкальное творчество есть какое-то отъезжее поле для охоты, а не для серьезных занятий. Притом между музыкантами такая вражда, как между Алой и Белой Розами, хотя никто из них розу не напоминает. Они образовались в кучки и ненавидят друг друга чуть ли не до бешенства. Малейший успех кого-нибудь из них выводит из себя противников. Зато дозволяется хвалить друг друга до восторга, когда дело идет о своей кучке. Мы, публика, ничего не понимающие в музыкальной терминологии, испытываем в чужом пиру похмелье. Нам нравится ария, но нам преподают, что это никуда негодно; мы мрем от скуки, как

мухи, а нам говорят, что это божественно. Нам дают сплошной речитатив и велят восторгаться; нам дают какую-то музыкальную кашу, не то итальянщину, не то вагнеровщину, и велят восторгаться. К тому же наши певцы и певицы больше притворяются, чем поют, больше открывают рот, чем издают звуки. Так шло много лет. Наконец, мы разозлились и повалили в итальянскую оперу, с каким-то азартом и восторгом. И я это одобряю. Там музыка, там чудесно поют, а наши музыкальные гении все никак не могут укокошить друг друга и потопить, а певцы и певицы, за малыми исключениями, теряют свои голоса то от пьянства, то от разгула, то от непроходимой халатности и невежества, то Господь их знает от чего. Мне это отвратительно, и я бы заплакал, если б злость не перешибала слезы, смотря на эту музыкальную вражду, на эти замалчивания, на это бешенство узких душ и на это исчезновение русских голосов. Раз мне г-жа Зембрих рассказывала свой образ жизни, ту гигиену, которой она держится, и я невольно сказал, что это страдание, а не жизнь. Зато остаются долгие успехи на сцене.

У г. Кюи, вероятно, есть крупные недостатки, но несомненны для меня и крупные его достоинства. Меня удивляло, что он берет сюжетами своих опер все посредственное, неважное. То это «Кавказский Пленник», юношеская поэма Пушкина, то «Ратклиф», юношеская вещь Гейне, то «Анджело» Гюго, то «Флибустьер» Ришпена. Почему ему нравится все слабое, не понимаю. Хочет ли он слабое сделать сильным при помощи музыки? В особенности не понимаю, почему такая посредственная вещь, как «Флибустьер» Ришпена, удостоилась переложения на ноты, слово за словом. Если Даргомыжский сделал это с «Каменным Гостем» Пушкина, то из этого еще не следует, что того же стоит Ришпен, поэт неважный. Если б у г. Кюи было больше литературного вкуса и если уж капля французской крови, текущей в его жилах, влечет его к Франции, то он лучше бы сделал, если б положил музыку на какую-нибудь трагедию Корнеля и Расина, или кого из классиков греческих. Этот неудачный выбор сюжетов, может быть, более вредит таланту г. Кюи, чем он думает. Что это за рабство класть на ноты пьесу Ришпена, класть рабски, желая произвести кунштштюк какой-то! Неужели музыка может передавать все слова и фразы? В отзывах французов об опере г. Кюи слышится эта нота рядом с некоторым удовольствием, что столько труда положил «русский генерал» на пьесу французского поэта. Она и без того длинна, говорят некоторые критики, а генерал Кюи еще ее удлинил. В пьесе Ришпена достаточно декламации, достаточно лишних слов, понадобившихся для полноты не смысла, а просто для полноты александринского стиха и для рифмы. В пьесе Ришпена вовсе нет той трезвости творчества, как в «Каменном Госте» Пушкина: «далеко кулику до орла», можно сказать смело. Если вдохновение руководило в этом случае г. Кюи, то только отчасти, а в остальном он был просто работником, рабски подставлявшим ноты под текст пьесы. Как ясен мне Вагнер, писавший оперы на свой текст. В голове музыканта является музыкальная идея и в той же голове идея литературная. Пусть музыкальные нервы или клеточки находятся не в той же части мозга, где находятся идеи литературные, но те и другие все же в одной голове и расстояние между ними меньше, чем между двумя головами — головой либреттиста и композитора. Музыкальное творчество идет параллельно с литературным, одно другое исправляя, дополняя и направляя. Я понимаю, что композитор может вдохновиться великим художественным произведением, «Фаустом», «Ромео и Юлией», может вдохновиться роскошной народной легендой в живо-

писной обстановке древних памятников, обычаев и характеров. Я понимаю, что композитор может вдохновиться просто интересным сюжетом, который вложен в едва намеченное либретто. Тут ему все-таки есть простор, он не связан словами, банальными фразами, искусственной постройкой стиха и т. д. Но когда композитор берет посредственную пьесу, которая, по самой своей посредственности не может вызвать в нем сильного впечатления, всего подъема его музыкальных способностей, и начинает ставить под словами ноты, он является рабом формы, он стискивает в кандалы свой музыкальный талант и, может быть, только изредка нападет на настоящие поэтические строки, которые вызовут в голове композитора соответствующие, оригинальные звуки. Для глубоко чувствующего композитора достаточно одного слова «люблю», или «ненавижу», или «страдаю», чтоб возбудить в голове своей целый музыкальный строй мыслей о любви, о ненависти, о страдании. Для чего ему, если рядом с словом «я вас люблю», либреттист поставит: «люблю ваши голубые очи, ваши алые губы, вашу девственную грудь», и т. д. Неужели музыка может нарисовать «голубые, серые, черные глаза», всякий цвет их, «влажные, сухие, полные, тонкие губы», всякий объем их и всякую форму? Я помню чудесное место, полное тонкой психологии, в «Войне и мире» Толстого, где молодой Ростов засыпает под чистку сабли, и эти звуки порождают в его музыкальной голове целую мелодию. В мире звуков есть свои законы, мало еще определенные. Да и развитие музыкальности еще довольно ново. Древность оставила нам чудесные словесные произведения и не оставила музыкальных, а устройство уха было такое же у древних римлян и греков, как у нас, как у современных немцев, итальянцев и проч. Но, вероятно, в мозгу делались перемены, вырабатывались те музыкальные дворцы, где душе стало свободнее, и те же самые звуки, которые вечно существовали в природе, стали порождать в музыкальной голове новые музыкальные комбинации. Вероятно, музыкальные частицы мозга развивались медленнее других, медленнее, чем философское мышление, чем литературное и художественное творчество. Музыкальная драма еще впереди и она, вероятно, на том же пути, на который вступил Вагнер, или на пути совместного, тесного творчества композитора и поэта, которые должны «спеться», так сказать, и работать вместе, дополняя друг друга. Но она отнюдь не на том пути рабства, на который вступил г. Кюи.

30 января (11 февраля), № 6438

CLIX

Век живи, век учись. На этих днях я узнал впервые, что у нас есть какая-то юридическая газета и у нее есть редактор, который избрал превосходный способ клеветы — из-за спины другого. Стал за спиною провинциального адвоката и закричал: «вот он что говорит. Не я говорю, но он, а я объявляю, что не взял даже целой *пачки ассигнаций*». Это очень хорошо, что он не взял. Может быть, и то хорошо, что он выглянул только из-за спины другого, не показав еще всей своей фигуры, а только часть ее, боясь ослепить красотою и блеском своей непорочности грешный мир. Может быть, он еще ослепит. Недаром юрист, т. е. правовед. Правовед не по Училищу правоведения, а по специальности. Петр Великий,

во время путешествия своего, находясь в Вестминстер-холле, спросил, кто эти хлопотавшие там джентльмены, и когда ему ответили, что это правоведы, то он сказал: «Правоведы! У меня во всех моих владениях есть только два правоведа, да и то я намерен одного из них, по возвращении моем домой, повесить». С тех пор много воды утекло. Правоведов стало очень много; вешать их никто не думает, а если надо кого повесить, то повесят с помощью правоведа. Жить стало гораздо легче, чем в пресловутую эпоху великого реформатора, но потому ли, что правоведов стало больше, или потому, что больше стало просвещения, не берусь решить. Знаю только, что правовед проникает всюду, а потому нет ничего удивительного, что есть и такие, которые становятся за спину другого правоведа и оттуда кричат о своем бескорыстии и о корыстолюбии других. В существе дела даже и это хорошо: пускай натура высказывается и составляет протоколы о своих подвигах. Но не хорошо, когда юрист, подобный г. Чичинадзе, станет в позу праведника и спросит: «категорически вас спрашиваю, чем вы руководились и какими обстоятельствами вызвано у вас появление такой-то статьи?» Да, сударь мой, не тем, чем вы, руководитесь в подобных случаях. Это раз. А во-вторых, г. Чичинадзе, чтоб иметь право задавать такие вопросы, надо быть не тем, чем вы, и прежде всего не надо лгать. А так как вы лжете несомненно, так как вы сами отлично знаете, что лжете, так как перед всяким судом я докажу, что вы лжете, то убирайтесь к черту...

Извиняюсь перед читателями за это выражение и прошу их помнить, что лжец, по словам Монтеня, презирает Бога...

Отчего у нас нет коронных адвокатов, к которым могли бы прибегать все униженные и обиженные и которые брали бы эти дела по обязанности? Такие адвокаты есть в некоторых странах Европы. И отчего у нас гражданские процессы так походят на уголовные, что иной уголовный процесс ничто в сравнении с гражданским, не только потому, что люди теряют свои состояния, но и потому, что они подвергаются таким нравственным мукам, которых не испытывают и в уголовном процессе? Трудно ли провести грань между уголовным и гражданским или мы еще на этом пути стоим позади других? Читая процесс, начало которому положено г. Арцыбашевым, я удивлялся, что это только гражданский процесс. Какие сложные махинации, какие нарушения человеческих прав! Правда, мы знаем дело почти только по показанию одной стороны, ибо другая сторона в образе девушки, довольно пассивная, но и того, что вероятного есть в этом деле, достаточно, чтоб не смотреть на него с одной гражданской стороны.

С самого начала все в этом деле романтично. Я скажу о нем несколько слов, как оно мне представляется по письмам г. Арцыбашева и г-жи Кузнецовой. Оба они односторонни, но оба дополняют друг друга. Хотя г. Арцыбашев и говорит, что «в письме этом (Кузнецовой) все от начала до конца самый беззастенчивый вымысел», но это не правда: сам он подтверждает многое из того, что она говорит. У них факты те же, но освещены они иначе, с необходимыми умолчаниями.

Представьте себе Урал, его золотые промыслы, первобытность природы, людей и нравов. Это нечто более первобытное, чем тот уездный город, где происходит действие «Ревизора». С деньгами все можно сделать, с одним правом ничего. Действующие лица или крестьянского происхождения, или крестьянской культуры. Завещательница, Прасковья Подвинцева, бывшая вольноотпущенная помещиков Морозовых. Курьезно, что и крестьянская ее фамилия — Кузнецова, и замуж она вышла за крестьянина Кузнецова, который впоследствии

вышел в купцы, и сиротка Ольга, которую она взяла в приемыши и сделала своей наследницей, родилась от крестьянина Кузнецова, который работал на золотых приисках. Мать ее умерла, не успев еще выкормить ребенка грудью. Прасковья была в это время уже за вторым мужем, Подвинцевым, золотопромышленником. Умерла она в Москве, куда приехала лечиться, когда девочке шел девятый год, именно в 1877 г. Глухонемой Александр, племянник Прасковьи, сын брата ее мужа, по словам г. Арцыбашева, был тоже мальчиком в этом 1877 г. Но это неправда. В № 80 «Юридической Газеты» говорится, что ему был 31 г., когда прошла десятилетняя давность со времени духовного завещания, стало быть, когда девочке Ольге было 8 лет, глухонемому было за 20, или около этого. Это не мальчик. Говорят, что он воспитание получил в известном Арнольдовском училище глухонемых; стало быть, умеет читать и писать и говорить знаками. Насколько он развит — неизвестно, но если ему позволено было жениться, если поговаривали даже о том, чтоб выдать за него сиротку Ольгу, то, очевидно, он не идиот. Но очевидно также, что он и не вполне правоспособный, ибо г. Арцыбашев устроил над ним попечительство, и попечительницей состоит жена его, т. е. глухонемого.

Не правда ли, все это очень интересно. Адвокаты похожи на путешественников в неизведанные страны. Как те ищут новых народов и новых стран, так и эти новых процессов. Как тех трудности только возбуждают к новой энергии, так и этих. Как тем, так и другим надобны деньги, а для этого надо заинтересовать новою землею или процессом людей денежных. Пускаются в ход промессы. Выбираются не важные люди, ибо те берегутся, а их родственники и предлагают им пай в большие суммы за ничтожные деньги или даром: «только дайте ваше имя!» Это участие известных людей или родственников их встречается во всех предприятиях, в железнодорожных, акционерных, банковых, а также и в процессах. Для ведения его надо деньги. У адвоката иногда, кроме энергии, ровно ничего нет, а потому ему важно заручиться именами, титулами. Он преспокойно говорит: «вот, смотрите, какие люди у меня. С их помощью да не выиграл!» Естественно, чем беззастенчивее адвокат, тем в его разговорах и конфиденциях правосудие является продажнее. Составляется таким *у* образом негласная компания на паях, и пайщики действуют каждый на своем поприще. Я не знаю, так ли поступал г. Арцыбашев, но если он говорит, что он рисковал 2 миллионами штрафа, в случае проигрыша процесса, значит, что или у него эти миллионы были в виду, или он очень хорошо знал, что с него все равно взятки гладки. Выиграл — пай, проиграл — вечная недоимка. Г-жа Кузнецова говорит, что ему адвокатурою заниматься запрещено, и он этого не опровергает. Он скорей по существу дела просто охотник за наследствами: он отыскивает эту лакомую дичь, выслеживает ее и приобретает за дешевую цену, беря в то же время и наследников в юридический плен.

Переговоры его в женском монастыре — живая эпопея. Он явился туда в качестве чиновника, если верить Кузнецовой, и пребывание его там взволновало всех. Проследите хоть одни имена лиц, о которых он упоминает: игуменья, казначейша, монашки, священники, благочинные, монастырский совет, судебные следователи, податные инспектора и проч. Все это говорит, опасается, советует, спорит, ссорится. Самому наследству и верится, и не верится. В мирной обители ежедневно в течение месяца адвокат, и монастырь блаженствует среди толков о миллионах, золотых приисках, таинственной судьбе девушки, Божьем промысле и т. д. Чудесная глава для романа, живая, с многообразными типами, с оригинальной

психологией. Что делалось с Ольгой Кузнецовой, которая уже чуть не десять лет жила в монастыре, легко себе представить. Г. Арцыбашев рисует эту картину очень плохо. У него на первом плане все договоры, процесс, доверенности и т. п. сушь, а о монастырской жизни — общие места, да россказни о том, что Ольга боялась кладбищ и мертвецов и как ужасны — кладбища и мертвецы. Девушка, вероятно, все время находилась в величайшем возбуждении. И привлекали ее миллионы, иная жизнь, другие люди, и боялась она и этой жизни, и обманов, и своей неопытности. Г. Арцыбашев наверно врал, ибо русский человек без этого не может, особенно когда он в первобытной глуши. В этом отношении Хлестаков представляет наши типические черты. Вот бы беллетристу какому-нибудь послушать, что он такое болтал, какого задавал тону, как убеждал, в каком сиянии изображал прелести и радости петербургской жизни молодой девушке, не имевшей даже паспорта и потому никакой свободы. Ей то советуют, то отговаривают. Она на огне целый месяц. Наконец, она соглашается уступить ему часть миллионов и поступить к нему в плен на несколько лет, получать от него квартиру, стол и 100 р. в месяц Я думаю, что это плен и таких плененных, полагаю, много. Это новый вид крепостного состояния, обставленный всею утонченностью договоров, контрактов, векселей и т. д. Является вопрос, как ее скрыть от Подвинцевых? Податному инспектору ее предлагают под охрану. Тот советует ей верить адвокату, но от охраны отказывается, ибо у него разъезды и финансы на руках. Тогда берет ее под охрану судебный следователь. Но девушка не вынесла, кажется, этого и ушла к Подвинцевым, и, вероятно, плакала, каялась, выслушивала упреки, советы, испытывала ту же муку, как и во время нашествия на монастырь г. Арцыбашева. Опять какие-то бумаги подписывает, прошения подает. И все это из-за денег. Она видит эти сребролюбивые рожи, слышит их речи и понимает, *что* ими руководит. Одни взяли ее состояние, другой хочет взять треть того, что будет, обязывает ее неустойкой в 500 000 руб. и приглашает к себе в вавилонское пленение. Наконец, после долгих слез, сплетен, расписок, подписок, советов, она свободна, или кажется ей, что она свободна. Что могла бы она рассказать, какая чудесная повесть вышла бы из ее искреннего, свободного рассказа о своей жизни, с того времени, как она себе помнит. Г. Арцыбашев ее совершенно не понимает. Думая поразить читателя, он спрашивает: «в каком, вы думаете, институте она воспитывалась?» и отвечает с ужасом: «она воспитывалась вместе с дочерью кухарки и сыном кухарки в местном деревенском училище». Это еще не такая беда; будь у ней миллионы, она, может быть, получив такое образование, употребила бы их лучше и предпочла бы свое родное общество обществу таких просвещенных людей, как гг. Арцыбашевы, Чичинадзе и т. д. Но оба института следует жалеть. Следует жалеть, между многим прочим, о том, что г. Арцыбашев подал на нее жалобу за «ложный донос» на него. Он такие махинации подводил, так ей врал, что если б у него было какое-нибудь чувство сожаления, он устыдился бы даже мысли преследовать эту девушку. Неужели в Оренбурге ее опять повлекут за то, что она ровно ничего не смыслит в этой жизни, где такая пропасть всякой мерзости, обид и зла?

Я не юрист, но я совершенно не понимаю ни таких благодетелей, как Подвинцевы, ни таких, как господа Арцыбашевы. Вот, между прочим, в каких случаях нужны были бы коронные адвокаты, адвокаты для бедных. Суд назначает защитника преступнику, но защитник необходим и чистым и честным людям, необходим

бедным людям, чтоб не скупали у них, между прочим, наследства за грош, как скупил г. Арцыбашев, необходим беднякам, которые не могут нанять адвоката. У нас, может быть, более, чем где-нибудь, такие коронные адвокаты необходимы.

2 (14) февраля, № 6441

CLX

Итак, с Божией помощью, наша таможенная война с Германией близится к благополучному концу. Я рад, что соседи, серьезно поссорившись между собою, серьезно помирятся. Стоило ли ссориться? На этот вопрос, поставленный в начале ссоры, можно было отвечать двояко. Стоило, если имело в виду попробовать свои силы, не имея основания жалеть те потери, которые отлично предвиделись. Не стоило, если немцы, отдохнув после каникул и без всякого объявления войны, приступили бы к переговорам без потрясений таможенной войной. Конечно, трудно себе представить, как велись бы в последнем случае переговоры. Возможно, что они могли бы кончиться таможенной войной и примирение стало бы более трудным и более бы затянулось, пожалуй. Но возможно, что они привели бы к тем же результатам, как и ныне, ибо в этом случае, если б были потери наших сельских хозяев, то в количестве гораздо меньшем, а в бюджете таможенных сборов был плюс побольше. Известные крупные исторические шаги не поддаются критике решительной тотчас после того, как они сделаны. Надо еще время. Поживем, увидим и подведем итоги наших потерь и выгод. Теперь сельские хозяева довольны, но скупщики хлеба помалчивают еще и раздражают сельских хозяев своей медлительностью и недоверием к конечным результатам. Наши фабриканты недовольны в такой же степени, в какой они были довольны таможенной войной. С их стороны было достаточно лицемерия, когда на Нижегородской ярмарке они, объясняясь министру финансов в благодарности за таможенную войну, упоминали о неразрывной связи фабричной промышленности и земледелия. Видно было, что это только лукавая «политика» с их стороны, сдобренная звонким красноречием. Министр земледелия, путешествовавший тогда по губерниям, выслушивавший жалобы и ободрявший сельских хозяев, не мог чувствовать себя хорошо и уверенно. Путешествие это отражалось на общем фоне тогдашнего тревожного положения дел довольно бледно. Можно сказать, что вместе с таможенною войною у нас явилось некоторое раздражение, если не война, между фабрикантами и помещиками, между победителями, шумно праздновавшими свою победу в Нижнем, и побежденными, скрепя сердце высчитывавшими в разных углах России свои убытки на хлебе. Но, слава Богу, все должно кончиться.

Возвращаясь из Парижа, я пробыл десять дней в Берлине, когда наша финансовая комиссия приступила уже к переговорам. Во главе ее стоял г. Тимирязев. Г. Тимирязев удивлял меня своей уверенностью в благополучном исходе переговоров. Он говорил об этом без всяких сомнений, почти как о деле решенном, хотя по ходу переговоров оно было еще очень далеко от своего благополучного окончания. Это мнение более или менее разделяли и другие члены комиссии. Все они говорили о настойчивости немцев, о их медлительном разборе статей, об этих повторительных чтениях, первое, второе и третье чтение, но все были довольны вежливостью и предупредительностью гг. немцев. Они, кажется, предпола-

гали, что очутятся в неприятельской стране, и первые шаги в Берлине действительно были натянуты, но вскоре пошло все гладко и серьезно, хотя спорили много и каждая сторона отстаивала свои интересы с похвальною настойчивостью. Может быть, эта настойчивость с обеих сторон и поселила между русскими и немцами обоюдное уважение. Министр финансов знал все, до мельчайших подробностей, что происходило на этом конгрессе. Г. Тимирязев писал ему обширные доклады и отправлял с курьером, не считая шифрованную переписку между ними по телеграфу. Граф П. А. Шувалов, сколько можно было догадаться по тому, что я слышал, не был за таможенную войну. Он разделял убеждение, что конгресс мог состояться и без этой войны, что путем соглашений и уступок можно было прийти к миру. Мне кажется, что ему не по душе была эта война и как дипломату, и как военному человеку, который не любит этих торговых войн. Война, так настоящая война, а не такая, которая и не война, и не мир, но которая держит в тисках оба народа и останавливает их жизнь и производительность, не давая уверенности в будущем. Мир — это счастливое естественное состояние человека, а война, даже таможенная, — это тревога и извращение жизни. Нечего и говорить, что граф Шувалов, не разделяя в душе необходимости этой войны, являлся во все это время берлинских переговоров человеком, который считал своей русской обязанностью поддерживать своих и действовать с своей стороны в пользу соглашения. Члены комиссии были его постоянными гостями, и он интересовался ходом переговоров, как делом чрезвычайно важным, и радовался всякому успеху их.

Вообще обе мирные армии, и русская и немецкая, вели себя в этом деле достохвально, патриотически, но не с упорством и предвзятыми воззрениями.

Разумеется, мирный договор с Германией всех не удовлетворит ни у нас, ни в Германии. Промышленники и фабриканты наши хотели бы стоять во главе угла, как стоят аграрии в Германии, но это было бы большой государственной ошибкой — дать у нас фабрикантам не заслуженное ими преимущество перед земледелием. Промышленность не пойдет исполинскими шагами, если народ беден и не имеет источников для покупок предметов роскоши, сравнительной, конечно, которая везде уж называется предметами первой необходимости. Одна промышленность и не сделает Россию богатой, особенно при тех условиях, при которых она существует, часто истощая население чрезмерным физическим трудом. Земледелие все-таки есть еще наш корень, и преимущественно земледелие, при урожае, дает только то, на что народ может покупать фабрикаты. Стало быть, прежде всего благосостояние народа, а не благосостояние фабрикантов. Поравномернее распределение податей, побольше школ, получше, понравственнее устройство фабрик — и дело пойдет.

Кому мирный договор более выгоден? Я думаю, тому, кто энергичнее и культурнее и кто более затрачивает на образование народа. Чтоб соперничать с Германией, мало одного тарифа, мало одного патриотизма и самых красноречивых фраз. Красноречие фабрикантов должно обратиться в красноречие дела, в красноречие более здорового отношения к науке, к силам рабочих и всей их обстановке. В этом должно помогать им правительство. Один из богатейших фабрикантов наших говорил мне, что наш рабочий день равняется 13½ часам. Он попробовал на некоторых своих фабриках уменьшить его до 11 часов. И что ж? После годового опыта он убедился, что, работая только 11 часов, рабочий стал работать лучше и исправнее, так что фабрикант ничего не потерял на этом облегчении рабочих. На пути этих и подобных улучшений только и может двигаться промышленность.

6 (18) февраля, № 6445

CLXI

Берлин, воскресенье, 13 (25) февраля.

Долгих сборов я никогда не любил. В четверг я и не думал, что в воскресенье буду в Берлине в 7 часов утра. Но на деле так вышло. Отчего не сделать эту экскурсию, благо в парламенте начинается обсуждение торгового договора между Россией и Германией. Это вопрос очень жизненный. Его следует решить так или иначе, и, по моему мнению, следует решить его к обоюдному соглашению. Меня не удивляла московская оппозиция. Наш фабрикант любит, чтобы ему покровительствовали, да и кто у нас этого не любит. Фабрикант несет у нас знамя промышленности и думает, что это знамя должно развеваться выше всех других знамен. Оно почему-то считается патриотическим, и С. Т. Морозов поднял его в прошлом году в Нижнем Новгороде, как новый Минин. Говорю, как «новый Минин», ибо имя этого почтенного человека было упомянуто по сему случаю в одной из застольных речей, хотя Минин фабрик не имел, и приглашал своих граждан к пожертвованию даже женами и детьми, не говоря о деньгах. Большой был оригинал этот Козьма Минин. Я его всегда очень любил, но не понимаю, с какой стороны можно пристроиться к его знамени нашим фабрикантам. Даже г. Иловайский, проповедующий запретительный тариф в «Московских Ведомостях», при всей своей историчности, под Минина как будто не подходит. Но этот, по крайней мере, проповедует бескорыстно. Как бы то ни было, не углубляясь в этот вопрос теперь, я смотрю на него прежде всего с точки зрения мира международного, который, здраво понятый и здраво приложенный, никогда еще никому не вредил. Потом я думаю, что Россия не Москва, не московский фабричный район. В России десятки миллионов народа живут вдали от всяких фабрик и заводов и, слава Богу, еще долго будут жить так. Для этих десятков миллионов земледелие очень дорого, и земледельческий труд здоровее и нравственнее труда фабричного. Все это бесспорно.

Но я отвлекаюсь. Приехав, я пробежал немецкие газеты, кое-кого повидал и послал в «Новое Время» такую телеграмму:

«Здесь сильная агитация за и против торгового договора. Бурные собрания партий. Национал-либералы колеблются. Поляки за договор. Сказать теперь что-нибудь решительное о судьбе договора невозможно. «National Zeitung» называет аграриев консервативной демагогией. Вражда яростная. Насмешки над боязнью казаков (Kosakenfurcht), угрозы. В аграрном комитете г. Луц предлагает (в насмешку, разумеется) назначить президентом железнодорЬжвегго управления в Кенигсберге русского. Г. Плец, председатель аграрного комитета, заканчивает свою речь словами: «Россия имеет такого блестящего министра финансов, что сделано было даже предложение ангажировать (engagiren) его в Германию на место имперского канцлера[1]. Нападки его на договор напоминают только в сильнейшей степени (в телеграмме слово fortissimo) нашу московскую консервативную демагогию».

Может быть, тут два-три слова резки, например, «яростная вражда». Но я хотел беспристрастно, в кратких словах, дать понять читателям положение дела накануне первого парламентского заседания. Депешу приняли. Но через два часа я по-

[1] Буквальная выписка из № 47 «National Zeitung». — *А. С.*

лучил из берлинского телеграфного управления следующую депешу: «conformement article 7 règle № 7064 du 25/2 Souvorine. 20 mots arretés». То есть, согласно такой-то статьи, 20 слов моей телеграммы арестованы, или проще не пропущены, прусской телеграфной цензурой. Прежде всего я вижу тут две любезности: во-первых, меня уведомляют, что 20 слов не переданы в Петербург, во-вторых, уведомляют на *французском языке*. Последнюю любезность я ценю особенно — это даже деликатность, если это не входит в обязанности международного телеграфа. Но меня интересуют эти 20 не пропущенных слов. Что такое показалось берлинской телеграфной цензуре непозволительным? Я хотел сказать, что германскому правительству придется выдержать борьбу, что и у него — оппозиция и у нас — оппозиция, и у него — недовольные, и у нас — недовольные, что германские уполномоченные, гораздо более многочисленные, чем наша комиссия, не удовлетворили всех, и наши всех не удовлетворили, и что исход борьбы, на мой взгляд, по крайней мере, еще неизвестен. Думаю, что это интересно и для читателей. Написав это, я подумал: а что если остальные слова не пропущены русской цензурой? Получит редакция это письмо и скажет: да мы никакой телеграммы не получали. Дело в том, что нас не уведомляют уже много лет о задержанных депешах. Прежде присылали депеши в редакцию с отметкою, что они не разрешены или целиком, или только частью, причем указывались вычеркнутые слова. Понятно, что мы печатали только то, что было дозволено. Возможно, что кто-нибудь из нас, журналистов, нарушил это доверие специальной цензуры к редакциям и за это нарушение кого-нибудь одного нам всем перестали доверять. Телеграфная цензура существует везде и основана на том правиле, что депеше читатели придают особенное значение, что депеша всегда короче, чем статья, корреспонденция, а потому легче может быть односторонней, легче может быть неправильно понята. Против этого возразить нечего. У правительства есть свои обязанности и своя часто необходимая осторожность. Но я сожалею о том, что нас не уведомляют, что нас лишили того доверия, которым мы прежде пользовались.

Естественно, что здесь агитация за и против торгового договора ведется гораздо сильнее и открытое, чем у нас. Тут были многолюдные собрания промышленников, железнозаводчиков, аграриев, национальных либералов, социальных демократов и проч., причем говорились речи, велись споры, и все это более или менее являлось в печати. Одна дама, русская по рождению, немка по мужу, одному из самых богатых людей в Пруссии, говорила, что ей самое слово Vertrag (договор) надоело. «Как ни войду в кабинет мужа, если у него кто-нибудь сидит, слово «Vertrag» так и стоит в воздухе». Собрания аграриев были особенно многолюдны. На них были не только крупные и средние землевладельцы, но и мелкие, даже крестьяне. Нельзя отвергать, что они заинтересованы в договоре сильно, что дело идет действительно о насущном для них, о выгодах земледелия. Если в их речах слышится раздражение, слышатся политические выходки, слышатся резкости по поводу России, насмешки над трусостью германского правительства перед «казаками», то это явление весьма естественное, когда люди задеты за живое. Канцлер Каприви, естественно, является козлом отпущения, и его хотят повалить вместе с договором. У нас нет таких собраний, нет таких резких статей, какие появляются в «Kreuz-Zeitung», но в частных разговорах людей заинтересованных слышится то же самое. Здесь граф Каприви, у нас — С. Ю. Витте. У нас, конечно, никто не скажет, что вместо г. Витте надо посадить министром финан-

сов какого-нибудь «блестящего» немца, здесь, как видите из моей телеграммы, это говорят для того, чтобы унизить графа Каприви и вообще правительство. Здесь аграрии говорят, что если договор пройдет, то прусскому земледелию гибель. У нас промышленники говорят, что если пройдет договор, то русской промышленности гибель. И те и другие очень односторонни. Если слушать немецких аграриев и русских промышленников, то лучшее положение вещей именно настоящее, военное, во что бы то ни стало враждебное, враждебное до конца, до кровопролития. Как аграрии в союзе с консерваторами хотели бы вооруженную Германию бросить против России, так хотели бы этого и наши промышленники в союзе с теми, кто ненавидит немцев. Немецкие аграрии, может быть, и выиграли бы, потому что нивы, пожалуй, были бы удобрены человеческой кровью и трупами, но я не думаю, что выиграли бы от этого русские промышленники, за исключением разве тех, которые берут подряды на военное ведомство. Будущее отнюдь не за высокими пошлинами, не за торговою войною, не за кровью и железом, не за враждою национальностей. Будущее за миром и любовью, с какой бы иронией вы ни встречали эти слова, как бы ни билась в вас национальная жилка. Это национальное чувство надо держать в равновесии, не спускаясь до равнодушия и космополитизма и не напрягаясь до человеконенавистничества, которое наделало людям столько страшного, столько непоправимого зла. Когда эти враждующие партии, вроде здешних аграриев и наших промышленников, так громко и злобно кричат, не надо забывать, что ими руководит прежде всего личный интерес, личные расчеты. Насколько этот интерес и эти расчеты согласны с здравым и многосторонним интересом всей страны, — вот в чем только может быть вопрос. А этот вопрос не решать же партиям, наиболее заинтересованным во вражде, личностям наиболее сильным по влиянию, по таланту. Договор заключается на 10 лет. Время не длинное и не короткое для того, чтоб предоставить жизни и ее развитию право высказаться на этот счет. Десять лет мирной жизни, во всяком случае, лучше года войны, враждебных отношений, вооружений и т. д. Я бы желал, чтоб договор был заключен. Я бы желал, чтобы в ближайшем будущем был собран общеевропейский конгресс для того, чтоб покончить с этим вечным вооружением, с этим бряцанием оружия, с этими угрозами и вечным ожиданием войны. Для чего она? Какой народ ее желает? Я рассматривал барельефы на Победоносной Колонне, сооруженной в память войны с Францией. Настоящее искусство не может лгать даже символами, а если оно лжет, то это выходит антиэстетично, пошло и лживо. И эти барельефы. Боже мой, как они отдают фальшью, и если о чем-нибудь говорят они назидательно, то именно о том, как лжива, как ужасна война и как она противна всякому честному сердцу.

17 февраля (1 марта), № 6456

CLXII

В Петербурге, в одной московской газете, я читал, что «немцы ликуют» по поводу торгового договора.

Приезжаю сюда и смотрю: где ликуют немцы? Хожу по улицам, по театрам, захожу в магазины, разговариваю с людьми, читаю газеты, и нигде никакого «лико-

вания» не вижу. Немцы занимаются своими делами, завтракают, обедают, пьют пиво, даже много пьют, но от ликования все это далеко. В газетах, в частных собраниях тех или других прямо заинтересованных в договоре лиц, напротив, нередко слышится неудовольствие, что немецкая комиссия мало выторговала, что русские мало уступили. О землевладельцах и земледельцах, то есть о мужиках, и говорить нечего: на всем пространстве Германской империи они против договора, который открывает широкое поле для конкуренции русской ржи. Конечно, в общем договор не безвыгоден для немецкой промышленности, а десятилетний срок даст устойчивость торговле, труду, затрате капитала. В парламенте одни резко нападают на договор, другие защищают его. Одни говорят, что он пагубен для Германии, другие, что он выгоден, он выгоден уже тем, что «Россия ищет присоединения к области европейского хозяйства». А, значит, он все-таки выгоден для немцев; значит, немцы нас надули, нас провели?

Но, любезные граждане, ведь дело идет о торговом договоре, а не о предписании мира разбитой стране. Ведь мы Кенигсберга не взяли не подступали к Берлину, не разбивали немецких войск. Точно так же немцы не взяли ни Гродно, ни Вильно, не разбивали наших армии, не подступали к Петербургу. Ни мы им, ни они нам не могут диктовать условий мира. Они и мы просто торговались, принимая в соображение взаимные выгоды и невыгоды, и сошлись на известных ценах. Нет сомнения, что есть выгоды немцам вести с нами торговлю, как есть и выгоды нам вести с ними торговлю. Иначе для чего бы и торговаться? Стоит посмотреть на наши пошлины, чтоб убедиться в том, что наш тариф несомненно покровительственный, что немцы во многих отраслях так нас превзошли, так дешевле нас производят, что мы налагаем на них дань за дозволение торговать у нас теми продуктами, которые они производят лучше и дешевле, чем мы. Ведь дело доходит до того, что мы даже должны покровительствовать производству деревянных гвоздей, изготовляемых из русского леса. Начальник вержболовской таможни с негодованием говорил мне прошлым летом, что немцы целыми вагонами везут к нам деревянные гвозди. Даже деревянных гвоздей дешево производить не можем! Это удивительно. С точки зрения высшей логики, которая когда-нибудь восторжествует, пошлина есть дань, несправедливый налог. Но это, конечно, в сторону, ибо народы живут еще по логике, которой далеко до совершенства. И по этой несовершенной, но общепринятой логике, которая восстановляет, однако же, известное равенство между народами, находящимися на неравных ступенях культуры, я не думаю, что нас победили немцы и обманули. Если б договор был выгоден только им одним, то почему же является эта неизвестность, что он пройдет? Почему даже оптимисты говорят, что если он пройдет, то только при большинстве в 10—15 голосов? Ведь если он так был выгоден для Германии, то рейхстаг должен был бы единогласно его принять. Или он комедию играет только, чтоб ослепить нас и обмануть нас еще больше?..

Я думаю, что это недоверие наше к договору имеет много чисто русских оснований. Тарифные комиссии наши закрыты; печать совсем не говорила или говорила только отчасти, когда заседала наша тарифная комиссия под председательством г. Вышнеградского. Бывший министр финансов не любил гласности и считал ее вмешательство в это дело не только бесполезным, но и вредным. Тариф обсуждался en petit comité и строился на высоте пошлин во что бы то ни стало. Естественно, что в тарифе есть просто курьезы. Кусочек шелку, стоимостью в

3 коп. серебром, на кукле известного веса, подвергал ее пошлине в 4 р. золотом, тогда как эта кукла стоит в Германии на наши деньги 1 руб. Свинец, зашитый в шелковое платье, несет пошлину шелка. Бронза всякая, даже художественная, обложена такой пошлиной, что она возвышает ее стоимость в два раза. Купцы, заседавшие в тарифной комиссии, презрительно относились к искусству и мерили его на пуды и фунты. Профессора, заседавшие в комиссии, согласились с купцами и г. министром. К их удовольствию, все это так и осталось.

Наша берлинская комиссия была малочисленна, тогда как немецкая работала с помощью Бейрата, так сказать, присоветия, очень многочисленного. Но, по правде сказать, нам было из чего уступать. Когда объявлена была нами таможенная война, у нас стали говорить, что Германия пропала, что она с голоду помрет, что все рабочие ее взбунтуются, фабрики позакроются, говядина возрастет в цене, хлеб также, и тому подобный вздор. Вздор этот проникал и в печать. Ничего не видя, мы уже праздновали победу, а С. Т. Морозов объявил, что настал конец дани, которую мы платили немцам. За эту речь он вдруг стал необыкновенно популярным, и против нее раздались лишь немногие голоса, в том числе и мой слабый голос. Я понимаю, что в известные моменты подобное красноречие действует на толпу, и она верит, что совершилось что-то великое, вроде Куликовской победы над Мамаем. Мамай непременно погибнет, думали россияне, ликуя. Но когда прошло некоторое время, оказалось, что никакой Куликовской победы не было, что Германия с голоду не вымерла, что ей было, правда, тяжело, но и нам было не легко, что наши промышленные «патриоты» тотчас повысили цены на некоторые изделия своих фабрик, что хлеб наш оказался без цены и проч. Два соседа почувствовали все неудобство такого порядка. Они вдруг очутились в положении Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и того и гляди, что явился бы «гусак» и перессорил бы их до крови. Я прямо высоко ставлю то обстоятельство, что русское правительство не только не упорствовало, но, приняв известные меры, заявило, что оно по-прежнему готово на конференцию. Оно несло известную тяготу, чтоб показать, что оно готово на все жертвы для поддержания своего достоинства и своей независимости, но оно все-таки и прежде всего предпочитает мир. И предварительные условия мира выработаны и выработаны небезвыгодно для нас, что кто бы там ни говорил. Невозможно же было ожидать, чтоб германские уполномоченные были согласны на такие условия, которые им были бы совсем невыгодны. Это была бы нелепость непроходимая. Но если вспомните ликования промышленных «патриотов», если вспомните все пророчества о гибели немцев, если вспомните, как г. Морозов нагрел своей речью Мамая, то нечего удивляться тому, что мирный договор не отвечает ожиданиям промышленных патриотов.

Промышленный патриотизм — это своего рода курьез. Сам г. Иловайский за него. А я думаю, что это самый фальшивый патриотизм. Я думаю, что мы из своей несомненной отсталости должны были бы извлекать пользу, то есть не повторять рабски тех явлений, которые происходят в Европе. Развитие промышленности, фабричности в Европе создало сильную буржуазию, капитализм и рабочее сословие, т. е. рабочий пролетариат, который выше и выше поднимает голову. Наше развитие фабричности сделает то же самое, т. е. превратит мужика в рабочего. Известно, что земледелие сохраняет известную чистоту нравов, требуя напряжений сил в известную пору года, оно дает и достаточно досуга и свободы

в остальное время. Фабрика берет все дни и даже ночи рабочего. Он ежедневно работает $13\frac{1}{2}$ часов, он пьет больше мужика, больше мужика портится; половые отношения упрощаются донельзя; сифилис распространяется и отравляет целые поколения; является та черная тень полукультурности, которая воспринимает все дурное. Наблюдатели народной жизни прямо свидетельствуют о вырождении русского человека в фабричных округах. Я думал и думаю, что мы должны были бы обратить на все это самое строгое внимание и, заботясь о развитии промышленности, не забывать, что необходимо устранять как-нибудь эти черные ее стороны, не повторять того, что происходило в Европе, не повторять тех путей, какими шла европейская фабричность и образовывалось рабочее сословие, с которым Европа не знает что делать. Протекционизм, капитализм, соединение капиталов в одних руках, фритредерство, образование огромных компаний, этих государств в государстве, образование банков — все это легко усваивается по проложенным тропам, и для того, чтобы руководить русскую жизнь на этих путях, не надо особенных талантов. Но надобно доброе сердце и большой государственный ум для того, чтобы устроить промышленность на началах более гуманных, более нравственных, где бы рабочий не вырождался, не становился рабом ежедневной платы и корыстолюбия. Это поважнее запретительных пошлин. Толкуют с купцами, фабрикантами, но ведь мужика не очень спрашивают, даже не очень спрашивают землевладельца, точно уж ему нечего сказать или он возложил все свои упования на земского начальника, который ежедневно говорит речи в том земско-начальническом парламенте, который называется «Гражданином». Промышленного патриотизма я не понимаю, но я понимаю русский патриотизм, когда дело касается всей страны, благосостояния всех. Я не понимаю тех государственных людей, которые ищут популярности у одного какого-нибудь сословия, лаская его, ублажая, обещая и давая. Крепость и развитие России не зависит оттого, что вынырнет на поверхность одно какое-нибудь сословие и захватит наилучшее положение в ущерб всем другим. Помимо Европы, крепостное право должно бы нас научить тому, чтоб не повторить его относительно промышленности. Трудно сделаться популярным у всех, у всех сословий, у всей массы. Масса не льстит, не дает обедов с шампанским и якобы патриотическими речами, которые вроде сквозного ветра, но зато является та безмолвная благодарность, которая говорит фактом возвышения общего благосостояния и сознания, что жизнь становится лучше.

19 февраля (3 марта), № 6458

CLXIII

Берлин, 17 февраля (1 марта).

Отправляясь за границу, я много раз собирался писать свои впечатления. Сядешь в вагон и начинаешь наблюдать. Ничего замечательного. Только внутри себя открываешь некоторое облегчение, как будто что-то свалил с плеч, стало легче и даже фантазия начинает разыгрываться и шутка стоит в голове. Что казалось серьезным, становится смешным, что казалось смешным, становится немножко грустным. Какая-то внутренняя радость начинает играть. Может быть, оттого и ничего не видишь, кроме буфетов и безлюдья. Подъехали к Вержболово, взяли у

нас паспорты. Приехали в Эйдкунен, осмотрели вещи, выдали снова паспорты, сели в немецкие вагоны. В немецких вагонах, в каждом купе, три рожка газа и можно читать. В русских вагонах одна свечка. Должно быть, немцы стали роскошничать, а мы экономничать на стеариновых огарках. Это очень хорошо. Едем в русских вагонах тихо, в немецких шибко. На стене надпись: полагается в вагонах тепла 10 град. Цельсия. Но было больше. Опять немцы роскошничают. Не к добру, должно быть. Снегу становилось меньше и меньше. В Берлине о нем и помину нет. Шуба, взятая с собой, лишняя. Прекрасно в осеннем пальто и шляпе. Накрапывает иногда дождь, но немного. Гулять приятно, народу на улицах много. Сидят на конях полицейские, стучат экипажи. Перед обедом вереницы экипажей. Под Липами — это катаются. Кофейни и пивные полны народом. Очень хорошо иметь дешевый напиток, который пьют все, начиная с императора и кончая рабочим. Недаром пиво входит в моду в Париже. У нас этого нет. Водка слишком пьяна и требует закуски. Надо думать, что когда-нибудь войдет в общее употребление квас, если вегетарианцы будут распространяться к общему удовольствию всего того, из чего делается говядина, баранина и дичь. Но от квасу, кажется, не совсем приятно Нидерландам, разумея под Нидерландами живот. В окнах магазинов много бронзовых и медных солдат, в разных позах; кто стоит во фронт, кто целит, кто заносит смертоносный штык. Металлические статуэтки Бисмарка, Мольтке, императора. Мольтке умер, Бисмарк умирает, император мужает. Бисмарку будет 79 лет. Теперешние портреты его мало напоминают того Бисмарка, которого мы знаем. В лице пропала вызывающая гордость, все оно опустилось, губы поблекли и сморщились и что-то бессильное глядит из этих больших глаз. Известно, что после примирения император послал ему бутылку старого вина. Тотчас из многих мест Германии, от разных лиц, он получил по две бутылки того же вина. Погреб его увеличился, но песня его спета — богатырская песня, надо отдать ему справедливость.

Был я в королевском драматическом театре, был в королевской опере. Оба театра меньше наших. Но думаю, что порядка в них больше. Обозначается на афишах: начало в $7\frac{1}{2}$ ч., конец в $10\frac{1}{2}$, и можете быть уверены, что это точно соблюдается. В опере вместе с началом увертюры двери запираются и, если вы опоздали, можете ждать в коридоре или фойе, очень большом зале, антракта. Раньше не пустят ни в ложи, ни в партер, ни на балкон. Ряды кресел так узки, что сиденья поднимаются, и все встают, чтоб дать возможность пройти мимо себя. В опере я видел «Медичи» Леонкавалло, либретто и музыка. Скучнее этого я давно ничего не слышал. Леонкавалло назвал оперу «Историческое действие в 4-х актах». Текст либретто украшен подстрочными примечаниями, со ссылками на исторические книги, в ознаменование верности фактов. Фиоретта, любовница Джулиано Медичи, например, поет: «Узнай же, что я чувствую себя матерью», и внизу выноска: «Этот сын Фиоретты, родившийся после убиения Джулиано, носил имя Джулио и впоследствии был папою под именем Климента VII». Зрителю оперы, очевидно, интересно узнать, что в своей утробе Фиоретта носит будущего папу. Опера, разумеется, вертится на любви, смешанной с политикой. Политика заключается в заговоре против Лаврентия и Джулиано Медичи. Заговорщики, под предводительством Пацци, соглашаются убить обоих Медичи в церкви Santa Reparata, во время обедни. Это в 4-м акте. Декорации представляет внутренность церкви. Видны ступеньки главного алтаря. С одной стороны женщины, с другой — мужчины, среди которых заговорщики с кинжалами. Из дверей ризницы выходят церковные служки со свечами, за ними два священника в полном облачении,

приседают, крестятся, за ними епископ, тоже в полном облачении, приседает, крестится и скрывается за колоннами, закрывающими алтарь. Орган, хоры духовенства и голоса народа и заговорщиков смешиваются в общей гармонии, не импозантной, не красивой, но очень шумной. Являются оба Медичи и садятся на стулья около ризницы. Два заговорщика, Пацци и Бандини, становятся сзади Джулиано, а два священника сзади Лоренцо. Один из заговорщиков, именно папский капитан Монтесекко, поет: «Кто вместо меня должен убить Лоренцо?» Бандини ему поет в ответ: «Два священника, которые не испугались твоего сомнительного мужества». Под этими словами примечание: «Два священника были избраны для совершения злодейства, которое отклонил от себя военный человек (Монтесекко) из побуждений совести. Эти священники были: Стефано да Баньоне, апостолический секретарь, и Антонио Маффеи». Когда раздается колокольчик, возвещающий молящимся благословение св. даров, заговорщики бросаются на Медичи. Джулиано поражен насмерть и труп его тащат на авансцену, в толпу женщин, где находилась его любовница Фиоретта. Лоренцо не потерялся, выхватил шпагу, священники-убийцы побросали кинжалы и во время общего смущения и криков бросается в ризницу, у дверей которой становятся его приверженцы. Заговорщики убегают из церкви. Тогда Лоренцо выходит из ризницы безоружный прямо к толпе. которая сочувствует заговорщикам. Она обращается к нему с упреками. Но он начинает говорить о заслугах Медичи, своих предшественников, и своих собственных, и толпа мало-помалу обращается против заговорщиков и, обнажив кинжалы, бросается из церкви, грозя смертью заговорщикам и пожаром их жилищам. Опера кончается словами Лоренцо: «Они (заговорщики) прокладывают мне еще дорогу к трону. Будь моим мстителем, народ! Я царствую». Несмотря на драматический интерес этого акта, он в музыкальном отношении только криклив и шумен, и музыка даже мешает драматическому движению. Два-три красивых места в музыке не выкупают общей скуки и шума. Вы понимаете, что для Рима, для Италии, опера имеет политический интерес: это протест против папства, против духовенства, которое избирает местом убийства церковь и моментом его совершения — благословение св. даров. Но я слушал ее со скукою. По внешним эффектам она напоминает то «Фауста», то «Гугеноты», но Леонкавалло далеко до Гуно и Мейербера.

Места в немецкой опере дешевле, чем в нашей. Дамы приезжают в простых платьях, большею частью черных. Не то что у нас. Красивых женщин не видать совсем. Но для военной столицы они, может быть, и не нужны, чтобы не обратить ее в Капую.

21 февраля (5 марта), № 6460

CLXIV

Берлин, 2 марта (18 февраля).

Немножко полемики с министром иностранных дел, г. Маршалем, по поводу русской печати, а не иностранных дел.

Во вчерашнем заседании рейхстага граф Каниц, нападая на договор и выставляя все его невыгоды для Германии, сказал, между прочим, что он вспомина-

ет статью «Нового Времени», в которой говорилось, что договор для России выгоден и что русским фабрикантам не опасна конкуренция с Германией. Сколько ему известно, в русской печати немало таких голосов, а потому, очевидно, Россия довольна договором. Если она довольна, значит, договор невыгоден для Германии. Г. Маршаль отвечал ему в том смысле, что договор, напротив, очень выгоден для Германии, что с германскою промышленностью бороться русской невозможно, что, так как цены на хлеб в Германии необыкновенно низки, то и русские хлеба не могут конкурировать с немецкими. Как раз наоборот тому, что утверждал граф Каниц. Проводя эти, конечно, патриотические идеи, г. Маршаль коснулся и русской печати. «Предшествующий оратор, сказал он, указал на то, что русская печать и, прежде всего «Новое Время», объясняет договор в очень благоприятном для России смысле. Поистине убедительный аргумент! *(Смех.)* Я допускаю, что во всех русских газетах договор выставляется так, что Россия сделала хороший гешефт, но у меня перед глазами целый ряд частных писем, из Москвы и больших промышленных центров, и в этих письмах говорится о договоре весьма неодобрительно (abfällig), и именно, как говорят у нас о нем сельские хозяева, что это гибель русской промышленности. *(Смех.)* Почему эти письма попали прямо в мои руки, тому есть особые причины». *(Смех.)* Какие это причины, он не сказал, но я не сомневаюсь, у г. Маршаля есть именно те письма, о которых он говорил: в Москве очень много немцев и немало из них фабрикантов; есть там и немецкий консул, которому даром жалованья давать не будут.

Все это правда, что русские промышленники недовольны, некоторые из них даже очень недовольны. Но удовлетворить их так же трудно, как немецких аграриев. Они с удовольствием приняли бы только запретительный тариф, да и с тою оговоркою, что всякого русского, покупающего иностранные вещи, казнить смертью. Я не знаю, желали ли бы аграрии казнить смертью, по крайней мере, всех депутатов, защищающих договор, но они говорят же о борьбе против договора на жизнь и смерть, стало быть, чьей-нибудь смерти и они желают. Как бы то ни было, сравнение требований немецких аграриев и русских фабрикантов, сделанное г. Маршалем, верно. Но то, что он сказал о русской печати, совсем неверно.

У русской печати и у «Нового Времени» по крайней мере такие же основательные причины говорить о договоре в благоприятном для России смысле, какие у г. Маршаля гововить о нем в благоприятном смысле для Германии. Г. Маршаль лучше знает Германию, чем русская печать, но русская печать знает Россию лучше г. Маршаля, а потому мы лучше его знаем, чем и как полезен этот договор для нас. Разница между аргументацией г. Маршаля и «Нового Времени» только в том, что «Новое Время» предполагает и выгоды договора для Германии, тогда как весь смысл речи г. Маршаля клонится к тому, чтобы убедить рейхстаг, что Россия, если что-нибудь и выиграет от договора, то разве только в ценах на хлеб, да и это сомнительно.

Министру финансов, г. Микелю здешние газеты приписывают слова: «Если консерваторы выскажутся за договор, то они будут ослы». Возгорелась полемика, «Nordd. Allg. Zeit.» опровергла этот слух, но некоторые газеты продолжают утверждать, что г. Микель не только эту фразу сказал, но еще и другую, которую, мол, повторить нельзя.

Говорю об этом потому, что действительная или мнимая фраза г. Микеля по адресу консерваторов была бы и нами заслужена вполне, т. е. мы были бы ослами, если б стали говорить благоприятно о договоре, который вреден для России. Мы его знаем и понимаем и не для удовольствия русского министра финансов

печать наша и «Новое Время» желают заключения этого договора. Какого бы плохого мнения ни был г. Маршаль о русской печати, как бы он ни намекал рейхстагу, что русская печать повторяет только то, что угодно министру финансов, я могу его заверить, что у нашей печати есть некоторая независимость, и в обсуждении вопросов экономических она пользуется довольно большою долею свободы. Без этой доли свободы она не могла бы вырасти, не могла бы пользоваться общественным сочувствием. Ей не нужно было ни посылать своих корреспондентов, ни иметь свои телеграммы в таком количестве, в каком не имеют их немецкие газеты, ни собирать справок, ни скакать в Берлин и проч. Пусть Берлин и Weltstadt, но интересного в нем очень мало, с чем, надеюсь согласится и г. Маршаль. Только при известной доле независимости, только при чувстве ответственности перед читателями за то, что пишешь, является инициатива, охота и обязанность уяснять себе вопросы и отвечать на потребности общества. Русская печать, конечно, в известной доле, делает то же, что гг. депутаты рейхстага, и на ней лежат те же обязанности перед обществом. Мне думается поэтому, что гг. депутаты напрасно смеялись, когда г. Маршаль так высокомерно отозвался о русской печати. Она кое-что значит. Да и не все органы ее стоят за договор, и те, которые стоят за него, постоянно печатают на своих листах посторонние статьи, не совсем благоприятные для договора.

Все депутаты рейхстага, которые видят в договоре явление симпатичное им с той стороны, что Россия вступает, так сказать, в область европейского хозяйства, смотрят на дело очень здраво. Это именно важно для обоих соседей, которые делаются более близкими. Покровительственный тариф при автономной системе слишком тяжело ложится на потребителей и слишком выделяет привилегированное положение фабрикантов. Это все равно, что железные дороги с большими гарантиями государства. Можно вести дело через пень-колоду, процент все-таки хороший. Известная доля иностранной конкуренции положительно полезна. Дурной русский товар не пойдет, потому что на пути ему ляжет свой русский хороший. При том тарифе, который определен в договоре, работать можно: он достаточно высок. Может быть, есть ошибки со стороны наших уполномоченных и нашего министра финансов, но они не особенно важны. При договоре на 10 лет, русская предприимчивость имеет полную возможность выказать свою энергию и свои способности и принуждена будет рассчитывать на свои силы, а не попрошайничать вечно у правительства. Окажется тотчас же необходимым завести всевозможные школы, ремесленные, технические, сельскохозяйственные, сельскохозяйственные учительские семинарии, о которых у нас и не думают, сельскохозяйственные факультеты при университетах, о чем давно бы следовало подумать, и проч. При этом договоре я рассчитываю особенно на подъем просветительный, ибо без него окажется невозможным, пожалуй, ни конкурировать фабричными изделиями, ни хлебом. Придется освободить землевладельцев от ежовых рукавиц земельных банков, ввести мелиоративный кредит и т. д. Одним словом, тщательно обратить внимание на то, что говорит Микель в конце своей речи в заседании 1 марта. Вся страна должна вздохнуть, не об одних промышленниках речь. Я считаю этот договор серьезным делом и выгодным для России, если, конечно, она не положит рук. Нужда заставит калачи есть.

Я вижу явление симпатичное и в самых этих заседаниях рейхстага, в том участии к прениям, которое видится повсюду. После франко-русских праздников

это тоже своего рода праздник. И не потому, конечно, что гг. немцы удостаивают нас своим вниманием, вниманием учителей к ученикам. А потому, что это внимание вынужденное тем периодом таможенной войны, который они испытывали вместе с нами. Нехорошо было нам, и нехорошо им. Благодаря многолетней травле газет против России даже в народе созрела ненависть против нас и рядом с нею некоторое пренебрежительное отношение к нашим силам, к нашим финансовым средствам. Таможенная война повела к сокращению производств, к сокращению заработка рабочих. Промышленный класс вместе с рабочими убеждался более и более, что вражда с Россией бьют их по карману, что продолжение ее грозит немецкому рынку громадными потерями, что начинаются торговые связи России с Австрией и другими странами. «Так вот оно что значит Россия. Да она полезна нам, дружба ее выгодна Германии». Этим практическим путем проникало в рабочий класс и в буржуазию здравомысленное отношение к России и желание примирения с нею. Насмешки консервативных партий над тем, что монархия поддерживается в деле договора радикалами и социалистами говорит, в сущности, в пользу того, что эти партии ближе стоят к народу и лучше знают его нужды, чем партии консервативные. Поэтому они с правительством, которое тоже очень хорошо знает эти нужды и весь тот вред, который нанесен Германии таможенною войною. Вот почему я говорю, что эти серьезные дебаты в рейхстаге как бы некоторый праздник для нас. На горячие немецкие головы, на враждующих с Россией немецких людей вылиты были два ушата холодной, отрезвляющей воды, один — франко-русскими праздниками, другой — таможенной войной. Немцы в этом, конечно, не сознаются, но об этом говорят факты и говорит об этом то раздражение, которое слышится в речах иных консерваторов, которые переполнены национальным самолюбием и которые ставят это самолюбие выше всего. Недаром они говорят, что испугались казаков, или прибегают к таким преувеличениям, что этим договором восточные прусские провинции как бы включены в состав Российской империи.

Повторяю, никогда еще так серьезно и многосторонне Германия нами не занималась, как именно теперь. Прежде были то любезности, то угрозы, то политические союзы и разрыв. Теперь говорят о России, о ее народе, о ее промышленности и земледелии, изучают это и сравнивают. Россия является не военной только державой, но страной с назревающей культурой. Это не то, что говорить о военных силах и сравнивать два пороха, четыре динамита и пятьсот пушек при 2 миллионах ружей. От этого разговора жутко становилось, и у немцев, и у русских вызывалась злоба и негодование друг на друга. Вечно военный разговор до добра не доводит...

23 февраля (7 марта), № 6462

CLXV

Берлин, 12 марта (28 февраля).

«Я доказывал, что Россия давно была бы не только земледельческою, но и промышленною, если бы неуклонно следовала примеру и завету Петра Великого, то есть систематически развивала бы свою заводско-фабричную промышленность. При этом условии она давно бы(?) не нуждалась в заграничных капиталах и техниках для разработки своих естественных богатств».

Это говорит г. Иловайский в 52 № «Московских Ведомостей». Читать эти строки было бы забавно, если бы их написал не историк. Но г. Иловайский — историк, для которого должна существовать причинная связь явлений. Петр Великий остается великим, несмотря на его великие ошибки, потому что достаточно великого он сделал. Великие его ошибки зависели от того, что он был сын своего времени, и оттого, что он «Россию поднял на дыбы», по меткому слову нашего великого поэта. Поднятая на дыбы, она не могла оставаться в этом положении долго, как не мог бы оставаться и конь в том положении, которое дал ему Фальконе на памятнике Петру. Бронза может сохранять фигуру самую гордую, самую энергичную целые века, но живое существо не может. Оно требует отдыха, естественного и спокойного шага. Не должно забывать историку, что Петр способствовал закрепощению народа, что он ввел табель о рангах, что он расчленил русский народ, что этот народ терпел от бедности, от войн, от преследований всякого рода, начиная с преследований из-за никоновских новшеств, в дополнение к которым Петр кое-что прибавил, несимпатичное и тяжелое для народа. Странно было бы напоминать историку XVIII век и варварское состояние России. Странно было бы напоминать ему все те события, которые останавливали развитие народа, и, главное, ту роль, которую играло крепостное право, начиная с Петра и вплоть до 19-го февраля 1861 года. Как могла развиваться русская промышленность при крепостном праве? Кому было бы покупать фабрикаты и на какие деньги? Помещик имел все свое — слесарей, каретников, ткачей и т. д. Он был владетельный князь, гордый своим владычеством и довольный тем, что крепост быть, только отодвинул бы Россию еще более назад. Наш ные давали ему все, что ему было нужно. Правда, и помещики заводили фабрики и заводы, но дело не могло развиваться при условиях насильственного труда, поголовного невежества, всякого отсутствия школ промышленных и ремесленных и недостаточного сбыта товаров и недостаточных капиталов. Сам по себе самый высокий тариф, даже запретительный, многого бы не сделал, а, может е образование шло путем гимназий и университетов, путем развития привилегированного сословия и чиновничества. Для обязательности «заветов» Петра Великого многого не хватало в его собственном развитии, в его уме, в его понимании России. В этих «заветах» должно бы на первом плане стоять уничтожение крепостного права и образование народа, свобода его развития; но эти «заветы» были далеко от этого; народ был призван служить тем, которые служили государству в администрации гражданской и военной. Петр Великий не мог предвидеть изобретения машин, действия пара, развития европейской промышленности, необходимости капиталов. Многие доказывали, что крепостное право было необходимо, да и теперь есть еще такие господа, а крепостное право держало наше развитие умственное и промышленное в ежовых рукавицах. Рабство задевало не крепостных только, но решительно все сословия, и только с его отменою настала возможность развития естественного и постоянного. Оно вредно действовало не только на торговлю и промышленность, не говоря уже о массе народа, но даже на дворянство. Самые земледельческие машины и знания понадобились только с 19 февраля 1861 года, ибо до того времени даровой труд заменял очень хорошо машины. Из этого заколдованного круга, который составляло крепостное право, нельзя было выйти на простор. Ограничиваюсь этими немногими словами относительно «заветов» Петра Великого.

Что касается «заветов» г. Вышнеградского с тарифом 1891 г., то они, по моему мнению, слишком мало нарушены. Я очень сожалею о том, что С. Т. Морозов с его хлопчатобумажным производством не тронут. Не мешало бы и его тронуть, да я думаю, что сама жизнь тронет его, ибо заставит обратить побольше внимания на рабочих. Уж есть разница между тем, что было при его отце и что есть при сыне. Уж сын говорит о необходимости уменьшить число рабочих часов с 13½ до 11 и совсем уничтожить ночные работы. Он сам мне это говорил. Если фабрикант такой крупный говорит об этом, то законодательству надо действовать в этом направлении тем скорее и энергичнее, что оно должно иметь в виду не одних фабрикантов, но и рабочих. Таможенный договор, о котором идет теперь речь, сохранил на железо такие пошлины, что просто мое почтение, выражаясь банально. Вычислите, какие пошлины несет каждый пуд иностранного железа, и вам будет понятно, что это за покровительство. Шерстяные изделия на каждом фунте несут пошлину в 1 р. 5 коп. золотом. Свесьте, сударыня, свое шерстяное платье и сложите на каждый фунт его около 1 р. 50 к. пошлины ассигнациями (1 р. 5 к. золотом даже более 1 р. 50 к. по курсу на ассигнации) и вы увидите, что вы переплачиваете за русские шерстяные изделия. Ведь естественно, что русский фабрикант берет во внимание эту пошлину. Если ему фунт шерстяной материи стоит, положим, 1 руб., он прибавит к этому 1 р. 50 к. пошлины, без которой иностранная ткань не может пройти в Россию, и затем уже строит свои цены, иначе, изволите видеть, он производить не может. Если перебрать тариф в такой наглядности, то будет ясно, в какой степени он покровительственный и в какой степени обогнала нас европейская промышленность, благодаря крепостному праву.

3 (15) марта, №6469

CLXVI

Недавно граф Л. Н. Толстой и Чехов и Потапенко высказались по поводу литературной конвенции с Францией. Я читал все, что у нас писалось об этом. «Новое Время» поместило несколько статей на конвенцию. Нельзя не согласиться, что на стороне тех, которые говорят за конвенцию, много правды. Но мне кажется, есть одна сторона вопроса, которой мало касались, а, может быть, и совсем не касались. Мне, по крайней мере, не случалось прочесть именно об этой стороне вопроса в русской печати. Дело вот в чем. Мы, русские, занимаем в Европе положение совершенно особенное в географическом, историческом и культурном отношениях. Географически мы не Европа и не Азия; мы лишены многих удобств климата, которым пользуется Европа и который много значит в истории развития. Исторически мы составляли плотину, которая не пускала варваров в Европу; мы вынесли монгольское иго и затем медленно и упорно вытеснили татар и турок с востока и юга. В истории европейской цивилизации мы играли роль страны, которая косвенно способствовала Европе в ее культуре, ограждая Европу от некультурного мусульманского элемента. По этим и другим причинам мы отстали от Европы и, можно прямо сказать, только недавно стали вступать в ряд образованных наций.

Вы скажете, в каком же это отношении касается литературной конвенции? А вот в каком. Отстав от Европы, не имея у себя дома долгое время ни литерату-

ры, ни искусства, ни науки, мы, в лице правительства и частных образованных и богатых лиц, приобретали в этой Европе предметы искусств и книги. В течение столетия Россия приобрела этого *товара* на большие миллионы. Мне думается, что нет страны в Европе, которая и в настоящее время столько пользовалась бы книжным иностранным товаром, как Россия. Ни в Париже, ни в Вене, ни в Берлине вы не найдете таких обширных книжных магазинов, продающих французские, немецкие и английские книги, какие найдете в Петербурге, в Москве, в Одессе и некоторых других городах. Русский человек является потребителем иностранных книг в оригинале, больше чем француз, немец и англичанин: у них вволю своего собственного. Отсюда следует, что русский человек участвует прямо в заработке иностранных издателей и авторов; внося прямо им известную денежную дань за книги французские, немецкие и английские, он является как бы почти равноправным гражданином во Франции, Германии и отчасти в Англии. И так будет продолжаться еще очень долго. Между тем ни французы, ни немцы, ни англичане совсем не нуждаются в русских книгах и их не покупают. Начавшееся изучение русского языка за границей еще долго не двинет русскую книгу за границу: учебники русского языка, грамматики, хрестоматии печатаются и будут печататься за границей; особенно любознательные люди станут выписывать разве только некоторых классиков, что составит ничтожную величину. Теперь посмотрите, сколько иностранных книг мы ввозим в Россию. В 1892 г. ввезено в Россию иностранных книг и повременных изданий на 1 700 000 руб. Между прочим, из Германии ввезено 38 377 пудов, из Франции 3488 пуд., из Австро-Венгрии 871 пуд, из Великобритании 511 пуд. и т. д., всего 44 663 пуда. Если положить средний вес каждого экземпляра этого товара в $^1/_4$ фунта (принимая в соображение NN повременных изданий, газет, брошюр, и т. д., этот вес еще велик), то получим, что из Германии мы вывезли приблизительно *полтора миллиона* экземпляров книг и повременных изданий, а из Франции около 140 000 экземпляров. Сюда не включены еще книги в переплетах, которых ввезено к нам 13 018 пуд. и между прочим из Германии 8785 пуд., Франции 1387, Австро-Венгрии 1252 и Великобритании 455 пуд. Это еще и значительно увеличивает число привозных к нам экземпляров.

Граф Л. Н. Толстой, высказываясь против конвенции, между прочим, заметил, что «если стать на другую точку зрения, то, пожалуй, придется задуматься. Иностранцы не хотят, чтоб мы пользовались даром их достоянием, а мы, в силу того, что у нас нет конвенции, будем насильно брать у них то, чего они нам давать не хотят. Ведь тут есть какая-то неловкость... В этом заключается нечто неблаговидное, некрасивое». Мне кажется, что, приняв в соображение то количество иностранных книг, которые мы покупаем в оригинале, эта «некрасивость и неблаговидность» значительно теряют свой вес. Мы не можем жить без покупки иностранных книг, ни наши университеты, ни наши академии, ни технические школы, ни частные лица, тогда как Европа живет без покупки русских книг и будет жить. Мы отстали от Европы, но отстали не по лени, а в силу неблагоприятных климатических и исторических причин. Будучи еще совсем некультурным народом, мы все-таки служили Европе, вынося на себе нашествия варваров и обессиливая исламизм. Европа должна бы на нас смотреть гуманнее даже и принимая в соображение ту деликатную точку зрения, которую разумеет Толстой, т. е. право авторской собственности, ибо в доходах авторских и издательских мы участвуем даже много. Не платя за переводы, мы платим за оригиналы, как никто в Европе

по отношению к своему соседу иностранцу. К тому же перевод нельзя уподоблять краже платка из чужого кармана. Перевод есть труд образованного человека, который должен знать свой и иностранный язык. Переводчик является агентом между народами для их дружбы, для взаимодействия их идей и художественных произведений. Конечно, литературная конвенция будет выгодна для издателей, но для публики она будет прямо вредна. Примите в соображение, что теперь инициатива перевода принадлежит всем образованным людям, более или менее всем читателям иностранных книг, и потому не носит на себе отпечатка никакой ни исключительности, ни торгашества. При конвенции инициатива окажется в руках издателей, в руках людей, которые захотят из этого сделать выгодное дело. Что будет выгодно, то и будет предприниматься, а полезное и истинно художественное отойдет в сторону. Выгодно издателю распространять романы порнографического и легкомысленного свойства, он и будет их распространять и давать этим заработок переводчикам. Явятся агенты, конторы, откупщики на поприще переводов с иностранных языков, и как выбор книг для переводов, так и самые переводы скорее проиграют в языке, чем выиграют. Для истинно полезного и истинно художественного всегда мало покупателей. Спросите г. Солдатенкова, издавшего много весьма полезных иностранных сочинений в русском переводе, и он вам скажет, какую прибыль он от них имел. Он имел не прибыль, а убыток, но он принес пользу русским читателям. Что касается протекционизма русских авторов и русской литературы, то это вопрос очень темный и гадать о выгодах этого протекционизма, конечно, можно, но осторожно. Русская литература росла без протекции, совсем иначе, чем русская промышленность.

9 (21) марта, № 6475

CLXVII

Петербургские книжные торговцы подали в конце прошлого года г. министру финансов, Ю. С. Витте, просьбу. Книжная торговля — это пасынок торговли и промышленности. Железо, уголь, ситец, шерсть пользуются покровительством, всевозможными льготами, книжная торговля не только предоставлена самой себе, но встречает значительные затруднения, которых не знают другие торговли и промыслы. Кроме покровительственного тарифа, другие торговли и промыслы пользуются особенными тарифами по железным дорогам. Банки под всякий товар вам дадут деньги. Под книги ни один банк не даст ничего. Да и действительно, как дать деньги под печатную бумагу, когда иногда она стоит гораздо меньше, чем чистая бумага. Никакой организации в книжной торговле, вследствие всех этих причин, нет. Книжные торговцы умоляют С. Ю. Витте обратить внимание на их кредитные нужды. Но книжная торговля страдает не от одного отсутствия кредита, но и от почтовых правил.

Я очень хорошо знаю, что почтовое управление сделало много в последние годы и что оно одушевлено лучшими намерениями. Но для пересылки книг оно не только сделало мало, но даже своими правилами о «приложениях» к журналам образовало привилегированных издателей в лице хозяев «Нивы», «Родины», «Живописного Обозрения», «Луча», «Звезды» и т. д. Редакция «Нового Времени» выпи-

сывает несколько десятков иностранных журналов, в том числе еженедельных, но ни при одном из них не прикладывается книг. Заграничные журналы существуют без 50 или 75 «приложений», которыми щеголяют наши «еженедельники». Каждый из них обзавелся ежемесячным «приложением» и, кроме того, приложением книг. «Нива», идущая впереди еженедельников, дает 12 книжек «приложений» и 12 книг сочинений Достоевского. Говорят, благодаря этому последнему приложению, у нее 150 тысяч подписчиков. Если счесть подписчиков у других еженедельников с приложениями, то наберется еще до 200 тыс. подписчиков. Одна «Нива» при 150 тысячах подписчиков и 24 книжках «приложений» выпускает в год 3 600 000 книг. Если мы на 200 тысяч подписчиков других еженедельников положим только по 12 книг в год, то получим 2 400 000 книг, а всего, стало быть, еженедельники пускают в обращение *шесть миллионов экземпляров книг.*

Очень почтенная цифра!

Конечно, это прекрасно. Но не прекрасно то, что всякая другая книга, исходящая от издателей обыкновенных, не имеющих у себя журнала, всякая другая книга, посылаемая книгопродавцами в провинцию, не только не пользуется льготами этих привилегированных издателей, как гг. Маркс, Добродеев, Каспари, Окрейц, но находится под гнетом страшно дорогой почтовой посылки. Не только ни малейшего внимания к книжной деятельности почта не показывает, но и ни малейшей справедливости. Для объяснения дела, я должен войти в скучные подробности, но они необходимы, чтоб меня не уличили в несправедливости.

Почта берет за пересылку периодических изданий известный процент с подписной цены, сообразно срокам выхода их. С ежедневных 18%, с еженедельных 14% и с ежемесячных 10%. При этом определен предельный вес каждого нумера: для ежедневных 8 лотов, еженедельных 24 лота и ежемесячных 64 лота. Кроме того, каждый журнал имеет право посылать приложения срочные и бессрочные столько раз в год, сколько раз он выходит, причем и каждое «приложение» само по себе не должно превышать предельного веса, который и для него тот же, что и для журнала. Все это за одну и ту же плату за пересылку. Вес журнала, вследствие «приложений», растет весьма значительно, но цена за пересылку остается та же, если «приложения» не выходят из предельного веса. Так, «Нива» платит 98 коп. за годовую пересылку своего издания и *всех своих приложений.* Условия чрезвычайно льготные, и они заслуживали бы полной симпатии, если б распространялись хоть отчасти и на все книги вообще.

Рассмотрим существующие условия пересылки на примерах. Возьмем журнал, не дающий «приложений», «Вестник Европы», и дающий их, «Ниву». «Вестник Европы» платит за годовую пересылку 1 руб. 70 коп., «Нива» 98 коп. Книжка «Вестника Европы» весит около 41 лота[1], меньше предельного его веса, который 64 лота. Значит, его годовой экземпляр весит около 16 фунтов. Значит, за 16 фунтов он платит 1 р. 70 к., т. е. около 11 к. за фунт. Отсюда ясно, что один фунт «Вестника Европы» стоит подписчику 1 р. 8 коп. Годовой экземпляр «Нивы» с теми «приложениями», которые одного формата с нею («Парижские моды», «рукодельные» работы, выкройки и проч.), весит около 10 фунтов, 12 книг сочинений Достоевского 8 фунтов, 12 «Литературных прибавлений» немного больше 4 фунт., итого

[1] Я свесил «Вестник Европы» за январь и февраль этого года В январском нумере 41½ лот, в февральском — 41 лот. Упаковки я не принимаю в расчет.

22 фунта. Если прибавить на 2 офорта и на 2 картины, которые еще не приложены, фунтов 8—10, то получим от 30 до 32 фунтов весь годовой экземпляр «Нивы»[1]. Таким образом, «Нива» платит за фунт не 11 к., как «Вестник Европы», а меньше 3 копеек и 1 фунт «Нивы» стоит подписчику 25 коп.

Хотя принцип таксы, основанный на ценности товара, справедлив и между ценностью его и таксой за пересылку должно существовать известное отношение, но все-таки из этих сравнений видно, что «Нива» пользуется чересчур большими преимуществами перед «Вестником Европы». Вы скажете, кто же мешает «Вестнику Европы» делать «приложения»? Это сложный вопрос. Прежде всего литературные традиции и литературность вообще, затем трудность достать хорошего литературного материала даже на то количество листов, которое обыкновенно выпускают наши ежемесячники, и раз навсегда определенная цена, остающаяся все время неизменною. «Нива» же пришла к «приложениям» путем увеличения своей подписной цены с 4 или 5 р. до 7. При ста тысячах подписчиков 1 р. надбавки дает 100 тысяч руб., на которые можно сделать приложения, при огромном количестве экземпляров и недорого стоящие. Например, том Достоевского в 150 тысячах экземпляров, на той дешевой и легкой бумаге, на которой он печатается «Нивой», стоит самому издателю не больше 10 коп., не считая гонорара, уплаченного им г-же Достоевской, о размере которого я не знаю. А если приложение сочинений Достоевского дало «Ниве» сто тысяч лишних подписчиков, как говорят, то издатель получил 700 тысяч рублей.

В существе дела прекрасно, что книга идет; пусть увеличивается число читателей, пусть почта оставит без изменения эти льготные условия для еженедельников. Но надо обратить внимание на книгу. Пересылка книг производится или бандерольным отправлением или посылкой. Под бандеролью фунт стоит по всей России 16 коп., а не меньше 3 коп., как берет почта с «Нивы» и других еженедельников, даже не 11 коп., что платит за фунт «Вестник Европы». Кроме того, при бандерольных отправлениях за единицу веса принимается 4 лота, так что за 5 лотов вы платите, как за 8, за 9 как за 12 и т. д. Но всего ужаснее, что предел бандерольного отправления всего 4 ф. Уж $4^1/_4$ ф. надо посылать посылкой, а посылки в близкие губернии от 5 до 10 коп. фунт, затем 20, 30, 40, 50, 90 коп., даже 1 рубль, например, в Приморскую область и на Сахалин. Чтоб удешевить пересылку, приходится большие книги резать пополам. «Библия» весит 5 фунтов и чтобы отправить ее в Семиреченск, ее разрезают на две части, отправляя каждую отдельным бандерольным пакетом, ибо отправить 5 фунт. посылкою стоило бы 2 руб. 50 коп., так как пересылочная такса в Семиреченск 50 коп. Если послать книги под бандеролью весом в 32 фунта, вес «Нивы» с приложениями, которая платит за это 98 коп., надо разбить 32 фунта на 8 бандеролей и заплатить за каждый 64 к., а за все 8 — *5р. 12 коп.*

98 коп. и 5 р. 12 к. — вот соотношение между льготами, которыми пользуются еженедельники вроде «Нивы» при отправке своих книг, как «приложений», и таксой на книги, которая существует для всех прочих издателей и книгопродавцев. *В пять раз дороже.* Где ж тут справедливость и логика? Мало того, вследствие таксы на наложенный платеж, таксы несправедливой, маленькая книжка

---

[1] Я свесил первые 8 номеров, в которых оказалось $1^1/_2$ фунта, том Достоевского — 21 лот и том «Литературного приложения» — 11 лот.

«Ермак, покоритель Сибири» стоимостью в *7 коп.*, будучи отправлена под бандеролью с наложенным платежом стоит почти *21 коп.*, втрое больше, чем цена книжки. Стало быть, и размер цены издания, принимаемый почтой в соображение при пересылке журналов, по отношению к книгам не принимается в расчет.

За границей размер бандерольного отправления книг и проч. принимается в 5 кило, т. е. 12½ ф., и такой пакет в 12½ ф. оплачивается всего 50 пфеннигами, около 22 коп., стало быть, фунт — около 2 коп. Что-нибудь подобное надо бы сделать и у нас, и почта заслужила бы искреннюю признательность и не осталась бы в накладе. Введение в Германии таких посылок, с предельным весом в 5 кило, для книг и всего прочего, благодетельно отразилось на населении городов, которые получили возможность прямым путем получать из дальних провинций разные продукты. Но я говорю пока о книгах и о привилегиях. Привилегий не должно быть в этом деле, в особенности таких бьющих и несправедливых. Такса за посылки в дальние места остается почти та же чуть ли не целое столетие. Теперь за 1 ф. в Якутск почта берет 90 к., а в 1834 году, т. е. 60 лет тому, с фунта она брала 1 руб. Разница только 10 коп. Но ведь в 1834 г. за письмо в Якутск брали тоже 1 р. с лота, а за письмо в Париж 5 р. 61 к. с лота, в Португалию и Испанию даже 9р. 15 к. с лота. Вот какие цены существовали в 1834 году. Эти сведения я взял из Академического Календаря на 1834 год.

23 марта (4 апреля), № 6489

CLXVIII

Ниже читатели найдут письмо Н. П. Вагнера «по поводу медиумических фотографий». Вы, конечно, все знаете г. Вагнера, как Кота-Мурлыку, который рассказывал вашим детям очень милые сказки, иногда не уступающие поэтичностью, фантазией и любовью к человеку сказкам Андерсена. По профессии естествоиспытатель, профессор университета, написавший несколько исследований по своему предмету, поэт-сказочник, любящий природу сознательной любовью, знающий ее в мельчайших созданиях, он вместе с тем один из самых правоверных спиритов. Ни один сеанс, мало-мальски значительный и интересный, не обходится без него. Ни один медиум не уехал из Петербурга, не удостоившись видеть на своем сеансе г. Вагнера. Живя за границей прошлой зимой, он видел г-жу Палладино — кажется, так имя итальянки-медиумички, приезжавшей в Варшаву, и рассказывал мне о ней, что он видел медиумов сильнее ее. Я печатаю его письмо, ибо считаю справедливым дать ему возможность высказаться против тех нападок и насмешек, которым его подвергали и подвергают. Сам я спиритом никогда не был, но согласен с Шекспиром, что в природе есть многое такое, чего не снилось мудрецам. Со времени смерти Шекспира прошло почти триста лет, и действительно явилось не мало таких вещей, которых не снилось мудрецам до Шекспира и во время его жизни. Им не снилось ни действия пара, ни железных дорог, ни паровозов, ни электрического телеграфа, ни электрического освещения, ни телефонов, ни телескопов с тою силою, какой теперь они обладают, ни многого из того, что теперь и не мудрецы знают и видят. Но относительно Эндорской

волшебницы, которая была едва ли не первою медиумичкой и которая, как известно, вызывала Саулу тень Самуила, дело до сих пор не подвинулось вперед. Эндорская волшебница поступала не научно, протоколов не составлялось тогда, газет не существовало, но она действовала, как медиумичка, и рассказ о явлении Самуила Саулу занесен в Библию, как факт не подлежащий сомнению. Я читал сейчас этот рассказ (Первая книга Царств, гл. 28, ст. 7—25). На славянском оно так выразительно, что решительно напоминает сеансы медиумов. Но как она действовала, какою силою она обладала, доселе неизвестно. Но несомненно, она была доброю женщиною, ибо не только показала Саулу «мужа стара, восходяща от земли и сей облачен одеянием долгим», но и накормила голодного царя, целый день не евшего. Мне приятно, что такою непонятною силою обладала женщина. Женщины вообще обладают непонятною силою, пока существуют мужчины. Синьора Палладино, очевидно, нечто вроде Эндорской волшебницы. Если я перед смертью сделаюсь спиритом, то образую «общество эндорской волшебницы» и «световые излучения», о которых говорит г. Вагнер, назову «эндорскими излучениями».

Но пока я не верю спиритизму, но значения его не оспариваю. Он кое-что сделал, возбудил некоторые важные вопросы, заставил обратить внимание на них. Я думаю, одной насмешки и отрицания тут мало. Недаром же почтенные люди занимаются этими явлениями и я не вижу, почему они хуже делают, чем те, например, изобретатели, которые усовершенствуют ружья и пушки. Ружьями и пушками, конечно, многих можно послать на небо, но они посылаются туда с ненавистью, с враждою. Спириты, напротив, вызывают с неба духов, которые сообщают грешным и неверующим людям, что там кое-что есть, что праведным там будет хорошо, а грешным очень скверно. Но христианская религия этому же учит? Конечно, но что прикажете делать, когда неверие захватывает людей, когда люди желают протоколов, свидетельств, фотографических снимков? Уж такой век, что не верит в чудеса, хотя открыл множество чудес. Он хочет чудес, но хочет, чтобы чудеса были понятны, доказательны, чтобы с чудесного был снят портрет. Спиритам говорят: «ваши медиумы плуты, они вас надувают». А Н. П. Вагнер отвечает: «Неправда, мы видели летающие руки, которые крестили нас (очевидно, христианские руки), видели даже летающие бюсты, видели образы человеческие в кисее, хотя кисеи в данном случае негде было взять. Мы раздевали медиума, мыли его, чтоб смыть самосветящиеся вещества, и, однако, происходило диковинное». Ради истины в банщиков обратились почтенные люди. Чего вам больше?

Спиритизм мне всегда казался чем-то пустоватым, детским. Столько времени он возился со столами и возится доселе. Не будь столов, что бы он делал? На Востоке люди сидят на полу, на скамьях и диванах, даже пишут не на столах, не оттого ли там не занимаются спиритизмом, по крайней мере, столовым? Нет столов, нет спиритизма. Одно это привело бы меня в отчаяние, если бы я хотел поверить. Потом, что это за глупости говорят спиритические привидения? Сказали ли они миру какую-нибудь оригинальную мысль, сделали ли они какое открытие? Неужели там, на небе, в тех мирах, где они летают, где они видят близко и звезды, и солнца, и планеты, где красота неизреченная, где столько тайн, неужели они ничего там не видали, ничего не слышали и принуждены «басом», как утверждает Николай Петрович, говорить только всякий вздор. Если они говорят, то у этих видений есть горло, а если есть горло, есть сердце, есть желудок? может спросить физиолог и анатом. Я не спрашиваю об этом, ибо Самуил, вызван-

ный Эндорской волшебницей, тоже говорил и довольно продолжительно и притом чрезвычайно неприятные вещи для Саула. Я даже не понимаю, как он после этих слов мог есть того ягненка, которого зарезала для него Эндорская волшебница. Очевидно, голод не свой брат.

Но и голод сверхъестественным должен быть утолен.

30 марта (11 апреля), № 6496

CLXIX

Никак я не ожидал, что г. Скабичевский станет скорбеть о том, что его не приглашают в «знатные салоны» и не дают ему там «первого места». Он так этим огорчен, что с большим пафосом на своем юбилее выразил по этому поводу свое негодование. С другой стороны, в салон самого г. Скабичевского или, говоря просто, в залу ресторана «Медведь», где давали юбилейный обед трудолюбивому критику, не пустили столь же трудолюбивого, как он, критика, г. Волынского, но приняли от него всенижайшее письмо на имя г. Скабичевского и прочли на обеде в назидание потомкам. Г. Волынский свидетельствует об этом «инциденте» в «Северном Вестнике»: его не только не пустили на обед, но, когда он возвратился домой, не солоно хлебавши, то нашел у себя дома неподписанное письмо такого содержания: «Распорядители обеда в честь XXXV-летия А. М. Скабичевского считают необходимым уведомить г. Волынского, что ему места на обеде *в настоящее время* предоставлено быть не может». Г. Волынский может утешаться тем, что по крайней мере на будущее время он может заслужить «место на обеде» в честь Г Скабичевского, тогда как г. Скабичевские ни в прошедшее время, ни в настоящее, ни в будущее не попадал и не попадает в «знатные салоны» и притом на первое место. Вот что грустно.

Обозревая гостей, пришедших его поздравить и закусить, прослушав их приветственные речи, которые на юбилейном языке называются «блестящими» и «прочувствованными», думается, что г. Скабичевский вдруг заметил, что нет ни Правительствующего Сената, ни Святейшего Синода in plenum на его празднике. Горькое чувство обиды овладело им и он бросил обществу упрек, что литератор «в чуждом ему обществе не встречает ничего, кроме высокомерно-грубого презрения невежества к знанию и свету». А прежде, тридцать пять лет тому назад, то ли было? О, совсем не то. Тогда на юбилей г. Скабичевского пришли бы не только Правительствующий Сенат и Святейший Синод, но и все хозяева и хозяйки «богатых и знатных салонов». Именно тогда только «литература стояла на высоте своего призвания», воскликнул г. Скабичевский, и «литератор в то время был *первым лицом в обществе.* Он был всюду желанным гостем, *в самых богатых и знатных салонах его сажали на первое место, его ласкали, перед ним преклонялись, в нем заискивали».*

Вот как было. Боже мой, как хорошо было. И г. Спасович, и г. Михайловский, и г. Градовский, и г. Пыпин, и г. Антонович, и г. Острогорский, и г. Модестов слушали это и аплодировали, ибо они это время тоже помнили, и если не снижали в «знатных салонах» по молодости лет, если перед ними не преклонялись, не заискивали в них, то они слышали и видели, как «преклонялись» перед другими литераторами и как «заискивали» в них. Но, господа, не во сне ли приснилось

все это почтенному г. Скабичевскому и не из скромности ли вы ему не возразили? Я-то ничего подобного не помню и не слыхал. Я не знаю времени, когда бы в «знатных салонах» заискивали в литераторах, сажали их на первое место и перед ними преклонялись. Я не слышал о времени, когда «литератор был первым лицом в обществе». Напротив, мне думалось, что литератор лет пятьдесят уже живет особняком, в своем литературном кружке, своими литературными интересами. Даже литераторы, принадлежавшие по рождению к т. н. свету, стали группироваться около таких незнатных людей, как Белинский, Герцен, Некрасов, Панаев, Краевский, Добролюбов, Аксаков, Катков и т. д. Исключения были совсем ничтожные. Если Некрасов был приятельски знаком с некоторыми аристократами, то не по литературе, а по картам, которые объединяют знатных и незнатных скорее, чем литература. Если в Каткове «заискивали», если его «ласкали», то это было уж в другое время и не его, конечно, разумел г. Скабичевский. Конечно, 1859 год был одним из блестящих литературных годов. Достаточно назвать Тургенева, графа Толстого, Гончарова, Писемского, Островского — всех этих орлов нашей литературы, отмеченных таким сильным дарованием, не говоря о целой плеяде молодых писателей, менее одаренных, но все таки крупных и блестящих, как Некрасов, Майков, Григорович, Полонский, Тютчев, Потехин, Добролюбов, Ап. Григорьев, Чернышевский, Кавелин, Аксаков и проч. и проч. Кроме одного, все орлы литературы совершили свой путь и отошли в вечность; и из других остались немногие. Но кого же из них «ласкали», перед кем «преклонялись», в ком «заискивали», кого в «знатных салонах» сажали на первое место? Я не знаю и не слыхал.

Желая освежить воспоминания об этом 1859 годе, я стал просматривать «Современник» и в апрельской книжке этого 1859 года прочитал нечто о лжи, в опровержение г. Скабичевскому 1894 года. Вот что я там прочитал: «Ложь эта состоит в высоком мнении литературы о том, что она сделала. Почитаешь журнальные статейки, так иногда и в самом деле подумаешь, что литература у нас — сила, что она и вопросы подымает, и общественным мнением ворочает... А на деле ничего этого нет и не бывало: литература у нас постоянно, за самыми ничтожными исключениями, до настоящей минуты шла не впереди, а позади общества... Все наши общественные потребности и стремления прежде всего находили себе выражение в административной и частной экономической деятельности, а потом уже (и нередко долго спустя) переходили в литературу. Из всех вопросов, занимавших наше общество в последнее время, мы не знаем ни одного, который действительно был бы поднят литературою, не говорим уж о том, что ни один не был ею разрешен». И затем автор статьи перечисляет вопросы, поднятые правительством или официальными журналами, как «Морской Сборник». О пользе железных дорог в России первый заговорил «Times», потом журналы путей сообщения и государственных имуществ; о воспитании — «Морской Сборник» статьями Бема и Пирогова; вопросы об изменениях учебной части в университетах, гимназиях и о женских школах подняло правительство в 1856 году, а первая статья об университетах Н. Х. Бунге явилась в 1858 г. в «Русском Вестнике» и уже после нее литература приняла в этом вопросе живое участие. Мало того: «основано было, говорит наш автор, много женских открытых школ, не только правительством, но даже и частными лицами. А литература только что начала говорить о их пользе и надобности. Не менее жалкая роль выпала на долю литературы и в толках об экономических улучшениях» и т. д.

Знаете, кто это говорил? Добролюбов, этот кумир 60-х годов, которого г. Волынский низводит с высоты в «Северном Вестнике», потому что г. Волынский лишен русского чувства и не может понять, чем был дорог Добролюбов тогдашнему обществу. Добролюбов развил свои положения о литературной лжи превосходно, со всех сторон, приняв в соображение и «независящие от литературы обстоятельства»: «она (литература) ничего не сделала и не имеет права гордиться тем, что *поднимала* серьезные общественные вопросы. Нам нет надобности знать, какие великие таланты и какие неодолимые силы заключаются в душах наших публицистов; мы говорим только о *делах* их и говорим, что дела эти до сих пор ничтожны». Спрашивается, за что же литераторов в «знатных салонах» сажали на первое место, за что их ласкали и зачем заискивали в них? Очевидно, надобности в этом никакой не было, да и самого этого факта не было.

Это — сон г. Скабичевского. Он видел этот сон накануне своего юбилея и, будучи возбужден, принял его за действительность и вдруг воспылал честолюбием, захотел в «знатные салоны», захотел приветствий со стороны Правительствующего Сената и Святейшего Синода. Иначе я не могу себе объяснить этой фантазии со стороны такого демократа, который всегда больше сочувствовал крестьянской бабе, чем княгине, более жизни в избе, чем в салоне.

Не прав г. Скабичевский и в том, что унижает наше время перед временем прошлым. Начать хоть с малого: если б он праздновал свой юбилей в 1859 году, то собрал бы вместо теперешней сотни какой-нибудь десяток знакомых, и если б между ними очутился г. Волынский, его бы взяли под руки и посадили за стол честь честью, а не отказывали бы ему. (Кстати, я далеко не поклонник талантов г. Волынского, но не могу не сказать, что с ним поступили не только глупо, но даже грубо). В том же марте, когда обедали в честь г. Скабичевского, тридцать пять лет тому назад обедали в честь Мартынова, гениального артиста, любимца публики, уезжавшего за границу, и не набралось и сорока человек «литераторов и почитателей» на этот обед, а Мартынов — не чета, конечно, г. Скабичевскому, по силе таланта и известности. Как вырос образованный класс с того времени! Вся Россия страшно выросла, страшно выросла литература и общество, выросло участие к общественным интересам, выросло образование и наука, выросла грамотность, выросло все до неузнаваемости. Может быть, мы выросли бы еще больше, если б история шла так, как хочется лучшим людям. Но нельзя же не видеть нашего роста и на том пути, который мы прошли. Замечательно, что только женщина осмелилась слабо возразить г. Скабичевскому. Это была г-жа Калмыкова. Она сказала, что «свет есть, но нет глаз» и что надо распространять образование в народе. Действительно, свет не потухал никогда — он только светил неровно. В 60-х годах в народе едва ли расходились десятки тысяч экземпляров книг, а теперь их расходятся миллионы экземпляров. Одно уже это чего-нибудь стоит.

2 (14) апреля, № 6499

CLXX

Чудеса земли русской. Под этим заглавием можно бы написать превосходную книгу, которую стали бы читать и перечитывать все, от мала до велика. А то книга перестает читаться, потому ли, что все стали так образованны, что ни в каком чте-

ний, кроме газетного, не нуждаются, или потому, что выходящие книги малоинтересны. С чудесами встречаешься ежедневно, не только под заглавиями «чудо», но и под заглавиями, даже не намекающими на чудо, но тем не менее заключающими чудо. К этим чудесам я отношу и «инцидент» с г. Волынским на юбилее г. Скабичевского. Вчера я отказался напечатать в «Новом Времени» «коллективное» от четырех распорядителей разъяснение этого случая, отказался потому, что это разъяснение показалось мне грубым по форме и по содержанию, не говоря уж о том, что оно неискренно и фальшиво. Желающие в этом убедиться могут прочесть это «коллективное» разъяснение сегодня в «Новостях», которые его напечатали. Оскорбленному писателю подносят новое оскорбление единственно потому, что он прибег к самозащите в своем журнале, в «Северном Вестнике». Сегодня я получил *единоличное* разъяснение этого дела от г. Острогорского, которое мотивирует отказ г. Волынскому такими причинами, которые могут быть приняты в соображение даже самим г. Волынским. Г. Острогорский, подписав «коллективное» разъяснение, вместе с тем отделился от своих товарищей-распорядителей, чтобы стать на почву искренности и сказать правду.

Позвольте мне рассказать несколько подобный случай, бывший в Париже, когда представители русской литературы давали банкет французской печати, под председательством г. де Вогюэ, в залах отеля «Континенталь». Редактор газеты «Intransigeant», г. Воган, обратился к С. С. Татищеву с заявлением, что он получил от г. Рошфора по телеграфу тост в честь русской печати и что этот тост он хотел бы произнесть. Татищев сказал ему, что все письменные и телеграфные заявления должны быть переданы распорядителям и они войдут в описание обеда, но за обедом положено не читать их. Г. Воган отказался передать этот документ Татищеву, настаивая на своем праве произнести его и сопроводить его своей речью. Тогда Татищев обратился к г. де Вогюэ, как председателю, от которого зависело решение говорить речи на обеде. Надо заметить, что в Париже не бывает ни одного обеда, ни одного завтрака, на котором присутствует десять-двенадцать человек, без председателя. Г. де Вогюэ сказал, что сам он ровно ничего против тоста Рошфора не имеет, хотя заявление это сделано слишком поздно, когда уж собирались занять места за столом, и когда весь порядок тостов и речей определен. Но г. де Вогюэ обратил внимание г. Татищева на то, что он не знает, как на это дело взглянут его товарищи, академики, и те литераторы, которые могут ждать от Рошфора чего-нибудь неприятного. Тост Рошфора, содержание которого притом еще г. Воган отказывается сообщить, может быть такого рода, что смутит очень многих из присутствующих, что совсем нежелательно на таком мирном празднике. Наконец, г. де Вогюэ прибавил, что на банкете присутствуют представители русского посольства, а потому необходимо обратиться к ним. Г. Татищев переговорил тогда с Н. К. Гирсом, старшим представителем посольства на нашем обеде. Как и следовало ожидать, г. Гирс заявил, что он — представитель посольства при дружественной державе, законы которой он уважает и обязан их уважать, а эти законы осудили Рошфора и считают его преступником, справедливо или нет — не его дело это разбирать, — а потому, не зная содержание тоста и речи, в которых могут быть неприятные для французского правительства выражения и мысли, он не считает себя вправе присутствовать на банкете, где может быть оскорблено французское правительство. С. С. Татищев передал все это г. Вогану, который согласился не произносить ни речи, ни тоста,

и ни об этом случае и ни о самом обеде не сказал в газете ни слова. Все это было сделано, благодаря такту г. Татищева, так осторожно, что, кроме четырех лиц, непосредственно заинтересованных, т. е. гг. де Вогюэ, Гирса, Татищева и Вогана, никто ничего не знал, обед прошел прекрасно. Не знали об этом ни покойный теперь Гайдебуров, ни Немирович-Данченко, ни Комаров, ни я. Только после обеда Татищев все это рассказывал нам, и мы решились на другой день отправиться в редакцию «Intransigeant» и выразить наше сожаление, что этот случай мог доставить нашему гостю неприятные минуты. Таким образом, мы сделали все, что лежало на обязанности распорядителей праздника. Главная разница между рассказанным мною инцидентом и тем, что произошло на празднике г. Скабичевского, заключается в том, что у нас все были приглашены, тогда как г. Волынского не приглашали; но несомненно есть и черты сходства. И я смею думать, что распорядители юбилея г. Скабичевского, как на самом юбилее, так и после него, печатая свое «коллективное» письмо, полное непозволительного задора против г. Волынского, поступили не так, как следовало. Г. Острогорский исправляет это «коллективное» заявление тем, что он, отказывая г. Волынскому, боялся скандала, неприятностей, столкновений, что его опасения были справедливы, ибо за самым обедом, когда читали письмо г. Волынского к г. Скабичевскому, слышалось шиканье.

Все это и надо бы объявить г. Волынскому, когда он явился обедать, и предоставить ему самомурешить важный вопрос, обедать ли ему в ресторане «Медведь» или у себя дома. Так из неискренности и недоразумений не только рождаются такие малые события, как этот «инцидент» — что за противное слово! — так и даже события великие, вроде кровавых войн. И хотя во время войн бывают непременно «блестящие победы», а во время юбилеев непременно «блестящие речи», но они не покрывают собою всего дурного и ненужного.

Я расскажу о другом чуде, о странниче Антонии, которым занимался Петербург на этих днях. Явление характерное и более интересное, чем спиритизм и чем гг. Волынский и Скабичевский. Вы, пожалуйста, не пожимайте плечами, ибо следует помнить, что этим странником интересуется гораздо большее число жителей Петербурга, чем этими критиками.

5 (17) апреля, № 6502

CLXXI

Сегодня он должен был консультировать с Л. Б. Бертенсоном у одного больного, а он лежит бездыханный, со сложенными на груди руками, с опущенными на глаза веками, и не слышит, что ему поют вечную память и желания, чтоб душа его упокоилась со святыми, где нет ни горестей, ни печалей, ни профессоров, ни газет, ни больных, ни докторских визитов, ни консилиумов, ни всей этой житейской сутолоки. В ногах его венки с траурными лентами с надписями «Нилу Ивановичу Соколову», около — студенчество, это — будущие врачи, целители больного человечества, профессора, доктора, дамы, знакомые. На дверях еще остается его имя. Он еще у себя дома, идут еще к нему, но он уже не тревожится и вполне равнодушен ко всем этим заявлениям. Его нет уж, осталось то, что не имеет никакого

значения, что можно сейчас обратить в пепел и что смешается с землею и станет землею, этой матерью всего живущего, которая постоянно рождает и погребает.

Я слышал, что на этих же днях умер другой врач, тоже внезапно, вообще между врачами такие случаи часты. Это — каторжная специальность. Какая работа сердцу! Одни эти поднимания на этажи, эти восхождения на горы, всю жизнь, без отдыха, чего-нибудь стоят. А волнения? Трудно поверить, что есть врачи, которые смотрят на больного, как на материал или как на источник гонорара. Нил Иванович, во всяком случае, никогда не принадлежал к людям подобного рода. Он знал нужду, тяжелый труд, лишения всякого рода, он стал на ноги путем усилий и внимания и уважения и к науке и к людям. Только рожденные в роскоши или в хорошем достатке не знают, что значит подняться по этой лестнице общественного служения и устроиться несколько независимо. Сколько приходится вынести душе, всему тому, что называется головой, нервами, сердцем! Сколько труда и напряжения для одного того, чтоб бороться против зависти, клеветы и злобы и как мало доброго, поощряющего, помогающего и любящего! Что за крепкий организм надо иметь! Что удивительного, что он не выносит и что сердце отказывается служить. «Скажите, как внезапно умер! Отчего бы?...» Отчего бы? Да какая работа сердцу врача даже для того, чтоб сохранить спокойствие. Хирург, режущий живое тело, разве он спокоен? Он знает, что необходимо быть спокойным, но он делает для этого усилия. Врач, который лечит трудного больного, разве он спокоен? Да если он и привык к страданиям, он знает, что его репутация зависит от этого больного, его карьера, его средства к жизни, его честолюбие. Всякий умерший, которого он лечил, ставится ему на счет. Люди знают, что все должны умереть, что и всякий доктор непременно умрет, но не прощают доктору, если он не вылечил. Им всегда кажется, что можно вылечить, что доктор дал не то лекарство, что он «не понял болезнь», непременно не понял; если б он понял болезнь, то больной непременно бы выздоровел. Человек безжалостен, когда дело касается его жизни. Врача решительно трепят; ему не прощают ничего, считают его машиной, зовут по всяким пустякам, во всякое время. Звонок в его квартире дергает его нервы и сердце; постоянные разъезды, постоянные восхождения по лестницам, постоянные встречи встревоженных лиц, нервные запросы, сомнения в его знании, явно выражаемые, или непоколебимые надежды на его всемогущество, что одинаково не может быть спокойно переносимо, возня с больным, выслушивания, выстукивания, прописка лекарства, проводы. Ах, слава Богу, кончено, и ноги бегут по лестнице, вот экипаж, уличный стук и гром — это отдых; затем опять лестница и новые сцены, и т. д., без конца, во все дни. В этой суголоке некогда подумать о своем здоровье, о своем личном счастье, которое все сводится на то, чтоб заработать денег. Принимаем ли мы все это во внимание, когда судим врача? О, далеко нет. Мы быстры в своем недовольстве, в своем мнении, и часто за нескольких шарлатанов или недобросовестных людей заставляем отвечать всех. Мы быстро судим, не умея разобраться не только в душе врача, в его психологии, в его сомнениях и его муках, но даже в его физической силе. И вот вам пример — этот мертвец, этот добрый человек и прекрасный врач, который сегодня думал быть на консилиуме. Заработался, переутомился, сердце не выдержало, и он умер. Бог послал ему легкую смерть — это утешение, если тут можно чем-нибудь утешаться. Стряхнуть с себя разом эти покровы тела, перейти в другой мир без болезни, без пролежней, без хлопот, без

докторов — это хорошо. Смерти избежать нельзя. Со смертью помириться можно, но трудно мириться с целыми месяцами, даже годами страданий, если впереди нет никакой надежды. А это бывает часто, и как бы ни был стар человек, он все еще рассчитывает, все надеется, все еще ласкает себя призраками, все еще думает, что жизнь не ушла от него и он может еще рвать цветы ее, — глупец, которого исправит одна могила...

10 (22) апреля, № 6507

CLXXII

Странник Антоний уехал из Петербурга, возбудив толки и породив целую серию статей в одной из петербургских газет, которая рассказывала удивительные чудеса об его удивительных подвигах. Газета даже свесила вериги, которые он носит на себе, и пламенно изобразила, как эти вериги на нем заковывали. Все эти сведения заимствованы газетою из самого достоверного источника, именно от самого Антония, из рассказанной им кому-то своей автобиографии. За Антонием ходили толпы народа, толпы собирались около дома, где он останавливался, и тысячи желали видеть его и получить от него совет. Он принимал, как душевный врач, и брал за вход известную плату. Один мой приятель, педагог, пошел к нему и имел с ним такой разговор:

— Вы совета хотите от меня?

— Нет, я совета не хочу. Я просто пришел на вас взглянуть.

— Чем вы занимаетесь?

— Я — учитель.

— Доброе дело. Учите детей хорошенько креститься. Это — самое важное.

Моя приятельница была у него. Среди толпы, стоявшей в передней безмолвно, был один, по-видимому, купец. Из соседней комнаты доносился голос. Купец обратился к женщине, прислуге в том доме, где остановился странник:

— Это его голос? — спросил купец.

— Его, батюшки.

— Легкий голос, — сказал купец.

Моя приятельница вошла в комнату. Антоний сидел на кресле. Это — еще не старый человек, рыжеватый, с бородой, с энергическим лицом. На коленях перед ним стояла женщина, в шляпке, и что-то шептала ему. Он в ответ ей тоже что-то шепнул. Женщина истерически закричала, а Антоний заговорил: «Это хорошо, хорошо!» Тогда женщина стала так кричать и взвизгивать, что моя приятельница не вынесла и убежала из дома.

Недели за три до появления в Петербурге Антония я встретил начальника одного из горных округов, который встретил этого Антония в Барнауле. Он обратил на себя его внимание странным костюмом, вроде подрясника, который, по его словам, подарил ему один архиерей, и босыми ногами. Начальник узнал, что Антоний строит церкви, собирает на них и на школы пожертвования, что одну из церквей он построил в Барнауле. Он — мещанин или сын купца, имеет жену и детей. Босиком стал ходить, по его рассказу горному начальнику, вот почему, «Болели у меня ноги, говорил он. Вот вижу раз во сне Богородицу, и она мне

говорит: если хочешь вылечиться, ходи босым»[1]. С тех пор он и ходит босиком зимою и летом. Раз зимою, по его рассказу тому начальнику горного округа, о котором я упомянул, его продержали в одной из московских частей на дворе, на снегу несколько ночных часов. «Я было стал мерзнуть, говорил он, но у меня есть с собою причастие, и я его принимал». — «Какое же это причастие?» — «А мне один священник дал в сосудце, я его с собой ношу на груди и принимаю. Как стал я мерзнуть, я и принимал. Только от того и не замерз». Вообще на моего знакомого Антоний произвел впечатление человека простого, каких очень много между народом.

Когда я был ребенком, у нас в селе был юродивый Ларя, который зиму и лето ходил в синей длинной рубахе домотканного холста и босиком во всякий мороз. Я как теперь вижу его длинную фигуру, которая, подпрыгивая, шла по улице и, больно ударяя себя то хворостиной, то палкой по спине, кричала: «но, но!» Он заходил во дворы, где давали ему поесть, и где находил он ночлег. Тело его вечно было покрыто синяками и кровавыми рубцами. Всем известно значение на Руси юродивых. Юродивый ли Антоний и чем отличается подвижник от юродивого, я разбирать не стану; но я отлично понимаю, почему русский православный народ бегает за Антонием, просит совета и т. д. Жажда религиозной пищи, жажда найти утешение в страданиях, вера в чудо, в пророческий дар подвижников играют тут большую роль. Нового ничего тут нет. Это всегда было и, вероятно, долго будет. Если есть разница между прежними подвижниками и нынешними, то она только в том, что прежние не знали газетной рекламы, не снимались в фотографии и совершали свои подвиги в тишине. Поэтому им труднее было прославиться. Антоний, очевидно, понимает, что газетная реклама необходима теперь и для подвижников и что «автобиография» и фотография — вещи далеко нелишние даже для «пророков». Хорошо это или нет — вопрос, я думаю, лишний в наше время, когда все является в газетах, обо всем пишут, обо всем сообщают, все стремятся к известности и славе и никто от нее не бегает; газетный репортер может выслушать «автобиографию» в четверть часа, а напишет эту автобиографию своими словами так пространно, что читатель и в три дня ее не одолеет. Я думаю, что с «автобиографией» Антония случилось именно это перерождение, а потому Антоний «Петербургского Листка» совсем не похож на Антония действительного, на того, которого рисовали мне мои знакомые.

---

[1] Этот факт рассказан и в «Петербургском Листке», но посмотрите, что сделал биограф из простого рассказа Антония, как он его украсил цветами риторики и сколько присочинил: «Во время своей болезни Антоний увидел во сне образ Божией Матери Троеручицы, какой-то седой старец в светлом одеянии сказал ему: «Антоний, ты призван послужить Богу. Оставь свой дом, жену и детей и следуй за мною. Я укажу тебе путь к спасению...» Антоний был поражен этим видением, но каково же было его удивление, когда на другой день, утром, он случайно взглянул на висевший в переднем углу образ Николая Чудотворца и узнал в нем того самого старца, который являлся к нему ночью. Сходство было так велико, что не оставляло ни малейшего сомнения в тождестве; даже выражение лица то же самое... Как только Антоний сделал это открытие, он решил сейчас же принести клятву подвижничества и послал пригласить священника — своего духовника. Последний не замедлил придти и, не зная ничего, принес с собой икону Божией Матери Троеручицы, которою и благословил больного.

— Может ли после этого быть сомнение в моем призвании? — спросил Антоний батюшку, рассказав ему свое сновидение.

— Да, это слишком очевидно. Удивительно также, что эту икону Божией Матери, которою я благословил тебя, принес мне какой-то странник, и я сам не знаю, почему я вздумал благословить ею тебя, сын мой!

Не похож также и о. Иоанн Кронштадтский на самого себя в тех многочисленных писаниях, какие ему посвящаются. Но это — величина совсем другого рода, и об нем я скажу особо на этих же днях. Сегодня же упомяну о том, как искажаются это лицо и его дела в газетных сообщениях. Я прочитал вчера в «Петербургской Газете» начало статьи «Новое исцеление силою молитвы о. Иоанна Кронштадтского». Статья небольшая, но продолжение ее отложено до следующих нумеров, как продолжение интересного романа. Статья написана вовсе не в том стиле, в каком обыкновенно пишутся статьи в «Петербургской Газете». Это — стиль серьезный, повышенный, то, что называлось прежде «высоким слогом». Рассказывается о какой-то московской, «цветущей здоровьем и жизнерадостно», девице Рук-вой, которая присутствовала в одном доме, где был о. Иоанн, не только со «скептическим безверием и греховным вольнодумством», но «из уст ее раздались даже кое-какие неуместные и неуважительные отзывы о глубоком смирении и богобоязни всех прочих присутствующих». После молебна *«случайно* проходя мимо ее (девицы Рук-вой), о. Иоанн *как бы случайно перстом дотронулся до живота ее,* после чего удалился». Не прошло и одного дня, как девица из цветущей здоровьем и жизнерадостью обратилась в больную: «никакие яства и пития, продолжает описатель церковным слогом, не воспринимались уже ее организмом и даже малейший глоток чаю вызывал рвоту и сильнейшие боли». Разумеется, «врачи только недоумевали», девица уехала в Москву — там ей стало еще хуже. Вдруг она видит во сне о. Иоанна, и, проснувшись, пишет ему письмо и едет в Петербург. Но, садясь в вагон в Москве, она увидела, что в смежный вагон садится о. Иоанн. На этом рассказчик прерывает. Понятно, что о. Иоанн помолился, и она так же мгновенно выздоровела, как и заболела. Это ясно из заглавия и окончание рассказа меня нисколько не интересует.

Меня интересует этот лицемерный и нелепый слог, это «скептическое безверие», точно может быть безверие не скептическое, это «греховное вольнодумство», указывающее как будто на то, что есть вольнодумство не греховное, к сожалению, не указанное, это «случайно проходя, как бы случайно перстом дотронулся до живота ее», эти «яства и пития» и т. д. Но более всего меня интересует совершенно не христианское, совершенно не православное и совершенно не человеческое отношение к человеку, приписываемое о. Иоанну. Во Христе сомневались, и он не наказывал сомневающихся, не просил Бога Отца поразить их болезнями, Его распинали — Он молился за врагов своих, один из апостолов Его, Фома, не верил в Его воскресение — Он велел ему вложить палец в рану свою.

Вот пример для христианина, и о. Иоанн знает об этом лучше всякого другого. А тут, в этом описании, он является каким-то чародеем, обладающим свойством прикосновением своего перста — почему у него перст, а не палец, не понимаю — производить страшные болезни, наказывать сомневающихся в нем, чтоб исцелять их потом. Что за безумие! Точно мало ему дела, точно мало страданий и без того, чтоб производить еще новые. Ему приписывается какое-то мстительное чувство, желание изувечить девицу Рук-ву за то, что она усомнилась в нем. Что это за клеветы, что за бессовестные бредни, для кого и для чего они пишутся? Неужели во славу Божию, во славу религии, во славу благочестия? Конечно, о. Иоанн может презирать подобные клеветы на него и не протестовать против приписываемых его персту чудодейственных нелепостей и его чувству — злобы: фраза *«как бы случайно* дотронулся перстом до живота ее» указывает, что автор

описания именно не случайность тут разумел, а намеренность священника этим прикосновением к животу произвести в нем расстройство, а затем исцелить это. Меня вся эта белиберда решительно возмущает, и я не могу не указать на нее, ибо это белиберда лицемера, который аляповато подделывается под возвышенный слог и думает лицемерными перстами своей руки изобразить якобы чудо, тогда как во всем этом даже никакого подобия чуда нет. Я потому и говорю, что о. Иоанн совсем не похож на самого себя в этих писаниях, которые ему посвящаются неразборчивыми на средства господами, этими обманщиками толпы, меряющими копейками свое лицемерие и спекулирующими на бесхитростную и искреннюю веру толпы. Очевидно, «Петербургская Газета» позавидовала «Петербургскому Листку», где так много читалось об Антонии, и пожелала наверстать на «новом чуде» о. Иоанна. Недаром же она растягивает на три нумера то, что легко уместилось бы в одном.

13 (25) апреля, № 6510

CLXXIII

1 июля 1812 г., в Вильне, между Наполеоном и Балашовым, посланным Александра I, происходил известный разговор; Наполеон, между прочим, спросил Балашова, сколько в Москве жителей, домов и церквей. 300 тысяч жителей, 10 тысяч домов и 240 церквей, — отвечал Балашов.

— Зачем столько церквей? — спросил Наполеон.

— Наш народ постоянно их посещает.

— Отчего это происходит?

— Наш народ набожный.

— Ба! В наше время нет набожности.

— Извините, ваше величество, не везде одинаково. Может быть, нет набожности в Германии и Италии, но в Испании и России еще набожны.

И спустя почти сто лет после этого мы остались народом набожным, религиозным. Религиозные интересы, несомненно, преобладают у нас, если мы возьмем огромное большинство нашего народа. О политических партиях мы еще сможем спорить, если не о том, что они у нас есть, то о том, носят ли они в себе определенное содержание... Но существование партий религиозных, и притом весьма определенного содержания, несомненно. Это началось даже прежде раскола, усилилось вследствие проклятий московского собора 1667 г., расколовшего православных, и продолжается доселе. Строятся церкви, часовни, отливаются колокола, идут пожертвования. Если б старообрядцы имели право строить церкви, — их бы строилось еще больше и это способствовало бы борьбе с такими религиозными движениями, как духоборческое и штундистское, которые сами устраняются не только от постройки церквей, но и от молений в них. Но религиозный дух все это проникает и руководит народной жизнью, ставя в ней на первую ступень — благочестие. Религиозные стремления проникают, так сказать, собою народную политику и социологию, выражаясь политическим языком. В этом отношении русские имеют большое сходство с англосаксонским племенем, устроившим американские Соединенные Штаты и такое крепкое государство, как Великобритания, где религия продолжает играть большую роль, несмотря на

всевозможный материализм и развитие всякой гражданственности. Я думаю, что эта русская черта, т. е. наша религиозность, составляет одну из крепких государственных сторон для нашей будущности.

Два течения совершенно ясно проходят по нашей истории в последние три века — церковно-православное и реформатское; последнее известно вообще под именем раскола и разбивается на множество сект.

Мы живем в такое время, когда два лица как бы соперничают между собою в области религиозного влияния — граф Толстой и о. Иоанн Кронштадтский. Не удивляйтесь этому сопоставлению. Оно не притянуто мною искусственно, ибо оба они нисколько не выходят из общих рамок русской жизни и нисколько не новы. О. Иоанн является представителем православия во всей его законности и его привлекательности для верующей православной души, ищущей исцеления, очищения от грехов, надежды на Божие милосердие и на Божие чудо. Граф Толстой — представитель другого направления, реформатского или раскольничьего, доведенных до крайних пределов. Оба они, как известно, пишут и излагают свое учение, один православное, другой — свое собственное, но которое он считает древнехристианским. Оба написали свои автобиографии. Оба, но у разных частей населения, пользуются большим авторитетом. Оба собирают пожертвования, или вернее Толстой собирал их во время голода, устраивал столовые и печатал отчеты о них, а о. Иоанн постоянно получал и получает пожертвования на разные благотворительные дела. Далее между ними едва ли есть сходство, но важно то, что оба они — русские люди, идущие по двум течениям нашей религиозной жизни. Я не критикую, а указываю только на связи исторические.

О. Иоанн, изумительно деятельный, не прибегающий ни к каким наружным отличиям от других состоятельных священников, ни к бедной одежде, которая часто есть естественная принадлежность священника, ни к постничеству, ни к веригам, принимающий всякое даяние, всю силу своего влияния основал на молитве. Т. н. «чудеса», которые ему приписывают, вышли сами собою из веры в действительность его молитвы. Он остается сыном своей православной церкви, с ее догматами и обрядами, с ее великолепною службою и помощью ближним. Если о. Иоанн ввел что-нибудь новое, то разве только публичную исповедь перед причащением, за литургией. Эта исповедь производит потрясающее, страшное впечатление на всех, кто при ней присутствует. «Покайтеся!» и начинаются стоны, вой, выкрикиваются слова: «я — убийца», «я — вор», «я — прелюбодей»; женские голоса выделяются резкими, пронзительными, больными, истерическими тонами в этом хоре, который ждет еще своего Вагнера для переложения на оркестр. И он приобрел изумительный авторитет не среди народа только, но и среди образованного общества, которое держится веры, или, если и отстало от нее, то не настолько, чтоб не прибегать к ней в минуты тяжких испытаний и болезней. Популярность о. Иоанна — чисто русская православная.

Когда появился Антоний, о. Иоанна как бы забыли ради Антония. Все устремилось к последнему. Даже в Кронштадте на о. Иоанна стали меньше обращать внимания, бросаясь к новому человеку, который принимал всех по очереди, как доктор, раздавал всем краткие советы и являлся в простой одежде, под которой были вериги, с железным посохом в 30 фунтов, увенчанным крестом. Помимо этой наружности и славы, которую трубили газеты, Антоний являлся более доступным, более народным, так сказать, и по облику, и по содержанию речей. О. Иоанн

выше толпы и всего чаще посещает богатых, может быть, потому, что только богатые могут дать для бедных; его дни и часы разобраны заранее, как знаменитого доктора, если не в Петербурге, то в Москве или ином городе; бедные адресуются к нему с письмами и это заменяет иногда вполне присутствие самого о. Иоанна, ибо и по письмам совершаются исцеления. О. Иоанн прочтет сто писем, помолится, и если одному человеку станет легче, то и за то надо благодарить Бога. Он ездит в каретах, да иначе, как в каретах, ему и ездить нельзя. Я несколько раз видел, как окружала его толпа, тискала, почти рвала, когда он являлся из вагона на платформу в Петербурге или Москве; если б не было стражи около вагона, то и вагоны не остались бы целы. Я видел раз, когда он выходил из подъезда одного дома, чтоб сесть в карету. Ему надо было сделать всего пять-шесть шагов; но он был решительно сжат толпою, которая поднимала его и тискала, и на эти шесть шагов ему понадобилось несколько минут. Наконец, он в карете. Лошади тронули, но толпа опередила их и остановила, дверцы кареты раскрыли, и, теснясь друг за другом, масса людей устремилась подойти к о. Иоанну. Но кучер, сдержав на минуту лошадей, разом погнал их, и толпа отхлынула, и карета понеслась, увозя священника. Очевидно, для всей этой толпы получить благословение, поцеловать руку, поцеловать край одежды его уж было большим счастием. Она его ждет не у себя на дому, не в своих коморках, а только на улице, на лестницах домов, которые он посещает, у подъездов, из которых он выходит. Если б он пошел пешком, его сбили бы с ног, раздавили бы, произвели смятение.

Понятно, что около него существует целая компания людей, которая его возит, охраняет, защищает, распределяет его визиты. Это — паразиты, быть может, лукавые и лицемерные, а может и преданные. Из этой компании, несомненно, идут и публикации в газетах об его чудесах и об его пожертвованиях на разные благотворительные дела, публикации вопреки евангельскому слову: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая; чтоб милостыня твоя была втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сам о. Иоанн только исполняет свой долг, свое служение Богу и людям, не вмешиваясь в обыденные мелочи. Получая, он иногда тут же раздает направо и налево, и об этих суммах никто не знает. Но люди, некушиеся об его славе, желающие распространить в публике как можно больше описаний его «чудес», вредят ему своим чрезмерным усердием, печатая в газетах такие лицемерно-нелепые сказания, как то, о котором я говорил, и конец которого сообщен вчера в «Петербургской Газете». Все случилось так, как я предугадывал. О. Иоанн помолился, и г-жа Рук-ва *мгновенно* выздоровела и на станции Любань «стала вкушать хлеб и чай». Рассказчик именно так заставляет говорить девицу: «я стала вкушать». Вкусив «большую булку» и выпив стакан чаю, девица Рук-ва вдруг «почувствовала полный подъем своих сил». Понятно, что не любанская булка произвела это чудо. Но если чудеса заключаются в таких повествованиях, то их можно сочинять ежедневно и описывать гораздо лучше, более выдержанным и более благородным слогом, а не этим лакейски лицемерным.

Бесспорно, что вера исцеляет, вера горами двигает; но бесспорно также, что исцеляют и врачи, исцеляют лекарства, гигиена, природа, исцеляет правильная и, так сказать, праведная жизнь; думаю, что праведная жизнь исцеляет больше всего, ибо она угодна Богу, она — завет Его человеку, исконн веков преподанный, но человек постоянно его нарушает, ибо жить праведно очень трудно. Кто пра-

ведно живет, тот и долго живет, того и болезни посещают редко, тот и в чуде не нуждается, ибо он сам чудо, праведно живущий человек. Для остальных надо чудо; они слишком ничтожны, чтобы верить без чуда. Капернаумскому царедворцу Христос сказал: «вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес»...

Давайте чуда! Оно нужно и для царедворца, и для купца, и для бедняка. И замечательно, что мы желаем чуда только для себя самих, или для наших близких; не любовь к людям нас двигает, а любовь к самим себе. Среди миллионов <найдется> страждущих больше чем мы, нам дороги только собственные страдания, только собственное горе, которое кажется нам важнее всякого другого горя в мире, и мы просим, чтобы именно для нас Бог совершил свое чудо, чтобы именно нас он предпочел всем прочим. Какие безмерные мы самолюбцы! Не поступаем по законам Божиим, но хотим, чтоб для нас, для нашего благополучия, Бог нарушал свои законы, на которых построил Он вселенную и человеческую жизнь. А ведь чудо есть нарушение этих законов.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что о. Иоанн многим помогает, что он поддерживает и возбуждает веру; но и не сомневаюсь также и в том, что он далеко не всем помогает, что если б рядом с т. н. «чудесами» его печатать и случаи, где он ровно ничего не мог сделать, то последних, конечно, было бы гораздо больше, и это подорвало бы веру в ту деликатную вещь, которая так легкомысленно теперь называется чудом и которая требует осторожного обращения с собою и высокого настроения души. Вы скажете, что если исцеления не последовало, то значит вера не крепка у тех, которые просили исцеления. Да, так обыкновенно говорят и так объясняют; но это не от того, а от того, что в природе все взвешено Богом, все — гармония, все — чудо, и жизнь и смерть. Даже апостолы умерли, а уж об остальных что и говорить. Смерть так же нужна, как и жизнь, и если я умру на этих днях, то не от того, что не обратился к о. Иоанну или обратился к нему не с надлежащею верою, а от того, что настала пора умирать. Христос воскресил мертвого, но и воскресший Лазарь все-таки умер. Самое симпатичное мне чудо, которое о. Иоанн делает иногда, заключается не в тех чудесах, которые рекламируются газетами столь недостойно и столь богохульно, а в том добром влиянии, которое он производит на людей, перестающих пьянствовать, ругаться непристойно, воровать, ненавидеть, лениться, в том влиянии, которое заставляет богатых жертвовать и пробуждает в них искру любви. Больше любви ничего нет, и она только — великое чудо, если крепко посеяна в сердце человека.

15 (27) апреля, № 6512

CLXXIV

Самозванцы у нас появляются доселе, и один из них не менее знаменит, чем Лжедимитрий, ибо он заключает в себе черты всех самозванцев вообще. Это — Иван Александрович Хлестаков, биография которого превосходно рассказана Гоголем в комедии «Ревизор». Для появления самозванцев нужна известная почва. Эта почва существовала и в XVI веке и в XIX, но в XVI — в степени превосходной и притом совершенно исключительной.

Наши историки не пробовали проводить параллель между Иваном Александровичем Хлестаковым и названным царем Дмитрием Ивановичем, и, конечно,

никто из них за мной не последует. История — наука серьезная, и историки — люди серьезные, а я — вовсе не историк. Но я все-таки скажу, что «Ревизор» будет читаться и тогда, когда серьезных историков никто читать не станет, и самые имена их забудут. Художественное произведение тем и отличается, между прочим, от сочинения исторического, что оно живет гораздо дольше, делается общим достоянием и сохраняет за собою, помимо поэтических достоинств, и историческое значение, ибо в героях своих, их действиях и речах дает картину известного времени и уловляет не только смысл этого именно времени, но и смысл всего того отдаленного и близкого прошлого, которое насадило это настоящее время.

Комедия Гоголя дает нам весь материал для того, чтоб узнать не только причины появления Хлестакова, как самозванца, но и объясняет в значительной степени и причины появления самозванцев вообще. Потому я говорю, что «Ревизор» многое объясняет в явлении Самозванца. Он объясняет, как быстро человек осваивается с своим положением, к которому совсем не был приготовлен, как легко начинают его принимать за умного и дальновидного человека, как высокое общественное положение человека поднимает вместе с тем и значение речей его, как легковерны не только массы, но и люди сравнительно образованные, как ложь быстро овладевает всеми, одними — по легковерию, другими — по страху, третьими — по холопству, четвертыми — по тонкому или грубому расчету; как «внушение» невольное столь могущественно захватывает всех, что против него трудно устоять. Наши историки в деле Самозванца ищут многого днем с огнем и потому доселе не нашли ничего существенного после Карамзина. Им хочется узнать, кто подставил Самозванца? Иезуиты — ради католической пропаганды; поляки — ради желания унижения Руси; бояре — ради ненависти к Борису и своего честолюбия. «Польско-русские знатные фамилии» подставили Самозванца, прибавляет г. Иловайский. Ответы эти строятся на основании анализа такого вопроса: «кому был выгоден Самозванец»? Но кто выставил Хлестакова, кому он был выгоден? Он явился сам, потому что почва для него была готова — почва городничих, судей, смотрителей училищ, полиции, администрации, просвещения, благотворительности, беззакония, холопства, дрожания перед тем, кто палку взял, кто назвался властью из Петербурга. Почему же Самозванец Смутного времени непременно подставлен кем-нибудь, а не мог сам явиться, когда обстоятельства времени все были за его появление? Когда запорожцы еще до этого помогали разным авантюристам в Молдавии, где и обстоятельства времени, например, прекращение династии Богданидов, романическое появление незаконного сына Стефана Великого, Петрилю, который из простого рыбака делается государем, царствование жестоких, во вкусе Иоанна Грозного, государей, из которых один и назывался, как наш, Иоанном Грозным, царствование авантюриста, явившегося с о. Самоса, которому польский король помогал, как другой польский король помогал нашему самозванцу — все это факты, на которые историки едва обращают внимание. Наши историки не проводят подробной параллели между событиями в Молдавии и в России, а эта параллель более поучительна, чем параллель между Иваном Александровичем и Дмитрием Ивановичем.

Если Добчинский и Бобчинский подсказали городничему, что Хлестаков — ревизор, то почему не могло быть подобных же Бобчинских и Добчинских и в то время, именно таких же болтливых, а не глубокомысленных заговорщиков, которые подготовляют событие в течение целого ряда лет. Роль городничего сыграл

князь Адам Вишневецкий, за ним продолжали другие, по легковерию или расчету, до короля включительно. Психологически и исторически это очень понятно. История состоит из событий, причины которых были ничтожны, или неуловимы, или случайны, а сплошь и рядом люди добиваются правды, идя окольными и непременно глубокомысленными путями, боясь уронить свою ученую важность. Хлестакову поверили совсем не по глупости, а потому, что строй жизни этому способствовал. Поверили Пугачеву, поверили десятку самозванцев, являвшихся в XIX веке то в качестве ревизоров, то в качестве генерал-адъютантов. Царствовавший Самозванец был только первым у нас Хлестаковым, но Хлестаковым трагическим, едва не увлекшим за собою на край погибели все Московское государство и оставившим потомству загадочное имя Григория Отрепьева, а, может быть, он и вовсе не Самозванец, а только погиб в приписанном ему качестве Самозванца.

Мне скажут, что это за легкомыслие поверять прошлую историю историей настоящей? Это — фельетон, а не история. А мне думается, что и настоящая история смахивает на фельетон. На чем она основана? На документах. А что такое эти документы, официальные и неофициальные, вроде летописей, канцелярского делопроизводства, мемуаров и т. д. Неужели эти свидетельства так достоверны? Неужели они не отражают личности писавшего, его взглядов, его тенденции, его правительства? Правда, документы проверяются, критикуются, сортируются и проч. Но и в этом случае, самый добросовестный историк не может скрыть своих предубеждений, своих симпатий, своих литературных и иных целей, иногда очень узких, себялюбивых и даже капризных. Конечно, есть историки и историки, но я говорю о большинстве.

Г. Иловайский выпустил новый том своей «Истории России» — «Смутное время Московского государства». В это «Смутное время» Самозванец играет первенствующую роль.

Г. Иловайский старается доказать, что это — не Отрепьев, а западнорусс (раньше так думали Мериме и Костомаров). Он прилагает к своему тому отдельную статью, где старается доказать свое положение. Но доказательства его не только не убедительны, но даже не остроумны. Если их сопоставить, например, с доказательством в пользу того, что Самозванец именно Отрепьев, сделанным г. Казанским[1], то на стороне г. Иловайского не останется ровно ничего, кроме односторонней выборки из источников.

Г. Иловайский верит показанию *многих иностранцев,* что Самозванец неправильно говорил по-русски, что он неправильно прикладывался к иконам, а уверению *иностранца* же Маржерета, который утверждал, что Самозванец правильно говорил по-русски, не придает веры. Если иностранец говорит в пользу положения г. Иловайского, он ему верит, если нет — не верит. Г. Иловайский придает значение таким известиям, что Самозванец вез с собою *настоящего* Отрепьева, но не довез до Москвы, а сослал куда-то. Таким образом Лжедимитрий упустил такое драгоценное свидетельство в свою пользу, как тот самый Отрепьев, которого знали в Москве очень многие, которого проклинали, именем которого полна была Русь. Что могло быть действительнее предъявления Москве этой личности? Сам патриарх знал Отрепьева и не мог бы отказаться засвиде-

---

[1] Исследование о личности Первого Лжедимитрия. — «Русский Вестник», 1877, сентябрь и октябрь.

тельствовать подлинность его. Какой позор для покойных Годуновых, Бориса и Феодора, какой позор для всех тех, которые выставляли Отрепьева, как действительно лицо, осмелившееся на самозванство! И какое торжество для Самозванца! Но, вот, подите, Самозванец взял да и сослал его куда-то, и историк наших дней не находит тут ничего странного, ничего невероятного. На таких доводах основаны все его доказательства, что Самозванец — не Отрепьев. По-моему, такие же доказательства можно привести и в пользу того, что он был истинный царевич Дмитрий, даже не из источников иностранных.

В следственном деле об убиении царевича, как известно, не дошедшем до нас целиком, нет и следа, чтобы допрашивали царицу Марфу. И уж это подозрительно. То, что все свидетели убиения царевича исчезли потом бесследно, исчезли жильцы, игравшие с царевичем, что царица была заключена в монастырь, что жители Углича переведены в Пелым, объясняют тем, что Годунов хотел замести следы своего участия в преступлении. Но это ли одно? По-моему, есть такое же вероятие допустить, что убит был не царевич, а посторонний мальчик, что царевич исчез, что именно это обстоятельство заставило Годунова удалить всех свидетелей казнями, ссылками и пострижением, что царица Марфа не лгала, когда признала Самозванца своим сыном, но сомневаться могла, ибо невозможно признать в чертах двадцати одного — двадцати двухлетнего молодого человека черты мальчика семи лет: черты совершенно меняются. Теперь фотография доказывает это наглядно для всякого, представляя лицо одного и того же человека в разные лета его детства, отрочества, юности и т. д. Г. Ровинский, замечательный знаток в русских портретах, признает, что Самозванец чертами лица похож на Иоанна Грозного, именно в старости его.

Г. Иловайский, во всяком случае, ни на волос не подвинул вопроса о личности Самозванца. Как была она загадочною, так и осталась. О. Пирлинг, написавший замечательное исследование о Самозванце на французском языке[1], высказался почти в пользу того, что это был истинный царевич Димитрий; но потом он изменил свое мнение. В 1893 году, познакомившись в Париже с о. Пирлингом, я спросил его, правда ли, что он открыл новые документы, открывающие личность Самозванца? Он мне отвечал, что действительно есть новые документы, относящиеся к личности Самозванца, но он еще не успел их приготовить к изданию. По-моему, только новые документы и могут помочь раскрытию этого вопроса, а не переборка старых, всем известных, переборка, основанная на приеме поддерживать свою догадку подбором однородных свидетельств и опускать все то, что ей противоречит.

12 (24) мая, № 6537

CLXXV

Г. Иловайский не нашел ничего мне возразить в «СПб Ведомостях» на мои замечания о личности первого Самозванца кроме того, что у него в книге сказано, что не Самозванец «сослал куда-то» Отрепьева, как я выразился, а Шуйский «спровадил *куда-то*» Отрепьева, как выразился г. Иловайский; Самозванец же сослал

[1] Rome et Démètrius. Par le p. Pierling. S. J. Paris, 1878

Отрепьева в Ярославль и сослал его потому, что «он был алкоголик и притом невоздержан на язык». «Хотя, продолжает г. Иловайский, и служил наглядным доказательством того что Лжедимитрий был не Отрепьев, но знал тайну самозванства и в пьяном виде легко мог проболтаться».

Не говорю о том, что облгали и говорили тогда о Самозванце и в пьяном и в трезвом виде вещи для него весьма неприятные, — разве не все равно, куда будто бы сослал Самозванец Отрепьева? Разве «Ярославль какой-нибудь особенный город, какая-нибудь крепость вроде Бастилии? Ярославль был город людный, волжская пристань и ссылать туда человека, хранящего «государственную» тайну, тайну самозванства царя, было довольно глупо. Мало ли было тогда городов глухих, монастырей крепких, куда сослать опасного человека было бы все равно, что похоронить его. Но я не только знал, что у г. Иловайского сказано, что Отрепьев «сослан в Ярославль», но знал, у кого это им заимствовано. Единственный источник для этой ссылки в Ярославль — Маржерет: «Расстрига, говорит он, *до побега из России,* слыл негодяем и горьким пьяницей, за что Дмитрий удалил его на двести тридцать верст от столицы в Ярославль». Г. Иловайский повторяет это, забывая о том, что если б дело было так, то с таким человеком не церемонился бы Самозванец, как не церемонился он с вредными для себя людьми, отрезывая им языки, казня их и заключая в монастыри. Г. Иловайский не понял, что то, что в устах Маржерета естественно, в устах г. Иловайского по меньшей мере наивно. Маржерет доказывает, что Самозванец — истинный Дмитрий, человек больших способностей, большого ума и благородства. Маржерету *надо было,* чтоб Отрепьев был другое лицо, *надо было,* чтоб Самозванец поступил с ним милостиво, отсылая его в Ярославль, где он, по словам этого мемуариста, говорил после смерти Самозванца, что тот был истинный Димитрий. Сам Маржерет слышал об этом от кого-то из дома Английской компании в Ярославле. Ясно, что г. Иловайский, повторяя Маржерета, ровно ничего не доказывает, ибо Самозванец у г. Иловайского — совсем не Димитрий, а такой человек, который спровадил бы опасного бродягу туда, куда ворон костей не заносил. Хотя г. Иловайскому тоже *надо,* чтоб был Самозванец и был Отрепьев, но Маржерет гораздо логичнее г. Иловайского. У него Отрепьев — «секретарь патриарший»: странно предположить, что патриарх взял к себе в секретари «негодяя и горького пьяницу»; так же странно, что Самозванец ссылает Отрепьева за то, что он «до *побега из России был негодяем и горьким пьяницею»,* т. е. как бы за прошлую вину Г. Иловайский, очевидно, допускает, что Отрепьев оставался горьким пьяницей всегда, но тем не менее заставляет Самозванца бродить по монастырям с этим пьяницей и негодяем и жить с ним, так сказать, душа в душу. Раз историк допускает такие сближения характеров, он обязан объяснить тому причины психологические и бытовые. Без подобных объяснений предположение историка не имеет никакой цены.

Вся беда в том, что г. Иловайский не только в рассказе о событиях не самостоятелен, но и не самостоятелен даже в своих «логических» доводах. Он берет кое-что у Буссова, кое-что у Маржерета, кое-что у Костомарова и компилирует, не обращая внимания ни на противоречия, ни на относительную достоверность своих источников, ни на цели их авторов. Г. Иловайский берет по зернышку и фактов и мыслей. Мало этого: если факт годен ему одной половиной, а другой не годен, он преспокойно другую половину отбрасывает. Так он поступил с рассказом

Массы. В доказательство того, что Самозванец не знал русских обычаев, г. Иловайский цитирует одно место из Массы, где говорится, что Лжедимитрий, вступая в Москву, сошел с коня, чтоб приложиться к иконе, «но не так, как бы следовало по обычаю; некоторые монахи, видевшие это, усомнились в том, что он действительно родом из Москвы, а также и в том, что он истинный царь». Цитата кончается на этом и имеет вид правдоподобия, но есть еще другая половина этого факта: Масса говорит, что Димитрий, заметив пристальные взоры монахов, и, может быть, *знавший* их, велел их на другой день утопить, хотя они не смели об этом говорить никому. Если они никому не рассказывали, если дело ограничилось одними взглядами, одною мимикою, то откуда же Масса узнал об этом? Не говоря о том, что в русских обрядах иностранец не может быть компетентен, что Буссов, например, проживший много лет в Москве, говорит, что Бельский целовал крест, «на котором было изображение Николая Чудотворца». Очевидно, известие о приложении к иконе Масса привел для того, чтоб характеризовать жестокость Самозванца, и его близость к монахам, т. е. его монашеское происхождение. Так собирает г. Иловайский свою логику: она у него не плод мысли и фантазии, а плод компиляции.

Сходясь в своих целях и предположениях с Буссовым, который тоже отделил триста лет тому назад Самозванца от Отрепьева и тоже считал его не Димитрием, а западноруссом (белоруссом), г. Иловайский отрицает его характеристику Отрепьева, как человека хитрого, чрезвычайно энергичного, «дьявольского монаха», хотя с таким человеком Самозванец-западнорусс мог бы ходить по монастырям с большею пользою для себя, чем с «негодяем пьяницею», каким он выставлен у Маржерета. Г. Иловайский не принимает в соображение не только того, что патриарх Иов не мог взять к себе «алкоголика», но и того, что в манифестах о Самозванце нигде он не обвиняется в пьянстве, а Варлаам обвиняет его даже за то, что он *не* пил. Г. Иловайский не опровергает достаточными доводами, что он — не Отрепьев, и умалчивает или почти умалчивает о том, что Отрепьев у Самозванца если и был, то сочиненный, и как-то всегда исчезал, — то в тюрьму, то в ссылку. Г. Иловайский предполагает, что правительство все время лгало, лгали Борис, Шуйский, патриарх Иов, патриарх Филарет, лгали свидетели, очевидцы событий, близкие люди к Самозванцу, лгали, как те, которые были против Бориса, так и те, которые были за него, так и те, которые записывали события нелицеприятно. И все это утверждается приемами вроде тех, образчики которых и привел. Неужели такое исследование серьезно?

О Самозванце я перечел едва ли меньше г. Иловайского и потому имею право говорить об этом предмете. Тем больше прав имею я высказаться и о даровании г. Иловайского. Не обладая художественным талантом, г. Иловайский, естественно, прибегает к приемам искусственности, собирая отдельные черты, которые иногда не вяжутся между собою и не составляют художественного целого. Это — не историк-художник и не историк-мыслитель. Это — рассказчик. Прав или не прав Карамзин в своих взглядах на Самозванца, но он дал нам столь яркий его образ, что увлек такого гениального человека, как Пушкин. Прав или не прав Костомаров в том же, но и у него Самозванец — лицо живое и колоритное. Вы видите, что историк чувствует своего героя и знаете, *как* он его чувствует. У г. Иловайского — Самозванец ни то, ни се; вы видите постоянно, что историк не столько пишет, сколько компилирует, что для него самого не ясна эта личность, и когда он

говорит о «собственном своем мнении», вы ясно видите, что тут ничего *собственного* нет, другими словами — ничего «творческого». Он копирует с чужих образцов, усваивает чужую мысль, но добросовестно воображает, что он создал нечто собственное. И это верно не по отношению только к одному Самозванцу, а по отношению даже к таким ярким личностям, как Иван Грозный, как Борис Годунов. Вечно ни яркости, ни определенности, ни оригинальности. Даже природная, так сказать, яркость исторических типов блекнет под пером г. Иловайского. Самый слог его — бледное подражание Карамзину.

В конце концов, все эти догадки о личности Самозванца, о том, что он — не чудовский монах, мне напоминают именно то, о чем я упомянул выше — увлечение Пушкина Карамзиным. Гениальный поэт знал русскую душу, русский характер, чувствовал строй русской жизни в ее малейших изгибах, угадывал по современности далекое прошлое с удивительным чутьем и засвидетельствовал все это «Борисом Годуновым» и другими бессмертными произведениями. Почему он не усомнился, что Самозванец — действительно русский, почему ничего фальшивого не увидел он в современных свидетельствах, большинство которых называет Отрепьева? Он мало знал, скажут мне. Но много ли больше знают теперь? Догадок прибавилось много, но фактов очень мало. Главное же, именно в русской душе, в ее смелости, отваге, беспутстве, даровитости. Почему инок Чудова монастыря, очевидно даровитый, очевидно с поэтическим даром — он сочинял гимны святым — не мог проделать всего того, что проделал Самозванец? Отчего Пушкин не усомнился в его русской душе, отчего великому русскому поэту ясна была эта душа и почему г. Иловайский правее, говоря, что это — не русский человек?

15(2 7) мая, № 6540

CLXXVI

И Стамбулов в отставке. В то время, когда мы усиленно занимаемся конверсиями, которым некоторые сограждане конца не видят, и Стамбулов конвертирован из первого министра в граждане. Будем надеяться и на конверсию принца Кобургского либо в настоящего князя, либо в путешественника по Европе, который сложит княжеский багаж в Софии и поедет отдыхать от трудов управления. Стамбулов у него теперь нечто вроде разменной монеты, за которую он, может быть, желает получить признание и признательность. Но конверсия, во всяком случае, еще не полная. Толпа не уверена еще, что это за процентные бумаги, которые готовы появиться в Болгарии и не следует ли предпочесть стамбуловский режим новому? Сам Фердинанд не уверен еще, кого желает Болгария, его ли, или Стамбулова, или ни того, ни другого...

Вы знаете, что конверсия — нечто вроде Овидиевых «Превращений» и самое слово «конверсия» в переводе значит «превращение». Овидиевы «Превращения» очень фантастичны, конверсия реальна, как все финансовые термины, изобретенные для блага обращения денег и ценностей. Конверсия превратила 5-типроцентные бумаги в 4% и уменьшила бюджет по долговым обязательствам, именно по уплате процентов на десятки миллионов. Недовольных много, может быть, потому, что эта система конверсии тянется слишком долго, превращая не только бумаги, но и людей, ибо люди очень тесно связаны с бумагами, с доходом, с при-

вычками. Финансовые реформы очень деликатная вещь, в особенности у нас, где так долго поощряли биржу высокие проценты и всякие капиталистические предприятия. Я слышу много разговоров в последние дни, что пора остановиться, что финансам необходима устойчивость, что превращения, как бы они ни назывались, хотя бы и конверсиями, начинают путать благоразумных людей, которые ежатся и думают, не последует ли вскоре новое превращение 4%-х бумаг в 3%-ные, ибо 3%-ные еще выгоднее для бюджета, да и за границей 3%-ные бумаги господствуют, а кое-где даже процент еще ниже. Конечно, желательно, чтоб и у нас было то же самое, что и в просвещенной Европе, но ведь все зависит от общего положения дела, а в общем положении дела мы все-таки) отстали,и оно-то именно нуждается в подъеме. Надежды на хлебные цены, вследствие русско-германского договора, не оправдываются до сих пор; помещики сидят без денег, спискам имений, назначенных в продажу, конца-края нет, а ожидаемый урожай едва ли принесет повышение хлебных цен. Биржа волнуется. Бумаги падают, как дождь в эти дни. С акциями юго-западных дорог, вследствие возражения министерства финансов на заметку «Биржевой Газеты», плохо. А этих акций, говорят, масса в России. В два-три дня эти акции тоже были *конвертированы* так, что владельцы их потеряли десятки миллионов и конвертированы одной заметкой в несколько строк, которая смело могла бы остаться в портфеле министерства, хотя бы последнее имело и благую цель — остановить спекуляцию, ибо для этого можно избрать пути не столь пугательные, если можно так выразиться.

Я передаю, что слышал. Лично я нимало не заинтересован в конверсиях. Акций железных дорог у меня никогда не было, конвертировать тоже что-нибудь никогда не приходилось. Но пользу конверсии для государства я прекрасно понимаю, как понимаю вообще необходимость и пользу уменьшения процента. Мне думается, что это понижение заставит нас быть деятельнее, заставит искать помещения капитала и энергии на почве мало еще развитой у нас промышленности; понижение процента бумаг, естественно, должно возвысить ценность земли, которая, во всяком случае, благодарнее бумаг. Но домостроительство государственное едва ли требует быстрых скачков и триумфальных «шествий» успеха. Мы вообще народ скромный, а тут к тому же и публика развилась, стала благоразумнее, расчетливее, скупее на рукоплескания. Давно ли ее приманивали на выигрышные билеты, давно ли так были уверены в ее жажде к легкой наживе, что выпустили выигрышные билеты дворянского займа по 215 или по 212, в полном убеждении, что их расхватают мигом и они еще поднимутся. А на деле оказалось, что их совсем не расхватали, что они понизили цены на два первых выигрышных займа и сами повалились рублей на 20 и застыли. Хорошо еще, что застыли, а не потекли ниже. Прошло лишь несколько лет с того времени — и вот полное превращение. Мы узнали, что такое конверсии и конверсии пошли успешно, даже неожиданно успешно. 4%-ные процентные бумаги близко подошли к популярным сериям, к проценту на вклады в сберегательных кассах, т. е. подошли к процентному заработку, если можно так выразиться, той громадной массы населения, которая живет изо дня в день, которая не знает биржевых спекуляций, банковых и страховых акций и, рассчитывая только на здоровье свое, на свой труд, довольствуется малым. Это все те, которым обещаны в царствии небесном, если не первые, то хорошие места. Свои сбережения эта часть населения начинает считать сотнями миллионов. Вот с этих сторон конверсии — симпатичная вещь. Они уравнивают

многих, если не в количестве бумаг, то в доходе на них. Но у нас далеко еще до убеждения, что казна — это личное наше дело, что это не нечто отвлеченное и далекое, а именно наше дело. Чем она меньше будет платить процентов по своим долгам, тем легче всем. У нас еще господствует мнение, что казна — дойная корова, что только ленивый ее не доит. Наши биржи, как продукт европейских бирж, представляют собою во всяком случае еще очень большие интересы. Сама промышленность, нуждающаяся в покровительстве, нуждается и в устранении всяких сюрпризов; поэтому пора кончить с этими «превращениями» и успокоиться на работе организаторской, которая дала бы необходимую устойчивость и нашим финансам и доверие к ним всего мира, не исключая и русский мир.

22 мая (3 июня), № 6547

CLXXVII

Г. Иловайский отвечает мне в «Московских Ведомостях» и в «СПб Ведомостях». «Немало времени отнял у меня г. Суворин, — говорит он, — разысканием инкриминируемой статьи». Он ее нашел, но, Боже мой, мог ли я думать, что он нашел ее в статье «Поход на г. Иловайского», написанной действительно мною против «походов», против «кратких, но энергических заметок», против взаимных уязвлений гг. историков и т. д. Я в этой статье восставал против агитации, против резкости приговоров, против увлечений партийностью, припоминал, как относились в своей критике к «Истории России» Соловьева К. Аксаков, Кавелин, Бестужев-Рюмин, как этот последний вообще умеет быть критиком, как он в своих рецензиях в «Журнале Министерства народного просвещения» умеет указать «массу ошибок» и вместе с тем указать достоинства. Оказывается, что г. Иловайский из этого заключил, что «масса ошибок» — это намек на него, хотя Бестужев-Рюмин не писал о III томе его «Истории России», и отсюда он заключил, что я «напугал», что я извинялся за него перед публикою и т. д. «Не буквально же, говорит г. Иловайский, г. Суворин испрашивал у публики для меня прощения». Благодарю хоть за это сознание, хотя теперь вижу, что за него действительно надо просить у публики снисхождения ввиду чрезмерного его самолюбия и претензий на непогрешимость. Кроме того, из «личных сношений» его со мною он вывел, что мое «сочувствие тяготеет к противной стороне». В этом отношении он не совсем ошибался. Я был только против приемов его противников, а отнюдь не против их критики, ибо считаю критику необходимою во всяком деле, и г. Иловайского отнюдь не считаю непогрешимым. Самые приемы г. Иловайского мне не нравились, и если я не протестовал против них, печатая его возражения, «то единственно потому, что считал, что он платит противникам тою же монетою. Мне не нравилось и не нравится в этом человеке, что он никогда прямо не отвечал, а сначала старался уронить своего противника, выставив его либо слишком «молодым» для того, чтоб «сметь свое суждение иметь», либо «купцом и притом холостым», либо «жидофилом», либо «анти-националом» и т. д. Эти розыски об авторах, которые ему возражали или писали неблагоприятно об его «Истории России», ничего не давая русской истории, по меньшей мере, ничего также не прибавляли к самозащите г. Иловайского. Роясь в этой прошлой полемике, я прочел, например, статью г. Сторожева в «Новостях» 1891 года и, сравнив ее со

статьей г. Иловайского о г. Сторожеве, где были такие красоты, как «наглый прием», «нарочитое нахальство» и проч., я беру назад свое выражение, что г. Сторожев отвечал г. Иловайскому в «резких выражениях». Да, я убедился на несомненных произведениях г. Иловайского, что все эти его приемы действительно «исторические», т. е. они повторялись у него постоянно, вследствие его необычайно высокого мнения о самом себе. Мне, например, и в голову не могло придти, что г. Иловайский, выражая «сожаление», что один из его противников «занимает университетскую кафедру», метил, по его собственному теперь сознанию, прямо в г. Платонова, который своим трудом «Повести Смутного времени», сделал прекрасный вклад в историю этого времени, но который осмелился в «Журнале Министерства народного просвещения» указать на некоторые ошибки «Истории России», и вот он недостоин занимать университетской кафедры. Очевидно, г. Иловайский вполне убежден, что кто против него, тот против Бога, и что противников его и критиков надо выгнать отовсюду, и из журналов, и из газет, и из архивов, и из университетов. Чтобы повсюду царствовало «руководство» г. Иловайского, как последнее слово науки, и чтоб он, дивный и непогрешимый историк, был возведен в сан «историографа», и чтоб таким образом конец нашего столетия подал руку началу его, когда Карамзин имел это звание. Век начался Карамзиным и окончился Иловайским — альфа и омега нашей исторической науки за столетие.

24 мая (5 июня), № 6549

CLXXVIII

Помните поездку С. С. Татищева в Болгарию? Это было года четыре тому назад. Приехав в Софию, он виделся с Стамбуловым, долго говорил с ним и с его товарищами по министерству и затем свои беседы напечатал в «Новом Времени». Само собою разумеется, что г. Татищев излагал свою беседу с Стамбуловым правдиво. Стамбулов был не прочь удалить из Болгарии принца Кобургского, разумеется, на известных условиях, которые помогли бы России и Болгарии сноситься и жить в дружбе. Разумеется также, что Стамбулов был вне себя от правдивой передачи г. Татищевым разговора с ним и старался опровергнуть в «Свободе» все то, что говорилось об истинных чувствах Стамбулова к принцу Кобургскому. Летом 1892 года один из сотрудников «Figaro» имел свидание со Стамбуловым и принцем Фердинандом в Софии, причем обоих их описал в блистательных красках. Стамбулов в этом разговоре упомянул о поездке г. Татищева, говоря, что он был послан в Софию русским правительством. Г. Татищев отвечал на это письмом в «Figaro», где говорил, что поездка его не имела ни официального, ни официозного значения, что он предпринял ее сам, по собственной инициативе и под личной ответственностью. На самом деле это было именно так.

В прошлом году г. Татищев встретился с принцем Фердинандом на станции Букс в Швейцарии. Принц был со своим адъютантом, который знал в лицо г. Татищева. Подойдя к нему, принц сказал по-русски: «Здравствуйте, Сергей Спиридонович», — и затем пригласил его к себе в купе. Они проехали вместе до Цюриха, разговаривая о болгарских делах. Принц Фердинанд старался выведать у г. Татищева, правда ли то, что он писал в «Новом Времени» о своем разговоре со Стам-

буловым. Действительно ли Стамбулов хотел пожертвовать им, принцем, если русское правительство согласилось бы восстановить дружеские отношения с Болгарией? Естественно, что г. Татищев не раскрывал перед принцем всех карт, но мог убедиться, что между принцем и Стамбуловым существуют отношения весьма натянутые. Передавая мне об этом прошлою осенью в Париже, С. С. Татищев говорил: «Увидите, что недалеко время, когда они друг друга съедят, либо Фердинанд уволит Стамбулова, либо Стамбулов уволит принца. Вместе им долго не ужиться».

Предсказание это сбылось. Но никаких определенных выводов нельзя из него еще вывести, хотя В. В. Комаров на этот счет имеет другое мнение. Замечание его, что Стамбулов «трус», встретило вчера отповедь со стороны князя Мещерского, который говорит, что Стамбулов — «крупный изверг и крупнейший плут», но он совсем не трус. «Он никогда не скрывался, никогда не прятался и везде действовал прямо и открыто, подставляя свою фигуру ежечасно всякому встречному; а что он выходил с эскортом или с револьвером в кармане, то это он делал не из трусости, а из практической предосторожности, ибо знал, что он везде и всегда между *своими,* т. е. между татями и разбойниками... Кто трус, и настоящий природный — это каждый болгарин и интеллигент». К этому князь Мещерский прибавляет, что пока Стамбулов гнал и душил, «все *храбрые* болгары целовали ему руку», а когда немецкий князь выгнал его, «десять *храбрых* болгар нападали на *одного* стамбуловца и били его».

В этих размышлениях князя Мещерского есть доля правды. Стамбулов, конечно, не трус, и даже не «крупный изверг», и не «крупнейший плут», ибо о министрах, хотя бы они были болгарские, нельзя судить так поверхностно. У Стамбулова несомненно существует своя программа, которой он был верен и которую он прямолинейно проводил в жизнь целых десять лет под рукоплескания почти всей Европы. Он душил оппозицию, душил заговоры, утверждал свою власть, был безжалостен к своим врагам, разыгрывал конституционную комедию с большим искусством и пользовался самоотстранением России от Болгарии с ловкостью человека, который знал очень хорошо отношения Европы и Турции к России, т. е. отношения совсем неискренние, в значительной степени лицемерные. Его сведения всегда отличались большою точностью и всегда он умел извлечь из них пользу. Ненавидел ли он Россию искренно, или в этой ненависти, которую он постоянно обнаруживал, была доля напускного, преувеличенного, но ненависть эта должна была лежать краеугольным камнем в его программе. Он вышел в люди, благодаря принятому им положению ненавистника России, который думал деспотическими мерами убить оппозицию и сделать из Болгарии вполне независимую страну, но, виляя и считаясь с Австро-Венгрией, Италией, Англией и Германией, он не мог не видеть, что надевает на Болгарию цепи иностранных держав. Говорю «не мог не видеть» потому, что он — умный человек, но он не показывал, что видит, да и власть ослепляла его чрезвычайно. Принц Фердинанд, волею или неволею, ему подчинялся, как и вся Болгария, ибо и сам он был данником своего положения. У обоих не Бог весть сколько было почвы под ногами. Стамбулов более всего боялся России, или, вернее, изменения ее международных отношений. И вот, на его беду, случился франко-русский союз и на голову первого болгарского министра упали тулонские и парижские торжества и обессилили его. Затем пошли торговые переговоры с Германией и Австро-Венгрией, имевшие внутреннюю политическую связь с тем же франко-русским союзом. Для

меня несомненно по тем данным, которые у меня были прошлой осенью, что Германия испытала тоже на себе силу парижских праздников, силу союза двух великих народов. Все это убило в Стамбулове уверенность, подрезало крылья его политике, в которой он утвердился и из которой для него не было выхода. Он ясно увидел, что ему осталось только одно — перейти в оппозицию новому течению, порожденному обстоятельствами, против которых он был бессилен. В этом положении он может еще ждать, стоять на виду и рассчитывать, что его снова призовут. Но принц Фердинанд едва ли его призовет, несмотря на все уверения Стамбулова, что он остается ему верен. Если принц призовет его, то это будет значить, что он совершенно бессилен что-нибудь сделать в стране, и что его роль чисто служебная, ничего ему в будущем не обещающая, кроме огорчений...

25 мая (6 июня), № 6550

CLXXIX

Читаю письма дам в «Новостях» об убийстве Довнара г-жою Палем. По-моему, и убийство это возмутительно, и дамы эти возмутительные. Прочтя несколько таких писем, я начинаю думать, что это совсем не дамы пишут, а мужчины за дам. Что-то противное, фальшивое, сентиментально-неряшливое так и сквозит в этих писаниях. Одна думает, что «виновниками этого грустного случая менее всего были непосредственные его герои», что причин надо искать глубже, и договаривается до какой-то «положительной ценности общественного мнения» и винит во всем среду. Очевидно, эта дама — сама невменяемая и находится в среде невменяемой. Другая дама находит, что «винить Палем, конечно, нельзя: тут виноват ее темперамент». Но ведь темперамент-то ее, а не чей-нибудь посторонний и, следовательно, за темперамент тоже надо нести ответственность. Впрочем, в этом случае надо спросить мнения у С. А. Андреевского, известного поэта, критика и защитника дамских и мужских темпераментов. Этой даме, однако, надо отдать справедливость за ее убеждение, что «никто никогда не имеет права лишать другого жизни», и что «женщина все еще слишком низко стоит в своем развитии». Это положение подтверждает блистательно третья дама, подписавшаяся так: «Маленькая женщина с большим сердцем». Она говорит: «разлюбить женщину — это великое несчастие, прежде всего для самого мужчины; первая при этом только страдает, он же теряет свет, радость, цель жизни; он обречен на бесцветное существование, пока новая любовь (если только она может быть) пахнет на него теплом и жизнью». Мне кажется, что разлюбить женщину — иногда большое счастье; говорят, что любовь слепа и есть пословица: «полюбится сатана лучше ясного сокола»; если человек имел несчастье полюбить подобную особу, то, естественно, что разлюбить ее — великое счастье.

Но «маленькая женщина с большим сердцем» грозит мужчинам, чтобы они боялись разлучаться с женщинами, которых они даже не любят, ибо это «может довести женщину до исступления и *разрешиться пистолетным выстрелом* в того, за которого, минуту перед тем, она готова была бы отдать свою собственную жизнь». Надо, стало быть, ждать, пока женщина разлюбит мужчину, во избежание «разрешения ее пистолетным выстрелом». Очень лестно! Льщу себя надеждою, что огромное большинство женщин предпочитает «разрешаться ребенком», а не

«пистолетным выстрелом», а разрешающиеся «пистолетными выстрелами» обыкновенно не знают, что такое дети, что такое материнство. Им нужен мужчина для наслаждения, а как скоро ему надоест все одно и то же, а женщина не успела еще найти себе другую любовь, которая «пахнула» бы на нее «теплом и жизнью» — она сейчас «разрешается пистолетным выстрелом»! Это выражение должно стать классическим для определения этих «больших женских сердец», наполненных слишком большими зарядами. «Она разрешилась пистолетным выстрелом» и права.

27 мая (8 июня), № 6552

CLXXX

Женщины продолжают писать, если это действительно женщины. Та, которая написала фразу «благополучно разрешиться пистолетным выстрелом», — отказывается от нее. Ей не хочется быть смешной, но она останется смешной.

«Я сама мать подрастающих сыновей, но поднять камень на эту несчастную девушку руки мои бессильны», говорит еще одна женщина. Храни вас Бог, сударыня, и ваших сыновей от женщин, разрешающихся пистолетным выстрелом. В счастье так легко быть гуманной, так легко рассуждать. Ведь дело это для вас постороннее, а потому чрезвычайно легко быть великодушной и произносить сентенции: любовник поплатился жизнью, а любовница поплатится страданиями. Боже мой, как это фальшиво! Если б, храни Бог, с вашим сыном случилось то же самое, не то бы вы запели, сударыня. Вы стали бы плакать, рыдать, проклинать, называть убийцу убийцей, и сердце ваше рвала бы целая свора лютых собак, и врач напрасно стал бы прописывать вам одуряющие вещества в больших дозах, чтоб вас успокоить. Чужое горе — не горе, а только любопытный случай, дающий праздным языкам забаву и праздным душам способы наполнить их присутствием якобы мысли. А в сущности подобные женские и мужские мнения — отрывки из адвокатских речей, из юридических тонкостей, которые извращают чувство и ум, вопреки заповеди «не убивай», вопреки христианскому учению, вопреки человеческому существу, которое только тем одним и может отличаться достойно от животного, что человек не позволяет себе насилий над другим человеком, не кусает, не убивает. Пошлостью отзываются эти речи, смысл которых выражается такою фразою: «общество несовершенно, общество полно пороками, а потому подобные преступления находят себе оправдание». С какого времени болтают этот общественно-педагогический вздор, лицемерно думая исправлять этим общество, поднести ему зеркало, пробудить в нем сознание своих обязанностей друг к другу. Но полезного результата не получается: лицемерная проповедь остается лицемерием и в ней только почерпают люди пищу для самооправдания, для успокоения своей совести. «Я убил, но недаром же я возбуждаю сочувствие, слышу оправдательные речи. В самом деле, сколько было поводов для того, чтоб совершить это убийство... это дело... этот подвиг». Постепенно самое слово «убийство» обращается в совести человека в более мягкие выражения и слово «подвиг» начинает заглушать все остальные слова. А на самом деле убийство ничего не доказывает, кроме подтверждения звериных свойств человека, его атавизма, его склонности к насилию. Если он в себе этого не поборол, то какой же он человек? Если ему этого не скажут все, в один голос, то какие же это люди? Это — люди, выжимающие из жизни разные оправдательные и обви-

няющие элементы и поддерживающие всю дрянь жизни, всю ее ложь. Из этих людей не выходят ни учители, ни герои, ни борцы. Кто оправдывает какое-нибудь убийство, тот — равнодушный человек, эгоист до корня ногтей, способный все оправдать просто ради щегольства доктриной, ради того, чтоб его признали мыслящим существом, способным разобраться в сложных условиях жизни. Из них выходят люди, подобные тому французскому литератору, который сказал, что ему понравился жест, с каким динамитчик бросил бомбу в депутатов. По-моему, убийство не имеет никакого оправдания. Я не призываю на него кары смертной казни, отмщения смертью за смерть, но я призываю на него оскорбленное чувство человека, которое не должно умалиться и стираться рассуждениями, как о сломанном колесе, которое остановило коляску. Пролитая кровь, прерванная насильно жизнь человека должна стоять впереди всего, как начало и конец, в мысли общественной.

Выше убийства нет преступления, по каким бы поводам оно ни было совершено. Оставим адвокатов адвокатам — это их ремесло оправдывать убийство общественными условиями и средою и работать на пользу вырождения и умаления индивидуального характера. Общество должно стоять выше адвокатов и понимать больше их своей душой и здравым смыслом. В болтовне и подробностях теряется ужас преступления...

29 мая (10 июня), № 6554

CLXXXI

В «Figaro» появился отчет г. Гальперина-Каминского, который прекрасно аттестует свою деятельность на пользу литературной конвенции между Россией и Францией. За немногими исключениями, почти вся печать, по его словам, высказалась за конвенцию, и даже эта «компания прессы» произвела «наилучшее впечатление в компетентных ведомствах» (dans les ministères competents). Все это не совсем верно. Наиболее компетентное ведомство в данном случае — министерство народного просвещения, едва ли высказалось бы за конвенцию. Еще беллетристика туда-сюда: без иностранной беллетристики мы проживем благополучно, но без иностранной науки мы жить не можем, без иностранных популярных сочинений также. Я говорил об этом г. Каминскому, на которого я также в некоторой претензии за то, что он в своем победоносном отчете не привел тех весьма любопытных и для французов данных из «Видов торговли» о привозе к нам иностранных книг, которые я сообщил. Зачем скрывать факты? Почтенный переводчик Толстого на французский язык пропустил много статей, где говорилось о конвенции в неблагоприятном для нее смысле. Из некоторых «компетентных ведомств» я тоже слышал подобные же отзывы. Конечно, приятно было бы для русского самолюбия, если б в нас не бросали укоры за то, что мы пользуемся безданно-беспошлинно иностранною литературою и наукою; но что делать, когда мы еще бедны; что делать, когда Запад так сильно опередил нас. Вот г. Спасович составил «Проект положения об авторском праве». По-видимому, в этой области все-таки можно было бы внести что-нибудь оригинальное. Но в авторском праве Европа опередила нас, а потому в этом «Проекте» все надергано из иностранных законодательств, преимущественно из северогерманского, и притом надергано даже в плохом переводе. Когда сравниваешь оригинал с переводом, становится

просто смешно. Как же нам обойтись без иностранцев, когда даже «ученые» работы такого выдающегося специалиста, как г. Спасович, есть только компиляции из иностранных источников. Но беллетристика, повторяю, другое дело. Мы могли бы обойтись своей собственной. Был ли бы издан дешево Мопассан на русском языке, или был бы он издан дорого — от этого никто ничего не потерял бы. Мопассан — гениальный человек только в представлении такого увлекающегося юноши, как С. А. Андреевский, который всюду видит у него перлы в такой степени, что ничего не находит сказать, кроме восторженных слов; тогда как на самом деле у Мопассана немало всякой развращающей дряни, которую всего полезнее было бы оставить даже без перевода и причислить ее к области патологической, а не художественной. Наш Чехов в лучших своих рассказах нисколько не ниже Мопассана, а по художественному такту повыше его, ибо совсем не роется в патологии постельной любви и не придумывает каверзных положений, подобно Мопассану. У Чехова, как у лучших русских писателей, существует та «честность», то «честное» обращение со словом и чувством, которого совсем нет у Мопассана. Чехов не писал романов, а потому я сравниваю его с Мопассаном только в области рассказа, где у Чехова есть истинные шедевры.

В конце концов, до литературной конвенции, вероятно, нам еще далеко, и г. Каминский напрасно уверяет в противном французских писателей.

1 (13) июня, № 6557

CLXXXII

Я говорил уже, с какими натяжками решает вопрос г. Иловайский о том, что Самозванец — западнорусс, как узко-тенденциозно выбирает он из источников, не оценивая достоверность их и совершенно игнорируя психологию лиц и событий. В числе доказательств его темы стоит вопрос о природном языке Самозванца.

Г. Иловайский считает *важным,* в этом случае, следующее сообщение Маржерета: «Многие иноземцы, именуя Димитрия поляком или трансильванцем... в доказательство своего мнения приводят то, что он говорил по-русски неправильно, искажая русские обычаи, наблюдая русскую веру только для виду; одним словом, говорят они, все приемы и поступки обличали в нем поляка». «Отсюда мы видим, говорит г. Иловайский, что *сами современники* (т. е. иноземцы?), лично знавшие Лжедимитрия, немало ломали себе голову над вопросом о его таинственном происхождении; причем явно склонялись к тому главному предположению, что он был не из Московской Руси. А затем выставляемые против них Маржеретом опровержения являются крайне слабыми». По своему обыкновению, г. Иловайский не опровергает Маржерета в главных его и сильных доводах, а ограничивается двумя-тремя замечаниями, малозначащими. Г. Иловайский, например, не опровергает того, как Маржерет защищает Самозванца против обвинения в несоблюдении русских религиозных обрядов. А это защита прекрасная, основанная на том, что русские, побывав за границей, начинали смеяться над невежеством москвитян. Это вполне в русском характере и может быть проверено и теперь наблюдениями и над нашими современниками и ближайшими к нам предками. Чуть человек вкусил т. н. просвещения, он уж начинает критически относиться к русской действительности. Самый бьющий исторический пример — Петр Вели-

кий, который не церемонился с русскими обычаями, не поцеремонился учредить «всешутейший собор», намекая на «всесвятейший собор» и т. д.

Что сделало относительно религиозных верований влияние французских энциклопедистов на наше высшее общество — всем известно. По-моему, прошлое необходимо проверять настоящим, в особенности у нас, где народ остался таким же почти, каким был триста лет назад, а это наши историки постоянно забывают. Польское влияние было первым у нас т. н. «просветительным» влиянием, и оно забирало в свои руки боярство и всех выдающихся по способностям людей, всех этих «чернокнижников», каковым был провозглашен и Самозванец еще тогда, когда был в Чудове. Один из очень близких к Самозванцу людей, его mignon, князь Хворостинин может служить примером религиозного свободомыслия. Это — одно из типических лиц, и характеристикой его мы обязаны г. Платонову. Не говорю об Иване Грозном, у которого было семь жен, вопреки церкви, который замучил митрополита Филиппа и у которого соблюдение религиозных обрядов смешивалось с невероятным кощунством в его оргиях в Александровской слободе.

Обзывая защиту Самозванца Маржеретом «крайне слабою», г. Иловайский принимает без поверки его ссылку на иноземцев, которые считали Самозванца поляком, и этих «иноземцев» олицетворяет «с самими современниками». Как иноземец, Маржерет, естественно, говорит об иноземцах; как русский, г. Иловайский обязан принимать в соображение и «русских современников», из которых ни один, ни в мемуарах, ни в официальных документах, ни единым словом даже не намекнул на неправильность речи Самозванца. Неужели это ничего не значит? Русские люди, москвичи, которые в наши дни тонко умеют отличать малейшие отступления от московского говора, узнавая по языку, например, даже петербуржцев, не обратили никакого внимания на акцент Самозванца. Разве это возможно? Сам же г. Иловайский основательно говорит, что акцент должен был оставаться у западнорусса, а если он должен был оставаться, то как же никто из русских ни единым словом об этом не упомянул даже. Если бы какой-нибудь немец с Никитской, проживший в Москве пять-десять лет, сказал г. Иловайскому, что он «неправильно» говорит по-русски, г. Иловайский стал бы рассказывать об этом, как о курьезе, как о смешном анекдоте. Но *историк* Иловайский совершенно отделяет себя от Иловайского-москвича и строит все свои доводы в пользу того, что Самозванец неправильно говорил по-русски, *исключительно* на словах иноземцев, которые в данном случае нисколько не компетентнее немца с Никитской. И что всего замечательнее в доводах г. Иловайского, это его полный произвол в обращении с источниками. Я уже указывал на то, что Маржерет, признавая Самозванца истинным Димитрием, гораздо логичнее г. Иловайского развивает свои положения. Истинный Димитрий привозит с собой Отрепьева, показывает его и потом отсылает его в Ярославль, как пьяницу и негодяя, который ему надоедал. Так это у Маржерета. У г. Иловайского Самозванец-западнорусс привозит с собой Отрепьева, показывает его и потом отсылает его в Ярославль, как алкоголика, боясь, чтоб в пьяном виде он не проболтался в Москве. Истинный Димитрий мог поступить именно так, как говорит Маржерет: он не боялся Отрепьева, ни его пьянства, ни его болтовни и, не имея причин делать ему зло, послал его в людный город на волю. Но Самозванец, имевший все причины бояться Отрепьева, как хранителя его тайны, не мог послать его в Ярославль, где он болтал бы и пьянствовал и смущал бы горожан. Г. Иловайский должен был отвергнуть показание Маржерета, как явно тенденциозное, направленное в пользу истинности Димитрия. Но наш историк

преспокойно принял известие Маржерета, как несомненный факт, объяснив только побуждения Самозванца иначе, чем объяснены они у Маржерета. Но это объяснение прямо противоречит смыслу известия Маржерета, и поэтому недопустимо.

Точно так же он поступает и в вопросе о языке Самозванца. Когда Маржерет говорит, что Самозванец «правильно говорил по-русски», г. Иловайский считает его «некомпетентным в сем вопросе»; когда же Маржерет передает мнение таких же иностранцев, как он сам, таких же некомпетентных в вопросе о русском языке, но утверждавших, по словам Маржерета, что Самозванец «неправильно говорил по-русски», г. Иловайский принимает это мнение за несомненный факт и восклицает победоносно: «Характеристика его (Самозванца) речи именно указывает на западнорусского ополячившегося шляхтича». По моему мнению, характеристика эта ровно ничего не доказывает, кроме быстроты умозаключения историка. Маржерет, конечно, знал плохо по-русски, как плохо знали по-русски и другие иноземцы, говорившие с Маржеретом, но не оставившие в своих мемуарах свидетельства о русском языке Самозванца, конечно, сознавая, что они тут не судьи. Француз же XVII века, как и француз XIX, очень смел и не остановится перед такой малостью. У современных нам французов, пишущих о нашем отечестве, мы сплошь и рядом встречаем такие же претензии, как у Маржерета. Они так же, как он, смелы, и так же всеобъемлющи, как скоро им удалось прожить среди нас какой-нибудь месяц. Они коверкают в своих писаниях русские слова с необыкновенным спокойствием и самоуверенностью в том, что они правильно их передают. Вольтер, писавший «Историю Петра Великого» по заказу русского правительства, на замечания И. И. Шувалова, что он неправильно пишет русские имена, отвечал резко что-то вроде того, что он лучше Шувалова знает, как писать эти имена. Зная все это, г. Иловайский не имел никакого права придавать какое-нибудь значение показаниям Маржерета относительно правильности или неправильности языка Самозванца.

Если к чему можно относиться с полным доверием в показаниях Маржерета о языке, то только к фразе его о том, что «для прикрасы» Самозванец «вставлял в свою речь польские слова». Польский язык от русского, конечно, Маржерет отличить мог. А эту смесь языков мы можем наблюдать ежедневно над нашими современниками, истинно русскими, прожившими год или два за границей. Кто долго жил за границей и был принужден говорить только с иностранцами, тот сам над собой может сделать наблюдение, что у него начинают ускользать русские слова и он почти механически заменяет их иностранными, или начинает проскальзывать в его речи книжный русский язык, если он, постоянно говоря на иностранном языке, продолжает читать по-русски. Надо еще принять в соображение, что тогдашний русский, прожив несколько лет в Польше, естественно приобретал несколько лишних понятий и взглядов, для которых обиходный русский язык оказывался недостаточным. Опять же и это явление мы можем наблюдать над собою, над развитием русской литературы, над приобщением нашим к западной цивилизации и над приобщением низших слоев населения к интеллигентным, путем грамотности или просто путем обращения необразованного человека среди людей образованных. Все это объясняется очень легко физиологически и психологически, и нет никакого повода подозревать в Самозванце западнорусса.

3 (15) июня, № 6559

CLXXXIII

Далее г. Иловайский говорит: «Любопытно, что свое письмо к папе Клименту VIII он сочинил сам по-польски»; а русские его письма, «хотя были без ошибок», как выражается Маржерет, но тут же сознается, что они были писаны «со слов Димитрия, а не им самим». И опять восклицание г. Иловайского: «Очевидно, перед нами полурусский, полуполяк».

Совсем не очевидно. Самозванец, владея и польским, и русским языком, естественно, должен был написать письмо к папе по-польски, так как переводить его на латинский язык должен был *поляк-иезуит* Савицкий. Если б он написал письмо по-русски, его следовало бы для Савицкого перевести по-польски. Кроме того, дело было тайное, в которое нельзя было вмешивать русских. Стало быть, ничего «замечательного» в смысле подтверждения темы г. Иловайского в этом факте нет. Что касается «русских писем», о которых говорит Маржерет, то наш историк намеренно обобщает единичные факты. Маржерет говорит: «Я видал самые письма о разных предметах, писанные со слов Димитрия, еще *до пришествия его в Москву:* ни один русский не мог найти в них ошибок». Понятно, что дело идет о письмах, диктованных во время военных стоянок, когда Самозванцу некогда было писать самому или он считал это излишним. Письма о разных предметах были, очевидно, распоряжения его, которые объявлялись во всеобщее сведение и с которых снимались копии. Естественно, что Маржерету не могли показывать иных писем. Сопоставьте отдельные слова Маржерета и их ясный смысл с искажением их прямого смысла, которое позволяет себе г. Иловайский.

Что касается русской подписи Самозванца, по которой можно судить о знании им русского языка, то еще Карамзин заметил, что подпись эта обличала руку твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотного приказного.

Таким образом, все натянутые доказательства г. Иловайского в пользу того, что язык Самозванца обличал в нем западнорусса, — совсем несостоятельны. Я уже говорил о доводах поистине смешных в пользу того, что Самозванец не умел прикладываться к иконам. В этом случае г. Иловайский идет по следам Костомарова, который известие Массы так исказил, что оно явилось у него как бы общим народным говором.

Перехожу к другим доводам.

«Самая физиономия первого Самозванца, судя по наиболее достоверным портретам, выдает его невеликорусское происхождение». Эта фраза г. Иловайского так далека от всякого научного приема, что о ней и говорить нечего. Принадлежность лиц к той или другой народности теперь решается не так легко, как кажется это г. Иловайскому и его «исторической школе». Для этого недостаточно даже быть знатоком портретов, а нужно быть знатоком этнографии. Г. Иловайский ни тем, ни другим похвалиться не может, а г. Ровинский, бесспорный знаток русских портретов, находит, что Самозванец похож на Грозного. Являл ли собою Грозный великорусский тип — это вопрос. В крови Грозного была примесь греческая, по бабке, татарская и литовская, по его матери, Елене Глинской (Глинские вели свой род от Мамая). Если Самозванец — «западнорусс», литвин, то он мог быть, по «невеликорусским чертам», сыном Грозного, чего г. Иловайский ни в каком случае не допускает. Но так как и это предположение возможно, то этот довод г.

Иловайского остается только не научным, но может быть принят для тождества Самозванца и Димитрия.

Остается образ жизни Самозванца, его польские ухватки, любовь к женщинам («любитель женщин»), к пирам и танцам. Повторяя почти дословно Костомарова в этом случае, г. Иловайский видит в этом «поведении» «ополяченного западнорусса». Но почему же не русского, схватившего внешность польского общества? Русские и тогда и теперь — живой, переимчивый народ. Прожив несколько лет среди поляков, русский непременно, в силу своей восприимчивости, усвоил бы внешность более образованного общества. Это опять наша русская черта, запечатленная сатирической выходкой Грибоедова. И откуда г. Иловайский взял, что русские — «не любители женщин»? Они — большие любители, смею его уверить, и пример — тот же Иван Грозный. Он ли не любил женщин, он ли не любил пиров? Русские любили и франтить, перенимать моды, о чем, например, можно найти в проповедях митрополита Даниила, современника Василия и Елены Глинской. Для молодой жены своей, Елены, Василий сбрил себе бороду. О похотливости мужчин и женщин русских, о бражничанье русских можно найти у иностранцев, бывших в России, множество известий. Один из них Елену Глинскую прямо называл Мессалиною и, со слов русских, передавал о ней известия совершенно в духе этой римской императрицы. А наш XVIII век? Если б русские не любили женщин, то что же осталось бы им любить?

Вообще, если не подступать к Самозванцу с предвзятой идеей, что он — западнорусс, то не отыщется ни одной черты во всей его деятельности, которая говорила бы, что он — не русский даже, чтоб он не сознавал и не понимал русских интересов. Самая женитьба его на польке ничего нового собою не представляла в истории великих князей и царей русских. Иван III берет греческую царевну, сын его Иван женится на молдаванке, Василий — на литвинке, Грозный сватается за англичанку. Костомаров, находя признаки западнорусского и польского воспитания в Самозванце, признавал его русским человеком по происхождению. Да иначе не могло быть. Русские могли поверить даровитому монаху Чудовского монастыря, что он — Димитрий, но не могли бы поверить западнорруссу, самый язык которого выдавал бы его.

Кто был этот удивительный человек, эта трагическая личность, грозным метеором пролетевшая по Руси и взбаламутившая ее с верху до дна?

Личность Григория Отрепьева так усвоилась документальной историей и целыми поколениями, что поставить на его месте кого-нибудь другого очень мудрено. Никому еще ни из историков наших, ни из литераторов не удавалось совершенно устранить Отрепьева. Его именем полны документы русские и иностранные. Г. Иловайский устраняет его преимущественно при помощи Маржерета, который говорит, что Отрепьеву было тридцать пять — тридцать восемь лет и что он был негодяем и пьяницей, отчасти и при помощи такого собственного соображения: «Григорий, пребывая в Чудове монастыре, имел уже дьяконский чин, а по уставам русской церкви он не мог быть посвящен в дьяконы ранее двадцати пяти лет». Но откуда же взял г. Иловайский, что все уставы русской церкви исполнялись неукоснительно? Разве мало несомненных свидетельств о пьянстве, буйстве и всяком нарушении правил церкви ее служителями — низшими и высокими? Церковное правило, чтоб в священники посвящать не ранее тридцати лет, дьяконов — не ранее двадцати пяти подтверждено было на Владимирском соборе в XIII веке,

потом — на Стоглавом соборе в XVI веке. Стало быть, оно нарушалось, если соборы подтверждали его. Оно нарушалось и потом, и весьма часто, вплоть до нашего времени, ибо в 1869 году[1] последовало на этот счет высочайшее повеление. В древней Руси, кроме того, и о возрасте посвящаемых в священники и диаконы довольно мудрено было справиться. Отсюда ясно, что и Маржерет говорит голословно, и г. Иловайский также. Для характеристики противоречий укажу, что г. Павлов (Бицын), отстаивая ту же раздельность Самозванца и Отрепьева, доказывает, что последнему было не более семнадцати лет, когда явился Самозванец.

Вообще личность Отрепьева никак нельзя выкинуть. Она как-то вяжется со всем ходом событий, и, чтоб устранить ее, приискиваются доказательства вроде тех, которые наслоил г. Иловайский. И в жизни, и в истории имя — очень важная вещь, а просто *икс*, неизвестная величина, без имени, без рода и племени — вечная загадка. И странно, что, кроме Отрепьева, никого не называют по имени, решительно ни одного человека. Это говорит больше всего в пользу того, что другого человека и не было, кроме Отрепьева. Положим, Борис сознавал, что надо назвать имя, что этим приемом всего скорее можно погубить Самозванца. Это — расстрига, богоотступник, чернокнижник, вор, Гришка Отрепьев. Но не мог же всех сбить с толку Борис Годунов объявлением, что Самозванец — Отрепьев, если б было какое другое имя. Будь другой человек, где-нибудь проскользнуло бы его имя, нашлись бы какие родственники, знакомцы, друзья, нашлись бы обличители в самой Польше и Литве хотя бы по старанию тех, которые не признавали Самозванца, как Замойский, Константин Острожский, Жолкевский и другие. Конечно, Польша была рада всяким смутам в России, но были и в Польше люди очень честные и благородные, которые возмущались обманом и, конечно, не были чужды желанию убедить своих современников с доказательствами в руках. И, тем не менее, ни одного имени, ни одной догадки, кроме предположения (у Буссова), что это — незаконный сын Стефана Батория, но и в этом случае предположения совсем несерьезного и не поддерживаемого никем.

Отрепьев лезет в глаза, выдвигается всюду, то как привидение, скрываясь и появляясь, то как живой человек, ясный и определенный, упорно стремящийся к своей цели и достигающий ее и обнаруживающий необычайную самоуверенность на троне, как самодержец, знающий свое право, опирающийся на своих предков. «Я вам не Годунов!», — смело восклицает он перед мятежниками. Когда его измученного, с вывихнутой ногой, спрашивали: кто же он? «Я — царь ваш, сын Ивана

---

[1] Возраст рукополагаемых определен 14 и 15 правилами VI Вселенского собора и 16 правилом Карфагенского: священники — 30 лет, диаконы — 25 лет, иподиаконы — 20, диакониссы — 40 лет. Надо иметь ввиду, что диаконы и диакониссы имели особые обязанности, которых теперь не имеют, и что церковь имеет право изменять те каноны (не догматы), которые потеряли свое значение. Например, правило Вселенского собора, ныне не существующее, что в одном городе не должно быть более семи дьяконов, по числу диаконов времен апостольских. Высочайшее повеление 1869 года определяет для диаконов возраст в 25 лет, относительно посвящения священников, говорит, чтобы оно совершалось *«по возможности* не моложе 30 лет».

Я могу привести пример, который мне близок. Брат матери моей первой жены, Анны Ивановны, рожденной Барановой, был 16 лет пострижен, под именем Иннокентия, в монахи Фотием в Юрьевском монастыре, причем лета его были увеличены. Он был крепостным человеком графини Орловой-Чесменской, из Хренового села Бобровского уезда, известного по конскому заводу. Сам он мне рассказывал об этом в 1857 г., когда я прожил у него с женою своею, в Москве около месяца, в его квартире, на принадлежавшем Юрьевскому монастырю Ильинском подворье, которым он управлял.

Васильевича. Спросите обо мне мать мою, или выведите меня на Лобное место и дайте объясниться». До самой смерти он ведет себя, как царь, как мужественный воин. И нет у него соперников, кроме тех безымянных, которых создало воображение историков XIX века, трудящихся над разрешением этой загадки.

Неужели все это случайность, над которою не стоит останавливаться?

«По его (Самозванца) воцарении, говорит г. Иловайский, ничто не мешало ему прямо и точно обозначить лица и места, его охранявшие, и дать хоть какие-либо ясные и достоверные о себе подробности с 1591 по 1603 год».

Совершенно такие же соображения служат и Карамзину и Костомарову для отрицательного ответа на вопрос: истинный ли это Димитрий? Но кто нас уверит, что Самозванец не делал этого, кто нас уверит, что не были истреблены с умыслом все те документы, которые о том говорили? Царь Шуйский неужели был так прост, что о том не постарался, неужели он и его приверженцы так вот взяли все бумаги, оставшиеся после убиения Самозванца, и сохранили их для потомства в величайшем порядке? Ведь ничего подобного даже предполагать нельзя. Если о суде над Шуйским не сохранилось достоверных подробностей, даже точно неизвестно, в какое именно время был этот суд и за что, собственно, обвинен был Шуйский, то обо всем том, что говорило в пользу Самозванца, документов и подавно не могло оказаться. Мне кажется несомненным, что все было тщательно пересмотрено и все уничтожено старанием Шуйского и последующего времени. Не одни пожары и смута истребили документы, — истребила их и тщательная предусмотрительность тех, которые заинтересованы были в этой тайне.

Примером такого образа действий может служить все то, что сделано было по отношению к императору Иоанну Антоновичу, когда он был свержен с престола Елизаветою Петровною. Уничтожались документы, книги, рубли, старались, чтобы исчезло всякое напоминание о том, что этот несчастный ребенок был императором. У Шуйского гораздо больше было причин поступить подобным же образом.

Независимо от этого, у Самозванца, если он был истинным Димитрием, были свои весьма основательные причины для того, чтобы не рассказывать народу всего своего прошлого. Но об этом дальше, в своем месте.

3(15) июня, № 6559

CLXXXIV

Тайна начинается с самого удаления царевича Димитрия в Углич, тотчас после смерти Грозного, когда царевичу едва исполнилось пять месяцев[1]. Ребенок

---

[1] Год рождения царевича показывается 19 октября 1582 и 19 октября 1583, кажется, в зависимости от мартовских и сентябрьских годов. У Карамзина в 741 примечании к IX тому его «Истории Государства Российского» говорится: «В моем «Казанском Летописце»: в лето 7091, октября 19, родился государю царю Ивану Васильевичу от царицы Марии Феодоровны сын, царевич Дмитрий, а прямое имя ему Уар; т. е. имя святого, коего память празднуется в сей день». 19 октября 7091 г. — 19 октября 1582, а не 1583. Грозный женился на Марии Нагой в 1580 г. Нагие происходили из Дании. Родоначальник их — Ольгерд Прега, во святом крещении — Дмитрий, в 1294 г. выехал из Дании к великому князю Михаилу Ярославовичу Тверскому, и был у него в боярах. Женат был на родной сестре великого князя, княжне Ярославе Ярославовне. Евдокия Александровна Нагая с 31 мая 1550 г. была замужем за князем Владимиром Андреевичем, двоюродным братом Ивана Грозного.

уже был ненавистен, ребенка уже боялись, хотя считали его незаконным, как сына Грозного от седьмой жены. Уж в колыбели он является страшилищем, возможным источником смут. Шести-семи лет он уже грозит Годунову и обещает с ним расправиться, когда станет царем. И судьба исполняет эту детскую угрозу. Густая пелена тайны прикрывает угличское событие. Прочтите следственное дело о смерти царевича и все то, что об этом деле писано противоречивого, полемического историками, прочтите летописный рассказ об этой смерти и рассказы современников и вы почувствуете, что вы в темном лесу, где лишь изредка сквозь чащу мелькает свет. И чем дальше, тем тайна больше надвигается и неразгаданнее и чудеснее становится. Если легенды создаются и в наше время, при свете печати и гласности, при телеграфе и железных дорогах, и держатся целые годы, видоизменяясь в устах публики, и искаженные события переходят в мемуары современников; если таинственные факты нашей истории не столь отдаленного времени остаются тайной для огромного большинства в течение целого века, то как легко было образоваться всяческим легендам в то темное время, как легко было поддерживать всякую ложь и выдавать ее за правду, направлять следствия по произволу власти и зажимать рты ссылками, пытками, смертью самой скорой и бесследной.

Существует летописный рассказ об убиении царевича Димитрия клевретами Годунова. Существует следственное дело о том, что царевич сам «напружился на нож», которым играл в тычку на дворе с «жильцами-робятками». Дело это неполное и напечатано небрежно. Историки либо отрицают это следствие, как пристрастное, либо принимают его с поправками, либо защищают его правдивость и компетентность.

По летописному рассказу, Годунов велел убить царевича. По следственному делу, царевич в припадке падучей сам накололся на нож, а царица Марья с Нагими взбунтовала народ, который перебил предполагаемых убийц. Видели, как накололся на нож царевич только четверо жильцов детей, игравших с ним, и один взрослый, стрячий Юдин, который «стоял у поставца и видел», как накололся царевич. Жильцов спрашивали всех вместе, и показания их записаны кратко: «играл с ними царевич в тычку на заднем дворе, и пришла на него болезнь падучий недуг и набросился на нож... В те поры были за царевичем Орина (Жданова жена, Тучкова) кормилица да постельница Самойлова жена Колосова Марья». Почти буквально то же самое записано, как показания Орины и Марьи. Орина взяла к себе на руки царевича и «у нея царевича на руках и не стало». Видели ли эти женщины, как накололся на нож царевич, из их показаний трудно догадаться. Подробности, очевидно, нарочно скрываются, зато показание мамки, боярыни Василисы Волоховой, которую летопись винит в заговоре на жизнь царевича, а сына ее Осипа Волохова — в самом убийстве, записано очень подробно. Жильцы дважды показывают о присутствии на заднем дворе только Орины и Марьи, но о Волоховой ни слова. Тем не менее она при жильцах подробно рассказывает о припадках царевича и повторяет уже известное: «Играл царевич ножиком, и тут на царевича пришла таж черная болезнь, и бросило его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго, и тут его и не стало». И затем опять о падучей и о том, как царица ее била поленом и во многих местах ей «голову пробила», как бил ее Григорий Нагой и как народ расправлялся с Битяговским, Качаловым и Третьяковым и как был убит сын ее, Василисы, уже в

церкви, перед царицею, и т. д. Вообще показания записаны с явной тенденциозностью и очень спутано. Допрашивали множество народа, допросили всю дворню, подъячих, истопников, поваров, помясов, хлебопеков, курятников, скатертников, рассыльщиков, сенных сторожей, сытных сторожей, стрячих, конюхов, уксусников, свешников, попов, игумнов, кутейщиков, посадских и проч. Я насчитал сто поименно названных свидетелей. Затем еще есть целые группы посошных людей, которые были за городом с телегами, но прибежали в город и слышали рассказ, как царевич накололся сам на нож. «Накололся сам» — так и пестрит в деле; часто: «его было долго» — слова Василисы Волоховой. Точно свидетели брали уроки у этой боярыни, прежде чем давать показания. Она являлась как бы руководительницей следствия. Никто ничего не видел, но почти все повторяли: «играл ножиком и накололся сам». Государевы угличские рассыльщики сказали, что у царевича падучая продолжалась «по месяцам беспрестанно», и царевич играл в сваю и на нее накололся, и они слышали об этом от дворовых людей. О том, что царевича *зарезали,* свидетели почти не говорят. Два-три раза только передается этот слух. Очевидно, множеством повторений одной и той же фразы хотели доказать, что царевич сам накололся на нож. Допроса царицы нет в деле. Ее, конечно, спрашивали, и не один раз, но на дому. След этого допроса остался в том, что Крутицкий митрополит Геласий говорил патриарху, вернувшись в Москву, что царица Марья просит у государя помиловать «Михаилу (Нагого) с братьею». О себе ни слова, хотя обвинительный акт против нее Шуйский привез такой, что ее постригли под именем Марфы, сослав в отдаленный монастырь Судин, около Череповца. Угличане были жестоко наказаны казнями, пытками, тюрьмами, отрезыванием языка и проч. и переселены в Пелым, а колокол, в который били в набат, сослали даже в Тобольск. Одних казненных было до двухсот человек. По жестокости наказание это — одно из самых кровавых и ужасных дел даже в те времена, и уж одна эта чрезмерная жестокость, рядом с нелепостью о ссылке колокола, указывает на то, что правительство действовало торопливо, впопыхах, стараясь что-то скрыть, что-то замазать самым прочным образом. Непреклонная воля Бориса, очевидно, тут имела сильные причины руководствоваться особенной жестокостью и особенною настойчивостью, чтобы о деле боялись говорить. Летописцы имели причины основательные обвинять Годунова в убийстве, потому что действия его в данном случае были весьма подозрительны и не могли не породить всевозможных толков. Мне кажется несомненным, что в народе тогда же, т. е. тотчас после смерти Димитрия, образовались две легенды: одна — что царевич убит Годуновым, другая — что царевич спасся, и обе были против Годунова, и обе он знал несомненно и несомненно знал об этом и Феодор со своею супругою, Иринушкой.

По летописному рассказу, угличский розыск продолжался в Москве и там пытали Нагих жестоко. Может быть, вследствие народных слухов, что царевич спасся, у Нагих добивались именно этой правды. Когда Самозванец явился, эта последняя легенда воскресла тотчас же и нашла себе массу верующих. Мильтон говорит, что вера в спасение царевича у народа была всеобщая. Годунов не был вполне уверен в смерти царевича не потому только, что не доверял Шуйскому, но и потому, что сам Шуйский мог опознаться в убитом, тело которого с утра 15-го по вечер 19 мая, т. е. более четырех суток, с перерезанным горлом, с изменившимся, конечно, лицом, лежало в церкви, ожидая следователей. Кроме того,

следователи могли не знать в лицо царевича, который сослан был в Углич ребенком. Поэтому князь Шуйский, когда явился Самозванец, мог сомневаться в том, действительно ли царевича он похоронил? Борис допрашивал тогда Шуйского и царицу-монахиню; он совершенно растерялся и, очевидно, старая неуверенность в смерти царевича воскресла в нем с такою силою, что в грамоте к Сигизмунду, требуя казни Отрепьева, он выдал свою неуверенность такою фразою: «хотя бы тот вор и подлинно был князь Димитрий угличский, из мертвых воскресший, то он не от законной — от седьмой жены». Ирония в словах «из мертвых воскресший» не уменьшает во всей фразе тревоги, и тревога заставляет указать, что царевич — от седьмой жены.

Мы знаем по современным следствиям и следователям, как они бывают небрежны, поверхностны, как упускаются из виду самые, по-видимому, важные факты и действия. Когда происходит поверка этих следствий в окружном суде, сколько является новых данных, сколько неполноты и упущений. Иногда все следствие оказывается никуда негодным. Как же можно думать, что следователи XVI века расследовали дело во всей полноте, что они исполнили даже все важные формальности, притом в городе, где случилось такое выдающееся событие, где был бунт и где сами они не могли чувствовать себя спокойно? Ни у одного историка я не читал, при разборе следствия, чтоб он позволил себе сравнение с следствиями настоящего времени, точно прошлое время не нуждается в таком сравнении, или, может быть, такой прием считается ими почему-либо неисторическим...

В следственном деле есть одно обстоятельство огромной важности, на которое доселе не обращалось того внимания, которого оно заслуживает в деле Самозванца, это — припадки падучей болезни у царевича. Следствие, собственно, и велось об этих припадках, да об убитых Битяговских и др. О припадках падучей говорит даже Нагой, дядя царевича. На них указывает исполненное приказание царицы Марьи, два дня после смерти царевича, убить юродивую женку, которая, по предположению царицы, *портила* царевича, а вера в порчу, конечно, распространялась и на падучую болезнь. В Москве, несомненно, очень хорошо знали об этой болезни царевича и, если он был убит, то возможно, что заранее рассчитано было, что смерть можно свалить на падучую. Тем историкам, которые оправдывают Годунова, можно сказать, что потому и следствие велось о падучей болезни, что было решено ею воспользоваться. Это предположение устраняет возражения защитников Годунова, почему не яд был употреблен в дело и почему днем было совершенно это убийство. Вся обстановка убийства такова, что, кроме детей, никого не было, если не считать Юдина. Но Юдину можно и не доверять. Убийство могло быть произведено в этой обстановке очень легко, что бы ни говорили защитники Годунова, и затем смерть объяснена припадком падучей по лозунгу из Москвы. Чем закололся царевич, даже этого не выяснено. Одни говорят о свае, другие говорят о ноже. О мальчиках-жильцах ни разу не вспомнили, когда явился Самозванец, и когда свидетельство их для Бориса было бы так важно. Очевидно, Борис знал, чего стоили эти показания жильцов-детей, если и самые жильцы эти удалены были туда, куда ворон костей не заносит. Между убийством 15 мая 1591 г. и появлением Самозванца прошло одиннадцать-двенадцать лет: нельзя же предположить, что все четыре мальчика умерли в это время. Вообще, несмотря на такое краткое время, нет свидетелей смерти царевича, не осталось их показаний ни во время Самозванца, ни после него. А сосланный в Пелым Углич прошел через всю Россию и оставил, конечно, рассказы.

Главное, на что я хочу обратить внимание и что имеет *непосредственную и важную связь с Самозванцем,* — это отсутствие внимания к следственному делу с медицинской стороны. Ни один авторитетный медик, специалист по нервным болезням, не разобрал его. А только такая *экспертиза,* столь обыкновенная теперь в судах, могла бы утвердить, насколько правды во всех этих показаниях лиц, которых допрашивали Шуйский и его собраться, когда лица эти распространялись о припадках падучей у царевича. И если показания эти правдивы, то какие черты в характере оставляет падучая?

Не во гнев будь сказано нашим историкам, они до сего времени не пользуются совсем исследованиями в области нервной патологии. Но в таком специальном вопросе, как известная нервная болезнь, невозможно обойтись без медика, касается ли дело живого человека или показаний следствия о лице историческом. Наши историки перебирают следствие о царевиче не хуже адвокатов, но ни один из них не посоветовался с специалистом, знакомым с припадками падучей и влиянием ее на характер человека. Теорию наследственности наши историки тоже почти игнорируют. А все это вместе имеет *первостепенное* значение для решения вопроса о том, кто был Самозванец...

3 (15) июня, № 6559

CLXXXV

Летописцы, обвиняющие Годунова в убиении царевича, не упоминают о падучей. Но следственное дело полно показаниями о ней и ею начинается. В этих показаниях говорится, что в болезни царевич «на всех бросался», что он «объедал руки у тех, на кого бросался» или кто его держал во время припадка, что он «кусал что попало», «за что ухватит зубом, то отъест», «он мати свою царицу сваею поколол»[1], что «у него эта болезнь «старая».

Что у царевича могла быть падучая, на это много причин. Иван Грозный женился на Марии Нагой, будучи уже человеком беспутным, жестоким, кровожадным, предававшимся всевозможным излишествам. Это — во-первых; во-вторых, испуг матери во время беременности, влияние сильных ощущений, в особенности страха и печали, могли подействовать на плод так, что сообщили ему при-

---

[1] Ни ножа, ни сван или свайки на следствии не было предъявлено. Неизвестно, откуда взял Карамзин, что в церкви Преображения «лежало Дмитриево тело окровавленное и на теле нож убийцы» («История Государства Российского», т. X, стр. 137, изд 1824 г.). Вероятно, это собственное добавление историографа Свайка — длинный гвоздь, смотря по размерам, толщиною в палец и более, с толстою головкою, весом от 1 до нескольких фунтов Этой свайкою надо попадать в железное кольцо, которое кладется на землю Иногда обходятся и без такого кольца, а очерчивают на земле небольшой кружок Свайка берется пальцами за острый конец, и искусство заключается в том, чтобы так ее бросить, чтобы она повернулась в воздухе головкою вниз и опять вверх, т.е. описав в воздухе круг или несколько кругов, сколько придется по силе и ловкости удара, и ударила в кольцо острым концом. Таким же образом играют и ножом, который тоже берут за лезвие. Это — обыкновенные правила. Но ножом играют и так, что берут его за черенок, лезвием вниз У царевича, очевидно, была и свайка и нож, как обыкновенные детские игрушки. В одном показании очевидца, занесенном в «дело» говорится, что царевич «летячи» накололся на нож. Укажу на один предрассудок: когда человека бьет в падучей, то считается невозможным до него дотрагиваться во время припадка.

вычку конвульсий. Так как именно по отношению к Самозванцу меня интересовал вопрос о падучей, то я давно уже познакомился с обширным сочинением врача бисетрской больницы Ш. Фере («Les épilepsies et les épileptiques», Paris, 1890), откуда и цитирую предыдущую фразу. Все, что он говорит о причинах падучей у детей, очень подходит к тем условиям, в которых жила царица Марья, и к тем чертам жизни Грозного, которые являются причинами появления детей-эпилептиков. Ей ли было не испытывать сильных волнений, не дрожать от страха с таким мужем, как Грозный, который преспокойно от живой жены сватался к англичанке. Ее беременность, вероятно, была полна мучений, а эти мучения действовали на утробного младенца. Знакомство дилетанта с специальным сочинением об эпилепсии, разумеется, не дает ему возможности разобрать следственное дело с той стороны, о которой я говорю. Призывая на него внимание специалистов-медиков, я ограничусь только несколькими замечаниями для моих читателей. Классического описания падучей почти невозможно составить, ибо она выражается чрезвычайно разнообразно у больных. О ней можно почти сказать, что сколько больных, столько и разновидностей эпилепсии. Сходство с нею имеют т. н. конвульсии у детей, родимчик, эклампсия; припадки бывают частичные, полные и неполные. Есть врачи (Lasègue), которые отрицают существование полной падучей у детей, если она не травматического происхождения (от ран и повреждений); по их мнению, *настоящая* падучая начинается только между четырнадцатью и восемнадцатью годами, значит, у Самозванца могла пройти совсем; другие допускают это только в таком случае, если делать абсолютное отличие эклампсии от падучей, что не поддается точному определению, так как существуют несомненные черты сходства и в происхождении болезни и в ее проявлениях. Припадки падучей могут быть и часты, и редки; есть случаи, что человек испытал только один припадок во всю жизнь, иногда лишь несколько; бывают припадки несколько раз в год, ежемесячно, а иногда несколько раз в день; бывает и так, что многие годы проходят без припадков. Продолжительность припадков иногда одна минута, две-три минуты, реже пять минут; но бывают и более продолжительные, до восьми минут. Иногда падучая ведет к ослаблению умственных способностей, даже к идиотизму, иногда она не затрагивает этих способностей, иногда сообщает им известный характер и направление. Цезарь, Магомет, Ньютон, Наполеон, Петр Великий считаются в числе людей, имевших припадки падучей. Ф. М. Достоевский страдал ею всю жизнь.

Относительно Самозванца очень важны вопросы: проходит ли эта болезнь с летами, от изменения климата, режима и проч. или не проходит, и если проходит, то какие следствия она оставляет в организме? Если она не проходит, то прямое доказательство того, что Самозванец не Димитрий, именно в том заключалось бы, что, Самозванец не страдал падучей болезнью, по крайней мере об этом никто не упоминает. Если она видоизменяется, оставляя известные следы на характере данного лица, страдавшего этою болезнью в молодости, то какие это именно следы? Ответ на этот вопрос был бы важен потому, что характер Самозванца нам известен, характер довольно исключительный и, что особенно важно, значительно подходящий к характеру эпилептиков, как его рисует Ш. Фере.

Вот выдающиеся черты эпилептического характера.

Эпилептический характер очень подвижен и неровен; от энтузиазма, вежливости, великодушия он быстро переходит к презрению, грубости, жестокости;

от подозрительности — к беспечности, от веселости и общительности — к мрачному расположению духа; расточительность и крайняя расчетливость также в нем уживаются. Часто эти перемены совершаются быстро, без всякой видимой причины, как в области чувств, так и в области идей. Несмотря на подвижность, эпилептический характер иногда способен на продолжительную ненависть или на такую же привязанность, так же малообоснованные, как и его скоропреходящие влечения. Некоторые эпилептики преследуют с исключительным постоянством великодушную или преступную цель; в течение многих лет стремятся они к этой цели с упорством изумительным и кончают или гибелью, или благосостоянием и славой, смотря по тому, благоприятствуют ли им обстоятельства или нет. Вследствие всего этого, сознание добра и зла у них довольно смутное, точно они бессильны в этом разобраться, точно сама природа толкает их на странные противоречия. Эпилептики . очень женолюбивы, страстны и доходят до извращения инстинктов страсти. «Многие знаменитые люди, — говорит Ш. Фере, — слывшие эпилептиками, блистали более своим упорством в достижении цели (tenacité), чем величием замыслов (conceptions)».

Не напоминают ли эти черты нашего Самозванца? Не такие ли у него быстрые переходы от великодушия к жестокости, от веселости к мрачной задумчивости, от подозрительности к самой легкомысленной беспечности? Не такое ли же у него малое сознание добра и зла? Не такая ли же настойчивость в преследовании своей цели, не такая ли же привязанность к Марине наряду с эротическими увлечениями женщинами, которых ему доставляли отовсюду, даже из монастырей? По своему сладострастию он прямо годится в герои Достоевского, который прекрасно знал натуру сладострастников и эпилептиков.

Все эти черты кажутся мне поразительными в связи с падучей болезнью у царевича Димитрия.

Поразительно также и следующее обстоятельство. Известно, что у Самозванца одна рука была короче другой, как у Дмитрия-царевича. *Оказывается, что и это — признак эпилептика.* Из 132 эпилептиков, которых наблюдал Ш. Фере, у 32 правая рука была больше левой, а у 46 левая была больше правой, т. е. из 132 человек у 78 было это отсутствие симметрии верхних конечностей, и только у 52 они были симметричны. Другими словами, более чем у половины эпилептиков замечено отсутствие симметрии рук. Вообще, при точных измерениях головы и лица, у эпилептиков встречаются частые уклонения от симметрии, встречаются аномалии в организме, и чем в более ранние годы началась эпилепсия, например, в годы, когда кости еще не укрепились, тем число этих недостатков значительнее. Болезни кожи тоже явление у них почти постоянное; присутствие бородавок на лице Самозванца не надо ли отнести именно к болезням кожи?

Я не говорю, что всем этим доказывается *несомненная* тождественность Самозванца и Димитрия. Но я думаю, что эти признаки устанавливают связь между ними гораздо большую, чем простые предположения и догадки. О неравенстве рук говорили все историки, но говорилось об этом, как о неважной случайности. Теперь эта случайность осмысленная. Странности и противоречия в характере Самозванца, противоречия непримиримые, объяснялись его происхождением, средою, воспитанием и проч., или просто считались необъяснимыми. Г. Павлов (Бицын), например, говорит о характере Самозванца: «Трудно представить себе в одном и том же лице более капризное, какое-то исключающее всякий характер,

сочетание злых и добрых свойств; в нем поражает легкомыслие разврата и почти безразличие к добру и злу... Часто видели на его лице, подолгу останавливавшееся, какое-то угрюмое, глубоко-задумчивое выражение». В конце концов, г. Павлов называет этот характер *«сделанным,* легко (?) образуемым в ребенке его особенным воспитанием». Г. Павлов полагает, что этот характер *сделали* иезуиты. Я думаю, что его сделала природа в зависимости от эпилепсии и тревожной, полной трагизма его жизни, — природа, которая сильнее иезуитов и которую историки совершенно упустили из виду. Немудрено, что этот характер сходился и с характером чудовского монаха, и с характером чернокнижника, и с характером ополяченного литвина, и поляка, и русского, и трансильванца, и даже итальянца: как современнику его или историку хочется, так и выходит. Он-де подходит и к этой национальности, и к этой, и к такому состоянию, и к этакому. Чудное и необъяснимое дело; но оно объясняется всего лучше его нервной организацией, которая, в известных, научно определенных группах, распространяется в большей или меньшей степени на все национальности и которая далеко не совсем поддается усилиям воспитания.

Я еще раз замечу, что психология и физиология совершенно игнорируются нашими историками, точно данные естественнонаучные не должны играть никакой роли в исторических исследованиях, точно история есть только компиляция по источникам, составленным людьми более или менее невежественными, без разбора, или тенденциозно заносившими в свои мемуары размышления, догадки, слухи и факты[1].

8 (20) июня, № 6563

CLXXXVI

Все противоречия в характере Самозванца и разные толки о личности его, оставшиеся преимущественно в мемуарах иностранцев, и заставили наших историков предполагать, что Отрепьев и Самозванец — два лица. Отрепьев становится совсем неинтересным и помещается г. Иловайским прямо в «алкоголики»; Костомаров еще раньше отверг знаменитого Гришку; а ранее даже Костомарова, хотя с оговоркою, митрополит Платон в своей «Краткой истории церкви». С этого времени и вопрос о личности Самозванца стали связывать с вопросом о том, кто его подготовил и воспитал, бояре или иезуиты? Одни утверждали — иезуиты, другие — бояре, но личность Самозванца от этого нового приема исследования ничего не выиграла. Она остается полным incognito, на которое то надевали иезуитские одежды, то боярские. В иезуитские одежды облек его митрополит Платон, заимствовав эту идею в Лексиконе лютеранина-немца; г. Павлов старался пришпилить эту одежду как можно плотнее к Самозванцу, но Костомаров вступил с ним в бой и старался ее отшпилить, вслед за о. Пирлингом. Г. Иловайский освобождает иезуитов от подозрения в этой интриге, руководствуясь преимуще-

[1] Укажу на одну попытку не историка, а профессора, специалиста по нервным болезням, П. И. Ковалевского «Иоанн Грозный и его душевное состояние», Харьков, 1893. Это — талантливый разбор характера Грозного. С сочинением его же «Эпилепсия» я познакомился, когда статья моя была уже почти кончена.

ственно тоже о. Пирлингом. Но боярская интрига остается в силе: за нее — Костомаров и Соловьев, а г. Иловайский становится в середине, предполагая интригу «польско-русских панов». Есть еще третий вариант — польский.

Мне сообщили, что есть статья польского писателя Иосифа Шуйского, умершего в 1881 году, специалиста по истории Польши XVI и начала XVII столетия. Шуйский высказывается, на основании документальных данных, что Самозванец был орудием польской оппозиции против Сигизмунда III, стремившейся к свержению короля с трона. В планах этой партии, перешедшей было к открытому возмущению и разбитой под Гузовым в 1607 г., предполагалось занять русский престол своим человеком и потом, пользуясь всеми средствами русского царства, занять и польский престол. История с Самозванцем была, таким образом, говорит мой корреспондент, «вторым актом в борьбе оппозиции с королем».

Все дело, таким образом, вертится исключительно около политических соображений, мало затрагивая даже чисто бытовую сторону. Историки соперничают между собою в изобретении политической интриги, видя повсюду хитроумных и проницательных Бисмарков, точно Бисмарк ничем не обязан сцеплению обстоятельств и даже простой случайности. История, конечно, обязана объяснять и находить причины, но психология времени и лиц должна в этом отношении играть очень большую роль.

Но заслужил ли Григорий Отрепьев то пренебрежение, которое ему стали оказывать? Ставя на его место совершенных незнакомцев, отрицая возможность появления истинного Димитрия, расследована ли личность Отрепьева со всех сторон — с исторической, бытовой и, пожалуй, патологической? По-моему, она не расследована вполне даже со стороны исторической, благодаря отчасти тому усердию, с которым историки стараются решить вопрос о прикосновенности Бориса к угличскому делу о смерти, действительной или мнимой, царевича Дмитрия.

Г. Казанский поместил в «Русском Вестнике» (1877, № 8—10) обширную и весьма интересную статью, в которой доказывает, что Самозванец — несомненно Григорий Отрепьев. Г. Белов в статье «О смерти царевича Дмитрия», где он становится на сторону следственного дела и обеляет Годунова, обстоятельно разобрал боярские интриги против Годунова. Самая личность Самозванца у г. Казанского изображена, как антипатичная, грубая, у г. Иловайского — бесцветная, у Костомарова — раздвоенная; но Костомаров, которого чутье художника никогда не покидало, говорит: «мы не считаем положительно невозможным и странным, что малолетнего царевича спасли и подменили». Г. же Иловайский решительно против признания Самозванца Димитрием и все доказательства в пользу этого называет «тенденциозными или прямо невежественными», ибо они основываются на *«пристрастных* показаниях Маржерета, *мистических* баснях Товянского и *своекорыстных* сообщениях Фомы Смита». Но говорят ли что-нибудь такие прилагательные? Достаточно ли их выговорить, чтоб читатель уверовал в призрачность этих сказаний? В то время, как Маржерет у г. Иловайского «пристрастен», у Костомарова он — «умный и беспристрастный». Кому верить? А жизнь, как это всем известно, представляет столько невероятных происшествий и случаев, что невероятное-то иногда и есть правда, а вероятное есть вымысел.

История Самозванца так чудесна, так полна всякими эффектами, всякими неожиданностями, что, может быть, в тождестве Самозванца и Дмитрия-царевича и лежит истина...

О характере царевича есть несколько данных, из которых можно заключить, помимо эпилепсии, что развит он был не по летам, понимал свое положение и ненавидел Бориса. Ребенком он уже думал о царстве и выговаривал угрозы. Эту ненависть к Борису унаследовал и Самозванец и она была у него постоянная, искренняя, неукротимая, точно к личному обидчику. И к его семье он относился, как неукротимый враг, не пощадив даже свою племянницу (если Самозванец — Димитрий) в лице Ксении. Помимо сладострастных позывов, как у отца его, Ивана Грозного, к своей невестке, тут играло роль и какое-то утонченное чувство сладострастника, ищущего наслаждений с женщинами, которые состоят с ним в родстве. Один из специалистов по эпилепсии приписывает такую склонность страдающим этою болезнью, как их особенность.

Приводя это мнение, я гляжу на Самозванца не как на Самозванца. В самом деле, необыкновенная самоуверенность его на троне, его *чисто русское* честолюбие, любовь к *русской* славе, *русской* гордости, его величание себя императором и даже непобедимым, точно он чувствовал *непобедимость* народа, во главе которого он стал, его мужественная смерть, полная высокого трагизма, — все это как-то не клеится с самозванством.

И замечательно, что такой трезвый, холодный и осторожный историк, как Соловьев, считает его человеком убежденным в том, что он — царевич Димитрий. При этом Соловьев не отделяет Самозванца от Отрепьева и представляет жизнь его целиком, как Отрепьева, во всех ее превратностях, чудесах и странностях. Оттого у Соловьева лицо это рельефнее, чем даже у более даровитого Костомарова, который отделил Отрепьева от Самозванца, взяв последнего уже в Киеве, без всякого прошлого. У Соловьева мы видим Самозванца в юности, как даровитого, грамотного, интеллигентного человека, который обращает на себя внимание. Костомаров с необыкновенною легкостью объясняет, почему Самозванец назван был Борисом Гришкою: без имени нельзя было обойтись, без имени никто бы не поверил, а потому-де взяли имя беглого монаха, и баста. Но вся беда в том, что объявили-то имя около года спустя после первых слухов о Самозванце. Было довольно времени подумать и обсудить и сознать важность этого явления.

Далее я скажу, почему именно на Отрепьева Борис обратил внимание и почему иначе и поступить ему было нельзя.

В одной из годуновских грамот Самозванец очерчен так: «Отца своего не слушал, впал в ересь, крал, играл в кости, пил, несколько раз убегал от отца и, наконец, постригся в монахи, не отставши от своего прежнего воровства, чернокнижничества и вызывания духов нечистых». Конечно, тут нарочно краски сгущены, но сквозь них видна подвижная, страстная и странная натура, вырывавшаяся из условий обычной русской жизни, виден, быть может, тот эпилептический характер, черты которого намечены выше.

Его странствования по монастырям, этим русским отелям XVI века, житье у Романовых и Черкасских, в Чудове у патриарха, может быть, телесное знакомство с поляками во время продолжительного пребывания польского посольства Сапеги в Москве, когда он мог научиться польскому языку, что для даровитого русского не представляло никакого затруднения, его бегство в Литву, пребывание в Гоще, в Киеве, у Вишневецкого, в Самборе, знакомство с панами, иезуитами, Мариною, представление Сигизмунду, обращение в католичество, — вся эта чудная, пестрая, своеобразная жизнь, жизнь человека, который все идет в гору, выше и выше, увлекаемый, подгоняемый самою судьбою, более и более одушев-

ляющийся, — неужели все это менее понятно, менее правдоподобно, чем появление какого-то incognito, свалившегося с неба?

Тут, в этой истории Отрепьева, мы имеем дело с характером исключительным, с настойчивостью прямо изумительной, не останавливающейся ни перед чем, пользующейся всеми и всем, недолго думая, но быстро, отважно, как может только действовать человек, которым владела исключительная нервная натура, натура даровитого и убежденного в достижимости цели человека.

Напрасно его представляют игрушкою иезуитов и панов: скорей он играл ими, заставляя их служить своим целям и победоносно выезжая на их спинах.

Он не является лакеем и просителем, хотя принимает подарки и берет на себя тяжелые обязательства; он очевидно внушает всем уверенность в правоте своих стремлений самой своей личностью. Что потом о нем говорили поляки — не может идти в счет. Перед Наполеоном III поклонялись, как перед гением, а потом мешали его с грязью. Это удел всякого фиаско. Но во время своего появления в Польше, Самозванец являлся человеком тонко расчетливым, быстро схватывающим сущность партий польских; он проделывает комедию перехода в католичество и за нос водит хитрых иезуитов и самих пан, как водил их за нос Грозный, пользуясь тем, чем можно было воспользоваться в их политических планах для России.

Я уже упоминал, что наследственность нашими историками игнорируется, как дело их не касающееся нимало. Между тем, неужели нельзя не заметить в Самозванце черты Грозного, черты его пылкого красноречия, его сладострастия, его неуважения к церковному авторитету, его своеволия, его изменчивости, его ненависти к боярству, над которым Самозванец смеялся и которое унижал так, что бил их палкою, как Петр Великий? Наследственные черты так и сквозят в этой загадочной личности, получившей лучшее воспитание, чем Грозный, и больше его видевшей.

Свою краткую историческую карьеру он пролетел с таким шумом и блеском, что века его помнят, что поэты одушевляются его личностью и будут еще одушевляться.

Это — самый выдающийся Самозванец из всех когда-либо бывших. Как мог какой-то безымянный западнорусс, о котором ничего никто не знает теперь и никто ничего не знал тогда, до выступления его в роли Димитрия, как мог он все это совершить, будучи игрушкою в руках иезуитов или панов? Откуда эта самоуверенность, это сатанинское честолюбие, эта русская удаль, это сознание высокой роли России? Надо помнить, что он царствовал всего одиннадцать месяцев и что рассказы о нем русских хронографов все проникнуты преднамеренностью, страшными для того времени идеями о расстриге, о чернокнижнике, который душу свою продал черту, пропитаны и ненавистью, воспитанною ужасами Смутного времени, которого он является зачинщиком в народном представлении и после которого написано большинство сказаний о нем.

Кто же он?

Если он только Отрепьев, только сознательный самозванец, то многое остается загадочным и необъяснимым, если и признать в нем исключительно нервную и даровитую натуру.

Если Отрепьев — сам по себе, а Дмитрий — сам по себе, то обе личности останутся неопределенными, ибо нам пришлось бы, для характеристики их, брать не *все* свидетельства, а лишь *некоторые*, почти исключительные и явно тенденциозные. Кроме того, пришлось бы отбросить совсем такие черты в деятельности и характере Самозванца, который даже Карамзин считает себя не вправе не

заносить в историю, свидетельствуя о любви к нему народа в первые месяцы его царствования. Нам пришлось бы, если бы мы хотели быть логичными в этом направлении, *обезличить* обоих героев, представив их игрушкою партий.

По-моему, это — не два лица, а одно и то же лицо. То, что доказывать я намерен, конечно, требует художественного таланта и, быть может, большого, а я — не художник. Но все-таки я попробую.

8 (20) июня, № 6563

CLXXXVII

Г. Казанский, в статье «О личности первого Лжедимитрия», говорит: «Г. Соловьев *не досказал* своего взгляда на первого Лжедимитрия. Он называет его Григорием Отрепьевым, но, вместе с тем, не допускает того, чтоб он был обманщик, а признает его человеком верившим, что он есть Димитрий-царевич. Рождается вопрос: как же мог Григорий Отрепьев верить, что он был Дмитрий-царевич? Этот вопрос оставлен без разрешения».

Действительно, этот вопрос оставлен Соловьевым без разрешения. Действительно, рождается вопрос: как же мог верить Отрепьев, что он царевич Дмитрий? Соловьев, по моему мнению, не договорил вот чего:

Григорий Отрепьев и был царевич Димитрий.

Как бы ни казалось это предположение рискованным, но, в области других подобных, попробуем его разобрать. Предположение может и остаться предположением, но этим путем, как ad absurdum, можно добиваться истины, или, по крайней мере, проверить другие предположения.

Читатель может ответить г. Казанскому на предложенный им выше вопрос, что Соловьев верит, что Самозванца приготовили бояре, а потому они и внушили Отрепьеву, с дней юности, что он — царевич Димитрий.

Но читателю я бы возразил: почему же бояре выбрали Отрепьева?

Потому, что он был похож на царевича?

Или, что он был такого неважного роду, что надо было только столкнуть Годунова с трона, а потом уж ничего бы не стоило столкнуть и Отрепьева?

Да кто же на его место сел бы? Разве между боярами было такое согласие, что они, подготовляя Самозванца, делили между собою и роли — тому быть царем, тому — великим конюшим, тому — воеводою над полками? Или это были такие буйственные политики, что хотели только смут? Я лучшего мнения о боярстве; я достаточно напитан прекрасною книгою г. Ключевского «Боярская Дума», чтоб допускать такое легкомыслие со стороны бояр. Вообще приготовление *Самозванца издали, с* измлада, это и не в духе русском и примера такого не было в истории. А полагая, что Отрепьев верил тому, что он — царевич, Соловьев, очевидно, предполагал, что приготовили его к тому измлада. Приходилось, стало быть, выдумать самое *понятие о* самозванстве, *выбрать* Самозванца, *сообразить последствия.* Надо было воспитать его, руководить им, защищать его от Бориса-правителя и от Бориса-царя, помогать ему в России и в Польше, иметь везде агентов преданных, дальновидных и т. д.

Какая это сложная и рискованная махинация!

Феодор был царем, у него могли быть дети, а главное, могли сто раз измениться обстоятельства, прежде чем понадобился бы Самозванец, и, возможно,

что он бы и не понадобился. Как могли рассчитать бояре, что Феодор умрет именно тогда-то, что Борис будет царем, что создадутся особые благоприятные условия, вроде голода, которые помогут успеху Самозванца? Как могли бояре рассчитать, что Самозванец будет победителем, а не побежденным в борьбе с Борисом, как могли рассчитать, что он не создаст затруднений для самих бояр, для той партии, для тех фамилий, которые его готовили? Я не знаю даже во всемирной истории примера, где бы Самозванца приготовляли издали, воспитывали его с дней детства, как будущего повелителя на час, как орудие для свержения ненавистного царя; я не вижу никаких ни бытовых, ни психологических данных для того, чтоб допустить для русской истории такое исключение. Спустя три века можно легко строить эти предположения, не входя в психологию *того* времени и *тех* людей. Если Борис и сказал боярам, что Самозванец — их дело, то он, конечно, не разумел, что они его подготовили издалека. Психология *того* времени выразилась в народных песнях, в хронографах, а в них нет подобных предположений. Не могли его приготовить и иезуиты, по тем же причинам с прибавлением других многих. И бояре, и иезуиты могли *воспользоваться* и воспользовались Самозванцем, насколько можно было, но выдумать, воспитать, приготовить — это даже не остроумно предполагать.

На мой вопрос выше: почему же бояре выбрали Отрепьева? я отвечал вопросом же: потому что он был похож на царевича? Но если он был похож на царевича летами, лицом, руками, бородавками на лице — ведь этого еще мало. Какой умный человек стал бы строить сложную политическую комбинацию на одном наружном сходстве? Необходимо было сходство *в самой судьбе, в самой жизни* двух лиц. Необходимо, чтобы жизнь Отрепьева походила на жизнь царевича, предполагая, что он был спасен. А мог ли он спастись? Бывают спасения поистине чудесные. Почему Григорию Отрепьеву не быть царевичем и царевичу не называться Юрием (до монашества) Отрепьевым? Почему некоторым боярам не знать, что это действительно царевич, и до поры до времени не молчать об этом? Если Отрепьев — Димитрий, боярам нечего готовить, им достаточно *знать,* что Димитрий жив, что он под рукой и что его можно пустить в оборот. Когда умер Феодор, Димитрий был четырнадцати лет и трех месяцев; годы слишком ранние, чтобы выступить ему самостоятельно, даже чтоб выступить при помощи бояр. Популярность Бориса была слишком велика, чтоб отважиться выставить ему такого соперника, которого и права-то на престол не были убедительны даже в глазах самих бояр, в особенности тех из них, которые сами хотели сесть на престол.

Но, однако, как же это? Григорий Отрепьев и Димитрий-царевич — одно и то же лицо?

А как же это, кроме Отрепьева, нет никого? Есть Отрепьев и Димитрий-царевич. Или Отрепьев — Самозванец, ничего не имеющий общего с Димитрием, или Отрепьев есть настоящий Димитрий. Ни один беспристрастный историк не может пропустить в этом человеке таких черт, которые говорят в пользу убежденности его в том, что он — сын Грозного. Соловьев — не кто-нибудь, первый встречный, Костомаров — не кто-нибудь; это — талантливые и серьезные исследователи. Признавая сознательность Самозванца в «Смутном времени», в заключительной главе к этому сочинению, Костомаров все-таки говорит: «есть в нем черты, которые и теперь располагают исследователя склоняться к признанию его действительным сыном Грозного».

Предположим, что царевич спасся. Об этом спасении много вариантов, как и об его убиении. То он сам накололся; то убили его на дворе, когда он играл; то во

время прогулки с кормилицей, на улице; то на лестнице дворца, причем убийцы спрятались под лестницу: Битяговский из-под лестницы схватил его за ногу, сын его Данило — за голову, а Качалов перерезал ему горло. Относительно спасения одни говорят, что спас его доктор Симеон, которого убийцы склонили на свою сторону. Он притворился что предан им, и в ночь, назначенную для убийства, бежал с царевичем, положив на его кроватку другого мальчика. Другие передают, что мать и близкие к царевичу люди задолго до угличского убийства укрыли царевича, а под его именем воспитывался в Угличе другой мальчик, которого и убили 15 мая 1591 года. Этим рассказам многие тогда верили, очевидно, не видя в них чего-нибудь невероятного. И эту веру современников необходимо принимать в расчет. Сам Самозванец в дошедших до нас документах говорит о своем спасении в общих чертах. Но возможно, что он говорил о том подробнее, но эти его речи не переданы с умыслом. В допросах Мнишку после убиения Самозванца, ответы его очень короткие и почти ничего не говорящие. Может быть, странно, что в такой критический для него момент он не выяснил всех причин, которые заставили его поверить Самозванцу в такой степени, что он выдал за него дочь свою. Но на допросах лежит явная печать тенденциозности и желание скрыть все то, что говорило бы хоть намеком каким-нибудь в пользу веры в спасение Димитрия. Шуйский-царь употребил все средства для того, чтобы Самозванец был Самозванцем. В «Повести» Катырева-Ростовского сказано, что Мнишек «подробно» расспрашивал Самозванца и он подробно же ему отвечал. Но этих подробностей и нет, зато многое множество о «научении» от дьявола и таких выражений, как «злохищный» чернец, «лукавый вепрь», «зломышленный волк», «злодыхательный пес», обращений к Богу, нравственных наставлений и т. д. Вообще в русских источниках подробности тонут среди всевозможных размышлений и выражений ненависти и презрения к Самозванцу. Больше слов, и пустых слов, ничего не говорящих для историка, для дела. В своем месте я скажу, что у Самозванца были основательные причины и для того, чтоб не пускаться в подробности.

10 (22) июня, № 6565

CLXXXVIII

Можно, не отступая от следственного дела, вообразить себе, как был спасен царевич.

Повод к этому предположению дает Афанасий Нагой, который приехал в одну из майских ночей 1591 года из Углича в Ярославль к англичанину Горсею, который жил там[1]. Вот что пишет Горсей:

---

[1] В «Новом Времени» 1894 г., где помещен был этот мой этюд, я взял известие, о котором идет речь, из «Смутного времени» Костомарова (изд. 1883, стр. 27). Но цитата Костомарова оказалась и весьма неполною и неверною. У Горсея не говорится, что Афанасий приехал «в полночь после рокового дня», как цитирует Костомаров. Я привожу теперь полную цитату из английского подлинника: «A relacion or memorial abstracted owt of sir Jerom Horsey his Travells», etc. Edit. by Edward Bond, London, 1856». Сочинение это составляет часть книги «Russia at the close of the Sixteenth Century. Другая часть занята известным сочинением Флетчера. Вследствие этого настоящая глава и часть следующего моего этюда являются в переработанном виде. Странно, что и г. Евгений Щепкин в своем сочинении «Wer war Pseudodemetrius!» цитирует Горсея тоже произвольно, отнеся приезд в Ярославль Афанасия Нагого «в полночь после дня, в который Димитрия лишили жизни».

«Однажды ночью я поручил свою душу Богу, думая, что настал мой конец. В полночь послышался стук в мои ворота. Я был хорошо снабжен пистолетами и оружием. Я и слуги мои, человек пятнадцать, отправились с этим оружием к воротам. «О, мой добрый друг Джером, мне надо поговорить с тобой!» Я увидел при свете луны брата царицы, Афанасия Нагого, вдовы-царицы, матери юного царевича Димитрия, находившегося в двадцати пять милях отсюда, в Угличе. — «Царевич Димитрий умер; горло его перерезано в шестом часу дьяками; один из его пажей признался на пытке, что Борис подослал его; царица отравлена и близка к смерти: у нее отваливаются волосы ее, ногти и кожа; помоги, дай какое-нибудь целебное лекарство, ради Христа, ради Его страданий». — «Увы, у меня ничего нет, что стоило бы послать». Я не решался открыть ворота. Я побежал к себе, отлил в пузырек бальзама (из склянки с бальзамом, данной мне королевой) и коробку с венецианским териаком (противоядие). — «Вот все, что у меня есть! Дай Бог, чтоб это помогло ей!» И передал эти лекарства через забор, скрывавший Афанасия. Немедленно после того сторожа на улицах подняли весь город, извещая об убийстве царевича Димитрия. Дня четыре перед тем в пригородах Москвы были сделаны поджоги, сгорело до двенадцати тысяч домов. Стража Бориса воспользовалась добычею, четыре или пять солдат были подкуплены дать ложное показание, — то были отчаянные люди, нанятые, чтобы вынести пытку — и вот потом оповестили народ, что царевич Димитрий, его мать, царица, и семейство Нагих наняли этих людей с целью убить царя и Бориса Федоровича и предать огню всю Москву. Это распространялось нарочно, чтобы возбудить ненависть народную против царевича, его матери и всего семейства Нагих. Но это была слишком грубая ложь, и все были возмущены ею; и Бог не замедлил послать страшное возмездие и отмщение, чтобы на страшном и наглядном примере показать, что Он справедлив во всех своих деяниях и обращает злые замыслы и дьявольские козни людей в явный позор. Епископ Крутицкий в сопровождении пятисот стрельцов и дворян и царедворцев был послан совершить погребение царевича Димитрия, под главным алтарем св. Иоанна в Угличе. Не подозревали они в то время, как скоро дух Димитрия будет потревожен на погибель Бориса Федоровича и всей семьи его. Больная, отравленная царица была немедленно пострижена в монахини; ради спасения ее души она должна была удалиться от мира: все ее близкие, братья, дяди, друзья, служилые люди и слуги вплоть в немилость и их рассадили по разным тайным застенкам, чтобы уже никогда не увидеть света».

Горсей не отворил ворот своему приятелю, несмотря на то, что вышел на стук в ворота с пятнадцатью вооруженными людьми. Если за четыре дня до приезда к нему Афанасия Нагого в Москве сделаны были, так сказать, политические поджоги, хотя пожары в Москве были делом обыкновенным, если народу объявили, что Нагие подкупали людей на убийство царя и Годунова, то или там готовились к чему-то важному и волновали народ против Нагих, или там получено уже было известие об убийстве царевича и народном бунте, жертвою которого сделались Битяговский, Волохов, Качалов и др., и слухи против Нагих пущены были навстречу слухам об этом бунте, вероятно, в разных вариантах, не исключая обвинения Годунова в убийстве царевича. Принять эти обвинения можно, если будет известен день приезда в Ярославль Афанасия Нагого. Об этом скажу ниже. Горсею незачем было говорить неправду, да еще такую нелестную для своего мужества, когда он не отворил ворот приятелю и поскорее его спровадил, не

расспросив даже хорошенько. Скорей можно предполагать, что Горсей не все рассказал, что знал и что ему передал Афанасий. По всей вероятности, Нагой приезжал не один, ибо, как только он уехал, сторожа известили об убийстве царевича. Очевидно, рассказали об этом люди, сопровождавшие Афанасия. В следственном деле есть показание, что в самый день убийства, по приказанию Михаила Нагого, который упорно стоял на том, что царевич зарезан, из конюшни убитого Мих. Битяговского взято было восемь-девять лошадей, и они переведены на дворцовую конюшню. На этих лошадях целые три дня ездили посадские люди за город, верст за пять, за шесть. Лошади эти возвращены были на конюшню Битяговского только во вторник, за день до приезда Шуйского. На них, может быть, ездили и дальше. Говорилось, что ездили для приезжих из Москвы (следовательно?), чтоб дать знать в Углич. Но все это темно — ясно только, лошади были нужны и, может быть, для Афанасия Нагого.

Горсей пробыл в Москве с 1572 года, имел большие знакомства, знал хорошо по-русски. Годунову он оказывал большие и малые услуги, рискуя собственною особою, но щедро вознаграждаемый. Он хвалит Годунова за щедрость вообще. Горсей уговорил вдовую королеву ливонскую, дочь князя Владимира Андреевича Старицкого, внучатую сестру Грозного Евфимию, вместе с ее дочерью, вернуться в Россию: вернувшись, она попала вместе с дочерью в монастырь, где девушка и умерла в 1589 году. В ней видели возможную претендентку на престол. Бездетство Ирины мучило и ее, и брата ее и, вероятно, и мужа, несмотря на его убожество. Горсею дается поручение в Лондон (в 1585 году) посоветоваться с самыми искусными врачами Лондона, Оксфорда и Кембриджа насчет особенностей телосложения царицы, причин ее повторявшихся выкидышей и других женских обстоятельств, которые могли бы способствовать беременности. Горсей, кажется, наболтал Елизавете, что это поручение дано ему самой царицей, а не Годуновым и это рассердило царицу и царя, потому что сделалось гласным в Англии и повело к объяснениям и переписке, в которой принимал участие Флетчер, прибывший в Москву в 1588 году. Вместе с тем Горсею поручено было привезти бабку, и Елизавета тотчас ее отправила, но бабку не пустили дальше Вологды, потому что нужна была докторша, которая знала бы как пособить бесплодной царице иметь детей. Несмотря на противодействия дьяка Андрея Щелкалова, принципиального врага англичан и личного врага Горсея Годунов постоянно был на стороне Горсея и говорил ему такие вещи, которые «нельзя написать», которые должны оставаться тайной. Рассказывая о последнем приезде в Москву, Горсей говорит: «я вручил царю письма королевы: он передал их Андрею Щелкалову, главному должностному лицу при посольствах, — недругу моему из-за сэра Джерома Бауса. Царь принялся плакать, — глупый государь, и креститься, говоря, что он никогда не подавал мне повода к обиде: что-то его беспокоило[1]. Меня поспешно удалили, чтобы он меня не видел. Князя-правителя при этом не было; я и не слыхал о нем; но вот раз, вечером, проезжая мимо моего жилища, он послал боярина сказать

[1] Горсея обвиняли в том, что он сказал о Феодоре, что ему «не царем следовало быть, а монахом», о чем была переписка с английским правительством (см. у Юрия Толстого «Россия и Англия») В 1585—1586 гг. на Горсея наклеветали в Лондоне, что он сказал о графе Лейстере, что тот выкинул свою жену из второго этажа, переломал ей ребра и сделался таким образом любовником королевы Елизаветы. Дело доходило до Тайного Совета (Privy Council), и Горсей был оправдан.

мне, чтобы я выехал к нему верхом под московские стены, в уединенное место. Он велел всем отойти в сторону, поцеловал согласно обычаю, сказал мне, что он не мог, по важным соображениям, относиться ко мне дружественно и доброжелательно, но он это делал «со слезами». Я отвечал ему, что я тем более сожалею об этом, что по совести, никогда не давал ему повода к обиде, но всегда был по отношению к нему верным, честным, правдивым. «Так пусть же пострадают за это те, которые были причиной твоего несчастья и моего». Далее он говорил о таких вещах, которых нельзя доверять бумаге; потом простился, уверяя меня, что он не позволит ни единому волосу упасть с моей головы, — фраза».

Таким образом, между Горсеем и Годуновым существовали таинственные связи. Он знал многое, чего не знали другие, и если сердился на Годунова за то, что он не употребил всего своего влияния в его пользу в это последнее посольство, которое усложнялось для Горсея тем, что он привез неприятную для царя грамоту Елизаветы, которая считала себя обиженной приемом Флетчера, то имел на то право, оказав важные услуги Годунову. Годунову, вероятно, в этом случае приходилось считаться с влиянием Щелкалова, а, может быть, и царицы Ирины, роль которой далеко не вполне выяснена в событиях царствования Феодора. Существовали две царицы. У одной, вдовой, был наследник престола. У другой, царствовавшей, не было этого наследника, которого она страстно желала. Обе царицы могли только ненавидеть друг друга, и обе совсем не были женщинами пассивными. Честолюбие и интриги в жизни обеих занимали немало места. Характер Ирины — один из самых сложных, судя по тому, в каких условиях приходилось ей жить и действовать. Царевич Димитрий был и для Ирины ненавистным, а влияние ее, не говоря о влиянии на мужа, было, конечно, значительно и на Годунова. Бориса Феодоровича нельзя считать властным в полном значении этого слова, когда ему приходилось считаться с влиянием Щелкалова и устранять тайные свидания с Горсеем. Ему несомненно приходилось советоваться с Ириною, слушаться ее и кое-что скрывать от нее. Если царь Феодор был совсем глупым и ничтожным человеком, то около него была умная жена, которая не позволяла особенно заноситься и брату своему. Как ни любила она брата, но свое потомство было для нее дороже, и она его страстно желала, и вела свою политику, которая не всегда согласовалась с политикой Бориса. Для психолога-историка личность Ирины очень интересная.

Когда Афанасий Нагой был у Горсея?

10 июня 1591 года Горсей писал из Ярославля лорду Борлею, что дело ее величества королевы опять рассматривалось правительством и обсуждалось 17 и 18 мая и что его, Горсея, собирались снова вызвать в Москву, но что «как раз 19 того же месяца в высшей степени несчастный случай постиг молодого царевича, девяти лет отроду, сына покойного царя и брата нынешнего; он был жестоко и изменнически умерщвлен, — ему перерезали горло в присутствии его матери, царицы, причем были еще другие *ужасные обстоятельства, о которых я не смею писать*». По-видимому, что могло быть еще ужаснее насильственной смерти царевича, о чем Горсей «не смел писать»? До него, очевидно, доходило множество слухов об участниках этой кровавой драмы. Мы знаем, что о смерти царевича ему сообщил впервые Нагой и, конечно, не в ночь на 16 мая, как говорит Костомаров. Это ясно из самых чисел 17, 18 и 19 мая, которые он дает в письме к лорду Борлею. Царевич убит 15 мая, а он относит убийство к 19 мая, когда в Углич уже приехал Шуйский с своими товарищами, следователями. Поэтому можно заключить, что Горсей видел Нагого не ранее 20 или 21 мая.

От Углича до Ярославля два пути, — один в сто пятьдесят верст, другой — в сто. Проехать это расстояние можно в десять-пятнадцать часов. Афанасий Нагой был в Угличе в день убийства, по его словам Горсею, но до 20 или 21 числа неизвестно где скрывался. Может быть, он поехал с спасенным Димитрием и поэтому совершал путь медленно. Может быть, он уже скрыл царевича и заехал в Ярославль по каким-нибудь необходимым соображениям. Может быть, например, лекарство нужно было не царице, а царевичу, который был уже скрыт где-нибудь в Ярославле или около. О царице Афанасий говорит Горсею какую-то нескладицу, очевидно сочиненную, чтобы объяснить страшным ее состоянием приезд свой в Ярославль. Часов до трех или четырех пополудни она была еще бодра и очень возбуждена. Ее можно проследить по следствию до самой церкви, куда перенес Андрей Нагой царевича, где еще произошла расправа с Волоховым, и куда была приведена Битяговская с двумя ее дочерьми.

На следствии Афанасия Нагого не допрашивали и самое имя его ни разу и никем не было упомянуто. Допрашивали Андрея, Григория и Михаила Нагих, но его — нет. Нельзя допустить, чтоб его совсем забыли. Следователи наверное спрашивали, где он. Если допрашивали всех домашних, если ловили всякого, кто мог повторить слухи, что царевич сам накололся на нож, то как они могли не спросить, где Афанасий, куда он девался, когда уехал и куда? На вопрос об Афанасии им могли сказать, что он бежал. Лови ветра в поле. Допрос о нем могли выкинуть из следственного дела. Но исчезновение его могло дать Шуйскому повод думать, что царевич спасся, что убитый вовсе не царевич, что поэтому и надо было столько свидетельских показаний и повторений одного и того же для того, чтоб убедить, что именно царевич сам накололся на нож и умер. Возможно, что эта повторяемость специально была назначена для недалекого Феодора. Нагие, конечно, навстречу московской интриге готовили свою. Они знали все, что происходит в Москве, и против заговора деятельно готовили свой заговор. Поэтому нельзя не обратить внимания и на то, что говорит Горсей о событиях в Москве «за четыре дня» до приезда к нему Нагого. Если Горсей <Нагой?> был в Ярославле 20 или 21 мая, то за четыре дня до этого, т. е. 16 или 17 мая в Москве знали уже о смерти царевича и распускали враждебные слухи о Нагих, но не сообщая народу о смерти царевича. Известию Горсея можно верить, потому что он имел полную возможность собрать об этом сведения, пока находился в Ярославле и по дороге на родину.

Среди убийств и бунта спасение царевича было тем возможнее. В следствии, конечно, опущено было все то, что хотя отдаленно намекало на спасение царевича. Может быть, это исчезновение Афанасия Нагого из Углича и составляет ту тайну, которая заставила Годунова и Феодора так жестоко поступить с царицею и ее родными и с угличанами. Царевич умер и со смертью его умерли все опасения, все страхи, что он может вступить на престол. Отчего не быть снисходительным к матери убитого, хотя она и возбуждала народ и распоряжалась убийствами не только 15 мая, но и позже? Ведь эта смерть царевича и без того и ее смерть — царица теряла всякое значение и сама пошла бы в монастырь — это верное убежище для горя в тогдашние времена. Но если царевич спасся, если есть подозрение, что его скрыли, дело получает совсем иной оборот. Разоряют все гнездо, подозревают массу граждан в пособничестве, казнят их сотнями, везут Нагих в Москву и там пытают и о чем-то еще допрашивают. Может быть,

допрашивают именно об Афанасии Нагом и о том, не увез ли он с собою царевича? Мы этого ничего не знаем, но мы знаем, что везут в Москву кормилицу Орину и ее мужа, Тучкова. Очень интересные лица. У Орины на руках царевич скончался. Ее необходимо допросить в Москве, чтобы убедиться, действительно ли царевич скончался. Она — самая достоверная свидетельница, и в придачу к ней везут и ее главу, мужа. Только этою важностью Орины и можно объяснить требование ее в Москву. При московском дворе не могли не знать о приезде Афанасия Нагого в Ярославль. По свежим следам и не трудно было это сделать, тем более, что за послами существовал тщательный надзор.

Теперь, как поступлено было с Горсеем? 6 июля ему сообщили, что царь хотел его принять, но раздумал по случаю «большого волнения, случившегося в последнее время среди его народа». Присланы были ему ответные письма к королеве, и он отправлен был в Англию в июле месяце, и прибыл в Лондон 4 октября. В ответном письме царя королеве Горсея просто шельмовали, называя «негодным человеком», «плутом», «негодным плутом», «заслужившим смертную казнь». Между тем никаких доказательств этого плутовства, достойного смертной казни, не приводилось вовсе. Ему как будто за что-то мстили, хотели за что-то его обидеть, представить плутом, не заслуживающим никакого доверия ни в Москве, ни в Лондоне.

Конечно, тут видна рука Андрея Щелкалова, врага Горсея, но этому сочувствовали, очевидно, и Феодор и Ирина. Годунов, напротив, предлагает деньги Горсею и действует в пользу торгового договора с Англией. Когда одни сердятся и мстят, другой, более умный и расчетливый, подкупает. И все это во время «большого народного волнения», вызванного угличской драмой. Ограничилось ли это волнение одним Угличем — большой вопрос. Я повторяю, что мы вправе верить известию Горсея о волнении в Москве. Может быть, событие это нашло отклик и в других городах, и московскому правительству приходилось тушить его не в одном Угличе. Во всяком случае, Горсей является неприятным для правительства свидетелем угличской драмы и возможным источником рассказов о ней в Англии. Поэтому, с одной стороны, его клеймят «негодным плутом», стоящим казни, с другой — ублажают его деньгами, а Англию — выгодным договором. Что бы этот «негодный плут» ни стал рассказывать, все это выдумки, все это его мщение за то, что его отпустили с такой «репутацией». Он способен всех замешать в это кровавое дело, даже царя и царицу, но знайте, что мы не казнили его единственно из уважения к королеве английской. И Горсей молчит, удаляясь на покой. В этом же 1591 г. выходит в Лондоне знаменитое сочинение Флетчера о России. Флетчер наслушался рассказов Горсея, с которым он вместе ехал от Москвы до Лондона, и многим из этого воспользовался. О царевиче Димитрии, о покушениях на его жизнь мог рассказывать ему Горсей. Флетчер ясно намекает, что царевичу Димитрию не дожить до престола — его убьют. И вот прошло всего два года, и предсказание Флетчера сбывается. Неизвестно, в каком месяце 1591 года вышло сочинение Флетчера о России («Of the Russe Common Wealth»). Но английские купцы пожаловались на это сочинение и просили изъять из обращения все его экземпляры, так как «личность царя, его отца, его брата и боярина Бориса Феодоровича, правителя, и вообще нравы народа очерчены в таких резких выражениях, что Компания опасается, чтобы мщение за все это не обрушилось на ее людей и на товары, находящиеся в России, и не погубило навсегда ее торговлю в этой стране». И эта просьба была уважена, т. е. книга была уничтожена. И Горсей,

естественно, не мог рассчитывать на то, что его рассказы о таком происшествии, как угличское, могут быть напечатаны. Об угличском событии он написал только то, что я привел здесь, а в дальнейшем повествовании есть прямые неверности; например, он говорит, уже по слухам и рассказам, что Годунов заключил в монастырь и Феодора и Ирину и провозгласил себя царем. Он правильно освещает причины появления самозванцев и смуты тиранией Ивана Грозного и царя Бориса, «невинно пролитой кровью», «попущением дьявола и своей собственной злой воли и честолюбивых желаний». Нигде прямо он не винит Бориса Годунова в смерти царевича, по его словам, «смышленого» и подававшего «надежды», но говорит, что царевич был «зарезан», и размышления его о «справедливом наказании» злых поступков и честолюбия не оставляют сомнения в том, какого виновника он разумеет, хотя, рассказывая о появлении Самозванца, поставленного, по его мнению, Бельским, он выражается о царевиче Димитрии так: «*якобы* убитый по приказанию Бориса». По моему мнению, Горсей далеко не сказал всего того, что знал об угличском деле, что слышал в Ярославле и по пути своем из России. Если б он рассказал откровенно обо всем этом, угличское дело не было бы такой загадкой. Притом он писал свои «Travels» в течение многих лет (напечатаны они впервые только в 1856 г.). Кончаются они известием о восшествии на престол Михаила Романова. По мере того как он писал, события в России шли ускоренным, быстрым темпом. До него доходили слухи, и он, естественно, подчинялся им, вымарывал, дополнял, переиначивал, сообразно с теми известиями, которые до него доходили. Помимо всех этих условий, мешавших его откровенности, он, быть может, щадил самого себя, *боясь выдать свое собственное косвенное участие* в этом деле. Большой и опытный интриган, имевший врагов и друзей в Москве, имевший тайные связи и своих шпионов, он унес с собой в могилу важные тайны того времени. Обо всем для него самого неблагоприятном он упорно молчал. Его рассказ о свидании с Афанасием Нагим в Ярославле, по моему мнению, рассказ неполный и неискренний. Он умолчал о том, о чем следовало, по его расчетам, сохранить тайну.

Перехожу к возможному спасению царевича, если не отступать от следственного дела, которое до нас дошло только в отрывках.

Пусть царевич, играя с мальчиками в тычку, упав мгновенно в припадке падучей, накололся на нож, но не смертельно. Кровь брызнула, судороги продолжались с минуту и остановились. На крик мальчиков прибежала кормилица Орина и взяла на руки Димитрия (по следствию). Видит: лицо синее, глаза полуоткрыты и подведены наверх, все тело оцепенело, дыхания нет. Совсем мертвый. Но все это: и синее лицо, и оцепенелое тело, полуоткрытые или совсем закрытые глаза, зрачки, не реагирующие на свет, совершенно остановившееся дыхание — описание момента падучей после судорог, взято мной из книги проф. Ковалевского[1]. И по этим признакам кормилице кажется, что царевич умер. Начинается смятение и невероятная суматоха. Царица сбегает сверху, кричит и начинает колотить поленом мамку Волохову. Сбегаются служители, а их множество во дворце. Набат. Собирается народ из города, с судов на Волге. Начинается расправа с Битяговскими, Качаловым и т. д. Где царевич? Да его как будто и нет. До него как будто никому нет дела.

---

[1] Эпилепсия, ее значение и проч. Изд. 2-ое. Харьков. 1892

Все следствие носит такой характер: «накололся на нож», «его долго било» и больше ничего. Когда накололся на нож: тогда ли, когда его «долго било», или тогда, когда он падал, «летячи» накололся, или «бьючися», как выразились кое-кто из допрошенных, говоривших по слухам. Это совсем неизвестно. Когда он умер? Это тоже неизвестно. Андреи Нагой, сбежавший сверху на двор тотчас за царицею, которая услышала крик, видит царевича у кормилицы Орины на руках уже мертвым; это было еще до набата; после Андрея прибежавшие со своего подворья, услышав набат, Михаил и Григорий Нагие видели его еще живым, но при них он скончался. Кто же говорил правду? Тот, кто раньше видел царевича, или те, которые видели его позже? Сколько времени царевич находился на дворе после припадка, тоже неизвестно. Его, конечно, унесли в хоромы, но когда и кто унес, — неизвестно. Ни один из свидетелей, кроме перечисленных, не сказал, что он видел царевича мертвым или живым. А многочисленная прислуга, которую допрашивали и которая сбежалась на крики, должна была видеть царевича живым или мертвым. В свидетельских показаниях, если они записываются добросовестно, такие подробности непременно, сами собой, являются. Свидетель не отвечает на вопрос так, как отвечают на вопрос в катехизисе. А следственное угличское дело напоминает именно катехизис, да еще краткий. Следователи прямо избегают вопроса: видел ли ты царевича живым или мертвым? Никто не сказал и о том, подходила ли к сыну царица, осмотрела ли его, велела ли отнести наверх, уходила ли сама с ним наверх и потом опять сбегала вниз — и об этом ни слова. Но на дворе она бьет Волохову, приказывает Григорию Нагому, когда он прибежал, бить ее по бокам, выслушивает объяснения Волоховой и обращается к народу с речью, называя убийц. В одном показании говорится, что Битяговский сначала пошел наверх, в комнаты, думая, что царевич там; не найдя его, он кинулся на двор. Таким образом, царица относительно долгое время оставалась на дворе, и она как будто совсем забыла о сыне, как забыли о нем все, считая в том числе и следователей.

Но зато мы узнаем нечто важное из показаний Нагих о сохранении тела царевича. Андрей Нагой говорит, что он «был у царевичева тела безотступно», а Григорий Нагой проговорился фразою, что они, Нагие, «блюлись от государя опалы, чтоб кто царевичева тела не украл». Значит, и он безотступно был при этом теле, и брат его Михаил. Кто же мог украсть мертвое тело, для какой надобности? Ведь совсем нелепо говорить о краже трупа в такое время, когда над трупами не занимались анатомией. Был ли задан вопрос о краже тела царевича или эта фраза явилась сама собой в голове Григория Нагого, — неизвестно. Но, так как она была произнесена, — значит, вопрос о возможности кражи трупа существовал, значит, были поводы думать, что для кого-нибудь это нужно. Предположим, что труп был украден. Следователи спрашивают, где он? Для Нагих в этом случае необходимы были бы многочисленные свидетели. Чем большее число людей видело бы труп и смертельную рану на его горле, тем было бы лучше. Но этого на самом деле и не было. Нагие «неотступно» при теле царевича, Андрей Нагой сам относит его в церковь Спаса. Эта подробность важная. Тело берегут, как зеницу ока, пускают в церковь только с разбором и никому не позволяют взглянуть на мертвого, да и лицо его, вероятно, было закрыто. Самая фраза Григория Нагого о краже тела могла быть вызвана вопросом: почему они никого не подпускали к телу царевича? — Мы боялись, что тело украдут. А, может быть, вопросом: почему они собирали посадских людей для охраны церкви, так как фраза о «краже тела» стоит рядом с фразою о собирании посадских людей?

Из допрошенных свидетелей только архимандрит Феодорит и игумен Савватий говорят, что видели тело царевича в церкви, но говорят об этом мельком: «царевич лежал во Спасе зарезан», «царевичево тело в Спасе лежит», и ничего больше.

Но, может быть, кража царевичева тела могла быть произведена с целью подменить его другим трупом. В этом случае кому же это нужно, кроме Нагих? Нагой заговорил о краже тела потому, что об этом говорили другие, об этом были слухи, этот вопрос стоял в воздухе во время всего следствия. Поводы говорить о краже трупа говорят нам и о поводах говорить о краже царевича, живого или полумертвого. Да, именно о краже живого царевича. Ведь следствие дошло до нас неполным и в весьма подозрительной редакции. Фраза о краже тела, оставшаяся в «деле» по какому-нибудь недосмотру, выдает допросы о краже живого царевича, которые или были исключены из «дела», или и вовсе туда не заносились. Нельзя себе сообразить, чтобы следствие о деле таком необыкновенном происходило только в «официальных» заседаниях следователей, что не было сепаратных допросов, свиданий Шуйского с царицею и Нагим. О свидании царицы с митрополитом Геласием говорит и «дело». О других оно принуждено было молчать по тем или другим причинам. Молчит оно и о том, что говорилось в тюрьмах, под пыткою, когда признания вырывались беспощадною мукою. На это историки могут сказать: «Об этом нет документов». Но документы — тогдашняя жизнь, полная произвола и насилия. Я имею право искать разгадку тайны и в этих условиях, в особенности тогда, когда официальный документ очевидно лжив и когда приходится отгадывать правду или по намекам, или по таким выражениям, как эта странная фраза о покраже тела. Охранять тело царевича нужно было именно потому, что это было не тело царевича. Никакие, ни бытовые, ни религиозные, ни отвечающие данному положению условия не позволяют допустить возможности кражи трупа царевича. Поэтому, усиленная охрана трупа, который лежал в церкви Спаса, может быть объяснена только необходимостью соблюсти тайну спасения царевича, и все усилия Нагих направлены были к тому, чтоб кто не выдал этой тайны, чтоб кто не открыл и не узнал в лицо царевича. К приезду Шуйского, в течение четырех летних дней, лицо ребенка могло в такой степени измениться, что его и близкие едва узнавали. А следователи, по всем вероятиям, царевича никогда и не видали при его жизни.

Надо знать, что дворец царевича на самом берегу Волги и отделен от реки деревянной стеной. Тут же, в нескольких саженях от дворца, и собор Спаса, куда Андреей Нагой внес царевича. Вся драма с ее убийствами могла продолжаться часа три-четыре. Представьте себе, что царевич ожил, на руках ли Орины, которая кричала об его смерти на дворе, или тогда, когда его внесли в комнаты. Безмерная радость матери, радость родных соединяется с тревогою. Что теперь делать? Объявить об этом? Но в городе стоит бунт, лежат мертвые. Нагие и царица подняли бунт, они указали на Битяговских, Качалова и проч., которые оказываются невинными. К тому же Нагие убеждены, что царевича хотят извести, что если сегодня это не удалось, то может удастся завтра. И что сделают с царицей, с царевичем, с Нагими? Судьба их и ее кончена навек, если откроется, что такие убийства произведены по пустякам. Нагие и царица властвуют в городе вполне. На это указывает то, что через два дня после убийства царевича царица велит убить юродивую женку, которая жила у Битяговских и ходила к Андрею Нагому. Это убийство — тоже загадка. Она будто бы «портила» царевича. Но она

могла и знать о том, что он спасся, что его увезли. Юродивая может проболтаться, ей нельзя доверять, и ее велели отыскать и убить. Времени довольно, чтобы скрыть царевича, а скрыть его необходимо. Иначе беда. И вот Афанасий Нагой вызывается устроить дело. Но надобен труп. Всесильный случай подвертывается. Есть мальчик-мертвец, может быть, убитый нечаянно во время свалки. Его одевают в одежду царевича, в его окровавленную рубашку или прибегают к искусственному окровавлению, и проч. и проч.

Как известно теперь, у Горсея Афанасий Нагой был только 20 или 21 мая, а от 16 до 18 включительно из Углича выезжали посадские на лошадях, переведенных с конюшни Битяговского на конюшню царевича. Но, что самое важное, в нескольких саженях от дворца — Волга и на ней — суда; с этих судов прибегали казаки и участвовали в драме, т. е. убивали. Они были соучастниками с Нагими и вместе с ними боялись ответственности. Царевича можно было надежно скрыть на одном из этих судов и отвезти на этом же судне в Ярославль, который на берегу той же Волги, как и Углич.

Путешествие по Волге было по течению; расстояние между Угличем и Ярославлем по воде длиннее, чем по сухому пути, и медленнее; оно могло продолжаться два-три дня или больше, с остановками, но зато совершенно безопасно, так как в соблюдении тайны были замешаны казаки, которым грозила казнь. Казаки и тут, в самом начале трагедии, и казаки в самом начале появления Самозванца. Сказание о спасении царевича могло идти с этих самых пор, могло заглохнуть и через десяток лет воскреснуть, как несомненная правда. Скажут: «был слух, много лет тому назад, что царевича спасли. Да вон тот-то и тот-то помнят». И начинается связь настоящего с прошлым. Нет дыма без огня, и важное событие не умирает. Есть таинственные пути, о которых никакая история не знает, никакой современник не догадывается, но которые существуют в человеческой жизни, как электричество в природе, как воздушные волны, приводимые в движение человеческим голосом. Это — то, что выражается словами «пути Божий неисповедимы», и история так не часто открывает те тайны, по которым двигается человеческая жизнь, что художественно написанные исторические романы открывают иногда нам больше, чем документальная история.

Нагие принимали все меры для того, чтоб обман удался, и на следствии неправно противоречат друг другу: один говорит о падучей, даже об ней распространяется, точно охотно хочет подтвердить показание Волохова; другой — об убийстве: для них — самое важное, чтоб убедить следователей, что царевич действительно умер и что погребено действительно тело царевича; они затем путаются с городским приказчиком Раковым, распространяются о ногайском ноже, о том, кто велел звонить в набат — обстоятельство совершенно ничтожное ввиду близости церкви: кем-нибудь, случайно произнесенное во время суматохи слово могло вызвать набат; на трупы убитых Битяговского и др. кладут ножи, самопалы и железную палицу, обмазанные куриной кровью. Это что-то наивное, но это и повторение искусственного окровавления: сначала для подмены царевича, потом для спасения самих себя. Одним словом, Нагие распоряжаются в городе, как хозяева, при общем сочувствии, которое так дорого стоило Угличу. Углич, будучи уделом царевича, любил его. При этом положении все можно было сделать, все можно было укрыть. О полиции в XVI веке не имели и понятия, а мы знаем, как сплошь и рядом бессильна и самая деятельная и превосходно организованная полиция.

Если допустить, что царевич спасся, что он где-нибудь был скрыт, то дальнейшая его судьба ясна. Он мог укрываться в монастырях, передаваемый из одного в другой, из близких к Угличу в дальние, на самый север, в места глухие. Его могли свезти и в Литву на некоторое время, его мог туда отвезти Афанасий Нагой, след которого пропал. Царевич мог потом вернуться, мог жить, вследствие каких-нибудь случайностей, хоть у того же Богдана Отрепьева в Галиче, в качестве приписанного к нему сына, а мог и совсем у него не жить, а только называться его сыном. Если он жил у него, то он «не слушался отца и несколько раз убегал от него», как говорил Борис. И это понятно для приемного сына. Участие Отрепьевых в судьбе Самозванца вообще какое-то темное, совсем не выясненное ни хронографами, ни официальными документами. Осталась какая-то тайна, строго оберегавшаяся. Не был ли Отрепьев в Угличе в то время, когда жив был царевич Димитрий и существовал двор его? Не участвовал ли он в сокрытии царевича вместе с Афанасием Нагим? В рассказе Горсея подозрительно, что он даже не посмотрел, был ли Афанасий Нагой один, или с ним было несколько человек. Необыкновенно странная осторожность. Если он сам не видел, то пятнадцать человек прислуги, с которыми он вышел из своего дома, могли видеть и рассмотреть посетителей в то время, как Горсей вернулся в дом, чтоб отлить лекарства. Не могли же эти пятнадцать человек прятаться за забором, чтоб ни их никто не видел, ни они никого не видали.

Что скрыть царевича было легко, это и доказывать нечего. Стоит присмотреться к нашему времени, например, ко времени нигилизма, когда преступники по целым месяцам скрывались в Петербурге, и тайная и явная полиция не могли их найти. Заметим, что все, относящееся к Отрепьеву в его юности и к Димитрию, происходит в Угличе, Ярославле, Галиче и около Костромы, где было Дедино, имение Романовых. Все эти места в расстоянии приблизительно ста — ста пятидесяти верст друг от друга. Верстах в двадцати-тридцати от Дедина был монастырь Иоанна Предтечи, что на Железном Борку, где был, по сказанию, пострижен Отрепьев св. Трифоном Вятским. Эта ограниченность местности, где живет Отрепьев-Димитрий, указывает на какую-то связь между ним и лицами, принимавшими в нем участие и знавшими его тайну. Близкие к нему люди успели его скрыть под чужим именем, даже в известной доле обеспечить его, но о дальнейшей судьбе его не могли озаботиться настоящим образом по причинам очень понятным. Время было тяжкое с этим угличским следствием, казнями, ссылками, пытками угличан. Все притихли; всех похватали; паника была везде, а мы знаем, что значит паника; самые близкие люди к царевичу, дяди его, царица и проч., были разосланы по монастырям и в ссылку в дальние места, болтунам резали языки; разгром Углича и всей партии Нагих надолго могли предоставить царевича почти его собственной судьбе и дали ему тот закал и раннюю возмужалость, которые так ясно проступают в его жизни.

10 (22) июня, № 6565

CLXXXIX

Следя за жизнью Отрепьева, невольно представляешь себе *возможную* жизнь почти брошенного Димитрия. О детстве его известно мало. Слова Бориса в грамоте к Сигизмунду, что он «не слушался отца и убегал от него несколько

раз», неизвестно к какому году относятся. Хронографы говорят, что отца он лишился рано, что мать научила его грамоте, что с юности он пострижен в монахи (четырнадцати лет) св. Трифоном Вятским. Замечательно, что и Димитрию было четырнадцать лет и три месяца, когда Феодор умер и Борис стал царем. Это совпадение говорит за то, что положение царевича стало опаснее при Борисе-царе, а в монашеской одежде легче скрываться. Св. Трифон мог быть у Романовых, имение которых Дедино было около того монастыря, куда поступил Отрепьев-Димитрий, мог знать или догадываться, кто этот юноша. Проникнувшись сожалением к его судьбе, предвидя, каким случайностям он может подвергнуться в мире, он нашел, что пострижение — самый лучший исход для него. Отрепьев живал у Романовых и родственников их, Черкасских. Как могли смотреть на Димитрия бояре, знавшие, кто он? Они могли ему оказывать всякое покровительство, способствовать его образованию, но до поры до времени не говорили ему, кто он. Да и расчета им не было говорить. Царевич — от седьмой жены, брошенный всеми, — какие у него шансы на престол? Зачем смущать его и будить его воспоминания, успевшие достаточно уснуть? Зачем подвергать и его явной опасности и себя самих? Но могли ли уснуть его воспоминания о прошлом?

Ему шел восьмой год, если предположить, что он спасся во время угличского дела. Он не мог не помнить себя царевичем. Но в этом отношении, как и в вопросе об эпилепсии, были бы необходимы мнения специалистов. Едва ли можем во всех случаях, даже исключительных, принять за критериум собственный опыт. Упрочению памяти о нашей детской жизни помогают рассказы наших матерей и отцов, совместная жизнь с братьями, сестрами, родными, товарищами. Да и тут мы говорим: «Помню, как во сне». А когда больного царевича разом вывели из обычной обстановки в другую, в среду других товарищей и других людей, которые *внушали* ему забвение прошлого, преемственность в памяти могла нарушиться резко и новая жизнь стала стирать воспоминания прошлого. Оно не совсем исчезло, но осталось, как сновидение. А если предположить, что царевич был скрыт раньше угличского погрома, то он мог и совсем не помнить того, чем он был. Наконец, он мог и помнить, но страх заставлял его молчать и терпеть страх за жизнь свою. Чувство самосохранения есть и у детей.

С посвящением в монашество бродячая жизнь его усиливается. Он то и дело переходит из одного монастыря в другой. Он поселяется в Чудове, потом уходит из Москвы и снова там является. Точно какая-то нервная подвижность, беспокойство им овладевает, по мере того, как он мужает, и по мере того, как Борис становится подозрительнее и больше и больше гонит бояр. Не случилось ли вот чего? Люди, принимавшие участие в Димитрии и не говорившие ему, кто он, с избранием на царство Бориса стали менять свое мнение: лучше бы Димитрий, чем Борис. Начались разговоры. Димитрию говорят, что он похож на умершего царевича, и это слово вдруг пробуждает в нем уснувшие воспоминания о прошлом; он мучительно старается вспоминать свое детство, но в голове остались только какие-то неясные отрывки. Он расспрашивает о царице, об Угличе, о Нагих, которые и сами потеряли его из виду и не знают, жив ли он и где он? Он мог сходить в Углич, увидеть те места, где он ребенком играл, и воспоминания стали определеннее, яснее. Он сам заговаривает у своих покровителей, что он помнит вот это и это. Робко, полусловами, намеками, ему отвечают, однако, так, что он начинает убеждаться, что он — Димитрий. Он узнает, что Отрепьев — ему

не отец, что его скрыли и воспитали под чужим именем. Можно себе представить, какое было это мучительное состояние, как много тяжелых дум и сознания своей беспомощности, какая ненависть к Борису! Да и к своим покровителям у него не могло быть особенно хорошего чувства. Он ясно мог видеть, что ими руководило. И вот, по мере того, как он убеждается в своем происхождении, он и боится, что его откроют, что Борис найдет его и прикажет или убить, или сослать, — и страстное чувство мести и желания занять отцовский престол разгораются в нем. Постепенно он овладевает собою, но вечная дума, все об одном и том же, обращается в непреоборимое желание достигнуть своей цели. Он стремится в Москву, стремится обратить на себя внимание и достигает этого. Патриарх берет его к себе в писцы или секретари, возит его с собою в Думу. Он ко всему приглядывается, знакомится с поляками, бывшими в Москве, с Сапегою, расспрашивает их, учится говорить по-польски, знакомится с латинской азбукой, вообще упорно и последовательно стремится приготовить себя к предстоящей деятельности. Близкие к нему люди знают об этом или догадываются. Созревает постепенно намерение не о самозванстве, не о том, чтоб *приготовить* Самозванца, а о борьбе истинного сына Грозного с Борисом. В 1601 году, когда у Димитрия созрела решимость выступить борцом так или иначе, берут под стражу князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Сицких и Романовых. Мучают пытками, постригают в монахи, рассылают по разным тюрьмам и монастырям. Особенно пострадали Романовы. Федора Никитича, будущего патриарха Филарета, постригают, жену его также; не щадят ни мужчин, ни женщин, ни детей. Точно открыто было что-то необыкновенное и ужасное.

Что же такое? Протоколов допросам не велось, все делалось тайно. Не было ли открыто, что говорят о том, что царевич жив, что он где-то скрывается. На Романовых обращается особенное внимание, как на ближайших родственников царевича. На связь с этим указывает поведение Филарета Романова в монастыре, когда успех Самозванца возрастал. Он изменился, стал нетерпелив, говорил: «увидите, чем я буду». Предполагать, подобно г. Белову («О смерти царевича Димитрия»), что Отрепьев и Варлаам, один — приверженец Романовых, а другой — Шуйских, бежали в Литву, чтоб приготовить там самозванца, совсем неправдоподобно. Что они этим выигрывали? Бескорыстная и опасная служба, не более...

Немного позже погрома Романовых, их родных и друзей, Димитрий-Отрепьев проговорился, что он будет царем на Москве. Борис велел его сослать; но дьяк Смирной Васильев, которому поручено было это, не исполнил почему-то своевременно приказа, за что впоследствии поплатился жизнью. Наш герой уходит в Литву великим постом, в 1602 году, с двумя другими монахами.

Когда Борис получил первые известия о Самозванце, он пришел в ужас. «Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли Провидения, можем изъяснить не только успех, но *самую мысль* такого предприятия?» — говорит Карамзин. В самом деле, затея *самозванства* была бы вполне безумной, если бы это был самозванец. Но со стороны Димитрия это было делом естественным и понятным, достойным всякого риска. Но он не тотчас объявляет себя. Говорит он свободнее и действует так же. Он подучивается в Гоще, побывал у запорожцев, чтоб узнать их расположение к Димитрию, поступает к польскому пану, чтобы присмотреться к жизни знатных поляков, чтоб лучше усвоить себе язык, манеры обращения и т. д. Объявив себя царевичем, он отказывается от своего прошлого, от своего имени Григория Отрепьева, которое становится популярным на Руси.

Сначала могли довольно случайно остановиться на имени Отрепьева, который хвастался, что будет царем, служил у патриарха и бежал. Но откуда такая дерзость у монаха, дерзость решительно необыкновенная, небывалая никогда? Надо было все это расследовать, объяснить самим себе, что это такое? Если это штуки бояр, то почему же они обратили свое внимание на какого-то бродягу, чернеца? Не может быть, чтоб Борис не разузнал всего прошлого этого Григория Отрепьева, чтоб не прослежена была вся его жизнь. Он допрашивает В. Шуйского, царицу-монахиню Марфу: умер ли царевич? Эта мысль его беспокоит больше всего. Не самозванец страшен, а Димитрий, не тень Димитрия, а он сам. Есть еще женщина, которая могла бы что-нибудь сказать. Это — Отрепьева. О ней упоминается раз смутно, что она, вместе с другим сыном, обличила Самозванца, но когда, перед кем — неизвестно. Она могла сказать, что был у нее приемный сын, могла рассказать, когда это случилось и как. Но то, что она рассказала, говорило только в пользу возможности, что это царевич. Наедине Борис говорил с дядей Отрепьева, Смирным Отрепьевым. Он говорил с ним в тех комнатах, куда допускались только близкие люди. Что они говорили — остается тайной. Но и Смирной Отрепьев мог сказать только то, что знал об этом удивительном мальчике, прошлое которого теперь так выяснилось. Справлялись в монастырях, справлялись у патриарха, и все известия являются какими-то странными, загадочными, дающими возможность предполагать, что, если это — не Димитрий, то, во всяком случае, лицо загадочное. Есть известие, будто Борис говорил, что это — незаконный сын священника; в грамоте к Сигизмунду он проговорился даже о возможности, что это — настоящий Димитрий, хотя с иронической оговоркою «воскресший из мертвых». Внутреннее убеждение в том, что он имеет дело с царевичем, могло только расти в Борисе, и единственное, что ему оставалось — настаивать *на имени* Гришки Отрепьева, этом чернокнижнике, воре, расстриге; это *имя* должно покрыть собою страшную правду; прошлое этого человека, так сильно говорящее в пользу возможности, что это — царевич, решились не обнародовать вовсе, ограничившись общими, позорными для Самозванца словами. Это прошлое и осталось тайной, хотя несомненно было известно и Борису, и Шуйскому; Шуйский тоже оставил это прошлое в тайне и имел на это такие же причины. Настаивать на том, что это — беглый дьякон, расстрига, значило хоронить имя Димитрия, а объяснять самозванство — отступничеством от веры, чернокнижеством, дьявольским наущением значило невозможное объяснить естественно по тогдашним понятиям.

И для Димитрия ужасно было это прошлое. Оно именно и составляло весь трагизм его положения. Кто знал его тайну, а таких было немного, те не могли говорить этого вслух, не только при Борисе, но и после, когда история разыгралась так трагически и когда явился уж настоящий Самозванец. Как Борис настаивает на имени Григория Отрепьева, так Димитрий отрекается от него. Он, естественно, сторонится от свидания с Смирным Отрепьевым, когда тот приезжает в Польшу с поручением от Бориса обличить Самозванца. Он не скрывает, что носил монашескую одежду, но не говорит, что он носил имя Отрепьева, которое ему ненавистно. Если б он, вступив в Москву, объявил об этом, если б он даже рассказал всю жизнь свою откровенно, одно имя Отрепьева и связанная с ним позорная его биография, опубликованная Борисом, дала бы оружие его врагам. Во всякое *чудо* спасения народ готов был верить и даже не добивался подробностей. Чудо, заступничество Божие, говорило ему достаточно.

Но объяснение *естественного* спасения, подробности этой странной бродячей жизни, — все это могло бы показаться сбивчивым и невероятным. Это — психологически верно, а потому историки наши напрасно спрашивают, почему он не обнародовал всех подробностей о себе? Да потому, что он носил чужое имя Григория Отрепьева, потому, что это прошлое было для него, царевича, унизительно и ужасно.

Он старается о том, чтоб не походить даже лицом на того, каким он был в Москве; стал бриться, зачесывать волосы назад, не снимал шапки на улице. Повторяю, настоящему Димитрию, если он скрывался под именем Отрепьева, невозможно было признаться в этом, и он вел себя, как лицо, не имевшее никакого отношения к Отрепьеву. Когда престиж его поколебался, когда он был в Путивле, он мог допустить какого-нибудь пьяницу, который стал разыгрывать роль Отрепьева, но так неудачно, чтоб об *этом* Отрепьеве существуют самые смутные сказания: он то сидит в тюрьме, то его ссылают в Ярославль. И почему этого пьяницу отождествляют с Отрепьевым, жившим у Романовых, у Черкасских, в Чудове, понять невозможно. Но имя и сгубило того, кто назывался Димитрием или был им. Оно, быть может, в нем самом возбуждало порою некоторую неуверенность, по крайней мере, до свидания с матерью и Нагими. А к матери он посылает посольство во главе не с каким-нибудь пройдохой или хитрецом, а с юным Михаилом Скопиным-Шуйским, благороднейшим из лиц того времени.

Быть может, в тот момент, когда он просил бунтующих бояр вести его на Лобное место, чтоб объясниться с народом, в тот момент он и решился рассказать все, что знает о себе, и все, что он вспомнил. Но его убили.

На этом я кончаю. Мое предположение, повторяю, может быть, рискованное, но, во-первых, несомненно, что в жизни Отрепьева есть много загадочного и что эта жизнь походила на жизнь спасенного и полупокинутого царевича; во-вторых, это предположение все объясняет, и в истории Самозванца не остается никаких противоречий. Даже возражение Костомарова против тождественности Лжедимитрия I и Димитрия, мотивированное тем, что он не благодарил перед всей Россией своих спасителей, делается ничтожным: особенно благодарить ему и не за что было ни одного из своих высоких покровителей. Но, быть может, он отблагодарил втайне тех, которые не высоко стояли и о чем никто не знал, или все документы об этом истреблены его наследниками.

Во всяком случае, судьба достойно наказала и Бориса, и Шуйского за их преступную роль в жизни царевича Димитрия.

10 (22) июня, № 6565

СХС

Имеет ли какое-нибудь отношение современное развитие промышленности к истории Самозванца или не имеет? Я думал, что между ними нет ничего общего. Но г. Иловайский нашел это отношение, и я сейчас прочел об этом в «Московских Ведомостях», здесь, в Москве.

Торопясь мне ответить, не дождавшись даже окончания моих заметок о Самозванце, он обратился к своим статьям о промышленности по поводу торгового договора и написал: «тщетно пытался я объяснить, какие отрасли промышленно-

сти необходимо нам развивать, чтоб усвоить себе европейскую материальную культуру. Г. Суворин так и не понял, в чем дело». Да я думаю, что едва ли кто и другой понял это. Например, С. Т. Морозов понял или нет? Министр финансов С. Ю. Витте понял или нет? И почему г. Иловайский — специалист в промышленности? Ведь единственное его право на эту специальность только в том и заключается, что он изготовляет *торгово-промышленные учебники по русской истории,* по которым юношество имеет несчастие учиться русской истории и получать к ней если не отвращение, то равнодушие. Если бы допустить свободную конкуренцию в этой отрасли «учебной промышленности», то не может быть сомнения, что все тотчас бы поняли, что «покровительство» фабрике г. Иловайского есть простое недоразумение и что разумная конкуренция, допущенная в эту «отрасль промышленности», могла бы только принести пользу потребителям, т. е. учащемуся юношеству и гг. педагогам. Г. Иловайский, очевидно, другого мнения и недаром стоит за тарифы запретительные, которые только одни способны, по его мнению, «развить народное богатство» и русское просвещение.

Запретительная система руководит г. Иловайским и в его полемике со мною, как она же руководила им в полемике с г. Безобразовым, с г. Платоновым и другими, более меня знающими предмет. Являясь совершенным Держимордой в этом отношении, он вместо аргументов ищет аттестации в благонамеренности, в заслугах отечеству, которыми был весьма силен бессмертный Сквозник-Дмухановский, великолепный городничий, и, ярясь, он едва удерживается от произнесения самых крепких слов. «Удивительно, как это дозволяют говорить против меня», — эта фраза так и сквозит во всех его речах и, ругаясь и пенясь, он ждет, что выйдет, наконец, такой приказ, чтоб никто не посягал на святыню его учености и таланта.

Будучи только любителем русской истории, не выходя ни разу из этой скромной роли, я, однако, вижу — грешный человек — с удовольствием, что г. Иловайский ровно ничего не находит ответить мне по существу. Я обращаю внимание медиков-специалистов на «Следственное дело» о смерти царевича Димитрия, г. Иловайский смеется над этой «медицинской стороной» и уверяет, что тут может «разобраться только один Аллах». Подождем, г. Иловайский: Аллах все знает и то, что он знает, он не говорит никому, но созданные им люди учатся, наблюдают, доходят до познания вещей сокровенных при помощи науки, а потому предоставим специалистам по нервным болезням «разобраться в сем вопросе». Привыкшие к точным приемам естественных наук, они не столь высокомерны, как некоторые историки, и если найдут необходимым высказать свое мнение, то выскажут его спокойно, а мы послушаем. Я ведь оговорился, что не судья в этом деле. Я сделал только то, что делают адвокаты и прокуроры во время разбирательства процессов: указывая на известные явления, они требуют заключения специалистов, и если я раньше историков прибег к этому же приему, то тут ничего дурного я не совершил и имею право равнодушно относиться к беззубой насмешке г. Иловайского.

Я говорю о «психологической стороне» лиц и событий, г. Иловайский отвечает, что я «едва ли сам ясно различаю психологию от психопатии». Очень может быть. Но что же делать, когда сама психология вечно переходит в психопатию и в истории, и у историков даже вечно встречаются психопатические черты. Время Самозванцев было временем психопатии по преимуществу и потому-то психоло-

гия тут и необходима, потому-то и историк, ее игнорирующий, разобраться в этом времени не может. С одним указанием на Промысл, как это делает г. Иловайский, далеко не уйдешь, хотя это и избавляет от многого в глазах иных людей.

Против моих доказательств, что уставы церковные не соблюдались сплошь и рядом, что Отрепьев мог быть посвящен в диаконы раньше двадцати пяти лет, г. Иловайский возражает, что «факт остается фактом, несмотря ни на какие измышления». Какой же этот факт? Отрепьев был пострижен в монахи четырнадцати лет. Об этом передают русские современники. Согласно ли это с церковными правилами? Мой родственник был пострижен в монахи на пятнадцатом году известным архимандритом Фотием. Согласно ли это с церковными правилами? Я знаю священника, который, несмотря на высочайший указ 1869 года, был посвящен в священники двадцати двух лет. Факт остается фактом. Но кто же говорил, что Отрепьев был посвящен в диаконы двадцати пяти лет? Никто. Это догадка г. Иловайского, основанная на церковных правилах, которые постоянно нарушались, но нарушения которых по отношению к Отрепьеву он не допускает. Свидетельство Маржерета, что Отрепьеву было тридцать пять — тридцать восемь лет, совершенно противоречит всем русским и иностранным источникам, и сам г. Иловайский не верит многим другим показаниям этого очевидца, который нигде не говорит, что видел Отрепьева. Поэтому и свидетельство Маржерета, и свидетельство г. Иловайского голословны; а так как моих возражений г. Иловайский не приводит даже в извлечении, то он является еще человеком недобросовестным, желающим выехать на приемах Держиморды.

Я говорил, что Шуйский уничтожил много документов. Г. Иловайский и над этим подтрунивает, точно он сам служил в качестве «историографа» у Шуйского и знает все его дела и помышления. Мое предположение, однако, имеет за собою большую вероятность. Что касается иностранных современников, которые непременно рассказали бы, по мнению г. Иловайского, все подробности о похождениях Самозванца до 1603 года, то известно, как иностранцы противоречат друг другу даже в том, чему они были свидетелями. Большинство из них называют Самозванца Отрепьевым, а меньшинство — Димитрием. Г. Иловайский не верит ни тем ни другим, но себе самому верит до смешного, убеждая меня «внимательно» прочесть его книгу, где на стр. 337 я «нашел бы указание на иностранца-современника, который именно *подтрунивает* над ничего не объясняющими рассказами о себе Самозванца». Г. Иловайский, подтрунивая надо мною, очевидно, думает, что и подтрунивание иноземца-современника, указанное на стр. 337 его книги, есть неопровержимое историческое доказательство. Неужели не постыдны такие «исторические» приемы, прямо указывающие на полное бессилие г. Иловайского доказать что-нибудь? Наконец, предполагая, что Григорий Отрепьев и Димитрий — одно и то же лицо, я доказываю, что Димитрий и *не мог* объявлять о себе всех подробностей, а те, которые объявлял, умышленно замалчивались, как это видно из допроса Мнишка.

Остается один аргумент у г. Иловайского, о котором я еще не упомянул и который заключается в следующей фразе сего знаменитого, по учебникам, историка: Самозванец — «отчаянный рубака-наездник, *танцор,* любитель женщин, пиров и т. д. Ну, мог ли всем этим отличаться московский беглый монах и пьяница (?), т. е. Отрепьев, и притом в течение приблизительно одного года (1602—1603), проведенного им в разных скитаниях? По г. Суворину оказывается, что мог». Вопроси-

тельными знаками, г. Иловайский, трудно что-нибудь доказать. Во-первых, Отрепьев не был пьяницей, что свидетельствуется Варлаамом и многими иноземцами-современниками. Свидетельство Маржерета, и притом ему нужное для его целей, не может быть принято за аксиому. Во-вторых, дело идет не «исключительно об одном годе (1602—1603)». Куда же девались 1604 и 1605 годы, в течение которых он провел время среди польского общества, польских панов, польских женщин и польских военных людей, не считая части 1605 и 1606 гг., когда он царствовал и когда и женщины, и пиры были в полном его распоряжении? Неужели надо много времени, чтоб полюбить пиры и женщин, даже «пиры с дамами, музыкою, танцами?» Вспомните петровские ассамблеи: русские быстро приучились и к танцам, и к музыке. Об Отрепьеве никто не говорит, что он был балетным танцором, а для того, чтоб выучиться танцевать кое-как, ни времени, ни искусства особого не надо. А чтоб быть «рубакой, наездником», то почему же монах не мог сделаться им не только в течение года, но в течение нескольких месяцев? Верхом тогда ездили все, и крестьяне, и военные, и монахи. Теперешние крестьяне выучиваются кавалерийской езде очень скоро, очень скоро выучиваются ей даже девушки. Я видел в 1876 г. в Сербии отличных наездников-попов и монахов. Неужели г. Иловайскому не стыдно становиться, как за каменные стены, за наездничество и танцы, чтоб доказывать свои положения. Если ему это не стыдно, то мне стыдно за него. Я, говорит г. Иловайский, в одном месте сказал «любитель женщин», а в другом — «женский угодник». Ну, что же из этого следует? Я знаю, что такое был XVI век не только в Польше, но и во Франции, и «женский угодник» тогда вовсе не походил на современного Дон Жуана из дипломатического корпуса или изящного конногвардейца и женщины не походили на современных дам большого света. Во время нашей Смуты многие поляки влюблялись в русских женщин, которые убегали от своих мужей с возлюбленными в Польшу и не хотели оттуда возвращаться, как и русские влюблялись в полек и были им милы и любезны. Неужели г. Иловайский этого не знает? Пусть он посмотрит документы об этом хоть в «Исторической Библиотеке». Разница в культуре была, но усвоить известную внешность вовсе не так трудно. К тому же, как и в наши дни, достоинства принца всегда преувеличиваются весьма охотно и всеми, особенно дамами.

Относительно языка Самозванца г. Иловайский не возражает ни слова. Ни слова не говорит он и против того, что я сказал о религиозной обрядности и верованиях относительно Самозванца. Очевидно, сказать было нечего. Но я отвечал ему решительно на все и, не говоря уж о недобросовестности, считая его аргументы детскими, возвращаться к ним более не намерен. К моему сожалению, г. Иловайский совсем не серьезный противник.

13 (25) июня, № 6568

CXCI

Желал бы я знать, думают ли те «убийственные» дамы, которые строчили сочувственные послания убийце, что они сделаны из того самого теста, из которого сделаны мужчины, одобрявшие убийство Карно и кричавшие в Лионе: «да здравствует анархия!» и «так ему и надо»? Кто сочувствует убийству, кто оправдывает

убийство, какое бы оно ни было, тот пропагандирует убийство, либо по глупости, либо по расчету. Конечно, глупые бабы послания не в счет, но они — знамение распущенности нравственного чувства.

Кричат: «анархисты, анархисты! Давайте самые строгие меры против анархистов, соединимся все против них!» Слова, слова, слова! Убийство так часто оправдывали, так часто лилось красноречие с адвокатской и печатной трибуны в защиту убийств, так размякла общественная мысль в борьбе партий, в погоне за властью, за преобладанием, за хлебом, наконец, насущным, что нечего удивляться тому, что происходит. Разверните страницы истории этой прекрасной Франции, разверните сборники адвокатских речей — и вы, прежде всего, наткнетесь на блестящие софизмы, оправдывающие политических убийц. Политические убийства часто возводились в подвиг и прославлялись, а если открыто прославлять их было опасно, то им сочувствовали втайне. И это понятие росло и росло и, дробясь, распространялось на частные случаи, с политикою не имевшие ничего общего. Убийство из ревности, убийство из любви, убийство из ненависти, убийство по убеждению. Раз допускаются убийства по убеждению, по причинам политическим, почему не допускать убийств по причинам личным, которые очень легко возводятся в причины общественные! Разве анархисты с своими убийствами свалились с луны? Они выросли на почве политических убийств. Во время французской революции вылезло наверх третье сословие и, выделив из себя террористов, практиковало политические убийства в своих «революционных трибуналах» массами. Теперь вылезает вверх четвертое сословие, выделяющее из себя анархистов. Пока существовал только порох и кинжал, политические убийства никого особенно не тревожили. Но идея анархизма нашла себе помощника в динамите. Химия выросла и созрела ранее чем общественная мысль, чем идеи социальной реформы. И с химией в руках, даже не с целой химией, а с одним рецептом динамита полезли вверх эти выродившиеся, эти истеричные, эти жаждущие крови, анархии и отмщения. Пока динамит действовал в России, Европа смотрела на этих политических преступников сквозь пальцы, печать *вежливо* негодовала, но прибавляла многозначительное «но»: оно-де, конечно, возмутительно, но есть на это основательные причины. Но вот этот динамит явился в Европе, во Франции, бомбы полетели в Палате депутатов, в церквах, ресторанах. Что это, *политические* преступления или не политические? Европейская печать избегала называть их политическими, как бы конфузясь перед их жестокостью, и называла анархистскими. Но ведь анархисты тоже политическая партия, действующая по убеждению. Она считает своим врагом всякую власть, будь она самая радикальная, и всякое общество на его теперешних основах, с браком, семьей, собственностью, религией. Чего же отвертываться? Или учители не хотят узнавать себя в учениках? Это недобросовестно и нелогично: тот, кто сочувствовал политическому убийце, действовавшему из либеральных убеждений, должен сочувствовать и убийце-анархисту. По-моему, убийца-либерал, убийца-консерватор, убийца-анархист и убийца из расчета, из ненависти могут подать друг другу руки. Политическое убийство так расширило свои границы, выкинуло такое пространное знамя, что дело вовсе не в целях, а в средствах к достижению целей, в самом этом убийстве, которое есть зверское действие, которое есть возмутительнейшее насилие. Неужели потому, что вы окрашиваете его названием «политического», убийство должно менее возмущать и казаться более законным? Когда Равашоль про-

сто убивал, он был презренным убийцей; когда он стал убивать как анархист, его стали славить и уж, кстати, и все прочие его подвиги подводить под знамя «политических», совершенных во имя идей анархизма. Идеи и чувства имеют тесную связь. Чувства мщения, любви, ревности — это такие же цепкие причины к убийству, как и причины политические, и почти такие же интересные для зевающей и праздной толпы. Но политический убийца, разумеется, интереснее...

Политический убийца попадет в историю рядом с именем убитого, его биография будет известна всему миру, его процесс прочтут всюду, где есть какая-нибудь грамотность и какой-нибудь печатный листок. И он умрет на эшафоте, пожалуй, без трусости, и толпа, забыв негодование, которое он возбудил убийством, начнет еще удивляться его смерти...

Ежедневно мрут геройски люди труда, науки, энергии, достойные всякого уважения, удивления и сочувствия, но об них никто не кричит. Они встретили смерть на постели или застигнуты ею, исполняя свой труд и свой долг — что за важность! Но на эшафоте — вот удивительно! Пусть человек целую жизнь ведет себя героем, работая и страдая, пусть он умрет героем, безбоязненно глядя в глаза смерти и наставляя на путь истины и правды и примером своим, и словами, остающихся жить — кому до этого дело? Но преступник, набравшийся храбрости на полчаса, знающий, что на него смотрит толпа, что об его последних мгновениях будет напечатано — вот герой, вот на кого смотрят! Сократ, поучающий перед смертью, излагающий глубокие истины, кому он интересен? Но анархист, кричащий с эшафота: «Да здравствует анархия!» — вот интересная голова! Дойти до этого, значит начинать терять разум.

Стоит убить политического деятеля — и имя сделано. Чем выше стоит этот деятель, чем больше он сделал доброго, тем лучше, тем вернее знаменитость. Не знают истории Ганнибала, не знают ни истории, ни идей Марка Аврелия, Франклина, но Герострат всем известен. Он сжег одно из чудных произведений искусства, и имя его стоит во всех учебниках. Оно и понятно: все дело-то, весь «подвиг» людей этого сорта изображается одним именем, которое легко запомнить, одной фразой. Тот сжег храм Дианы, тот убил Генриха IV, тот Линкольна, тот императора Александра II, тот Карно. Тот взял в руки пистолет, тот приготовил бомбу, тот кинжал. Ни ума, ни чувства, ни совести, ни ужаса перед кровью, перед страданиями, ни уважения к личности, к заслугам его, к обществу, к народу, ни даже способности сделать что-нибудь путное, — но убить — кому ума не доставало на это? Приготовил то, что убивает, взял в руки револьвер или кинжал и — баста! Вершина, апофеоз его идеи — убийство; дальше дума его не пошла. Она перешагнула все препятствия, все человеческое, мучительно выработанное целым рядом поколений — она прямо остановилась у порога могилы и столкнула туда человека одним ударом. И этот убийца — знаменитость, между тем никто не знает имени тех бешеных собак, которые кусают людей до смерти. Отчего такая несправедливость? Начинается настоящее бешенство убийства, и ум помрачается даже у людей, по-видимому, здравомысленных.

До чего въелась идея убийства, как что-то легко допускаемое, даже естественное, можно слышать во время процессов. Французский председатель суда старается внушить преступнику, что жертва его ничем неповинна, что это был добрый, прекрасный человек. Отсюда ясно, что преступник как будто виноват не столько в том, что он убил, сколько в том, что убил не того, кого надо было убить. Я прочел в Москве, в газете совершенно благонамеренной, которую даже

в микроскоп невозможно заподозрить в чем-нибудь предосудительном, именно — в «Московских Ведомостях», следующую фразу по поводу смерти Карно: «Убийство г. Карно *тем возмутительнее,* что трудно представить себе президента, который держал бы себя более скромно, более лояльно». В этой фразе нет никакого злостного намерения, она вылилась просто, как клише, как «благодарю вас, я слава Богу, здоров». Но тем-то она и знаменательна. Ведь оказывается, что убийство Карно, конечно, возмутительно, но оно еще возмутительнее, что он был «скромный и лояльный президент». Этим как будто сказано, что не будь он «скромным и лояльным» президентом Французской республики, то убийство его еще можно как-нибудь объяснить и, пожалуй, возмущаться особенно нечего. Устанавливаются степени для возмущения убийством, когда прежде всего ужасно то, что убит человек. И пока существуют эти градации — добра нечего ждать. В политике о каждом деятеле несколько мнений, взаимно противоположных. Для консерватора он — дурен, для либерала — хорош, для анархиста — никуда не годен. Отсюда следует, что из трех человек двое могут убить того, кто дурен, или никуда не годен. Но не есть ли это верх безумия и нелепости!

По-моему, никто и никогда и ни по какому поводу не имеет и тени права убивать кого бы то ни было, никого из своих ближних, кто бы он ни был, политический ли деятель, неверный ли любовник, враг ли ваш, соперник ли ваш и т. д. Никто и никогда. Пусть убивает смерть, и никто более; пусть убийство не находит себе оправдания ни в политике, ни во вражде, ни в любви, ни в ревности, ни в отчаянии, ни в честолюбии, и только тогда мир вздохнет свободнее. Так говорит и искреннее народное чувство. Так оно сказалось во время этой мученической смерти Карно, когда народ хотел разорвать убийцу. Если б он разорвал его, многие стали бы говорить о народном варварстве и пожалели бы убийцу, который принадлежит правосудию: он есть его достояние, находка, излюбленный человек, с которым оно будет носиться целый месяц и разглядывать его в микроскоп. Конечно, толпе не надо давать волю, она часто бессмысленна и ужасна, но в данном случае ее побуждение разорвать убийцу и тех, которые кричали: «да здравствует анархия!», вполне понятно и могло бы, пожалуй, подействовать вразумительнее и плодотворнее, чем самое утонченное правосудие.

16 (28) июня, № 6571

CXCII

Мои слова об убийстве вызвали два возражения: одно — в «Новостях», другое — в «Гражданине». Возражение в «Новостях» необыкновенно умно и необыкновенно вежливо. «Г. Суворину не то завидно, не то обидно, что имя убийцы Карно стало вдруг всесветно известным... Но разве в самом деле завидна эта «слава»? Разве не величайший для человеческой души ужас, какой только мог бы придумать Данте в своем аду, уже в одной мысли, что ты и твое злодеяние никогда, никогда не будут забыты, что твое имя из рода в род миллионами уст будет повторяться с отвращением и проклятием? Ведь это же самая страшная, самая беспощадная казнь» и т. д.

Все это такие лицемерные общие места, что на них и возражать не стоит. И Дант, конечно, такой глупой казни никогда бы не сочинил, и можно насчитать

сколько хотите примеров, что политические убийцы нимало этой казнью не тревожатся и знают очень хорошо, что часть общества называет их «мучениками идеи». Писателю «Новостей» это также хорошо известно, как и мне, а потому, говоря об этом вопросе, надо оставить совершенно в стороне все эти звонкие фразы с Дантом включительно: это — втирание очков в глаза с целью отвода от сущности дела. Еще не было примера, чтобы газетные негодования и «миллионы уст», болтающих якобы «с проклятием и отвращением» о политических убийцах, кого-нибудь остановили. Если я сказал о расправе народной, которая, по выражению князя Мещерского, есть «самое ужаснейшее из проявлений анархии», то потому, что я предвижу эту «расправу». Я сказал ведь, что толпа ужасна, но дело, по моему мнению, идет, очевидно, по тому пути, где начнется суд Линча. Хорош ли он или дурен, вопрос не в том. Но «политические преступления» приведут непременно к этому результату и никакая полиция и никакие жандармы не остановят эту разгневанную и выведенную из себя толпу. Начало этой расправы мы уже видели в Лионе и других городах Франции.

Я настаиваю на том, что эти преступления, и Вальяна, и Анри, и Казерио, преступления «политические». Вальян пустил бомбу в депутатов, Анри — в мирных граждан, сидевших за кофе и пивом, итальянец поразил президента республики, «этого народного избранника», восклицают «Новости». Точно «народные избранники» особого сорта люди, которых нельзя убивать. Никого нельзя убивать — вот принцип, а не то, что нельзя убивать «народных избранников», а остальных можно.

Политическое преступление дошло до своего апогея: начавшись с возмутительного «régicide», оно кончается возмутительным «homicide». И это последовательно и логично, и ничего тут удивительного нет. Если человек, совершавший «régicide» находил рукоплескания, то и человек, совершающий «homicide», тоже их найдет в современном обществе, которое разделено на враждующие классы, и при современных средствах истребления, которые дают одному человеку возможность ранить, взорвать и убить столько, сколько в прежние времена не мог убить, взорвать и ранить целый батальон солдат.

Я говорю: убивать никого нельзя. С этим князь Мещерский не согласен. Он цитирует мне заповедь: «не убий», и затем говорит, что убивать можно, но с разбором. Очевидно, божьи заповеди для этого публициста не существуют: они — для черни. Я привожу его доводы дословно.

«Сама мысль об обобщении всяких убийств, политических и неполитических, поражает своей необдуманностью и нелепостью. Шарлотта Корде была убийцей из патриотизма; муж, убивающий любовника своей жены в минуту открытия, что он опозорен, самим законом извиняется; человек, убивающий в минуту получения смертельного оскорбления, извиняется; и так далее, и так далее... Убийства не извиняются, когда они подлы и гнусны, и политические убийства, вроде таких, о которых идет речь, всегда гнусны и подлы, во-первых, потому, что они исподтишка, во-вторых, потому, что они всегда застают намеченную жертву беззащитною, в-третьих, потому, что они исходят от гнуснейшей мысли свое я ставить выше судьбы целого народа и своему зверскому капризу приносить в жертву *все* и *всех*».

Значит, «из патриотизма» убивать можно. Но неужели вы, князь Мещерский, не понимаете, что, допуская убийство «из патриотизма», вы становитесь на самую скользкую почву и оправдываете этим положением все «политические» убийства? Остановите на Невском десять человек и спросите каждого, как он понимает пат-

ризм, и вы найдете чуть не десять мнений. Разве наши «политические» убийцы — беру не последнее время, а весь этот век, — не оправдывались «патриотизмом», «благом народным» и другими громкими фразами? Возьмем пример более яркий, где слово «патриотизм» не так растяжимо. Поляки, убивавшие русских. Ведь они убивали «из патриотизма»? Вы скажете что все дело в том, как понимать «патриотизм». Но, ведь убивают те, как вы совершенно справедливо выразились, которые «свое *я* ставят выше судьбы целого народа». Они дошли до убеждения, что их «патриотическое» чувство и есть самое настоящее, самое глубокое, а все остальные — не «патриоты». Ставя «свое *я* выше судьбы целого народа», они жертвуют собой, они идут на казнь и, как бы тем самым, в своих глазах, по крайней мере, искупают это самомнение. За «патриотизмом» следует «космополитизм», за любовью к родине — любовь к человечеству. Я эту любовь к человечеству считаю нелепой претензией и уловкой, но анархисты именно стоят на этом. Для них нет «родины», у них родина — все человечество. *Французские* анархисты кричали «да здравствует анархия!», когда Карно умирал, пораженный *итальянцем. Голландские* анархисты манифестировали в пользу убийцы. Куда же мы уйдем с этим взглядом на убийство? Да прямо к расправе толпы, к свалке, к междоусобной резне.

Вся ваша тирада, почтенный князь, не выдерживает ни малейшей критики. Вы говорите, что можно убить жену, можно убить человека, который нанес нам смертельное оскорбление. Но вы — христианин или только притворяетесь христианином?

Где в Евангелии находите вы оправдание убийства, какого бы то ни было? Или Евангелие — только приятная декорация? Какое же право вы имеете сетовать на отсутствие религиозности? Или религия только в обрядах и, если я их исполняю, то могу убить жену, как жена может убить мужа, любовница — любовника, я — своего врага, который оскорбил меня? Говоря это, вы выделяете «политические убийства», как «подлые и гнусные», потому, во-первых, что они «исподтишка», потому, во-вторых, что они «застигают намеченную жертву беззащитною» и, в третьих, потому, что убийцы «ставят свое *я* выше судьбы целого народа». Относительно этого *я* уже сказано. Прибавлю только, что если никто не имеет права ставить свое *я* выше всех, то никто не имеет права ставить свое *я* выше другой личности настолько, чтобы убить ее. Убивая кого-нибудь из ревности, из личных побуждений, я ставлю свое я судьей над убитым, над его родными и, наконец, над всем обществом, над его организацией и учреждениями. Я говорю не о том, что закон «извиняет»: закон переменчив, — а о том, что говорит закон Божий и нравственное чувство. Наше доброе нравственное чувство всегда протестует против убийства, и только софизмы создали оправдания и «смягчающие обстоятельства». Приложите вашу же мерку к убийствам из «патриотизма», и вы увидите — сами, как она фальшива. Юдифь убила Олоферна пьяного и сонного, беззащитного и исподтишка. Шарлотта Корде убила Марата, когда тот сидел в ванне голый и, стало быть, вполне беззащитный и в особенности беззащитный перед девушкою. Итак, хотя обе они убили «из патриотизма», но исподтишка и безоружных. Выходит, что из «патриотизма» можно ставить себя выше всех, можно убивать исподтишка и беззащитных. Но так как «патриотизм» — понятие растяжимое, то, повторяю, вы даете прямо оружие в руки тем, которые понимают патриотизм по-своему. Верьте, что если убийство допускается, то оправдания отыскать ему ничего не стоит.

Говоря, что убийство жены иногда извинительно, что извинительно убийство человека, нас оскорбившего, вы прибавляете: «и так далее и так далее». Очевидно, у вас хороший запас для извинений убийств. Эта теория страшно опасная, по моему мнению. Я предпочитаю слыть в ваших глазах человеком с «необдуманною и нелепою мыслью», чем согласиться, что существуют убийства позволительные и извинительные и убийства непозволительные и неизвинительные. Пора громко говорить, что всякое убийство безбожно, возмутительно и бесчеловечно.

К другим замечаниям «Гражданина» я возвращусь.

19 июня (1 июля), № 6574

CXCIII

Это не ново, говорят мои противники. Моисей раньше сказал: «не убий». Но разве я претендую на какую-нибудь новость? Под луною ничто не ново. Но к евреям ходить за примером не для чего. Они убивали преисправно, и убийство иногда не только дозволялось, но и считалось обязательным. Библия полна рассказами об убийствах всякого рода. Стоит вспомнить историю Эсфири и Мардохея, чтоб волосы стали дыбом от тех убийств, которые были произведены евреями безнаказанно, благодаря Эсфири. А история Юдифи стала примером для подражания во всех «политических убийствах», во всех убийствах «из патриотизма». Она убила и благополучно принесла голову убитого: «нате, мол, смотрите!» Бывали подобные же убийства из «патриотизма» и в новое время, когда убийцы были из знати, когда они бросались толпою ночью на беззащитного человека и варварски его убивали; и не подвергались даже никакой ответственности. Слово «тиран» испокон века, со времен древней Греции, служило оправданием для «патриотов-убийц», убивавших сплошь и рядом ради своих эгоистических целей, как служит это слово и теперь для таких же целей, но для людей иной партии. Убийца Карно на вопрос, за что он убил его, отвечал: «за то, что он — тиран». Карно и тиран, в наших с вами понятиях, две вещи несовместимые, но в понятиях анархистов они вполне совместимы. С развитием революционных идей самое понятие о «тиране» до того утончается, что ничего не стоит признать «тирана» во всяком фабриканте, во всяком буржуа. И всегда были партии, которые находили причины считать политическое лицо тираном, хотя на самом деле он бывал хорошим правителем и даже благодетелем. Все его несчастие было в том, что не угодил какой-нибудь партии. Надо ли вспоминать исторические примеры, чтоб было ясно для всех, что это именно так?

Меня удивили «Новости» тем, что согласились с мнением князя Мещерского насчет убийств и даже сказали, что среди его сумбурных идей, эти идеи об убийстве — «светлый промежуток». Князю Мещерскому так это польстило, что он перепечатал свою статью в другой своей газете, «Русь», вероятно, считая эту статью неимоверно благонамеренной. Она, действительно, благонамеренна, если смотреть на нее с преднамеренной точки зрения князя, который, не обинуясь, приписывает все наши политические убийства печати: «убийцам политическим в России предшествовали их отцы, убийцы словом в печати». Убийство словом? Ну, а прежним политическим убийствам что предшествовало, когда печати не было?

Князя Мещерского словом убивали, убивали, а он себе живет преблагополучно и сам норовит кого-нибудь придушить своим словом, но и те живут себе и благословляют небо. Словом убивали во время крепостного права: «на конюшню», «в ссылку», «продать» и т. д. Вот это было ужасное слово, слово, действительно, убивающее. Печать, говорит князь, не была «на высоте своего патриотического долга» и не «возбуждала в обществе постоянного омерзения и презрения ко всем видам и проявлениям злокачественного демократизма». Что такое «злокачественный демократизм» — это надо бы объяснить толком, ибо есть и «злокачественный аристократизм»: добро и зло всегда смешаны и стоит вспомнить, что проделывали аристократы венецианские, французские, английские, шведские. Я знаю, что наша печать к политическим убийствам относилась постоянно с негодованием, и если б я мог назвать исключения, то должен был бы обратиться к заграничной нашей печати. Но и там, например, г. Драгоманов осуждал эти убийства, за что на него набросились его противники с самой ожесточенной бранью. Во-вторых, утверждение князя Мещерского лживо даже хронологически, и «отцы» политических убийц — не «убийцы словом», а убийцы делом, ни с какою печатью ничего общего не имевшие. Князь Мещерский должен это знать и знает...

Вообще из вопроса об убийствах надо бы вон гнать всякое лицемерие, всякие компромиссы, ложь и умалчивания. Убийство есть убийство прежде всего, и убийство не может быть оправдано никакими софизмами, ни политическое, ни обыкновенное. Раз какое-либо побуждение к убийству вы признали уважительным, вы признали извинительными и всякие иные побуждения к убийству. На меня набросились за то, что я упомянул о законе Линча, не один князь Мещерский, который сказал, что расправа толпы есть «самое ужаснейшее из проявлений анархии», но и «Новости», и «СПб Ведомости», и проч. Я отлично понимаю, что убийство толпою есть то же убийство, тот же произвол. Но я не понимаю, почему же произвол отдельного человека можно извинять и оправдывать, а произвол толпы нельзя? Я стремлюсь доказать, что нельзя оправдывать никакого убийства. Князь Мещерский извиняет убийство из «патриотизма», значит, и из «убеждений», и убийство, как мщение человеку, который оскорбил его. Но если я убью оскорбителя в то мгновение, когда он оскорбил меня, то убью его не кулаком, а ножом или револьвером, ибо кулаком убить мудрено. А раз я вооружен, — я уж приготовляюсь к крови, я рисую себе возможные случаи нападения и защиты, и человеческая жизнь кажется мне не Бог весть чего стоящей. Человек, замышляющий убийство, становится решительнее с той минуты, когда у него оружие в руках: он чувствует себя уж не одиноким, а вдвоем, и неодушевленный, не рассуждающий товарищ подбодряет его. Это — простая психология. Кроме того, если я убью оскорбителя, то убью его под влиянием мгновенного негодования и из *личного эгоизма,* который никому не интересен. Сопоставьте суд Линча. Толпа безоружна, она менее образована, чем вы, ходящий с револьвером. Но толпа действует, как и вы в минуту личного оскорбления, под влиянием мгновенно охватившего ее негодования, и это негодование охватило ее ради общих целей, ради *общественного,* если хотите, *эгоизма,* а не личного. Ей некогда сообразить и взвесить весь вред такой расправы, которою могут воспользоваться ее же враги, те самые, которые сочувствуют убийцам, но в ней говорит то же чувство, которое похвально в вас, когда вы его выражаете только словом, а не расправой. Поэтому расправа толпы, по крайней мере, столь же извинительна,

как и расправа отдельного человека, а если принять во внимание, что толпа действует не из личного эгоизма, а из общественного, то за нею, пожалуй, останется и преимущество. Поэтому я и говорю: если вы находите какие-нибудь убийства извинительными, то не становитесь на полицейскую точку зрения, которая в расправе толпы, естественно, видит большее нарушение общественного порядка, чем в расправе отдельного человека, а будьте логичнее и допускайте и относительно толпы то, что вы допускаете относительно отдельной личности, или не допускайте ни того, ни другого. И когда какой-то князь проповедует, что убивать можно, но только с разбором, не говорите, что это «светлые промежутки» в его голове, а говорите, что это — окончательное умопомрачение этого князя. Я уже говорил, что даже убийства «из патриотизма», которые отстаивает князь, могут вызвать расправу толпы, ибо патриотизм понимается различно.

Писатель «Новостей» говорит, что надо думать о воплощении божественного закона: «не убий» и «люби ближнего своего, как самого себя». О, без всякого сомнения, но любить ближнего, как самого себя, — это идеал, трудно достижимый, а «не убий» — потребность настоящего, жгучая потребность. Всякий согласится, что гораздо легче не убивать, чем «любить ближнего своего как самого себя», и, тем не менее, убийство практикуется с наглостью и цинизмом и находит себе защитников, которые в убийстве готовы видеть законное мщение и даже поступательные шаги к прогрессу. Об этом софизме стоит сказать отдельно.

Был бы уж некоторый поворот к здравомыслию, если б всякое убийство стало считаться убийством, и если б в газетах не появлялось писем от дам, которые сочувствуют убийству из ревности. Те женщины, которые лезут в печать и стараются отличиться кровожадностью, — не только не судьи, но и не женщины. Гито, убийца президента Соединенных Штатов Гарфильда, когда ему объявили смертный приговор, просил, как милости, чтоб публике объявлено было, что он получил от знатных дам плоды и цветы и восемьсот нежных писем...

Вот какие дамы бывают, да еще знатные — в Америке это значит — богатые и ничего не делающие...

23 июня (5 июля), № 6578

CXCIV

Новую брошюру Толстого «Дух христианства и патриотизм» я не видал. Я знаю ее только по нескольким выпискам французских газет. Газеты эти отзываются о ней резко, именно «Temps», «Journal des Debats», «Figaro» и др. «Руссо претендовал вести нас к блаженству, низводя к «природному» состоянию. Толстой воображает уничтожить зло и бедствия, уничтожая законы, суды, всякую социальную организацию, скажем лучше, самую цивилизацию... Христос тщательно различал царство Кесаря и царство Божие. Толстой, желая быть более христианином, чем Евангелие, снова их смешивает и в этом смешении уничтожает их оба и, низводя к нулю тем же ударом нравственное и умственное наследие веков, привел бы нас, если бы его послушали, в состояние, подобное естественной дикости, т. е. к безнаказанной и вечной эксплуатации наиболее слабых наиболее сильными. Он не прав даже с точки зрения нравственности, когда протестует против франко-русского союза. Восстановляя равновесие сил в Европе, этот союз сделал войну более труд-

ной и мир более обеспеченным. Инстинкт народов, таким образом, часто разумнее и вернее ведет к цели, чем воображение и даже сердце поэтов и философов».

Так говорит «Temps». По моему мнению, и сердце Толстого говорило так же, по крайней мере, в течение нескольких минут. «Пробегая, говорит он, одно описание восторженного приема наших моряков, я вдруг был охвачен чувством умиления; я почувствовал даже, что готов заплакать, и должен был сделать усилие, чтобы противостоять этому ощущению». Остальное понятно. Чем сильнее было впечатление, тем сильнее реакция. Он стал размышлять и пришел к тому, что нелепее и безнравственнее патриотизма нет ничего на свете. Он понимает патриотизм у евреев, греков, римлян, когда народы жили отдельно, окруженные варварами, но теперь он его не понимает. Русские и французы лгали, когда говорили о мире, ибо они в это время думали о войне. Но Толстой, чуть не заплакавший, читая только описание приема моряков, разве не может олицетворить себя с французами и русскими, которые плакали видя все это, участвуя во всем этом? Чувство толпы было только непосредственнее и глубже, и это было чувство мира, чувство уверенности именно в мире. Почему Толстой воображает, что это не так? Всюду, начиная с министров и кончая извозчиком, слышалась постоянно одна и та же фраза: «теперь немцы не посмеют на нас напасть, теперь мир обеспечен». Он ничего не видел и, сочинив свою брошюру в своем кабинете в течение нескольких месяцев, вдруг решил, что тут было только лицемерие, только спрятанный за пазуху кулак. Толстой точно рассердился, что случилось нечто такое, что даже его тронуло, и он захотел отметить себе и другим. Мы все знаем, как он рассуждает и как прямо идет к цели, выбирая тщательно то, что ей служит. Он набросился на патриотизм, выходя из учения Христа: «люби ближнего, как самого себя». Если б он имел такую силу слова, которая сейчас же заставила бы мир последовать этому учению, то и тогда он был бы неправ, считая патриотизм чем-то безнравственным и нелепым.

Он говорит, что полная формула «патриотизма» выражается немецкой песней: «Deutschland, Deutschland über Alles» («Германия, Германия выше всего в мире»), что патриотизм есть предпочтение, оказываемое каждым своей стране сравнительно с другими. Говорить таким образом, значит брать только одну сторону, и притом не самую сильную, в том чувстве, которое называется патриотизмом. Из того самого, что человек любит свою родину несомненно следует, что он *желает* ее видеть лучше всех других стран. Поэтому быть патриотом значит и сознавать недостатки своей страны и желать, и стремится, чтоб она стала лучше, чтоб она двигалась вперед, совершенствовалась. Когда говоришь с человеком умным, образованным, глубоким, или когда читаешь умную и хорошую книгу, невольно чувствуешь желание быть лучше, нравственнее, великодушнее, знать больше. То же и родная страна в ряду других стран. Рождается невольно сравнение, является конкуренция. В человеке есть стремление к лучшему, и недаром же на великих писателях воспитываются; недаром просвещение Франции, Англии, Германии ставится как образец для подражания. Ни великие писатели, ни великое просвещение какой-нибудь страны вовсе не оскорбляют нас тем, что они велики. Напротив, мы заимствуем у них, мы радуемся, что успеваем, мы наслаждаемся великими писателями, великими идеями. Что нас к тому подвигает? Да тот же «патриотизм», желание стать лучшим, достичь хотя ближайшего идеала. В понятии о патриотизме есть, конечно, и доля того, о чем говорит Толстой. Есть самохвальство, есть претензии, есть гордость. Но все это

скорей из хорошего источника, чем из дурного, потому что во всем этом лежит чувство самосознания, уверенности в самом себе, необходимое человеку даже для того, чтобы физически двигаться. Ни ребенок разом не делается взрослым, ни народ. Есть периоды развития, которые не минуешь, и патриотизм именно помогает развитию. Патриотизм уравнивает народы, сдерживает их в границах, воспитывает чувство взаимного уважения между ними. Зазнавшийся всегда получит урок. Бродячие народы, не имеющие отечества, не сделали ничего великого. Цыгане только и знают, что кузнечное ремесло да гаданье. Евреи, лишенные отечества, ищут отечества все более и более, ибо сознают, что деньги и обороты деньгами еще не все, хотя это дело они развили замечательно именно потому, что у них не было отечества, потому, что на них везде смотрели, как на чужих, и они, естественно, так же смотрели на все народы. Первая солидарность между людьми образована патриотизмом. Если будет когда-нибудь «едино стадо и един пастырь», то весьма не скоро, а до тех пор роль патриотизма еще очень велика. Да, может быть, и тогда патриотизм не исчезнет, он только будет чище, возвышеннее, он будет стоять только за человека, за его достоинство, за его счастье, за мир и благо на земле. Он, может быть, не будет называться патриотизмом, но будет существовать, как необходимая связь между людьми, как родственное чувство.

Нападая на патриотизм, Толстой как бы мстит себе за «Войну и мир»: этот роман вечно останется не только великим произведением, но и свидетельством о патриотических чувствах самого Толстого, и эти благородные чувства еще долго будет внушать этот роман своим читателям. Брошюру же автора его о патриотизме все забудут.

30 июня (12 июля), № 6585

CXCV

Дума занимается мостом, училищами, проектирует какие-то прогулки на пароходах. Но, быть может, следовало бы прежде всего позаботиться о том, чтобы были живы ходящие через мосты и посещающие школы. Холера увеличивается, да так, как давно не бывало. Прошлогодняя — шуточки в сравнении с нынешней. Никто не заметил, какими путями пришла она в Петербург. Прибыла ли она с приезжими из Царства Польского или возродилась на прошлогодних пепелищах? Петербург — из городов непредусмотрительных. Это — какой-то нарядный и вместе с тем вялый город. В прошлом году пророчили холеру в Москве. «Посмотрите, что она наделает в Москве. Москва грязней Петербурга. Там не чистили со времен Наполеона», говорили в Петербурге. А в Москве она ничего не наделала и, кажется, даже туда не заглянула, несмотря на огромный прилив приезжих со всех сторон, в том числе из холерного Петербурга. Москва успела почиститься основательно, и Москва имеет мытищинскую воду. Теперь уже не секрет, что все дело в воде. Когда-то петербургская вода слыла за образцовую во всей России, хотя приезжих сюда провинциалов обыкновенно несло. С времени открытия бактерий, петербургская вода вдруг потеряла свою репутацию и стала чуть ли не худшею во всей России. Надо достать откуда-нибудь воду. Но откуда? «Гражданин» советует взять из устья Невы. Что из устья, что от порогов, например, повыше села Ивановского, — все равно. Вода там, конечно, лучше, хотя, вероятно, не настолько, чтобы стоило огород городить. Невская вода на всем

протяжении лиха. Остаются ключи и артезианские колодцы. Ключей недостаточно еще открыто, а опыты с артезианскими колодцами еще не велики. Но ведь все это в будущем. Водопровод не проведешь в несколько дней. Нельзя ли поэнергичнее меры принять в настоящем и сделать всевозможные усилия, чтоб уменьшить число жертв и заболеваний? Или же все сделано в этом направлении и больше ничего не выдумаешь? Мне кажется, что сделано далеко не все. Что есть больницы, есть врачи, что есть дезинфекция, — этого еще мало. Умирает все равно около половины заболевающих, и наука бессильна уменьшить этот процент. Надо бы принять предупредительные меры. Не засорился ли фильтр? Нельзя ли получше почиститься? Нельзя ли произвести тщательный осмотр помещений для бедных и устранить хоть особенно выдающиеся недостатки этих помещений? Нельзя ли допускать поменьше пьянства и построже глядеть за доброкачественностью продуктов? На Петра и Павла, например, пьяных всюду было множество и качающиеся джентльмены в пиджаках представлялись картинно на всякой улице, за исключением двух-трех привилегированных. Надо ли дожидаться до тех пор, пока пьяный не упадет на улице, или взять его раньше этого обыкновенного события? Нельзя ли подвергать штрафу те питейные заведения, из которых выходят мертвецки пьяные люди? Нельзя ли провести немедленно воду в те дома, где она еще не проведена, провести за счет города, который потом может взыскать с домохозяев? Вода из водопроводов все-таки лучше той, которой пользуются на окраинах города еще многие. Городской голова обратился к трактирщикам с предложением, чтоб они ставили перед своими заведениями прокипяченную, охлажденную воду для всеобщего употребления и пятьсот трактирщиков охотно изъявили на это свое согласие. Но если б городской голова обратился к ним с предложением не продавать помоев вместо чая, который черт знает из чего делается в некоторых из этих заведений, если б он обратился к ним с увещанием доброкачественно вести эти заведения — проку никакого бы не вышло, хотя они, конечно, изъявили бы свое согласие. Будет ли какой прок от этих ушатов или бочек с прокипяченной водой, тоже вопрос. Сколько времени эти ушаты будут стоять с *одной* и *той* же водой? Насколько добросовестно будет прокипячено это пойло? Вообще это — полумера. Необходимы меры и самые строгие и самые решительные. «Гражданин» говорит, что и градоначальник стеснен в своей власти, и городской голова тоже. А нельзя так сделать, чтоб обе власти согласились и соединились? Мне кажется, власти было бы совершенно достаточно. Неужели надо столько власти, чтобы головы рубить и в тюрьмы заключать? И с малою властью можно многое сделать, в особенности в таком случае, где большинство населения будет за энергические меры, а иногда с большою властью ничего не сделаешь. Все дело в умении.

Мне кажется, что энергия, умело направленная для укрощения эпидемии, принесла бы свои плоды немедленно. Вообще, когда существует общественная опасность, когда эпидемия, очевидно, разгорается, — все усилия и думы, и полиции должны быть направлены в эту сторону и стеснения свободы отдельных лиц весьма позволительны, когда дело идет о благосостоянии всех. У нас даже не свободу пришлось бы стеснять, а произвол и злоупотребления. Энергические меры тем необходимее, что холеру могут разнести из Петербурга по всей России. С Богом именно за такие меры, будет постыдно, если Петербург сделается очагом холеры для всей России.

2 (14) июля, № 6587

CXCVI

— В каком положении холера? — спросил репортер «Петербургской Газеты» г. Баталина, инспектора столичного врачебного управления.

— Распространяется. Вот видите листок: сегодня до 12 часов поступило уже 142 больных.

«Распространяется!» Это очень мило. «Распространяется и будет распространяться», можно прибавить. В пространстве-то не распространяться — это было бы нарушением законов природы. Г. Баталин это очень хорошо знает.

Распространяется, господа, и будет распространяться. И как не распространяться, когда ушаты и бочки с прокипяченной водой, как знамение водяного великодушия гг. трактирщиков, одни свидетельствуют о мероприятиях городского управления. Санитарная комиссия, ровно никакой власти не имеющая, осматривает, пишет бумаги, отправляет их в управу. Управа соображает насчет суммы и говорит: «помилуйте, у нас от прошлого года всего осталось семь тысяч, да и те предопределены. Вот трактирщики выставят ушаты, и авось ушаты помогут»... И будет воздвигнут памятник: трактирщики держат на головах щит, а на щите — ушат!

Знаете ли вы речку Карповку? Вы переезжаете ее по мосту, когда едете по Каменноостровскому проспекту. Ботанический сад тоже на берегу этой Карповки. Управа отдала подрядчику ее очистить. Подрядчик разделил ее перемычкою с насыпью на две части. Та часть речки, которая стоит, вследствие этой насыпи, как болото, являет собою зрелище назидательное: в нее впадают две трубы: городская, отводящая нечистоты, и другая — из холерной Петропавловской больницы, отводящая больничные нечистоты и отбросы. Это, в некотором роде, гениально для того, чтобы иметь право сказать:

«Холера распространяется...».

Я сегодня был там. Переехав по мосту Карповку, стоит сделать сажен сто вправо, чтобы придти в умиление от этого поэтического уголка. Пахнуть гнилым начинает тотчас же, как только вы покинете Каменноостровский проспект. Чем дальше, тем больше. На поверхности воды стоит какая-то мерзость. Чем дальше, тем ее больше. Наконец, воды совсем не видать — она вся покрыта злокачественной зеленью. На противоположном берегу, саженях в пятнадцати от вас, бараки Петропавловской больницы, наполненные холерными. Больница почти на самом берегу. Водосточная труба больницы зияет больше чем на половину из воды, как раз под окнами больницы. Немного выше по смердящему болоту луг, где пасутся коровы, пьющие эту прекрасную воду и дающие здоровое молоко. Я стоял, смотрел и удивлялся. Какой-то прохожий остановился около меня и, сказав: «зараза», пошел дальше. Действительно, зараза. И для больницы-то это — зараза. Неужели можно держать больных в таком вонючем месте, перед самой клоакой всякой нечисти?

И это в Петербурге, и почти рядом — военные казармы! Санитарная комиссия осмотрела эту клоаку с неделю тому назад, написала управе, а управа и ухом не ведет. Помилуйте, с подряду отдано! Не прекращать же работ! Подрядчик, глядишь, неустойку потребует, а у города денег нет. К тому же, если спустить это болото, то, пожалуй, еще хуже будет. Надо все умеючи, а где ж уменья взять?...

Когда поедете, господа, кататься на Каменный или Елагин, взгляните на это поэтическое место. Потом вы отдохнете, действительно, на поэтических остро-

вах и, пожалуй, сравните ту чистоту и тот порядок, которые там, с этим городским безобразием.

Куликово поле, не то Куликово поле, где Димитрий Донской разбил Мамая, а то Куликово поле, где сваливаются нечистоты, напоминающие Мамая по своему первобытному состоянию.

Это — на Выборгской. Это — тоже клоака. Дожди распустили там такую армию бактерий, что она страшней армии Мамая. Гг. санитары говорят Думе, что это не гоже. —

— Куда же нам девать нечистоты, в карман себе, что ли, класть? — вопрошают дельцы Городской управы.

— Зачем в карман? Вывозите на взморье, на барках, — говорят санитары.

— Чего захотели?! — смеясь отвечают дельцы Городской управы. — Барки-то дороги. Мы, было, и думали об этом, да подрядчик запросил за барку по 600 рублей. Что ж и давать ему? Мы ему предложили по 400. Он не взял, ну мы и оставили это...

И они это оставили. Очень милые и рассудительные люди. Выторгуются и оставят. Одна надежда теперь на водяное великодушие трактирщиков.

Все это было бы смешно, если б не было так грустно. Укажите мне европейскую столицу, где бы представители города осмелились так цинично поступать и рассуждать в пору грозной эпидемии. Петербург по степени развития холеры начинает напоминать Гамбург в эпидемию 1892 года, где тоже отцы города отличились на весь мир. Но их призвали к порядку. Нельзя ли призвать к порядку и наших? Нельзя ли сказать им, что такое равнодушие ни в какое время не позволительно, и, пожалуй, если можно допускать тут степени, еще непозволительнее накануне празднеств, которые готовятся в столице!...

3(15) июля, № 6588

CXCVII

Начинаю думать, что представители города закроют возможность ездить на острова по Каменноостровскому проспекту. Дело вот в чем. По поводу того, что мною было сказано вчера о Карповке, я получил несколько писем. Одно из них от г. Гарвея. Вот что он пишет между прочим:

«На набережной реки Карповки в доме № 11 помещается весьма симпатичное учреждение, обязанное своим существованием заботам петербургского градоначальника, именно «Убежище для детей, оставшихся по разным несчастным случаям без пристанища»; в нем в настоящую минуту 77 питомцев; их столовая и место для игры находится на небольшом островке, со всех сторон окруженном зловонною жидкостью Карповки; дети бегают и резвятся в нескольких шагах от того места, куда стекают нечистоты из холерной Петропавловской больницы. На прошлой неделе из дома № 9 вывезли в ту же больницу одну заболевшую холерой финляндку. Вчера поутру на моей даче, в доме № 5, с моей горничной случился припадок, она немедленно была отправлена в больницу и оставлена там, так как были констатированы ясные признаки холеры. Я не говорю уже о многочисленных заболеваниях в Гренадерских казармах, в Архиерейской улице, на Каменноостровском проспекте и проч. Это — только начало, а потом будет хуже».

Дальше г. Гарвей сообщает факт, на который обращаю внимание читателей, привыкших ездить на острова по Каменноостровскому проспекту:

«Сегодня утром, у Карповского моста, на Каменноостровском проспекте я встретил две повозки с ящиками-бочками, которые наполнялись водою из Карповки посредством насоса. Вода эта употребляется для поливки Каменноостровского проспекта. Я видел эту воду: она — темно-бурого, зеленоватого цвета и издает удушливый запах. Насос установлен недалеко от сточной трубы, из которой в речку стекают городские нечистоты; поливка проспекта сдана Управою какому-то подрядчику. Мы не только что не очищаем Карповку от заразы, а обязательно разливаем ее зловонную, зараженную воду по многолюдной улице города. Высохнув под подошвами прохожих, карповские микроорганизмы, смешавшись с уличной пылью, понесутся по городу, разнося повсюду заразу».

Не правда ли, какие чудесные порядки, какие очаровательные подрядчики! Надо думать, что и подрядчик, очищающий Карповку, и член Управы, наблюдающий за этими работами, люди столь же деликатные и внимательные к общественным интересам, как и подрядчик, поливающий Каменноостровский проспект гущею из водопроводных труб или, чтобы быть верным истории наших дней, смесью этой гущи с карповской водой.

Смею думать, что эти указания не останутся гласом вопиющего в пустыне. Дело слишком важное, не терпящее отлагательства. Если бы представители города были на высоте своего призвания, если бы они, забыв все счеты и игру в оппозицию, прониклись общественными интересами, то Карповку можно было бы очистить в два дня, даже не прекращая работ. Все дело в числе рабочих. Подрядчик, конечно, нанял себе артель и действует спустя рукава, не спеша; член Думы, обязанный наблюдать за работами, наблюдает только номинально. Во всяком случае, если Дума будет рассуждать несколько дней и с кафедры польются потоки речей, то не мешает помнить, что хотя поток этих речей и будет напоминать Цицерона, но под звуки этого цицеронствования бактерии будут размножаться, распространяться, а люди умирать. Надо не речи, а дело и дело большой и немедленной энергии, и не по отношению к одной Карповке, которая есть только ушат в море, а по отношению ко всей борьбе с холерою. Ее необходимо устроить широко, научно, не жалея никаких средств, но избегая потоков красноречия и личных счетов.

4 (16) июля, № 6589

CXCVIII

Надо солнца!

Известный норвежский писатель Бьёрнстьерне Бьёрнсон несколько лет тому назад агитировал против «многоженства» и «многомужества» европейского общества и в «Перчатке», со сцены проповедовал девственность мужчины до брака. Вчера я прочел его статью в одном французском журнале, где он агитирует в пользу... солнца. Солнце необходимо; солнце убивает бактерии; солнце оживляет, солнце — источник здоровья; от солнца идеи получают свой свет, свой колорит, свою радость. Отсутствие солнца делает человека угрюмым, ночь сообщает уму тревожное настроение и порождает бледность.

«Возвратитесь к солнцу!» — восклицает писатель. Пусть доктора в один голос кричат: «Возвратитесь к солнцу!» Пусть медицинские конгрессы постановляют

вопрос о необходимости солнца для всех. Необходим крестовый поход против современного порядка вещей, когда ночь обращается в день, а день — в ночь. Работа ночью требует усиленного расхода сил; воздух в наших ночных собраниях вредоносный, вентиляция плохая, а потому требуется возбуждающих средств более и более. Бедность ютится в подвалах, без солнца; высокие дома и маленькие дворы лишают обитателей солнца. Высшие классы, занимая хорошие квартиры, не видят в них солнца, ибо, когда оно светит, они спят, и нервность высших классов увеличивается от того порядка жизни, который они себе усвоили. Обращая день в ночь, мы усиливаем потребление алкоголя и других наркотических напитков, расстраиваем нервную систему, возбуждаем до крайности мозг. Даже депутаты в парламентах стремятся к тому, чтоб заседать ночью, и это возбуждает их мозг в такой степени, что они только к утру успокаиваются. Увеличивается жажда сильных ощущений вследствие того, что ночь заменяет день. Нам надо, чтоб оньянили наш мозг для того, чтоб мы что-нибудь почувствовали. Патриотические вопросы не обсуждаются со спокойствием; они завертываются в бурю симпатий и антипатий, нас гипнотизируют, нам внушают фанатизм. Литература теряет право быть жизнерадостной, светлой. Нам нужна страсть, нужны перья, дышащие страстными порывами, нужны патологические вопросы или исключительные психологические и таинственные темы.

Возбужденные нервы требуют все большего и большего раздражения, и нас удовлетворяет только необыкновенное, кричащее, выходящее из ряда вон. И чем дальше, тем сильнее эта жажда необыкновенного, исключительного, раздражающего.

Государство обязано вмешаться в такой порядок вещей и законодательным образом изменить его, — изменить постепенно, но систематически и настойчиво. Города должны прийти к тому, что здорово, что поддерживает население, что обеспечивает его спокойствие. Пусть полдень получит свое первоначальное значение. Пусть работа, классы учебных заведений начинаются с зари и кончаются в полдень или часами двумя позже. Пусть лавки и магазины закрываются после полудня; пусть театры дают представления от 4 до 7 или от 5 до 8 и между 9 и 10 часами вечера пусть все будет закрыто, как в деревне.

Не правда ли, как это радикально, хотя и так просто? Дать всем солнце. Чего проще, по-видимому? Бог поставил его над землею для того, чтобы все жило, все им пользовалось. А между тем этого нет. Высшие классы все изменили и принудили к тому и низшие классы в городах, которые невольно подчиняются этому порядку. «Я настаиваю на том, — говорит Бьёрнсон, — что реформа, которая сделает из дня день, из ночи — ночь, откроет нам глаза на бесчисленные несправедливости, которые нас окружают и которых все мы не видим еще. Эта реформа, открыв нам глаза, возбудит в нас чувство справедливости».

Я убежден, что многие улыбнутся, прочтя эти размышления норвежского писателя. Ишь чего захотел? Добро бы какой социалистической реформы, какого-нибудь коммунизма, раздела имуществ и т. д. К таким предложениям вторая половина XIX века нас приучила и уж никого не удивляет. А то — давайте солнца, сделайте день днем, а ночь — ночью, принудьте высшие классы бодрствовать тогда, когда работают низшие классы, и спать тогда, когда народ спит. Вот что удивительно и кажется нам невозможным. Но если вы подумаете хорошенько, вы должны признать, что это в самом деле многое изменит к лучшему в городах.

Не потому ли деревня — при своей бедности — так много работает и так много выносит, что там день — день, а ночь — ночь? Не потому ли деревенское население здоровее, при худшем даже питании, что распределение работы там правильнее? Волею-неволею законодательство придет к этому. Уменьшение числа ночных часов на фабриках и даже совершенное их уничтожение уже началось. В Норвегии, по словам Б. Бьёрнсона, ночная работа булочников регулирована до минимума.

Нигде, быть может, нет такого обращения ночи в день, как в Петербурге.

Конечно, этому способствовало и географическое положение Петербурга, продолжительность осенних и зимних ночей и светлые ночи летом. Но мода и обычаи также этому способствовали. Сто лет тому назад было совсем иначе даже в Петербурге. Работали днем, а ночью спали. Я просматривал камер-фурьерский журнал за 1790 год. Екатерина II обедала в первом часу. Даже торжественные обеды кончались в два часа. В девять-десять часов ужинали. Театры кончались в восемь-девять часов. На придворные балы начинали съезжаться к шести часам и в семь часов они открывались. Естественно, что в присутственных местах работали утром, и вся жизнь располагалась близко к тому, как она ведется народом. Но вот во сто лет все изменилось. Теперь даже среднее сословие обедает в пять-шесть часов; обеды в семь и в восемь — не редкость. В присутственных местах работа начинается в два часа; на вечера съезжаются в десять-одиннадцать часов. Вообще все стремится к вечеру и ночи. Какие же разумные причины для этого существовали? Я думаю, разумных — никаких. Когда мы проводим летние месяцы на водах, то режим жизни именно такой, какой предлагает Бьернсон, т. е. самый здоровый, самый укрепляющий.

6 (18) июля, № 6591

CXCIX

Читаю запрещение в «Новостях». Очень это мило, когда мы начинаем запрещать друг друга. В этой газете какой-то господин высказывается против «советов» в печати, ибо эти советы, «смущая боящихся все больше и больше, будут в них вызывать сомнение, что, как ни берегись, а от холеры не уйдешь». Обязанность прессы — «помогать тому учреждению, которое взяло на себя труд вести санитарное дело города; ее дело указывать на некоторые незамеченные пробелы или ошибки, если они делаются; лечение же больных и способы лечения нужно предоставить специальной прессе и врачам». Начать с того, что советы, которые печатают газеты, проходят через специальную цензуру и, значит, они признаются если не полезными, то безвредными. Во всей печати европейской печатание «советов» во время эпидемии — дело обыкновенное и совсем не глупое. Само правительство прибегает к тому же средству, печатая наставления, как вести себя во время холеры, какие употреблять средства до прихода врача и т. д. И эти советы вовсе не «смущают боящихся» и не «вызывают в них сознания, что как ни берегись, а от холеры не уйдешь». Напротив, советы успокаивают, поселяют уверенность, что если я буду им следовать, то не заболею, а если заболею, то выздоровею; они увеличивают даже в уме трусов число шансов для избежания холеры. Это — простая психология, на которой основаны и все вообще «советы» врачей. Если б врач, осмотрев вас, сказал вам: «ну, сударь, вам помочь

ничем нельзя», вы бы ушли от него в смятенном состоянии духа. Он это прекрасно знает, а потому начинает давать советы и писать рецепты и успокаивает вас. А господин, стоящий за «специальную прессу и врачей», которые только могут лечить, во всяком случае ошибается относительно «специальной прессы». Она тоже не может лечить, а может лишь давать советы. Сами врачи не брезгают теми средствами, которые иногда идут совсем не от специалистов, и история медицины может указать немало именно таких средств, приобретенных опытом народов и веков и усвоенных наукою. Когда-то медицины совсем не было и людей умирало не больше, вероятно, и лечились они домашними средствами. Да и теперь медицина далеко не есть что-то все разрешающее: она пускает впереди себя свою превосходную помощницу — гигиену.

Закрыть печать для советов, даже проверенных специальною цензурою, это значит совсем не понимать дела. Ведь и врачи только «лечат», но далеко не всех вылечивают. Если бы они всех «вылечивали», тогда еще можно было бы сказать: «ступайте к врачам и ни о чем не беспокойтесь: они вылечат». Но ведь этого никто сказать не может. Нечего упрекать общество и в трусости. Оно вовсе не так трусливо. Сотни тысяч населения Петербурга продолжают жить, как всегда жили, продолжают делать свое дело и не думают бежать. Тем нелепее трусливость общества приписывать «советам» печати, как делает это господин из «Новостей». Поверить ему, если б не было печати, если б все молчало, предоставляя разгуливать, судить и рядить «врачам и специальной прессе», то и холеры бы не было.

Городской голова, г. Ратьков-Рожнов, к слову сказать сердечно относящийся к больницам, говорил в Думе в эту пятницу, пересчитывая все меры принятые по случаю холеры: «все делалось и делается без особой огласки, совершенно спокойно, для того, чтоб не смущать население и тем самым предупредить опасность заболевания». Беру эти слова из «Новостей» и не знаю, достоверны ли они. Но если они достоверны, то городской голова ошибается. Конечно, все надо делать «совершенно спокойно», уверенно, энергично, но чтоб «огласка» мероприятий могла «смущать население» и вредить ему, увеличивая «опасность заболеваний», — с этим согласиться невозможно. Не было огласки мероприятий — холера все-таки была и распространялась, причем многие, вероятно, и не обратили внимания на первые приступы ее, а в публике, питавшейся слухами, порождалось мнение, что Дума не принимала необходимых мер. Надо помнить, что публика привыкла к огласке и привыкла отсутствие этой огласки принимать совсем не за то благоразумие, о котором говорит почтенный представитель города. Огласка мероприятий, напротив, — необходимое дело и она успокаивает публику, а не тревожит ее и не волнует. Всего вреднее слухи, которые начинают ходить непроверенные и, переходя из уст в уста, искажаются и вырастают в какое-то чудище.

Запрещение «Московских Ведомостей» курьезнее. Проникни сведения о нем в европейскую печать, последняя только развела бы руками и сказала бы: «Ну, понятия, нечего сказать!» Газета сия, постоянно запрещавшая мне говорить то о том, то о другом, посылку корреспондента в Болгарию взвела чуть не в политическое преступление. Посылка корреспондентов в Болгарию, по словам органа едва ли не всего Страстного бульвара, «ни к чему не ведет, кроме смут и новых усложнений». Сей орган едва ли всего Страстного бульвара корреспондентов никуда не посылает не столько из боязни смуты, сколько из экономии, но печатает якобы корреспонденции из Софии от неизвестных добровольцев. Понятно,

что корреспонденции «Московских Ведомостей» — именно та прелесть, которая требуется для русских читателей: ни дела, ни наблюдений, ни фактов, но ябеды много. Я слышал, как составляются эти корреспонденции якобы из Софии. Главное, чтобы была ябеда. Откуда бы ябеда ни шла, хотя бы из самого подозрительного источника — все благо, все «подавай сюда, нам годится». На этот раз ябеда идет из «Свободы», газеты Стамбулова, которая напечатала письмо из Рущука, где говорилось, что наш корреспондент является в Болгарию «не столько в качестве корреспондента *«Нового Времени»,* сколько в качестве *посланца с особенною миссией,* каким явился в свое время и С. С. Татищев». Но если С. С. Татищева, известного дипломата, узнавшего хорошо Болгарию во время своей военной службы в русско-турецкую войну 1877—1878 гг., еще можно было приурочить к особенной миссии, то наш корреспондент отнюдь к такой миссии не подходит ни по своему прошлому, ни по своему настоящему, а потому наговоры на него даже глупы, не только что лживы.

«Свободно Слово» справедливо говорит, что наш корреспондент «раньше никогда не бывал в Болгарии, не заражен никакими предвзятыми идеями к нашим (болгарским) делам и лицам»; к этому я могу прибавить, что именно *такова была наша задача* — послать корреспондента, не зараженного никакими предвзятыми идеями. Я и выбрал для этого молодого писателя и притом политикою никогда не занимавшегося, хотя мог бы выбрать и другого, и политика, и бывавшего в Болгарии. Уж самый этот выбор говорит в пользу искренности тех целей, которые мы имели в виду, именно целей правды, беспристрастной передачи наблюдений свежего человека. Но вот поднте: «караул, смута, новые осложнения!» Ах, ябедники, ябедники! Что вы хотите этим взять? Неужели вам не ясно, что чем больше вы ябедничаете, тем меньше на вашу ябеду обращают внимания? Неужели вы думаете ненавистничеством своим обратить кого-нибудь на путь истинный?

Наши корреспонденции из Болгарии обошли всю европейскую печать и вызвали в ней суждения о болгарском вопросе. Ябеднические же выходки «Московских Ведомостей» так и останутся ябедою, совсем неприличной для порядочных журналистов. И если я говорю о них, то единственно из жалости к этим несчастным, лезущим из кожи вон, чтобы напомнить собою Каткова и напоминающим только городового, весьма несуразного, однако.

10 (22) июля, № 6595

СС

Вчера, в письме из Москвы, проскользнуло несколько строк о профессоре Захарьине, как отголосок московских толков и пересудов. Я считаю своим долгом сказать о них несколько слов.

Обвинять врачей — дело обыкновенное. Чем более жаль умершего, тем скорее составляется обвинение против врачей. Сожаления о почившем государе так искренни и глубоки, о болезни его так мало было известно русским читателям, что обвинение врачей в небрежности, в недосмотре, в научном их бессилии, совершенно понятны. Но справедливы ли эти обвинения? Какие существуют данные для того, чтоб судить справедливо о том не только нам, в медицине мало или ничего не знающим, но даже тому «из наиболее видных представителей

московского факультета», который будто бы прочел «блестящую лекцию о болезни покойного государя Императора, с сравнительным изложением как лечения, примененного профессором Захарьиным, так и других возможных в данном случае системах медицинского пособия»? Откуда этот профессор взял свои данные о болезни и лечении почившего государя? Кроме диагноза, только что публикованного, ничего другого нет. В заграничных газетах — с 9-го сентября и по 8-е октября я был за границей — появлялось ежедневно множество известий о болезни государя. За нею следили изо дня в день и печатали все ходившие слухи и получаемые известия. Разобраться в этой массе известий даже знающему человеку было невозможно, а о нас и говорить нечего. Но одна черта во всех этих известиях решительно господствовала: болезнь считалась неизлечимой. Проездом через Берлин, я виделся с одним очень известным русским человеком, который был у проф. Лейдена после его возвращения в Берлин из Спалы и расспрашивал его о болезни государя. Диагноз Лейдена отличался от диагноза Захарьина только тем, что этот немецкий врач подавал более надежды не на выздоровление государя — об этом и речи не было, — а на некоторое продление его жизни. И Лейден, и Захарьин оба считали болезнь государя смертельной, и вылечить его могло только чудо, а не медицина. Ошибались ли они в этом диагнозе, доказало вскрытие тела: диагноз врачей, лечивших государя, и определение врачей, вскрывавших его тело, — сходятся вполне, но средства лечения этой болезни, поразившей такие важные органы, как сердце и почки, крайне несовершенны в медицине и в этом, вероятно, вся правда. Медицина не всесильна. Нередко заблуждаются и сами врачи, воображая о себе и своем значении более, чем они есть на самом деле, или показывая, с расчетом на успех, разными средствами, действующими на воображение больных, что они только не много менее Бога. Верно одно: никакие Захарьины и Лейдены, будь они во сто крат ученее и проницательнее, пользуйся они славою магов и волшебников, ничего не могут сделать против того вечного закона, который посылает людям смерть и который выражен в начальных словах высочайшего манифеста государя императора Николая Александровича: «Богу Всемогущему угодно было в неисповедимых путях Своих прервать драгоценную жизнь горячо любимого Родителя Нашего Государя Императора Александра Александровича». Если б медицина была всесильной, то, по крайней мере, наилучшие и наиболее благоприятно поставленные в мире люди умирали бы только от старости. На самом деле это бывает очень редко, особенно относительно тех, которые много работают и в этой неустанной работе забывают о своем здоровье, о необходимом отдыхе и спокойствии. А к таким именно людям принадлежал наш почивший славный государь. Из того, что мы знаем, ясно, как Божий день, что он смотрел смело и мужественно в глаза смерти, которой он ожидал, и думал только о христианской кончине, как царь и человек. Источник обвинений против врачей, как я уже сказал, — глубокая и искренняя любовь к государю, но он любил правду, он был великим Миротворцем, будем и мы у гроба его, в дни этой печали, справедливыми, будем осторожны в своих суждениях, как осторожен был он, будем терпеливы, как он был терпелив, и никого не обвиняя, предоставим будущему разъяснить все то, что теперь нам не ясно.

31 октября (12 ноября), № 6708

CCI

Известный г. Цион удаляется от финансовых треволнений на покой, в Швейцарию. Удаляясь, он хотел явиться пророком «двух отечеств», России и Франции. Это не я говорю, а французская газета «Soir», которая поместила интервью с этим гражданином «двух отечеств», в интересах биржевой игры на понижение русских фондов. В смысле этой игры, очень приятно и полезно быть гражданином «двух отечеств», ибо если дело не выиграет в одном отечестве, то оно может выиграть в другом. Г. Цион, очевидно, так думал. Начав свое поприще профессором в Медико-хирургической академии, он не угодил ни науке, ни студентам, ибо уже тогда он, как просвещенный еврей, подумывал о «двух отечествах». В качестве еврея же, который помышляет прежде всего о золотом тельце и знает, что если Моисей не одобрит, то одобрит брат его, Аарон, он скоро бросил науку и студентов, с которыми ничего не наживешь, и обратился к финансам. Он приехал в Париж и, вспомнив свое происхождение от иерусалимских дворян, стал там подписываться Де-Сион (De Cyon) и купил газету «Gaulois». Подписчики ничего от этого не выиграли, но г. Цион занял некоторое положение среди журналистов и, главное, на бирже. Его сделали русским финансовым агентом в Париже, и он похваляется, что именно он положил основание для взаимного сближения Франции и России. Потом он рассердился на И. А. Вышнеградского, который якобы не доплатил ему каких-то процентов за его услуги, но вообще он получил если не миллионы, то миллион франков: известно, что посредники такого рода получают с обеих сторон и получают крупные куши, так как и дело-то идет о десятках и сотнях миллионов. Во время Панамской истории я рассказывал об его «Записке» о русских финансах, где он критиковал И. А. Вышнеградского, выставляя свои заслуги и предлагая свои мероприятия. Теперь он уверяет, что эта «Записка» имела для г. Вышнеградского роковое значение. Есть полное основание думать, что он говорит неправду. Замечательно, что во время франко-русских праздников в Париже о г. Ционе совсем не было слышно, и он нигде не показывался. Говорили, что он куда-то ездил опять с новою запиской, но потерпел крушение. Об этом кое-что достоверное должна знать г-жа Адан: некоторое время г. Цион издавал вместе с нею «Revue Nouvelle» и помещал в этом журнале статьи о России и ее финансах. Будучи человеком умным, он написал целый том о нигилизме, где есть хорошие и справедливые страницы, но где, все-таки, мало знания России. Мне думается, что помимо его счетов с министерством финансов, помимо оскорбленного самолюбия и чувства мщения, которое заставляет его распускать такую нелепость, что «торговые трактаты России с Германией и Австро-Венгрией заключены для того, чтобы разорвать франко-русский союз», он грешен еще в том, что не знает России, не знает ее ресурсов. Он воображает, что Россия вся на бирже, у банкиров, что можно подорвать ее кредит, распространяя нелепые слухи и пользуясь огромным неведением России среди французов. Впрочем, незнание России можно простить г. Циону, ибо и мы-то все мало знаем ее и, не зная ее, не доверяем ее силам и топчемся иногда на месте в совершенно растерянном виде.

Я помню Россию сорок лет тому назад. С тех пор она сделала поистине гигантские шаги решительно во всех отношениях. Мне думается иногда, что если взять в Европейской России не все 90 000 кв. миль ее пространства, а только десять

тысяч кв. миль, т. е. пространство, равное Франции, и на этом пространстве поместить все то, что есть во *всей* Европейской России, ее фабрики, заводы, торговые заведения, железные дороги, университеты, академии, гимназии, школы, со всем их персоналом, соединить, одним словом, на этом пространстве всю ее культуру, все ее городское население и зажиточную часть крестьянства, то получилась бы богатая и прекрасная страна с населением в 35—40 миллионов людей богатых и зажиточных, здоровых и способных. Получилась бы страна, подобная Франции, конечно, не с ее историческою культурою, не с ее благословенным климатом, но во всяком случае страна, достойная всяческого внимания и доверия даже с точки зрения требовательного европейца. Сорок лет тому назад ничего подобного нельзя было сказать о России, нельзя было ее и сравнивать. А теперь можно. Будучи в десять раз больше Франции по пространству (говоря об одной Европейской России), она только с небольшим вдвое больше ее по населению. Из этого можно видеть, как редко ее население, а страна с редким населением не может быть вполне культурною до тех пор, пока она не вырастет самим населением. В мире не бывало культурных к стран, мало населенных. Естественно, что, населяясь, страна растет и культурою, если народ ее — способный народ. А кто же скажет, что русский народ не способный народ? Я трогаю этот вопрос слегка. Но если б мы сознали всю его силу, все его значение, у нас прибавилось бы и энергии и охоты работать самым плодотворным образом, не разбрасываясь, не растеривая сил в бесплодных предположениях, сомнениях и недоверии.

17 (29) ноября, № 6725

CCII

С большим удовольствием читал я сию минуту речь Е. Л. Маркова и речь С. А. Андреевского. Уверен, что и на читателей эти речи произведут такое же впечатление, особенно речь Е. Л. Маркова, после , которой С. А. Андреевский сказал: «Защита почти исчерпана теми благородными и прекрасными объяснениями, которые вы сейчас слушали». Речь Е. Л. действительно прекрасна и благородна. Он не юрист, но его публицистический талант жив еще, живо его одушевление, а его критика судебного следствия поистине блестяща, и я никому не пожелаю быть на месте этого действительно легкомысленного судебного следователя, г. Родиславского, который привлек г. Маркова и нашу газету к суду. Г. Родиславскому остается утешиться разве тем только, что бывали следователи еще хуже его и, вероятно, есть совершенно такие же, как и он. Хуже, в смысле легкомыслия, и притом легкомыслия какого-то бравирующего, едва ли что еще можно выдумать. Привлекая под суд писателя, г. Родиславский упомянул о том, что статья г. Маркова подрывает доверие к нему начальства и общества. Бесподобно это требование доверия к легкомыслию и произволу. Я наделаю всякой чепухи, надурю, как мальчишка, наполню тюрьмы мнимыми преступниками, в дела которых я и не думал вникать, ибо уверен, что, подобно Кузьме Пруткову, могу объять необъятное в один момент, я с презрением отнесусь к человеческой личности, ничего не разберу толком, хотя мне и власть-то дана единственно для того, чтоб разбирать все с толком, с справедливостью и беспристрастием, и вот я кричу, что вы подрываете доверие ко мне не только у начальства, но, пожалуй, и вообще автори-

тет. Это так легко возвышать свое значение и видеть в своей персоне чуть ли не сияние самой богини Фемиды. Трудно только приобресть авторитет, трудно его сохранить и утвердить с тем достоинством, которое в этом случае очень потребно. Чем больше у вас власти, тем больше возлагайте на себя ответственности и тем строже будьте не к другим, а себе самому. В этом вся тайна доверия и начальства и общества. Самое дело, маленькое по существу своему, имеет большое значение не только для печати, но и для всех тех, которые имеют несчастие попасть под следствие. Е. Л. Марков превосходно справился с своей задачей, умел обобщить это дело и вывести из него заключения, имеющие серьезный общественный характер. Этими строками я только обращаю внимание читателей на эту речь. Самому мне прибавить нечего.

23 ноября (5 декабря), № 6731

CCIII

В «Pall Mall Budget» карикатура: лорд Розбери просунул голову в клетку и протянул руку к медведю, лаская его; медведь, по-видимому, с удовольствием принимает эти ласки, высунув на бок язык; возле клетки, в блузе, в картузе набекрень, засунув руки в карманы, с тревожным выражением в лице, стоит Казимир Перье. Подпись: «слухи о сближении между Англией и Россией вызвали сильные возбуждения в дипломатических кругах Англии». Немецкая карикатура обыкновенно изображает Россию в виде бородатого казака, со свирепым лицом, английская — в виде медведя. Но мне не удавалось видеть изображение медведя, в этой роли, в клетке. Обыкновенно он являлся на свободе. Хотел ли карикатурист сказать этим, что медведь в клетке безопаснее и что, приласкав его, можно постепенно приручить? Но стоит ли внимания карикатура? По-моему, стоит. Карикатура есть популярнейшее изложение данного вопроса и в особенности отношения к нему известной народности в данный момент.

В последнее время ласковое отношение Англии к России занимает русские умы. Что это значит? Почему эта неожиданная дружба? Наверное Англия хочет нас «обойти» и «провести». Мы вечно боимся, что нас проведут, обойдут, обманут. В этой боязни сказывается наше сознание своей малой культурности и, пожалуй, даже малой независимости в вопросах международных. Боязнь эта развилась отчасти вследствие тех причин, на которые указал В. И. Ламанский в своей превосходной речи, сказанной в Славянском обществе, — в речи, подобной которой, по своему значению и искренности, не только в стенах этого общества никогда не раздавалось, но которая и вообще у нас явление очень редкое. По причинам этим, то есть стремлениям к союзам, нам невыгодным, к бесполезным для нас жертвам нашей кровью и нашими выгодами, положен предел прошлым царствованием. Русская политика определилась не одним миролюбием: миролюбие есть не причина, а следствие того направления, которое положено в основу политики нашей.

Искренни ли английские государственные люди в своих дружественных словах, обращенных к России — этот вопрос надо рассматривать в связи с другим вопросом: полезна ли Россия для Англии и Англия для России? Нуждаемся ли мы друг в друге или не нуждаемся?

Император Александр III не только был человеком вполне русским, не только был высокой нравственной личностью и сыном своего отечества, но и сыном

своего времени. Он влиял на это время, но и время на него влияло. Традиции английских государственных людей, запечатленные патриотизмом и умом, также отвечают своему времени.

А Европа приближается к времени, чреватому событиями. Оно только еще намечается, и это дружественное отношение Англии к России — один из признаков этого времени.

Англия стоит во главе колониальных государств и теперь уже считает подданных своих до 350 миллионов, разбросанных по всем частям света. Нельзя сказать, что это нечто компактное, довольное своей судьбой и не стремящееся врозь. В начале этого века, когда мы спасали чужие алтари и престолы, Англия платила нам денежную субсидию, и мы ее брали за пролитую кровь. Для нашего самолюбия воспоминание неприятное и даже обидное, но помнить это не мешает в настоящее время, когда с медведем заигрывают. В пятидесятых годах, вместе с Наполеоном III, она хотела погубить Россию и поставить ей пределы, настаивая на том, что Россия грозит европейской цивилизации. Но война породила реформы, которые двинули Россию вперед. Генерал Черняев взятием Ташкента открыл нам дверь в Азию. Он же, этот чуткий и даровитый человек, начал войну с Турцией, которая несмотря на Берлинский конгресс и на то, что мы остановились пред Константинополем, благодаря угрозам Англии, вконец почти разрушила господство турок в Европе и подвинула нас к Босфору с азиатского берега и потом далее на восток через Ахал-Теке. Мы вступили в роль культурного фактора в Азии и подошли к Индии, несмотря на все старания англичан помешать нам, несмотря на то, что английская политика постоянно, со времен крымской войны, не переставала ставить для России западни и создавать затруднения. Я позволю себе припомнить, что покойный государь был серьезно огорчен бомбардированием Александрии и тем больше было удовлетворено его русское чувство битвой при Кушке, где были побеждены не столько афганцы, сколько англичане.

Англичане попробовали повторить угрозы и поднять шум, как было во время движения нашего к Константинополю, но государь остался спокоен и продолжал свою политику, и политика эта увенчивалась успехом. Не грубым завоевателем явилась Россия, а распространительницей культуры, и этого не могла не видеть Англия и не могла не предчувствовать, что в этой Азии начинается серьезная конкуренция англосаксонского племени с русским, ибо русское племя выросло не численностью только и материальной силой, но и силами просвещения.

Англия очень хорошо видела, что царствование почившего государя укрепило Россию так, что она может смело смотреть на будущее. Примем во внимание наше географическое положение: ни одна страна в Европе так не готова к благоприятному помещению будущего населения, как Россия. В настоящее время на всем земном шаре считается около полутора миллиарда населения, а в Европе около 365 миллионов, а через сто лет *в одной Европе* будет около миллиарда населения (940 миллионов в 1995 г.), т. е. около той цифры, которая разбросана теперь по всей вселенной. Германскому и латинскому племени негде распространяться. Среди германского племени кроме того, десятки миллионов славян. Мы не пострадаем от роста населения, мы обеспечены территорией, где могут жить еще 300 миллионов жителей, без нужды, развивая природные богатства новых стран. Только Соединенные Штаты и Бразилия представляют подобную же территорию для населения. Великая Сибирская дорога уже теперь дала результаты, а в будущем значение ее для нашего господства в Азии огромное. Пути

сообщения, народные школы, гимназии, университеты понесут просвещение в эти далекие страны. Смею верить, что мы не ниже англосаксонского племени. Мы отстали в просвещении. Да, это верно, но просвещение растет и будет расти. Остановить его уже нельзя, а двинуть более быстрыми шагами вперед есть полная возможность. Иногда надо ему помочь, а иногда только не мешать. С просвещением будет расти промышленность и независимость русского характера, его стойкость и культурная самоуверенность, столь развитая у англичан.

Своим необыкновенным чутьем поняла это Франция, заключив с Россией союз и дорожа этим союзом, умом понимает все это Англия. И вот она не только хочет идти по стопам своей союзницы в крымскую кампанию, но и стать на ее место, совсем ее устранив. Таков смысл карикатуры, с которой мы начали. Но я думаю, во-первых, что Францию нельзя устранить и незачем, во-вторых, что медведя лаской не объедешь, особенно когда ему отлично известно, что он несомненно нужен Англии, ей он нужнее, чем она ему. Странное, однако, дело. Вступил молодой государь на германский престол, Англия подарила Германии остров Гельголанд и взамен взяла превосходные африканские земли Германии, рассыпаясь перед ней в дружеских излияниях. Англия выиграла, Германия потеряла. Вступил на русский престол молодой государь, и Англия начинает приветливую политику с Россией. В добрый час. Россия желает только того, чтоб не мешали ей идти своим ровным шагом к тем целям, которые обеспечивают будущее русского народа. Меняться нам нечем: африканских колоний у нас нет, а острова св. Елены нам не нужно, если бы Англия вздумала нам его подарить. Но кое-что нам нужно и теперь, и с вежливым человеком обыкновенно разговаривают, не боясь, что он проведет и обманет. Надо только вопросы ставить прямо и искренно.

25 ноября (7 декабря), № 6733

CCIV

Полагаю, что ни преувеличивать, ни преуменьшать ничего не следует. Надо во всем отдавать себе ясный отчет, не предаваясь ни особенной радости, ни особенному горю. Тем меньше разочарований, чем спокойнее смотреть вокруг себя. Я тем тверже говорю это, что по натуре своей склонен к оптимизму. Но оптимизму «Гражданина» я отнюдь не завидую. Он говорил вчера об английском Ротшильде, который взял на себя инициативу нашего трех-с-половиною-процентного займа. «Отсюда вижу, говорит он, что Ротшильды и банкиры Парижа, Блейхредер и Мендельсон в Берлине, делают кислые мины, выражающие досаду, отчего не они *в знак симпатии к России,* взяли на себя эту инициативу». Я думаю, что у «Гражданина» слишком сладкая фантазия относительно этих «кислых мин» и «досады». Фантазия эта еще и более яркою является в его предположении, что банкиры предложили заем России, когда «он ей не нужен». Я не понимаю, зачем же заключать заем, когда он нам не нужен? Вернее предположить, что заем нам нужен, если мы его заключили. И за то слава Богу, что Россия не платит теперь высоких процентов, что бюджеты наши заключаются с превышением; но истинное финансовое благополучие России настанет только тогда, когда у нас не будет внешних займов, когда Ротшильд станет предлагать нам заем на самых выгодных условиях, а мы ответим: «не надо, сэр». До этого благополучия еще далеко и даже очень далеко...

В займе участвуют члены дома Ротшильда в Лондоне, Париже и Франкфурте-на-Майне. Известно, что династия Ротшильдов ведет свое начало от Майера-Амшеля Ротшильда, родившегося в Франкфурте-на-Майне в 1743 г. Какими путями он вышел в люди, на этот счет существует легенда о гессен-кассельском ландграфе Фридрихе II, который продавал своих подданных, в виде рекрут, Англии для ее колоний и этой торговлей душами собрал огромное состояние, простиравшееся до 56 миллионов талеров. Часть этих миллионов перешла каким-то образом Майеру-Амшелю, и они легли в основание дома. Насколько правды в этой легенде, Бог знает. Во всяком случае процветание дома началось со времени наполеоновских войн. Умирая 13 сентября 1812 г., Майер-Амшель оставил пять сыновей и пять дочерей и завещал им всегда держаться закона Моисея, оставаться в тесной дружбе между собою и ничего не предпринимать без совета своей матери.

— «Исполняйте эти три правила, сказал он им, и вы станете богатыми среди самых богатых, и мир будет принадлежать вам».

С своей стороны, Натан-Майер (1777—1836) сын его, основавший дом свой в Лондоне и придавший ему большое значение, оставил духовное завещание, по которому отписал большое приданое своим дочерям, но запретил им справляться о своем состоянии и выходить замуж без согласия матери и братьев. Даже во Франции гражданский кодекс не вмешивается в судьбы этих богатых еврейских семейств. Они следуют своему собственному закону о наследстве, как королевская фамилия, и браки заключаются почти всегда в среде потомков пяти братьев, увеличивая централизацию и крепость различных ветвей фамилии Ротшильдов. Каждое поколение Ротшильдов оставляло такое значительное число детей, что всегда была возможность выбрать между ними людей, способных вести большое дело. Таким образом, еврейский завет иметь побольше детей пригодился и Ротшильдам.

До Ротшильдов многие богатые еврейские фамилии обращались в христианство, стремились сделать своих дочерей герцогинями, а сыновей — вельможами, и богатства их быстро распускались среди христианского населения, любящего жизнь не ради денег и денежного могущества. Ротшильды остались строгими приверженцами еврейского правоверия, и их примеру последовала богатая еврейская банкирская аристократия и с того времени не чувствует необходимости распускаться в высших классах христианского населения. Союзы их с христианами очень редки, и то преимущественно в Австро-Венгрии, да и там не на пользу христианства, а во вред ему, ибо еврей поглощают плохих христиан, заключивших с ними союзы. Амшель-Майер оказался прекрасным пророком — мир, в котором деньги играют такую огромную роль, действительно начинает принадлежать евреям. А так как еврей — космополиты, и так как космополитизм проповедуется самыми крайними партиями, например, анархистами, то еврей и там явятся на своем месте.

Нынешний глава английского дома сэр Натан Ротшильд, сын Лионеля (1808—1879), прославившегося среди евреев теми усилиями, которые он употребил для гражданской и политической эмансипации евреев в Англии, родился в 1840 году. Он наследовал баронское достоинство, данное дяде его, Антонию, в 1847 году. В 1885 г. барон Ротшильд возведен в звание пэра. Племянница его Анна (1851—1890) в 1878 г. вышла замуж за графа Розбери. Таким образом, инициатор нашего $3^1/_2$-процентного займа связан узами родства с первым министром Англии, и, конечно, подпишется на русский заем...

Но вот в чем вопрос. «Правительственный Вестник» говорит, что условия этого займа по выгодности «небывалые». Мне кажется, это не точно. 3-% заем, заключен-

ный г. Вышнеградским без участия Ротшильдов и встретивший с их стороны ярое противодействие, был так же выгоден нам, как и этот 3½-процентный — стоит только подсчитать. Но если Ротшильды противодействовали против 3-% займа, то что приманило их к этому 3½-процентному займу? Неужели сэр Натан Ротшильд сделал это «в знак симпатии к России», как говорит «Гражданин»? Как бы то ни было, заем, наверное, с избытком покроется в одной Европе и покроется просто потому, что там 3½% — выгодное помещение денег, а Россия всегда была добросовестным и исправным должником.

29 ноября (11 декабря), № 6737

CCV

Мне кажется, что вздор, сказанный в 1883 г., остается вздором, если он повторен в 1894 г. «Славянофильские угрозы (немцам) были непосредственно побудительною причиною заключения нового тройственного союза между Германией, Австрией и Италией». Этот вздор был сказан «Вестником Европы» в мае 1883 г. и повторен в декабре 1894 г. Автор этого вздора называет себя последней буквой латинской азбуки, но он, вероятно, не последний дипломатический чиновник. По крайней мере, статья его «Торжество миролюбия» проникнута дипломатическим воинственным задором против «националистов» и «патриотов», руководителями которых г. Z. называет «Русь» Аксакова, «Московские Ведомости» Каткова и «отчасти» «Новое Время». Вся статья проникнута духом предупредительных циркуляров против «национальной печати», частью напечатанных в «Правительственном Вестнике» (например, от 3 декабря 1886 г., не напечатанный Катковым), но большею частью нигде не напечатанных, но преподанных к исполнению периодической печати через Главное управление по делам печати. Предметом этих воспретительных предписаний печати были, как называет их автор, «злополучные немцы», те самые «злополучные немцы», которые разгромили Францию, отняли у ней две провинции и, взяв себе гегемонию в Европе, никому не давали дышать спокойно и заставляли всех вооружаться; те самые «злополучные немцы», печать которых, по словам самого г. Z, «периодически распространяла панику и держала народы и правительство в крайне напряженном состоянии, под тягостным страхом кровавой катастрофы». Это было давно, а потому это история. По мнению этого господина, взявшего на себя труд прославить умеренность и аккуратность чиновников, русская национальная печать вечно мешала дипломатии тем самым, что осмеливалась отвечать на наглые нападки немецких газет на Россию, на ее мнимую воинственность, на ее статьи, полные злобы и клеветы. Усердие этого господина оценено уже сегодня «Гражданином», который приветствует от всего сердца г. Z за его статью, направленную против «национальной печати», на счастье которой князь Мещерский не признает себя в ее среде: он являлся таким ярым противником франко русского союза и является таким же противником англорусского союза. Подобно г. Z, он за немцев и в пользу немцев, вероятно по великодушию сердца, ибо немцы столь же «злополучны», сколько злополучны и дипломаты, проникшиеся тем же великодушием. Я очень рад, что князь Мещерский, так сказать, заключает союз с г. Стасюлевичем в вопросах международной политики: они дадут ей надлежащее направление.

«Национальная печать» мешала дипломатам всюду, несмотря на запретительные циркуляры. На помощь ей, сожалеет г. Z, пришел и генерал Комаров, который разбил афганцев при Кушке и чуть не накликал войну нам с Англией. Англия потребовала от русского императора выразить порицание генералу Комарову и отставления его от должности. Г. Z, сообщая этот факт, как бы дает понять, что это требование было весьма естественным и, будь г. Z в правительстве вместе с г. Стасюлевичем, они, как окоченелые западники живо бы покончили разговоры с Англией поспешными уступками: «Вы хотите выговор генералу? Да мы его лучше разжалуем в солдаты!» Но покойный государь иначе смотрел на честь России и ее задачи. На требования Англии он отвечал награждением генерала Комарова и ни на минуту не терял самообладания, тогда как дипломаты пожимали плечами и даже агитировали в русской печати в пользу немедленных уступок Англии (это факт, который я берусь доказать). Твердость государя, однако, победила англичан. Ни Россия, ни Англия воевать вовсе не хотели, но если б русский император исполнил требования Англии, если б он поступил, как советовали тогда дипломаты с своей трусливой уступчивостью, то это было поражением гораздо более горьким, чем поражение на Берлинском конгрессе. Они никак не могут понять, что миролюбивая политика может быть твердою и настойчивою, чтобы сознавать свою силу на всякий случай и всегда быть готовым отвергнуть прямо и решительно постыдные для нашей чести требования. Г. Z этого не понимает и стоит за политику кислую. Он наивно верит, что Кальноки был бы нашим преданным другом, если бы не «национальная печать», что никакого тройственного союза не было бы, если бы русская печать благоразумно молчала, что вообще была бы тишь и гладь и благоденствие, если бы национальная печать не мешала прозорливой и всеустраивающей дипломатии, ибо несомненно, что ни одна держава не стала бы требовать отставки русского дипломата, как бы он ни был бездарен. Генералы и преимущественно даровитые мешать могут, как и национальная и преимущественно даровитая печать, но дипломаты никогда, не только даровитые, но даже бездарные. Г. Z так лукав и западен, что уверяет, что «средства на содержание миллионных армий назначаются парламентами *не иначе, как для целей обороны*», что «Бисмарк был *последним* государственным человеком, для которого война была действительным орудием политики». Парламенты давали и дают средства далеко не для одной обороны, война происходит и в настоящее время, и воюют не одни японцы и китайцы, но также французы и англичане. Оборонительную войну от наступательной отличить чрезвычайно трудно, и это различие может определить беспристрастно только история, спустя эдак лет 50 после войны. Каждый народ говорит, что он обороняется, а противник ему отвечает, что он наступает, и это едва ли когда кончится. Бисмарк «последний» только потому, что равного ему нет, но из этого не следует, что он не родится или что он где-нибудь не вырастает уже.

«Национальная печать» делала свое дело честно и искренно и служила интересам мира тем самым, что отвечала на вызовы немецкой печати, тем самым, что мешала «распространяться панике», которую желала напустить немецкая печать, тем самым, что она возбуждала в русском обществе чувства собственного достоинства и самосознания. У нее свои задачи, как у дипломатии свои. Правительство действует через свои органы, общество через свои, и в этом взаимодействии — вся сила вещей. Если не «вздор», что тройственный союз заключен благодаря

«славянофильским угрозам», то франко-русский союз и политика исключительно русских интересов, как противодействие тройственному союзу, является тоже делом печати, если следовать логике г. Z.

Если б национальной печати не было, или если б вся печать пела в унисон «Вестнику Европы» с его преклонением перед Европой, с его признанием бессилия русской, низшей культуры не только перед Европой, но даже перед поляками и финляндцами, то этим молчанием, этой приниженностью, этой кислотой, замешанной на пессимизме, мы накликали бы скорее всего на себя войну.

3 (15) декабря, № 6741

CCVI

Первые упреки прошлому царствованию раздались со страниц ежемесячников за то, что оно стеснило инородческое население империи: поляков, финляндцев и особенно евреев, а потому необходимо сейчас же дать им хорошие права.

Разберем спокойно это происшествие.

Прежде всего меня удивляет это русское великодушие (предполагаю, что упрекают русские, а не евреи и поляки): «не нам, не нам, а другим». Отчего не нам, а другим? Неужели оттого, что существует или существовала удивительная политическая формула, которую можно выразить такими словами: «надо удовлетворить беспокойные элементы, чтобы они успокоились и не роптали». О спокойных элементах молчат, точно удовлетворять надо только тех, которые кричат, волнуются, свищут, а тех, которые спокойно и прилежно работают, надо предоставить их судьбе. Они никого не тревожат, стало быть, совершенно довольны и ничего не желают. Дитя не плачет, мать не разумеет. Но я думаю, что эта пословица отнюдь не может быть занесена в хорошие педагогические заповеди.

Я понимаю прошлое царствование совсем не так. В основу его, по моему убеждению, легло правило: «Россия для русских». Вместо того, чтобы стремиться «удовлетворять беспокойные элементы», потому что они беспокойны и воинственны, оно именно их не удовлетворяло. Оно, кажется мне, думало: чтоб успокоить беспокойных, надо, чтоб спокойные выросли и составили крепкое ядро. Чтоб достигнуть этого, надо постепенно дать больше простора коренному русскому населению, надо его возвысить образовательно и политически, ибо им держится государственное единство и им оно растет. Пора перестать не только сражаться за чуждые алтари и престолы, но пора перестать смотреть на коренное население империи как на нечто низшее и прибегать к осужденному уже историей приему, который сделал конституционную Польшу в самодержавной России и старался большую часть своего внимания и забот обратить на рост окраин. Русское ядро населения должно быть крепко, ибо только с его помощью можно владычествовать над народами, входящими в состав Российской империи, и вносить культуру в те новые страны, которые открываются нам в Азии. Если мы еще не совсем Европа, то, во всяком случае, мы любим европейское просвещение и поставлены географически перед Азией, относительно которой Европа есть не что иное, как полуостров. Эпоха завоеваний оружием для нас проходит, настает эпоха укрепления наших приобретений культурою. Коренному населению необходимо дать больше свободы и самоуправления, чем инородцам, чтоб оно явилось могучим культурным центром и направляло окраины и стягивало их в един-

ство государственное; надо раз навсегда, вследствие этого, поставить пределы тем влияниям немецким, польским, финляндским, еврейским, которые открыто или окольными путями пробивались на самую поверхность в ущерб коренному населению. Ничего нет завидного в том, что немцы являлись установителями дисциплины, порядка и культуры в России; ничего нет завидного в том, что в царствование Александра I поляк являлся одним из лиц, от которых зависели судьбы России. Ничего не будет завидного в том, что вместо немцев явится нашим культуртрегером ловкий и даровитый еврей, получивший все права гражданства и наполнивший высшие учебные заведения.

На кого мы можем сослаться, как на пример для подражания? — На англичан.

Англичанин покорил себе почти полмира, потому что он прежде всего и больше всего заботится о себе, о своей англосаксонской расе. Он всячески рос и укреплялся, он развивал свою свободу, свое просвещение, свою торговлю, свою промышленность. Он стремился стать достойным руководителем своих народов и колоний, не завертываясь в сентиментализм. Он сделал еврея полноправным гражданином только тогда, когда сам вырос и окреп так, что чуждые влияния были ему не страшны. Он не выпускает еще на полную свободу Ирландию и держит в своей просвещенной опеке все колонии, понимая, что единство управления — великая сила. Пример Англии нам подходит тем более, что она является властительницею народов, только что начинающих или начавших свою культурную жизнь, и мы находимся совершенно в том же положении и наши задачи имеют одинаковый характер. Ни разбрасываться, ни отвлекаться частными вопросами нам не следует, чтобы крепче держаться за наши главные цели.

«Россия для русских» именно в том и заключается, чтоб русские люди явились везде как крепкая политическая сила, властная и интеллигентная. Я не буду говорить подробно сегодня о всем том, что сделано для этого в прошлое царствование. Достаточно сказать, что было заложено много для подъема русской культуры, для самостоятельного развития коренного русского населения. Времени было слишком мало, чтобы усилия прошлого царствования дали плоды заметные и для предубежденного взгляда. Но русское самосознание выросло и, выражаясь словами профессора В. О. Ключевского, Европа «признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов». Наше будущее должно быть непрерывным, сознательным ростом наших умственных и материальных сил в том же направлении «Россия для русских». Наш государь, молодой летами, но «старый своими государствами», как прекрасно выражались наши бояре иностранным послам про своих молодых государей, наш государь торжественно обещал идти по этому же «лучезарному пути». Только этот путь, путь «России для русских», и может быть лучезарен. Мы должны расти для самих себя и для того, чтобы быть достойными воспитателями, помощниками, братьями народов, которых Русь сплотила вокруг себя и которые могут еще примкнуть к ней. И мы понимаем, как и англичане, что единство управления, единый царь — великая сила. Царствования не повторяют друг друга. Каждое вносит свои элементы, свой характер. Но лозунг «Россия для русских» останется, как непреложное начало, не только ничем не вредящее всякому преуспеянию науки, просвещения, гражданственности, но укрепляющее все это оригинальностью народного характера, русского опыта и русских дарований. Пусть пессимисты говорят, что хотят, но Россия выросла и возмужала. Это далеко не та юная, пламенная, но легкомысленная и неумелая Россия 60-х годов, не Россия 70-х го-

дов, запутавшаяся в противоречиях, которые привели нас к нелепым и возмущающим душу опытам революции снизу. Нынешняя Россия полна опытом, умом, знанием, здравомыслии, и всем этим надо пользоваться и пора пользоваться не при помощи одних канцелярий и журналистики. Правительство никогда не имело причин раскаиваться, когда обращалось к здоровым силам населения, в ту русскую трудолюбивую, разумную провинцию, в минуты ли великих реформ, в минуты ли государственной нужды. Когда говорят: «людей нет», говорят это те, которые думают, что из окон канцелярий все люди видны. Оттуда видно весьма немногое...

6 (18) декабря, № 6744

CCVII

«Le nouveau Tsar Nicolas II vient d'inaugurer son régne par des paroles de paix et de foi profonde. Puisse ce Dieu auquel il croit, et qu'il veut sincérement servir, illuminer son intelligence et toucher son coeur! Qu'il passe de lui un nouve au Vladimir, et que par lui le peuple russe, si religieux, si croyant, soit reconduit au vrai Pasteur des ames, pour l'edification et le soutient dans la foi du restant de son troupeau!»

Этими красноречивыми словами, которые я оставляю без перевода, оканчивается статья, подписанная ***, под заглавием: «Rome et la Russie», помещенная в последней декабрьской книжке «Revue des deux Mondes». Появление такой статьи в светском журнале, совсем не занимающемся религиозными вопросами в их чисто церковном смысле, составляет явление если не замечательное, то очень странное. Кому принадлежит эта статья? Кто скрывается под этими тремя звездочками? Не папа же Лев XIII, имя которого состоит из трех букв. Но она может быть им внушена, она могла быть им прочитана, прежде чем явилась в этом авторитетном старом журнале. Иначе трудно себе объяснить ее содержание, напоминающее папские энциклики по убежденному тону непогрешимости. Во всяком случае, автор ее убежденный правоверный католик, взывающий к императору Николаю II и к Господу Богу, чтоб Он «просветил разум и тронул сердце» русского царя, чтоб «Он создал из него нового Владимира» и чтоб «столь религиозный и столь верующий русский народ был снова приведен к истинному «пастырю душ», т. е. к главе католической веры, святейшему папе, наместнику св. Петра.

«Чтоб *снова* был приведен (soit reconduit)»... Дело в том, что автор этого воззвания напоминает, что Русь, «эта великая и благородная нация» была присоединена к «истинной православной и католической вере миссионерами, пришедшими из Константинополя за целый век до окончательного разрыва этого патриархата с римским престолом. Она получила из Константинополя, еще римско-католического, истинную веру с греческой литургией». Между Константинополем и Римом накопилась впоследствии вражда, еще усиленная крестовыми походами, но Россия оставалась чуждою этой вражде, и у нее остались против Рима только «предрассудки». Автор, как видно из некоторых мест его статьи, не особенно силен в русской истории, но рвение его к «воссоединению» огромно. «Церковь едина», «вне церкви нет спасения», «из всех церквей действительно едина только римско-католическая» и потому только в ней и спастись можно. Наместник св. Петра считает себя ответственным перед Богом за спасение всех

людей и потому он постоянно обращается к иноверцам с убеждением вступить на истинный путь спасения. Ни одна национальная религия не обращается к другим с просьбою вступить в ее лоно, потому что каждая такая религия сознает, что она только национальная, а не *единая.* Он убежден, что воссоединение русской церкви с римской не так трудно, как об этом думают обыкновенно, и что даже это соединение не далеко. Ведь чего хотят от России? Только «признания верховного главенства папы». «Рим оставляет им не только их обряды и обычаи, но и свободный выбор их епископов и их патриарха. Только сей последний утверждается государем-первосвященником и через него все другие епископы привязываются к престолу Петра. Это принцип, от которого святой престол не откажется в будущем».

Но Россия, рассуждает автор, не имеет патриарха. Можно создать патриархат в Москве, а можно и не создавать, а ограничиться тем, что св. престол признает Св. Синод. Последняя система может быть наилучшая. В таком случае св. престол мог бы предоставить себе право утверждать (конфирмовать) членов Св. Синода, представляемых императором на утверждение папе. Таким образом было бы через Синод восстановлено единство. Возразят, что русское правительств не приняло бы этого условия, так как ближайшим следствием его была бы большая свобода (??) русской церкви. Но правительство, в принципе, не противится свободе русской церкви. «Прокурор Св. Синода, г. Победоносцев, разве не заявил в газетах, что русская церковь не порабощена государством. И действительно, по смыслу права, нет».

Автор соглашается даже на постепенное признание главенства папы отдельными епископами и верующими русскими с позволения русского правительства. Мирное национальное движение в этом смысле совершило бы соединение церквей. В прежние времена были случаи латинизации греко-славянской литургии униатов, но «теперь св. церковь римская отказалась от всякой латинизации восточных литургий».

Русь всегда была лакомым куском для Рима. Сколько усилий папы употребляли для того, чтоб подчинить ее себе. Они даже изменяли католической Польше и преподавали русским царям, вопреки польским интересам, политику, полезную для России; например, указывая ей путь к Константинополю через Кавказ и Малую Азию. Русь наматывала себе на ус то, что полезно было ей, и оставалась в своем православии, которое слилось почти с понятием об отечестве.

Слова автора статьи даже не напоминают нам единого непогрешимого главу христианства, Христа, который весь был милосердие и любовь. Никогда мы не поверим, что «спастись можно только в римско-католической церкви». Это просто вздор, совершенно противный русскому здравому смыслу. Не может быть такого Бога, который мог бы осудить истинно верующих единственно за то, что они не подчиняются папе. Скорей непогрешимые папы исчезнут с лица земли, чем Русь признает над собою главенство этого владыки. Мы можем почитать его за добродетели, можем почитать, как главу католичества, но не далее. Только полным незнанием существа русской жизни, да западною самоуверенностью можно объяснить себе появление подобной статьи в таком журнале, как «Revue des deux Mondes». Если она обратит на себя внимание, то разве только как курьез. Аминь.

9 (21) декабря, № 6747

CCVIII

Одно из интереснейших явлений настоящей минуты, минуты выжидания если не новых веяний, то новых людей, это взаимные отношения «Гражданина» и «Вестника Европы». Я уже указывал на ту радость, которую обнаружил «Гражданин» после чтения статьи «Вестника Европы», отдавшей дань восторгов нашей дипломатии, ее мудрости и миролюбию, точно до сих пор где-нибудь существовало мнение, что дипломатия есть наука о приготовлении разрывных снарядов и скорострельных ружей, а дипломаты носят шпоры и гремящие палаши. Вся статья «Вестника Европы», в сущности, есть сказание о том, как дипломатия старалась мирить не воинственность европейских держав, а воинственность русской печати, что неизмеримо легче. Воинственность европейских держав сдерживал почивший государь, а дипломатия только воинственность газет, и в такой усердной мере, что покойному министру внутренних дел, графу Д. А. Толстому, вовсе не отличавшемуся нежными чувствами к печати, приходилось ее защищать даже с настойчивостью.

Сегодня «Гражданин» довольно пространно говорит о внутреннем обозрении почтенного нашего ежемесячника. Он не согласен с направлением этого обозрения, очень строго относящегося к прошлому царствованию. Но он как будто и согласен с «Вестником Европы», если, оставив в стороне направление, заняться фактами, на которые опирается «Вестник Европы». Так, «Вестник Европы» говорит об «экономическом ослаблении России». «Гражданин» отвечает, что об этом «можно спорить», но и можно допустить, что это именно так. Тут «Гражданин» остается верен себе. Он постоянно говорил о падении крестьянского хозяйства и крестьянской нравственности, и его идеалом служило крепостное право, когда помещик был «отцом», а крестьяне — «детьми». «Гражданину» это нужно для своих целей. «Вестник Европы» вполне разделяет мнения «Гражданина» относительно крестьянского хозяйства, ибо «Вестнику Европы» это нужно тоже для своих целей. Они стоят на одной почве, но глядят в разные стороны, «Вестник Европы» выражается так: «В последнем выводе благосостояние массы можно скорей считать *понизившимся,* чем повысившимся, и это положение чувствуется ею с каждым годом все сознательнее и живее».

Для меня одни последние слова о «сознании» были бы доказательством того, что благосостояние массы повысилось, а не понизилось. Сознание является только тогда, когда человек почувствовал себя свободным, когда он стал рассуждать о том, чего ему не достает, когда его потребности возвысились. Народные потребности, по-моему, несомненно повысились. Сорок лет тому в деревне у крестьян нельзя было найти ни каменных изб, ни плужков, ни лампы, ни самовара, ни сахара, ни ситца, ни книги, ни газет, ни даже, за редким исключением, сапог. Теперь все это уже бросается в глаза. Чтоб утверждать, что благосостояние массы понизилось, надо сперва решить вопрос, было ли оно когда удовлетворительно? Где тот момент, с которым можно сравнивать? Неужели крепостное время или время Александра II, преимущественно переходное, неустановившееся? Потом, где данные для того, чтобы судить верно о положении крестьян в эпоху до освобождения и после него? Земские исследования отрывочны и есть только за известное время. С чем же эти господа сравнивают?

Но есть нечто очень веское в пользу того, что благосостояние выросло. На всех интеллигентных поприщах теперь найдешь крестьянских детей. В мужицких избах не такая уже редкость встретить на каникулах студента, сына хозяина этой избы, технолога, ученика земледельческого или железнодорожного училища, кандидата в священники, художника, врача и т. д. Крестьянские дети появились среди ученых, профессоров. Выросла народная литература, о которой недавно еще помину не было. Бюджет наш на 1881 год, год вступления на престол Александра III, равнялся 732 413 000 руб. с 80½ миллионами дефицита. Бюджет за 1893 год составляет 104 500 000 руб с 84½ миллионами перебора. Неужели все это выколачивают? В 1893 году народ внес почти 400 миллионов лишних против 1881 года. В сберегательных кассах было в 1881 г. 9 995 000 руб. А к 1 октября 1894 г. было в этих кассах 329 432 000 р. Откуда взялись эти 320 мил. руб. сбережений в 13 лет? Согласитесь, что есть большая разница между 9995000 и 329 мил. Вы скажете, что это не крестьяне. Позвольте, есть данные относительно распределения 276 мил. Из них 81 969 000 крестьянских денег, т. е. почти треть, стало быть, в числе 329 мил. больше ста миллионов крестьянских денег. Крестьяне являются преобладающим элементом вкладчиков не только как земледельцы, но в качестве прислуги, торговцев, мастеровых на фабриках, ремесленников в столицах и других городах. Уж я не говорю о том, хотя, быть может, это самое важное, какое огромное количество земли прикупили крестьяне. Кстати. За 40 лет крестьянское население почти удвоилось, значит, питается совсем не так голодно, как говорят. Потом, кем увеличивается наше городское население и чем живут наши уездные города? Да все крестьянством. Они продают, они покупают, из них переходят зажиточные в горожане. Нельзя же со всем этим не считаться, когда говорят о том, понизилось или повысилось благосостояние массы.

— О, вы оптимист! — скажут мне. Да, оптимист, но не закрывающий глаза на дурное. Да — я того мнения, что оптимизм есть идеализм, а пессимизм есть смерть, самоубийство. Будучи оптимистом, я говорю, что надо очень много сделать для народа, для головы его, для сердца и для кармана, но я не могу сказать, что для него ничего не сделано и что благосостояние, его понизилось. Меня отнюдь не прельщают те новые веяния, которые сплеча осуждают прошлое царствование просто во имя известных идей; как бы они ни были заманчивы, думаю, что истина дороже. Я от всей души желаю бодрого духа, новых усилий и новых людей, и они будут, и без них нельзя обойтись. И в этом новом не только должен быть сохранен принцип *Россия для русских,* но усилен, развит и усвоен, как непреложная истина, как единственный путь, по которому можно идти. Он не исключает ничего истинно полезного, истинно прогрессивного и желательного. Я сказал уже, что царствования друг друга не повторяют. Самодержавие есть та форма, которая наиболее носит на себе личный характер самодержца. В 27 лет какая широкая, какая плодотворная, какая прекрасная будущность расстилается впереди, и как многое можно сделать!...

Когда-то, очень давно, я сказал, что наш двуглавый орел смотрит по сторонам и впереди ничего не видит. Эта острота имела успех. А теперь я думаю, что наш двуглавый орел если не все, то уже многое видит впереди, и в нем набрались энергия и силы, чтоб лететь вперед...

12(24) декабря, № 6750

CCIX

Не заметили ли вы одну современную черту?

Люди стали добрее. Неужели вы этого не заметили? А я заметил, и многие мне тоже самое говорили. И я считаю это естественным после тех тревог и печалей, которые мы пережили и которые соединились с подъемом национального чувства, с уверенностью в умиротворении и в том уважении, которое заявила нам Европа. Мы вступили в новое царствование с тем сыновним чувством, которое оплакивает потерю отца, отдает ему дань глубокой печали и уважения и которое вместе с тем полно успокоения, надежд на будущее и возможности спокойно работать...

Мне думается, что все или стали добрее, или хотят быть добрее — администраторы, министры. Лучи доброты, внимания, вежливости точно говорят: дайте нам дорогу. Ах, если б это продолжалось, продолжалось, продолжалось. Доброта — великое дело везде и всегда, и особенно если она деятельная. Как в жизни отдельного человека не может быть счастья без доброты, так не может быть его и без доброты управляющих в государстве. Доброта всему дает жизнь, все оживляет, во всех сердцах будит надежды. Даже несчастным живется лучше. Доброта источник рассудительности, внимания, вежливости, поощрения, доверия к людям, проникновения своим долгом к ним и требовательностью к себе. Доброта не есть распущенность и сентиментализм. Она не исключает справедливости и строгости, но в справедливом и строгом она чувствуется, и без нее теряют и справедливость и строгость. Свойство доброты заключается в том, что она заставляет любить нас, и всего больше для себя, для своего значения мы почерпаем в своей доброте.

Я спросил, письмом, одного своего милого и даровитого приятеля: «Что должен желать теперь русский человек?» Он ответил мне так: «Вот мой ответ: желать! Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство».

«Кисляйство» всегда было мне противно, как и всякому деятельному человеку. Кисляйство распускается во фразах, в ворчании, в мелочных придирках, в анатии. Действительно: надо желать. Надо желать, значит, надо работать, надо стремиться к исполнению своих желаний, к накоплению той необходимой работы, которая открывает двери к лучшему будущему, к самоусовершенствованию, от которого зависит личная независимость. И эта работа также требует той доброты, о которой я говорил.

Вот и дополнение к доброте: надо быть добрым и деятельным.

Не бросалось ли вам тоже в глаза, что в последние годы мы только и слышим что о финансах. Налоги, конверсии, займы, финансовые преобразования. Вся правительственная деятельность точно вся ушла в финансы. Я не хочу сказать этим, что в других ведомствах ничего не делалось, а хочу сказать только, что финансовая была самая видная. Вступление на пост министра финансов И. А. Вышнеградского сделалось каким-то переломом в нашей жизни. Когда здоровье его не стало выносить того напряжения сил, которое от него требовало дело, на месте его явился С. Ю. Витте, человек с запасом свежих сил, способный к такой же постоянной деятельности. Около финансов сосредоточивалось все, как у родника, из которого текут реки. Министр финансов сделался первым министром по значению и по влиянию на других министров. Он может уменьшать мини-

стерские сметы, может уменьшить пенсию чиновнику, которого представляет другой министр, может дать денег и может их не дать. Фразы: «министр финансов отказал в деньгах», «министр финансов говорит, что у него денег нет» — сделались ходячими. На них ссылаются, как на аргумент, против которого нечего сказать. Думается, что такой порядок вещей сделался сам собой, независимо от министра. Личность министра может сделать этот порядок только более определенным. Выходит как будто, что министр финансов есть единственный распорядитель денежных средств государства. Несомненно, что это не так, ибо есть общая политика правительства, которая не может быть поглощена политикой министерства финансов, как бы ни была она умна и симпатична и, общая политика может поручить министру финансов приискать необходимые средства на предметы первой важности. Если финансы удовлетворительны, то первым следствием их должна быть усиленная деятельность просветительная. Я давно мечтал о ста миллионах в бюджете для народного образования, но мечта осталась мечтою и в последние годы бюджет образования даже понизился. Будем верить, что это перед повышением его, в особенности для центра России. Он беднее всей России относительно школ, как низших, так средних и высших. Россия окружена окраинными университетами: одесский, киевский, варшавский, юрьевский, петербургский, казанский, томский, отчасти даже харьковский. В центре России почти один московский. В Московском учебном округе 17 мил. жителей и 19 гимназий. В Варшавском 7 мил. жителей и 21 гимназия. Я не говорю, что надо уменьшить в Варшавском округе число гимназий и на эту экономию увеличить число гимназий в Московском округе. Это был бы Тришкин кафтан. Но надо Московский округ сравнять с Варшавским, не откладывая дела в — долгий ящик. Сравнять — это значит увеличить число гимназий в Московском округе до 50, т. е. увеличить число их больше, чем вдвое. Мы постоянно жалуемся, что нет русских людей, которые бы могли авторитетно и независимо вести себя и руководить другими на окраинах. Но как же им народиться, когда центр России лишен образовательных средств, когда окраины ими богаче. Не потому ли с окраин являются деятели и управляют центром? Дай Бог, чтоб солнце доброты стояло над средней Россией, как настоящее солнце стоит над экватором. Настоящее солнце над экватором слишком жарко, но солнце доброты производит только благорастворенный климат и прекрасную растительность.

17 (29) декабря, № 6755

CCX

Я призывал к доброте всех вас, читатели, к деятельной доброте. Мне кажется, что лучшего начала мы не можем положить в жизнь начинающегося царствования. Пускай одни, как «Московские Ведомости», говорят мне, что я проповедую пользование «опытом и умом» России «в лице выборных представителей», пускай другие говорят, что я проповедую реакцию. К таким нападкам можно оставаться равнодушным. Я проповедую только доброту и не могу ни приказывать, ни навязывать что-нибудь; я говорю не среди безумных и безумствующих, а среди здоровых людей и хочу говорить с теми, у кого много сердца, а не с теми, у кого только холодный ум. Я проповедую доброту и все то, что с нею связано.

По горькому опыту продолжительной жизни говорю, что лучше доброты ничего нет. Не может быть ни частного счастья, ни государственного без доброты. Доброта — искра Божия. У нас не говорят: «Божья доброта», но по-французски «la bonté de Dieu» — обыкновенное выражение. Во всяком таланте, литературном, художническом, т. е. живописном, скульптурном, музыкальном, доброта имеет огромное значение. Недаром юмор так высоко ценится, высоко ценится смех. Наш несравненный Гоголь будет жить всегда и переживет всех своим юмором, в основе которого лежит доброта. Не презрение, не непримиримая ненависть к недостаткам человеческим, а именно доброта. Всякое истинно художественное произведение стремится к добру. Вечны только те произведения, которые учат человека быть добрым.

Евангельская заповедь «любить ближнего, как самого себя» и даже «любить врага» — высочайший идеал, до которого человеку, по моему мнению, невозможно достигнуть. Кто достигает этой высоты, тот святой человек, тот достоин называться сыном Божиим.

Но быть добрым, стараться быть добрым всякий может. Быть добрым — значит, на первый раз, просто пожертвовать своим эгоизмом, пожертвовать немного и получить за то внутреннее удовлетворение, радость. А радости у нас так мало и так ее нам надобно, так она необходима в нашем угрюмом и суровом климате, где больше мрака и холода, чем света и тепла.

Я не скажу, что легко быть добрым. Напротив, это тоже трудно, трудно сломить свою природу, свои предрассудки, трудно убедить себя, что тебя не обманывают, не хотят злоупотребить твоей добротою, не хотят тебя провести, может быть, на пользу злым, преступным, лицемерным. Но когда доброта делается твоим принципом, а не случайным только порывом, тогда в общем деле доброты злоупотребления ею не составят ничего такого, о чем можно было бы жалеть. Разве не обманывают злых, равнодушных, порочных, недоверчивых, высокомерных? Да их обманывают больше, чем добрых и доверчивых, действуя лестью, угодничеством, холопством, возбуждая недоверие, развивая в них боязнь, направляя их ум и сердце в этот омут, где кишат человеческие ненавистнические страсти. Доброта прозорливее, чем равнодушие, недоверие, презрение. Теплом и ясностью веет от доброты и она заражает других, она разбивает лед холодности и равнодушия и заливает пламень злобы.

Кто принципиально хоть только вежлив, тот уже стоит на правильной дороге к доброте, к вдумчивости, к тому равенству, которое должно существовать между людьми. Равенство в том, что человек, как бы высоко он ни стоял, должен признать в другом, как бы низко он ни стоял, человека же. Он уже и так принижен своим положением, бедностью, бедствиями, проступками, а я еще стану перед ним ломаться и показывать ему, как я выше его, благороднее, счастливее. Равенство делает только доброта, а не что другое.

В английских школах существуют детские и юношеские общества, которые задаются тем, чтоб члены этих обществ были вежливы со всеми. Это прекрасный принцип, образующий детский общительный характер, делающий его ровным, не капризным, не дерзким.

Порывами много не возьмешь, но возьмешь много самообладанием, спокойствием, рассудительностью. А этому доброта помогает. Когда вы добры, когда в основании ваших слов и поступков лежит доброта, вы можете и говорить сме-

лее, и действовать смелее, потому что вы можете убедить других, если сильно ваше право, и убедиться в своей погрешности, если право, на которое вы претендуете, не совсем такое, как оно вам кажется. Давайте волю сердцу, если оно стремится быть добрым, и останавливайте его, если оно вспыхивает гневом, негодованием, презрением.

И это говорит журналист, скажут мне? Это говорит человек, который полемизировал, негодовал, осмеивал? Да, именно этот человек произносит слова о доброте, произносит их, может быть, потому, что он несчастен именно тем, что далеко не всегда был добр. Оскорбить чрезвычайно легко. Убедить трудно. К оскорблениям, к негодованию, к стиху, облитому горечью презренья, привыкают очень скоро, может быть, потому, что мир полон зла, распутства и злобы и злоба от злобы отскакивает. Не словами, бичами бьют, да и то проку мало. Но потому что доброта явление сравнительно с злобою редкое, она и действует убедительнее, лучше всяких оскорблений, преследований и бичей. Она изумляет и убеждает.

Как хотите, это не политика, скажут мне. В обществе, где необходима борьба, где злоупотребления, где зла так много — говорить о доброте? Надо негодование будить, надо «жечь сердца людей»...

Ах, господа, мне кажется они так уже закалены огнем враждебных слов, что не горят уже больше. Пусть затеплятся добротою...

Кто знает? Завтра я умру, а в сердце злоба, и она рвет его и волнует и приближает к последнему биению. Пусть же радость остановит его, а не злоба. Пусть доброта заставит его горячо биться в последний раз. Давайте радости, давайте доброты. Давайте их самим себе, давайте всем, кто хочет жить и работать.

19 (31) декабря, № 6757

CCXI

Директор московского театра, г. Корш, провинился тем, что достал каким-то образом литографированный экземпляр пьесы Сарду «Madame sans Gêne», перевел ее и поставил на своем театре. Сарду закричал о воровстве: «je suis volé». Корш оправдывался... Из всех французских драматургов Сарду самый последовательный и самый несговорчивый буржуа, который нигде не упустит своей копейки. Я знаю, например, переписку с ним по поводу перевода и постановки «Thermidore». Ему предлагали все условия, какие только мог предложить переводчик. А переводчик *отказывался от всякого гонорара за пьесу,* предоставляя его целиком Сарду. Предполагалось, что пьеса будет поставлена на императорских театрах. Переписка тянулась с ним целый год. Писал то он сам, то его агент, и оба боялись продешевить. Ему писали, что императорская сцена платит столько-то процентов с каждого сбора. «Пришлите мне, какие сборы на императорской сцене». Ему посылают. «Нет, я так не согласен, — отвечает он. — Я хочу получить все вперед и все сразу». Этого нельзя, пишут ему, дирекция императорских театров есть казенное учреждение и правила для всех одинаковы. «Я не хочу получать меньше русских драматургов. Пусть мне платят как за оригинальную вещь, тогда я посмотрю». Сара Бернар мне говорила, что Сарду за каждое представление своей пьесы берет 1000 франков, без всяких разговоров, незави-

симо от сбора. Тогда как Дюма-сын сообразуется со сборами и берет меньше. И у нее при этом вырывается восклицание восторженного уважения к автору «Dames aux camélias». Какое может быть сравнение с Сарду! Случалось знаменитой артистке в ее странствованиях брать сборы гораздо меньше 1000 франков, но Сарду свое получал. Он знает себе цену, желает извлечь из своих произведений как можно больше, и это, конечно, его право. Но вот коса нашла на камень. Г. Корш подвел под оригинал его пьесы какую-то мину, и в результате — Сарду был побежден россиянином и предлагает этому россиянину следующую свою пьесу, которая еще не поставлена. Теперь это — друзья, Сарду и Корш, они оценили друг друга и друг другом довольны.

Заметьте, пожалуйста, что Сарду чуть ли не единственный французский драматург, который (кажется, начиная с «Федоры») не печатает своих пьес целые годы после их постановки. Дюма, Пальерон, не говоря о второстепенных драматургах, печатают свои пьесы в одно время с постановкой их на сцене и только ставят на них «tous droits reservés».

Приняв это во внимание, я не понимаю тех российских писателей и те издания, которые мечут громы и молнии в г. Корша. Прочитать ему мораль следует, но громы? Строго говоря, ведь в конце концов всякий перевод с французского есть воровство, если признавать право международной литературной собственности и выражаться языком закона, который называет действия прямыми словами. Писатели «Новостей» этого права не признают, но на г. Корша нападают и делают какое-то различие между книгою и пьесой, которая не печатается, а литографируется. По-моему, вся разница тут лишь в том, что книгу достать легче и дешевле, чем пьесу. За книгу надо заплатить 3 фр., а за экземпляр литографированной пьесы 1000 франков, например, да еще случая ждать. Книга продается везде, но на каждой французской книге, однако, стоит: «tous droits reservés», что в переводе несколько вольном означает: «просим не воровать», или мягче: «не переводить без дозволения автора, который оставляет за собой все права собственности на эту книгу». Пьеса Сарду не продается везде и вместо «tous droits reservés» экземпляры ее лежат под замком от любителей чужой собственности. Книга необходимо должна продаваться, ибо автор получает гонорар с читателей, с книгопродавцев; пьеса может и не продаваться, ибо автор ее получает гонорар с зрителей, с антрепренеров. Гонорар от продажи ее в книжных лавках ничтожный сравнительно со сценическим. Теперь спрашиваю вас, если признавать международную литературную собственность, что такое перевод книги и что такое перевод пьесы? Представьте, что пьеса напечатана, как пьеса Дюма, Пальерона. Переводят ли «Новости» роман Золя — они пользуются без спросу чужой собственностью, переводит ли г. Корш пьесу Сарду — он пользуется без спросу чуждой собственностью. Крылов перевел пьесу Дюма[1] и пьесу Пальерона[2] и поставил их на императорской сцене, и никто не говорил, что он их украл, потому что пьесы можно было приобрести по 1 рублю в книжной лавке. Про Корша говорят, что он украл пьесу Сарду, потому что она только литографирована и достать ее было гораздо труднее и дороже. Корш может сказать: «Помилуйте, сколько мне это стоило труда, ловкости и расходов!» А «Новости» и этого сказать

[1] Les idées de m-me Aubray.

[2] Le monde ou l'on s'ennuie.

не могут. Самое беспристрастное решение этого спора, употребляя язык Сарду (je suis volé, меня обокрали), такое: «г. Корш украл со взломом, а «Новости», и все другие, включая г. Крылова, крадут без взлома». Да, господа, все мы, переводящие книги и пьесы, на которых значится «tous droits reservés», браконьеры, если уж смотреть в корень вещей; поэтому, хвалиться тем, что я ворую без взлома, а вы со взломом — по меньшей мере лицемерно. Так как мы не имеем с Францией конвенции, то мы вольны, значит, учинять всякое браконьерство, со взломом и без оного, и нечего пустяки говорить и делать какие-то тончайшие различия между воровством без взлома и воровством со взломом.

Другой вопрос: стоило ли воровать все эти вещи? Неужели Сарду — великий писатель? Выражаясь грубо, он — великий плут в драматургии, а не великий писатель. Не только Дюма, но даже Пальерон выше его по своим задачам, по литературному значению. Ведь «Madame sans Gêne» — просто-таки посредственная, ловко сделанная пьеса, и больше ничего. Успех она имела, но успех вовсе не большой (я был на первом представлении ее в Париже) и в значительной степени благодаря воскресшей наполеоновской легенде и такой чудесной актрисе, как г-жа Режан.

21 декабря 1894 (2 января 1895), № 6759

CCXII

Письмо мое о доброте вызвало разные замечания. Одни отнеслись весьма сочувственно к моим словам в письмах, обращенных ко мне и в телеграммах, другие, большею частью в печати, отнеслись ко мне иронически, и т. д. Но, очевидно, что вопрос о доброте не прошел бесследно и возбудил не только разговоры, но и затронул самые лучшие чувства, благодаря которым только и живет мир. Будь я французом или немцем, мои слова о доброте, может быть, упали бы на каменистую почву, ибо в Европе много культуры, много культурной регламентации, условной, необходимой доброты, выражающейся преимущественно в вежливости, но у нас, где еще много какой-то первобытной грубости и вместе с тем горячей веры и сердечных порывов, эти слова прямо и говорили сердцу, и я счастлив, что меня лучше поняли не журналисты, чем гг. журналисты.

Говорят «добрый царь, добрый министр, добрый семьянин». Это вовсе не значит, что они только добрые в ходячем значении слова. Это, напротив, значит, что они деятельно добры, что они своими делами, своей деятельностью, своим вниманием, даже характером своего обращения с людьми, увеличивают количество и качество добра, спокойствия, благосостояния, мира. Великие, гениальные способности даются Богом, но доброту всякий человек может в себе воспитать, и кто ее в себе воспитал и воспитывает, тот и будет счастлив и принесет счастье другим.

Сегодня издатель «Гражданина» говорит в своем «Дневнике»: «Г. Суворин вчера писал о необходимости быть добрым. Само собою разумеется, всякий из его читателей с ним согласится и ему сочувствует. Но в наш век есть еще качество, которое, с точки зрения служения интересам своего отечества, пожалуй, еще нужнее завета быть добрым. Это — честность».

И он говорит о честности...

По-моему же, честность есть необходимый элемент той деятельной доброты, о которой я писал. Кто деятельно добр, тот непременно честен. Я даже склонен думать, что люди высокой честности непременно и добрые люди. Но возможно, что суровая среда, чувство долга, необходимость служения интересам своего отечества, например, во время войны, могут подавлять чувство доброты в известные моменты. Этот вопрос сложный, если разбирать его обстоятельно. Во всяком случае, быть честным, по-моему, легче, чем быть добрым. Честность должна быть обязательна меж порядочными людьми и чиновниками, и государство, в его сложном механизме, непременно требует честности, честных людей. Кто не честен, того удаляют. Но и тут вперед выступает доброта, та деятельная доброта, которая вместе с тем есть и честность: она в интересах всех, убедившись, что человек не честен, удаляет его, где бы он ни был, на Днепре ли, на Неве ли, или на Фонтанке...

22 декабря 1894 (3 января 1895), № 6760

1895

CCXIII

«O tempora, o mores!» восклицает публицист светских и министерских гостиных, передавая «волнения, толки и сплетни», возбужденные ожиданием назначения нового министра путей сообщения. Произносить такое восклицание по поводу сплетен и толков великосветских гостиных по меньшей мере диковинно. Светские гостиные несомненно должны этим интересоваться, ибо для них, конечно, не все равно, из какого круга явится министр, который будет указывать пути путям сообщения. Как он будет указывать, этот вопрос может и не интересовать их, но кто будет указывать — это важно. Тут и родственные связи, и светские, и новый салон для разговоров полуполитических и политических, и новые надежды для влияний и иллюзий. Я думаю, что эти толки во всяком случае более интересны и назидательны, чем думает «Гражданин». Воображаю, сколько тут сообщается биографических данных о разных лицах, имена которых пускаются в обращение, как кандидатов на министерский пост, сколько язвительного остроумия и той пыли, которая поднимается столь охотно вокруг людей, которые выдвигаются вперед. Естественно, что при этом достается не одним кандидатам.

Есть и другие гостиные, не столько богатые и не столь светские, в которых также не перестают толковать на эту же тему, но преимущественно с той стороны, которая не интересует светские гостиные. Обсуждается круг действий министра, отсутствие вполне выработанного «положения» о министерстве путей сообщения, об его компетенции, об его организации. При этом затрагивается и состав других министерств, который подлежал бы пересмотру. Например, министерство земледелия действительно ли отвечает задачам, положенным в его основание? Почему в этом министерстве находится горное дело, а коннозаводство, составляющее необходимый элемент сельского хозяйства, остается отдельным ведомством? Почему хозяйственный департамент министерства внутренних дел имеет больше отношения к внутренней политике, чем к хозяйственным задачам, которые лежат на министерстве земледелия? Почему бы горное дело не отнести к министерству путей сообщения? Почему железнодорожный департамент не возвратить снова к этому министерству? Все эти и другие вопросы дебатируются в обществе преимущественно чиновников и специалистов, и в будущем, вероятно, в организации министерств произойдут перемены для большего соответствия тех задач, которыми они занимаются. На этих днях говорили, что

железнодорожный департамент отходит к министерству путей сообщения и с этим связывали и назначение такого министра. Но потом опять стали говорить, что этому департаменту хорошо и в министерстве финансов. Зачем ему обращаться в департамент странствующий? Разве для того, чтобы этим перебеганием напоминать свое название, железнодорожного?

Сколько можно заключить из всех этих толков, весь вопрос не в том, что не находится лица на этот пост. Лиц называли много, и я не думаю, что им неприятно было бы переселиться в роскошный дворец министерства путей сообщения, с садом и прудом, едва ли не самое лучшее министерское помещение; кажется, вопрос именно в организации этого министерства. После министров-инженеров явилось два статских министра, в путейской технике люди совершенно не компетентные. После назначения г. Гюббенета на пост министра путей сообщения мне случалось слышать от инженеров, что это-то и хорошо, что министр — не техник; техников в министерстве много, а надо хорошего администратора, который руководил бы «политикой» министерства. Во время министерства г. Кривошеина стали говорить, что это-то и не хорошо, что министр — не техник, что министру путей сообщения необходимо иметь авторитетный голос в строительных вопросах. И вот после этих двух опытов снова говорят, что министру путей сообщения необходимо быть техником, инженером, или, если уж будет статский министр, то ему в товарищи необходимо дать опытного и талантливого инженера. Передавая эти толки, я своего мнения на этот счет не имею. А знакомый мне инженер говорил:

— У меня несколько подчиненных хотят жениться, и теперь все дело в том, чтоб получить им разрешение. Нет ни министра, ни исправляющего должность министра, потому мои молодые люди скучают вместе с невестами.

Вы видите, что это беда еще не очень большая, а о большой мне слышать не приходилось.

3(15) января, № 6770

CCXIV

Завтра дирекция императорских театров празднует столетие со дня рождения бессмертного автора «Горя от ума».

27 января 1881 г. совершилось пятидесятилетие «Горя от ума», и вот что я тогда напечатал:

«Пятидесятилетие «Горя от ума». Мы только что из театра. Через пятьдесят лет «Горе от ума» поставлено старательно, со вниманием; в антрактах играли два вальса, сочиненные Грибоедовым. Откладывая отчет до завтра, скажем сегодня лишь несколько строк о той овации, которую сделали артисты и публика бессмертному автору этой превосходной комедии.

Когда комедия окончилась, послышались крики. «Бюст, бюст, бюст Грибоедова!» Подняли занавес. На средине сцены, на колонне, стоял бюст Грибоедова; вокруг него — все артисты и артистки; г-жи Савина, Васильева и Дюжикова держали большой лавровый венок, перевитый лентами и цветами, с вензелем Грибоедова; такой же венок держали гг. Нильский, Сазонов, Горбунов и Леонидов; у других артистов и артисток были в руках венки и небольшие букеты цветов. Сцена была ярко освещена. У задней декорации горели вензеля Грибоедова (А.С.Г.) и

большой щит с надписью «Горе от ума». Публика встала и разразилась рукоплесканиями и криками браво!» Эти крики шли сильнее и сильнее, из лож махали платками, слышалось «Слава Грибоедову!», «Честь и слава человеку и писателю!», когда артисты клали венки к подножию бюста и надели один из них на бюст Грибоедова. Изящно расположенные группы артистов и артисток окружили бюст полукругом, составив два крыла, по обеим сторонам сцены. Тогда вышел из среды артистов г. Лукашевич и прочел несколько слов собственно о комедии. Это были сухие, но полные содержанием слова: в них говорилось, что комедия была дана пятьсот двадцать пять раз только на сценах петербургских и московских, не считая провинциальных, что комедия эта принесла дирекции 200 тысяч (точной цифры я не расслышал), что артисты пожертвовали свой гонорар (они получали тогда «выходные») за это представление в «Грибоедовский капитал», а дирекция туда же обратила полный сбор с этого представления. Когда г. Лукашевич кончил, раздался гром рукоплесканий и крики «браво, браво!» долго не умолкали. Одушевление было полное, невыразимое, шумное. Зала стонала от криков, стука и рукоплесканий. Это скромное торжество закончилось стихами, которые прочел г. Леонидов. Еще взрывы рукоплесканий, еще крики, и занавес медленно стал опускаться над увенчанным бюстом писателя, так много сделавшего для сцены».

Представьте себе, что ничего подобного не было, никаких ораций, никакого бюста и проч. Все это я написал, чтоб указать на равнодушие тогдашней дирекции к отечественной славе, к одному из лучших русских писателей и на равнодушие публики вместе с тем, которая сонно отнеслась к пятидесятилетию «Горя от ума»! На другой день я объяснил читателям, что я их мистифицировал, потому что желал указать *как могла* бы отпраздновать дирекция пятидесятилетие комедии, «как могла бы она отдать хоть маленькую дань уважения великому таланту и замечательному дипломату». На этом представлении не было даже литераторов, кроме обычных рецензентов и В. В. Стасова, О. Ф. Миллера, С. И. Смирновой и В. А. Крылова. Все празднество заключалось только в том, что сыграли два вальса Грибоедова и больше ничего.

Теперь совсем другое. Отношение к драматургам и театру изменилось со вступлением на престол Александра III, который посмотрел на «экономию» барона Кистера глазами царя, который хотел, чтобы императорские театры отвечали своему назначению, чтобы писатели, работающие для сцены, получали такой гонорар, какой получают они в Европе, чтобы обстановка пьес соответствовала тем требованиям, которые выработаны критикой и т. д. В этот день столетнего юбилея Грибоедова, когда чествуют его память на сцене, нельзя не вспомнить почившего государя с чувством глубокой благодарности за то, что он сделал и хотел сделать для родного театра.

4 (16) января, № 6771

CCXV

Читаю в одном ежемесячнике рекомендацию для настоящего момента — «величайшего нашего преобразователя, Петра, отрешившегося от старомосковской Руси» — и «величайшие» в нашей новейшей истории — «шестидесятые го-

ды». Так прямо и рекомендуют, ибо нет ничего лучше, как принять шестидесятые годы в руководство для славы, величия и благоденствия России.

Боже мой, кто бы не желал благоденствия России, не говоря уже о славе и величии, которые не всегда связаны с благоденствием.

Но неужели мы ничему не научились не только со времени «величайшего нашего преобразователя», но даже со времен этих пресловутых «шестидесятых годов», к которым начинают теперь взывать, как еще недавно французы, не исключая Наполеона III, взывали к принципам 89 года? Надо совсем не знать русскую историю, чтоб желать жить под властью Петра хотя бы и Великого, видеть казни стрельцов, видеть самого Петра с топором в руках, отсекающего головы, видеть пытки, бритье бород, стрижку на барабане, видеть преследования старообрядцев, сжигание целых общин, отбирание бумаги и чернил, чтобы никто не смел написать что-нибудь против его преобразований, видеть эти безмерные кутежи, грубость, распутство, падение нравов, принижение единичной и общественной личности и т. д.

«Петр приступил к реформам с забот о народном образовании», лжет журнал, ибо с народного образования Петр совсем не начинал, да и оно при нем не начиналось, а начиналось при нем войско, флот, ассамблеи, кое-что европейское и все это на счет настоящего народного рабства, которое при нем началось очень ярко. Это был представитель просвещенного деспотизма, воспитатель служилого, правящего класса за счет рабов. Это был завоеватель, русский великий полководец, который прошел от Петербурга до крайнего русского юга и приготовил, но совсем не обработал огромную ниву для великой русской монархии.

Не соблазняет меня и «отрешение Петра от старомосковской Руси», в которой была независимая жизнь церкви, прихода, выборы священников, начала разумной общественности, самоуправления, петиции населения о злоупотреблениях местной власти, о тяжести налогов, о нуждах, церковные соборы и Земские соборы, благодаря идее и практике которых спаслась Русь во время Смутного времени, самозванщины и нашествия польского. Чем далее от Петра, тем яснее все то хорошее, что было в допетровской жизни и что погребено было им на многое множество лет, после которых начало возрождаться в новых формах, но со старым же содержанием...

Шестидесятые годы! Конечно, было в них много искреннего увлечения, одушевления, даже самопожертвования, хотя и довольно бессознательного. Все это сказалось в освобождении крестьян, суда, земства, облегчении печати, во всех этих быстрых реформах, которые не успевали установиться, как их начинали обрезать и заштопывать и так же наскоро, как наскоро они были сделаны. С одной стороны, реформы порождали массу недовольных, с другой — поправки их рождали другую массу недовольных; одни говорили «слишком много», другие — «слишком мало», и никто не знал, почему «много» и почему «мало», и никто не стоял на высоте тех задач, которые были затронуты. Ни правительство, ни общество не были вполне приготовлены к новой жизни, которая стала носить на себе более и более печать раздражительности, нервности, злобы и ненависти. Конституционные начала, с которыми выступил кружок Каткова в «Русском Вестнике, быстро были подняты на смех, обруганы и оплеваны. Впоследствии Шедрин говорил, что никто не знал, чего хотеть — «не то конституции, не то севрюжины». Хотелось более всего севрюжины, удовольствия, ничегонеделания, празднословия, празд-

номыслия, легкой и хорошей жизни, пожалуй, конституции, но непременно с севрюжиной, а пожалуй и революции, тоже с севрюжиной, а, пожалуй и коммунизма с алюминиевыми дворцами и с женщинами, с женщинами, с женщинами, и с закуской из севрюжины, причем и омары и шампанское не мешали бы...

Славянофилов с их возвратом к прежнему, с их Земскими соборами, с их идеями о церкви, о веротерпимости, о полной свободе слова, о знаменитом «средостении», о самобытном развитии, понятно, уж никто не слушал. Правительство относилось к ним долгое время с большею строгостью, чем к самым крайним западникам. И со стороны правительства, которое утвердилось на петровских началах, на могуществе служилого сословия, на бюрократии по западному образцу, которую славянофилы называли «средостением», это было правильно. Славянофилы хотели, чтобы реформы непосредственно затягивали в себя народ, чтобы народ вырастал и приближался к тому, что называется образованным человеком, как можно полнее, чтобы вся Русь росла и поднималась одновременно и видела и чуяла в реформах осязаемое благо. Общество, или, вернее, самые передовые по смелости, а не по образованию и развитию, его слои, хохоча над конституцией, над славянофильством и язвя их отменными остротами, предлагали те же последствия для народа, что и славянофилы, но... при помощи революции социалистической и коммунарной. Поддержку они находили, если не деятельную, то пассивную всюду. Революционеры обещали блага немедленно. Поди, жди там, когда постоянное и непрерывное развитие, да притом еще в этом «русском стиле», давно осмеянном, дало бы народу все те блага, на которые он имеет права. А тут сейчас: раз, два, три, и революция; раз, два, три — и алюминиевые дворцы, танцы и отдельные кабинеты для желающих любовных удовольствий пар. Никому, кажется, в голову не приходило, что при этих алюминиевых дворцах мужик играл бы только роль банщика, водовоза, чистильщика, полового с салфеткой и т. д.

Мы пережили очень много и хорошего, и глупого, и нелепо, и страшного. Мы успели много изведать на собственном опыте, собственными боками, мы видели, как прилагаются теории к жизни, и знаем, что им мешает обращаться в плоть и кровь. Прошлое царствование заставило нас передумать о всем прошлом. Император Александр III миротворец не потому только, что он держал мир в Европе, но и потому, что в его царствование примирились и внутренние партии и даже та рознь, которая была между западниками и славянофилами, конституционалистами и, так сказать, земско-соборниками, сгладилась. Александр III подготовил примирение допетровской Руси с новой Русью, и стало ясно, что было хорошего, жизненного до Петра, что и теперь не потеряло своего значения, и что нехорошего было и есть в этой новой Руси.

По-моему, данное время потому и хорошо, что есть из чего выбирать, что не только общественная и литературная критика, но отчасти самый опыт жизни уже может прийти на помощь на дальнейшем пути нашего развития, чего в шестидесятых годах не было и не могло быть. Мы выше этих годов, образованнее, разумнее и устойчивее. У нашего времени должны быть свои задачи, свои средства для приведения их в исполнение, и, может быть, более широкие, более объединяющие все сословия.

9 (21) января, № 6776

CCXVI

Передо мной девятое издание книги г. «Вопросительного знака» (?) «О женщинах. Мысли старые и новые». Я написал о первом издании этой книги несколько лет тому назад и встречаю это новое издание с тем чувством, с каким встречают старого и умного знакомого, с которым можно спорить, не соглашаться и в то же время очень приятно провести вечер. Писатель, скрывающийся под этим псевдонимом, написал несколько книг, и все они имели успех, но . такого успеха, какой имела эта книга, не только ни одна из его книг не имела, но и вообще редкая русская книга может похвалиться таким вниманием русской публики. Причина успеха столько же в хорошо подобранных «мыслях старых и новых», сколько в самом авторе. Его можно бы назвать циником по преимуществу, циником не потому, что у него изредка случаются циничные анекдоты, но потому, что он усвоил себе манеру прямую, резкую и, конечно, одностороннюю, но сдобренную остроумием.

Прямая речь нравится в таком вопросе, где два пола не могут обойтись друг без друга, и друг друга желают подчинить. Чем она тверже говорится, тем больше она раздражает и вызывает опровержений. Автор не стесняется ничем и доходит до того, что говорит, что образование только вредно женщинам и что их надо посадить в терема, как в старину. Ему словно доставляет удовольствие говорить о женщинах зло, и он выкапывает о них такие вещи, которые были бы поистине ужасны, если бы все женщины походили друг на друга. Когда его бранили за это, он отвечал: помилуйте, то ли еще говорили Гартман, Шопенгауэр, Спенсер, Конт, Прудон, Кант, Мольер, Теренций и т. д. В самом деле, какие все имена!

На русских он не ссылается. Мы ни о чем еще не смеем выражаться прямо и ищем середины. Философия наша только еще в народных пословицах. Очень долгое время изучали ее одни семинаристы; семинаристы же делались попами, епископами, чиновниками, а не философами. Будучи исповедниками, священники могли бы считаться хорошими психологами и по женской части, но, будучи мужьями одной жены, они, естественно, снисходительны и молчаливы. Мало философии и у наших писателей. Просматривая цитаты из них у г. «Вопросительного знака», редко встречаешь что-нибудь оригинальное и остроумно злое. Русский писатель точно еще боится, как бы женщина его не укусила, не извела своей любовью, не погубила его такой своей страстностью и неумеренностью. По тому или по другому, но наши писатели больше «создавали» женщин, чем обладали ими, больше льстили им, чем говорили правду. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов и Толстой знали женщин. В лице Печорина Лермонтов отнесся к женщинам злее всех наших писателей. Первые трое жили в то время, когда свет занимал первое место, когда на маскарадах появлялся император Николай I, подавая руку, то одной, то другой маске. Гоголь, представивший такие удивительные типы мужчин, так метко схвативший их комические черты, женщин почти не касался и проповедовал нравственность и семейные обязанности калужской губернаторше (Смирновой). Достоевский едва ли их знал, хотя они целовали у него руки на Пушкинском празднике; Гончаров был слишком неподвижен для них в молодости и слишком корректен в зрелых летах, а с корректностью как их узнаешь. Григорович знает их хорошо, но говорил о них только приятное и с благодарностью за удовольствия, которые они доставляли ему в лета юности и зрелости. Не так давно он

даже разразился лирическим панегириком о них, как лебединой песнью. Тургенев целый век просидел в рабстве у одной женщины и сочинял, вероятно, ее противоположности, мечтая о женщине, то страстной, как Ирина, то поэтической и чистой, как Лиза, то политической, как Елена, которая торопится сказать: «возьми меня». У него тоже целовали руки и говорили ему: «возьми меня», но он едва ли брал. Русская женщина нового наслоения часто была тогда восторженна и «возьми меня» вызывалось у ней совсем не страстью, а благодарностью за наслаждения художественным произведением. Салтыков совсем не знал женщин, и его сатира менее всего и слабее всего их касалась. Островский знал купчиху, да и то больше понаслышке и по угадке таланта; Некрасов больше любил карты, чем женщин, которых он презирал и покупал, как самок; Писемский, кажется, чувствовал грубую правду, но едва ли на практике изучал ее; Лесков мало знал женщин и относился к ним с довольно притворным почтением; не думаю, что знает их Боборыкин, хотя «сочинил» он их великое множество и притом все новейшей формации. Из молодых писателей... Я не знаю, знают ли они что-нибудь...

Обращаюсь к одному иностранному писателю, которого у нас знают мало. Это — Ницше, немецкий философ, теперь сумасшедший. (Говорят, он польского происхождения). Это — проповедник аристократизма ума, таланта и силы, ненавистник толпы и т. н. униженных и оскорбленных. В последней своей книге «Антихрис» он является даже ярым врагом христианства именно потому, что оно стоит за слабых и униженных. По таланту это — человек необыкновенно блестящий и своеобразный. И о женщинах я встретил у него очень яркую мысль, которую рекомендую г.?. Он говорит, что дружба существовала между мужчинами только в древние времена; тогда мужчина стоял около мужчины, и потому мы видим там такие блестящие дела и подвиги. Они поддерживали друг друга, сила и доблесть опирались на силу и доблесть. В новые времена, вместо дружбы, явилась идеализированная половая любовь, явилась женщина с своими претензиями на исключительную любовь к ней и своей страстью разорвала солидарность между мужчинами и принизила все то, что было тогда так высоко и бескорыстно. Можно с этим соглашаться или нет, но, во всяком случае, honny soit qui mal y pense. Подумайте только: пока женщину игнорировали, пока она сидела дома и рожала детей, мужчины совершали великие дела в политике, в философии, в поэзии, в драме, в скульптуре, архитектуре, и эта античная древность породила столько прекрасного и возвышенного, высказала столько удивительно глубоких мыслей, что христианский мир, возвысивший женщину и породивший идеализированную любовь, только и знал, что питался и питается доселе этою античною мудростью, поэзией и искусством. «Классическая» древность — вся мужская, все создано без участия той любви к женщинам, которой не знал античный мир, а наш хвалится.

Наше время — время женской работы, женского образования. Впереди становятся кокотки и образованные женщины. Этим соседством не надо смущаться, ибо соседями бывают противоположности. Но идея та у соседок: свобода, заработок и независимость. По мере того, как женщина освобождается более и более, мир становится беднее высоким талантом и посредственностью кишат все те отрасли науки, литературы, искусства, политики (тоже искусство), где талант так выдвигается ярко. Простая ли это случайность или естественные последствия нарушения гармонии, но отсутствие крупных талантов и у нас и в Европе —

нельзя отрицать. Помню, недавно я читал отчет о каком-то женском конгрессе. Одна американка сказала, что 20-й век будет принадлежать женщине. Очень может быть, но в таком случае это будет век, где женщина не возвысится духом и талантом до мужчины, но принизит мужчину до себя. Я в 20-м веке жить не буду, а потому мало им интересуюсь.

19 (31) января, № 6786

CCXVII

Русский человек так же любит шутить, как и француз, и шутка, право же, доброе дело, когда она добродушна. И по некоторым примерам мне думается, что шутка, гуляющая в обществе, иногда гораздо остроумнее тех шуток, которые являются в специально веселых изданиях. В последние недели в Петербурге варьировали «Отче наш». Дворяне, говорили, выбирают себе девизом: «И отпусти нам долги наши», крестьяне: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», биржевики: «избави нас от лукавого», а публике, играющей на бирже, остается твердить: «не введи нас во искушение». Мое полное сочувствие на стороне тех, которые говорят: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», и к этому следует прибавить изречение же Христа: «не хлебом единым жив человек». Это материальное благосостояние и — благосостояние просветительное. Но прежде всего хлеб насущный. Мой приятель, помещик и доктор, мне пишет: «Хлебный кризис сослужил России большую службу. Лошади сыты, свиньи сыты, девки веселы и ходят в резиновых калошах, скот дорог, мужики даже телят не продают — одним кулакам плохо, что и требовалось». Мой приятель — человек либеральный, но не либерализма общепринятого: у него свой собственный, позволяющий ему говорить правду, как он ее видит и понимает, а не так, как учит доктрина. Может быть, не везде так, как он говорит, но несомненно, что дешевый хлеб — великое благо. Один европейский экономист доказывает на основании рекрутских наборов, что люди, родившиеся в годы дешевого хлеба, здоровее, сильнее и обладают большей энергией к долголетию. Пусть хлебный кризис не выгоден помещикам, но народ, несомненно, более сыт и бабы нарожают более здоровых ребят. Бабы вообще народ почтенный уже потому, что работают гораздо больше и плодотворнее, чем те женщины, у которых нет другого дела, кроме разговоров.

Когда эти ребята вырастут до школьного возраста — попомните мое слово, — у нас будет школ гораздо, гораздо больше, чем теперь, и мы увидим в нашем бюджете значительные миллионы исключительно на народное образование Раз экономические интересы стали в первом ряду государственных забот, интересы образования также непременно поднимутся. Одно увлекает другое непременно, да без развития грамотности и профессиональных школ народу не справиться с своим хозяйством так, как требуют того современные условия жизни.

Очень жалею, что не был вчера на празднования «Горя от ума». Простудился, сижу дома и лишен был удовольствия видеть это торжество и слышать то, что говорилось. Речь Мережковского, напечатанная у нас[1], показалось мне напыщенною.

---

[1] НВ, 1895, 22.1 (3.11), № 6789, с. 4

«Учитель! Дай же нам, погибающим во мраке, холоде и оскорбительном уродстве жизни, — дай нам этого вольного смеха, этого солнца!»

Так говорил бюсту Грибоедова г. Мережковский.

Что, если бы бюст заговорил? Не сказал ли бы он нечто подобное:

«Ученик! Говори проще. Говори проще, о ученик! Иначе я ничего не пойму. Я слышу звуки, но не понимаю смысла. Это и смешно, и грустно. Если вы погибаете «в оскорбительном уродстве жизни», то кто же виноват, кроме вас самих? Вы кажется, усвоили себе условную красоту фразы и не усвоили себе еще смысла жизни и не знаете хорошенько, в чем он заключается? Мне что-то слышатся все общие места и очень мало определенного. Мне думается, что не только я, но и другие вас, по этому же самому, не понимают, то преувеличивая неясный смысл ваших слов, то оставляя их без внимания. Общие места и намеки надоели, деланый пафос отдает ложью.

Что это такое «холод, мрак, оскорбительное уродство жизни?» Объясни. Неужели нельзя объяснить? Если б я свою комедию наполнил такими фразами, такими темными намеками, имела ли бы она какое-нибудь значение? Никакого, могу тебя уверить, о, ученик. Я наполнил комедию характерами, фактами жизни, подробностями, которые всем понятны, которых никто отрицать не может. Я везде был прост, ясен и прям. Если б я говорил, как ты, как тебе подобные, бродящие во мраке слова и уродства условного языка, ты не назвал бы меня учителем. Ученик, поди сядь и поучись!»

Но бюст ничего не сказал.

23 января (4 февраля), № 6790

CCXVIII

Несколько дней я был болен инфлуенцей и не читал поэтому того, что являлось в газете. Сегодня я прочитал в отделе «Среди газет и журналов» заметку, которая может показаться извинением редакции «Нового Времени» перед гг. Худековыми, издателем и редактором «Петербургской Газеты». Познакомившись с полемикой, начатой г. Жителем с сотрудниками «Пет. Газеты», которая поддерживала всеми средствами биржевую игру, внушая публике страсть к игре, разжигая ее приманкой дешевой наживы, я не вижу никаких оснований к тому, чтобы выгораживать от ответственности не только редактора «Пет. Газеты», Н. С. Худекова, но даже и издателя ее, С. Н. Худекова. Положим, издатель живет в деревне, но в течение двух месяцев не мог же он не заметить, что в его газете совершается нечто небывалое в русской журналистике, что переносятся к нам, хотя и в малую печать, самые презренные обычаи презренной части европейской журналистики, которые в последние годы так уронили в глазах публики значение периодической печати. Не мог же он не заметить, что явились целые новые отделы «После биржи», «За кулисами биржи», которых прежде в газете не бывало и в которых стали являться рекламы разным спекулятивным бумагам, предсказания и т. п., приемы с ясными целями биржевой пропаганды. С. Н. Худеков, конечно, не станет отрицать, что это явление в его газете нельзя объяснить себе порывами беспредельного патриотизма или самоотверженными заботами о процветании наших финансов. Поставив редактором газеты своего молодого сына, С. Н. Худе-

ков тем внимательнее должен был относиться к тому, что делается в его газете. А теперь выходит, что никто не виноват, ни издатель, отец, ни редактор, сын, а виноваты какие-то никому и нигде неизвестные сотрудники, которые, однако, должны были записаться в первую гильдию, чтоб присутствовать на бирже и сделаться верным эхом ее вожделений. Издатель потому не виноват, что он живет в деревне, а редактор потому, вероятно, что недостаточно опытен для того, чтобы видеть, что такое делается вокруг него и с его благословения. Удивительно странная газета.

Во всяком случае, я считаю своим долгом заявить, что сегодняшняя заметка в «Среди газет» попала без моего ведома, что я считаю *единственными виновниками С. Н. Худекова, издателя «Петербургской Газеты», и Н. С. Худекова, ее редактора,* а не их сотрудников. Сотрудники могли еще как-нибудь случайно, без ведома редактора и издателя, втиснуть в газету какое-нибудь известие с целью поощрения биржевой игры, но систематически рекламировать, без ведома редакции, изо дня в день, в течение двух месяцев, рекламировать с самоуверенностью людей, которые считают себе все позволенным, этому никто не поверит и нельзя этому верить. Я считаю заметку в «Среди газет», выгораживающую от ответственности редактора и издателя «Петерб. Газеты», вполне фальшивой, явись она даже из чувства сожаления к несчастному собрату, попавшему впросак. Такого собрата тут не могло быть, ибо оба гг. Худековы — очень богатые люди, и им стыдно закрываться за спины своих сотрудников и, выгораживая себя, свалить всю вину на них.

2 (14) февраля, № 6800

CCXIX

Какая суровая зима, какие морозы! Такой злой зимы в Петербурге я не запомню. Доктора заняты горлами, носами, легкими; их уши то и дело прикладываются к груди и к спине больных, выслушивая гамму хрипов. Точно целые облака, состоящие из плачущих носов, из кричащих и свистящих горл, из хрипящих легких плавают над милой северной столицей. Если б соединить все эти звуки в одну трубу, какой это был бы концерт!

Злая зима точно сковала умы и сердца. Мне иногда кажется, что мы замерзли, что на мозгу образовалась ледяная гора, как на Неве, и в сердце идет метель и крупа.

Я люблю зиму, люблю снег, люблю солнце, блещущее на снежной поляне, люблю деревья, увешанные гроздьями инея, точно белыми цветами, люблю голубое холодное небо, под которым лежит отдыхающая под белым одеялом земля. Но все это хорошо в меру, а когда все это выходит из всяких границ, когда эти холода, метели и вьюги продолжаются целый месяц, то... хочется тепла, зелени, хочется, чтоб сердце согрелось, чтоб ум оттаял.

Бог к нам не милостив. Зачем он дал нам такую суровую природу, зачем он так обделил русское племя? Хотел ли он испытать нас больше, чем других, приучить к терпению, к мужеству, сделать способными к каким-нибудь необыкновенным подвигам, чтоб преобразовать или истребить мир? Хотел ли он внушить нам безмерное смирение, боясь, чтобы гордость не погубила такое избранное племя? Конечно, для русского его племя есть самое избранное. Хотел ли он, чтобы под тяжестью этой

природы и посылаемых ею нам мучений мы научились любить друг друга, понимать беды и напасти, и, проникая в глубь вещей, взяли бы на себя труд возвещать миру новые истины? Никто не скажет, но верно одно: только что успеем мы вздохнуть весной и летом, как холода начинают нас преследовать, и мы торопимся в свои берлоги и начинаем сосать свою лапу и думать горькую думу.

Чтоб уравновесить эту суровую природу, человек должен бы употреблять все усилия своего ума и чувства, все средства культуры, чтоб сделать жизнь приятнее, разумнее, разнообразнее, веселее. Он должен бы, встав утром, расправлять свои морщины и давать себе слово быть приятным и милым человеком. Прочь всякую мрачность, всякую резкость, всякую вспыльчивость, ходи, улыбайся и тверди: возлюблю ближнего, как самого себя, возлюблю его больше, чем самого себя. А мы сейчас как бы оборвать, наговорить неприятностей, разбранить, показаться туча тучей. Не кажется ли вам, что это, конечно, гармонирует с холодом, с вьюгой, с непогодой, но совсем не гармонирует с задачами жизни, с призванием человека? Не кажется ли вам, что сатиры слишком много и что пора ее поубавить? Бывают поколения, которые любят сатиру, и бывают поколения, которым она становится скучна и нимало никого не трогает. Сатира, быть может, все уже сделала, и требуется создание, какое-нибудь, хотя малое, но создание. Не кажется ли вам, что оружие русского характера — ирония, а не злоба; смех, а не проклятия. Наше оружие не тот ум, который ищет конечных причин, начала и конца, а тот, который умеет примирять, умеет шутить, вызывать слезы сквозь смех и смех без слез, радостный и звонкий. Добродушный, примиряющий русский ум, воспитанный суровой природой, умеющий презирать беды и умеющий ловить маленький луч солнца в курной избе — не есть ли это настоящий направитель русской жизни? Суровые проповедники недаром у нас не в чести, не в чести они и у народа, потому что и без них у нас слишком сурово. Нам нужно утешения, радости, а не проклятий, не укоров, не бессердечных насмешек. Нам нужны проповедники благостные, добрые и искренние, как Христос, доступные и мудрым, и женщинам, и детям. Мы сами себя достаточно проклинаем и укоряем. Погибающему среди мук жизни, по пояс в снегу, с окоченелыми руками, работающему из всех сил, бесцельно проповедовать что-нибудь, кроме того, что призывает к жизни, что указывает ему на ее маленькие радости, что заставляет его забывать печали и беды. «Покайтеся, грешники, вас ожидает геенна огненная!» Помилуйте, за что же? И грешить-то нам по-настоящему некогда и нечем. Мы больше сочиняем свои грехи, чем имеем их. И где нам грешить? Немножко с женщинами разве? Да уж разве это так грешно? Что за несчастные они были бы, если б с ними не грешили. Жоржа Санда между ними нет, а есть только Елисавет Воробей, да самые обыкновенная, для греха только и созданная. Ни увеселений у нас, ни пиршеств, ни каких-нибудь вакханалий. Даже словесных вакханалий нет, хотя мои собраты часто упоминают о них. Попробовали отвести душу на бирже, и то сейчас: стой, равняйся! Куда поехали, что затеяли? По местам! — Братцы, отпустите душу на покаяние! И все-то покаяние, и шагу без покаяния, точно в мире нет больших грешников, чем мы, точно у нас Вавилон какой... И многие думают, что это-то и хорошо, что мы то и дело, что каемся во грехах. И со всех сторон и мудрые, и глупые, и лицемерные кричат: будьте нравственны, будьте чисты, будьте целомудренны, будьте добродетельны! Да помилуйте, чем вам еще, когда мороз трещит, когда насморки, болезни горла, катары, гриппы, воспаления легких! Как

тут не быть добродетельным! Чего добродетельнее человека, которому нельзя носу показать на улицу, не закутавшись в шубу. Ах, как это скучно все, как лицемерно! Будьте только добры, будьте добры и не заботьтесь ни о чем другом.

7 (19) февраля, № 6805

CCXX

Вы восхищаетесь японцами или нет? У меня есть приятели, которые были в Японии и около нее и восхищались японками. Но об японцах мало было слышно. Теперь настал их черед. Они объявились героями, победителями и мечтают сделаться распорядителями крайнего Востока. Бедные китайцы! Мне их искренно жаль. Жили себе смирно, отращивали себе косы, ходили под зонтиками и почитали своих мандаринов, и вдруг такая напасть! В английских иллюстрациях я видел изображение этой войны. Японцы как есть солдаты, по-европейски. А у китайцев в одной руке — зонтик, а в другой — ружье, и в таком виде они наступают или отступают. Мудрено ли победить такого человека! В европейских войнах сражения кончаются тысячами убитых и раненых, а в этой китайско-японской войне дело кончается десятками убитых, а когда убитых насчитывают две сотни, то говорят: «потери неприятели огромны». Кто бы ожидал, что желания Л. Н. Толстого прежде всего исполнятся в Китае. Он проповедовал, что защищаться не надо против неприятеля. Пусть неприятель идет и берет. Китайцы именно так и сделали. Совсем не защищаются. Но японцы тем не менее идут, убивают и даже режут пленных с тем особенным удовольствием, с которым повар режет курицу, зная очень хорошо, что курица его не зарежет. Таким образом, если китаец удовлетворяет идеалу нашего великого писателя, то японец остается еще диким и кровожадным зверем в сознании своей легкой победоносности. Китайские полководцы убивают себя в то время, когда японские убивают других. Какая разница! Сочувствуя несчастиям китайцев, я нимало не сочувствую китайскому императору, который является японцем, приказывая казнить своих генералов и оставаясь в своем дворце, когда его империя разваливается.

Бедный Китай, что с ним будет? Разделят ли его или оставят усовершенствоваться в военном деле для того, чтоб через несколько лет он стал громить японцев и резать их? Боже мой, как мы великодушны были с Китаем. Несколько лет тому д-р Пясецкий *у* рисовал нам Китай грозною военною силою. Пржевальский, напротив, говорил, что он с несколькими полками завоюет Китай, ибо военные его силы ничтожны. В полемике тогда приняли участие русские синологи и ломали перья. Это было после возвращения нашего Китаю Кульджи.

Бедная Кульджа, зачем ее уступали? Китайцы порядочно ее вырезали, когда русские ушли оттуда и когда жители не могли сопротивляться. Известно, что тогда была образована комиссия для решения этого вопроса: возвращать Кульджу или нет? Комиссия долго работала и пришла, наконец, к заключению, что надо возвратить, но при этом, однако, раздались голоса, между прочим, если не ошибаюсь, голос А. Н. Куропаткина, которые говорили, что Китай должен нам уплатить 100 миллионов рублей вознаграждения. Потребовалось мнение министра финансов, которым был тогда Грейг. Он авторитетно сказал:

— Как испанский гидальго, мы должны быть верны своему слову, и слово нам дороже денег, и денег нам совсем не надо.

Повлияло ли это авторитетное мнение на комиссию или были другие причины, но большинство комиссии высказалось против 100 миллионов, и Кульджа была возвращена без вознаграждения нам со стороны Китая. На первом же дворцовом выходе после этого император Александр Николаевич, подойдя к Грейгу, сказал, добродушно улыбаясь:

— А, испанский гидальго. Так нам денег не надо? Мы не нуждаемся в них, гидальго?

Государь с этим словами отошел от министра финансов, продолжая улыбаться, а окружающие не могли понять, какое отношение может существовать между испанским гидальго и г. Грейгом. Но секрет скоро открылся. Государь пошутил над фразой своего министра, которая действительно ничего другого не заслуживала. Фраза эта, однако, резюмировала наши международные отношения не по отношению только к одному Китаю. Дон Кихот, которого довольно часто мы брали себе в образец, тоже испанского происхождения, как и гидальго. Эту подробность я слышал еще тогда и в достоверности ее не имею причины сомневаться.

11 (23) февраля, № 6809

CCXXI

На этих днях два маленьких события, имеющие между собою много общего, хотя и не имеющие отношения ни к масленице, ни к ее веселью и оживлению.

Ученицы гимназии г-жи Стоюниной собрали несколько сот рублей на памятник А. Н. Вышнеградскому, как инициатору женских гимназий; собираются деньги и на стипендию его имени. С этим А. Н. Вышнеградским, отцом бывшего министра финансов, случился в начале шестидесятых годов такой казус. Было тогда время обличительных восторгов и необыкновенной веры в господство добра и правды. Под этим внушением, конечно, А. Н. Вышнеградский напечатал в какой-то в газете письмо, где говорил, что ему предложена была взятка; отвергнув ее с негодованием, он предупреждал, что взяток не берет. Передаю смысл письма, насколько он сохранился в памяти. Все тогдашние журналы и газеты наперерыв стали глумиться над Вышнеградским, и его имя вдруг приобрело большую и весьма не лестную для него известность. Его письмо считали бестактным, хвастливым, ему самому читали проповеди самого гордого гражданского свойства: нечего, мол, объявлять о том, что составляет обязанность всякого честного человека. Бедному педагогу досталось жестоко.

На этих днях гласный Кедрин объявил в Думе, что он получил промес от виконта де-Лестрада, который приехал в Петербург с целью получить от петербургской Думы двадцатитрехлетнюю монополию на каретки, т. е. на эксплуатацию извозчиков и всего петербургского населения. И вот начинает повторяться история Вышнеградского. Над г. Кедриным и в Думе посмеялись, и печать смеется. Им можно сказать словами городничего: «чего смеетесь? Над собой смеетесь»; смеетесь на руку этому виконту который явился в Петербург, чтобы устроить выгодный гешефт и получить приличную комиссию. Теперь, во времена плуто-

кратии, виконты комиссией не брезгают. Недавно еще был в Петербурге виконт де-Кератри, о котором Золя рассказал, какую он комиссию себе требовал даже с писателей. В Думе нашлись уже такие дальновидные гласные, которые готовы продать на целых 23 года интересы жителей и развитие извозного промысла за чечевичную похлебку, не разобрав хорошенько дела ни с принципиальной стороны, ни со стороны подробностей. Из письма самого виконта де-Лестрада узнаем, что он действительно дал промес г. Кедрину. Г. Кедрин, стало быть, сказал правду. Достаточно одного этого факта, чтобы не верить виконту, что он не давал промесов и людям, более молчаливым, или чтоб он не старался так или иначе заинтересовать в своем предприятии людей, более или менее влиятельных. Недаром же он живет здесь несколько месяцев и изучает эту податливую почву Петербурга, на которой легко вырастают гнилые плоды европейской цивилизации. Все его письмо отзывается тою самоуверенностью, которая не внушает доверия. По-моему, Кедрин поступил, как совершенно порядочный человек, объявив о промесе. Наверное, из чувства такой же порядочности объявил о взятке и Вышнеградский. Я понимаю, что и в этом направлении могут быть злоупотребления; могут явиться люди, которые сумеют прикрыть свои вожделения фальшивыми флагами честности; но и молчание в этом случае далеко не золото. Кто знает, может быть, подкуп скорее бы прекратился, если б люди общественные не молчали о нем, а, бравируя насмешки и сплетни, говорили бы о нем гласно. В настоящее же время подкуп и промесы господствуют всюду, где есть какая-нибудь возможность повлиять на представителей. У депутатов европейских парламентов полны карманы всяких промесов. В последние годы общественные скандалы во Франции, в Италии доказали это как нельзя лучше. Г. виконт де-Лестрад тоже должен знать об этом прекрасно, и едва ли кто-нибудь поверит ему, что он совершенно невинно хотел заинтересовать г. Кедрина, известного притом своей невоздержанностью, иногда даже капризною. Из того самого, что этот виконт сердится, что он объявляет, что «переменил мнение» о г. Кедрине, и потом, что он «*считал* его порядочным человеком», ясно, что он попался в деле, которое не удастся высмеять ни ему, ни печати перед беспристрастным общественным мнением нашим, которое даже по молодости своей любит открытую честность так же, как не любит изворотов. Не говорю уже о том, что г. виконт не имеет решительно никакого права быть невежливым, и письма, подобного тому, какое он напечатал в газетах, он не посмел бы напечатать в Париже. «Если б, говорит г. виконт, — мое предложение было сделано ему (г. Кедрину) в виде платы за его голос, то разве я подтвердил бы это компрометирующее меня предосудительное предложение еще письменным документом?» Отчего же нет? В этих случаях на слово не верят, и прежде чем явилось у нас это иностранное слово «промесс», было русское — дать деньги за руки. Напрасно г. виконт де-Лестрад считает себя таким предусмотрительным дипломатом, а публику невинной девушкой. А если он действительно предусмотрительный дипломат, то он мог приберечь теперешнюю оттоворку на случай нескромности г. Кедрина: «разве я подтвердил бы это компрометирующее меня» и т. д. Ведь подкупить не считается даже нечестным. Это своего рода аристократизм перед теми, которые идут на подкуп. Подкупающий считает себя аристократом, чем-то высшим того, кого он купил, хотя в сущности этот аристократизм очень низкой пробы, ибо он сам способен обратиться из подкупающего в подкупаемого.

Я того мнения, что Дума обязана была прежде рассмотрения монополии г. виконта де-Лестрада, рассмотреть вообще вопрос о монополии в связи с русскими нравами и обычаями. Насколько монополия приложима к петербургской жизни, насколько она своевременна, полезна или вредна? Можно ли в наше время, когда средства передвижения становятся разнообразнее, когда предсказывать будущее в этом отношении никто не возьмется, можно ли обязывать будущие поколения на 23 года находиться в зависимости от иностранной или русской компании, притом в таком близком деле, как средства передвижения? Дума совсем не рассматривала вопроса именно с этих сторон, очевидно предрешив, что она может надеть петлю на будущие поколения именно в то время, когда монополии извоза в Париже возбуждают общее неудовольствие и жителей и извозчиков, и когда самый вопрос о монополиях сдается в архив.

14 (26) февраля, № 6811

CCXXII

Присяжные подтвердили смертный приговор, произнесенный и исполненный г-жею Палем над студентом Довнаром. Убийца, в последнем слове, сказала: «Я не виновата». Присяжные сказали: «Она не виновата». Публика приветствовала приговор рукоплесканиями.

Я не понимаю, для чего ее судили, для чего тревожили такую массу людей, раскрывали столько подробностей интимных и даже такую интимнейшую, что этой убийце не 24 года, а целых 30, тогда как ее жертва чуть не на десять лет ее моложе, зачем исписано столько бумаги, зачем наговорено столько речей и порождено столько волнений, когда можно было бы все это предупредить самым простым образом: учредить 12 присяжных постоянных, выбираемых, например, на год, и предоставить им право давать советы, запрещения, дозволения и проч. Тогда, например, г-жа Палем могла бы до совершения убийства прийти к этим присяжным и сказать:

— Господа присяжные, я намереваюсь убить моего любовника, студента Довнара, который отказывается на мне жениться. Прошу вас, разрешите мне его убить.

— Расскажите нам все подробно, как перед Богом.

Она рассказала бы. Тогда они призывают студента Довнара и просят его рассказать историю этой любви в своей редакции. Для большей убедительности, они могут призывать и свидетелей. Убедившись из этих показаний, что любовник заслуживает смертной казни, присяжные снова призвали бы его любовницу и сказали бы ей:

— Сударыня, разрешаем вам убить своего любовника, если он на вас не женится.

Она убила бы его и потом напечатала бы в газетах следующее заявление:

«Ольга Васильевна Палем, убив своего любовника с разрешения гг. присяжных, имеет честь известить милых соотечественниц и соотечественников, что она принимает поздравления и выражения симпатий ежедневно от 4 до 5 ч.».

Как было бы это просто и мило! Само собой разумеется, что и мужчины пользовались бы этим правом и убивали бы с разрешения этого верховного ин-

ститута. Я не думаю, что при таком порядке правосудие много бы пострадало, а нравы, пожалуй бы, и выиграли. Кто знает?

Несколько дней разбирают опытные юристы, образованные люди, кто из них, Довнар или Палем, заслуживает более симпатий. В сущности, вопрос идет только об этом. Выливается несколько ушатов самой мерзкой грязи на убийцу и несколько ведер на убитого. По-моему, кто бы он ни был, он такой же человек, как она, как гг. присяжные, как гг. судьи и адвокаты, и потому убивать его никто права не имеет. Я вообще остаюсь при том мнении, которое высказал летом прошлого года по поводу этого же убийства, что никто не имеет права убивать человека, кто бы он ни был. Отвергая смертную казнь, я отвергаю и всякие убийства, политические, любовные, анархические и т. д. Кто убил, тот виноват. Признавайте смягчающие обстоятельства, определяйте степени наказаний, но вы, как люди, не имеете права вполне оправдывать убийцу, не имеете права сказать, что не виновен тот, кто убил. Если убийца невиновен, то убийства позволительны. А если они позволительны, то вы проповедуете не христианскую, не гуманитарную, не человеческую нравственность, а просто господство зверского инстинкта. Оправдывая убийцу, вы никакой нравственности не признаете, а признаете только право слепой страсти, право ненависти и вражды, которые всегда ненавидят всякую нравственность, всякую узду. Вы спускаетесь в царство четвероногих, у которых нет суда и, увидев самку, которая загрызла самца, говорите: «она невиновна». И действительно, четвероногая самка не только не считает себя виновной, но даже пообедает мясом самца. Но неужели и в обществе людей должно быть это так же?..

20 февраля (4 марта), № 6817

CCXXIII

Каким образом народился этот спаситель русских финансов? Мы обязаны этим его крестному отцу, Каткову, который был восприемником г. Циона при переходе его из еврейства в православие и вместе с тем ценителем его публицистических талантов. С финансовыми планами своими г. Цион обращался к Н. Х. Бунге. Эти планы вертелись главным образом около снискания благорасположения Ротшильда к русским финансам. Николай Христианович отклонил это предложение. Когда Николай Христианович вышел в отставку и его место занял Н. А. Вышнеградский, г. Цион предложил новому министру свои планы, поддерживаемые могущественным покровительством московского публициста. Иван Алексеевич их принял. Г. Цион тогда образовал в Париже синдикат и совершил конверсию с закладными листами Общества взаимного кредита. Эта операция дала ему 600 тыс. фр. И место чиновника министерства финансов, который простирал свои виды чрезвычайно далеко. Начались переговоры о первой конверсии, в которых г. Цион принимал деятельное участие и успел получить с банкиров 400 000 фр., как говорят «Московские Ведомости». Тут г. Цион должен был подать в отставку.

Удивительно это вознаграждение посредников, и об этом собственно я хочу сказать.

Трудитесь десять лет, имейте выдающийся талант писателя, художника, композитора, ученого, вы никогда не получите того, что получает ничтожнейший

посредник во время этих финансовых операций. Ему отсчитывают процент или малую часть процента, но со ста миллионов, с двухсот миллионов. И он разом приобретает состояние. И г. Цион получил целое состояние просто за посредничество. И. А. Вышнеградский дал ему, таким образом, целое состояние, независимое положение, собственный дом в Париже, возможность веселой и беспечной жизни с охотой и другими удовольствиями. Претензии г. Циона шли гораздо дальше. Он ценил свои заслуги больше, чем оценил бы свои произведения Пушкин, Гоголь и Толстой, чем оценил бы свои заслуги Суворов, Кутузов, Скобелев, Бисмарк. Такова сущность всех этих финансовых операций, что она требует особенно ловких людей, быть может, особенно беззастенчивых, или обладающих особенными качествами ума. Такие люди большей частью существуют между евреями, которые создали культ денег и тем самым уменьшили в мире количество не только добра, но и удовольствий и приятностей жизни. Как скоро удовольствия покупаются, они становятся привилегией богатых, и обо всех других, небогатых, не заботятся, предоставляя им находить удовольствие только в труде или в пытках, одурманивающих голову и приносящих искусственное веселье. Все те, кто около денег работают, тогда только поняли бы всю бесплодность своей работы, если бы перестали работать те, которые работают теперь для удовлетворения необходимых нужд. Если бы булочники и хлебники перестали печь хлебы, повара и кухарки готовить пищу, портные шить одежду, сапожники сапоги и проч., и проч., все эти обладатели золота увидали бы, что они совершенно бесполезные люди. Я думаю, что эти бешеные вознаграждения за посредничество в финансовых операциях есть вещь искусственно раздутая, своего рода «жречество», которое якобы обладает какой-то тайной, недоступной никому другому. Это своего рода тайное сообщество, которое ревниво оберегает свои тайны и допускает в свою среду только по строгому выбору. Члены этого тайного сообщества с явным презрением относятся ко всему тому, что выдается талантом на других поприщах, исключая денежного. И это понятно: очень богатый человек может иметь все то, что производит талант, и даже думает, что талант без него, без его денег, погиб бы. Наша эпоха — эпоха денежного варварства, своего рода средние века, когда рыцарь мог все взять с помощью личной храбрости и оружия. Тогда можно было все отнять, теперь можно все купить. Тогда были железные рыцари, теперь золотые, тогда были наемные солдаты, которые грабили с позволения своих начальников, и теперь есть наемные посредники, целые армии их, которые пользуются, под знаменем золотого тельца, теми же привилегиями, какими пользовались наемники в рыцарских дружинах. Для этих финансистов высшей школы ненавистны всякие попытки государства выйти из-под их власти, из-под власти пресловутого «haute banque». Кто не подчиняется принципам «haute banque», тот социалист, революционер, враг своего отечества. Книга г. Циона написана именно в этом направлении. Для него принципы «haute banque», «haute industrie» — святая святых, скиния завета. Для него постройка Сибирской, например, железной дороги при помощи казны — верх «наглости». Так он и выражается. Верх наглости потому, что представители «haute banque» употребили какие-то усилия для образования общества с целью постройки этой дороги и их предложения были отвергнуты. Едва ли когда употреблялось столько злости, чтобы доказать, что нет Бога, кроме Ротшильда, нет истины более золота и нет посредника более г. Циона. Какой-то г. Ротштейн не дает ему спать. Кто этот господин, я не

знаю, но он тоже посредник. Получает ли он столько же, сколько г. Цион получает, или меньше, так ли он финансивен, как г. Цион, или еще финансивнее, я тоже не знаю. Я только думаю, что посредники все более или менее одного и того же закала и одних и тех же финансивных принципов.

У денег вообще есть какая-то склонность к таинственности, к тайне, точно они чувствуют себя нехорошо в порядочном и *откровенном* обществе. Их обыкновенно прячут, а если выставляют, как в рулетке, то для того, чтоб зажечь в зрителях алчность. Все финансовые операции совершаются обыкновенно в такой тайне, что, кроме весьма немногих посвященных, никто о них не знает. Финансовая операция, заем ли это, конверсия ли, тщательно прячется, точно она боится божьего света. Она является как deus ex machina, как театральный эффект, с криком и шумом, со звоном, с нервным возбуждением, в каких-то попыхах, точно ею выпалили из какой-то невидимой пушки и всех оглушили и отняли разум. Никто не знает, что это за фигура, что с собой она несет, счастье или несчастье. Сами жрецы едва ли это знают, но жрецы знают, что таинственность необходима в этом «высоком» служении золотому тельцу, и они сообща устраивают так, чтоб эта незнакомка имела успех среди публики. Неправда ли, странная черта у этих денежных операций. Не потому ли так таинственны репутации этих банкиров, этих их посредников? Не потому ли так таинственна и денежная мораль? И тайна существует не в одних денежных операциях государств и акционерных обществ. Нужны деньги государству. Начинаются таинственные переговоры. Нужны вам, частному человеку, деньги, вы не обратитесь в гостиной к Ивану Ивановичу при всех:

— Будьте добры, Иван Иванович, дайте мне десять тысяч взаймы.

Вы непременно возьмете Ивана Ивановича в сторону, непременно объяснитесь с ним один на один, напишете ему, испросите себе с ним свидание a parte и непременно прикроете эти переговоры тайной. Точно в каждом займе есть что-то стыдливое, даже обманное. Почему это так? Думали ли вы когда-нибудь об этом? Не потому ли посредникам так страшно много платят, что предполагается, что посредник, банкир ли он, или финансовый агент, совершает нечто непозволительное, или, по крайней мере, чрезвычайно трудное, требующее усилий совершенно специальных, на которое не решится ни один прославленный ученый, экономист, талант, гений, великий государственный человек. Мне казалось всегда это странным, и я не умею разобрать эту особенную денежную психологию, очевидно, традиционную, начавшуюся еще до христианства неукрепленную еврейством в христианстве. Но скрывается ли в этом некоторое презрение человека к деньгам, к господству «презренного металла» над всеми самыми лучшими и редкими дарами человеческой души? У вас есть все: ум, талант, образование, вера в свои силы, здоровье, охота и способность к труду, и вот вы бессильны перед этою грудою золота, вы обязаны поклоняться этому бессмысленному и случайному геологическому продукту, без которого жить нельзя даже гению, полубогу. Этот геологический продукт наградило еврейство способностью приносить доход, проценты, и эти проценты могут задушить гения, полубога, могут истребить на земле поклонение истинному Богу и создать поклонение проценту, биржевой игре, обладателю миллионов!

Что, если б разрушена была эта тайна, окружающая финансовые операции. Не лучше ли было бы? Что, если б займы, конверсии обсуждались бы открыто в каком-нибудь гласном особом учреждении, местном и международном? Ах, мы

говорим за Гамлетом: «есть многое в природе, чего не снилось нашим мудрецам», разумея тайны загробной жизни, а сколько есть земных тайн, быть может, глупых и ничтожных, но перед которыми взрослый человек падает во прах, как бессильный и бессмысленный ребенок...

26 февраля (10 марта), № 6823

CCXXIV

У нас новый министр иностранных дел, князь Лобанов-Ростовский. Это — человек старого поколения, администратор времен Александра II и дипломат прошлого царствования. Но старые люди — опытные люди, много видевшие и хорошо знакомые с новой историей, в которой сами они играли роль. К тому же этот министр у молодого русского царя. Опытная старость и сильная жизнью и живыми стремлениями молодость — это сочетание счастливое в том мире политики внешней, который требует с одной стороны устойчивости и осторожности, с другой — молодого, обновляющего движения. Традиции — очень хорошее дело только тогда, когда они постоянно укрепляются именно обновлением, новой молодой силою, которая одушевляет и силою своей молодости, и силой своей великой, доброй и всемогущей власти. Я — не дипломат, хотя хочу говорить о дипломатии, о совершенно новых, предстоящих ей задачах.

Новый министр иностранных дел является в очень новое время. Новость времени преимущественно характеризуется японцами. В европейскую, белорасовую дипломатию вливается японская желто-расовая волна, и мне кажется, что это довольно сложное знамение времени.

Что следует из того, что Япония победила или побеждает Китай? По-моему, следствие большое: явилась новая страна, новый народ и притом новой для европейского человека расы, желтой. Победитель заявляет себя, кричит о себе, и его слышат. По-видимому, в Европе ничего не изменилось оттого, что среди желтой расы оказался победитель. На самом деле Европа чувствует, что что-то изменилось или что-то готово измениться в ней самой. Чем дальше идет победитель, тем больше Европа это чувствует. Как будто Европы прибавляется, как будто кто-то протискивается в ее среду и не то грозит изменениям отношений европейских народов друг к другу, не то отнимает у Европы часть ее будущего. Желтая раса впервые является в истории в роли европейского человека, снабженного усовершенствованным европейским оружием и европейскими формами правительства. Желтый человек как бы говорит, что он такой же человек, как ариец, европеец и что он намерен вступить в деятельную борьбу на поприще европейской культуры, в том числе и дипломатии. Мы его не знали прежде, мы его почти презирали или, по крайней мере, наделяли тем чувством, которое выражается иностранным словом «игнорировать». И вдруг он явился победителем такой махины, как Китай.

В начале XVIII века Россия явилась для Европы *новой* страной. Это было такое же открытие для Европы, как в конце XIX открытие Японии. Теперешнее открытие даже больше, ибо русские — белая, арийская раса, японцы — желтая, чуждая Европе раса. Россия стала сокрушать и разлагать Турцию, утвердившись у моря, в этом Петербурге, который некоторые московские публицисты называют

«шишкой». Если это шишка, то это — шишка, в которой было достаточно мозгу, чтоб образовать такую огромную империю. Япония, объевропеившись немного, стала разрушать и разлагать Китай, бросившись с островов на этот древнейший материк, у которого Европа в сущности играет роль только полуострова и с которого когда-то японцы перешли на острова. Сравнение Японии с Россией невольно напрашивается, но Япония идет, быть может, быстрее, ибо ей помогает своя старая культура.

Еще одна и важная особенность Японии. Это страна — не крестьянская и с недавнего времени страна полной свободы вероисповедания. Среди сорока одного миллиона жителей христиан — только сотня тысяч, остальные буддисты, поклонники душ предков, конфуциане и проч. Конечно, Япония может принять христианство, но может и не принять его. Она явилась сильною, будучи нехристианскою, и притом явилась в такое время, когда христианство испытывает жестокие нападки, когда «антихрист» является среди образованных людей и философов, когда церковь переживает в Европе трудную борьбу и когда вероисповеданию не придают в культурных слоях особого значения. Имея у себя элементы христианской, буддийской и конфуцианской нравственности, Япония является новой страной с загадочным будущим и в религиозном и нравственном отношении.

Судьбы Японии нас не могут не интересовать. Она — наша соседка и может сделаться нашим врагом. Растянувшись от Немана до берегов Великого океана, мы думали, что на крайнем Востоке нам нет препятствий, кроме этого океана. Герцен когда-то восклицал, что наш Босфор — у берегов Великого океана. Оказывается, восстает препятствие в лице японцев, этих малорослых, желтолицых, почти безбородых людей, с маленькими ногами и руками, может быть, с большим умом, прилежанием и расчетливостью. Появлению этой новой силы Европа как будто радуется, и, если радуется, то потому лишь, что Япония может создать затруднения для России. Сама сибирская железная дорога получает несколько иной смысл и значение и должна бы направиться на крайнем Востоке совсем в другом направлении. Во всяком случае, мы с нею несколько опоздали.

Мне думается, что дипломатии нашей предстоит большое дело. Необходимо внимательное изучение вопроса и твердая программа действий. Европейски образованные дипломаты могут оказаться недостаточно приготовленными для борьбы с этой новой и несомненной силой. Кто хорошо поймет ее, кто сумеет влиять на нее и направлять с выгодою для своей страны, тот и будет мастером.

4 (16) марта, № 6829

CCXXV

В маленьком французском ежемесячнике «Revue des Revues» помещена статья о Толстом под заглавием «La Maladie mystique et la Litterature» («Мистическая болезнь и литература»). Статья подписана Гильомом Ферреро. Писатель мне доселе неизвестный, о чем я нимало не жалею. Он говорит, что Толстой напоминает собою св. Франциска Ассизского, и в такой степени, что «история едва ли представляет такое поразительное сходство между двумя лицами. Оба родились в богатой семье. Оба получили полное (?) образование, пользовались жизнью и

наслаждались удовольствиями до известного времени; потом, вдруг, глазам их явилась бездна печали и ничтожество (l'abime de douleur et la misere), на котором основано общественное здание, и этого было довольно, чтоб произвести в их уме огромный переворот. С этого времени они желают только одного: спуститься в эту бездну, внести туда свет; и вот они сделались общественными и нравственными преобразователями».

«Несмотря на различие времени и места, теории их представляют необыкновенные сходства. Как для св. Франциска, так и для Толстого, точка отправления одна и та же; это — идея веры простой и ясной, вера в Бога, любовь к Богу; что касается конечной цели — это жизнь, полная самоотречения и любви, прощения и взаимной помощи, где счастие ищется только в альтруизме», в возвращении к началам христианства, к Евангелию, к отречению от богатств. Правда, Толстой написал превосходные страницы («pages les plus merveilleuses qu'on ait ecrites dans ce siecle»), с которыми невозможно сравнивать «Гимн Солнцу» св. Франциска, но, если перенестись в то грубое время, его стихи могут показаться превосходным творением, «как несовершенное выражение восторга, который в эпоху более образованную мог бы породить какой-нибудь шедевр поэзии».

Но между ними есть и разница. Разница эта в том, что влияние св. Франциска было огромное, хотя и скоропреходящее, на всю Европу, а влияние Толстого остается чисто литературным. Проповедь св. Франциска и францисканцев заставляла врагов мириться, богатых — раздавать свои имущества, воров, убийц, проституток, ростовщиков — оставлять свое ремесло и т. д. Между тем, как «Толстой читается, оспаривается, приводит в восхищение, критикуется миллионами людей, но никто ему не следует. Это — одна из блистательных личностей целого литературного европейского мира, но влияние его как реформатора почти равно нулю... В самом деле, где Толстой находит себе последователей? В России, в его именинах, среди мужиков (??), которые находятся постоянно в сношениях с ним и которые видят перед глазами живой пример его жизни».

Такова сущность первой части статьи. Во второй автор разбирает, почему св. Франциск имел такое огромное влияние, а Толстой — никакого? Учение св. Франциска осуществлялось его апостолами, т. е. его учениками, самыми горячими и самыми восторженными, которые шли в разные земли и проповедовали. Это была форма прямой устной проповеди, где апостол и народ сообщались между собою и где проповедники подкрепляли учение примером своей жизни. Они увлекали за собой. А теперь дело ограничивается книгою. Ее прочтут, потолкуют, похвалят, но никто и не думает приводить к исполнению ее учение. Удивительно, как это Толстой, обладающий такою логикой, отрицающий науку, новые изобретения и т. д., уважает книгу. Он должен бы осудить и книгу, как развращающий плод развращающей цивилизации.

Все это не я говорю, а г. Ферреро, который вообще считает учение Толстого «химерическим и потому самому бесполезным... Предполагать, что можно, пропагандою нравственности, разрушить зло и горе жизни, значит верить, что можно отвратить бурю, звоня в церковные колокола». В конце концов, все это учение — вырождение, болезнь, вздор. Г. Ферреро заключает свою статью так: «Пишите, господа, больные литераторы, символисты, прерафаэлиты, парнасцы, толстовцы, «мистики всякого рода и всякой школы! Пиша больные книги, вы работаете для поддержки новейшего общества в относительном здоровьи».

Г. Ферреро не сказал ничего ни талантливого, ни оригинального... вероятно потому, что это — человек вполне здоровый, подобно Максу Нордау, на которого он ссылается...

По-моему, параллель между св. Франциском Ассизским и Толстым — чистейший вздор, доказывающий только, что г. Ферреро не знает ни св. Франциска, ни Толстого. Начать с того, что раздумье посетило графа Толстого, когда ему было пятьдесят лет или около того, а св. Франциск сорока четырех лет был уже в могиле, совершив все земное. Образование Толстого было гораздо сложнее того, которое получил св. Франциск. Оно и немудрено: их отделяет друг от друга пространство в семь веков. Св. Франциск — сын купца, Толстой — графа. И все остальное ничуть не напоминает в Толстом св. Франциска, который стал еще в юности слышать таинственный голос, призывающий его «перестроить дом Божий». Любовь к ближним была в нем необыкновенно сильна еще в юные годы. Отец св. Франциска сек и запирал своего сына в комнате за то, что он презирал деньги, давал милостыню и молился. Видя, что сын совсем от рук отбился, он оставил его на свободе, но лишил наследства и повел его к епископу, чтобы засвидетельствовать этот акт. Когда епископ сделал это, Франциск разделся совсем и сказал своему отцу:

— До сих пор я считал вас своим земным отцом, но отныне я могу смело сказать: мой отец на небесах, и в нем все мои сокровища и все мои надежды.

Тронутый до слез, епископ покрыл его своей мантией и велел ему надеть одежду крестьянина, который случайно был тут. Св. Франциск надел ее и, распевая псалмы, удалился в лес, где разбойники его избили до полусмерти. Это случилось на двадцать четвертом году жизни; в эти годы жизни Толстой сражался, а в промежутках играл в карты и ухаживал за женщинами.

С этих двадцати четырех лет жизнь св. Франциска напоминала жизнь аскета, верного служителя церкви, преданного слуги папы, искреннего проповедника, восторженного верующего, видевшего видения и даже самого распятого Христа, слышавшего голос Бога; монаха, едва дававшего своему телу пищу, основателя монашеского ордена францисканцев, отрицавших всякую собственность, святого, действовавшего не только на людей, но и на животных. К животным он относился с такою же любовью, как к людям. Птицы замолкали, когда он подходил к ним и, начиная им говорить о Создателе, называл их «братьями» своими. Птицы вытягивали свои шейки и слушали его. Барашек, которого ему пожертвовали, ходил в церковь и преклонял колена перед изображением Богородицы и в то время, когда выносили св. дары. Мало того, он обратил на путь истинный настоящего волка, грозу деревенских стад, и убедил его не употреблять мясной пищи. Легенды эти трогательны и говорят о необыкновенной доброте святого и о той вере, которая горами качает. И опять все это Толстого не напоминает, ибо птичек он безжалостно стрелял, даже в пожилые годы, барашка любил в баранине и волков травил. Да, в жизни Толстого нет ничего похожего на все это и жалеть об этом никто не станет, ибо всякому овощу свое время. Он служил в военной службе, писал рассказы, женился, устраивал имение, рожал детей и только после шестидесяти лет начал задумываться, потом... ну, и все прочее нам более известное, чем то, что сказал я о св. Франциске. Между мужиками Толстого совсем нет последователей его учения, но есть последователи среди интеллигенции у нас и в Америке.

Объяснение причины успехов учения св. Франциска и неуспехов учения Толстого также несостоятельно у г. Ферреро. Сегодня на этом я останавливаться не стану. Замечу лишь, что влияние Толстого остается только литературным потому, что он неизмеримо выше, как художник, чем как мыслитель. Религия шла двумя путями — церковным и философским. Главная разница, потому, между св. Франциском и Толстым заключается в том, что св. Франциск и теперь мог бы прослыть святым, как и в XIII веке проповедуя то же учение и находя сердечный отклик в огромной массе верующих; а если б Толстого с его учением перенести из XIX в XIII век, то его сожгли бы на костре даже без Констанцского собора. Никакой параллели невозможно проводить между учением ассизского святого и яснополянского мудреца, да для меня и для массы русских людей он мил и любезен не как религиозный проповедник, а как великий художник. Все его религиозные и философские книги я бы отдал за один такой его рассказ, как «Хозяин и работник», где столько правды и столько любви и где любовь объединяет и хозяина, и работника, и то милое животное, которое замерзло вместе с хозяином...

8 (20) марта, № 6833

CCXXVI

Что такое наша молодежь, мы почти совсем не знаем. У нас говорят о школе, о системах преподавания, спорят еще доселе о классицизме и реализме, но о том, какие превращения, нравственные и умственные, совершаются в молодежи из поколения в поколение, мы совсем не знаем. Со времени «Отцов и детей» и, пожалуй, «Бесов», наша художественная литература почти не касалась молодежи, а если касалась, то поверхностно. Мы знаем молодежь революционную, нигилистическую, молодежь, стремившуюся «опроститься» и «идти в народ», но с тех пор много воды утекло и, вероятно, много изменилось. В литературе иногда слышатся обвинения молодежи в практичности, в пошлости, в отсутствии идеалов; находятся охотники винить ее даже в франтовстве и видеть в «белой подкладке» что-то если не позорное, то не хорошее и не соответственное. Такие суждения очень узки, по моему мнению. Одно поколение не походит и не может походить на другое, даже по внешним признакам, которые во всяком случае играют некоторую роль. Внутренние отличия между поколениями распознать гораздо труднее, ибо тут надо определить умственные и нравственные интересы ее. А кто их исследовал? Мы не знаем даже, что читает молодежь, какие европейские писатели любы ей, какие науки ее наиболее интересуют. Неужели наша молодежь стоит еще на Писареве? Неужели не коснулось ее национальное русское движение? Неужели она эволюционировала в смысле усиления пьянства и грубости? Повторяю, беллетристика наша дает нам на этот счет чрезвычайно мало, публицистика также. Между тем один такой факт, — что среди молодежи с каждым годом является более и более людей т. н. «низших сословий» имеет свое значение. Я очень далек от мысли видеть в этом элементе что-нибудь дурное. Напротив, я скорее готов видеть в этом элементе новую и надежную струю, которая смотрит на науку преимущественно с утилитарной стороны и видит будущее в труде, в достатке, в помощи своей семье, своему сословию и состоянию, своей родине в ее непосредственных, практических нуждах. Т. н. «политиче-

ское» значение молодежи, раздутое в прежние года, когда взрослые готовы были ложиться на живот и прятаться за спинами молодых выводков, которые стояли прямо, значительно умалилось, слава Богу. Но могли возрасти другие стороны, другие нужды. Молодой человек не может быть стариком, не может остановить свое сердце, не может, говоря современным языком, справиться с молодыми своими нервами, этими аристократами организма, которым подчиняются демократы его, клетчатка, мускулы и проч. Конечно, необходимо, чтоб молодежь подчинялась известному режиму, чтоб она помнила, что она не только учится, но и воспитывается для жизни, где ей предстоит трудная работа. Рядом с этим, однако, невозможно требовать, чтобы молодежь только училась, слушала лекции, сидела за книгой и непременно отличалась невозмутимым благоразумием. Надо, вместе с порядком и дисциплиной, занять молодежь, наполнить ее досуги, возбудить в ней и направить самодеятельность; необходимо, чтоб ее интересы казались ей настолько важными и всепоглощающими, чтоб она не думала о своей «политической» роли и не вмешивалась не в свое дело. Нигде не дают этого права, нигде не считают бунтов ее обязанностями, и везде она за них горько расплачивается...

У нас английское культурное влияние, английский язык не со вчерашнего дня. Отчего бы не занять нам у англичан воспитание молодежи, отчего бы не присмотреться к английским университетам и не дать молодежи тех здоровых развлечений, которых у нас она почти лишена совершенно. Если учащаяся молодежь не должна выходить из своей роли, то эта роль должна быть наполнена на все четыре года университетского курса. Как и чем? Об этом стоит подумать серьезно. Я скажу только о физическом воспитании.

Французы долгое время пренебрегали физическим воспитанием молодежи. Со времен военного разгрома на это воспитание обращено серьезное внимание, причем французы прямо стали подражать англичанам, развивая разный спорт среди молодежи. Этот спорт развился и вместе с тем послышались жалобы, что молодежь стала хуже учиться, что физические игры и спорт отнимают у нее драгоценное время. Как бы в ответ на эти обвинения на этих днях опубликован в Париже отчет о влиянии спорта и игр на молодежь за несколько лет, отчет, состоящий из свидетельств педагогов, советов лицеев, университетов и директоров. Из этого отчета следует, что хорошие ученики остаются хорошими, а физические упражнения спасают их от умственного истощения; ученики средние выдерживают или не выдерживают свои выпускные экзамены, смотря по способностям, как прежде, но спорт является для них спасительным нравственным развлечением. Что касается плохих учеников, то именно усиливаются качества любезности, искренности, здравого смысла, вообще пробуждается двух твердости и самообладания (une sorte d'esprit de direction). Дух дисциплины, дух общительности — такова польза, сделанная играми. Характер бретонцев, например, склонен к уединению в тесном кружке, и этим бретонцы отличаются и в лицеях: игра в мяч (foot-ball) глубоко изменила этот характер, сделав его общительнее.

Этому нельзя не верить. Физические упражнения можно признать искусством таким же, например, как танцы, мимика, и недаром же такой эстетический народ, как греки, награждали лавровыми венками и воспевали победителей на олимпийских играх. И теперь самые развитые нации, как англичане, французы, немцы, начинают обращать такое внимание на физические упражнения. Я сегодня просматривал сочинение итальянца доктора Моссо, переведенное на французский язык под заглавием «L'Education physique de jeunesse». В Италии то же,

что и у нас, на физическое воспитание совсем почти не обращается внимания, и Моссо рекомендует для примера Англию. Германия со своей гимнастикой не годится: эту гимнастику начинают считать вредной. В Англии меньше учатся, но там больше воспитываются, и потому больше способных к делу людей. Пусть бы и у нас меньше учились, но готовилось бы крепкое, сильное, мужественное поколение, способное к прямому практическому делу, которого у нас непочатый угол. Но физическое воспитание, как справедливо замечает Моссо, может привиться только тогда, когда взрослые подадут пример, т. е. в данном случае университеты.

Вы улыбаетесь, молодой человек? Вы говорите: «он ничего не понимает. Помилуйте, неужели студентам заниматься игрою в мяч, в лаун-теннис, устроить, пожалуй, перед университетом, на Неве, свой собственный каток, и т. д., когда мы предназначены для того, чтобы спасать Россию от невежества?» Вот поэтому-то и надо все то, о чем я говорю. Я убежден, что то, о чем я говорю, когда-нибудь непременно будет, и наши потомки будут пожимать плечами, читая о теперешней однообразной университетской жизни. Мяч, лаун-теннис, крокет, крикет, лодочная гонка, катанье на коньках по льду, велосипеды, хоровое пение, концерты, чтения — все это будет непременно. Теперь ни в наших гимназиях, ни в наших университетах ни дворов, ни лута, ни хороших зал, ничего нет. И в английских средних и высших этого не было еще не так давно, а теперь есть, и о развитии всех материальных способов и удобств для физического воспитания заботятся постоянно. Пора и у нас начать. Это — благородно, эстетично и здорово.

10 (22) марта, № 6835

CCXXVII

Государю императору угодно было обратить особенное внимание в докладе московского губернатора о земских начальниках на слова, которые выражают требование от этих чиновников «не одного только формального, но *сердечного отношения к службе*». Мы посвятили вчера этому особую статью, которую читатели знают[1].

Сегодня князь Мещерский назвал эту статью «преисполненною лицемерной лести», Наше дело было сказать то, что подсказывало наше сердце. Его дело называть это «лицемерной лестью». Но я напомнил бы ему известные стихи Пушкина «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...

Но ведь то Пушкин, а где же из нас, журналистов, хотя несколько подходящий к Пушкину? Однако это наш учитель, и я ему вправе верить, когда он говорит:

Льстец лукав:
Он горе на царя накличет,

[1] НВ 10 (22) III, 6835, с. 2. «Какая служба требуется от земского начальника?»

Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный!
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный.

А мы говорили о том, что доброе слово государя должно лечь в основу доброй деятельности тех, которые поставлены так близко к народу и которым почтенный князь так часто рекомендовал в руководство произвол и всяческие меры «обуздания».

И сегодня почтенный князь говорит то же, но облекает свои слова якобы в мягкие отеческие формы, воспользовавшись словами «сердечное отношение к службе». Именно он говорит: «призвание земского начальника в силу его сердечных отношений к службе — быть для крестьян не только начальником, но и *отцом* (курс. в подл. — *А. С.*) В этом вся суть его должности».

И неправда. Разве «сердечное отношение к службе» значит быть отцом? Зачем же московский губернатор говорит, что обязанности земского начальника требуют «знания закона, еще более знания жизни, знакомства с местною средою, усиленной деятельности, безусловного такта в разнообразных сношениях по службе и, что едва ли не всего важнее, не одного только формального, но сердечного отношения к службе»? Зачем это знание закона отцу, когда отец не отвечает перед законом за свои действия, если они не переходят в преступления? Вообще, совсем не отеческие обязанности заключаются в этих словах, а обязанность земского начальника, начальника, а не отца, совсем не отца. Но почтенному князю нужен именно отец, а не начальник. Почему же это так?

Когда о помещиках крестьяне говорили: «вы — наши отцы, а мы — ваши дети», то тут еще можно было подыскать нечто подобное отеческим отношениям и взаимный интерес. Хороший помещик понимал, что чем лучше крестьянам, тем лучше помещику, чем лучше положение его собственности, тем лучше обладателю собственности. Земский начальник отнюдь не может быть тем же, чем прежде был помещик, уже потому, что он — гость на своей должности: у помещиков было нечто ограниченное и определенное, столько-то душ, в таком-то месте, и это должно было перейти к его детям, и т. д. Помещик имел над своими крепостными права такие же, если еще не большие (конечно, даже большие), как и отец над своими малолетними детьми; помещик-отец был, так сказать, «несменяем» до тех пор, пока он не продавал крепостных и поступал не столько по закону, сколько по своей доброй или недоброй воле. Такие же отношения между земским начальником и крестьянином совершенно невозможны и совершенно нежелательны...

Не думаю, что надо доказывать, что земский начальник не может быть отцом по отношению к крестьянам. По-моему, он даже не должен быть отцом. Это будет вредно для той цели, которой он служит, ибо понятия об отце у всякого начальника могут быть свои, сообразно воспитанию, характеру, убеждению, годам, темпераменту и т. д. Земский начальник может вообразить, что он действительно альфа и омега, начало и конец в деревенской жизни и что он может поступать как ему угодно, сообразно его понятиям об «отеческой власти» и о мерах

исправления детей. «Гражданин» прекрасно это понимает и потому рекомендует ему быть *«отцом»*...

Совершенно вопреки почтенному князю, мне хочется сказать:

будьте, ради Бога, начальником, а не отцом, будьте добрым, внимательным и справедливым начальником, не заушайте, не секите, не советуйте там, где вы ничего не смыслите, прислушивайтесь и приглядывайтесь к народной жизни, к народному голосу в его лучших представителях, исполняйте добросовестно и справедливо то, что требует от вас верховная власть, по самому существу своему доброжелательная, что требует закон, утвержденный этою властью, будьте строги, но справедливы, и не рядитесь в отца, пожалуйста, не рядитесь! Будьте хорошим начальником, и благо вам будет, и благо будет вашим подчиненным. Власть необходима, но не отеческая, а законная и просвещенная, вся проникнутая преданностью своему долгу и сознанием своей ответственности. Да, именно сознанием своей ответственности перед Богом, перед царем и перед отечеством. А то, куда ни взгляни — все отцы, отцы и отцы. Министр — отец, командир — отец, градоначальник — отец, губернатор — отец, директор гимназии — отец, земский начальник — отец. Да это просто, наконец, подрыв власти родного отца, подрыв прирожденного семейного начала. Что за конкуренция такая, господи Боже мой! Лезут в отцы, а толку мало. Не потому ли и толку мало, что лезут все в отцы, а не в начальники, и лезут в отцы потому, что власть отца представляется заманчивой по своей неопределенности, по преобладанию в ней чувства, собственных соображений и безответственности. Подобно тому, как родной отец иногда бестолку прибьет, выбранит, накричит, высечет, наделает вздору, так и они хотят. Но родной отец все это объяснит, по крайней мере себе, тем, что он — отец, он родил, он воспитал, он отказывал себе в лишнем куске хлеба, в лишнем развлечении, чтоб отложить детям, чтоб путем собственных лишений и иногда самоотверженных, великих забот сделать их жизнь лучше и независимее. Да и сердце отцовское отходчиво, и перед ним постоянно эти дети, и он имеет возможность и наказать их, и приласкать, и приголубить, и даже погоревать и поплакать вместе. А тут вдруг, вместо родного отца, множество всяких других отцов! Что за чудеса такие!

Обошел закон и кричит, что отец! Нет, извините: вы не отец, а начальник, и ваши права и обязанности подробно объяснены в законе. Если вам говорят, что вы обязаны относиться к «своей службе сердечно», то это не значит, что желают облечь вас и в сан отца, а значит только, что вы обязаны быть добрым, обязаны вникать в положение населения, обязаны прилагать закон не формально, а проверив его всем существом своим и всем разумением народной жизни, очень сложной и требующей к себе действительно сердечного отношения. Я понимаю, что всякий человек есть человек, и невозможно требовать от всякого ангельских добродетелей. Но идеал должен быть, и он хорошо намечен московским губернатором. Если б закон хотел вас облечь в звание отца, то он так бы и говорил, что вы должны быть отцом.

Будьте же добрым и хорошим начальником, верным слугой своего царя и своей родины, земский ли вы начальник или градоначальник, министр ли вы или губернатор, а отеческие претензии, пожалуйста, оставьте в покое...

12 (24) марта, № 6837

CCXXVIII

В самом деле, господа, что, если нас ждет девальвация, т. е. размен на золото и обращение кредитного рубля в 67 копеек? После конверсии, т. е. превращений процентных бумаг в менее процентные, девальвация, т. е. превращение рубля в копейки. Я не поклонник ни скороспелых конверсий, ни девальваций, ни вообще превращений и переодеваний. Все это как будто неестественно. К тому же Овидии из финансов далеко не так искусны, как римский Овидий с его «превращениями». Финансовые Овидии вечно находятся в зависимости от людей самых грубых и прозаических, т. е. людей денежных, проросших насквозь еврейскими традициями и потому совсем лишенных идеи независимого творчества; находясь в этой зависимости, финансовые Овидии едва ли создавали что-нибудь прочное. Тут все шаблонно, давно известно и давно испытано. Тут не соображаются с оригинальными, самобытными условиями жизни, а применяют способы, испытанные в других странах. Деньги давят на фантазию и стесняют творчество даже действительно даровитых и даровито мыслящих людей. А в конце концов, не конверсии и т. д. создают цветущие финансы, а богатство страны.

Впрочем, я не верю, что девальвация у нас приготовляется. Правда, у нас финансовые реформы подготовлялись в такой тайне, что иногда раздавались как выстрел из пушки, насчет которой все были убеждены, что она не заряжена. Но я думаю, во-первых, что новое царствование внесет непременно новые элементы, во-вторых, потому, что министр финансов показал нам прекрасный пример на книге г. Циона, как он относится к критике самой резкой, не только старающейся уронить русские финансы, но и значение самого г. министра финансов. Делаю эту оговорку потому, что человек — всегда человек и там, где затрагивают его личность, он всегда чувствительнее, чем там, где затрагивается только вопрос. Так это — в полемике литературной, так это — в полемике по вопросам государственным и административным, так это — даже в парламентах. Пока обсуждаются «вопросы», дело идет мягко, как только начинают вместе с вопросами задевать личности, сейчас же являются обидчивость, стычки, скандалы и т. д. Наш министр финансов презрел личные нападки во имя дела, несравненно более важного, чем его почтенная личность. Но такая финансовая реформа, как девальвация, неизмеримо важнее не только книжки г. Циона или, как он подписывается по-французски, г. де Сиона, т. е. по-русски г. Сионского, но и всех тех господ финансистов, которые заседают на всех финансовых Сионах в Европе, не исключая парижского Сиона с господами Ротшильдами. Дело идет о благополучии русского государства, дело идет о риске чрезвычайной важности, всю величину которого нельзя и предвидеть. Поэтому, невозможно себе представить, чтоб это дело могло идти тем же путем, каким шли конверсии и займы. Конверсии и займы, в известной степени, оправдывают необходимость тайны, ибо конверсии и займы совершаются государствами с банкирами, с их уполномоченными, у которых свои тайны, свои приемы, своя тактика, и со всем этим злом приходится считаться, Но девальвация — дело чисто государственное, от банкиров нимало не зависимое; оно должно вестись не с банкирами, не с Ротшильдами, не с обитателями финансовых Сионов, а с целой страной, с массой всевозможных крупных и малых интересов. Поэтому есть полное основание думать, что проект такой де-

вальвации будет напечатан, обнародован и подвергнут тщательному обсуждению и в печати, и в особых комиссиях. Может быть, это — прекрасное дело. Может быть, наши финансы нуждаются в такой важной реформе. Но может быть — не значит еще наверно дважды два = четыре. «Может быть» иногда переводится фразою «дважды два — стеариновая свечка». Конечно, смелость города берет. Но ведь дело еще не в том, чтоб город взять, а в том, чтоб взяв, удержать его за собой и дать ему хорошую, правильную и плодотворную жизнь.

Да и мало ли дела у министерства финансов? Надо способствовать развитию культуры в стране, развитию ее богатства, ее просвещения, ее путевых сношений. На очереди вопрос о казенной монополии продажи вина. Устранить «злодейство» кабака — значит оказать огромную услугу стране. Сколько известно, и почивший государь принимал близко к сердцу этот вопрос, и ныне царствующий государь принял его, как дорогое наследство, как идею очень плодотворную, если она будет осуществлена со всем необходимым искусством и энергией. «Злодейство» кабака — разврат физический и нравственный, обеднение народа и вырождение его. Кабак — это тьма мошеннических преданий, злодейских уловок, преступных соблазнов и вымогательств. Кабак — это открыто существующий грабеж не только последней одежонки мужика, последней его рубахи, но и грабеж его тела и души. Кабак — это вертеп, где приготовляются снадобья для возбуждения неестественной жажды и неестественного ее удовлетворения. Регулировать торговлю вином, сделать ее честной и рядом с этим дать народу образование, хорошие школы, на которые не жалеть никаких денег — вот будет удивительная девальвация, вот путь к тем превращениям, которые желательны и за которые будут благодарны, грядущие поколения и история. Нам нужно теперь не финансового оживления, которое возбудили все эти конверсии и займы. Нам нужно оживления более глубоко которое захватило бы все слои населения.

Мы читаем чаще и чаще отметки нашего государя на губернаторских отчетах. Это — голос государя, который все мы слышим. Все его замечания говорят об искреннем желании видеть в стране как можно более школ, все они побуждают к деятельности в этом направлении, все они обращают на это дело внимание министерства народного просвещения. А желания государя имеют ту прекрасную и дорогую особенность, что они переходят в дело. Вот этого просветительного оживления нам необходимо.

20 марта (1 апреля), № 6845

CCXXIX

Еще о девальвации.

Редактор «Торгово-Промышленной Газеты», г. Федоров, напечатал в «Новостях» ответ на нашу статью «Что такое девальвация?». Не стану догадываться, почему он не напечатал ее в своей газете, и не стану разбирать ее по существу. Я — не финансист, но я — один из публики и мне дороги интересы того большинства, которое, может быть, слишком консервативно в денежных вопросах, но которое обвинять за это мудрено уж потому, что в маленьком хозяйстве все финансовые мероприятия отражаются тотчас же так или иначе. Мне известно, что этим громадным большинством живет государство, а потому к нему, этому

большинству, необходимо относиться с большою осторожностью и большим вниманием. В ответе г. Федорова, поэтому, я остановлюсь только на следующей фразе:

«Не стоило бы на этой статье («Что такое девальвация?») и останавливаться так долго, но я делаю это для тех многих, кого в подобном сложном вопросе могут смутить такие статьи и смущать которых грех».

Вот диковина! Статья смущает многих, смущает тех, которых «смущать грех», но финансовые мероприятия никого не смущают, если даже они появляются как deus ex machina, как неожиданный выстрел из пушки. Я давно, несколько лет, говорю на этих страницах против тайны в финансовых вопросах, и говорю исключительно потому, что финансовые «вопросы», будучи «сложными», несомненно затрагивают интересы решительно всех и в особенности тех, которые живут трудом и считают каждую копейку. Я совсем не поклонник парламентаризма, но я думаю, что те формы обсуждения вопросов, которые вошли у нас в употребление со времен освобождения крестьян, заключают в себе много достоинств. Я даже допускаю справедливость мнения тех, которые говорят, что если б было больше гласности во время подготовительных работ, приведших к славному вечно 19 февраля, то, может быть, дворянство не очутилось бы так скоро в печальном положении. Знай оно в точности, что именно имеется в виду, оно могло бы подготовиться, могло бы сжаться в своем экономическом обиходе и сто раз подумать, прежде чем легкомысленно проесть выкупные суммы, как оно привыкло проедать доходы.

Я знаю, что нет средства более превосходного, чтобы остановить обсуждение какого-нибудь важного вопроса, как сказать, что это обсуждение «смущает многих, которых смущать грех». Это — перифраза известных слов Христа Спасителя. Но когда Христос говорил о смущении «малых сил», он не разумел финансовых вопросов. Он поставил перед собой дитя и сказал: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царствие небесное и тот, кто умалится, как это дитя, тот и больше в царстве небесном». И затем прибавил: «не презирайте ни одного из малых сил». Если божественные слова можно применить к текущей финансовой злобе дня, то эти «малые» — все мы и не только для нас, не только для чиновника министерства финансов, г. Федорова, но и для тех, от которых он зависит, было бы важно, если б вопрос о девальвации или золотом обращении был выяснен с возможною полнотою, чтоб о нем подали свой вполне независимый голос люди практические. «Новое Время» к этому и стремится. Оно помещает статьи за и против. Оно поместило *целиком* и статью «Торгово-промышленной Газеты» в том же самом нумере, в котором на нее отвечало. Но редактор этой газеты, говорящий нам сегодня о том, что «грешно смущать малых», очевидно, думает, что его статьи только тогда действительны, когда они принимаются вполне, как бесспорная истина, как математическая аксиома, как «глагол времен». Как скоро на них отвечают, как скоро их критикуют, он провозглашает, что это «грешно». Кроме греха против Св. Духа, есть, как оказывается теперь, еще грех против «Торгово-Промышленной Газеты»...

Это было бы смешно, если б не указывало даже в этом маленьком чиновнике стремления быть непогрешимым и упрекать в неблагонадежности тех, которые говорят вопреки его газете. Еще будучи молодым чиновником, ничего не написавшим заметного, он уже предпочитает морализировать и читать наставления; он уже превосходно понял, что это гораздо легче, чем обсуждать, спокойно

выслушивать чужие мнения и опровергать их доводами рассудка и практики. Вот что замечательно в этом ответе. Молодой этот чиновник, очевидно, очень далек от того мнения, что печать только тогда и имеет смысл, когда она говорит с известной долей искренности. Она может ошибаться, потому что не ошибается только Бог. Но и ошибаясь, я стал бы отстаивать свое побуждение. Я желаю, чтоб наше финансовое хозяйство шло превосходно и я радовался его успехам. Если я даже ошибаюсь, восставая против новой финансовой меры, то что значит моя ошибка, заключающаяся в слове, а не в деле? Ровно ничего в сравнении с ошибкой на деле, близко захватывающей интересы стомиллионного народа. А такой ошибки всегда можно избежать, Стоит только не полагаться на свою непогрешимость, стоит только внимательно прислушиваться к мнениям, из столкновения которых рождается истина, стоит только исследовать вопрос со всех сторон и отложить в сторону всякую торопливость. Я остаюсь при убеждении, что лучше десять раз отмерить, чем раз отрезать, что торопливость в данном случае ничем не оправдывается и что не боги финансовые горшки обжигают.

Всем сердцем и всем помышлениям моим я желаю, чтоб с новым царствованием настал у нас «золотой век» по своему внутреннему значению в русской истории, но золотой век имеет мало общего с золотым обращением, которое во всяком случае требует тщательной подготовки. Освобождение крестьян *непосредственно* задевало только часть крестьянства и помещиков. Золотое обращение и девальвация, которая за ним непременно последует, непосредственно задевает решительно всех русских подданных, без всякого исключения. Этого забывать не следует.

31 марта (12 апреля), № 6856

CCXXX

С величайшим сочувствием встречают обращение к русским гражданам г. министра юстиции, как председателя высочайше учрежденной комиссии для пересмотра судебной части. Этому посвящено сегодня у нас передовая статья.

Я прошу позволения сделать только одно замечание. Г. министр просит *«беспристрастных*, в особенности на опыте основанных мнений». Разумеется, мнения, основанные на опыте, особенно ценны, но слова «беспристрастные мнения» тут не на своем месте.

Всякие человеческие мнения — не беспристрастны, ибо они непременно окрашены характером личности человека, воспитания его, его среды и т. д. Лучшие мнения — не те, которые называются «беспристрастными», а те, которые называются «искренними». Если мне говорят, чтобы я высказался искренне, я могу сказать все, что я знаю и как понимаю, высказать по совести. Если от меня просят мнения «беспристрастного», я лучше буду молчать. Во-первых, это как бы ограничение меня, у которого просят только таких мнений, которые беспристрастны; во-вторых, надо иметь огромную самоуверенность, не говоря об опыте, знаниях и проч., чтоб счесть свое мнение беспристрастным. Я буду стараться говорить беспристрастно, а мое мнение могут счесть пристрастным, и мне это будет обидно. Но когда я искренно скажу мое мнение, мне все равно, найдут ли его пристрастным или беспристрастным. Я сделал свое дело, сказав все то, что я

думаю по совести; правильно ли оно или неправильно в глазах других — это дело тех, которые будут разбирать эти мнения и судить их, какими они их находят, важными или неважными, пристрастными или беспристрастными.

Искренность — вот все, что можно требовать, и если б комиссия получила искренние мнения, она имела бы у себя хороший материал и для работ своих, и превосходный вообще для определения уровня мнений русского общества по одному из самых существенных вопросов, именно по вопросу о правосудии. И нельзя не пожелать, чтоб призыв г. министра юстиции нашел себе как можно более искренних ответов, без всякой утайки, без всяких посторонних соображений, даже соображений о беспристрастии. На очереди вопрос о золотом обращении, как о «предтече девальвации». И по этому вопросу, столь же важному, ибо он касается собственности всех граждан, искренние мнения были бы чрезвычайно важны...

5(17) апреля, № 6859

CCXXXI

Мы убедились на опыте, что никакой тайны не требуется, когда законодательный вопрос вполне сознан правительством и обществом и когда он является настоятельно необходимым. Так было с вопросами крестьянским, земским, судебным, учебным, когда такой министр, как граф Д. А. Толстой, сам полемизировал с журналами и газетами; так было с вопросом об административной реформе во время кахановской комиссии и с тарифным вопросом в прошлое царствование. Но тайна продолжает, как и во времена графа Канкрина, окружать некоторые в финансовые вопросы, и последний из них, о золотом обращении, этом «предтече девальвации», является вдруг перед обществом, без всяких предварительных работ, которые могли бы исподволь с ним познакомить публику.

Очень может быть, что эта мера «в высшей степени желательна», но желательно также и то, чтоб публика встретила эту меру спокойно, чтоб она была к ней приготовлена не после того, как мера эта сделается законом, а до того. Правда, вопрос этот поднимался уже три раза: Рейтерном в 1877 г., Бунге в 1882 г. и Вышнеградским в 1888 г. Одобряя меру в принципе, Государственный совет находит ее несвоевременной, но публика и тогда ничего не знала об этой мере, как не знает ничего и теперь. Представители биржевых комитетов, собранные Вышеградским в 1888 г., отнеслись к этой мере отрицательно, исключая покойного Зака и здравствующего Блиоха, который с того времени успел сделаться специалистом даже в военных вопросах, хотя и не приглашен в военный совет.

Вышнеградский обратился за советом к биржевым комитетам. С. Ю. Витте к ним не обратился, потому что семь лет тому <назад> они свое мнение выразили. Но семь лет — период времени, в который нечто могло измениться и нарасти. Сам г. министр финансов в 1888 г. был только чиновником юго-западных дорог, а с того времени он менял свои взгляды по некоторым вопросам и вырос до министра. Не так высоко, но все мы все-таки немного выросли в эти семь лет и кое-чему научились. Положим, однако, что все остается неподвижно, по крайней мере в биржевых комитетах, как неподвижно замогильное мнение г. Зака. Бир-

жевые комитеты я не защищаю, но мне хочется сказать о дворянстве. Почему его не спрашивают наравне с биржевыми комитетами? Неужели оно так-таки ровно ничего собой не изображает? Неужели у него ни опыта, ни знаний, ни мысли, ни наблюдений? Неужели оно только то и знает, только о том и думает, как бы заложить, перезаложить, получить льготы, отсрочки, получить местечко и т. д.? Неужели нельзя уж предположить в нем никакой самостоятельности и никакой возможности к серьезному отношению в вопросах государственных первой важности? Но ведь оно все-таки ближе всего к мужику, оно сидит на земле и знает, как живет народ, что он думает, что и как продает и покупает. Осмеливаюсь думать, что и за себя, и за мужика оно могло бы что-нибудь сказать. Оно могло бы сказать, что такое эта «бумажка» в народном обиходе, где сплошь и рядом говорится не «рубль», а именно так: «бумажка», «пять бумажек», «десять бумажек». Оно могло бы сказать, насколько разовьется игра в лаж при допущении золота и насколько она будет походить на биржевую игру, кому лаж будет выгоден и кто будет терпеть убытки? А главное, оно могло бы ответить на вопрос уже потому чрезвычайно важный, что он касается землевладельческого дворянства и потому еще, что этим вопросом объясняется *своевременность* финансовой меры при сравнительно *низком* курсе в 67 копеек. Этот вопрос о том, что наш курс будто поддерживается теперь искусственно на 67 копеек золотом исключительно для помещиков, иначе он был бы выше. Чем ниже курс, тем выгоднее для помещиков, и если б рубль обратился в четвертак, то это была бы благодать для помещиков, ибо тогда-то они за свой хлеб получили бы наибольшее количество бумажек. Так говорят о них, точно землевладельческое сословие это ждет не дождется, когда рубль станет четвертаком. Ведь ей, Богу же, это обидно, по крайней мере для тех из них, которые умеют ставить государственные интересы выше своих собственных, а таких много. Неужели предполагается, что представители биржевых комитетов во всех отношениях выше стоят, чем дворянство, что они благороднее, возвышеннее, беспристрастнее, объективнее смотрят на государственные интересы?

Весьма сомнительно. Если для дворянства нужен низкий курс рубля, то он нужен и для промышленников и фабрикантов; но сим последним кроме того нужно еще покровительство, высокий тариф, высокие пошлины, и всего этого они добились. Таким образом, дворянство и промышленность, по меньшей мере, равны между собою во всем том, чем они обязаны правительству. А если это так, то почему мнения г. Зака и г. Блиоха очень важны и почему совсем не важны мнения дворянства?

Спросите историю. Она вам скажет, что купечество едва ли жертвовало своими интересами, а просило и надоедало о льготах и привилегиях очень настойчиво. Дворянство же доказало, что оно умеет жертвовать своими интересами в пользу государства. Император Александр II, как самодержец, мог одною своею властью освободить крестьян, не взывая к содействию дворянства. Но он захотел бросить часть лучей своей славы в этом деле и на дворянство, и благо ему за это. И если дело освобождения было невыгодно для дворянства, оно было выгодно и необходимо для России и всякого истинно благородного дворянина возвысило в своих глазах. Раз дворянство доказало, что оно умеет подчинять свои интересы государственным, отчего не допустить, что и в данном вопросе мнение его представителей было бы важно и вполне просвещенно. Может

быть, оно бы сказало, что хотя низкий курс действительно для него выгоднее, чем высокий, но что для такой государственной меры, как девальвация, надо выждать постепенного возвышения и утверждения курса, сообразуясь с общими потребностями государства. Если государству необходимы жертвы, мы умеем их делать, и ими русская история может гордиться. Но нам было бы приятнее и утешительнее делать эти жертвы сознательно и заблаговременно знать, что такое приготовляется и при каких условиях предполагается это провести в жизнь.

6 (18) апреля, № 6860

CCXXXII

Я не думаю, что нам следует волноваться по поводу тех твердых и полных достоинства шагов, которые Россия делала с некоторого времени относительно Японии, защищая родные интересы. Мне рассказывал один любитель русской старины и видный деятель в этом направлении, что он сказал однажды покойному государю, во время милостивого разговора, которым государь его удостоил, что «следовало бы под русским двуглавым орлом подписать: где наше не пропадало». Государь засмеялся и ответил в том смысле, что эта фраза должна реже и реже приходить нам на память. Это было еще в самом начале его царствования и он действительно заставил нас забывать о этой фразе. Царствующий государь идет по стопам своего родителя и своими глазами и изучением убедился в важности для нас Дальнего Востока. Как этот край ни далек от Петербурга, но он близок нам потому, что мы думаем о своем будущем, о тех поколениях, которые сменят нас. Близость его указывается и тем инстинктивным, быть может, стремлением наших переселенцев, которые идут в течение нескольких последних лет на этот Дальний Восток.

Нельзя не признать, что тяжкая предсмертная болезнь государя отвлекла совершенно наше внимание от Японии, и эта воительница воспользовалась очень бесцеремонно нашими внутренними событиями и, кажется, начала убеждаться, что Россия не в состоянии сделать решительного шага ввиду тех «блистательных побед», которые Япония одерживала над Китаем и которые во мнении самих японцев были, конечно, блистательнее побед, одержанных немцами над французами уже потому, что немцы одерживали победы только на суше, а японцы — на суше и на море. Это высокомерное мнение высказывалось в японских газетах постоянно, и враждебный тон против Европы и ее христианской цивилизации был особенно любезен японским читателям, наиболее воинственно настроенным. Военные успехи кружат голову и народам более развитым, чем японцы, а потому удивляться нечего тем чрезмерным требованиям, которые победители предъявили Китаю. Но нечего удивляться и тому, что в России и в таких странах, как Германия и Франция, это требования показались невозможными. Англии эти требования нравятся, ибо она по-прежнему будет отравлять китайцев опием и, конечно, сказала Японии, что она может брать все, что ей угодно на севере, но ничего на юге, где Англии это неудобно. Как всегда, сахарные речи гг. англичан, которые они в таком изобилии изливали на нас в течение нескольких месяцев, ничего не имели в виду, кроме желания усыпить нас. Но, слушая эти речи, Россия

кое-что делала очень важное на случай, если они окажутся пустым краснобаем. Корреспондент «Кельнской Газеты» уже месяц тому назад писал из Иокогамы, говоря о появлении русского флота в японских водах: «никто не удивится, если в один прекрасный день Россия предъявит японскому микадо ультиматум».

И действительно, ничего в этом удивительного никто не увидит, разве за исключением англичан, которые этого не ожидают, но которые увидят, вероятно, без особого удовольствия, что на стороне России не только Франция, но и Германия. И обе эти страны, очевидно, заинтересованы в условиях мирного договора, если не столь сильно, как Россия, то столь же решительно. Если мирный договор доселе не подписан, то совсем не потому, что надо «испросить согласие китайского императора, находящегося в Хирошиме», как объявил японский посол в Берлине одному журналисту; если японцы не взяли Пекина, то совсем не потому, что «опасались распадения Китайской империи», как говорил тот же посол, а по причинам более реальным и более сильным.

Все, что известным становится теперь из корреспонденции, приходящих слишком поздно, и из других источников, Россия давно предвидела возможность недоразумений на Дальнем Востоке и принимала исподволь свои меры решительные и предусмотрительные. Россия готовилась к тому, чтобы ее не застали врасплох, и Японии а придется, волей или неволей, расстаться с своими чересчур пылкими мечтами о гегемонии в Азии и о том, чтоб посадить своего императора на китайский престол и таким образом личной унией соединить доселе враждебное, и грозить не только России, но и Франции и даже Англии, всем государствам, имеющим в Азии свои владения. Призвать Японию к благоразумию не значит делать над ней насилие, а значит оказать ей услугу, и я думаю, что она это поймет, хотя и скрепя сердце, тем более воспламененное, чем легче дались ей победы.

10 (22) апреля, № 6864

CCXXXIII

Кто мог бы сказать в апреле прошлого года, что в апреле 1895 г. Япония будет так популярна, что от ее благоразумия или высокомерия будет зависеть мир Европы? Когда много лет тому назад начали говорить о Сибирской железной дороге, думал ли кто, что она должна сослужить России политическую роль? Были, может быть, только предчувствия. Но у покойного Вышнеградского не было даже и предчувствий, когда он упорно отказывался от проведения этой дороги. Тем менее было этих предчувствий у наших дипломатов. Князь Ухтомский говорит в «Московских Ведомостях», что «наши космополиты, призванные понимать и оберегать наши интересы в Азии, предпочитали острить: «la chicorée m'interresse plus la Corée». Несколько лет назад, продолжает он, когда британская печать била в набат по вопросу о Памире, одна дама откровенно выразилась, со слов мужа, чрезвычайно хорошо осведомленного в сфере высших политических комбинаций: «Удивляюсь, как это русским офицерам позволяют безнаказанно передвигаться по спорному нагорью, — пусть бы отправили для раздачи им «un paquet de крестики»: и награжденные будут довольны, и англичане успокоятся». Конечно, дело не в даме, а в ее супруге, слова которого она повторяла, и нет

ничего мудреного, что старый дипломат писал в «Новое Время»: «а все-таки лучше с Англией *скорей помириться*». Может быть, он не столько забыл русский язык, как догадывается «Новое Время», сколько искал каламбуров и серьезный вопрос о Корее и Памире интересовал его только с этой точки зрения?

Нельзя не вспомнить прошлого, связанного с тем вопросом, который теперь нас волнует. Окончательным приобретением Амурской области мы обязаны удивительной отваге и необыкновенной прозорливости адмирала Невельского, этого человека, напоминающего собой легендарные черты первых завоевателей Сибири. В его «Записках» скромно рассказана история открытия им устья Амура и присоединения этого края. Недавно в Париже вышла книга г-жи Венд, где эта история рассказана в связи с биографией Невельского очень живо и талантливо. Книга эта посвящена была французскому морскому министру Фору, теперешнему президенту республики, и рекомендована для морских библиотек. Под псевдонимом г-жи Венд скрывается одна из дочерей покойного Невельского. Книга эта — не только дань любящей дочери своему славному отцу и своей матери, разделявшей судьбу и труды своего мужа с самоотвержением преданной супруги, но и дань русской женщины своему отечеству. Говорю: «своему отечеству», ибо хотя книга написана по-французски, но она знакомит Францию с одним из русских героев[1].

Под ее одушевленным пером адмирал Невельской является живым образом русского человека, который посвятил свою жизнь осуществлению одной идеи. С ничтожными силами он расследовал северо-восточные берега Сибири, доказал, что Сахалин есть остров, открыл устье Амура и поставил русский флаг в новой обширной области, которая для России особенно важна в будущем. Граф Муравьев, получивший титул Амурского, поддерживал его всеми силами. Но петербургская дипломатия относилась враждебно к *беспокойному* человеку. Граф Нессельроде до того был дипломатичен, что, вопреки Нерчинскому трактату, продолжал называть русскую территорию «китайской», отрицал открытия Невельского, отрицал, что Сахалин есть остров, и желал отважного, опытного и просвещенного моряка отдать под суд за своеволие. Действительно кое-что он сделал без позволения свыше, за дальностью расстояний...

Дипломаты часто любят не столько мир, сколько самих себя, свое спокойствие. Они любят не мир народов, а мирное и благополучное препровождение своего времени и награды не за мир народов, а за мирное течение своей службы, которая переносит их от одного поста на другой, причем они, по выслуге известных лет, оказываются одинаково способными занять места в любом месте земного шара, начиная с Бразилии и кончая Японией. Сидя в Португалии, на крайнем западе Европы, они вдруг переносятся на крайний Восток, куда-нибудь в Азию, и всегда оказываются одинаково полезными или бесполезными. Если кто может объять необъятное, то именно дипломат. Для него открыты все тайны и все горизонты, а потому он предпочитает нигде и никогда не торопиться, ибо это не

---

[1] Vera Vend. L'amiral Nevelskoy et la conquête definitive du fleuve Amour. Avec une preface de m-me Juliette Adam. Paris. 1894. Первоначально это сочинение было помещено в известном журнале г-жи Адан «Nouvelle Revue». Я слышал, что в Смольном институте эта книжка принята для чтения воспитанницам, ради прекрасных писем самоотверженной покойной адмиральши Невельской. Другая дочь Невельского приготовляет ко 2-му изданию подлинные «Записки» своего отца и письма своей матери.

только избавляет его от всякой ответственности, но иногда от всякой деятельности. Говорят, что в прошлом году некоторые дипломатические мудрецы пожалели казенных денег на телеграммы из Пекина, когда начиналась уже война с Японией. Нессельроде ненавидел все то, что выдвигалось помимо его желания, и ненависть его к Невельскому была самая неукротимая. Он готов был его разжаловать в солдаты и называл его мужество «преступной и дерзкой отвагой». К нему присоединился военный министр граф Чернышев. За него стояли наследник цесаревич, великий князь Константин Николаевич, князь Меньшиков и оба брата Перовские, Василий и Лев Александровичи. Но это заступничество не спасло бы его, если б сам император Николай Павлович, призвав к себе Невельского и выслушав его, не заступился за него и не прекратил преследования, которым подвергался один из лучших сынов России.

Занимая Сахалин, мы предупредительно спрашивали у Японии, не принадлежит ли ей южная часть этого острова? Разумеется, когда спрашивают, то отчего не отвечать утвердительно? Япония так и сделала, и мы отдали ей Курильские острова взамен южной части Сахалина. Естественно, что и теперь есть дипломаты, которые говорят: «к чему это? зачем? Да еще в начале нового царствования?»

Затем, чтоб смотреть во все глаза на русские интересы и работать для них из всех сил. Затем, чтоб не напрягать чрезмерно ни внимания, ни сил только в исключительные моменты, а держать их постоянно на том национальном уровне, который требует работы непрерываемой, здоровой, неистощающей энергии. Что это случилось в начале нового царствования — пусть это будет хорошим началом именно непрерывной и здоровой работы. Откладывать на будущее — значит не дорожить настоящим, которое есть основание для будущего.

15 (27) апреля, № 6869

CCXXXIV

Не думая, не гадая, Литературно-артистический кружок, и я, как его председатель, совершили нечто вроде преступления, поставив на Панаевском театре пьесу Гауптмана «Ганнеле». Я не сомневаюсь, что публике мы доставили живое удовольствие, какое только может быть доставлено пьесою, где высокая христианская мораль изображается в действии, где зрители приглашаются помнить о смертном часе и о тех несчастных, земная жизнь которых только и держится что верою и надеждою на загробную жизнь. Не говоря о литературных достоинствах пьесы, допуская, что они спорны, я не знаю пьесы, которая могла бы назваться более нравственною, чем эта. Прекрасное исполнение Ганнеле г-жею Озеровой, которая как бы создана для этой роли и которая переживает на сцене с удивительною правдою последние часы своей жизни, озаренные видениями своей страдальческой, чистой души, придало этой пьесе особенную силу воздействия на зрителей. Ни одно грешное чувство не шевелится в зрителе. Ни в одной пьесе и никогда не была представлена смерть в такой поэтической и трогательной обстановке.

И вот сыны отечества, правда, из «Сына Отечества», закричали, что пьеса эта — кощунство. Сам издатель этой жалкой газетки явился критиком-обличителем.

Кто-то подсунул ему Тертульяна, и Тертульян пошел в дело. «Запретить, запретить!» — кричал издатель «Сына Отечества», а за ним его фельетонист. Что за чудо, думал я. Из пьесы выброшено тщательно все то, что хотя малейшим образом могло навести мысль не туда, куда следует. Некоторые монологи совсем переделаны. Осторожность была приложена чрезмерная, ибо выпушены были даже такие слова одного из действующих лиц, именно школьного учителя Готвальда: «Разве вы не знаете, что сказал Спаситель: пустите ко Мне детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Если б газетные фарисеи и лицемеры сверили оригинал пьесы с ее театральным экземпляром, они ясно увидели бы разницу, которая существует между ними. Но эти фарисеи и лицемеры даже не видели пьесы, ибо ссылаются на такие подробности, каких на сцене нет. Они бьют себя в грудь и кричат, как евангельский фарисей, единственно потому, что им ровно нечем себя проявить, кроме грубых выходок и засвидетельствований о своей религиозности. Фельетонист газетки дошел до того, что, выдумывая разную ложь, поражает Гауптмана тем, что он не имеет понятия о христианском представлении рая, ибо у него в раю «едят жареное мясо». Независимо от того, что в театральном тексте пьесы этой фразы совсем нет, а в подлиннике она иначе выражена, Гауптман представляет рай так, как *германский народ его себе представляет,* и если в этом отношении он не сходится с фельетонистом, перенесшим приемы прежних кварталов с их ложью в свои фельетоны, то это еще ничего не значит. Гауптман писал свою пьесу для немцев и, конечно, никогда не воображал, что ее будут судить в Петербурге такие «литераторы» и «критики».

«Гражданин» перепечатал у себя статью «Сына Отечества», очевидно, не потрудившись видеть пьесы. Увидев ее, он нашел, что это «очень нравственная пьеса, нравственнее, пожалуй, всего, что за последние годы появлялось в драматической литературе». Затем он прибавляет: «Предавать пьесу анафеме было бы вовсе уже глупо». Слава Богу! Считаю этот отзыв важным, как отзыв из лагеря противников, хотя автор заметки «Гражданина» не признает за пьесой литературных достоинств. Но мало ли плохих пьес ставится даже на императорской сцене, и притом пьес с сомнительной нравственностью. Не об литературных достоинствах речь. Речь о том — есть ли эта пьеса — кощунство, или кощунствуют те, которые выскочили вперед со своими обличениями? Если пьеса «нравственнее всего того, что появлялось в последние годы на сцене», то каким образом она может быть кощунственной пьесой? Мне кажется, что нравственность и кощунство — две вещи несоединимые или соединимые только в голове отъявленных лицемеров...

Удивительно, как странно понимается некоторыми до сих пор театр. Чертей на нем можно изображать сколько угодно, можно всякие пакости людские изображать, столь же похвальные, сколь похвальны пакости чертовские, но изобразить мечтания бедной умирающей девушки, изобразить мечтания, возвышающие душу, мечтания из области религии, трогающие до слез зрителя, — этого нельзя. Все чертовское можно. Все доброе, ангельски чистое, нельзя. Это — кощунство!..

Я невольно спрашиваю себя: что, если б драматург вывел в своей пьесе идеальное лицо, которое проговорило бы со сцены, например, Нагорную проповедь Христа и поступало бы так же, как требовал Христос, — возможна ли была бы эта пьеса на сцене? Думаю, что невозможна. Если б цензура ее пропустила, как нравственно высокую вещь, то добровольные цензоры, которыми кишмя кишит наша

земля, сказали бы, что это кощунство. Если теперь лицо, одетое в классическую одежду пустынника, без бороды и усов, без длинных волос, принимают лицемеры за Христа и кричат о кощунстве, то они закричали бы о кощунстве и против Нагорной проповеди. Они объявили бы, что в театре — не место речам Христовым. В театре дозволительны только речи чертей и чертоподобных людей. Конечно, можно и добродетельного человека иногда выставлять, но чтоб он не смел произносить ни одного слова из Евангелия, ибо произносить слова Христа в театре есть кощунство. Недаром же фарисеи ставили в вину Христу, что Он является среди таких людей, которые не стоят того, чтоб делить с ними трапезу. Театр есть место отверженья, соблазна, блуда и всяких пакостей, а потому все чистое, высокое, особенно то, что настраивает зрителя религиозно, не может быть там допущено. Для этого есть церкви...

Спасите нас, о, серафимы неба! — как говорит Гамлет. В московской газетке «Русское Слово» какой-то доброволец перепечатал статью «Сына Отечества», где говорилось, что «Ганнеле», «поставлена под покровительством г. Суворина» и, прибавив к статейке свои анафемы, воскликнул, что он не верит тому, что я — «покровительствовал» этой пьесе. Я «покровительствовать» не мог: у меня на это нет никакой власти. Но я видел эту пьесу в Берлине, на королевском театре, я был глубоко тронут ею, я ее издал на русском языке, я рекомендовал ее Литературно-артистическому кружку. И мне нисколько не стыдно. Напротив, я очень рад, что это сделал, что я способствовал тому, что часть публики увидела эту пьесу на сцене и получила то прекрасное впечатление, которое получил я, видя ее в Берлине и потом здесь. Я счастлив, что были в театре, кроме «сынов отечества», истинные литераторы, даровитые артисты и артистки, что были уважаемые люди из общества, которые слушали пьесу с удовольствием. Я уверен, что большинство, по крайней мере, зрителей, благодарны за пьесу и никто, в случае своей совести, выходя из театра, не мог сказать, что он видел вещь, которая оскорбляла бы какое-нибудь хорошее его чувство. Никто. И этого довольно...

18 (30) апреля, № 6872

CCXXXV

Мы совсем отвыкли от «Journal de St. Pétersbourg», т. е. от его дипломатического значения, и вдруг в нем является пять строк крупным шрифтом о том, что Япония отказывается от Фенг-Тьена. Что такое Фенг-Тьен, сами дипломаты, наверное, узнали только на днях из японской телеграммы. Ни на наших картах, ни на немецких, ни на французских такого имени нет. Нет его ни в одной европейской энциклопедии, начиная с «Encyclopedia Britannica» и кончая Брокгаузом и Мейером. Нет его даже в самом полном из географических словарей, Риттера. Все читатели были в недоумении. На другой день дело объяснилось. Но замечательно, что нашей французской газете почти никто не верил. Справлялись в «Правительственном Вестнике», там ничего нет. В самом «Journal de St. Pétersbourg» таинственная заметка напечатана в неофициальной части. Говорят, что у этой официозной газеты такие уж традиции, чтоб печатать в неофициальной части

подобные официальные известия. Но кто же это знает? Кроме того, «Journal de St. Pétersbourg» печатается на французском языке, и если б газеты не перевели эту заметку, никто бы не знал ответа Японии, ибо она очевидно не была сообщена даже в «Правительственном Вестнике», чтобы явиться одновременно на французском и русском языках, что было бы весьма резонно и даже необходимо в государстве, которое говорит по-русски. Курьезнее всего то, что в «Правительственном Вестнике» доселе нет этой заметки официозной газеты, и официальная Россия, получающая только «Правительственный Вестник», вовсе не знает об этой дипломатической победе.

Не странно ли это?

Говорят действительно о «дипломатической победе». Но причем тут дипломатия? Она меньше всего тут делала. Почин принадлежит государю императору. Для твердой воли государя не нужно было дипломатического красноречия, но необходима была та внутренняя грозная сила государства, которая готова поддержать его волю, продиктованную ему сознанием интересов своего народа.

Для дипломатии разве только теперь настает дело...

Во вторник, 25 апреля, «Journal de St. Pétersbourg» возвратился к своей заметке, где поставил в скобках к непонятному слову «Фенг-Тьен» понятное слово «Ляотонгский полуостров». Но одна газета запросила вчера секретаря здешнего японского посольства г. Омая, который дал объяснение, не совсем согласное с указанием «Journal de St. Pétersbourg»: оказывается, что Ляотонг (Ляо — река, тонг — восток) составляет только часть Фенг-Тьена, который обнимает всю южную Маньчжурию с городом Мукденом. Кто компетентнее, г. ли Омай, или «Journal de St. Pétersbourg», решать это предоставляется гг. географам, если только они у нас есть. Делаю оговорку эту потому, что у нас география в большом загоне, как и история, в угоду умершим грекам и римлянам, которые совсем не чуяли ни Японии, ни России.

Вторичная заметка «Journal de St. Pétersbourg», кроме того, так чувствительна, что, я думаю, микадо прольет над ней слезу, если только ее прочтет. Его «мудрое решение обеспечит положение, которому он обязан своими победами», «приобретет ему уважение цивилизованных наций», «излечит раны, причиняемые даже победоносными войнами» и даст возможность «приняться вновь за дело организации и труда, благодаря которому страна эта приносит все большую и большую дань всемирному прогрессу». Лучших утешений и пожеланий, конечно, трудно выдумать, и микадо оценит их тем скорее, что по смыслу заметки и война Японии с Китаем как будто входит в ту «дань всемирному прогрессу», о котором говорит наш дипломатический орган. Конечно, мне могут возразить, что я придираюсь, ибо в заметке ясно указывается на «труд, благодаря которому» и проч. Но в заметке также восхваляются победы и захваты, а потому и их можно причислить к «дани всемирному прогрессу». Вообще дипломатический язык так тонок, что его можно толковать на все лады, и искусство дипломатов в том и заключается, чтоб говорить так, чтоб их никто не понимал, а высшее дипломатическое искусство, должно быть, заключается в том, чтоб говорить так, чтоб и дипломаты друг друга не понимали...

Преклоняясь, однако, перед этим дипломатическим языком, я смею спросить, не было ли бы лучше, если б россиянам было сообщено известие об отказе Японии от Ляотонгского полуострова не только по-французски, но и по-русски, а

уж если этого нельзя, то сообщить, по крайней мере, какое «отступное» берет Япония за свой отказ от Фенг-Тьена? Иностранные газеты говорят: десять миллионов фунтов стерлингов, что равняется почти ста миллионам рублей. Для нас вопрос этот гораздо важнее всяких дипломатических наставлений по адресу микадо, ибо от величины отступного будет зависеть продолжительность оккупации Китая японцами, а от величины дипломатических фраз ровно ничего не зависит...

28 апреля (10 мая), № 6882

CCXXXVI

Вы не знаете, господа, кончился японский вопрос или нет? Я не знаю. Разговаривая с японцем, о котором у нас было сказано на днях, я во все время этой беседы думал, что вопрос этот только начался. Этот молодой японец так настойчиво говорил о дружелюбии Японии, что поверить было мудрено, в особенности с его настойчивостью относительно «независимости» Кореи и с его желанием, чтоб Россия удовольствовалась Владивостоком. «Что за беда, что там море замерзает, говорит он, можно лед ломать машинами». Действительно, можно. Вон почтенный г. Беломор говорит все о Мурмане, где чуть не полгода ночь стоит, точно моряки — ночные птицы:

На Мурман, на Мурман, к Студеному морю —
Струями Гольфстрема поможем мы горю.

То нас в лед бросают, то в потемки. Недостает того, чтоб нам посоветовали рыть колодцы и уходить в землю. Ах, мы бедные россияне! Столько у нас вопросов и ни одного решенного. Читаешь о сельскохозяйственном кризисе, и волосы становятся дыбом. Читаешь о промышленности — и думаешь: не слишком ли уж ей покровительствуют? Г. Беломор, говоря в «Гражданине» о том, что мы научили японцев кораблестроению, и вспоминая об адмирале Шестакове, который любил флот и который указывал на наши задачи на Дальнем Востоке, замечает, что «наши броненосцы на Балтийском море поистине бесполезны и жестоко разрушаются». Если они «бесполезны и жестоко разрушаются», то зачем держать их здесь? Для бесполезности и жестокого разрушения. Логика изумительная, если правду говорит г. Беломор, такая же изумительная, как логика покровительства промышленности, если она действительно способствует только вздорожанию жизни и всего того, что необходимо для земледелия...

Японец мне говорил, что для Японии независимость Кореи условие sine qua non. Ради этой независимости Япония начала войну с Китаем. Кто будет владеть Кореей, тот враг Японии. Если Россия попробует овладеть каким-нибудь корейским портом, то Япония станет воевать с Россией. Оно и понятно: для процветания Японии необходимо, чтоб оба берега пролива были ей безопасны: один собственный, другой корейский, т. е. тоже собственный. Доводы моего японца замечательно совпадали с сообщением из Берлина в «Daily News», о чем нам вчера телеграфировали из Лондона (см. № 6894): «Японское правительство намерено оккупировать Корею до тех пор, пока корейская армия и администрация не получат такую

организацию, что сама Корея может стать на страже своей независимости». Мой японец только откровеннее выражался.

— Нам необходимо прогнать из Кореи китайцев и устроить свою администрацию.

— Но вот немец Брант говорит, что корейцы ненавидят японцев.

— Это справедливо. Корейцы расположены к китайцам и нас ненавидят. Но администрация там отвратительная, и мы должны устроить свою.

— Сколько же времени вы будете оккупировать Корею?

— Это зависит от обстоятельств.

— Вот и прекрасно, сказал я. Вы занимайте Корею, а мы займем Порт-Артур.

Японец не согласен на это. Он, напротив, желает, чтобы Японии позволено было занятие порта недалеко от Порта-Артура, иначе влияние на Корею Китая останется. Ясно, что Япония добивается и, вероятно, добьется того, что Корея станет фактически японской провинцией. Зато она ничего не имеет, чтоб мы заняли северную Маньчжурию, ибо сия страна для японцев слишком холодна. Они — теплые ребята! Японец, однако, не понимает, что русская душа двойная душа: в ней запад и восток соединяются. Просвещаясь западом, она все-таки тянется к востоку отчасти потому, что хочет ему передать нечто западное, отчасти потому, что ей нужно кое-что и самой на этом Востоке...

О Литве говорили допетровские русские люди, что она с неба свалилась. Теперь свалилась Япония с неба, и modus vivendi с нею довольно мудрено будет установить, если мы будем зевать...

Ах, господа, как у нас мало знающих и энергических людей. Знаете ли, какое у нас самое культурное племя? Ни за что не догадаетесь. А я вам скажу: — журналисты. Презрительное отношение ко времени — признак некультурности. У кого много праздников, тот менее культурен. У журналистов всего в году около семи праздников. А потому они — самый культурный народ. Вы этого не думали, конечно. Так подумайте и сообразите, как развилась журналистика в последние двадцать лет. И это в значительной доле оттого, что она не празднует, что она вечно работает, работает почти без отдыха...

В других отраслях жизни мы любим откладывать до завтра. Оттого все идет ни шатко, ни валко. Что, если мы и Японию отложим, как отложили Босфор, как откладываем народное образование и множество других вопросов?

А знаете, какая у нас самая некультурная страна? — Кавказ. Достаточно сказать, что на Кавказе самые популярные люди — разбойники. Загляните сегодня во «Внутренние Известия». Ничего, кроме подвигов гг. разбойников. О чем больше всего говорят на Кавказе? О самых популярных там людях, разбойниках. Кто смелее всех на Кавказе? Самые популярные люди, разбойники. Осаждают железнодорожные станции, очищают карманы путешественников, берут в полон пансион с девицами... Местные газеты, больше все лукавые газеты, советуют, для введения безопасности в стране сменить низшую полицию и заменить ее казаками. Гм! Так ли?! Не будет ли это столь же бесподобным средством, как сменить стрелочника за то, что железнодорожная администрация плоха?

Впрочем, все Бог.

11 (23) мая, № 6895

CCXXXVII

«On sait avec quel empressement l'epargne francaise a versé ses «économies dans la main des Russes» («Известно, с каким увлечением сбережения французского народа были отданы в руки русских»).

Фразу в этом виде — она взята из «Figaro» — или в подобном виде постоянно встречаешь в статьях французских газет о франко-русском союзе. Фраза эта обыкновенно так пристроена к предыдущим или последующим размышлениям данной статьи, что она непременно звучит упреком по адресу России... упреком дельцов парижского биржевого и финансового мира, которые воображают, что если они участвовали в помещении русских займов во Франции, то мы обязаны им не только беспредельною благодарностью, но и готовностью исполнять все их капризы. От постоянных повторений фраза эта становится пошлою, противною и недостойною не только французского ума, но и французского остроумия. По крайней мере, я не могу ее встречать равнодушно и если б мне какой-нибудь француз дал денег взаймы и стал бы при каждой встрече говорить: «А я ведь дал вам взаймы и притом с охотою. Вы это должны помнить», я бы постарался поскорее расплатиться с этим господином, хотя бы мне пришлось занять для этой уплаты у другого господина и даже за большие проценты.

Неудивительно, когда эту фразу произносит г. Цион, сей русско-французский патриот, который постоянно трется одним боком около Франции, а другим около России, рискуя протереть себе бока до оголения ребер: ему ничего другого и не остается делать. Но когда эти речи читаешь и во французских газетах — становится досадно. Ведь французы, купив русские займы, в сущности, сделали умное и выгодное дело, независимо даже от союзных обязательств. Они приобрели бумаги с хорошим и верным процентом и сбыли итальянские бумаги и не покупали южно-американских. Итальянские бумаги упали, а южно-американские почти совсем провалились. Русские бумаги, напротив, повысились в цене, и владельцы их могут быть совершенно покойны за верные проценты. Россия — совсем не нищая какая-нибудь, которой приходится обивать пороги, чтобы дали ей взаймы. Она занимала у Голландии, Англии и Германии, и никто на нее не имел права жаловаться, как на плохого плательщика. Франция дала от избытка своего. Ее свободные капиталы ищут помещения, и она нашла его в русских займах. Россия ежегодно платит французам около 300 миллионов франков процентов. Это достаточная дань за французские капиталы, и тут не может быть и речи о каком-либо великодушии или пожертвовании со стороны французов. Поэтому, если кому не нравятся условия франко-русского союза, то можно и следует о них говорить прямо — вне этих денежных соображений и обидных упреков. Иначе мы совершенно сбиваемся с толку, с кем мы собственно имеем дело: с французским правительством и народом, или с политиканствующими финансистами и биржевиками, среди которых столь много интернационального элемента, не исключая еврейского и немецкого? Этот мирок, как известно, делает свою собственную политику, часто вопреки всяким народным интересам. Пример недавний: во время панамской истории близкие связи этого подозрительного мирка с Берлином и Лондоном обозначались очень ясно. С кем же мы имеем дело? Можно поручиться чем хотите, что французское правительство не заговорило бы о рус-

ских займах, кроме большой пользы ничего не принесших Франции. Но если, паче чаяния, где-нибудь в правительственных кружках существуют какие-нибудь V недоразумения насчет подробностей франко-русского союза, то никто не мешает им высказаться совершенно искренно. Это даже нужно, ибо недоразумения между Россией и Францией вовсе не желательны. Я думаю, что тогда разговоры могут быть спокойнее и плодотворнее, чем теперь, когда посылаются в качестве застрельщиков эти подозрительные господа из финансового, биржевого и панамского мира, на которых возможны всякие влияния извне и с которыми можно говорить только о процентах и гешефтах. Я смею думать, что наши связи с Францией неизмеримо выше этого...

16 (28) мая, №6900

CCXXXVIII

Формоза объявила себя республикою. В Петербурге смеются. Ах, эти русские смешки, сколько раз они мешали нам внимательно смотреть на события и пользоваться ими!.. Ведь если существует республика Гаити, республики африканские, то почему, гг. петербуржцы, не существовать республике Формоза? Я не вижу никаких оснований для этого и не думаю, что японский парламентаризм стоит больше формозского республиканизма. Притом это движение национальное. Пока Формоза принадлежала Китаю, она не думала отделяться от него. Но Китай отдал Формозу Японии, и Формоза имеет все права не отдаваться Японии. Это — не бунт против своей метрополии, а только восстание против захвата острова державою враждебною, которой Формоза не желает подчиниться. Кто может сказать, что Формозе будет лучше под управлением японских чиновников, чем под управлением своих собственных граждан? Мои симпатии, да я думаю и многих русских, вполне на стороне Формозы уже потому, что китайцы имеют все права оставаться китайцами и не делаться японцами. Конечно, эти симпатии — наше личное дело и на весах судьбы ничего не значат, но высказывай» их следует просто во имя прав человечества.

Совершенно возможно, что Япония одержит победу над Формозой и присоединит ее к своим владениям. Но тогда, по крайней мере, жители Формозы могут утешаться тем, что они завоеваны, а не подарены Китаем. Кроме того, это нежелание Формозы подчиниться Японии доказывает, что Япония вовсе не такая страна, владычества которой желают народы, населяющие острова Тихого океана, завладеть которыми Япония стремится. Японец Котаро Мочизуки, с которым я беседовал недавно, прямо говорил, что Япония простирает свои виды на весь Тихий океан, не исключая Австралии. Очевидно, пробудившийся шовинизм японской нации не видит себе предела...

Говорят, что Формозе кто-нибудь шепнул объявить себя республикой. Я не думаю. Китайцы слишком долго живут независимою жизнью, чтоб беспрекословно подчиняться чуждому народу. Это не то, что Эльзас и Лотарингия, которые были то немецкими, то французскими и отошли к Германии без всякого сопротивления. Кто знает, если б в этих провинциях возник такой же дух сопротивления и независимости, то, может быть, Германия и не увидала бы их немецкими. Если б Эльзас нашел энергичных представителей и провозгласил себя не-

зависимой республикой, то положение немцев было бы, может быть, не такое. Во всяком случае, это создало бы непредвиденное историческое явление, с которым нельзя было бы не считаться, и если немцы, овладев Эльзасом и Лотарингией по Версальскому договору без всякого сопротивления, все-таки сделали из этих провинций отдельную имперскую землю, не включив ее в Пруссию, как включили они ранее Ганновер и Кассель, то в случае их сопротивления и объявления себя независимой республикой, это могло бы заставить Германию дать этим провинциям, по меньшей мере, гораздо большие права независимости. Но тогда, т. е. во время франко-прусской войны, никому не пришло в голову такой простой идеи, какая пришла китайцам на Формозе. И лишь потом во французской политической печати поднимались голоса за то, чтобы объявить Эльзас-Лотарингию независимым нейтральным государством. Французы жили задним умом, и пример Формозы должен быть им поучительным примером. Ex oriente lux. Присоединение этих провинций к составу Германской империи стоит Европе колоссальных сумм на вооружения, на союзы и т. д. Кто знает, не будет ли стоить того же присоединение Формозы к Японии?..

18 (30) мая, № 6902

CCXXXIX

В циркуляре тамбовского губернатора к земским начальникам, разобранном у нас вчера, есть одно выражение, на котором следует остановиться подробнее. Это — «внимательное отношение». Что такое «внимание», всякий знает, но едва ли всякий отдает себе отчет в этом понятии. Внимание — одна из *важнейших способностей.* Дикие народы очень невнимательны. Чем выше культура народа, тем внимание поднимается. Но высокая форма внимания — *добровольное* внимание, не то внимание, которое приказывается, о котором напоминается, но которое делается потребностью человека: это — глубокая вдумчивость в каждое явление. Рассматривая списки продающихся имений, опубликованных недавно Дворянским банком, можно найти множество примеров полного невнимания гг. помещиков к своим обязанностям. Встречаются суммы недоимок до того ничтожные в сравнении со стоимостью имения, что неуплата их относится прямо к невниманию или к халатности, которая так часто у нас на языке и которая есть совершенная противоположность вниманию. Мы богаты халатностью, а не вниманием. Рибо говорит: «Большая часть образованных людей применилась достаточным образами требованиям социальной жизни; они способны, в известной степени, к достаточному вниманию. Но очень незначительно число людей, для которых внимание есть необходимость... Внимание есть анормальное состояние, неспособное к продолжительности, производящее быстрое истощение организма, ибо после усилия следует усталость, а за усталостью следует расстройство в деятельности организма».

Вы скажете, неужели по поводу губернаторского циркуляра надо приводить цитаты из ученых сочинений? Отчего же не приводить, коли они есть и коли губернаторские циркуляры составляют целую литературу, причем обязательную для подчиненных и населения литературу. То, что я пишу или вы, это ни для кого не обязательно, но что пишет губернатор — это обязательно для целого

миллиона читателей. Не лучшая ли критика та, которая опирается на ученые исследования, на научные истины? Почему эти истины и исследования должны оставаться сами по себе, а жизнь должна идти сама по себе? Не пора ли указывать на исследования не только экономические и исторические, но и на психологические? Давайте учиться психологии на примерах.

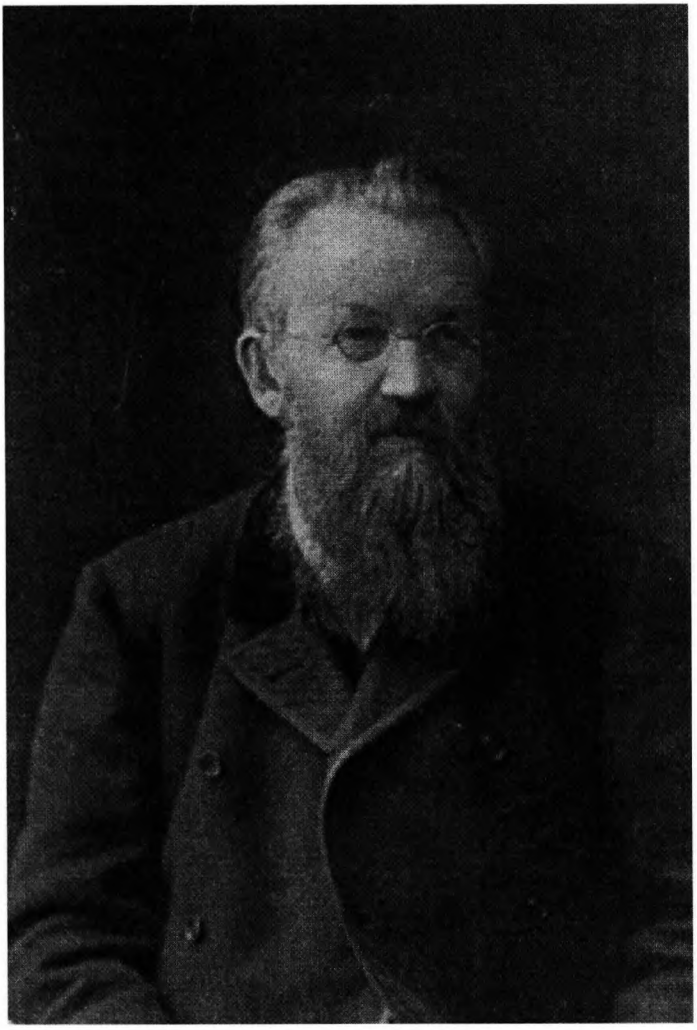
Когда губернатор советует земским начальникам «внимание», то он, значит, не убежден в том, что они в достаточной степени обладают вниманием. Но привить внимание одним приказанием невозможно, а земские начальники, конечно, не принадлежат к числу тех избранных, которые обладают добровольным вниманием. По моему же мнению, та задача, которую налагает губернатор на земских начальников, так широка и так ответственна, что исполнить ее могут только те немногие, которые обладают способностью добровольного внимания, да и то в том случае, если они достаточно приготовлены к тому мудрою практикою жизни.

Губернатор говорит: если поступить так — «окончательно разорить население», но если поступить иначе — получатся «благие результаты». Это гораздо труднее, чем в сказке: «если пойдешь по этой дороге — коня потеряешь, если по этой — коня спасешь, но себя погубишь, а по этой — жар-птицу найдешь». В сказке точно указаны дороги, но в губернаторском циркуляре они только намечены и притом весьма не ясно. Дорога как будто одна и та же, но приемы хождения по ней для того, чтоб найти жар-птицу, т. е. «благие результаты», различны. Потому, повторяю, возлагать на земских начальников такую трудную задачу — значит требовать от них огромного напряжения внимания, а с себя слагать ответственность в значительной степени. Цитирую опять:

«человек ищет как можно более того, чтоб избегнуть тяжелого умственного усилия, которое называется вниманием... Внимание вообще частично, ограничено небольшим количеством предметов; так мы обращаем внимание на все то, что относится к нашей профессии и в течение тех часов, которые по обязанности посвящаем ей; но вне этой узкой области мы очень поверхностно относимся ко всему тому, что так или иначе действует на наши чувства»[1]. Ведь это совершенно верно. Поработав, мы отдыхаем, глазеем, садимся за винт. Игра в винт есть несомненный признак того, что мы избегаем делать умственное усилие. Оно нам противно. Нам легче приказать, накричать, побить, чем разобрать. Любовь к букве закона, практикуемая судьями, есть также несомненный признак лености умственной, лености внимания и размышления. Человек вообще ленив. Не один тамбовский мужик ленив, как пишет тамбовский губернатор, но огромная часть человечества ленива. Я об этом прочитал целую книгу итальянского ученого Феррero, книгу, прекрасно написанную. Он, не знающий тамбовского мужика, прямо говорит: «человек не любит работы, ни мускульной, ни мозговой. Я почти готов сказать, что отвращение к работе есть одно из самых выдающихся явлений человеческой психологии». И он это доказывает блистательно. Не говоря о том, что Бог наказал Адама трудом, работой в поте лица, во множестве языков слова *труд, работа* обозначают вместе с тем *страдание,* печаль. Так в греческом, латинском, еврейском, итальянском, французском. Русские слова *труд* и *работа* не оставляют никакого сомнения в том, что эти занятия наши предки, составлявшие язык, считали тяжелыми, неприятными (работа и раб от одного корня).

---

[1] Ribot. La phisiologie de l'attention. Paris. 1889.



А.С. Суворин. 1880-е

Вклейка 1. Заказ № 5490

Могила Петра Суворина в Коршеве *

Город Бобров. Главная улица. В 3-м доме справа ныне Краеведческий музей **

Город Задонск. Богородицкий монастырь**

Город Елец**

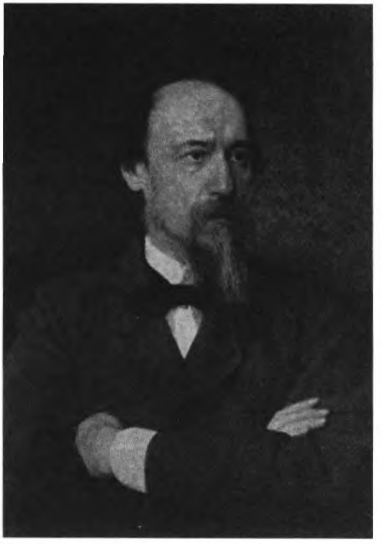
1 Елецъ - Торговая улица.

Елец**

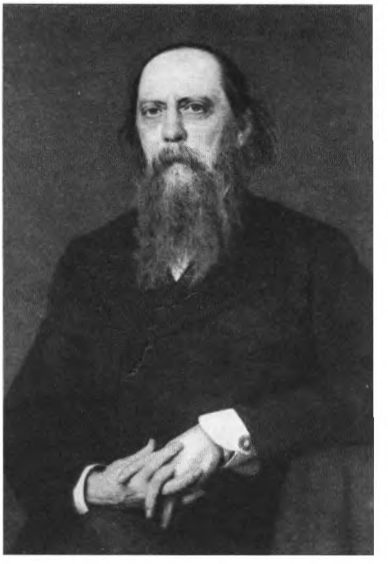
9 Елецъ - Воронежская улица
и Успенская церковь.

Воронеж. На месте ликвидированного после 1917 года Благовещенского Митрофаниева монастыря ныне корпуса Воронежского Государственного университета**

Воронеж**



Н.А. Некрасов.
Худ. И.Н. Крамской.
1877



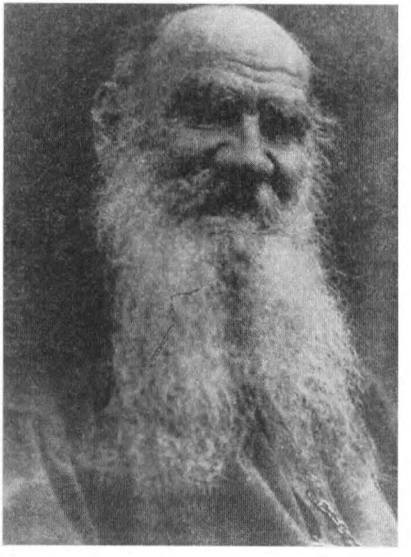
М.Е. Салтыков
(Н. Щедрин). Худ. И.Н.
Крамской. 1879

И.Н. Крамской.
Начало 80-х годов XIX в.

ИВАНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ
КРАМСКОЙ
ЕГО ЖИЗНЬ, ПЕРЕПИСКА И ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ
1837—1887
Алексѣй Суворинъ
Съ факсимиле и 3 портретами.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
1888

И.Н. Крамской.
Его жизнь, переписка
и художественно - критические
статьи. Изд. А.С. Суворина.
СПб. 1888

С.А. Берс,
в замужестве
гр. Толстая.
Сентябрь 1862



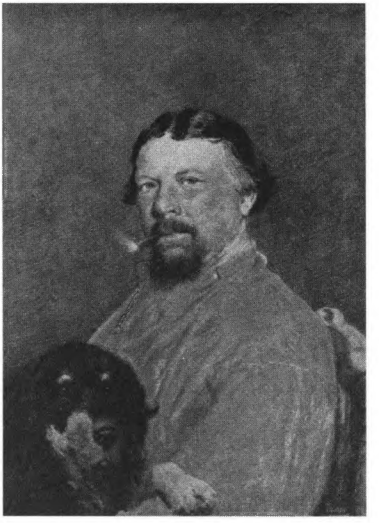
Л.Н. Толстой. 1908

Н.С. Лесков и Д.Д. Минаев.
Нач. 1860-х

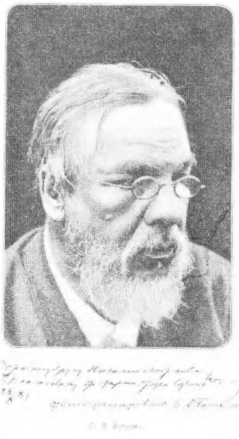
Н.С. Лесков. Нач. 1880-х

Могила Н.С. Лескова
на Волковом кладбище
в Петербурге *

И.Ф. Горбунов. 1879



С.Н. Терпигорев (Атава).
Худ. П.П. Соколов. 1889



С.П. Боткин.1881. Фото Е.А. Боткиной с дарственной надписью д-ру Н.А. Белоголовому

Д.И.Менделеев. 1890

Могила Д.И. Менделеева на Волковом кладбище в Петербурге

П.А. Стрепетова. Худ.
Н.А. Ярошенко. 1884

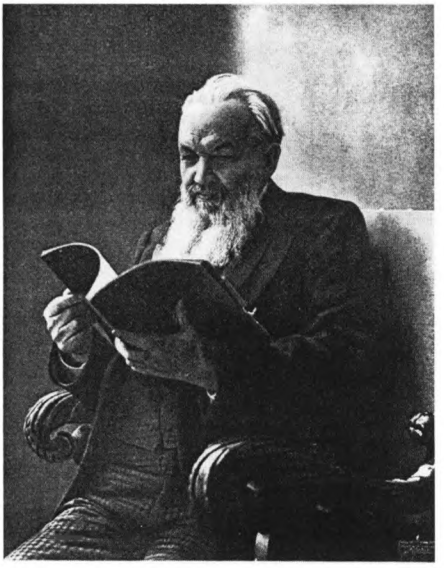
М.Г. Савина. 1878

М.Г. Савина в роли
Татьяны Репиной в пьесе
А.С. Суворина. 1888

М.К. Заньковецкая. 1882

А.П. Чехов.
Худ. Н.П. Чехов
1884

В.Ф. Комиссаржевская. 1890-е



А.С. Суворин. 1900-е

Сухарева башня. Москва.
1890-е ***

Панорама Москвы. 1890-1900-е

Трубная площадь. Москва. 1890-е ***

Москва - Moscou Трубная Площадь - Place Troubnaia.

Новодевичий монастырь. Москва. 1890-е ***

Храм Христа Спасителя и церковь Похвалы Богоматери в Башмакове. Москва. 1920-е ***

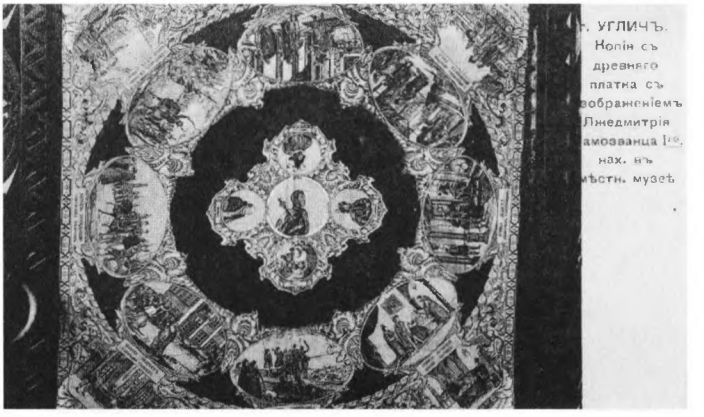
Памятник императору Александру II в Кремле. Снесен после 1917 г. ***

Открытие памятника Н.В. Гоголю в Москве 26 апреля 1909 г. ***

Москва. Памятник генералу М.Д. Скобелеву 24 июня 1912 г. Снесен в 1918 г. ***

Площадь Белорусского вокзала. Москва. 1926 г. ***

Житие Лжедмитрия I в клеймах на ткани. Копия. Хранилось в музее г. Углича



Флоренция, где Суворин и Чехов были в конце марта 1891 г. и где встретили Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус ***

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) возведен в 1883-1907 гг. на том месте, где 1 марта 1881 г. был смертельно ранен император Александр II. Петербург ***

Рудольф Вирхов

Роберт Кох

Жан Мартен Шарко

ПРОФЕССОРЪ ШАРКО

НАУЧНО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ ЭТЮДЪ

ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

А. А. ЛЮБИМОВА

С-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13
1894

Титульная страница очерка о Ж.М. Шарко. Изд. Суворина. СПб. 1894

Петербург. Новодевичий монастырь, на кладбище которого были погребены Н.А. Некрасов и С.П. Боткин. Ликвидирован в 1920-е гг. Храмы и частично некрополь были уничтожены ***

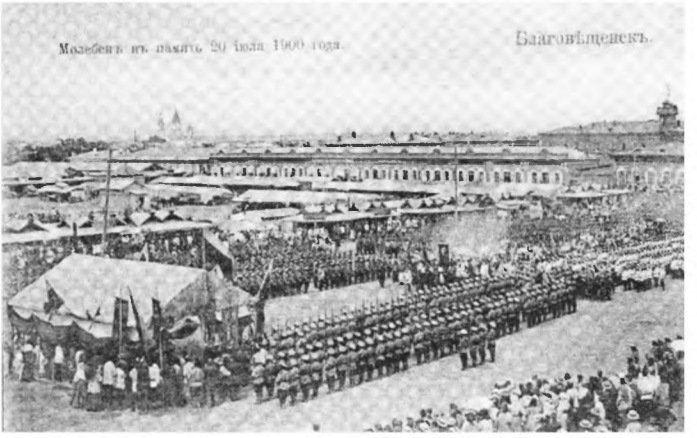
Памятник императору Александру III в Петербурге. 1909. Снят с постамента после 1917 г. ***

Последний российский император Николай II ***

Принц Генрих Прусский, представлявший германского монарха на коронационных торжествах в Москве в 1896 г.

Въезд императорской четы в Москву в 1896 г. на коронационные торжества

Представители печати на коронационных торжествах 1896 г. в Москве. Суворин сидит во втором ряду 6-й слева



Отправка русских воинских отрядов в Китай для участия в подавлении восстания ихэтуаней 1899-1901 гг. **

Отряд самообороны Благовещенска в 1900 г. **

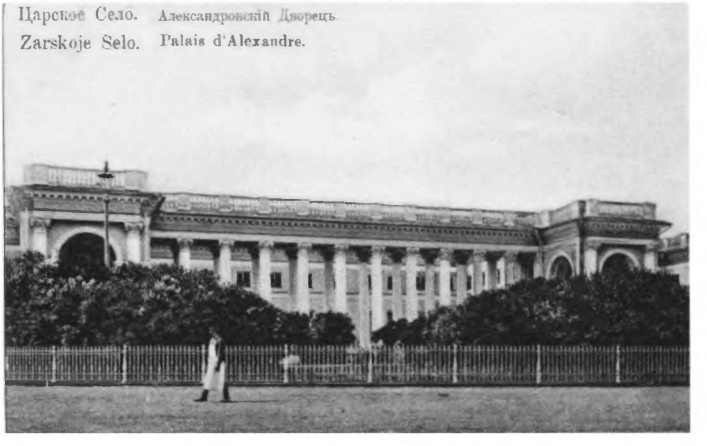
Эвакуация российских служащих КВЖД в 1900 г. **

Памятник русским солдатам погибшим при освобождении Тяньцзиня. 1900-1901 **

Издания А.С.Суворина

А. С. Суворинъ.

Царское Село ***



CATALOGUE

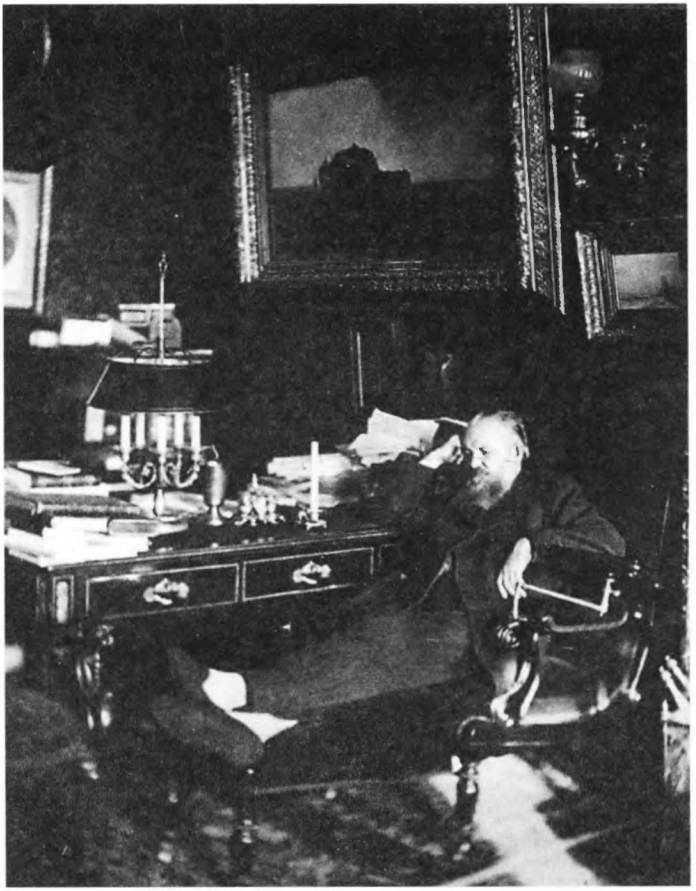
DE LA

SECTION DES ROSSICA

DE LA

BIBLIOTHEQUE DE A. S. SOUVORINE

Александро-Невская Лавра в Петербурге, на Никольском кладбище которой погребен А.С. Суворин ***



А.С. Суворин в своем кабинете. 1900-е

* фото А.Д. Романенко
** из собрания К.Г. Сокола
*** из собрания А.Д. Романенко

Конечно, одна из самых блестящих побед цивилизации заключается в том, что она приучила большую часть людей к мускульной работе, но приучила рабством, бедствиями, розгами, эшафотом. Отвращения к умственной работе остается гораздо больше, и этой работы в особенности люди избегают елико возможно. Рядом блестящих размышлений и разительных фактов Ферреро доказывает, что в цивилизации существует закон «меньшего усилия», т. е. человек склонен везде и всегда употреблять умственные процессы, требующие от него меньших усилий. Он ищет разрешать все вопросы жизни такими способами, которые легче всего найти, которые, так сказать, сами ему подвертываются под руку, хотя бы они составляли только преходящее лекарство. Я думаю, что и тамбовский губернатор употребил весьма небольшие усилия для написания своего циркуляра. Он следовал общему культурному закону «меньших усилий» и придумал первое попавшееся ему средство для собирания недоимок. Критикуя его, мы тоже следуем закону меньших усилий. Земские начальники, читая циркуляр, будут применять его, следуя закону меньших усилий, т. е. с недостаточным вниманием. Крестьяне, со своей стороны, как наиболее ленивые умственно, совсем не станут делать никаких усилий, чтоб понять смысл распоряжений и, пожалуй, объяснять их себе так для нас неожиданно, что придется употребить и большие усилия, чтоб вразумить их. Кто же останется тогда виноватым? Внимание — очень важный вопрос и очень важная способность.

1 (13) июня, №6915

CCXL

Кильский канал, кильские торжества! Немецкие газеты давно уже были полны «военной поэзией». Они говорили, как величественно, красиво и удивительно будет это торжество... «если только солнце не откажет в своем содействии»...

Хотя солнце не рассуждает и, хорошая или дурная погода, не справляется ни с какими расчетами политики; хотя солнце иногда ясно сияет над битвами народов и скрывается, когда царствует мирный труд и радость, но в данном случае солнце не отказало в своем содействии. Поздравляем от всей души немецкий народ с содействием солнца. Погода была великолепная. Берлинское телеграфное агентство Вольфа наполнило целые столбцы русских газет своими телеграммами, из которых, кроме речи императора Вильгельма и великолепной погоды, решительно ничего не выжмешь. Агентство Вольфа так щедро, что доставило целых пять телеграмм о проходе «Hohenzollern'а» из Рендсбурга, Гольтенау, Брунсбютеля, Грюненталя, и одну телеграмму о том, что «Kaiser Wilhelm» сел на мель, с которой, однако, вскоре снялся без затруднения. Как скупо было агентство Вольфа на телеграммы о франко-русских праздниках в Тулоне и Париже! Оно решительно их замалчивало. Не говорю уж о тех пошлостях и глупостях, какие говорила немецкая печать в 1893 году по поводу этих праздников в честь наших моряков и франко-русского союза. Самое дрянное немецкое остроумие было пущено в ход, пивное остроумие последнего разряда. Серьезные газеты старались замолчать, подобно Агентству Вольфа, эти удивительные праздники, с которыми никогда не сравнится Кильское торжество уж потому, что оно исключительно военное, вполне похожее на «парад»: народ в нем не участвует, а только

на него смотрит. Сам император сказал: «Я редко переживал столь величавый прием». Следовательно, ему случалось переживать такие приемы в свое кратковременное царствование, а потому величавый гамбургский прием совсем не исключение. А французы говорили, что тот прием, который сделал Париж русским морякам, а в их лице русскому императору, никто не запомнит, даже не помнил такой старик, как Жюль Симон. Он сам об этом говорил. Было бы приятно, если бы немецкие газеты хоть теперь имели мужество покаяться в своих пошлостях и глупостях, на которые они были тогда так щедры. Ведь нельзя отрицать того, что не прошло еще двух лет, как этот союз уже показал, как он силен и как он полезен для мира, как он удивительно гармонично соединил политику двух государств, столь неровных по своей цивилизации и по многому другому, и, соединив, придал их силам огромное значение. Совместное действие России и Франции совершило даже удивительное чудо — Германия к ним присоединилась, и на время образовался тройственный союз против захватов победоносной Японии. Германия нашла невозможным отделяться, она нашла, что это ей выгодно и действительно это было ей выгодно и с материальной стороны и с нравственной. Кроме того, она этим самым как бы протестовала против своих неумеренных захватов во Франции, когда она была победоносной подобно Японии. Разумеется, ни один немец не думает, что тут был какой-нибудь протест немцев против немцев, но такие заключения могут делать французы с несомненным правом. Как бы то ни было, союз этот удивил Европу и больше всех Англию, которая никак не ожидала ничего подобного. Затем Англия еще раз удивилась, узнав, что Россия и Франция устроили китайцам заем помимо Англии. Германия уж в этом уговоре не участвовала, ибо это было домашним, так сказать, внутренним делом двух близких союзников, их совместной финансовой операцией. О, какой змеиный шип раздался по этому поводу в газетах и даже в английском парламенте, где спрашивали с трибуны, почему Батум, вопреки Берлинскому договору, перестал быть порто-франко? Ах, Боже мой, да просто потому, что перестал, перестал по воле русского императора, который волен в своей стране поступать так, как требуют честь и выгоды его страны.

Я не совсем понимаю, для чего император Вильгельм II пригласил представителей всех морских флотов на это торжество? Хотел ли он произвесть смотр всем флотам или хотел он показать всем флотам свой флот? Я думаю, *что* он будет говорить в своей речи? Будет ли он говорить о войне или о мире, или о войне и мире вместе? Известно, что мир приготовляет войну, а война приготовляет мир. Чем больше государства походят на ежей, выпустивших свои «стальные щетины» и свои брони, тем мир обеспеченней и крепче. Так чудесно это сочетание противоположностей. И в речи его величества действительно проведена эта идея. «Вооруженные бронею морские силы, собравшиеся в Кильской гавани, должны также быть символом мира и совместного действия всех цивилизованных народов, дабы европейская культура оставалась на подобающей ей высоте». Так он сказал. Войска и флот — символ мира. L'empire c'est paix, говорил Наполеон III. L'armée c'est la paix. La flotte c'est la paix. Эти выражения откровеннее. Европа еще в той стадии, где культура развивается под сенью штыков. «Моря не разлучают, моря соединяют», сказал император. Но суша соединяет еще больше, ибо по ней ходить безопаснее и ходить всякий может, а по морю можно только плавать. Итак, если б сказать: «Моря и суша не разлучают, а соединяют», то не было бы

императорской фразы: «моря соединяют, а не разлучают». Самая верная фраза была бы такая: «мир соединяет, а война разлучает». Но этой фразы германский император не сказал — он вспомнил о другом соединении, которое совершилось во французском городе Версале, после кровопролитной войны, именно о соединении Германии.

Дай Бог мира, долгого, вечного мира, и пусть соединенная Германия 5 так же мирно его поддерживает, как поддерживает его союз России и Франции.

10 (22) июня, № 6924

CCXLI

Нисколько не ошибается князь Мещерский, говоря, что у «Нового Времени» «есть свое собственное министерство иностранных дел, свои собственные дипломаты и своя собственная иностранная политика», как и «свое собственное министерство внутренних дел и своя внутренняя политика». Я не понимаю, как можно обойтись газете без своей иностранной и внутренней политики и не вижу тут никакой «схизмы», никакого «сепаратизма», как выражается почтенный князь. Конечно, наши «собственные» министерства иностранных дел и внутренних дел очень маленькие и очень скромные, но они несомненно существуют в каждой газете, сколько-нибудь претендующей на значение в обществе. Но из этого, однако, вовсе не следует, что мы стоим вне тех интересов, которые преследуют министерства иностранных и внутренних дел, существующие для всей Российской империи. Мы только пользуемся высочайше дарованным нам правом высказывать свои мнения, свои пожелания, свою маленькую критику. Конечно, иногда мы, быть может, слишком идеализируем задачи того или другого министерства, недостаточно принимая во внимание практику жизни государственной. Но это не только никому не вредит, но иногда, по крайней мере, помогает, приготовляя общественное мнение внутри и вне по тому или другому вопросу, указывая на те или другие нарождающиеся потребности. За продолжительную свою журналистскую деятельность я не могу указать ни одного вопроса внешней политики, которому помешали бы газеты, несмотря на то, что довольно часто газеты или совсем не сходились с министерством иностранных дел во взглядах на те или другие вопросы, или слишком его опережали. Я мог бы указать на важные вопросы, которые, являясь в печати в известном освещении, не находили себе не только сочувствия у гг. дипломатов, но находили противодействие, и мнение печати считалось действительно «схизмою». Но проходили годы, а иногда только месяцы, и «схизматическое» мнение печати постепенно принималось дипломатами и являлось «ортодоксальным». Таким образом печать только «преждевременно» считала известное мнение ортодоксальным. Конечно, у печати есть свои ошибки и даже большие ошибки, но у кого их нет? Стоит прочесть историю XIX века, чтоб насчитать этих ошибок вволю, и их едва ли не было более в то время, когда печать ничего не говорила и не имела никакого значения.

Свои упреки в «схизме» и «сепаратизме» издатель «Гражданина» приурочивает к последним событиям, поднявшим вопрос о франко-русском «союзе». Французский министр произнес слово «союз» в Палате, мы это слово повторили. Но мы

произносили это слово очень часто и особенно часто во время франко-русских праздников в Париже. Никому от этого никакого вреда не было. Тройственный союз между Германией, Австро-Венгрией и Италией существует гласно, если не в целом составе, то, по крайней мере, в нескольких существенных пунктах. Союз этот существует «на пользу мира и в честь цивилизации», употребляя выражения германского императора. Почему «на пользу мира и в честь цивилизации» не может существовать союз между Россией и Францией так же гласно, как между Германией, Австро-Венгрией и Италией? Я этого понять не могу. Россия и Франция нисколько не хуже, чем другие три государства. Они так же вполне независимы, они так же желают мира и культурных успехов, они так же ходят вооруженные, как и члены Тройственного союза. И если каждый народ обязан уважать другой народ, то и Тройственный союз может только уважать двойственный союз и наоборот. И если в японском деле Германия примкнула к двойственному, то тем самым она только доказала, что считала действие двойственного союза вполне справедливым и вполне культурным делом.

Не этим ли открытым путем взаимного уважения, взаимных уступок и взаимного действия возможно отдельные союзы обратить в единый европейский союз держав, которые, сохраняя свою внутреннюю независимость и свои политические формы, обяжутся вместе призвать силою к порядку того, кто поднимет оружие в Европе. Такой союз, быть может, стоит уже впереди и ждет своего осуществления, когда союзы, тройственные и двойственные, потеряют свой raison d'être. Эти два союза только открывают пути единому европейскому союзу, действуя для мира и для чести цивилизации.

11 (23) июня, № 6925

CCXLII

Недавно я был в Москве и проникал за Москву с намерением сделаться маленьким землевладельцем, приобрести себе где-нибудь усадьбу, с парком и рекой, и прожить в деревне лето... Уж сколько лет мне хочется в деревню, сколько раз я посягал сделаться помещиком, сопричислиться к тому классу русских граждан, имения которых с молотка продают. Но мне это не удавалось и, вероятно, не удастся. Не то я не умел искать, не то искал не особенно прилежно, не то цены меня останавливали, не то заграница привлекала слишком часто — только я остался горожанином и мое имя не будет значиться в этих бесконечных списках русских помещиков, имена которых печатает Дворянский банк каждую весну. Соловей поет в деревне, а в городах с поземельными банками молоток аккомпанирует...

На меня этот концерт производит печальное впечатление. Никогда не был помещиком, я, однако, очень легко могу себе представить, что это за удовольствие видеть себя напечатанным в этой похоронной свите Дворянского банка. Я могу себе представить, что значит найти деньги для уплаты процентов по ссуде, я могу себе представить, что значит лишиться постоянного, насиженного, любимого угла... Мне рассказывали в Москве, как мужики в одном орловском имении, где управляющий-поляк изобретал всевозможные средства для того, чтобы сделать им жизнь невозможною, принужденные идти в переселение, прощались с своей землей. После напутственного молебна они плакали, целовали землю,

разговаривали с ней теми причитаниями, которыми разговаривают с умершими. Они не скрывали своего горя и не боялись показаться «смешными», как скрываем свое горе, боясь быть «смешными», мы, образованные люди. Но это не мешает нам страдать так же, как страдают эти мужики, а может, и больше...

Попробуем в этой печали разобраться.

Со времени освобождения крестьян идет тридцать пятый год. Возьмем десятилетних юношей-дворян в день 19 февраля 1861 года и всех тех, которые родились в этом году. Из этих десятилетков ко дню освобождения и новорожденных в год освобождения наверное состоит огромное большинство помещиков; когда новое поколение подходит к тридцати пяти и сорока пяти годам, старому в это время от пятидесяти восьми до шестидесяти восьми лет, предполагая, что раньше двадцати трех лет женятся очень немногие. Значит, большинство теперешних помещиков, не покупали «душ» и не продавали их; они получили имения по наследству, совершенно невиноватые ни в каких крепостных провинностях. Но вместе с имениями они получили обязанность на труд, который не знали их отцы и к которому никто их не готовил, ни родители, ни государство. Они приняли на себя все последствия освобождения, все случайности внутренней политики, которая выходила из этого акта, всю борьбу, которая была необходима для того, чтобы поставить имения в новые условия и сделать их доходными. Их встретила иная, более сложная, более ответственная и тяжелая жизнь, где необходимы были и опыт, и знания, и расчеты, — вся та трудная задача вести сельское хозяйство, которую из книг не вычитаешь, да и книг-то таких нет. И это в бедной стране, среди бедных жителей, среди работников, даже питающихся впроголодь, среди круглого невежества, без школ, без промышленности, без дешевых орудий. Положение этого поколения дворянства, не знающего что такое крепостной труд и что такое беспечальный комфорт при крепостном праве, конечно, было трудное и есть трудное. Не забывайте к тому же, что на многих имениях лежали долги, что ко дню 19 февраля 1861 г. из одиннадцати миллионов крепостных душ семь миллионов, т. е. 65,5% было уже в залоге. Выкупные деньги проедены и потрачены опять-таки отцами большинства нынешних помещиков. Таково это дворянское наследие. В 1870 г. было только два земельных банка, и в них было заложено немного более одной тысячи имений. В 1875 г., после учреждения новых, одиннадцати земельных банков, число заложенных имений простиралось уже до одиннадцати тысяч. В настоящее время, как говорят, свыше сорока тысяч имений заложено. Из ста пяти миллионов десятин, которыми владело дворянство до освобождения, теперь осталось едва ли больше шестидесяти пяти миллионов десятин в этом владении. Остальное (сорок пять миллионов десятин) перешло, с помощью выкупа, к крестьянам и, продажею, к купцам, мещанам и проч. Заложено, вероятно, больше трети дворянской земли.

Но, однако, господа, шестьдесят пять миллионов десятин равняется почти шестистам пятидесяти тысячам кв. верст. Это пространство больше Франции, больше Англии с Ирландией и почти равно пространству Австро-Венгрии. Целая великая европейская держава во владении дворянства! Чего лучше?

Эти вычисления я делаю по поводу вчерашнего «Дневника» князя Мещерского. Продажа имений Дворянским банком напомнила ему Робеспьера. Чтоб не особенно напугать этим именем, он спрашивает:

«Что общего между кровожадным вождем революции 93 года и управляющим Дворянским банком в Санкт-Петербурге сто два года спустя?» Другими сло-

вами, между Робеспьером и графом Кутузовым, одним из наших симпатичнейших поэтов. «Общего — дворянские головы», отвечает князь Мещерский. Во Франции они падали во имя революции, у нас «склоняются под ударами молотка» и «переходят из разряда дворян своей губернии в категорию бездомных пролетариев земли русской... Двадцать лет назад этот банк (Дворянский) рождался как якорь спасения, и тень Пожарского, казалось, осеняла его своим духом животворящих заветов и преданий! Двадцать лет спустя совершаются в этих же залах дела Робеспьера». К счастию, почтенный князь переходит не от менее страшного к более страшному, а наоборот, и продолжает так: «Но Робеспьера нет: в этом-то и замечательная ирония судьбы. Казнь совершают люди, которым жаль своих жертв». И хотя далее он и выясняет, что есть Робеспьер, но этот Робеспьер «невидимый, бестелесный» и состоит он «из непостижимого, сословного равнодушия дворянства к новой судьбе», из всех его «слабостей, эгоизма, беспечности» с «бесчисленными проявлениями прогресса, ломавшего на пути своего победоносного шествия все старые позиции дворянства».

Выходит, что Робеспьер-то никто другой, как само дворянство в связи с новыми, после-крепостными условиями жизни. Мне же кажется, что все дело в истории, в ее неизбежном ходе. Я бы сказал в «беспощадном» даже, но история есть жизнь, а в жизни есть и беспощадное и радостное, умирающее и рождающееся. Не дворянство виновато, а виновата история, с которой взятки гладки. Таким образом, слово Робеспьера как нечто грозное и ужасное и «дела Робеспьера», совершаемые в залах Дворянского банка, — это просто поэтическая вольность, написанная князем Мещерским» нервно, с лиризмом, как плач по умершим и умирающим. Но дворянство остается, и владения его доселе еще составляют по своему пространству одну из великих держав. Если треть этих владений заложена и перезаложена, если даже все эта треть будет продана — а мы знаем, как щедра правительственная помощь и как часты отсрочки, — то, во-первых, нельзя забывать, что между покупщиками будут и дворяне, во-вторых, все еще остается дворянской земли около пространства Франции. А на таком пространстве еще можно процветать превосходно и многие и многие годы. И я уверен, что на этой земле работают люди, начинающие усваивать себе все то, что необходимо для землевладельца и чего не доставало их дедам и отцам; вымирают старые, вымирают те, которые не могли приспособиться к новым условиям жизни, которые не выдержали тяжелой борьбы или были особенно несчастливы, но остается еще много таких, которые постоят за себя, постоят за свою землю и с честью выйдут из того кризиса, который переживают теперь. Я позволю себе еще вернуться к этому сюжету, так как в «Дневнике» задевается вопрос о соотношении дворянства с монархизмом, вопрос, которым злоупотреблять не позволительно.

18 (30) июня, № 6932

CCXLIII

Я очень рад болгарской депутации и тому, что встречают ее так радушно, так дружески. Когда в прошлом году я послал корреспондента в Болгарию, «Московские Ведомости» обвиняли меня просто в государственной измене и нагово-

рили пропасть всяких глупостей. Наши читатели, напротив, встретили эти корреспонденции г. Амфитеатрова с удовольствием и по ним познакомились с болгарскими представителями и болгарскою политикою, если хотите. Наши корреспонденции были очень кстати. Они были пробным шаром и для болгар, и для русских. Принц Фердинанд принимал нашего корреспондента и излагал ему свои взгляды и подробности своей великой победы над Степаном Стамбуловым: это было не взятие Стамбула, а только взятие Стамбулова. Сам этот болгарский Бисмарк в миниатюре и карикатуре рисовался в своих речах умным болгарином, хватившим через край в неблагодарности к России и получавшим как бы в отместку неблагодарность своих креатур, которая была ему тем больнее, что он чувствовал свое бессилие отомстить и утешался злобными словами, что он оттолкнул Болгарию от России на пятьдесят лет. Конечно, и теперь он продолжает думать так же, ибо в отставке нет ничего лучше, как ворчать и со страстным вниманием следить за политикою своих наследников и желать им провалиться. В такой маленькой и молодой стране, как Болгария, где крайности партий не смягчаются вековою культурою, эгоизм политический не знает пределов.

И вот у нас болгары снова, гораздо ранее пятидесяти лет. Они явились как раз в то время, когда русская политика торжествовала свою победу над Англией и бросала золотой мост в Пекин, и когда из далекой Абиссинии явилась депутация к русскому царю. Петербург явился центром Востока, и русский государь пожинает плоды мудрой политики своего родителя и своих молодых, полных искренней смелости начинаний. Совпадение этих депутаций с золотым мостом в Пекин может только способствовать русскому добродушию, которое так характерно выражается пословицей: кто старое вспомянет, тому глаз вон. А старое — всегда наука, и без науки не проживешь. Но науку надо принимать прямодушно, без злобы, без злопамятности особенно. Мой политический друг, Д. И. Иловайский, этот полу-историк, полу-фельетонист, приветствует меня и «Новое Время», по поводу болгарской депутации, злобными выходками, к сожалению до того лишенными ума, что наши слова об «окладистой русской бороде» у одного из болгар он принимает за политическую рекламу Болгарии. «Новое Время» он называет «непрошеным адвокатом *виноватой* Болгарии». Но, Боже мой, эта непрошенность-то и хорошая наша черта. Плохое дело, когда просят о защите. Мы — искренние люди и говорим, что думаем, не ожидая того, что нас попросят. Когда нас попросят, тогда мы, может быть, и не сделаем ничего. Я начал «Новое Время» искренним призывом в пользу освобождения Болгарии. Единственный раз в своей жизни я участвовал на тайной политической сходке — и это было среди болгар, в Бухаресте, в каком-то таинственном помещении в 1876 году. Вместе с болгарином я переплыл в том же году на утлой лодчонке через Дунай, на границе Болгарии и Сербии. И много, много хороших минут вспоминается мне из того времени, минут искреннего энтузиазма, которым охвачено было и русское общество. О, не жалейте тех высоких минут, того самопожертвования, чистого, глубокого, того энтузиазма, который владел тогда нами всеми. Никогда энтузиазм не проходит бесследно, никогда высокое благородство народа не расточается даром. На нем только растет любовь, на нем созидается солидарность народов, их мир и счастье. Если б Русь была неспособна на это, несчастная была бы это страна. Не все деньги, не все материальное богатство, выгоды — надо и любви, надо всепрощения.

К принцу Фердинанду я довольно равнодушен, и напрасно почтенный полуисторик, потерявший надежду стать когда-нибудь целым историком, намекает,

что мы «за признание его». Это дело высокой политики, дело нашего государя и его министров. Принц Фердинанд не вечен, а Болгария, надеюсь, вечна. Принц Фердинанд разыгрывает в настоящую минуту роль политически умершего, удалившегося в Карлсбад на водопой, а Болгария празднует дружеский прием депутации Петербургом. Я эти различия не могу не заметить. А выше всего я ставлю мир и уверен, что такой великан, как Россия, может смело игнорировать уколы маленьких государственных людей и маленьких государей, ради мира, ради солидарности народов. На днях князь Бисмарк сказал одному корреспонденту: «правительства — миролюбивы, а народы — воинственны; без постоянных усилий правительств, народы бросились бы друг на друга». Но не менее Бисмарка знаменитый Вирхов, напротив, сказал: «прежде всего надо оставить в покое правительства и парламенты. В том виде, как они устроены теперь, от них нечего ждать и нечего на них надеяться. Мы должны действовать не на парламенты, но на общество. В нем мы должны искать опоры своим мирным стремлениям». У нас и правительство, и народ миролюбивы, и правительство и народ не злопамятны. Хотя в этом разговоре с князем Бисмарком и князем науки дело шло о европейском разоружении, но я думаю, что эти слова не без значения и в нашей беседе по поводу болгарской депутации.

Принц Фердинанд, его министры и парламент болгарский — одна сторона, но есть другая сторона — народ, общество, и сюда мы должны преимущественно направлять свои мирные желания, свои симпатии, свои слова дружбы и ободрения. Не народ наступал нам на ногу, и если мы приветствуем болгарскую депутацию, то приветствуем в ней болгарский народ, приветствуем всех тех, кто помнит наши жертвы, наш энтузиазм, с которым мы шли на освобождение Болгарии и без которого самой Болгарии не было бы...

30 июня (12 июля), № 6944

CCXLIV

Из страны солнца я приехал в страну бессолнечного неба. Там океан со своим приливом и отливом, со своей постоянно то набегающей волною, то отступающей. Нигде вечное движение так не ощутительно, как на берегу океана, нигде воздух не наполнен вечным, никогда не прерывающимся шумом, как там. У моря есть спокойные часы и дни, когда оно не плещет о берег и на берегу его так же тихо, как на берегу реки. Но по берегу океана никогда не бывает этой тишины — там вечный, непрерывный шум. Волна постоянно идет на берег, то открывая его иногда на сотни метров, то закрывая его и брызгами и пеной достигая вершины высоких скал. Это — подобие настоящей жизни, которая должна быть вечным движением.

Вы понимаете, что океан этот в Биаррице. Вы знаете, что в Биарриц съезжается множество русских — так много, что биарроты говорят, что русские оставляют там больше денег, чем англичане. Целые миллионы франков оставляем мы там. И кого только там ни встретишь — и фабрикант, и купец, и банкир, и генерал, и министр, и великий князь, — все сословия, даже есть мужики, пробирающиеся туда с мехами и выкликающие на улицах: «бон маршандиз». Три года тому назад жид из Могилевской губернии продавал там одеяла из шелковых оческов,

выдавая их за московские, и откровенно говорил русским: «мы покупаем эти одеяла в Лионе, а говорим, что это «москова», — лучше покупают». Тогда как мужики наживают, мы проживаем, но, может быть, наживаем лишние месяцы и годы жизни. А жизнь — хорошая вещь, и потому трата денег в землях иностранных дело очень естественное, и патриоты напрасно стали бы говорить против этого. Во всяком случае, никто бы их не послушал и никто бы не поверил, что в русских курортах лучше. В русских курортах несомненно хуже. Я даже думаю, что это постоянное движение русских за границу очень полезно не для здоровья только, не для ума только и сердца, но даже для патриотизма. Смею вас уверить, что это так. Русские теперь и за границей уже несомненно нечто заметное, нечто имеющее значение. Есть там *что* видеть нам, что послушать, и есть там и нам *что* сказать про себя, про свою жизнь, про наши успехи, про наши надежды, про наши идеи. Русский легко сходится не только с французом, но и с иностранцем вообще, и чувствует то равенство, которое так необходимо для самосознания нашего. Между собою мы браним наши недостатки, нашу отсталость, но с иностранцем мы чувствуем общие или противоположные интересы и становимся на твердую почву наших достоинств, как народа и государства. И это является уже как-то само собою, без всякой преднамеренности, как это бывает у характеров уже сложившихся.

Я люблю встречаться с русскими за границей. Мы там лучше, проще, душевнее, искреннее. Внешние отличия службы, общественного положения и проч. устраняются общим режимом, питьем вод или купаньем. Самые недоступные у нас дома, в Петербурге, — там, очевидно, сами чувствуют потребность в сближении, в знакомстве, в обмене мыслей. Оно и понятно, ибо дома у всех множество дела или того безделья, которое отнимает множество времени на пустые, но обязательные визиты, разговоры и т. д. За границей это упрощается, и русские люди очень любезны. Мне думается, что если бы, например, в Биаррице собрать какой-нибудь конгресс из россиян для обмена мыслей, то этот конгресс вышел бы одним из самых удачных, даже в том случае, если б в нем участвовали дамы, разумеется, исключая тех дам, которые дерутся из-за любовника, несмотря на то, что они — аристократки.

И вот несколько часов — и Париж. В Париже была теплая осень, с перепадавшими дождями, и был наш министр иностранных дел. Еще Пушкин сказал, что осень — лучшая пора для творчества. Думаю, что это верно и относительно нашего министра. Были там наши офицеры, приезжавшие на французские маневры и рассказывавшие о них. Говорят, большое впечатление производил генерал Драгомиров, и о нем много было писано. Но я ничего не читал. В течение года так много читаешь и пишешь, что два месяца в году можно позволить себе удовольствие не читать и не писать.

Видел я в Париже «Demi Vierges» на театре «Гимназии» и «Les tenailles» на театре «Французской комедии». В первой пьесе, переделанной из романа и неизмеримо более благопристойной, чем роман, удивительно хороша г-жа Гадинг, а во второй — г-жа Брандес. Смотрел я репетицию новой пьесы хорошо известного у нас Поля Деруледа. Пьеса называется «Дюгеклен», это — французский герой XIV века. Первые два акта, которые только и репетировали, мне очень понравились. Пьеса полна политическими намеками и согрета сильным патриотическим чувством. Затем я заключил контракт с Сарду на новую его пьесу для нашего литера-

турного Малого театра, которая явится на нем одновременно с Парижем, причем Михайловский театр может ее поставить только месяц спустя, после того, как она явится в русском переводе на Малом театре. Прошу извинения у французских актеров Михайловского театра за это маленькое ехидство.

В Берлине было холодно и дожди. Некоторые господа мрачно предсказывают на весну войну из-за восточного вопроса. Дело, стало быть, будущего. Желая иметь некоторое понятие о своем будущем, я был у проф. Лейдена. Очень симпатичный доктор, с добрейшей улыбкой, совсем белокурый, как С. П. Боткин. Он посоветовал по вечерам отдыхать в театре, а я подумал: «ах, если б можно было отдыхать в театре».

Вот, наконец, русская граница и здание покровительства русской промышленности и торговле. Вы знаете эти здания, состоящие в министерстве финансов и ненавистные, как застенки? Они называются таможнями. У нас на них так же строго, как на германских, стоящих на границе с Францией.

Приезжаю в Петербург — биржевой крах. Поздравляю. Умилительны запоздалые наставления: «а, голубчики, попались! Говорили вам: не играйте. Не слушались. Ну, теперь вот и расхлебывайте!»

Печальные последствия свободы обогащения. Ведь биржа и банки свободные, хотя, несомненно, жидовские учреждения. Это — г. Шейлок, знаменитый венецианский жид, их учредил и живет доселе, директорствуя в банках, играя на бирже наверняка, раздавая финансовые советы государственным людям, издавая газеты, подкупая газетчиков, устраивая займы и конверсии, уверяя, что девальвация — чудесное дело, что биржевые крахи — чудесное дело, ибо во время их можно ловить в мутной воде рыбу, со всего и со всех взимая проценты, одним словом, вырезывая не только живое мясо, но и живые сердца. Только восторженные глупцы и актеры воображают, что великий поэт хотел изобразить несчастного человека в Шейлоке. Нет, он изобразил в этом жиде губителя и отравителя жизни.

Однако, я хотел сказать о биржевой игре. Уж если оберегать публику основательно, то надо, при всяком подъеме или понижении акций, печатать во всеобщее сведение, в каком положении находится то или другое предприятие. А то происходит какая-то вакханалия целые месяцы, потом — крах и наставления. Наставлений и нравоучений обыкновенно никто не слушает, а дело будут слушать. Вот, не угодно ли, завод Буэ не существует еще, надо целый год для самой его постройки, а акции его выросли, как говорили мне за границей, же невероятно. Отчего бы тотчас не сказать публике: господа, завод-то еще не построен, погодите маленько. Скажут, что если разглашать коммерческие тайны, то всякая промышленность будет чувствовать над собой невероятный гнет и невыносимый произвол. Стало быть, так поступать невозможно, т. е. обнародовать постоянные сведения о предприятиях? Невозможно. Стало быть, увещания, предостережения и послесловия не остановят биржевой игры? Не остановят, но предостерегут...

Сомневаюсь. Не сомневаюсь только в одном, что этот крах очень на пользу богатым людям и банкирам. Они выдержат, купят по низким ценам бумаги и затем опять их станут поднимать с бешеной постепенностью...

Мастера, черт возьми! Но и вы, господа, не робейте. Все равно помрем, без денег и с деньгами. А если храбрость где нужна, то именно в эти биржевые грозы, самые бессмысленные явления жизни...

12 (24) октября, № 7048

CCXLV

Прочитал несколько статей о биржевом крахе. В одной говорится очень дельно о причинах спекуляции. Эти причины: 1) в обширных конверсионных операциях с нашими государственными бумагами, т. е. замена 6-%, 5-% и даже 4— и 3,5-%; затем конверсии железнодорожных и ипотечных облигации и закладных листов. Уменьшился доход владельцев этих бумаг, и отсюда естественное желание найти новые бумаги, которые давали бы больший дивиденд; 2) выпуск новых акций в предприятиях уже существующих, который давал прежним акционерам огромный барыш. Увеличивали складочный капитал этими новыми акциями, причем владельцы старых акций получали новые почти по нарицательной цене и могли тотчас перепродать их по цене вдвое более высокой; 3) правительственные заказы разным заводам. Спекуляция направила игру на предстоящий доход от правительственных заказов, и, как я говорил вчера, акции еще не построенных заводов стали расти с невероятной быстротой.

Этих причин довольно для того, чтоб если не оправдать публику, то во всяком случае объяснить ее вмешательство в биржевую игру. Переход от искания более выгодного помещения денег к биржевой игре весьма незначительный, почти незаметный. Он совершался почти сам собой для тех лиц, которые должны были ознакомиться поневоле с биржевыми ценностями. И пошла «писать губерния». В данном случае надо понимать это и буквально. Слухи о биржевой игре, о легкости, с какою наживаются состояния, проникли и в провинцию, откуда и посыпались заказы. Если когда-нибудь нас посетит *настоящий* крах, какие бывали за границей, то это будет дело чудовищное по своим размерам и последствиям. Нынешний крах, в сущности, дело не столь важное, как о том говорят. Во время *настоящих* крахов обанкручиваются банки, за ними летят предприятия, фабрики и заводы, имевшие дела с банками; остается без работы масса лиц, и масса мелких и крупных состояний гибнет безвозвратно. Ни о чем подобном теперь у нас речи нет, слава Богу. Публика испугалась. Дамы, игравшие на бирже, — есть между ними аристократки, — забили тревогу и подняли шум. Банки потребовали дополнительных взносов от своих заказчиков. Кредитных бумажек мало, но, конечно, несправедливо утверждают, что они все ушли на спекуляцию. Их много ушло на дело, на нижегородскую ярмарку, на хлебную торговлю, на промышленность.

В нашем маленьком крахе, во всяком случае, пострадает наименее невинная половина людей более или менее состоятельных, т. е. имеющих возможность затратить несколько тысяч на покупку бумаг. Богатые люди, банки, биржевые дельцы, все эти господа не только не проиграют, но выиграют. Они, конечно, прекрасно знают, *когда* именно следует продавать бумаги, *когда* надо начать их покупать. Они прекрасно знают, что делается в правительственных сферах, что подготовляется, какой завод получает заказ и в каком количестве и какой не получает, какое акционерное предприятие на ходу, и по какой цене расписываются акции между учредителями, и по какой они пускаются на биржу. Заправилы биржевой игры весьма хорошо осведомлены обо всем том, что делается в министерских канцеляриях. Покойный П. И. Губонин рассказывал мне, лет десять тому назад, когда я встретился с ним в Гурзуфе, что он платил по несколько тысяч

рублей жалованья разным генералам военным и статским, обязанность которых заключалась в том, чтоб докладывать Губонину о том, что делается в разных министерствах, какие предприятия затеваются, о чем говорят в кабинетах министров, в выдающихся великосветских гостиных, у влиятельных дам и кавалеров и т. д. Это были, так сказать, его чиновники особых поручений. Хорошо поставленные в обществе люди, имеющие приезд к министрам и имеющие возможность между разговорами узнавать многое, при случае даже замолвить словечко в пользу своего хозяина, деньги брали недаром, если на сто процентов всякого вздора они приносили только пять процентов основательных сведений. Если бы вы узнали за день прежде всех о том, что министр утвердил такую-то промышленную сделку или сделал заказ такому-то заводу, вы имели бы возможность в один день нажить порядочный капитал. При таких условиях как же мы, публика, можем конкурировать с этими господами? Мы всегда проиграем или выиграем только случайно, а потому нам, публике, всего лучше и безопаснее держаться подальше от спекуляций.

Когда я приехал, мне указали на заметку в «Новом Времени», которая будто бы способствовала падению железнозаводских акций, между прочим, брянских. По справке оказалось, что эта заметка прислана, и в печати об этом сказано, от «совещательной конторы железнозаводчиков». В этой конторе заседают очень крупные представители железных заводов, в том числе брянского. Неужели им самим хотелось уронить свои акции оповещением о том, что такие-то заводы имеют правительственные заказы в достаточном количестве, а такие-то оных не имеют? Если этим господам хотелось уронить эти акции, то, конечно, для того, чтоб скупить их по низкой цене. Так рассуждают те, которые мне жаловались на появление этой заметки. И я думаю, что они правы делать такое предположение, может быть, и неосновательное. Естественно, что лицам, заседающим в этой «конторе», хорошо известно, какие заводы нуждаются в правительственных заказах; им также известно *прежде всех,* какому заводу дали или обещали и в каком размере тот или другой заказ. Поэтому, если кому угодно играть акциями железнозаводскими, тот должен за справками обращаться в эту контору и просить там же советов. Список этих господ напечатан у нас же в № 7039. Так как, по всей вероятности, члены этой «конторы» — люди весьма любезные, то я рекомендую дамам-биржевикам обращаться к ним.

Во всяком случае этот образчик сведений, поваливший акции, доказывает, в какой зависимости от правительственных заказов находятся акции железнозаводчиков и как невинна публика во всем том, что касается биржевой игры.

14(26) октября, № 7050

CCXLVI

Последние дни — дни тревоги, возбужденного состояния русского общества, или, вернее, петербургского. Что думает и делает провинция — об этом мы мало знаем. Во всяком случае, Петербург — пульс России, если не сердце ее, которым считается Москва. Пульс, конечно, зависит от сердца, но мы не в области анатомии и физиологии, а в области политической жизни. Я говорю, конечно, не о бирже и не о тех волнениях, которые причиняют многим падение бумаг, даже,

как говорят, наиболее верных, с верным дивидендом, уже и теперь, до конца года, заработанным и точно вычисленным. Я говорю о политических положениях, благодаря армянской агитации в Турции. Молчали, молчали армяне и подали свой голос. Они хотят армянского царства, независимости и содействия всех держав. Кого я ни встречал в эти дни, разговор сводился к армянам и к войне. Да, именно к войне. Вот краткое содержание того, что я слышал:

Боже мой, да неужели мы будем проливать свою кровь за армян? Мало что ли, пролили мы своей крови в одно это столетие за разные народы и за интересы, нам совершенно чуждые? Неужели и конец этого столетия мы ознаменуем тем, что плоды трудов своих и усилий, молодую кровь сынов своих бросим под ноги армянским миллионерам и честолюбцам, которые из мухи делают слова? Да если б и действительно армянам в Турции жилось не хорошо, что нам за дело? Разве нам самим так хорошо, так мы богаты, так полны жизнью и довольством, что нам от преизбытка сил ничего не остается, как сражаться за армян и просить им независимости? Да сохрани нас от этого Бог. В свое время все придет, но подчиняться этой агитации, этой лжи, несущейся из наемных газет, из комитетов, образованных на армянские деньги — последнее дело. Русский народ знает об армянах очень немногое, не выходящее из области торговли кавказскими товарами и ростовщичества. У нас нет никаких связей, ни исторических, ни племенных, с этим народцем, главари которого мечтают об армянском царстве и очищении Кавказа от русского элемента. Стоит прочитать армянские заграничные органы, чтоб увидеть, какие надежды питают армяне и как мало они дорожат русскими интересами. Только ведь в этих органах — вся та правда, которую исповедуют армяне, и все те надежды, которые в иных органах тщательно прикрываются благонамеренностью и лицемерием. Вооружившись лицемерием, они ничего более не желают, как вовлечь Россию в войну и воспользоваться не только ее результатами, но и ее существованием, в течение которого они будут подрядчиками, поставщиками плохого продовольствия для армии и т. д.

Такие речи не требуют комментариев, а я их передаю еще в форме значительно смягченной.

Русскому народу надобен только мир, продолжительный и прочный. Только мир даст нам то, что нужно, а всякая война будет равняться обеднению. Нам надо набираться сил для внутреннего преуспеяния, для развития наших богатств и нашего просвещения. Мы достаточно широко развили наши пределы, и заботиться о новых приобретениях — значит недостаточно дорожить настоящим и недостаточно разумно его понимать. Конечно, нам необходима деятельная иностранная политика, но вся она должна быть направлена на сохранение мира и на поддержание дружеских отношений с главными континентальными державами, особенно с Францией и Германией.

1 (13) ноября, № 7068

CCXLVII

«L'Anglais est-il un juif?». Такова книжка, которая наделала летом много шуму в Европе, но получена мною только сего дня и я только перелистовал ее. Самое заглавие показывает, что книга очень тенденциозная и боевая. Но эпиграф в ней очень правильный: «Faire connaitre l'Angleterre est le meilleur moyen de la combat-

tre et de nous defendre contre ses impietements». Что хочет Англия в данный момент? Вот что хорошо бы узнать или угадать наверно. Сентиментальностью она никогда не отличалась и не было у нее никогда склонности защищать слабых против сильных, если в этом не было замешано ее прямых расчетов. Создавать армянский вопрос она начала деятельно именно после своих неудач на Дальнем Востоке. Ей надо возвысить свой престиж на Ближнем Востоке и она ухватилась за слабую струну России — помочь «угнетенным» народностям Турции: это как бы вошло в традицию русской дипломатии. Но надо думать, что в каждом отдельном случае русская дипломатия умеет поступать самостоятельно, не руководствуясь никаким общим правилом. Нам нет никакого резона работать против Турции и ослаблять власть султана. На него действуют, ему говорят: «устройте своих подданных армян, иначе мы вмешаемся во внутренние ваши порядки». Султан имеет полное право сказать: «Дайте мне время привести к порядку возмутившихся подданных, которые хотят уронить мою власть, а потом я готов улучшить их состояние. Армяне рассчитывают не на мою добрую волю и не на мое доброе желание сделать для них все возможное, а на державы, и это ставит меня в двусмысленное положение». Англия этого знать не хочет и старается увлечь державы на рискованный путь вмешательства. Мы все имеем основание думать, что Россия не пойдет ни на какие авантюры и что согласие ее с Францией и Германией в этом случае полное и обеспеченное. Поэтому опасаться каких-нибудь осложнений, способных повести к войне, нет причин. С своей стороны, и Англия не пойдет на рискованные авантюры, имея в виду союз континентальных держав и их нежелание шествовать по указке Англии. Враг чувствительности, Англия никого не обманет своим заступничеством за армянских торговцев, поднимающих вопли в английских и других газетах. Она поэтому десять раз отмерит, прежде чем рискнет на какой-нибудь шаг, который может поставить ее в одинокое положение. Все прекрасно знают, что Англия не даст и одного шиллинга за всю армянскую нацию, если б вопрос об этой нации не служил ее политике и не сделался предлогом к концерту, в котором она присвоила себе канельмейстерскую палочку. Континентальные державы имеют полную возможность отобрать у нее эту палочку и помочь Турции в ее внутреннем деле, в деле преобразования управления, во имя всеобщего мира, который неизмеримо дороже нескольких армянских агитаторов и богачей, метящих — кто царствовать, кто управлять.

В армянской этой комедии столько английской соли, что сама лондонская биржа ослабела и английские консоли упали почти на один процент. Как раз было бы время для аттической соли со стороны континентальных держав, чтоб пролить на все это дело свет здравого смысла и иронии.

2 (14) ноября, № 7069

CCXLVIII

Сейчас от И. Ф. Горбунова. Завтра, в четверг, исполняется сорок лет его артистической деятельности. И эта годовщина застанет его больного, прикованного к постели.

Удивительный талант у этого человека. Начиная с императорских и великокняжеских дворцов и кончая скромными квартирами своих товарищей, артистов

и литераторов, Горбунов являлся с своей оригинальной физиономией, с живыми своими глазами и начинал рассказывать. В этих рассказах выходили живые русские люди, переданные типическим языком, живописным говором, с их душою, с их недостатками, привычками, мнениями. Кто его не слышал только, кто не рукоплескал ему от всей души, кто не смеялся до слез, кому только не доставлял он прекрасных минут полного, иногда вполне художественного удовольствия. И он расточал свои рассказы, как богач, не жалея сил и вдохновляясь удовольствием, которое он доставлял своим слушателям. Богатый этим драгоценным талантом, он остался бедным артистом, живущим на те скромные средства, которые получает он, как артист императорских театров...

Это редкий и прекрасный талант. Разогнать грусть и скуку, раздвинуть морщины русского человека, заставить его смеяться тем добродушным смехом, который составляет сущность так называемого юмора, — согласитесь, господа, это далеко не последнее дело. Если бы каждый слушавший его мог анализировать свои ощущения и их последствия, то, вероятно, каждый сказал бы: «Горбунов и для меня кое-что сделал. Спасибо Горбунову». Такие таланты заслуживают особенную благодарность, ибо всякому дороги радость и тот смех, который возбуждается художественно созданным образом, иногда счастливою юмористическою или сатирическою мыслью. Блеск молнии освежает воздух, блеск юмора — душу...

Кто слышал его со сцены — тот не знает всей задушевной прелести этого таланта. На сцене он не чувствовал себя полным хозяином своих средств. Он был застенчив, как почти все талантливые люди. Но в интимном кружке, среди десятков слушателей, он импровизировал, как настоящий поэт, как вдохновенный юморист первого разряда. Он рисовал сцены и характеры, он воспроизводил целые разговоры: поэтическая память его работала возбужденно, выбрасывая накопившиеся в голове наблюдения над русской жизнью. К сожалению, эти импровизации погибали большею частью, оставаясь никем не записанными. Будучи не артистом только, но и литератором и драматургом, он силу своего дарования не сосредоточивал на литературной отделке своих импровизаций. Этому многое мешало. Мешала самая жизнь артиста, вечно подвижная, вечно среди людей, не дававшая ни покоя, ни досуга, ни возможности сосредоточиться. Он разбрасывался поневоле, но никогда не жалел о том, что пропадало для него то, что приводило в восхищение его слушателей. Они довольны, чего же ему больше? Он удовлетворен, как поэт... Когда-нибудь вспомню, успокоюсь, отдохну, запишу все. Так он думал. А жизнь идет, идет старость, болезни... идет все то, что глухо ко всяким надеждам и расчетам. Бедные поэты, раздаватели радостей и смеха, завидна ли ваша доля, когда для вас самих уходят радости здоровья и силы? Подумайте об этом, читатель.

В день сорокалетнего юбилея этого артиста и поэта, он имеет все права на приветствия от всех, кто любит нашу сцену и нашу литературу. Думаю, что дирекция театров даст ему бенефис за его сорокалетнюю службу. Дай Бог ему подняться с одра болезни и снова блеснуть тем юмором, который так отрадно на нас действовал, так захватывал русскую душу. Болезнь истомила его подорвала его крепкие физические силы, но он верит в жизнь, и душа его бодро смотрит сквозь добрые выразительные глаза...

16 (28) ноября, № 7083

CCXLIX

Какой-то Старый Театрал взывает в «Новом Времени» (№ 7094) к «художественным образам», «обновленным чувствам», к «положительным типам, заставляющим радостнее относиться к жизни». «Довольно отрицательных пьес!» восклицает он с искренним пафосом. Дело идет о театре, о театральных пьесах. Приятно встретить такого идеалиста, но мне думается, что эти пожелания вотще раздаются. Мне даже думается, что самые идеалисты, мечтающие о художественных образах, о великих произведениях великих драматургов, предпочитают на сцене «Полудев» «Орлеанской Деве». Если же я их заподазриваю напрасно, то большинство не только публики, но интеллигенции весьма мало интересуется классическими произведениями драматургии. Они их, конечно, уважают и ценят, но полудева и кокотка, грудь в корсете и без корсета гораздо интереснее для нас на сцене, чем «дева» и «грудь, закованная в железо».

Орлеанская дева была так давно, что мы ее не понимаем. Вольтер представил ее в «Pucelle» развратной кокоткой и не пожалел своего остроумия и самой подлой грязи для того, чтоб представить ее смешною со всеми ее видениями, с ее верой в Бога, с ее чудесной любовью к родине. Он, расточавший в стихах и прозе весьма двусмысленным дамам прошлого века самую бессовестную лесть, казнил своим смехом и соблазнительными картинами разврата ту девушку, которая спасла Францию своей верой и мужеством, и погибла на костре за то, что много любила свою родину.

Немец, потомки которого отторгли от страны Вольтера те самые области, где жила Иоанна д'Арк, прославил ее в драматической поэме, полной высокой поэзии и благороднейших чувств к своей родине, к добродетели, к патриотизму. На этой драматической поэме немецкое юношество целое столетие воспитывало свое патриотическое чувство и, конечно, «Орлеанская Дева» была кое при чем в том мужестве и патриотизме, какие выказала Германия во время войны с Францией.

Странное явление, не правда ли? Француз осмеял благороднейшую девушку, какая когда-либо существовала, а немец ее прославил. Этот немец-идеалист превознес девственность, сказав, что

> Чистой деве
> Доступно все великое земли,
> Когда земной любви она не знает.

Он славил девственность в развратный век и прежде, чем некоторые женщины стали ее славить. Через сто лет после Вольтера Иоанну д'Арк признали святою. Святость эту она приобрела тяжелой ценой — отторжением от Франции двух областей, Эльзаса и Лотарингии: вспыхнувшее патриотическое чувство французов вызвало из прошлого прекрасный облик девушки из Дом-Реми, которая была выше своей душою и человеческой породой, чем короли и рыцари.

А царствование Наполеона III, результатом которого была потеря Эльзаса и Лотарингии, было полно культа продажной красоты, полно господства полусвета, полуженщин, полужен, полудев, всего половинчатого, распущенного, покупаемого и продаваемого. Это царствование славило кокотку, «Dame aux camélias»,

возносило любовь продажной женщины до облаков и вызывало слезы у неразборчивых на чувствительность душ. Девственница выгнала врагов из Франции, кокотка подчинилась врагам и откупилась от них ценою двух областей и миллиардов. Пусть пожимает плечами кто хочет, но в этой иронии судьбы есть какой-то скрытый, таинственный смысл, достойный размышления. Чистота, вера, человеческое достоинство — вот то, что побеждает и увлекает душу в чистую атмосферу идеалов...

Я отвлекся от темы, на которую навел меня Старый Театрал. Я никогда не разделял того мнения, что публика будто бы «жаждет» на сцене великих произведений. Мне всегда казалось, что в этом мнении много лицемерия. Публика станет все то слушать и смотреть, что ее забавляет и развлекает, что ново, интересно, пикантно, отрицательно, нравоописательно и т. д., не спрашивая, чье это и какой художественной чеканки. Печать следует за этою толпой со своей рекламой, с своим скороспелым, пристрастным, угодливым отчетом. Лучшие люди интеллигенции, пожалуй, сходят в театр из любопытства и чтобы проверить свои впечатления, сделать сравнения одних исполнителей с другими — и дело кончено. Даже великие артистки и артисты, являющиеся в классических произведениях, не возбуждают особенного интереса и если не остаются в накладе, то лишь потому, что позволяют себя видеть за очень высокие цены. Бороться против этого следует и в интересе актеров, для которых все-таки лучшая школа — великие произведения, и в интересе публики, но театр обязан следить и за всем современным, новым, за всеми теми вопросами, которые волнуют современников, за всеми теми типами, которые представляет современность, как бы они ни были мелки или отрицательными.

29 ноября (11 декабря), № 7096

CCL

Выходя вчера из Мариинского театра, с бенефиса г-жи Леньяни, я сказал некоторым знакомым, в том числе одному литератору, А. А. П-ву, что я заставлю завтра говорить Петербург о «русской», протанцованной г-жею Леньяни поистине чудесно, с поэтической, мягкой грацией северной итальянки в начале и с необыкновенным увлечением неаполитанки в конце. Я никогда не видал такой пленительной «русской». Публика, очевидно, была того же мнения, ибо эта «русская» имела наибольший успех в этом милом и прекрасно поставленном «Коньке-Горбунке». Как же это сделать? — подумал я. А очень просто: взять противоположности — итальянка, тип совершенно не похожий на тип россиянки, «русская», танец, совершенно не похожий ни на один европейский национальный. Итальянка исполняет «русскую», т. е. берется, по-видимому, не за свое дело. Браться не за свое дело — «возмутительно». Превосходно. Слово, значит, найдено: «возмутительное происшествие». Оно состоит в том, что итальянка танцевала «русскую»... но танцевала ее «превосходно и оригинально», что не возмутительно, а чрезвычайно приятно. Две противоположности, столь резко сопоставленные, думал я, непременно прочтутся и подвергнутся толкованиям, а это поведет к тому, что все узнают, какая чудесная «русская» в «Коньке-Горбунке», русском балете, не лишенном политического смысла, ибо «русский дурачок» где ни появляется, все кое-что сделает для своей родины и притом бескорыстно...

Оказалось, что я достиг своей цели более, чем ожидал. Многие поняли шутку, но многие ее не поняли. В редакцию и ко мне лично обращались с вопросами: что такое случилось в Мариинском театре, как танцевала «русскую» г-жа Леньяни? Что возмутительного было в ее танце? Не понявшие шутки, серьезно ломали себе голову, не бывшие в театре жалели о том, что не попали на это «возмутительное происшествие». Известно, что мы скорее пропустим художественное произведение, чем «возмутительное происшествие», ибо мы так же любим возмущаться, как напиваться водкой. Дело дошло до таких разговоров: «Что ж тут возмутительного, что Леньяни танцевала «русскую»? Ведь играл же Росси Ивана Грозного и никто не находил этого возмутительным!..»

Я готов бы извиниться перед теми господами, которые моей шутки не поняли и напрасно ломали свою голову, настроенную, очевидно, на серьезный лад, если б дело того стоило. Не думаю, что даровитая синьора Леньяни обиделась, если ей, паче чаяния, сообщили мои строки, ибо она не могла не чувствовать, что исполняла свое дело мастерски. А если это так, то выиграли все, благодаря этой маленькой мистификации. И этот мрачный, бессолнечный Петербург, где не о чем говорить, выиграл, проболтав целый день о таких пустяках...

Мне остается молить богов о том, чтоб собратья журналисты не опрокинулись на меня по этому поводу, с своим «благородством», с «своим честным служением» обществу, с заявлением о том, что они чужих платков из карманов не таскают и что они убеждений Шелгунова. Не стану оспаривать этих доблестей, а равнодушно принимать брань моих безжалостных, но совсем не остроумных собратьев я привык. На этих днях они накинулись на меня с беспощадностью превосходной за этот шахматный турнир, партии которого купило «Новое Время». Я не только в шахматы, но и в шашки не играю. Но помня, что даже великие люди играли в эту благородную игру и что любителей ее у нас достаточно, я с удовольствием согласился на то, чтобы эти партии приобрело «Новое Время» для своих читателей. Оказывается, что этим самым мы совершили преступление, и журналисты заговорили о монополии, заскрипев перьями и головами. Удивительно. Слава Богу, что, по крайней мере, «Новости» нашлись: они преспокойно стали печатать даром то самое, за что «Новое Время» заплатило. И прекрасно. Я против этого ровно ничего не имею. Гораздо лучше найтись в затруднительных обстоятельствах, хоть так, как нашлись «Новости», чем ругаться, как ругаются другие, например г. Владимирский. Это именно он хвалится тем, что он платков из кармана не таскает и разделяет мнения Шелгунова. Я, однако, думаю, что Шелгунов, если бы он был жив, не был бы особенно польщен тем, что г. Владимирский пользуется им, как лакей пользуется барским фраком. Лакея все-таки узнаешь — он выдаст себя своим языком.

8 (20) декабря, № 7105

CCLI

Завтра исполнится 25 лет врачебной деятельности Ивана Павловича Коровина. Это — очень популярный петербургский врач, доктор медицины, заведующий детским отделением Николаевского госпиталя и почетный лейб-педиатр двора его величества.

Детский врач — это совершенно особый тип врача, совершенно особый талант. Если для того, чтоб быть известным врачом, недостаточно одного знания, но необходима и талантливость, то детским врачом нельзя быть без таланта, а известным детским врачом без значительного таланта, который составляется из всех тех прирожденных и приобретенных качеств, которые необходимы для ухода за детьми и лечения их. Один из лучших русских врачей, покойный Кошлаков, говаривал, что он ни за что бы не взялся лечить ни одного ребенка, это беспомощное, страдающее существо, от которого не добиться ни одного слова, наводящего врача на причины болезни. Тут обо всем надо догадаться, ко всему надо отнестись особенным образом и с особенным вниманием. Кроме того, около ребенка то взрослое существо, которое любит его, мать, требовательная ко врачу по самой силе любви своей к своему детищу. Не только приходится лечить ребенка, но почти лечить и эту мать, а иногда и отца, от того болезненного беспокойства, от той лихорадки тревоги, которые овладевают ими, когда их ребенок заболеет.

Сколько драм, трагикомедий, комедий проходит перед детским врачом! Сколько горя, искреннего горя видит он, сколько слез и радости, когда ребенок начинает выздоравливать. Поэтому ни один врач не делается так скоро любимцем семьи, как детский врач. Такой любимец, вечно добродушный, спокойный, деликатный, с доброй улыбкой, с подкупающею молодой наружностью, несмотря на свои 52 года, с несомненным талантом и большою популярностью, начиная от императорского дворца и кончая квартирой скромного петербургского семьянина, — Иван Павлович Коровин, которому я посвящаю эти строки и которого знаю близко давно. В течение 25 лет он воспитал целое многочисленное поколение, которому теперь от 25 до 30—35 лет. Говорю: воспитал, ибо детский врач не только лечит, но и воспитывает. Он прописывает режим жизни, наблюдает не только тело, но и душу. Он является ближайшим и авторитетным советником матери и часто непрерывно, в течение десятка лет. Тот ребенок, которого он клал к себе на ладонь и подносил его к своему уху, чтобы выслушать его сердце или легкие, теперь молодой человек, студент университета, офицер, жена, мать т. д. Я думаю, что труд детского врача, беспокойный, нервный, значительно вознаграждается и теми радостями, которые он видит, тем живым садом молодежи, который растет на его глазах, и в жизни которой Иван Павлович играл такую выдающуюся роль не только врача, но и доброго, симпатичного человека. Он не только спас его от случайной болезни, но и укрепил его на всю жизнь своим уходом и вниманием. Действительность внушения не подлежит сомнению, а потому душевные качества врача, его взгляд, его улыбка, его спокойствие, его уменье подойти к маленькому больному, занять его, утешить, его уменье обойтись с матерью и ее успокоить и ей внушить доверие к врачу и науке, играют большую роль в его практике. Именно эти качества составляют отличительные черты Ивана Павловича и объясняют ту его популярность, которою он пользуется. Эти качества в связи с знаниями и опытом составляют тот талант, без которого детского врача быть не может и который обеспечивает Ивану Павловичу самые искренние и глубокие симпатии всех тех, кто хорошо знает его у постелек маленьких наших детей, этого нашего сокровища, которое нередко бывает и нашим мучителем. Завтрашний день будет для него днем светлых воспоминаний и заявлений тех симпатий, которых заслужил он своей верною, доброю и талантливою службой у этих маленьких господ и госпож, которые, в своем бессознательном вели-

чин, долгое время совершенно игнорируют этого белокурого, бодрого господина в усах и очках, как бы он за ними ни ухаживал. Но верная и добрая служба у этих маленьких тиранов и тиранок не пропадает за ними, быть может, более, чем служба у постели взрослых мучеников своих лет и своих болезней: маленькие имеют шансы вырасти, а большие — умереть...

12 (24) декабря, № 7109

CCLII

Моим читателям известно, что я стоял против тех финансовых мер, которые имели в виду золотое обращение, более или менее принудительное и более или менее клонящееся к девальвации. Я остаюсь и доселе при своем мнении. Повторять прошлое не следует, а теперь повторяется прошлое, именно девальвация Канкрина. Фиксация курса есть несомненный и решительный шаг к этой девальвации. От всей души желаю, чтобы эта мера принесла именно те добрые плоды, которых от нее ожидают. Ее и вводят в чаянии таких именно плодов. Но сомневаться в своевременности этой меры весьма позволительно, даже принимая в соображение то, что министр финансов действительно остановил игру на рубль и уменьшил значительно колебания курса. Я люблю энергию и ум, а в этих качествах не отказывают министру финансов даже враги его; кроме того, я глубоко убежден в том, что им руководит искренняя любовь к родине и вера в ее силы; но в старости начинаешь бояться мероприятий, недостаточно подготовленных, начинаешь думать, что чем важнее мера, чем более она касается экономических и притом самых больных сторон жизни всякого гражданина, тем менее следует с нею спешить.

Развитие национального чувства у нас за последние годы весьма значительно, но я не понимаю этой фразы в заметке «от министерства финансов»: «вероятно, не успело еще вполне изгладиться в умах и то обидное чувство, которое вызывал самый факт прежней Зависимости цены наших денег от произвола заграничных бирж». Если это «обидное чувство» было, то почему же ему теперь не быть? Разве мы перестали зависеть от заграничных бирж? Мы приняли в сущности то, что определили заграничные «биржи», что назначили они как цену нашего бумажного рубля. Ведь г. министр финансов не мог же не послушаться этих «бирж» и фиксировал курс так, как в среднем определили курс до него заграничные биржи. Говорю «заграничные биржи» не в смысле собраний биржевиков и спекулянтов, а в смысле сонма наших заграничных кредиторов, которым мы должны целых два миллиарда. Вот тут-то и является опасение, что эти именно «биржи» и в будущем не оставят нас своим «вниманием» и «доверием». Вот тут-то и лежит серьезная опасность, что эта фиксация может измениться с течением времени не в пользу нашего рубля. Ведь во время Канкрина, после его девальвации, тоже говорили с надеждой, что все теперь обстоит благополучно, а вышло, что его рубль, установленный вместо 3 р. 50 к., упал так значительно, что теперь фиксирован на двух третях своей стоимости сравнительно с золотом.

«Для удобства» при расчетах, как сказано в сообщении «от министерства финансов», теперь золотой рубль равен 1 руб. 50 коп., вместо прежних 1 руб. 48 коп., причем в оправдание этого повышения или понижения, как хотите, указано на

объявление Государственного банка, в котором сказано, что этот банк «обязывался по 31 декабря *не уменьшать* (курс подл.) цены на золотую монету, а следовательно (?), *оставил за собою полное право увеличить эту цену*».

Я этого «следовательно» мало понимаю и совсем не понимаю «полного права». Я так думаю: если есть «полное право», то есть и четверть права, половина права и т. д., нечто такое, что будто бы и не совсем право. Я боюсь, что понадобится право, хотя бы даже не полное, опять увеличивать цену, и кто знает, может быть, для «удобства» расчетов придется признать один золотой рубль равным двум рублям. Говорят, что это выгодно для нашего земледелия. Думаю, что это мнение рутинное и поверхностное. Земледелие будто бы требует, чтобы курс был как можно ниже, а торговля и промышленность требуют, чтобы он был как можно выше. По-моему, это ненормально.

Я слышал из верных источников, что покойный И. Х. Бунге, стоявший за золотое обращение, хотел ввести новую монету, окрестив ее именем *русь*, именем племени, которое основало русское государство, как *франк* есть имя племени, основавшего французское государство, и сделать русь равным франку. Это было бы лучше, если уж необходимо золотое обращение, ибо эта реформа отвечала бы психологии народной и экономической бедности нашей. 4 золотых руси равнялись бы 1 р. 50 к. кредитными и 1 р. 50 к. кред. равнялись бы четырем русям золотых. Переход был бы более правильным, более психологичным и менее заметным. А теперь разница бьет в глаза и нельзя сомневаться в том, что если булка стоит теперь 5 коп. кредитными, то она останется в этой цене и золотом.

Впрочем, может быть, и вправду настает «золотой век». Давай Бог.

13 (25) декабря, № 7110

CCLIII

Я хотел отвечать на возражение мне, напечатанное во вчерашнем нумере «Нового Времени» и подписанное г. Гурьевым. Дело шло о девальвации; желая сказать, что при золотом обращении, которое есть не что иное, как девальвация, жизнь подорожает, я сказал, что булка, стоящая теперь 5 коп. кредитными, будет стоить 5 коп. золотом. Г. Гурьев отвечал мне, как отвечают ребенку, который ничего не понимает. Наши финансисты вообще народ самоуверенный донельзя и терпеть не могут ни критики, ни возражений. Зная это очень хорошо, я не хотел ему перечить в том же нумере, где напечатано было мое «Маленькое письмо». Думаю, все равно, дело не горит, отвечу завтра. Приходит завтра, т. е. сегодня. Вероятно, Господь сжалился надо мною, и я получил письмо от одного читателя такого содержания:

«Поклонник девальвации, г. Гурьев, вчера пристыдил вас, г. издатель, «джентльменством» булочников и банщиков, которые якобы верно перевели старые цены на новые, согласно канкриновской девальвации. Этим он хотел сказать, что девальвация нимало не коснется интересов обывателей, а напротив, всех облагодетельствует. Но г. Гурьев забыл маленькую вещь, которая, однако ж, ниспровергает не только джентльменство булочников, которые вообще довольно неопрятны, но и джентльменство банщиков, которые опрятны иногда понево-

ле, а вместе с этим джентльменством снимает и лавры победы с головы молодого финансиста, по крайней мере, в этом случае. Дело в том, что на булки и на бани существовала и существует доселе *такса,* следовательно, цену их определила не канкриновская девальвация, а Городская дума. Без этой таксы джентльменство этих лордов от булок и от бань ударило бы жестоко по карманам обывателей, благодаря девальвации. Независимо от таксы, следовало бы доказать, что вес булки остался тот же и что составные части и степень их питательности остались те же. Но г. Гурьев так уверовал в своих «джентльменов», что вообразил, что нет ничего лучшего для убеждения общества в великой пользе девальвации, как просто сослаться, во-первых, на истинно русских людей, каковы банщики, и, во-вторых, на истинно русских и истинно немецких людей, каковы булочники. Две нации, так сказать, слились воедино, чтоб вострубить устами г. Гурьева хвалу девальвации. Но хвала оказалась не только несостоятельною, но даже несколько комичною...»

Зачем в конце своей заметки упомянул г. Гурьев о Лоренце Штейне с его ссылками на «небесные светила», я сначала не понял; но, вникнув в дело, я понял: он хотел засвидетельствовать, что финансовые реформы у нас текут так же правильно и прекрасно, как светила небесные...

Думаю, что это милое и добросердечное письмо избавляет меня от ответа насчет булок. Но остается еще маленькая денежная единица покойного Н. Х. Бунге, которому следовало бы пожить еще несколько лет...

Об этом скажу в следующий раз.

16 (28) декабря, № 7113

CCLIV

Не знаете ли вы, как сказать: тверяне, или тверитяне, или тверичи? Мне больше нравится «тверичи»: оно как будто древнее и почтеннее. А почтенность нужно иметь в виду в этом случае, ибо народ называет тверичей «козлятниками». Потому ли они козлятникичто у них много коз, или потому, что они любят бодаться, как козлы, — об этом надо справиться у тверских этнографов и у историков. Кроме этой клички, народ считает их почему-то очень хитрыми и говорит: «тверичи хотели заманить пряником козу на колокольню...» Представьте себе крутые и невозможные лестницы, ведущие на наши колокольни, и вы поймете силу этой насмешки.

Я заговорил о тверичах, потому что о них теперь говорят в Петербурге. В печати начал о них говорить князь Мещерский, рассказав о дворянском заседании, на котором было решено довести до сведения г. министра внутренних дел какие-то произвольные поступки г. губернатора относительно некоторых дворян. Подробностей я не знаю. И это хорошо, что я не знаю, ибо могу говорить о деле принципиально. Я понимаю, что губернатор в наши дни не может быть не только Малютою Скуратовым, но не может быть и воеводою в прежнем смысле слова. Современный губернатор — все-таки интеллигент, дворянин и даже более или менее светский человек. Конечно, есть губернаторы плохие, даже, вероятно, и очень плохие есть — не даром же их сменяют и увольняют в отставку, — но губернатор, притесняющий дворянство, это как-то не укладывается в моей голове. Может быть, губернатор выказал усердие свыше меры и тем задел самолюбие дво-

рян? Это бывает, как бывает и то, что они никакого усердия не выказывают. Помню, что в день покушения Млодецкого граф Лорис-Меликов говорил мне о губернаторах с негодованием и клялся, что он половину их сменит. Кажется, потом он никого не сменил, но его негодование, конечно, имело основание, как имеют основание и жалобы губернаторов на свое положение и свое бессилие. У нас кто не жалуется? Мне говорили на днях о господине, который выиграл на бирже 3 миллиона в течение этого года, но и он жаловался, потому что в последний биржевой крах он проиграл целый миллион, так что выиграл только два миллиона. Вероятно, у тверских дворян находятся более серьезные причины жаловаться на губернатора. Но что ж тут особенно замечательного? Я принадлежал и принадлежу доселе к тем нелибералам и неконсерваторам, которые имеют склонность уважать и ценить так называемые политические и общественные явления допетровской России, за что насмешники называли меня «самобытником». Среди этих явлений было право населения приносить жалобы на воевод центральному правительству. Иногда правительство уважало эти жалобы, а иногда не уважало. Но эти жалобы, сохранившиеся в архивах, послужили нашим историкам превосходным материалом для характеристики административных и народных нравов того времени.

Как тогда, так и теперь есть полная возможность разобраться в этом деле совершенно беспристрастно и авторитетно, не ставя вопрос так, как ставит его князь Мещерский: «кто победит, тверские либералы или русское правительство?» Мне думается, что правительству довольно часто приходится смещать и переводить губернаторов именно вследствие жалоб на них, если эти жалобы оказывались справедливыми, а потому о победе тут не может быть речи, а может быть речь только о справедливости.

Но князь Мещерский вообще любит преувеличивать. Он, например, называет партию жалующихся дворян *Горою* (Montagne) — наименование самой непримиримой партии Конвента, заседавшей на верхних скамьях палаты, откуда и название *горы*. Что может быть общего между этими монтаньярами и тверскими дворянами? Разве то, что тверичи, по народному воззрению, имеют склонность заманивать козу пряником на колокольню, место даже более возвышенное, чем гора Конвента? Может быть, сами они любят колокольни? Но в этом случае вопрос может быть только в том, остроумно это сравнение или нет? Вопрос совсем не важный, и я склонен думать, что и во всем этом тверском деле остроумию принадлежит первое место и остроумно следует решить его.

23 декабря 1895 (4 января 1896), № 7120

CCLV

Позвольте мне ввести вас в женское общество, состоящее из писательниц, женщин-врачей, педагогичек, художниц, актрис, балерин, шансонетных певиц и цыганок. Этой редкой возможностью я обязан репортерам «Петербургского Листка», которые объехали некоторых представительниц нашей литературы, науки и искусства и предложили им несколько вопросов:

Кто более виноват в семейных раздорах, мужчина или женщина? Существует ли *чистая любовь*, как у Ромео и Юлии (?)? Как вы смотрите на измену, на ревность, на дружбу? Не знаю, кто виноват, двадцать ли две женщины, которых допросили репортеры, или сами допрашивавшие, у которых не хватило кавалерских ресурсов, чтобы заинтересовать женщин, только в этом обществе мало ума, еще менее искренности и много скуки. Одна вам говорит: «женщина лучше мужчины», другая — «мужчины лучше», и это варьируется у всех 22-х. «Признаете ли вы ревность?» Одна говорит: «признаю», другая — «не признаю», и опять 22 раза одно и то же. Но тут, по крайней мере, наблюдаешь женское лицемерие или, если хотите, «образованность». Чем женщина образованнее или чем больше хочет она показаться образованнее, тем она более позирует перед репортером. Л. Я. Гуревич, редакторша «Северного Вестника», не признает ревности и прибавляет трогательно: «надо страдать молча и не навязывать своих страданий другому». О. Н. Попова, издательница «Нового Слова», говорит, что она «не понимает ревности». Художница А. И. Константинова декламирует: «ревность — недостаток ума». Антрепренерша В. А. Неметти признает только «ревность основательную». Даже балерина В. П. Павлова вещает: «ревновать — значит не уважать мужчину». Скажите, пожалуйста, очень он нуждается в уважении! Зато М. М. Петина откровенно сказала человеческую правду, что «ревность постоянный и верный спутник любви», а цыганка Д. А. Масальская высказалась еще сильнее: «я бы страдала, если б муж не ревновал меня».

Остроумнее всех отделалась от репортера З. Н. Гиппиус (жена поэта Мережковского), которая сказала:

— Вы хотите знать мнение женщин о мужчинах? Я не женщина... Да, да. Я давно считаю себя выше этого сословия. А если вы хотите знать о женщинах, обратитесь к г. «Вопросительному Знаку».

И только. Г-жа Гиппиус, конечно, женщина, иначе она не была бы замужем, а была бы жената. Конечно, она хотела только отделаться от репортера, а не заявить в самом деле, что она стоит выше «женского сословия», «беспастушного стада», по выражению (смягченному) Митрича. Выше «женского сословия» только такие необыкновенные натуры, как Орлеанская девственница, именно девственница, а не женщина. Женщины все одного сословия. Даже г-жа Лашеева, пишущая под мужским псевдонимом Марка Басанина и носящая мужское платье, даже она принадлежит к этому сословию, хотя она одна из всех 22-х так твердо сказала: «Что мне за дело, что муж изменяет? Он не раб мой» и «я ревности не понимаю». Очень может быть, что ничего этого она не понимает, но все-таки она женщина и рожает ребят, как женщина, а не как мужчина. Ах, из своего тела не вылезешь, как ни старайся и какой костюм ни носи...

«Хитрые» ли «бестии» женщины, как выразилась цыганка О. А. Шишкина, решительно заявившая, что «мужчины гораздо лучше женщин», — не знаю. Я думаю, авторитетность в этом *случае* О. А. Шишкиной далеко не может быть распространена, как авторитетность и других женщин, подвергавшихся этому полицейскому или, все равно, репортерскому допросу. Г-жа Отеро заявила, что «женщина выше мужчины, ибо женщина живет сердцем, а мужчина — рассудком». Какое сердце и какой рассудок... Я не думаю, что сердце, снаружи все прикрытое бриллиантами, как лавка продавца, представляет собою что-нибудь возвышенное. Г-жа Лабунская прямее: «мой идеал мужчины — умный, добрый и богатый». Я думаю, что одного последнего качества бывает достаточно для мно-

них женщин, как для многих мужчин совершенно достаточно одной красоты женского тела, а все остальные качества можно искать в иных телесных помещениях более высшего разряда. М. М. Петина заявила, что ее «очень многие ревновали», и я смею думать совершенно несправедливо, ибо она заявляет, что «верит в чистую любовь». Одна шансонетная певица сказала: «мужчины созданы исключительно для угождения дамам». Не все, сударыня. Но действительно есть и такие: если они богаты, то содержат дам, а если не богаты, то дамы их содержат и ни на что другое они не годны. Г-жа М-я (актриса) объявила: «если б мне изменил муж, я бы тотчас же отомстила ему тем же самым». Мне понятно это восклицание в устах хорошенькой женщины, но зачем торопиться с этим «тотчас же»? Всегда можно подождать, я думаю...

Несколько подробнее стоит, пожалуй, остановиться на показаниях двух женщин-врачей: М. М. Волковой и О. Ю. Каминской. Обе претендуют на способность к анализу, к рассудительности, но первая обвиняет женщин, вторая — мужчин. О. Ю. Каминская говорит, что у ней «врожденный анализ», а М. М. Волкова говорит, что она видит ежедневно «массу женщин». Я думаю, что «масса» — это преувеличение. Теперь это слово повторяется походя. «Я встретил сейчас массу знакомых», говорит мне приятель. — А сколько счетом? — спросил я. — «Трех», отвечал он серьезно. Так, вероятно, и у М. М. Волковой, которая пустилась с репортером в откровенности, едва ли совместимые с званием женского врача. Она именно говорила: «Я вижу ежедневно массу (!) женщин и вы удивитесь, если я вам скажу, что пятьдесят процентов из моих посетительниц ненормальны в психическом, а главное в нравственном отношении. Все они говорят самые ужасные вещи, выражают такие взгляды, что прямо удивляешься, и им, этим женщинам, кажется, что все, что они говорят, нормально и естественно. Подобные женщины, становясь женами и матерями, вносят в семью свою эту бесшабашность и развинченность, которая так поражает здорового человека... Чистая любовь в наше время может явиться как редкое исключение. Чувство же дружбы возможно, и я думаю, что если б ее, дружбы, не было, то ничего другого не оставалось бы, как погибнуть».

Очень трагично. О «чистой любви» даже Ромео и Юлии можно бы поспорить, но это отвлекло бы нас в сторону. Итак, половина женщин, которых видит М. М. Волкова, ненормальны в психическом и нравственном отношении. Но ведь это же больные, М. М. Нельзя же судить о мире по сумасшедшему дому и о женщинах по больным женщинам. Или Митрич из «Власти тьмы» прав, говоря: «безнастушная скотина, самая озорная, эти бабы. Самое глупое, самое пустое ваше сословие!?» Женщина-врач, очевидно, солидарна с этим отставным солдатом-философом. Может быть, солидарна с ним и г-жа Гиппиус, если у нее есть серьезные основания считать себя выше «женского сословия». По счастью, другая женщина-врач, О. Ю. Каминская, все зло сваливает на мужчину: «Я ежедневно вижу ужасные картины: мужчина после двух, трех месяцев брачной жизни бросает жену, так как различные (?) болезни угнетают его и он опасается внести их в домашний очаг». Тоже хорош. Сколько мне помнится, мужчины-врачи никогда не были так откровенны. А женщины-врачи болтают перед первым репортером, несмотря на «врожденный им анализ». Признаюсь, я не высокого мнения об этом врожденном анализе и думаю, что, кроме врожденного, женщинам-врачам не мешало бы иметь благоприобретенный, научный анализ, даже тогда, когда они говорят с репортерами.

24 декабря 1895 (5 января 1896), № 7121

CCLVI

Да, я шутил по поводу тверской истории, как справедливо сегодня говорит князь Мещерский. Но подробностей ее я действительно не знал. Теперь я их знаю, даже не по перепечатке из «Биржевых Ведомостей», а из рассказа одного очевидца. И теперь я не придаю этой истории серьезного значения и не верю тому, что в Тверской губернии находятся монтаньяры или «враги существующего государственного порядка в России», как выражается тот же удивительный публицист. Не верю весьма серьезно, не верю, чтоб дворянство смело быть врагом существующего государственного порядка, если оно что-нибудь значит и что-нибудь понимает. Если оно сделается врагом существующего государственного порядка, оно погибнет и лопнет, как каучуковый пузырь, лопнет навек. Такому безумию я не верю. Под существующим государственным порядком я разумею основы самодержавия. Очевидно, «Гражданин» разумеет под ним что-нибудь другое, если решается выражаться так грубо о дворянах, не обвиненных в преступлениях. Может быть, он заподазривает их благонамеренность? Я не люблю этого слова. Оно так растяжимо, что если б вышло из употребления, то выиграли бы решительно все, и управляющие и управляемые. Не удивляйтесь: слова играют огромную роль в жизни и служат причиною многих несчастий. Чем туманнее слово, тем хуже. Слово «верноподданный» неизмеримо определеннее, благороднее и честнее слова «благонамеренный». Это слово в интеллигентных слоях вышучивается, а в невежественных не имеет никакого смысла. Слово «верноподданный» понятно всем и каждому. Благонамеренность нечто неуловимое в государстве русском и всякий начальник понимает его сообразно своему развитию и по своим, собственного измышления, признакам, которые он составляет недолго думая или совсем не думая. Эти признаки поэтому произвольны и отзываются иногда весьма неудобно на тех, к которым они прилагаются. В слове «верноподданный» определенное понятие, твердое, честное.

Не говорю о словах «красные», «монтаньяры» и т. д., которыми обзывает защитник дворянства тверских дворян. Ни в одном обществе не бывает людей одного и того же цвета, и краснота такое же неопределенное обозначение оттенков мнений, как и «благонамеренность». Это так верно, что эти эпитеты никого не пугают. Чацкого и теперь еще можно назвать красным, а в свое время он был и подавно. Но Чацкий доселе наш любимый герой, потому что это — честный и независимый человек.

Когда говорят: «враги существующего государственного порядка», — это обвинение тяжкое, это преступление, предусмотренное в наших законах, если понимать государственный порядок так, как выше я сказал. Если тверские дворяне составляют заговор против этого порядка, то они прямо преступники. Но дело, несомненно, стоит совсем не так, и дворяне говорят только о том, что губернатор действует против них придирчиво. Другими словами, дело идет не о существующем государственном порядке, а о тех или других административных порядках, или, еще менее, о тех или других лицах, которые могут быть совершенно честными, но которые слишком узко понимают слово «благонамеренность». Было бы бесчестно со стороны всякого дворянина, если б он, в качестве попечителя школы, позволил себе противогосударственную пропаганду среди молодого

крестьянского населения. Это было бы не только бесчестно, но было бы вредно и глупо для самого дворянина, который очень хорошо понимает, что за ним следит не только администрация по своей обязанности, но и следят отцы этих детей более ревниво и более придирчиво, чем какая бы то ни было администрация. Доказывать это, надеюсь, совершенно бесполезно. Дворянину-помещику надобно много такта, чтобы в качестве попечителя школы не промахнуться каким-нибудь неловким поступком или даже словом. Будь я губернатором, я бы утвердил попечителем школы всякого дворянина, без всяких опасений. Я бы берег дворянина перед народом, перед образованным обществом, берег бы его и для него самого... Зная, что и между дворянами есть «гуси», как есть они в других сословиях, я не стал бы «дразнить гусей» мелочными придирками. Власть должна быть тверда и беспристрастна.

Я дописывал эту фразу, когда мне сказали, что Иван Федорович Горбунов умер.

Бедный, милый артист, незаменимый и незабвенный рассказчик, обладавший творческим вдохновением импровизатора, тем высшим внутренним зрением, которое способно в словах воспроизводить живых людей... Недавно, в день его сорокалетнего юбилея, я написал о нем несколько строк. Он тогда уже был плох, тогда уже смерть подходила к нему, но он не хотел ее замечать и не верил возможности так скоро обратиться в прах. Это был крупный человек, типическая, оригинальная, незабываемая личность. Он ушел, и на место его никого нет. Где он бывал, там раздавался смех, смех до слез, теперь он лежит безмолвный, мертвый, и вокруг него только слезы и печальная тишина. Он умер бедняком. Дирекция императорских театров похоронит его на свой счет, как она уже объявила осиротелой семье.

Мир его праху. Кто умер, тот спокоен, тому ничего не надо — ни венков, ни печали и слез. А те, которые остались после него, тех не забудет великодушная щедрость государя, покровителя русского искусства.

25 декабря 1895 (6 января 1896), № 7122

1896

CCLVII

Прошлый год был для меня нов тем, что я стал близко к театру, именно к Малому театру, вместе с П. П. Гнедичем, Е. П. Карповым, А. П. Коломниным и И. О. Холевой. У каждого из моих товарищей была своя специальная часть, а у меня — общее наблюдение. Было пережито много волнений, недоразумений, драматических и комических, и получено достаточное количество опыта. Принялись мы за это дело недостаточно подготовленные: труппу собрали наскоро, пьес новых не было ввиду. Но мы хотели начать это дело во что бы то ни стало и какие бы разочарования оно ни принесло нам. Печать относилась к нам, за малыми исключениями, в числе которых с удовольствием упоминаю Г. К. Градовского, очень неблагоприятно. Нас вышучивали, наших артистов унижали, нашим артисткам ставили в вину недостаточно элегантные костюмы, жесты и проч. Но и при этом неблагоприятном к нам отношении все-таки не могла не отличить и враждебная нам печать некоторые артистические таланты, как между мужчинами, так и между женщинами нашей труппы. Я никого не назову, ибо пером моим водит только скромность и глубокая благодарность той публике, которая постоянно относилась к нам с сочувствием, даже и в тех случаях, когда мы мало его заслуживали. Мы не могли не видеть, что образуется между нашим театром и публикой нравственная связь, что связь эта растет, что мы начинаем приобретать *свою* публику, немногочисленную, но верную нам и добрую к нашим начинаниям, к нашим артистам и артисткам, которые вполне этого заслуживали своею глубокою преданностью делу. Короткий сезон не дает нам возможности укрепить ту связь, о которой я говорил, всем тем, что хотели мы сделать, что хотели дать нового и что отличало бы наш литературный театр от других. Но мы не теряем надежды, что начатое дело не погибнет, что мы ли или другие, но у него найдутся продолжатели, которые укрепят в Петербурге этот в сущности первый серьезный драматический театр, принадлежащий частным лицам. Глубоко благодарные публике, понимающей или отгадывающей наши цели и желания, мы счастливы тем, что дело это начато литературою, вне партий. Мы и думали, что театр должен быть вне партий, что он должен прежде всего удовлетворять литературно-художественным требованиям и только дарования, к какой бы партии они не принадлежали, должны занимать в репертуаре место. Среди целой массы

пьес русских и переводных, которые мы прочли (я прочел их семьдесят пять штук), мы все-таки нашли кое-что достойное сцены и кое-где заметили проблески литературного таланта. К сожалению, в первые месяцы и в этом отношении мы были очень бедны и только с середины ноября мы стали получать пьесы оригинальные и переводные.

Постановка новых пьес дело сложное, в особенности в Малом театре, где мы были лишены почти всяких пособий и где нам приходилось делать все новое, начиная с декорации простых комнат. Наобещано было нам много, а получили мы очень мало, да и то при настойчивости. В этом Малом театре, приноровленном к оперетке, к кабаку, мы были нежеланными гостями, хотя все обязательства мы исполняли тщательно. Нам старались делать затруднения и неприятности и, наконец, отказали нам в найме театра на будущий год, передав его снова оперетке. Она, может быть, лучше и идет Апраксину рынку и его обитателям, более сродни им, чем драма и комедия. Мы пока без театра на будущий осенний сезон, но было бы желание, были бы силы и энергия, а театр найдется, а не найдется — его можно и выстроить.

Эти несколько строк, накануне Нового года, говорю я специально той милой и доброжелательной публике, которая нас и нашу труппу поддерживала и с которою можно вести дело.

С Новым годом, друзья и враги.

1(13) января, № 7127

CCLVIII

Вместе с другими я был вчера в гостях у В. А. Крылова, — знаете, у нашего драматурга и распорядителя Александринской сцены. Я давно знал об его доброте, но вчера он просто поразил меня ею. Представьте себе, я застал у него несколько умалишенных. Они говорили всякий вздор, ругались, оскорбляли друг друга, но без всякого повода и смысла. Среди них был один адвокат «без практики», а потому — не жид: все адвокаты-жиды «с практикой». Этот адвокат нахально и грубо требовал деньги у девушки, которую он обольстил, и у замужней дамы, которая его содержала. Он грозил даме, что покажет ее любовные письма мужу, если она ему денег не даст, и когда она их ему не дала, он послал ее письмо мужу с лакеем. И все это неизвестно для чего и почему. Как-то так все это выходило, что вы чувствовали, что как бы гнусно ни поступал этот человек, он не внушал вам ни омерзения, ни негодования: вы сознавали, что это — идиот неизлечимый и говорит он и действует с идиотами и идиотками.

Тут был помещик, «представитель старого дворянского рода», как он рекомендовался. Он говорил о своем благородстве, о дворянских традициях, и в то же время потащил свою любимую сестру в незнакомый ей и ему дом и представил ее любовнице ее любовника. Любовница ее любовника стала ее гнать, как шантажистку, а брат ее говорит: «сударыня, у моей сестры есть любовник; он же и ваш любовник и вот я привез ее сюда, чтоб она сама убедилась в этом! До свидания, сударыня! Поедем, сестра. Я исполнил свой долг!» Последний мещанин не поступил бы так, а не только «представитель старого дворянского рода», но вам понятно, что идиот должен поступать именно так, по-идиотски.

Потом этот же «представитель старого дворянского рода» продолжал поступать по-идиотски: он стал требовать от адвоката, чтоб тот женился на его сестре сейчас же, без предварительного оглашения в церкви; адвокат сначала не соглашался: я, говорит, по принципу не могу жениться, а потом согласился и женился. Жена говорит ему: «я буду носить твое имя, как позорное пятно на лбу. но женой твоей не буду». Тогда брат ее говорит адвокату: «я должен с тобой стреляться». — «Зачем? Ведь я женился». — «Ты женился на сестре и перед ней ты свой поступок загладил. Но передо мной нет. К тому же я виноват перед сестрою — я не исполнил завещания моей матери: воспитать сестру, а потому сразимся здесь же, сейчас, в твоем кабинете». — «Но в этом смысла нет», кричит адвокат. — «На барьер!» — кричит помещик. — «Я боюсь. Я пожалуюсь полиции», — благим матом кричит адвокат. — «А коли так, — вот тебе». Раздался выстрел — и адвокат упал, якобы мертвым. Сейчас же прибежала его жена и, как следует идиотке, стала над ним выть.

Заметил я еще вот что: все эти умалишенные постоянно говорят о полиции — то через полицию заставить жениться, то полиции пожаловаться, то в полицию идти. Очевидно, ум этих несчастных, находящихся под надзором, невольно обращен в сторону полиции, как их единственной защитнице.

Я смотрел, слушал и удивлялся тому удовольствию, которое испытывал в этом обществе В. А. Крылов. А он, очевидно, испытывал, ибо дозволял говорить всем этим идиотам их идиотские речи и совершать их идиотские поступки. Когда адвокат пал от выстрела, В. А. Крылов произнес:

— Ну, слава Богу, кончено.

Что, думаю, с ним? Дай подойду к нему. Подошел. Он мне говорит:

— Видели?

— Видел.

— Поняли?

— Нет.

— И не надо. Я тоже не понимаю.

— Но зачем вы пустили сюда этих идиотов?

— Да ведь вы разве не знаете, как я добр? Я ужасно добр. Это О. К. Нотович просил меня, он тоже очень добрый человек: позвольте, говорит, показать мне своих идиотов. Они — смирные, не кусаются. А я и говорю: как же так? Надо, говорю, кого-нибудь сильного, большого, чтобы под команду ему. А он говорит: да вот Писарев — он сладит с ними, мужчина большой, широкоплечий. Ну, я тогда и говорю Писареву: Нотович хочет показать своих идиотов. Я обещал ему, но с тем, чтобы вы их под свою команду взяли. Писарев — дай Бог ему здоровья — подумал и сказал: я возьму, мне все равно. Человек я образованный и с идиотами мне не впервой. Вот их и показываем. Не правда ли, совершенные идиоты?

— Да, несомненные. Откуда он их набрал?

— Не знаю. Вероятно, сам их образовал. Говорит, это публику заинтересует: ей надоело дураков смотреть. Действительно надоело — я по опыту это знаю — так вот она идиотами, может быть, развлечется.

— И долго вы будете показывать этих идиотов?

— Да, постараюсь. Я ведь очень добрый, и Нотович тоже очень добрый, и публика очень добрая, — сами вы о доброте ее писали. Пускай смотрит.

— Да вы в своем доме показываете этих идиотов?

— Нет. Я их показываю в Александринском театре.

— Вот об этом следовало бы подумать... Не велика беда написать плохую пьесу, даже пьесу об идиотах. Но зачем показывать свою «доброту» за счет императорского театра?

Пользуюсь этой формой разговора с В. А. Крыловым, чтоб передать мое впечатление от драмы г. Нотовича «Без выхода».

Не так давно я довольно сурово отнесся к пьесе князя Сумбатова «Старый закал». На праздниках я снова видел ее. В ней много недостатков, но в ней есть картинность, есть жизненная правда, хотя и условная: она напоминает времена кавказских подвигов, она, наконец, полна добродушия и любви к выведенным в ней лицам, и эти качества вполне оправдывают ее успех. Добродушие и любовь — признаки таланта. В сравнении с пьесой «Без выхода» «Старый закал» — просто гениальное произведение, во всяком случае это наиболее интересная вещь во всем зимнем сезоне Александринского театра. Мне кажется, таким сравнением больше скажешь, чем подробным разбором, которого пьеса «Без выхода» и не заслуживает.

Поверьте мне, что если в пьесе нет ни добродушия, ни любви, добродушия и любви авторских, то пьеса наверно ничтожна и бездарна. Без любви ничего нельзя произвести такого, что хотя мало-мальски оправдывало бы появление этого «такого» на сцене. Ни сносной драмы, ни сносной комедии нельзя написать без любви не только к людям вообще, но и к тем людям, которых выставляешь напоказ. Вы понимаете, что и негодование, и смех есть любовь, или вернее, источник их есть любовь. В «Ревизоре» вас одолевает смех и негодование; если вы поближе всмотритесь во все лица Гоголя, вы увидите, что это люди, что их недостатки вам понятны, что вы знаете, почему эти люди такие, вы понимаете, что при другом порядке вещей эти самые люди были бы совсем другие и вы даже с удовольствием провели бы с ними время, потому что почти все они очень неглупые люди. Между ними нет не только ни одного идиота, но и ни одного дурака. Вы даже думаете, что городничий, например, при других порядках, мог бы быть заметным государственным человеком, ловким дипломатом. Но ни дурак, ни идиот не могут приобрести вашего внимания и участия. Поэтому, каждый драматург должен помнить, что надо изображать на сцене людей, а не идиотов и дураков, и что любовь к людям — первое условие всякого творчества, а равнодушие к ним — несомненный признак бездарности. Если вы скажете, а что ж такое объективность? Объективность именно есть любовь к людям, к правде, к свету, к милосердию. У кого этого нет и в зародыше, тому не следует писать ни для беллетристики, ни для сцены.

4 (16) января, № 7130

CCLIX

Я лишен способности понимать иные остроты. Так «Санкт-Петербургские Ведомости» говорят почему-то о моей старости, о Малом театре и, наконец, о своей статье о дворянстве, из которой «Новое Время» взяло только несколько строк о дворянском пансионе и игнорировало остальное содержание этой статьи. В этом все дело. Если наша статья о дворянстве, говорят «СПб Ведомости», лишена основания, то *зачем* (курсив в подл.) отводить видное место упомина-

нию о ней только вскользь, а не по существу, — только словам о «Запасном дворце» для подрастающего дворянского поколения? «Новое Время» *боится* (курсив в подлиннике) цитировать главнейшее, но в равной мере опасается ничего не сказать. Положение забавное, но не из приятных». По-моему, самое забавное в этих строках — их грамматическая неуклюжесть и литературная невоспитанность писавшего, употребляющего таинственные намеки! Почему это «СПб. Ведомости» так уверены, что «Новое Время» *боится* цитировать главнейшее, но в равной мере *опасается* (мой курсив) ничего не сказать»? Почему мы боимся и почему мы опасаемся? Князь Ухтомский, редактор «СПб. Ведомостей», никогда мне не представлялся страшным ни с какой стороны, ни как писатель, ни как директор Китайского банка. С моей стороны бояться его, как директора Китайского банка, было бы так же нелепо, как ему бояться меня, как директора Малого театра. Это наши маленькие специальности, у меня — театральная, у него — банкирская, делающие нас уязвимыми с двух сторон и как писателей, и как директоров. Как писателя, «Новое Время» даже цитировало князя Ухтомского — его взгляды на восточные вопросы; но и в этих взглядах я не видел ничего такого, что внушало бы мне или моим сотрудникам боязнь или страх. Так себе, взгляды как взгляды, ничего особенного и ничего нового или замечательного. И статья о дворянстве не заключает в себе ничего — такого, что могло бы устрашать меня по существу или в деталях. Так себе, статья как статья. В ней есть дельные и справедливые мысли, которые очень стары и сто раз последовательно высказывались «Новым Временем», и есть несправедливые мысли, которых мы никогда не высказывали. Цитировать справедливые мысли, которые мы сто раз высказывали, значит повторять то, что наши читатели знают, а цитировать несправедливые — кому они нужны? Вследствие такого простого рассуждения, мы и взяли из статьи только то, что относилось к области фактов, к которым мы находим в себе сочувствие. Это именно дворянский пансион в Запасном дворце.

Итак, я склонен думать, что с одной стороны *бояться*, а с другой стороны *опасаться* — это просто упражнение в остроумии, которого я не понимаю и о котором упомянул в начале письма. Но Запасной дворец подал почтенной газете повод к остроумию, которое я понимаю. Именно сказано, что мне «пора уйти в запасную сторону» печати. Мне не стыдно было бы уйти в запасную сторону печати после сорока лет работы журнальной и издательской, как не стыдно уйти и в ту сторону, где ни запасной печати, ни печати князя Ухтомского не будет, а будет только печать смерти. Но когда я начинаю читать молодые «СПб. Ведомости», очевидно желающие, чтоб я ушел в запас, мне начинает думаться, что «запасная сторона» печати может еще служить для печати князя Ухтомского таким же пансионом для приготовления к публицистической и общественной деятельности, как пансион в Запасном дворце будет служить для воспитания дворянского юношества...

Не плюйте в колодец, друзья мои: высокомерное легкомыслие в литературе еще не талант, и с высокомерным легкомыслием далеко не уйдешь. Потом — и поучиться не мешает. Зачем, например, с какой целью помещены в статье «СПб. Ведомостей» следующие несправедливые мысли:

«Оскудело русское дворянство людьми совета и разума, людьми науки и пера, людьми труда и энергии, которые были бы не руководимы первым попавшимся интеллигентом, или последнею прочитанною статьею, а сами могли бы властно

руководить и вверенным им государственным делом, и окружающей их средою, делом общественным и народом».

На эти несправедливые мысли отвечает сегодня у нас дворянин, г. Арапов, объясняющий, между прочим, сельскохозяйственный кризис. Если б «СПб Ведомости» говорили о необходимости каких-нибудь новых практических начал в воспитании и образовании, которые помогли бы дворянству лучше примениться к изменившимся условиям жизни, тогда другой был бы разговор. Но они говорят, что дворянство оскудело «людьми совета и разума, людьми науки и пера, людьми труда и энергии». Значит, был период блеска и процветания всего этого. Когда же это было? С каким именно периодом процветания сравнивается настоящий период «умственного оскудения?» Время ли это крепостного права, или какое-нибудь другое время? Со времени освобождения крестьян прошло всего тридцать пять лет. Следовательно, остаются дворяне, которым за пятьдесят лет и которые жили и воспитались при крепостном праве. Родившимся после 19 февраля 1861 года теперь двадцать пять — тридцать пять лет (принимаю возраст самостоятельности). Они, что ли, оскудели? О них еще трудно говорить решительно, ибо это годы развития и мужества, но я думаю, что между ними много людей истинно просвещенных и энергичных. Затем остается зеленая молодежь, воспитывавшаяся во времена царствования императора Александра III и кончающая воспитание теперь. Этому времени я придаю особенное значение в деле воспитания, ибо оно было временем спокойствия и мирного труда, временем развития науки и внимательной вдумчивости в жизнь; о людях, воспитанных в это время, мы не имеем еще никакого права говорить, так как они или вовсе не вступали в жизнь или только что вступают в нее.

Во всяком случае, я того мнения, что дворянство не только не оскудело в умственном и нравственном отношении, но и не могло оскудеть, не могло даже по той простой причине, что Россия не оскудела в этом, а окрепла.

20 января (1 февраля), № 7146

CCLX

Князь Мещерский и «СПб. Ведомости» осчастливливают меня таким своим вниманием, которое мне кажется немножко... неумным. Дело в том, что г. Арапов поместил свое письмо о дворянстве в «Новом Времени», и г. Арапов призывается за этот проступок к порядку обоими изданиями. Хотя с появлением новой редакции «СПб. Ведомостей» число князей в журналистике возросло, но число талантливых князей, кажется, осталось то же самое, а потому я стану говорить только с тем князем, с которым говорю, по крайней мере, двадцать лет, а о других князьях, если потребуется, стану упоминать, как упоминают о свите.

Князь Мещерский, стыдя г. Арапова, говорит обо мне: «вероятно, он не станет оспаривать тот факт, что огромную часть (??) своей писательской деятельности он посвятил на упорное осмеяние (??) того самого дворянства, которое совсем неожиданно сегодня (20 января) ему пришла фантазия pour les beaux yeux de m-r Arapoff взять под свое крылышко... Как же это г. Арапову, столь крепко и убежденно, по-видимому, стоящему за столбовое российское дворянство и за его

честь, так показалось ничего не стоящим не только становиться под знамя антидворянского имени (??), но принять место под этим знаменем, как милость, как любезный каприз г. Суворина... Этим г. Арапов дал несомненное доказательство того, что он дешево ценит себя, свои мысли и свое дворянство».

Не желая входить в соображение о тех ценах, в какие оценивают себя иные князья, не могу не сказать, что бывали случаи, что князь Мещерский обращался ко мне с просьбами, и я исполнял их, нисколько не думая о том, что я тем самым «дешево ценю его дворянство». Впрочем, вольному воля, а от спесивых гостей — избави Бог. Но не поможет ли этот случай рассеять одно важное недоразумение.

Князья-журналисты понимают дворянство — если я не ошибаюсь — в очень узком значении этого слова, а я его понимаю в том широком значении, которое дает ему русский закон, основанный на сознании необходимости обновления дворянства и нормального его роста. В моем понимании дворянство — ручей, становящийся с развитием просвещения рекою и морем; в понимании князей-журналистов дворянство — река, огражденная набережными, которые надо постоянно ремонтировать и укреплять. Они понимают дворянство, как свою партию, партию исключительную, которая должна сделаться *«всеобъемлющею во всех сферах современной жилт русского народи* («СПб. Ведомости», № 22). К дворянству «всеобъемлющему» я действительно относился и отношусь отрицательно, как отрицательно относился бы к *«всеобъемлющему»* чиновничеству, к *«всеобъемлющей»* демократии.

Я полагал всегда, что в самодержавном государстве ни одно сословие не должно быть *всеобъемлющим* и стремления какого-нибудь сословия или какой-нибудь партии к «всеобъемлемости во всех сферах жизни русского народа» — опасное политическое явление. Это — олигархия, демагогия, от которых сохрани нас Бог. В самодержавном государстве все сословия должны находиться в известном гармоническом соотношении между собою, и несомненно, что огромное большинство дворянства вовсе и не думает о «всеобъемлемости», ибо, не говоря о всем прочем, оно настолько просвещенно, что прекрасно знает свою родную историю и ту роль, которую оно играло, сначала как боярство, потом как дворянство, в последние четыреста лет нашей исторической жизни. Стремления к «всеобъемлемости» были и в эти века, но они разбивались о разум и силу державной власти, которой вверены судьбы всего русского народа, а не какого-нибудь одного сословия...

Противником дворянства я никогда не был. Его культурное значение я всегда понимал прекрасно, понимаю, что и теперь оно далеко не лишено средств культурного влияния на развитие народной жизни. По моему мнению, до новейшей нашей истории, т. е. до 19 февраля 1861 года, дворянство было полным выразителем народа, его недостатков и пороков, его добродетелей и талантов, чем и объясняется, что в лучших своих представителях оно принимало близко к сердцу народные интересы даже в крепостное время и принимает их теперь, в качестве землевладельцев и земцев. Этим объясняется и то, что благородные идеи освобождения шли от представителей дворянства и благороднейшие создания русской литературы созрели в деревенских кабинетах, вблизи народа. Я совершенно искренно убежден в том, что оно не «оскудело умственно и нравственно», сравнительно с прежним временем крепостничества, а выросло, как выросла вся Россия. Но важное изменение произошло: возникла небывалая до освобождения крестьян конкуренция дворянству на всех поприщах. До того времени почти единствен-

ным конкурентом его в умственном развитии было духовенство, — сословие, считающее свою грамотность тысячелетием, тогда как дворянство не может похвалиться и двухсотлетием. С 1861 г. сильным конкурентом на поприще просветительного развития явилось купечество, роднящееся с дворянством при помощи браков и становящееся крупным землевладельцем, и затем мещанство и даже крестьянство. Культурный слой, наполняясь всеми сословиями, стал расти очень быстро и естественно, тревожить дворянство своим ростом. Но сливки культуры остаются все-таки за дворянством и останутся за ним, вероятно, еще долго.

Часть дворянства оскудела материально, но никто еще не доказал, что оскудело все дворянство в этом отношении. В допетровской России мы сплошь и рядом видим, что одни боярские роды оскудевают и умственно, и материально, но вырастают другие и занимают их место, и в этом вечном обмене чувствуется непрерывающаяся культурная сила, воспринимающая рост истории и времени. Кто доказал, что все теперешнее дворянство оскудело материально? Я думаю, что часть его, и, может быть, значительная, разбогатела. Ведь не может же быть, что те миллиарды процентных бумаг, которые выпущены со времени 1861 г., находятся только в руках купечества и крестьянства (??); часть этих миллиардов и, значительная, несомненно лежит и в бюро дворян. Большая часть промышленных предприятий также находится в руках дворян, особенно заводы сахарные, винокуренные, горные предприятия, земельные банки и т. д. Переживаемый сельскохозяйственный кризис тяжел для дворянства; он несомненно должен унести наиболее слабых, но те, которые переживут его, окрепнут и сохранят свое значение в государственной и общественной жизни.

Все споры о дворянстве не происходят ли от того, что никто из журналистов, включая сюда и журналистов-князей, не потрудился объяснить с полною откровенностью, — о чем, собственно, говорится? Говорится ли о дворянстве в общих условиях государственной жизни, в гармоничном, историческом ее развитии, или говорится о нем, как о сословии, желающем быть реально выделенным из всех других сословий и огражденным каменной набережной? Вот на что следует отвечать прямо и твердо и тогда, может быть, сами собой уйдут в сторону все резкие недоразумения и обвинения в том, в чем чувствуешь себя совсем невиноватым.

28 января (9 февраля), № 7154

CCLXI

Сегодня принц Борис присоединяется к православию. Портрет этого симпатичного мальчика вы найдете в нашем сегодняшнем приложении. Дай ему Бог здоровья и счастья, и если этого от всего сердца не пожелает ему св. отец, папа, то он совершит грех не только против своей папской непогрешимости, но и против своей человеческой доброты. Я очень рад, что князь Бисмарк (см. № 7159) по поводу этого присоединения сказал то же самое, что сказали мы, отвечая «СПб Ведомостям» на их доктринерские мнения. Все христианские религии равны перед Господом Богом, но правитель не имеет ни малейшего права подчинять народные вероисповедные интересы своим вероисповедным интересам.

Присоединение принца Бориса дало повод князю Мещерскому вспомнить нашу войну с Турцией и сказать следующее:

«...Что за безмерное ликование было, когда в 1876 году все русское общество заговорило о войне с Турцией... Все кричали, все были в восторженном состоянии, и я ли не помню, с каким презрением мы относились к тем одиноким людям, которые грустно покачивали головою и пророчили много горя России от этой войны, и это презрение мы мотивировали тогда отсутствием в них патриотизма. Боже мой, как три года спустя, увидев на месте, что такое Болгария, хотелось тогда разыскать этих одиноких, не сочувствовавших нашим воинственным увлечениям русских людей, чтобы пасть перед ними на колени и воскликнуть: простите, честные русские, мы вас презирали тогда, теперь мы себя презираем за то, что не имели достаточно патриотизма тогда не кричать со всеми, не увлекаться со всеми...»

Для чего это падать на колени и восклицать такие глупости? Падать на колени и даже «презирать себя»? Боже мой, что за извращение чувства и разума! Разве Россия совершила какую-нибудь гадость? Разве русский император, русский генерал, отправившийся в Сербию, русское общество с добровольцами, русская армия с своими победами и невзгодами, — разве они совершили какое-нибудь преступление? Разве война с Турцией не дала свободу и новую жизнь нескольким миллионам народа, который погибал среди господствующего мусульманства? Да если б Россия не получила по миру с Турцией и пяди земли, если б все дело ограничилось только освобождением Болгарии, неужели этого одного мало? Конечно, как-то странно звучит, что война является делом любви. Но что ж делать, когда мы живем еще в таком веке, когда без войны не обходятся и христианские народы и когда мусульманство ненависть к христианам ставит в правило своей религии. Отбросьте преувеличения в современном армянском движении и скажите, нет ли в тех событиях в Турции, которые мы переживаем, чего-то такого, что возмущает наши лучшие чувства и что диктует нам горячее желание видеть иной порядок вещей всюду, где мусульманство играет роль господина христиан и где угнетенный христианин ожидает помощи, чтоб христианин свободный помог и ему стать также свободным и независимым...

Становиться на колени перед теми, которые говорили: «что нам за дело до Болгарии, до Сербии», презирать себя за то, что мы дали свободу миллионам граждан, с которыми поступали турки как с рабами, — на каком это языке говорится? Это — язык раба. Вы спасли из воды утопающего, а спасенный знать вас не хочет, и вот вы начинаете презирать себя за то, что спасли его и становитесь на колени перед теми, которые говорили равнодушно: «черте ним, пускай утопает!»?

Какая гадость, какой поистине пошлый и презренный эгоизм! История толкает нас на путь любви, на путь братства, а мы будем открещиваться и произносить какие-то глупые речи о презрении самих себя за подвиг самопожертвования, который мы совершили. По-моему, такие речи недостойны человека. В сознании передовых людей настоящего времени не «право», не «справедливость» должны руководить людьми, а любовь. И это завещано нам христианством. Притча Христа о хозяине дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, потом пошел еще в три часа, в шесть, в девять и в одиннадцать и велел управителю своему уплатить всем поровну, не обращая внимания на то, что один работал целый день, а другие только один час, — притча эта звучит иронией по отношению к справедливости. И, действительно, самое дорогое, самое возвы-

шенное в жизни есть не справедливость, не право, а любовь. И все то, что сделано во имя любви, то именно и справедливо, и вечно, и благородно. Подвиги самопожертвования дают нации известный отпечаток крепкой и здоровой личности, способной увлекаться идеями и делами милосердия и любви.

Идеи милосердия и любви — культурные идеи par excellence. Народ способный на них, действительно великий народ. Все, что мы завоевали силою, все, что мы приобрели в силу исторического или юридического права, все это может быть оспорено, опротестовано: но то, что сделали мы во имя любви, то остается вечно прекрасным делом и в русской истории будет блестеть, как одно из благороднейших свойств народа, возвышающее его обаяние среди других народов. Никто этого у нас не оспорит. Все временное, партийное, злободневное пройдет, и останется одно чистое, как хрусталь, дело освобождения и любви. Никто не оспорит права бескорыстного, самоотверженного участия в деле этого освобождения нашего образованного общества, нашего офицерства, наших врачей, наших женщин, наших солдат. Кровь, пролитая на полях Болгарии, — самая святая кровь, когда-либо пролитая нашим народом, более святая, чем кровь, пролитая за родину, страдания наших войск — самые святые страдания. И если кто этого не понимает, пусть не понимает. Ни один листок из русских лавров не вырвут они, эти непонимающие, и дело любви останется делом любви и нашей гордости. Презрения достоин не тот, кто умирал за других, а тот, кто жалеет о совершенном деле любви!..

3 (5) февраля, № 7160

CCLXII

«Ликующая Болгария — это бесспорный факт; факт не отрицающийся (не отрицаемый? — *А. С.*) и самыми крайними пессимистами». Беру эти строки из софийской корреспонденции «СПб Ведомостей». Таких строк целая сотня в ней. Не отрицая факт «ликования», автор объявляет его «многожданным всепрощением и великим благоволением» русского царя. Но кто же иначе объяснял это явление? О чем говорилось в эти последние годы? Что заставило приезжать болгарскую депутацию в Петербург? Что заставило принца Фердинанда порвать с католичеством и согласиться на присоединение к православию сына своего? Желание примириться с Россией — вот ответ всем известный. Этого желания не был лишен даже Стамбулов, как это ясно было видно из его бесед с С. С. Татищевым во время поездки его в Софию несколько лет тому назад, поездки, подробности которой были напечатаны в «Новом Времени». Связь Болгарии с Россией была необходима, и это сознавалось не только болгарским народом, не только болгарами, друзьями России, но и болгарами, врагами ее. Фраза Стамбулова, сказанная им после отставки нашему корреспонденту в 1893 году, что он отдалил Болгарию от России, но крайней мере, на пятьдесят лет, оказалась только хвастливой фразой, и сам он погиб жертвою своего упорства.

Восторги восторгами, но газета спрашивает, зачем было утверждать династию принца Фердинанда накануне его «низвержения»? «Зачем Россия свою силу не употребила для низвержения ненавистного принца, а для его укрепления?» Так восклицает, не совсем грамотно, один болгарский эмигрант из Москвы. В самом

деле, зачем? Да просто затем, что для России важна Болгария, а не болгарские эмигранты, не болгарские партии всевозможного сорта. Я лично того мнения, что ни одному болгарину, эмигрант он или не эмигрант, министр он, или простой интеллигент, не надо класть пальцев в рот — откусит. Среди болгарской интеллигенции, благодаря парламентаризму, уже вырос класс политиканов, стремящийся к власти и к эксплуатации населения. С этими господами необходимо держать ухо востро и не верить им, когда они говорят в «СПб Ведомостях» о графе Голенищеве-Кутузове:

«Одного его слова достаточно, и вся Болгария пойдет за ним на жизнь и смерть». Такими общими местами нельзя теперь обмануть русского человека, который так хорошо вырос и политически поумнел, что прекрасно понимает, как сложна жизнь даже такой маленькой страны, как Болгария. А вся длиннейшая корреспонденция «СПб Ведомостей» и все слова гг. болгарских эмигрантов не что иное, как фразы, фразы партии, оказавшейся не у дел, фразы цветистые, в чеканке общих мест красноречия и лести, а потому ничего не стоящие. Болгарский эмигрант восклицает: «Не удостойся теперь принц Кобургский высокой милости, он бы не удержался в Болгарии, и *тогда вся Болгария упала бы на колени перед Россией просить прощения*» (курсив под. — *А. С.*). Зачем же это нужно для России и что соблазнительного в том, что вся Болгария стоит на коленях? Ведь *вся* Болгария даже виновата не была...

Россия желает спокойствия и благосостояния Болгарии, а не того, чтобы она стояла на коленях. Россия очень хорошо знает, что выборы нового князя связаны с агитацией, с волнениями, с беспокойствами. Эти выборы стали бы вопросом международным и отвлекли бы внимание России от других вопросов. У принца Фердинанда наверное есть уже знакомство со страной, есть желание утвердить свою династию дружбою с Россией. Кто бы занял его место? Хорошо, если б выбрали князя Ухтомского — за его преданность России можно, конечно, ручаться, кроме того он, как обладающий «даром пророчества» — он это о себе сам напечатал — может провидеть будущее, ну, а если другого кого? Наконец, кто бы ни был болгарским князем, он непременно должен стать болгарином и защищать болгарские интересы. Признавая принца Фердинанда болгарским князем и сына его наследником, мы имеем дело с личностью известною и можем располагать свою политику сообразно тому, что мы знаем и чего ожидать можем. Выбор нового князя, даже в лице князя Ухтомского или другого какого русского князя или графа, не говоря уже об иноземцах, поставил бы нас и Болгарию снова перед величиной неизвестною...

Корреспондент, тоже, очевидно, болгарин, со своей стороны уверяет, что Болгария отдала бы России Варну и Бургас, даже «половину Болгарии» за то только, чтоб не признавать принца Фердинанда. Как щедры эти ненавистники Кобургской династии и какого плохого мнения они о России! Они нам отдали бы «половину Болгарии», точно они ею владеют и точно Россия когда-нибудь думала входить с ними в торги. Кроме того, я никогда не поверю болгарину, что он болгарин, что он честный славянин, если он говорит такие слова. Это говорит только льстец и лжец, которому хочется власти, власти и власти, который спокойно прошел бы по десяткам тысяч трупов русских на министерский пост в Болгарии. Вы сейчас увидите, что за господин этот корреспондент и почему он расточает свою лесть и свое красноречие. Он... рекомендует поручить «управление страной» Петко Каравелову, якобы «безгранично преданному» России, человеку с

«нежным и горячо-любящим Россию сердцем». Что Петко Каравелов горячо любит Болгарию — я этому охотно верю. Но чтоб он «горячо и нежно любил Россию» — это не правда. Мало того: корреспондент объявляет, что сердце Каравелова, признанием принца Фердинанда, «ранено неизлечимыми, острыми, ядовитыми стрелами. Нельзя же, в самом деле, играть самыми светлыми чувствами целой нации». Каравелов олицетворяет собою целую нацию! Мне думается, что это чересчур уж не умно, и я жалею, что у Каравелова нашелся такой плохой защитник: он, бесспорно, заслуживал лучшего и более умного. Во всяком случае, зачем нам обманывать себя этими сентиментальными фразами, этими «нежно любящими сердцами», этой «безграничной преданностью»? Для нас важны политические причины, важно сознание, что Болгария чувствует себя в фальшивом положении без России, а вовсе не какие-то нежные сердца и какая-то беспредельная преданность. Надо понимать друг друга, надо сознавать взаимную солидарность и укреплять ее всем ходом политических событий и нашими русско-болгарскими интересами, которые непременно есть и которые в будущем могут еще вырасти. Не в области сентиментальной любви и т. н. «беспредельной преданности» должны мы искать укрепления наших дружеских связей и нашего влияния, а в области материальных и культурных интересов, которые легко определяются и видятся. Надо, одним словом, бросить старый путь цветистых и ни к чему не обязывающих слов и чувств и перейти к точным, деловым выражениям и к делам.

10 (22) февраля, № 7166

CCLXIII

Театры и опера на русском языке закрыты. На иностранных позволены. Дело, очевидно, не в православии, а в языке, ибо именно православные слушают итальянскую оперу, французскую комедию, шансонетки г-жи Жюдик, которая из Софии приехала в Харьков, и т. д. Может быть, и правда, что святые говорят по-русски и потому русский язык самый священный и его невозможно осквернять в посту такими сквернами, как театр. К сожалению, остаются трактиры, кабаки и некоторые другие места, где на русском языке говорит необузданное пьянство, порок и невежество. Поэтому, уж если каяться за мясоед и масляницу закрытием театральных представлений на русском языке, то и кабак закрыть бы надо, как закрывают театры. Как вы думаете? Ведь театры мы закрываем из уважения к религиозным верованиям народа. Я не думаю, что народ не оценил бы закрытия кабаков на Великий пост...

Когда была поставлена «Власть тьмы», репортеры одной газеты пошли к духовным лицам и спросили их, можно ли на сцене креститься? Спрошены были выдающиеся люди, о. Янышев, о. профессор Горчаков, о. И. Сергиев Кронштадтский, о. Рождественский и др. Одни ответили: «можно», другие — «нельзя». После этого опроса запрещено было креститься на сцене актерам Александринского театра, игравшим во «Власти тьмы». Это, может быть, и резонно было, ибо «крестным знамением» на сцене «играют», а не кладут его по привычке или по убеждению, как в жизни. Но, отвечая на вопрос о крестном знамении, отцы духовные должны были невольно коснуться и самых театральных представлений. Мне кажется, теперь как раз пора напомнить о мнениях по этому вопросу наших

переев и протопереев. Надо сказать, что в их рассуждениях на эту тему сказалось значительная неуверенность, обходы и оговорки. С одной стороны, как будто театры ничего себе, а с другой стороны, как будто они — нечто непозволительное не только в пост, но и в скоромное время. О. Лебедев, между прочим, сослался на 51 правило VI Вселенского собора: «если мирянин пойдет туда, где бывают разные зрелища, то он отчужден будет от церкви». Понятно, что о. Лебедев, как, впрочем, и некоторые другие, выражавшие подобное же мнение, сейчас же прибавил, что «языческий театр и нынешний — не одно и то же». «Зато посетители театра и не отчуждаются от церкви», прибавил он. Зато ли, полно?.. Кому же неизвестно, что мы языческий театр ставим очень высоко. Это — Эсхил, Софокл, Еврипид (не говорю об Аристофане, некоторые пьесы которого неудобны на современной сцене по их откровенности). Языческий театр в лучших своих пьесах — превосходит многое множество даже хороших вещей нынешнего христианского театра, а в худших — он часто нравственнее и поучительнее худших вещей театра нынешнего. Отсюда следует, что нас не отлучают от церкви не потому, что древний театр — языческий, а нынешний — христианский, а потому, что сама церковь не может не сообразоваться с веком и человеком. О. Янышев в этом отношении сказал о театре прекрасные слова:

«По-моему, театр должен быть помощником церкви. Он должен продолжать воспитывать народ и преподавать ему те истины христианского учения, как и церковь, только другим способом. Я вам больше скажу: театр — это параллель церкви... Все равно как добродетель духовная и добродетель гражданская: они связаны между собой тесно. Одно вытекает из другого... Церковь проповедует добродетель и на обязанности театра лежит та же самая проповедь». О. Рождественский резюмировал вопрос о театре в таких словах:

«Теперь в театре культивируется искусство, а церковь никогда не отворачивалась от искусства. Во всяком случае, по-моему, надо выбрать одно из двух: или причислить театр к языческим зрелищам и налагать епитимью на всех посещающих его, или смотреть более широко на дело».

Этими словами он преподал урок тем о духовным, которые старались делать различие между театром древним и новым. Действительно, или надо причислить театр к языческим зрелищам и налагать епитимью на посещающих его, или совсем отказаться от взглядов на театр, как на зрелище греховное и допускать театральные представления и в Великом посту, исключая первую и последнюю недели.

А бедный актер! Вот кто постится за свои прегрешения в Великом посту. Мы только не ходим в театр, а он не только не ходит, но и не ест, или, по крайней мере, близок к тому, чтобы не есть. Актеры императорских театров не страдают от закрытия театров, а только отдыхают. Это — удивительно исключительные слуги искусства: у них почти шесть месяцев в году вакаций! Шесть месяцев ничегонеделания, полужизни праздности! Затем им дают двадцатипятилетние и пятидесятилетние юбилеи, когда они из пятидесяти лет служат только двадцать пять лет? Да и пенсии им следовало бы давать по этому расчету, не за двадцать, а за сорок лет. И вот в то время, как актер частных театров не знает, чем ему существовать в Великом посту, актер казенных театров, и без того прекрасно обеспеченный, едет в Варшаву и собирает там дань рукоплесканий и кредитных бумажек. Согласитесь, что все это не совсем логично.

11 (23) февраля, № 7167

CCLXIV

В этом феврале 29 дней. Ровно двадцать лет тому назад, в день преподобного Кассиана, 29 февраля, явился первый нумер «Нового Времени». В этот четверг, если Господу будет угодно, явится 7185-й нумер. В двадцать лет прошло 7305 дней. Значит, только 124 дня мы не работали. Всего четыре месяца отдыха в двадцать лет. А ведь в двадцать лет одних воскресений, не считая других праздников, 1040, что составит почти три года. Едва ли какая другая профессия может похвалиться таким постоянством, такою непрерывностью в работе.

Многие любят говорить о журналистах свысока. Многие готовы сказать, что это — легкомысленное, пустое, сварливое, ворчливое, ничем и никем не довольное племя. Притом племя высокомерное, воображающее о себе не весть что и говорящее о таких предметах и так решительно, что серьезных людей от этого коробит. Может быть, может быть. Спорить не хочу. Но я полагаю, что все в мире вовсе не так серьезно, как о себе воображает и что все вопросы вовсе не так головоломны, чтобы о них уже и нельзя было судить без предварительных и глубоких изысканий. Ведь, в сущности, журналистика говорит не о материях важных, не о вопросах сложных, государственных, общественных, а о людях, о том, как люди эти вопросы понимают, уважают, ценят, презирают, ненавидят, топчут в грязь. Только о людях. А известно, что человек не совершенен. Известно также, что каждый о каждом рассуждает, составляет свое мнение и т. д. В этих мнениях есть и правда, и ложь. И в журналистике есть много лжи и много правды. Чего больше? На это никто не даст такого ответа, который можно было бы признать за истину непреложную. Скажите мне, кто праведен так, что может сказать: я говорил больше правды, чем лжи? Кто строго отнесется к себе, тот не скажет этого. И журналисту нечего хвалиться особыми доблестями. Мы такие же люди, как все. А так как мы — люди талантливые и нервные, то, быть может, мы или хуже обыкновенных людей, ибо никакой гармоничности не представляем собой, или лучше, если отсутствие гармонии составляет достоинство. Резкие, желчные, воспримчивые, то пылающие гневом, негодованием, злостью, то ворчащие, скрывающие мысль, подносящие ее с соусом умолчания и претковения...

Однако, позвольте, я так не кончу никогда...

Двадцать лет! Это не юбилей и мы не думаем об юбилейном торжестве. Но все-таки это двадцать лет, все-таки 7185 номеров, которые, если распределить в тома, то выйдет около 1000 томов, ибо 7185 номеров не значит столько же листов. Листов выйдет много за 10 тысяч наверно.

Ах, нашел, чем хвалиться! Расплодил печатной бумаги великое множество и хвалится...

О, вы, злобный критик! Обратитесь к своей особе и скажите, *что* вы расплодили, *что* вы принесли по части огорчений, удовольствия, пользы, вреда... ближним? Будьте милы, не забывайте себя и своих заслуг перед согражданами и, может быть, будете справедливы к другим...

Двадцать лет, двадцать лет, двадцать лет! Сколько пережито, вспомните! Что мы видели за это время, перечувствовали, переболели! Мы давали вам ежедневную историю, мы были с вами и около вас каждый день, мы присутствовали за вашим чаем, кофеем, мы отдыхали с вами после обеда, мы беседовали с вашей супругой, с вашими домочадцами; мы вместе с вами росли и вместе старились; вы

хвалили нас, бранили, ударяли рукой по листу, бросаясь к чернильнице, чтобы писать возражение, или шли к приятелю, в клуб, к жене, чтобы передать свое впечатление, дурное, хорошее, нелепое, веселое; рассказать происшествие, удивить телеграммой, выругать наше невежество, наше самомнение, нашу нескромность, нашу скабрезность или скуку, или похвалить наше остроумие, нашу догадливость, наше чувство... Мы были с вами так часто, вы занимались нами так много, что в вашей жизни мы отняли, по крайней мере, 7185 часов, полагая только час один на нумер: ожиданье его (что тоже берет голову), распаковывание, развертывание и чтение. А 7185 часов составляет почти год. Любите ли вы нас или ненавидите, но мы — ваш знакомый, завсегдатай, ежедневно звонящий в ваш звонок, и вы нас принимаете ежедневно, если не всегда с удовольствием, то, по крайней мере, как знакомого, которому рад не рад, а сделайте милость, садитесь...

Принимая нас, вы инстинктивно чувствуете, что мы вас не учим, не проповедуем. Вы чувствуете, что мы сами учимся, учимся и перед писаньем, и во время писания, и читая корректуру. Мы учимся выражать свою мысль, свои желания, свои мечты, и в этом часто вы находили и свою мысль, и свои желания, и свои мечты. В этом разгадка нашей взаимной приязни, нашей привычки беседовать друг с другом при посредстве этого листа.

Двадцать лет! Не думайте, что мы намекаем на то, что вы должны быть благодарны. О, сохрани Бог. Вы ведь деньги платите, а за что вы деньги платите, за то с какой же стати будете вы благодарить... Напротив, мы вам благодарны, что вы нас принимаете, беседуете с нами, что вы нас включили в число своих знакомых... Пожалуй, в число своих друзей. Отчего бы не друзей, в самом деле!? Если бы вы знали, сколько нервов, беспокойства, бессонных ночей, тревожных дней, сколько напряжения всего того, что называется головой и сердцем, сколько души приходится класть в эту работу...

Двадцать лет и из них шестнадцать лет с двумя предостережениями, начиная с 1880 года и с 1649 нумера. Знаете ли вы, что значит издавать газету с двумя предостережениями, хотя бы одно из них получено было за непочтительное отношение к Берлинскому трактату, а другое — за насмешливое отношение к финансовой системе покойного министра финансов Грейга? Это все равно, что иметь деревянный дом и, не имея права застраховать его, постоянно опасаться, что он сгорит от какого-нибудь недосмотра, от какого-нибудь пустяка вместе с жильцами...

Если бы вы знали все это, вы бы наверно сказали:

— А ведь в самом деле двадцать лет постоянной работы головой, постоянного желания заинтересовать меня событиями, идеями, мечтами — это что-нибудь значит!..

Ну, если вы это скажете, мы выпьем за ваше здоровье от всего сердца.

28 февраля (11 марта), № 7184

CCLXV

Г. Ромер поместил в «Новом Времени» (№ 7170) фельетон, где, говоря об отношении печати к сельскохозяйственной промышленности, касался вопросов о золотом фонде, о недоимках, об уменьшении суммы сборов с «некоторых катего-

рий» документов на право торговли и промыслов. На фельетон его министерство финансов прислало возражение, которое мы напечатали (№ 7172). Прошло более двух недель с того времени, и вчера в «СПб. Ведомостях» появляется возражение г. Ромера на возражение министерства (финансов, с оговоркою, что оно не могло появиться в «Новом Времени», «но независящим» от г. Ромера «обстоятельствам», что и заставило его просить гостеприимства в «СПб Ведомостях».

Мне очень жаль, что он обратился, спустя две недели, после того, как мы возвратили ему его заметку, в «СПб Ведомости». Напечатав ее, они тотчас и опровергли его возражения теми самыми данными от министерства финансов, которые были напечатаны в № 7172 «Нового Времени». Таким образом, его дважды опровергли, а мы не хотели подвергать его этой неизбежной участи. Говорю «неизбежной», ибо его возражение, в существе дела, заключалось только в указаниях на источники, из которых он черпал свои сведения, именно на «книгу министра земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолова «Неурожай и народное бедствие» и на статью «члена Государственного совета» Ф. Г. Тернера. Но книга «Неурожай и народное бедствие» написана А. С. Ермоловым, когда он не был министром, а потому это — не книга «министра земледелия», авторитет же Ф. Г. Тернера зиждется не на том, что он «член Государственного совета», а на том, что он — известный экономист.

Но я рад случаю сказать несколько слов о сущности спора. В своем возражении почтенный автор говорит, что он «крайне польщен вниманием к нему министерства финансов, и «вместе поражен тою чуткостью, с которою оно прислушивается к мнению даже отдельных представителей сельскохозяйственный среды». Но это, мне кажется, известно. Министерство финансов занимает такое огромное место в русской экономической жизни России, оно начало такой ряд чрезвычайно важных мер, затрагивающих именно денежные, самые близкие всякому интересы, что с его стороны было бы глубокою ошибкою, если бы оно оставляло без объяснения все то, что является в периодической печати. Я знаю, что министерство финансов отличается терпимостью к мнениям, и не только о нем, как ведомстве, но даже о личности самого министра финансов, что у нас не одно и то же. Это вполне необходимо. Финансовые вопросы невозможно замалчивать. Ничто так не волнует общество, как налоги и вообще все то, что относится к деньгам. Если критика их не находит себе места в печати, то вместо критики начинает обращаться в обществе самая уродливая сплетня, самые легкомысленные предположения и суждения. Если б правительство, например, сегодня закрыло все университеты, то в кружках наиболее независимых и богатых петербургского общества это не возбудило бы такого шума и неудовольствия, как закрытие сегодня же биржи, на которой эти кружки составляют свое благополучие, выигрывая в несколько месяцев целые состояния, без всякого труда и усилия, а единственно благодаря скопу-заговору. Вспомните, что говорилось по поводу биржевой горячки, когда бумаги, поднятые чрезмерно биржевыми плутами и плутократами, летели стремглав. Все заинтересованные, а их много, во всем этом обвиняли министра финансов. Они хотели бы играть и выигрывать непременно. Тогда они были бы довольны. Но они не согласны играть и проигрывать — и потому готовы вас обвинить в государственной измене. Русские люди иногда такие наивные люди в этом отношении, что их стыдно слушать. Известное преобразование Крестьянского банка, с целью дать возможность усилить

благосостояние крестьян, вызвало тоже горячие толки, на этот раз среди помещиков, которые вообразили, что пришел им конец, ибо государство будто бы собралось скупить все их земли. Если б министерство финансов серьезно поставило на очередь вопрос о подоходном налоге, то крикам и негодованию конца бы не было, а между тем подоходный налог — сама справедливость в настоящее время. Можно бы многое по этому поводу сказать, но это увлекло бы меня за всякие пределы.

Если возражение г. Ромера по существу своему не важно, ибо он даже не знал закона 7 декабря 1894 года, которым рассрочены выкупные недоимки в такой степени, что взимание их может быть отлагаемо до конца выкупной операции, то вопрос, поднятый в фельетоне «Нового Времени», очень интересен: действительно ли пятнадцать центральных губерний обеднели, как он утверждает, и если они обеднели, то почему именно?

Возникшая по этому поводу полемика не отвечает на эти вопросы, тем более, что она чисто статистическая, а статистика у нас еще обретается в младенчестве. Привести две-три цифры еще не значит убедить кого-нибудь. Для этого потребовались бы исследования гораздо более убедительные и детальные, чем те, которые представлены в статье г. Ромера, в книге А. С. Ермолова «Неурожай и народное бедствие», на которую он ссылается, и в возражениях самого министра финансов. До сих пор еще раздаются голоса, что крестьяне при крепостном праве жили лучше и это не находит даже, да и не найдет себе, возражения. Я думаю, что оно и не нужно, по той простой причине, что помещикам в крепостное время жилось неизмеримо лучше, чем крестьянам, и лучше, чем живется им теперь. Если помещики наверно потеряли, то крестьяне во всяком случае выиграли, по крайней мере в свободе, которая многого стоит. Не о хлебе едином... Это и крестьянин знает. Реформы, произведенные в какие-нибудь тридцать пять лет, потребовали столько жертв, столько расходов, что весьма возможно, что обеднели и пятнадцать центральных губерний, которые были и наиболее крепостными, поэтому и наиболее угнетенными экономически — это тоже необходимо принимать во внимание. Г. Ромер говорит, для того, чтобы помочь беде обеднения, не надо строить Сибирскую дорогу, не надо делать то и это. Я думаю, что такой критический прием нисколько не лучше следующего: не надо было освобождать крестьян, вводить земство, суды, заводить школы, усмирять польское восстание, не надо было завоевывать Ташкента, вести войну с турками, заключать всевозможные займы, не следовало даже заключать дворянского займа с выигрышами. Можно бы даже такую критику начать с более ранней эпохи: не следовало нам спешить за Европой, подражать ей, заводить огромную армию, строить столицы и города и т. д. Нам следовало оставаться Азией, протягивать ножки по одежде, не вести разорительных войн в начале этого столетия и т. д. Однако такие критические приемы, быть может, очень справедливые, ровно ничего не дают и удовлетворяют только праздное раздражение. Нас история двинула, как Господь двинул земной шар, и мы остановиться не можем. К добру это или к худу, все равно мы должны жить этою европейскою жизнью, обеднели ли центральные губернии или разбогатели. Несомненно одно, что их необходимо поднять надо всей Российской империей в культурном и материальном отношении, поднять во что бы то ни стало.

Ядро России, могучее по своему уму, даровитости, по своей политической мудрости, терпению и энергии, доселе не только не пользуется никакими преимуществами, но стоит ниже окраин даже в деле учебном и в деле путей сообщения. Когда был бы поднят этот центр, можно было бы смотреть на окраины спокойно и сделать для них все возможное. И поднять центр надо прямо в смысле самых необходимых и кричащих политических причин, а не потому, что он будто бы обеднел и что надо его «пожалеть». Не о возбуждении жалости идет речь, а о государственном принципе, от которого зависит прочность и единство государства...

5 (17) марта, № 7190

CCLXVI

Вам не надоела еще свалка гг. Половцовых с князем Мещерским? Суд разрешил дело очень просто, послав виновных под арест. Но суд решает формально, по статьям закона, или по статьям судейской совести, которая сжилась с законом. Но мы с вами можем считать это дело неоконченным с нравственной и принципиальной стороны.

Меня в нем интересуют более побочные обстоятельства, чем самая сущность. Мало ли что бывало с журналистами в Европе. Целые разгромы редакций бывали, и журналистам доставалось куда больше, чем князю Мещерскому. Бывали убийства журналистов. Убийство французского журналиста Пуара принцем Петром Бонапартом обратилось в политическую манифестацию против Наполеона III и империи. Кроме личного мщения за статьи, бывали мщения политические, мщения целой партии.

Данное дело заключает в себе одну сторону, где трудно обвинять молодых людей: они мстили за своего отца. Я не о праве их говорю, а о побуждениях, которые в области чувства стоят иногда выше права. Статья может бить больней, чем палка, и это необходимо признать; статья может оскорбить глубоко, ибо статья может быть пасквилем и клеветой. Не всякий пойдет в суд, не всякий вызовет на дуэль, а чувство отмщения и обиды кипит, разжигаемое друзьями и знакомыми, которые лезут в этих случаях с своим участием. Обвинять гг. Половцовых во что бы то ни стало так же невозможно, как невозможно оправдывать во что бы ни стало князя Мещерского. Тоже далеко не герой добродетели: у него на рубль партийности и на грош правды. Но что можно осуждать в молодых этих людях — это их приемы. Князь Мещерский написал свою статью «Его высокопревосходительство» -слишком длинный титул для людей иногда весьма коротких с приемами полуоткрытыми, ехидными, с целями сомнительною достоинства. Он оставил себе лазейки для отступления, чтобы укрыться за «тип», он не избежал своих всем известных подвохов и инсинуаций. И молодые Половцовы отвечали ему приблизительно теми же приемами. Они тоже обставили себя недурно, несмотря на молодость, которая, говорят, легкомысленна и непредусмотрительна.

Они, напротив, предусмотрели план компании и распределили удары. Они выждали несколько дней, чтобы усыпить врага и обсудить свои действия. Они приехали на рысаке. Один из них притворился перед лакеями хромым, чтобы «пропустили» в гостиную его палку, как цензор пропускает хромоногую, но ядо-

витую фразу, а другой «тайно» пронес нагайку, быть может, на груди своей... Они поспешно скрылись, шагая быстро по лестнице, и поспешили к своему рысаку. Князь Мещерский уверяет, что они распустили по городу слухи, что вызывали его на дуэль и стали его бить только тогда, когда он отказался от нее. На суде, напротив, они заявили, что приехали только за тем, чтобы бить его, и что они действительно его побили. Во всем этом есть что-то такое, что не говорит о молодости, о взрыве негодования, и, очевидно, они — рассудительные молодые люди...

Мне думается, что они действительно побили князя Мещерского. Это даже довольно ясно из свидетельских показаний сторонников пострадавшего. И что за диковина, что старика побили двое молодых людей, напавшие на него неожиданно. Он, очевидно, защищался и, вероятно, действительно схватил за палку одного, когда другой действовал нагайкой. Мне верится, что они совершенно правдивы в своих показаниях, что они совсем не хвастались тем, чего они не делали. Они хвастались только тем, что сделали.

Как же поступил князь Мещерский? Он стал отрицать, что его били. Но ведь он смотрит на свою статью не как на пасквиль, а как на хорошее дело, как на долг публициста? Если это так, а иначе ее можно было писать только из личных целей, — почему он не сознается, что его били за «хорошее», по его мнению, «дело»? Он явился бы тогда в некотором роде страдальцем. А теперь этого права у него быть не может. И после свалки он продолжает поступать лукаво и невеликодушно, ибо своим отрицанием того, что его били, он как бы говорит, что он побил (разумею статью), а его все-таки не побили. У него остается утешение это говорить, потому что видели это только двое молодых людей, проникшие к нему с ядовитыми намерениями, а потому на них легко набросить тень недоверия, тогда как у противника нет этого утешения, ибо статью прочли многие, нет возможности отрицать, что не он в статье выведен, ибо за нее отмстили его дети...

Вообще это интересный вопрос: почему не сознать, что вас били? Ведь нет никакого мужества, никакого благородства в этом отрицании. Если б вам нанесли рану ножом или кинжалом, вы, конечно, не стали бы ее скрывать. Но если б кого-нибудь высекли, он, конечно, скрыл бы это, как скрывает князь Мещерский побои. Отчего это так? Оттого ли, что кровь не пролита, хотя розга проливает и кровь, или оттого, что быть битым палкой и нагайкой гораздо бесчестнее, чем, например, получить удар ножом? Вероятно, так. Все это вопросы «чести». Но если стыдно сознаться, что вас били, почему так почетно сознаться, что вы били? Что тут благородного или мужественного? Если дворянин — тут играют роль только дворяне — считает бесчестием для себя, что его били, почему дворянин не считает бесчестным бить? По традициям крепостного права, что ли? По праву сильного, что ли? Бить — это честь. Быть битым — бесчестие. Если битый станет сам бить — это честь, если бивший сам будет бит — это бесчестье. Как все это эластично и какое это двусмысленное и растяжимое понятие о чести. С простой, человеческой точки зрения, вне всяких предрассудков, все это — возмутительная чепуха. Рыцарские понятия о чести — такой залежалый вздор, что его давно следовало выкинуть за борт, и за это был бы самый верховный авторитет, который только существует, именно Христос. Но мы христиане только по недоразумению. Язычники были гораздо более язычниками, чем христиане — христианами.

Только женщина поступила иначе и поступила прекрасно. Разумею редакторшу «Северного Вестника» Л. Я. Гуревич, которая откровенно напечатала, что

молодой человек, пришедший от нее требовать ответа за оскорбление своей матери в «Воспоминаниях», написанных женщиной же, позволил себе «плевок». Опять сын, защищающий свою мать, и опять, как и в деле Половцовых, побуждения такого рода, что за них нельзя осуждать. Статья, подавшая молодому человеку повод оскорбить женщину-редактора, была гораздо важнее, чем в случае с князем Мещерским, но г-жа Гуревич тут сделалась жертвою той бесшабашности, существующей в русской литературе относительно всяких «воспоминаний», которая не знает иногда никаких пределов и которую установила не г-жа Гуревич: «воспоминать» так все спешат, что человек еще умереть не успел, а об нем уже печатают всякие сплетни и мерзости «Давности» никакой не полагается и не признается. В этом отношении у нас такая свобода, какой нигде нет. Г-жа Гуревич, бесспорно, пострадала за свой недосмотр и имела мужество ничего не скрыть... вероятно, именно потому, что она — женщина, а у женщины нет понятий об условной «чести», которые мужчины унаследовали от средних веков.

Какую же мораль можем мы вывести из случая с князем Мещерским? Между прочим, вот какую: мы все, и вы, и я, все образованные люди, действительно устыдимся сознаться, что нас били, но нисколько не устыдимся громко сказать, что мы били. Битый отрицает, что его били, а бьющий гордится тем, что бил. А рассудите хладнокровно: ведь бьют более сильные более слабого, более правомерные — более бесправного, бьет господин своего раба, муж — свою жену и т. д. Бьют из-за угла, бьют вооруженные безоружного. Бьют тогда, когда рассчитывают, что не получат сдачи, или когда есть больше шансов победить, чем быть побитым. Конечно, иногда и слабый бросается на сильного, но это гораздо реже. Вообще — не хорошо это!

Но хорошо вот что для усовершенствования нравов вообще. Мы живем в такое время, когда все становится открыто, когда можно знать, что находится в сундуках, за семью печатями, за стенами. Быть может, не так далеко то время, когда всякий будет иметь возможность слышать, что говорится не только у соседа, но и за несколько улиц, при помощи даже все-таки таких сложных аппаратов, как телефоны, и всякий в состоянии будет видеть, что делается за стенами домов. Мы только в начале тех необыкновенно великих научных открытий, которые начались с электрического телеграфа. Электричество очевидно есть душа вселенной. Наука, таким образом, явится бессознательной помощницей искренности, открытого и честного образа действий. Может быть, именно наука, *точная науки,* научит человечество тому, чему не могли ранее научить религия, нравственность, философия, сатирики, журналисты, проповедники. Еще 1 января 1896 года никто не воображал, что можно узнать содержимое закрытой и запертой шкатулки, не отпирая ее, а теперь мы это знаем, благодаря открытым икс(х)-лучам. Быть может, настанет время, когда ни лгать, ни обманывать, ни лицемерить, ни интриговать, ни биться нельзя будет, потому что придется жить как бы в стеклянных домах, на виду у всех и в каждом своем действии и в каждой мысли отдавать отчет себе и другим. Конечно, до этого еще далеко. Но уходящий XIX век сделал для этого много, и мы, жившие в нем, можем сказать, что видели чудеса, которые не снились нашим отцам...

12 (24) марта, № 7197

CCLXVII

Скажите, отчего денежная реформа не пользуется сочувствием? Один из публицистов даже говорит, что «вся провинция» против нее. Хотя трудно допустить, что он знает желания «всей провинции», т. е. всей России, исключая столиц, но поверить ему можно, ибо мнений всей России все равно никто не знает. Я думаю, что реформа эта не пользуется благорасположением потому, что все состоятельные люди чувствуют инстинктивно, что с реформой этой каждый нечто теряет, на треть, быть может, соответственно курсу, принятому для девальвации, а около того непременно. Одни чувствуют это инстинктивно, другие — полусознательно. И ни тех, ни других нельзя убедить, что они ошибаются, потому что никогда и никто не докажет, что цена кредитного рубля внутри России такая же, как на международном рынке. Доказывать это даже весьма бесполезно. Самая реформа эта — не благодеяние какое-нибудь, а признание того печального факта, что кредитный рубль наш, вместо 100 копеек, предлагает себя за 66,6 копеек, и притом обещает только не быть больше, не вырастать ни за что и никогда; он смело ставит точку и отказывается навек от прогресса, который он иногда обнаруживал: он то шагал вперед, то отступал, как бы являясь символом нашей цивилизации. Теперь баста. Он решается больше не расти, зато что касается того, чтоб стать меньше 66,6 коп. — он отнюдь не зарекается. Значит, причины радоваться никакой нет и нет оснований предсказывать что-нибудь утешительное, во избежание обжечься так же, как обжегся уже г. Ротштейн. Г. Ротштейн, банкир, сидящий в одном из наших банков, напечатал в прошлом году в «Новом Времени» статью, в которой уверял, что как только «сделки на золото» будут узаконены, золото сейчас же прильет со всех сторон. Сделки на золото были узаконены, а золото и не подумало торопиться исполнять предсказания г. Ротштейна и лишь показывает ему издали символический знак, образуемый из трех пальцев.

Другое дело — необходимость реформы. Говорят, она необходима, наш курс путает все расчеты и требует ежегодно множества денег для своей поддержки на известном уровне. Образно выражаясь, мы подошли к стене и нам идти далее с нашим легкомысленным курсом невозможно. Если такая необходимость реформы существует, то она напоминает необходимость хирургической операции и, стало быть, оставалось бы только, во-первых, убедиться в том, что предлагаемый проект девальвации (операции) есть самый совершенный, что 66,6 коп. золотых за 100 кредитных копеек или 1000 копеек нового чекана за 666 золотых старого чекана — есть нечто такое, что не может требовать правки или изменения, в силу серьезных причин, а не причин т. н. «народной психологии», которая якобы в этом числе 666 усмотрит известное апокалипсическое звериное число. Известно, что народная психология, по крайней мере, в том виде, в каком она является у Островского, боится слов: «металл» и «жупел», как и числа 666, но мы можем этого и не бояться. Да и верующие в «звериное число» отвергали очень многое, но никогда не только не отвергали ни монеты, ни кредитных билетов, но даже усиленно оные собирали и берегли их гораздо лучше, чем неверующие в 666...

И вот стараются убедиться, нужна ли реформа и хороша ли она? Вот сколько дней и ночей обсуждается она и в газетах, и на митингах, собираемых в обществах и в клубах, но не находит себе там достаточной поддержки. У нее только

незначительное меньшинство, да и в этом меньшинстве стоят финансисты, которых заподазривают в зависимости. Конечно, было бы рискованно сказать, что обсуждение производится, как в печати, так и на митингах, как той, так и другой стороной, вполне беспристрастно и хладнокровно; но не надо забывать, что беспристрастие и хладнокровие всегда остаются только идеалами во всех вопросах и при всех обсуждениях. Хорошо и то, если сражающиеся не теряют энергии и не будут отвлечены от дела другими вопросами. Финансы — скучная вещь, и очень приятно, что общество начинает интересоваться скучной вещью: скучные вещи большею частью полезные вещи. Мы приглашали общество к этому еще год тому назад, открыв свои страницы для полемики по вопросу о девальвации. Вопреки Государственному совету, который одобрил проект о сделках на золото, не видя в этом предшественника девальвации, мы тогда же говорили и доказывали, что это — девальвация и что к ней надо приготовиться. Мы печатали голоса за и против, ибо в подобном вопросе газета обязана не быть односторонней. Вопрос касается всех и каждого, не только тех, которые его понимают, но и тех, которые его не понимают, но которые будут нести на себе его возможные неудачи. Он даже шире, если хотите, обнимает всю Россию в ее необъятности, чем вопрос об освобождении крестьян, непосредственно касавшийся только помещиков и крестьян.

Под перо просится это сравнение, частью отвечающее на вопрос, поставленный в начале этого письма. Освобождение крестьян было приятно одним и весьма неприятно другим. Это была реформа идейная, глубоко идейная. Дело шло о той свободе, без которой не только жить нельзя, но стыдно жить. Это прекрасно понимали и те, которым освобождение крестьян было неприятно или которые с этою реформою очень много теряли. У них было нравственное утешение, что эту жертву они приносят не только на алтарь отечества, но даже на алтарь человечества. Денежная реформа, о которой теперь идет речь, совсем не имеет этой стороны. Это — самая прозаическая реформа, лишенная гуманитарной идеи, а политический смысл ее ускользает от многого множества людей. Поэтому в ней спорного чрезвычайно много, вернее сказать, она вся спорная, начиная с основания, нужна ли она? И вот всякий мало-мальски смыслящий человек может и считает себя вправе высказываться, не боясь затронуть какой-нибудь общечеловеческий, дорогой принцип. Люди, проектировавшие эту реформу, не могут сказать: «мы изобрели самое лучшее, самое совершенное». Достаточно думать, что они — люди добросовестные, убежденные в пользе того дела, которым они долго занимались. И иначе думать о них было бы просто недобросовестно и недостойно, ибо они сами отлично понимают, что дело рук человеческих далеко от совершенства.

Мы видим, что многие противники реформы говорят: «Мы — за девальвацию, но мы — против проекта министерства финансов». — «Как человек, я против девальвации. Но, как русский гражданин, я — за девальвацию». Так мне сказал один из видных представителей нашей юстиции. Этой фразой указывается на государственное, политическое значение реформы. «Я рад девальвации: она уменьшит капиталы», сказал мне другой человек, не обладающий капиталами, но много занимавшийся финансовыми и экономическими вопросами. Но какая девальвация нужна, как она должна быть произведена, — в этом едва ли может последовать согласие между многими. И думаю, что мы, общество, не занимав-

шееся финансовыми вопросами, в этом случае кружимся в каком-то круговороте и ничего ясного и точного представить себе не можем. Как дебаты ни важны, поднимая самосознание и указывая на слабые стороны наших финансов, и указывая на слабые стороны наших финансов, но эти дебаты больше вращаются в области общего вопроса, чем затрагивая подробности и способы проведения реформы. Было бы превосходно, если б проекты министерства финансов печатались, чтоб были обнародованы те изменения, которые сделал в них финансовый комитет, чтоб были обнародованы и те изменения и замечания, которые сделают департаменты Государственного совета, и было бы важно если бы члены этого высокого учреждения все это изучили, когда проект поступит на общее собрание. Впрочем, виноват: последнее, конечно, само собой разумеется...

10 (22) апреля, № 7224

CCLXVIII

Эмиль Золя напечатал в «Figaro» статью, относящуюся к нам, русским, больше всего. В Париже заседает теперь международная комиссия для пересмотра Бернской конвенции, и вот, пользуясь этим случаем, Э. Золя хочет убедить Россию пристать к Бернской литературной конвенции, т. е. платить иностранным авторам за право перевода их произведений на русский язык. Мне думается, что старания Э. Золя будут напрасны еще долгое время, несмотря на свою убедительность. В его статье есть одна фраза, имеющая гораздо большее значение, чем он может думать. Он именно говорит: «Спешу прибавить, к чести России, что все русские, которых я старался убедить, что справедливость и собственное достоинство должны бы побудить их к этому решению (пристать к Бернской конвенции), казалось мне, не имеют никакой ясной идеи о литературной собственности». Говорю, что эта фраза имеет большее значение, чем думает Золя, потому, что в России и вообще идея собственности вовсе не так глубоко вкоренена в населении, как на Западе. У нас если собственность признается, то отчасти из боязни попасть под суд. Мы, в большинстве случаев, в глубине своего малокультурного сердца стоим еще на границе того бесправия, которое выражается насмешливо-добродушной фразой: «мое — мое, но твое — мое». Причины этого, конечно, лежат в истории нашей, в нашем климате, в бывшем крепостном праве, которое было бесправием, в нашей бедности, с которою мы не пробовали еще бороться как следовало бы. Не говоря о всем прочем, не говоря о пропойстве, которое само по себе как бы составляет подоходный налог, у нас на семьдесят дней больше праздников, чем в Европе, и нигде столько людей и так продолжительно не лежат на печи, ничего не делая или ковыряя от безделья лапти. Возьмите только пятнадцать миллионов русских рабочих и разочтите, что они теряют в семьдесят дней праздников, которых Европа не знает. Считая поденную плату в сорок копеек, получим за сто пять миллионов дней (15 млн. х 70) четыреста двадцать миллионов рублей. Присоединив к этому хоть только сто миллионов рублей, которые теряют заводы и имения от прекращения работ в эти семьдесят дней, и вот уже полмиллиарда рублей, о которых мы нимало не беспокоимся. В этой беззаботности, которая придирается ко всякому случаю, чтобы прозевать

целый день, и которая, кажется, говорит вам «что ни делай, все равно ничего не будет», лежит многое такое, что объясняет наше влечение считать не только свое своим, но и чужое — своим. Если наша армия побеждала так много, если она овладела столь многими областями, то отчасти, конечно, потому, что она не имела возможности лениться, зевать, соблюдала правила военной дисциплины и в праздники, делала походы в праздники и, вероятно, даже сражалась в праздники, побеждала и терпела поражения в праздники.

Если мы довольно беззаботный народ насчет собственности вообще, то насчет литературной собственности, естественно, как свидетельствует Э. Золя, и образованные люди не только беззаботны, но не имеют о ней никакого понятия. Образованный русский человек не скажет вам: «дайте мне три рубля на обед в трактире», но он вам скажет: «дайте мне почитать вашу книгу», а затем сам ее даст другому, а другой — третьему и т. д., пока книга не зачитается, т. е. будет у вас украдена. В течение ноября и декабря редакции завалены множеством просительных писем о даровом экземпляре газет и журналов, разумеется, «во имя просвещения». Библиотеки даже больших городов просят о даровой присылке и журналов и книг. Выпив рублей на сто шампанского на обеде, которым ознаменовывается открытие библиотеки, учредители рассылают широковещательные циркуляры в редакции и книжные магазины с просьбою о даровой присылке журналов и газет. Представьте себе, что существует десять тысяч библиотек, которые желают получить даром, во имя просвещения, книг и журналов, — вы обязаны были бы разориться ради просвещения, раздавая десять тысяч даровых экземпляров книг и журналов. Но до этого логического вывода из этих просьб никто из просителей, конечно, не додумывается. Всякий просящий говорит себе: *что* вам стоит подарить одну книгу, хотя тот же просящий не скажет: *что* вам стоит подарить один обед? Но так как этих просящих тысячи, то дело становится серьезным. Наша книжная торговля представляет совершенную анархию, без организации, кредита, без покровительства и доверия. У нас есть книгопродавцы, специально торгующие только краденными книгами, и это все прекрасно знают. Провинциальная журналистика в большинстве случаев питается перепечаткой из столичных газет и притом или без всякого указания на источник, или с таким указанием, которое можно принять за фамилию провинциального автора, подписавшего статью первыми буквами своей фамилии, например, М. В., Р. В., Н. В. («Московские Ведомости», «Русские Ведомости», «Новое Время»). Если б сотрудники столичных газет брали одну десятую копейки за строку перепечатываемых своих статей, то и тогда с течением времени мог бы образоваться хороший капитал, как образовался хороший капитал для драматических писателей, начавших сообща следить за провинциальными театрами и брать с них маленькие деньги за представления. О стоимости книг издателям русская публика понятия не имеет. Она думает, что книги ничего не стоят и с досадою вынимает пятьдесят копеек. Даже авторы склонны думать, что издатели их обворовывают, что книги их печатаются в огромных количествах экземпляров и расходятся, но издатели это скрывают.

В такой прекрасной и невежественной стране, стране просящей, молящей, желающей получать даром не одни книги и журналы, в стране, где издательство книг ведет сплошь и рядом к разорению издателей, какая может быть идея о литературной собственности иностранных авторов? Если культурные страны, где анархия гордо поднимает голову и говорит, что собственность есть воровство,

дошли до такого крепкого понятия о собственности вообще и о литературной собственности, что даже открытая борьба против собственности не может ей повредить, то в нашей стране, где существует община, где даровой крепостной труд еще так недавно господствовал, где идея труда не всеми еще усвоена даже среди образованного общества, то в нашей стране, говорю, неудивительно встретить слабое развитие понятия вообще о собственности.

Я понимаю, что признанием права собственности за литературными произведениями иностранных авторов мы несомненно выиграли бы как в симпатиях к нам Европы — этими симпатиями значительно управляют писатели, — так и в добротности переводов и развитии отечественного, самостоятельного писательства, литературного и ученого, но решиться на это признание мы едва ли скоро захотим: мы ее еще не совсем понимаем, ибо стоим еще на той ступени развития, где даром составляют библиотеки, даром берут книги, где награждают чинами тех, кто получает хорошее образование и где, в то же время, просвещение мало ценится и мало распространяется.

18 (30) апреля, № 7232

CCLXIX

«Савле, Савле, что мя гониши?» Под этим кричащим заглавием я прочел вчера в «СПб Ведомостях» заметку в несколько строк, где дело идет о католическом кресте, сломанном ветром, в ограде Креславского римско-католического приходского костела, и о ветхом католическом храме в Минской губернии Слуцкого уезда; храм дозволено было, *одиннадцать лет тому назад,* заменить новым, а потом дозволение это было взято назад. И ветхий храм закрыт, и нового строить нельзя. Заинтересованные просили витебского губернатора о возобновлении сломанного креста в ограде Креславского костела, и через *семьдесят дней* получили отказ в этой просьбе». Неужели же, — восклицают «СПб Ведомости», — страдания этой паствы не разжалобят каменные сердца в светлые дни наступающих великих праздников?»

Хотя «каменные сердца» — совершенно излишнее выражение, но все хорошо понимают, что веротерпимость — великое дело. Но я бы позволил себе спросить, подражая тону заметки «СПб Ведомостей», что значат эти *семьдесят дней,* и эти *одиннадцать лет* в сравнении с двумястами двадцатью девятью годами, в течение которых наши старообрядцы лишены храмов, священства, возможности молиться, как душа просит, может быть, невежественная, необразованная, заблуждающаяся душа, но душа искренно искавшая Бога и его помощи в горестях и бедствиях жизни? Что значат эти полемические приемы из «Деяний», даже эти «страдания» в течение одиннадцати лет в сравнении с страданиями в течение двухсот двадцати девяти лет наших братьев, русских, наших единоверцев, крепких сторонников самодержавия, крепких защитников русской национальности и русской славы и верных подданных государя? Почему и «Гражданин» и «СПб Ведомости» так часто говорят о сломанных и не сломанных крестах католических в русских губерниях, говорящих *по-белорусски* и *по-литовски,* но обязанных католичеством молиться *по-польски,* и молчат о том, что десятки миллионов русских людей, отдаленные предки которых откололись от православия, вследствие

причин, положим, спорных, не имеют права ни строить новых молелен, ни поправлять старые? Почему не залечить рану в корне могучего русского дерева, которое создало русское государство, и заботиться о ветвях его, где «воинствующий» католицизм никогда не был другом православия и другом русского государства? Слово «воинствующий» не полемический прием, а изобретение самого католичества, которое громко признает его в странах иноверных...

Я далек от мысли быть противником веротерпимости где бы то ни было: но я знаю те причины, почему против некоторых внешних проявлений католицизма, который непременно желает воплощаться в польский язык, принимаются те или другие меры, почему в наше гуманное время проливалась русская и польская кровь. «Воинствующий католицизм» является помощником, а иногда и руководителем «воинственной» польской партии, и говорить в этом случае о «каменных сердцах» — значит ничего не сказать или сказать на ветер. Когда религия является средством политической пропаганды, мы хорошо знаем, что даже в государствах с многовековой и крепкой культурой, как Германия и Франция, дело доходит до яркой борьбы и даже до крайне враждебных действий против «воинствующего» католичества. Ведь на нашем веку, в последние десятки лет этого века, во Франции и Италии закрыты насильственно монастыри, отобраны у духовенства, а стало быть, и у приходов, церкви и обращены в музеи, изгнаны из правительственных учреждений изображения Христа и из правительственных школ — закон Божий. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю только, что не у нас одних, еще бедных культурою, «воинствующий» католицизм стесняется, но и у народов, богатых культурою.

Православие едва ли когда и где было «воинствующим». Оно шло вместе с государством, как его опора и как его друг, и только при Никоне, благодаря честолюбию этого человека, оно явилось было воинствующим, и результат этой ошибки замечательного по силе патриарха чувствуется доселе. В декабре 1893 года я написал несколько заметок о том, что пора нам братски протянуть руку старообрядцам во имя Христовой любви и равноправности. Я говорил, что «враждой ничего не сделаешь, что целые два века доказали нам, что вражда только развила раскол и увеличила число сект. И иначе это и быть не могло. Когда людям не давали спокойно молиться, когда не дозволялось им строить церквей, когда они обманом только, подкупом, притворством, уплатою двойных податей и т. д. могли существовать, когда у них не было священства, когда их священникам не дозволялось совершать требы, то естественно было с их стороны приноравливаться к жизни и искать выхода для своей религиозной мысли, для своей верующей души, которая искала Бога в своем храме, но этот храм закрыли. Когда человеку негде молиться, когда молельня его ветшает и *он не может исправить даже покачнувшийся крест,* этот символ спасения, то он постепенно доходит до отрицания храмов и священства и говорит: «церковь — это я». Секты развились именно поэтому, главным образом». Мы знаем, какие успехи сделал штундизм, до какого отрицания православия дошло духоборство, не говоря уже о множестве других сект. О моих словах одни промолчали, другие ответили на них враждебно. Я вспоминаю теперь об этом и по поводу защиты католических крестов и храмов, я говорю о крестах и храмах православных, хотя и староверческих. По-моему, если начинать, то начинать надо со старообрядцев, со своих, не с тех, которые терпят одиннадцать лет, а с тех, которые терпят двести двадцать девять лет. Для начи-

наний, во всяком случае, необходимо спокойно рассудить и размыслить, ибо религия несомненно иногда тесно связывается с политикою. Но путь смягчений, веротерпимости, любви и просвещения — путь прекрасный в делах веры.

30 апреля (12 мая), № 7244

CCLXX

Я перечел сегодня описание торжественного въезда государя в Москву в здешних газетах. Некоторые из них целиком заняты только одним этим описанием. Я никогда не умел описывать и не люблю описаний даже в хороших романах. Чем они подробнее, тем они менее дают. Кто не видел этого въезда государя, тот не составит себе о нем цельного понятия по этим описаниям, представляющим собою только некоторую иллюстрацию к церемониалу. Описания, конечно, интересы для лиц, участвовавших в шествии. По ним они легко восстановят в памяти то, что было даже спустя несколько лет. Но для всех остальных только немногие подробности выступают ярко.

Въезд этот, по своей внешней обстановке, что-то сказочное, фантастическое, изумительное по своей красоте. В своей жизни я вижу это торжественное шествие в другой раз и легко восстановляю перед собою картину прошлого, бывшего тринадцать лет тому назад. То, что я видел вчера, не закрывает передо мною того, что видел я при въезде в Москву почившего императора. Этому, конечно, способствует то, что я видел эти картины в разных местах. В прошлое царствование я видел въезд государя с кремлевской стены, в рамке этой чудесной Красной площади, чудесной по своей архитектуре и по той массе народа, которая чернела всюду и ожила с необычайной энергией, когда на площадь вступила процессия. День был серый, тихий, какой-то застенчивый, если можно так выразиться. И время было тяжелое, полное еще отголосками недавней смуты. Иногда начинал накрапывать дождь, тот весенний, теплый дождик, который точно тает в воздухе. Я живо помню то глубокое, радостное чувство, которое вдруг захватывает человека до слез умиления. В каком-то томительном настроении ждали мы государя и государыню, и когда они появились, это чувство радости овладело всеми бурной волной...

Вчера был день чудесный. Солнце светило ярко. Ветерок чуть-чуть шелестел флагами на высоких штангах. Убранство Тверской улицы, генерал-губернаторского дома и других блестело яркими красками. Я имел возможность видеть эту улицу на большом расстоянии до начала процессии и во время ее. На что французы мастера украшать свои дома и улицы, — я видел эти украшения во время народного праздника в Париже и во время приема русских моряков и могу свидетельствовать, что Тверская могла поспорить в красоте и живописном сочетании цветов. Но лучшим украшением ее были люди, были эти тротуары, полные войсками и народом, эти раскрытые окна и балконы, пестревшие живыми лицами мужчин, живыми лицами и нарядами женщин и детей. Все возрасты, доживающие свой век и начинающие его, были полны ожиданием. Все смотрели на улицу, слушая колокольный звон, раздававшийся по всей Москве, и ждали. Процессия очень красива по костюмам войск, сановников, придворных. Это ласкало глаза и приготовляло вас к встрече государя императора с его матерью и супругой. Это зре-

лище, единственное в своем роде, волшебное, сказочное. Это была рамка той удивительной картины, где центральным лицом является властитель могущественного государства, которое выставило все это великолепие и собрало в Москву представителей всей огромной империи. В Москве теперь больше ума, чем когда-нибудь; она всегда пользовалась умом и способностью всей великой Руси, и теперь могла бы сказать, что она сильнее, чем когда-либо, сильнее теми силами, которые невидимо способствуют росту нашей родины. Не одно великолепие народной сказки, изукрашенной просвещенным вкусом, не одно представительство материальной силы, но и представительство лучших сторон духовной жизни нашей родины присутствовало в этом величавом приеме царя, готовящегося принять корону своих великих предков и произнести торжественный обет перед Богом служить России всем своим сердцем и помышлением, всей своей добротою и милосердием, в которых нуждается его великая и прекрасная Русь. И эти сотни тысяч народа, эти люди всех возрастов и состояний ждали его, хотели на него взглянуть, прочесть на его лице все то, что украшает монарха, приветствовать его с горячностью беспредельно преданного сердца и пожелать ему прекрасное будущее, полное счастье. Я не знаю ничего более трогательного, чем эти чувства народной любви и надежды. Если можно чем измерить всемогущество Божие на земле, то всемогуществом русского царя. Эта мысль невольно приходила в голову, когда глаза следили за красивою процессией. Наконец — отдаленные крики. Это — крики «ура». Ближе и громче, как возрастающая своей силою океанская волна. Наконец, вот и государь. Сосредоточенный, серьезный, не отнимая руки от козырька и этим военным поклоном отвечая на горячие приветствия. Он тихо едет, один, впереди своей блестящей свиты...

Я не стану продолжать. Скажу только, что участие в торжестве этом императрицы-матери, которой везде отведено первое место, давало ему особенный отпечаток сердечности вместе с благодарными воспоминаниями о почившем императоре. Я не стану продолжать, потому что словами не выразишь того, что выражалось в этой встрече, что говорили эти радостные, восторженные лица, что чувствовалось этим народом. Таинственные, глубокие вековые связи между царем и народом сказывались тут со всею яркостию, — те связи, которые создали великую Русь, которые поставили ее на крайнем европейском Востоке, как передовую страну, носительницу всего доброго, полезного, человеколюбивого, братского. Чувствовалась русская соединенная сила, готовая на подвиги и доказавшая своей историей, своими выдающимися способностями ума и сердца, что она способна отстоять со своим царем во главе то место в истории, которое указано ей Провидением и историческими судьбами.

Пошли Господь государю прекрасное и доброе царствование!

Москва, 10 мая.

12 (24) мая, № 7256

CCLXXI

Толпою надо уметь руководить и распоряжаться. Предоставленная самой себе, она может зависеть от всяких случайностей и сделаться послушным орудием самозванных руководителей. На Ходынском поле не было сколько-нибудь в дос-

таточном количестве ни полиции, ни войска, хотя полиции известно было с двух часов ночи, как толпа вырастала. Не думали ли, что наша толпа образцовая?

Хотя русская мужицкая толпа и русская интеллигентная толпа мало чем отличаются друг от друга, но ничего в них образцового нет. Несколько лет тому назад даровой ужин на балу французского благотворительного общества послужил поводом к скандалу. Все бросились к буфету, толкались, чуть не дрались, вымазались в кушаньях и разнесли буфет. На спектакле-gala в Большом театре, у буфетов с шампанским, прохладительным питьями, печеньями и проч., толпа изящных дам и мужчин в шитых золотом мундирах так плотно прижалась к столам, что образовала непроницаемую плотину в коридорах. Я сам это видел в коридорах 3 яруса. Даровое угощение оказывается особенно соблазнительным.

В Москве изобрели железные канаты для удержания толпы на улицах. Но и эти канаты рвались от напора толпы, а у передних рядов канаты чуть не врезывались в живот людей. Изобретение неудачное, и надо думать, что оно не распространится, как всемогущее средство для удержания порядка. Для этого, мне кажется, лучше служат ум, способности и энергия, чем железные канаты...

Ходынское народное гулянье омрачило светлые и прекрасные дни коронации и сделалось предметом споров и разговоров, которые лишний раз доказали, как легко предупреждать события после того, как они уже случились. За десять минут до гибели стольких жертв едва ли кто в этой самой толпе предвидел то, что случилось. Одна девушка, когда кто-то из толпы уговаривал ее не ходить самой и обещал ей принести кружку, ответила: «Я пойду сама, чего же тут бояться?» Через несколько минут она лежала мертвая. Надо сказать, что во все время коронационных дней толпа вела себя хорошо. Это была тихая, послушная, трезвая толпа, и если был небольшой беспорядок в одном месте во время раздачи объявлений о коронации, то он произошел от скупщиков, которые наняли толпу сорванцов, бросавшихся вырывать красивые листки. Казалось, толпа прониклась высоким и радостным настроением и хотела заслужить у своего государя примерным поведением. Теснота была во время иллюминации, но это объясняется малым навыком московской полиции и отсутствием всякой дисциплины не столько у толпы, сколько у московских кучеров, которые, управляя заводскими лошадьми, по-видимому, сами считают себя заводскими людьми, стоящими вне закона. Обгонять друг друга, выскочить из своего ряда и броситься в соседний, где образовался случайный интервал, это на каждом шагу. Лошади наезжают, становятся на дыбы, толпа шарахается назад, и происходит давка.

В существе дела к тому, что уже напечатано о ходынском несчастии, прибавлять почти нечего. В толпе личность теряется, а вместо личности выступает это множество, которое движется как стихийная сила и напирает как гигантский пресс. Свидетелей события много, много таких, которые были в толпе, были помяты и спаслись так или иначе. Их рассказы сплошь и рядом однообразны и заключаются в нескольких словах. У буфетов была особенно сильная давка, как потому, что их устройство неудачно, хотя оно то же самое, что и в прошлую коронацию, и тот же архитектор их строил, так и потому, что часть толпы перелезала через барьеры или пришла на Ходынское поле с других сторон и тоже приступила к буфетам. Буфеты, таким образом, осаждены были с обеих сторон, и со стороны Москвы и со стороны Ходынского поля, что едва ли было принято в расчет распорядителями. Эти две толпы, эти два моря, если хотите, были со-

единены узкими рукавами между каждыми двумя буфетами и в эти рукава могли пройти только два человека в ряд. Рассчитано ли было точно, какое количество человек и в какое время могло пройти через эти отверстия, получить подарки и уйти, — я не знаю. Но если было рассчитано, то, вероятно, при предположении, что все пройдут смирно, без замешательств, между тем, как даже интеллигентная толпа выходит, например, из театра очень медленно, толкаясь и задерживая друг друга. А во время этой ночи и утра, когда совершилось несчастие, полумиллионная, по крайней мере, толпа была предоставлена сама себе. И малейшая задержка у буфетов тотчас увеличивала натиск толпы. Артельщики разбежались, раздавать было некому, и некуда было двинуться, ни вперед, ни назад. Образовался пресс в этих треугольных помещениях между буфетами, который давил то вперед, где были стены буфетов, то назад, где был обрыв в овраг. Давка была преимущественно у первых двадцати буфетов. Чем дальше, тем было просторнее. Расстояние от буфетов до оврага, около которого построены были буфеты в одну линию, в двадцать пять — двадцать шесть шагов. Овраг этот отлогий[1] в большей части своей, но у первых десятков буфетов, ближайших к Петербургскому шоссе, которое составляет продолжение Тверской улицы, овраг этот круг, а дно покрыто ямами. Тут еще недавно брали песок, и бравшие его и вырывали ямы в середине оврага и брали с краев, делая их крутыми. В этом же овраге колодец, в котором нашли до тридцати трупов и который был прикрыт досками. Почему не выровняли этого оврага, не засыпали колодца, так же непонятно, как непонятно отсутствие полиции. Но огромное большинство толпы и тут было послушное. Когда началась давка, один из офицеров попросил передние ряды стать на колени, чтобы этим самым лучше сдержать напиравших сзади. Передние ряды тотчас же и стали на колени, но не в силах были сдержать напора и в этом положении. На основании показаний очевидцев и спасшихся, с которыми я разговаривал часа два, я имею право сказать, что среди толпы были и элементы неблагонадежные, босая команда со своими атаманами, были пьяные, распивавшие водку в этом самом рву ночью. Относительно участия этих неблагонадежных элементов, один из спасшихся выразился так: «был заговор», т. е. были намерения идти на приступ и завладеть возможно большим количеством кружек, а, может быть, и произвести беспорядок. Он говорил: «около меня были две барышни и мальчик лет шестнадцати. Барышни сложили руки на груди и держали зонтики. Я говорил: «высвободим барышень, поднимем их». А мне кричат: «не надо, зачем они пришли?» И напирали нарочно». Другие спасшиеся возражали ему: «в это время каждому до себя. Никакого заговора не было». — «А я вам говорю, был, — отвечал он» — «Что ж барышни?» — перебивали слушатели. — «Я видел их потом мертвыми, — отвечал он... — Нас тоже нечего хвалить. Я свой пятак вынул за стакан воды, когда одна женщина, приводившая своего мужа в чувство, просила воды у человека, стоявшего с ведром. Меньше, как за пять копеек он не отдавал стакана воды», Очень может быть, что не будь этого элемента неблаго-

[1] В иностранных газетах говорится, что этот овраг нарочно вырыт, чтоб разрежать толпу. Говорили это и петербуржцы На самом деле этот овраг существует очень давно, и изрыт он ямами только вблизи от Петербургского шоссе, а далее, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, он — отлогий и ям нет. Толпа почему-то направилась почти исключительно по Тверской, и потому огромное число жертв было именно с этой стороны.

надежного или понаблюди полиция хоть за этим неблагонадежным элементом, несчастие не было бы так велико. Говорят, что одною из причин того, что толпа бросилась вперед к буфетам, был слух, что идут фабричные, которые всем овладеют, как «народ отчаянный»...[1]

Спасались, взбираясь на крыши буфетов, пролезая под крышами, вскакивая на плечи тех, кто был впереди. Толпа над толпой громоздилась. Чувство самосохранения, битва за жизнь являлась во всей своей яркости. Один старик, на Ваганьковском кладбище, стоя у могилы, в которой зарывали погибших, сказал сквозь слезы: «Простите нас. И мы давили». Один из спасшихся каялся так: «Вижу, смерть. Я огляделся, высвободил руку, придавил одного человека, подмял его под себя и стал на нем. Тем и спасся...» Но много было выказано и истинного героизма в этой толпе, истинного самозабвения. Спасали женщин, спасали детей, то становясь к ним лицом и замыкая около них круг, то поднимая их и передавая по головам. Когда одни предавались панике или боролись за свою жизнь, другими овладевал порыв великодушия.

Что говорить — ужасная драма. К счастью, она еще была ограничена небольшим пространством. Спрашивают: кто виноват? Вчера в «Новостях» ставился этот вопрос и приводились показания устроителей народного праздника, гг. Бера и Форкати. В этих показаниях самое важное — воспоминание о порядках раздачи подарков во время коронации 1883 года, когда была и полиция, и были войска. Мне вспоминается, что тогда разряжали толпу и тем, что полковые хоры музыкантов проходили сквозь толпу, разделяя ее. Кто виноват? В Москве об этом очень много говорили. Но меня это мало интересует, и я думаю, что и вопрос этот или очень сложный, или очень простой — все зависит от взгляда и от подробного изучения события. Следствие, вероятно, назовет виновных. Не могу не привести меткого замечания одного из петербургских администраторов, находящихся в Москве:

«Не нашлось никого из распорядителей, который, выражаясь образно, крикнул бы такой караул, что поднял бы на ноги всех и устранил бы катастрофу. А это можно было сделать, и времени для этого было достаточно».

Вообще, это происшествие есть большое несчастие. Толпа собрана добрым, прекрасным русским чувством. Но толпою необходимо руководить, какая бы она ни была, интеллигентная или мужицкая. Не надо забывать, что одно рабочее, подстоличное и столичное, население выросло в последние десять лет больше, чем на сто тысяч. А фабричная цивилизация известно что такое. Москва поражает своей «народностью», т. е. обилием того, что называют народом. Грибоедовской Москвы совсем нет, а если она еще существует, то не имеет ни малейшего значения. Москва — купеческий и мужицкий город, город картузов, картузной культуры, город страшно растущий. Дворянская Москва — только воспоминание. Необходимо присматриваться к московской толпе внимательно и изучать ее и овладеть ею талантливыми, предусмотрительными административными мерами. Надо было послушать, что говорилось в толпе, надо было присмотреться к ее настроению. Жертв не воротить, а доброта государя, его глубокое сердечное участие к пострадавшим поможет осиротелым семействам помириться с несчастием. Но пусть это несчастие послужит хорошим уроком. Московская толпа —

---

[1] Некоторые фабриканты не пустили своих рабочих на Ходынку, устроив им угощение у себя. Так поступили Прохоров, Абрикосов и др.

это что-то старое, времен царя Алексея Михайловича, с лоском питейных домов, сомнительного чтения, растущей зависти к состоятельным классам. Вы сообразите только, что в одну ночь может собраться в городе шестьсот-восемьсоттысячная толпа, а в такой толпе всегда найдется элемент буйный. Тем опаснее и для нее самой и для других оставлять ее одну, как безпастушное стадо. Надо воспитывать толпу, распространять в ней здравые понятия и дисциплину. Одна церковь, которая доселе служит ей и как церковь, и как школа, не может справляться с этою двойною задачею при огромном росте населения. Надо подумать о средствах воспитания не одному правительству, но и обществу. Во всяком случае, необходимо помнить, что никогда не должно давать толпе ни повода, ни возможности распоряжаться где бы то ни было.

24 мая (5 июня), № 7268

CCLXXII

Вы не были в Нижнем на выставке? Если не были и если вас интересует развитие русской промышленности, русского вкуса, русского просвещения, воспользуйтесь остающимся временем и съездите туда. Выставка не может не понравиться, а в некоторых отделах не может даже не поразить, если вы помните прежние выставки наши. Не бойтесь сравнения даже с выставкой в Париже, если вы там были. Ведь, в сущности, в Париже вы любовались не выставкой, а тем движением, тем многолюдством и теми развлечениями, которые представляет великий город. В нем — постоянная выставка, а когда он делает у себя еще специальную выставку, то он просто оглушает и ослепляет, и в конце концов вы вырываетесь из него в каком-то чаду, с пустыми карманами и с полными всякой дрянью чемоданами. Если б кто спросил вас, чем особенно поразила вас парижская выставка, вы добросовестно отделались бы общими местами и восклицаниями и поспешили бы или перейти к какой-нибудь специальности, которая вам знакома, или к каким-нибудь мелочам, декорациям, увеселениям и, главное, ко всеобщей спасительнице — Эйфелевой башне, которую все видели и все на ней побывали. Мне много раз приходилось выслушивать такие именно «впечатления» о парижской выставке. Говоря о сравнении с Парижем, я, конечно, разумею, что Нижний — не Париж и Россия — не Франция. Кроме того. Нижний представляет не всемирную выставку, а всероссийскую. С этими оговорками, сделайте одолжение, сравнивайте. Вы не могли бы найти в Париже такого удивительного по разнообразию и богатству горного отдела, не нашли бы там и выставки нефтяного производства и кое-чего другого, что может вас интересовать, как русского[1].

Но всего лучше не сравнивать. Всероссийская выставка! Вся Россия! Боже мой, да ведь это тоже целый мир, богатый, разнообразный, растущий невидимо, невидимо для столиц, которые погружены в свою жизнь и дальше ее мало что видят. Я думаю, что нижегородская выставка для самого правительства была неожиданностью в том отношении, что оно само не ожидало того богатства,

---

[1] На выставке Нобеля прекрасная панорама Баку, написанная г. Шильдером очень талантливо. Не могу не вспомнить слов Менделеева о нашей нефти: «Мы Европу осветим, натопим и смажем».

которое явилось, того разнообразия и совершенства произведений. Истратив на выставку девять миллионов, правительство не могло рассчитывать, что экспоненты истратят на нее до сорока миллионов. А говорят, это так, да этому и можно поверить, если вглядеться в выставку. Сколько труда, усилий, знания, таланта и вкуса положено в это дело экспонентами! С тех пор, как начались у нас выставки, ничего подобного не было еще. Можно сказать, что это еще впервые, когда экспоненты сознательно почувствовали, *что* они сделали и что могут сделать и к чему обязывает их конкуренция, появляющаяся всюду. Я говорю о том сознании, которое порождается самым развитием промышленности и о котором люди, занимающиеся ею, весьма хорошо знают. Настало время добросовестной, можно сказать, художественной работы и, принимаясь за что-нибудь, уж нельзя покладать рук и делать кое-как, по рутине, как делали отцы. Более энергичные, более знающие сейчас же найдутся и оставят вас позади себя. Вот это сознание, которое ярко бросается в глаза на выставке, есть одно из самых отрадных явлений того момента, который мы теперь переживаем. Все большее и большее число рук берется за промышленность и все больше и больше требуется знаний, таланта и вкуса, и нельзя сомневаться в том, что ничто и никогда не могут остановить этого движения и этого роста. Нижегородская выставка — это прекрасная русская победа и, как победа, она поднимает дух, дает новые силы и укрепляет национальное сознание. Выставка потребовала напряжения и от правительства и от частных лиц, дала много работы уму, знанию, рукам ремесленников, всем тем, которые расчищали эту почву, рыли пруды, проводили дорожки, усыпали их песком и щебнем, насаждали траву, цветы и деревья, всем тем, которые делали планы и строили эти прекрасные здания, всем тем, которые делали эти изящные или остроумные витрины, всем тем, которые производили образчики этих товаров и проч., одним словом, всем категориям разных тружеников, которые сделали выставку во всем ее разнообразии и поучительности. Выставка эта гордо и славно смотрит и как бы говорит: все это или почти все это — результат русской даровитости, сноровки, переимчивости, самообразования. Да, да, скорее самообразования, чем образования, скорее самообучения, чем обучения школьного, систематического и прочного.

Говорят в пику «всероссийской» выставке: помилуйте, посмотрите, сколько на выставке экспонентов с иностранными фамилиями и тенденциозно выговаривают целый ряд иностранных имен. Но начать с того, что иностранное имя не значит еще, что это — иностранец. У нас столько иностранных имен на всех поприщах, что имена еще ровно ничего не значат. У Пушкина, у Толстого, у Фонвизина, у Лермонтова предки были иностранцы. Вероятно, есть и корреспонденты с Нижегородской выставки, у которых фамилии иностранные: эти корреспонденты в иностранных землях никуда бы не годились, а в России они, может быть, полезные и почтенные люди. Так можно сказать и об экспонентах с иностранными фамилиями. Многие из них совсем русские, у других — все интересы в России и без нее они мало что значат или совсем ничего не значат. Иностранные фамилии в промышленной России дело очень понятное. Промышленные знания и промышленная практика вся с Запада. К нам приходили иностранцы с теоретическим и практическим знанием, а Россия, при малом количестве своих школ, не давала или мало давала таких людей. В последние годы их больше, но не столько, сколько надо, и если, как я сказал, современное состояние промышленности

обязано своими успехами не столько образованию, сколько самообразованию, не столько школе, сколько сметке, таланту, способности перенимать и заимствовать, то отсюда следует, что теперь нам крайне необходима всякая профессиональная школа. Только школа даст нам хороших рабочих высших и низших, только она может дать нам целый рынок для сбыта наших фабрик и заводов. Перед нами Восток, наш восток и соседний восток, куда могут быть направлены наши фабриканты. Нам необходимо самым энергичным образом заняться школами, образуя не только учеников, но и учителей, и профессоров. Никаких миллионов тут не должно быть жалко, ибо всякие истраченные миллионы возвратятся сторицею и в самом непродолжительном времени. Самая наша выставка может служить доказательством тому. Правительство истратило на нее до девяти миллионов. Если подсчитать, сколько из этих денег пошло на пользу Нижнему (мост, театр, асансёр на гору и проч.), сколько можно выручить, продав здания выставки, и сколько выручено с посетителей, бывших на выставке, то затраты значительно уменьшатся. О пользе невещественной, которую теперь оценить нельзя, и говорить нечего. Итак, школы, школы и школы и рядом с ними все то, что необходимо для улучшения быта рабочих, для урегулирования рабочего дня и т. д.

И потому, что это — действительно прекрасная выставка, жаль, что ее увидели только немногие, а не многие увидели ее потому, что она в Нижнем. Мне говорили, что при всех успехах железных дорог и пароходов, в Нижний нельзя доставить ежедневно более десяти тысяч человек. Следовательно, относительно небольшое количество посетителей можно было предвидеть заранее. Эти сожаления слышатся почти ото всех. Но и они указывают именно на то, что выставка прекрасна. Будь она не такою, никто бы не пожалел, что она так далеко. С другой стороны, столицы и без того так притягивают к себе жизнь, так сосут всю Россию, что всероссийская выставка в провинциальном городе есть необходимая и своевременная дань провинции, которая выросла и начинает изумительно работать во всех отраслях.

10 (22) августа, № 7346

CCLXXIII

Не правда ли, вы считаете Маргариту Готье, героиню «Dame aux camélias», очень симпатичной женщиной, достойной ваших слез и... подражаний ее туалетам? Она возродилась любовью, она искупила свои грехи, и вы повторяете слова Евангелия: «прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много», воображая, что «много возлюбить» значит «многих любить», а если какого-нибудь одного больше других, — то значит и возрождение...

Я, впрочем, не для осуждения говорю это. Я просто напоминаю о существующем факте. Вы принимаете участие в этой покаявшейся, или вернее, в этой поклонившейся любви героине. Но задавали ли вы себе вопрос: не играет ли в вашей этой симпатии большую роль то обстоятельство, что она одевалась у первых портных, носила бриллианты на сотни тысяч, кушала обеды, приготовленные «даровитыми» поварами, жила в комнатах, убранством которых занимались первые обойщики? Она властвовала над богатыми и сильными, и вы, поклоняясь ей, поклоняетесь богатству и силе более, чем какому-то там возрождению. Вас

ослепляет не столько нравственный и физический образ героини, сколько то обаяние, которое привлекло к ней всех этих жуиров, маркизов, виконтов и финансовых тузов, которым некуда деньги девать и которые гоняются не за любовью и красотой, а за модной любовью и красотой, что совсем не одно и то же.

Я начал говорить об этом потому, что в падшей женщине вообще есть что-то глубоко трагическое, и если следует питать жалость, то вообще к такой женщине. Нечего отделять изящную и богатую куртизанку от женщины, принужденной ходить по улицам и зарабатывать хлеб продажею своей души. Говорю: продажею своей души, потому что продавать свое тело, в этом случае, значит продавать и душу, истрачивая ее каждый день, каждый час с необыкновенной быстротой.

Представьте себе, вместо Маргариты Готье, с ее бриллиантами, туалетами и проч., простую падшую женщину, которая пала потому, что нечем было жить, не только самой, но и брату ее, подростку. Она искала работы, она брала всякую работу — и все-таки дошла до того, что выхода не было. Вы едва ли думаете, что этого не случается; а кто стоял близко к жизни, тот знает, что такие явления довольно часты. Во время одной переписи Петербурга в Вяземской лавре нашли бывшего профессора. Подняться трудно на высоту, просветлеть трудно, — в этом задачи культуры, — но опуститься в грязь, привыкнуть к грязи и купаться в ней легче. В «Журнале» Гонкуров приводится несколько ярких примеров такого превращения образованных парижан во время осады Парижа немцами и во время Коммуны. История падения великих людей, история террора, история Наполеона дают этому тоже убедительные доказательства. Несомненно, что среди падших женщин встречаются образованные девушки из порядочных дворянских семей. С той лестницы, на верх которой они поднялись рождением, достатком и воспитанием, они спустились вниз сравнительно легко, подталкиваемые нуждою и тою средой, куда они попадали.

Вот именно такую Маргариту Готье представил нам г. Фоломеев в своей пьесе «Злая яма», которая поставлена на сцене Литературно-артистического Кружка. В «СПб Вед.» упрекают Кружок за постановку этой пьесы, будто бы слишком грубой. Я принимаю этот упрек всецело на себя, ибо от меня зависело, ставить эту пьесу или не ставить. Я поставил ее потому, что видел, во-первых, в этой пьесе драматический нерв, верное изображение петербургской бедности и правдивое изображение падшей девушки. Задача Кружка заключается, между прочим, в том, чтобы давать произведения молодых авторов, которые не находят себе места на императорской сцене. На репетициях автор заменил некоторые грубые слова другими; я не вижу причин к тому, чтоб не заменить слова «в рожу» — словами «в лицо», и т. д. Это не меняет сущности дела, и на такие уступки следует идти. Но излишняя щепетильность гг. рецензентов меня нисколько не трогает. «Почему благородно нырнуть кинжалом на сцене и почему неблагородно ударить кулаком!» заметил один умный человек, говоря о придирчивости этих рецензентов.

В самом деле, на сцене убивают кинжалом и пистолетом и этим никто не возмущается, но нанести удар кулаком — это возмутительно. Почувствовать физическую боль и говорить о ней — это непозволительно, но, однако, трагедия «Филоктет» Софокла полна ощущениями физических страданий. Сколько фальши в этих претензиях на благородство и приличие, сколько в этом остатков ложно-классических приемов и традиций!

Пусть в комедии об этом несчастной девушке есть много недостатков, — я не разбор ее пишу: я хочу только указать на эти предрассудки, существующие и в жизни, и на сцене. Пока для нас страдания в шелку и в бархате ближе, чем страдания в лохмотьях, наши слезы — только приятное развлечение. Всякое горе, всякое отчаяние должно вызывать в нас чувство сострадания. Пьеса производит несомненное нравственное впечатление: она внушает чувство сожаления к падшим и бедным; она внушает человеку человеческие чувства и, надо сказать, в значительной степени и благодаря исполнению.

Артистка, исполняющая главную роль, г-жа Пасхалова, дает целый тип этой девушки, полный трагизма. Мимическая сцена, разрешающая вопрос «быть или не быть» для несчастной, передается г-жею Пасхаловой с такою драматической сосредоточенностью, что производит глубочайшее впечатление. Эту молчаливую страдалицу, что-то шепчущую губами и идущую на позор, под бременем нужды и любви к брату, не произносящую ни слова вслух, но с отчаянием в душе, написанном на ее лице, в ее походке, в ее жестах — забыть нельзя...

Признайте же человека в падшем брате, признайте женщину в падшей сестре, хотя она и является вам не в бархате и шелку, не в коляске и бриллиантах. Она не умирает пред вами в чахотке, не распространяется в сентиментальных монологах, рассчитанных на громкие эффекты, — она остается на сцене, всеми брошенная, даже братом своим, для которого она принесла жертву, она остается здоровая, полная сил, но приговоренная к вечной каторге презрения и пренебрежения, ею не заслуженных. Это ли не трагическая судьба?.. Та куртизанка в шелку и бриллиантах наслаждалась, любила, сладко пила и ела, знала радости богатства, обаяния своей красоты и власти, а у этой и такого утешения нет, не было и не будет...

25 октября (6 ноября), № 7422

CCLXXIV

На днях исполнится столетняя годовщина со смерти Екатерины II. Я хочу сказать несколько слов не об этой государыне, которая вечно останется на скрижалях нашей истории, как умная и даровитая женщина, умевшая сделаться русской на троне и дать своему царствованию не один внешний, но и внутренний блеск и неумирающее значение. Я хочу сказать о некоторой связи настоящего с прошедшим и с давнопрошедшим. *Настоящее* — те смуты, которые происходят в Константинополе, и то положение «больного человека», которое столько раз и так глубоко отзывалось на Европе и в особенности на России. *Прошедшее* — это войны с Турцией во время царствования «великой жены», мечты о возрождении Византии, поступательный ход русской территории к своим южным пределам, к Черному морю. *Давно прошедшее* — начало восточного вопроса для нас, для России: оно относится ко времени великого князя Ивана III, именно ко времени женитьбы его на Зое (Софии) Палеолог, наследнице той Византийской империи, которая пала под ударами ислама, объявившего кровавую и беспощадную войну христианству.

Восточный вопрос, таким образом, народился у нас благодаря женщине: благодаря другой женщине, подкупившей, по преданию, великого визиря при Пру-

те, Россия свой первый поход в Турцию могла окончить не особенно несчастливо: благодаря третьей женщине, Россия одержала блистательные победы над исламом и придвинула на веки вечные свою территорию к естественным границам на юге. Все эти три женщины — иностранки по рождению, но русские по духу, по своим стремлениям. Вспоминая об Екатерине II, вспомним о Софии Фоминишне, которая убедила своего мужа Ивана III порвать цепи татарского ига и принесла ему наследие Византии.

Не улыбайтесь, господа. Исторические наследства могут ждать целые века, можно отвоевывать их по частям, медленно, порывами собранных сил, и это делала Россия. Европа в настоящее время стоит лицом к лицу с исламом в Африке, где обширные государства представляют значительную силу; победит ли их Европа и когда — вопрос будущего, но в Европе Россия больше всех сделала для умаления силы этого врага христианства. Католическая Европа начала борьбу с ним крестовыми походами, но путь она завладела было Византией, православная Россия, путем страшных усилий своих сынов, низвела ислам в Европе к тому бессилию, в котором он находится в наши дни. Здорового человека именно она сделала «больным» и умирающим своими крестовыми походами.

Вот этот 400-летний круг событий я и прошу вас вспомнить. У императора Константина, погибшего смертью героя при взятии Константинополя турками в 1453 году, остались два брата, Дмитрий и Фома. Дмитрий отдал свою дочь в гарем Магомета и получил ничтожное и позорное вознаграждение. Фома предпочел позору добровольное изгнание и ушел в Италию, где вскоре и умер. У него было трое детей: Мануил, Андрей и Зоя. Воспитались эти дети на счет папского престола: известно, что незадолго до падения Византии состоялся Флорентийский собор, где произошло, как выражались тогда, «обручение Запада с Востоком», т. е. соединение обеих церквей на известных условиях, довольно близких к тем, которые в наши дни предлагает Лев XIII. Папскому престолу, ратовшему против турок, естественно было взять под свое покровительство детей царевича Фомы. Не станем вспоминать подробности сватовства Ивана III и замужества Зои, которая будучи католичкой, получила в Москве имя Софии[1] и стала православной. Достаточно вспомнить, что брак этот совершен был с благословения папы, при посредстве Вольпе известного в русских летописях под именем Ивана Фрязина. «Дочь апостольского престола», как называл папа Сикст IV Зою, сделалась русскою великою княгинею в 1472 г. В следующем году венецианский сенат, по собственному почину, признал право ее мужа, Ивана III, на Византийскую империю за отсутствием мужского потомства в линии Палеологов. В самом деле, у Софии было два брата, Андрей и Мануил. Мануил перешел в магометанство и вступил на службу султана. Старший сын его, Иоанн, умер бездетным, а младший Андрей обрезан по приказу Селима и зачислен в его войска. Брат Софьи, Андрей, явился законным представителем всей династии. Он ездил по Европе и продавал свои права; дважды был он в Москве, где, быть может, как Исав, продал свое

[1] Любопытные подробности обо всем этом см. в книге Павла Пирлинга: Россия и Восток. Царское бракосочетание и Ватикане. Иван III и София Палеолог. СПб. 1891. Ц. 1 руб. 50 коп. Книга эта вошла целиком и явившееся в этом году сочинение того же автора: P. Pierling S. J. La Russie et le Saint-Siege. Etudes diplomatiques. I. Paris. E. Plon. 1896. О. Пирлинг, пользуясь итальянскими архивами и обладая действительным талантом историка, пролил много света на события русской истории XV и XVI вв.

первородство сестре: в наших летописях, по крайней мере, говорится, что одно из его путешествий (1490 г.) стоило Софье Фоминишне больших денег. Как бы то ни было, женившись на женщине низкого происхождения, Андрей умер бездетным, и Софья Фоминишна одна оставалась наследницей Восточной империи, и это наследство осталось за русскими царями.

Есть историческая Немезида. Конечно, надо быть немного мистиком, чтоб верить в нее, но недаром же в истории столько же тайн, как и в душе человеческой. В те дни, когда папа в одно и то же время и собирал крестовый поход против турок, и отдавал руку византийской царевны русскому великому князю, эта Немезида, быть может, решила: вот едет в далекую Московию девушка, выросшая среди ужасов ислама и падения Константинополя, едет, как мстительница за пролитую кровь, за разрушенные храмы, за насилия. На этом далеком севере она бросит мысль о преемственности Византии и борьбе с исламом, и мысль эта вырастет и найдет своих исполнителей. Противники православия, папы станут постоянно повторять русским великим князьям и царям: «идите в Константинополь, берите свою старую отчину». Именно так и не однажды они выражались: Константинополь — старая русская отчина. Страх за Европу, за христианство заставлял их искать помощи у Московии, причем лелеялась и надежда, что восточная церковь соединится с западною. Русские великие князья и цари вели свою политику с необыкновенным умом, как дальновидные и осторожные политики. Одной рукой они бряцали оружием как христиане, выражая желание идти на неверных, другую дружески протягивали султану, стараясь обезопасить рост своего государства и свою торговлю с Турцией. Так поступали Василий III, Иван IV, Годунов, первые Романовы. Самое Смутное время наше было, в некоторой степени, страданием за Константинополь; эта фраза может показаться странной только тому, кто не вспомнит, какое участие принимало папство в нашем самозванце, мечтавшем о борьбе с турками, разумеется, не со своего голоса. Когда Россия собралась, цари ее, не забывавшие о наследии Софьи Фоминишны, начали продолжительную и упорную борьбу с исламом. Другая царица, Екатерина II, почти ровно через 300 лет после приезда Софьи в Москву, заключила славный Кучук-Кайнарджийский мир с Турцией, потрясший в основании могущество ислама. Россия раздвигала свои плечи и могла сказать, как Мольер: «Je prends mon bien partout ou je le trouve». Лютеранка у себя дома, в Германии, православная русская царица в России, отмстила за Константинополь, за поруганную веру, за унижение христианства и твердо поверила в законность наследия, внушая его своим полководцам, своим государственным людям, своему народу. За одно это она достойна бессмертия.

Вспомним же в день 6 ноября не только ее, но и ту забытую греческую царевну, которая принесла с собой в Москву идею о наследии и борьбе с исламом. Вспомним наших императриц, которые, рождаясь иностранками, делались русскими на русском троне и высоко держали русскую честь, любили свою новую родину и способствовали ее благополучию.

6 ноября — не только память об Екатерине Великой, но и память о русской женщине вообще, которая может видеть в Екатерине славную представительницу своего пола...

3 (15) ноября, № 7431

CCLXXV

Был ли действительно император Вильгельм II во время франко-русских празднеств под строжайшим инкогнито в Париже, Версале и Шалоне? Некоторые парижские газеты стараются уверить своих читателей, что он был. «Кельнская Газета» рядом фактов опровергает это, говоря, что из четырех дней (24 — 27) три император охотился. Найдутся остроумцы, которые скажут, что император охотился за... впечатлениями в Париже, Версале и Шалоне. Я был всегда поклонником германского императора, как человека даровитого и смелого. Эту репутацию он приобрел себе у многих беспристрастных людей, готовых отдавать всякому должное. Его неожиданные и смелые действия, очевидно, и породили этот слух. От него этого ожидали. Если он собирал рабочий конгресс или, вернее, конгресс о рабочих, ездил в Константинополь, ездил к Нордкапу, то отчего было не предпринять ему поездку в Париж, Версаль и Шалон под строжайшим инкогнито? Немцы умеют молчать и с необыкновенной точностью приводить в исполнение свои планы. Покойный Скобелев, лет 17 тому назад, любуясь на необыкновенно точное исполнение малейших деталей и приказаний во время германских маневров, говорил в Берлине: «если у нас будет война с немцами, то они не останутся победителями уже потому, что мы не можем похвалиться точностью: мы их непременно собьем и спугаем». Разумеется, говорил он это шутя, улыбаясь своей выразительной улыбкой, но он превосходно знал русского человека, его отвагу, мужество и нерасчетливость.

Итак, легенда о пребывании императора Вильгельма II в Париже, Версале и Шалоне, вероятно, останется, несмотря на опровержения и на то, что он действительно оставался в Германии и охотился в окрестностях Губертусштока. Легенда эта как бы хочет указать императору то, чего от него ожидали, и то, что он должен был бы сделать, имея на то все средства. Император так любит видеть своими глазами все то, что его интересует, не доверяя донесениям. Я помню, каким волнением наполнен был Берлин во время франко-русских празднеств в Тулоне и Париже, когда приезжали туда наши моряки. Немцы не хотели верить тому энтузиазму, который выказали тогда французы. Тогдашнему нашему послу в Берлине, графу П. А. Шувалову, пришлось провести несколько дней весьма нелегких, несмотря на тот необыкновенный такт, который он постоянно обнаруживал на этом посту. Но тогдашний энтузиазм, конечно, был значительно меньше, чем тот, который выказала вся Франция во время пребывания в Шербуре, Париже, Версале и Шалоне нашего государя. Это — историческое событие вне всяких сравнений. Москва и Париж точно соперничали между собою. Праздники коронации в Москве словно продолжались в Париже. В Москве государь короновался, в Париже он короновал короною дружбы и братства два великих народа. Тот Париж, который, во время Первой империи, принимал Наполеона I, бежавшего из горевшей и опустошенной Москвы, в нынешнем году соперничал с Москвою в энтузиазме, который возбуждал русский император. Париж соперничал с Москвою?! Кто мог это предвидеть, кто мог даже мечтать об этом, например, в день коронования императора Александра III? А ведь это было так недавно. И праздники эти были праздники мира и во время мира. Энтузиазм зажигал сердца не после громких побед и военной славы. Это удивительное событие

могло случиться только в эти последние годы уходящего столетия, которое было столь громко войнами и победами, всех пресытившими. Победа мира теперь — лозунг народов, и мир венчал в Париже русский император. Если император Вильгельм II видел это событие своими глазами, он мог только окрепнуть в искреннем желании своем продолжать поддерживать мир.

Как глубоко русское общество интересовалось путешествием государя во Францию и какое огромное значение оно ему придавало и придает, доказывается, между прочим, тем необыкновенным успехом, который имела подписка, объявленная нами, на иллюстрированный «Альбом», посвященный пребыванию государя во Франции и приготовляемый в Париже в настоящее время. Зная, как плохо расходятся у нас книги, превышающие ценою даже один рубль, мы, получив предложение газеты «Temps» принять участие в издании этого «Альбома», рассчитывали первоначально только на одну, много на две тысячи экземпляров. Но первый же день подписки дал 600 подписчиков в Петербурге, а Петербург — хороший и чуткий барометр. Это — политический ум России. Вчера мы имели уже 5000 подписчиков на эту книгу, т. е. более, чем на 50000 франков. К сожалению, мы не можем продлить подписку и должны ее закончить, так как число экземпляров книги ограничено. Успех этой подписки в такое короткое время, три недели, прямо надо считать у нас небывалым.

4 (16) ноября, № 7432

CCLXXVI

Читая первое письмо г. Old Gentleman'a о польско-русских отношениях, именно монолог поляка-монаха, проживающего в Риме, я думал: какой умница этот монах и какой у него гибкий, польский ум. Побранит и похвалит, разбранит так, что уж начинаешь думать: однако, это слишком, и вдруг он остановится как раз на границе между терпимым и нетерпимым и начинает похваливать русских. Мне монолог этот очень понравился. Поляки — умный народ, но их ум не русский ум, большой, но грубый, прямолинейно-здравомысленный; польский ум — ум рафинированный, прошедший через все степени политической жизни, свободной и несвободной. Мы одного славянского племени, но разных судеб и климатов, и наши умы так разны, что нам сговориться очень трудно. Недаром русские называют поляков «безмозглыми», а поляки называют русских подобным же именем. Друг друга мы знаем давно, ибо имеем друг с другом дело несколько столетий почти беспрерывно, и какое дело! — кровное, больное, горячее, мучительное, мучительное и больное для обеих сторон. В истории едва были два народа, которые так долго и так страдательно должны были жить друг с другом, друг другу мешая, воюя, ненавидя, мирясь и вечно держа наготове кулак за пазухой.

К полякам у меня никогда не было ни малейшей ненависти, даже во время последнего восстания. Я в то время стоял у хорошего источника, чтоб знать много правды. Я был секретарем «СПб Вед.», через мои руки проходили почти все корреспонденции из Царства Польского и Юго— и Северо-западных краев. То в рукописи, то в корректуре я читал их, я ездил с ними к цензорам, статским и военным, я спорил с ними, я видел и читал, что запрещалось целиком, что вымарывалось, что смягчалось, что изменялось. Я видел в это время и русских, и поля-

ков, я слышал споры очень откровенные, я читал «тайные» польские реляции о боевых схватках, читал прокламации, пресловутый польский катехизис и др. документы, вымышленные и подлинные: все это приходило в письмах или какими-то неведомыми путями. За год до восстания, в Москве, я уж стал знакомиться с тем, что потом произошло, будучи секретарем редакции в «Русской Речи», издававшейся Евгенией Тур (графиней Сальяс) и бывая на вечерах у И. С. Аксакова, куда являлись иногда поляки с своей пламенной речью и отстаивали польские границы и независимость Польши. Тогда многие склонны были возвратить Польше независимость, но тогда же было ясно, что поляки хотели и Юго-западный и Северо-западный край. Время это было вообще временем какой-то тайной революции и того «езопского» языка, который превосходно и удобопонятно передавал то, чего цензура не понимала или не могла понять. Время это было живое, страстное, бедное практическим смыслом, но зато богатое одушевлением и теоретическими построениями, которые принимались на веру тем быстрее, чем меньше знали мы Россию и чем меньше мы были образованы. Цензура охраняла статьи цензурного устава, параграфы, буквальную законность, исправников, губернаторов, администрацию вообще, и живое слово тем стремительнее обращалось в область теоретических построений и отрицания существующего порядка во имя «революционной правды», которая так соблазнительна для горячей крови и неустановившихся умов. Все ходили в облаках, ничего не видели у себя под носом, на земле, но далеко смотрели в непроглядную даль... и польское восстание было первым ушатом холодной воды, вылитой на разгоряченные головы.

Поляк-монах тонко отметил нашу пословицу: «что город, то норов, что деревня, то обычай». Эта пословица идет в разрез с обрусением, признавая за народностями право жить по своему обычаю. Мне всегда думалось, что пословица эта от большого ума и большой самоуверенности. Неспособные «обрусить» по недостатку культуры, русские уверены были как-то инстинктивно в своей объединяющей силе, и сила эта действительно работала, цепляя множество народностей незначительных и таких значительных, как татары, литовцы, поляки. Что бы о нас ни говорили, но в русском уме — огромная сила, преобладающая сила, с которой приходилось считаться другим народностям. Но благодаря нашей некультурности, благодаря тому, что нас считали варварами, наши соседи именно на эту силу мало обращали внимания или не верили ей. Не кулак, не оружие собрали воедино все эти племена, а именно ум, ум отдельных лиц и собирательный русский большой ум.

Читая письмо нашего сотрудника о польско-русских отношениях, я думал: почему поляки, столько к нам неблагосклонные, так благосклонно и настойчиво к нам идут и так много их у нас, все больше и больше? Почему они не остаются в Царстве Польском, а идут к нам? Почему наши техники, инженеры, архитекторы, аптекари, наши департаменты так полны поляками? По-видимому, если я ненавижу Русь, если я считаю ее своим врагом, я в нее не пойду, не буду в ней строить железных дорог и мостов, не буду управлять в ней ни фабриками, ни заводами, ни имениями, не буду служить в департаментах и канцеляриях и управлять ими, не буду писать отношений и доношений и даже самый русский язык будет мне противен. Я посвящу свои силы своей родине, своей милой Польше, и чем она более «угнетена», тем я буду более стараться облегчить своим трудом, своими знаниями, своими талантами положение близких мне по вере и племени. Зачем

же идут к нам поляки? Ведь когда идут в чужую страну служить на государственной или частной службе, то идут с тем, чтоб хорошо и честно служить, ибо только хорошая служба выгодна и обеспечивает. Так поступали немцы, приезжавшие в Россию, основавшиеся в ней и делавшиеся иногда не только русскими, но архирусскими. Во времена польского восстания это движение поляков в Россию, их распространение у нас в администрации и т. п., объяснилось весьма легко «польским катехизисом». Польский катехизис — собрание довольно гнусных правил о том, как должно пакостить России, как надо лицемерить, надувать, проводить, обманывать русских, как надо, служа в России, притворяться благонамеренными, преданными, честными, а на самом деле стремиться к тому только, чтоб делать ей всевозможный вред, стараться об ее разложении, обессилении, революционизировании, и все это во имя Польши, во имя грядущего ее освобождения и вероятного господства над этим варварским, рабским русским племенем. Боже мой, как многие тогда верили в этот катехизис и как он свободно и легко разрешал все вопросы, Что бы ни случилось, какой бы вопрос ни стал перед умом — все польский катехизис. Имя Огрызко стало даже синонимом катехизиса. Он служил в министерстве финансов, и его обвиняли даже в том, что он влиял на отмену откупов... с целью споить русский народ...

В значение этого катехизиса я не верил, хотя бы он и существовал, ибо знаю, что правила — одно, а жизнь — другое. Лицемерия довольно и на русской службе между русскими. Что мудреного, что и поляки, служащие в России, лицемерны и не открывают своих карт. Но чтоб служить в России, тщательно соблюдая какой-то катехизис, — это просто бессмыслица. Если б сосчитать число построенных домов, железных дорог, мостов, фабрик, заводов поляками в России, то получилась бы весьма импозантная цифра. И дороги, и мосты, и дома, и фабрики существуют, не разваливаются, приносят пользу и доход. Несомненно, что между поляками много хороших работников и культурных людей. Несомненно, что не польский катехизис влечет их к нам, а необходимость, потребность работать, прилагать свои знания и таланты к делу и приобретать средства к жизни. Естественно, что как скоро в каком-нибудь ведомстве завелся поляк, особенно на влиятельном месте, а в последнее время это не редкость, сейчас же он становится центром, который притягивает сюда других поляков, иногда, быть может, в ущерб русским. Говорю «естественно», потому что племенная связь и чувство солидарности действуют как-то сами собой. Разные общества, клубы, канцелярии расскажут вам целые одиссеи о том, как велика дисциплина между поляками и как ловко и умело они выживают тех, кто им неприятен, кто им мешает, кто несговорчив. Русские все вразброд идут; если протестуют, то грубо, горячо, оскорбительно, а поляки идут тесным строем, в ногу, и все делают умеренно и аккуратно, в вежливых формах, и их культурность побеждает. Повторяю, это так естественно, что никакого «катехизиса» тут выдумывать не для чего. Я убежден, что если б не было кое-каких препятствий полякам, они в несколько лет составили бы такую конкуренцию русским, о которой теперь и представления нельзя иметь. Ни в Германии, ни в Австрии, ни во Франции, нигде в Европе в поляках, в их работе нет никакой нужды. Они там оказались бы совсем не у дел или у какого-нибудь крошечного дела, о котором и хлопотать не стоит. Но у нас им, культурным людям, так хорошо, что нередко через одно, два поколения они становятся русскими. Часто уже дети смешанных браков прямо бравируют русским чувством и желают быть русскими.

Итак, что же из этого следует? Культуртрегерами ли являются к нам поляки? По-моему, нет, ибо я не нахожу оснований считать инженеров, механиков, техников, архитекторов и проч. польского происхождения выше, чем например, техники и т. п. русского происхождения. То же самое я должен сказать и о чиновниках польского происхождения. Если поляки жалуются на русских чиновников в Польше, то у нас, в России, сколько хотите жалоб на русских чиновников польского происхождения. Они уж тем виноваты, что поляки, как те тем виноваты, что они русские. Но вы, пожалуй, скажете, что поляки идут к нам потому, что им деваться больше некуда. Положим. Но самой Польше есть куда деваться?.. Не углубляясь особенно в этот вопрос, я думаю, что необходимость работы, браки, русский язык делают дело сближения помимо всяких политических партий, помимо вражды и исторической ненависти, и идущие к нам поляки — примиренные. Историю нельзя отмахнуть от себя, как докучливую муху, но история тем хороша, что она идет и идет непрерывно и что-то неведомое таит в своих недрах.

12 (24) ноября, № 7440

CCLXXVII

В городе много говорят о Правительственном сообщении, выясняющем университетские беспорядки в Москве. Читатели наши прочли его сегодня в газете, а вчера оно появилось в «Правительственном Вестнике». По существу своему, по тем фактам, которые оно сообщает, по тем выводам, которые можно из них сделать, сообщение это очень важно, и о нем если можно говорить, то надо говорить много и надо говорить так же искренне, как искренне оно написано. А в этом отношении оно представляет у нас явление чрезвычайно симпатичное. Этот правительственный документ убедителен именно потому, что он так ясно, искренно и так просто говорит о деле очень больном и очень близком для всех тех, кто дорожит семьей и детьми, для кого «молодежь» — именно дети, а не политическое учреждение, существующее для пропаганды новейших идей, и не политический заговор против государственного порядка. Нет ничего вреднее для дела, как смотреть на волнения молодежи точно так же, как можно смотреть на бунт взрослых. Во всех этих волнениях, давно приготовлявшихся, есть вещи, говорящие о невнимании взрослых к явлениям жизни или непонимании ими некоторых вещей.

Правительство отнеслось к виновной молодежи гуманно, отнеслось, как можно и должно относиться к *учащейся* молодежи, а не к бунтующим заговорщикам. Но на этом нельзя останавливаться. Наши университетские порядки и наша университетская наука, очевидно, требуют большого внимания к себе и, может быть, некоторой реформы. Газета поговорит об этом в ближайшем будущем.

Но в этих вопросах я не считаю себя компетентным. Но я знаю и убежден, что о молодежи надо говорить только с любовью, — не с тою любовью, которая подзадоривает ее и выставляет застрельщиками, передовыми бойцами, колонною, за которою можно прятаться и мутить, а с любовью созидающею, с тою любовью, которая внимательна к нуждам ее, к ее сердцу и разуму. Разум в эти

годы не особенно велик даже у самых сильных и даровитых молодых людей, но сердце большое, горячо и сильно бьющееся, и действовать на то и другое, действовать умеючи — вот в чем труднейшая задача нашего времени, времени очень сложного. И этого забывать не надо, это даже прежде всего надо помнить, что время наше сложное, далеко не похожее на то, когда мы учились и воспитывались, и потому требует сложных и тщательно обдуманных средств и, быть может, новых методов для воспитания и обучения молодежи. В это сложное время школа является тем более почетным учреждением, что она готовит людей, готовит граждан для сложной жизни, для государственных потребностей и для семейных потребностей, которые растут и выросли из тех рамок, в которых были они 30—40 лет тому назад. Новые поколения несут с собою новые думы, новые наслоения, почти новую душу. И нам это необходимо знать, надо с этим считаться и к этому идти навстречу, и это тем необходимее, что наше время — время всяких расколов политических и нравственных...

7(19) декабря, № 7465

CCLXXVIII

С моей легкой руки, в журналистике нашей, вслед за «Маленьким фельетоном», впервые явившимся в «Новом Времени», появились такие же маленькие фельетоны; вслед за «Маленькими письмами», явились в разных газетах «Маленькие мысли», «Маленькие заметки». Это не подражание, а, вероятно, потребность времени, потребность души. И журналистика наша маленькая, и вопросы маленькие, и люди не великие, а все больше маленькие. Некоторая часть печати так много говорила против нашего самомненья, против формулы «шапками закидать» (когда это было??), что мы стали скромны и благоразумны. Мне давно хотелось сказать об одном факте, по-видимому, маленьком, и потому всеми пропущенном, но на самом деле важном.

В «Правительственном Вестнике» более месяца тому назад было напечатано:

«Министр внутренних дел, с высочайшего его императорского величества соизволения, разрешил редактору-издателю газеты-журнала «Гражданин», князю Владимиру Мещерскому, возобновить издание означенной газеты-журнала, не подчиняя его действию примечания к ст. 144 уст. о цензуре и печати».

Этим примечанием к ст. 144 издание, получившее три предостережения, поступало в дальнейшем своем существовании под цензуру. Благодаря этому примечанию, прекратил свое существование «Голос», лет 14 тому назад. Высочайшая милость, оказанная «Гражданину», близко касается всей русской печати. Со времени двух амнистий, которыми отменялась сила предостережений и которыми воспользовалась периодическая печать при императоре Александре II, это первая высочайшая милость, касающаяся системы предостережений, под которой существует русская печать с 1865 г., с дальнейшими дополнениями, клонившимися к усилению закона 1865 года не в пользу печати. Примечания к ст. 144 теперь даже анахронизм, ибо с подцензурною печатью администрации гораздо больше хлопот и больше ответственности, чем с бесцензурной. Конечно, в журналистике система предостережений не может иметь никого, кроме противников. Кто дорожит искренностью, кто убежден, что печать только тогда исполняет свою обязанность,

когда деятели ее могут говорить в пределах закона, для тех система предостережений — давно осужденная система. Недаром ее нет нигде, а печать существует всюду. Мне думается, что не только в журналистике, но даже в административных сферах не мало противников этой системы, ибо она всего опаснее для тех органов, которые не занимаются теоретическими построениями, отрицанием существующего порядка в пользу нового устройства мира, а близко стоят к действительности и, обсуждая практические, ежедневные нужды и потребности, вращаются в сфере живых лиц и самолюбий. А этот путь довольно скользкий, что легко было бы доказать историей бесцензурной печати.

Если б просмотреть мотивы предостережений журналам и газетам и перечитать те статьи, за которые даны предостережения, то оказалось бы, наверно, что, за немногими исключениями, предостережения давались не за то, что называется или называлось «вредным направлением», что составляло систематическую оппозицию правительству, а за обсуждение практических вопросов жизни. Я совершенно убежден, что если б все эти статьи, за которые даны предостережения, собрать в один сборник, то получилась бы книга, которая теперь прочлась бы, вероятно, немногими и с значительною скукою. Все такие статьи я прочитывал при их появлении, и должен сказать, что самые «сильные» из них принадлежали перу Каткова и Аксакова. Что касается других сильных статей, то они или были дозволены цензурой, или были неуловимы по тому искусству, с которым писались они для чтения между строками и ключ к ним почти потерялся теперь. Пример Каткова и Аксакова говорит в пользу того, что я сказал о предостережениях, которым подвергаются всего чаще журналисты, обсуждающие именно ежедневные вопросы жизни. Доказательством этому служат и «Московские Ведомости» только что вышедшей в отставку редакции (г. Петровского) и «СПб Ведомости» тоже вышедшей в отставку редакции г. Авсеенко. Обе эти газеты составляют казенную собственность и отдаются в аренду на несколько лет. Несмотря на то, что «Моск. Ведом.» оставались верны своему консервативному направлению, они получили два предостережения. «СПб Ведом.» тоже получили два предостережения.

В этом вопросе о предостережениях очень любопытен следующий вопрос: переходят ли предостережения к новому «редактору-издателю»? Другими словами: князь Ухтомский, теперешний редактор-издатель «СПб Вед.», и г. Грингмут, на днях ставший издателем-редактом «Моск. Вед.», имеют ли по два предостережения, полученный их предшественниками или не имеют? Я не юрист и не знаю, как смотрят на это юристы, но, по-моему, обе газеты должны быть свободны от предостережений. С переходом «СПб» и «Москов. Вед.» к другим лицам предостережения теряют свое значение, ибо они даются, в виде напоминания, так сказать, редакторам и издателям о том, что они забыли свои обязанности или переступили их. Предостережения даются, правда, газетам и журналам, т. е. фирме, но непременно в «лице издателя-редактора» или в лицах «издателя и редактора». Никакая газета не может издаваться без издателя и редактора, и все в ней помещаемое зависит от этих лиц. Без этих лиц газета или журнальная фирма есть только имя, одна строка, и ничего более. А фирме в этой строке не может быть ничего, кроме имени; с ним, конечно, связывается прошлое, история фирмы, как связывается с названием министра внутренних дел или финансов прошлое этих

ведомств, но каждый министр отвечает только за себя, за свою деятельность. Они звенья в длинной цепи истории, в которой они участвуют и дают ей известную окраску, известное направление. Так же необходимо разуметь и газетную фирму. Предостережения даются не фирме, а лицам, которые ведут эту фирму, дают ей содержание и окраску. Если фирма упоминается, то не потому, что она согрешила, сделала упущения, а потому что согрешили или сделали упущения лица, которые давали жизнь фирме. Сама по себе фирма мертва. Она оживает только с людьми, с трудом их, деятельностью, мыслию. В данном случае даже запретить фирму нельзя, ибо она составляет казенное имущество. Когда при В. Ф. Корше «СПб Вед.» получили три предостережения, то они продолжали выходить, но под другой временной редакцией (издатель оставался тот же), и им было запрещено помещать фельетоны и передовые статьи. Точно так же было поступлено и с «Моск. Вед.», когда они получили при Каткове три предостережения. В те времена не существовало примеч. к ст. 144, которым после приостановки издание отдавалось под цензуру. Отличие «Моск. Вед.» и «СПб Ведом.», как изданий казенных и потому не запрещаемых, в общем юридическом понятии о праве собственности есть только исключение. А если бы это исключение распространено было и на фирмы частных периодических изданий, то это было бы только справедливо.

15 (27) декабря, № 7473

CCLXXIX

Полемика на страницах «Нового Времени» между графом Татищевым и г. Алчевским, председателем правления Харьковского земельного банка, напомнила мне давнопрошедшее время, когда

Мне были новы
Все впечатленья бытия...

когда я писал фельетоны в «СПб Вед.» под псевдонимом Незнакомца и когда г. Алчевский был просто харьковским гражданином, и земельных банков, кажется, еще не существовало, или они еще только пробовали почву, уходившую из-под ног дворянства. Третье сословие, наше tiers état, только что просыпалось и потягивалось, отвыкая от подчиненного и льстивого положения перед дворянством и понемногу забирая его в свои руки. Это было время железнодорожных концессий, банков, акционерных предприятий, это была заря плутократии, которую в то время я производил, с фельетонным остроумием, не от греческих слов *plutos* и *kratein,* а от русских *плут* и *сто крат.* Министром финансов был М. Х. Рейтерн, который отворял ворота промышленной, банковой, акционерной и т. п. деятельности. Обеды в честь министра финансов входили в обычай, а также и превознесения его превыше облак ходячих.

Подобный обед был устроен в Харькове, и Алчевский сказал речь, которая дала мне случай напечатать к нему письмо, которое я прошу позволения воспроизвести, как документ для биографии г. Алчевского. Вот оно:

Позвольте, милостивый государь, обратиться к вам с нескромным вопросом и попросить отвечать на него. Во время обеда, данного харьковским обществом г. министру финансов, вы произнесли: «Позвольте мне, милостивые государи, повторить тост в честь того, кто создал финансовые силы русского государства. За здоровье министра финансов, дорогого гостя нашего, его высокопревосходительства Михаила Христофоровича».

За сим вы прибавили: «Да продлится *нескончаемо* его деятельность на пользу всего нашего народа!»

Когда вы сидели, м. г., на школьной скамейке, то, по всей вероятности, учили: «Един Бог есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца Своего бытия». Если же вы желаете *нескончаемой* деятельности г. министра финансов, то тем самым провозглашаете, что он вечен; если же он вечен, то имеет божеские свойства; но вы также учили: «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия...» Неужели вы забыли заповеди и катехизис?

Вот вопрос, на который я прошу у вас ответа, пребывая к вам, м. г., в премногом удивлении».

Это было в 1868 г. Г. Алчевский, конечно, ничего не ответил на мое «премногое удивление». М. Х. Рейтерн умер, не послушавшись г. Алчевского, пожелавшего ему *нескончаемой* деятельности, но сам г. Алчевский основал земельный банк, который имеет больше шансов на нескончаемость, в особенности при удрученном состоянии землевладения и земледелия. Чем хуже землевладению и земледелию, тем лучше земельным банкам, которые, как оказывается, имеют такие широкие способы нарушать свои уставы и высасывать из умирающих последние соки.

Не говорю о красноречии этих банковых дельцов. 28 лет тому назад я приводил образчики этого льстивого красноречия, этих звонких и пустых фраз, вроде того, что М. Х. Рейтерн «создал финансовые силы русского государства», и теперь продолжается то же.

16 (28) декабря, № 7474

CCLXXX

Надо иметь большой такт, чтоб писать те монологи, которые называются передовыми статьями. Жизнь есть трагикомедия, где трагедия и комедия чередуются или втискиваются одна в другую. Гамлет размышляет то спокойно, то страстно, то шутливо, то как великий мыслитель, то как человек с умом болезненным. Но он остается Гамлетом, остается человеком, и вам не приходит в голову насмешка и на уста улыбка. Среди той трагедии, где он действует, это — руководящий мыслитель, это — бич порока, двоедушия, лицемерия, интриги. События нарастают, и он живет ими и в них, ими страдает и делается их жертвою.

Мне думается, что те монологи, которые называются передовыми статьями, должны быть так же, как монологи Гамлета, прочувствованы, так же отвечать событиям и так же блистать умом и талантом. Только тогда они возбуждают к себе серьезное внимание и «руководят» читателей. Конечно, сравнивать публициста с Гамлетом рискованно, но сравниваются сплошь и рядом неравные вели-

чины, причем большая величина служит идеалом, к которому следует стремиться. Я разумею нового публициста, г. Грингмута, издающего с декабря «Московские Ведомости», нового Гамлета в ряду русских публицистов. Он объявил, что принимает заветы Каткова. Мне думается, что нет ничего труднее, как принимать чьи-нибудь заветы, следовать политике и убеждениям предшественника своего. Катков работал долго и высказался для своего времени весь, по всем жгучим вопросам. Правда, эти вопросы и теперь существуют, но существуют в новой обстановке, в новом освещении, которые приносит время. Публицист есть личность, и эта личность вся обыкновенно высказывается, со всеми достоинствами и недостатками. Статьи Каткова есть сам Катков, как сам Аксаков — его статьи. Поправкой к ним может служить только то, что *не могли* они высказывать по условиям времени и что в известной доле может быть восполнено его перепиской. «Заветы» Каткова останутся сами по себе, останутся только пристегнутыми к личности, если они не претворились в плоть и кровь публициста, желающего следовать этим «заветам»...

Новый издатель-редактор «Московских Ведомостей» — не новичок в публицистике. Вы читали его, быть может, под псевдонимом «Spectator» и в «Москов. Вед.», если не изменяет мне память, и в «Русском Обозрении». Я читал его мало, а потому определенного мнения о нем не имею. Мне думается, однако, что между ним и Катковым очень большая разница и в размерах, и в свойствах таланта. Г. Грингмут холоднее, рассудочнее, прямолинейнее и не обладает и долею того юмора и язвительной насмешки, которыми обладал Катков. Я вообще заметил, что русские писатели иностранного происхождения не обладают юмором, между тем юмор в характере русского человека и редкий из русских писателей его не проявляет. Вместо юмора и насмешки у г. Грингмута резкая прямолинейность, и чем она резче, тем легче с нею полемизировать. Кроме таланта, у Каткова была большая литературная опытность, чего у г. Грингмута тоже нет. Катков явился во время борьбы разных элементов русского общества, которое было неожиданно захвачено и реформами, и заграничною публицистикою Герцена, и польским восстанием, и нигилизмом. Время было преимущественно боевое и яркое, время крупных талантов не в одной области литературы и публицистики.

Г. Грингмут является во время спокойное и начинает борьбу... с либералами.

Ах, как это поздно! Ведь этой борьбе — сколько лет? Даже сосчитать трудно. Ведь если подходить к началу, то придется сказать, что либералы впервые появились еще в Смутное время, после убийства названного царя Димитрия, когда польская конституция возымела влияние на некоторых бояр, желавших управлять государством и ограничить царскую власть. Кроме того, в допетровской Руси существовали Земские соборы — явление, имеющее некоторое подобие с представительным собранием даже и после исследования г. Ключевского. Если мы станем внимательно следить за событиями нашей истории со времени самозванщины, которое и само по себе было явлением, пожалуй, либеральным, то найдем, что либерализм постоянно присутствовал в политической жизни нашей страны. В самом расколе, — этом, по-видимому, консервативном явлении, — много совершенно либеральных, даже радикальных течений и притом с примесью социализма.

Говорить ли о литературе, о нашем XVIII веке, о событиях этого исходящего века? Сам Карамзин, наш историограф, называл себя республиканцем в душе. Либерализм первых лет царствования Александра I, либеральные проекты Спе-

ранского, польская конституция, замыслы декабристов — все это известно всем. Наших государственных деятелей сплошь и рядом характеризуют именем либеральных или консервативных. Личные мнения, образовавшиеся под влиянием воспитания и среды, личный характер совсем не исключают чувства верноподданства и глубокого уважения к основам государственной жизни. Все это азбука...

Если либерализм, либеральное направление существует давно, то и борьба с либерализмом существует давно. Известно даже, что он идет усиливаясь от центра к окружности, от ядра России к окраинам, как известно также всем, не исключая цензуры, что есть литературные органы разных направлений, преимущественно либерального и консервативного, причем то одно, то другое направление получает преобладание...

Поэтому г. Грингмут открывает Америку, объявляя, что либерализм существует и что он будет с ним бороться, как с врагом. На этом месте я возвращаюсь к началу моего письма, ибо вопрос идет о том, как должно бороться с либерализмом. Я сказал: «Надо иметь большой такт, чтоб писать те монологи, которые называются передовыми статьями». И г. Грингмут этого такта не соблюл в самом начале своей борьбы с либерализмом. «Монологи должны быть так же прочувствованы, как монологи Гамлета». И я боюсь, что г. Грингмут попал в роль Полония. В самом деле, неужели это сколько-нибудь правильный литературный, даже житейский прием — обращаться к противникам с вопросом, формулированным буквально в следующих словах: «Мы снова повторяем то предложение, которое уж раз сделали (в «Русском Обозрении») принципиальным органам наших врагов, «Русским Ведомостям» и «Вестнику Европы»: пусть они категорически заявят себя верноподданными русского самодержавного царя, и мы тотчас поверим им. Разве это так трудно для них? Ведь это только было бы повторением принесенной ими присяги».

«Русск. Ведом.» и «Вестник Европы», оставаясь либеральными, как их постоянно называли и называют, могли бы искренно и прямодушно сказать: «да, мы верноподданные русского самодержавного царя». Но «Рус. Вед.» ответили на этот вопрос вопросом: «почему россияне обязаны вторично присягать в присутствии г. Грингмута и кто его уполномочил приводит их к присяге»? Этот вопрос очень серьезный, и публицист «Московск. Вед.» ничего на него не ответил, и ответить на него нечего. Его можно только замолчать перед своими читателями, чтоб не сознаться в своей вине перед ними. Но читатели — народ достаточно чуткий, чтоб понять, что публицист «Моск. Вед.» поставил вопрос так, что на него может отвечать утвердительно и искренно решительно всякий русский, не помышляющий об измене, о государственном перевороте, и в тоже время всякий русский имеет право на него ничего не ответить, ибо вопрос этот праздный, как задающийся лицом, никем не уполномоченным, стоящим в тех же условиях журналиста, в каких обретаемся все мы. Даже как полемический прием это обращение к своим противникам «Моск. Вед.» совершенно неудачно и никому и никакой пользы принести не может, ни принципам, которые защищают «Московские Ведомости», ни выяснению партий наших, ни вопросам русской жизни, совершенно, по моему мнению, оригинальной, требующей совместной работы людей разных мнений, разных характеров, работы и споров, как бы горячи они ни были. Для России на Западе — одно драгоценно, наука вместе с культурою, а вовсе не государственные формы, которые свои у каждой страны. Не говорю уже о том, что политические мнения вообще дело очень сложное и разобраться в них при

помощи *такой* именно постановки вопроса — решительно невозможно. Но вместо роли Гамлета или некоторого подобия его, очень легко такими прямолинейными и узкими приемами сыграть очень нежелательную роль Полония.

Петербургские газеты отнеслись весьма неодобрительно к г. Гринмуту, а газета «Народ» даже восклицает, что г. Гринмут «оскорбляет правительство», «обвиняет его в бездействии власти». Обвинять в этом г. Гринмута просто неумно, ибо газеты с 1863 года постоянно указывали как на злоупотребления власти, так и на бездействие власти, каждая сообразно своим наклонностям, часто даже так, что где одна газета видит «бездействие власти», там другая видит «злоупотребление» властью... Но «Народ» — газета молодая и естественно желает отличиться.

Вообще монологи надо писать с большим тактом, и как только этот такт нарушишь — сейчас же это дает противнику большое преимущество и даже иногда победу.

24 декабря 1896 (5 января 1897), № 7482

1897

CCLXXXI

Я хотел бы сказать несколько слов о маленьких событиях проходящего года, не о том, что готовилось и работалось в правительственных мастерских, а о том, что делалось в самом обществе. Может быть, я и ничего не скажу, ибо обозревать целый год — задача трудная, притом в таком маленьком объеме. Но, может быть, на конце пера что-нибудь и скажется. Робеть никогда не надо, в особенности под Новый год.

Мне приходилось читать в последние дни, что общество вяло, что оно ничего не делает, что оно потеряло всякую бодрость. Эти жалобы слишком поздние. Там, где есть простор, работа происходила и происходит, делают и голова и руки. Я даже думаю, что в последнее время образовывается *провинциальное общественное мнение,* несколько независимое от того общественного мнения, которое доселе было только столичным. Призываемые в Петербург провинциалы приносят и знания свои о местных нуждах, и мнения свои о том, как помочь им. Это явление не новое, но оно в последнее время заметнее, чем когда-либо. Для примера укажу на то, что провинция подняла вопрос о том, обеднела Россия или, напротив, разбогатела, и этот вопрос возбудил работы и исследования. Дело не в том, кто прав, те ли, которые говорят о необыкновенном росте, о «гигантских» шагах, на которых далеко, однако, никогда не уйдешь, а будешь только кружиться, подниматься от земли и опускаться, или те, которые говорят о бедности, но важна самая постановка вопроса, ибо она заставляет задумываться, проверять выводы, войти в детали, а не судить по общим суммам и принимать их на веру. Чем меньше будет роскошных и великолепных фраз, которые с таким искусством изображаются петербургскими чиновниками, тем лучше, ибо вместо фраз потребуются факты, анализ, доказательства.

Таких маленьких событий было достаточно, чтоб не отчаиваться и не плакаться.

Я мог бы сказать о событиях еще более маленьких, например, женском клубе, который учредился с целью не пускать в него мужчин, и мог бы напомнить, кстати, что первообраз женского клуба — шабаш ведьм. Не думайте, что я хочу обидеть женщин да еще в день Нового года. Совсем напротив. Шабаш ведьм — это символ той свободы, к которой стремились женщины и которую они, в былые времена, когда верили во всякую чертовщину, могли получить только обращаясь в ведьм и, проделывая в этом виде все то, что подсказывала им жажда свободы и

любви. Теперь все это они могут делать в своем естественном виде, а в двадцатом веке покажут себя еще естественнее и сильнее. О, русская женщина — смелая женщина и Лысую гору посещала усердно...

Я мог бы сказать о разных юбилеях; но, во-первых, они возбуждают некоторое грустное чувство, ибо кто справляет юбилей, тот признает, что лучшая пора жизни прожита; во-вторых, юбилеев становится такое множество, что хочется и время самое назвать *юбилейным,* вспоминающим старое, отжитое и точно не думающее о будущем. Гораздо приятнее было бы, если б, рядом с юбилеями ярких талантов, можно было говорить об ярких талантах начинающих, о романе нового писателя, о картине нового живописца, о статуе нового скульптура, об опере композитора, который вдруг удивил бы нас чудной гармонией. Но этого-то именно и нет. Крупные таланты стареют, а новых как будто очень мало. Мне даже иногда кажется, что юбилеи мешают расти молодым талантам...

Черт знает что! Такая пропасть великих людей у нас, что куда уж мне за ними! Стоит ли бороться!? Стоит ли достигать!? Уж не подождать ли лучше того времени, когда перемрут все эти юбиляры...

Так может говорить молодой человек— с беспечной иронией юности...

Может быть, крупные таланты еще прыгают около елок с лошадками, барабанами и другими игрушками?!

Если это так, то смотрите на этих детей как можно серьезней. Это нечто небывалое, большое, во всяком случае, нечто мистическое. Мы знали людей сороковых годов, шестидесятых, семидесятых и т. д. Но людей двадцатого века — шутка?! А ведь это именно *люди двадцатого века,* которые прыгают и танцуют около рождественской елки!.. Не забывайте этого.

С Новым годом, люди двадцатого века! Старый дед желает вам нового счастья, и вы это новое счастье действительно можете получить, потому что вам еще долго жить и многое видеть, и многое сделать. Вы будете нести на плечах своих все наши ошибки, наши увлечения, наши пороки и, конечно, добродетели, если они у нас есть. Говорю: «если они у нас есть», ибо помню, что сказал о себе самом Гамлет, которого мы, русские, так любим: «Я сам, с грехом пополам, человек добродетельный, однако могу обвинить себя в таких вещах, что лучше было бы, если бы мать совсем не рожала меня: я горд, мстителен, честолюбив. Дурных мыслей у меня больше, чем слов, чтобы их выразить, воображения моего не хватит, чтобы дать им форму, и времени, чтобы привести их в исполнение. К чему таким молодцам, как я, ползать между небом и землею? Все мы плуты, все». Это очень откровенно и даже жестоко, но за эту откровенность, за эту смущенную, но прекрасную душу мы и любим его, и всем, люди двадцатого века, эта душа будет близка и сомнения ее и тревоги родственны. «У нас в Дании кое-что неладно», говорил датский принц. И у нас, в России немало неладного, но вы, дети наши, вы, будущие граждане двадцатого века, получите наследство совсем не маленькое, над которым все мы, начиная с самого верха и до самых низин, работали усердно, с сороковых годов. Ваше наследие несравненно более, и богаче, и разнообразнее того, которое мы получили от своих отцов и дедов, мы, вступившие в сознательную жизнь в пятидесятых годах. Вы отдадите нам за это некоторую дань уважения и простите наши грехи, наши пороки, нашу лень и наше унижение. Вы должны помнить, что вам придется работать в атмосфере более чистой, более свободной, проветренной нашими усилиями, нашим трудом, даже

нашим падением. Я никогда не был пессимистом, я всегда верил, что страна, где я родился, великая, сильная духом страна и что вера необходима, чтоб работать и жить. Без веры нет спасения, без надежды нет счастия. Веруй, надейся и работай — вот три слова, которые должны составлять первоначальный катехизис всякого русского...

Я хотел сказать о маленьких событиях и, кажется, ничего не сказал. Но я нашел людей двадцатого века. Довольно этого fin de siécle, этого конца века. Любя этих представителей двадцатого века, радуясь на них и горюя — радость и горе неразлучны, — будем жить вместе с ними, твердо смотря вперед за них и для них, в этот таинственный, многообещающий, несомненно дивный век.

И я подниму сегодня бокал за здоровье людей двадцатого века, за ваших детей, мой благосклонный читатель и благосклонная читательница.

1 (13) января, № 7488

CCLXXXII

Наша телеграмма из Лондона (от 10 января) говорит, что «сильное возбуждение умов вызвал в здешних еврейских кружках проект Освальда Симона — основать особое общество с целью совращения англичан в иудейство»...

Молодцы евреи. Говорю это с чувством искреннего изумления перед их энергией. Они снимают маски и заявляют свою программу на XX век. Они почуяли, что их время настало.

Если в настоящем XIX веке они сделали сначала для своей свободы, потом для своего господства так много, то чего нельзя ожидать от этого энергичного, односторонне, но крепко развитого племени. Борьба их с христианством отличается в сильной степени тем, что христианская религиозность падает. Об этом падении давно уж стали заботиться папы, возбудившие реформацию, религиозные войны, инквизиции. Об этом падении позаботилась борьба политических партий с т. н. клерикализмом, позаботился дух критики, философия, серьезная и саркастическая, двух веков, XVIII и XIX. Еврей пользовались всем этим, и по мере того, как религиозность Европы уменьшалась, значение еврейства усиливалось. Оно прекрасно понимало всегда все значение веры и религиозных обычаев и потому постоянно остается верным своей синагоге. Как бы ни был просвещен еврей, он никогда и ни слова не напишет против своей религии, которая для него остается чем-то заветным и священным. Самая религия еврейская ближе подходит к полуязыческому складу современного общества, чем христианство, проповедующее о смирении, о любви к ближнему, о раздаче своего имущества бедным — все такие малопрактические советы! Социалисты и анархисты пользуются христианством для своих целей, и еврейство имеет полную возможность указывать на это, как на опасный признак, как на грядущую революцию во имя христианского учения, принимаемого будто бы во всей его евангельской первобытности. Либеральные партии всегда находились и находятся в союзе с еврейством уж потому, что они проповедуют свободу и равноправность. Одни — по убеждениям политическим, другие — по вражде к христианству, третьи — по равнодушию к религии вообще, четвертые — по вражде к духовенству, пятые — по своей ничтожности, как идущие в хвосте за силою — вот сколько союзников у

еврейства! У него три главных устоя: синагога, биржа и кагал, вместе с кагальным чувством. Синагога пока держала около себя только евреев, кагал их сплачивал и сплачивает, а биржа стала могущественным учреждением международным и очень любезным всем тем христианам, более или менее просвещенным, которые желают побольше денег и поскорее нажиться. Очень естественно, что вслед за подчинением народов бирже и банкам, настанет время подчинения их синагоге, и это время, быть может, не за горами.

Очень возможно, что евреи между англичанами скорее всего найдут своих последователей, и Освальд Симон сообразил, в какой стране можно устроить общество для совращения христиан в еврейство. Давно уж держится мнение, что сами англичане еврейского происхождения, и на этот счет существует целое генеалогическое дерево, начинаясь с путешествия пророка Иеремии в Ирландию и брака ирландского принца с одной из дочерей последнего царя израильского. Ирландский принц, впоследствии король, принял израильское знамя со львом Иуды и поместил арфу царя Давида в герб Ирландии — она и доселе находится в этом гербе, а лев поступил на службу к англичанам. Камень, на котором спал Иаков и видел лествицу, находится в Вестминстерском аббатстве. Еврейский шабаш, перенесенный на воскресенье, соблюдался и соблюдается англичанами с еврейскою набожностью. Первобытная ирландская азбука очень похожа на еврейскую; в английском языке существует более восьмисот еврейских слов: ни в одной стране нельзя найти столько нееврейских семейств, носящих еврейские имена; метрическая английская система основана на дюйме, т. е. 25-ой части священного еврейского локтя. Знаменитый Мишле сказал, что английская литература «скептическая, еврейская и сатанинская», что у Шекспира слово Бог встречается очень редко и без всякого религиозного чувства; герой Мильтона — Сатана; Байрон, терзаемый гордостью, сам не прочь был прослыть сатаною; один из известных французских юристов сказал, что английское право — еврейское право, а французское — христианское. Кардинал Воган (Vaughan) торжественно заявил, что в одном Лондоне от двух до трех миллионов христиан не крещеных, а крещение признается христианством первою необходимостью. Рыба была символом христианства до креста еще, ибо «как рыба не может обойтись без воды, так христианин без воды крещения». В Англии существует две газеты: «The banner of Israel» и «The life from the dead», посвященные тому, чтоб доказывать происхождение англичан от евреев, и эти газеты расходятся, каждая в 310 000 экземпляров... И такое число подписчиков говорит о сочувствии англичан этому направлению...

Я выдаю это за то, за что получил эти сведения — небольшая часть тех фактов и соображений, которые существуют в литературе по этому предмету. Я не остановился на параллели между характером английским и еврейским, на сходстве английского с еврейским и т. д. Я упоминаю об этом только для того, чтоб объяснить читателям, почему именно в Англии является *первый* проект общества для совращения христиан в еврейство. Естественно предположить, что автор этого проекта, Освальд Симон, хорошо исследовал ту почву, на которой он проектировал это антихристианское общество. Наш корреспондент добавляет в своей телеграмме, что этот «проект возбудил сильную оппозицию в английском обществе против евреев». Но английская жизнь вся основана на парламентаризме, сущность которою в оппозиции. Понятно, что и в данном случае оппозиция проявит свою благодетельную деятельность, но случаи совращения в иудейство появятся и станут расти...

Да, это один из признаков XX века и, христиане, берегитесь! Все т. н. свободные профессии подбираются евреями, как в странах, где еврей пользуются равноправностью, так и в странах, где права их ограничены. С своим прилежанием, упорством, обходом законов, с своею способностью пользоваться обстоятельствами, даже неблагоприятными, они постепенно овладевают выгодными позициями. Биржа, банки, кассы ссуд, кабаки, ростовщичество — это материальная сторона: журналистика, и в ней критика, преимущественно литературная и театральная, — т. е. возможность отрицать, направлять, иронизировать; медицина и в ней преимущественно нервные и женские болезни, где шарлатанство и наглость наиболее безответственны; актерство, адвокатура, это могучее средство и при парламенте, и без парламента, и так далее — все это завоевывается еврейством с поразительною скоростью и замечательною энергией, которая бравирует всем тем, что христианина часто останавливает, и останавливает не столько по религиозности его, сколько по враждебному христианскому чувству, переданному ему предыдущими поколениями. В области совести, даже вообще в области духа, христианин гораздо менее прямолинеен, чем еврей, ибо христианство все-таки передало принцип любви к ближнему, жалость, сострадание. На христианине легла печать перехода от язычества и еврейства к христианству, явились колебания в пользу братства и общности всех народов. Еврей остался евреем, одиноким, гордым Ветхим Законом и его Второзаконием, гордым Талмудом и своею многострадальною историей. Еврей уже не мстит — он просто идет вперед и расталкивает христианскую толпу довольно бесцеремонно и самоуверенно, направо и налево... Да, христиане, берегитесь!

13 (15) января, № 7500

CCLXXXIII

Одно из курьезных явлений последнего времени — это диспут в Петербургском университете г. Чечулина на степень доктора. О нем доселе говорят профессора, газетчики и г. Бильбасов. Не имея чести знать его <г. Чечулина> лично, не читав и его докторской диссертации, я не мог составить себе о ней определенного понятия и из отчетов о диспуте и полемике, им вызванной, в которой приняли участие два профессора. Да и дело, собственно, не в г. Чечулине. Меня интересует только вопрос: за какое преступление преследуют г. Чечулина и поносят его имя? За что обзывают его и невеждою, и ученым fin de siécle, и человеком, не знающим не только иностранных языков, но и русского (г. Бильбасов), и даже «необразованным человеком» («Судебная газета»). Ведь не может же быть, чтобы факультет допустил на диспут совершенно ничтожное сочинение! Не может быть и того, что русская земля кишит учеными, магистрами, докторами, обладающими такими достоинствами, что нам мир удивляется. Сколько мне известно, мы даже количеством ученых не блещем, и наши университетские кафедры сплошь и рядом остаются вакантными за отсутствием профессоров. Если это так, а это несомненно так, то почему такому преследованию подвергся молодой ученый? Правда, он признан доктором только «большинством совета». Правда и то, что известный журналист-историк г. Бильбасов говорит в «Новостях» (№ 14) следующее: «применение счета голосов к определению учености — это одно

из явлений fin de siécle, с которым. очевидно, приходится, если не мириться, то считаться». Однако же правда и то, что счет голосов в данном случае производился не между случайною публикою и студентами, а между членами университетского совета, который состоит из профессоров, из специалистов. Если учености г. Чечулина нельзя определить счетом голосов специалистов, то почему же важнейшие законы, параграфы конституции, решаются счетом голосов членов государственных и общественных учреждений, парламентских палат и проч.; почему Французская академия счетом голосов определяет качества, необходимые для «бессмертного»? Почему судьба преступника решается счетом голосов присяжных? Если в вопросах столь важных счет голосов употребляется с незапамятных времен и дает удовлетворительные результаты, то почему г. Вильбасов отрицает значение большинства голосов «совета», состоящего из ученых, вероятно, достопочтенных?

Для меня остается это тайной, да и вся полемика, направленная против г. Чечулина и диспута, представляется мне какой-то комедией, главнейшая часть которой, вероятно, произошла за кулисами, а не на сцене...

Удивительно, что мы, столь бедные учеными, этими действительными советниками по части всяких знаний, нам столь необходимых, и столь богатые действительными статскими и тайными советниками, так рьяно кидаемся на человека, который имеет мужество идти по ученой дороге. Говорю «мужество», ибо у нас эта дорога — самая скромная, самая неблагодарная по жалкому вознаграждению, самая неподвижная по своему течению и самая тернистая по приготовлению к ней. Ведь кидаясь на молодого ученого, как на какого-то преступника, терзая его имя целый месяц и притом перед читателями, совершенно некомпетентными в вопросе, но склонными все и всех унижать — вы грозите всем молодым людям, которые хотели бы вступить на эту дорогу. Легкое ли дело после восьми лет гимназии и четырех университета посвятить еще несколько лет своей жизни на сочинение двух самостоятельных сочинений, на степень магистра и на степень доктора, и затем пройти сквозь строй необузданной полемики. «Да ну вас с этой ученой карьерой», — подумает молодой человеку — подумает хороший молодой человек, с тонкими нервами и чувствительностью... Это — не ученые, а палачи, не мудрецы, а мелкие люди...

Нужен ли существующий у нас порядок вещей для получения ученых степеней, именно у нас, где аристократия ума, таланта и науки — самая продуктивная аристократия — так еще мала и так мало сплочена?

И, главное, делается ли человек *ученым* потому, что он написал две книги на две ученые степени, хотя бы и хорошие книги?

Я присутствовал на этих днях при разговоре именно на эту тему. Молодой профессор Московского университета говорил, что в Германии магистерских диссертаций не существует, а необходима только докторская и притом очень легкая. Требования от нее самые снисходительные — как по разработке вопроса, так и по объему; сплошь и рядом докторские диссертации там походят на брошюры, а не на тома. И степень доктора не столько определяет *ученость* человека, сколько знакомство его с учеными приемами. Молодой доктор идет в учителя гимназии и другие средние школы или занимает место на частной и казенной службе; обеспечив немного кусок хлеба этим докторством для себя и для семьи, которую он может иметь, он начинает заниматься на досуге своим специ-

альным предметом и через несколько лет, без спеха, пишет сочинение, которое может дать ему положение среди действительно ученых и повести на университетскую карьеру и проч. Быть может, в этом кроется одна из причин, почему в Германии много ученых сочинений, действительно этого названия стоящих, а у нас их очень и очень мало, если не считать магистерских и докторских диссертаций, на которых, по большей части, и замирают наши ученые и профессора, повторяя свои диссертации на курсах чуть ли не до самой своей смерти. Поколения сменяются, меняется время, а профессор все твердит свою докторскую диссертацию, чуть-чуть ее изменяя... Не лучше ли немецкая система, которая, так сказать, только благословляет молодого человека на ученую карьеру, легко давая ему степень доктора, — степень все-таки заманчивую и некоторым образом обязывающую его к ученым подвигам?

Не пора ли разобраться в этом вопросе, как и во многих других, связанных с нашим университетским образованием? С кем ни поговорил из людей компетентных, все они в один голос говорят, что оно неудовлетворительно, что оно нуждается в коренных реформах...

16 (28) января, № 7503

CCLXXXIV

Если так будет продолжаться еще некоторое время, то мы все очумеем до наступления чумы. Вот уж поистине остроумно и верно сказано, что всякое убийство способствует оживлению газет. Убийства повальные и подавно. Чума еще далеко, а газеты полны чумою. Ежедневно что-нибудь чумное, и не в одном месте, а всюду. Читаешь, читаешь, и ничего не выжмешь из всех этих сообщений, кроме того, что чума действительно где-то существует, что люди от нее мрут и что Европа принимает какие-то меры против нее. Эти грозные победители, это воинство бесчисленных каких-то невидимых существ, вероятно, имеет своих предводителей, которые ведут его по известному направлению, как Наполеон вел свою великую армию. Кто знает? Ведь несколько десятков лет тому назад посмеялись бы над человеком, который сказал бы, что холера, чума, дифтерит, тиф — все это войска, все это — храбрые и бесчисленные армии, которые убивают и сами умирают на поле чести, не жалея своего живота. А оказалось именно так. В воздухе существуют эти невидимые воители, обладающие смертоносными орудиями, отравленными снарядами, и гуляют себе по свету, наводя страх и ужас на бедных людей, столь гордых своею цивилизацией, своею наукой, искусством, умом, талантами и даже бессмертною душою. И ничего против этих сонмищ бесконечно малых существ большие двуногие человеческие существа сделать не могут, или почти ничего. Стоит только шум и бессвязный говор, как жужжанье в туче комаров. И о чем беспокоятся эти комары с бессмертною душой! О чем? Чтоб сохранить свою жизнь, чтоб есть, пить и работать. Но ведь все равно помрем непременно, и помрут совсем не от чумы и на этих же днях сотни тысяч тех самых людей, которые сегодня боятся чумы и читают о ней всякий газетный вздор. Бедные люди, жалкие люди! Какими противоречиями живут они! Прежде чем узнали они об армиях невидимых существ, разбивающих людей пушками, известными под именем холеры, чумы, дифтерита и проч., они образовали свои

армии человеконстребителей и содержали и содержат их с величайшею любовью, аккуратностью и даже восторгом. И эти люди воевали друг с другом, истребляли взаимно друг друга, не зная, что они подражают бессмысленным невидимым тварям, которых порождает земля и человек, и которые истребляют человека в регулярных сражениях, убивают солдат, офицеров, генералов, главнокомандующих тихо и скромно, без порохового дыма и грома орудий, и даже без реляций о победах! Эти невидимые армии и их полководцы и штабы не пишут военной истории своей, не хвалятся мужественными подвигами, предоставляя хронику этих битв нести этим же бессмысленным людям, ненавидящим друг друга, как ненавидят людей чума, холера, дифтерит и т. д.

Боязливое, жалкое существо человек! Отведено ему в мире пространство времени еще меньшее, чем этим армиям чумы, если сравнить невидимое тельце чумного вона с человеческим телом, а он-то, глупец, выдумывает себе столько всевозможных цепей и стеснений, что на поддержание их и выдумку уходит большая часть его краткой жизни. Армии чумы куда лучше. Пронесутся они вихрем, напугают всех до смерти, нагромоздят груды человеческих тел, наедятся, напьются человеческой крови в неодолимом восторге, в братском чувстве и согласии, и умрут сами. Если б они, эти твари, видимые только в микроскоп, писали историю своих битв и побед, историю человечества, какой бы это был интересный исторический труд. сколько безумия, смеха, вражды, отчаяния ярко выступило бы в этой истории вражды между великаном-человеком и микробом.

На этих днях я читал полемику одного либерального публициста с генералом Драгомировым, который славит войну и перечисляет ее блага! А сколько благ принесли эти заразы, эти войны невидимых существ против человека! Они делают землю просторнее, внушают святому человеку чувство жалости к несчастным, к маленьким, почти столь же незаметным, как и микробы, людям, насаждают медицину, гигиену, да мало ли еще что!..

Говорят, сегодня петербургская биржа приняла от чумы касторового масла в таком изобилии, что бумаги, даже банковые, страшно похудели и стали выглядывать такими бледными и жалкими, что потребуется немало времени для поправки их здоровья.

Эх, господа, какое веселье могли бы вы устроить, если б предвидели это паденье и если б решились пропить и прогулять то, что сегодня вы потеряли! Для укрепления не столько бумаг, сколько своих нервов, прочтите «Пир во время чумы» у Пушкина:

Как от проказницы Зимы,
Запремся так же от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы —
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы!

А знаете ли, что чумы-то у нас и не будет вовсе, ибо у нас и без нее чумных достаточно...

28 января (9 февраля), № 7515

CCLXXXV

Дело идет о судах чести. У офицеров есть «суд чести», г. Трубецкой не прочь учредить «суд чести» для профессоров университета, «Союз писателей» учреждает «суд чести» для литераторов. В этом движении к «судам чести», вероятно, есть какой-нибудь смысл. Может быть, это стремление к самоуправлению, к независимости корпорации, к нравственной чистоте ее, а, может быть, и просто стремление к господству какой-нибудь партии. Не разбирая этого вопроса, я скажу о «суде чести» при «Союзе писателей». Главная особенность этого «суда чести» — его зависимость от комитета...

Русская литература пережила трудные времена, выросла, окрепла и стала европейской литературой без суда чести, и, конечно, никакие судьи, ни государственные, ни частные, ровно ничего и никогда не прибавляли и не прибавят к тому, что есть и что будет, но убавить — убавляли и могут убавить и в будущем. Прибавлять к начальнику по делам печати еще начальников по делам союзной печати едва ли настояла надобность. Едва ли настояла надобность к цензуре правительственной прибавлять еще цензуру домашнюю, цензуру сплетен, партийной вражды, партийных преследований, цензуру комитета du salut public или du salut littéraire, который, обладая материальными средствами и распределяя помощь писателям, имеет всегда возможность обзавестись влиянием и угодливыми прислужниками, даже не особенно об этом беспокоясь. Эта челядь заводится сама собою, как клопы. Профессор Сергеевич совершенно справедливо думает, что «деятельность цензоров-добровольцев менее удобна деятельности правительственных цензоров». Не успев еще засвидетельствовать о своем беспристрастии в деле «Союза», не успев заслужить еще благодарности современников, не говоря о потомстве, члены комитета, как это видно из письма г. Сергеевича и свидетельства присутствовавших на годовом собрании Литературного фонда, выказали свою нетерпимость к мнению независимому, но вполне логично и умно и вполне вежливо мотивированному. Не только подчеркивается параграф «суда чести», где, под угрозою суда и позора исключения из Союза, воспрещается «противодействовать целям Союза», но самое сомнение в достижении всех целей Союза открыто и резко порицается. Такая энергия пахнет деспотизмом партии, стамбуловщиной, и едва ли заключает в себе условия для роста союзных чувств литературы. Такая энергия может повести к тому, что единый Союз обратится в несколько союзов более однородных и более независимых, где писатели могли бы помогать друг другу, а не тащить друг друга в суд. Желания объять необъятное в русской интеллигенции всегда было вволю, но добра от этого было мало. Во Франции союзов писателей несколько, и ни в одном из них нет «суда чести», как нет его в Англии.

Французские союзы печати заботятся о профессиональных интересах, о поддержке своих членов материальной и нравственной, о защите их перед компетентными судами и проч. Но нигде нет той власти судить и рядить, вчинять дела против союзников, преследовать их, призывать их перед свои очи и навязывать им свои мнения и т. д. Вероятно, русская литература или русские писатели такие уж-несчастные, что опека ждет их со всех сторон, или, может быть, это происходит от того, что всегда находится кучка самоизбранников, которые ставят себя превыше облаков ходячих и желают вследствие того наложить свою длань на

остальных и поучать их. Если они говорят против цензуры, то потому только, что она не в их руках...

Говорят, «суд чести» может помочь разобраться в таких делах, как контрафакция, плагиат, столкновения сотрудников с издателями и т. п. Но до сего времени во всех этих делах прекрасно исполнял свою роль третейский суд, имеющий еще то преимущество, что его приговоры так же действительны, как приговоры судов государственных. Третейскому судье, которого я выбираю, я не только доверяю, но могу открыть ему всю мою душу, в полной уверенности, что это останется его тайной и в виде сплетни не сделается общественным достоянием, как это будет в «суде чести». Он — мой адвокат и мой судья в то же время, т. е. тот «лучший судья», с которым только и можно мириться на этом свете. Я могу поручить свое дело даже моему литературному и политическому врагу, в полной уверенности, что он будет беспристрастен во имя высокого своего звания. Между судьями профессионалами большая редкость такие судьи, которые отвечали бы всем требованиям не только беспристрастия, но и справедливости, так сказать, душевной, основанной на законах психологии и социологии. «Судья чести», как бы он ни был честен, все-таки судья профессиональный, попавший в это звание случайным, иногда подтасованным большинством голосов. И в этом сходятся все, с кем я имел случай говорить. И понятно. Писатель дорожит своею маленькою свободой, своей узкою областью, где он может говорить не стесняясь, дорожит своею независимостью, своим юмором, своею страстью к полемике, может быть, и переходящею пределы, своею склонностью к памфлету. А тут, кроме соблюдения цензурного устава, соблюдай еще устав союзный, да еще причуды комитета, каждый член которого получает оружие в свои руки для преследования неугодных ему, да терпи гнет большинства, в котором всегда будут элементы партийной черни. Согласитесь, что это чересчур много. Не говорю уже о том, что семь нянек, как и семь судей, плохие воспитатели...

Офицерские «суды чести» имеют против себя много справедливых нареканий. Это — необходимое зло, как говорят люди беспристрастные, необходимое зло, во имя самой исключительности военного сословия. Литературный суд чести, да еще с правом комитета возбуждать дела, есть зло совершенно ненужное никому, кроме партии, находящейся у власти. Уже право подсудимого отводить двух из своих судей указывает на возможное пристрастие и партийность этого суда. И при этом праве вы все-таки не знаете, с какой добросовестностью и знанием дела и беспристрастием отнесутся к вам остальные. Я отвожу двух судей мне антипатичных, вы двух отводите, может быть, мне симпатичных, и остаются трое, может быть, никуда негодных, которые смело берут на себя разбирать дело сложное и ответственное. Если бы я прожил еще сто лет, я не обратился бы к этому суду и не пошел бы в него, если б он меня потребовал к себе.

В судах государственных несменяемость есть хорошая поправка к личности судьи, к нарастанию его знаний, опыта и проч., не говоря о независимости. В «суд чести» выборы на один год. Один год не даст ни знания, ни опыта, ни независимости и не избавит судью, навязанного хотя бы меньшинству, от заслуженных или незаслуженных нареканий. Партии будут стремиться выбирать своих, комитет обязан уставом рекомендовать своих официальных кандидатов, что в практике стран конституционных признается насилием и злом. Самое положение судьи чести далеко не представляет собою того почета, которым пользуется третей-

ский судья по праву свободно выбранного и независимого. Судья чести — судья навязанный, и осужденный всегда истолкует его приговор посторонними соображениями, пристрастием, влиянием комитета и его прокурорскими поползновениями. Можно предсказать с точностью, что чем больше будет дел у суда чести и чем более будут печатать свои приговоры эти судьи чести, тем более их будут высмеивать и поругивать, и сделают притчей во языцех...

Суд чести будет непременно пристрастен, ибо литератор — существо проникнутое направлением, оно проявляется во всякой мелочи и скажется тем скорее в вопросах важных. Либерал дышит консерватора, консерватор — либерала, и оба будут считать себя правыми, и убедить их, что они действуют пристрастно — нет никакой возможности. Всякий искренний литератор должен признать это и видеть все последствия такого суда.

7 (19) февраля, № 7525

CCLXXXVI

Войны, кажется, никто не желает. Будет ли война, никто не знает. Да и с кем война? Я не вижу врагов, с которыми мы могли бы воевать. С соседями мы — друзья, с французами — союзники, с англичанами — джентльмены. Где же наши противники, с которыми мы могли бы, говоря высоким слогом, обнажить меч? Я их не вижу, даже не подозреваю. Неужели это опять турки? Вероятно, так, ибо вам известно, что все эти разговоры о войне, о том, что наше время чреватое, готовое родить двойни, в виде чумы и войны, порождены Турцией, ее теперешним состоянием. «Больной человек», кажется, собирается умирать самым торжественным образом, в виду всего мира, и, понятно, что для торжественных похорон требуется торжественный концерт всей Европы. В прежнее время о «больном человеке» думали, что он поправится, что он воспрянет еще, произведет реформы, даст своим подданным все исправляющую конституцию, на которой ислам и христианство помирятся. Но и турецкий парламент пробовали открывать, — ничто не помогло. Турция умирает. Пророк оставил ее. Он видит, что борьба ему с Христом становится не по силам. Кто же обессилил Турцию, кто доконал ее? Да все Россия. Она вообразила, что Турция — ее враг, что православие должно победить ислам и русские — турок, и так работала в этом направлении почти непрерывно более ста лет, что в Европе осталась только тень Турции, около пяти миллионов жителей, из них около двух с половиной миллионов мусульман. Эти два с половиною миллиона, во главе с султаном, и являются среди христианской Европы чем-то совершенно посторонним и тревожным.

Когда Турция была сильна и мы бросались с нею в бой, нашу отвагу по временам умеряла Европа; когда она признана, наконец, всеми слабою, мы вдруг почувствовали к ней какую-то жалость и стоим над умирающею и как будто не знаем, что делать...

В 1829 году, 8 апреля, мы заняли Адрианополь; через девять дней заключили перемирие, а 2 сентября — мир. В 1878 году, 8 января, мы заняли Адрианополь и стали двигаться далее, к Константинополю, а 19 января заключили перемирие, затем — Сан-Стефанский мир, который Европа переделала в Берлине. Если бы мы заняли Константинополь в 1829 г., то не было бы ни Крымской войны, ни войны 1877—78 гг. Если бы мы заняли его в 1878 г., то не было бы того напря-

женного положения, в котором Европа стоит теперь. Я просмотрел январские нумера «Нового Времени» за 1878 г., когда русские подходили к Адрианополю. 9 января (о том, что генерал Струков занял Адрианополь 8 января, было напечатано только 12 января) в «Новом Времени» было напечатано:

«Русские орлы чувствуют потребность отдохнуть в Царьграде, русское чувство подсказывает, что остановись мы теперь, назначь мы себе пределом только Адрианополь, который мы когда-то занимали, мы остановимся на полдороге и оставим будущему поколению наследство в том же восточном вопросе».

11 января мы писали: *«Русские войска вступают в Константинополь. Это признается существенно необходимым в виде гарантии мира.*

Вот с какой статьи мы начали бы условия перемирия, если бы они зависели от журналистов».

Все это хорошо и верно было сказано. Я только напоминаю прошлое, не предаваясь никаким сожалениям, всегда очень бесполезным. Не заняли мы Константинополя, и вот настоящее поколение снова стоит в раздумье перед этим *европейским* городом, и многие из нас спрашивают себя: идти ли вместе с Европой, в ее концерте, или попробовать что-нибудь самостоятельное? Конечно, всего лучше было бы идти в концерте... если бы мы им управляли и он нас слушался, вспоминая русские заслуги в деле освобождения христианских народов от владычества ислама. На это доверие к нам мы имели бы все права, и мне думается, что мы могли бы отложить смерть «больного» человека на много лет, в интересах мира, который всем дорог. Но ведь каждую минуту можно ждать, что концерт расстроится, и расстроится не столько сам по себе, по взаимному недоверию держав, по ревности их друг к другу, а расстроится потому, что маленькие государства выступят против Турции, и если ее не доконают, то могут доконать европейский концерт... Этого, по моему мнению, всего больше следует бояться.

Греция уже начала. Она, конечно, не может забыть, что Европа всегда относилась к ней сочувственно, что она и в 1881 году получила от Турции прирезку 13 370 кв. км с 300 000 жителей, и в 1885 году исправляли ее границы не без пользы для нее. Да и теперь Крит, конечно, не возвратится более в лоно Турецкой империи, и автономия его окончится присоединением к Греции. И в ожидании этого она и не думает униматься, несмотря на грозные барабаны концерта. И не думает, вероятно, потому, что в европейском концерте существует уже несогласие, хотя и тщательно скрываемое. За Грецией последуют наверно Болгария и Сербия...

Князь болгарский и король сербский ведут теперь между собою разговоры на эту тему. В речах обоих правителей слышится воинственная речь, хотя еще и очень тщательно закрытая. Восторженная встреча двух народов объясняется просто — одинаковым желанием ближайших наследников Турции, которые, конечно, желают «заслужить» это наследство и представить свои «заслуги» к учету перед концертом Европы. Конечно, и Россия и Европа могут остановить пыл Болгарии и Сербии, как они стараются остановить пыл Греции. Но надолго ли? Вот вопрос. Когда народы поднимаются, мы знаем, как бессилен в этом случае европейский концерт...

В одной драме Кукольника кто-то пророчит так:

Я в будущность, как в грамоту, смотрю.
Святая Русь! Обыкновенный разум
Судьбы твоей вместить не может.

«Обыкновенный разум» — конечно. Но ведь дипломаты думают, что у них «необыкновенный разум», и все-таки они не могут похвалиться, как герой Кукольника, что в «будущность смотрят, как в грамоту». Увы, если будущность — грамота, то на таком языке, который читается, как очень трудный шифр, ключ от которого у Господа Бога...

А все-таки надо читать его и угадывать тайны будущего, не прибегая к оружию...

24 февраля (8 марта), № 7541

CCLXXXVII

Мне думается, что самое святое право каждого человека, это — право на работу. Оно самое святое, потому что жизнь без работы невозможна для огромного большинства людей. Не иметь работы — значит не иметь куска хлеба, значит, если не умереть с голоду, то унижаться, занимать под залог последних вещей, нищенствовать, одним словом, проделывать все то унизительное для работника, к чему принуждает его отсутствие работы.

Я говорю об актерах, которые в Великом посту лишаются права на работу. Имеющие завидную долю служить на сценах императорских театров не испытывают ни малейшего лишения в Великом посту. Напротив, они наслаждаются отдыхом, получая сполна свое содержание. Спокойно они могут говеть, исполнять христианские свои обязанности, не беспокоясь о том, что им самим и детям их нечего есть; или могут читать, изучать свое искусство дома, или играть в карты благодушно, или просто лежать на боку весь Великий пост. Мало того, они могут поехать в Царство Польское, в Варшаву особенно, и там могут играть и зарабатывать деньги. На Царство Польское не распространяется запрещение играть пьесы по-русски.

Конечно, не возбранено и другим актерам ехать в Царство Польское, но, во-первых, много там не надо, а, во-вторых, служащим на императорских театрах и тут делается предпочтение. Я уже не говорю о том, что нет того министра, того государственного человека, того фельдмаршала, того ученого, того профессора, того офицера, того учителя, того чиновника, который бы имел такие изумительные привилегии, как актер императорских трупп. Это — *самый привилегированный работник* в Российской империи, и нет ему нигде равного по привилегиям ни в государственной, ни в частной службе. Это, в полном смысле слова, *единственный барин,* оставшийся после уничтожения крепостного права. Он работает не более семи месяцев в году, получая жалованье за двенадцать месяцев и полную пенсию за двадцать лет. Начинает он работу с 1 сентября и кончает ее масленицей. Затем снова работает на Святой и с 1 мая свободен до 1 сентября.

Таким образом, каникулы актера императорского театра продолжаются более пяти месяцев.

Согласитесь, что это действительно единственный барин на Руси и, как барин, имеющий возможность ничего не делать в течение пяти с лишком месяцев, он так изленился, что стал очень тихо идти вперед с тех пор, как получил такую удивительную привилегию...

Представьте себе против этого барина — актера провинциального, актера частных столичных театров. Он обязан работать круглый год, без передышки, и если

имеет каникулы, то каникулы... голодные, когда он лишен права работать. Никто этого права не лишен, кроме актера, как никто не имеет столькихъ привилегій, как тот же актер, но имеющій редкое счастье попасть на императорские сцены.

И я смею думать, что в вопросе запрещения театральных представлений в Великом посту очень важный экономический вопрос — это лишение права на работу, эти голодные каникулы. Уж если наше спасение зависит от несуществования театральных представлений в Великом посту, то мы должны были бы обеспечить театральных работников на время этих голодных каникул, когда им запрещено работать. Но это потребовало бы много денег, ибо актеров — если не целая армия, то целые полки. И эти полки хотят есть — ведь это никому не запрещается даже в Великом посту, и хотят работать по той специальности, которая признается государством не только вполне законною, но даже как бы привилегированною относительно служащих в казенных театрах...

Понятно, что из этого положения имеется выход.

Удрученное состояние актерского персонажа признается в провинции столь кричащим, что многие губернаторы берут на себя, вопреки закону, позволение театральных представлений и в Великом посту. На афишах только не говорится, что будет представлена такая-то пьеса, а говорится, что будут «прочитаны» сцены из такой-то пьесы. На самом деле пьеса играется как следует, в костюмах, и публика очень хорошо знает, что это великопостная комедия, в обход закона, и охотно посещает эти мнимые «чтения».

Мне думается, что было бы лучше совсем дозволить представления, чем прибегать к таким фокусам, к сожалению, необходимым ввиду голодающей актерской братии. У начальника губернии одно средство помочь несчастным — дозволить недозволенное, и он дозволяет, и Господь, конечно, простит ему, ибо велено «голодных накормить»..

В Петербурге практикуется нечто подобное. Так сегодня я читаю в афишах якобы о концерте «на всякій вкус», где участвуют такие лица:

«лучшая исполнительница цыганских песен и романсов»;

«известная опереточная артистка, создательница многих новинок цыганского жанра»;

«первый и единственный неподражаемый исполнитель цыганских романсов»;

«первая певица всех цыганских хоров столицы»;

«французская певица — disense»;

«красавица-цыганка, солистка цыганских хоров»;

«королева имитаций»;

«известный цыганский тенор-самородок, прозванный цыганским Рубани».

И т. д. и т. д.

Не правда ли, какое великопостное впечатление дает эта афиша, напечатанная в типографии императорских театров! И все эти «создательницы новинок», «неподражаемые исполнители», «королевы имитаций», тенора-самородки, «единственные в своем жанре» будут петь «лучшие куплеты и песенки» из пьесы: «Новое обозрение Петербурга 1896—97 гг.». Засим будут «песни древних цыган». Вероятно, эти «древние песни» — нечто вроде священных песен Веды, и потому великопостное и умилительное...

Неужели все это, лукавое и обходное, лучше прямого и открытого дозволения театральных представлений, хотя бы *с известными исключениями из репертуа-*

ра, в пользу серьезных пьес? Пусть Великий пост сохраняет свой религиозно-нравственный характер, согласно с народным воззрением, но пусть не будет этого лукавства и этих обходов. Все только выиграют от этого. Выиграет честность, прямота, нравственность. Быть может, великопостный репертуар принял бы нравственный, неутешительный оттенок, может быть, явились бы специальные пьесы для Великого поста. А то ведь кафе-шантаны открыты, кабаки открыты, «создательницы многих новинок» в опереточном жанре действуют открыто, «королевы имитаций» королевствуют, «древние песни цыган» цыганствуют и закрыто только то, что среди развлечений составляет лучшую и безвреднейшую их часть — драматические и оперные представления.

27 февраля (11 марта), № 7544

CCLXXXVIII

Я прочел в прошлую среду в «Новом Времени» заметку г. Апокрифа о книге Вл. Соловьева «Оправдание добра» и совершенно не согласен с приговором молодого критика, который посылает г. Соловьеву упрек в иезуитизме. Вл. С. Соловьев — последователь св. Игнатия Лойолы?! Вам известно, что основатель ордена иезуитов причислен к лику святых католической церкви, а бог позитивистов, Огюст Конт, ставит Игнатия Лойолу выше Христа. Вл. С. Соловьев замечает по этому поводу, что «эта оценка, как и другие подобные мнения и соответственные поступки основателя позитивной философии заставляют всех беспристрастных критиков принять, что этот мыслитель, переживший в молодости двухлетнюю мозговую болезнь, снова подвергся умственному расстройству при конце жизни» («Оправдание добра», с. 246).

Я не могу забыть, как больше двух десятков лет тому назад, я впервые познакомился с Вл. С. Соловьевым. Это был смуглый молодой человек, с черными усами, с выразительным взором, с мистической речью на устах. Он занимался богословием и читал лекции по этому предмету. Это было в то время, когда от богословия мы были на тысячу верст, если не больше. И мне он чрезвычайно понравился этою смелостью, для которой всегда надо талант. И постоянно, в течение всей своей литературной карьеры, он был талантливым и искренним человеком, писал ли он публицистические, богословские и философские статьи и книги, или серьезные и юмористические стихи. Юмористических стихов он, кажется, стыдился немного, хотя юмор у нас, русских, почти всегдашняя принадлежность таланта. Мне даже думается, что наша сила именно в юморе, и не только сила, но даже спасение. Юмор помогает нам переносить все невзгоды нашего климата, нашей истории, нашего тяжелого развития. Все земное — прах, и жизнь — копейка. Юмор, может быть, мешает нам быть последовательными и серьезными, мешает быть философами, но без него даже зиму нашу перенести было бы трудно. Он так нам присущ, что даже такие грозные владыки, как Иван Грозный и Петр Великий, отличались, между прочим, и юмором. И для философа юмор — хорошая вещь — сколько его, например, у Шопенгауэра! И я жалею, что его мало в нашей философии...

Я не могу сказать, что прочитал, как следует, книгу «Оправдание добра», но я внимательно ее перелистовал. Оправдывать добро довольно странно, но у книги

есть подзаглавие — «нравственная философия», и посвящена она отцу автора, историку С. М. Соловьеву, и деду его, священнику, «с чувством живой признательности и вечной связи». И мне думается, что эта «вечная связь» с отцом и дедом действительно существует в природе Вл. С. Соловьева. Он — истинный христианин. Для него Христос — Богочеловек, с которым ни одна из благороднейших личностей всемирной истории не может идти в сравнение. Он — христианский мыслитель, верующий в царство Божие и в стремление человека к богочеловечеству. Он — историк, потому что признает человечество в его «историческом» развитии и кладет исторические грани даже для своей мысли. Он — задушевный поэт, и если скептицизм присущ ему, то он поглощается его благодушным юмором...

«Оправдание добра» — скорее юмористическое заглавие, чем серьезное. Но разве не надо добро оправдывать? По-моему, и очень надо, потому что доброе, если дать ему свободный ход и если оно войдет в плоть и кровь каждого человека, наделает в мире столько переворотов, сколько не под силу было сделать злу. Да разве добру что-нибудь мешает? По-моему, — да, и мне кажется, что надо бы проповедовать заповедь непротивления добру, а не злу. В своей книге Вл. С. Соловьев разбирает смысл жизни, жалость, альтруизм, религиозное чувство, добродетель, личность и общество, национализм, смысл войны и т. д. Все вопросы очень важные. Я не скажу, что его анализ, его логика — нечто такое, что подчиняет вас себе безусловно; нет, но она заставляет думать, вызывает на спор, сообщает множество сведений и полезных, и поучительных. Иногда он, как мне кажется, ставит положения свои так, чтоб легче их защищать или опровергать. Укажу на один пример. Националистическое учение он характеризует так: «мы должны любить свой народ и служить его благу всеми средствами, а к прочим народам имеем право быть *равнодушными,* в случае же столкновения их национальных интересов с нашими, мы обязаны относиться к этим чужим народам *враждебно*». Два мною подчеркнутые слова, конечно, умышленные преувеличения, ибо вместо «равнодушия» национализм ставит «внимание», вместо «вражды» — договоры. Но далее я нахожу у него признание важности национализма в следующих словах: «национальности должны существовать и развиваться в своих особенностях, как живые органы человечества, без которых его единство было бы пустым и мертвенным, и этот мертвый мир был бы хуже войны». Указание на предпочтение своей народности всем другим Вл. С. Соловьев находит и в Евангелии, в словах Христа к самарянке: «спасение от иудеев» (Иоан. 4, 22), и в предварительном наставлении ученикам: «идите прежде к овцам потерянным дома Израилева». Я указываю на эти замечания в пользу национализма с тем большим удовольствием, что у нас начинается довольно лукавая и легкомысленная пропаганда против национализма, точно Россия представляет собою нацию уже вполне сложившуюся и определившуюся в своей самостоятельности. Сначала — Россия для русских, чтоб не разбрасываться, не разбиваться, а потом, когда она вырастет во всю силу своего национального духа, — Россия для всего мира. Вот как мне думается и как я понимаю национализм, которому «Новое Время» всегда служило усердно.

Иногда мне кажется, что Соловьев высказывается не весь, что что-то остается в нем такое, что в книгу не попало, или попало не совсем в таком виде, в каком требовали его голова и сердце. От этого иногда — многословие, некоторая туманность, неопределенность...

Для патриотизма у нашего философа три разряда: *неразумный, пустой* и *настоящий*, или *истинный*, патриотизм. Не много ли это? Какой патриотизм в настоящее время владеет Грецией — неразумный, пустой или истинный? Не бывает ли так, что патриотизм, признаваемый в данное время неразумным, признается потом историей истинным? Это вопрос очень сложный и провести надлежащие грани между разрядами патриотизма очень мудрено. Не потому ли Л. Н. Толстой считает всякий патриотизм прямо вредным, даже патриотизм польский, направленный к сохранению и отстаиванию польской народности. В самом деле, либо признавать патриотизм, либо отрицать его, а эти разряды только путаницу производят в понятиях. Впрочем, в конце концов, и Соловьев его отрицает, ибо говорит, что «патриотизм утверждается заповедью — любить все народности, как свою собственную». Когда это случится, то, конечно, ни о каком патриотизме не будет речи. Но до этого так же далеко, как до царства Божия на земле.

Идеал государства, по словам Вл. С. Соловьева, таков: «христианское государство, достойное этого имени, есть то, которое в пределах своих средств действует в духе Христа, жалевшего голодных и больных, учившего темных, принудительно обуздывавшего злоупотребления (изгнание торжников), но милостивого к самарянам и язычникам и запретившего своим ученикам прибегать к насилию против неверующих».

Мне нравятся очень многие страницы «Оправдания добра», а что не нравится, то, вероятно, нечто уж совсем философское.

Еще одно замечание по поводу следующих слов книги:

«Как первая половина истории до Христа подготовляла среду или внешние условия для Его личного рождения, так вторая половина подготовляет внешние условия для Его универсального откровения или явления Царства Божия»...

Мне думается, что евреи этому мешают и помешают, но блажен тот, кто верит вместе с Вл. С. Соловьевым, далеким от политики, от биржи, от займов, от вражды, от всей этой призрачной жизни, которая ничего не стоит, уж если говорить серьезно.

1 (13) марта, № 7546

CCLXXXIX

Если существует европейский концерт, то в концерте есть программа, а в программе — пьесы. В обыкновенном концерте программа предварительно обсуждается, с целью привлечь слушателей, удовлетворить знатоков, представить выдающиеся произведения композиторов. Затем следует исполнение. Исполнители могут быть такие, что прекрасно сыграют разные пьесы, входящие в концерт, и могут быть такие, что сыграют или пропоют их плохо. Таким образом, музыкальный концерт зависит от программы и от исполнителей.

Европейский концерт определенной программы иметь не может. Он может иметь только определенную идею, или определенную цель. Пьесы его могут постоянно меняться, смотря по обстоятельствам, а обстоятельства могут потребовать разных инструментов: то нежных, как скрипка и виолончель, то грозных, как барабан, трубы и т. д. Затем исполнители должны быть еще совершеннее, чем исполнители обыкновенного концерта, ибо у последних, если исполнение

выйдет и неудовлетворительно, то, по крайней мере, пьеса хороша, а у первых и пьеса может быть неудачно выбранной, и исполнение может быть неудачное. Кроме того, исполнители очень далеко друг от друга стоят и всегда имеют возможность сказать, в случае фальшивого исполнения, что они не слышали, недослышали. Да и неизвестно, где находится капельмейстер и как велик его авторитет? В английской иллюстрации я вижу портрет Сольсбери и под ним подпись: «руководитель (leader) европейского концерта». Я не думаю, чтоб этот капельмейстер не таил в своей душе, в своих музыкальных намерениях какого-нибудь эффекта, который не пошел бы в разрез со всем оркестром.

Недели три тому назад я говорил, что король сербский и князь болгарский виделись между собою для того, чтоб условиться на счет совместных действий в этом турецком кризисе. На днях наш софийский корреспондент подтвердил это предположение, сказав, что между ними заключен союз. Греция не думает униматься и идет застрельщиком, несмотря на все усилия концерта испугать ее своей музыкой. Может быть, следовало бы не столько напугать ее звуком барабанов и труб, сколько разнежить, подействовать на ее сердце успокоительною и обнадеживающею мелодией — скрипками, виолончелью, флейтой, кларнетом? Может быть, пьеса выбрана концертом не совсем удачно? Как бы то ни было, маленький народ продолжает волноваться, не слушается, грубит, и печать его разжигает его патриотизм и рисует ему победы и величие. И вчерашний бой, конечно, воодушевит этот народ еще больше. А за ним это воодушевление передается болгарам, сербам, черногорцам. Болгарские газеты полны ненависти к Турции, разжигают ее и для султана не щадят самых резких слов...

Вы видите, что эти маленькие народы готовы, и как убедить их во имя человечества, во имя блага мира, когда для них дело идет о свободе, о национальном развитии и когда для них европейский концерт является каким-то насилием? Кто может их убедить, что Турция еще сильна, что она еще военная держава и что с ней не совладать этим маленьким государствам?

За ними история и за них история. Турция явилась в христианскую Европу всего несколько сот лет тому назад и отодвинула жестким насилием балканские государства вместе с полуостровом Грецией и Архипелагом далеко назад. Первые, кто вздохнули свободно, благодаря России и Европе, были греки, и они первые бросаются в бой теперь. Что они теряют? Да ровно ничего, кроме жизни храбрых и некоторого расстройства и без того расстроенных финансов. Ведь не могут же они думать, что европейский концерт имеет в виду усилить и сохранить Турцию. Ведь если б концерт ограничился одним наблюдением за этой войною маленьких государств с Турцией и если б Турция действительно их победила снова, разбила в сражениях и привела на край гибели, то ведь и тогда не только не возобновились бы времена Магомета II, который взял Константинополь, но и времена Парижского мира. Ведь этот самый концерт остановил бы турок и принудил бы их ограничиться одною военной славой, которая, однако, потрясла бы Турцию еще больше, т. е. еще больше бы ее обессилила...

В принципе европейский концерт отвергает владычество Турции не только в Европе, но в значительной степени и в Турции, требуя каких-то реформ, которых турки дать не могут. Где им взять силы для этих реформ, кто эти реформы будет вводить в жизнь? Блокадой, что ли, вводить их, сухопутными войсками? По моему мнению, иных средств нет для этих реформ и самих реформ быть не может до тех пор, пока Турция останется мусульманскою страною. Пусть христианская

церковь потеряла свою силу, пусть уменьшается число искренно верующих во Христа, но христианская цивилизация существует и верующий во Христа и не верующий одинаково осуждают Турцию, как государство, отжившее свой век, как государство, овладевшее силою оружия христианским населением и не умевшее вести его ко благам жизни, проповедуемых христианской культурой, более человечной, чем культура мусульманская.

Есть положения в жизни народов, которые твердо начертаны историей и инстинктивно познаются населением. И никто и ничто эти положения не ниспровергнет. Европейский концерт понятен, цели его, предполагая их искренность, прекрасны, ибо это цели мира и спокойствия четырехсот миллионов европейцев, но понятны также и все эти надежды, все эти тревоги, весь этот воинственный пыл маленьких народов, число которых едва простирается только до нескольких миллионов. Большие люди начали разрушение Турции. Огромный человек, Россия, привела ее к тому положению, в котором она находится. Этот огромный человек давно бы ее разрушил и освободил бы от нее Европу, если б эта последняя постоянно не препятствовала тому и даже не восставала на Россию с оружием в руках. Севастополь — тому яркий свидетель. Если тогда Россия не совладала с Европой и должна была подписать мир, неприятный для себя, все-таки она снова поднялась и Турция осталась обрезанною со всех сторон. Но Грецию, если б она и не выдержала борьбы, никто обрезывать не станет, и она знает это очень хорошо. Эта комедия для нее — кровавая комедия, но все-таки и трагедия, грозящая смертью. Кровавая трагедия сулит ей жизнь, сулит увеличение ее территории, сулит возрождение, а фантазия греков простирается до Константинополя, сталкиваясь тут с фантазией болгарина. Наша фантазия, кстати, уходит на Дальний Восток...

Как бы ни думать, чего бы ни желать, в европейском концерте слышится похоронный марш Турции. Правительства великих держав едва ли сомневаются насчет такого характера своей программы, но они думают, что похоронный марш — все-таки только, так сказать, музыка великих наций, а не битва их и кровь, которой слишком достаточно пролито и против Турции, и за Турцию...

У нас говорят: России не следовало вступать в концерт. Ей надо было держаться политики невмешательства, принесшей такие прекрасные плоды мира Европе в прошлое царствование. Но в настоящее время мудрено было не пристать к концерту, ибо, оставаясь вне его, России пришлось бы или стать открыто на сторону Турции, что противоречило бы всей нашей политике, или взять сторону Греции и балканских государств. Держать одной равновесие в такие критические минуты — задача рискованная. Но если мудрено было России не вступать в концерт, ей легко выйти из концерта в каждый данный момент, когда обстоятельства это укажут... Момента этого не следует упускать из виду, опять-таки в интересах мира и наших собственных интересов на Востоке, которые связаны с миром...

16 (28) марта, № 7561

ССХС

Нынешняя весна, у нас столь прекрасная, полна была событиями, начиная греко-турецкой войной, потом подобием тем ауто-да-фе, которые устраивала блаженной памяти инквизиция, ауто-да-фе страшным, устроенным случаем в

Париже, и, кончая кражею великолепного бриллианта у индийского владетеля, который хотел поднести его королеве Виктории. События, конечно, не равной важности, но турки вошли в почет. Кто этого ожидал? Больной человек так давно дышал на ладан, что маленькая Греция решилась его прикончить; Европа испугалась, что такой маленький народ расправится с такой большой Турцией, и старалась всеми силами остановить пыл греков. Но, увы, ее усилия были напрасны: у греков, кроме пресловутого Вассоса, явился свой Скобелев и своя Иоанна д'Арк, оба фальшивые, а Иоанна д'Арк даже с фальшивыми зубами. Турки победили. Государь вмешался в эту распрю и остановил победоносное шествие турок, которые могли бы дойти до Афин. Прекрасное вмешательство, оцененное всем миром. Такие победы возвращают народы к миру, к нормальному порядку вещей.

Турция свое взяла — она вошла в почет, заговорили о турецком войске, о турецких генералах. Русские всегда знали по опыту, что турецкая армия — храбрая армия, что победы наши над нею стоили нам больших усилий и жертв. Целый век борьбы с Турцией закалил нашу армию, дав ей и уверенность в победе, и уважение к храбрости врага. В турецкой армии сохранилась, может быть, еще большая часть той жизненности, той силы, которые обнаружила Турция в былые времена своих побед над христианами. Это обстоятельство, может быть, дало русской политике мотивы и основы для того, чтобы щадить Турцию и при случае заступиться за нее, для мира Европы, или остановить ее, с тою же целью.

Вчера, просматривая французскую «Иллюстрацию» («L'Illustration»), я нашел портреты шести турецких генералов с текстом, в котором сообщается, что победители не турки, а немцы. Сейфулла-паша, начальник генерального штаба, и Эдхем-паша — это турки, а Камифенер-паша, Гольц-паша, Грумбкоф-паша и Брокдорф-паша — все это немцы. Гольц-паша, или барон фон Гольц, один из образованнейших турецких офицеров и военный писатель, преобразовал армию и возвратился в Германию. Султан предложил ему снова, в прошлом марте месяце, начальство над одной из двух своих армий; но он предъявил султану такие условия, что тот мог подумать: «Эге, да этот немец хочет диктатуры и, пожалуй, победив греков, телеграфирует в Берлин: «Афины и Константинополь у ног вашего величества...»

Участвовал ли барон фон Гольц в распоряжениях военных, остается недоказанным, но Грумбкоф-паша командовал артиллерией до взятия Ларисы, а Брокдорф-паша был инструктором кавалерии. «Итак, победители при Седане были победителями и над греками!» — восклицает французский журнал. Я не совсем понимаю чувства, которыми руководился французский журнал, обобщая результат этого участия немецких офицеров в теперешней войне. Хотел ли он сказать, что немцы непобедимы, где бы они ни явились? В таком случае это плохо рекомендовало бы французское патриотическое чувство, хотя и выраженное штатскими журналистами. Мы, русские, этого бы не сказали, при всем нашем уважении к немецкой армии и ее начальству, ибо, повторяю, мы очень хорошо знаем турецкую армию, ее сильные стороны, ее выносливость всяких невзгод и ее храбрость. Петр Великий мог поднять заздравную чашу за учителей своих — шведов, после полтавской победы. Но турецкая армия до немцев-инструкторов умела противостоять русской армии, которую нельзя и сравнивать с армией греческой. У русских военных людей не было сомнения, сколько мне приходилось

слышать, насчет исхода войны. Удивлялись смелости и заносчивости греков, но не сомневались в окончательной победе турок.

Как бы то ни было, эта странная война кончилась. Такой войны еще никогда не бывало. Несмотря на кровь и жертвы, в ней было что-то ребяческое и наивное. Русское общество смотрело на эти события именно как на нечто странное, курьезное и своего сочувствия никому не давало, ни туркам, ни грекам. Если события войны и интересовали его, но так, как интересует какой-нибудь курьезный процесс, в котором никому не сочувствуешь, но все-таки любопытно, как он кончится. Шутили, острили над итальянскими волонтерами, передавали анекдоты, выискивали все то, что выдавалось своей странностью, своей курьезностью, и замечали, что в известиях об этой войне всего чаще встречалось слово «паника». Появлялась турецкая кавалерия в тылу греков — паника, появлялись греки неожиданно — паника у турок. Храбро сражаются и в панике отступают, выказывают чудеса героизма — и паника. Перечитайте телеграммы и вы увидите, что паника господствует. Возможно, что это слово еще появится опять, если какой-нибудь стороне захочется нарушить перемирие и напасть врасплох на противника...

14 (26) мая, № 7618

CCXCI

Важность материи как бы налагает на нас обязанность говорить о ней соответственным языком. Таков дворянский вопрос, не только очень сложный вопрос, но и очень деликатный. Занимаясь им, «Московские Ведомости», мне кажется, говорят совсем не дворянским стилем. Дворянский стиль должен быть благородным стилем, стилем по преимуществу хорошей литературы, которую создали таланты дворянского происхождения. Этот стиль, конечно, не исключает ни негодования, ни насмешки, но негодование должно быть воодушевленным, а насмешка проникнута юмором. Дворянский стиль должен вращаться — и это важнее всего — в области свободы обсуждения и если не полного уважения к чужому мнению, то, по крайней мере, терпимости к нему. Ничего этого нельзя найти в стиле «Московских Ведомостей». Этот стиль — стиль нетерпимости и даже как бы тот стиль, которому присвоено название полицейского. Но и хорошая полиция имеет право не принимать на свой счет этого названия, ибо хорошая полиция больше действует, чем подозревает и оскорбляет...

Кроме того, полемизируя с противником, необходимо опровергать доводы доводами, необходимо цитировать его добросовестно, а не выдергивать, по произволу, отдельные слова и нагромождать их в такую кучу, чтобы читатель ничего разобрать не мог, а публицист мог бы сказать, как сказали «Московские Ведомости»: «нужна большая смелость рекомендовать конституционные вожделения и организацию, ведущую в своем развитии к демократической нивелировке, — как меру к поднятию местного дворянства». Эти конституционные вожделения почтенные публицисты нашли у нас в статье, где говорилось о преобразовании губернского правления. Надо ли полемизировать такими приемами и можно ли искренно высказывать свои мысли, когда ваши доводы не опровергают, даже не передают добросовестно, а наклеивают на них ярлык неблагонамеренности? В

этом случае остается одно, — игнорировать такого противника и продолжать свое дело, ибо несомненно, что дворянство вовсе не желает ни сесть кому-нибудь на голову, ни говорить этим подозрительным языком.

Я сказал, что дворянский вопрос — деликатный и сложный. Дворянство живет не только на той же планете, как и другие сословия, но и в том же государстве, притом в государстве, значительно развившемся, и материально, и нравственно. Нельзя сравнивать теперешнюю Россию с Россией сорок лет тому назад. Дистанция огромного размера, воистину. Я не знаю, как можно выделить этот класс из других классов, с таким расчетом, чтоб всем было хорошо, чтоб все выиграли. Не правда ли, ведь общее благо должно же иметь в виду прежде всего? Дворянство принесло огромную жертву при освобождении крестьян. Вполне ли оно вознаграждено за эту жертву или нет, — независимо от того, что жертва теряет свою цену, если она вполне вознаграждена, — на этот вопрос трудно отвечать что-нибудь решительное, ибо исторические события имеют манию идти своим путем, забывая иногда всякую юридическую и торговую справедливость и имея в виду только будущее и те новые условия, в которые поставлена жизнь преобразованиями. Я думаю, что никакие миллиарды не в состоянии вознаградить дворянство за крепостное право и за тот экономический порядок вещей, который им обусловливался. Если б правительство сегодня совсем уничтожило весь долг дворянства Дворянскому банку и объявило заложенные имения свободными от всяких долгов, и эта мера, помимо ее несправедливости относительно тех имений, которые не заложены, оказалось бы мало действительною. И большинство дворянства это очень хорошо понимает, говоря, что дело не в денежной помощи, не в уменьшении процентов, а в чем-то другом.

В чем же? О дворянстве говорят пятнадцать лет. Говорят люди разных взглядов и положений. Говорят так много, что вопрос этот не сходит не только с газетных страниц, но и с языка дворян и других сословий. Но в эти пятнадцать лет была ли кем высказана хотя одна оригинальная, плодотворная мысль, за которую можно было бы схватиться как за якорь спасения и строить дальше? Отрицать заслуги дворянства, отрицать его культурное значение — кто же это станет? Желать того, чтобы это сословие сохранилось, чтоб оно влияло на жизнь, чтоб оно руководило жизнью, как сословие образованное, с культурными традициями и верною оценкою образования, — желать этого можно и даже должно. Но ведь все дело именно в том, как это сделать, к каким мерам и средствам прибегнуть для этого?

Дворянин, написавший письмо в нашу газету и говорящий о старом земстве, подвергается осуждениям в «Гражданине» и «Московских Ведомостях». Но подвергается этому довольно поверхностно. Участие дворян в земстве, возможно широкое, разумеется, желательно. Ведь и теперь земство ведется дворянством, и теперь дворянство исполняет множество культурных обязанностей вполне безвозмездно. Говорят, что есть дворяне и дворяне. Есть такие, которые сознают значение дворянства, как сословия, и есть такие, которые изменяют дворянству. Их так «изменниками» и называют. Но, позвольте, господа, неужели сорок лет ничего не значат, неужели в это время никакой эволюции не совершилось? Освободив раба, дворянин стал больше человеком и затем прежде всего человеком, подданным своего государя, сыном своей родины. Дворянин стал доктором, инженером, судьей, адвокатом, прокурором, механиком, актером, журналистом;

все профессии открыли ему двери, и всеми он воспользовался. Он поневоле распустился, так сказать, в широкой жизни и действительно в значительной степени забыл, что он дворянин, т. е. этому званию он стал придавать меньшее значение. Упрекать за это дворянина, называть его за это изменником, значит даром терять слова. Он — образованный человек, он зарабатывает свой хлеб, он руководит тем, кто его слабее, он служит государству, обществу, он чувствует себя русским и полезным русским. Он вступил в жизнь борцом, он смело встретил т. н. разночинцев и стал отстаивать себя и свое положение в государственной и общественной жизни. Чему же он изменил, если он служит, занимается земледелием, торговлей, фабрикой, читает лекции, учит народ? Скажут: надо быть дворянином... Но это звание у него может отнять только бесчестный проступок, только преступление, а не труд и работа. Поднимается вопрос о дворянстве. Он высказывает свое мнение. Он вспоминает, чем был дворянин в старом земстве, и придает этому большое значение. По его мнению, в земстве ему место, там ему прекрасная руководящая и плодотворная роль. Вы опровергаете это? Нет. Вы над ним глумитесь или позволяете себе инсинуации на его счет и обвиняете его в демагогических замыслах. Зачем же вы ворошите прошлое, зачем берете отрицательные стороны этого прошлого, попрекаете им и ничего не говорите о том, что же надо делать и как надо делать, чтоб сохранить, «благородное, бескорыстное великодушное, храброе служилое сословие», как выражается один дворянин в «Московских Ведомостях». Ведь изъявлять желания — значит только мечтать, только мечтать, и ничего более. Мечта — не дело, даже не мысль. Больше Манилова никто не мечтал, но он пропал бы теперь со своими мечтаниями и со всем своим семейством...

Мы высказали несколько мыслей о дворянстве, о том, как приложить его силы к государственной жизни, высказали искренно и прямо, думая, что нас, которые постоянно говорили серьезно о необходимости помочь землевладению, выслушают снисходительно, — «Московские Ведомости» назвали нашу статью «коварным проектом», но заподазривать — значит тоже лениво мечтать и ничего более. Тот коварен, тот безбожник, тот изменник дворянству, тот либерал — и все это единственно потому, что с вами они не сходятся в своих мнениях. Зачем вы уменьшаете свои силы этой подозрительностью, этими не дворянскими, не благородными, не великодушными приемами? Зачем? Чтобы стеснить чужую мысль, запугать и тем выдвинуть свою? Но разве она так бессильна и ничтожна, что не выдерживает никакого соперничества?..

16 (28) мая, № 7620

CCXCII

Мне хочется сказать два слова о процессе, который теперь разбирается или, вернее, о процессе я говорить совсем не буду, а скажу об отце и сыновьях. Меня мало интересует та сторона дела, которая показалась столь интересной прокурору и адвокатам и, вероятно, покажется интересной и для публики. Если б подсудимые помирили двух братьев и, поделив между ними отцовское достояние поровну, не взяли бы за это никакого гонорара, то все сочувствие было бы на их стороне. Что могло быть лучше и справедливее этого? Если б даже пришлось для

этого брата, получившего львиную долю, то и то бы ничего. Ведь запутывания — такая обыкновенная, общепринятая метода между людьми. Духовенство запутывает нас адом, адвокаты — законами и проволокой, журналисты — критикою и обличениями, а бывшие жандармы своим влиянием и всемогуществом. В данном случае человек был напуган такой чепухой, что не верится в его искренность, когда он говорит, что был напуган. К сожалению, бескорыстных примирителей не оказалось совсем, и явилось «дело», «процесс», что-то специально адвокатское — дело не только о разделе наследства между двумя братьями, но и о разделе оного между многими адвокатами, о чем почивший родитель, к сожалению, не подумал.

Вообще я не желал бы быть на месте покойного генерала Попова с его двенадцатью или десятью миллионами. Каков бы ни был этот генерал, но дети его не имели ни малейшего права таскать его имя по судам и забрасывать его грязью, даже в том случае, если б он оставил им не двенадцать миллионов, а только двенадцать рублей. Впрочем, оставь он им не только двенадцать рублей, но даже одну тысячу двести рублей, никакого процесса не было бы, и сам генерал Попов, конечно, не вздумал бы лишать своего сына наследства, хотя бы он и женился без его позволения. Миллионы давали пищу его деспотизму, его произволу; миллионы заставляли перед ним принижаться, исполнять все его приказания, предупреждать малейшие его желания, даже возбуждать в нем и то, чего он не желал. Человек — животное необузданное и сам по себе, а с миллионами он и черту не брат. О причудах, цинизме и деспотизме этого генерала рассказывают легенды, но я все-таки жалею, что он не лишил наследства обоих братьев. Следовало бы обратить все состояние в деньги и завещать его на полезные учреждения. Этим он искупил бы свои грехи и даже прославился бы на многие годы. Но дернуло его лишить одного сына наследства, прибавить еще одну несправедливость к прежним, и он сам попал под суд...

Вы, конечно, думаете, что получать наследства — великое счастье. А я по себе знаю, какое это счастие не получать наследства. Уверяю вас, что это счастие. Бедные родители, сами жившие впроголодь и ничего не оставившие детям, остаются в воспоминаниях детей гораздо более чистыми, чем те, которые оставили богатства. Умирая, они могут скорбеть о том, что дети ничего не получили от них, кроме воспитания, но и эта скорбь чиста и возвышенна, бескорыстна и полна любви. Сын недостаточного родителя является независимым от отца и любит его только как отца, любит его за любовь только, а не за то, что он ему оставил. И подчинение сына отцу основывается только на этом чувстве любви, а не на расчетах о наследстве, к которым примешиваются так часто, если не всегда, очень нехорошие чувства. Чувства эти, конечно, могут скрываться, с ними можно бороться, даже истреблять их у себя, но они существуют у многих. Независимость, свобода всегда соблазнительны, и стать независимым с богатством, которое остается после отца, кого это не соблазняло, в ком это не порождало дурных чувств? Сами отцы, при этих условиях, становятся хуже, подозрительнее, деспотичнее, капризнее. Недаром литература и живопись так часто берутся за изображения тех сцен и лиц, которые порождает чтение духовного завещания. Сколько подлости на этих лицах, сколько ожиданий корыстолюбивых, низменных, звериных! Сколько осуждений покойнику, сколько злобы и вражды друг к другу тех, которые обмануты в своих ожиданиях. Пушкин начал этою сценой свой роман, включив в уста Евгению слова:

Когда же черт возьмет тебя! —

т. е. дядю его, но поэт не был бы далек от истины, если б поставил вместо дяди — отца...

Настоящий процесс детей генерала Попова вводит нас в эту милую область, где является миллионное наследство после отца-деспота, которого даже г. прокурор не пощадил. Мне это непонятно. Прокурору, в сущности, нет никакого дела до того, что такое представлял собою этот миллионер. Был ли он деспот, был ли он хороший и мягкий человек — это все равно. Прокурор мог бы оставить в покое умершего и заняться только тем, что он оставил и что произошло. Достаточно было сказать: был миллионер, который оставил состояние старшему сыну, рассердившись на младшего сына, и вот что случилось. Я могу оспаривать распоряжение генерала Попова, потому что я не признаю за ним права лишать одного из сыновей своих наследства. Я того мнения, что все дети имеют одинаковое право на наследство, какие бы они ни были, дурные или хорошие, если отец не нашел нужным завещать свое состояние не детям, а на полезные какие-нибудь дела. Был ли один сын почтительный, а другой — ослушник, это все равно. Ведь может случиться, так и часто случается, что ослушник, по мнению отца, которое тоже не есть святая истина, окажется лучшим, более добрым, более полезным своим гражданам, чем тот, который не преступил правил послушания. Я могу это говорить, как человек, считающий закон о наследстве несправедливым, но прокурор не может, потому что для него всего важнее право. Если б отец был тайным разбойником или фальшивым монетчиком, если б он нажил состояние самым бесчестным образом, грабительством, разорением многого множества людей, и если б он оставил состояние сыну-разбойнику, а сына порядочного человека лишил бы наследства, то и тогда прокурор стоял бы только за право отца. Право, право и право, но из этого не следует вовсе, что право всегда правее. Я говорю это к тому, что в данном случае даже прокурор мог бы оставить в покое мертвого, а не то что дети...

Г. Юрий Попов не задался вопросом: за что он получил наследство, за какие добродетели и заслуги? Правда, наследники об этом не думают, а потому я его не виню. Но я могу винить его за то, что он не задался даже вопросом: за что брат его лишен наследства? Ведь г. Павел Попов только и сделал, что женился — по любви. Сам г. Юрий Попов тоже женился, но с позволения отца. Я не имею никакого представления о том, счастливы ли оба брата с своими женами. Но если б пришлось мне теоретически решать вопрос о том, какой брак лучше и угоднее Богу и людям, тот ли, который заключен с согласия отца, или тот, который заключен без его согласия, я бы стал разбирать, какой брат счастливее и стал бы на стороне счастливого брака. Но это в сторону. Я хочу только спросить, почему г. Юрий Попов не поделился с братом по-братски? Жаль миллионов было? Ведь другой причины не могло быть. Вместо двенадцати миллионов получить шесть — не правда ли, какая жертва! Но вот тут-то и является чувство стяжания, которое растет и растет неудержимо, по мере роста богатства. Чем больше есть, тем больше хочется. Фантазия играет и увлекает за пределы всякой справедливости. После сотен тысяч хочется миллионов, после миллионов — десятков миллионов, и так без конца. И добро бы это приносило счастья. Ничуть не бывало. Счастье обыкновенно уходит от миллионов, уходит дружба и любовь, уходит искренность, которая так дорога в жизни, уходит даже любовь детей, у которых аппетиты начинают расти и развивается критика отцовских действий, отцовского

характера. Под влиянием старости, страстей, привычки своеволия, зависти старика к молодому поколению, которое дышит полною грудью, отец становится хуже и несправедливее. Все доброе в нем умерло или бессильно, а остающаяся старческая злоба еще клокочет и ищет жертвы. Злоба сильнее доброты. Она прежде всего перешла к детям, и прежде всего дети заявили себя этим...

Все это ярко проявляется в этом процессе и, по-моему, он только потому и интересен. Для нравоописания, для психологических исследований, для бытовой драмы, для комедии тут превосходный материал. Разумеется, для адвокатов также, особливо для той стороны, которая стоит за то, чтобы братья не делились поровну. Увы, вражда братьев из-за наследства — явление обыкновенное, и если при разделах крестьянских семей дерутся между собою братья и бьют отца, то и среди образованного общества происходит то же самое: дерутся между собою на суде, при помощи адвокатов, и бьют покойного отца при помощи прокуроров, адвокатов, свидетелей. Да, напрасно покойный генерал не лишил наследства обоих детей, отдав его на общественное дело. Не попал бы он, несчастный глупец, под суд, не открывал бы его деяний и характера на посмеяние общее, сыновья его жили бы мирно и не давали бы этого публичного представления, тоже на посмеяние и потеху. И право же, при таких состояниях, можно было бы и не лезть на эту публичную сцену и не волочить ни своих имен и ни имени отца по широкой улице...

26 мая (7 июня), № 7630

CCXCIII

Недели четыре я провел за границей, побывал в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Франценсбаде и Карлсбаде. Берлин растет и украшается. Я знаю этот город с 1870 г., и в эти 27 лет он вырос удивительно во всех отношениях, как выросла вообще Германия. Посмотрев лейпцигскую выставку, в которой принимает деятельное участие только средняя Германия и которая организована в память 400-летия лейпцигской ярмарки, я могу сказать, что Германия действительно растет чрезвычайно. Всем известно, что в этом сознаются и французы, возвращавшиеся из Стокгольма и побывавшие несколько дней в Берлине и Гамбурге. Берлин, конечно, не сделался и не сделается Парижем, но на европейском континенте это — бесспорно второй город после Парижа, почти во всех отношениях. Если прибавить к нему Дрезден, находящийся всего в двух часах расстояния от него и тоже быстро растущий — новые части города представляют собою ряд роскошных улиц с великолепными домами, — то и в художественном отношении этот угол Германии очень замечателен. О промышленности говорить нечего. Это — общепризнанный факт и «made in Germany» возбуждает зависть даже в Англии. В этом отношении лейпцигская выставка очень интересна и поучительна. Она интересна даже с внешней стороны, т. е. с точки зрения притяжения к себе зрителей. Кроме всевозможных развлечений, выставка дает воспроизведение целого квартала старого Лейпцига с его домами, костюмами, развлечениями и удивительно интересную, превосходно исполненную панораму «Распятие Иисуса Христа». Ради одной этой панорамы, пожалуй, стоит заехать в Лейпциг. Наша нижегородская выставка, как известно, пренебрегла этою частью, и совершенно напрасно.

Вообще наши соседи — народ не дремлющий и, очевидно, «немецкая военщина», как у нас любят выражаться, нисколько не помешала росту Германии.

Из Берлина я поехал в Шарлоттенгоф, где находился граф П. А. Шувалов. Поехал я туда с о. Алексеем Мальцевым, нашим священником в Берлине. О. Алексей — прямо один из замечательных русских людей по всестороннему образованию своему (он знает латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий и английский языки) и энергии. Переводя наши служебные книги (всенощная, обедня, молебны) на немецкий язык, сверяя постоянно при этой работе славянский текст с подлинником, он совершал, независимо от прямой практической цели, чрезвычайно почтенный труд, не лишенный литературного поэтического достоинства. Будучи одним из инициаторов учреждения Общества св. Владимира, он в несколько лет построил кладбищенскую церковь и странноприимный дом на земле, купленной им на пожертвованные деньги на окраинах Берлина, — на земле, стоимость которой теперь, благодаря новой железной дороге, возросла вдвое. Всегда живой, отзывчивый, готовый всякому помочь всем, чем может, всегда полный интереса к вопросам церковным, он пользуется в Берлине общими симпатиями. Задушевная его мечта — построить в Берлине церковь (наша церковь там помещается в доме посольства), он давно уже отыскал для нее место, но для этого и денег надо много, и хлопот много. Если б нашлись деньги, хлопоты мог бы устранить только германский император...

Известно, что германский император предложил графу Шувалову свою виллу. Вилла императора — в прекрасном парке, на берегу озера. Внимание императора выразилось, между прочим, тем, что в спальне графа была поставлена икона по личному распоряжению императора. Лечил графа известный врач, г. Бергман, бывший профессор Юрьевского университета. Мы с ним встретились в вокзале — он ехал также навестить графа. Варшавские врачи делали самые неблагоприятные предсказания, когда пошел вопрос о переезде графа из Варшавы. Но случилось как раз наоборот. Граф Павел Андреевич на этой вилле ожил. Проф. Бергман начал с того, чтоб внушить больному уверенность в выздоровлении, и больной стал ходить, хотя и при помощи человека. Голова у графа такая же свежая, как прежде, и также он готов интересоваться политикою, если б врачи не полагали известного предела ему в этом отношении. Он мне сказал, между прочим: «Как только я заболел, я сейчас же просил государя освободить меня от моей должности. На этом месте надо быть здоровым и бодрым». Та политика примирения, которой следовал граф Павел Андреевич в Варшаве, исполняя намерения государя, уже при нем начала приносить плоды. Граф Шувалов, как берлинский посол, умел снискать общее уважение в Германии и России, в такое время, когда сношения Германии и России были довольно натянуты, когда Россия заключила союз с Францией, когда устранен был Бисмарк, находившийся в дружеских отношениях к нашему послу и сохранивший эти отношения. Необыкновенный такт, врожденная деликатность и ум помогали ему на этом трудном посте. Замечательно, что он ближе всего сходился с военными людьми, как военный, и здесь успевал, благодаря своим личным достоинствам и обоюдному уважению среди военных, — явлению обычному среди даровитых военных. Император германский заезжал к нему запросто, с прогулки, например, и они беседовали вдвоем. Я думаю, что самая личность императора, его открытый характер, его природная искренность, его желание не порывать с Россией давнишних связей способствовали

графу выполнить свои высокие и трудные обязанности. Ту же мягкость, соединенную с твердостью, тот же такт внес граф П. А. на месте генерал-губернатора в Варшаве. Разрывать разом с прежней политикой значило бы не уважать прошлого и осудить его; в политике последовательность необходима, и предложение московского журналиста поставить Мицкевичу памятник на Красной площади — у самих поляков вызывало злую насмешку, но внести новые приемы и взгляды в управление, не поступаясь достоинством правительства, понять причины раздражения между соплеменными народами, которых история поставила в такие сложные и резкие отношения, наметить то, что необходимо для жизни народа польского, и постепенно к этому приготовляться — другое дело. Кратковременное управление графа Шувалова в Царстве Польском носило на себе печать именно переходного времени, всегда и везде трудного, ибо тут приходится мирить крайности, сближать между собой непримиримое и враждебное, умерять одних, не давать другим слишком больших надежд. Тут приходится вращаться среди тысячи мелких и крупных затруднений, среди береженья всевозможных самолюбий, русских и польских. Для этого нужна была именно особенная личность, характер, умеющий приспособляться, политическая опытность, выдержавшая испытания. Выбор графа Шувалова на этот пост был как нельзя более удачен. Переходные моменты эти в истории обыкновенно не имеют никакого блеска и не дают государственным людям быстрой и легкой популярности, но они важны так же, как важно приготовление поля к посеву хлеба. В этом отношении заслуга П. А. Шувалова весьма значительна как перед русскими людьми, желающими примирения, так и перед поляками более или менее благоразумного образа мыслей.

Говоря о нынешних польско-русских отношениях, можно бы вспомнить манифест императора Николая I от 6 октября 1831 года, манифест «о прекращении военных действий в Царстве Польском», как он назван в VI томе нового «Полного Собрания Законов Российской Империи». Извещая своих подданных об окончании войны, благодаря свои войска за «великодушие в победе», за «уважение их к жизни и собственности побежденных», «среди ужасов сей междоусобной брани», император говорит в заключение, обращаясь к русским, следующее:

«Время и попечения наши истребят семена несогласий, столь долго волновавших два соплеменных народа. В возвращенных России подданных наших Царства Польского вы также будете видеть лишь членов единого с нами великого семейства. Не грозою мщения, а примером верности, великодушия, забвения обид вы будете способствовать успеху предначертанных нами мер, теснейшему, твердому соединению сего края с прочими областями империи, и сей Государственный неразрывный союз к утешению нашему, к славе России, да будет всегда огражден и поддерживаем чувством любви к одному монарху, одних нераздельных потребностей и польз, и общего, никаким раздором не возмущаемого счастия».

Прекрасные и благородные слова. Они воскресают перед нами более чем через полвека, — воскресают спустя 35 лет после новой попытки поляков повторить 1831 год — воскресают на этом рубеже, когда предполагается даровать полякам земское и городское самоуправление. История даром не проходит, и позволительно мечтать, если не о полном «невозмутимом счастии», о котором говорил манифест 1831 года, то об успехе всего того, что может связать два соплеменных народа и указать им общие цели и стремления.

7 (19) июля, № 7671

CCXCIV

Меня очень интересует вопрос о Литве отчасти потому, что она «с неба упала», отчасти потому, что это — одна из интересных народностей, постоянно присутствующая на страницах русской истории, и отчасти потому, что заговорили о литовском языке, об арестах за книжечки, напечатанные на литовском языке латинскими буквами, и проч. Сам я принадлежу к очень многочисленной народности русской и совсем не состою поклонником многоязычия. Хотя я не верю, что все святые говорили русским языком, но желал бы, чтоб русским языком говорилю как можно больше народа.

Конечно, это — лжепатриотизм. Теперь слово «лжепатриот» раздается направо и налево некоторою кучкою истинных и превосходных патриотов, которые при малейшем несогласии с их мнением... Впрочем, об этом до другого раза.

Итак, я хочу самого широкого распространения русского языка и поэтому самого высокого развития русской культуры. Я знаю, что англичан всего несколько десятков миллионов, а английским языком, по счету одного ученого, говорят около двухсот миллионов людей на земном шаре. Зависит ли это от коварства англичан, или оттого, что они — просвещенные мореплаватели и обладатели таких «покойников», как Шекспир, Шелли, Байрон, Диккенс и проч., и проч., разбирать не будем. Факт тот, что самые распространенные языки — английский, французский, итальянский и немецкий и что эти языки убили множество подъязыков и наречий без всякого вреда для культуры. «Кичливые» англичане даже говорят, что в будущем, более или менее отдаленном, английский язык будет самый распространенный. Мне думается, что человечеству выгоднее стремиться к одноязычию, чем к многоязычию, ибо язык — самое объединяющее орудие из всех орудий, для сего употребляемых. В видах объединения главных литератур издается теперь трехъязычный журнал «Cosmopolis», где печатаются статьи на английском, французском и немецком языках, и все статьи о разных предметах. Предполагается, что есть читатели, знающие три главных европейских языка, и таких читателей оказалось довольно, чтоб журнал мог существовать[1].

Естественно, что одними принудительными средствами языка не распространишь: он распространяется преимущественно благодаря литературе народа, его культуре и политическому и экономическому значению народа. Если язык обладает образцами прекрасной литературы, а народ, им говорящий, большим политическим значением, то обязательно, стало быть, принудительное изучение его вознаграждается для ученика, по крайней мере, в известной степени. С русским языком можно пройти всю Россию, а с одним литовским, например, только несколько губерний. Если люди стали выдумывать разные волапюки и принимать их для взаимного общения, то это доказательство не в пользу многоязычия. Как бы то ни было, для уяснения себе вопроса этого, я обратился к знакомому слависту и изложил ему свои недоумения. Благосклонно и добродушно выслушав меня, он преподал мне следующие мысли.

Россия, конечно, велика и народностей в ней много. Если б эти народности захотели отложиться от России и сговориться для этого, они были бы принуж-

---

[1] Теперь присоединили к «Cosmopolis»'у еще и статьи на русском языке

дены сговариваться на русском языке. (Этот аргумент мне очень понравился, ибо он говорит о силе и необходимости русского языка). Через сто лет русский язык сделается необходимым для всех славянских народов. Принимая в соображение значение русского языка и русской литературы, нечего бояться соперничества языков тех народностей, которые населяют Россию и которые без русского языка друг друга не поймут, да и сами себя едва ли понять могут. Литовский язык — важный язык: помощию его определяется древность того или другого слова в славянских наречиях: если слово, находящееся в каком-нибудь славянском наречии, обретается в литовском языке, то это доказывает, что оно — древнейшего происхождения. Учить народ грамоте надо на его природном языке: литовцев на литовском, армян на армянском, грузин на грузинском и т. д., не делая предпочтения какой-нибудь народности перед другой, как это у нас практикуется, где, например, татары учатся по-татарски, а литвины, например, — по-русски.

Но естественно, да, естественно, чтоб *это обучение на местном языке продолжилось только первые два года в школе, а вторые два года должно вестись обязательно на русском языке.* Конечно, вопрос, насколько возможно в два года выучиться по-русски, чтоб пользоваться русскою литературою, остается открытым. Но не столько для равенства прав языков, сколько для обучения грамоте, это необходимо допустить. Конечно, впоследствии эти народности потребуют, чтоб и в гимназиях обучение шло на местных языках, но этого можно и не давать...

В Малороссии не надо заводить школы на малорусском языке, ибо каждый малоросс понимает великоросса, так и великоросс понимает малоросса. Стало быть, только в тех школах надо учить первые два года на местных языках, которые, т. е. языки, совершенно непонятны русским (малороссы с этим, конечно, не согласятся).

Администраторы обязаны знать язык той народности, которую они администрируют. Так поступают англичане (?). Если армяне так много забрали на Кавказе, то благодаря, между прочим, тому, что они изучают грузинский язык.

Возвращаясь к литовцам и специально к арестам их, надо знать, как случилось запрещение латинской азбуки для литовских книг. Мысль эта была подана Гильфердингом Н. А. Милютину, который и привел ее в исполнение. Назначена была для этого особая сумма. Может быть, дело и пошло бы на лад, если бы за него принялись с надлежащей подготовкою и уменьем. Например, обратиться к литовским выдающимся писателям, заинтересовать их этою переменою шрифта; издавать популярные книги этим шрифтом и проч., тому подобное. Но ничего этого сделано не было. Деньги куда-то ушли, а немцы, настоящие немцы, а не из «St.-Pet. Zeit.», сейчас же воспользовались обстоятельствами и стали печатать литовские книги латинским шрифтом, распространять их между литовцами и соблазнять их фантазию соединением всех литовцев под властью прусского короля...

Пропаганда эта пошла так успешно, что всего лучше было бы снять запрещение с латинской азбуки, чтоб не вводить в соблазн простодушных и не давать лишнего орудия злоумышленникам.

Вот что я слышал. Это — взгляд ученого, несомненно гуманный взгляд. Применим ли он политически при нынешних условиях русской культуры и гражданственности — вопрос открытый, и мне думается, что его можно обсуждать совершенно спокойно, не становясь на дыбы «истинного» патриота. Прибавлю еще следующие соображения того же ученого: покровительство литовской культуре обеспечивает нам расположение Литвы и даже создает оплот против полонизм-

ма. Поляки весьма будут недовольны всяким покровительством литовскому объединению, проводимому в языке и религии, если мы станем стараться — а стараться необходимо в этом направлении — создать литовскую народную церковь. Как бы то ни было, литовцу придется знать три языка — родной свой, польский и русский. А русскому человеку, русскому деятелю — несколько местных языков, не считая классических и двух или трех европейских.

На Васильевском острове есть Андреевский рынок. Много лет назад, живя там и видя, что торговцы разговаривают с чухнами по-чухонски, я спросил одного из них:

— Вы сами из чухон?

— Нет, я — русский. Но нам по торговле нашей приходится постоянно иметь дело с чухнами, ну, мы и выучиваемся по-ихнему.

— Отчего бы им не выучиваться по-русски?

— Ну, где же им? Им трудно, а нам — это плевое дело.

Конечно, этот пример говорит, между прочим, и за веру в себя русского человека. Его не только не сломили ни татары, ни поляки, ни шведы, ни турки, ни немцы; но представители всех этих народов вошли в состав русского государства. Ни одного чужого языка мы не истребили: не истребили даже провинциальных говоров, и надеюсь, так это и впредь будет. Но мне думается, что на русском государстве не лежит особенной обязанности о непременном сохранении и развитии более чем двунадесяти языков, которые существуют в Российской империи. Это во-первых. Во-вторых, есть стадии в развитии государства, когда, быть может, требуется известная твердая, логически выработанная система для скрепления различных элементов, входящих в состав государства.

12 (24) октября, № 7768

CCXCV

Когда из далеких странствий возвратишься, то некоторое время чувствуешь себя не по себе, как говорится. Необходимо снова привыкнуть к родной атмосфере, наглотаться ее и начать жить по-русски. Я думаю, это — не секрет, что за границей многое лучше нашего, начиная с самого климата, который дает физиономию народам, и кончая характером ежедневной работы и жизни. Я не мог бы долго жить за границей, но я понимаю тех русских, которые большую часть года остаются в странах света и тепла. Там, где солнце, там жизнь идет правильнее, быстрее, скорее, и мы никогда не сравняемся с Европою. Будем мы просвещеннее во сто раз, будем мы богаче во сто раз, а все-таки будем позади, уже потому, что и на Западе в это время дремать не будут. Говорят, в этом — наша выгода, потому что мы можем брать из Запада то, что там уже проверено и доказано. Тем лучше, но жить нам необходимо все-таки своей русской жизнью, вырабатывая ее условия постепенно и по возможности методично. К сожалению, выдержки у нас мало...

Я застал горячие споры по окраинным вопросам. Это, бесспорно, хорошо, ибо споры — обмен мыслей и фактов, но было бы еще лучше, если бы в них не было предложений «принять меры» против тех публицистов, которые с нашим мнением не согласны...

Одна варшавская газета предложила своим собратьям не перепечатывать статей «Московских Ведомостей», ибо статьи эти якобы раздражают поляков и мешают проявляться их примирительным течениям. Такая сентиментальность еще понятна в польской газете, если принять в соображение условия русской и польской печати; но если русская газета, именно «СПб Ведомости» печатает статьи, где говорится, что необходимо защитить поляков от «Московских Ведомостей», необходимо принять против этой газеты меры, то это уже ни на что не похоже. Можно желать польской и русской публицистике большей свободы в обсуждении взаимных отношений двух народностей; можно желать польской печати бесцензурного существования, но стеснять русскую газету в угоду польской журналистике, это значит разыгрывать недостойную роль, которая не приведет ни к чему доброму ни нас, ни поляков. То обуздывали русских, когда они говорили в пользу поляков, то обуздывали поляков, когда они говорили против русских, а теперь советуют принять меры против русских, которые осмеливаются говорить неблагосклонно о поляках. Все обуздывать, да обуздывать! Давно пора кончить с такими приемами, совершенно исчезнувшими из европейской журналистики. Эти приемы не дают договориться до конца ни полякам, ни русским. В полемике должен быть простор для искренности, и только тогда можно принять известный афоризм: du choc des opinions jaillit la verite. Когда говорят о польской и русской печати, не надо забывать еще, что польская печать не в одном Царстве Польском. Она еще и за русско-польским рубежом и там пользуется очень большою свободою во всем том, что касается России, и, несомненно, проникает в Царство Польское и имеет там влияние. Польский вопрос имеет за себя не только варшавскую журналистику, но и краковскую, и львовскую, и познанскую. И верьте, что сами поляки посмеются над этими советами обуздать русских публицистов, а если бы, паче чаяния, они пожелали обуздания, то доказали бы только, что сами недалеко ушли в культурном развитии...

Т. н. примирение с поляками — вопрос очень большой. Примирение это находится в прямой и глубокой зависимости от истории и культуры, от исконного соперничества между двумя народами, русским и польским, — соперничества, обильного потоками крови... Польской интеллигенции трудно забыть свое прошлое, когда Польша блистала своей культурой, своей свободой, освобождала от турок Вену, побеждала Москву, избирала себе королей и свободно расправлялась на сеймах...

Я пережил, как журналист, все время, начиная с польского восстания и до настоящих времен. Я помню совершенно братские отношения к полякам. Да, именно братские, отношения брата, который конфузился, что другой его брат не свободен. Я помню, когда на субботах у И. С. Аксакова присутствовали поляки и шли ожесточенные дебаты о пределах Царства Польского: должна ли Россия отдать ему Западный и Юго-западный край или не должна? Что касается независимости Царства Польского, его автономии или даже отдельного его существования, то в этом вопросе было очень мало разногласий. Слова «гнет» и «насилие» были любимыми словами в устах русских образованных людей, когда говорили о поляках, об их положении под русским управлением. Сам М. Н. Катков, издавая «Русский Вестник», очень благосклонно относился к полякам, имел поляков сотрудников и, возвращаясь раз из-за границы, через Варшаву, находил, что православный собор в Варшаве стоит на таком видном месте, что это может оскорб-

лять польское чувство. Этому трудно поверить теперь, но это так было, да и мало ли что было и что говорено было в то время. Ведь это были знаменитые шестидесятые годы...

Когда велись эти литературно-политические беседы и выражались эти симпатичные полякам взгляды, едва ли многие русские предчувствовали, что восстание было уже приготовлено. Прошло несколько месяцев, и все перевернулось. Я работал в это время в «СПб Ведомостях», которые мягче и гуманнее всех других газет относились к полякам. В начале 1863 г. явилась в «Journal de St. Petersbourg» статья на тему, что законность нас убивает (Légalité nous tue). Громека написал горячую отповедь на эту статью, доказывая, что, напротив, законности у нас мало. Статья эта, в виде передовой, явилась в «СПб Ведомостях» и произвела неблагоприятное для газеты впечатление в административных кругах: граф Блудов, президент Академии наук, покровительствовавший В. Ф. Коршу, арендатору «СПб Ведомостей», призвал его и сделал ему внушение. Упоминаю об этом литературном факте потому, что он имел значение для всей печати: цензура стала гораздо строже. Во время самого восстания было много русских, которые с чувством приязни относились к полякам и не одобряли крутые меры и казни. Голос «Московских Ведомостей» стал в это время раздаваться громко, Катков круто изменил свои мнения и своими статьями производил сильное впечатление на умы, но, так сказать, «количественное» их влияние не было особенно велико, если сообразить состав тогдашней интеллигенции. Сколько мне приходилось наблюдать в то время и судить по собственному чувству, особенной вражды к полякам не было. Такой вполне русский человек, как Н. Н. Страхов, написал в 1863 г., известную свою статью во «Времени» братьев Достоевских, — статью, проникнутую гуманным духом. «Московские Ведомости» восстали на эту статью почти как на изменническую, и «Время» было запрещено. Над журналистикою господствовала строгая цензура, гражданская и военная, и искренности в печати было немного...

Польское восстание, однако, повредило полякам во мнении русского общества и само по себе, и в особенности по своим притязаниям на Западный и Юго-западный край. Если до восстания шли споры о границах Царства Польского, более или менее задевая для них русские губернии, то после восстания едва ли оставалось много русских, которые даже приняли бы спор о том, следует ли присоединить к Польше Западный и Юго-западный край? Можно сказать, что этим восстанием Польша потеряла навсегда эти края во мнении русского общества, которое несомненно выросло с тех пор не только в своем русском чувстве, но и в своем политическом разуме.

Из этого видно, что дело не в мнимой вражде русских к полякам, не в том, как та или другая газета говорит о Польше, а в особенной трудности польского вопроса, навязанного нам историей. Мир необходим и нам и полякам, но как его устроить? Недавно я прочел в «СПб Ведомостях» варшавские «Разговоры», заключающие в себе взгляды одного «знаменитого князя и генерала». Этот князь — сторонник той системы, которая исходит «из взгляда, что Привислянье — край вполне замиренный, такой же, как всякий другой из краев России, и что пора нам в нем не воинствовать, то нападая, то обороняясь, но просто-напросто управлять. Конечно, пора не воинствовать, а управлять, но «просто-напросто управлять» — не совсем это просто, ибо хотя Привислянье и замиренный край, но чтоб он был «такой же, как всякий другой из краев России», — мудрено с этим согласиться.

Взгляд «знаменитого князя и генерала» вполне приложим к Западному и Юго-западному краям, которые действительно надо сравнять с русскими губерниями и сделать их вполне русскими губерниями, но Польша или Привислянье — совсем не одно и то же, что русские губернии. Я этим не хочу сказать, что не желаю Польше всяких благ развития. Я только думаю, что ее трудно удовлетворить. Перечтите проекты т. н. «примирения» даже людей вполне умеренных, и тотчас будет ясно, что даже умеренные поляки не считают Привислянье таким же краем, как все другие края. В этом и «роковой вопрос», как назвал польский вопрос покойный Страхов. Самый разумный проект примирения, быть может, принадлежал графу Паскевичу, предложившему императору Николаю Павловичу обменять значительную часть Царства Польского на Галицию. Этот проект мог бы избавить нас от польского вопроса и от влияния польской культуры на Западный и Юго-западный край. Но с того времени слишком много воды утекло...

Мне думается, на нашей стороне всего искреннее теперь те поляки, которые мало говорят и еще меньше читают о польском вопросе. По крайней мере, для этого класса Россия сделала все, что могла. Я разумею польское крестьянство, благосостояние которого несомненно. И оно-то обеспечивает нам спокойствие Польши в большей степени, чем благоразумие и выгоды буржуазии и аристократии.

13 (25) октября, № 7769

CCXCVI

Вторая половина проходящего века ознаменовалась, между прочим, сильным прогрессом электричества и женского вопроса. Может быть, будущий исследователь найдет и что-нибудь общее между этими двумя всемогущими элементами. Нам достаточен факт, что рядом с электрическим телеграфом, телефоном, фонографом, электрическим двигателем и электрическим освещением женский вопрос двигался с необыкновенной силой и женщины завоевывали себе положение, которого никогда не имели до того времени.

Одна из первых книг, которая мне бросилась в глаза по приезде в Париж, — «La femme — avocat en cause de m-lle Jeanne Chauvin» par Louis Franc. Луи Франк — юрист, брюссельский адвокат и вице-президент Всемирного феминистского союза. Свою книгу он посвятил «памяти Тюрго и Кондорсе, славных инициаторов современного феминизма». Книга дельная, наполненная фактами и горячими заступничествами за права женщин. Она вызвана тем, что Жанна Шовен кончила юридический факультет Парижского университета, сдала с честью все экзамены и заявила желание поступить в адвокаты. Допустить ее или не допустить — зависит от парижского суда. Луи Франк взял на себя труд доказать, что суд этот не имеет ни малейшего основания отказать в просьбе Жанны Шовен. Свои доводы в пользу феминизма он начинает с глубокой древности, с Египта, Иудеи, Греции и Рима. Женщина всего больше лишена была человеческих прав у евреев. Христианство начало освобождение женщин. Луи Франк цитирует Евангелие и Апостольские деяния в защиту своей темы. В наше время протестантские народы, почерпая из живительных источников первобытного христианства, начинают давать женщинам те права, которых они были лишены. Так, лютеранские Швеция,

Норвегия и Финляндия предоставляют женщинам право выбора в приходские собрания; английское духовенство высказалось недавно в пользу освободительных идей женского вопроса. В Соединенных Штатах, где церковь отделена от государства и где существует много христианских церквей, квакеры, унитариане, пресвитериане, баптисты и проч., женщины допускаются к церковной проповеди и к занятию всех церковных должностей (у епископальных методистов). В 1890 г. в числе 88925 особ духовного звания (clergymen) в Соединенных Штатах было 1235 женщин (Extra census Bulletin of the US, Washington, D. C., № 99, 18 mai 1895, p. 5). Если б г. Франк знал историю нашего раскола и его многочисленные секты, он мог бы найти то же явление и в России. Я не стану следить за подробностями работ г. Франка, которые распадаются на две половины: в одной он говорит вообще о правах женщин, как они исторически развивались, в другой он обращается специально к вопросу о женщинах-адвокатах. Во времена Возрождения многие женщины в Италии обладали склонностью к юридическим наукам. Были женщины, которые читали право в итальянских университетах, две женщины читали даже каноническое право (в XIV веке). В XVIII веке в той же Италии были женщины — профессора, женщины — ученые юрисконсульты, а в XVI веке Италия знает четырех знаменитых женщин-ораторов. Я не думаю, что необходима такая сложная аргументация и такие примеры, какие находим в книге Франка. Почему женщина не может быть юристом, почему эта наука признается какою-то исключительною принадлежностью мужского рода? Замечательно, что против допущения женщины в адвокаты высказалась решительно одна Бельгия — и брюссельский суд, и брюссельская палата депутатов (1890 г.), и федерация адвокатов (1891), и брюссельские адвокаты (1894). Мотивы этих решений подробно разбирает г. Франк, но он не касается существенного обстоятельства, говорящего в пользу женщин. Оно вот в чем. Если женщина всегда занимала в семье роль хозяйки, домоправительницы, установительницы порядка, если она умела не теряться среди сложных семейных потребностей и именно она основала *семейный очаг,* то почему же она не может разобраться в том гражданском порядке, которым занимается юстиция? В этом порядке множество мелочей, противоречий, а женщина именно умеет победительницей выходить из мелочей и противоречий.

Тут самая обыкновенная женщина за пояс заткнет мужчину. Что касается красноречия, то где же его больше, как не среди женщин? Кто лучше женщин умеет занять разговором? Где происходит неофициальный суд ежедневно, ежечасно, как не среди женщин? Правда, мы называем это сплетнями, пересудами и проч. Но разве уж так много дела в адвокатских речах? Дайте этому стремлению женщин к критике, к пересудам, к сплетням серьезную юридическую подкладку — и они покажут себя превосходными юристами. Соединенные Штаты уже и доказывают это. В некоторых штатах женщины допускаются и в адвокатуру и в присяжные заседатели и везде ими довольны. Как присяжные заседатели, они показывают себя очень строгими относительно пьяниц, игроков и вообще людей, нарушающих семейный порядок и губящих своей невоздержанностью и разгулом семью. Если итальянки XVI века и американки XIX заявили себя серьезными софистами, то почему сословие адвокатов настоящего времени не должно расступиться, чтоб принять в свою среду женщин? Я того мнения, что рано ли, поздно ли, а женщина добьется того, что будет конкурировать с адвокатами и даже,

может быть, совсем забьет их своей способностью защищать и правых и виноватых при помощи статей Свода законов и своего нервного красноречия. Юстиция может оказаться прямо женским делом, и так как женщины по натуре консервативнее мужчин, то они не станут так увлекаться, как адвокаты.

А что женщины будут искать себе работы и чем далее, тем упорнее, это вне всяких сомнений. Семья не может включить в себя всех женщин; брак не может дать им всем убежище. В этом отношении статистика дает убедительные цифры. Во Франции из трех рабочих — двое мужчин и одна женщина (на 100 рабочих 32 женщины). В других европейских государствах пропорция вроде этой. Что делать девушкам, не нашедшим себе мужей, и вдовам, не вышедшим в другой раз замуж? Во Франции в настоящее время 2 622 170 незамужних девушек и 2 060 778 вдов, итого 4 682 948 женщин внебрачных. Около пяти миллионов в одной Франции! Какая же это армия во всем мире? Кстати, когда говорят о преимуществах мужского пола, то выставляют на вид, что мужчины отбывают воинскую повинность, жертвуют жизнью для блага отечества. В одной Франции ежегодно пятьдесят тысяч мужчин призываются под знамена. Г. Франк остроумно сопоставляет с этой готовностью мужчин жертвовать жизнью для своего отечества — готовность женщин жертвовать своей жизнью в благородном стремлении продолжать человеческое племя. Знаете ли, сколько женщин ежегодно умирают от родов во всем мире? *Триста тысяч.* За двадцать лет это составит пять миллионов женских жизней, положенных за блага своей родины и человечества. Самая кровопролитная война нигде и никогда не воздвигала таких ужасных гекатомб.

В заключение несколько слов о положении женского адвокатского вопроса в России. Г. Франк обратился за разъяснениями по этому вопросу к г. Спасовичу. Г. Спасович отвечал ему письмом от 5 (17) сентября 1897 года. Письмо это помещено на стр. 116—119 книги г. Франка. Г. Спасович говорит, что до издания судебных уставов стороны в гражданском процессе и обвиняемые могли поручать защиту своих интересов в городах доверенным лицам. Женщины не были лишены этого права быть поверенными, но г. Спасовичу неизвестно ни одного случая, где бы женщина являлась поверенным. Реформа 1864 года предоставила обвиняемому право выбирать себе защитника среди лиц, пользующихся гражданскими правами. Закон не исключал женщин. Но г. Спасовичу опять же неизвестно ни одного случая за все время существования новых судов, где бы женщина явилась защитницею в уголовном процессе. Мне думается, это произошло от того, что подсудимые не знают, что могут поручить свою защиту женщинам. Дело не стало бы за охотницами попробовать свое красноречие и убедительность. Переходя к гражданскому процессу, г. Спасович излагает сущность закона о присяжных поверенных, к числу которых женщины не могут принадлежать, так как они не могут слушать юридические лекции ни в университетах, ни в Училище правоведения; для «частных поверенных» не требуется специального юридического образования. В 1875 году одна женщина обратилась в суд с просьбою дозволить ей судебную практику в качестве частного поверенного. Дело доходило до министра юстиции, который представил его на высочайшее усмотрение. Вопрос был решен указом 7 января 1876 г. (Собрание законов, № 55455), которым к женщинам приложен параграф 5 указа 14 января 1871 г. Этим параграфом женщинам возбранено занимать должности в канцеляриях и других правительственных и общественных учреждениях, где лица служат по назначениям или по выбору. Г. Спасо-

вич не соглашается с толкованием этого параграфа, так как «частные поверенные» не могут быть отнесены к лицам, служащим по назначению или по выборам. Он сообщает при этом, что статья 406 *Проекта Нового* Гражданского уложения, который должен заменить Судебные Уставы 1864 г., выражена так: «женщины не могут пользоваться званием частных поверенных». Но комиссия, работающая над этим проектом, в которой принимает участие г. Спасович, решила исключить эту статью, оставив вопрос открытым для будущего.

И комиссия поступила прекрасно. XX век, в котором я жить не буду, покажет гражданам этого века, которые на наших глазах бегают еще в детских штанишках, что женщина будет продолжать соперничать с электричеством в приложении своих сил. Во времена Возрождения итальянки отличались как юристы, как ораторы, во время второго Возрождения, которое начинается теперь, и француженки, и немки, и россиянки будут и юристами, и адвокатками. Чтобы сказать это, совсем не надо быть пророком.

Париж, 3 ноября с. ст.

29 октября (10 ноября), № 7785

CCXCVII

Я прочитал письмо из Шавель о католическом герое, ксендзе Рымейке. Сам по себе он совершенно неинтересен. Но интересно явление этой вражды католичества к православию и, конечно, и наоборот. Что бы лучшие умы ни говорили о примирении и соединении религий, они остаются враждебными, и католический Христос не похож на православного, и если православная икона в аршин длиною, то католическая должна быть в два аршина. Это именно — аршинное понятие о религии, о Христе, об Его учении. Молодые католики, с мягким сердцем, с нежной чувствительностью, с восприимчивостью горячей юношеской крови, уже приучаются к религиозной вражде и не могут молиться вместе с отроками и юношами других исповеданий, если б даже желали им не позволять католические ксендзы. Мне гораздо симпатичнее эти молодые протестанты и евреи, которые «по собственному желанию» молятся в гимназии вместе с православными, обращаясь за благословением к одному и тому же Богу...

Есть что-то врожденное в этой религиозной нетерпимости даже тогда, когда люди только по имени христиане. Меня это поразило в Париже, по поводу дела Дрейфуса. Помимо вражды христианства и еврейства, которое в этом деле сказывается, сказалась вражда католичества и протестантства. Профессор Моно (Monod) стал на сторону Дрейфуса. Моно — протестант. Рошфор — знаменитый памфлетист, не верящий ни в Бога, ни в Христа, сделал несколько ехидных замечаний о Моно, как о протестанте. Точно в нем, в этом отпрыске старой католической фамилии графов Рошфоров, сказался католик Варфоломеевской ночи, нападавший 24 августа 1572 г. на безоружных гугенотов. В католических органах слышалась та же вражда и намеки на то, что протестанты заодно с евреями.

Перед отъездом из Парижа я встретился с несколькими французами у нашего соотечественника, молодого русского ученого из московской купеческой семьи, И. И. Щукина, у которого по вторникам собирается русская парижская ко-

лония и французы, говорящие по-русски или учащиеся русскому языку. Таких теперь довольно и между ними известный писатель, французский офицер Арт Рё (Art Roe)[1], г. Леже, имя которого известно как слависта, и некоторые другие. Я выразил свое удивление тому, что между французами-католиками и французами-протестантами существует, по-видимому, какая-то скрытая, инстинктивная вражда, несмотря на то, что некоторые из них прямо враждебно или индифферентно относятся к христианству. Из разговора, возникшего по этому поводу, я имею право заключить, что я в этом отношении нисколько не ошибался. Протестанты французские живут сплоченно, держатся друг друга, занимают места по министерству народного просвещения, вообще места, имеющие просветительное значение, и исполняют религиозные обряды; тогда как между католиками есть множество людей, которые не крестят своих детей, потому что не верят, между протестантами такого явления совсем нет. Они все крещеные. Эта сплоченность протестантов вызывает у католиков неприязненное к ним отношение, которое и сказывается при случае довольно ярко.

Если дело обстоит так в стране, которая отменяла у себя официально христианство, в стране, где изображения Христа удалены из общественных мест, из судов, из школ, — в стране, одним словом, — где существует не только полная веротерпимость, но и равнодушие к религии, то довольно мудрено говорить о примирении между католиками и православными у нас, где религия стоит прочно на своих основах и составляет сущность русского и польского характеров. В шавельской истории эта вражда сказалась очень рельефно со всей своей первобытностью, в виде наглой брани и двухаршинных икон и той веротерпимости, которая выражается так: «я, ксендз, не требую того, чтобы православная икона была вынесена из зала, но желаю только, чтоб католическая икона была двух аршин длиною, по правилам католической церкви, и чтобы католики, молясь, становились задом к православной иконе». Такова веротерпимость католического священника, наставляющего юношество в христианской любви. Директор шавельской гимназии поверил, что католическая церковь меряет иконы аршинами, по всей вероятности, к большому удивлению св. отца папы, который, однако, едва ли удивится тому, что существуют ксендзы размера о. Рымейко: такие размеры весьма обыкновенны и не могут никого удивить...

Но эти размеры нисколько не, желательны, если действительно желают, чтобы православие и католичество уживались мирно и благородно, по крайней мере в стенах учебных заведений. В школе должна быть наука, чистая, общечеловеческая наука, а не политическая и религиозная пропаганда. Паны дерутся, а у хлопцев чубы болят. А в данном случае, эти хлопцы — школьники... все то милое нам, молодое, все то будущее, которое должно выступить в жизни, с идеалами добра, правды и доброго общежития. Что ж хорошего, если уже в гимназии сеются семена раздора, если уж в гимназии воспитанники, благодаря своим духовным пастырям, «считаются» своими верованиями, «превосходством» своих религий. Ведь это не богословы, не философы, которые спорят между собою на основании каких-нибудь данных, исторических и богословных. Это — просто

---

[1] Автор книги из французского военного быта, увенчанной Французской академией, «Pingot et moi», переводчик сочинений генерала Драгомирова и автор корреспонденций о коронации, помещенных в «Revue des deux Mondes»

отроки и юноши, впитывающие в свою душу бессознательно и механически религиозную вражду, которая разделяет их наставников и учителей. Тут должен быть соблюдаем большой такт и заноситься до двухаршинных икон, до брани ни той, ни другой стороне непозволительно уж потому, что смущать малых сих запрещено в Евангелии. Мы, по-видимому, не выработали еще настоящего школьного режима в тех школах, где ученики принадлежат к различным вероисповеданиям, а потому и возможны и такие странных размеров ксендзы, и аршинная мера икон и учения Христова. Веротерпимость — великое дело, но проводить ее следует с тем большим тактом и обдуманностью, что каждый из нас, если покопается в своей совести, то найдет в себе ветхого Адама с предубеждениями, выращенными целыми столетиями...

11 (23) ноября, № 7798

CCXCVIII

В дело Дрейфуса вмешался Э. Золя. Он написал статью в «Figaro», где преклоняется перед характером сенатора Шерера-Кестнера, как известно, ставшего на стороне осужденного предателя. Он говорит не о деле, не о сенаторе, жизнь которого, по его мнению, чиста, как хрусталь. Эту фразу он повторяет дважды. Он говорит о необходимости исправить судебную ошибку, если она совершена. «Какая мучительная драма, и какие превосходные лица! Перед этими документами, такой трагической красоты, которые приносит нам жизнь, мое сердце романиста прыгает в страстном изумлении». Так он начинает свою статью. И Золя прав: давно уж в его романах нет лиц, которые заставляли бы читателя прыгать.

Дело Дрейфуса действительно чрезвычайно интересно. Я перечитывал в течение месяца все, что писалось о нем. Я читал газеты, дружественные ему, читал и враждебные, читал и такие, которые желали быть объективными. Меня увлекала эта драма не столько сама по себе, как факт, как судебная ошибка, как судьба личности, ввергнутой во тьму зол, а как драма общественная, где сталкивалось множество личностей и интересов, любви, вражды, ненависти. Правительство, армия, общество, христианство, еврейство, международные отношения, шпионы, изменники, предатели и страстная любовь к родине, заставляющая невольно сильно чувствовать и страдать. Э. Золя смотрит на эту драму как на интересные характеры и как на психологическую задачу. Она гораздо шире.

Если б сенатор Шерер-Кестнер и защитники Дрейфуса сказали:

— Дрейфус не виновен и никто измены не совершал, — общество могло бы только радоваться и нетерпеливо ждать пересмотра процесса. Но ему говорят:

— Дрейфус не виновен в измене, но виноваты другие, вон те и те, их надо обвинить и послать на каторгу.

Измена была. Ее никто не отвергает, и вот что волнует так страстно французское общество, вот почему идет эта борьба, и сердце и ум в тревоге обращаются к прошлому, к несчастиям 1870—1877 гг., к настоящему, которое начинает внушать недоверие, к будущему, которое может грозить новыми изменами...

Французы считают себя непобедимыми. Когда их побеждают, они говорят, что была измена. Гордость нации не может помириться с поражением и изнывает под бременем подозрений в измене...

Кто тут изменник и предатель — Дрейфус, Эстергази, вместе ли они вдвоем, или есть еще третий, четвертый, может быть, целый десяток прикосновенных лиц? Ужасно то, что измена существует. Есть ли это «заговор» евреев против христиан, есть ли это могущество денег, нечто вроде новой Панамы, где замешано множество лиц и интересов, или это просто искание истины, желание освободить невинного и найти виновного — все равно измена существует; немцы подливают масла в огонь, говоря, что Дрейфус не виноват, и сердце французов обливается кровью.

По последним известиям, еще в июле прошлого года начата была агитация в пользу Дрейфуса. В газете «Jour», которую издает Ворвоорт (на сестре его женат Рошфор), явилась, в отсутствие издателя, репортерская заметка, симпатичная Дрейфусу. Приезд Ворвоорта остановил агитацию, и к нему тотчас явилось множество лиц, которые просили его продолжать кампанию в пользу узника, обещая прекрасные денежные условия для газеты. Он отказал. Нашлись другие. Во главе стал товарищ председателя сената, человек «хрустальной жизни». Обвинили Эстергази. Замешалась какая-то таинственная женщина, пошли сплетни, доносы, разоблачения. Страсти разгорались до брани самой необузданной, до обвинений страшных. Заговорили, что сенатор подкуплен, газеты подкуплены, какое-то имение военного министра находится в залоге у этого самого Шерера-Кестнера, Матье Дрейфусу, доносчику на Эстергази, после осуждения брата, отвели выгодную в стратегическом отношении возвышенность около Бельфора для постройки замка, евреи проникли всюду, держат Францию, народ в своих руках и распоряжаются правительством, как хотят, и проч., и проч. С другой стороны сыплются обвинения на противников Дрейфуса с упорством и систематичностью изумительными. Точно оркестровая гармония, начинающаяся несколькими инструментами и продолжающаяся все громче, все выразительнее, при участии не одного, а многих оркестров. Печать страстно переносит это все на свои страницы. Интерес дела заставляет перепечатывать все известия и за, и против. Общественное мнение напрягается, как струна, готовая лопнуть. Примешали самого императора Вильгельма II, который будто бы давал честное слово Казимиру Перье, что Дрейфус не виноват, и потом сообщил оправдательные документы сенатору Шереру-Кестнеру. Как раз кстати явилась книга о германском императоре с оригинальной обложкой: на мече, у которого верхняя часть рукоятки состоит из тела и головы Медузы, висит император, как распятый на кресте — руки его привязаны к перекладине меча, который, при первом взгляде, похож на крест. Эпиграфом к этому изображению служит речь императора, произнесенная им в 1895 г. во Франкфурте, где он говорил, что сорок два миллиона немцев и восемнадцать корпусов армии скорей погибнут, чем уступят один камень из того, что приобретено его отцом и принцем Фридрихом-Карлом. Книга, впрочем, совсем не враждебная императору и сообщает о нем много симпатичных черт, но она напоминает прошлое и указывает на будущее. Она — как необходимая нота в этом концерте.

Такой клубок намотан около Дрейфуса, что размотать его едва ли можно с тем беспристрастием, которое желательно во всех отношениях.

Читая это все, я думал: неужели возможно осудить за предательство офицера на основании одной какой-то записки, выкраденной из сорной корзины военного германского агента, — записки, почерк которой похож на почерк Дрейфуса? Неужели военные судьи так жестоки и так неосмотрительны? Не-

ужели возможны теперь такие же скорые и решительные приговоры, которыми удивлял Конвент в конце прошлого века? Мне кажется это невозможным. Но если это еврейский заговор, на который, говорят, собрано два миллиона, заговор с целью если не оправдать Дрейфуса, то бросить сомнение в его виновности, запутать общественное мнение, создать легенду, — то этот заговор поистине ужасен по своим средствам, по своей наглости, по своим приемам...

И еще я думал. Что это за страсть шпионить друг за другом, государство за государством? И когда? Не во время войны, а в мирное время, когда вы пожимаете друг у друга руки? Неужели армии не могут жить в Европе, не подкупая слабых, не приобретая тайн и секретов своих врагов и своих соседей? Мне думается, что на военное дело тратится столько денег, столько усилий нравственных и физических, столько ума, таланта, науки, времени, что шпионство -это что-то до того мелкое, до того презренное, что оно совсем не вяжется с этими постоянными усилиями народов вооружаться и вооружаться. Не есть ли это остаток прежнего времени, который надо бросить и изгнать самую возможность предательства? Ведь теперь смотры, маневры, на которых присутствуют иностранные офицеры. Ведь теперь ничего нет в военном ремесле, в постройке крепостей, что могло бы быть секретом. И что можно взять этим предательством? Оно ведь всегда мелко и, вероятно, не Бог весть какие суммы на него употребляются. Ведь если б оно было в самом деле важно, если б на нем можно было строить победы, то ведь против десятка миллионов кто бы устоял? Стоило бы только подкупать и подкупать. Но побеждают храбрость, ум, талант, а не шпионство. Если бы побеждало шпионство, купленное предательство, это было бы ужасно и омерзительно...

Я, может быть, неправильно думаю, ибо не знаю военного ремесла. Но мне все-таки кажется, что дело Дрейфуса должно во многих возбудить этот же вопрос и заставить подумать о нем серьезно.

17 (29) ноября, № 7804

CCXCIX

Знаете ли, что долгое ожидание евреями мессии, наконец, исполнилось. Этот мессия — не кто иной, как Альфред Дрейфус, находящийся в настоящее время на Чертовом острове. Я не знаю, какие признаки того мессии, которого еврей ожидают; но это не так важно. Если что не сойдется с предвещаниями и ожиданиями, то дополнит легенда, работающая уж так плодотворно в наши дни, благодаря еврейским капиталам и их влиянию. Два месяца агитации, доносов, покупки и подделки писем и документов, запросов в палате и сенате, открытия любовных историй не прошли даром. Легенда о невиновности Дрейфуса образовалась и поколебала уже многие простодушные сердца. Теперь уже это — не предатель, не изменник, а мученик. Жертва судебной ошибки — это еще очень мало. Это, может быть, добровольный страдалец. Да, добровольный. Он не защищался, не хотел защищаться. Он молча принял на себя вину, не для того, чтобы искупить грехи Израиля — Израиль не нуждается ни в каком искуплении, ибо всегда был и всегда останется первым народам, а для того, чтобы доказать своим примером величие своего народа и необыкновенное превосходство еврейского характера перед характером других наций. Он перед целым миром являет-

ся в ореоле мученика на Чертовом острове. Имя его известно всему миру, и как только явится он оправданным, перед ним преклонятся не только все евреи, но и добрейшие христиане. Что тогда будет значить антисемитизм с его враждою, с его односторонностью? Ничто. Он разобьется в прах о твердое мученичество Дрейфуса. Сам Ротшильд с своими миллиардами побледнеет перед ним, и вот разве тут будет некоторая оппозиция признанию Дрейфуса мессией. Может восстать зависть евреев к еврею и Ротшильд станет антисемитом, к величайшему удивлению Дрюмона с его «Parole Libre». Величие Дрейфуса, по-моему, несомненно, даже в том случае, если он останется на Чертовом острове. Легенда уже произвела его в мученики и в Амстердаме ставится драма «Мученик Чертова острова», где Дрейфус играет главную роль невинного, оклеветанного, великого, идеального человека. Драма, о которой уже Э. Золя думал и объявил о ней репортерам, предвосхищена голландскими евреями и должна вызвать море сочувственных слез дрейфусарам и проклятий христианству. Кто доживал до такой чести, такой славы, да еще в заключении? Я такого примера не помню. И для всего этого стоило только этому еврею сделаться офицером генерального французского штаба и продать или выдать немцам какие-то бумаги. Сделай это человек другой нации, сделай это француз, его или расстреляли бы, или отправили бы на Чертов остров и забыли бы немедленно. Но еврей — молодцы. Они знают толк в деньгах, они крепки своей солидарностью, своей ловкостью, они умеют пролезть всюду, куда христианину и в голову не придет пролезать, и если они хорошо и твердо захотят, то Дрейфус действительно сделается не мессией, конечно, но, может быть, начальником французского генерального штаба...

Какая это страшная сила — еврей! Что значили тысячи благородных жертв террора! А между ними, несомненно, были люди высокого благородства, несомненно мученики веры, чести и верности. А тут один еврей — прав ли он или не прав, не в этом вопрос, — поднимает на ноги всю страну. За него министры, сенаторы, профессора, знаменитый романист. Все кричат, что обвинен невинный, и указывают на виновного. К счастью, во Франции есть общественное мнение, и вот огромное большинство общества и даже чувствительная молодежь против него. Напрасно Золя пишет воззвание к этой молодежи, приглашая ее не протестовать против защитников Дрейфуса, против «хрустальной репутации» Шерера-Кестнера и других столь же благородных людей. Он провозгласил Дрейфуса невинным и пообещал вернуть его в Париж во что бы то ни стало, а молодежь протестует против Золя не в Париже только, но и в провинции. Я бы разделял охотно мнение Э. Золя, если б он приглашал молодежь учиться и не пускаться ни в какие политические манифестации. Но Э. Золя льстит ее горячему, увлекающемуся сердцу, он хвалит ее за манифестации, приглашая протестовать против некоторых явлений политической жизни Франции, но исключает только данный случай. Видя эти протесты, знаменитый романист недоумевает и говорит, что Франция больна предрассудками и что необходимо ее вылечить. Даровитый писатель понять не хочет одного знаменательного явления. он не хочет понять, что дело идет о серьезной борьбе между христианством и еврейством, между христианской этикой и еврейской. Носясь теперь с идеальным аббатом Пьером в двух своих романах («Lourdes» и «Paris»), Э. Золя забыл, что он назвал, в виде уличной клички, именем Jesus Christ одного из самых дрянных и ничтожных лиц своего романа «La terre». Он сделал это, конечно, с тенденциозным расчетом, который не

должен бы и входить в замыслы такого художника, каковым он себя считает. Я уж не говорю о том, что этого не должен бы делать даже самый плохой христианин, уважающий чужие верования. У народов бывают времена глубокого раздумья, и такое время переживает Франция, по моему мнению. Она хочет победы христианства. Инстинкт говорит ей, что это необходимо для поддержания ее славы как очага цивилизации. Все великодушные идеи, которые она бросала миру и за которые жертвовала всем, за которые лила свою кровь, рождались и вырабатывались французами без участия евреев. Они тут ни причем. Среди множества великих умов Франции, славою которых полон мир, нет ни одного еврея. В Германии они есть, во Франции нет. Только денежная слава украшает евреев-французов...

Если лавры Вольтера не дают спать Эмилю Золя, то не так следовало бы приняться даже за это дело Дрейфуса. Он начал с того, что объявил, что «предательство» — одно из «новейших» преступлений и должно быть судимо, как обыкновенные преступления. Но предательство древне, как мир, и им началась христианская история в лице Иуды. Пока идея родины крепко сидит в сердцах людей, предательство останется гнуснейшим преступлением. Думаю, что оно останется таковым и тогда, когда идея родины исчезнет и родиною станет все человечество, ибо и тогда — если люди когда-нибудь доживут до этого — предавать «други своя» будет делом подлым.

19 (31) декабря, № 7836

ССС

Позвольте мне сказать несколько слов о ... шпионах. Дело в том, что я прочел по поводу «Шпиона», поставленного на Малом театре, удивительные вещи. Оказывается, что это чуть ли не идеализация шпионства, что надо помнить о молодежи, о «среднем обывателе», которого следует «развивать и поучать», а не «подносить ему зрелище, противное и безнравственное по своей основе».

Пьеса «Шпион» имела большой успех не только в Америке, но и в Англии, она имела успех и в Париже — я был на одном представлении ее в театре Сары Бернар; рецензенты этих стран рассказывали содержание пьесы, указывали на ее недостатки, говорили о глупости генерала южан, подчеркивали трагизм положения благородного человека, обязанного во время войны исполнять должность несимпатичную, — исполнять во имя долга и дисциплины, но никто не говорил о безнравственности пьесы. А я смею думать, что страны эти — весьма и весьма либеральные, что свобода слова и убеждений там так велика, что рецензенты обратили бы внимание и на эту сторону, если б она была. Но у нас выставляют именно эту сторону и выставляют фальшиво, тенденциозно, скрывая от читателей ярко выставленный драматизм, о котором я упомянул, и то, что этот человек, этот «шпион», борется между долгом дисциплины и любовью к девушке из вражеского лагеря, и любовь побеждает его, — побеждает то чувство, которое в человеке выше всего. Мимическая сцена в 3-м акте полна именно этого глубокого драматизма...

Конечно, сказать читателю: я, рецензент, стою выше по своим убеждениям профессионального шпиона, может быть, и благородно, но это благородство весьма невысокой пробы, ибо даже всякий «средний обыватель» и всякий юноша не нуждаются для понимания этого ни в каком поучении. К тому же в пьесе дело

идет совсем не о профессиональном шпионе, который действует за деньги, из-за выгод, который пойдет туда, где ему больше дадут, будет трусить, делать низости, служить вашим и нашим. В пьесе шпион — слуга своего долга, патриот, солдат, понимающий весь ужас своего положения. Он говорит: «не всем нам выпадает на долю счастье умереть солдатскою смертью, с честью и славою, на поле битвы, — умереть среди друзей под милым знаменем родины... Некоторым из нас дают отчаянное, чертовски трудное значение — быть шпионом. Мы ведем одинокую борьбу, нет с нами друзей, чтобы защитить нас, но целые тысячи людей против нас и смерть каждую минуту висит над нашей головой. Если наша сторона выигрывает, — мы остаемся живы, если враг побеждает, нас убивают, как собак, и нет нам ни креста, ни солдатской могилы. Вечно один, забытый, заброшенный. Мне вот дано такое поручение, и такой вот смертью умру я сегодня».

Профессиональный шпион воспользуется первым случаем, чтоб улизнуть, чтоб спасти свою жизнь. В американской пьесе шпион поступает как раз наоборот. Когда негр, разрядив ружье, умоляет девушку, влюбленную в капитана Торна (шпион), чтоб она убедила своего возлюбленного упасть под холостыми выстрелами, притвориться мертвым и затем бежать, шпион отвергает это средство для спасения своей жизни и говорит начальнику отряда: «велите солдатам снова зарядить ружья и ведите меня на смерть». Не шпионство в нем ярко, но мужество, самоотвержение, т. е. те качества, которые считаются лучшими в солдате. Война вообще ужасное дело. Вся стратегия ее основана на обмане, на лукавстве, на желании устроить врагу западню и погубить его. Убивать человека и быть разведчиком, шпионом — одно другого стоит. Сжечь деревню, оставить без крова и куска хлеба женщин и детей, заставить жителей под страхом смерти сказать все, что нужно неприятелю, — это такие обыденные подробности войны, что о них и не упоминают. Слово «победа», столь радостно встречаемое, прикрывает собою такой ужас, такие страдания и унижения человеческой личности, для выражения которых не хватит слов даже у гениального писателя. Солдат и разведчик, военный шпион, исполняющий приказания начальства, — несчастные жертвы войны и больше ничего. Американская пьеса не шпиона защищает, а человека, поставленного условиями войны в каторжное положение. Шпион — слово презренное, а человек, убивающий человека на войне, — слово почтенное. Не трагизм ли это? Мне думается, что пока человечество не разберется во всем этом, надо принимать факты во всей их реальности и ужасе и искать драмы человеческой души всюду.

У Купера есть роман под заглавием «Шпион». Действие его — война за независимость Америки, война колоний со своей метрополией, Англией, когда во главе американских граждан стоял благородный Вашингтон. У него был «шпион», который подвергал свою жизнь опасности, ради пользы своих граждан, больше, чем самый храбрый солдат. В пьесе «Шпион» выставлена подобная же личность, и потому симпатии зрителя на его стороне. Преследующий его профессиональный сыщик действует отчасти из личных интересов, желая отомстить девушке, которая полюбила не его, а врага. Он — представитель южных, рабовладельческих штатов, и в этом, конечно, сказалась тенденция американского писателя, желавшего выставить северянина, стоявшего за идею свободы, в симпатичном свете. Так поставлены эти люди в пьесе, и ни один добросовестный человек не найдет в ней того, что находят наши рецензенты, хвастающиеся тем, что они понимают безнравственность шпионства. Уж если им надо этим похвалиться

перед своими читателями, они должны бы, по крайней мере, показать ту простую честность, которая заключается в том, чтоб не скрывать идеи пьесы, не искажать ее и лицемерно не притворяться оскорбленными за «среднего обывателя» и юношу...

21 декабря 1897 (2 января 1898), № 7838

CCCI

Рождество Христово — величайшее чудо, которым мир живет почти две тысячи лет и, несомненно, долго будет жить. С этим чудом связано новое учение, которое никогда не умрет, ибо оно поистине божественное, в высочайшей степени идеальное. Тысячи и тысячи лет пройдут и все-таки христианское учение, воплощенное в Нагорной проповеди, останется недостижимым, по крайней мере для большинства людей, Изумительно идеальный человек будет стоять впереди, весь — добро, весь — любовь, весь — самопожертвование. Любить не только ближнего, но любить врага, делиться всем, что имеешь, с тем, кто не имеет, думать не о себе, а об окружающих вас, о нуждающихся, обремененных, несчастных, больных, думать и делать, не рассуждая о том, кто достоин и кто недостоин, делать так, чтоб левая рука не знала, кому творит добро правая, — все это пути истинной добродетели, высокоii человечности. Все, что делаем мы теперь самого прекрасного, самого чистого, самого бескорыстного, -все это только капля в море тех требований, которые предъявляет к своим верующим христианство...

Величайшее чудо рождения Христа, неразрывно связанное с благороднейшим учением, имеет своей целью совершенного человека, как лучшего Божьего создания. И он несомненно совершенствуется и будет совершенствоваться, что бы ни говорили строгие моралисты. Да и говорят они, и проклинают, чтоб будить человечество. Они не нашли бы слов в языке, если б не верили в лучшего человека, и они бы отступили в ужасе перед человеком, умершим много сот лет тому назад. В жизни человеческой славится только чудо и только чудо имеет громадное значение, только чудо можно боготворить и только ему поклоняться. И годовщину величайшего чуда мы завтра празднуем и прославляем. И не церковь только, но и христианские нравы, просто по врожденному инстинкту, по святым преданиям, славят чудо и передают его из поколения в поколение, стараясь сделать этот день наиболее радостным. И литература приняла в этом участие рождественскими рассказами, таинственными, странными, не вяжущимися с преобладающим реализмом, с исканием правды видимой и осязаемой. Таинственные силы, чудесное легло в их основу, как гармония с чудом рождения Божественного младенца. В тайниках души, в таинственных явлениях природы ищется чудесное, не разгадываемое и настраивающее на повышенный лад. Для того, чтоб передавалось такое настроение, надо быть очень искренним, надо самому верить в чудо. Если в него сам не веришь, не поверит и читатель.

Но склонен ли читатель верить в чудо? Или чудо умерло и не повторяется? Мне думается, что чудо непрерывно действует всем тем, что есть в человеке и вне его действительно божественного и неразгаданного. Человек тем более узнает, чем более проникает в чудеса природы, не разгадывая, однако, их нисколько. Чудеса остаются чудесами, как ни стараются объяснить их простыми законами природы, ибо самые эти законы нечто иное, как чудеса Разгадает ли когда-нибудь человек чудеса, или останутся они для него вечной тайной?..

Как ни изучают нервную систему, как ни добиваются узнать те пути, которыми живет человек, а все-таки никто еще не узнал, что такое душа, что такое та святая святых, которая творит такое разнообразие в человеческих личностях. И две руки, и две ноги, и лицо с носом, ртом и глазами, и одинаковое количество ребер и позвонков, но не одинаковая душа, не одинаковые способности. Счастливая организация! — говорят нам. А надо говорить — чудо. Все то, что выходит из ряда обыкновенного, — все это чудо. Талант — чудо, гений — великое чудо. Откуда берут гении все то, что творят они в этом мире, в мире искусства, знаний, литературы, высокой нравственности? Когда мы говорим: это — «гениально», мы в существе дела ничего не объясняем. Мы нашли только слово, а не сущность гения, не причину его организации. Мы только открыли то бессмертное в человеке, которое нам видимо и понятно, ибо оно выражается в образах, доступных нашему пониманию, нашему чувству, нашему сердцу и разуму. Мы взвешиваем мозг гения, рассматриваем его и уподобляемся прямо детям, воображая, что этим что-нибудь сведали и узнали. Мы рассуждаем, спорим, но от неведомого отрываем только микроскопическую частицу знания и в своей гордости преувеличиваем ее...

На самом деле мы только успокоились и поставили точку там, где, в сущности, бесконечность. Мы узнали электричество, как чудесную силу; мы узнали волны звуков и их природу и законы. Но все это — чудо, и чудо остается неразгаданным. Что такое электричество? Мы не знаем. Мы ничего не знаем и спешим только практически воспользоваться результатами того малого, что узнали. Нельзя вообразить себе, что все открыто, что в дальнейшем существовании рода человеческого ничего уж не будет нового, кроме применения тех сил, которые открыты доселе. Человек заключает в себе всю природу, все ее многообразие, он носит в себе тайну души. Он творит, как божественный разум, он поет, как соловей, он строит лучше, чем все животные, он изобретает удивительные сочетания звуков, открывая новые свойства души. Она, как таинственное, чудесное здание, как запутанный лабиринт, постепенно открывается, постепенно приближается к Богу, как к совершенству и вечному и единственному началу. Если б мы обладали усиленным зрением телескопа, мы увидели бы, что все небо почти огненное — миллионы, десятки миллионов светил почти сплошь покрывают свод небесный. И кто знает, может быть, душа, та душа, которую мы не знаем, действительно возносится в эти неведомые, бесконечные пространства и вечно будет созерцать чудеса Божьего творения. Она приблизится к солнцу, не сгорая в его лучах, она увидит там новые чудеса, о которых не мечтала, которых никогда не чуяла своим воображением, как бы ни была она велика и гениальна; она приблизится к звездам, она будет лететь с быстротою света в эту бесконечность, опережая движения планет к солнцу; она покинет солнечную систему и, не зная усталости и смерти, перелетит в другие миры, в миры с голубым светом, с новыми чудесами, и будет жить и наслаждаться неведомыми радостями, неведомым блаженством, постепенно очищаясь и светлея, пока не достигнет тех лучезарных, таинственных вершин вселенной, где царствует над миром всемилосердный, всепрощающий, всемогущий устроитель вселенной — Бог...

25 декабря 1897 (6 января 1898) № 7842

1898

CCCII

С Новым годом...

Годы уходят, годы приходят, годы уносят людей и их дело, и новые годы приводят новых людей и новые дела. Но новые люди и новые дела так часто повторяют старых людей и старые дела. Мир обновляется так медленно, так незаметно, что смена одного года другим — только хронологическая последовательность, и если сумасшедший Поприщин написал в своих «Записках»: «Год 2000. Апреля 43 числа», то это не так бессмысленно, как нам кажется. Не все ли равно иногда, какой, когда и какое число, хотя бы и 43-е. Одно несомненно, что старое старится, а молодое растет, и разность между старым и молодым увеличивается с каждым годом. Одно приближается к смерти и отставке, другое — к жизни и деятельности, и вопрос об отцах и детях существует вечно, и на отцов ляжет еще более ответственности, чем теперь, если, в самом деле, найдено будет средство по произволу родить сыновей или дочерей. Теперь, как говорится, их Бог дает, а тогда сын или дочь будут иметь право спросить своих родителей: для чего вы меня сделали сыном, а не дочерью, или дочерью, а не сыном? Произвол родителей станет на место случайности или предопределения и это едва ли на радость и счастье человечеству...

Старые люди уходят, новые приходят. Ушел граф Делянов, ушел Захарьин, этот медицинский чародей. Они ушли вместе с последними числами года, не дождавшись нового счастия. Ушел знаменитый романист Альфонс Доде, принимавший одно время участие в «Новом Времени», где он поместил ряд фельетонов, которые частью вошли впоследствии, в переработанном виде, в его воспоминания. Тогда же я познакомился с этим необыкновенно симпатичным человеком. В последний раз я был у него в 1893 году, чтобы поблагодарить его за его душевный ответ на приглашение, которое послали мы, представители русской печати, ему на обед, устроенный нами в честь представителей науки и литературы французской. Он писал мне, что поднимает тост за «великого Толстого и русскую литературу». Как известно, он почти не мог двигаться. Он сидел в своем кресле, бледный, постаревший, с заметной проседью в бороде и в волосах. Но прежняя живость с оттенком сентиментальности сохранилась в нем. Разговор как-то перешел на детей. Он стал говорить, что между отцами и детьми — целая пропасть, что почти нет того пункта, на котором они могли бы сходиться. «Мы с сыном любим друг друга. Но если б нам пришлось вместе переплывать широкую

и бурную реку, мы едва ли переплыли бы ее, не поспорив почти до ссоры. Все у нас разное, мнения, цели, средства». Он обладал необыкновенной чувствительностью еще до болезни. Эмиль Золя рассказывал мне тогда же, что когда Альфонс Доде узнал не совсем благоприятный отзыв Тургенева об его романе, он заплакал; жена его, тоже писательница, принялась его утешать и заплакала сама. Кто-то из их друзей застал их обоих неутешными. Надо знать, что Тургенев пользовался среди них, в кружке Гонкуров, Флобера, Золя, Доде, репутацией человека большого образования, с изящным и верным вкусом, знатока литератур немецкой и английской. Его суждения ценились высоко. Но надо быть истинным литератором, с истинно литературной наблюдательностью, чувствительной душой, которая вся отдана была искусству безраздельно, которая служила ему, как благочестивый отшельник служит Богу, чтобы горько заплакать, услыша не совсем благоприятный отзыв о своем произведении. Такие художники редки во все времена, и потому романы Доде так благородны, так изящны и так благотворно влияли на читателей. В них почивает эта прекрасная душа, не гневная, готовая любить то, что заслуживает любви, и добродушно смеявшаяся над человеческими слабостями.

Годы уходят и люди уходят. Если дети спорят с отцами даже тогда, когда переплывают реку, могила мирит их. Безответная, холодная, она всем напоминает, молодым и старым, что тут или конец, или неразгаданная никем загадка. Мирит их и история, мирят их те годы, которые приходят и приходят с новым поучением и опытом. Пусть же подольше остаются с нами те старики, которые достойны жизни, которые дают нам пример того, как должно поступать, работать, служить. Для этих людей нет старости, ибо и старость их деятельна и плодотворна. Они, как великолепные храмы, и в развалинах своих возбуждают почтение и удивление. И пусть приходят новые люди, новые таланты и обновляют жизнь. Нам нужны молодые, здоровые силы, полные энергии и почина. Как ни рознятся отцы и дети, как ни смотрят они в противоположные стороны, все-таки отцы расчищали детям дорогу своим умом, своими мускулами, своим потом и кровью. Идите вперед свободнее, бодрее, легче, но зато и несите больше, чем мы принесли. Это ваш святой долг перед родиной, чтобы ваш труд, ваши усилия могли равняться с нашими и принести лучшие плоды.

Годы уходят и приносят свои заботы. Какое-то странное чувство наполняет нас, вопреки всем стихиям, вопреки холодному разуму, когда наступает Новый год. Точно подходишь к границе невидимого, неведомого царства, за которою что-то блестит новое, неиспытанное, манящее. Переступим же смело эту границу, старые и молодые, живущие прошлым и будущим, переступим с непоколебимой верой в свои силы и великую мощь нашей родины. Родина ждет новых пришельцев на путях государственных, общественных, литературных, художественных. Везде они нужны, и везде много работы. Она ждет неустанного труда, честной и верной службы и широкого производительного знания. Она ждет на своих широких равнинах, покрытая в этот час снегом, в своих городах и бедных селах, она ждет любви к меньшому брату, ждет открытого сердца, доверия и доброты каждого к каждому. Что бы ни принес нам грядущий год, мы одолеем и невзгоды, если они суждены нам, и укрепимся радостями, надеждами, подвигами, без которых жизни не бывает...

С Новым годом...

1(13) января, № 7847

CCCIII

Сила еврейства подняла всю Францию и держала ее в течение трех месяцев в нервном состоянии. Дело Дрейфуса — Эстергази показывает, каким могуществом обладает плутократия, предводимая еврейством, и чего только не может она сделать, если захочет. Она соберет десять миллионов, чтобы заставить освободить обвиняемого в государственной измене, она соберет сто миллионов, чтобы произвести государственный переворот, революцию. Она подкупит всех, кого можно купить, и не пожалеет никаких сумм, чтобы подкупить неподкупных. Она пролезет всюду, во все щели, во все страны мира. Еврейство как будто нарочно судьба рассеяла по всему миру, чтоб оно могло находить отклик повсюду. Могущественный король его сидит на троне во Французской республике, а вице-короли — в Лондоне, в Вене и Берлине, и все это связано могуществом денег. Французская революция, сто лет тому назад, признала гражданство евреев, и во сто лет их сила и власть так выросли во Франции, что дерзают бороться с государством. По приказанию из Парижа агитация ведется во всех странах. Одна из самых распространенных газет в Америке, «World», издаваемая евреем, печатает, что Дрейфус был перевезен на Чертов остров в железной клетке, как зверь, и в железной клетке содержится там. Она стыдит французов тем, что Дрейфуса они держат якобы в железной клетке, тогда как великодушные англичане держали Наполеона I на острове св. Елены с некоторым почетом, со свитой, экипажами и проч. Наполеон I и Дрейфус! Вы можете себе представить по этому сравнению всю беззаветную наглость американского журналиста! Средневековые ужасы выдумываются, чтобы возбудить сочувствие к осужденному. Отыскиваются и покупаются интимнейшие письма, сочиняются невероятные клеветы, подделываются с необыкновенным искусством документы и письма, поднимаются на ноги добровольные следователи, сыщики, находятся ходы в тайники военного министерства, в секретный отдел министерства внутренних дел, в палату, сенат, к бывшим министрам, к влиятельным писателям, к газетам, к газетам прежде всего. Образуется могущественный синдикат, с центральной кассой, в которую плывут деньги от еврейства всего мира, добровольные пожертвования и принудительный налог. Это — целый поход, приготовлявшийся целых три года в глубокой тайне, это — заговор, страшный по солидарности своих членов, по их богатству и по влиятельному их общественному положению. Лозунг этого заговора — самый симпатичный, самый гуманный: осужден невинный и осужден за странное дело — государственную измену. Вместо того, чтоб собрать данные в пользу невинно осужденного и представить их, как доказательство несчастной судебной ошибки военного суда, бросается обвинение в измене на другого офицера, Эстергази. Измены никто не отрицает. В измене убеждены почему-то все. Но изменил не еврей, а христианин. Вот что важно для еврейской плутократии и ее лакеев — обвинить христианина и оправдать еврея. И употребляется столько энергии, ловкости, беззастенчивости, мучительных преследований за добычей, за куском мяса в теле христианина, что просто становишься в тупик перед этой силой Израиля. Она односторонняя, эта сила, но поистине велика...

Достигают того, что он предается военному суду. Сам Шерер-Кестнер сказал в суде, что у него «никаких доказательств нет», но есть только «убеждение». Суд

оправдывает Эстергази единогласно. Это — удар еврейству, страшный удар, но оно не смущается. Существование синдиката доказано, помимо всего прочего, и на этом суде фразой Матвея Дрейфуса, который отвечал на вопрос, откуда берутся деньги для распространения, при помощи печати, всевозможных клевет против Эстергази, — «это не ваше дело». Уверение Эмиля Золя, что если есть синдикат, то это — синдикат честных и убежденных людей, падает само собою перед той наглостью, которую обнаруживало еврейство с каждым днем в этом деле. Эстергази оправдан, но агитации не конец. Французский король, которому Дрейфус приходится родственником, не сказал еще: аминь. Еще восстает доброволец, восстает самолюбие знаменитого писателя, задетое за живое, больно, чрезвычайно больно укушенное неуспехом. Он считал себя такою силою, таким любимцем Франции, что не предполагал и самой возможности неуспеха. Он прямо восклицал в «Figaro», что Дрейфус будет возвращен и оправдан. Он ручался в этом. Когда «Figaro» стали сжигать публично и массами стали отказываться от подписки, он испугался и перестал помещать статьи. Эмиль Золя начал издавать брошюры. Он обратился с брошюрой «К молодежи», где нальстив ей с три короба, убеждал в правоте своего дела риторическою шумихой фраз, в которой не было одушевления. На это послание отозвалось только несколько бельгийских студентов, и Э. Золя поспешил напечатать это, точно бельгийские студенты заинтересованы в деле шпионства, предающего Францию ее врагам. Но он успехом и у иностранной молодежи был утешен...

Дня за три до собрания военного суда он выпустил другую брошюру «К Франции», столь же риторическую и фразистую и столь же лишенную всякого одушевления. Газеты подняли на смех эти брошюры. Называли его венецианцем, «верным подданным итальянского короля», припоминали, что во время нашествия немцев на Францию, в то время, как Альфонс Доде, Кларети и другие писатели служили в рядах войска, он, Э. Золя, спокойно жил в Бордо. Серьезный «Journal des Débats» сказал несколько остроумных слов о брошюре «К Франции», припоминая, что В. Гюго в последние годы своей жизни так возомнил о себе, что постоянно обращался к королям, императорам, к вселенной, к небу, к Богу, к океану даже, обращался, как власть имеющий. Но в обращениях В. Гюго всегда было несколько счастливых стихов, или сильных, или поэтических. В обращениях Э. Золя ничего, кроме метафор и деланного пафоса. Все эти насмешки, свистки, уличные скандалы и в особенности оправдание Эстергази уязвили знаменитого писателя так, что он разразился бранным обвинением, о котором говорит сегодняшняя телеграмма. «Пусть попробуют предать меня суду присяжных!» — хвастливо восклицает он в своем открытом письме к президенту Фору, обвиняя министра, генеральный штаб и требуя суда присяжных для Эстергази. Фор, конечно, останется глух к этому воззванию, как и Франция, думающая свою думу совсем не в духе Э. Золя. Французское правительство хорошо бы сделало, если б, помня заслуги писателя, простило диффаматору, который требует невозможного — раскрытия военной тайны. Если бы, паче всякого чаяния, суд присяжных был назначен и оправдал бы Эстергази, Эмилю Золя осталось бы только обратиться к императору Вильгельму II с просьбой начать войну с Францией, чтоб возвратить Дрейфуса в Париж и водворить его во французский генеральный штаб...

Однако, надо признаться, что он поступил умно, написав бранное послание. В самом деле, ему оставалось одно из двух: или ехать самому на Чертов остров и

привезти с собой Дрейфуса — он обещал его возвратить непременно — или сделать большой скандал. Ехать на Чертов остров было бы очень опасно, и он прибег к скандалу, как к средству шумному и весьма безопасному...

Во всяком случае, суд сделал хорошее дело: еврейская плутократия и союзная ей французская поставлены на свое место. Это было необходимо сделать, ибо горе было бы государству, если б оно стало идти по указке этой «нечистой силы».

3 (15) января, № 7849

CCCIV

Вчера, в Русском Литературном обществе читал А. Ф. Кони о Горбунове. Общество это очень скромно помещается в доме № 65 по Невскому и принадлежит к числу таинственных. Не тайных, а именно таинственных. Ничего ни тайного, ни таинственного там не происходит, но все то, что там происходит, покрыто непроницаемой тайной. Скорее узнаешь о том, что происходит на заседаниях Государственного совета или Комитета министров, чем о том, что совершается на заседаниях этого чрезвычайно почтенного и удивительно скромного общества. В самую основу его существования положено начало таинственности. Все доброе, что там происходит, что там читается, должно оставаться священной тайной для публики. А так как ничего злого там не происходило никогда и не происходит, и, стало быть, нет повода для постороннего вмешательства, то общества этого, как будто и не существует и самые члены его о нем позабыли. Сначала заседания его посещались, но потом меньше и меньше, и когда теперь на заседания его явилось двадцать-тридцать человек, я полагаю, сам почтенный председатель недоумевал и думал: неужели мы открыты?..

Если б А. Ф. Кони стал читать о Горбунове в этом почтенном Обществе, то об этом чтении сохранился бы след только в протоколах Общества. К счастью, А. Ф. Кони прочел свою лекцию первоначально у министра юстиции, и лекция стала всем известна через газеты, не говоря уже о том, что она принесла на помощь бедным слугам правосудия более трех тысяч рублей.

Бедности среди слуг правосудия — непочатый край. Истина, как известно, голая, и если правосудие близко к истине, то оно может гордиться тем, что расшитый золотом мундир члена суда прикрывает тощий желудок и сердце, полное тревог не только о завтрашнем дне, но и о сегодняшнем обеде. Даже для адвокатуры «золотые» годы прошли, а судебный персонал никогда не благоденствовал. Со стороны талантливого юриста большая заслуга уже в том, что он пришел на помощь бедной юридической братии с улыбающимся образом И. Ф. Горбунова.

Так как я — член таинственного Общества и обязан соблюдать тайну о чудодейственном его существовании, то скажу несколько слов по поводу чтения А. Ф. Кони, как бы я слушал его не на Невском, в доме № 65, а на Большой Итальянской, в доме № 25, где живет министр юстиции.

Репутация талантливого юриста у А. Ф. Кони давнишняя. По отцу своему и матери он принадлежит литературе и театру. И я думаю, что в нем сидит и литератор, и актер. Юридическая карьера, выпавшая ему на долю, едва ли вполне отвечала его призванию, а если и отвечала, то именно тем, что в ней есть литера-

турного и артистического. Всякий юрист, публично выступающий, как прокурор, адвокат, председатель суда, в большей или меньшей степени актер, смотря по размеру своего дарования. Можно даже, слушая этих ораторов, определять их амплуа — то это любовник, то комик, то благородный отец, то резонер. Резонер чаще всего, то с примесью жара первого любовника, то остроумия и желчи комика.

Я помню А. Ф. Кони почти с самого появления его на кафедре петербургской богини правосудия, и тогда же в нем ясно очерчивался литератор и человек, в душе которого тлели актерские наклонности. Он очень хорошо декламировал, читал, рассказывал; он любил отделывать какое-нибудь стихотворение, какой-нибудь прозаический отрывок или собственный рассказ. Он повторял много раз одно и то же произведение, свое или чужое, у своих знакомых и друзей, совершенствуя его постепенно, как это делает талантливый актер, и потом, когда оно теряло свой интерес, он, как бы сыграв роль, принимался за другое, и с этим другим делал то же самое. Это не мешало ему быть выдающимся юристом. На судейской кафедре он являлся резонером с оттенком иронии и прочувствованного лиризма.

Его резонерство было аналитическое, вдумчивое, нервное, проверенное строгою логикою и добросовестным изучением дела и прикрытое дымкою судейского спокойствия. Я слышал его прокурорские речи в суде много раз и всегда с удовольствием. Иногда он утомлял бездною мелких подробностей, которые соединял в одно целое; думалось, зачем этого так много, когда и без того дело ясно, но впечатление всегда было определенное. В его обвинительных речах не было ничего пошлого, вздорного, никакой деланной и ненепреложной самоуверенности, столь часто замечаемой у прокуроров, которые непременно хотят быть правыми представителями правосудия. У А. Ф. Кони всегда звучала нота талантливого артиста, который с любовью роется в человеческой душе, и эта вдумчивая работа давала ему не душу одностороннего негодяя, разбойника, вора, а человеческую грешную душу, где добро и зло смешивались и находили свое извинение, относительное оправдание и свои причины. Недаром изданные его «Речи» нашли такое широкое распространение и так полюбились многим. Русский человек не любит обвинять, он любит ругаться, иногда подло и скверно ругаться; он любит «отбрить», как говорится, отвести свою рабскую душу, в которой монгол еще не стерся совсем, отвести мгновенной вспышкой, безрассудным гневом, несправедливостью, приправленной тяжким словом, но обвинять во что бы то ни стало — не наше русское дело. Раз в Венеции, вместе с А. П. Чеховым, мы видели переделанную из «Преступления и наказания» Достоевского драму. Пьеса игралась хорошо, публика интересовалась ею и аплодировала, но когда Дуня стала говорить, что Раскольников может возродиться на каторге — публика засвистала и засмеялась. Вот отличие культурного Запада от нашего отечества. Там уже не верят раскаянию и рубят головы преступникам с твердым убеждением в пользе топора. У нас — жалость и сомнение. Большинство русского образованного общества — Гамлеты в своей душе. А. Ф. Кони на судейской кафедре оставался искренним русским человеком, и я почти уверен, что он не мог бы быть адвокатом, которому приходится, сплошь и рядом, вести одностороннюю речь защиты. Анализ мешал бы ему в деле защиты гораздо более, чем в деле обвинения, ибо всякий человек есть ложь, даже не преступник, всякий в чем-нибудь виновен...

Я вижу большую последовательность в его деятельности, когда он написал биографию доктора Гааза. Его прельстила прекрасная, сердобольная душа этого человека, который посвятил себя несчастным заключенным, отверженцам, отбросам общества. Разрабатывая с необыкновенным прилежанием и проницательностью все факты этой однообразной, но богатый по результатам жизни, он вдохновлялся и жалостью к этим последним. И эта работа имела выдающийся и заслуженный успех.

Я думаю, такой же успех ждет и его работу о милом, все оживлявшем, добродушном, чрезвычайно талантливом и, несомненно, мало оцененном при жизни И. Ф. Горбунове. Многое множество людей смотрели на него почти как на клоуна, на шута, на увеселителя за бутылкой красного вина. Лишь немногие знали и видели его душу, немногие понимали, что это — рассказчик-художник, что он читал окружающую его жизнь и проникал в ее тайны. Только один Т. И. Филиппов сказал о нем, после его смерти, глубокоправдивое и веское слово. А. Ф. Кони взялся определить его по его произведениям, воскресить его перед нами. Читатели прочли содержание чтения А. Ф. Кони и сами могут судить, как многосторонне и подробно, с какою любовью он сделал свою работу. И этой работой А. Ф. Кони пришел к одному из источников своей талантливой природы, своего дарования — к актерству, к театру, с которым связана жизнь Горбунова. Кроме сознательного влечения аналитика, бессознательная сила некоторой родственности тянула его к этому человеку, к этому актеру на сцене и в обществе, которого стали забывать неблагодарные или непонимающие современники...

21 января (2 февраля), № 7867

CCCV

Господствующую тему некоторых явлений современной литературы и искусства можно характеризовать словами Гоголя о картине Иванова «Явление Христа народу»: «Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихою и твердою стопою приближается к людям»...

К этим явлениям принадлежит новая драма Зудермана «Iohannes». Как и на картине Иванова, на первом плане Иоанн Креститель, и, как на этой же картине, все взоры устремлены на идущего Христа: все содержание драмы — ожидание Спасителя. Кто Он, в каком Он виде явится, чему Он учит, для кого Он идет? У всех на устах и в сердце эти вопросы, у фарисеев, у богатых, у четверовластника Ирода, у бедных, у Иоанна и его учеников. Иоанн проповедует покаяние, он громит фарисеев, первосвященников, обличает Ирода и Иродиаду, он приготовляет путь Господу, тому, у кого он не достоин развязать ремень обуви. Но Иоанн еще весь в Ветхом Завете.

В народе ходит, но смутно новое учение; слово «любовь» переходит из уст в уста, но никто еще не знает, какой силы и какого существа эта любовь. В Иерусалим приходят галилеяне, которые видели Христа. Нищая рассказывает, что она слышала от пророчицы Анны, присутствовавшей в храме, когда младенца Христа принесли туда: Симеон взял его на руки и сказал: «ныне отпущаеши раба Твоего, владыко, ибо видели очи спасение мое». Сказал он и умер. Нищая эта сидит у

храма, на том месте, где сиживала обыкновенно пророчица, и ждет пришествия Мессии. Придет ли Он в порфире и короне, в золотом панцире, с мечом в руке, гневный, поражающий врагов копытами коней, проливающий кровь? — «Такого нам не надо», — говорит нищая Иоанну. — В золотых панцирях и с мечом в руках приходили уже многие, и довольно пролито крови в Израиле. Не царем Он должен придти. Нет. Когда приходили цари, они приходили к царям. К нам, бедным, еще никто не приходил». Галилеянин рассказывает Иоанну о чудесах Христа, о том, что Он учит любить врагов, благословлять ненавидящих нас и молиться о тех, кто нас преследует. Он рассказывает об этом с сомнением в чудесах и с отрицательным взглядом на учение, которое он не понимает. Каким образом все это новое, неожиданное, что слышит Иоанн, действует на него? Я беру Иоанна Крестителя таким, каким он представлен в драме, как развивается в ней его характер. Зудерман, кроме Евангелия, пользовался, очевидно, и «Иудейскими древностями» Иосифа Флавия.

Иродиада бросила мужа своего Филиппа, от которого у нее дочь Саломия, и живет в незаконной связи с братом его, Иродом. Она пылает гневом на обличения Иоанна, который не поддается ни угрозам, ни соблазнам. Но первосвященников она закупила, и они молчат. Рассчитывая на это, она идет вместе с Иродом во храм, без стражи, только со служителями. Пользуясь этим, иудеи хотят побить Ирода камнями и убедили Иоанна восстать против нарушителя закона вместе с ними. Ирод и Иродиада в храме. На жертвеннике пылает огонь. Иудеи держат каменья под полою и камень кладут в руку Иоанна, чтобы он первый бросил им в Ирода. И вот в душе Крестителя возникает сомнение после того, что он слышал об учении Того, кому он призван уготовить путь. Любить не только ближнего, но любить врагов!?.. И подняв камень со словами «Во имя Того... который меня... тебя.... любить велит», Иоанн выпускает камень из рук на пол и умолкает. Стража схватывает его и связывает. В народе раздался стон: «Горе нам! И он нас оставляет! Горе нам!» Смущенные иудеи не могут себе объяснить, что сделалось с Крестителем, почему он, такой праведник, такой бесстрашный, в котором они готовы были видеть самого Христа, такой блюститель закона, бессильно выпустил камень из рук?

Ирод после этого успокоился насчет Крестителя и насчет Того, которого ждали иудеи. Он посещает Иоанна в тюрьме и разговаривает с ним с насмешкою: «Ты ненавидишь фарисеев, и я их ненавижу; ты ненавидишь первосвященников, и я их не люблю. Чего мне тебя бояться?» И тот царь иудейский, которого ждут, Он тоже ему не страшен и над Ним он смеется. «Тот, который идет, во мне не нуждается, — говорит Иоанн, — но когда ты увидишь Его сам, ты перестанешь смеяться...»

Ирод, продолжая иронизировать над Иоанном, велит снять цепи с него и допустить к нему учеников его. В это время является к Иоанну Саломия, страстная, дикая, необузданная дева, вся плоть и желание, «сладкая, как грех». Она пылает страстью к пророку, к этому сильнейшему из сынов Израиля; но он гонит ее спокойно, повелительно, и она уходит от него с яростью оскорбленной самки. Пришедшим к нему ученикам, из которых большинство уже перешло к Христу, он говорит, по евангельскому тексту, чтоб они шли ко Христу и спросили у Него: «Ты ли тот, кому должно придти, или другого ожидать нам?»

У Ирода пир. Саломия должна плясать на этом пире, где будут присутствовать римляне во главе с Вителлием, будущим римским императором. Иродиада

недовольна тем, что Ирод велел снять оковы с Крестителя. Ее мстительная женская душа не может простить ему оскорблений, и она говорит Саломии, чтоб она потребовала головы Крестителя, как награды за свою пляску. «Я буду стоять за тобой, как твоя воля», — говорит она. И Саломия пляшет, и приводит в восторг Ирода и его гостей, и Ирод велит привести Иоанна и объявить ему, что он должен умереть. Иоанн просит отсрочки. Вителлий смеется над этой просьбой, говоря, что только римляне умеют умирать. «Я послал послов и жду их возвращения», — говорит Креститель, но к кому послал, не отвечает. Саломия готова даровать ему жизнь, если он станет перед нею на колени и попросит пощадить его жизнь. В это время входит тюремный смотритель с учениками Иоанна, которые возвратились от Христа. Иоанн спрашивает их, они отвечают ему. «Христос окружен народом. Он делает чудеса. Его слушают с сияющим глазами и невыразимой радостью. Лицо его подобно солнцу, движения — лучи света. Когда мы увидели улыбку его, мы пали ниц пред ним и в душе почувствовали невыразимое спокойствие. Речь его — братская речь, приятность ее, как приятен ветер, дующий вечером с моря». Слова Христа они передают евангельскими словами: «подите возвестите Иоанну, что видели и слышали. Слепые прозревают, а хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о Мне». Последних слов они не понимают. Но Иоанн понял их, и его предсмертная речь — почти дословное повторение Евангелия от Матфея, гл. 11, ст. 3—15. Ирод посылает его на казнь и говорит, смеясь: «Когда придет Тот, о ком ты мечтаешь, я поклонюсь ему, как кланяюсь тебе». Пир продолжается. Слышится шум голосов за занавесью, отделяющею пиршествующую залу от улицы. Саломия выбегает вслед за Иоанном, и Ирод и гости его видят ее на дворе: она держит высоко на руках блюдо с головой Крестителя и пляшет... Голова Крестителя падает с блюда на землю, и Саломия является на пир как безумная и в полубесчувственном состоянии. Иродиада уводит ее вон...

Остаются одни мужчины, эти декаденты изжившего Рима. С улицы доносятся клики, громче и громче, торжественнее и торжественнее. — «Что это такое?» — спрашивает Ирод. — «Это — народ, встречающий кого-то радостными кликами». — «Кого же это? — спрашивает Ирод, — ведь Иоанну я отрубил голову». — «Посмотри, государь, сам на Того, кто идет мимо». Ирод со смехом велит отдернуть занавес. Открывается вид на улицу. Она полна народа, и все крыши домов усеяны мужчинами и женщинами, которые держат в руках пальмовые ветви, поднимая и опуская их, и в воздухе стоят могучие и полные гармонии звуки: «Осанна в высших, Осанна Царю иудейскому! Осанна!» Ирод берет чашу вина, поднимается на самую верхнюю ступень, с которой видна вся улица, и говорит: «Кланяюсь тебе... я, царь...». Но язык ему не повинуется далее, чаша с вином выскальзывает из рук его, и он отворачивается и закрывает лицо плащом. Все другие, римляне и иудеи, забыв пиршество, стоят и смотрят в молчаливом изумлении. Клики «Осанна» восторженными волнами движутся в воздухе...

Вот краткий пересказ драмы Зудермана. Она поставлена в Берлине и Дрездене. Я не стану разбирать ее, ибо это не входит в мою задачу. Скажу только, что написана она трезвою прозою, с явным желанием подделаться под простой язык Евангелия и уловить, не всегда счастливо, самый дух этой чудной книги. Но по сравнению с «Самаритянкой» Эдмона Ростана, этим фальшивым, напыщенным, сентиментальным произведением, драма Зудермана чрезвычайно выигрывает

своей искренностью, этическим спокойствием, удачными народными сценами и прочувствованным религиозным настроением.

В один год два талантливых драматурга, француз Ростан и немец Зудерман, написали по драме из жизни Христа. Гауптман тоже пишет драму из евангельской истории. В его «Потонувшем колоколе», в его «Ганнеле» есть уже христианские созвучия. Второстепенные писатели возвращаются к мистериям, и они даются в рабочих кварталах Парижа. Живопись возвращается к личности Христа. Талантливый Удэ изображает ею Его благодатную, сияющую кротостью фигуру в современной обстановке бедных рабочих. Роман начинает искать Христа и воплощать Его учение в современные лица, в особенности английский роман. В обществе, в лучших слоях его, чувствуется и высказывается потребность чего-то нового, которое есть не что иное, как возвращение к Евангелию. После полувека критики евангельской истории, после исследований тюбингенской школы, после Штрауса, Ренана, после ученых и сухих отрицателей, желавших приблизить личность Христа к еврейскому воззрению на него, после материализма, хвастившегося тем, что он все понял и разрешил, Христос снова является в сиянии своего идеального, воистину божественного учения и точно снова идет Христос в мир, снова «приближается к людям в небесном спокойствии и чудном отдалении». Точно снова «готовится путь Господу», но иными, современными путями, литературою, искусством, критикою отживающих сторон цивилизации, горячею проповедью любви к ближнему. Жажда истины, жажда веры, никогда не иссякавшая, с новым порывом, накануне нового века, обращается к тому же источнику, из которого вышло и целым морем разлилось евангельское учение...

25 января (6 февраля), № 7871

CCCVI

Отец повесил сына — вот сущность процесса кальвиниста Жана Каласа. Каласу было в 1762 г. шестьдесят три года. У него были жена, четыре сына и две дочери. Он жил в городе Тулузе и торговал там индийским ситцем. Старший сын желал непременно идти по юридической карьере и переменил протестантство на католицизм: в то время для протестантов были закрыты многие карьеры. Отец расстался с сыном, но давал ему содержание. Другой сын его, Марк-Антоний, был, что называется, неудачник. Он страдал меланхолией, часто говорил о самоубийстве, приводя цитаты из Плутарха, Сенеки и Монтеня и читал наизусть монолог Гамлета «Быть или не быть», вел игру и проигрывал большие суммы. В день смерти он играл несколько часов кряду. Вечером 3 октября 1761 г. Марк-Антоний вышел из-за ужина. Другие члены семьи, среди которых был и один гость, продолжали разговор некоторое время и в $^3/_4$ десятого мать сказала другому своему сыну, Петру, чтоб он взял факел и посветил их гостю сойти вниз. Они идут и видят, что двери магазина отворены, что на двух половинках их положен шест, а на нем висит в петле Марк-Антоний. Вся семья сбегается. Стараются оживить труп, бегут в аптеку, но все усилия остаются тщетными. Приходят власти, собирается толпа. Кто-то кричит: «Каласы зарезали своего сына за то, что он хотел перейти в католичество!» И этот голос услышал следователь, и разом осенила

его мысль, что это — дело религиозной вражды. Самоубийцу похоронили, как мученика, а Каласа арестовали.

Следствие было произведено небрежно и пристрастно, и парламент[1], большинством восьми голосов против пяти, приговорил Жана Каласа к смертной казни и предварительной пытке. Во время суда и на пытке Калас неизменно повторял одно и то же, что он — невиновен. У эшафота, когда монах убеждал его признаться, Калас сказал: «Неужели вы думаете, что отец может убить сына!» Вися на колесе, разбитый, изуродованный, он отвечал на требование назвать своих сообщников: «Но разве могут быть сообщники там, где не было преступления». Его казнили в марте 1762 года, и труп сожгли на костре.

Так как сообщников отыскать не удалось, то жену его, сына Петра, служанку и гостя, бывшего у Каласов в вечер происшествия, освободили, но потом нашли, что это непоследовательно, и новым приговором осудили Петра на изгнание, которое состояло в том, что его отдали под надзор доминиканских монахов; оттуда он через четыре месяца бежал в Женеву, а двух его сестер, остававшихся на свободе во время процесса, заключили в монастырь.

Когда Вольтер узнал об этом деле, он сказал, что если католики не хороши, то гугеноты еще хуже. Но случайный разговор с одним французом, который следил за делом в Тулузе, навел его на сомнения. Ему захотелось убедиться, с чьей стороны был фанатизм, со стороны ли отца, убившего сына, или со стороны судей. И он начинает волноваться, расспрашивать, писать письма, приглашает к себе Петра Каласа, расспрашивает его, обращается к людям признанной честности и беспристрастия и приходит к нравственному убеждению, что осужден невинный. Но нравственного убеждения недостаточно — необходимы были юридические доказательства, и Вольтер с настойчивостью необыкновенною, с проницательностью из ряда вон открывает и такие доказательства. Он с удивлением узнает, что тогда в судопроизводстве принимали «четверти улик, восьмые улик, так что четыре утверждения, с одной стороны, и восемь слухов, с другой, составляли полные улики и заменяли двух свидетелей». Пришлось бороться против равнодушия высших властей, против всемогущества судебного сословия и тулузского парламента, который долго не выдавал самого дела. И Вольтер победил, наконец. 28 февраля 1765 г., через три года после казни Каласа, вдова и дети покойного были оправданы, честь его восстановлена, и тулузский парламент получил приказание вытереть на своих регистрах прежний приговор и на полях написать приговор оправдательный. Париж принял это решение с восторгом, и Вольтер, обнимая в Фернее маленького Петра Каласа, плакал вместе с ним от радости. Дело Каласа — один из тех редких писательских подвигов, которым всемирная литература вечно будет гордиться. Дело было не в спасении одной семьи, не в оправдании памяти казненного. Оно имело огромные последствия, как дело гуманности и справедливости, как дело контроля общественного мнения над судами, и Екатерина II назвала Вольтера в своем письме к нему «адвокатом рода человеческого»: «вы боролись с соединенными врагами людей: предрассуд-

[1] Парламентами в монархической Франции старого режима назывались верховные королевские суды, учреждения которых относятся к XII веку и компетенция которых росла вместе с ростом королевской власти. Таких парламентов было несколько, и судейская власть была очень влиятельна и сильна — *А. С.*

ком, фанатизмом, невежеством, ябедой, дурными судьями и формой той власти, которая в руках тех и других». Когда в 1778 г. Вольтера торжественно встречали в Париже, кто-то спросил простую женщину, не знавшую грамоте, кого это так празднуют: «Разве вы не знаете, — сказала она,— это — спаситель Каласов».

Я не думаю, что об Эмиле Золя когда-нибудь простая душа, не знающая его произведений, скажет в умилении: «Это — спаситель Дрейфуса», даже если б он его спас.

Я начал говорить о деле Каласа именно потому, что Э. Золя, по отношению к Дрейфусу, сравнивают с Вольтером. Тут большая разница.

Начать с того, что Э. Золя только *присоединился* к защитникам Дрейфуса и присоединился уже после того, как они составили план компании, образовали капитал для подкупа и расходов следственных, скупили частные письма, поместили в газетах сотни статей и потратили миллионы франков для своих целей, но ни одного *нового факта,* необходимого для пересмотра процесса, и ни одного доказательства в пользу преступника не представили.

Вольтер явился *инициатором,* зачинщиком, *единственным* человеком, который обратил внимание на процесс Каласа. К Вольтеру присоединялись потом люди, им убежденные, а не Вольтер к ним. Вольтер сам произвел следствие. Он сам собрал все данные, сам написал объяснительные брошюры и распространил их. В то время и в зародыше не было ни той журналистики, которая к услугам всякого выдающегося писателя, ни палат, ни политической свободы, и ни железных дорог, телеграфов и телефонов, которые теперь так помогают сношениям между людьми. Он пользовался только почтою и оказией. Несмотря на свою знаменитость, на переписку и знакомство с коронованными особами, он, шестидесятивосьмилетний старик в то время, писавший Екатерине II, что он «старее Петербурга» (он родился в 1694 году), употребил несколько лет на агитацию. Он рассылал свои брошюры высокопоставленным и влиятельным людям, к юристам, адвокатам, к духовным, между прочим к кардиналу де Берни: «Вы спрашиваете меня, почему я взялся за этот процесс? Потому что *никто за него не брался».* Он не упускал случая упомянуть о Каласе, попросить о доставлении сведений, убедить, чтобы о Каласе «кричали, кричали, как можно больше кричали». Он написал о Каласе даже И. И. Шувалову, любимцу Елисаветы Петровны; в первых письмах, которыми обменялись Екатерина II и Вольтер (1765—1766 гг.), говорилось о деле Каласа: Екатерина II преклонялась перед его защитою невинного, а Вольтер благодарил ее за помощь семейству несчастного казненного. Самый ярый враг Вольтера не мог бы заподозрить его в каких-нибудь расчетах, ибо дело шло о несчастном казненном и его жене и детях, у которых не было ни друга, ни защитника, ни копейки денег, — ничего, кроме позора. «Философ не писать только должен, а помогать людям», — говорит этот великий француз, наполнивший весь XVIII век своим именем. «Когда высшие совершают явную и жестокую несправедливость, — говорит он позже и по другому делу, — нужно, чтобы сто тысяч голосов говорили им, что они несправедливы. Такой приговор, произнесенный нацией, есть единственное их наказание: это — общий набат, будящий заснувшую справедливость, предупреждающий ее, чтобы она стояла на страже, спасающий жизнь множеству невинных».

Э. Золя стал на сторону человека, у которого было уже множество защитников в обществе людей богатых и влиятельных, в мире интеллигенции и журнали-

стики, в палате и сенате; у которого была свободная семья и родные, обладающие миллионами и всеми средствами для того, чтоб заставить себя слушать, и они добились этого задолго до вмешательства Золя. Дрейфусы и семья Калас так же похожи друг на друга по своему положению, как Ротшильд и тот нищий, которого все сторонятся и бегут от него, как от заразы. А разница во времени и нравах! Дело происходило в 1762 г., когда во Франции господствовали предрассудки самые кричащие, когда произвол был явлением постоянным, когда существовала пытка, колесование, костры, и вы сами определите, насколько заслуга Вольтера выше и значительнее.

Вольтером руководила вера в правду, и он добивался пересмотра процесса средствами убеждения и подбора доказательств. Он говорил потом: «Боже мой, братья мои, как правда сильна! Парламент заставлял работать руки палачей, закрыл доступ к самому делу, приказал молчать, а правда поднимается против него со всех сторон и заставляет его краснеть». Золя, в письме своем к президенту Фору, перефразирует приведенные слова Вольтера так: «Истина в самой себе заключает силу, которая уничтожает все препятствия. И когда ей загораживают дорогу, когда заключают ее под землю на более или менее продолжительное время, она там, накопляясь, приобретает такую силу взрыва, что взрывает все с собою». Вольтер умел убедить в истине, Э. Золя хочет добыть истину взрывом. Ошибки бывают в судейских решениях, но они поправляются не взрывами бомбы, не революционными приемами, не подкупом.

Вольтер никого не обвинял ни в каких преступлениях. Он отыскивал только доказательства невинности казненного. Э. Золя выступил с обвинением резким и властным, когда Эстергази был оправдан. «Я обвиняю», «я обвиняю», «я обвиняю» (j'accuse!), повторял он многократно в своем письме и обвинял министров, офицеров, армию, военные суды и поместил это обвинение в газете Клемансо, сообщника таких негодяев, как Рейнак и Корнелий Герц. По-видимому, убежденный в том, что предавал Эстергази, а не Дрейфус, он храбро бросился в штыки и достиг цели — его предали суду. Необходимо, однако, заметить, что самая инициатива обвинений не принадлежит Эмилю Золя: обвинял прежде него Матье Дрейфус майора Эстергази, обвинял еврей Бернар Лазар и Пати де Клама, и военный суд, и называл обвинительный акт против Дрейфуса «лживым»[1]. Э. Золя, таким образом, стал на место Бернара Лазара, дал дрейфусаром свое огромное имя и свою несомненную честность. Но положил ли он все это действительно на доброе дело? Это — большой вопрос. Можно думать, что если процесс Дрейфуса правительство захочет пересмотреть — это было бы необходимо, — то Эмиля Золя дрейфусары оставят одиноким, ибо есть основание думать, что они совсем пересмотра не хотят и знают, что пересмотр окончится не в пользу Дрейфуса. Им необходима победа над правительством, а вовсе не победа правосудия. Им необходима легенда о «мученике еврее», а вовсе не его оправдание... Им хочется вырвать тайну из рук правительства, чтоб его скомпрометировать и уронить и,

[1] Вышла в Париже очень любопытная книга: Capitaine Paul Morin. Dreifus? Paris. В этой книге капитан Морен собрал все то, что было напечатано по делу Дрейфуса в течение 1894—1897 гг. Из этой книги следует, что дело начато брошюрой Б. Лазара, вышедшей в 1896 г. в Брюсселе и разосланной всем членам палаты. В том же году было бурное заседание палаты по поводу этой брошюры. Кастелен сказал тогда горячую и огромную речь. — *А. С.*

главное, уронить военных. С патриотической точки зрения, компания, к которой пристал Э. Золя, несомненно антифранцузская компания, если принимать в соображение то возбуждение умов против Германии, которое несомненно сказалось во время этой агитации. Раны не зажили еще, и бередить их опасно. И французский народ, очевидно, это чувствует. Иначе, как объяснить себе, что около правительства сплотились и народ, и общество, и политические партии, начиная с монархистов и кончая радикалами?.. Французы не могли еще забыть Панаму и могущество подкупа. Еще Шамфор сказал, что с тысячью луидоров можно наделать в Париже порядочного шума. А тут пущены в ход сотни тысяч, миллионы. Кроме того, необходимо принимать в соображение, во-первых, могущество плутократии, преимущественно еврейской, во-вторых, французскую гордость, которая не допускает поражения иначе, как вследствие измены. Ведь и поражение 1870 г. произошло, по мнению французской массы, только потому, что была измена...

Эмилю Золя, который не принял всего этого в соображение, при всем его таланте, далеко до всеобъемлющего разума Вольтера, именно разума. Вольтер действовал одиноко, на свой страх, не в сообществе с денежными тузами, он действовал только в духе гуманности и справедливости и притом в процессе, который не имел никакого международного и политического значения. Патриотическое чувство ни с какой стороны не было затронуто отстаиванием невиновности Каласа. Процесс же Дрейфуса — процесс политический, международный, процесс об измене, о выдаче тайн врагу Франции. Э. Золя, конечно поступает совершенно бескорыстно, но он вообразил, что, написав серию «Ругон-Маккаров», он уже читает ясно все мысли и дела современников своих и может крепким обвинением заставить идти за собою всю страну...

Если суд присяжных оправдает знаменитого писателя, то только потому, во-первых, что самое обвинение против него поставлено чрезвычайно узко, а во-вторых, потому, что он и заслуживает оправдания: он ведь в этом деле — только козел отпущения, искренний литератор, явившийся в хвосте Бернара Лазара, Шерер-Кестнера и Матье Дрейфуса, — в хвосте обвинителей и обвинителем остался, как преимущественно обвинителем остается он и в своих романах. Но с живыми людьми невозможно поступать так, как с придуманными лицами, которым можно приписать все, что хочешь. Живые люди кричат, волнуются, ненавидят, дают отпор...

29 января (10 февраля), № 7875

CCCVII

Еще в начале дела Дрейфуса я говорил, что это — борьба еврейства с христианством, а не борьба из-за человека, неправильно осужденного. Я должен прибавить к этому, что эта борьба и против армии и далеко не еврейства только.

Процесс Э. Золя напоминает собою в некоторых отношениях время Конвента 1793—1794 гг., когда страсти бушевали во Франции, когда народ, возбуждаемый вождями революции, ломился на заседания, рукоплескал казням, кричал: «смерть роялистам», «на фонарь аристократов», пел «Карманьолу» у подножия эшафота и производил не только беспорядки, но восстания. Тогда утверждалась республика террором, и революционные суды посылали на казнь всех приверженцев мо-

нархии, с уничтожением которой официально уничтожена была и христианская церковь. Роялисты, клерикалы и в значительной степени военные — вот где эшафот брал свои жертвы. Руководители революции, вроде Робеспьера, ненавидели вождей армии, хотя и нуждались в них; они старались поставить их в полную зависимость к себе, и двадцатичетырехлетний статский, Сен-Жюст, отправлялся в армию делегатом от Конвента и казнил там беспощадно военных по одному подозрению... Не видим ли мы теперь нечто подобное, по крайней мере, не слышим ли мы в заседании суда, в печати, на улицах отголосок того времени? Разве не происходит борьба не только против церкви, но и против религии, не только против военных генералов, но и против армии?

Крики «vive l'armee», раздающиеся теперь повсюду во Франции, так же неприятны многим желающим управлять Францией, как были неприятны и во времена Конвента. Им грезится военная диктатура, вспоминаются Наполеоны, вспоминается Буланже. Э. Золя в своей брошюре «Lettre à la France» негодующим языком говорит, что французы, во-первых, «желают генерала», что в них «нет еще республиканской крови» и, во-вторых, что они «желают возвратиться к христианской церкви, к алтарям». Он с гневом говорит о церкви, во имя равенства всех, но забывает, что евреи сильны и своей церковью, своей синагогой. Ратуя против христианской церкви, он косвенно защищает еврейскую религию, которую еврей хранят, как зеницу ока, и еврейское господство. Когда у нас г. Игн. Закревский («Юридическая Газета») говорит по поводу криков против евреев в «скептической и свободной Франции», во Франции, «которая родила Вольтера», такую фразу, что «Франции стыдно проявлять подобные признаки зоологического регресса», то это только доказывает, что г. Игн. Закревский, конечно, просвещенный юрист, богатый общими местами, быть может, даже недурной зоолог, но он не хочет видеть экономических и исторических причин таких явлений в народной жизни Франции.

Во Франции всего семьдесят тысяч евреев, не исповедующих христианской религии (с евреями-христианами всего около полумиллиона), и в руках этих семидесяти тысяч евреев сосредоточено около *четверти всего движимого имущества* Франции, по статистическим данным последнего времени. Можете вообразить, какое влияние дают эти капиталы еврейству. И одно это обстоятельство может встревожить Францию. Французский народ, такой сплоченный, такой однородный, такой превосходный и неустанный работник, такой экономный народ, выставивший миру сотни великих людей, оказывается вдруг бессильным против горсти иноплеменников-евреев, которые не создавали этой Франции, не участвовали в ее судьбах, а только эксплуатировали ее богатства самым легким трудом, при помощи биржи, банков, синдикатов и проч. Неужели наука, литература, искусство, высокие идеи, упорный труд — все это должно склонить голову перед еврейским капиталом, перед уменьем овладеть им? Такой вопрос может придти в голову всякому французу. А когда это еврейство затевает, исключительно в собственных *расовых интересах*, страшную агитацию, бросает обвинениями направо и налево, не щадя начальников армии и главного штаба, требуя раскрытия государственной тайны, — нечего негодовать на Францию за ее крики.

Известный карикатурист Каран д'Аш, вместе с столь же известным Форeном, стали издавать новый сатирический листок под заглавием «Psst!»... Одна карикатура этого листка весьма наглядно передает значение процесса Э. Золя и отвеча-

ет его негодованию против генералов, выраженному им в «Lettre à la France». Изображен кегельбан, около которого стоит в гордой позе, задом к нему, немецкий офицер. Все кегли уже посбиты. На них подписи: «администрация», «финансы», «промышленность», «торговля», «печать» и проч. Все это сбито евреями и их единомышленниками. Остается одна кегля, которая еще стоит — это солдат во фрунте. Жирный еврей, наклонившись, размахивается, с шаром в руке, на котором надпись «Эмиль Золя», против этой единственной кегли — солдата, представителя французской армии...

Удастся ли его сбить? Вот вопрос. Адвокат Эмиля Золя Лабори воскликнул на этих днях в суде: «Армия пойдет сражаться, если будут достойные вожди». Но если этих вождей унижают, если военного министра называют изменником, если генералов громко обвиняют в стремлении к военной диктатуре, если защитники Дрейфуса обвиняют военные суды в том, что они осуждают невинных, а виновных оправдывают, если главный штаб подозревают в подделке правосудия и документов, то способствуют ли все это утверждению армии в дисциплине и в доверии к своим вождям? Не прав ли народ и публика на улицах и в суде, когда они делают представителям армии потрясающие овации? Не лучше ли это большинство нации понимает интересы Франции, чем это незначительное меньшинство, отстаивающее Дрейфуса и хвастающееся тем, что оно получает множество сочувственных телеграмм из всей Европы. Несомненно, что Э. Золя не ожидал ничего подобного, когда писал свое обвинительное письмо г. Фору. Но процесс этот принес свою пользу, ибо дал возможность Франции высказать свое мнение, свои желания. Это — своего рода плебисцит, в котором Франция выражает свое патриотическое чувство...

Что касается адвокатов, то они не только не перестанут требовать «тайный документ», который был будто бы показан судьям во время процесса Дрейфуса, но, если б его им принесли в заседание суда, то они стали бы говорить, что документ этот подложный, что ему верить нельзя, что надо произвести экспертизу, надо вызвать в свидетели немецкий главный штаб и т. д. и т. д. Даже если б немецкий главный штаб представил французскому суду присяжных подлинные донесения Дрейфуса, то и тогда адвокаты продолжали бы утверждать свое вопреки стихиям...

7 (19) февраля, № 7884

CCCVIII

Граф С. Д. Шереметев давно занимается историей Смутного времени, которое в нашей истории имеет огромное значение, доселе еще мало определенное и разъясненное историками. Передо мной «Письма К. Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени». Письма эти были писаны покойным историком к графу С. Д. Шереметеву в период времени с 1892 по 1896 гг. Всех писем 91. Письма являются в печати под редакцией А. О. Круглого, по желанию покойного Константина Николаевича. Все они проникнуты тем благодушием, тем желанием открыть истину, тою охотою помочь своими знаниями и советами, которые свидетельствуют о благородном характере русского историка и о его беззаветной преданности любимой им науке.

Письма эти писаны наскоро, не отделаны, иногда с сокращениями слов, и тем они драгоценнее для характеристики человека и историка. Это — как бы устная беседа авторитетного академика с любителем истории, который напал на верный след в объяснении исторических событий и с постоянством, заслуживающим всякой похвалы, преследует свои цели. Письма графа С. Д. Шереметева, на которые отвечает К. Н. Бестужев-Рюмин, не напечатаны. Это, конечно, большой пробел, так как иногда трудно понять, о какой детали идет речь. Но в этих письмах разбросано столько замечаний, высказано, хотя и кратко, столько верных взглядов на наших историков, на лица и события XVI—XVII вв., что мы имеем нечто очень откровенное и правдивое в форме живой беседы, где человек прямо высказывает свою мысль, не заботясь ни о какой «литературе», ни о каких литературных округлениях и смягчениях речи.

Большую часть в этих письмах занимает личность первого Самозванца. Граф С. Д. Шереметев, путем тщательных разысканий в архивах, в монастырях, в книгах, добивается ответа на вопрос: кто был названный царь Дмитрий? Для решения этого вопроса приходится изучить все боярские, дипломатические и др. отношения. Свои соображения, находки и догадки он сообщал Бестужеву-Рюмину, который отвечал ему, постоянно одобряя на дальнейший труд и даже говоря, что он «желал учиться, так как этим временем детально не занимался». И он действительно учился, как только может учиться настоящий и добросовестный ученый, для которого важно прежде всего открытие истины, кто бы ее ни открывал. Бестужев-Рюмин совсем не был похож на тех историков, которые свысока смотрят на людей, не принадлежащих к их цеху...

Я не могу сказать, что Бестужев-Рюмин разделяет все мнения графа Шереметева. Он нередко сомневается в положениях своего собеседника, но чувствует, что тот на верном пути, и видит, что имеет дело с человеком, который поднимает завесу над некоторой исторической тайной. — «Продолжайте, продолжайте! — Это очень любопытно. — Это ново и поучительно. — Об этом, сколько помнится, еще никто не говорил. — А вот вам еще такие-то сведения. — А об этом напечатано там-то. У меня под рукой нет книг, но поищите в таком-то сочинении. — Предложу несколько своих вопросов. — С этим никак не могу согласиться». — Такими и подобными словами испещрены эти милые письма не только прекрасного ученого, но и прекрасного человека. И счастлив граф Шереметев, что напал на такого человека, который своим вниманием к нему удесятерил его бодрость к работе. Я думаю, что были счастливы и студенты, имевшие дело с таким профессором, и по праву покойный внес свое имя не только в историю русской науки, но и в словарь русского языка, где будет увековечено слово «бестужевка».

Написал ли граф С. Д. Шереметев свое исследование, — я не знаю. Напишет ли он его, — тоже неизвестно. Но, судя по письмам Бестужева, материал он собрал превосходный и догадки его заслуживают общего внимания историков. «Письма» эти являются как бы пробным шаром. И путь исследования, и догадки, и открытия новых источников, все это получило одобрение покойного историка, который повторяет несколько раз, что необходимо «капитальное издание документов ранее появления исследования, которое будет на них основано». Привести все в систему, написать исследование — это большой труд. Но дело сделано, во всяком случае, много.

Граф Шереметев думает, что Самозванец — истинный сын Грозного, что убит в Угличе не царевич Дмитрий, а подложный ребенок, и что боярским заговором 1606 года убит не Самозванец, а последний царь из дома Рюрика, и убит едва ли не сознательно, едва ли не в полной уверенности, что убивают не Самозванца. Мысль, руководившая графом Шереметевым, конечно, не нова. Она жила и в XVII веке, перешла в XVIII и XIX. Говорят, что XI том Карамзина был написан в том же смысле, т. е. Самозванец являлся сыном Грозного, но Карамзин, вследствие каких-то влияний, отказался от этого взгляда и переделал этот том в существующий теперь вид. В частных разговорах между людьми, занимавшимися историей, мысль эта дебатировалась, но поддерживать ее открыто, при прежней цензуре, было невозможно. И в этом случае граф Шереметев счастлив: вот что пишет ему Бестужев-Рюмин 2 декабря 1894 года: «Вполне понимаю ваши слова, что теперь с особою ревностью приметесь вы за дело, которому так сочувствовал незабвенный усопший (император Александр III). При нем ваше исследование наверное бы прошло. Для него ведь существовала только истина; никакой условности он не допускал, и то, в чем он видел истину, то безусловно признавал. Будем надеяться, что это предание свято сохранится и в будущем». И оно сохраняется, как свидетельствует об этом издание этих «Писем». Правдивый труд, предстоящий графу Шереметеву, в значительной степени затруднен тем, что не только «правда», но и «следы» ее заметались старательно в течение многих царствований и доказать то, что он хочет доказать, можно только косвенными уликами.

Исследования о. Пирлинга, живущего в Париже, направлены в ту же сторону. Я получил сегодня его издание — фототипическое факсимиле письма Лжедимитрия к папе Клементу VIII (24 апреля 1604 года). Письмо это было доселе известно в латинском, очень неверном, как оказывается теперь, переводе о. Савицкого. О. Пирлинг нашел его теперь в оригинале, по-польски, все писанное рукою Лжедимитрия (3 страницы), крупным почерком, в Кракове. О. Пирлинг, переведя его на французский язык, замечает, что «синтаксис оригинала оставляет желать многого», т. е. что Лжедимитрий не владел польским языком, как природный поляк. Он был несомненно русским человеком, как признает это безусловно и Бестужев-Рюмин.

1 (13) апреля, № 7936

CCCIX

Когда, несколько лет тому назад, мы впервые в русской печати заговорили об обеднении центра России, о необходимости поднять его культуру, о том, что на него у нас мало обращается внимания, нас встретили наши собратья насмешечками и указывали на общие меры с таинственными намеками. Теперь эта тема о центре принимается и нашими противниками, и повторяется то же самое, что говорили мы давно.

В нашем центре — голод. Эта беда скоропреходящая, но беда великая и беда настоящая в том заключается, что наш центр, наша Великая Русь заброшена, та Русь, которая создала Русское государство и вынесла его на своих плечах и доселе выносит. Окраины начинают процветать, а центр беднеет, нуждается в помощи правительственной, в общественном подаянии. Да, подаянии, господа. И это

надо помнить и надо вещи называть своим именем. На окраинах — каменный уголь, железо, на окраинах — климат умеренный, на окраинах — больше школ и их процентное отношение к населению гораздо выгоднее. Окраины поощряются и с политической точки зрения, с целью привязать их благодарностью к центру. Говоря образно, окраины поднимаются, как стены котла, а центр падает ниже и ниже. Несколько лет тому назад я прочел в одном английском многотомном сочинении, посвященном Палестине, что центральные русские губернии ожидает та же судьба, какая поразила цветущие прежде местности Палестины. Отсутствие лесов, высохшие реки, смытый в овраги и унесенный полой водой чернозем, вредные ветры, иссушающие почву, — вот что дают нам исследования земских деятелей. Уменьшение лошадей, рогатого скота, вырождение крестьянина — вот что к этому прибавляют...

Недород! Неурожай! Да разве все дело в этом? Недород — и уж есть нечего, ни хлеба, ни сена, ни соломы. Но ведь при нормальном, культурном положении вещей, десятина в черноземных губерниях должна приносить до ста пудов, а приносит она при обыкновенных урожаях до пятидесяти пудов, а у крестьян и того меньше. В Западной Европе десятина дает, в среднем, до восьмидесяти-восьмидесяти пяти пудов хлеба, и колебания там этой цифры, даже при неурожаях, не так значительны, как у нас, где, при недороде, с пятидесяти пудов соскакивают на двадцать и десять пудов с десятины. При таком положении вещей недород уже бедствие. По мере того, как истреблялись леса, засыхали реки, начинались засухи, появлялись горячие ветры, наш пахарь оставался при старых взглядах на землю, при старой сохе и при старом безграмотстве. Со времен Ивана Грозного он не подвинулся вперед в большинстве своем, и наш деревенский быт XV—XVI столетия можно изучать по последним годам XIX. Естественные условия изменялись к худшему, а крестьянин не был вооружен к борьбе с ними ничем, решительно ничем. Уродит Бог — есть чем прокормиться, не уродит — ступай и побирайся или голодай в холодной избе. Вся надежда на Бога. Тогда как, Бог-от-Бог, да сам не будь плох. А как же не быть плохим, когда нечем взяться?

История не ждет и создает новые задачи, перед которыми отступать нам невозможно. Создались вопросы на Дальнем Востоке. Требуются новые средства для поддержания там нашей силы, и естественно, что именно центр даст наибольшие суммы. В нем прирожденная, великая нравственная и политическая сила, к которой так привыкли, которая так выручала всегда, даже в годы великих бедствий, что мы и не думаем, что она может истощиться, что ее надо пощадить, придти ей на помощь, поддержать ее всеми силами.

Необходимо несколько лет кряду направить все усилия на то, чтобы поднять наш центр, придать ему жизни и силы для борьбы. Необходимо делать это систематически, постоянно, не уставая, уделяя для этого особые средства, и центр наш возвратит все это сторицею в будущем. На этом должна строиться вся внутренняя политика наша.

Вопрос образования стоит на первом месте, и образования преимущественно профессионального, низшего, среднего и высшего. Лет восемнадцать тому назад я говорил о необходимости ста миллионов на школьный бюджет. А ему и теперь далеко до этой цифры. Но я вас уверяю, что решительные нужны средства, а не прежняя постепенность. Физические условия центра портятся, а потому постепенность эта не дает того, что надо. Ведь у министра финансов нашлось девяно-

сто миллионов на флот, когда того потребовал Дальний Восток. Почему же не найти девяноста миллионов на народное просвещение? Нами владеют предрассудки странные как в частной жизни, так и в государственной. Но государственная жизнь должна бы освободиться от них. Набежит беда — и находятся деньги. Начинается война — и миллиарды тратятся и как-то очень свободно тратятся. Внешние вопросы почему-то стоят впереди, и для поддержания своего достоинства ничего не жаль. Дома — нет, прибегаем к заграничному займу. Но, кажется, нигде еще не было случая, чтобы прибегали к займам для учреждения школ, ремесленных, богоугодных, санитарных и других общественных заведений. На все на это идут какие-то остаточки, и дело тянется, тянется и приносит совсем не те плоды, на которые можно было бы рассчитывать. Правильно поставленная, богатая средствами школа не только могла бы многое сделать, но и предупредить те нежелательные течения, которые являются вследствие самообучения. Когда нет школы, школою является первый листок, первая книжка, а иногда произведение потайной типографии или литографии, первый разговор с человеком, который хочет «просвещать» по-своему. Контроля тут никакого изобрести нельзя и ничего нельзя предупредить...

Рядом с просвещением должны быть пути сообщения. На это, по крайней мере, не жалеют денег, но далеко не всегда, и случай, иногда очень нежелательный и полезный только немногим, и тут играет роль. Центр наш и в этом отношении отстал. Иногда кажется, конечно, несправедливо кажется, что есть враги у нашей Великой Руси, лукавые и дальновидные враги, которые втайне желают ее гибели, для которых чем хуже, тем лучше, и вот они-то и умеют тормозить дело. Иногда слышишь такую аргументацию: «это — наше, не уйдет, а вот окраины — вот задача!» А так как окраин много, а центр — один, то, как в великорусской сказке, по губам его текло, а в рот не попало. Или: «надо распределять блага повсюду. Государство не может покровительствовать одному району».

Да разве это покровительство? Это — самозащита, господа, самозащита...

11 (23) апреля, № 7944

СССХ

Открываемый завтра памятник Александру II напоминает прекрасные страницы недавней русской истории. Чем дальше мы отступаем от того времени, тем оно ярче, тем плодотворнее. Современники обыкновенно не видят, не могут видеть, а иногда и не хотят видеть многого из того, что у них перед глазами и что видят потомки прозревшими глазами. Так росток дерева не обращает на себя большого внимания. Но проходят годы, десятки лет — и оно вырастает, крепнет и гордо поднимет свою вершину к небу.

Для эпохи императора Александра II еще не наступила история; даже не исчезли еще совсем пристрастия, огорчения, потери, порожденные его временем. Но всякому, даже пристрастному, человеку ясно, что это царствование начало собою новую жизнь, как новая жизнь началась царствованием Петра Великого. Петр был гений, Александр II не был гением, но при Александре II русская земля

была гениальнее и восприимчивее, чем при Петре, поэтому оба царствования могут быть сравниваемы по своим побуждениям, результатам и значению.

Со смерти Петра не было такого царствования, какое пережили мы, теперь — старики. Я даже думаю, что таких радостных, таких полных надеждою, ожиданиями и горячею верою годов, как первые годы царствования Александра II, совсем и не было в нашей истории. Точно весна началась после страшно суровой зимы и грозной военной невзгоды, уносившей безжалостно свои жертвы. И какая весна! Могучая, шумная, удивительно дружная, разом растопившая лед, как-то мгновенно обратившая снег в воду и вызвавшая из обильно напоенной земли роскошную растительность, которая зацвела, задышала и обещала удивительные плоды, сочные, зрелые, вкусные и питательные. Я видел эту изумительную весну, видел этот расцвет во всем его блеске и чувствовал со всеми, что это — новая, небывалая весна, весна русского возрождения. Но лето уже не так походило на весну, а осень, дождливая, неприветливая и бурная, не дала тех плодов, которых мы ожидали с такою самоуверенностью. Точно слишком дружная весна породила много пустоцвету, точно слишком густая растительность не давала полной свободы каждому отдельному ростку, чтоб вырастать ему прямо и сильно. Тем не менее ясно видно было, какие силы кроются в нашей земле и как она может быть производительна при хорошем уходе, тепле и свободе.

Впервые с царствования Александра II мы зажили европейскою жизнью и вместе с тем стали сознавать себя. До этого времени Европа у нас чувствовалась мало и как-то урывками, маленькими оазисами, одинокими пейзажами. Истинная европейская волна проникла к нам только с той весной, о которой сказал я и которая так озарила нас всех. Не принеси эта весна свободы рабам, — она ничего бы не принесла. Она только бы нашумела и поблестела, как фейерверк, и была бы памятна только разочарованиями. Свобода рабам принесла и новый суд, и земство, и умножение великих школ и дорог и, главное, умножение духа самосознания.

Так как русская земля при Александре II была гениальнее и восприимчивее, чем при Петре Великом, то в этом обстоятельстве кроется несходство двух этих времен и различие судеб двух преобразователей. Петр поднимал Россию на дыбы, насильно тянул ее в Европу, тянул мерами иногда жестокими, оскорбительными и находил себе врагов во всех классах населения, врагов деятельных и непримиримых. Даже собственный сын восстал на него и за это погиб. Александру II не приходилось насильно тянуть Россию в Европу: она уж сама туда просилась, сама туда рвалась и не одними своими верхами. Не поднимать ее на дыбы предстояло, а вести вперед по тому пути, на который вступил Петр с такою решительностью и который замечен был его предшественниками.

Как у Петра, и у Александра II были враги. Но враги Петра осуждали его и за то, что он Россию хотел сделать Европою и, главное, за то, что слишком поспешно и круто желал он это совершить. У Александра II были и враги, подобные тем, которые ворчали на Петра и ему противодействовали в деле сближения с Европою, и такие враги, которых у Петра не было. Эти последние враждовали против него за то, что он реформировал Россию слишком медленно, что он останавливался в раздумье перед препятствиями, перед сложными интересами историческими, экономическими и сословными, что он отступал и оглядывался

назад. Эти враги много раз посягали на его жизнь и злодейски лишили его жизни за то, что он неизмеримо лучше, чем они, понимал потребности России и не был ни по разуму, ни по воспитанию, ни по характеру и призванию своему ни страшным деспотом, ни революционером.

Знаменитый историк Моммзен сказал о Бисмарке, после его смерти, что «он был настоящим государственным человеком, а настоящий государственный человек не может не быть деспотом и революционером». Мерка эта спорная, но если признать ее справедливой, под нее подходит Петр, но не подходит император Александр II с своим добрым и мягким сердцем, с своим просвещенным уважением к традициям, к человеческому достоинству и с своим романтизмом, обильно привитым ему Жуковским и временем, в которое прошла его юность. Он не мог идти резким, прямолинейным и страстным путем. Он не мог класть свое обширное государство на наковальню и тяжелым молотом ковать его, как ковал Петр. Вся душа его, все существо его характера было против этого. Он по духу был реформатор мягкий, человечный, благожелательный, искавший общей пользы и общих сочувствий своим реформам и общей признательности — увы! этого чрезвычайно редкого явления во всемирной истории: современники сплошь и рядом — неблагодарные и недовольные люди. Он не желал разделения, междоусобия сословий и интересов. Он хотел избежать всякой вражды, явной и тайной, и не думал, что в то время, когда он только начинал реформы, вражда эта уже тайно работала, стараясь уронить его реформы, и дух революции тлел где-то и готов был разгореться...

Надо сказать здесь, что он беден был истинно даровитыми сотрудниками, людьми с убеждениями искренними и непреклонными. В то время, когда литература при нем блистала первоклассными талантами и в художественных образах представляла читателям Русь, открывая ее тайные и явные помыслы, выдвигая ее характеры, ее доблести и пороки, на вершинах администрации не было таких «властителей дум», таких ярких талантов, таких искренних и одаренных людей, которые понимали бы и душу царя, и душу своего отечества.

Но в чем он был непреклонен, в чем выразилась вся его доброта, вся его воля, в чем явился он поистине доблестным владыкой, это — в освобождении рабов и в тесно связанном с этим — учреждении нового суда. Трудно представить себе, какую он вынес борьбу не только как монарх, но и как человек, как истинно русский гражданин за это освобождение. Когда явятся на свет Божий все документы, все письма, все мемуары, только тогда можно будет вполне оценить этот великий царственный подвиг. Еще при жизни дали ему имя Освободителя, и это чудесное имя, более понятное, более говорящее всем и каждому чем имя «великого», останется с ним на веки вечные. Это имя было на устах всех, оно дано ему «едиными устами и единым сердцем» Русской земли. Он останется родоначальником свободной России. Проектированный сын его воспитателя, Жуковским, утвержденный наследником его, императором Александром III, и открытый его внуком, императором Николаем II, памятник ему в московском Кремле — это золотое звено между старою и новою Русью, это — символ ее непрестанного обновления в духе русской свободной народности, верной своим царям, своей вере и всем лучшим заветам своей истории.

16 (28) августа, № 8070

CCCXI

Боже мой, если бы почин государя принес миру те блага мира, о которых мечтают лучшие люди так давно! Мир обновился бы и стал бы неузнаваем в какие-нибудь десятки лет. Все в нем изменилось бы, начиная даже с домашних нравов. Ведь если разобрать подробно этот военный вопрос, то окажется, что от него все зависит. Нет того явления в жизни политической, общественной и семейной, на которое не влияла бы война, вооружение, необходимость иметь войска. Даже религиозные псалмы не чужды воззвания к войне, разделения людей на друзей и супостатов. Трудно себе даже вообразить то состояние государств и обществ, где исчез бы военный вопрос и военный бюджет и все то, что связано с войною и военным.

Но вы скажете, что дело не идет так далеко. Никто не мечтает о разоружении всего мира и о том братстве людей, которое должно обратить все народы в один народ и образовать то царство, о котором Христос говорил: «да будет едино стадо и един пастырь». Осуществление подобной мечты предполагает такое духовное развитие человечества, где звериного ничего бы не осталось в человеке, где не было бы ни зависти, ни ревности, ни соперничества, ни стяжания, ничего такого мелочного и порочного, что теперь есть в большей или меньшей степени в каждом человеке.

Да, это — мечта.

Но эту мечту обновляет почин государя и пробуждает веру в нее. Этот почин потому и знаменателен, потому он и трогает душу, что указывает на отдаленную мечту, на высочайший идеал государственной и общественной жизни. Чем выше, чем человечнее, чем благороднее идея, тем осуществление ее дальше, недостижимее. Это — бесспорно; но она приближается верой в нее, эта вера может осветить новым светом пути к идеалу, может дать им особенный блеск и указать практические дороги для достижения самых благородных целей. Монарх могущественного государства, притом такого, которое преимущественно считается военным, на которое указывают, как на постоянно стремящееся к завоеваниям, монарх такого государства, говорящий, что настало время подумать о тяжком бремени, которое лежит на народах вследствие неустанного стремления к вооружению и перевооружению, говорит не слова только, которые разносит политический ветер, но совершает прекрасное дело...

Как бы ни приняли за границей это прекрасное дело, с искренней ли радостью, с лицемерием ли или сомнениями, как бы ни старались его сузить, указать на непрактичность, на невозможность прийти к каким-нибудь реальным и полезным для человечества выводам, все же оно останется в истории лучезарным моментом, как первое заявление с высоты трона, как искренний голос повелителя сотни миллионов людей, как порыв христианской души к миру всего мира...

Такое дело не останется бесплодным.

Но осуществлению лучших идеалов мешают холодная рассудительность и та бездушная ирония, которая все хочет подвергнуть если не осмеянию, то недоверию и сомнению. Этого быть не может! Это никогда не случится. Об этом даже мечтать нельзя! Если тысячи лет мир жил войною и враждою, то так это и будет. Наконец, война полезна потому-то и потому-то. Она вызывает героизм и велико-

душие. Есть воїны освободительные, направленные к тому, чтоб уничтожить иго, лежащее на народах, и создать им независимость и благополучие. И так далее, и так далее...

Все благородные и возвышенные идеи встречаются большинством подобными же доводами. Обыденный ум туго двигается дальше практических соображений и мало интересуется тем, что будет когда-то. Скептицизм легче усвоить, чем веру, пронизировать приятнее и, вероятно, полезнее для ежедневного обихода, чем стремиться к самоусовершенствованию и общему благу. Но скептицизм порождает иногда то самодовольство, которое не видит ничего до тех пор, пока камни не возопиют. Так было в то время, когда божественное учение Христа стало распространяться и расти не на почве сомнения, а на почве веры и любви, преобразивших душу человеческую первых христиан. Кроме того, все знают, что благородные идеи, считавшиеся непрактическими, невозможными несколько веков тому назад, привились и вошли в жизнь. Если в области науки являются изобретения, оглушающие и ослепляющие своей внезапностью, но несомненно приготовленные издали, путем труда, изысканий и веры во всемогущество науки, то и в области духа человеческого происходит вечная, невидимая работа, направленная к усвоению лучших идеалов, и работа эта никогда не остается без последствий, реформирует мир и победа остается за верующими...

Естественно, что разом не исчезнет из мира такое привычное, такое господствующее явление, как воїна. Надо очень много совершить в области человеческого духа, чтоб оно исчезло. Но приближаться к этому необходимо, и мне кажется, что почин государя как бы говорит: верьте и надейтесь, исполняя свой долг. Невозможно далее оставлять дело вооружений их естественному течению, которое обращается прямо в противоестественное. Оно приносит бедствия и грозит в будущем бедствиями горчайшими, из которых воїна еще не самое грозное. Необходимо поэтому смотреть вперед, разобраться в этом вопросе сообща, исследовать его со всех сторон. Необходим почин государственный, почин монархов и правителей народов в этом огромном деле, и благо государю, который первым решился призвать весь мир к совещанию. Государи доселе брящали оружием, говорили воинственные речи, удивляли или смущали мир военными воспоминаниями, указывая на победы минувшие и грозя победами будущими. И вот раздалась иная, великодушная речь, и она не остается без последствий полезных и ярких, как не останется без них всякое истинно благородное дело, основанное на лучших стремлениях души человеческой.

20 августа (1 сентября) № 8074

CCCXII

Месяца два я прожил на Красивой Мечи, в Тульской губернии. Это — «литературная река». Литературных рек у нас мало, т. е. таких рек, которые прославлены нашими художниками. Красивая Меча известна по «Запискам охотника» Тургенева. Она действительно красиво мечется по своей долине и от слова «метаться» происходит ее название, а не от слова «меч», как это значится на карте Генерального штаба. Я думаю так потому, во-первых, что все говорят Меча, а не

меч, и во-вторых, потому, что в нее впадает Семенек, от «семенить», а в Семенек — Гоголь, который, вероятно, течет прямо гоголем. Стало быть, названия трех рек произошли от свойства их течения.

Русская жизнь, представленная в самых значительных произведениях нашей литературы, наблюдалась преимущественно в Тульской и Орловской губерниях. В Орловской жил Тургенев, в Тульской живет Толстой. Таким образом, в этих двух губерниях почти вся наша бытовая литература, наш роман, и можно смело историю нашей новой литературы называть так: «История орловско-тульской литературы». Все описания русской природы и русского быта, характеры мужиков и помещиков — все это природа, быт и характеры этих двух губерний, мало друг от друга отличающихся. Тут — дворянские гнезда, длинная цепь преданий, любовных романов, разнообразных и живописных характеров. Тут центр русской жизни, не настолько близкий от Москвы, чтобы обезличиться под ее влиянием, и не настолько далекий, чтобы оставаться чуждым столичному воздуху. Тут и природа представляет разнообразие и оригинальную красоту. Холмистые местности, дальние кругозоры, большая населенность, любовь к садам и паркам. Иногда речки текут в очень крутых берегах, то каменистых, то черноземных, то лесных, то луговых. Лесные берега, впрочем, почти везде обратились в луговые, благодаря безжалостному и глупому истреблению лесов. Опоздай на несколько лет закон о сохранении лесов, закон все-таки дурно исполняемый[1], центр России обратился бы в степь тем скорее, чем больше помещичьи имения переходили и переходят к купцам.

— Чья это усадьба? — спросил я у ямщика, недалеко от Ельца.

— Барская усадьба купцов Пантелеевых, — отвечал он.

«Барская усадьба купцов» — явление сплошное, особенно около городов. На пространстве десятков верст все скуплено купцами, все водяные мельницы — купеческие. Пять, десять тысяч десятин во владении одного купца — явление, конечно, редкое, но имения в пятьсот, тысячу, полторы тысячи десятин встречаются часто. И купцы совсем не жалуются на хозяйство и охотно платят по двести рублей и более за десятину. Таким образом, купец съедает помещика; но съест ли он его действительно, еще вопрос, о котором я поговорю в другой раз. Во всяком случае, если б пропаганда балтийско-российская, направленная к уничтожению общины, удалась, то и крестьянская земля отошла бы к горожанам и образовался бы грубейший пролетариат в недалеком будущем.

В то время, когда помещики жалуются на рабочих, на их неисправность, на нарушение ими условий и т. д., в то время, когда даже новому человеку ясны какие-то полувраждебные, полуиронические отношения крестьянина к помещику, а помещика — к финансовому чиновнику, купец умеет ужиться и с финансовым чиновником и с крестьянином.

Рядом с нашей дачей, которую я нанимал у помещика, загорелся скирд соломы купца N. Вы знаете, как горит солома. Не только тушить нельзя, но и подойти близко невозможно. У богатого купца не оказалось никаких пожарных инстру-

---

[1] Город Ефремов, Тульской губернии, имеет большую дубовую рощу. Городская управа начинает ее сводить, под такими курьезными предлогами, и по таким ценам отдает ее на сруб, что курам на смех. Лес около городов — это благодеяние природы, но купцы природу видят только в деньгах и в лавках.

ментов. Но приехал из города урядник и начал кричать на крестьян, которые стояли на пожаре и ничем не могли помочь:

— Благодетель ваш горит! Что вы смотрите, такие-сякие, ведь благодетель ваш горит! — повторял он, не жалея своей груди.

А крестьяне говорили: — Ишь, усердствует из-за соломы. А у нас избы горели, да никогда мы урядника у себя не видали на пожаре. — А когда из города прилетели пожарные трубы, чтобы посмотреть догорающую солому, удивление крестьян было еще больше. Очевидно, городская пожарная команда помогает купцу и в его деревне...

У одного богатого мужика, имеющего конную молотилку и веялку и убиравшего помещичий хлеб по найму, я спросил, что он платит трем своим работникам.

— Всем трем восемьдесят копеек в день, — ответил он.

— Это очень дешево, — заметил я.

— У нас это — обыкновенная цена. Бабе — десять-пятнадцать копеек, мужику — двадцать-двадцать пять. Я не обижаю. Мои работники со мной едят. А вот у N (он назвал имя богатого купца) работают по двадцать копеек на своих харчах. Мужик только и ест у него, что свой хлеб, да водой запивает.

Помещица жаловалась мне на своих рабочих. Чем гуманнее она к ним относилась, тем они были неисправнее. Даже бабы поднимали нос. Тогда как у купцов ничего этого не было. Там они работали по четырнадцать часов под неустанным градом понуканий и брани приказчиков.

Отчего это так? Меня интересовал этот вопрос. Проще что ли купец и ближе к крестьянству, или купец, как торговый человек, имеет более возможности помочь крестьянину товаром, мукой, солодом, солью и т. д., или крестьянин знает очень хорошо, что от купца ему никакой потачки и никакого снисхождения не будет и что он, крестьянин, на пространстве тридцать верст кругом находится во власти купца, скупившего помещичьи имения? Или потому, что как скоро имение перешло к купцу, всякие надежды на прирезку земли или на новый надел совсем исчезают у крестьянина? Купец прекращает всякие крестьянские вожделения, и земельная собственность в его руках кажется крестьянину столь же незыблемой, как и собственность крестьянина, купившего землю. Или потому, что сам помещик находится во власти купца, который покупает у него хлеб и ставит ему цены, имея торговые сношения и приказчиков, чего у помещиков нет?

Мне отвечали на мои вопросы именно в этом роде. Очевидно, этому явлению много причин и главная — та, что у купца есть деньги, есть организация, есть купеческая солидарность, а у помещика всего этого не хватает.

— Можно ли заниматься хозяйством? — спрашивал я.

— Можно, но только имея оборотный капитал и перерабатывая сельскохозяйственные продукты.

Мне жаль помещиков. И сам я — не помещик, и моем роде никогда не было помещиков, но мне жаль, что они уходят. Если б еще на их место становилось крестьянство, крестьянское благосостояние могло бы увеличиться. А то ведь этого нет. Вместо дворянства являются помещики из других сословий и очень аккуратно берут крестьян в свою крепость...

Беднеют помещики, беднеет и крестьянство. Отчего эти явления идут параллельно? Если бы беднел помещик, а крестьянин богател, или богател бы купец и крестьянин богател, можно было бы махнуть рукой на помещиков. Не ими

одними жила и живет Русь, и есть такие исторические явления, против которых ничего не поделаешь. Но крестьянство беднеет, а богатеет только недоимками.

Начинают продавать за недоимки крестьянское имущество. Кто является покупщиками? Городское мещанство. Оно устраивает стачки и покупает за грош то, что стоило рубль. Односельчане почти не торгуются на этих торгах. Город живет крестьянством и начинает беднеть с обеднением крестьянства. У нас все дело в деревне, и государство только тогда будет процветать, когда станет процветать деревня...

30 августа (11 сентября), № 8084

CCCXIII

При открытии памятника П. И. Чайковскому в здании петербургской консерватории, представитель Русского театрального общества, В. С. Кривенко, пожелал, чтоб в «недалеком будущем» был открыт памятник и А. Г. Рубинштейну. Г. Черемисинов напечатал у нас, что подписка на памятник Рубинштейну открыта в 1894 г., что ее следует адресовать в санкт-петербургскую консерваторию и что «нет сомнения, что всякий, у кого в душе сохранилась хоть одна чарующая нота, услышанная в исполнении Антона Рубинштейна, или хотя бы благодарное воспоминание о нем, как о щедром художнике-благотворителе, поспешит принести свою посильную лепту на сооружение ему памятника в стенах созданной им консерватории».

Совсем не то, что следовало сказать. Дело не в памятнике в «недалеком будущем», дело не в «чарующей ноте», не в «щедром художнике-благотворителе», который, кстати сказать, одному учащемуся поколению дал многие тысячи со своих концертов и спас от нужды и помог учиться стольким молодым людям. Дело в том, что при открытии памятника даровитому ученику Рубинштейна, — Рубинштейна, создателя консерватории, не было в этой консерватории ни одной черты, напоминающей учителя Чайковского, основателя консерватории и первого ее директора. Музыка А. Г. Рубинштейна может нравиться или не нравиться, «чарующие ноты» могут сохраниться в памяти или исчезнуть, могут умереть те, которые эти ноты слышали «в исполнении Антона Рубинштейна», о «художнике-благотворителе» могут забыть даже те, кому он благотворил, — явление печальное, но весьма естественное, но невозможно забыть никому о том, что он сделал для консерватории, для развития музыкального образования в России.

Напомню вкратце. В 1858—1859 гг. Антон Григорьевич, при содействии великой княгини Елены Павловны, основал Русское музыкальное общество, ныне императорское; 17 октября 1861 г. высочайше утвержден устав санкт-петербургской консерватории, и в 1862 г. консерватория была открыта. Ант. Гр. был первым ее директором с 1862 по 1867 г. В 1865 г. был первый выпуск учеников консерватории, в числе их был Чайковский. После выхода в отставку Рубинштейн помогал консерватории советами и материально; в 1887 году, 12 января, он вторично вступил в должность директора консерватории. 1 января 1889 г. с высочайшего соизволения Большой театр был передан консерватории, и Ант. Гр. содействовал пришканию средств для перестройки его, причем вложил в это дело своих собственных денег около ста тысяч рублей...

Не правда ли, этот простой перечень фактов очень красноречив. Несмотря на это, Рубинштейна забыла консерватория...

Чайковский умер раньше Рубинштейна на целый год. Когда он умер, образовалась комиссия для сбора пожертвований на его памятник. Когда умер Рубинштейн, образовалась такая же комиссия. Памятник Чайковскому открыт преимущественно на деньги правоведов, которые видели в Чайковском товарища по Училищу правоведения, свою гордость и красу. Не будь этих денег, памятник не был бы готов, ибо россияне не Бог весь какие охотники выказывать сочувствие знаменитым своим гражданам при помощи своего кошелька. У Рубинштейна нет таких товарищей по воспитанию, которые бы поспешили собрать возможно скорее необходимую сумму на памятник, и так как он еще не заказан, то через год памятник ему не будет поставлен и, пережив на год Чайковского, Рубинштейн может пережить его и в могиле несколько лет без памятника...

Как бы то ни было, тут разговор может идти не о комиссиях по сбору денег на памятник, из которых одна собрала пятнадцать тысяч рублей при помощи правоведов, а другая не собрала необходимой суммы, а о самой консерватории, только о консерватории, которая не имеет ни малейшего права закрываться комиссией по сбору пожертвований на памятник. Консерватория обязана была оставить какой-нибудь след участия Рубинштейна в ее создании. Она, конечно, скажет, что денег нет. Это — самый легкий и самый пошлый ответ. И на подобный ответ ей следует сказать, что не денег у нее нет, а нет у нее внимания к Рубинштейну. Он умер, она его забыла. Если бы она его помнила, она сумела бы что-нибудь сделать. Русское присловье говорит: «мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь», т. е. дело не в ценности подарка, а в памяти о человеке, в данном случае о таком, который приобрел всемирную известность и сделал для музыкального образования в России очень много. Если бы консерватория хотя мраморную доску на стене своей прибила, где несколько слов говорили бы о Рубинштейне, и тогда она не заслужила бы упрека. Ведь даже первых учеников учебного заведения заносят на мраморные доски, как же музыкальное учреждение не сделало хотя этой малости для наглядной памяти о человеке, который давал ей и свое время, и свои знания, и свои деньги — много денег. Почему она не сделала хотя этой малости? Да просто по российской небрежности, по российскому неуважению к истинным заслугам своих сынов. Каких-нибудь полтораста рублей на мраморную доску у консерватории не оказалось! Тысячи рублей было бы достаточно для прекрасного бронзового бюста. Дня одного консерватория, в этом новом своем здании, не должна была бы жить без внимания к своему знаменитому основателю. Что же это такое? Умер — и забыли! Не напоминает о себе — и его сдали в архив! Голые стены консерватории покраснели бы от этого невнимания, если б камень ожил. Неужели есть другие знаменитости, которые живы и считают себя больше и лучше, чем был Рубинштейн. Если они есть и живы телом, то они наверное мертвы душою. Что-то канцелярское чувствуется в этом невнимании, канцелярское или партийное, которое в данном случае еще хуже канцелярского равнодушия и канцелярского высокомерия. И это жрецы искусства! Довольно подозрительные жрецы...

28 октября (9 ноября), № 8143

CCCXIV

— Правда, ли, что вы, русские, терпеть не можете англичан? — спросил меня один англичанин, приезжавший в Россию прошлым летом.

Что касается меня, то я их очень люблю. Люблю за Шекспира, Байрона, Вальтер Скотта, Диккенса и проч. Люблю за их твердость, за их просвещение, за их свободу и независимость, которые они отстаивали и отстаивают целые века. Люблю за свободу мнений, люблю за все культурное, литературное, гуманное. Люблю за их прекрасные книги, даже за дороговизну их солидных и роскошных книг, ибо только богатая и образованная страна платит так же охотно за роскошь книг, как и за другую роскошь, например, роскошь обстановки, роскошь обедов и балов. Я люблю у них все то, что любил бы у себя дома.

Так как, к сожалению, я заражен патриотизмом, против которого теперь высказываются хорошие и проницательные умы...

Вы знаете, эти умы говорят, что патриотизм не нужен, а нужна любовь к ближнему, что настает время, когда эта любовь победит все и обратится в неодолимую страсть жить для других, а не для себя. Конечно, это было великолепно, но к несчастью, мы видим, что самые образованные народы об этой любви думают весьма мало, а много упражняются во вражде между собою, называя это борьбою, и с другими народами, называя это войною...

Так как я заражен патриотизмом от юности моей и не могу победить это чувство и в старости моей, то и английский патриотизм я прекрасно понимаю и понимаю тот шум, которым гремит Англия вследствие победы над Суданом и отступления Франции из Фашоды. Если бы мы сделали что-нибудь подобное, я тоже стал бы шуметь и подливать масло в патриотический огонь. Я не могу быть равнодушным к победам нашим и нашим завоеваниям материальным и нравственным. Меня все еще привлекает «крест на св. Софии», о котором когда-то, во время русско-турецкой войны, я писал горячие статьи. Я никогда не мечтал о Порт-Артуре и ничего в этом Артуре не понимаю, к моему огорчению, но я мечтал и продолжаю мечтать о более близких вещах, и если бы кое-что из этого близкого очутилось в руках России, я был бы очень рад. Я бы не стал рассуждать, хорошо ли это или нет. Не стал бы потому, что я — маленькая спица в огромной российской колеснице, а эта колесница движется по земле с упорством великорусского характера многие сотни лет, и будет двигаться, как я это чувствую своею верующею душою, еще долго и долго. Я знаю, что нас — сотня миллионов, что наши души — крепкие души, что наш ум способен к созиданию, к завоеванию жизни и всех ее удобств, что вместо сегодня умерших явятся завтра живые и будут работать и укреплять то, что приобретено...

Я верю, что патриотизм нужен, что бы против него ни говорили. Я знаю, что он способен к увлечениям, к ошибкам, что он переходит через край и иногда становится смешным. Но даже в смешном виде он лучше своей противоположности, пренебрежения к родной стране, равнодушия к ее интересам. Недостатки патриотизма — недостатки всякой сильной страсти, всего живущего и желающего жить. Страсть лучше равнодушия и даже той рассудительности, которая на всяком шагу спрашивает: «Не опасно ли это? Хорошо ли это?» Пощупал и отскочил, чтоб не навлечь себе беды. Пощупал еще раз и отскочил еще дальше и еще

больше напугался. Это нехорошо. У бодрого, живого народа разум всегда явится в необходимую минуту, потомки сумеют скорее исправить увлечения и ошибки патриотизма, чем ошибки отскакивания, вялости и недомыслия...

Но чувствуя себя патриотом, в известные моменты начинаешь чувствовать некоторую вражду ко всем тем, кто стоит на дороге и кто мешает вам двигаться, как бы вы хотели, в том числе и к англичанам. Тут патриотизм одних сталкивается с патриотизмом других, является зависть, раздражение, ирония, насмешка, вражда...

Замечательно, что этой зависти и раздражению совсем нет места, когда является где-нибудь какой-нибудь гений, необыкновенный талант, художник, писатель, композитор. Почему это? Да потому, что этот гений принадлежит всем, все народы могут взять из его произведений все, что в состоянии понять и усвоить, все, чем способны наслаждаться. Около гениев в мире искусства и литературы — любовь, потому что они всем принадлежат, потому что все чувствуют, что гении — передовые бойцы за братство народов, за любовь к ближнему. Напротив, около гениев в мире политики, дипломатии и войны — вражда, потому что эти гении действуют только в пользу одной своей страны; посредственности и бездарности в этом отношении поступают еще хуже, ибо они и своей стране ничего, кроме вреда, не приносят.

В телеграмме из Парижа от 27 октября я прочел, что «парижские газеты не думают, чтобы английские демонстрации были направлены только против Франции: они имеют целью устрашить всю Европу». Англичане умеют устрашать. Министры и ораторы говорят речи на обедах, на митингах, в парламенте. Газеты свободно выражают свои мнения и разносят по всему миру все то, что делается в стране и к чему она приготовляется, и даже то разносят, что не приготовляется и что не имеется в виду, но что может напугать. Шум патриотический способен напугать одним своим шумом. Так, демонстрации военные иногда предупреждают войну. Правительство пользуется всем этим настроением, и никому не приходит в голову останавливать это движение: оно само собой остановится, когда необходимость в нем исчезнет. Общественное мнение — та сила, на которую правительство опирается. И за это я люблю Англию.

Но я не люблю Англии за то, что она нас не любит. А нас она не любит за то, что мы иногда не поддаемся ей и отстаиваем свои интересы. Ей бы хотелось, чтоб мы нигде ей не мешали, чтоб мы вели себя со скромностью школьника, или с приниженнем человека, который считает себя еще слишком малым для того, чтобы сметь с нею спорить, или слишком слабым, чтоб показывать ей кулак. После дела Кушки она подняла такой же шум, как теперь, так же грозила нам, как грозит теперь Франции. Твердость императора Александра III победила ее воинственный шум гораздо вернее, чем дипломатические расшаркивания, которые начались было у нас и проникли в печать.

Нашуметь легче, чем воевать, и с Англией это надо всегда иметь в виду. Она очень хорошо знает, что нам она может вредить только с моря, а что мы ей можем навредить с сухого пути гораздо больше и гораздо верней. Коли дело идет о победе, о приобретениях, пускай они попробуют их вырвать железом и кровью, а не шумом и угрозами. Восхваляя предложение государя императора о разоружении, уверяя, что ему обеспечено горячее сочувствие и поддержка Англии, лорд Сольсбери говорит: «Пока эти усилия увенчаются успехом, мы должны подумать

об окружающих нас опасностях и принять предосторожности». «Пока». Этому «пока» сколько надо лет жизни?.. Во всяком случае, и мы это «пока» должны принять во внимание, как и «опасности и предосторожности». «Мы отвращаемся от войны, но наш долг передать потомству империю нетронутой», — прибавил почтенный лорд. Под «нетронутой империей», он, конечно, разумеет империю прибавленную, округленную, усиленную, во всяком случае такую, которой не угрожали бы опасности, и которая *отдаляла* бы эти опасности как можно дальше и как можно вернее. Эту фразу и мы можем повторять с полным убеждением, и думать, и действовать в том же направлении неуклонно, верные русским задачам и русскому патриотизму и двигая вперед наш ум и талант, наши культурные и нравственные силы, без которых, конечно, спорить с Англией мудрено.

2 (14) ноября, № 8148

CCCXV

На этих днях мне пришлось услышать из уст нескольких иностранцев (французов и немцев), приехавших сюда, любопытные подробности о «вечном» деле Дрейфуса и об его значении. Я постараюсь передать слышанное без всяких комментариев, оставляя сии последние на размышление самих читателей.

Не говоря об евреях — что разумеется само собою, — делом Дрейфуса занимаются преимущественно и с особенною горячностью лютеранские и вообще протестантские страны. В Швеции и Норвегии оно необыкновенно популярно. О нем там говорят едва ли не больше, чем во Франции. В Париже и во Франции оно особенно близко сердцу тоже лютеран (так я буду называть французских протестантов, потомков гугенотов). Все главнейшие защитники Дрейфуса — лютеране и, само собой, разумеется, франмасоны. Много защитников он нашел среди профессоров высших учебных заведений в Париже. Их называют «intellectuels», и большинство их или франмасоны или лютеране. Но молодежь, среди которой масса католиков, за ними не идет. Почему же это дрейфусаровское движение существует среди лютеран? А вот почему. Лютеране ждут возрождения Франции от исчезновения католицизма. Конечно, он потерял свой кредит, но папа все-таки признается и масса народа верует по-католически. Лютеранство не фанатично, рассудочно, смотрит на религию скорее, как на мораль, чем на религию, и потому более соответствует требованиям современного прогресса. Христианская мораль в нем практичнее и потому среди французских лютеран христианская религия и семейная добродетель сохраняются больше, чем у католиков. Переход от католичества к безбожию и отрицанию всякой религии совершается скорее, чем в лютеранстве, в основу которого положен рационализм. Через лютеранство часть Франции сочувственно относится к лютеранской Германии, и дело Дрейфуса соединяет их более и более.

Если Франция падает, то падает благодаря католицизму, как падают все католические страны: Испания, Италия, Австрия, тогда как протестантские страны процветают.

Я прошу читателя помнить, что я передаю чужие речи или, вернее, смысл чужих речей.

Таким образом, лютеранство берет Дрейфуса не как знамя, а как предлог к агитации. К судьбе Дрейфуса оно равнодушно, но путем агитации оно надеется достигнуть целей возрождения и примирения с Германией. Самые нападки на генералов, на армию со стороны приверженцев дела Дрейфуса служат звеньями между Францией и Германией. Конечно, еврейство направляет это движение своими капиталами, но не в ту сторону, о которой думают лютеране. Я в подробности не вхожу.

Итак, подкладка этой «вечности» дела Дрейфуса — лютеранство. Виноват ли он или невиновен? Виноват несомненно, но настолько ли, чтобы попасть на Чертов остров, остается вопросом. В чем, собственно, он виновен, на этот счет ходит множество слухов, передавать которые бесполезно. Заподозрен он был гораздо раньше, чем попал под арест, в военном министерстве.

Раз Буадефр говорил с двумя генералами о подозрениях против Дрейфуса. Вдруг вошел Дрейфус с докладом. Буадефру мгновенно пришло в голову воспользоваться этим случаем, чтобы проверить подозрения свои. Не переменяя тона, не переменив тему разговора, он продолжал: «Мы пошлем Романи в Италию и письма ему станем адресовать в Милан и Флоренцию». Никакого офицера с именем Романи он не знал и назвал первое выдуманное им имя от слова Rome (Рим) — так как говорилось об Италии. Вдруг в Антибе, на итальянской границе, нашелся офицер Романи, который, гуляя, перешел на итальянскую территорию, как это бывало и прежде. Спросили его фамилию. Как только он назвал свое имя, его сейчас же арестовали и продержали в итальянской тюрьме пять месяцев. Этот случай послужил одним из доказательств против Дрейфуса.

Его призвали в военное министерство и продержали там, никуда не выпуская, почти две недели, подвергая допросам и стараясь в это время уловить одну даму, австрийчку, с которой Дрейфус находился в близких отношениях. Тайна допросов Дрейфуса сохранялась в течение двенадцати дней. Но жена Дрейфуса, беспокоясь о муже, адресовалась к адвокату и тайна сейчас же была нарушена. «Libre Parole» первая заявила, что пойман в измене офицер генерального штаба. Так как этот офицер — еврей, то его хотят-де освободить. «Agence Havas» передало это известие всюду. Оно было вывешено в игорном зале Монте-Карло. Там его прочла упомянутая выше австрийчка, уехавшая туда после ареста Дрейфуса, прочла и тотчас скрылась. След ее был потерян. Но знают теперь ее имя и похождения очень основательно: она будто бы служила посредницей в сношениях Дрейфуса с Тройственным союзом.

Арест Дрейфуса повел к агитации и к слишком поспешному военному суду, на котором, однако, десятка два офицеров показывали против него.

Существует ли le dossier secret (тайное «дело»)? Существует. Несомненно, тайная французская полиция «работала» в квартире военного германского агента и похитила многие документы большой важности. Так как эти документы похищены таким экстраординарным образом и вследствие приказа правительства, то, естественно, что об них невозможно говорить официально и невозможно даже представить членам кассационной палаты. На основании этих документов все военные министры и убеждены в виновности Дрейфуса.

Что такое Пикар? Человек умный и талантливый, но прирожденный сыщик. Это — ум подозрительный и наблюдательный. Его знакомые говорят о нем, что раз он с кем-нибудь поговорил полчаса, у него сейчас же возникает dossier

(дело). Он набрасывает себе характер этого лица и намечает его отношения к лицам и партиям. Односторонняя фантазия его работает неудержимо и везде видит интриги. Он в существе дела и внес в генеральный штаб усиленную систему шпионства. Прессансе, один из буржуазных сотрудников «Temps», теперь горячий агитатор в пользу Дрейфуса, издал книгу, в которой привел письмо Пикара к генералу Гонзу. В этом письме Пикар говорит, что Эстергази — изменник и что самое лучшее средство изобличить его — это написать ему письмо от имени германского военного агента такого-то содержания, т. е. подделать это письмо. Пресловутое «petit bleu» сходно с содержанием того письма, которое советовал написать Пикар.

Генералы и офицеры очень озлоблены агитацией против армии и недовольны своим военным министром, Фрейсине, во-первых, лютеранином, во-вторых, приятелем пресловутого Герца и Клемансо. Новый начальник штаба — англоман. Как известно, и французские лютеране, стоящие за Дрейфуса, почти все — англоманы. К чему приведет эта борьба, вероятно, покажет ближайшее будущее. Но она будет продолжаться до какой-нибудь катастрофы, даже и независимо от дела Дрейфуса.

В этом я не прибавил от себя ни слова.

20 ноября (2 декабря), № 8166

CCCXVI

Русский ли город Петербург? Я прочитал в фельетоне К. А. Скальковского о том энтузиазме, который царствовал в северной столице в те далекие дни, когда император Александр II был спасен от первого покушения на его жизнь. «Ничего подобного этому энтузиазму я в своей жизни не видел. И после того говорят, что Петербург — город не русский», замечает автор фельетона, которому, т. е. автору, а не фельетону, за пятьдесят лет. Да, говорят это и говорят, по-моему, большой вздор. Это — все старые отрыжки, традиционные литературные общие места. Аксаков называл Петербург «Ингерманландией» и издевался над ним; раньше его Белинский и Герцен писали параллели между Петербургом и Москвою, но это было еще до проведения Николаевской железной дороги. Погодин и Катков слыли патриотами и архирусскими людьми и к Петербургу тоже относились отрицательно. «Москва — сердце России» — ходячее слово. К этому прибавляли иногда, что Петербург — разум России. Но прибавляли с снисходительной улыбкой: Петербург — новый город, иноземный, и самое название его иностранное, и ничего-то он не знает о России, и ничего-то он не понимает в ней, и патриотизма в нем нет, и связь с Россией у него искусственная, официальная. То ли дело — Москва. Все она знает, чувствует и понимает, как исконно русская, православная, именито дворянская и особенно именито купеческая. Все эти литературные традиции вошли если не в плоть и кровь россиян, то в обыденный разговор и приняты без дальних размышлений. Если в этих общих местах есть правда, то она достаточно износилась. Во всяком случае, Петербург в последний полувек совершенно изменился и представляет собою не только русский город в полном значении этого слова, но и единственный в своем роде русский город. Время берет свое и он растет преимущественно на счет коренного русского населения.

Петербург — не только центр правительственной жизни и военной, не только центр жизни интеллигентной, научной, художественной, литературной, музыкальной, но и сосредоточение представителей огромного большинства России. До пятидесяти пяти губерний дают ему своих жителей. Среди населения Петербурга 87% русских по языку. Четверть населения — крестьяне. Иностранцев всего двадцать тысяч с небольшим. Если немцев по языку вдвое более двадцати тысяч, то немцев по сущности ежегодно уменьшается, ибо русская культура не остается без влияния и на них. Петербург вмещает в себя такое представительство всяких интересов русских, низшего и высшего порядка, какого нет и не может быть в Москве.

Говорят с иронией: «чиновный Петербург». Но чиновник всюду в Европе играет роль. И в Петербурге — это человек образованный, привыкший мыслить, читать и управлять. Правда, он самонадеян и потому односторонен и несколько спесив на иных ступенях, но он привык заниматься государственными вопросами, привык к правительственному труду, и если играет в винт, то ведь и вся Россия играет, но он все-таки играет меньше. Петербургское чиновничество — несомненно большая интеллигентная сила, с установившимися взглядами. Прежнее петербургское чиновничество больше набиралось из таких элементов, которые смотрели за порядком и блистали своей распорядительностью. Они и остались, но составляют незаметную часть другого чиновничества, которое можно назвать культурным. Это чиновничество занимается нуждами и вопросами по земледелию, финансам, торговле, промышленности, просвещению и проч. и проч. Среди него — большая группа техников разных родов, лучших и чуть не единственных во всей России...

Если б собрать вместе хотя за два или за три года те «записки» о разных вопросах, которые печатаются в министерствах и в продажу не поступают, то получился бы весьма ценный сборник интересных, основательных и литературно написанных статей. Эта «министерская» литература в значительной степени восполняет у нас бедную ученую университетскую деятельность, хотя и берет вопросы преимущественно с практической стороны. Петербургский чиновник — политик и демократ, поклонник Европы, правда, но становящийся более и более на ноги, как русский человек, как представитель русской народности. Он не увлекался славянофильством, но выслушивал его; он находил удовольствие в чтении статей Аксакова и Каткова, но не поклонялся им. Москву он никогда «не обожал», как говорят половые, но и никакой вражды к ней не чувствовал. Он понимает, что Москва нужна и что она — сердце России, бьющееся кровью торговли, промышленности и трактиров, где хорошо едят. Он понимает, что та роль, которую играла когда-то интеллигенция в Москве, побледнела значительно, а купечество, которое когда-то дало такой обильный материал Островскому, выросло, благодаря промышленности, в новую и важную силу, хотя и не особенно интеллигентную. Москва потолстела. Петербургский чиновник прошел сквозь самое сердце всех веяний и направлений политических, административных и общественных. Все они оставляли след и в тех бумагах, которые он сочинял и читал, и в самой душе, которая давно перестала быть душою Акакия Акакиевича и постепенно переходила в высшие состояния не только по чинам, но и по развитию и понятиям. В нем образовалась критическая способность и уменье приноравливаться не только к лицам и обстоятельствам, но и к серьезным течениям жизни. Он почти побратался с ученым, музыкантом, художником и сам не чужд

всех этих профессий, подобно Ивану Кирилловичу, который «все играет на скрипке». В западных столицах чиновник — более специалист своего дела, чем у нас в Петербурге. У нас он более или менее все — и чиновник, и депутат, и литератор, и реформатор, и художник, и актер, и композитор. Это — очень сложное существо, и едва ли есть в Петербурге хотя бы один кружок, где бы не было чиновника того или другого ведомства. Таким образом правительственная власть значительно слилась с обществом, и когда говорят об оппозиции общества, то разумеется и часть оппозирующего чиновничества. Газету «Голос» называли прямо либеральным органом чиновничества.

Герцен говорил, что у Петербурга нет ни прошлого, потому что он может вспоминать только о Петре, ни будущего, потому что шквал может поглотить его. Петербург — город настоящего, по его мнению. Конечно, он — город настоящего в том смысле, что он управляет жизнью, повышая ее или понижая и показывая ее уровень в каждую минуту, как барометр показывает погоду. Но у Петербурга есть значительное прошлое и есть будущее, несмотря на возможность шквала. Из Петербурга вся новая жизнь пошла, все реформы, все движения. Он — самый отзывчивый, наиболее читающий и наиболее грамотный город. Неудивительно, что он способен к энтузиазму более всех других русских городов: он свободнее дышит, более общителен, умеет подзадоривать и устраивать овации. Во время общественных бедствий он умеет помогать все более и более; и принципиально и на практике признает необходимость общественной помощи, несмотря на дороговизну жизни. Всякие политические явления, русские и иностранные, волнуют его, решительно во всех классах общества. Чтоб не ходить далеко, напомню, что вопрос о денежной реформе, такой крупный и близкий всем вопрос, волновал настоящим образом только Петербург. Одни петербуржцы подавали свой голос в газетах. Из Москвы ни один человек не отозвался, точно все тамошние денежные люди ничего не умели или не имели сказать. Да и с одним ли денежным вопросом это случилось?! В Москве, конечно, есть приятные вещи, приятные воспоминания и памятники прошлого, но в то время, как в Петербурге интеллигенция — сила, в Москве она точно прячется или придавила ее огромная тяжесть торговли и промышленности. Москва, однако, может назвать несколько крупных общественных благотворителей, устроителей музеев, школ, клиник именно из этой торгово-промышленной среды. Если там оказался «джентльмен», заинтересовавший даже Петербург, то там есть и русские почтенные купцы, радеющие о славе родного города. Вообще, главное отличие обеих столиц в том, что в Петербурге чиновничество в широком смысле слова само выдвинулось и смешивается с другими интеллигентными сословиями, в Москве — купечество стоит впереди и оказывает покровительство интеллигенции. В Петербурге купечество не играет большой роли; даже в Городской думе оно сильно скорее большинством, чем влиянием отдельных лиц. Лучшие городские головы были совсем не из купечества, тогда как в Москве купец Алексеев приобрел всероссийскую известность и заявил себя настоящим администратором.

Очевидно, так и пойдет история. Москва разовьется в огромный торгово-промышленный город, Петербург — в огромный интеллигентный город, правящий во всех сферах и правительствующий город гораздо более, чем Правительствующий сенат.

3(15) декабря, №8179

CCCXVII

Неужели в самом деле Россия «гибнет от золотой валюты» и наше золото, собранное с такими усилиями, уходит за границу, на свою родину, словно недовольное этой побывкой в отпуску? Оно хочет на волю, на простор. Неужели это так? Неужели я был прав, когда говорил, что золото к нам не пойдет? Я не хотел бы быть правым, да и никогда пророческого дара у себя не подозревал. Вопрос, впрочем, не в этом.

Когда золото мы стали собирать, я думал: мы вступаем в новый период собирания. Сначала землю собирали, теперь собираем золото. Так ли это будет трудно, как трудно было собрать землю? Оказалось вовсе не так трудно: золота набралось целый миллиард в весьма непродолжительное время. Но не будет ли бунта, не будет ли восстаний, как было это во времена собирания земли? Но разве золото, этот презренный металл, бунтует? Разве оно знает, что такое свобода, родина, независимость? Что за вздор! Его приручить гораздо легче. И я в это верил и верю до сих пор. Мне приятно было видеть русское серебро и русское золото, которое так долго жило за границей, не взявши даже паспорта. Чтоб его увидеть, надо было самому взять паспорт и уехать в его место пребывания. Это насилие золота над русским полноправным гражданином меня удивляло постоянно, и я обращался часто к своим товарищам по газетной работе, которые знают больше меня, с вопросом: отчего это так? Они мне объясняли, но я мало понимал. Когда явилось оно у нас, я очень обрадовался. Я только пожалел о том, что пять рублей обратились в семь с полтиной. Эта полтина меня очень смущала. Мне казалось, что золотая монета не должна заключать в себе ничего половинчатого. Но я подумал: полуимпериал ведь, а потому и половина, пожалуй, ничего. Не одобрял я также слишком маленького пятирублевика: мне так и хотелось его расплющить — хоть потоньше, да побольше. Но потом я привык и полюбил большие золотые, в 15 рублей. Солидная монета. Уж кстати признаваться: огорчен был я, что не изменили монетной единицы. Я так за это ратовал и так практичными, так верно, так психологически верно рассчитанными казались мне франки и марки. Но и с этим я помирился, будучи от природы оптимистом и верующим. Но вот вдруг говорят, что золото уходит, куда уходит неизвестно. Точно нос майора Ковалева. Был нос и нет носа. Однако, я нимало и этим не смущаюсь. Смущаюсь тем менее, что об уходе золота и разорении России золотой валютой говорит больше всего г. Шарапов и говорит тоном непреложного авторитета. Я и тон этот не люблю, и в г. Шарапова мало верю. Я в него так же мало верю, как и в г. Ротштейна и его финансовую клику. И не верю не потому, что он критикуют настоящую финансовую политику. В ней ошибок наверное много наделано, и отчего не говорить о них. Критика, даже неубедительная и неглубокая; — дело полезное. Она не дает не только почить на лаврах, но даже на постели. А так как лавровых людей всегда гораздо меньше, чем почивающих на постели, которая, к сожалению, часто принимается за лавры, то критика необходима. Она необходимее восторгов, несомненно.

Я не верю в г. Шарапова потому, что он всегда спасал отечество. Просто он никогда ничего не делал, а все для спасения отечества. Он и плужки какие-то

выдумал для спасения отечества. Если б он курил, то не ради удовольствия, а ради увеличения табачного акциза, и когда он выпивает рюмку водки, перед ним акциз сияет, как звезда на небе голубом. Такая уж спасательная натура, как бывают спасательные лодки. И против этого и сказать нечего. Он — искренний спасатель. Но я думаю, что спасителем он не родился. Я разделяю спасителя от спасателя. Спаситель тот, кто спас. А спасатель тот, кто не спас. Мне даже думается, что спасатель тот, кто не спас и никогда не спасет. Это — не математическая истина, а мое мнение. Я искренно желаю моему бывшему сотруднику сделаться когда-нибудь спасителем, но сомневаюсь в этом сильно. Я не переставал сомневаться и в чудодейственных благодеяниях золотой валюты и никогда не верил, что она может обогатить и закончить наш экономический быт в лучшем виде, как говорят торговцы, но я не думаю, что ей нужно спасителя. Она свалилась слишком нечаянно. Мне казалось, что начинать надо было снизу, надо было прежде всего поднять силы народа, устроить его экономический быт, дать ему дышать посвободнее, есть получше, а потом уж, пожалуй, и вычеканить на полуимпериале семь с полтиной вместо пяти рублей. В этих видах я даже советовал спросить помещиков, купцов, людей заинтересованных, насколько нужна золотая валюта. Я всегда был того мнения, что никогда не мешает советоваться даже в делах государственных, т. е. . правильнее сказать: особенно в делах государственных, в которых семь раз отмерить и потом уже отрезать никогда не мешает.

Я не верю г. Шарапову потому, что у него на груди ладанка, в которой зашиты самые верные и самые простые средства против всех недугов и всех чертей. Он верит в эту ладанку и носится с ней, объявляя всем и каждому, что в ней зашит секрет спасения России от всех зол. Он так прямо и говорит, что спасет и притом самым легким образом. «Это возможно и достижимо *гораздо легче, чем можно себе представить,* смотря на окружающие нас беды». Видите, он сам подчеркивает эту легкость. Очевидно, у него ладанка: у него и у его товарищей, которых он рекомендует с трогательным великодушием. Это — гг. Бутми и Оль. Я их совсем не знаю, и о трудах их ни малейшего понятия не имею. Но, очевидно, люди иностранного происхождения, а потому основательные, а если правда, что г. Оль еще служит в банкирской конторе, то он еще основательнее. Спасение России ведь только и можно ожидать из банкирских контор и притом при соблюдении секрета!

Ни в финансовый триумвират, ни в финансовые секреты, ни в ладанку я не верю. О государственных деньгах можно говорить во всеуслышание. Это никогда никому не вредило и всегда приносило пользу. Конечно, критиковать неизмеримо легче, чем создавать, но критиковать все-таки должно. Но говорит, претендуя на создание и спасение: «секрет у меня» — у того наверное ничего нет. Секретные средства по части финансов одно и то же, что секретные лекарства. Я знаю отличное средство исправить наши финансы, даже два средства, которые быстро поднимут благосостояние и которые я не скрываю: 1) упразднить армию и 2) упразднить все налоги. Лучше этого средства никто не отыщет, но мне даже совестно объявлять об этом...

Ах, спасатели, спасатели! Знаете ли вы, что земля наша стоит на трех китах и на трех праведниках? Я это знаю, и знаю, что эти три кита и три праведника никогда о себе не кричат и остаются неизвестными. Я знаю, что они действительно

есть, несомненно существуют, но где они — об этом никто не знает, и в этом-то их чудотворная, спасительная сила. Тут тайна зависит от самой природы вещей. Откройся только их местопребывание, к ним сейчас же налетела бы такая орда прожектеров, просителей, алчущих и жаждущих, что и киты и праведники погибли бы под этой атакой. Они и остаются неизвестными и тайно благодетельствуют России, и прорывается разум, и просвечивает правда, и что это так — свидетельствует вся история Руси, которая не погибала и не погибнет. И я думаю, что три кита и три праведника и на этот раз сделают гораздо более того, что обещают три гражданина русской земли, обладающие секретной ладанкой против всех бед и всех чертей.

10 (22) декабря, № 8186

CCCXVIII

Умер не великий человек, но совершил он почти великое дело. Разумею Павла Михайловича Третьякова. Я его мало знал, всего раза два говорил с ним. Это был скромный по виду, вдумчивый и осторожный на слова человек. Он и о себе, и о своем деле говорил скромно, просто, но сознавая, что это не маленькое дело, что оно оставит след в истории русского искусства. Художники про него говорили, что он «торговался»; как купец он привык к этому и искал «настоящих» цен и их устанавливал на художественном рынке; не имея бешеных денег, железнодорожных или биржевых, он не играл роль мецената и рассчитывал свои покупки, как всякий коллекционер. Он прислушивался к суждениям, к критике, следил иногда за ходом исполнения картины, посещая мастерские, выбирал осторожно, приглядываясь и прислушиваясь, не полагаясь только на один свой вкус и практику и не желая пропустить ничего мало-мальски замечательного. Истратив большие деньги на картины и на устройство здания, в котором помещается его галерея, он отдал все это городу, значит, всем, и вам, и мне, и нашим потомкам самым отдаленным. Это поистине патриотическое дело, без фраз, без громов и самохвальства. На посторонний взгляд оно как будто само собой росло, без всяких усилий и забот, без труда и волнений; на самом деле все это надо было и у этого дела целая история. Оно росло вместе с ростом русского художества, и строился великолепный храм, постепенно камень за камнем, и загорался лучами славы своих богов, своих творцов прекрасного и сильного, достойного жить в потомстве, и эти лучи отражались и на скромном строителе, московском купце, который еще мальчиком, получая от отца карманные деньги, уделял их на покупку картин. Иметь деньги — не важное дело, но уметь ими распорядиться — вот что важно. Отказаться в известной мере от собственности — вот что важно. Люди искренно религиозные говорят про свое богатство: «это мне Бог дал», и часть его отдают Богу и на дела угодные Богу. У других является такое соображение: это — мое и не мое. И в этом — первый отблеск благой мысли. Вы приобретаете своим трудом, умом, знаниями, но в том, что вы приобретаете, есть несомненная часть общего достояния. Почему? Да потому, что мы живем и работаем вместе, среди людей, обстоятельств, зависимости друг от друга, взаимной помощи; невидимыми нитями мы все связаны между собою, и то, что есть я, — в сущности,

не есть что-нибудь совершенно отдельное и отделеное от всех. Чувство собственности глубоко вложено в человеке, а потому уж большая заслуга его, если он скажет себе, что мое — не все мое, а часть его несомненно принадлежит обществу, не семье моей, а обширной семье, которую мы называем своей родиной. Благотворить, созидать общественные учреждения, больницы, клиники, школы, художественные галереи, библиотеки, приюты — значит сознавать, что моя собственность — и моя и не моя. И чем больше будет богатых и достаточных людей, которые будут сознавать это, как долг, как простое, житейское дело, тем лучше жить и тому, кто это делает, и тем, кто этим пользуется. Я думаю, что П. М. Третьяков пришел постепенно к этому убеждению и создал общественное учреждение, которое имело и будет иметь большое воспитательное значение.

В прошлом году я вошел в Третьяковскую галерею, в те комнаты второго этажа, где так много прекрасных картин, где русские известные лица в портретах, где русская жизнь современная и прошлая, представленная ярко, талантливо, во всем своем разнообразии вызывающая сложные и крепкие чувства национальности и художественного удовольствия, — посмотрел я на всю эту прелесть и заплакал от радости, что все это у нас есть, что это выросло в какие-нибудь тридцать-сорок лет, что золотые руки, писавшие все *это,* — русские руки, которыми владела русская голова, просвещенная и даровитая, и что все это собрано трудом и усилиями одного человека, русского купца. И да будет благословенно его имя из рода в род вместе с именами тех художников, произведениями которых населен этот храм. В нем гордишься именем русского, и понимаешь великую даровитость русского племени, и веришь в великое будущее.

Если Москва не воздвигнет памятника своему Третьякову, мраморный статуи хоть в галерее его, — она будет не Москва, не сердце России, потому что сердце России должно понимать и свое значение, и значение тех дел, которые совершаются его истинными гражданами.

11 (23) декабря, № 8187

CCCXIX

К страшным словам московской купчихи Островского «металл» и «жупел» необходимо прибавить слово «валюта». Металл, жупел и валюта — вот три страшных слова. И три человека надсаживаются над валютой: гг. Шарапов, Оль и Бутми, другими словами: гг. Шарапов, Ноль и Будто. Как и почему возник этот триумвират — не знаю, но знаю, что в древнем мире были «монетные триумвиры», наблюдавшие за чеканкой монеты, может быть, нечто вроде министра финансов в трех лицах. Не передать ли финансы у нас тоже триумвирату? Может быть, лучше будет. Читаешь и глазам своим не веришь. Г. Шарапов прямо говорит о себе, что он — «человек, искренно болеющий о России, искренно готовый каждую минуту все поставить на карту за благо России, четверть века работающий только для родины, совершенно устраняющий всякие личные вопросы» и «представляющий у нас действительно какую-то белую ворону». И г. Шарапов прибавляет, что, если бы он «не хлопотал о родине», то «теперь давно бы уже товарищем министра был!» Отчего не министром? Разве министры не говорят,

что они «искренно болеют о России, искренно готовы каждую минуту все поставить на карту за благо России»? Я не сомневаюсь ни в искренности г. Шарапова, ни в искренности гг. министров. Но, кроме искренности, надо еще что-нибудь, и это «что-нибудь» называется знанием, талантом, умом. Я ничуть не удивился бы, если бы г. Шарапов стал товарищем министра финансов. Отчего бы и не стать ему им? Был же им г. Антонович и одно время разыгрывал авторитетную роль даже перед самим министром финансов, который открыл его, оторвал от газеты «Киевское Слово» и дал ему возможность показаться в Петербурге во всем своем блеске. Я о журналистах хорошего мнения и думаю, что некоторые из них, по крайней мере, смело могли бы стать министрами и хорошими министрами. Сам Бисмарк начал журнализмом, сотрудничая в «Крестовой Газете». Вообще, журнализм не мешает быть хорошим чиновником и самого высшего ранга. И нынешний министр финансов С. Ю. Витте был журналистом, и Ю. Г. Жуковский, бывший директор Государственного банка, был журналистом и, как журналист, вместе с г. Пыпиным, сидел на скамье подсудимых за статью свою в «Современнике», «Вопросы молодого поколения», в том же 1866 г., в котором и я сидел на той же скамье подсудимых за написанный мною роман «Всякие», где дело шло также о молодом поколении. Но я думаю, что г. Шарапов не сделался товарищем министра не потому, что он был искренним и любил родину даже в такой степени, что среди российских ворон стал «белою вороной», а по каким-нибудь другим, более веским причинам. Я не думаю и того, что он — «белая ворона», ибо ворона белая или серая — все-таки ворона и гордиться этим званием не стоит труда. Мне думается, что он не сделался товарищем министра просто потому, что слишком усиленно проводил свою собственную кандидатуру на этот пост, заявляя себя финансистом и реформатором, подкуривая г. Антоновичу, как финансовому гению, и себе, для которого открыты все секреты спасения России. У нас этого не любят, мы — народ подозрительный и смешливый и сейчас же готовы «искреннего человека», который восхваляет свои достоинства, считать Иваном Александровичем Хлестаковым, имевшим, как известно, тоже финансовые способности. Купцы того города, где городничим был Сквозник-Дмухановский, обращались к нему так: «его высокоблагородному светлости господину Финансову». Очевидно, и тогда финансы были какою-то абракадаброй, и каждый важный человек казался «Финансовым», неразгаданным... до поры до времени.

Я, конечно, не одобряю этой подозрительности и смешливости, ибо бывает и так, что человек целый век молчит и, глядишь, до чего-нибудь важного и домолчится. Может быть, и г. Шарапов до чего-нибудь договорится, ненавидя молчание вместе с золотой валютой, если не с золотом. Но пока я не вижу ничего важного в том, что он говорит.

Конечно, очень печально, что только и есть три человека на всю Россию, которые видят ясно, что Россия погибает, и говорят об этом прямо и откровенно. Что-нибудь одно, или это действительно три белые вороны, каркающие бескорыстно, из любви к родине, а все остальные — серые вороны, каркающие корыстно, при виде куска сыра, который им подают в рот, или им только его обещают и дают по заслугам, или все это — какое-то сплошное недоразумение.

Я склоняюсь в пользу недоразумения, ибо свой секрет г. Шарапов открыл. Он снял с груди своей ладанку, о которой я недавно говорил, и прочел мне следую-

щее: «Вообразите себе комнату, полную людей. Страшный угар, у всех трещат головы. Но истопник уверяет, что труба в порядке. Я подхожу, осматриваю печь и говорю: заслонка повернута не в ту сторону. Поворачиваю, и через четверть часа угар кончен. Я утверждаю, что эта заслонка есть 49 статья нашего монетного устава. Отменить распоряжение 1897 г. о золоте, *восстановить эту статью* (на что нужно не больше времени, чем заслонку повернуть) и *завтра,* буквально *завтра, на другой день*[1] Россия почувствует огромное облегчение. Вы не улыбайтесь, я в здравом уме».

Я улыбаюсь именно потому, что г. Шарапов в здравом уме. Будь он не в здравом уме, я не стал бы улыбаться. Что радоваться, если человек свихнулся? Вы догадываетесь, что эта 49 статья говорит о размене бумажек на золотую или серебряную монету. Весь секрет, значит, в прошлом. До 1897 г. все было превосходно. Россия стала «истекать кровью» со времени золотой валюты. Как это необыкновенно просто. Пришел, ничего не увидел и победил!

«Здравый ум» — понятие относительное и в «здравом уме» есть степени. Не определяя степени здравомыслия г. Шарапова, я могу определить степень своего здравомыслия. Она определяется следующей фразой: не будучи защитником золотой валюты, я, однако, думаю, что нельзя законами играть, как шашками, сегодня закон утвердить, а завтра этот закон отменить. Не годится, мол. Будем выдумывать законы почаще, авось какой-нибудь и сгодится. Сегодня освободили крестьян, а завтра прикрепили. Сегодня ввели суд присяжных, а завтра возвратились к Ляпкину-Тяпкину. В государственной жизни это была бы такая вопиющая нелепость, такой непроходимый вздор, что Россия действительно стала бы истекать кровью. Можно быть противником закона, можно обсуждать его и даже осуждать, но говорить на другой день после издания закона о необходимости его отмены, да еще в таком деле, как денежное обращение, значит ровно ничего не понимать. Сколько было голосов, желавших и даже требовавших отмены закона об освобождении крестьян и сколько было приводимо доводов, еще теперь существующих, реальных доводов, вроде того что крестьяне не разбогатели со времени освобождения, а обеднели, обезлошадили, заголодали! Ведь такое явление мы действительно наблюдаем в центре России. Но неужели они обеднели от того, что их освободили, а не от того, что, освобождая их, думали, что стоит только освободить их, — и дело в шляпе: пойдет Русь процветать так шибко, что только умей ее удерживать. Вся штука в том, чтоб она не скакала. А уж пойдет она благоденствовать, об этом и разговаривать нечего. Я думаю, что и с золотой валютой дело обстоит так же. Собрать миллиард золота, образовать солидный золотой фонд и почить на лаврах — значит, действительно дождаться чего-нибудь скверного. Издать закон о золотой валюте и на другой год отменить его — значит окунуться в прежнюю неопределенность, шатание и дождаться результатов тоже скверных, не говоря уже о жалком представлении о государстве, которое делает, само не зная что и для чего. Ведь золотая валюта введена была на каких-нибудь серьезных основаниях. Ведь не каприз же это г. Витте: захотел ввести и ввел. Ведь на всякое хотенье бывает и терпенье. Раз эти серьезные основания были, была, значит, и целая система обновления обветшавших форм русской жизни. Иначе я

[1] Везде курсив подлинника. — *А. С.*

думать не могу. Я могу не соглашаться с теми или другими мерами по серьезным вопросам, но я не могу думать, что они принимаются очертя голову. Я знаю, что и до 97-го года крестьянство было бедно и беднело, голодовки и тогда ставили правительство в необходимость прибегать к нему на помощь бумажными деньгами, как теперь оно помогает ему золотыми. Изменить закон 97-го года и возвратиться к прежнему может только кандидат в товарищи министра, фютюрминистр, белая ворона, отличающаяся от других ворон цветом перьев...

Я думаю не так, не имея ни малейших претензий на руководительство в таком сложном деле, как финансы. Я — литератор и ничего больше. До этого чина я вырос и никакого другого не желаю. Как литератор, я знаю русскую бедность. Я люблю русскую литературу за то, что она истинно русская, христолюбивая, нищелюбивая, защищающая меньшого брата, проливающая над его жалкой участью искренние слезы любви и сострадания. Я знаю, что это — прекрасная, гордая литература, ставшая в уровень с европейской. Вчера еще читал я «Записки о Московии» Герберштейна, посещавшего Русь в начале XVI века, при великом князе Василии, отце Грозного. Я видел, что и тогда было бедности вволю, бедности и дикости, похожих на теперешние. Но и тогда была национальная гордость, преданность своему великому князю и отечеству, уверенность в себе, в своих силах, в своем русском духе. Мы бедны, но мы сильны духом, и этим духом мы создали государство и укрепили его. И чем больше свободы духа, тем легче жить, тем плодотворнее наша работа. И я думаю, как литератор, никогда не мечтавший о кандидатуре ни в министры, ни в банкиры, что русское государство должно пойти в уровень с своей литературой, исповедовать ее идеи, осуществлять их, если не перегонять их. Русская литература — это великий собор русской земли, неподкупный ее голос. Да, это — великий, неподкупный собор русской земли. И золотую валюту может вынести на своих плечах только осуществление тех желаний, тех ожиданий, которыми так изобильно насыщена наша литература. Недаром она придает такое значение душе. Она не выродилась, эта душа в народе, она живет во всех нас и просит свободных путей, широкого дела, плодотворного труда на всех поприщах. Энергичного хода она просит. Она устала от медленности и от невольной лени. Почти полвека прошло с тех пор, как вопрос об освобождении крестьян был решен. Пора приняться за него снова, с назревшим опытом и знаниями правительства и общества и приступить к созидательной работе. Прошлое царствование укрепило нас отдыхом и спокойной работой и освободило от революционной пены. Мы живем в царствование государя, заявившего лучшие чувства человеколюбия и любви, и эти чувства должны лечь в основу той работы, которая предстоит для того, чтобы живой дух придал нам силы и бодрости для необходимого роста. Это ложь, что Россия «истекает кровью» от какой-то золотой валюты. Это ложь, что Россия накануне краха, потому что проценты по ее долгам растут. Огромная часть этих долгов заключена для железных дорог, дороги эти выстроены, работают, приносят доход и сами выплачивают свои проценты. Сибирскую дорогу строили на один поезд в день, а она через несколько месяцев потребовала многих. Где ни прикоснется созидательный труд, знание, талант, энергия, там открываются чудеса и неожиданное богатство. Если велик наш пассив, то и актив велик, и он растет несомненно с каждым годом. Актив не считают, все говорят только о пассиве, точно ровно

ничего не сделано и ничего не делается. Не банкиры и вороны создавали Русь, не банкиры и вороны, серые они или белые, спасут ее, ибо вороны только каркают, а банкиры обирают. В «спасателей» я не верю, с ладанками ли они или без ладанок, ползком ли они и молча пробираются в спасатели, или кричат о себе, хвалят себя на чем свет стоит и объявляют во всеуслышание, что они «несколько ночей не могли спать, прочитав известие о превращении нашей ренты в золотую». Эта гражданская бессонница — слишком снотворное средство для убеждения в своем плаче о родине. Не веря в «спасателей», я верю в единственного спасителя в нас самих, в наш трезвый и свободный труд, в наш просвещенный, обновляющийся дух. Не «спасатели» нам нужны, даже не финансовые и государственные гении, а добрая воля, любовь и доверие к нам тех, которые имеют власть и силу сделать всю нашу жизнь гениальною. Я верю, что все это идет к нам, как твердо верю и в то, что все это мы заслужили и заслужим.

25 декабря.

28 декабря 1898 (9 января 1899), № 8202

1899

CCCXX

Могут быть споры насчет того, какое наиболее значительное событие отметил особенным, нетленным блеском прошлый год? По-моему, самое значительное идейное событие — это почин русского императора в деле мира всего мира. Этот почин, к каким бы ближайшим результатам он ни привел, останется в история лучом света, лучом братской любви, блеснувшим из России, с высоты ее могущественного трона. Светят только идеи, мир живет только ими и идея мира, ярко и искренно выраженная, будет жить и расти. Известно, что она уже породила образование международного общества, получившего название «Крестового похода». Итак, новый период крестовых походов начинается с 12 августа 1898 года, когда державам сообщена была идея нашего государя.

Знаете, на что я хочу обратить внимание ваше в этот день нового 1899 года? На совпадение девяностых годов и чисел. Почти ровно восемь веков тому назад был решен вопрос о крестовых походах. Папа Урбан II, в августе 1095 года, отправился в город Клермон и там произнес пламенную речь, приглашая всех христиан вооружиться для освобождения своих плененных братьев, для освобождения Гроба Господня из-под власти турок. Призывая «воинов Креста» на этот подвиг, он обещал райское блаженство всем тем, которые падут, защищая это святое дело. Эта речь воспламенила присутствовавших на соборе, которые кричали: «Так Богу угодно! Так Богу угодно!», — и охватила пылом борьбы всю Европу. Явились проповедники среди народных масс и самый популярный из них, Петр Пустынник, повел за собою нестройное войско добровольцев. 2 июня 1098 года была взята Антиохия, и 15 июля 1099 года крестоносцы, во главе с Готфридом Бульонским, вступили в Иерусалим. Стало быть, 15 июля 1899 года, в который мы сегодня переходим, исполняется ровно восемьсот лет, когда Первый крестовый поход достиг своей цели и Гроб Господний был в руках христиан.

Русское государство тогда только что начиналось. На киевском престоле сидел Святополк II, женатый на Варваре Алексеевне, дочери того византийского императора Алексея Комнина, который ставил преграды крестоносцам. Прошло восемьсот лет. Русское государство выросло в огромную и могущественную империю, постоянно работая в пользу христианских народов, подпавших под власть турок, и сделалось представительницею православия. И вот верховный представитель России и православного христианства, император Николай II предлагает

обсудить меры для уменьшения вооружений, и эта идея находит себе восторженный прием у всех христианских народов и начинается то миролюбивое движение, которое становится под прежнее знамя крестовых походов, поднятое Урбаном II. Как тогда, так и теперь девяностые годы, конец столетия, становятся началом нового христианского движения. В другой форме, в другом виде, с другими средствами являются и Петры Пустынники и вербуют войско мира. Разумеется, это не то, что было когда-то, но разве не та же вера загорается в груди, не та же вера в прекрасную мечту, в возвышенный идеал, двигает нами, не те ли же цели ставятся впереди? Символ Креста остается таким же незыблемым, но он не требует ни крови, ни слез, ни бряцания оружия. Совсем напротив, Крест становится впереди великодушных движений души, направленных к братству всех людей. Но и эти великодушные движения души требуют такого же самопожертвования, такой же любви ко Христу, какие Европа показала восемь веков тому назад. Тогда она с оружием в руках поднялась на защиту христианства, теперь на ту же защиту она готова стать с духовным оружием, почерпнутым из того же источника, Христова учения. «Да воссияет Гроб Господень новою славой!» — восклицал папа Урбан II. Гроб Господний воссиял бы действительно новою славой, если б чувства любви и братства народов восторжествовали постепенно над чувствами враждебного соперничества и злобы. Как тогда, во время папы Урбана II, так и теперь, во времена императора Николая II, прежде всего отзываются со всею искренностью не правительства, а народы, сами жители различных государств, душе которых оказался столь близким и симпатичным призыв русского государя.

Переходя в Новый год, пожелаем, чтобы в эту восьмисотлетнюю годовщину Первого крестового похода новый крестовый поход, в новом освещении, нашел себе побольше открытых сердец для деятельного восприятия идей мира, братства и любви.

1 (13) января, № 8206

CCCXXI

Памятник Пушкину!

В течение нескольких дней в контору «Нового Времени» поступило 1517 рублей, о чем вчера у нас объявлено.

Само общество начало жертвовать на памятник Пушкину. Оно начало в Петербурге. Но Пушкину необходим всероссийский памятник в Петербурге, в лучшем русском городе, в столице Русского царства, в средоточии русского просвещения. Кому не близок этот гениальный человек? Черная раса, смешавшись с белой русской расой, произвела русского гения. Он родился 26 мая 1799 года, и живет во всех нас теперь более, чем когда-нибудь. Прежде даже, чем выучились мы читать, мы уже слышим гармоническую речь Пушкина в его сказках. Через Пушкина прошли мы все, начиная с русского царя, великих князей, министров, генералов, митрополитов, архиереев и кончая грамотным крестьянином. После молитв Богу мы тотчас твердили Пушкина, и поэтическая речь его залегала в нашем мозгу. Если исключить годы зеленой и легкомысленной юности, когда муза Пушкина пошаливала, он во все остальное время не оскорбил ни одного искреннего русского верования и отозвался на все струны русского сердца.

Прочтите его всего, не одни только известные его произведения, но всего, его беглые заметки, его дневник, его письма, его планы новых произведений, обнимите все то, что написал он и что намеревался написать, и вы найдете, что нет ни одного явления в нашей современной и исторической жизни, к которому не коснулись бы его сердце и его ум. Он первый предсказал падение рабства «по манию царя», он первый говорил о нашем возрождении, о свободе и независимости человека и первый произнес: «да здравствует разум!» Он еще юношей стремился заставить русских полюбить наше отдаленное прошлое, где «русский дух», где «Русью пахнет», и поэтической фантазией воскресил картины прошлого. Русский в нем сказывался прежде всего, и притом русский беспристрастный художник, который и в Пугачеве нашел человека, вопреки всем преданиям и господствовавшему мнению. В нем жил свободный дух настоящего гения, который, как молния, освещает мрак, как гром заставляет содрогнуться. Чарующей, несравненной поэзией он вливал в душу и любовь, и радость, и милость к падшим, и народную гордость, и прелесть славы, и сладость молитвы, и веру в будущее. Как умел он понять в царе гражданина, работника и царя, который с «подданным мирится, кружку пенит с ним одну и в чело его целует, светел сердцем и лицом». Он воспел основателя Петербурга изумительными по мощи, сжатости и звучности стихами и начал писать его историю. Он воспел русский народ в его преданиях и быте, он призывал к нему любовь и уважение; он воспел русскую женщину и поставил ей вечный памятник в лице Татьяны; он дал незабвенные типы русских людей прошлого и настоящего; он дал образцы всему разнообразию словесности, лирике, драме, роману, сатире, критике, журнализму. Он дал нам чудесный язык, великолепный в своей гордой простоте и ясности русский язык. Он его не подслушал только у русского народа, он воспринял его во всем его удивительном разнообразии, осветил его своим гением и влил в формы своих превосходных произведений, которые крепче сохранят его, чем мрамор и бронза...

Он не забыл народностей, которые вошли в состав русского царства. Между его героями и героинями есть, кроме великороссов, малороссы, татары, грузины, черкесы, поляки, финны, цыгане. И во всех этих народностях он находил человеческие черты и образом «человека» звал всех к единению. Он творил свои произведения, как всероссийский поэт, поэт духовного объединения. Как государи, собиратели Руси, действовавшие политическим умом и опытом, воздвигавшие престол всея Руси, он собирал Русь чудесными произведениями своего гения, он создавал памятник не себе только, к которому «не зарастет народная тропа», но памятник русскому духу, русскому языку, русской культуре. Он воздвигнул такой высокий, такой сияющий престол русского словесного творчества, что он виден со всех концов Руси и ласкающий блеск его светит и ребенку, и юноше, и взрослому. Напрасно колебали этот престол какие-то критики и публицисты. Он прочно вознесся к бессмертию, как бессмертен русский народ. Если русская литература и русская мысль пошли дальше после его смерти, то потому, что он заложил твердое, вечное основание для нее. Он как бы завещал своим потомкам: «идите дальше, поднимайтесь выше! Вы достойны стать наряду с другими великими народами». И он доказал своим всеобъемлющим гением, своими широкими воззрениями, своей поэтической глубиной, проникающей во все изгибы человеческого мозга, что русский народ действительно великий народ.

И неужели мы останемся холодными к тому, что в Петербурге нет ему памятника? Неужели не сумеет Петербург, где жил Пушкин и где он умер, не сумеет Россия, для которой он столько сделал, поставить образ великого поэта в мраморе и бронзе? Этого быть не может. На петербургских улицах и площадях возвышаются памятники государственным и общественным деятелям. Но Петербург — не военный только город, не место только пребывания русских монархов, которые отсюда двести лет управляют Россией и возвышают ее. Это — город русской культуры, русского просвещения, русской науки, всякого полезного труда. Рядом с государственным могуществом росло могущество русского духовного творчества. В то время, как крепла Русь умом своих государей и государственных людей, в то время, когда она раздвигала свои пределы громом оружия и мужеством своих воинов, в Петербурге раздавались небесные громы творчества поэтического и научного, те мужественные громы великого разума и сердца, которые сзывали Русь и откликались в груди каждого русского гражданина. И вот приближается столетие со дня рождения одного из этих воинов духа, величайшего нашего воина духа, о котором должно сказать то же самое, что сам он сказал о Петре Великом: «Он всеобъемлющей душой вечный был работник». И этой работой мы жили, плодами ее мы утешались, воспитывались, росли, и чувство благодарности и чувство гордости своим великим поэтом ничего не говорит нам? Не может быть.

28 января (9 февраля), № 823

CCCXXII

Что ж, господа, ставим мы памятник Пушкину, мы, русские? Другими словами этот вопрос можно изобразить так: сознаем мы великое национальное значение Пушкина или нет? Понимаем ли мы, что Пушкин зажег солнце русской литературы, которое светит днем и ночью?

В первоначальную программу празднования столетнего юбилея Пушкина памятник входил. Министр финансов С. Ю. Витте упразднил в умах многих этот вопрос своим прекрасным предложением образовать при Академии наук отделение изящной литературы, в память Пушкина, или, правильнее, в память столетия со дня его рождения. Это столетие есть вместе с тем почти и столетие летосчисления — XIX век, который мы имеем все основания считать наиболее важным и наиболее знаменательным веком всей нашей истории и в военном, и в гражданственном, и в литературном, и в художественном отношениях. Российская академия, учрежденная Екатериною II, упразднена была министром финансов Канкриным, которому необходимы были деньги на Пулковскую обсерваторию и Казанский университет, и он, ради экономии, упразднил Российскую академию, членом которой были Фонвизин, Державин, Жуковский, Крылов, Пушкин. Даже помимо Пушкина, ввиду только роста литературы русской и ввиду сознания такой ничтожной причины, как незначительная экономия, соблазнившая Канкрина, следовало восстановить Российскую академию, хотя бы как отделение изящной литературы при Академии наук. Во всяком случае будем благодарны С. Ю. Витте за его поправку Канкрина. Но зачем же упразднять другую мысль — поставить Пушкину памятник, достойный национального гения и достойный России?

Зачем? Денег нет? Или ради памяти Канкрина и его экономии? Или памятник — дело ненужное? Что это — металл, камень, идол? Но заказываете же вы свои портреты и бюсты? Оставляете же вы свои изображения на память своим детям, внукам, потомкам? Зачем вы это делаете? Неужели только из пустого тщеславия? Не говорят ли в вас в этом случае и лучшие чувства, корень которых — бессмертие, продолжение жизни за гробом? Я об этом не распространяюсь, ибо думаю, что этого доказывать не для чего. Почему же вы не хотите поставить изображение того, который всем нам близок, всем нам дорог, который принес, приносит и будет приносить пользу всем нам и всем нашим потомкам и которому обязаны чрезвычайно многим все наши даже знаменитые писатели, художники, скульпторы, музыканты? Какие причины выдумаете вы, чтоб не ставить памятника? Довольно, мол, Академии. Почему же довольно? Докажите, что довольно. Вы этого не докажете, потому что серьезных доказательств для этого нет и быть не может.

Ведь это же вздор, что денег у нас нет! Ведь на это стыдно ссылаться в вопросе народного самосознания. А к Пушкину мы были страшно несправедливы. Знаете ли вы историю московского ему памятника? Прежде всего заметьте, что памятник ему поставила совсем не Москва. Мысль о памятнике Пушкину возникла в 1860 году среди лицеистов, в Петербурге. Предполагалось поставить его в Царском Селе. Объявлена была подписка. В несколько лет собрана ничтожная сумма, 13 359 рублей, и подписка прекратилась. Через десять лет, в 1870 году, опять среди лицеистов, и опять в Петербурге, вопрос о памятнике был возобновлен. Образован комитет из воспитанников первых выпусков лицея. 21 марта 1871 года государь император, согласно с ходатайством комитета, повелел «чтобы памятник Пушкина поставлен был не в Царском Селе, как прежде указано было, а в Москве, месте рождения поэта». Сумма собиралась медленно, и собрано было всего 83 922 рубля 61 копейка (с процентами выросла впоследствии до 106 тысяч).

Итак, двадцать лет рассуждали, собирали деньги, объявляли конкурсы и делали памятник, который и был открыт, наконец, в 1880 году. Двадцать лет! Вы только подумайте об этом! Образованная нация, имеющая многих миллионеров, не говоря уже о множестве богатых людей, в двадцать лет, наконец, осилила памятник своему величайшему поэту, произведения которого являлись на пятидесяти языках всего мира! Пятидесяти народам мира он говорил о России, а Россия едва-едва собрала ему на памятник, в двадцать лет, каких-то восемьдесят три тысячи!

Знаете ли, что я думаю: уж не потому ли, между прочим, конечно, С. Ю. Витте поспешил сделать свое предложение об отделении изящной словесности при Академии наук, вместо памятника, что он думал: не собрать россиянам и в десять лет необходимой на памятник суммы! Отделение же изящной словесности можно учредить немедленно на казенные деньги, с соизволения государя императора, в котором все были заранее уверены. Извиняюсь, если министр этого не думал; но ему, во всяком случае, известно было, как долго и туго собиралась подписка на московский памятник.

Но неужели и теперь мы такие? Нет, этого быть не может. Мы значительно выросли за последние двадцать лет. Наше самосознание поднялось. Пушкина узнали мы больше и лучше. С 1887 года его разошлось более полумиллиона экземпляров. Его образ и заслуги его ясны стали всем. Нельзя думать, что в настоящее время подписка не дала бы хорошей суммы. Но никакой официальной под-

писки на памятник, по моему мнению, по крайней мере, не следовало бы делать, чтоб не было и тени принуждения или обязательности; никакой рассылки подписных листов по губернаторам, предводителям дворянства и проч., как это обыкновенно делается. Нет ни чинов, ни должностей, ни профессий в данном случае, есть только русские люди. И надо собрать деньги домашним, а не официальным образом. В семьях, в учреждениях правительственных и частных, в школах, на обедах, на вечерах, на собраниях, в театрах. Надобны деятельные люди и добрая воля. Только добрая воля должна руководить русскими людьми. Я не верю тому, чтобы не было желания воздвигнуть Пушкину памятник. Но нет организации, нет инициаторов, нет привычки к общему делу. Однако, это следует преоборть. Я бы спросил, неужели в России нет тысячи человек, которые бы дали по тысяче рублей, но самый вопрос этот меня пугает. Поставлю более скромный: неужели не найдется в России, на несколько миллионов более или менее образованных людей, тысячи людей, которые дали бы по сто рублей?

В одном Петербурге издается 285 газет и журналов, в Москве — около 80, да в провинции наберется сотня. Будем считать только 300 газет и журналов в России. Если бы каждое периодическое издание задалось целью собрать на памятник Пушкину среди своих знакомых, сотрудников и подписчиков только по 100 рублей, вот уж было бы 30 000 рублей.

А неужели это невозможно? Неужели «СПб Ведомости», «Новости», «Биржевые Ведомости», «Петербургская Газета», «Петербургский Листок», «Свет» не могут собрать по 1000 рублей? Конечно, могут и даже очень легко. А министры, губернаторы, предводители дворянства, все как частные люди, чиновники, духовенство, образованное купечество, канцелярии, городские думы, земские управы, конторы, магазины, и проч., и проч., и проч. Все мы, без всякого исключения, обязаны Пушкину. Вот было бы поистине национальное дело, если б мы в короткий срок собрали хорошую сумму на памятник своему великому поэту. Что ж, господа, соберем или нет? Весь вопрос, во-первых, в энергичных людях, которые взяли бы на себя труд инициативы, во-вторых, во множестве людей, которые желали бы дать что-нибудь, а среди множеств найдутся и богатые люди, которым дорога память Пушкина и идея русского самосознания, и они поддержат крупными взносами мелкие. Говорят, петербургская Дума готова дать 25 тысяч на памятник из городских средств. Это было бы чудесным началом наряду с пожертвованиями уже сделанными. Но не техническому отделению Думы вырабатывать условия конкурса на памятник, и не Думе становиться во главе этого дела. А то выйдет, что домовладельцы Петербурга ставят памятник Пушкину и им распоряжаются. Это было бы большой несообразностью. Дума должна присоединиться ко всем, а не все к петербургской Думе и ее техническому отделению, проектирующему мосты и жалкие и безвкусные памятники и фонтаны. Для этого необходим особый комитет, под покровительством или председательством высокопоставленного авторитетного лица, около которого могли бы собраться известные люди науки, литературы и художества. Как представительница столицы, Дума могла бы иметь в комитете своих представителей. Но Россия не уступит ни своего права, ни своей чести петербургской Думе, которая есть не что иное, как местное хозяйственное учреждение. Поэтому Дума должна присоединиться к русскому обществу, которому и инициатива принадлежит, а не наоборот. Это уже сделали соединенные литературные и художественные общества, устран-

вающие празднества, в столетнюю годовщину Пушкина 26 мая, в Таврическом дворце и Таврическом саду: они уже решили сбор отдать на памятник Пушкину в Петербурге. Откликнется и провинция, та чуткая провинция, которая умеет ценить первоначальников русской славы. Повторяю, Пушкин зажег солнце русской литературы, которое светит нам всем одинаково своими животворными лучами, красотой своей поэзии и блеском русской мысли. Памятник Пушкину есть вместе с тем памятник XIX веку, в который так ярко светил нам Пушкин...

9 (21) февраля, № 824 5

CCCXXIII

Сегодняшнее высочайшее повеление должно положить конец тем недоразумениям и волнениям в обществе, которые посетили нас со времени 8 февраля, годовщины Петербургского университета. Надо сказать правду, эти душевные волнения были достаточно остры и породили множество рассказов и легенд с различною окраской, смотря по тому, из какого источника они выходили. Были споры, были сетования, было негодование, были обвинения, была и серьезная мысль, стремившаяся к тому, чтоб распутаться в этих недоразумениях и разобрать, кто прав и кто виноват. Вопрос о молодежи — важный вопрос не у нас одних, а всюду, преимущественно во всех столицах, где сосредоточены высшие учебные заведения. Трудно уживаются со взрослыми юные силы, трудно поддаются они убеждениям опыта и даже разума. Недаром наука воспитания считает почти столько же партий, сколько и людей, серьезно изучавших эту науку. Нетвердая наука, сбивающая иногда с надлежащего пути и людей весьма почтенных и благоразумных. А уж о молодых и говорить нечего. Тут, в этих воспитательных отношениях к молодежи, что ни случай, что ни подробность, то и новое решение вопроса. Трудная наука, в которой чуть не каждое положение может подать повод к спорам и недоразумениям. Недоразумения, вызвавшие высочайшее повеление, очевидно, требовали освещения тою любовью и милостью, которые сосредоточены для нас в сердце государя. Он повелел бывшему военному министру, генерал-адъютанту Ванновскому, стоящему вне всяких министерств, «произвести всестороннее расследование причин и обстоятельств беспорядков, начавшихся 8 февраля в императорском СПетербургском университете и затем распространившихся на некоторые другие учебные заведения», и результаты этого расследования представить ему. Перед этим великодушным действием государя, который может желать только одной правды, мы должны преклониться не только по долгу, который лежит на нас всех перед ним, но и по чувству справедливости, которое несомненно присуще всем — и правым, и виноватым. Мы живем в государстве; государство требует исполнения известных условий общежития, известной дисциплины и повиновения. Условия эти могут быть нарушены, в силу тех или других обстоятельств и увлечений. Чем скорее они будут восстановлены, тем лучше. Никаких сомнений не может быть, что вся правда дойдет до государя.

Мне хочется сказать несколько слов по поводу беспорядков, никого не обвиняя и не входя в рассмотрение причин печальных явлений, которое теперь, ввиду высочайшего повеления, было бы и преждевременно.

Никогда я не был поклонником волнений молодежи и никогда они ей ничего не приносили, кроме вреда. Она должна учиться и повиноваться существующей дисциплине. В настоящее время государство не страдает отсутствием учащейся молодежи и может выбирать среди того множества, которое желает учиться. По-моему, всякий имеет право учиться или не учиться, по крайней мере, в том возрасте, который называется «зрелым» в гимназических свидетельствах, но который очень часто оказывается незрелым в столкновениях с суровыми требованиями жизни. Если я не хочу учиться, потому что не хочу подчиняться дисциплине и существующим порядкам в учебных заведениях, государство может мне сказать: «Вы не хотите учиться, не учитесь. У меня много желающих учиться, так много, что мои высшие учебные заведения не могут их всех вместить. Я не имею никакого желания принуждать вас, и если двери моих учебных заведений полуоткрыты для вступающих в них, то они открыты совсем для тех, которые не желают учиться и подчиняться тому режиму, который установлен. Берите свои бумаги и уходите с Богом. Если вы виноваты только в том, что не желаете учиться при данных условиях, не желаете сообразоваться с моими требованиями, я ничего против вас не имею. Вольному воля». В самом деле, чем государство рискует, если бы весь настоящий наличный состав высших учебных заведений, все эти 20 000 или около того молодых людей, забастовали и вышли на вольную волю? Как чем? Ведь тогда самое существование высших учебных заведений сделается фактически невозможным и правительство пойдет на всевозможные уступки. Я этому не могу поверить. Эта мечта горячих голов, не соображающих того, что такое государство и по каким законам оно живет. Народно-общественная психология — дело очень сложное и не поддается скороспелым решениям. Учебные заведения существуют для непрерывной цепи поколений, а не для того только поколения, которое учится теперь. У государства столько сил, что стачка молодежи не ходить на лекции с целью протеста могла бы окончиться более печально и более безрезультатно, чем стачки рабочих. Добыть молодежь для учебных заведений гораздо легче, чем рабочих для фабрики уж потому, что район фабрики очень ограничен, а в учебное заведение съезжаются за тысячи верст. На Западе стачки рабочих разрешены законом, и там они явление обыденное, и, однако, фабрики не только существуют, но и ежедневно нарождаются новые. Искание хлеба для души и ума столь же сильно, как искание хлеба для желудка. Поэтому, несмотря ни на какие стачки молодежи не учиться, высшие учебные заведения не только никогда не закроются, но будут увеличиваться числом, чего всякий русский, понимающий, что мы слабы еще просвещением, должен желать. И относительно стачек рабочих надо заметить, что ученые экономисты доказывают, что они вредны для рабочих и что им следует предпочитать соглашение с хозяевами фабрик, что этим путем достигается больше, чем стачками. И я думаю, что прилежным учением, упорным трудом молодежь достигает гораздо больше, чем всякими беспорядками. Я лично встретил бы с удовольствием не стачку молодежи не ходить на лекции, которые она и без того посещает слишком мало, а стачку молодежи непременно посещать лекции, стачку профессоров не манкировать лекциями, а усердно следить за наукою, оставив попечения о вещах, ей посторонних. Вообще стачка об исполнении своего прямого дела, своих профессиональных обязанностей была бы крайне желательна, ибо от такой стачки Россия на несколько лет выиграла бы

чрезвычайно много в своем развитии. Если бы правительство предоставило настоящую стачку молодежи не ходить на лекции ее естественному течению, т. е. сказало бы: «не хотите учиться — и не учитесь», то оно не себе бы повредило и не своей высшей школе, а поставило бы только учащуюся молодежь в печальное положение, оставив ее без образования и без того поприща общественной деятельности, на которое она рассчитывала и вправе рассчитывать. И как бы сожалела потом об этом безрассудном поступке! И сколько разочарований и горя испытали бы отцы, и матери, и родственники этой молодежи, которые и сердцем, и умом, и экономическими своими условиями заинтересованы в благополучном окончании курса этими «зрелыми» по гимназическим свидетельствам. Вот с чем только и можно считаться, забывая свою силу. И вот почему государь является со своим великодушием и со своим решительным словом, кратким и ясным, которое повелевает «произвести всестороннее расследование причин и обстоятельств беспорядков». И это слово введет учебную жизнь в ее колею, успокоив и родителей, и детей. Государь узнает всю правду, и так как дело идет о молодежи, легко поддающейся всяким увлечениям, то сердцу государя, его доброте и милости тут первое место. Мы часто говорим о судье: он — строг, но справедлив. Когда государь судит, мы говорим: он — добр и справедлив, и только он может освещать справедливость своей безграничной добротою. И как было бы хорошо, если б никто не злоупотреблял этою добротою: ни зрелые только по аттестатам, ни зрелые по всем другим причинам.

21 февраля (5 марта), № 8257

CCCXXIV

Я слышал, что молодежь недовольна тем, что я сказал третьего дня. Очень жалею. Говорят, что я поторопился, что я взял не тот тон. В ежедневной печати торопиться — это закон. Она должна, возбуждая мысль и споры, приводить к взаимному пониманию и соглашению. А тон, взятый мною, тон взрослого человека, обращенный к взрослым и серьезным людям. Мне говорят, что нецелесообразно читать «нравоучение» человеку, прежде всего нуждающемуся в «успокоении». Но, во-первых, я читал не «нравоучение», а рассуждал о конкретном факте, доселе невиданном в учебной жизни и поразившим мое воображение, во-вторых, успокоение должно оно уже принести высочайшее повеление о расследовании дела, глубоко меня тронувшее — и я в том убежден — глубоко тронувшее и большую часть нашей молодежи. Мне говорят, что я должен был сказать о тех поводах, которые заставили молодежь прибегнуть к стачке не ходить на лекции. Но о поводах этих я слышал столько противоречивого, что я мог бы себе и, главное, читателям, выяснить их только в таком случае, если б я мог произвести расследование, напечатав показания обеих сторон. Я этого не мог сделать, и никакого права у меня на это не было. В этом отношении я был и остаюсь безоружен. Я брал просто факт стачки молодежи высших учебных заведений не ходить на лекции, т. е. факт закрытия учебных заведений по распоряжению учащихся. По каким причинам это случилось — все равно. Самый факт важен. Почему произошла война? Об этом пишут после войны, когда уже убраны груды мертвых и сочтены несчастия. Но ужасна самая война, ужасна гибель

людей, благосостояния, счастья, ужасна вражда человека к человеку, грозен перерыв мирно текущей трудовой жизни. Я очень хорошо понимаю, что один раз причины могут быть серьезные, а десять раз они могут быть ничтожные. Беда именно в этом почине, в самом факте, а не в его причинах, которые могут быть так сложны, что не поддадутся краткой, наскоро написанной заметке. По-моему мнению, стачка подобного рода не должна даже существовать в умах молодежи, ибо вреднее подобной стачки я ничего не знаю. Ни по важной, ни по неважной причине она недопустима ни в государственном, ни в воспитательном смысле. Не молодежь содержит учебные заведения, а государство. Государство берет для этого деньги с народа, у которого и первоначальных школ мало, и это надо помнить. Это надо помнить прежде всего тем взрослым, которые с умыслом или без умысла не хотят вникнуть в опасность этого движения для самой молодежи и пишут мне об этом с непонятной для меня легкостью. Вот наша черта, которая меня всегда глубоко возмущала, — выезжать на плечах молодежи, точить свой либерализм о голову этой молодежи, точить, подтачивая ее и расслабляя, и показывать свое неудовольствие, свои прогрессивные взгляды на те или другие порядки за спиною молодых людей, прячась за них, как трусы прячутся за деревом во время битвы и после победы кричат больше всех о своей храбрости и наравне с храбрыми получают Георгиевские кресты. Я хотел говорить в данном случае то, что думаю, как и всегда в подобных случаях я говорил, что думал.

Я знал, что всего лучше отмолчаться. Молчание в подобных резких случаях именно золото, придающее молчальникам особенную цену. Они подобны тем воздержавшимся от голосования в парламенте, которые находят выгодным не подавать голоса при решении какого-нибудь дела, не ради общей пользы, а только ради своей собственной пользы или пользы своей партии. Я знал, что не могу всего высказать, но я говорил с взрослыми и считал своей прямой обязанностью высказать хоть то, что я мог. Я знал, что своей заметкой я не угожу многим, может быть, никому не угожу, но я знал также, что говорю в интересе молодежи и русского просвещения.

Молодежь должна быть воспитана и должна отплатить народу, на счет которого она учится, отплатить государству своим просвещенным трудом, своими знаниями. Я не могу быть поклонником учения, которое выражается фразою «чем хуже, тем лучше», я не могу. Кто бы что обо мне ни говорил, я думаю о будущем, мне дорога судьба моей родины, судьба России. По-моему, чем хуже, тем еще хуже, и как из ничего не выйдет ничего, по словам Шекспира, так и из худого ничего не выйдет хорошего. Хорошее дело в просвещении, и только просвещению, его силе, его знаниям я верю безусловно. И я знаю хорошо, что его у нас мало. И я знаю, что оно приобретается только трудом, усилиями и лишениями. И я знаю, что труда, усилий и лишений у народа гораздо больше, чем у молодежи, которую он воспитывает на свой счет. Я знаю, сколько бедных среди молодежи, как горька их жизнь, и мое сочувствие к их судьбе тем сильнее. Я хотел напомнить молодежи, что гибнут ее силы зря, погибают, быть может, более энергичные, более способные люди, тратятся силы еще не совсем созревшие, воображающие в своем одушевленном самомнении, что они более значат, чем есть на самом деле. Я хотел напомнить ей о жестокой логике государства, о жестоком законе, что семеро одного не ждут и что высшая школа, закрытая самой молодежью, не прекращает своего существования, ибо она может пополниться

через несколько месяцев другим наличным составом. В битвах погибают десятки и сотни тысяч, но страна продолжает жить и место мертвых не остается незанятым. Поплачут, пожалеют, и забудут, и самый мертвый сгниет. Так и в школе. Уйдете вы — на ваше место сядут другие и жизнь будет продолжаться. Я правду говорил и знаю, что это — правда жестокая. Но почему ж я не должен о ней напоминать? Почему я должен, напротив, питать иллюзии молодежи и говорить о несокрушимости их нового способа? Повторяю, он поразил мое воображение. Я сравнивал стачку фабричных со стачкой молодежи. Но фабрика, конечно, не учебное заведение. Фабрика существует для капиталиста и косвенно для развития промышленности. Работа на фабрике — вечные рабы своей поденной платы; будущее им не обещает ничего розового, кроме уменьшения сил с пришествием старости, кроме смены одного поколения другим, таким же бедным, как предыдущее. Школа существует для всего народа и на народные деньги. Она — самое святое общее дело и она многое дает. Школа дает своим «рабочим» будущее, благосостояние, счастье личное и счастье работать для пользы и во славу своего народа, своей родины. Школой необходимо дорожить, нельзя прекращать ее существование по собственному произволу, ни для себя, ни ради своих обид. Она должна быть выше всего этого, она должна быть так высока, как самая наука и ее польза.

Я понимаю, что в высшей школе возможны недоразумения и беспорядки. Я понимаю, что государство обязано улучшать условия существования школы, ее внутренний быт, и стараться, чтоб мир ее занятий не встречал бы поводов ни к каким беспорядкам. Но улица школе не принадлежит, и на ней ее питомцы обязаны подчиняться тому режиму, которому подчиняются все прохожие. Так в Европе, так и у нас это должно быть. Не надо подавать поводов к обвинению даже с чисто формальной стороны. Не следует. В течение своей жизни, именно с 1861 года, я раз двадцать видел волнения молодежи, и всякий раз последствиями были только жертвы, жертвы и жертвы. И какие жертвы! Слезы вызывающие жертвы.

Как я желал бы, чтоб все это окончилось благополучно, без всяких жертв, без разбитых жизней и счастья. Как я желал бы, чтоб весь туман рассеялся и чтоб высшая школа служила примером для всех других школ и стояла на высоте своего призвания.

23 февраля (7 марта), № 8259

CCCXXV

Я решительно протестую против утверждения г. К. Арсеньева, что я будто бы «сделал попытку умалить, стушевать значение событий, происходивших 8 февраля и в следующие дни». О «событиях» этих я совсем не говорил, исключая одного, «стачки не учиться», как я выразился. Я не разбирал причины ее, не «возвысил своего голоса» за обиженных, за что на меня нападали и в письмах, о которых я скажу ниже, и в разговоре. Но после того, когда возвысил свой царственный голос наш государь, я считал этот вопрос оконченным. Я обратил внимание только на стачку и только о ней и говорил. Я обратил на нее внимание потому, что не мог вообразить себе, чтоб у студентов не было другого пути для того, чтоб найти себе управу против беззаконного обращения с нею. Пути эти есть у взрослых, они должны быть и у молодежи. Без этого я не могу себе представить

высшую школу. Я помню ярко расправу со студентами в *Москве в* 1857 году. Дело было расследовано, и полицейские чины, оказавшиеся виновными, получили возмездие. Беспорядки начались теперь во время университетского акта. Затем столкновение с полицией и забастовка. Я говорил только о последней. Она «поразила мое воображение». Она поразила меня тем больше, что я вполне убежден, что она не имеет «политической окраски». Мои два «Маленьких письма» сделались предметом общего говора и споров, и центр тяжести был перенесен на меня. Это было очень лестно, но тяжело. Несколько дней подряд я получал письма, то ругательные и оскорбительные, то страстные и горячо написанные, знакомившие меня и с настроением молодежи, и с подробностями «событий». Я с удовольствием отдаю эту справедливость моим противникам, но все-таки из всех этих сорока писем я не могу еще составить себе ясного представления о том, как распределялись роли в событиях. По большей части письма анонимные, но авторы их тем искреннее, тем прямее выражают свою мысль, не стесняясь условиями печатного слова и общепринятым лицемерием и даже приличием.

Перехожу к возражениям г. Арсеньева, которые читатели найдут в «Среди газет и журналов».

Г. Арсеньев замечает мне, что я проповедую «прописную мораль», говоря, что «молодежь достигает гораздо большего прилежным ученьем, трудом, чем всякими беспорядками».

Почему это — прописная мораль, а не правило практической политики, самой спасительной для учащейся молодежи, которой на переходной ступени от школьной скамьи к государственной деятельности еще необходимо закалить характер, выработать себе законные способы действий. Люди «сороковых годов», будучи студентами, далеки были от всяких забастовок, что не помешало им провести в жизнь коренные преобразования, поставить высоко достоинство личности. Учащаяся молодежь живет одними идеалами с лучшей частью молодых поколений всей страны, но учащиеся молодые люди не должны быть еще деятельными выразителями молодого поколения — и их задача скромнее.

Сам г. Арсеньев говорит далее: «Труд и ученье ведут к знанию, дают возможность проявлять это знание в той или другой сфере государственной или общественной жизни, но они не ведут, например, к усилению охраны личного достоинства, которую так высоко ценит учащаяся молодежь».

Я боюсь того, что у нас личное достоинство недостаточно охраняется именно потому, что у нас мало труда и знания, мало образования за стенами высших учебных заведений. Будь их больше, было бы совсем другое.

Впрочем, сам г. Арсеньев сейчас же понял, что он хватил через край и поправляется так: «Конечно, не достигается эта охрана и беспорядками, но нельзя противопоставлять беспорядкам труд и ученье, как средство, вернее приводящее к той же самой цели».

Не понимаю. Ни трудом и ученьем нельзя достигнуть «охраны личного достоинства», «ни беспорядками». Тогда чем же? Мне кажется, что «охрану личного достоинства» всего легче, в связи с трудом и знаниями, т. е. в связи с просвещением, обеспечить порядком и правильным режимом и в школе и вне ее, твердостью в стремлениях к законности, к справедливости, к прогрессу на службе государственной и общественной. И я утверждаю, что этого можно и должно дос-

тигнуть без «стачки не учиться» и это дело взрослых, ответственное, необходимое дело, а не учащейся молодежи.

Из статьи г. Арсеньева вы увидите, что он согласен со мной относительно жертв, «множества разбитых жизней», и в том, что высшая школа недолго останется пустою, если б, в крайнем случае, государство сказало: «не хотите учиться — не учитесь». Но и государству будет плохо, ибо «Россия не так богата образованием». Будь она богата образованием, я не стал бы так страстно убеждать молодежь учиться. Не будь она в большинстве бедной, переносящей все невзгоды жизни ради образования, я тоже не стал бы говорить — богатые и состоятельные не страдают так. Во всяком случае, делая эту оговорку, г. Арсеньев очевидно допускает, что государство может, по крайней мере на известных ступенях развития, в случае стачки молодежи сказать: «не хотите учиться — и не учитесь», т. е. косвенно осуждает стачку. Заметьте, я разумел не настоящую только стачку — я разумел вообще это явление в учебной сфере. Я говорил ясно: «раз стачка может быть по важной причине, а десять раз — по неважной». Опасен почин, страшно начало. Стачка, вошедшая в нравы школы серьезно угрожала бы просвещению страны. Неужели это непонятно? И если г. Арсеньев спрашивает, «какой небывалый кризис перенесла бы сама высшая школа» и проч., я позволю себе спросить его: что это за высшая школа была бы, если б стачка учащейся молодежи грозила ей постоянно? Возможна ли была бы в ней какая-нибудь наука? Не обратилась ли бы высшая школа в какую-то вредную фабрику, с агитаторами, подстерегающими каждый мотив, полезный для неудовольствия, чтоб объявить стачку, обструкцию, взаимную поруку, как выражаются теперь? Я знаю, что некоторые возразят мне: «мы стоим за образование, мы желаем лучшего устройства высшей школы, а нам не дают ее. Вы не правы, говоря, что мы не желаем учиться. Мы желаем учиться. Посмотрите, сколько студентов в публичной библиотеке», и т. д. Я это прочел в письмах ко мне. Но ведь стачка произошла не из-за этого, а потому об этом говорить подождем. Я думаю, что решаясь на нее, кто-то всерьез не подумал ни об ее значении, ни об ее последствиях, и потому-то так страстно отнеслись к моим словам. Ведь стачка не ходить на лекции — не стачка гг. адвокатов не ходить в суд и не защищать за хороший гонорар подсудимых и гражданских истцов. Ведь стачка, о которой мы говорим, это — самоубийство, это — медленная агония, ставка на карту не только своих личных интересов, не только интересов родителей, родных, близких, но и интересов государственных. Такое самоубийственное напряжение непосильно не только для молодежи, но и для взрослых.

Статью свою г. Арсеньев так заключает: «Не следует преувеличивать серьезность положения, но не следует и отрицать ее, признать ее во всем объеме, значит, создать благоприятную почву для «всесторонности» расследования, устранить все то, что могло бы помешать его успеху».

«Всестороннего» расследования я желаю от всего сердца и от всего разума. Есть причины ближайшие и есть, вероятно, дальнейшие, лежащие в самой организации университетской жизни.

Расследование генерал-адъютанта Ванновского, конечно, дает для всего этого хороший материал. Я и начал говорить об этом «событии» для того, чтоб рассмотрели его «во всем объеме», «не преувеличивая серьезности положения и не отрицая ее».

Вопрос прошел в печать. Я сказал свое мнение, и оно было несколько дней единственным. Г. Арсеньев теперь сказал свое. Заговорил по поводу моих статей «Киевлянин» в Киеве. Так только и проливается свет, а не насилием, не оскорблениями, не бранью, не желанием заткнуть рот, на что столько у нас охотников, в чем я убедился в эти дни еще лишний раз. Столько же охотников извратить смысл напечатанного и намерения автора. Но тут может все разъяснить только время[1].

Резюмирую кратко и прямо свои положения.

Бывают минуты увлечения, когда все кажется возможным, но здравый смысл есть и у молодежи, и к нему я обращался, когда писал против стачки. Молодежь — не беспочвенное растение, не орхидея; у молодых людей есть родители, семья, близкие по родству, по дружбе, по симпатиям. Все должны бы сказать ей, что закрывать глаза на такое явление, как забастовка не ходить на лекции — по каким бы причинам она ни началась — значит поддерживать в молодых людях неразумное увлечение, сбивать их с толку.

Не для такой борьбы учится молодежь в высших учебных заведениях и получает государственное воспитание; прежде всего она должна кончить курс учения, который должен быть вместе с тем курсом государственной дисциплины, но не ради только получения степени и диплома и не ради одной только дисциплины, а для того, чтобы на всех поприщах государственной и частной деятельности бороться со всяким злом, т. е. со злом высшего порядка, с противозаконными делами и поступками, с лихоимством и взяточничеством, с ленью и застоем. Учащейся молодежи непосильна еще такая борьба; кто ей говорит, что она настолько сильна, что может победить, тот накликает беду на молодежь и беду реакции на всю Россию, ибо ни одно государство в мире не допустит, чтобы центр тяжести перенесен был из правительственных сфер и кругов зрелого общества в кружки учащейся молодежи. Необходимо беречь ее силы, чтобы раньше времени она не выбивалась из колен и не разочаровывалась в своем будущем и в будущем России.

1 (13) марта, № 8264

CCCXXVI

В редакции есть письма и устные запросы о том, правда ли, что я уехал из Петербурга.

Нет, не правда. Я остаюсь на своем посту, читаю, пишу и внимательно приглядываюсь и прислушиваюсь к тому, что происходит и что говорится. — То, чего я желал, именно — чтоб «все обошлось благополучно без всяких жертв, без раз-

---

[1] Но одну подробность я должен оговорить теперь же, так как мне писали о ней несколько человек. Я говорил о нашей черте — выезжать на плечах молодежи, точить свой либерализм о голову ее, прятаться за молодежь, как трусы прячутся за деревом во время битвы и потом, после победы, начинают кричать о своей храбрости, а после поражения заметают свои хвосты. Это место некоторыми моими корреспондентами понято так нелепо, что я диву давался. Его относили к двум почтенным ученым, выказавшим мужество сердца и умевшим разъяснить недоразумения и заступиться за обиженных. Это значит сваливать с больной головы на здоровую. Я говорил о тех, имя которым легион. Я говорил о тех, которые стараются примазаться к «беспорядкам», выдвигаясь или исчезая, смотря по обстоятельствам. Это явление заметил еще Степняк, во время нигилистического движения, и говорит о нем в «Подземной России» (прав. «Подпольная Россия». — *А. Р.*) очень характерно для тогдашнего общества.

битых жизней и счастия», исполнилось благодаря доброте государя. Говорил ли я истину о стачке молодежи или я заблуждался, во всяком случае, это — такой вопрос, которому суждено, быть может, играть роль в будущем. Я говорил о времени настоящем, когда неожиданно для всех этот вопрос поднялся из земли, как молодое растение. Журналист — не философ, не спокойный наблюдатель, изрекающий истины. Я заговорил в горячую минуту, заговорил о новом вопросе и заставил о нем говорить все общество, говорить страстно и долго, возбуждая к себе и вражду, и сочувствие. Давно не приходилось мне так взволновать страсти и — смею сказать — так заставить размышлять. Я сам волновался жестоко и от того, что меня не все поняли, и от того, что мне приписывали то, чего я не говорил, и от того, что на листах газеты нельзя сказать всего с полною искренностью, хотя и говорят, что бумага все терпит. Будь я частным человеком, который только читает, слушает и размышляет и который не обязан говорить в жаркие моменты публично, совсем иначе себя бы я чувствовал: я бы собирал факты, группировал их, делал из них выводы, и речь моя, может быть, была бы полнее. Однако и теперь весьма многие читатели поняли меня и нашли в моих статьях «и сердечную мягкость», и «гуманное начало», и «те чисто отечественные треволнения, которые сквозят в ваших статьях»; но «многих студентов обманула чисто внешняя их сторона, в которых они нашли себе оскорбления». Я прошу извинения и за эти выписки из писем, хотя я мог бы привести их целый столбец. И эти маленькие выписки я делаю потому, что доселе я ни словом не обмолвился о том, что у меня есть свидетельства сочувствия и от профессоров и от людей, еще недавно окончивших курс в университете, и от многих других. Доселе я говорил только о свидетельствах вражды и страстной письменной полемики со мною — я имею права говорить и о сочувствии. О печати сегодня говорить не буду. Исключая статью г. К. Арсеньева, все остальное — только запоздавшая игра в благородство и выстрелы таких господ, побуждения и цели которых далеки от вопроса о молодежи. А я говорю только об этом, и только это меня интересует страстно.

Нечего и говорить, что к молодежи, как бы она ко мне ни относилась в эти недели, я не чувствовал ни малейшей вражды или чего-нибудь подобного. Только люди, давно затаившие злобу против меня или «Нового Времени», могут говорить, что я — против молодежи. Я всегда ее любил, но никогда не льстил ей и не говорил ей роскошных фраз об ее «силе» и «величии», как поспешно говорят теперь другие. До «величия» — очень длинная лестница и на верху ее становятся только гении, великие мыслители и творцы великих дел. Дай Бог, чтоб вышли из теперешней молодежи и такие люди. Я просто люблю молодежь как молодежь, как надежду, как будущих мужей, и желал ей счастья и всякого блага от всего сердца и радовался, что ее возвращают науке, занятиям, как радовались ее отцы и матери и все ей близкие. Дожив до тех лет, когда имеешь грустное право подавать советы, грустное потому, что оно приобретено тяжким опытом, я слышу, что я выступил с ними не во время. Но не во время разве для себя только, а не для вопроса о молодежи, который не считает часов и дней. Я рассуждал со взрослыми, которые, как и я, желая ей добра, имеют право обсуждать вопрос во всех его подробностях. Это правда, что я подтолкнул общество и разбудил его. Правда и то, что я заговорил о молодежи в то время, когда другие молчали или только прицеливались так осторожно и медленно, что чернила высохли на их перьях и самые перья заржавели. Но что же из этого? Разве не было это моим

правом и обязанностью журналиста? Я слишком много видел жертв не только от «беспорядков», но и от резких перемен в учебной системе, от переходов от одних порядков и программ к другим. Я знал, сколько жизней разбито, сколько жертв унесено, сколько может быть унесено. Когда подумаешь, что все те высылки и другие наказания, свидетелем которых я был так часто и которые обыкновенно следовали за беспорядками, волнениями, безрассудными вспышками, которые зажигали иногда даже большинство, то мысль о лести молодым сердцам отбегает за тысячу верст. А молчание печати, при котором обыкновенно происходили так называемые «студенческие беспорядки», никогда и никакой пользы делу не приносило. Жертвы сосчитывались и увозились, а платоническое сочувствие молчальников скоро вытряхивалось ветром времени...

Понимая хорошо молодежь в эти недели, говоря, что в бурю увлечения самые несбыточные мечты кажутся ей осуществимыми, я совершенно не понимаю взрослых, которые восстали на меня. Молодежь рискует своей карьерой, счастьем своим и счастьем отцов своих и матерей; она готова иногда рисковать даже безумно, охваченная вихрем увлечения и молодого задора. Я понимаю, что в этом есть для молодых людей что-то заразительное, головокружительное, бурно-поэтическое, и я убежден, что невозможно себе представить такого идеального устройства университетов, которое навсегда устранило бы беспорядки. Но взрослые обязаны разобраться и в этой поэзии, которая кончается трагическими аккордами...

Позвольте спросить, что делали в эти две недели, от 9 до 20 февраля, те взрослые, которые идут теперь против меня походом? Что, они тоже забастовали? Они объявили, что не станут ходить на службу, они подавали кому-нибудь заявления и протесты? Или, может быть, они неутомимо ходатайствовали у власть имущих, употребляя все усилия для того, чтоб дело было расследовано? Или, наконец, ударили ли они хоть палец о палец, чтоб как-нибудь проявить свое платоническое сочувствие? Кроме лиц, имена которых известны и мне и всем, все остальные «мовчалы, бо благоденьствовалы», как говорил Тарас Шевченко. Разве это неправда? Я знаю теперь приблизительно всю историю этого дела и могу утверждать это положительно. Чем же лучше меня все эти протестанты, эти горные инженеры, минералоги и проч. ? Тем ли, что они молчали? Тем ли, что они умели *во время* выскочить, когда молодежь в них уже не чувствовала никакой нужды и волна ее входила в берега? Ведь главное — в высочайшем повелении 20 февраля. Ведь благодаря ему волна вошла в берега. И я этому всему сочувствовал искренно и выражал это ярко. Неужели эти господа соблазнились тем, что они идут в хвосте молодежи, ничем не рискуя, безопасным и дешевым путем популярности, искажая смысл моих статей, выдергивая из них отрывочные фразы и пользуясь тем, что я не договорил или переговорил, как выражались наши старые книжники? Неужели этот путь так соблазнителен и так величав, что они думают, что делают дело взрослых? Какую же мерку сравнения мне найти между рискующею молодежью, безыменною, бесследно погибающею, уносимую вихрем возбуждения и задора, и этими рассудительными взрослыми, размеренно-пошло высчитывающими шансы своей популярности и печатающими свои имена, которые, по большей части, ничего не говорят? Какую? Скажите мне, пожалуйста, вы, взрослые, вы, читающие меня?

Да и вообще, какое право у этих господ выступать публично с своим протестом, его не мотивируя? Или потому, что они сказать всего не могут? Но ведь и я

далеко не все сказал и по тем же причинам. Это всякому должно быть ясно. Я могу требовать этих мотивов и рассчитываю отвечать на них. Разговор идет о таком важном вопросе, как университетская жизнь, требующая реформ, как будущность молодых людей, в душе которых нарастает что-то новое и мало предвиденное даже теми «пророками», которые так долго молчали. Тут молчанием ничего не возьмешь и фразой порицания моего «поведения» ничего не выяснишь. Это — во-первых. Во-вторых, кто эти протестанты? Какое у них право называть мое поведение «недостойным», и какое право у того, который печатает это, делать этот приговор публичным? Что он — публичный обвинитель или какое-нибудь светило, муж совета и разума? Я этих прав за ним признать не могу. Если эта «идейная борьба», то она выражается идеями, а не приговорами с перечислением имен более или менее незначительных. Я сам работал для русского просвещения и русской молодежи, помимо газетных статей, о которых может быть то или другое мнение. Моя издательская деятельность, то множество книг, мною изданных, в которых я сам принимал деятельное участие, говорят за меня громко. С этой святой я могу пойти на всякий суд и спокойно умру. Я — не герой, но героя ли вы? Я — обыкновенный человек, но все-таки я жил недаром, и мне есть, что вспомнить хорошего: что я сделал для своей родины. Я начал жизнь бедняком учителем, я никогда ни от кого и никогда не получал субсидий ни в какой форме, я ничего не вымаливал и не выпрашивал, никогда никакой протекции не имел и всем обязан своему неустанному труду, терпению и книге, которую я страстно любил и люблю, и, конечно, тому непонятному и необъяснимому, что называется счастьем. .

Но надо ли говорить о себе это? А если есть (негодяи — слово зачеркнуто во всех экз. обоих изд. — *А. Р.*), которые швыряют в меня самыми позорными обвинениями чуть ли не в аудиториях, швыряют перед молодежью и у меня на это есть письменные доказательства. Вы скажете: надо презирать! О, клеветники тем и сильны, что их презрением не пронмешь!..

Я счел бы за величайшее счастье дожить до того дня, когда печать ограждена была бы законом — только законом, пусть и строгим. Я убежден, что если б печать могла говорить о «беспорядках 8 февраля» на другой же день, могла бы хотя регистрировать показания той и другой стороны немедленно, все бы обошлось гораздо спокойнее и скорее. Что делается на улице, то должно быть гласным, ибо в порядке и справедливости заинтересовано все население. Только искренность могла бы нас привести к правде, будь она, повторяю, и под строгим контролем.

Так то, господа. Я имею право требовать, чтобы моих взглядов не искажали и не приписывали мне таких намерений, которых я не имел и не мог иметь. Своими протестами молчать меня не заставят. Тут дело моей чести и убеждений, выработанных тяжелым опытом моей жизни.

16(28) марта, №8279

CCCXXVII

Мне думается, что мы больше говорим о пушкинском празднике, чем делаем, тогда как о других вопросах, где надо было бы поговорить, приходится молчать. Не пустое ли это дело писать о том, что Пушкину памятника не нужно, что это —

«идол», что это не отвечает народным обычаям, что «русскому народу вообще не указ романо-германский запад, по крайней мере, в делах чествования и поминовения своих выдающихся деятелей; истинно-русские христиане признают полезным и душеспасительным...». Ну, и так далее. Все та же лицемерная, вымученная дребедень об «истинно-русских христианах», о которых пишут в Петербурге и едва ли истинные христиане. И как это лицемерие не надоело. Пьют, упиваются, едят, объедаются, бросают на свои удовольствия тысячи и, однако, говорят: «оно, действительно, голодающие, а мы памятник!.. Лучше никому не давать!» И человек спокоен. Совесть его не мучит, что он не пожертвовал на «идола», ибо он остался верен правилам «истинных христиан» и не соблазнился примером «романо-германского запада». По этому рецепту как легко сделаться «истинным христианином» и даже истинно-русским человеком! Стоит памятник Петру Великому. Спрашивают «истинные христиане»: что это такое?

— Идол,— отвечает князь Ухтомский.

— Так-с... Ну, а это что будет?.. — спрашивает «истинный христианин», указывая на памятник Екатерины.

— Идолица с идолами! — отвечает угрюмо князь Ухтомский. — Когда я был на Дальнем Востоке, в Китае...

— Там-то, небось, идолищев этих! Тебя, родимый, пожалуй, поклонятъся заставляли там идолам? — спрашивает истинный христианин, утирая слезы.

— Заставляли, но я не дался, — отвечал князь Ухтомский, закрывая свое лицо китайским зонтом.

— Зачем же у нас-то этих идолов наставили?

— Я все это прикажу убрать... в свое время...

— Убери, родимый, убери, кормилец...

А я думаю, вопреки этим истинным христианам, что правды-то у романо-германского мира, пожалуй, побольше, чем у этих проповедников за «истинных христиан». Национальность свою надо беречь, надо беречь свой язык, свою веру, но это нисколько не мешает взять у романо-германского мира всю его культуру, не исключая «идолов», всю его гордость своей силою матерьяльной и нравственной и все его средства для развития всего того, что у нас еще только в зачатках. Я понимаю того британца, который, приехав в Париж и увидев, что там нет «идола» Шекспиру, заказал его на свой счет и подарил парижской думе, которая и отвела ему место на одной из парижских улиц.

Мы все еще лицемерно киваем на «истинных христиан», на наш «народ», о котором мы якобы заботимся, оберегая его от идолов, которые на романо-германском западе давно стали полубогами и которым все нелицемерно поклоняются, впитывая в себя те истины, которые они дали своей родине и человечеству. Мы говорим о любви к ближнему, о независимости, о человеческом достоинстве, о многих других прекрасных вещах, но когда дело приходит к тому, чтоб эти прекрасные вещи осуществлять, мы вдруг начинаем лепетать о народе, об его обычаях, о его верованиях, о нашем православном, благочестивом, смиренномудром народе. И всегда-то мы киваем на него как раз в то время, когда кивать на него не следует, а когда самих себя следует подгонять вперед...

Народ для нас какая-то этнографическая и податная единица, ничего не понимающая в «идолах», а понимающая только «раба Божьего» и «панафиды». Мы все к нему с сентиментальными чувствами и с барской лаской высокомерия, а он

в этом давно не нуждается. Мы думаем пронять его фразами да душеспасительными наставлениями, а того не хотим признать, что он сам в этом отношении гораздо выше нас, ибо он дал песни, пословицы, загадки, целую лубочную литературу и душеспасительные книги знает лучше нас. Народ фраз не любит, а любит дело. Именем Пушкина ему обещают просвещение, школы, больницы, богадельни. А вы не обещайте, а сделайте и дайте хоть сотую долю того, что обещаете. Это гораздо труднее, чем написать об «идоле» целый том чепухи и бабьих причитаний, но это докажет зато лучше ваши симпатии.

Мы задались делом маленьким. Мы к народу не обращались, а обращались к людям образованным, когда начали агитацию в пользу памятника Пушкину, в пользу «идола». Нам говорят, что в два месяца мы только собрали 18 тысяч и что это сумма говорит о равнодушии общества. А вы сколько собрали на школы, больницы, богадельни и всероссийское просвещение? Вы только еще собираетесь? Мы две трети этих 18 тысяч получили по грошам. Нам ничего не дали ни банкиры, ни биржевики, и очень мало капиталисты. Они, вероятно, вашего мнения, которое позволяет ничего не давать ни на «идола», ни на школы, ни голодающим. Это все люди, уважающие народные обычаи и не желающие видеть «идола»...

Мы считаем, что собрали достаточно для такого короткого времени, которое к тому же смущено было печальными событиями, отвлекавшими самую живую и самую впечатлительную часть общества, молодежь, которая не богата деньгами, но богата одушевлением и умеет его передавать взрослым. Вместе с тем читатели наши прислали 47 тысяч для голодающих, которые мы передали Красному Кресту. В то время, когда вы вели против нас агитацию, говорили о нашем лицемерии, человеконенавистничестве и проч., когда вы терялись в широковещательных фразах и кричали о своей доброте и благородстве, становясь за чужие спины, мы продолжали делать наше маленькое дело и наш слабый голос доходил до сердца наших читателей и накоплялись десятки тысяч рублей и для «идола», и для тысяч бедных крестьян, пострадавших от неурожая.

Начиная агитацию в пользу памятника, мы приглашали всю печать к этому. Но она стала смеяться и вернла в полный неуспех подписки. Когда оказалось, что мы не ошиблись в чувствах публики к великому поэту, вы снова теряетесь в словах и фразах, обрызганных ядом злобы. А «идол» торжествует, потому что русское общество хочет, чтоб этот «идол» стоял на виду у всех, в столице русского царства, и чтоб ему поклонялись наравне с другими «идолами», потому что он стоит этого поклонения. Мы никому не мешаем строить больницы, школы, богадельни, помогать голодающим, которым собирали деньги и посылали свои, давали о голодающих корреспонденции, для чего посылали на места неурожая своего сотрудника, и смеем думать, что и тем русским людям, которые хотят поставить памятник великому поэту, поставить идол, не следует мешать осуществить это общерусское дело. Этот идол прекрасен. Это — наш русский лучезарный Аполлон, около которого собирались и собрались все русские музы и утешали, и радовали, и воспитывали многострадальную русскую душу. И она благодарна своему поэту за то, что он так полно выразил ее и показал ее другим народам. В нем я вижу не только поэта, но и великого государственного человека, который силою слова побеждал неверующих в русский народ, силою поэзии объединял разные племена, входящие в состав империи, в один народ, и этот русский народ объединял с другими народами, проповедуя веру в красоту добра и правды. Вот

этого значения Пушкина не хотят понять те, которые равнодушны или даже враждебны к его памятнику.

А он стоит царских почестей в день столетней годовщины своего рождения. Если б гром пушек встретил этот день, если б колокола звонили, гимны распевались, огни горели, русские флаги развевались бы и поднимающие душу слезы умиления виднелись бы на лицах благодарных граждан, — кто был бы недоволен таким единственным праздником на протяжении целого столетия?

9 (21) апреля, № 8303

CCCXXVIII

Развернув сегодня «СПбургские Ведомости», я ужаснулся. Оказывается, я обвинил князя Э. Ухтомского «в политической неблагонадежности». .

Произошло сие событие следующим образом.

Вчера я сочинил маленький разговор между «истинным христианином», который называет памятники великим людям, между прочим Петру Великому и Екатерине II, «идолами», и князем Ухтомским, который соглашается с этим взглядом «истинного христианина».

Сегодня князь Ухтомский говорит по этому поводу, что «имена наших монархов нельзя святотатственно привлекать на столбцы газет, для обвинения оппонентов... в политической неблагонадежности...».

Мне думается, что в этих лукавых строках заключается обвинение меня в политической неблагонадежности, — меня, осмелившегося «святотатственно привлекать имена наших монархов на столбцы газет», хотя я отнюдь не думал и не думаю, что я учинил святотатство, влагая глупые речи об «идолах», т. е. о памятниках великим людям, в уста непонимающих людей. Но князь Ухтомский кипит такою злобой, что, обвиняя меня в политическом святотатстве, думает, что это я обвиняю его в «политической неблагонадежности»...

Нет. В политической неблагонадежности князя Ухтомского я не обвинял и не обвиняю. А если б я хотел следовать его примеру и обвинять, как он меня обвиняет вот уже около двух месяцев, я обвинил бы его только в политическом недомыслии и самомненной бездарности.

Это две вещи разные.

11 (23) апреля, № 8305

CCCXXIX

Переживает ли Россия кризис, я не знаю, но образованное русское общество, по моему мнению, переживает кризис. О нашем росте мы, конечно, можем судить по статистике, прилагаемой ко всем отраслям жизни. Но статистику мы оставим в стороне, ибо всякому очень хорошо известно, что Россия теперь совсем не та, что была она не только полвека, но четверть века тому назад. Я возьму за исходную точку известный политический роман Тургенева «Отцы и дети». Этот роман в такой степени политический, что его едва ли можно обойти молчанием в политической истории России. Он имел несомненное влияние на обще-

ство и очень верно определил тот кризис, который переживала Россия в шестидесятых годах. Роман написан в 1861 году. Легко сообразить, что теперешнее молодое поколение, заканчивающее ученье и вступающее уже на поприще деятельности, — внуки Базарова и Кирсанова. Дети этих неравных между собою героев — люди сорока -сорока пяти лет в настоящее время. Они прошли тяжелый период революционной борьбы или нигилизма, период недоверия, заподозревания, скрытности, резкого раздвоения личности, которая искала не столько примирения с собою, сколько с окружающею действительностью. Жизнь требовала людей дела в земстве, администрации, в частных предприятиях, в судах, в адвокатуре. И дети Базарова и Кирсанова брали себе эти должности и устраивались Политические идеалы их отходили прочь, или погребались внутри себя, или менялись. Нигилистическое движение было слишком резко, даже наивно. Оно задавалось целями очень отдаленными и старалось приблизить их средствами революционных заговоров и насилий. Это были младшие братья и сестры Базаровых, дети тех же родителей, которые, тихо мечтая и учась, прожили тридцатые и сороковые годы, период Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Белинского и Тургенева. Этих младших братьев и сестер Базарова Тургенев уже не понял, когда изображал их в «Нови». Он думал, что это новые «всходы», «новь»; на самом деле это были те же «дети», но родившиеся позднее.

Внуки Базарова и Кирсанова выросли в период затишья, когда нигилизм сошел со сцены, когда не было ни политических процессов, ни разговоров о них в семьях. Оставались тяжелые и больные воспоминания, но жизнь представляла затишье и умиротворение. Даже борьба с классицизмом утрачивала свой резкий и непримиримый характер. Все вошло, казалось, в берега, и река жизни катилась ровно, иногда только поднимая волны по ветру, но не выступая из берегов. Молодежь воспитывалась в этом спокойствии, укрепляя физические силы спортом, который стал входить в обычай среди нее, что прежде считалось делом не только бесполезным, но чуть ли не противным политическому человеку, гражданину русской земли...

Я только намечаю некоторые черты, чтобы сказать, что молодежь теперешняя не совсем то, чем была она прежде. Журналистика и литература еще недавно на все лады говорили о «практичности» молодежи, об отсутствии в ее стремлениях «идеалов», об индифферентизме и т. д. Мне думается, что тут было какое-то недоразумение, или эти недостатки, или достоинства — кто как смотрит — слишком обобщались. Внимательному наблюдателю, вероятно, представлялось бы нечто другое, не столь обобщенное. Но упрекавшие молодежь увлекались воспоминаниями о шестидесятых годах, об этой наивной весне русской общественной жизни, где было, по моему мнению, больше радости, больше беспредметного увлечения, чем политики. Этот период доселе не изображен в настоящих красках и чудесный намек на него, полный добродушного юмора, есть только в отрывке Л. Н. Толстого из неоконченного, к сожалению, его романа «Декабристы».

Русское общество за это полустолетие не обнаруживало особенной деятельности, несмотря на реформы, на нигилизм, на бурные порывы. Серьезное движение было только во время сербской войны и частью во время нашей войны с турками, когда обмануты были ожидания всех тех, которые горели возвышенными чувствами. Явилось практическое учение о государственном социализме, как довольно понятное следствие бездеятельности общества. По мнению проповед-

ников этого социализма, общество было неспособно к серьезной, национальной работе и потому всего удобнее реформировать жизнь через чиновников. К тому же революционная борьба поселила недоверие между правительством и обществом. Но потребность в реформах, в движении вперед не покидала общество и в бурные периоды, и во время затишья. Само оно постепенно, слишком постепенно начало принимать прямое и косвенное участие в общественной жизни, в ее направлениях и колебаниях. Оно уравнивалось в известном смысле слова, отвыкало от резкости, от унаследованной старины и становилось более европейским. Всякая грубость начала его волновать, всякая несправедливость заставляла о себе говорить. Не то что оно стало либеральнее, — политические термины мы оставим в стороне, ибо они мало что объясняют, — но оно стало воспитаннее под влиянием всего пережитого, и реформ, и нигилизма, и испытанных волнений, и новых судов, которые вносили законность и даже учтивость. Вот это мало у нас употребляемое слово «учтивость», более выразительное, чем вежливость, в существе дела имеет совсем не маленькое значение. Учтивость не только в известном классе общества, но и во всем образованном обществе. Нельзя грубо говорить, нельзя толкаться, нельзя поднимать начальнический тон, нельзя ругаться и т. д. Это «нельзя», ставшее на место прежнего «можно», поднимало чувство собственного достоинства в людях. Вежливость не у себя дома только, но и всюду. Вежливость в общественных отношениях не только между равными, но даже не равными и совсем не равными. Кто хочет, чтоб его не оскорбляли, должен сам никого не оскорблять. Это не мешает ни твердости характера, ни авторитету, ни законным требованиям от человека. Слово «вы», введенное судом безразлично для всех, сделало свое дело наравне с другими более сложными и глубокими влияниями.

«Но ведь вы заговорили о каком-то кризисе в обществе, об отцах и внуках Базарова и Кирсанова». Я об этом не забыл. Кризис заключается именно в том перерождении общества, которое приблизило его к пониманию своего собственного достоинства, которое поровняло в известной мере сословия образованием, чтением, общественностью, пережитою сложною жизнью, в которой приходилось давать себе отчет. Кризис заключается в колебаниях, в переходе влияния с одного слоя на другой, он заключается в чем-то тонком, почти неуловимом, но которое чувствуется всеми. Об этом говорят, стараются определять это явление, называют его так или иначе. Пережиты равнодушие и безучастие, пережито время грубейшего насилия. Общество стало чувствительнее и потому требовательнее. Оно рассуждает уж не о временах «алюминиевых дворцов» и «коммун», как дети рассуждают о любви, а о настоящем, о земном, о сегодняшнем дне и текущих событиях и рассуждает, как взрослые. Оно стало отзывчиво. Его не только трогают общественные бедствия, но оно осознает свой долг помогать. Оно с одушевлением откликнулось на торжество Пушкина, оно несет свои лепты на памятник ему — это без всякого официального побуждения, которое еще недавно считалось необходимым. Оно оценило с замечательным единодушием идею разоружения, провозглашенную государем. Эта прекрасная идея, помимо своего политического и военного значения — замечу кстати — имеет для русского общества и глубокое нравственное значение. Она вносит в общество мягкость, справедливость, указывает на необходимость действовать убеждением, взаимным согласием. Не народы только между собою, но народ, общество в разных отношениях своих враждуют или не понимают, а иногда и понять не хотят друг

друга — и тут эта идея является благом, и тут желательно, чтоб она подействовала, чтоб она приводила к миролюбию и соглашению. От общества далеко ушли те цели, которые преследовал т. н. нигилизм, и оно стало вращаться в сфере всем доступных интересов, политических, финансовых, промышленных, литературных и т. д. Оно определяет характеры действующих лиц, деятельность их, таланты; оно умеет отличать людей, оно начинает уметь разбираться и не бояться высказывать свое мнение. Оно свободнее говорит, чем печать, и гораздо свободнее критикует. Конечно, все это было и прежде, но теперь это разлилось реками. Всему этому можно только радоваться, ибо вместе с развитием собственного достоинства в обществе, с повышением его желаний, его требовательности несомненно выросло то, что можно назвать консерватизмом не в полемическом значении этого слова, а в том почтенном значении, которое указывает, что в обществе крепнет твердость известных положений и понятий национально-политических и общественных.

С ним можно говорить, его можно убеждать, но говорить и убеждать можно уж только с известным запасом знаний, опыта, вежливости, выдержки, одним словом — таланта. Оно способнее слушать и делать, но не всякого и не со всяким. Оно хочет живого слова, которое не противоречило бы живому делу. И подобно тому, как сороковые годы приготовили деятелей для реформы, восьмидесятые и девяностые приготовили людей, даже многочисленную группу людей подобных же, для которых спокойное созидательное развитие России — дело близкое и дорогое, дело, о котором они говорят и мечтают с искреннею любовью.

12 (24) мая, № 8334

CCCXXX

Дело братьев Скитских стало очень громким делом. Общественное мнение высказывается в пользу осужденных. Читая процесс, чувствуешь, что дело запутанное. Талантливая речь Карабчевского, защищавшего одного из Скитских, заключала в себе, по моему мнению, слишком много красноречия. Оно могло подействовать на присяжных, но на сословных представителей оно могло произвести обратное действие. Сословные представители чувствуют себя не столько судьями совести, как присяжные, сколько настоящими судьями, взвешивающими холодным разумом все обстоятельства. Перед ними уместнее другой метод — тщательного анализа. Такой анализ заключается в брошюре профессора Харьковского университета Ф. А. Патенко «Дело об убийстве секретаря Полтавской духовной консистории Алексея Яковлевича Комарова с судебно-медицинской стороны». Это — не узкая судебно-медицинская экспертиза, как обыкновенно ее понимают; не что-то побочное, на что обвинение и защита обыкновенно ссылаются довольно произвольно, считая только за собою право решать дело так или иначе: это — подробный разбор всего дела. И к этому разбору г. Патенко приведен был следующим образом.

Он был вызван в харьковскую судебную палату в качестве эксперта. Палата отнеслась отрицательно к просьбе экспертов и защиты дозволить экспертам ознакомиться сначала с делом на судебном следствии и потом уже их спросить.

Гг. юристы, кажется, относятся, к судебной медицине, как здоровые люди к докторам, с которыми они только в карты играют. Поэтому экспертов допросили в самом начале судебного заседания, причем самый важный вопрос о причине смерти Комарова совсем устранили. Г. Патенко, удовлетворив палату чем мог, не зная дела, решился удовлетворить и себя самого, свою совесть: он остался в палате и выслушал все дело в качестве частного человека. И тут-то он в ряде фактов, освещенных свидетельскими показаниями, нашел те доводы, которыми и поделился теперь с публикой.

Случай, в своем роде, единственный.

15 июля 1897 г. около 4 час. пополудни, в трех верстах от Полтавы был найден труп Комарова. Комаров ушел из консистории к себе на дачу в экономию профессора Склифосовского 14 июля, в 2 часа 25—27 мин. пополудни. Жена его говорит, что она ждала мужа до 4 час. на даче, потом пошла к нему навстречу, дошла до городской черты и вернулась домой. Вечером пришел на дачу швейцар консистории, принесший что-то по приказанию Комарова. — «Где барин?» — спросила она. — «Он ушел около половины третьего». Услышав это, г-жа Комарова ушла в город на свою квартиру, в консисторском доме, где оставались на лето ее мать и сестра. Она расспрашивала о муже, где могла, и опять вернулась на дачу. Утром 15 июля она пошла опять в город и искала мужа по дороге, но не в районе дачи, где найден был потом его труп, а «в кустах поближе к городу». В городе она взяла с собой сестру и с нею искала в тех же местах и прошла на дачу, с дачи опять в город, где встретила одного чиновника консистории и сторожа, и с ними пошла искать опять в тех же местах. Комаровой почему-то думалось, что муж ее убит около города, а не около дачи. Не найдя трупа, вернулась в город, из города опять на поиски. Полиции ничего не было сказано. В это время чиновники консистории по собственному влечению пошли искать труп своего начальника и были счастливее Комаровой, найдя его в районе дачи, шагах в пятистах от нее, около мостика через рытвину. Комарова сейчас же заявила подозрение на Скитских, двух чиновников консистории, враждовавших с Комаровым, но указывала и на г-жу Тржецяк, бракоразводное дело которой Комаров тормозил, и на подосланных убийц г-жою Ливин, которая тоже вела в Полтавской консистории бракоразводное дело. Очевидно, по мнению г-жи Комаровой, если дама способна вести бракоразводное дело, то она способна и убить, и подослать убийц, и если есть достоверные свидетели для бракоразводных дел, то есть и бракоразводные достоверные убийцы. И далее: если чиновники консистории враждуют с секретарем оной, то они и способны убить его. Все это немножко странно...

Я не могу входить во все подробности положения трупа и вскрытия его. Скажу только, что покойному было двадцать восемь лет и что в кармане у него был револьвер со всеми зарядами. Очевидно, он опасался нападения. Кто же напал на него? Братья Скитские. Они подкараулили его среди бела дня, на открытой местности, видной с дачи, накинули на шею ему петлю и удушили. Видел это кто-нибудь? Никто не видел. Есть показания, что видели каких-то двух людей, кто-то видел идущего Комарова, водовоз видел г-жу Комарову, идущую вместе с какой-то барыней около 4 час. в город; другой водовоз видел Комарова около часу недалеко от Полтавы, а около 2 часов видел Комарову, которая шла от дачи. Все эти показания сбивчивы и на них мудрено что-нибудь строить. Не лучше ли узнать: как умер Комаров? Действительно ли он удушен веревкой? Где он убит?

На том ли месте, где найден труп, или на другом? Не делали ли чего-нибудь убийцы, чтоб закрыть следы своего преступления? Вот этими вопросами и занялся наш профессор.

Г. Патенко подробно критикует врача, делавшего вскрытие трупа. Он камня на камне не оставляет в его заключениях, которые следствие приняло за истину. Чтобы судить о правильности критики г. Патенко, надо, конечно, быть таким же специалистом, как и он. Но я полагаю, что профессор свое дело знает хорошо и доказательства его так понятны, так общедоступно изложены, что ему постоянно веришь, сравнивая его доводы с доводами протокола. Он осторожен везде, где нет явных доказательств, но он прям и решителен, когда научные факты за него. При этом он не упускает из виду ничего, — ни местности, ни деревьев, которые играли роль при перенесении трупа, ни разбросанных вещей убитого, ни смятых и переломанных напрос, найденных в кожаном портсигаре во внутреннем кармане пиджака, ни консисторской фуражки, которая играла важную роль в этом деле, ни веревки на шее убитого, ни *бантовой* петли — в этом банте он видит женскую руку — мужчина завязал бы тугим и простым узлом. Но главное, что он нашел и что оставляет центр дела — это смерть совсем не от удавления веревкой. Г. Патенко на этом настаивает. Он не видит никаких ни наружных, ни внутренних признаков такого удавления. В самом протоколе вскрытия «не указано ни малейших специальных признаков удавления петлей», хотя в науке они существуют, и однако признано, что Комаров удавлен петлей. Г. Патенко очень точен и внимателен; протокол вскрытия для него — открытая книга, которую, разобрав обстоятельно, отвергнув одно, дополнив другое, указав противоречия и несообразности, он читает по ней картину убийства. Вы невольно думаете, что он — на правильном пути...

Комаров шел домой и встретился с двумя-тремя лицами, из них — один мужчина и две женщины или одна женщина; это были его знакомые, близкие, у которых он не мог подозревать ни тени вражды к себе. Пошли они вместе, как друзья; вдруг мужчина схватывает Комарова сзади вместе с руками и крепко держит в этих предательских объятиях; Комаров не может защищаться; одна рука его, прижатая к груди, нажимала на портсигар и мяла его вместе с папиросами, которые от этого и были смяты и изломаны. Спереди в это время дамы зажимают ему рот и нос чем-нибудь мягким. Комаров задыхается, быстро теряет сознание и через 4—5 минут лежит лицом вниз, мертвым, «освободившись от предательских объятий». Если это случилось между 2 и 4 часами, то дальнейшая обстановка убийства должна была случиться позже, вероятнее всего ночью. Это уж мое предположение, если следовать картине убийства, нарисованной г. Патенко. Убийцам надо было скрыть свои следы и направить следствие на Скитских, в чем они и успели. На спине пиджака и на шляпе были брызги крови и внизу пиджака кровяные пятна. Убийцы принесли крови какого-либо животного (кровь не была исследована) и обрызгали ею убитого; труп перенесли в другое место, частью на руках, частью тащили по земле за петлю; достали из консисторской сторожки фуражку и подбросили сюда; с трупа взяты только дамские часы; остальные вещи разбросаны явно искусственно: у самой дороги — очки, потом фуражка, потом зонтик и притом вывернутый как ветром, в середину куста засунута соломенная шляпа и около убитого — пенсне. Если бы г-жа Комарова не была занята мыслью, что муж ее убит около города, то, проходя этим местом 15 июля, она

могла бы увидеть эти вещи, если они не были разложены только за несколько часов до находки трупа.

Конечно, лучше всего известно, как совершено было убийство, самим убийцам. Но предположения г. Патенко очень правдоподобны, гораздо правдоподобнее того способа убийства, в котором обвинили Скитских. Пришли будто бы эти братья к мостику, который виден с дачи Комарова и, отойдя от него шагов на двадцать, в сторону, в кусты, стали там подкарауливать консисторского секретаря, попивая водку и закусывая ее колбасой. Один из Скитских в этот день лыка не вязал. Подкрепив себя таким образом, они сделали из веревки нечто вроде аркана и, закинув им на проходившего Комарова, как на лошадь, удавили его. Следствие находило, что в этом убийстве все консисторское — и чиновники, и веревка, и фуражка. Эта замечательная фуражка принадлежала извозчику, который, найдя консисторского сторожа мертвецки пьяным, сделал, как добродетельный самарянин: привез пьяного в место его служения и надел на него фуражку; с этого момента фуражка стала консисторскою, а потом знаменитою; веревке не удалось остаться консисторскою, ибо купцы признали, что она совсем не консисторская: в духовном ведомстве веревки иные. Удивительные убийцы: будучи консисторскими, взяли с собою все консисторское, чтоб не было сомнения, что это они именно убили. Счастливы г-жа Тржецяк и г-жа Ливин, что у них ничего консисторского не нашли, ибо даже прошения их о разводе остались в консистории неприкосновенными. Иначе и им бы не сдобровать, пожалуй.

Удивительна эта логика: надо отыскать убийцу. Кого вы подозреваете? — Ивана. — Подайте сюда Ивана. — Что ты вчера делал? — Пьянствовал. — А колбасу ел? — Жрал. — Ты убил. — Никого не убивал, накажи меня Бог. — Говори там — пошел в острог!

В остроге к Ивану подсаживают предателя. Предатель начинает предательствовать и путать. И пошла история. Следователь так устроен, что если во что вопрется, то его оттуда не оттянешь. Настойчивые люди. Много лет тому назад я часто ходил в суд и всегда удивлялся упорству следовательской логики. Прокурор напишет чудесный обвинительный акт. Нет сомнения, что перед вами убийца. Начинается судебное следствие. Что за чудо! Обвинительный акт трещит по всем швам, но прокурору и горюшка мало — знай свое твердит. Мне, бывало, кажется, что суд — это пытка, страшная нравственная пытка, где праведные терзают не то грешников, не то праведников, не разберешь. Бывало А. Ф. Кони начнет разбор преступления тонко, остро, патетически и психологически. Я очень любил его речи, но не желал бы и при таком талантливом прокуроре сидеть на скамье подсудимых. Так и хотелось его прервать: «да, виноват, виноват. Оставьте, пожалуйста, меня в покое. Говорю — я убил. Чего вам там еще разговаривать?» Мне даже кажется, что иногда невиновному приходит в голову воскликнуть: «я убил. Перестаньте только говорить и допытывать». До этого могут дойти потрясенные судебной процедурой нервы.

У французов здания суда называются Palais de Justice. Действительно «дворец правосудия». Там сидит королева Фемида, там ее шамбеляны, пажи, гвардия; там особенный декорум, свой этикет, свои тайны, свои интриги, своя борьба честолюбий и страстей. Это — придворные, только на свой манер. Такими они, конечно, представляются подсудимому. Мне было несколько смешно читать выражения негодования гг. юристов против Л. Н. Толстого, написавшего юмо-

ристически правдивую картину судебного заседания. Лицемерия в этом «дворце правосудия» столько, что и других свойств его гвардии, его шамбелянов и пажей хватило бы на целый роман. Кто напишет правдивый роман на эту тему, тот напишет хороший роман.

Я думал, прочитав брошюру г. Патенко: что, если в самом деле Скитские не виновны! Они только запутались и запуганы. Ведь и невинный человек может солгать, желая скрыть какую-нибудь подробность своей жизни. Ведь тайны есть и у судьи и у прокурора, и они лгут, как лжем мы все и лжем походя. А если вам предъявят обвинение, поставят на допросы, окружат предателями; если всякое противоречие ваше, не только ложь, запишут и поставят на вид; если каждый шаг вы должны обдумать, каждое слово сообразить! Если вы притом виновны во вражде к человеку, если вы делали ему всякие пакости и грозили ему! Непременно налжете и запутаетесь, так запутаетесь, что выхода не найдете. Суд — страшное дело и храни от него Господь всякого.

Кто бы ни убил Комарова, брошюра г. Патенко не должна пройти незамеченною уж потому, что она выдвигает вперед судебную медицину, положительную науку. Если действительно устами науки говорит г. Патенко, а в этом сомневаться я не могу, Скитские не виноваты в убийстве.

20 июня (2 июля), № 8372

CCCXXXI

Постоянные дожди, продолжающиеся более месяца, превратили урожай нынешнего года в нечто такое, что еще не совсем точно можно определить теперь. Я живу в деревне, в Тульской губернии, на границе с Орловской. Недалеко отсюда то село Тургенево, где находится Бежин луг, более знаменитый, благодаря Тургеневу, чем сотни городов наших. Урожай в наших местах был хороший. Но крестьяне говорили:

«Урожай дал Бог, да в руки он дастся ли?» Уже время покоса было неблагоприятно. Рожь и овес поспели одновременно и увеличили заботу уборки хлеба. А тут и пошли дожди. Откуда это только льется целые дни, целые недели, то с грозами, то в виде тех мелких, беспрерывных дождей, которые так обильны в Петербурге. Барометр за все лето не поднимался даже до «переменной погоды», а упорно стоял на «дожде» — «великом дожде». Постукивали землевладельцы о стекло барометра в нетерпении и стрелка прыгала книзу. Рожь и овес лежат доселе на полях, в копнах, а кое-где даже не связанные, — лежат целый месяц. Чтобы яснее для вас представить дело, я должен сказать, что в прошлом году к концу июля рожь и овес были убраны с полей, началась молотьба и посев в свое время. Сегодня 28 августа, а все обстоит по-прежнему. Дождь льет и льет; северо-западный ветер дует холодом, как в ноябре. И помещику, и крестьянину одинаково скверно. На полях пропадает хлеб, проросший, мокрый, с почерневшей, гнющей соломой; пропадают, вероятно, если сообразить, что дожди обнимают пространство нескольких губерний, миллионы рублей в этой непогоде. Пропадает и надежда прокормиться. Тут полное бессилие перед капризами неба. Ничего делать нельзя: ни убирать хлеб, ни молотить, ни сеять. Мужики говорят, что Бог послал дожди перед светопреставлением, которое, как известно, будет 1 ноября.

Переведенная с немецкого брошюра проникла в двух изданиях в народ, который верит в это событие. Бог так распорядился в своей премудрости, что мужик соберет с урожая лишь столько, чтоб прожить до 1 ноября, а остальное истребил дождем, как ненужное. Мне думается, что подобные произведения могли бы не появляться на рынке. Их отсутствие никому никакого вреда не принесло бы, тем более, что в Евангелии сказано, что никто не знает, когда придет Сын Человеческий судить живых и мертвых, не знают даже немцы, как известно, стоящие к Богу в особенно близких отношениях, если верить покойному князю Бисмарку.

Бедное наше сельское хозяйство! Ниоткуда ему ни света, ни привета. Со времен Рюрика оно мало изменилось, и умные люди теперь говорят, что его и не надо. Обратим Россию в промышленное государство, и дело с концом. Ждите, умные люди. Но я думаю, что эти необозримые пространства не обстроить фабриками и заводами, и всех мужиков не обратить в фабричных рабочих. Поэтому земледелие останется всегда главным капиталом России. Крепостное право было протекционизмом не для земледелия, а для помещиков; повышенные пошлины есть род крепостного права в пользу фабрикантов и заводчиков. Если земледелие не выиграло от крепостного права, то выиграет ли промышленность от протекционизма? Этот вопрос можно оставить открытым.

Живя в деревне, невольно спрашиваешь: где пресловутая русская интеллигенция? Ее не видишь. Черт знает, где и что она делает. В деревне все делает мужик: он и администратор, он и техник, он и плотник, он и столяр, кузнец, слесарь, каменщик, печник, машинист, учитель, садовник, сыровар, фельдшер. Все мужик. Пяди нельзя ступить, чтобы не наткнуться на работу мужика, а работу интеллигента надо отыскивать и стоит она страшно дорого, не в пример дороже мужицкой работы.

Говоря об отсутствующей интеллигенции, я, конечно, не разумею делающего свое дело помещика. Он в таком случае тоже мужик, богатый и образованный мужик, и дела ему так же много, как мужику. Рудины, Лаврецкие и другие герои Тургенева исчезли, потому что теперь в деревне заботятся о насущном хлебе, а в то время все приготовляли крепостные, а господа прекрасными идеями занимались. Помещик, наезжающий в деревню, — нечто вроде дачника, «воздушника», как кое-где называют этих дачников: они приезжают для воздуха, и когда настает такая погода, как теперь, они снова отправляются в город, где погода не играет никакой роли и где от мужика стоят далеко. Да, в деревне интеллигенции чрезвычайно мало и роль ее весьма ограниченная. Можно даже сказать, что деревня живет совсем без интеллигенции, своим умом, своим опытом и медленным, чрезвычайно медленным прогрессом, таким медленным, что вопросы, волнующие теперь Россию, напоминают вопросы конца XVI и начала XVII веков.

Представьте, что время закрепощения мужиков имеет сходство чуть не со временем раскрепощения их. Вы убедитесь в этом, если прочтете прекрасную историческую книгу г. Платонова «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» . Конечно, мы от этого времени далеко ушли, даже очень далеко; но государственные и социальные вопросы, волновавшие Русь три века тому назад, еще не отжиты и теперь. Не потому ли, что мужик остался прежним и деревня мало изменила свой внешний и внутренний вид в эти три века, хотя рядом с ней выстроились каменные города, фабрики, господские усадьбы, железные дороги и телеграфы? Как тогда, так и теперь помещиков занимает вопрос

о рабочих руках; как тогда, так и теперь недороды и голодовки истощают население; как тогда, так и теперь население поднимается из «центра» и бежит на «новые места»; как тогда, так и теперь «суда» землевладельца мужику, долг ему крестьянина, «серебро», как тогда называли, играли очень большую роль в их экономических отношениях». «Только удобствами для землевладельцев помещать свои капиталы в крестьянское «серебро» следует объяснять чрезвычайное развитие крестьянской задолженности», — говорит г. Платонов. Нечто подобное и служит теперь предметом спора между гг. Новиковым и Бодиско (зимние задатки за летнюю работу). Тогда же «темные люди роптали на неравномерное распределение податного бремени» и «на угнетающую конкуренцию иностранных капиталов, допущенных на московские рынки правительством». Эти *иностранные капиталы* особенно знаменательны. Как и теперь, и три века тому назад русские люди жалуются на иностранные капиталы. Не правда ли, все это интересно? Справедливы эти жалобы или нет, но они влияют на ход жизни, на настроение общества.

Возвращаясь к интеллигенции, должно сказать, что в последние годы она начала довольно усиленную работу в специальной литературе и журналистике по сельскому хозяйству. Число книг и периодических изданий возросло значительно. Лет двадцать тому назад специальная журналистика по сельскому хозяйству почти не существовала, а теперь она считает больше десятка периодических изданий по разным отраслям хозяйства. Явились даже дешевый журнал «Крестьянское хозяйство» (1 р. в год), обязанный своим появлением женщине, как и прекрасный журнал «Деревня», именно г-же Мансветовой (редактор обоих журналов г. Елагин). Бабой двор держится, — говорит народная пословица. Баба начала издавать два практических сельскохозяйственных журнала, исключительно практических, без полемики и публицистики. В сельскохозяйственной литературе есть еще несколько женских имен, например, г-жа Аверкиева, г-жа Мариуца-Гринева и др. В «Новом Времени» был фельетон С. И. Смирновой о необходимости для женщин сельскохозяйственного образования. Теперь И. А. Стебут образует Общество содействия сельскохозяйственному женскому образованию. Если бы женщины отнеслись к этому обществу с таким же рвением, как к «Лиге мира», они могли бы много сделать для народа, который нуждается в интеллигентной помощи. Заслуживает глубокой симпатии инициатива московских женщин — не носить на шляпках птиц, которых так ужасно истребляют для женщин. Следовало бы пересмотреть каталог книг «народных читален» и увеличить его теми книгами и журналами, где крестьянин мог бы находить практические знания. Не все же ему читать жития святых и духовно-нравственные поучения.

Как у вас обстоит с липецким делом г. Кожина? В провинции оно возбудило большие толки. Если делу Дрейфуса предпочитают винт, то дело г. Кожина заставляет прерывать винт разговорами. Прочитав оправдательное письмо г. Кожина в «Новом Времени», я не мог одобрить его ссылку на министра земледелия, которому была известна липецкая сделка. Эта ссылка сделана для того, чтобы стать за авторитет министра. А если министр утвердил сделку потому, что творец ее — предводитель дворянства? Дворянство говорит о себе, как о первенствующем сословии, оно желает влиять на русскую жизнь и руководить ею. Естественно поэтому требовать от дворянства, от предводителя дворянства, чтобы он представлял собою такой нравственный авторитет, которому мог бы безус-

ловно верить и министр, и все общество. Если дворянство хочет быть избранным сословием, оно должно ссылаться только на собственный авторитет, а не на авторитет министра. В этом, мне думается, весь вопрос существования дворянства.

2 (14) сентября, № 8446

CCCXXXII

Появление князя Волконского в должности директора императорских театров возбудило интерес не в одних театральных кружках. Все театральное мне не чуждо, — может сказать всякий петербуржец, целый сезон ежедневно читающий театральную хронику, где говорится о пьесах и актерах. Драматурги и актеры — это наши депутаты от искусства, и театр является чем-то вроде парламента, где дебатируются исторические и социальные вопросы с достаточной свободой. Вопросы внутренней политики мы дебатируем больше промеж себя, в гостиных и кабинетах. Но в театральной атмосфере критика плавает, как рыба в воде. Рецензент чувствует себя, по крайней мере, министром и раздает свободною рукою лавры и терния; к нему идут на поклон артисты, артистки, писатели и покровители артисток, желающих рекламы и славы. А кто из них не желает этого? Сколько проливается слез артистками при чтении газетной брани и сколько раздается ими улыбок и даже большего за доброе слово об их талантах, по большей части весьма сомнительных...

Князь Волконский выступил на свое поприще порядком необычным. Прежние директора выступали довольно молчаливо. Но в театральной жизни, может быть, везде должна существовать театральность. Характер прежней деятельности нового директора имел черты театральные. Он сам был актером-любителем; он знает цену рукоплесканиям; он был лектором в Америке, где читал о русской истории и русской литературе и где получал рукоплескания. Он пробовал себя в критике на страницах журнала г-жи Адан «La Nouvelle Revue» (кстати, она передала теперь этот журнал другим) и на страницах «Вестника Европы». Как царь Феодор Иоаннович, князь Волконский приобрел себе известность. Когда мы репетировали в Малом театре эту трагедию графа А. К. Толстого, мне часто напоминали о нем в том смысле, что куда же г. Орленеву достичь тех высот исполнения, каких достиг кн. Волконский. И когда я отвечал, что г. Орленев будет гораздо лучше, — мне иронически улыбались. Все это прошлое кн. Волконского говорило, что он — человек привычный к общественности и даже к театральной обстановке...

Назначены были особые дни для развода, виноват, для представления труппы, драматической, оперной и балетной. Потребовались три речи: о драме, об опере и балете. И речи были сказаны, и они содержали в себе бесспорные истины. В них говорилось, что актеры и актрисы должны хорошо играть, певцы и певицы хорошо петь и танцовщики и танцовщицы хорошо танцевать. Все это непреложно, ибо действительно в искусстве надо все хорошо делать. Думаю, что артисты и артистки не ожидали, что им станут говорить, что актеры должны плохо играть, певцы плохо петь и балерины плохо танцевать, хотя все это несомненно бывает. Плохое идет рядом с хорошим. Я не согласен был с речью кн. Волконского относительно Мольера, которого надо будто бы играть так, как его

играют в Париже, в *Comédie française*. Если дело идет о декорациях, костюмах, вообще о внешней обстановке, то, конечно, нечего стараться открывать Америку. Но играть Мольера надо так, как могут его *понимать* и играть русские талантливые актеры, т. е. по-своему. Во времена Щепкина, Шумского и проч. Мольер собирал публику, хотя его ставили очень просто, не справляясь с традициями Comédie française. Об этом, однако, мимоходом.

В Москве кн. Волконский тоже сказал три речи на ту же благодарную тему, что играть надо хорошо, петь надо хорошо и танцевать тоже хорошо. Он прибавил только, что печать у нас резкая и несправедливая, но тем не менее артисты и к ней должны иногда прислушиваться снисходительно. Когда речи кончились, начались действия.

Первое действие было, если не ошибаюсь, в Петербурге: новый директор оштрафовал двадцатью пятью рублями одну молодую танцовщицу, которая нарушила художественную правду, танцуя пейзанку в собственных своих бриллиантах. Конечно, в действительной жизни пейзанки бриллиантов не носят, но они также не носят и тех шелковых костюмов и тех пышных юбок, каких не существует нигде в мире на пейзанках, и в какие, однако ж, рядит их дирекция театров. Уж если стремиться даже в балете к правде, то надо отменить не одни бриллианты. Три пьесы из принятых на Александринский театр были удалены. Одну я знаю, именно «Сынов Израиля». Она не заслуживала остракизма при всей своей прямолинейности, хотя могла возбудить волнение в стакане воды. Приняты г-жи Стрепетова и Васильева в труппу. Это хорошо. Дирекция должна помнить прошлые заслуги артистов. Если на это потребуется несколько лишних тысяч, то лучше отнять их у театральных чиновников или сэкономить на обстановках, которые в императорской дирекции стоят непомерно дорого.

Явились новые чиновники, как представители новых течений, гг. Дягилев, Философов, Нелидов. Говорят, что все эти господа — очень молодые люди с декадентскими убеждениями в искусстве и литературе. Правда ли это, — я не знаю. Замечу только, что понять русское декадентство мудрено: в нем есть что-то фальшивое, вертлявое, навязчивое; какая-то бравада против чего-то. Наше декадентство притом явилось из подражания парижскому, как новая шляпка или новый покрой панталон. Из трех молодых театральных чиновников я имею некоторое понятие о г. Дягилеве, ибо читал одну его статью в журнале меценатки княгини Тенишевой и мецената г. Мамонтова. Какой-то молодой задор, желание сказать что-то необыкновенное и отсутствие для этого необходимого таланта. Но все равно. Я — за молодость. Пускай управляют молодые. Они энергичны, смелы, заносчивы, нетерпеливы, а потому ярки. Яркость — все-таки достоинство. Кн. Волконский — сам молодой, а потому весьма естественно, что он окружает себя людьми еще более молодыми, чем он сам. Он считает себя мастером дела, хотя и скромным, если судить по тому, что ему, очевидно, гораздо приятнее иметь помощников меньшего возраста и соответственного разумения. В начале директорства И. А. Всеволожского были тоже молодые люди, известные под именем театральных подпоручиков. Теперешние молодые театральные чиновники из статских; тогдашние были из военных. Они дослужились до высоких чинов и много хлопотали и строили, особенно г. Погожев, который решительно хотел быть Петром Великим театрального дела; но хотеть и быть — две вещи разные. Как поведут себя теперешние театральные молодые люди, покажет будущее.

Пока они заставляют говорить о себе только в мелочах, а мелочи всегда раздражают. Я бы посоветовал им иметь это в виду. Очевидно, они торопятся показать свою власть; молодости наскучивает повиноваться, и когда она может повелевать, она с удовольствием бравирует своей властью, не отличая важного от неважного и напрасно раздражая не только подчиненных, но и публику. Так, на этих днях вышел приказ: «ввиду обеспечения тишины в оперных театрах» не пускать опоздавших зрителей в Мариинский театр во время увертюры. В берлинском королевском оперном театре пускают в оперный зал только в антрактах. Но эти немецкие порядки едва ли у нас примутся, а раздражить — раздражат. Польза же будет только разве буфету и табачным фабрикантам. Что касается циркуляра о «произношении», то на князя Волконского в этом отношении нападают несправедливо. Произношение на театрах становится прямо нелепым: следовало напомнить и настоять на этом...

О деятельности нового директора появляются иногда бюллетени в «СПетербургских Ведомостях». *Что* он видел в Москве, где провел вечер, кого принимал и даже сочтены часы его разнообразных занятий. Нельзя не пожалеть, что все это слишком кратко, а потому не заслуживает названия «драгоценного исторического материала». Самое интересное, что 7 октября он «присутствовал в Большом театре на представлении оперы «Кармен», после второго акта которой выразил свое удовольствие главному оперному режиссеру А. И. Барцалу за ансамбль спектакля». Я тут не одобряю только высокого слова: «присутствовал», «выразил удовольствие». Но в этом случае слог от него не зависел.

Критик «Московских Ведомостей», г. Васильев, провозгласил, что с вступлением на должность кн. Волконского начинается *новая эра.* Не говоря об эре рождения И. Х., есть эры основания Рима, Набонасара, Селевкидов, Джалаледдина и проч. Но смею думать, что эры князя Волконского не будет. Да и зачем она? Можно и без эры сделать много доброго и полезного, но ohne Hast, ohne Rast. Этого правила держался Гете. Новую эру в театральном деле делают гениальные драматурги и гениальные актеры, но не директоры театров, ибо они без актеров и писателей никакой эры образовать не могут, и всякий большой актер и большой драматург своими именами закроют имя директора театра. Громки и популярны только два имени директоров театра, но и то как великих драматургов, а не директоров. Я разумею Шекспира и Мольера.

17 (29) октября, № 8491

CCCXXXIII

Я давно привык к княжеским набегам г. Ухтомского. Чуть ли не с первого нумера своей газеты он начал их производить и производит доселе крича о клевете, доносах, инсинуациях, человеконенавистничестве и проч. Он выплавливал даже в грязной луже г. Трубникова комья, чтоб пускать ими в меня и газету. Он сделал, подражая г. Трубникову, из своей газеты водосточную трубу, в которую своим носом, как насосом накачивал все то, что являлось где-нибудь против «Нового Времени».

Я смотрел на эти набеги, как на плохие и бестолковые приемы полемики, и редко отвечал на них. Сегодня я прочел 14 столбцов, написанных г. Гольмстре-

мом, первым тенором «СПб Ведомостей». Первый тенор на этот раз пропел бравурную арию такой фальшивой фистулой, что его мне искренно жаль. Я напрасно старался что-нибудь понять из этой арии, где история исковеркана точно так же, как слова противника.

Дело идет о фельетоне г. Евг. Маркова (№ 8486 «Нов. Вр.»). Фельетон этот посвящен разбору одной статьи в «СПб Ведомостях», «Голос из Заволжья». Статья эта напечатана давно. На нее никто из публицистов не обратил внимания. Г. Евг. Марков анализировал ее со своей точки зрения, которой он держался во всю свою жизнь, никогда не принадлежа к славянофильской партии и не думая, что можно обойтись в государстве без общественного содействия и государственных учреждений, как Государственный совет, Сенат, суды, администрация. Г. Маркову приходилось в своей жизни полемизировать со многими, даже с графом Л. Н. Толстым. Но никогда ему не приходилось, я думаю, выслушивать такую теноровую партию, полную фальшивых и надорванных криков. Я не становлюсь на место почтенного публициста, который сумеет сам постоять за свои убеждения. Но я не могу не остановиться на этих полемических приемах. В дело пущены те же слова: «клевета, донос, инсинуация» с прибавлением «литературного Шешковского». Шешковский был обер-полицмейстером в Петербурге при Екатерине II и о нем князь Потемкин говорил, что он «кнутобойничает».

Если г. Евг. Марков — клеветник, доносчик, инсинуатор, то почему же князь Ухтомский — не клеветник, не доносчик, не инсинуатор, если он напечатал статью, полную инсинуаций и лживых подходов, на которую отвечал г. Марков? Если г. Евг. Марков — литературный Шешковский, то почему же князь Ухтомский — не литературный Шешковский? Почему кн. Ухтомский считает себя вправе раздавать оскорбительные наименования за то, что известный публицист искренно и прямо выражает свои мнения? У г. Евг. Маркова нет своей газеты, он живет в провинции, и атмосфера личного его влияния и действия весьма ограничена. У него нет даже средств увлечься и забыться в полемических красотах подобно кн. Ухтомскому, ибо он пишет не в свои газеты и подвергается редакторской цензуре. У кн. Ухтомского своя газета, он служит в разных министерствах, и личное влияние его гораздо шире как поэтому, так и потому, что он живет в Петербурге и имеет возможность болтать и сплетничать в петербургских гостиных и оболганный им человек не имеет возможности оправдаться. Эти преимущества, повидимому, отнимали бы у него право пародировать Шешковского, употребляя вместо кнута оскорбительные выражения. Но все это вотще!

Я не касаюсь существа дела, хотя не могу не признать, что оно важно, что оно заслуживает общественного внимания. Г. Гольмстрем называет статью, против которой полемизировал г. Евг. Марков, статьею *великой исторической важности* (здесь и далее курсив в подлиннике), *заветом и проповедью,* «душевным криком», *кличем,* «созывом под знамена» и т. д. Если она хотя сколько-нибудь отвечает этим наименованиям (по-моему, не отвечает нисколько вследствие своей туманности и фальши), об ней говорить было необходимо, ее необходимо было анализировать, разбирать, подвергать критике. Статья *великой исторической важности, созыв под знамена* — вовсе не такое дело, которое должно пройти без возражения или без восторгов. Если она возбуждает восторг в душе г. Гольмстрема, то почему не дозволительно душе г. Евг. Маркова отнестись к ней критически? Почему все те, которые не разделяют восторгов г. Гольмстрема и восторгов

кн. Ухтомского, обязаны идти «под знамена» автора статьи? Идти под знамена — совсем не шутка. Когда государь созывает под знамена, всякий верноподданный считает своим долгом стать под эти знамена, не рассуждая. Но когда г. Гольмстрем с кн. Ухтомским созывают под знамена, всякий имеет право сказать: «позвольте, господа! Давайте сперва разберемся!» Г. Евг. Марков и сказал это, и за это вдруг кн. Ухтомский надевает мундир Шешковского и покрикивает, и разносит, и ругается, и предает анафеме, как самодовольный протодиакон.

Погодите, молодой человек. Не надо забывать, что есть разум. А разум есть критика. Не надо забывать, что мы — государство очень большое и очень сложное и что по команде газетчиков, хотя бы и княжеского происхождения, еще ничего не делается. Сдвинуть эту махину с ее т. н. «средостением» очень мудрено. Государь не имеет никакой возможности обойтись без средостения, т. е. без государственных учреждений; но очень может быть, что чего-нибудь в них не достает. Когда славянофилы говорили о средостении, они постоянно указывали на Земские соборы в древней России. Но и при Земских соборах средостение оставалось, как единственная возможность приводить в движение громадное государственное тело. Средостение невозможно заменить случайными людьми и случайными выдающимися талантами. Да и пора нам перестать плавать в общих идеях. Можно томы исписать в этом смысле и ни до чего не договориться. Наше время тем трудно, что иногда кажется, что никто из нас не знает, что делать, или, по крайней мере, никто не говорит о том определительно. То яркое царствование реформ Александра II, которое мы, старики, пережили, имело большие исторические преимущества: тогда большинство общества, а именно большинство, а не меньшинство его, как бессильно старается доказать г. Гольмстрем, желало, по крайней мере, двух вещей вполне сознательно: освобождения крестьян и правого суда. Только затхлое меньшинство боролось против этого или, вернее сказать, пищало. Кроме того, нельзя забывать, что с этим *большинством* общества были и миллионы крепостного народа, который тоже желал того же освобождения и правого суда. Царь был не с меньшинством, а с целой Россией. Вся она стала за его почин и нетерпеливо ждала зарю новой жизни, и на двух этих основаниях, главным образом, и выросла Россия, на освобождении и новом суде. Она выросла, что бы вы там ни говорили. И если теперь вы «созываете под знамена», то надо знать *определенно,* что на ваших знаменах написано. Если вы скажете, что на вашем знамени написано «самодержавие», то я вам скажу, что, во-первых, знаменем самодержавия, как своей монополией, вы распоряжаться не имеете никакого права; во-вторых, что это знамя не ваше, а государственное русское знамя, давным-давно всем известное, славное знамя, под которым собралась и стала просвещаться Россия. Под этим знаменем освободились крестьяне, учреждены суды, земства, университеты, школы и проч. Я спрашиваю о вашем знамени, о знамени кн. Ухтомского и г. Гольмстрема, которые опираются на какую-то, по меньшей мере, странную статью, именуя ее «кличем», «криком», «созывом под знамена», «проповедью» и «заветом». Что это за «завет» такой? Я знаю Новый Завет, который не чета вашим заветам. Но и этот Новый Завет, явившийся под знаменем Богочеловека, плохо или односторонне понятый людьми, произвел бесконечные войны, междоусобия, мятежи, инквизиции, братоубийство. Как же вы смеете кричать о доносах, о клевете и кнутобойстве, если ваш какой-

то «завет» подвергается критике и если вам, ничтожным пигмеям, козявкам, жалким и презренным в сравнении с провозвестниками Нового Завета, если вам не верят, если ваш «завет подвергают критике!..

18(30) октября, № 8492

CCCXXXIV

Назначение нового управляющего министерством внутренних дел Д. С. Сипягина состоялось 20 октября. На другой день газеты приветствовали это назначение, сообщили curriculum vitae нового министра и выразили свои пожелания. «Новое Время», между прочим, сказало следующее:

«Ныне совершившаяся перемена, по-видимому, не дает оснований говорить о ее программной подкладке. Перемены, происходившие вследствие изменения политической программы, характеризовали периоды неустойчивого, до известной степени болезненного состояния страны. При нормальном же течении государственной жизни перемены на посту министра внутренних дел могут обозначать у нас не смену политических программ, а лишь большее или меньшее изменение условий осуществления той же самой правительственной программы, поскольку такое изменение зависит от личных свойств министра».

Один журналист, по кличке «россиянин», подхватил и выставил на вид нашу фразу: «ныне совершившаяся перемена, по-видимому, не дает оснований говорить о ее программной подкладке», и вопросил строго: «Почему Д. С. Сипягин не может иметь своей программы?»

Какова заковыка! Да еще через несколько строк сей же совопросник возопил: очевидно, мол, для «Нового Времени» «все обстоит благополучно», между тем, говорит, пора взять «новые меха и влить в них новое вино». Таковы обвинения. Отвечаю. Нет такого государства в мире, в котором всегда и «все обстоит благополучно», и «Новое Время» никогда не говорило такой глупости. Я того мнения, что даже эту фразу пора бы перестать трепать, как либеральный флаг. «В России не все обстоит благополучно», даже «в России далеко не все обстоит благополучно» — что тут либерального? Ведь даже нет отдельных семейств, о которых можно было бы сказать, что в них все обстоит благополучно. Государство же — такая громадная смесь интересов, что о всеобщем благополучии и речи быть не может. Что касается классического выражения о вине и мехах, то оно давно потеряло свой прямой смысл, ибо старое вино считается лучше, чем новое, и хранится оно не в мехах, а в бочках и бутылках. Да и многие старые идеи гораздо лучше многих новых и сохраняются во всей своей свежести целые тысячелетия, укрепляясь и укрепляясь, подобно старому вину. Таким образом, все эти придирки не важны. И «заковыка» не важна, несмотря на все свое ехидство. Для нас, для печати, министр внутренних дел — прямой начальник. От него мы зависим, если не совсем, ибо каждый много зависит и от себя самого, то в значительной степени. Вероятно, господин «совопросник» добродушно подумал: давай-ка я совру на «Новое Время» и заступлюсь за нового министра. Вот он и соврал и заступился. «Совру — простят», как говорил покойник Репетилов. Да и отчего не простить журнальное вранье, журнальную заковыку...

Но о «программе» необходимо сказать серьезно. Мне думается, что даже императоры наши вступали на престол без программы, за исключением Александра I,

который скоро бросил свою программу. Обстоятельства внешние и внутренние сплошь и рядом сбивают с программного пути. Почти при всяком назначении нового министра, мы, журналисты, выражаем свои пожелания, забегаем вперед и сочиняем программу за него, за новое лицо. Программа наша намечает несколько вопросов, наиболее желательных для меня, для вас, для русского, для окраинца, для еврея. Я, как журналист, укажу на неопределенное и стесненное положение печати. В конце концов, если собрать несколько газет, то и явится нечто вроде программы, пучок вопросов, пучок пожеланий, собранных с борка да с сосенки. А если сообразить, что эти статейки пишутся наскоро, в течение нескольких часов, прошедших от назначения нового министра до положения газетного листа в машину, то ясно, что указанные вопросы очень легко подобрать, ибо они давно намечены жизнью и давно висят в воздухе.

Поэтому мне думается, что программа — вещь второстепенная, и выдумывать «новые программы» во внутренней политике — дело совсем непроизводительное. Легче сделать новую программу в каждом другом министерстве: просвещения, финансов, синодальном, путей сообщения, чем внутренних дел. В большей мере само министерство внутренних дел зависит от *новых* программ других министерств или, вернее, от результатов деятельности министров просвещения, финансов и проч. Хорошее, здоровое просвещение, хорошие финансы, поднимающие благосостояние страны, удобные и дешевые пути сообщения, нелицеприятный суд — все это облегчает деятельность министерства внутренних дел, все это дает ему более твердые устои и более плодотворную деятельность. О влиянии министерства просвещения, например, на деятельность министерства внутренних дел можно судить по учебным программам Головнина и графа Толстого, если мы вспомним историю нашего революционного времени и те обвинения, которые сыпались на Головнина за появление нигилизма и проч. и проч. Если бы каждый министр внутренних дел приносил с собою *новую* программу внутренней политики, то она и утвердиться не могла бы. Возьмем последнюю четверть века. Д. С. Сипягин является восьмым министром внутренних дел. Именно: Тимашев, Маков, граф Лорис-Меликов, граф Игнатьев, граф Толстой, И. Н. Дурново и И. Л. Горемыкин. Если бы каждый министр внутренних дел являлся с новой программой, то в течение двадцати пяти лет России пришлось бы применяться к восьми новым программам. Как хотите, а это много. Средним числом приходилось бы через каждые три с небольшим года заводить «новые меха и новое вино».

Другое дело личность министра. Она играет большую роль в управлении родиною. Мне думается, что когда государь император избирает то или другое лицо на пост министра, он не программы у него требует, а работы неустанной, внимательной работы. И это самое важное в служении каждого министра царю и отечеству — «быть работником», но не безличным, а таким, который и сердцем, и умом передает обществу, стране своей работой известные черты государя, его пожелания и цели для блага его подданных. Министр — не только посредник между царем и его подданными, честный и нелицеприятный посредник, но и выразитель таких отношений между ними, которые наиболее крепко связывают их между собою. Какая самая прочная связь? Доверие. На доверии созидается любовь, доверием к населению, к обществу совершаются прочные дела правления, и доверие — одно из прекраснейших свойств монарха.

25 октября (6 ноября), № 8499

CCCXXXV

Я получил следующее письмо:

«М. г. Позвольте мне протестовать против г. Новикова, того самого г. Новикова, который, восставая против дуэлей вообще, вызвал на дуэль г. Бодиско. Во вчерашнем нумере «Нового Времени» г. Новиков очень неделикатно отозвался о Чернском уезде. «Не могу же я доверять уезду, знаменитому своим отношением к школам, к Красному Кресту да и всею внутреннею жизнью. Не могу же я смотреть на Россию глазами Чернского уезда». Так говорит г. Новиков. Не правда ли, это ужасно. Я бы не стал поднимать вопроса о Чернском уезде, если бы «дуэль» г. Новикова с г. Бодиско не перешла в иностранные газеты. Она перешла. Присылаю вам в доказательство вырезки из иностранных газет. Согласитесь — пожалуй, теперь и в Европе узнают, что Чернский уезд— самый ужасный уезд во всей Российской империи. Этого стерпеть не могу. Я, конечно, обижаюсь не только за Чернский уезд, но и за себя самого. Видите ли. В двух верстах, от гор. Черни у меня есть небольшое имение. Оно принадлежало Минину, хотя и не Кузьме. Но ведь и не все Медичисы были Кузьмою Медичисом. Я прожил в этом имении четыре месяца. Я ездил по уезду, познакомился с его обывателями, помещиками, между которыми есть два сына Л. Н. Толстого. Я узнал, что помещики Чернского уезда разделяются на консерваторов и либералов, две могущественные партии, постоянно между собою враждующие, как Монтекки и Капулетти. В настоящее время царствуют консерваторы, а либералы собираются с силами, чтоб их низвергнуть под свою пяту.

Признаюсь вам, что я порадовался этой борьбе, ибо она мне напомнила Англию, где также консерваторы и либералы постоянно борются между собою: то консерваторы побеждают, то либералы, и эта борьба нисколько не мешает возрастанию могущества Англии. И я думаю, что и борьба консерваторов и либералов в Чернском уезде нисколько не помешает возрастанию могущества этого «знаменитого», по выражению г. Новикова, уезда. Ныне царствуют консерваторы, завтра будут царствовать либералы. Что консерваторы напортят, то либералы исправят. Что напортят либералы, то исправят консерваторы. По-моему, это не дурно, ибо где борьба, там и жизнь, а где жизнь, там и борьба. Нет ничего хуже плесени и застоя, где все между собою согласны и не смеют своего мнения иметь.

Я не понимаю поэтому г. Новикова, который не доверяет «знаменитому» Чернскому уезду. Доверие — вещь очень большая, и когда говорят: «я не доверяю вам» — значит, говорят обидное слово. Зачем не доверять? Ведь царствующая консервативная партия не обладает такою властью, чтоб истреблять своих противников, отнимать у них право голоса, ссылать их в места не столь отдаленные и держать мужиков в кандалах или с повязками на рту, чтобы они не смели говорить и показывать правду в вопросе о знаменитой дуэли.

Г. Новиков говорит, что Чернский уезд знаменит и «всею своею внутреннею жизнью». Что это значит? В числе явлений внутренней жизни надо, прежде всего, назвать встречу на зеленом поле... не ржи, а карт. Но это всероссийское благородное занятие процветает в Чернском уезде как у консерваторов, так и у либералов, и эта страсть также может быть предметом дуэли, если кому-нибудь пришла бы охота определить, кто больше просиживает за картами: либералы

или консерваторы? Хотя сия игра происхождения вполне консервативного, будучи изобретена для глупого короля, и вполне отвлекающая от всяких вредных мыслей, но она, повторяю, решительно процветает у обеих партий одинаково. В деле борьбы я сию игру считаю вредной, ибо она ослабляет силы могущественных дворянских партий, которые без нее, вероятно, отличались бы большим пылом и даже большим умом.

Отношения к Красному Кресту?.. О чем речь? О том ли, что царствующие консерваторы, на запрос Красного Креста о голодающих, ответили: «у нас голодающих нет»? Но что же делать, когда их нет, по мнению консерваторов? Не выдумывать же? Впрочем, я об этом только слышал, ибо случился этот запрос еще до моего пришествия в благородную Чернь. Когда будут царствовать либералы, они это поправят, ибо голодание — вещь весьма нередкая.

Может быть, кто не знает, что Чернский уезд передал свои школы в ведение духовенства. Я этому не сочувствую. Но должен сказать, что все школы Тульской губернии всех уездов совсем не отличаются совершенством, церковные ли они или земские. Даже, можно сказать, все это довольно плохие школы, за малыми исключениями. Это видно из огромной книги о школах Тульской губернии, изданной земством. Тульский архиерей с большой энергией относится к школам и серьезно намерен конкурировать с земскими на почве образования, развития и ремесел. Таким образом, «знаменитый» Чернский уезд в этом деле дал возможность духовенству доказать, может ли оно успешно конкурировать с земством или нет. Конечно, сие действие чернцев несомненно консервативное, но оно обостряет борьбу — и тем лучше. Правда и ложь всего ярче высказываются в острые моменты. Пусть борются, черт возьми!..

Виноват за черта. Расскажу случай, которому я желаю сделаться «знаменитым» столько же, как и самый уезд, в котором этот случай был. Случай этот именно характеризует чернское просвещение. Я посетил во время пробных уроков в селе Тургеневе школу, где собрано было до тридцати народных учителей и учительниц, предназначенных в церковно-приходские школы. Между ними были большинство юноши, но были и старики, и девять десятых общего числа — крестьяне. Руководитель спрашивал одного учителя:

— Не припомните ли вы слово, которое вы сказали ученику и которое говорить нельзя, потому что оно ему может показаться обидным?

Учитель переминался с ноги на ногу, стоял и молчал.

Встала мананка[1] и говорит:

— Я знаю. Он сказал ученику: «вы соврали». А следует сказать: «вы солгали».

— Так, так, — одобрительно заметил руководитель класса, очень приличный молодой человек с интеллигентным лицом. — Но и «солгали» нельзя говорить. Как должно сказать?

— Я знаю, — сказал молодой народный учитель в красной рубахе и спинжаке. — Надо сказать: «вы сказали неправильно», или «вы сделали ошибку».

---

[1] Мананка — от села Манаенок, Белевского уезда. Крестьянки этого села и многих других того же уезда делают все мужские работы и нанимаются артелями на полевые работы в других уездах. Все такие крестьянки называются мананками. В будущей войне консерваторов и либералов они будут амазонками: ездят верхом без седла превосходно. Примеч. для Академии наук, для отдела «Словарь русского языка»

Тут меня даже слеза прошибла. Я говорю серьезно. Какая тонкость обращения, какая вежливость в этом молодом крестьянстве. А мы-то, образованные люди, а гг. журналисты, каких только грубостей не говорим друг другу. Даже Чацкий сказал Репетилову: «ври, да знай же меру».

В дополнение к этому я могу засвидетельствовать, что в Чернском уезде среди мужиков большое движение против грубых слов и грубого обращения. Я сам был свидетелем разбирательства о слове «дьявол», которым обругал старшина крестьянина.

— Я не дьявол, а христианин.

— Я с тебя христианского имени не сымал, — оправдывался старшина, — но как ты был пьяный...

И так далее. Есть помещик у нас, который любит ругаться, так от него рабочие бегут. Нынешним летом восемь мананок от него ушли. Говорят: «ругатель!» Я уж не говорю о любви к свободе и независимости.

А вот вам героический пример. Отец стоял на возу, а сын швырял ему на вилах снопы. Один сноп острым концом (где колосья срезаны косой) попал отцу в глаз и повредил его совершенно. Старик три недели страдал от боли; глаз перестал видеть; старик обвязал его платком и пошел на работу. Я спросил его: был ли он у доктора?

— Был, да доктор сказал, надо в Тулу ехать.

— Что ж ты не поехал?

— Не с нашими средствами, барин, ездить в Тулу. Рубля три проездишь.

— Да ведь глаз-то больше стоит?

— Дело к старости. И одного глаза довольно.

Я вас спрашиваю, г. Новиков, не из Плутарха ли это? Не отзывается ли это героизмом древних? Ведь, выражаясь классически, эта черта достойна кисти Л. Н. Толстого. И это я сам слышал в Чернском уезде. А вы не доверяете Чернскому уезду. Бог с вами. Обидели вы нас!..

Однако, я сейчас заметил, что, кажется, рассказываю из жизни людей, которые не умеют произнести ни слова «либерал», ни слова «консерватор». Но это все равно. Если такие примеры вежливости, героизма, протеста против грубого обращения существуют в Чернском уезде, то и руководящие классы тут при чем-нибудь.

Во всяком случае, я свое дело исполнил. Я протестовал от Чернского уезда.

Пока самозванный депутат от знаменитого Чернского уезда

Николай Чистопелов».

С подлинным верно: А. Суворин.

31 октября (12 ноября), № 8505

CCCXXXVI

Еще несколько слов о программах.

Я сказал буквально следующее: «программа — вещь второстепенная и выдумывать *новые* программы во внутренней политике — дело совсем непроизводительное». Об этом можно спорить, но спор возможен только тогда, если противник не искажает ваших слов. А их искажает князь Мещерский, спрашивая: «может ли серьезно утверждать г. Суворин, что назначенный новый глава мини-

стерства внутренних дел, призванный доверием государю к этой трудной задаче, не имеет для этой задачи программы?» Отвечаю: нет, г. Суворин этого утверждать не может, мало того, он к такому вопросу не давал и повода. Князь Мещерский сам отвергает возможность программы, «как меню того, что предполагает новый монарх или новый министр внутренних дел делать». Дело шло именно о меню, о *предположениях* систематических. «Если речь идет о программе в смысле вопроса: какая задача мне предстоит в смысле главного мотива или доминантной ноты (почему это не по-русски?) в предпринимаемом деле, то можно ли допустить, чтоб мыслимо было поступать во власть без этой программы?» На этот вопрос князя Мещерского, разумеется, можно ответить только: нельзя. Вступать в должность без руководящей идеи, без убеждений, выработанных собственной жизнью и жизнью России, значит быть игрушкою обстоятельств и влияний. Это на всех поприщах так. Ясно ли это или еще не ясно? Ведь «доминантная нота» и есть то самое, что я сказал словами: «Другое дело личность министра. *Она играет большую роль в управлении родиной*». Понимаете — личность, характер, все то, что составляет человека, его убеждения, его цели. Если сам человек в этом смысле есть программа, то пусть будет это программа. Но я под программою разумею нечто большее, чем личность, и всего лучше это объяснить примером, взяв его из рассуждений кн. Мещерского.

Перебирая царствования, начиная со времени Павла I, чтоб доказать, что каждое имело свою программу, князь Мещерский говорит:

«Император Павел, вступив на престол, создал (?) себе программу (?) отмены многого, что сделала его великая предшественница, так как в этом нашел указание минуты».

Тут что ни слово, то заблуждение. Павел I *до восшествия* на престол был уже в оппозиции к своей матери и так ясно обнаруживал свои намерения и свой характер, что она готовила себе наследника в лице своего внука. Он не создавал себе программы, «вступив на престол», а выразился тотчас же вполне в первых же своих действиях, в первые же дни своего царствования, как личность, как характер. Он видел распущенность общественную и служебную в последние годы жизни своей матери и всему этому резко противодействовал, когда вступил на престол. Он отменял, а не творил, а программа требует творчества, и этого творчества не было и быть не могло, когда его внимание было обращено на отмены и исправление. Программы не было, была только личность.

Вот император Александр I имел программу, как я и говорил. Это был двадцатичетырехлетний молодой человек, воспитанный республиканцем. Он совершенно не сочувствовал деяниям своего отца и трепетал его гнева так же, как и простые подданные. Вступив на престол, он хотел создать новый порядок вещей, сначала со своим комитетом, в который входили Чарторижский, Новосильцев, Строганов, и потом со Сперанским, который проектировал конституцию. Это было именно меню, если можно это банальное слово применять к политическим задачам. Программу в деле государственном трудно выдумать одному, не только министру, который зависит и от других министров, но и государю, который берет в этом случае на себя обязанность исполнить программу, иметь ее постоянно в виду, соображать свои действия с нею. Программа должна подчинять себе человека, указывать ему руководящую идею. Такова была программа коренных реформ, которые должны были самым ярким образом отделить царствование Алек-

сандра I от предшествующих царствований. Но личность Александра I, под влиянием событий и людей, его окружавших, победила программу и подчинила ее своей воле и своим увлечениям. И хотя на его царствовании лежит яркий отпечаток его характера, его воли, но остались и следы программы, т. е. творчества.

Если следовать за князем Мещерским и относительно министров внутренних дел, то и тут не программе, а личности министра принадлежит главная роль. Но князь Мещерский уверяет, что у всех министров внутренних дел, начиная с графа Лорис-Меликова, были свои программы, не было ее только у И. Л. Горемыкина.

Относительно И. Л. Горемыкина князь Мещерский добавляет: «Это не был ни злонамеренный, ни беспомощный государственный человек. Напротив, горячо желал свое дело и свою задачу исполнить наилучшим образом. Но отчего ему не удалось исполнить свои благие намерения?.. Только оттого, что он, вступая в управление, начал его без всякой программы», и проч. Прежде всего два слова о «злонамеренности». Я думаю, если князь Мещерский, употребив это слово, возразил на него, то, вероятно, он слышал это слово в применении к бывшему министру. Но ведь это что-то совершенно невозможное и нелепое — предполагать, даже в министре, злонамеренность. Что ж после этого простые люди, не занимающие высоких постов? К ним злонамеренность можно применить так же легко, как вопрос о здоровье, которым мы встречаем знакомого, и с такою же легкостью. Это сто раз нелепо.

Я того мнения, что программы в том смысле, как я ее понимаю, не было ни у одного министра внутренних дел, за исключением, может быть, графа Толстого. Деятельность их отличалась друг от друга настолько лишь, насколько различались их личности. Граф Лорис-Меликов был талантливый военный и дипломат; крупные черты его армянской национальности отражались выпукло в его характере; прежде всего это был дипломат, который, по его собственным словам, сказанным им в Эмсе, уже после отставки, употреблял массу времени на то, чтобы утвердиться на своем месте, тратя его на визиты, на приемы, на пустые разговоры... «Мне приходилось губернаторов принимать в два часа ночи, — говорил он. — В течение целой недели у меня не было часа свободного времени, чтобы обдумать серьезно положение вещей». Какая тут программа, скажите, пожалуйста, когда трудно было и разобраться в этом положении. Как уроженец горячего юга, он любил эффекты. Так, граф Толстой был уволен на Пасху, — это было «красное яичко» для всех, кто не любил его реформу. Во всех его действиях так и блестела его личность, применявшаяся к обстоятельствам, тщетно искавшая опорной точки и не находившая даже порядочной полиции...

Граф Игнатьев — человек немножко со славянофильской закваской, но славянофильства петербургского, а не московского (есть между ними разница). Он явился с замыслом Земского собора, но довольно своеобразного. Собор обсуждался и в сферах правительственных, и в печати. Катков тогда сказал, что эта форма совещания отжила свой век, ибо теперь существуют почты и телеграфы. Затея была брошена и осталась одна личность министра.

У графа Толстого была программа, когда он был прокурором Св. Синода и министром народного просвещения. Он проявил огромную настойчивость и настоящий характер. В печати так же резко нападали на его реформу, как нападают теперь на реформу С. Ю. Витте, и он выдерживал этот бой, рассылая в газеты, через главное управление по делам печати, свои опровержения, свою

антикритику, причем главное управление иногда выкидывало у него разные выражения — тогда так говорили. Когда он явился на посту министра внутренних дел, Катков сказал: «Власть идет». Действительно, с ним пришла его властная, твердая, прямолинейная личность, пришли его взгляды. Он отнесся к прошлому отрицательно и оберегал только свою учебную систему и на посту внутренних дел. Свою административную программу он задумал односторонне и порядок восстановлял не творчеством, а своей личностью, своим характером. И. Н. Дурново явился продолжателем его деятельности, но внес в управление свою же личность, мягкую и добрую. В управлении И. Л. Горемыкина являлась тоже его личность, его взгляды, а вовсе не программа.

Вообще, по моему мнению, у нас личность играет главную роль, как, впрочем, и на Западе личность значит очень много. Как на пример достаточно указать на Бисмарка. Сочинить программу легче, чем провести ее в жизнь. Программой можно блеснуть, можно увлечь, как это и бывало; но блеск обыкновенно был минутный, и программа исчезала, как облако.

Личность сама может быть программой, если она чувствительная, тонко угадывающая потребности времени, применяющаяся к России. Тогда программа придет сама собой. Нам, населению, необходимо внимание и доверие со стороны министров, которыми мы не избалованы. Надо сознаться, что Россию мало знают, мало знают ее мнения, ее нужды, ее людей. А это надо знать. Надо изобретать не программы, а средства, чтобы знать Россию во всякий момент ее существования. Тогда и личности легче работать и общими усилиями и трудом может образоваться и программа.

1 (13) ноября. № 8506

CCCXXXVII

Позвольте сказать несколько слов о гнусном коверкании русского языка на сцене.

Я видел вчера «Бирона» на Александринском театре. Автор ее г. Борисов в феврале этого года дал эту пьесу мне, предлагая ее поставить в бенефис г. Тинского, на сцене Литературно-артистического театра (Малый театр). Первый акт мне показался по композиции недурным, остальные — растянутыми и требовали переделки и отделки. Но, главное, меня отталкивал жаргон Бирона. Я говорил автору, что с таким языком невозможно изображать Бирона; г. Тинский был моего же мнения. Если Бирон коверкал русский язык, то его коверкали более или менее и Остерман, и Миних; между тем Остерман и Миних говорят на сцене, как природные русские: Бирон коверкает, а они — нет. Несомненно, когда эти три немца сходились вместе, то говорили по-немецки, на родном своем языке. Стало быть, автор даже эту шаблонную историческую правду, которую он усердно преследовал, не соблюл, да и не мог соблюсти. Бирон говорил неправильно по-русски, но не так и не то. С герцогиней курляндской Анной Ивановной он близко познакомился еще в начале 20-х гг., заняв при ней то место, которое до него занимал Бестужев: «чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился», писал Бестужев сестре своей. (В Петербург Бирон приезжал еще в 1714 году). Больше десяти лет он провел между русскими и, конечно, выучился по-русски

настолько, чтобы не быть противным. Во всяком случае, хорошо ли, плохо ли он говорил по-русски, совсем ли не говорил, писатель, у которого есть хоть малейшее артистическое чутье, написал бы роль Бирона по-русски, как написал ее Писемский в «Поручике Гладкове», пьесе почему-то запрещенной, а актер мог придать Бирону некоторый акцент. Дальше этого идти невозможно писателю, если он хочет остаться писателем.

В самом деле, можно ли слушать со сцены лицо, историческое ли оно или нет, но главное лицо, почти не сходящее со сцены в продолжение нескольких часов, слушать не страдая? Если вы плохо говорите по-немецки или по-французски с немцами или французом, замечали ли вы на их лицах страдание? Не смех, а именно страдание. То же самое ощущение производит в слушателе и исковерканный русский язык, нарочно сочиненный в писательском поте. Таков язык Бирона.

Это лицо — нечто очень скучное и противное. Публика сидит зевая и скучая, сидит ничего не понимая в речах Бирона и думая, что так это и надо, что это историческая и даже художественная правда, что если б это было не так, то не стала бы образцовая сцена допускать этот невозможный язык. Она чуть-чуть вызывает, один раз, после первых трех актов, жидкими голосами сверху. Партер недоуменно молчит. Он предпочел бы, если б актер сделал Бирона немножко смехотворным. Какой бы ни был смех, он — все-таки отдых, все-таки некоторое облегчение, хотя несомненный признак малого развития публики — это потешаться тем, что коверкают ваш родной язык. Пострадать от серьезного коверканья еще хуже. Вы представьте себе, что цензура разрешает на сцене Екатерину II. Как известно, она говорила по-русски с заметным акцентом и неправильно, особенно в первое время. И вот автор сочиняет ей свой, ломаный русский язык и дирекция первого театра в России должна и это лицо допустить на сцену, если она захочет быть логичной. Голландцы изображают Петра Великого в Саардаме. Петр говорил по-голландски, разумеется, неправильно, но автор-голландец заставляет его говорить прекрасным голландским языком, как это и следует.

Вы скажете, что г. Борисов хотел осмеять Бирона; что, по его мнению, это был пустой и глупый человек, совсем не страшный тиран, мучивший народ, сдиравший с него шкуру, собирая недоимки и подати военной силой для необузданной роскоши, введенной в его время при дворе, возобновивший Преображенский приказ и Тайную канцелярию с их шпионами, ужасами и пыткой. Пусть так. В этом временщике и в особенности в том холопстве, которое его окружало, были несомненно черты, достойные и смеха и бича сатиры. Но разве пустоту, глупость и подлость надо изображать на исковерканном, непонятном языке, разве комические черты, когда они основаны на незнании языка, чего-нибудь стоят? У Гоголя немец Христиан Христианович[1] только мычит одну минуту. Представьте себе, что он мычит целые пять актов в «Ревизоре»! Екатерина II была очень умная женщина, но если заставить ее говорить на исковерканном русском языке, она ни одной мысли не в состоянии будет выразить, и самые простые мысли потребуют от нее чрезвычайных усилий для своего выражения. Ведь это все равно, если б композитор написал партию тенора или баритона все фальши-

[1] У Гоголя — Христиан Иванович Гибнер — *А. Р.*

выми звуками и заставил бы оркестр пилить грифелями по аспидным доскам и визжать по-собачьи. Получив такую оперу, дирекция театра сказала бы композитору, что она находит невозможным подвергать публику пытке, а композитор отвечал бы: «это лицо и в жизни не умело петь, а потому я нахожу, что изображено это лицо правдиво» — неужели дирекция поставила бы такую партию в опере? Этот пример как нельзя более подходит к Бирону, а потому я и говорю, что это — явление печальное и не только антиартистическое, но прямо противное. По моему мнению, дирекция обязана была не допускать этого языка на сцену. Именно обязана...

Г. Ге играет Бирона на этом ужасном языке. Я знаю этого человека, как талантливого писателя и актера. Он и тут, среди каторжных условий языка, кое-что сделал. Но, по-моему, он обязан был отказаться от этого языка. Он обязан был сказать, как артист и писатель: «я не могу». У артиста должна быть храбрость сказать папское: non possumus, если он артист. Будь на месте г. Ге актер смелый, он в одно прекрасное утро переписал бы роль по-русски и стал бы вечером играть ее по-своему, к удивлению своего начальства и к удовольствию публики. И я готов держать какое хотите пари, что пьеса, при всех своих недостатках, при утомительной растянутости слушалась бы гораздо легче и приятнее. Когда Бирон на этом гнусном языке начинает злиться и кричать, то это что-то нелепое, в котором нет ни одного человеческого слова. Всякая сцена должна блюсти сию хотя и азбучную, хотя и смешную, но истину: пускай по-собачьи говорят собаки, а людям надо говорить по-людски...

3 (15) ноября, № 8508

CCCXXXVIII

Господа русские композиторы и русские музыкальные критики, в особенности сии последние, казались мне всегда странными. Вероятно, чем теснее кружок художников, тем более в нем вражды и обоюдного непонимания. Русские музыкальные критики и композиторы ели поедом друг друга целый полувек. Если б они ели самих себя, может быть, было бы лучше. Но они ели друг друга, друг друга терзали, ругали, замалчивали, злились. Являлся талант, публика встречала его с распростертыми объятиями, а критика ругала и замалчивала с затаенной злобой к таланту. Я никого не называю, но думаю, что вся музыкальная интеллигенция должна признать, что это — правда. Я говорю это просто в качестве читателя, который долго жил и много читал всякой музыкально-критической полемики и злобы в разных повременных изданиях, начиная с 1863 года. Я видел расцвет Цезаря Кюи, когда он был молод и вместе с итальянской оперой сжигал Моцарта и ему подобных. Он увлекался иногда пламенно. Я видел В. В. Стасова в его музыкальных и художественных экстазах. Я читал талантливо-ленивые статьи Ларош, у которого, как и у Кюи, всегда был некоторый юмор. Это было человеческое время музыкальной критики. С тех пор она измельчала, а, может быть, выросла и обратилась в грозного и неумолимого судью... своих противников. Ц. А. Кюи воображает себя почему-то французом и, занимаясь фортификацией — я никогда не мог поверить, чтоб он что-нибудь укреплял, — он писал оперы на

иностранные сюжеты. То это — «Анджело», то — «Радклиф», то — «Сарацин». Русского духа он будто бы не понимает, как человек международный. Это очень жаль, ибо он — талантливый человек несомненно. Русский талант прежде всего должен показать себя в русском творчестве, т. е. в творчестве, почерпнутом из русского народного духа. Мы должны приобщить свои особенности к европейцу и дать его душе нечто такое, разумеется, самое лучшее, что наиболее ценно в нас. А талант и заключается в том, чтоб передать другим все самое ценное, что включил в него Бог.

Эти несколько строк я пишу по поводу последней книжки «Revue de deux Mondes» (15 nov), где двенадцать страниц посвящено опере г. Римского-Корсакова «Снегурочка» г. Камилем Бэллег (Camille Bellaigue).

Это — изящно написанная статья, как едва ли у нас умеют писать музыкальные критики. Г. Бэллег любит музыку «Снегурочки» и с любовью говорит о ней. Он изучил оперу, очевидно, с большим прилежанием, и русская музыка пришлась ему по душе. Он и пишет для того, чтоб и французы ее полюбили, чтоб нашелся директор оперного театра, который поставил бы «Снегурочку». Вспоминая стихи Тютчева (по Вогюэ), «умом России не понять, в Россию можно только верить», г. Бэллег говорит: «от этой русской музыки, о которой мы хотели бы говорить лучше, мы не желаем большего. Пусть директор одного из наших театров поверит только в нее: она ему не изменит». Я, конечно, содержания статьи не стану передавать. Для этого все-таки надо смыслить в музыкальной терминологии больше, чем я. Но я скажу, что автор статьи хочет передать своим читателям то «очарование», которым он сам полон от этой музыки. Она — не итальянская, не французская, не немецкая и «в особенности в ней нет ничего или почти ничего общего с музыкой Вагнера». Это — музыка национальная, русская, но «на свой лад, который не похож на исторический лад, лад «Бориса Годунова» Мусоргского. В «Снегурочке» — национализм скорей легендарный и живописный». Относительно пейзажа, форм и цветов, фигуры и, так сказать, лица России, она более чем национальна: «она в некотором роде родная (natale), как земля и небо отечества. «Батюшка, — говорила Гретри его умирающая дочь, когда он играл своего «Вильгельма Телля», — это пахнет богородицкой травкой». В другом месте г. Бэллег говорит: «Национальная и народная, эта музыка отражает землю и небо русское. Душа русская также может в ней узнать себя, в особенности душа униженных и бедных. Вот чьи радость и страдание, улыбку и слезы, гнев и любовь предпочитает она петь. Хвала композиторам, как и романистам русским, за то, что они своем даровании дали такую большую часть бедным! «Бедные во всем сто́ят больше», — говорит поэт, — это, быть может, слишком. Но наверное они сто́ят не меньше и музыка, и в особенности наша французская музыка, напрасно к ним относится к высокомерием (a tort de les dédaigner). Между произведениями, даже шедеврами французского искусства, сколько назовете вы национальных и в особенности народных? Что общего между нашими талантами (maitres) и толпой? Что народного и возвращающегося к народу, — я нарочно называю произведения не только не равные, но и разные, — что народного и к народу возвращающегося в «Фаусте» или «Манон», в «Сигурде» или «Ферваале»? Русская музыка, напротив, любит практиковать этот благородный обмен. Демократическая и социальная, или вернее — употребляя старые и лучшие слова — братская и милосердная, она допускает, она приглашает народ к участию в достижении идеала и выражению красоты».

Я цитирую эти прекрасные слова французского критика, ибо напрасно я стал бы их искать у русских музыкальных критиков, которые большею частию сидят на подробностях, улавливают ошибки и недостатки друг у друга и друг другом закусывают...

7 (19) ноября, № 8512

CCCXXXIX

Я получил следующее письмо от г. Чистопелова: «С восхищением увидел я присланный мне в корректуре ответ г. Новикова. Как? Я, «пока самозванный депутат Чернского уезда», я, Чистопелов, удостоился ответа от г. Новикова! Для меня это было почти все равно, что получить совет от Николая Ивановича Новикова! Но, увы, когда я стал читать, восхищение исчезло, ибо я увидел, что или я не умею шутить, или мы дошли до той линии развития, где шутку перестают понимать. А я-то думал, что пошутил довольно тонко и над Чернским уездом, и над Бодиско и К°, и над Новиковым. Оказывается, что г. Новиков принял мою шутку за «негодование». Нет, извините, хотя я и неизвестный человек и писатель совершенно неопытный, но негодовать-то я сумел бы. Да и штука это не трудная — негодовать! Наш «демон негодования» — мелкого разбора: понегодует и сядет в винт, понегодует и выпьет водки или бургонского, смотря по состоянию. Нет, я не негодовал. Согласитесь, что сравнивать Чернский уезд с Англией, либералов и консерваторов Чернского уезда с либералами и консерваторами Англии можно только шутки ради. Ведь это две величины необозримые. Я знаю наверно, что в Англии конституция и right of petitions существовали еще в то время, когда княжил у нас Александр Невский и татары утверждали наших князей на их престолах. Вот какое пространство времени в Англии существует самоуправление. Было время ему выучиться и сложиться в политические партии!

Нет, г. Новиков, негодование на вас отстоит от меня так далеко, что я оное и в телескоп не увижу. *Я* возражал на ваши слова, которые буквально выписывал: «Не могу же я доверять *уезду...*». «Не могу же я смотреть на Россию *глазами* Чернского *уезда*». — Я и заступился за уезд и приводил факты из крестьянской и школьной уездной жизни. А вы теперь говорите, что сочувствуете уездному обывателю, уезду, а не сочувствуете «правящей партии». Это совсем другое дело. Надо выражаться точнее. Но и тут я вам дал понять, что данные подлежат проверке, что, может быть, их легче всего проверить в Чернском уезде, где две враждебные партии ярко определились и где, следовательно, легко собрать крайние цифры. Я защищал весь уезд, а относительно партий сказал, что это хорошо, что они борются, и повторяю и теперь, что это очень хорошо и что нет ничего хуже стоячего болота, ибо и огоньки, которые оно иногда дает, огоньки гниения. Вы говорите, что Чернская земская управа способна дать неправильные цифры. Вы «поступаете» неправильно — выражаюсь деликатным языком чернских школьных учителей. Надо бы взять эти данные и, проверив их другими, только тогда обвинять управу, а не прежде. Дело стоило того, ибо поднятый вами вопрос о заработной плате очень важен, и мне жаль, что вы его окончили выражением своего *недоверия,* точно вы — парламент, выражающий свое *недо-*

верие министерству, которое сейчас же и подает в отставку. Вы — только г. Новиков, как я — г. Чистопелов, и наше с вами «недоверие», увы, не годится даже на закуску.

Мне очень любопытным показался опыт г. Новикова с винтом. Десять человек, кончивших высшие учебные заведения, собираются по вторникам. Г. Новиков предложил им не играть в винт, а разговаривать. Стали разговаривать. Оказалось, что из десяти человек шесть даже мало-мальски незнакомы ни с Марксом, ни с золотой валютой, но благодаря всесветной полемике все были знакомы с Дрейфусом, причем оказалось, что шестеро — дрейфусары, а четверо — деруледисты. «Переговорили и умолкли». Г. Новиков предложил обеим «партиям» сесть за винт, и они сели.

И приписывали
И отписывали
Мелом.

Я очень огорчен этим опытом. Положим, Маркса «Нивы» у нас еще часто смешивают с Марксом «Капитала», а потому не умеют говорить о нем, что еще не беда, но о золотой валюте надо бы иметь свое суждение. Сколько помню, г. Суворин упрекал министерство финансов за то, что оно, обсуждая вопрос о введении золотой валюты, не пригласило представителей от дворянства. Но после сознания г. Новикова, что из десяти вполне образованных дворян ни один не мог поддержать даже разговора о сей валюте, г. Суворин не должен ли сознаться, что он был не прав[1]. Неужели так-таки и нет предметов для разговора и господа начинают винтить, утешая себя вопросом: кто же виноват? Г. Новиков именно говорит: «кто же виноват, что наша школа не учит и, тем более, не развивает охоты учиться. Кто виноват, что не о чем говорить? Вот почему все партии сходятся на винте».

Гм, кто виноват? Я бы сказал: черт виноват, ибо он во всем виноват. А выражаясь деликатно, я бы сказал: «шишко виноват» — так черта называют у нас религиозные люди, не желающие осквернять свои уста именем черта. Но это неудовлетворительно. Вопрос этот требовал бы целого исследования. Отказываясь на сей раз от оного, скажу одно: все виноваты и прежде всего все десять дворян, кончившие высшие учебные заведения и не умеющие говорить ни о Марксе, ни о золотой валюте и сведущие только в Дрейфусе, т. е. сведущие только в газетном образовании, а не в книжном, которое выше газетного. Школа не обязана всему учить, и едва ли ее дело учить о Марксе, золотой валюте и Дрейфусе. Учиться надо всю жизнь, развиваться надо всю жизнь. Обмен мыслей непременно развивает, а карты непременно притупляют даже людей, кончивших высшую школу. Играть в винт все равно, что плевать в потолок, чем так искусно занимался гоголевский Петрушка...

Это, конечно, еретичество, в особенности после знаменательного «кто виноват?!» Но я знаю, что человек много может, не только кончивший высшую школу, но и не кончивший никакой школы. Вот г. Новиков добавляет, что «по той же причине всякого мужика тянет в кабак». Ужли всякого? Ой, не верно. Если взять

---

[1] Не должен.— *Примеч. Суворина*

сумму производительного крестьянского труда и сравнить эту сумму с суммою производительного труда гг. винтеров, то первая сумма несомненно превзойдет вторую. Страдают ли чьи-нибудь интересы от увлечения винтом? Нельзя ли осветить этот вопрос другим: если бы крестьяне стали заниматься винтом с таким же усердием, с каким занимаются им просвещенные люди, не опустели ли бы наши поля, не остановились бы наши фабрики? Но если винт и кабак действительно объясняются одними и теми же причинами, то все-таки выйдет, что посетители кабака больше работают и лучше сознают свои обязанности, чем прилежные исследователи сочетаний карточной колоды, которые забывают, что, кроме вопросов общечеловеческих и всероссийских, есть еще вопросы местные, близкие, каждому больные, что эти вопросы требуют внимания каждого просвещенного человека. Ищите и обрящете, толцыте и отверзится вам. Кроме патриотизма всероссийского, есть патриотизм московский, тульский, чернский, козловский, воронежский, бобровский, и если бы эти патриотизмы понимались и разрабатывались с таким же усердием, с каким разрабатываются вопросы о большом и малом шлеме, о десяти в червях и без козырей, то наверное и в жизни нашей было бы больше козырей и меньше пасов...

Г. Новиков говорит: «где есть партия, там есть лидер, там по каждому вопросу сговариваются. У нас же и в дворянских и в земских собраниях полная самостоятельность в голосовании. Какая же тут партия?» Действительно, плохая партия. Но ведь дворянское самоуправление гораздо старше городского. На городском сговариваются. Отчего же на дворянском не сговариваются? Не созрели, что ли? Но потому-то я и прав, одобряя борьбу и не одобряя посылки недоверия к «правящей партии», которую г. Новиков называет «черной сотней». Тульское губернское дворянское собрание остроумнее. Оно говорит про чернских дворян: «Чернь идет!», как некогда Катков говорил: «Власть идет!» Но и с властью борются. Умейте же бороться с Чернью делом, а не словом только и не восклицая:

Умолкни, чернь непросвещенная!

Пусть говорят и делают все: и правые, и левые, и середина. Всем будет лучше от такой работы. Приказывать друг другу молчать — недостойное дело, говорить друг с другом «приговорами» — нельзя. У всех у нас, какой бы партии мы не принадлежали, есть точки соприкосновения, есть общие интересы и этого забывать не следует... У нас так много дела!

Оставляя вопрос о земской и церковной школе до того времени, когда я с ним познакомлюсь (я был только в одной школе), скажу в заключение, что вы, г. Новиков, неправильно цитируете мою подпись. Я подписался: «пока самозваный депутат Чернского уезда», а не просто «самозванный депутат». Разница весьма ощутительная, ибо съедено целое слово. Извините, г. Новиков, а это неправильно. Я вас за это на дуэль не вызываю, ибо, подобно вам, дуэли не признаю, но тем смелее восклицаю: неправильно! Подписуюсь:

Пока самозванный депутат Чернского уезда Николаи Чистоплев».

С подлинным верно: *А. Суворин.*

16(28) ноября, № 8521

CCCXL

Говорят о народной грамотности, о народных школах. Но забывают о том, что помещики неграмотны, что помещики нуждаются в школах. Они так же, а, пожалуй, еще более неграмотны, чем народ. Самый ледащий мужик свое сельское дело знает лучше, чем помещик, и если б собрать статистические данные о грамотных помещиках, то процент безграмотных оказался бы ужасающим.

Конечно, такое утверждение мое может показаться необыкновенно диким, ибо, сколько мне известно, никто еще его не выражал в такой абсолютной форме. Но я едва ли преувеличиваю дело.

Прежде всего я сужу по своему опыту. Сел я в своем поместье, которое мне очень понравилось, и я не раз вспоминал, что «деревня летом рай». Но еще чаще я вспоминал, что, как помещик, я — человек совершенно безграмотный. Ничего-то я не знал, ничего не понимал. На каждом шагу я видел полное свое бессилие, точно я очутился в Трансваале. Иду в парк, не умею назвать деревьев, иду в сад — знаю только одно садовое растение — «яблоня», да и его порядком не отличу от груши. Иду на луг, вижу траву, вижу бесчисленное множество цветов и не знаю, что это за травы, что за цветы. Иду в конюшню, иду на скотный двор — и думаю, что если б я очутился без конюхов и скотников, то поморил бы скотину либо голодом, либо объеденьем. О почве, о семенах, о посевах, о кормовых травах, о ценах на хлеб, на рабочие руки, о сельскохозяйственных машинах уж и говорить нечего: никакого понятия.

Я стал выписывать себе книги по сельскому хозяйству и журналы и искать в них ответов на вопросы, которые ежедневно возникали во мне. Я увидел, что эти книги и журналы большею частью либо переводы с иностранных языков, либо компиляции. Я увидел, что в этих подозрительных «сочинениях» больше многословия, чем дела. В сельскохозяйственных журналах я находил публицистику и полемику, иногда довольно надменную и бранчливую. Но там и здесь я находил и дельные советы, но они мне не помогали. Тогда я обращался к старосте, и он ясно и просто отвечал на все то, что он знал, чему выучил его опыт и предания. Он был гораздо грамотнее, чем я. И потом я убедился, что и в большинстве поместий грамотен только староста и управляющий, а вовсе не помещик. Большинство помещиков чуть-чуть знали больше меня и даже оставались равнодушными к книгам и журналам. Я искал средств помочь моей безграмотности, хотя и напрасно, а они и этого не искали, полагаясь ли на старост и приказчиков или изведав уже тщету чтения сельскохозяйственного. И узнал я, что сельские хозяева, достойные этого имени, наперечет в уезде. Их все знают, и крестьяне, и помещики, ибо их очень мало. И увидел я, что наиболее известная всем наука — винт и единственная забота — как убрать хлеб, как и где достать рабочих, сколько это будет стоить и какие на него будут цены. И я удивился, что со времени освобождения крестьян все идет как при крепостном праве, за исключением крепостного права, но не за исключением бедности. И я подумал: о, родина милая, как ты безграмотна, как ты безграмотна даже в этом классе населения твоего, который считается солью земли и который дал нам прекрасных поэтов, писателей, композиторов, воинов, администраторов и не дал сельского хозяина. И вспомнил я

немца Шубарта. Знаете ли вы это имя? Берлинская академия наук еще больше ста лет назад (в 1783 году) задала сочинение «О различных свойствах и наиболее выгодном разведении кормовых трав». Шубарт получил премию за это сочинение, а император Иосиф II возвел его в дворянское достоинство и присвоил звание «Edler von Kleefelde» (дворянин клеверного поля). У нас, пожалуй, стали бы смеяться, если б какого-нибудь дворянина возвели в графское достоинство за заслуги по земледелию, или какому-нибудь ученому из крестьян дали дворянское достоинство с званием дворянина клеверного поля. Мы — народ смешливый. Нам подавай Задунайских, Таврических, Эриванских... Нам чтоб гром и молнию, чтоб страшно было, ярко и славно...

Где у нас премии на темы сельского хозяйства? Берлинская академия наук уже больше столетия назад стояла на уровне потребностей своего времени. А наша Академия наук — думала она о сельском хозяйстве? У нас были демидовские премии; до 1865 года и выдавались они иногда и за сочинения по сельскому хозяйству. После 1865 года наследники Демидова перестали вносить необходимые для премий суммы и в настоящее время о сельском хозяйстве в Академии наук заботится только покойный московский митрополит Макарий. Митрополит заботится о сельском хозяйстве! Можете подумать, что я шучу. Нисколько. Макарьевские премии, по завещанию, выдаются за сочинения по всем отраслям знаний, а потому и по сельскому хозяйству. Так, в 1893 году была выдана А. С. Ермолову, теперешнему министру земледелия, премия в 1000 рублей за сочинение «Организация полевого хозяйства». Таким образом, митрополит Макарий из гроба благословил земледельческое сочинение. Специальные премии за сельскохозяйственные сочинения едва ли существуют. Сельскохозяйственных обществ у нас очень мало, и что они делают — неизвестно. Не показывает ли все это, что мы, земледельческая страна, оставлены на уровне крестьянского опыта и крестьянских знаний. Наш ученый — крестьянин, он давал и дает тон земледелию. И я позволю себе скромно спросить гг. помещиков, что сделали их отцы и деды в крепостное время, когда, по-видимому, так удобно было заниматься сельским хозяйством, строить школы, дороги, даже шоссейные, даровым трудом? Очевидно, тогда еще меньше было сельских хозяйств и они вступили в 1862 год с урожаем сам-четверт, то есть таким, каким был он при Рюрике...

Чтобы изучить один механизм издания газеты, надобны годы. Надо учиться, чтобы сделаться столяром, печником, маляром, инженером, архитектором, а помещиком делается всякий, у кого есть деньги и кто желает или кто получает землю по наследству. Знает ли помещик столько же о своей специальности, сколько о своей знает столяр, газетчик, адвокат, механик, врач? Почему он помещик? Потому, что ему принадлежит земля, а не потому, что он знает, что с нею делать, как ее обрабатывать, не уменьшая, а увеличивая ее плодородие и производительность. Прошу понять меня: я говорю не о маленьком меньшинстве действительных сельских хозяев, а о большинстве. Я привел в пример себя и мне могут возразить, что это неправильно. Я — городской житель, я — журналист. Но я знаю, что таких помещиков, как я, множество, то есть таких неграмотных в науке теоретической и практической по сельскому хозяйству. Да и все вы это знаете. Сколько чиновников и сановников помещиков, которые только наезжают в деревни и которые знают хозяйство неизмеримо меньше, чем свою канцелярию и свое делопроизводство.

Посмотрите на практическую Северную Америку. Там на семьдесят миллионов населения чуть не целая сотня высших сельскохозяйственных и технических школ. Как же ей не овладеть даже хлебным рынком! Наши техники и сельские хозяева тонут в невежественной массе. Проедешь двести верст — ни техники, ни сельского хозяина, ни даже плотника. Только мужик, да помещик, отличающийся от мужика только тем, что он «образованный вообще», но безграмотный в сельском хозяйстве; у него больше средств, чем у крестьянина, за исключением тех помещиков, которые беднее богатого и зажиточного крестьянина, и таких много.

Я знаю, что тема, о которой я говорю, очень обширна и говорить о ней кратко, быть может, легкомысленно. Но я коснулся ее не затем, чтоб упрекать кого-нибудь и кого-нибудь винить. Пусть мертвые спят, а живые должны жить и работать. Мы вообще все ленивы, но наша лень не исключает силы, когда нужда ее вызывает, когда ею умеют производительно пользоваться и направить. Ленив мужик и ленив помещик. Мужик пользуется всяким случаем, чтоб поддеть помещика, но и помещик не упускает случая, чтоб поддеть мужика. Не надо скрывать от себя, что идет борьба там, где ее быть бы не должно. И землевладелец, и земледелец — охранители по самому своему существу. Они должны бы жить в согласии и образовывать одну партию. Как более сильные образованием и влиянием, помещики должны быть грамотнее мужиков: как школьный учитель должен быть грамотнее учеников своих. Не администратором только должен быть помещик, но и хозяином. И помещик обязан заботиться всеми силами своего ума, своего сердца, своих связей, своей солидарности с правящими классами о той грамотности, о которой я говорю и которая должна служить связью между помещиком и мужиком. Без школ, без специальных школ технических и сельскохозяйственных, без громадного напряжения в этом смысле мы дойдем до того, что не только сало станем выписывать из Австралии, но и хлеб. Какое-то дворянство заговорило о необходимости учредить сельскохозяйственную Академию для дворян исключительно. В этом сказалось сознание, что дворянские поколения растут без необходимых знаний и дворянские имения находятся в руках старост, приказчиков, управляющих, арендаторов. Если б это сознание проникло шире и глубже, сами помещики были бы в силах создать такую академию. Ведь создавали же они корпуса, тратя на это миллионы. Но обязанность правительства — иметь в виду всех и не щадить никаких средств на сельскохозяйственное образование и все те отрасли его, которые с ним связаны. Иностранные капиталы угнетают нас именно потому, что мы — некультурны, что у нас нет специалистов, нет техников, нет сельских хозяев.

19 ноября (1 декабря), № 8524

CCCXLI

Не помните ли вы, когда у нас явилось слово *переутомление? Я* хорошо знаю, что ни Пушкин, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, ни Толстой его не употребляли. И в словарях его нет, ни у Даля, ни в Академическом, ни у Макарова. Его не было ни в шестидесятые, ни в семидесятые годы этого столетия. Значит ли это, что до появления слова «переутомление» мы мало работали и мало учились, а явилось оно уже тогда, когда мы слишком напрягли свои силы и стали

непомерно учиться и непомерно работать? Когда же оно явилось? Ведь этим словом как бы началась новая эра... огромного и непосильного труда... В чем же состоял этот труд? Не знает ли кто-нибудь? Работали, что ли, мы не в меру, учились не в меру, зачитывались не в меру, воевали не в меру, купили не в меру, или не в меру ничего не делали? Я потому еще желал бы определить время появления этого удивительного слова, что мне иногда кажется, что слово это явилось именно тогда, когда мы стали работать меньше и меньше и бестолковее учиться. Наука стала казаться несколько страшной, общественная деятельность — утомительной, ибо и там и здесь грозило нашим благородным головам *переутомление.* Оно начало прилагаться ко всему, и все объяснялось им. Получил гимназист единицу — переутомился. Плохо работает чиновник — переутомился. Ничего не выходит из головы общественного деятеля — переутомился. Переутомился — отдыхай, набирайся сил, поезжай на теплые воды, пей укрепляющее вино и питайся бифштексом. Конечно, все это прекрасно и логично, и чем больше отдыхать, тем лучше. Но ведь надо кому-нибудь работать? И потом: что, если выйдет на поверку, что мы так мало работаем сравнительно с нашими соседями-европейцами, что нам и переутомляться нечем и что все эти толки о переутомлении просто одно недоразумение или заблуждение? Ведь мы слова ужасно любим. В Европе, как известно, существуют философия, мышление, идеи. У нас: слова, слова, слова, как говорит датский принц. Философии у нас и в заводе нет, мышления, идей заимствованные из Европы, зато слова у нас — все... Вспомните слова: *гегельянство, нигилизм.* Какую длинную историю сыграли эти слова у нас. А теперешнее слово *марксист?* Маркс умер около двадцати лет тому назад. Начал работать в 1841 году, и «Капитал» его явился в печати в 1867 году. У нас марксисты появились года три-четыре тому назад, и едва ли я ошибусь, если скажу, что из одной тысячи человек интеллигенции только один удовлетворительно может говорить о Марксе и из ста марксистов только один может получить 3 из марксизма. Но слово остается, и русский Гамлет полумечтательно и полунасмешливо отвечает вопрошающему Полонию: слова, слова, слова...

Я опасаюсь длинных выражений с цитатами из физиологии и патологии о деятельности мозга и переутомлении, а потому не настаиваю на своих сомнениях. Может быть, я совершенно не прав и переутомление действительно существует и нам ничего не остается, как отдыхать и отдыхать. Но я все-таки спрашиваю: где факты, доказывающие наше переутомление, и наши дела и успехи в науке, вследствие которых мы переутомились? Ведь если существует переутомление, то существует непосильный труд? И еще: если переутомление существует только в голове, от огромного труда над наукой, над проектами и делами государственными и общественными, то может быть и переутомление физическое, мускульное? Так ли я говорю или нет? Если существует физическое переутомление, то почему же этого слова нет в тех слоях населения, которое работает в течение двенадцати-пятнадцати часов в сутки? Они не понимают, что ли, переутомления или это слово до них не дошло, а если и дошло, то они его не понимают?

Все эти сомнения и недоумения меня тревожат. Что если, думаю я, мы откроем на удивленье всей Европе, что, например, учиться совсем не надо? Ведь это было бы бесподобно. На что же, в самом деле, учиться и трудиться, если Европа существует? Ведь она уже привыкла и учиться правильно и правильно работать. И климат там лучше и условия лучше. Она доставит нам все, что нуж-

но: и книги, и людей, и капиталы. Да уж и давно все это она доставляет, а в последнее время так усиленно, что не только на Сибирскую железную дорогу мы брали иностранных рабочих, но рабочие приезжают из Бельгии для разработки руды в срединных наших губерниях. В *простых рабочих* зануждались, в простой физической силе. Очень может быть, что это от переутомления. Действительно, надо отдохнуть. Европа ищет поприща деятельности для своего перепроизводства во всех отношениях, тогда как мы страдаем не от перепроизводства, а только от переутомления. Там — перепроизводство, у нас — переутомление. Два товара. Будем меняться. Мы ей — переутомление, она нам — перепроизводство. Впрочем, этим, пожалуй, меняться нельзя. Как вы думаете: можно меняться?

Но что ж нам делать, если мы не можем ни много учиться, ни много работать головою и руками? Европа все это может. Пускай она готовит все и для себя и для нас.

Мы будем отдыхать. Это мы умеем...

22 ноября (4 декабря), № 8527

CCCXLII

Я не о том говорил, существует ли «переутомление» или нет, а потому совершенно напрасно обращаться к г. Тарханову и другим с вопросом, что такое переутомление, чем выражается оно при диктовке и проч. Это — почва для полемики врачей и педагогов, но я не о том говорил. Обращаюсь к «Северному Курьеру». Он нашел «некоторую горькую иронию» в моем «Маленьком письме» о переутомлении. «В этой иронии, — говорит он, — в этих словах много правды но несколько странно, почему автор (я, т. е.) остановился на полпути, почему он не выяснил нам, вследствие каких причин «мы» так хорошо «умеем отдыхать» и почему «мы» так быстро «переутомляемся». Газета, сделавшая этот вопрос, старается на него ответить. Она думает, что «главный распорядок труда и всякой деятельности в Западной Европе можно кратко формулировать словами: *что не запрещено, то дозволено.* У нас же обратное: что *не дозволено — запрещено*» (курсив в подлиннике.— *А. С.*), а потому нам приходилось тратить много сил для того, чтобы доказать *дозволенность* дела, чтобы начать его. Справедливо, но в этом отношении в последние годы сделано немало. Я смотрел на вопрос несколько иначе, ибо думаю, что мы *вообще* мало работаем на всех поприщах или работаем порывами и только благодаря нашей необыкновенной даровитости успеваем иногда в короткое время сделать то, на что потребовалось бы больше времени, если бы труд наш шел правильно. Правильный труд имеет огромные преимущества перед трудом вспышками, увлечениями, чрезвычайным подъемом сил. Не говоря о том, что чрезмерные усилия всегда утомляют и реакция является, как необходимое следствие, правильный труд входит в нравы, в привычку, в систему. Правильный труд оживляет, укрепляет цели, ободряет душу. А мы всегда были далеки от системы правильного труда и в значительной степени оттого, что мы — малообразованны и малограмотны. Достаточно напомнить реформу Петра Великого и реформы Александра II, совершенные большим подъемом сил, в течение которого никто не говорил о переутомлении. Живое дело не утомляет, но утомляет слишком продолжительный отдых. На этот счет есть выразн-

тельная французская поговорка: trop de repos nous engourdit. Это все равно, что лежать на одном боку и переворачиваться тогда, когда уж отлежишь совсем бок. Является нервность, раздражительность, вспыльчивость, апатия. Тогда как система, которая выражается немецким выражением ohne Hast, ohne Rast, не спеша, без отдыху — лучше всего обеспечивает успех и совершенно устраняет всякие разговоры о переутомлении. В Европе эти разговоры если и существуют, то в тесном кругу научном, преимущественно медицинском. У нас они повсюду, ибо у нас стоит пустить в оборот меткое слово — и за него цепляются как за якорь спасения, как за решение вопроса. Мы переутомились, давайте отдыхать. Но я не приду в восторг оттого, что в каком-нибудь учебном заведении, кроме воскресений и праздников, которых у нас гораздо больше, чем в Западной Европе, освободили бы учеников от классов еще на один день. По-моему, мы и так учимся слишком мало. Я считал каникулы и праздники, на которые школы закрыты, и насчитал сто шестьдесят дней. Назовите мне страну в Европе, где было бы столько школьного отдыха. Мне думается, что если мы станем учиться еще меньше, то будем только менее образованными. Все эти постоянные бросанья из одной крайности в другую, по моему мнению, только вредны. Вспомните, пожалуйста, что мы делали в течение пяти-десяти лет с нашей учебной системой. В тридцатые и сороковые годы начала образовываться правильная средняя школа, дававшая интеллигентных студентов для университетов и других высших учебных заведений. Но европейские события 1848 года заставили заподозрить школу и даже образование, и начались урезки и перемены. Пришел потом Головнин в новое царствование и начал проводить свою реалистическую программу со множеством предметов, от каждого по кусочку. Явились нигилисты. По каким причинам они явились, разбирать не станем, но опять заподозрена была школа и явилась классическая система, сперва неумолимо строгая, потом полегче. С недавнего времени заговорили о переутомлении в этой школе. Я не вхожу в достоинства и недостатки этих программ, этих школьных систем. Я хочу только указать на то, что в течение пятидесяти лет, т. е. в течение жизни одного человека, четыре раза реформируют школу и даже хорошенько никто не знает, выработается ли правильная русская школьная система или нет. В Европе школьная система прочно существует, а разрабатываются только детали, чтобы «быть с веком наравне», как сказал Пушкин. Я бы и желал, чтобы мы, наконец, были наравне с веком и выработали себе такую национальную школу, которая не была бы только сколком с европейской, а заключала бы в себе и все то, что нами, русскими, нажито. Ведь нажито же нами что-нибудь, ведь мы действительно даровитый народ. Если американцы основали свою своеобразную школу, то отчего бы и нам этого не сделать. И раз основав такую школьную систему, мы должны беречь ее как зеницу ока и не пускать в нее политику, чтобы политика не затрагивала оснований школы. Политика переменчива, школа должна быть незыблема. Сегодня — одна политика, завтра — другая. Школа должна быть и завтра такою же научною, какою была она вчера.

Подумайте, в самом деле, выиграли ли мы что-нибудь от этой постоянной перемены систем и программ? По-моему, только проиграли, ибо эта постоянная неустойчивость, эти стремления к переменам во имя политики, во имя временных затруднений, расслабляют поколения, характеры, лишают веры в силу и пользу образования и даже в силу и пользу науки. Среди нашей молодежи те-

перь далеко нередки экземпляры, которые убежденно говорят, что учиться бесполезно и бесцельно, что прохождение курса — печальная необходимость, которую исполняют иногда с уловками, хитростью и лицемерием. Мало этого: эти перемены кладут пропасть между отцами и детьми, и я на это обращаю ваше особенное внимание.

Когда в течение пятидесяти лет четыре раза реорганизуется школа, то шестидесятилетний человек, имеющий детей и внуков, рискует очутиться совершенно одиноким: ни дети, ни внуки его не понимают, и он не понимает их, даже внуки не понимают детей, а дети — внуков. Три поколения воспитываются разно, и каждое говорит о своем времени как о чем-то особенном, у которого и особые цели, и средства, и приемы. Не правда ли, какая грустная картина образованного общества, где старшие, средние и младшие поколения готовы броситься друг на друга или питают друг к другу вражду, или презрение, или пренебрежительное равнодушие. Вы скажете, что я преувеличиваю? Я желал бы, чтобы нашли это преувеличенным. Но я много жил и видел воочию то, о чем говорю, — видел в ярких, глубоко больных и кричащих примерах, в таких примерах, которые заставляют плакать и страдать многочисленные семьи, поселяя в них кипучую рознь. В «Отцах и детях» Тургенев наметил это явление, когда оно особенно ярко явилось в русской жизни. Но оно не остановилось, а продолжалось и продолжается, уничтожая традиции, подрывая старшие поколения и лишая их всякого нравственного авторитета. Я никогда не забуду слов Альфонса Доде, который мне сказал о своем сыне: «если бы мы с ним переплывали бурную реку рядом, то и тут мы могли бы поссориться». Значит, это явление существовало и во Франции, где был слишком резкий переход от империи к республике. Но у нас эти переходы от одного школьного режима к другому были так часты, что спутывали понятия, цели и убеждения и мало давали настоящей науки, но много дали поверхностного самомнения с одной стороны и неустойчивости характеров — с другой. Переберите свои кружки, свои семейные кружки за сорок лет, и сочтите жертвы, вражду, взаимное непонимание — и вы должны будете согласиться со мною...

Выработаем ли мы себе твердую, ясную прогрессирующую систему или будем жить порывами — вот в чем вопрос.

28 ноября (10 декабря), № 8533

CCCXLIII

Я слышал рассказ человеческой души, которая следовала за мертвым телом, в котором она жила:

«Он умер в клинике душевнобольных. С которых пор он сделался душевнобольным, определять не стану. Тут хронология невозможна. Самое это слово «душевнобольной» — нелепое слово. Душа не может быть больною. Душа бессмертна и, как бессмертная, она здорова. Вся сущность в теле. Недаром говорят, в здоровом теле — здоровая душа. Эта мысль тысячелетия существует, и она не противоречит правде. Я, душа его, жила в мозгу, как во дворце, со множеством комнат, переходов, балконов, с тронным залом, с палатами речи, памяти, ума, воображения, музыки, поэзии. Я украсила эти палаты постепенно, в течение четырех десятков лет. Я спешила в тронный зал в торжественные минуты, в мину-

ты молитвы и благоговения; в других палатах я обдумывала планы, загоралась вдохновением, метала негодование, плакала и скорбела, выливалась в музыкальной гармонии. В этом дворце я распоряжалась всем своим царством — и хорошо распоряжалась. Не моя вина, что мои подчиненные стали ослабевать, что они теряли энергию, слух, зрение, память, гармонию. Мои приказания передавались плохо, по тончайшим нервам, и часто приходили совсем не туда, куда следует, ибо часть путей была разрушена, сорваны мосты, навалены камни. Но истинная беда началась с того момента, когда мой дворец, мозг, в котором я жила, стал изменяться и портиться. Обрушивались своды моих комнат, перегнивали балки, падала штукатурка, засыпались известью коридоры, замуравливались окна и двери, живопись стен моего дворца покрывалась мхом и пылью. Мне стало душно. Я начала рваться из моего дворца. Я сердилась, негодовала, кричала, теряла всякое самообладание. Но сердце билось — я связана с сердцем неразрывными узами. Пока оно бьется, я должна оставаться в моем дворце и царствовать. Но возможно ли царствовать, когда меня не слушались, когда самое жилище мое осаждалось разрушительной силой. Я видела через глаза тех, которых я знала, но видела как бы сквозь туман и не узнавала их. Я слышала, как доктор говорил: «Он потерял сознание». Да, он, человек, потерял сознание, но я, душа его, оставалась живою, я не могла только свою силу и свою власть проявить в падающем и разрушающемся здании, среди обломков и мусора, среди пыли и руин... Я не узнавала своего дворца, своих зал, я сбивалась с пути, проходя в свои палаты, и изнемогала от борьбы среди увеличивавшегося погрома. С каждым днем становилось теснее и теснее мне и мои усилия управлять царством были все бесплоднее. Вдруг сердце остановилось, и я вылетела из тела и остановилась над ним. Бедный человек, жалкий труп, жирная пища для червей — прощай. Ты исчезнешь в земле. Я останусь жить и вместе с живыми провожу тебя в могилу...

Стали резать труп. Рассекли череп, вынули мозг; рассекли грудь... Я все это видела.

Родные и знакомые пришли за трупом. Прозектор не дает.

— Это мой труп, — сказал он. — Кто здесь умер, тот мой. Во вторник мне надо читать лекцию. Мне нужен труп. И я должен сказать, что труп этот интересный. Я нашел такие изменения в мозгу...

Я слушаю. Знаешь ли ты мой дворец? Что ты понимаешь в его чудесной архитектуре?

Родные и знакомые продолжают просить. Труп надо перевезти на квартиру. Назначена в 3 часа панихида. Надо торопиться. Собрались знакомые. Поп уже пришел, певчие пришли...

— Достаньте мне труп, — говорит прозектор. — Подите спросите внизу, если есть труп там, я выдам вам этот. Если нет — извините — не дам. Мне не над чем читать лекцию.

О, радость. Привезли труп какой-то бедной женщины. Она умерла одиноко, и некому было похоронить ее.

Прозектор выдал тело, в котором я жила. Его наскоро одели, положили в гроб, потом на дроги, и лошади побежали с ним. Трясло его по мостовой безбожно. Прохожие останавливались и удивлялись этому одинокому гробу, который спешил на свою квартиру. Он оставил ее больным и вернулся в нее мертвым...

На квартире собрались живые и смотрели на себя в гробу, ибо и их души уйдут из тела. Пропели «Со святыми упокой» певчие, дым ладана наполнил комнату, и раздались чьи-то глухие рыдания».

Это было в тот день, когда хоронили бедного Н. О. Холеву.

5 (17) декабря, № 8540

CCCXLIV

Мы очень милые люди. Я говорю о русских. Доказательство налицо. Буры бьют англичан и бьют прекрасно, если только слово прекрасно уместно там, где проливается человеческая кровь, а мы этими обстоятельствами не пользуемся. Если бы нас кто бил, Англия воспользовалась бы этим блистательно.

Страна, имеющая на своих островах в Европе сорок миллионов жителей и в разных частях света триста сорок семь миллионов жителей, эта великая страна терпит поражение за поражением от какого-то маленького народца, едва ли насчитывающего всего триста пятьдесят тысяч жителей. Что-то несообразное и невероятное. Триста восемьдесят семь миллионов и триста пятьдесят тысяч душ. Против каждой тысячи буров целый миллион английских подданных. Если даже колонии оставить в стороне, то все-таки останется сорок миллионов против трехсот пятидесяти тысяч. Число английских солдат и офицеров почти равняется числу буров, а если присоединить матросов, то и превосходит. Это — не Голиаф и Давид, а тысяча — Голиафов против одного Давида. Англичане однако совершенно уверены в окончательной победе. Еще бы! Такие несообразные величины. Если бы положить всех буров, считая и младенцев, а на них английских подданных, то на каждом буре лежало бы одна тысяча сто восемь подданных английской короны. Это значит столб по меньшей мере в 120 сажен, то есть три колокольни Ивана Великого на одном несчастном буре. Как не победить или, вернее, как не задавить!?

Но тем удивительнее эти победы, тем блистательнее это мужество. Говорите после этого, что новейшие военные орудия изменили войну, что храбрости более не потребуется для победы над противником. Нет, человек останется все-таки человеком, мужество — мужеством. И это отрадно для чести человека, для его свободы и независимости. Что бы материальная сила ни изобретала для подавления силы нравственной, сила человеческой души, которая проявляется в любви к независимости, сила духа должна одолеть или снискать общие симпатии.

Говорят, биржа страдает, говорят о «денежном голоде», говорят, что одна из главных причин этого безденежья, этого кризиса — победы буров и отлив золота в Южную Африку. Тем не менее сочувствие бурам растет. Оно становится обязательным даже для биржевиков. Никто не призывал в печати к обструкции относительно англичан, а эта обструкция существует на деле и английские магазины жалуются на то, что их обходят покупатели. Помимо сочувствия к независимости маленького народа, помимо удивления перед его богатырской борьбою, нами руководит в этом случае и наша исконная нелюбовь к англичанам. На чем она основана?

Если поискать причины этой нелюбви, то мы найдем их прежде всего в английских качествах, нам, русским, весьма несимпатичных. Это — надменное само-

мнение англичан, над которым зло смеялись и Байрон, и Диккенс, и Теккерей, смеялись так, как мы не посмеем смеяться над ними в своем смирении. Эту надменность они распространяют на весь мир, на все то, что не английское. Никогда русские не становились к завоеванным, к своим колониям, в такие надменные отношения, как англичане. У русского человека, при его грубости, при его малой культурности, всегда есть чувство равенства, чувство добродушия. Русский подерется, но даже драка его не так обидна, как та надменность, которая проявляется в англичанине, считающем себя выше всех народов, не желающем признать в другом народе качества, равные английским. Это — «избранный народ Божий», и их успехи в колонизации, в распространении своего владычества во всем мире, более и более возвышают их надменность. Эта надменность не знает себе граний, и они совсем стали забывать, что «гордым Бог противится». Они нарушали народные права, они являлись жестокими в подавлении восстаний, они не подчинялись европейским требованиям гуманности, употребляя разрывные пули, ибо думают, что их свобода, их конституция, их самоуправление все оправдывают. Кто под их игом, тот под игом просвещения, под игом наилучшей политической свободы. Их богатство позволяет им делать то, что позволяет себе самый жесткий капитализм. Они теперь выпускают брошюры против России, где говорят, что русские были их «наемниками», что русские получали субсидии во времена «воiн освобождения», когда наши войска дрались против Наполеона во Франции. Это было, к сожалению, но это было одно из тех уклонений от нашего исторического пути, которые давно нами сознаны, как ошибки, как увлечения руководителей, задавшихся односторонними целями. Кровь, пролитая нами, была пролита напрасно, ни за синь порох. Это был горький исторический урок, которым долго спустя пользуется английская надменность. Во время Крымской войны мы сходились не только с французами, но и с турками, с англичанами — никогда. К ним одним у нас было враждебное чувство, и это чувство вызывалось именно английской надменностью. Мы любили и любим Диккенса за его юмор, за его насмешливое отношение к своим соотечественникам, за его общечеловеческую правду, которая дорога нам во всяком народе. Мы любили Байрона больше, чем англичане, потому, между прочим, что его гнала английская надменность, английский аристократизм. Сам Шекспир на английской почве не нашел ничего такого, что можно было бы любить, перед чем можно было бы преклоняться. Его герои, нам милые, нам говорящие лучшими сторонами своей души — датчанин Гамлет, итальянец Ромео, несчастный мавр Отелло, датчанка Офелия, венецианка Дездемона, веронезка Юлия, венецианец Антонио. Царственные тени Цезаря, Брута, Клеопатры — вставали, под рукою гениального драматурга, в Риме и на берегах Нила. В Англии он находил Макбета с его женою, Ричарда III, пьяницу Фальстафа, подлых дочерей Лира, и если Лир нам любезен, то он любезен только как преследуемый, как сумасшедший, как жертва жестокости и предательства.

Кроме пакостей, англичане нам ровно ничего не сделали. Они вооружали против нас Европу, они вырвали у нас плоды победы нашей над Турцией, они не пустили нас в Константинополь и праздновали с насмешливой надменностью результаты Берлинского конгресса. На Кавказе они снабжали оружием наших противников, обнадеживая их помощью, в Средней Азии они постоянно мешали нам устраиваться даже в местах близких к нашим границам, где у Англии не было никаких торговых интересов. В настоящее время они готовы двинуть на нас Япо-

нию и Китай. Они постоянно наносили нашему национальному чувству оскорбления, считая нас за варваров и глупцов. Нет и не было в Европе народа, который относился бы к нам с таким пренебрежением и зложелательством, и мы это чувствовали, чувствовали все, сверху донизу, и как гипнотизированные молчали или говорили про себя: «что делать, мы малокультурны и за это платимся». Бомбардирование англичанами Александрии в 1881 году вызвало в русских людях крики негодования. Помните победу под Кушкой? Это был взрыв восторга в России. Эта маленькая победа войск императора Александра III принята была как какая-нибудь великая победа, ибо русские люди почувствовали, что это удар Англии, удар стране, которая смотрела на Россию свысока, как смотрит аристократ на низшую расу...

15 (27) декабря, № 8550

CCCXLV

Полтавское сельскохозяйственное общество оказало мне внимание — присылкою своих трудов. В «Маленьком письме» («Новое Время», № 8524) я сказал между прочим, что «сельскохозяйственных обществ у нас очень мало и что они делают — неизвестно». Полтавское общество, вследствие этого, и адресовало мне свои труды[1].

Общество это возникло в 1865 году. Его история интересно написана гг. Сосновским и Велецким; это, в сущности, история развития сельского хозяйства и его отраслей в Полтавской губернии, в чем сельскохозяйственное общество принимало вместе с земством деятельное участие. Полтавское земство было первым, которое основало опытное поле, за ним следовало Самарское.

Президентами Полтавского общества были: князь Л. В. Кочубей, князь С. В. Кочубей, А. П. Забаринский и Д. К. Квитка. Между вице-президентами была несколько месяцев и женщина, именно Е. И. Милорадович. Число почетных членов 35, членов-корреспондентов — 32 и действительных членов — 260.

Я нашел в этой истории подтверждение своих слов о малограмотности помещиков. «Прения в Полтавском сельскохозяйственном обществе выясняют, — говорит г. Сосновский, — что и ныне, как тридцать лет назад, уровень знаний и подготовленности наших сельских хозяев весьма невысок, в самой среде хозяев нет того прочного и широко развитого сознания истинных нужд нашего хозяйства, без которого рассчитывать на общий подъем хозяйства невозможно. Активным элементом во всех обществах являются несколько истинно преданных делу любителей, городское чиновничество и служащие в учреждениях сельскохозяйственных обществ агрономы. Ведь наши сельские хозяева с сельскохозяйственной литературой совершенно незнакомы и мало читают... Наши

[1] Вот их перечень: «Результаты семилетних опытов на опытном поле Полтавского губернского земства с 1886 по 1892 гг.». Изд. Полтавского сельскохозяйственного общества. Полтава. 1894: «Отчет по опытному полю Полтавского сельскохозяйственного общества за 1893, 1892 и 1891 гг. Составил В. Н. Дьяков»; такой же «Отчет» за 1894, 1895 и 1896 гг. , три книги, все составлены тем же г. Дьяковым; «Отчет» за 1897 г. . который составили Т. В. Локтя и В. Н. Дьяков; Мих. Сосновский и С. Велецкий «Полтавское сельскохозяйственное общество. 1865 — 1895 гг.». Изд. Полтавского сельскохозяйственного общества. Полтава. 1898 г.

землевладельцы-хозяева, нужно помнить, в массе составляют все то же служилое сословие, еще не усвоившее понятия о хозяйстве, как одной из форм производства, требующей в настоящее время наибольшей научной подготовки, опытности, коммерческой ловкости и кроме того — капиталов, без которых теперь никакое производство немыслимо, а тем более в области настолько неустойчивой, как производство хлеба».

Пользуюсь этим случаем, чтобы сказать, что наши сельскохозяйственные общества должны бы искать тесной между собою связи. Сколько мне известно, в сельскохозяйственной литературе нашей нет объединяющего органа для всех наших сельскохозяйственных обществ. Меняются ли даже общества своими «трудами» и подвергают ли их анализу в своих собраниях и комиссиях? Не следовало ли бы этим обществам устраивать съезды, хотя бы по районам, северному, серединному и южному, для обмена мнений? Это оживляло бы стремления и труды обществ и оживляло бы и те города, в которых происходили бы съезды. Конечно, городами этими должны быть губернские, а не столицы. Не знаю, возникала ли такая мысль. Если возникала, то ее не мешает повторить. Наше государство так громадно, так нуждается в развитии сельского хозяйства, в установлении систем его и средств, что такие съезды необходимы. Конечно, могут сказать, что из этого ничего не выйдет, что пробовали, мол, то и то, а все ничего не выходит. Это отрицательное и насмешливое отношение к самим себе нам вредит как нельзя более. Мы точно ищем сейчас же блистательных побед и поражающих результатов, и победы малые и результаты незначительные нас настолько не соблазняют, что мы отмахиваемся и попробовать их.

В какой мере «разрозненность действий» существует по сельскохозяйственным вопросам, указывают цифры, приводимые в издании министерства земледелия и государственных имуществ «Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 1898 год)», составленном П. Н. Соковниным, Сельскохозяйственные общества имеют тесную связь с земствами, и объединение первых в съездах могло бы отразиться и на земской деятельности. Я позволю себе привести ряд этих цифр. Конечно, цифры — скучная материя, но цифры и управляют миром и управляют каждым человеком. Цифры годов ваших, цифры вашего бюджета — за ними целая сложная жизнь. Государственные бюджеты — жизнь целой страны в ее главных проявлениях.

Я возьму несколько данных из таблицы, показывающей «Ассигнования губернских и уездных земств на сельскохозяйственную часть на 1898 год». Ассигнования эти разбиваются на пять отделов. Указывая их, я ставлю общую сумму расходов по каждому отделу во всех 34 земских губерниях *курсивом* и обыкновенным, что приходится в *среднем* на каждую губернию.

1.Устройство и содержание сельскохозяйственных учебных заведений и распространение сельскохозяйственных знаний через посредство начальных школ — 467 091 р. — 13 738 р.

2.Устройство и содержание опытных станций и полей, показательных участков, сельскохозяйственных ферм, музеев и метеорологических станций — 202 013 р. — 5942 р.

3.Содержание агрономов и специалистов по отдельным отраслям сельского хозяйства — 199 135 р. — 5857 р.

4.На развитие подсобных в сельском хозяйстве промыслов и устройство и содержание промышленных учебных заведений и мастерских — 386 618 р. — 11 490 р.

5. На другие (??) расходы по сельскохозяйственной части — 513 679 р. — 15 108 р.

Общий итог всех пяти итогов равняется 1 768 538 р., а в среднем на каждую губернию 32 016 р.

Расположим губернии по самому важному отделу, первому, т. е. по устройству и содержанию сельскохозяйственных учебных заведений и распространению сельскохозяйственных знаний чрез посредство начальных школ. Первая цифра в приводимых колонках выражает рубли на сельскохозяйственное образование, а вторая — итог всех пяти отделов, о которых сказано выше.

1.	Самарская	75 182	124 476
2.	Полтавская	65 256	198 473
3.	Херсонская	58 311	138 677
4.	Пермская	39 417	102 035
5.	Таврическая	27 681	92 375
6.	Уфимская	27 369	68 281
7.	Вятская	24 291	192 233
8.	Новгородская	23 900	29 364
9.	Тульская	18 500	32 149
10.	Воронежская	18 443	25 293
11.	Нижегородская	15 800	72 826
12.	Псковская	9507	42 178
13.	Вологодская	7950	27 394
14.	Саратовская	7635	26 903
15.	Курская	7555	42 732
16.	Харьковская	7170	51 314
17.	Черниговская	6840	41 156
18.	Симбирская	6360	72 826
19.	Ярославская	6232	21 725
20.	Владимирская	2650	13 590
21.	Екатеринославская	2473	43 419
22.	Казанская	1801	51 482
23.	Костромская	1175	23 519
24.	Олонецкая	1150	13 143
25.	Бессарабская	1035	63 902
26.	Калужская	1000	2690
27.	Московская	800	54 482
28.	СПетербургская	600	16 820
29.	Смоленская	310	6907
30.	Тверская	300	22 070
31.	Пензенская	200	6400
32.	Рязанская	90	4709
33.	Тамбовская	50	15 741
34.	Орловская	50	16 147

Не правда ли, какое разнообразное несоответствие. Вначале стоит восточная губерния, за нею — две южные, потом — восточная и южная, затем — две восточных и северная, потом — две средние черноземные, за ними — одна промышленная (Нижегородская), затем — опять две северные и за ними — две черноземные (Саратовская и Курская) и т. д. Восточная Самарская стоит в сумме 75182 р., а соседняя с нею черноземная Саратовская в 7635 р., в десять раз меньше. Черноземная Воронежская в 18443 р., а соседние с нею черноземные Тамбовская и Орловская каждая в 50 р. — точно двойни, — т. е. в 366 раз меньше заботящиеся о сельскохозяйственном образовании, чем Воронежская. Промышленная Ярославская тратит 6232 р., а соседняя с ней промышленная же Тверская тратит 300 рублей. Что же это такое? Ведь тут нет и тени соответствия, тени какого-нибудь единства и общих интересов. Неужели так и не надо внести сюда некоторую систему и объединить то, что нуждается в объединении? Съезды сельскохозяйственных обществ несомненно в этом отношении помогли бы.

Если из этой таблицы выбрать наши девять черноземных губерний (Воронежскую, Курскую, Орловскую, Пензенскую, Рязанскую, Саратовскую, Симбирскую, Тамбовскую и Тульскую), то окажется, что они отстали по расходам на развитие сельскохозяйственных знаний и опытов почти все не только от южных и восточных губерний, но даже от Псковской, а Рязанская и Пензенская отстали даже от Тверской и Олонецкой.

В пользу сельскохозяйственных съездов можно говорить с тем большим правом, что земство все-таки довело свои ассигновки на сельскохозяйственное образование, опытные поля, на наем агрономов и проч. до двух миллионов рублей. Это чуткое отношение к «местным нуждам» говорит в пользу земств. Было бы любопытно сравнить эти земские расходы на сельскохозяйственную часть с расходами министерства земледелия на тот же предмет, по всем пяти приведенным статьям, не считая, разумеется, расходов на высшее сельскохозяйственное образование, ибо нам более говорят расходы министерства земледелия на средние и низшие школы, на опытные станции и поля и проч.

P. S. Считаю необходимым указать на очень хорошее издание М. З. и Г. И. «Указатель изданий Министерства земледелия и государственных имуществ по сельскохозяйственной и лесной части» составитель И. И. Мамонтов, с двумя «Дополнениями». Это — перечень изданий с подробным указанием их содержания. Министерство издало всего с 1894 по 1 июля 1899 гг. 279 сочинений в 485 томах, выпусках или частях, в количестве 736815 экземпляров. Из них 109535 экз. раздано бесплатно в 1898—99 гг. Издательская деятельность министерства, таким образом, очень обширна, и дай Бог, чтобы она приносила хорошие плоды. А что, если б завести, конечно, не 109535 опытных полей и образцовых ферм, по числу даром розданных экземпляров, а хотя бы только 1095? Ведь не дурно было бы...

18 (30) декабря, № 8553

CCCXLVI

Вот человек, который страстно любил жизнь и умел жить — это Д. В. Григорович. Уметь жить — великое дело. Я не говорю об его литературной и художественной деятельности. Я разумею только человека общественного. Узнал я его,

когда ему было уж лет пятьдесят. Приятнее, общительнее человека трудно было найти. Я думаю, что такие люди чрезвычайно редки в нашем обществе. Талант блестел в его разговоре почти до последних дней его жизни. Талант вдохновенного импровизатора, превосходного рассказчика, остроумного, находчивого человека, обладавшего способностью ярко схватывать смешные и нелепые черты своих современников и выражать их художественно. Когда бывал он в ударе, а это случалось часто, он был неистощим и неподражаем. Это был ходячий юморист и сатирик, удивительно разнообразный собеседник. Кто знает Григоровича только по его печатным «Воспоминаниям», по тем характеристикам, которые встречаются там и в его произведениях, тот знаком только с небольшою частью его таланта рисовать людей. Это был один из весьма немногих русских литераторов, имевший обширное знакомство не только в литературных и художественных кругах, но и в высшем обществе. Он принадлежал к числу тех литераторов, которые посещали дом графа Вильгорского, князя Одоевского в сороковых годах, когда литература не замкнулась еще в особую область. В его памяти стояли сотни лиц, как живые, на пространстве более полувека. И когда он начинал говорить, речь его лилась, полная блеском остроумия, неожиданных обличений и «красных слов». Умер человек, и весь этот блеск ушел с ним. Он записывал анекдоты, но не записывал своих импровизаций, а они составили бы прекрасные томы. Дар сатирика и юмориста у него превосходил талант беспристрастного объективного художника. Когда он говорил, говорило его лицо, говорил разными интонациями его голос, его жесты, и горели глаза. И это все было изящно, не переходило в грубый шарж и не требовало удаления дам. Он был одним из тех литераторов, которые могли бы сказать о себе, что они далеко не выразились в своей литературной печатной деятельности. Самая обширность его знакомства мешала ему в этом, самая общительность его, любовь к обществу, к беседе, к обмену мыслей в маленьком кружке не давали ему свободы высказываться в литературных произведениях. Не вино, не шампанское возбуждало его, как многих, а то шампанское, которым всегда была полна его прекрасная горячая голова. Он был бы любимым популяризатором художества, если бы стал читать лекции. Но он создал превосходный музей и школу для популяризации прикладного искусства. Он был глубоко огорчен и взволнован, когда в этот музей, в дело его любви и труда внесли беспорядок. Сколько он положил усилий на это собрание вещей, трудно исчислить. Он собирал не как барин, обладавший большими средствами, а как любитель, желающий прекрасное приобрести из надежных источников и для многих русских поколений. Я видел, как в Венеции он целые часы бегал по мастерским, по художникам, по домам, где что-нибудь продавалось, по храмам, стараясь приобрести что-нибудь для музея. В Париже он исходил все чердаки, где ютятся иногда талантливые представители прикладного художества, где он мог заказать копию или оригинал. Расчетливый по природе, умеренный в своих привычках и потребностях, не бравший никогда в руки карт, он был расточителен в речи своей, в желании занять общество, рассеять его скуку, заинтересовать его рассказом, своим умом, своими знаниями, опытом своей жизни, продолжительной, разнообразной и плодотворной. Я это и называю уменьем жить. Это уменье было в его природе, необыкновенно общежительной и любящей. Он был действительно любящим человеком. Его остроумие, его желчь, его юмор нико-

гда не касались явлений благородных, хотя бы они были угловаты. На самом деле он был деликатным человеком, услужливым, готовым помочь, указать, объяснить. К нему обращались художники, писатели, ремесленники, он был завален всевозможными чужими делами и никогда на это не жаловался. Делу — время, потехе — час. Он мог сказать это о себе. Ему хотелось не только самому двигаться — он хочет двигать других. Неподвижность, застой, леность он ненавидел, как настоящий европеец, как русский, желавший успехов своей родине. Тут был беспощаден в своих сарказмах. Зато всякий талант глубоко его интересовал. Он носился с ним, говорил о нем всюду. Стоило явиться какому-нибудь дарованию, он сейчас замечал его. Чехова он полюбил еще в «Петербургской Газете», в его первых рассказах, когда никто не ценил этого превосходного дарования. Кто любит талант, тот сам талантлив и любит людей и любит жизнь. Чуть отпускала его болезнь в последние два года, он тотчас начинал работать, тотчас же являлся в обществе и интересовался всем: литературой, художеством, политикою. Надо ли говорить о том, что он любил женщин. Кто любит общество, живую беседу, живые интересы, тот любит и женщин. Но и эта любовь была любовью талантливого человека, который ценил в женщине кроме красоты ум и душевные качества. Как типическая, своеобразная и редкая личность, он везде был заметен и везде принят, хотя острое слово наверно мешало его карьере. У нас умных людей да еще с метким юмором не любят. Надо было слишком выдаваться своими способностями, чтоб стать тем, чем был покойный, милый, добрый, умный и всесторонний человек...

Я видел его накануне смерти. Он лежал, говорил и бредил. На груди у него сидела маленькая его собачка, которую он инстинктивно гладил правой рукой. Была еще надежда на его выздоровление, хотя слабая: сердце действовало плохо. Он предчувствовал скорую свою смерть. Незадолго до смерти он говорил своей знакомой: «до Нового года я не доживу», но купил отрывной календарь на Новый год. Он надеялся. Он хотел жить, потому что любил эту жизнь не для себя только, но и для других. Не верилось, что этот преимущественно живой человек может перестать жить. Казалось, он смерть заинтересует своим живым умом и она оставит в покое надолго этого человека, который и в глубокой старости не составлял ни для кого бремени, не опускался, не смотрел с завистью на молодое и свежее, на веселость и беззаботность тех, которые начинали жить. Напротив, родник жизни его, душа его оставалась молодою, чувствительною, доброю, способною увлекаться, способною болеть болезнями общества и волноваться негодованием и радостью. Только старое тело не давало простора молодой душе...

Сегодня он лежит бездыханный. Лицо выражает как бы удивление перед смертью, которая остановила его сердце. Зачем? Зачем она пришла? Даст ли она что-нибудь новое, неизведанное на земле или только вечный сон и вечный покой, которых он так не желал?..

Грудь его вздымалась в последней мучительной борьбе, призывая жизнь, стараясь осилить этого бессмысленного, страшного врага, которого одолевал он прежде. Но смерть победила, и никто не скажет, *что* она даст душе взамен этой жизни с людьми, с искусством, с литературой, с природой, с животворящим солнцем...

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий!

Смена поколений, эта вечно обновляющаяся жизнь, этот новый строй молодых голов, которые смотрят вперед непобедимо — вот одно утешение для тех, кто умирает. Все победить можно, кроме смерти. Но когда она берет от нас живых, верующих в жизнь вообще и в русскую жизнь в особенности, умевших жить и любить, непобедимые и гордые своей молодостью, своей силой, своими надеждами пусть поклонятся с благодарностью этому ушедшему от жизни, в которую душа его внесла прекрасные чувства любви и сострадания...

24 декабря 1899 (5 января 1900), № 8559

CCCXLVII

Надо ли бить в барабаны, трубить в трубы, кричать «осанна» по поводу опытов г. Мечникова?[1] Отчего не бить в барабаны и не трубить в трубы? Бьют же в барабаны и трубят в трубы во время учений и парадов, в предвкушении будущих побед или поражений. Победит ли наука или не победит — это дело будущего, а бить в барабаны в честь науки очень приятно. Наука дает надежды, поднимает выше горизонты и человеческую душу. Пусть радуются и веселятся. Но пусть и серьезному мыслителю дано будет право сказать: «Погодите. Это — не победа, а только ученье». Оставляя в стороне всю ученую часть вопроса, его важность и значение ученым и серьезным мыслителям, я хочу только обратить внимание на самую идею многолетия, которое высчитывается в двести — двести пятьдесят лет.

По преданию, со старцем еврейским царем клали, в виде морских свинок, красивых и юных дочерей Израиля: хотели возбудить жизнь царя-поэта присутствием на его ложе молодых и свежих женских тел. Изобретали затем жизненный эликсир, теперь вливанием посторонней крови думают оживить организм. Но и в древнее время, и в среднее, и теперь воспользовались бы этим средством, если бы оно было найдено, прежде всего богатые и зажиточные люди, как пользуются только они всем комфортом, хорошей пищей, гигиеной, минеральными водами, морскими купаньями, электричеством и проч. Когда это все вниз придет — Бог ведает...

Представьте себе, что все те, кто стоит более или менее близко к рулям жизни, помолодеют. С них бы непременно началось. Что из этого воспоследовало бы? Вспомните Фауста. Он сейчас же бросился к женщинам, прижил ребенка с Маргариттой, побывал у ведьм, познакомился с троянской Еленой и вообще обнаружил такое легкомыслие, что Мефистофелю чуть не пришлось его удерживать в приличных границах. Старых Фаустов, конечно, очень мало, но стариков и стареющихся очень много. Если бы одни петербургские и московские старики, более или менее видные по своему общественному или служебному положению, сосчитали свои годы, то получился бы старец, который мог бы подать руку Сезострису и Семирамиде. Но какой прок в этом сердце и вообще в долголетии, не с личной точки зрения, а с общественной? Говорят, Адам жил девятьсот лет. А что было интересного в его жизни? Да только его молодость и роман с Евой и дьяволом, который он и девятьсот лет рассказывал всем с удовольствием.

---

[1] Говорят, что одна еврейская газета причислила г. Мечникова к «знаменитым» русским евреям. Он такой же еврей, как Менделеев. Тарновский, Боткин и проч.

Больше ровно ничего. Старый и безмозглый дуб все-таки стареет, и время сушит его ветви и образует дупла, в которых птицы вьют гнезда. У человека есть мозг, есть душевная деятельность, есть жизнь гораздо более сложная, чем жизнь дуба. Не следует ли старым предоставить стариться, а молодым кипеть и набираться сил? Смена старых и молодых есть обращение общественной крови. Если бы старики помолодели от крови морских свинок или кроликов, то они, во-первых, поддержали бы в себе то свинство, которое дается опытом грешной жизни, во-вторых, они задержали бы на много лет развитие человечества, ибо не дали бы места молодым силам, которые молоды и без крови свинок. Молодежь и без того держат на учебной скамье мучительно долго, заставляя вокабулами науки подавлять ее творческие силы, оригинальность ума и способностей. Это — цепи, въедающиеся в мозг и в чувство, уравнительные хомуты и мундиры. Я много раз говорил об этом подробно. Здесь только упоминаю и обращаюсь снова к морским свинкам. Весьма сомнительно, чтобы кровь этих свинок или кроликов прибавила кому-нибудь мозга. Если что и прибавит она, то разве аппетита, быть может, аппетита настоящих свиней. Ну, а это качество не Бог весть что обещает. С одним аппетитом, конечно, жить приятно, но эта жизнь грозит пожиранием всех тех, кто слабее и кто моложе. Ведь сливки человечества всегда стояли очень тонким слоем в горшке человечества, наполненном жидким молоком, и для этих сливок годы не играли значительной роли. В свою жизнь великие люди давали человечеству столько, что оно столетиями насилу могло переварить ту пищу, которую они оставили после себя, притом в свою короткую сравнительно жизнь. Сколько их погибло во цвете лет и силы от людских отношений, от злобы, зависти, вражды, преследований! Вспомните у нас Пушкина, Лермонтова, Гоголя. У Дантеса было столько же кровяных шариков, сколько и у Пушкина, а может и более, но голова у него была совсем другая. Тысячелетие предания дали человечеству известный срок для творчества, и оно всегда держалось и будет держаться этого срока. Молодость не перескочит с двадцати лет на пятьдесят — семьдесят пять лет. Отроческий возраст будет оставаться в своих теперешних границах, и шестнадцатилетние не будут на руках кормилиц. Основы жизни останутся те же. Посмотрите на величайшего представителя литературы. Мог ли дать Шекспир больше того, что он дал? А он окончил свое творчество и почил от своих трудов сорока девяти лет. От красных шариков, может быть, и много зависит человек, но он несомненно зависит и от мозга и нервов, от той удивительной ткани, в которой живет его душа. И если для кого можно желать долговечности, то именно для мировых гениев, но они всегда будут редки и, главное, именно они не поставят и не могут поставить свою жизнь в зависимость от аптек, морских свинок и кроликов. В триста лет нашелся один Шекспир, и надо считать тысячелетия, чтобы набрать какую-нибудь сотню действительно великих людей. «И жить торопится, и чувствовать спешит» — таков удел великих людей. Все, что есть у них, — все это сейчас же объявляется еще в самые молодые годы, когда кровь кипит, когда сил избыток, когда тянет к творчеству, к славе и созданию того, перед чем массы падают во прах, что украшает жизнь, дает ей цену и что утверждает ее надеждами и идеалами. Что-нибудь одно — или исполнять свое назначение, подчиняться своему вдохновению, или заботиться постоянно об увеличении кровяных шариков. И даже великий человек, что за отрада ему жить двести пятьдесят лет? В такой период времени он увидел бы отрицание того, что

считал он истиной и благом; он сам бы бросился исправлять свое создание и разрушать его. Старость, это время критики и сомнения в своих силах, время чрезмерной рассудительности, все равно бы пришла. И если теперь она тянется десять — пятнадцать лет, то сколько бы она тянулась, когда человек стал бы жить двести пятьдесят лет? А дело в юности. Греческие боги были вечно юны, никогда не старели, никогда не болели. И теперь есть вечная юность в непрерывной смене поколений, помогающей движению вперед. Если бы средний человеческий век был двести — двести пятьдесят лет, то человечество, я думаю, не могло бы сделать столько, сколько сделало оно теперь. Оно поворачивалось бы медленнее, было бы устойчивее и привычка играла бы гораздо большую роль, чем теперь. Теперь всякий талантливый человек, всякая «живая душа» торопится жить и делать, — тогда этой торопливости не было бы. Но, быть может, от этого было бы лучше, люди были бы рассудительнее, имели бы больше опыта, лживые и скороспелые создания во всех отраслях жизни ярче и сильнее бросались бы в глаза в живых примерах? Но жизнь была бы тем тягучее, тем скучнее, тем менее было бы в ней восторга и неудержимого вдохновения...

Жить долго приятно, что и говорить. Но еще не пришло время «хорошо» жить не только всем, но и большинству, а это гораздо важнее долгой жизни. Еще приятней жить не «долгой», а «великой жизнью», жизнью подвигов и творчества. Но великою жизнью и теперь живут мощные гении человечества...

29 декабря 1899 (10 января 1900), № 8562

1900

CCCXLVIII

I

Были два инженера, братья Зуевы. Один управлял Николаевской железной дорогой, а другой представил окончание пушкинской «Русалки». Г. Зуев рассказал, что в 1836 году у поэта Губера он, будучи четырнадцати лет, слышал чтение всей «Русалки» и записал на память ее вторую половину, которая ему особенно понравилась и которую Пушкин прочел, по его просьбе, два раза. Эту «запись» г. Бартенев — прости ему, Господи! — напечатал, как некую драгоценность, а В. П. Буренин и другие критики весьма основательно усомнились в принадлежности этой вещи нашему великому поэту. Казалось, на этом и надо было покончить с этим непозволительным водевилем дурного тона. Но вот в трех книжках ученых «Известий Отделения русского языка и словесности Академии наук» является целое исследование» г. Ф. Корша, посвященное зуевской «Русалке», т. е. 228 стихам инженера, которые он прибавил к 496 стихам Пушкина[1]. Исследование занимает 364 страницы, т. е. 23 печатных листа.

Г. Корш говорит, что «подробности личного» участия г. Зуева в деле сохранения прежде неизвестного отрывка поэзии Пушкина «менее всего допускают рассмотрение», т. е., другими словами, менее всего существенны, что «чудесная память» встречается нередко, и т. д. Мне думается, что самая существенная сторона в этих подробностях заключается именно в том, что четырнадцатилетний Зуев, записав на память окончание «Русалки», хранил это в тайне более шестидесяти лет: записал он в 1836 году, а обнародовал в «Русском Архиве» в 1897 году. Почему он не открыл этой записи никому из современников Пушкина, ни Губеру, ни Жуковскому, ни Вяземскому, ни Плетневу, ни Краевскому, который был в числе лиц, разбиравших бумаги Пушкина и, как влиятельный журналист, издававший «Отечественные Записки», «Прибавления к Русскому Инвалиду», «СПб Ведомости» и «Голос», стоял во главе литературы пятьдесят лет. Этого вопроса г. Корш даже не коснулся, хотя виделся с г. Зуевым, который на вопрос о том, почему его запись начинается только как раз после последнего стиха пушкинской «Русалки», открыл ему, что запись его начинается раньше, именно он записал и

[1] Г. Бартенев насчитал 552 стиха у Пушкина и 237 стихов у г. Зуева, потому что он считал в сложных репликах полустишия за целый стих.

8 последних стихов сохранившегося пушкинского текста. Неоконченная «Русалка» явилась в «Современнике» в 1838 году. Губер умер в 1847 году. Почему Зуев не вспомнил о том, что в ноябре 1836 года Пушкин читал ему всю «Русалку»? Почему г. Зуев никого не назвал, кто присутствовал во время чтения у Губера, он, имевший чудесную память? Если у Губера присутствовал только четырнадцатилетний Зуев, а Пушкин читал им «Русалку» двоим, то весьма вероятно, что этот юноша был близок Губеру и не мог скрывать от него, что он записал «Русалку», и даже не мог бы не показать ему свою запись. Не говорю уже о том, что юноша не мог бы удержать этого секрета даже потому, что он, юноша, удостоился такого счастья, что Пушкин *для него* дважды прочитал «Русалку». Это было что-то совсем выходящее из ряда вон, что-то необыкновенно милое и дорогое. И вот этот юноша — никому ни слова в течение всего того времени, когда были в живых Губер, Плетнев, Вяземский, Жуковский, Краевский, и секрет хранится 60 лет, как нарочно до того времени, когда никого из современников Пушкина не осталось. Г. Зуев не проговорился даже во время открытия памятника Пушкину. Согласитесь, что такой секрет невозможно себе объяснить никакой причиною, кроме одной: этой «записи» никогда не существовало не только в 1836 году, но и гораздо позже. Это — просто сознательная и бездарная подделка под Пушкина.

Метод г. Корша заключается в следующем. Так как подделка до очевидности бездарна и плоха, то надо доказать, что у Пушкина есть несовершенные стихи, плохие рифмы и т. д. Как скоро это будет доказано, то подделку можно рассматривать, как первоначальную редакцию окончания «Русалки», и этим объяснить всю ее бездарность и зуевские стихи объявить пушкинскими.

«Само собою разумеется, говорит г. Корш, что на страницах академического издания такая работа должна состоять не в полемике с отдельными критиками, а в строгом, по возможности научном, исследовании доступных разбору сторон вопроса, хотя иногда невозможно пройти молчанием их (критиков) возражения». Критики, благодарите! Это по возможности научное исследование отыскивает доказательства чисто формальные, технические, почти ничего общего не имеющие с внутренним содержанием поэтического произведения. Г. Корш, как статистик, берет примеры, раскладывает их по рубрикам и подводит итоги. Точно для суждения о поэтическом произведении не нужно никакого вкуса, ибо о вкусах не спорят, а нужна только техника в этот технический век. Для него, поэтому, пушкинский стих тот, который, будучи даже не совсем правилен по языку, построен по пушкинской технике. Стало быть, стоит только изучить пушкинскую технику преимущественно по примерам несовершенным, черпая их в значительном числе и из лицейских и вообще ранних его произведений, и дело в шляпе. Хотя «Русалка» была написана в период полной зрелости Пушкина, но, ради г. Зуева, это следует игнорировать. Так он и поступает; он приводит стихи из всех пушкинских произведений, наполняя ими сотни страниц, и при этом указывает, где Пушкин не соблюдал цезуры в пятистопном стихе, хотя заявлял, что любит ее, выписывает его неудачные, бедные рифмы, рифмы одного корня и наглагольные, т. е. опять не совершенные, указывает на малое чутье его в этимологии, на его галлицизмы, на неправильное иногда чередование у него мужских и женских окончаний и прочее, и дает к этому небольшие пояснения. Такая проверка убеждает г. Корша, что пушкинский стих — «несовершенный». Мало того, у Пуш-

кина есть «места не только темные, но прямо непонятные», «правда, очень редко». Он указывает одно место в «Руслане и Людмиле», одно в «Полтаве» и одно в «Медном Всаднике». Только всего. Из этих трех мест только одно первое[1] еще может считаться недостаточно ясным, другие два совершенно ясны, как следует вот из этого примера «неясности», приводимого им. В «Полтаве» есть стихи:

В стране, где мельниц ряд крылатый
Оградой мощной обступил
Бендер пустынные раскаты.

Г. Корш замечает, что «воображению представляется Голландия, как страна, изобилующая мельницами». Можете себе представить! Но ведь Пушкин писал для русских и сам Голландию никогда не видал. Зачем же тут Голландия? Он описывал Бендеры, где и доселе множество ветряных мельниц, как вообще в бессарабских местечках и городах. Правда, «раскат» фортификационное выражение, но всем известное, кто учился русской истории. Таким образом в этих стихах все ясно, но этот пример ясно и говорит о придирчивости г. Корша. Имея в виду все ту же слабость к зуевской подделке под Пушкина, г. Корш очень односторонне характеризует приемы работы Пушкина и заключает, что «исправления Пушкина (стихов) в большинстве случаев касались целого, а не частностей, к которым он был сравнительно равнодушен». Рукописи Пушкина напротив доказывают, что и то и другое занимало его, и он много раз менял слова и выражения в одном и том же стихе. Хотя пушкинский стих, по словам г. Корша, «отличается чистотой, правильностью, простотою, богатством, гибкостью и нередко народностью выражений и оборотов... но и в этом отношении Пушкин не представляет собою совершенства». И опять целые страницы примеров несовершенства, нередко столь же придирчивых, как придирчив был к Пушкину Мартынов в «Маяке» в 1843 году, тоже указывавший, между прочим, на несовершенство рифм.

---

[1] Вот место из «Руслана и Людмилы», первая песнь, на которое указывает г. Корш:

Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозный воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.

Г. Корш допускает такое толкование подчеркнутых стихов: «голос их ужасный» сказано вместо «они, которых голос ужасен» по причине их всеведения, позволяющего им обнаруживать перед людьми прошедшее и будущее».

В «Медном Всаднике» г. Корш указывает на следующие стихи:

Ужасный день! Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев *их* буйной дури...

«Чьей» дури? Спрашивает г. Корш и отвечает: «конечно, ветров: но ветры не упомянуты ни одним словом».

Известно, что поэты и писатели повторяют не только одни и те же слова, но даже фразы с незначительными вариантами в разных своих произведениях. Даже у Шекспира таких повторений множество. Для убеждения в этом стоит только обратиться к огромному тому, составленному Мэри Коуден-Клэрк (Mary Cowden-Clarke), «The Complete concordance to Shakespeare», где указаны все слова, употребленные Шекспиром в связи с фразою и указанием акта и сцены произведения. Эту трудолюбивая женщина шестнадцать лет работала над этим трудом, который впоследствии был дополнен несколькими английскими критиками и последнее издание его (1886) может назваться совершенством в своем роде. По этому труду легко подобрать повторения у Шекспира. Так слово love (любовь и любить) употреблено Шекспиром больше чем в 1900 стихах, слово God (Бог) в 1000 стихах, слово youth (юность) больше чем в 200 стихах, слово christian (христианин) в 76 стихах, слово woman и women (женщина и женщины) в 570 стихах, и т. д.[1]). Не имея такой книги относительно Пушкина, должно признать, что г. Корш дал для этого несколько материалов, отыскивая у Пушкина подобные повторения. Он находит, что в 1817 году у Пушкина есть: «минуты упоенья», а в 1820 году «минуты умиленья»; в 1821 году он говорил: «крик, шум» и в 1824 году — «крик, шум», в «Братьях разбойниках» — «мне душно здесь» и в «Евгении Онегине» — «ей душно здесь», и т. д., и т. д. Нагромоздив эти примеры, он делает такой курьезный вывод: «Понятно (?), что чем скорее кто пишет, тем чаще употребляет привычные сочетания слов и даже повторяет бывшие прежде в его сознании мысли; потому (??) в заключительных сценах «Русалки» (зуевских), если они были написаны Пушкиным, мы должны ожидать повторений (??) всякого рода». Ну, а если эти сцены написаны г. Зуевым, мы не должны ждать повторений всякого рода? Удивительная логика! Не у Пушкина должно ожидать повторений всякого рода, и на такое заключение о своих произведениях он не дает ни малейшего права, а именно у г. Зуева, у подражателя, у поддельщика. Разве вторые половины «Бориса Годунова» или «Каменного гостя» представляют повторения первых половин? Подражать легче, чем создавать, компилировать легче, чем сочинять. Сколько драматургов даровитых и бездарных подражают Шекспиру, усваивая его мысли и его форму, сколько написано *шекспировских* стихов разными поэтами, сколько написано *пушкинских* стихов!

Но г. Корш пишет только «по возможности научное» исследование, а потому о логике иногда и не беспокоится. Ему хорошо известно, что «Русалка» писана Пушкиным с годичными перерывами, стало быть, не скоро, и при годичных перерывах менее всего возможны повторения, но так как он стремится навязать зуевскую «запись» Пушкину, то ему ничего не стоит, вопреки всякому здравому

---

[1] Кстати. Г. Корш, говоря в другом месте своего исследования, что Пушкин подражал Шекспиру, употребляя между белыми стихами рифмованные, плохо считал рифмованные стихи у Шекспира в его драмах и комедиях. У Шекспира очень много рифмованных пятистопных стихов, особенно в ранних его произведениях В «Love's L. Lost» 1028 стихов с рифмами, в «Ромео и Юлии» их 485 (в первой редакции только 354), в «Ричарде III» 170, в «Гамлете» 81, в «Макбете» 118, в «Отелло» 86, в «Лире» 74 и т. д. Короткие рифмованные стихи и песенки в этот счет не входят. Кроме того, надо сказать еще, что у Шекспира в его драмах встречаются стихи одно- двух- трех- четырех- пяти- и шестистопные. Все это давно высчитано и г. Коршу незачем было самому считать и приводить отрывочные и неверные сведения об употреблении Шекспиром рифмованных стихов.

смыслу, утверждать, что в окончании «Русалки», если бы Пушкин написал его, «должно ожидать повторений всякого рода»! А так как в зуевской «записи» множество повторений, то выходит — писал Пушкин. Такими-то натяжками наш критик сближает Пушкина с подделкой.

Я позволю себе эту беседу возобновить завтра.

16 (28) января, № 8580

CCCXLIX

II

Оправдания тех или других выражений в подделке г. Корш ищет в похожих выражениях во всех произведениях Пушкина. Например, у г. Зуева «месяц золотой». Кажется, это выражение стало уже банальным у всех поэтов. Но г. Корш сообщает стихи Пушкина с «месяцем золотым», с «луною златой», с «луною серебристой» с «луною серебряной»; у г. Зуева — «волны стали стали холодеть», у Пушкина в «Русалке» — «волны охладели». У г. Зуева — «ветерок пахнул свежий», у Пушкина в «Евгении Онегине» — «И вестник утра, ветер веет»; у г. Зуева — «угадала, знать» и у Пушкина — «знать, не горевал», «знать, на дороге» и проч.; у г. Зуева — «девушка с стыда» (вместо со стыда), у Пушкина — «с своей пылающей душой», «с спокойным сердцем»; у г. Зуева — «сердце ноет», у Пушкина — «душа в ней ныла»; у г. Зуева свечи отражаются «*на* зеркале», у Пушкина «*в* зеркале», в «Руслане и Людмиле», но зато у Пушкина — вместо «*на* чужбине» — «*в* чужбине», а потому он мог отражать свечи и *на* зеркале; у г. Зуева — «*вмиг* в руках погасли свечи», у Пушкина... ах, какая радость: «вмиг» — одно из любимых выражений Пушкина, восклицает г. Корш! И на двух страницах выписывает фразы из Пушкина со словом «вмиг». Эврика! уж если у г. Зуева есть слово *вмиг*, любимое слово Пушкина, то как же Зуев не Пушкин!?

Я сделал только маленькое извлечение из сотен страниц, которые заняты подобными сравнениями. Характеристическая особенность приема г. Корша в этом случае заключается в том, чтобы потопить г. Зуева в Пушкине для их слияния. Этого наш критик думает достигнуть тем, что не приводит из г. Зуева больших отрывков, чтоб не выдать всю пошлость и ординарность его стиха, а действует алопатом относительно Пушкина и гомеопатом относительно г. Зуева. Две строчки из г. Зуева и 200 строк из Пушкина, три строчки из г. Зуева и 300 строчек из Пушкина. Пушкин и прикрывает все. Все, что есть несовершенного у Пушкина, все это ярко выставляется, а все, что есть бессмысленного, безграмотного и глупого у г. Зуева, то тщательно затушевывается. Бессмыслицу он старается объяснить, но объяснения выходят туманными; а явные ошибки против языка и стихосложения у г. Зуева он старается оправдать или неверной расстановкой знаков препинания, или вмешательством в ямб трохея, или проходить их молчанием. Иногда, чтоб придать стиху г. Зуева какой-нибудь смысл, он выкидывает из стиха полстиха, или заменяет одно слово другим, по своей догадке, или прибавляет два слова, или утверждает, что при отделке Пушкиным один из этих стихов (зуевских), вероятно, был бы исключен. Свою предусмотрительность он простирает до того, что прямо указывает, как мог бы Пушкин исправить тот или другой

стих, как будто и сам г. Корш чувствует себя Пушкиным, конечно, возле г. Зуева. Так, предполагая в одном месте зуевской «записи», именно в сцене охотников, пропуск, г. Корш сам сочиняет три стиха, которые, должно признаться, принадлежать к лучшим зуевским стихам. Вот эти стихи г. Корша:

Любимец князя

И ты туда ж. Во сне тебе, должно быть,
Пригрезилось!

Другой охотник

Пожалуй, что и так:
Всю эту ночь и глаз мы не смыкали.

Вообще снисходительности нашего критика к г. Зуеву почти нет никаких границ. Точно адвокат, уверяющий судей, что явный убийца, зарубивший пять человек, в сущности уж не Бог весть как виновен, ибо убитые были очень нехорошие люди. Вот примеры. «Промешкаться охотой» — не говорится и ничего подобного у Пушкина нет. Но у него есть: «Возможно ли, какой судьбою?» Что общего? А вот что: «так как слово *охота* в этой связи есть так называемое имя действия, возможна и конструкция с творительным падежом». Нельзя сказать: «Ну, от часу»: наш ученый утверждает, что тут просто ошибка и вместо «ну» надо поставить «час». У Пушкина нет «песней огневою» и прилагательного «огневой» нет во всем Пушкине, но есть «громовой», «боевой», «круговой» и проч., и проч., а потому он мог употребить и «огневой»; у г. Зуева несколько раз «девчоночка», «девчоночки»; у Пушкина нигде этого нет, но у него есть «девчонка», а потому он мог употребить и слово «девчоночка». Ведь это все равно, что сказать про человека, что он не украл, но может украсть. Неужели филологические приемы так свободны от логики! У Пушкина нет зуевского слова «истомный», нет его даже во всем литературном языке, но у него есть «бесстыдность», «разнота», «безуханный», а потому он мог употребить и «истомный». У г. Зуева — «красавец *безотказный*», эпитет никогда Пушкиным не употреблявшийся. Наш филолог вертит этим словом, значение которого объяснено у Даля, и так и сяк, но все не находит в стихе смысла. А стих вот какой:

Князь молод и горяч, красавец безотказный,
Богат и щедр.

Тогда г. Корш отказывается от этого слова и сам, вместо г. Зуева, сочиняет полтора стиха в лучшем виде, чем г. Зуев:

Князь молод и горяч, собой красавец,
Богат и щедр.

Но ведь если г. Зуев четырнадцати лет записал стих с «красавцем безотказным», значит, он его слышал из уст Пушкина. Ведь это не какое-нибудь простое и всем понятное слово, вроде лгун, обманщик, а такое, что и г. Корш полез в словарь Даля за справкой. Мальчик четырнадцати лет не мог знать этого слова и

даже не мог его найти в Академическом словаре. Очевидно, оно подобрано старцем Зуевым, а не отроком. Произведя с этим словом необходимые манипуляции, г. Корш объявляет, наконец, что стих с этим словом не мог быть одобрен Пушкиным; но то же можно сказать с уверенностью (?) о многих стихах его неотделанных произведений». Напротив, можно держать пари, что во всех неотделанных произведениях Пушкина нельзя отыскать таких нелепых стихов и выражений, какие представляет Зуев. У г. Зуева — «бабенкой справить». У Пушкина этого нет и быть не могло. Это выражение из языка, которым ни народ, ни образованные люди не говорят. Согрешившую девушку народ называет очень обидными словами, но никогда бабой, бабенкой. Баба — это жена, хозяйка, бабу делает муж, а не любовник, и надобно совершенно извращенное воображение, чтоб сказать «бабенкой справил». Г. Корш молчит об этом выражении или думает, что оно несомненно пушкинское, так как никто из критиков на него не указал. Встретив стих, лишенный размера, г. Корш отмечает его, но... свидетельствует свою благодарность г. Зуеву: «Снова — говорит он, — приходится отдать справедливость добросовестности (??) Д. П. Зуева, который, конечно, сознавал эту очевидную неправильность». Другими словами, это значит, что отсутствие ритма было у Пушкина. Но вот всем Пушкине нет стиха, подобного зуевскому, о которых идет речь. Вот он:

Сказки! Непраздною... погибла... важность!

Это безобразие во всех отношениях, кончая точками[1]. Драматическая речь у него везде плавная, а эта обрывистая, с точками — удел плохих драматургов, пишущих для актеров, а не для литературы.

У г. Зуева читаем в монологе Русалки:

Что скажешь, князь? Как приглянулась дочь
Красавица, красавцем зачатая, —
Тобой! В тебя рожденная лицом.

Кажется, достаточно неуклюжие стихи, каких и у драматурга барона Розена не найдешь. Но г. Корш считает их пушкинскими и только замечает, что в них есть маленькая неточность: «зачинает, собственно, женщина», скромно говорит он. Очевидно, Пушкин, забыл об этом, а г. Зуев мог и не знать, будучи отроком четырнадцати лет. Это мои соображения во вкусе нашего критика. «В тебя рожденная лицом» — фраза даже двусмысленная, как будто «лицо» кого-то родило, например, «в тебя рожденная лицом... известным». Критики указали на этот стих. Г. Корш отвечает им, что говорится «уродиться в кого», стало быть, в стихах можно сказать и «родиться в кого», ибо «поэтический язык предпочитает простые глаголы сложным». Неужели даже в том случае, когда «простые глаголы»

---

[1] Г. Южаков читает вместо «сказки» — «скажи». Г. Корш, напротив, предполагает тут пропуск и сочиняет этот пропуск в виде такого стиха·

Свои, вишь, деньги ей он отдал, —

и слово «сказки» переносит в конец сочиненного им стиха. Тогда следующий стих начинается словом «непраздною».

искажают смысл? Вот, тут следовало бы привести примеры из Пушкина для подтверждения, но г. Корш не приводит, потому что таких примеров он не нашел бы.

В том же монологе:

Румянец ты украл, покрыл позором.

Выходит, что румянец покрыт позором. Г. Корш это чувствует и спешит на помощь, говоря: «При «украл» подразумевается «у меня», при «покрыл» — меня или «мое лицо», и снова сам сочиняет, вместо г. Зуева, так:

Румянец ты украл, покрыв позором
Мое лицо: от слез потухли (?) очи.

Подделка г. Корша все-таки плохая. «Покрыл позором мое лицо» — едва ли можно сказать: князь покрыл позором девушку, ее имя, ее человеческое достоинство. Следует сказать: «покрыл меня позором».

Эта адвокатская защита могла бы сердить, если б вы не чувствовали, что чем больше цитирует из Пушкина г. Корш, тем яснее, что самые несовершенные стихи Пушкина во сто крат лучше совершенных стихов г. Зуева. Можно ли найти у зрелого Пушкина даже в набросках такие плохие стихи:

За ревности сердечные страданья,
За ночи, князь, с разлучницей моей.
За ласки страстные ее объятий —

ведь это детство стихотворства — подобные стихи, да еще для ритма со вставным словом «князь», совершенно лишним. А вот эти:

Любовью жаркою и страстной сердце бьется,
И ждут уста твой поцелуй желанный,
Истомный, сладкий, прежний поцелуй!

Эти стихи указывались критиками. Мог ли Пушкин, всегда гибкий, точный и трезвый в своих образах и красках, поставить целых четыре слова для определения поцелуя? Конечно, нет. Сам г. Корш говорит, что «образ выражения Пушкина отличается *даже в стихах* такою *точностью и ясностью*, что в этом отношении с ним не по силам соперничать и многим прозаикам». Но ведь мы имеем дело с адвокатом! Приведенные стихи взяты из монолога Русалки, вообще плохого и бездарного и по стихосложению, и по мыслям; в нем всего 31 строка, но в них, по крайней мере, 60 пошлых слов. Тут и «красавцем зачатая», и в «тебя рожденная лицом», и «утро на заре», и «любились мы» — пошлое выражение, Пушкиным не употреблявшееся никогда[1] и едва ли народное, и «блестели очи», и «угасли очи», и «пылали уста», и «уста поблекли», и «горькие слезы», и «сердечные страданья», и

[1] В словаре Даля на слово «любить» приведено много примеров и из народной речи. О слове «любиться» сказано только следующее: «любить друг друга; более говорится о любви половой. *Любитеся и множитеся*». Отсюда можно заключить, что «любиться» не принадлежит народному языку.

«жаркая и страстная любовь», и «поруганная любовь», и «ласки страстные», и дважды «день и ночь», и кроме «поцелуя желанного, истомного, сладкого, прежнего», еще «уста поблекли, жаждой поцелуя палящею, ревнивою томясь». Неужели все это не бездарнейшая белиберда, с позволения сказать? У какого поэта, не говоря уже о Пушкине, на пространстве 31 строки, можно найти столько пошлостей, цыганства и бессмыслия? Понятно, что после такой белиберды, выговоренной Русалкой, князь бросается в Днепр: марку эту действительно трудно выдержать, как кашинский херес, прославленный И. Ф. Горбуновым. Подделка г. Зуева — это именно кашинский херес...

Пушкин, как и все даровитые драматурги, очень краток относительно вводных лиц. Так это во всех его драматических вещах, так и в «Русалке». Но г. Зуев как дошел до охотников, так и написал одних их речей 66 строк, почти целую треть всей «записи». И это очень понятно: охотники могут болтать всякий вздор, а вздор может болтать и г. Зуев — для этого никакого таланта не требуется. И он устами охотников болтает, не думая о том, что в драме должно быть все гармонично, все на своем месте. Пушкин выкидывал даже хорошие стихи, если ему казалось, что они лишние. Но и вздор этот показывает все поэтическое бессилие поддельщика, ибо охотничьи речи эти, написанные очень плохим, якобы народным языком, идут все о том, что уже известно читателю из пушкинской «Русалки», именно: о связи князя с Русалкой, о самоубийстве ее, беременности и проч., не представляя ни одного факта, не подвигая ни на волос действия. И эту-то сцену, по словам г. Зуева, Пушкин считал наилучшею во всей «Русалке», вместе с хором русалок и сном княгини! Да ведь это смех! Ведь поверить г. Зуеву — значит верить Хлестакову, который знаком был с Пушкиным и обращался с ним за панибрата. Или и профессор Московского университета так же легко верит лгуну, как верил ему городничий «Ревизора»? Он не только верит, но, по поводу этой сцены, тревожит тень Шекспира.

Подобно Шекспиру, видите ли, который выводил в своих драмах клоунов для «развлечения» зрителя или для «раздражения его чувствительности посредством грубо-смешных разговоров об изображаемых событиях и речах», и Пушкин (Зуев) написал сцену охотников, представляющую любовь князя к дочери мельника в грубом толковании грубых людей»...

Отвечая одному из критиков, который указал на повторения того, что уже известно, на рассказы о случившемся, г. Корш ссылается на греческую трагедию. Помилуйте, говорит, да после этого и вестнику в греческой трагедии нельзя рассказывать? Но ведь вестник рассказывает о том, что случилось, но что еще неизвестно зрителю, а г. Зуев о том, что известно по самому действию драмы. Разница большая, не говоря уже о разнице греческой трагедии и новой.

В речах охотников есть стихи без меры и стихи без смысла, например:

Глядите, братцы!
Сказать, малютка вышла из воды.

Что это значит? Это значит, говорит г. Корш, что тут пропущено «точно», «словно», «как будто». Там пропущено «у меня», «мое лицо», здесь «точно», «словно»! Однако г. Корш не сочиняет уж сам своего собственного стиха, так, что стих и остается бессмысленным.

Таким бессмысленным языком Пушкин никогда не писал, даже во времена своей юности, а за год до смерти и подавно писать не мог ни в каких черновых набросках. Подобных набросков очень много приводит г. Якушкин из «Евгения Онегина» и нигде там нет и приблизительно такого бессмыслия, как в «записи» г. Зуева. Вот еще пример:

Прочь с глаз! *Продавец* дочери проклятый!

Уж не говоря о том, что Пушкин, как чуткий художник, не мог вложить в уста дочери проклятие своему безумному отцу, как он мог сказать *продавец*? Мог, говорит г. Корш. Говорят же: книгопродавец, христопродавец, может быть, это слово «употребительно в каком-нибудь говоре русского языка». Но разве Пушкин писал разными говорами русского языка? У него есть провинциализмы, но не уродства. Он удивительно облагородил русский литературный язык художественною простотою и изяществом. Я могу предложить г. Коршу другое объяснение, столь же авторитетное, как и его. Пушкин часто обращался с книгопродавцами и так привык к этому слову, что и *продавец* употребил с тем же ударением, как в слове книгопродавец. Думаю даже, что в моем объяснении более если не правдоподобия, то хотя некоторого остроумия.

Откладывая окончание моей беседы до завтра, спешу сказать, что исследование г. Корша во всем том, что касается состава и ритма стиха Пушкина, заслуживает и внимания, и благодарности. До него никто так обстоятельно не говорил об этом предмете и никто не вносил в подобное изучение столько тщательного и вполне научного труда. Вообще со многим из того, что он говорит о Пушкине, невозможно не согласиться. Тем непонятнее для меня его защита г. Зуева. Мне иногда кажется, что он просто шутит, упражняется в доказательствах, что дважды два не четыре, а стеариновая свечка, и что «искусство для искусства» — хорошая вещь и в критике. Если не ошибаюсь, г. Ф. Корш сын Евгения Федоровича Корша, человека очень остроумного, любителя парадоксов. Может быть, в этом случае сказалась наследственная черта...

17 (29) января, № 8581

CCCL

III

Почему Пушкин не окончил «Русалки»? Преимущественно по лености, догадывается г. Корш. Легкомысленная, хотя, быть может, и ученая догадка. Мне думается, что вопрос этот важный для окончательного решения вопроса о подделке на основании внутреннего ее содержания. По моему мнению, он не окончил ее потому, что подошел к сцене, требовавшей всего напряжения его таланта. Он остановился там, где предстояло ему написать нечто вполне достойное великого поэта. Никогда такая трудная задача еще ему не представлялась. Живой отец — виновник гибели любимой женщины и дочь его — фантастическое лицо. Столкновение реального с фантастическим, свидание отца и дочери в таких положениях, какие едва ли когда являлись во всемирной литературе. Все, что предшествует этой сцене, для Пушкина было сравнительно легко, но тут был

центр драмы, ее сущность, ее идея, ее значение. Дело не столько в том, что девушка бросилась в воду, но в том, главным образом, что она унесла с собою и другую жизнь — ребенка. Какую чудную сцену мог написать Пушкин, какие краски, какие мысли явились бы под его пером. Недаром же он ввел Русалочку. Посылая на берег свою дочь, Русалка еще не знает наверное, что выйдет из этого свидания, но она не может сомневаться в том, что это свидание возбудить в князе и воспоминания о прежней любви и пробудит в нем родительские чувства. Интерес в драме растет именно в главном ее пункте, он идет к высшему ее подъему, который именно тут, в этом свидании отца с дочерью. Мне думается, я не ошибаюсь, говоря о подобном замысле поэта. Иначе, что же это за великий поэт, если он сделал только то, что представил нам г. Зуев в своей якобы записи»? Он представил нам такую плохую компиляцию из пушкинской «Русалки», что просто становишься в тупик перед безвкусием г. Корша, который одобряет и объясняет своего Данта, Зуева. Русалочка повторяет князю слова своей матери, написанные Пушкиным, иногда слово в слово, иногда в плохой перифразе, и предлагает себя «поцеловать и приласкать»: мать о том «меня просила», — говорит она; девочка — дочь мельничихи, никогда не скажет «мать меня просила». Речь Русалочки заключена в 30 стихах. Из них 23 стиха взяты или почти слово в слово, или с незначительными изменениями, как плохой и расплывчатый пересказ, из речей Русалки в первой сцене и в пятой и речей князя в четвертой сцене. Если бы у меня было место, я доказал бы это наглядно, параллельными выписками[1]. Не правда ли, это по-пушкински!? Г. Зуев сочинил только 7 стихов, которые г. Корш сочинил бы гораздо лучше. Князь берет дочь на руки и целует. В это время выходит мельник и начинает читать с искажениями и преувеличениями пушкинские слова о вороне-мельнике:

Не оскверняй невинных уст ребенка
Нечистых уст твоих нечистой лаской.
У ворона — я ворон — клюв остер.
И когти есть: он защитить сумеет:
Он крыльями могучими собьет (с ног?)
И острыми когтями сердце вырвет (у тебя?),
Он очи выклюет, княжие очи!
И дочери на дно реки пошлет
Подарочек. Пусть тешится подарком.

Мельник бросается на князя. Русалочка кричит. Является Русалка, говорит отцу, что он *«продавец»*, дочери проклятый» и затем тот самый нелепый монолог, состоящий из подбора сладострастных и пошлых слов, о котором я говорил вчера, и скрывается в воду. Князь бросается туда же, сказав:

Нет, не разлучусь с тобою,
Жить без тебя, без нашего ребенка
Не в силах... Лучше смерть в твоих объятьях...

---

[1] См. последующие письма, VII и VIII.

Г. Коршу очень нравится эта сцена, исключая трех последних строк мельника (об «очах княжих»), которая он старается переделать, но вотще! «Запись г. Зуева, говорит он, изображает смерть героя так коротко, как только возможно (сказать к слову, совсем по-пушкински (?): князь произносит два с половиной стиха, бросается в воду — и сцене конец». Почему «по-пушкински», — неизвестно. Пушкин никогда не был бездарностью. А тут все пошло. Никакого чувства, никакой психологии, ни единого правдивого и поэтического стиха, никакой правды в речах Русалочки, из которой Пушкин сделал бы дивное создание, полное наивности и поэзии. Репортерский отчет о самой внешней стороне подобной сцены был бы написан гораздо лучше. В ней все фальшиво, все несносно по своей лжи, по языку, по отсутствию всякой мысли. Не разбираю трех последних стихов монолога мельника, как забракованных за грубость и неуклюжество самим адвокатом г. Зуева. Но вникните в остальные выписанные стихи. У Пушкина ворон, которым считает себя мельник, весьма обыкновенная птица, всем известная, только с «сильными» крыльями, чтоб поднять мельника и дать ему возможность летать. Он «клюет мертвую корову», сидит «на могиле и каркает». Пушкин так точен, что отметил *господствующую* черту ворона, который всему предпочитает именно падаль. Его ворон-мельник не думает на кого-нибудь нападать, говорит о своей шаловливости и боится, чтобы князь не удавил его ожерельем. Сумасшедший, воображающий себя вороном, иначе и не может себя вообразить, как со свойствами и нравами этой птицы, хорошо ему известной, совсем не страшной, не имеющей и «клюва острого», — клюв у ворона толстый, согнутый, конусообразный. Один из небезызвестных русских весьма чиновных людей, в шестидесятых годах, сойдя с ума, вообразил себя свиньей и ел не иначе, как из корыта, и поступал, как свинья. У г. Зуева — прямой мелодраматический, неестественный ворон, ничего подобного себе не имеющий в природе. У него крылья «могучие», которыми он «собьет» — подразумевается «с ног», конечно, — а когтями он «сердце вырвет». По безграмотности этих стихов выходит, что ворон и крыльями может сердце вырвать. Курьезен стих: «Я ворон — у ворона»... Первые два стиха тоже не в духе мельника, который нигде не выражается у Пушкина высокопарно. Если поискать, то подобные стихи можно найти у Кукольника, как и указывали уже на это критики «записи»: они совершенно в его манере. Но главное, что бросается в глаза даже при беглом чтении этой сцены — это молчание князя. У Пушкина он говорит при виде Русалочки:

Откуда ты, прелестное дитя?

На этом обрывается его «Русалка». Продолжая ее, г. Зуев дает князю только слова: «Дитя!. .», потом: «Но кто же ты?» и наконец два стиха:

Дочь! Боже, дочь русалка! Иль схожу
И я с ума, как старый, бедный мельник!

Конечно, г. Корш может сказать и тут, «что это так кратко, как возможно» и «совсем по-пушкински». В самом деле кратко: всего 19 слов, считая и такие, как *я, с, и, но, кто, же, ты*. Не предполагая даже, что Пушкин остановился перед этой сценой, потому что она казалось ему чрезвычайно трудной и важной, эта краткость ничего собою не изображает, кроме бездарности плохого стихотвор-

ца, лишенного всякой фантазии. Только самый ординарный стихоплет может написать подобную сцену так безнадежно плохо. Для Русалочки у него были стихи самого Пушкина, как сказано выше, для мельника тоже был материал в словах Пушкина о вороне. Но речи князя надо было написать самому, надо было знать человеческую душу, ее страдания, ее радости, отцовскую любовь, мгновенно проснувшуюся и вызвавшую у него небывалые движения души. Надо помнить, что прямым доказательством тому, что подобное состояние князя Пушкин имел в виду, служат слова княгини (третья сцена):

Когда б услышал Бог мои молитвы
И мне послал детей, к себе тогда бы
Умела вновь я мужа привязать.

У княгини не было детей и князь не знал родительского чувства. Оно именно тут, при свидании с дочерью, должно было родиться и вызвать у него не краткие восклицания, ничего не выражающие, а речи полные чувства и мыслей, чрезвычайный подъем всего его существа. Семья тогда только семья, когда есть дети, и дети — то связующее звено между мужчиной и женщиной, которое скрепляет любовь и дает вечный смысл семье. Во имя этого смысла он и вывел Русалочку. Всякий чувствующий читатель легко себе это вообразит и поймет. Как же великий поэт, т. е. человек, которому Богом открыты такие области, каких мы, обыкновенные люди, не видим с такою яркостью, как он, — как же этот поэт, так хорошо знавший любовь, ненависть, ревность, знавший любовь к детям, мог ограничиться в подобной сцене почти одними междометиями? И князь мог броситься и в Днепр (такое окончание еще Белинский подсказал), но к какому концу привел бы нас поэт, угадать невозможно; во всяком случае, это случилось бы совсем не так, как у г. Зуева с его краткостью и мелодраматизмом плохой французской пьесы. Краткость тогда хороша, когда она исполнена яркой мысли, высокого полета, а не тогда, когда она полна только безграмотности и пустых слов и восклицаний. Допустить, что Пушкин написал эту сцену так возмутительно плохо, значит, допустить, что в конце своей жизни Пушкин весь выдохся, потерял не только всякий талант, но даже чувство стихотворной речи и превратился в жалкого стихокропателя и компилятора из собственных своих произведений.

Я принужден отложить, по недостатку места, окончание моего «исследования» до завтра.

18 (30) января, № 8582

CCCLI

IV

Механическо-филологический прием, примененный г. Коршем к зуевской подделке под Пушкина, меньше всего может быть приложен к поэтическим произведениям в стихах, где большую роль играет гармония и другие свойства, отличающие стихи от прозы. Если взять поэтов Пушкинской эпохи и даже драматургов того времени и употребить такой же филологический прием для сравнения, то окажется, что все они Пушкины, только в степени превосходной перед

г. Зуевым. Великий поэт умалится до последнего своего подражателя, потому что чем больше рабства у подражателя, чем более он списывает, тем более он будет походить на Пушкина при таких приемах. Как можно сравнивать великого поэта с малым, указывая на то, что у того и другого такие-то формы и обороты, такие-то неправильные стихи, такие-то любимые выражения. Несколько страниц из великого поэта и из малого скажут вам о их значении гораздо больше, чем целые томы филологических изысканий вроде следующего, который беру из Корша и который дает понятие о его чисто формальных приемах:

«Построение этого места[1] вполне пушкинское: здесь мы находим параллелизм трех предложений, которых глаголы поставлены в неопределенном наклонении, и двух с глаголами в изъявительном прошедшего времени, градацию первых трех параллельных членов, единоначатие в двух последующих и возрастающую плавность стихов (??) сообразно с усилением чувства, выражающимся в градации, а затем, по переходе от воображаемых картин к унылому размышлению, снова два стиха, менее правильных»...

Вот какими учеными соображениями втирают нам очки: параллелизм, единоначатие, градация и проч.

Гораздо убедительнее этих фокусов простой арифметический подсчет. У г. Зуева 228 стихов. Из них, как уже сказано, 66 (вместе с тремя стихами, сочиненными г. Коршем для объяснения явной бессмыслицы — 69) заняты бессвязной и ненужной болтовнею охотников, т. е. почти треть всего произведения г. Зуева, и для него это в порядке вещей. Но для Пушкина — такое предпочтение охотников, лиц вводных, всем другим лицам драмы — бессмыслица, исключающая всякое представление о движении, гармонии и смысле драмы. Исключив из счета зуевский хор русалок, главным действующим лицам остается: Русалочке — 41 стих, мельнику — 14, княгине — 36, из них 23 стиха — рассказ о ее сне, ничего не прибавляющий к действию и ее характеристике, Русалке — 33 стиха и князю — 5. Всего 129 стихов, т. е. только почти вдвое более против того, что дано болтовне охотников! Какое же тут соответствие! Можно ли себе вообразить даже набросок Пушкина в таком безобразии! И неужели эти цифры не красноречивы и не говорят даже одно что мы имеем дело с явной подделкой? Не говорю уже о том, что в этих 129 стихах большая часть составляет дословное или близкое повторение тех же фраз, мыслей и фактов, какие находятся в пушкинский «Русалке», и останется каких-нибудь 50 стихов и притом плохих, которые соорудил посредством своей жалкой фантазии г. Зуев. Хор русалок в подделке — сколок с пушкинского, слабое подражание и по фактуре стихов, и по их смыслу. Г. Южаков (стр. 129 и 135 этой книги) находит этот хор пушкинским. Другие критики доказывают, что он плох. Разберем его. У Пушкина (сцена IV) Русалки:

Веселой толпою,
С глубокого дна,
Мы ночью всплываем.
Нас греет луна.

---

[1] Стихи, по нашему изданию, 189 — 195, свидетельствующие только о стариковском сладострастии, чем Пушкин никогда не страдал.

У Зуева:

Туманной росою
Окрестность полна.
Смолк шум *над землею* (на земле?),
Не ропщет волна.

Не только размер, но даже рифмы совсем похожие. В третьей строке у Пушкина нет рифмы, у г. Зуева очень плохая и самый грамматический строй этого стиха едва ли правильный и неправильный ради рифмы, хоть какой-нибудь. Далее:

Звезды меркнут, и бледнея
Светит *месяц золотой* —

Месяц не золотой уже, когда меркнут звезды. Г. Корш это признает, но оправдывает своего любимца, говоря, что здесь «золотой» придано к месяцу, так сказать, «злоупотребительно, в качестве постоянного эпитета, в применении которого не различаются частные случаи». Пусть так. У Пушкина (сцена IV) русалки говорят, после полуночи, когда уже «петухи пропели»:

Поздно, волны охладели.

У Зуева русалки только что выплыли утром, когда «ночь встречается с зарей» и уж заявляют, что «волны стали холоднее». Для г. Корша это ничего не значит: если Пушкин «засвидетельствовал», что ночью вода «холоднее», то и г. Зуев мог засвидетельствовать, что вода и утром «холоднее». Против этого спорить трудно, но невозможно допустить, чтобы Пушкин повторял оно и то же, заставляя русалок измерять температуру утром и вечером. Затем г. Зуев:

Огоньки зажглись, *блуждают*...

«Тому, кто видал издали деревню перед рассветом, этот стих напомнит знакомое зрелище то там, то сям появляющихся огоньков, то неподвижных, то переходящих с места на место, *среди мрака* и тишины». Так комментирует этот плохой стих г. Корш. Не так это на деле. Огни зажигаются, но почему они *блуждают?* Я вырос в деревне в то время, когда не знали еще там спичек; огонь или высекали из кремня, или вздували из углей: у кого не было углей, тот занимал их у соседа и, перенеся к себе в избу, вздувал огонь. Так было и в то время, когда происходит действие пушкинской драмы. С фонарями по деревне не ходили. Со свечами ходят ночью в великий четверг, возвращаясь из церкви домой после чтения 12 Евангелий и стараясь донести огонь до избы и выжечь им на притолоках кресты. Откуда же это блуждание огоньков, видимое русалками, да еще утром? Г. Корш сам не знает, ибо даже забывает, что дело происходит утром, на заре, при месяце, ибо в своем комментарии к этому стиху преспокойно говорит, что «огоньки переходят с места на место среди *мрака* и тишины». Ему надо, чтоб огоньки блуждали, и они блуждают; он знает, что видеть блуждающие огоньки можно только среди мрака, он сочиняет *мрак*. Но в то же самое время и для тех же целей оправдания бессмыслицы и набора слов он сочиняет такую яркую зарю,

что брызги волн «отливают при свете ее цветами радуги», комментируя вот эти два темные стиха:

Пену гребнем над волнами
Пылью радужной взбивать, —

и умалчивает о стихе:

Пред рассветными лучами.

Такого стиха и у плохого поэта не найдешь, ибо «предрассветными» и «пред рассветными» звучит совершенно одинаково, и в чтении это прямая бессмыслица: выйдет, что русалки «играют предрассветными лучами», а не «пред рассветными».

Г. Корш прав, отвечая одному критику, что соловьи поют, почти всю ночь и на вечерней и утренней заре, но зато он доходит до пафоса своей защиты подельщика, говоря о стихе, где русалки говорят:

Пронесемтесь над рекою.

Г. Буренин сказал, что русалки собираются пролететь над рекою, а не пролынть по ней. Корш начинает давать из Пушкина примеры, где наш поэт «мыслию бродил в краю чужом», где он «в мечтах держал стремя», как он «улетал в лицейский уголок сладостной мечтою», как «мечтою» он «любил летать» и т. д., как будто это что-нибудь доказывает. Пушкин, как и все, мог летать мечтою, но чтобы *русалкам пронестись над рекою* — надо было действительно летать. Плавают по реке или на реке, или в реке, но над рекою плавать нельзя. Но г. Корш прибегает к «самоповторениям» Пушкина и говорит: «Трудно понять «над» буквально, т. е. как бы сверху, без прикосновения к предмету, находящемуся внизу, также в следующем месте отрывка «Сон»:

Еще роса над свежей муравой...

И в первой песне «Руслана и Людмилы»:

Едва не пляшет над седлом.

Чтоб судить о последнем выражении, надо взять этот стих с предыдущими и последующими:

Хазарский хан, в уме своем
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшет над седлом;
В нем кровь играет молодая,
Огня, надежды полон взор;
То скачет он во весь опор,
То дразнит бегуна лихого.
Кружит, подъемлет на дыбы.
Иль дерзко мчит на холмы снова.

Всадник держится на стременах и пушкинское выражение «едва не пляшет *над* седлом» вполне правильное и прекрасное.

Если же можно критиковать первое выражение из отрывка «Сон», то надо помнить, что этот отрывок написан Пушкиным, когда ему было 16 лет, а по г. Зуеву он окончание «Русалки» написал 37 лет. Невозможно мерить 16-летнего, хотя и гениального поэта, одною и тою же меркою и в 16, и в 37 лет. Это, кажется, ясно, как день. Но у г. Корша постоянно одна и та же мерка для зрелого мужа и юноши, и в данном случае он выводит такое заключение из этого случая с русалками, несущимися *«над рекою»* и «росою *над* свежей муравой»: «Итак (??), здесь мы имеем дело не с ошибкой неумелого фальсификатора, а с *особенностию пушкинского языка,* что знаменательно тем более, чем легче эта особенность ускользает от внимания».

Так вот как познаются «особенности» пушкинского языка! И как тут дико звучит это слово «знаменательно»!

Один из критиков «записи» находил недурным рассказ княгини о своем сне. Г. Корш останавливается на этом с особенною любовью. По замыслу сон этот очень вычурный, а по стихам — очень банальный и плохой. В нем такие выражения, как «в яхонты рядилась кровавые, блестящие, большие», ряд эпитетов вроде «желанный, истомный, сладкий, прежний поцелуй». Г. Буренин заметил, что *кровавые* яхонты «слишком кричащий эпитет, а *«большие»* — совершенно лишний». Г. Корш, отвечая ему, не одобряет слово «блестящие» и предлагает слово «большие» заменить словом «тяжелые», по весу; о «кровавых» замечает, что этот эпитет «показывает тот страх, который яхонты внушили княгине своей зловещей красотой». Вот до чего может договориться комментатор поддельщика, не находящий у Пушкина соответствующего стиха.

А ведь этот стих есть. Я нашел его в «Анджело». На вопрос Анджело, что бы она решила в уме своем, если б ей предложили искупить казнь ее брата своим паденьем, Изабелла отвечает:

> Для брата, для себя решилась бы скорей.
> Поверь, *как яхонты, носить рубцы бичей,*
> И лечь в *кровавый* гроб спокойно, как на ложе,
> Чем осквернить себя.

Г. Корш это место проглядел и прибег, поэтому, к «зловещей красоте яхонтов» и «страху». Не проглядя он этого места, он непременно оправдал бы зуевские «кровавые яхонты» ссылкой на эти стихи Пушкина. Ему стоило бы сказать, что Пушкин самоповторился, заимствовав это выражение у Шекспира. Шекспировский стих можно буквально перевести так: «отпечаток резких плетей я бы носила, как рубины»[1]. Несомненно, Шекспир имел в виду рубины, которые у нас назывались в старину яхонтами, уподобить кровавым рубцам плетей, помимо

---

[1] The impression of keen whips I'd wear as rubies. В переводе «Меры за меру» (Measure for measure) Ф. Б. Миллера — «Анджело» есть пересказ этой драмы — этот стих передан так:

> Когда б на мне лежали, как рубины,
> Рубцы от бичеванья.

того, чтоб выразить гордость непреклонной девушки своей чистотой: она и рубцы плетей носила бы, как рубины. Очень возможно, что г. Зуев знал это сравнение из «Анджело», но, по своему безвкусию и бездарности, и притом сейчас же, в следующем стихе встретив слово «кровавый», назвал рубины просто «кровавыми», как мог бы назвать их «виноградными», вспомнив, что у Крылова есть: «кисти сочные, как яхонты горят», а у Пушкина, в «Бахчисарайском фонтане», есть выражение: «янтарь и яхонт винограда»...

Княгиня говорит о себе:

Из водных струй сотканною фатой
Покрылась и, блистая красотой,
С улыбкою в храм Божий я вступила.

Один из критиков «записи» заметил, что «блистая красотой» — «банальность». Г. Корш сейчас же приводит из Пушкина:

Увы, зачем она блистает
Минутой, нежной красотой;

Или:

Красою девственной блистая,

Или из Вольтеровой «Девственницы»:

Могучею блистая красотой,
Она была под юбкою герой.

и проч. и проч. Но г. Корш не сообразил, что во всех этих пушкинских примерах — все это слова *самого* поэта, его впечатления от красоты. Княгиня же *сама* о себе говорит: «блистая красотою», и вот этого у Пушкина никакой г. Корш не найдет, потому что это ни с чем несообразно, противореча ее характеру древнерусской княгини. Кстати, русалки у г. Зуева тоже говорят о себе: «блистая красотой». Таким образом, княгиня и русалки одинаково выражаются. «Из водных струй сотканною фатой» г. Зуев мог образовать из стихов в «Руслане и Людмиле», где говорится, что кудри, грудь и плечи покрылись «фатой прозрачной, как туман» и, по своему обыкновению, плохо образовал, ибо ткать водные струи — никакой княгине не может прийти на ум, какою бы она ни обладала фантазией. Тут же:

Не аксамит, а зеркало, как лед
Холодное, постлали пред налоем.

«Постелите мне зеркало!» — говорит ваша супруга горничной. Это означает, что она занимается поэзией, а не заговаривается. Вы скажете, что это шутка дурного тона. Но хорош ли тон ученого филолога, который прямо говорит, что «зеркало постлали» возможно в поэзии. Конечно, возможно, только в какой поэзии? Ведь есть и бессмысленная «поэзия».

В руках погасли свечи
И там, внизу, *на зеркале* зажглись.

Г. Корш замечает: легко было бы устранить эту неточность (*в зеркале* вместо на зеркале), сказав так:

И подо мною, в зеркале зажглись.

Ну, если *под нею* зажглись свечи, то странно, как она могла это увидеть. Впрочем «в поэзии» возможен всякий вздор, как и в толкованиях г. Корша. Этот удивительно парадоксальный человек, найдя *во всем* Пушкине только *два* неправильных стиха, в которых *его* надо выговаривать с ударением на *е*, оправдывает у г. Зуева всевозможные неправильные стихи; но, найдя во всем Пушкине только *один* неясный стих, написанный им в молодости, он строго замечает: «Уже самая необходимость толкования, да еще *неизбежно более или менее натянутого и спорного*, отнюдь не говорит в пользу ясности выражения». Но когда дело идет о г. Зуеве, г. Корш только ему кланяется и благодарит.

Далее княгиня выступает в качестве знатока панихиды, уверяя, что певчие пели:

Со святыми упокой
Рабов твоих, Владыко, в царстве света!

Во всей панихиде такого выражения нет. Говорится о «селениях праведных», о «небесных чертозех», о праведниках, которые «сияют, яко светила», о «месте светле, месте злачне, месте покойне», о «свете животном», но о «царстве света» ни одного слова. Очевидно, княгиня это сочинила, по внушению Зуева, совершенно некстати.

Хор певчих «со святыми упокой!»
Пропел и мне, и князю.

Далее: один из критиков (г. Буренин) заметил, что «хор певчих отзывается современностью и не идет к складу народной легенды, так превосходно выдержанному в пушкинских сценах пьесы». Как же отвечает г. Корш на это верное замечание? А очень просто: он говорит, что «у Пушкина было иное представление», чем у критика, ибо в его стихотворении «Безверие» есть слова «при сладком хоров пенье», а это «Безверие» читано было Пушкиным на выпускном экзамене, когда Пушкину только что исполнилось 18 лет. Какое право у г. Корша говорить, что у Пушкина «было иное представление»? Мало ли какие у него были представления в 18 лет — неужели он так их все сохранил, предвидя «исследование» г. Корша? Очевидно, опять тот же прием: объяснить язык и понятия тридцатисемилетнего Пушкина языком и понятиями восемнадцатилетнего юноши.

Г. Зуев кончает драму смертью княгини и словами мамки:

Умерла!
В сонм ангелов прими ее, Всевышний!

Это та самая мамка, которая у Пушкина так остроумна и так народна. У г. Зуева она говорит, как архиерей.

Кстати, замечательно, как les beaux ésprits se rencontrent. У меня есть книга: «Осенние листы. Собрание стихотворений Антония Крутогорова. СПб. 1866 г.». В этой книге есть «Русалка. Окончание к драме Пушкина». Произведение плохое, но более обширное и сложное, чем зуевское. Между обоими произведениями однако не мало сходных черт. Оканчивает драму г. Крутогоров тоже смертью княгини и тоже восклицанием мамки:

Ахти!
Что будет с ним-то, с круглым сиротою?

Восклицание этой мамки естественнее, чем у г. Зуева.

Я должен еще остановиться на том, как г. Корш защищает этот стих зуевской мамки от г. Якушкина, который сказал, что это выражение означает попросту «царство небесное» (см. стр. 100 этой книжки). Г. Корш находит, что «царство небесное» слишком обычное выражение, а заключительная фраза должна оставить известное впечатление в душе читателя или слушателя». Пушкин не мог прибавить к «царство небесное» — «ну», «ох», «что ж», а без таких прибавок не вышел бы стих. «Поэтому оставалось, продолжает наш ученый, придать обычной в таких случаях мысли такую форму, которая сообщила бы ей торжественность, утраченную в обычном ее выражении, и без натяжки приноровила бы ее к ритмическому строю предшествующей речи». Все это говорится, как видите, с серьезностью изумительной, как будто дело идет о чем-то чрезвычайно важном. Но серьезность подкупает, а г. Корш чувствует себя свободным с Зуевым, подозревая в нем Пушкина, и легко и свободно находит поправки и даже подсказывает выражения творческой душе поэта. И вот и тут он начинает читать в душе поэта и потом диктовать ему так:

По его мнению, Пушкин написал стих «В сонм ангелов» и проч., потому что вспомнил слова Горацио в «Гамлете», или стихи из 16-й сцены «Бориса Годунова» («Царь небесный принял меня в лик ангелов своих»), или стих из «Сказки о мертвой царевне» («Дух твой примут небеса»)... «Без этих воспоминаний, продолжает наш ученый, поэт остановился бы, может быть, на какой-нибудь более простой редакции, например,

Прими, Господь, ее в свою обитель,

Или:

Ее душе в раю дай место, Боже».

Никто еще так свободно не подсказывал Пушкину, ибо никто не подозревал в нем бездарного поэта, каким он оказывается по толкованиям г. Корша.

Выписываю заключения г. Корша:

«Значительная часть возражений критиков против подлинности конца «Русалки», сообщенного г. Зуевым, оказываются несостоятельными в своем основании, потому что: 1) Пушкин не достиг безусловного совершенства, особенно в

частностях, которые впрочем требуют еще пересмотра по рукописям и старым изданиям; 2) «Русалка» и в прежде написанных частях не была окончательно отделана Пушкиным, а в позднейших могла быть обработана менее, но уж никак не более; 3) самые подозрительные места в записи г. Зуева заключают в себе ошибки, тем менее удивительные, что даже при переписке бумаг Пушкина в печатный текст его сочинений вкралось не мало погрешностей, а кое-что в его черновых рукописях, к которым принадлежал, вероятно, и конец «Русалки», до сих пор еще не разобрано.

Запись г. Зуева представляет естественное продолжение напечатанных в 1837 г. сцен «Русалки», что отчасти подтверждается прототипом этой драмы (кроме первой сцены), песнью о Яныше-королевиче и даже программой «Русалки» в бумагах Пушкина. Некоторые повторения из первой части не таковы, чтобы заставляли нас видеть во второй другую редакцию, так как они касаются подробностей, легко устранимых при окончательной обработке. Эти повторения, особенно если принять в расчет варианты в первой части, свидетельствуют как будто о колебании в выборе подходящего места для внесения пришедших поэту в голову мотивов или выражений.

За исключением очевидных погрешностей, проскользнувших в запись по запамятованью, и некоторых неудачных выражений, естественных в первом наброске, текст г. Зуева не содержит в себе почти ни одного оборота или слова, которых не оказывалось бы в бесспорных произведениях Пушкина. То же можно сказать о риторической и метрической стороне этого текста, причем сходство распространяется на такие тонкости, которые до сих пор никем не были замечены».

Далее комическое возглашение: «где у нас тот поэт и вместе знаток Пушкина, который мог бы написать то, что сохранил от забвения Д. П. Зуев»? Возглашение совершенно естественное у филолога, который так самоотверженно старался подделать г. Зуева под Пушкина, у адвоката, который сваливал всю вину своего клиента на другого, невиновного человека, который слишком велик, чтоб к его произведениям приставили когда-нибудь не только вирши г. Зуева, но и вирши самого г. Корша.

Г. Бартенев, печатая подделку, рекомендовал г. Зуева «маститым старцем», который постоянно услаждается творениями великого поэта. Он умел писать стихи. Возможно, хотя и сомнительно, что он слышал разговор Пушкина с Губером о «Русалке», который завяз в его памяти. Прошли годы. Не попробовать ли окончить «Русалку»? Он стал работать над этим окончанием, работал долго и постепенно уверялся в том, что его окончание очень хорошо и может быть принято за пушкинское. У непризнанных поэтов такое самомнение дело обыкновенное. Но он знал судьбы «окончаний». Выдай он окончание «Русалки» *за свое сочинение*, все признают, что оно ничего не стоит, или не обратят на него ни малейшего внимания. Оно погибнет в реке забвения, как погибли несравненно более даровитые окончания шиллеровского «Самозванца», написанные иногда истинными поэтами и по широкой программе, оставленной великим немецким поэтом.

А не выдать ли свое сочинение за пушкинское? Это возбудит интерес, станут спорить, доказывать и, кто знает, может, и удастся провести кого-нибудь. Он колеблется, рассчитывает шансы за и против, но думает: а что если отыщется пушкинское «окончание»? После появления сочинений Пушкина под редакцией

г. Морозова и описи его рукописей, сделанной г. Якушкиным, т. е. в то время, когда в бумагах Пушкина не было найдено окончания «Русалки», г. Зуев подал о себе слух, и в литературных кружках Петербурга заговорили о зуевской «записи», но в обстановке иной, чем теперь. Состоялось чтение у г. Зуева. Один из присутствующих, человек несомненного таланта и вкуса, на вопрос: Пушкин ли это? — отвечал:

— Да, Пушкин, но маргариновый.

Прошли еще годы, прежде чем г. Зуев решился выпустить свою подделку, но обставил ее своими 14-ю летами и своей феноменальной памятью, существования которой у него однако еще никто и ничем не доказал. Но и 14 лет, и феноменальная память — хорошая выдумка, ибо у всякой памяти могут быть недочеты, а потому недостатки этой «записи» легко приписать именно недочетам памяти и ошибкам «отрока». Г. Корш и повис на этом...

«Запись» была пущена в печать как раз с того места, где остановился Пушкин. Критика прежде всего обратила на это свое внимание. Г. Корш поехал к г. Зуеву и объяснил ему, что критика права. Г. Зуев сначала притворился непонимающим, потом победоносно заявил, что он записал и предыдущие 8 стихов, но не напечатал их потому, что это было бесполезно, и потому, что и из этих восьми 4 заключают незначительные отличия от пушкинского оригинала и отличия эти — в 4 словах, по одному в каждом стихе. Очевидно, г. Зуев эти 8 стихов приписал к своей «записи» уже после появления ее в печати и сделал в 4 стихах четыре поправки. Кроме того, г. Зуев, как настоящий фальсификатор, идущий напролом, возмущался недоверием к нему критики, упреками ее за грубость некоторых выражений в «записи». И вот он сознается, что, напротив, преследуя приличия, он подделал в «записи» несколько стихов, или, как выражается г. Корш, прибег к «самовольной перемене». *Любимец князя* рассказывает охотникам — хотя они и без него не могли этого не знать, — что мельничиха сама навязалась князю («подговорилась» у г. Зуева):

охотою слюбилась,
Не силой взял. Сам знаешь поговорку
О псице. Аль забыл? Ну, и молчи.

Г. Зуеву показались эти якобы пушкинские стихи неприличными и он исправил их, как в печатной «записи» в «Русском Архиве», так:

охотой отдалася,
Не силой взял. Сам знаешь поговорку:
«Насильно мил не будешь». И молчи,
И не болтай пустого, ты не баба.

Оба варианта плохи и первый, якобы бы пушкинский, еще хуже второго, в сочинении которого г. Зуев сознался. Хуже потому, что не в обычае у Пушкина писать намеками, да и не в обычае у охотников не договаривать своей мысли. Между ними не было дам. Поговорку о псице я не знаю, как не знают ее, вероятно, многие. Но г. Зуев, очевидно, знал ее, если заменил другою, вероятно, одно-

родною. Пушкин несомненно или обошел бы эту поговорку совсем, или всю ее написал бы, в особенности в рукописи первоначальной[1].

Если г. Зуев подделал несколько стихов и сказал об этом поздно, то почему же он не мог подделать и всего? Он, как говорится, открыл «следы своего преступления», хотя и с тем расчетом, что такая искренность говорит за него. Но при всех других доказательствах подделки, эта искренность тоже поддельная.

Преступления доказываются следствием, допросом очевидцев, биографией преступника; подделка требует таких же приемов. От такого следствия г. Корш отказался. Какие особенности характера г. Зуева, с кем он был знаком, нет ли в его бумагах следов подделки, сделали ли у него обыск? Конечно, ответы на эти вопросы могут быть только отрицательные, потому что такое следствие немыслимо. Но вот что возможно было определить: каким почерком написана «запись» и на какой бумаге? Г. Корш говорит, что он видел *подлинную запись*. Чем эта подлинность доказывается? Признаками ли бумаги 1836 г., когда запись была написана, знакомством ли г. Корша с почерком г. Зуева, когда ему было 14 лет, или чем-нибудь другим? К рукописям относятся критически и, прежде чем признать их подлинность, необходимо подвергать их внимательному рассмотрению экспертов. Произведено ли подобное следствие? Г. Корш ничего об этом не говорит. Г. Бартенев тоже ничего об этом не сказал. Конечно, внешние стороны подделки — дело не важное. Подделывают и бриллианты, и кредитные билеты, а не то что рукописи. Но все же для полной картинности и характеристики подделки адвокатам предстоит доказать, что бумага, на которой «запись» написана, действительно 1836 или близкого к нему года и почерк рукописи действительно почерк четырнадцатилетнего г. Зуева...

Желаю им в этом успеха. Сам я останусь с убеждением, что г. Зуев есть г. Зуев, г. Корш есть г. Корш и Пушкин есть Пушкин, до которого не только всем нам, как до звезды небесной, далеко, но далеко до него и всякой Академии. Он — академик у самого Господа Бога, который одарил его высочайшим даром поэзии.

20 января (1 февраля), № 8584

CCCLII

V

Читатели найдут в сегодняшнем нумере письмо г. А. К. (имя автора нам известно), очень любопытное в том отношении, что оно, по моему мнению, окончательно разрешает вопрос о подделке пушкинской «Русалки» г. Зуевым, если еще могло быть в том сомнение. Г. Корш может получить поздравления от Академии, которой остается только «посмеяться горьким смехом», вторя всему русскому обществу, которое посмеется искренним смехом над усилиями ординарного академика подделать г. Зуева под Пушкина. Оказывается, что г. Зуев, при всех своих хороших качествах, был человеком с «ненасытным тщеславием» и «ограниченным умственным кругозором». Эта ограниченность как нельзя яснее

[1] Эту поговорку я потом узнал. Она, вероятно, соответствует поэтическим воззрениям «маститого старца» на приличия в художественном произведении, но отстаивать, что Пушкин мог ее употребить в своей драме, назначенной для широкой публики — значит, просто зубы чесать, а не писать серьезное «исследование».

выступает в подделке, где нет ни одной «мысли», но зато много бессмыслия. Кроме того, он страдал тяжкою болезнью, именно — стихоманией. Он постоянно писал стихи, «поправлял» Пушкина, Лермонтова и Некрасова, подражал им и упражнялся в подделках. После разбора г. Буренина «записи» г. Зуева, когда она явилась к «Русском Архиве» 1897 г., — разбора, который «почти убил» г. Зуева, по выражению автора письма, г. Зуев написал «чрезмерно слабый ответ», который был напечатан, но где, я не знаю. Мотивы подделки г. А. К. объясняет почти так же, как и я, но более доказательно, ибо он был хорошо знаком с стихоманом и писал по личным воспоминаниям. Очень вероятна догадка г. А. К., что г. Зуев объявил бы сам, что он выдумал свидание Пушкина с Губером, где якобы происходило чтение «Русалки», и написал сам окончание. Он сознался бы в подделке, если бы дождался дня, когда г. Корш объявил «подделку» пушкинским произведением. Он мечтал о славе — быть равным Пушкину, и как было не мечтать ему об этом, когда он поправлял Пушкина и приветствовал стихами блюда, подаваемые за обедом.

На своем веку я знаю три подделки: полковника г. Ястржембского, написавшего «варианты» к «Мертвым душам» Гоголя, подделку неизвестного к «Демону» Лермонтова, представленную г. Висковатовым, и подделку г. Зуева. Г. Ястржембский подделал Гоголя, но напечатал подделку не он, а его приятель в «Русской Старине» (1872 г., т. V, стр. 87 — 117), вопреки его желанию. Подделка явилась с пышной рекомендацией редакции, которая, печатая отрывки из «Мертвых душ», сочиненные г. Ястржембским, говорила: «в них искрится неподражаемый, умерший с Гоголем юмор, поразительная меткость выражения и художественное воспроизведение лиц, местностей, всего, до чего только касалась кисть гениального мастера». Не одна редакция «Русской Старины попалась на удочку. И в других изданиях явились дифирамбы Гоголю за то, что написал не он. Объяснение г. Ястржембского явилось как снег на голову и «Русская Старина» не совсем даже ему поверила. Подробности об этом напечатаны в «Русск. Стар.» 1873 г., т. VIII, стр. 244 — 249. «Я не ищу литературной известности, — говорил г. Ястржембский, — не придаю никакого значения написанным мною вариантам; удивляюсь, что в них не узнана сразу неловкая подделка Гоголя». Увы! Что остается сказать о г. Корше, который не только сразу не узнал подделки под Пушкина и притом грубой подделки, но и сам продолжал подделку прозой и стихами, а Академия напечатала его исследование, не моргнув глазом...

Помещаю это письмо в редакцию, вместе с другим, полученным позднее, но с ним однородным, напечатанным в № 8593 «Нового Времени», от 29 января 1900 г.

Письма в редакцию «Нового Времени»

I

«Мне к высшей степени не хочется печатно говорить по поводу «дополнительных стихов «Русалки» и потому именно не хочется, что я с покойным Дмитрием Павловичем Зуевым был в тесных стихотворных отношениях и что Зуев был в высшей степени добрый человек, любящий, наивный, всепрощающий, незлобивый, отзывчивый, симпатичный. То, что я теперь скажу, я обязан был сказать ранее, именно в ту пору, когда покойный прислал мне свое печатное возражение г. Буренину; но я не имел гражданского мужества настолько, чтобы говорить не только то, что скажу теперь, но даже и написать Зуеву, как мое мнение о записанных им «дополнительных» стихах «Русалки», так и о чрезмерной слабости его

заметки на буренинскую критику. Мне просто-таки было больно доколачивать почти убитого Буренины Зуева. Но теперь, когда, на мой взгляд, неправда, облекшись в тогу истины, влезла в Академию наук и нашла там себе защитников, — никакие личные чувства, какой бы высокой пробы они ни были, не должны скрывать всего того, что может послужить хотя отчасти решению вопроса, а главное — характеристике виновника появления дополнительных стихов.

Я познакомился с Зуевым здесь, в Петербурге, в конце 80-х годов и с первых же часов беседы с ним узнал, что он был одержим тяжким недугом, который называется «стихоманией». Чтобы сделать ему приятное, я написал шутливое, но лестное для него послание под названием: «Урод современного человечества», начинающееся такою строфою:

Завидую тебе, о юноша мой пылкий,
Ребенок в шестьдесят пять лет:
Не жаждой почестей, не девой, не бутылкой, —
Ты даром творческим согрет.

На другой день я получил от Дмитрия Павловича такое же послание, к сожалению, оставленное мною на месте постоянного моего жительства, — послание такого же слабенького, как и мое к нему, содержания, но безупречного стиха и размера и безукоризненной рифмы. Все его довольно многочисленные и продолжительные беседы со мною и начинались, и оканчивались чтением его стихов, разбором стихотворений русских поэтов, некоторыми стихотворными цитатами, сравнениями, замечаниями, что вот такое-то место у Пушкина, Лермонтова или Некрасова можно бы с большим успехом для дела заменить таким-то стихом и проч. Помню один день, когда мы с ним в одном знакомом семействе провели в такой беседе все время между завтраком и обедом и, «распутав» и молодых, и старых хозяев, остались в столовой вдвоем. За последовавшим через несколько часов обедом, дотолковавшись до стихотворного «одурения», мы начали говорить стихами о блюдах, подаваемых на стол. Зуев по несколько раз читал мне сборник своих стихотворений (толстая рукописная тетрадь, которая теперь хранится у одного общего знакомого), пересказывал воспоминания свои о знакомстве со многими поэтами и некоторые мелкие случаи из их жизни, о достоинствах и недостатках их сочинений, но никогда ни единым словом не заикнулся о чтении «Русалки» в его, Зуева, присутствии. Ни в этот год знакомства, когда мы виделись очень часто, ни во второй мой приезд в Петербург в 1891 или 1892 годах, ни наконец в третий, имевший место в 1895 или 1896 годах, когда покойник лежал уже в постели, не слышал я от него ни одного звука о пушкинской «Русалке». А казалось бы, это — такой материал для беседы, лучше которого трудно найти, и что интерес такого разговора настолько велик, что все мною слышанное не могло изгладиться из моей памяти. Далее. Не помню, в какой именно мой приезд в Петербург, Зуев подарил мне написанную его рукою песню не песню, сказание не сказание, озаглавленное приблизительно так: «Повествование о том, как Русский Царь удивил царя немецкого», сочиненное, по словам Зуева, донским казаком (рядовым), служившим в донских гвардейских полках в Петербурге. Я не буду пересказывать содержания этой хвастливой песни, занявшей собою 5-6 печатных листов писчей бумаги довольно убористого почерка, а замечу только, что когда я, в присутствии Зуева, окончил чтение песни, написанной правильным, выдержанным стихом, недоступным даже и для хорошо грамотного нижнего чина, то

высказал в этом смысле свое сомнение Дмитрию Павловичу, который несколько сконфузившись, ответил, что он здесь «немножко погулял» своим пером. Цель такого подарка — видимое желание Зуева напечатать эту вещь в местных донских газетах, как произведение донского казака. Я было начал это дело, но боязнь попасть впросак остановила меня на полпути. Тетрадь эта хранится у меня, но к сожалению, я не взял ее с собою в теперешний приезд мой в Петербург.

Все сказанное мною здесь «естественно» не решает вопроса о том — подлог ли зуевская «Русалка» или действительность, но это сказанное мною значительно характеризует стихомана, не умевшего более искусно придумать причины своего молчания в продолжение шестидесяти лет. Ведь могло быть, что Пушкин, прочитав во второй раз свою «Русалку», положил рукопись на стол и заговорился с Губером о разных предметах, а мальчик Зуев, достав карандаш и бумагу, засел и переписал это произведение. Явившись домой, он положил куда-то эту бумагу, забыл о ее существовании и на старости лет, перерывая хлам, нашел ее под пылью десятилетий и поведал миру. Такое сказание могло бы иметь хотя вид правды. Но записать на память 228 стихов и, при феноменальности этой памяти, забыть о существовании такой драгоценности до глубокой старости — это уж истая нелепость. На основании всего сказанного полагаю, что и без сравнения содержания и наружного вида стихов Пушкина и Зуева-Пушкина можно с большою уверенностью сказать, что и в окончании «Русалки» покойный Зуев, пропитанный ядом стихомании, «погулять пером», может быть, несколько более, чем в той песне казака-Гаврилыча, о которой я говорил выше и которую могу представить подлинником, если она кем-либо потребуется для исследования. Но какая цель, спросит читатель, выдавать свое за пушкинское? Пушкинское выдать за свое — было бы понятно. А вот какая цель, надо думать, была у покойного стихотворца Зуева: «так как стих мой, — полагал он, — безупречен во всех размерах и нисколько не уступает стиху Пушкина по наружному виду, то, не отступая от смысла неоконченной поэтом «Русалки», я докончу ее собственным изложением и, рассказав историю, будто бы происшедшую в кабинете Губера, отдам это окончание поэмы на рассмотрение читателей, которые, наверное, не заметят разницы между моими и пушкинскими стихами и примут окончание «Русалки» за наличную монету. Когда же такое признание состоится и дело о дополнении «Русалки» будет сложено в архив, тогда я спустя некоторое время объявлю, что это дополнение — мое, а не Пушкина, что рассказанная мною история записи с «памяти» — вымысел, и публика ахнет от удивления, невольно признав во мне талант, Пушкину не уступающий». Наивность, чтобы не сказать — детскость Зуева, ограниченность его умственного кругозора, ненасытное тщеславие во всем, что относилось к его стихотворениям, — все это заставило меня сделать такое предположение.

Больно мне говорить так о добром и симпатичном покойнике, очень меня любившем, но... amicus Plato...

А. К.»

II

«М. Г. В № 8581 вашей газеты в отделе под рубрикой: «Маленькие письма» опять поднят вопрос, кем написан конец «Русалки»?

Помимо всяких научных способов доказательств, что конец написан Д. П. Зуевым, а не записан им со слов Пушкина, я вижу еще один и, по-моему, самый простой и верный: спросить об этом родственников покойного Зуева.

Возможно, что, щадя память родственника, они не будут в должной мере откровенны, а потому, да простят они мне, я беру на себя смелость во имя истины и на пользу родной литературы заявить следующее:

Четверть века тому назад я еще мальчиком 15—16 лет слышал в родственной мне семье Зуевых, что Дмитрий Павлович пишет стихи вообще и работает над продолжением «Русалки». Некоторые выдержки из этого продолжения нам были известны, но что нам не было известно, так это то, что продолжение не сочиняется Д. П. Зуевым, а записывается по памяти со слов А. С. Пушкина. Для меня было большою неожиданностью, когда я увидел изданную в 1897 году книжку, на обложке которой впервые прочел, что конец «Русалки» обязан своим выходом в свете поразительной памяти Д. П. Зуева. Буду краток и скажу категорично: продолжение «Русалки» написано Д. П. Зуевым и ничего общего с пером А. С. Пушкина не имеет. Под этими словами должны бы были подписаться все многочисленные родственники покойного Зуева и если они этого не сделают, то только, повторяю, щадя память его. Как хотите, а тяжело уличить во лжи покойника, да еще такого, которого привыкли с детства любить и уважать.

Мне это легче сделать, во-первых, потому, что я очень дальний по свойству даже, а не по родству, а во-вторых потому, что убежден, что прямое заявление мое послужит на пользу памяти покойного, так как поможет скорее сдать все дело в архив, иначе споры могут затянуться на многие годы, в конце же концов все же не может не быть доказанным, что Зуев выдал свое за чужое. Чем можно объяснить поступок Зуева, вопрос темный, но нельзя ли найти ответ на него в следующем.

Выйдя в отставку и не имея решительно никакого дела, Д. П. последние годы своей жизни проводил в одиночестве. В августе он уходил в свою зимнюю квартиру и не выходил из нее до конца мая. Девять месяцев он проводил в добровольном заключении. Нормально ли это? Если не нормально, то нельзя ли интересующий нас вопрос объяснить ненормальностью. Мне кажется, что он додумался, что он пишет «Русалку» со слов А. С. Пушкина, потом сам верил в это.

Удивительного в таком предположении ничего нет. Утверждать боюсь, но, если не ошибаюсь, он никогда не видал Пушкина, его же старший брат, тоже ныне покойный, Петр Павлович, действительно встречал во дни своей юности великого поэта у Губера. Повторяю, что за точность последней справки не ручаюсь, потому что слышал ее не от самого Петра Павловича, а от одной из родственниц последнего.

Десятки лет Д. П. Зуев молчал, скрывая от света, что записал со слов самого Пушкина конец «Русалки», Критика обратила на это обстоятельство внимание, но не умела объяснить себе, чем это молчание вызвано. Ответ напрашивается сам собой: «был жив Петр Павлович».

Петр Павлович умер в 1895 году. Конец «Русалки» издан в 1897 году. Дмитрий Павлович умер в 1898 году.

Будем надеяться, что незаконнорожденное детище Дмитрия Павловича умрет в 1900 году.

Н. У.

Харьков».

22 января (3 февраля), № 8586

CCCLIII

Мне кажется, что все толкования и печалования, раздающиеся в настоящее время по поводу избрания девяти почетных академиков, основаны на недоразумении. Мы, писатели, не любим заглядывать в устав и своды законов, как вещи нисколько не назидательные. Но попробуем в данном случае заглянуть в эти скучные источники, благо об Академии заговорили тотчас же, когда она стала ближе к литературе, следовательно, и к обществу.

29 апреля прошлого года последовал высочайший указ, обнародованный 26 мая и начинающийся такими прекрасными словами:

«Одушевленные горячею любовью к родному языку и родной словесности, завещанной нам державными предками нашими, признали мы за благо, во внимание к представлению е. и. в. великого князя президента Академии наук, ознаменовать столетие со дня рождения великого русского писателя Пушкина учреждением в императорской Академии наук, посвященных его памяти: разряда изящной словесности и особого фонда имени Пушкина».

Этим же указом учреждены во Втором отделении русского языка и словесности «шесть новых должностей ординарных академиков с содержанием». Пушкинский фонд, назначенный «для создания произведений русских писателей, а также словаря русского языка и других трудов Второго отделения Академии наук», определен в 1500 рублей» ежегодно, начиная с 1900 года.

Именным высочайшим указом 23 декабря 1899 года, служащим развитием указа от 29 апреля 1899 года, утверждены «дополнительные статьи к ныне действующему *положению* об отделении русского языка и словесности императорской Академии наук.

Обратимся к этому *положению*. Оно определяет занятия Второго отделения так (цитирую сокращенно): 1) основательное исследование свойств русского языка; 2) изучение славянских наречий, и 3) славяно-русская филология. Засим такая оговорка: «Впрочем, при таком главном направлении трудов Академии (по 2-му отделению), *ей не чуждо* все входящее в область изящной словесности и русской истории».

«Дополнительными статьями» *изящная словесность*, бывшая только *не чуждою* Второму отделению, становится «нераздельным целым» с нею, составляя «разряд изящной словесности».

§34 «дополнительных статей», вызывающих споры и недоразумения, необходимо выписать целиком. Вот он:

§34. Разряд изящной словесности составляют: 1) избираемые *в действительные члены* Академии писатели-художники и ученые исследователи в области словесности и 2) *почетные академики и корреспонденты* отделения русского языка и словесности по разряду изящной словесности. В почетные академики и корреспонденты Отделения избираются писатели-художники и литературные критики. Выборы производятся с разрешения президента, в соединенном собрании действительных членов отделения и почетных академиков и считаются окончательными, не требующими дальнейших утверждений. Предложенный кандидат считается избранным, если соединит в свою пользу не менее двух третей голосов».

Отсюда ясно, что высочайший указ от 29 апреля 1899 г. сохраняет всю свою силу относительно «шести новых должностей ординарных академиков с содержани-

ем». Эти шесть новых должностей принадлежат, по §34 «дополнительных статей», *писателям-художникам и ученым исследователям в области словесности.*

Что касается *почетных академиков*, то они совсем не относятся к этому разряду ординарных академиков, ибо и в прежнем «положении» о Втором отделении и об Академии наук существовали *почетные члены и корреспонденты. Почетные члены* Академии избирались «из знаменитых особ известных своими познаниями и любовью к наукам, приобревших особенную славу сочинениями, относящимися к какой-нибудь из наук, коими Академия занимается».

Заменены ли *почетные члены* Академии *почетными академиками*, или сии последние составляют особый вид «знаменитых особ» и т. д. ?

Я думаю, что и *почетные члены* Академии остаются в своей силе, и *почетные академики* — в своей, ибо почетные члены избираются в академическом собрании простым большинством голосов, тогда как *почетные академики* двумя третями голосов. В этом они уравнены с академиками. Притом в почетные члены избираются и иностранцы, с тою разницею, что число русских почетных членов не ограничено, а число иностранцев не должно превышать 50. Наконец, А. Ф. Кони избран в почетные академики из почетных членов Академии.

Таким образом мы имеем право заключить:

1) что кроме 6 ординарных академиков по разряду изящной словесности учреждены еще *почетные академики* в неопределенном числе. За такое толкование говорит и то, что избраны в настоящее время не 6 академиков, как сказано в высочайшем указе 29 апреля, а 9 — число нигде не упоминаемое.

2) что в действительные академики выборов еще не было и что их следует ожидать в исполнение высочайшего указа 29 апреля.

Для последнего предположения есть все данные в параграфах о выборах в академики. Выборы эти производятся так. Президент «извещает конференцию Академии и определяет, по крайней мере, шестимесячный срок для составления списка кандидатов, назначая для него комиссию из всех членов того класса или отделения, к коему принадлежит вакантное место». Должны быть изложены заслуги каждого кандидата и «письменное удостоверение готовности его к принятию предложенного места». Несколько странно вот это предостережение гг. академикам: «Запрещается вносить в список кандидатов людей неизвестных и посредственных». Это должно бы разуметься само собою. «Спустя не более шести недель по представлении списка кандидатов, собрание производит выбор баллотировкою. Число избирательных голосов должно быть не менее двух третей голосов всего числа академиков, находящихся в городе СПетербурге налицо».

Относительного Второго отделения читаем: «Избрание академиков и адъюнктов отделения русского языка и словесности производится в общем собрании Академии наук из кандидатов, предложенных от сего отделения».

Очевидно, все эти правила остаются неизменными и кандидаты в действительные члены Академии, как из писателей-художников, так и из ученых исследователей в области словесности, предлагаются Вторым отделением, с которым «разряд изящной словесности составляет одно нераздельное целое». А выбор их зависит от всей Академии наук, от всех академиков, находящихся в Петербурге налицо.

Приняв все это в соображение, должно думать, что почетные академики составляют особый класс академиков, избираемых не всей Академией наук, а «соединенным собранием действительных членов *отделения* и почетных академиков». Второе отделение, очевидно, выделено со своими почетными академи-

ками, которые, не состоя на государственной службе, присутствуя, но не пользуясь правом голоса на собраниях Отделения и не считаясь членами «общего собрания императорской Академии наук», пользуются правом выбора только в почетные академики. По-моему, это важно, как увидим ниже.

Могут ли «почетные академики» быть избраны и в действительные члены Второго отделения? Несомненно могут. Второе отделение избирает кандидатов в эти действительные члены, а для списка кандидатов существует только одно ограничение, выше указанное — не вносить в него «людей неизвестных и посредственных». Почетный академик, представленный в качестве кандидата Вторым отделением, может быть избран всей Академией наук в действительные члены Академии, т. е. стать настоящим академиком, состоять на государственной службе и получать содержание. Понятно, что все девять избранных почетных академиков не могут сделаться действительными членами Академии, но некоторые из них могут и должны несомненно. Здесь кстати указать на один существенный недостаток «дополнительных статей». «Литературные критики» могут быть почетными академиками, но не могу быть действительными членами Академии. Для этого необходимо быть «ученым исследователем в области словесности». Но «словесность» есть «литература», а «литература» — «словесность». Это — во-первых. Во-вторых, критик и ученый исследователь близко между собою соприкасаются и, так сказать, переходят друг в друга. Белинский, например, не мог быть академиком, ибо он не был «ученым-исследователем». Но значение его было очень большое, даже как чистого критика, без примеси публицистики более или менее тенденциозной, например, как критика Пушкина, как первого определителя всего значения великого русского поэта. В настоящем литературном критике непременно должен сидеть эстетик. Неужели эстетическое определение и разбор художественных произведений менее значит, чем ученое исследование?

Внимательное рассмотрение старых и новых академических параграфов приводит к тому желательному результату, что впоследствии образуется особая Русская Академия, сама собой, в силу вещей. И для этого перехода в Академию, подобную Французской с ее сорока бессмертными, послужат именно «почетные академики», число которых очевидно не ограничено и которые пользуются, наравне с академиками Второго отделения, правом выбирать себе подобных из писателей-художников и литературных критиков. Явятся новые дарования, созреют явившиеся и число почетных академиков возрастет, а с ними возрастет и влияние их, как корпорации литературной. Сколько мне известно, сначала предполагалось, в память столетия Пушкина, восстановить вполне Российскую Академию, сокращенную во Второе Отделение в начале сороковых годов, но разные соображения, быть может, и основательные, заставили ограничиться более скромным учреждением. Но развитию его не положен предел. Мне даже думается, что почетные академики учреждены именно с целями этого развития...

Конечно, это только гадания, хотя весьма вероятные. Несомненно одно для меня, что высочайший указ от 23 декабря 1899 года развил и существенно дополнил указ от 29 апреля того же года, где говорилось только о шести академиках с присвоенным им содержанием и совсем не упоминалось об академиках почетных.

24 января (5 февраля), № 8588

CCCLIV

В эту пятницу, 4 февраля, приезжает в Петербург знаменитый итальянский трагик Томмазо Сальвини. Александринская труппа отправляется встречать его. Вечером у директора императорских театров, князя С. М. Волконского, назначен вечер в честь замечательнейшего представителя драматического искусства. Это прекрасно. В тот же день, 4 февраля, бенефис г. Дальского в Александринском театре. Он выступает в «Отелло» Шекспира, в главной роли. Надо думать, что вечер у князя Волконского начнется очень поздно поэтому. Вероятно г. Сальвини захочет быть на этом спектакле. Невозможно, конечно, сравнивать Сальвини и г. Дальского. Но на одной и той же афише объявили и о бенефисе г. Дальского и о гастроли Сальвини в том же «Отелло». Таким образом, братство двух артистов засвидетельствовано афишей и, конечно, не к выгоде русского бенефицианта во всех отношениях. У г. Дальского одно преимущество перед Сальвини — он, вероятно, вдвое моложе итальянского трагика, которому теперь семьдесят один год. Но и боги сходили к смертным с вершин Олимпа. Быть может, старый бог почтит своим присутствием бенефис молодого россиянина хоть на некоторое время. С той же самой труппою и на той же самой сцене, через несколько дней ему придется играть. Конечно, в один и тот же день приехать в Петербург, быть в театре и затем на вечере у директора театров — это очень много для артиста, вступающего в восьмой десяток своей жизни. Но божественный огонь преодолевает лета, а артистическое великодушие переживает и божественный огонь.

Я спешу набросать эти строки во славу великого артиста и напомнить читателям, что первый русский, восхитившийся талантом Сальвини, был известный русский критик Аполлон Григорьев. Статья его «Великий трагик» была помещена в первом нумере «Русского Слова» за 1859 год, сорок один год тому назад. Сальвини было тогда тридцать лет, та совершенная артистическая юность, которая полна жара и вдохновения. И Сальвини играл изумительно. Первое его появление на сцене во Флоренции Ап. Григорьев описывает так:

«Изящнее, величавее и стройнее наружности я еще не видывал — это было нечто среднее между исполинским ростом Каратыгина и очень средним Мочалова — на гримированной по условиям роли физиономии, ярко сверкали огненные глаза — и кроме того это была не безобразная физиономия хамита-негра, а открытая благородно-спокойная и, несмотря на зрелый возраст, прекрасная, хотя бронзовая физиономия семита-мавра. В поступи, в движениях видна была исполненная сознания достоинства простота сына степей, соединенная с образованностью средневекового итальянского генерала. Костюм его был великолепен; яркие цвета Востока играли в нем значительную роль, но между тем это был не турок, не араб, а венецианец, сохранивший только некоторые из привычек Востока, в манере одеваться... Все это условия весьма важные, ибо все это поясняет магическое обаяние, которое произвел он на Дездемону».

Театральная обстановка во Флоренции была посредственна. Только актер, игравший Яго, играл умно. При такой обстановке мог играть только Мочалов и «вообще гений первой величины», как замечает Ап. Григорьев. Имя Мочалова у него постоянно на устах. Он вспоминает великого русского трагика «в самые блестящие его минуты».

Чем далее шла трагедия, тем более русский критик восхищался и испытывал невыразимые ощущения. «Странная, непостижимая вещь природа гениального артиста — странное, непостижимое слияние постоянного, огненного вдохновения с *расчетливым* уменьем не пропускать ни одного полутона, полуштриха». После сцены с Яго в 4-ом акте партер преследовал уходящего Яго шепотом произносимыми восклицаниями: «Scellerato! Bestia!!». Ап. Григорьеву потом, когда он записывал свои впечатления, приходил в голову такой вопрос: «Прерывалось ли у трагика во время антракта его нервное расстройство и, припоминая покойного Мочалова, который во время антрактов мрачно и молча сидел или ходил один, вдали от всех, с судорожными движениями — думаю, что нет». И я думаю, он прав. Все вдохновенное, все то, что берет зрителя всего, требует непрерывного вдохновения. Развлекаться в это время разговорами и приемами знакомых невозможно. Русский критик, лучше которого не писал о театре и Белинский, заключает так свои впечатления: «ни восторгаться отдельными моментами, ни анализировать в первое представление было положительно нельзя. Можете ли вы, впервые слушая какой-либо квартет Бетховена или Шумана, восхищаться отдельными ходами? Нет, потому что вас покоряет целость непрерывного впечатления.

Истинно артистическая игра — та же музыка! В ней постоянно ведется один ход, и он-то спаивает, сплачивает впечатления».

Я напоминаю об этом первом знакомстве русского общества с Сальвини по разбору одного из самых талантливых и вдохновенных русских критиков. Мы потом увидели его сами и полюбили всею нашею отзывчивою русскою душою, для которой гениальный человек всегда свой, из какой бы страны он ни явился.

2 (14) февраля, № 8597

CCCLV

Недавно присяжные оправдали детоубийцу. Читатели знают об этом из негодующей статьи г. А-та. Я вспомнил «Власть тьмы» Толстого. Никита, помните, сознался. Оправдают его присяжные или нет? Вообразите, что вы в суде. В суде мать Никиты — Матрена, его любовница Акулина, и его жена Анисья. Несомненно, что все четверо привлечены к суду. Аким вызван в качестве свидетеля, как и Митрич. Вы сами, в театре, присутствовали при всех подробностях этих убийств. Писатель открыл вам все чувства этих преступников и соблюл при этом то беспристрастие, от которого далеки адвокаты и прокуроры. Вы видели актеров и актрис, которые вполне воспроизводили перед вами живых людей, живых преступников. Вы лучше их видели, ближе с ними познакомились, чем могут их узнать присяжные при допросах, прокурорах и адвокатах. В суде драма идет большею частью на почве притворства, лицемерия и лжи. Художественная драма гораздо выше судебной. Она ничего не скрывает, ни дурного, ни хорошего. В ней нет ни обвинителя, ни оправдателя, ни законников, которые присутствуют в качестве судей, обязанных дать резюме и подобрать статью Уложения, согласную с приговором присяжных. Попробуйте быть сами присяжными в этом процессе о двойном убийстве. Постарайтесь дать себе отчет о виновных не по личному вкусу, а с той точки зрения, которая должна стоять выше всяких личных мнений и

временных течений в обществе. По-моему, быть присяжным страшно трудно даже в таком художественном процессе, как «Власть тьмы», где невозможно же все оправдать «властью тьмы»?

Я прочел верное замечание по поводу той же статьи г. А-та, что газетные отчеты о процессах, даже стенографические, не дают того впечатления, которые испытывает присутствующий при разбирательстве дела. В былые годы, когда я часто следил за судебными процессами уголовными и политическими, я испытывал то же самое. Газетные отчеты казались мне довольно мертвенными и напоминали театральные рецензии о представлении пьес. Что вам дает театральная рецензия, даже добросовестная, верно излагающая содержание пьес, а не пародирующая его? Она дает только голый скелет. Больше дает впечатление рецензента, если он чувствует драму и она его захватила своим содержанием или игрою актеров. Как в театре, так и в суде имеешь дело с живыми лицами, с действием, с борьбою страстей и характеров. В суде иногда эта борьба больше волнует. Чем бы пьеса ни кончилась, ее играют актеры, которые после представления так же спокойно пойдут ужинать и спать, как и вы. В суде актеры часто идут на каторгу и в тюремное заключение. Но присутствие на суде не избавляет от ошибочных увлечений, как не избавляют от них и печатные отчеты. Односторонность бывает и там и здесь, а правда только у Бога.

Оправдание присяжными убийц всегда поднимает разговоры за и против. И спор — хорошее дело: он заставляет сильнее биться сердце, глубже чувствовать и наводит на счастливые мысли. Но нехорошо, когда спор в печати сопровождается обвинениями противника в том, что он против суда присяжных. Везде действуют люди, а люди вечно ошибаются. Присяжные тоже ошибаются, как ошибаются и всякие судьи, пройди они все факультеты.

Требовать от суда присяжных, чтобы он всегда был на высоте своего призвания, чтобы он никогда не ошибался — разве это возможно? Суд присяжных — совесть общества. А совесть общества разве не ошибается? Иногда один человек может быть правее всего общества, один скажет такую истину, которую все прочие считают ложью. Осуждать какое бы то ни было учреждение по единичным фактам невозможно. Известный процент приговоров всегда будет возбуждать в обществе и критику, и неудовольствие, но из этого вовсе не следует, что самое учреждение никуда негодно. Оно — лучшее из того, что придумано в настоящее время, но не абсолютно лучшее.

Со мной был такой случай. Одна женщина убила своего любовника. Присяжные ее оправдали. Я высказался против этого приговора. Женщины стали печатать письма, оправдывающие ту, которая убила. Я возражал этим россиянкам, проповедовавшим мщение. Дело это было так громко, что мне была прислана драма, где виновная в убийстве выставлялась героиней. Драма была очень плохая и написана таким вздернутым слогом, который сам собою исключал всякую мысль и всякую правду.

Прошло несколько лет. Приходит ко мне дама и говорит, что у нее есть воспоминания. Не напечатаю ли я их? О чем воспоминания? Она мне отвечает, что ее фамилия такая-то. Она назвала свою известную мне по процессу фамилию и что дело идет об этом процессе. — «Но вы назвали себя иначе, когда пришли ко мне?» — «Да. Я вышла замуж и назвалась фамилией мужа своего». Мы разговори-

лись. Она знала, что я писал против нее и, в конце концов, она согласилась со мной, что печатать теперь ее «мемуары» было бы невозможно...

Надо знать, что первый приговор присяжных по ее делу был кассирован; вторые присяжные признали убийство убийством, но совершенным в запальчивости или умоисступлении. Понятно, что никто против такого приговора не возражал.

Необходимо бороться и против умоисступления, ибо и оно в значительной степени зависит от самого человека. Я помню С. П. Боткина, который говорил: «Никогда не надо распускаться и не давать распускаться другим. Позволить нервам шалить значит пустить их по такой дороге, по которой много бед и несчастий. Дисциплина необходима. Даже сумасшедшие признают ее и иногда выздоравливают благодаря именно разумной дисциплине». Суд присяжных и должен быть этой разумной дисциплиной для человека.

Присяжным ставят вопрос: виновен ли Петр в убийства Ивана? Они отвечают: нет, не виновен. Но этот вопрос распадается на два: убил ли Петр Ивана? Присяжные не могли бы отвечать: нет, не убивал, когда убийство доказано и когда сам убийца в нем сознался. Виновен ли Петр в убийстве Ивана? — Нет, не виновен. Он убил, но не виновен. Значит, убивать можно, по крайней мере, иногда. А мне думается, что убивать нельзя ни в каком случае и я никогда бы не решился отстаивать приговор присяжных, которые оправдали убийцу. И прежде всего потому, что у людей велика еще склонность убивать. В самом деле, подумайте: много ли таких праведников, которым никогда в жизни не хотелось кого-нибудь убить, не хотелось хоть на короткое время, хоть на несколько минут? И еще меньше таких праведников, которые никогда не желали бы смерти другого, не желали бы того, чтобы тот или другой человек был убит или погиб насильственною смертью. Это в частной жизни. А в общественной и того больше. Миллионы англичан теперь желают истребить буров, миллионы европейцев желают поджаривать англичан. Даже Л. Н. Толстой, писавший и против войны, и против патриотизма, подумал: а хорошо бы, если бы вздули англичан! И мы с вами считаем число убитых с удовольствием и смеемся над англичанами, которые это число скрывают. Значит, все мы более или менее убийцы в душе? Вопрос этот может показаться вам нелепым и даже обидным. Вы скажете, что от мысли до дела огромное расстояние. Конечно, огромное, но не важно ли то, что мысли все-таки бывают, хоть мгновениями, быстро проходящие, от которых человек, так сказать, отмахивается. Поэтому пусть присяжные имеют это в виду, когда они выносят оправдание убийцам. Пусть будут смягчающие обстоятельства — тут большой простор для человечности — но кто убил, тот непременно виноват.

3 (15) февраля, № 8598

CCCLVI

VI

Я должен возвратиться к Пушкину и к подделке окончания его «Русалки». Случилось происшествие едва вероятное: ученый филолог, Ф. Е. Корш, защитник подделки г. Зуева и его сотрудник по поддельным стихам, отвечает мне в № 33 «СПб Вед.» длинной статьей. Желая сохранить свое величие, из которого в оба глаза смотрят бессилие и раздражение, он вступает в полемику с журнали-

стом не ради себя, а ради Академии. Я будто бы «открыл целый поход против Академии за выборы почетных (литературных)[1] академиков» и что я будто бы, по академическому выражению г. Корша, «вылил содержание своего критического ушата на него с тем расчетом, чтобы брызги задели Академию». Он самоотверженно принял весь ушат на себя, но не позволяет, чтобы брызги коснулись Академии. Он великодушен.

Я думаю, что Академия не нуждается в его защите: не она вошет к нему, а он к ней. Но оставим это втуне. Ограничусь лишь фактами. Я написал одну объяснительную статью об академическом уставе, в которой ни мыслию, ни намерением не нападал на Академию. Г. Буренин и г. Сигма характеризовали литературную личность некоторых новых академиков и указали имена нескольких почтенных литераторов, достойных стать академиками. Неужели это «поход»? Или для защиты неправого дела, которое имеет все качества, чтобы превратиться в «глупое дело» необходимо брать в руки всякое оружие и не брезгать ни намеками, о которых пока умолчу, ни совершенным искажением моих слов, ни умолчанием о моих доводах, ни выдумками?

Оружие низменное! Но так как г. Корш заявляет, что «филологическая критика ничего не имеет общего с газетной», то очевидно, что это оружие есть необходимая принадлежность филологической критики...

Я этого не думал.

Академии, как учреждения, я не касался и мне не было до нее дела. Но мне было и есть дело до Пушкина, которому навязывают бездарную стихотворную работу какого-то маньяка. До этого есть дело и всему русскому обществу, о чем очень ярко говорят получаемые мною письма. Академия, конечно, могла бы воздержаться от участия в этом слишком бесцеремонном «навязывании» и посоветовать ученому печатать свои «исследования» где ему угодно, но только не в своих «Известиях»; но, по свидетельству самого г. Корша, она руководилась не «верой в подлинность текста, защищаемого» им, а «некоторыми достоинствами научной стороны труда его», которые и я признал и о чем упоминает и сам апостол нового учения о подделке. Он упоминает еще о том, что есть члены Академии наук, которые не разделяют его взглядов, и есть такие, которые оные разделяют: не знает только он их количества. Из этого свидетельства прямой вывод против г. Корша, ибо «брызги» из моего «ушата» могли попасть не в Академию, а только в некоторое количество академиков, быть может, весьма равнодушных к Пушкину по своей специальности или по своим взглядам на поэзию...

Обращаюсь к делу или «разъяснению истины», как характеризует свой ответ г. Корш. Мне думается, что вся его истина поддельная. «Из недоверия к обстоятельствам сохранения какого-либо памятника выводить непременно его подложность есть крупная наивность», говорит он. Почему? Он не объясняет, а прямо называет «пустяками» поставленный мною вопрос о бумаге, на которой г. Зуев записал «Русалку» в 1836 г., и вопрос об его почерке: — «словно он не мог переписать свою запись позже» — действительно наивно замечает наш ученый. В самом деле, неужели подделка не требует прежде всего исследования своего происхождения? Неужели каждый клочок бумаги со стихами, выдаваемыми за пушкинские, требует прежде всего доверия и затем «сличения особенностей поэтиче-

[1] Слово г. Корша. «Почетные» суть только «литературные».

ского слога Пушкина с таковыми же» на клочке бумаги неизвестного происхождения и неизвестного года? Неужели это научно? Да ведь «поэтический слог» Пушкина заполонил всю нашу литературу, ему подражали все, все старались его усваивать и даже большие поэтические дарования не избегли такого плена. Это была главная глубокая река, в которую впадали все остальные, не только стихотворные, но и прозаические. Н. П. Лихачев в своем бесподобном по трудолюбию и вниманию исследовании «Палеографическое значение бумажных водяных знаков» доказал, какое важное значение имеет бумага рукописей, и по ней он определил, что, например, рукописи, относимые к XIV веку, написаны в XV и проч. Описывая рукописи Пушкина, г. Якушкин сообщал везде водяные знаки и по ним исправлял время сочинения тех или других стихов. В течение 40 лет было время г. Зуеву десять раз подделать, не только «переписать»; но если он, по словам г. Корша, «благоговел перед Пушкиным», то как же он мог бросить первоначальную свою рукопись, которая для него должна быть драгоценна? Но все это «пустяки», по мнению г. Корша. Он преисполнился такой веры в г. Зуева, что когда сей маньяк вынул при нем из шкатулки свою рукопись и прочел из нее несколько стихов, наш ученый не посмел ее рассмотреть. Он глядел на г. Зуева и запоминал его хитроумные слова. Г. Бартенев печатал «окончание» «Русалки» со списка и только после моих статей, теперь, г. Корш немного образумился и заявляет желание, чтобы «подлинная запись» была обнародована. Но с этого следовало начать. Да, как у Гоголя: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина»... Уж одно это подрывает все «исследование» г. Корша и свидетельствует об его необыкновенном легковерии, которое он еще усугубляет в своем ответе мне, говоря: «Если уж не верить показанию Д. П. Зуева, отчего не предположить, что в его руки попал подлинник, может быть, тот самый, который, по свидетельству (?) А. О. Смирновой, был передан Пушкиным друзьям незадолго до поединка? В таком случае было бы понятно (?!) и молчание о произведении Пушкина в течение 40 с лишком лет». Да зачем же предполагать всякий вздор, ни на чем не основанный, когда просто даже безумно и «предполагать», чтобы пушкинский подлинник мог быть таким неловким и бездарным, каким мы имеем будто бы его в «записи» г. Зуева?

Будучи легковерным, он претендует на остроумие. Как говорил я (№ 8580 «Нового Времени», стр. 170 этой книги), слово «раскат» показалось г. Коршу темным, ибо оно — фортификационный термин; Пушкин употребил его в «Полтаве» при описании Бендер, напомнившем нашему ученому Голландию с ее ветряными мельницами, а не южную Россию, где и теперь около Бендер и других поселений множество ветряных мельниц. Он мог сказать: «Я знаю Голландию, а южной России не знаю, хотя я русский, а не голландец». Но говорить, что это описание темно, потому что г. Корш не знает того, что знал Пушкин, и потому что в нем находится слово «раскат» — нелепо. Я заметил, что слово «раскат» известно всем, «кто учился русской истории». Вот это последнее выражение так понравилось ему, что он ездит на нем, как ребенок на палочке, и повторяет несколько раз с ужимочками юмориста: Ха, ха... «кто учился русской истории» «... Ха, ха... «кто учился русской истории» и даже так: «Ха, ха! кто учился»... Точно бедный мальчик, которого сконфузили и который начинает хихикать. Смешон тут не я, а г. Корш, ибо слово «раскат» находим в летописях и у наших историков, например, у Костомарова. Оно, быть может, не находится в учебниках по русской истории, но оно стоит во всех словарях. Оно есть в Академическом Словаре еще изд. 1822 г. Это слово знал

Пушкин, а что знал Пушкин, то его читатели обязаны были знать. У Шекспира есть множество выражений, которые далеко не всем его современникам были известны, и кто же его за это упрекает? Всякий великий поэт есть и популяризатор идей и понятий; он говорит о нравах не только людских, но фантастических и мистических; он берет факты, образы и сравнения из животного царства и растительного и проч. и всякий великий писатель поэтому обогащает язык новыми словами и вводит в употребление даже технические слова, если они нужны для его творчества. Примеров можно привести множество, но это так всем известно, что распространяться нечего. Кстати о Шекспире. Я указал на словарь к Шекспиру Мэри Коуден-Клэрк (The Complete Concordance to Shakespeare), о котором доселе не упоминал ни один из переводчиков и исследователей Шекспира, если они последние у нас обретаются, указал по поводу фразеологических параллелей из Пушкина, сделанных г. Коршем. Он мне говорит теперь, что «по части изучения писателей со стороны техники, он (я, то есть) так невинен что смешивает фразеологические параллели с глоссарием». Я ничего не смешиваю: я указал на этот глоссарий к Шекспиру потому, что в нем легко всякому, не выдавая себя за ученого, набрать множество фразеологических параллелей, подобных тем, которые наш ученый набрал из Пушкина, и убедиться, что Шекспир самоповторяется, как самоповторяются все писатели. По этому глоссарию можно проверить всякого критика вроде г. Корша. Какую бы неправильность он ни указал, мне стоит зацепиться за слова выписанной им фразы, чтобы отыскать в Шекспире параллельные выражения. За неимением у нас Пушкинского словаря, г. Корш играет читателями, как ему угодно, при помощи своего сборника фраз. Он понимал эту выгодную позицию свою и потому говорит, ничем не смущаясь. Я и хотел намекнуть г. Коршу, что этот глоссарий к Шекспиру, работы скромной англичанки, есть труд неизмеримо более почтенный и полезный, чем «фразеологические параллели» из Пушкина, которыми похваляется г. Корш и которые подобраны односторонне, для известной цели и притом весьма узкой. Но и этим параллелям я отдал должное, сказав, что г. Корш «дал несколько материалов» для книги, подобной книге Мэри Коуден-Клэрк. Наконец, я веду с г. Коршем спор не филологический и технический, а эстетический и литературный. На этой почве я считаю себя, по крайней мере, равным ему. Я тридцать лет пишу о театре и в этой области приобрел некоторое значение. И о «Русалке» я говорю, как драматический критик. Я могу признать, что г. Корш знает все тайны филологии, но я посылаю ему упреки не за филологию, а за то, что он свою науку употребляет на дрянное дело; за то, что он своими софизмами играет, как фокусник, и поддерживает глупое дело, пошлую подделку, не стоящую выведенного яйца. Я доказываю ему, что безрассудное применение им технического метода есть ложь и обман, а в лучшем случае — самообман, не рекомендующий ни его эстетического вкуса, ни понимания им обязанностей ученого, который не имеет права заниматься пустяками и свой самообман навязывать обществу и Академии наук.

Г. Корш не возразил и на десятую долю моих замечаний, но, как указано выше, часто искажает мои слова и приписывает мне то, чего у меня нет. Вот еще два примера: «Вывода, говорит он, который мне навязывает г. Суворин, будто из повторений в окончании «Русалки» следует его подлинность, у меня, разумеется,нет». Это неправда: нигде я такого вывода не делал. Я привел слова г. Корша (№ 8580 «Нов. Вр.», стр. 173 этой книги), что если «заключительные сцены

«Русалки» были написаны Пушкиным, то мы (т. е. г. Корш) должны ждать *повторений всякого рода*». И тогда, и теперь я считаю эти слова ученого филолога прямо бессмысленными по отношению к пушкинскому творчеству. Нигде я не говорил и такой глупости, что «все слова, формы и обороты, даже не употребительные, встречаются у писателя обязательно более чем по одному разу». А г. Корш дает понять, что именно я могу быть такого мнения, и спешит даже указать, что в «Анджело» Пушкин употребил слово «уверчивость» и больше оно нигде у него не попадается. Следует ли отсюда, спрашивает он, что «Анджело» не принадлежит Пушкину? И победоносно сам себе отвечает: «Разумеется, нет». Справедливее этого г. Корш ничего не говорил, но для чего это сказано? Неужели для показания своей учености? Конечно. В виде устрашающего «жупела», он приводит и термин, обозначающий «единожды сказанное» каким-нибудь писателем, именно hápax eiremenon, и грозно замечает, что «филологическая критика не имеет ничего общего с газетной». Но если она ничего не имеет общего ни со здравым смыслом, ни с изящным вкусом, то ведь эта филологическая критика, насколько она касается подлинности «записи», есть тоже в своем роде hápax eiremenon, ни мало не завидное...

До другого раза: в ответе г. Корша полтысячи строк...

7(19) февраля, № 8602

CCCLVII

VII

Роковая ошибка нашего филолога заключается в том, что он свою науку считает талисманом для определения высот и низин поэтических произведений. Возражая мне на упрек ему, что, подбирая погрешности Пушкина, он «не заботился о вкусе, хотя имел дело с поэтическими произведениями», он замечает: «это также очень наивно; точно форма и содержание одно и то же». Но смею думать, что форма и содержание поэтических произведений у такого поэта, как Пушкин, так тесно слиты воедино, что разделить их почти невозможно. Во всяком случае и форму, и содержание надо постоянно иметь в виду, ибо то прекрасное содержание украшает собою форму, то изящная форма дает значение содержанию неважному. Произведение тем более значительно, чем совершеннее форма и глубже содержание и чем более гармонируют они между собою. Овладеть одной формою однако гораздо легче: ремесленник высекает из мрамора создание гениального скульптора, ремесленник, упражняясь усердно в стихотворном искусстве, пишет недурные стихи. Но наш ученый так отделил форму от содержания, что закопался в нее по уши с микроскопом филологии, и не заметил того, что содержание очутилось на последнем месте[1]. Отсюда все его ложные сравнения и выводы, отсюда его самоуверенность. Она у него так велика, что он не замечает ярких не совершенств даже своего технического метода. Он говорит: «Одно из двух, или покойный Зуев, не говоря никому ни слова о своих научных трудах (?) по языку Пушкина, исследовал этот предмет до тонкости, или — его

[1] Строгий к пушкинскому стиху, г. Корш совсем не требует от зуевского — ни «изящества», ни «содержательности», ни «поэтичности», ни «логической и эстетической необходимости» — всего того, что есть, по его же словам, в истинно пушкинских стихах.

запись подлинная. То же разумей и о стихе. Иного выбора нет, если мой разбор этих частей пушкинской формы верен». Форма, форма! Да ведь есть что-нибудь за формою. И что за важность изучить форму. Г. Корш до «тонкости», по его же словам, изучил язык Пушкина, его форму — что же он может сочинять по-пушкински? Неужели г. Корш не допускает, что и без всяких ученых трудов можно вчитаться в Пушкина так, что усвоишь его особенности, эти параллелизмы, единоначатия, градации и т. д., и научишься компилировать стихи, похожие, при первом взгляде, по крайней мере, на стихи Пушкина? На подражательных поэтах лучше всего это видно. Это видно и на современных нам поэтах, которые в стихотворной форме достигли замечательного совершенства, но содержания у них мало: или оно ничтожно, или оно — перепевы, как говорится. В своей критике «исследования» г. Корша я старался говорить о содержании, и о форме «Русалки». А г. Корш даже относительно *формы* свои выводы основал на случайностях. Я говорил уже (№ 8591 «Нового Врем.») по поводу книги г. Сумцова, что прежде всего необходимо определить *точно* отношения несовершенства пушкинского стиха к его совершенству и этим отношением, этой пропорцией, измерить подделку. Если у Пушкина, например, на сто стихов пять несовершенных, темных, прозаических, неуклюжих, то подделка только тогда похожа на оригинал, когда в ней такие же отношения. Сделал ли это г. Корш? — Нет. У него нет, стало быть, и *верного* мерила даже для *формы* пушкинской и для сравнения ее с формой подделки...[1].

Относительно содержания г. Корш коснулся в своем ответе мне только мимоходом, сказав, что я будто бы «предположил для Пушкина необходимость чувствительной тирады для князя с дочерью». Я говорил не о тираде — тут у моего противника, очевидно, ирония — а о разработке трудной темы. Я говорил об этой сцене подробно (№ 8582 «Нового Врем.», стр. 188 этой книжки), доказывая все бессилие г. Зуева справиться с подобною задачею. О необходимости родительского чувства я действительно говорил и странного здесь нет ничего. В самой песне «Яныш-королевич», едва ли не самим Пушкиным сочиненной, — в самой этой песне говорится об этом чувстве. Когда Водяница сказала, что она дочь Яныша-королевича, —

Королевич при таком ответе
Соскочил с коня вороного,
Обнял дочь свою Водяницу
И, слезами заливаясь, молвил:
«Где, скажи, твоя мать — Елица?
Я слышал, что она потонула?»

И т. д. (см. стр. 62 — 65 этой книги). Надеюсь, г. Корш увидит теперь, что мое мнение основано на словах самого Пушкина, который прямо указывает на «чувствительность» князя, родившуюся при виде дочери: он залился слезами,

---

[1] Г. Южаков, разбирая «с придирчивой строгостью» 496 стихов пушкинской «Русалки», нашел только 8 несовершенных. Но из этих 8 надо исключить стих («Я каждый день о миленьи помышляю»), в котором г. Южаков нашел только 4 стопы, тогда как их пять. Следовательно 7 стихов Но к этим 7-ми он действительно придирчиво строг, как читатель сам это может увидеть. (См. стр. 130 — 131 этой книги). Если мы составим пропорцию: 196:7 + 228 : X, то получим, что на 228 стихов возможно только 3 несовершенных. А в «записи» тот же г. Южаков, очень к ней снисходительный, находит около 90 стихов совсем плохих Вот пропорция!!

обнимая ее. Это и есть та тема, на которую я указывал и которую в драматическом произведении надлежало бы развить полнее, как полнее в нем развиты остальные темы «Яныша-королевича». Краткостью г. Зуев скрывал свое убожество.

Я еще раз возвращаюсь к этой поистине убогой краткости в тех же сценах, о которых речь идет (VI и VII). Русалочка говорит тираду. Князь произносит несколько банальных восклицаний. Мельник произносит тираду. Князь молчит. Мельник начинает с ним драку. Князь молчит. Русалочка кричит. Князь молчит. Русалка является из Днепра. Князь молчит. Русалка говорит тираду. Князь молчит. Она скрывается в Днепре. И тогда князь говорит нечто бессмысленное и бросается в Днепр. По-моему, все это доказывает бездарность г. Зуева. А г. Корш говорит: «совсем по-пушкински!» Где же он нашел что-нибудь подобное у Пушкина? В каком произведении Пушкин оставляет своего героя бессловесным в сильном драматическом столкновении и где он мгновенно его умерщвляет, чтоб от него отделаться? Смерть Дон Жуана изображена коротко, но несмотря на то, что Дон Жуана держит в своей каменной руке Командор, Дон Жуан в эту минуту говорит вдвое больше, чем князь в «Русалке». Борис Годунов перед смертью произносит большой монолог, передавая своему сыну свои взгляды на управление страной. В «Скупом рыцаре» барон умирает от удара, но и в этом случае умирающий говорит перед смертью вдвое больше, чем князь. В «Моцарте и Сальери» отравленный Моцарт играет «Requiem» и говорит еще монолог, чувствуя уже себя нездоровым. Где же вы, г. профессор, нашли у Пушкина такую бессмысленную краткость? Смерть княгини обработана Зуевым тоже с краткостью подделыцика, лишенного всякого дарования. Ей подают обручальное кольцо, она говорит: «Кольцо?.. Кольцо!.. Ох, сердце!!!» и падает мертвая. Четыре восклицательных знака, один вопросительный, два слова и междометие... «Совсем по пушкински!»..

Вот уж Пушкин-то мог бы повторить слова Ломоносова, что дураком он и у Господа Бога не желает быть, а не то что...

На чем основали вы, г. Корш, свое право делать сравнения между юношескими произведениями Пушкина и его творчеством в самые зрелые годы? Вы говорите теперь, что «подложность окончания «Русалки» выводили между прочим из повторения в нем некоторых оборотов (??), встречаемых в первой, несомненно подлинной части; потому (?!) у меня выведены в особую группу самоповторения в одном и том же произведении, например, в «Руслане и Людмиле».

Во-первых, дело идет не о «некоторых оборотах» — г. Корш опять искажает слова своих противников[1] и в том числе мои — дело идет о повторении целых стихов, о повторении сцен, мотивов, фактов из пушкинской «Русалки». Мало того, г. Зуев на пространстве 228 стихов повторяет свои выражения, например русалки у него говорят о себе: «блистая красотой» и княгиня говорит о себе же: «блистая красотой». Убожество его фантазии так велико, что он не в состоянии найти характерные черты для речей русалок и княгини. Мамка в последней сцене дважды говорит одно и то же. Во-вторых, в «Руслане и Людмиле» 2850 четырех-

---

[1] Г. Корш в своем исследовании, полемизируя с критиками «записи», ни одного из них не называет по фамилии. Но, как видно по цитатам, он преимущественно останавливается на г. Буренине и г. Якушкине. Первого он называет «самым строгим критиком», а последнего — «самым основательным». И вот этот самый основательный критик говорит: «В записи г. Зуева *очень много* повторяется такого, что мы знаем из начальных сцен драмы» и проч. См. стр. 97 этой книжки.

стопных ямбических, рифмованных стихов, а в «Русалке» 496 стихов пятистопного ямба, не рифмованных[1]. В-третьих, «Русалка» — драма, а «Руслан и Людмила» — поэма. В-четвертых, между последней песнью «Руслана и Людмилы» и «Русалкоії» прошло, по крайней мере, 10 лет, которые полны, между прочим, «Цыганами», «Полтавою», «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым» и самыми совершенными лирическими стихами. Какие же у вас, г. Корш, права объяснять повторения в зуевском окончании «Русалки» самоповторениями Пушкина в «Руслане и Людмиле»? — Какие? — Невыразимое усердие доказать то, чего даже и доказывать не следовало...

Взяться за рассмотрение поэзии Пушкина со стороны ее недостатков заставили г. Корша, по его собственным словам, критики, которые, при поверке подлинности стихов, приписываемых Пушкину, «не знают иного способа, кроме применения мерила совершенства, определяемого к тому же их собственным вкусом. На таком коне далеко не уедешь».

В самом деле? До сих пор на таком коне мы доехали до сознания того, что Пушкин — родоначальник современной литературы, что он великий поэт. Он питал и воспитывал целые поколения писателей и вообще русских людей. Если бы не было никаких критиков, если б не было Белинского с его горячей мыслью и поэтическим чутьем к изящному, Пушкин все-таки свое дело сделал бы и сделал бы так же блистательно...

А вот вы, г. Корш, на своем коне доехали до г. Зуева, влюбились в его вирши, приняли бездарного стихоплета за поэта, плохого компилятора по Пушкину за самого Пушкина, да и мало ли куда вы ни заехали на своем коне...

Я знаю, куда вы еще заехали на этом же коне. Я укажу на печатные источники, которыми пользовался г. Зуев и которые явились в свете за 30 и за 20 лет до его «записи». Г. Коршу придется или опять утруждать академические «Известия» своим новым «исследованием», или честно сказать, что он увлекся своим методом и сделал грубейшую ошибку, достойную и смеха, и сожаления о потраченном труде...

Об этом своем открытии я скажу завтра.

11 (23) февраля, № 8606

CCCLVIII

VIII

Вот мое открытие.

Инженер Зуев достроил «Русалку» Пушкина по Пушкину и... по инженеру А. И. Штукенбергу, который напечатал «Окончание к «Русалке» Пушкина в 1866 г.[2], и

---

[1] В этом числе и рифмованные других размеров.

[2] «Осенние листы. Собрание стихотворений Антония Крутогорова СПб. 1866 г.» На эту книгу и на ее сходные черты с «записью» я указывал уже в № 8584 «Нового Времени». Под псевдонимом А. Крутогорова писал Антон Иванович Штукенберг (род. 15 августа 1816 г., ум. 17 марта 1887 г., тайный советник). Экземпляр его книги, находящийся в моей библиотеке, приобретен мною у букиниста, в плохом переплете, но на оборотной стороне первой крышки с наклеенной вырезкой из газеты, заключающей некролог А. И. Штукенберга. Отсюда я и мог раскрыть его псевдоним — перевод его немецкой фамилии на русский язык. Стоило бы узнать московским библиографам и библиофилам, кто скрывается под литерами П. О. П.

по И. О. П., напечатавшему в 1877 г. в Москве «Продолжение и окончание драмы Пушкина «Русалка».

Штукенберг служил при графе Клейнмихеле и Чевкине, построил Каменноостровский и Крестовский мосты и был долгое время старшим техником петербургской городской управы. Замечательно, что Зуев, подождав полной описи бумаг Пушкина и издания его сочинений Литературным фондом в 1887 г., подождал и смерти А. И. Штукенберга (17 марта 1887 г.), прежде чем читать свое «окончание в каком-то литературном кружке», по словам г. Корша, 30 ноября 1887 г. — в Русском Литературном обществе он читал в феврале 1889 г. «Русалка» г. Штукенберга состоит из 545 стихов, следовательно немного более пушкинской (496 стиха) и вдвое более зуевской (228 стихов). В «Русалке» И. О. П. около 680 стихов.

Таким образом, г. Зуеву, кроме Пушкина, предстоял большой выбор среди 1225 стихов его продолжателей. Надо ему отдать справедливость, он собирал по зернышку и был краток, словно предчувствуя, что за эту краткость сопричтут его к лику великих поэтов. По моим сведениям, он был мастер на мистификации, а потому знал, что чем короче подделка, тем менее в ней прорех. Он не развивал действия, не касался внутреннего, так сказать, быта русалок, которому продолжатели посвятили много стихов. «Русалка» Штукенберга написана правильным четырехстопным ямбом; И. О. П. плохо владел стихосложением, но и у него встречаются хорошие стихи, как и у Штукенберга. У И. О. П. князь бросается в Днепр и княгиня умирает, задушенная ожерельем, подарком Русалки. У Штукенберга князя уносят русалки в Днепр, он проводит там ночь, возвращается домой и снова тянет его на дно реки. Княгиня не пускает его, являются русалки, он умирает, а за ним и княгиня. Как я уже говорил, кончается драма у Штукенберга краткими словами мамки в 9 слов, у Зуева в 7. И Штукенберг, и И. О. П., кроме сцен, которых у г. Зуева нет, но из которых он все-таки черпал, дают сцены свидания князя с Русалочкой и Русалкой (последней нет у г. И. О. П.), охотников, хор русалок и сцены княгини и мамки, и все эти сцены аналогичны с зуевскими не только по мотивам, но даже в подробностях, словах и выражениях, представляя иногда повторения, чуть-чуть замаскированные. У Зуева остается только один сон княгини да кое-что в сцене охотников — все остальное *похищено и компилировано*. Я должен к этому прибавить только оригинальный зуевский колорит, как его неотъемлемую собственность, колорит старого «сладострастника» — известное выражение Достоевского в «Братьях Карамазовых». В речах Русалки, Русалочки, княгини, охотников — этот старчески-сладострастный колорит господствует, чего нет ни в пушкинской «Русалке», ни у продолжателей ее.

На эту черту «записи» указал еще г. Якушкин («Русские Ведомости» 1897 г. № 79, см. стр. 97 этой книги), назвав это «грубостью в образах, в выражениях». Г. Корш в своем «исследовании», сравнив указанные ему места, сам находит «чуть ли не одну общую для всех (действующих лиц) черту: в них есть намеки на половые отношения». Но он старается устранить это обвинение, ссылаясь на слова Пушкина о неприличии и грубости, сказанные им по поводу «Бориса Годунова» и «Графа Нулина» и даже на письма Пушкина к жене, точно эти письма он писал для публики. Но все это совсем не относится к тому, что разумел, по моему мнению, г. Якушкин и разумею я. У Пушкина если и есть грубости и вольности, то это грубости и вольности здорового и сильного русского человека. У г. же Зуева именно образы и положения, приятные бессильному сладострастнику...

Так как я уже указал, что конец «записи» аналогичен с «окончанием» «Русалки» Штукенберга, то и пойдем от этого конца к началу «записи».

Сцена между мамкой и княгиней у Зуева. Мамка утешает печальную княгиню; она видела сон и ждет не дождется своего мужа, искать которого пошли охотники. Мамка говорит:

Вернется твой соколик,
Промешкался охотой не впервые.

У Штукенберга: мамка утешает княгиню, говоря, что князь «найдется»:

На дичь должно быть красную напал
И запоздал один в лесу дремучем.

У Зуева: мамка просит княгиню успокоиться («спокойся»), «милостив Господь», «молись Христу», «Он посылает радость и печаль».

У Штукенберга мамка говорит:

Успокойся,
Княгинюшка, угодникам молись,

и еще:

Во всем Господня воля.

Как видите, Зуев только перифразирует Штукенберга. У Зуева княгиня говорит мамке о тоске своей и о любви своей к князю с упоминанием о поцелуях, опочивальне и своей «трепетной груди», в зуевском стиле сладострастника. Г. Корш находит, что «построение этого места вполне пушкинское».

Но у Штукенберга то же самое, но в его тоне: княгиня тоскует, молится Пречистой со слезами: она знает, что князь охладел к ней:

А все же был при мне желанный мой,
Я на него украдкой любовалась...

По моему, это место по своей правде и простоте неизмеримо более подходит к Пушкину.

У Зуева: охотник приносит княгине обручальное кольцо князя, которое вручает ему Русалочка.

У Штукенберга: ловчий приносит княгине ладанку и крестик, которые он поднял на берегу Днепра: по просьбе Русалочки, князь сбросил их с шеи.

Предметы разные, но одинаково драгоценные для целей драмы. Зуев переменил только ладанку и крест на кольцо.

Мотивы и некоторые подробности для сцены охотников заимствованы Зуевым у И. О. П. таким образом:

у Зуева один из охотников рассказывает, что слышал «княжий голос», «голосок ребенка» и женский голос», то есть Русалочки и Русалки.

У И. О. П. ловчий рассказывает о «голосах», которые слышал конюший:

Один был князя голос, а другой...
Мельничихин голос, что, говорят, давно
В реке Днепре утопла.

Зуев прибавил «голос ребенка» и разные прилагательные, которых вообще у него много, за недостатком мыслей.

У Зуева старший охотник говорит, что не могут найти князя:

Ни следа,
Ни голосу. Сказать, что *в воду канул*.

Один из охотников:

Не говори... *Не в добрый час догадка*.
О дочери, чай, мельника слыхал?
Красавица, каких и не бывало.

Г. Корш находит тут «художественную черту» и комментирует так: «Исходя из народного поверья, он (охотник) несомненно еще прежде догадался, что утопленница сделалась русалкою, — таким существом, которое легко могло погубить князя в этом месте; а где нечистая сила, там говорить о ней не следует»»

У И. О. П. почти буквально то же самое и то же «народное поверье»: конюший рассказывает о своих поездках с князем на мельницу и о дочери мельника:

С ней *по красоте* боярышня б любая
Не сравнилась. Жаль бедную! Не вынесла разлуки.
Здесь, бают, под мостом она в тот
День и *утопилась*.

Один из охотников:

Наше место свято!
Зачем *утопленницу* здесь ты вздумал
Поминать. Далеко ль до греха!

У Зуева хор русалок предшествует сцене охотников. Русалки хотят их заманить, «песней страстной, огневой». У И. О. П. хор русалок является уже перед уходом охотников домой, так как ночью князя не найдешь; зуевские охотники тоже об этом говорят, но решаются подождать утра.

О монологе Русалки я говорил подробно (№ 8581, стр. 180 этой книги). Это старчески сладострастный подбор слов, выраженный отвратительными стихами. Но вся тема этого монолога и даже отдельные выражения похищены Зуевым у Штукенберга и у И. О. П. У Штукенберга она «долго ждала князя» (у Зуева: «долго, много лет ждала); как у Зуева, она вспоминает, что «жаждала любви», «томилась желаньем», он же «за любовь к нему *покрыл позором*» (у Зуева:

«румянец ты украл, *покрыл позором*»); он ее покинул, «равнодушно шел к венцу с другой» (у Зуева «под венец пошел с княжною»); «с любви к нему и с горя утопилась» (у Зуева «с стыда, да с горя в воду — погибла!»); но «погибла я, да не совсем — и мстить еще могу, на то есть жизнь и сила» (у Зуева: «безумно мстить хотела за обман, девичий стыд, страданья ревности, за объятья с разлучницей»; у И. О. П. «разлучница лихая»). Далее у Зуева: «Увидела, забыла оскорбленья... *Не нагляжусь*». У Штукенберга Русалка тоже горит мщением, но увидела его и не может не воскликнуть: «*Но все ж любуюсь*. Как он *пригож*! Зачем он изменил?» Далее она говорит, что лицо у нее осталось то же самое, что совершенно отвечает понятию о русалке, но разбито сердце, которое теперь «иное, русалкино, холодное, свободное, как на Днепре волна», как и у Пушкина «холодная и могучая», «помышляющая о мщеньи» русалка. У Зуева Русалка опять переходит к поцелуям: «И ждут уста твои поцелуй желанный, истомный, и т. д.» — соответствующее по аналогии место у И. О. П. в словах князя: «в твоих очах мой страстный взор ответ любви прочтет и губ моих твой жаркий поцелуй один лишь раз коснется и замрет» («истомный поцелуй»?). «Русалкину холодному сердцу» у Штукенберга соответствует у Зуева: «поцелуй мой — смерть».

У Зуева Русалка говорит князю при дочери:

> Как приглянулась дочь
> Красавица, красавцем зачатая —
> Тобой.

Г. Корш замечает, что Русалочка «как демон лукава», она — «ребенок, но из породы существ, созданных для заманивания людей в воду». У Штукенберга то же самое, что у Зуева, но Русалка говорит определеннее и ближе к комментарию г. Корша, указывая на дочь:

> Вот наша дочь — теперь твоя ловушка!
> Ты на нее взгляни-ка хорошенько:
> Она такая же, как я, русалка!
> И в ней душа — притворство и лукавство.
> И вот одно наследство от тебя.

Г. Корш соглашается, что в других сценах «записи» есть повторения из пушкинской «Русалки», но монолог Русалки зато он считает вполне оригинальным. Из приведенных сравнений видно, какова эта оригинальность. Кроме подбора сладострастных слов и трех последних стихов, в этом монологе все заимствованное. Прибавлю, что фраза Зуева «от слез угасли очи» есть повторение стиха Штукенберга «от беспрестанных слез померкли очи»; стих в хоре русалок, очень плохом и по фактуре и по содержанию, «Говор листьев, птичек пенье», очень понравившийся г. Коршу, находит свое соответствие в стихах г. И. О. П. — «И волны, и листы, и птичек голоса все дружно мне поют», и проч.

«Запись», как известно, начинается сценой князя с Русалочкой (шестая сцена в изд. «Рус. Архива»). Я говорил (№ 8582 «Нов. Вр.», стр. 189 этой книги), что монолог Русалочки состоит из 30 стихов, из них 23 взяты или слово в слово, или в пересказе из пушкинской «Русалки». Надо прибавить теперь, что зуевский «наш терем вод прозрачных» взят у И. О. П. — «наш терем из хрусталя прозрачного».

У Зуева Русалочка говорит:

В Днепре меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала.

У Штукенберга:

на дне Днепра
Я родилась; меня качали волны
И я росла в подводном тереме.

И еще:

Мы (русалки) его (князя) спеленали в воде.

Стих из того же монолога, которым г. Корш восхищается —

Ах, в кустике там птенчик встрепенулся, —

по замечанию Г. Буренина, заимствован из пушкинской песни русалок:

Тише! Птичка под кустом
Встрепенулася во мгле.

Приняв это все в соображение, в монологе Русалочки собственно зуевских мыслей нет никаких и из 30 стихов и трех не наберется, в которых не было бы заимствований и перифраз. Я говорил уже, что в этой сцене князь произносит всего 19 слов, считая такие, как *и, я, с, ль, по, кто, же, ты*, но и в этих словах самое существенное «Дочь! Боже, дочь русалка!» взято у Штукенберга, где князь восклицает: «Мое дитя — бездушная русалка!»

Все это заимствования бесспорные. Мало этого. Самое расположение всей шестой сцены и все существенные подробности ее взяты Зуевым у И. О. П. У него Русалочка тоже передает родителю поручения своей мамы, но короче, точнее и лучше. Князь спрашивает: жива ли ее мать? Русалочка отвечает:

О, да, жива, и все тоскует по тебе
И плачет. Все говорит: «Когда-то
С ним увижусь я опять!» И нынче, меня
На берег посылая, «скажи ему», так молвила
Она, «что все по-прежнему его люблю и
Жду к себе». Пойдем, отец, пойдем
Со мной я покажу тебе хрустальный
Наш дворец, и рыбок золотых, и чашу
В тростнике, где я одна при месяце
Сижу. Пойдем.

Хотя этим стихам недостает правильной меры, они неизмеримо лучше зуевских[1]. Зуев взял этот рассказ и растянул его своими неуклюжими прибавками и заимствованиями у Штукенберга.

Вот как творил г. Зуев, или, по г. Коршу, Пушкин!

В то время, как князь разговаривает с дочерью (у И. О. П.), подходит мельник и подслушивает. Князь уговаривает Русалочку идти к нему. Мельник говорит про себя:

Бездельник князь!
В свой терем внучку хочет заманить.

У Зуева мельник говорит не про себя, а прямо князю, но совершенно то же самое:

Не ласкою ль обманной,
Как дочь мою, и внучку погубить
Замыслил!

Зуев чуть-чуть изменяет сценарий против И. О. П., но следует за ним во всех подробностях. У Зуева мельник является тогда, когда князь берет на руки Русалочку и целует (у Штукенберга он берет ее и «прижимает к груди»). У И. О. П. мельник, как уже сказано выше, выходит ранее и подслушивает. У Зуева Русалочка остается и кричит: «Мама, мама!» На этот крик является Русалка, отчитывает князя и он бросается в воду[2]. У И. О. П. Русалочка не дается целовать и кидается в воду. Князь идет за нею, желая ее спасти. Тогда мельник бросается на него. Борьба, как у Зуева, но князь старается вырваться. Мельник тащит его в лес и говорит монолог, поразительно схожий с зуевским. Вот этот монолог у Зуева:

У ворона — *я ворон* — клюв остер,
И когти есть; он защитить сумеет;
Он крыльями могучими собьет
И острыми когтями сердце вырвет;
Он *очи выклюет*, княжии очи!
И дочери *на дно реки* пошлет
Подарочек. *Пусть тешится подарком.*

---

[1] Вот еще, опять неправильные, но поэтические стихи, до каких Зуеву далеко.

Чуть плещется прозрачная волна,
О тихий берег ударяясь, и тихий разговор
Со мной ведет она, у ног моих
Струями разбегаясь, и вторит
Ей задумчивый тростник, при легком
Ветерке звуча и наклоняясь. Как
Сладок их таинственный язык!

[2] У И. О. П. борьба мельника с князем кончается над обрывом Днепра. Мельника убивают охотники выстрелом из ружья, а князя уносят домой. Русалочка эту борьбу рассказывает матери, Русалке.

Как коршун разъяренный,
Дед на отца с угрозой наступал.

У г. И. О. П. мельник говорит:

Не знаешь ты, что здесь
Хозяин я, я — *ворон*. И что когтей
Моих теперь тебе не миновать.

Князь

Пусти, иль я тебя убью.

Мельник

Убьешь, коль совладаешь. А не то,
Как малого птенца, тебя я
Унесу с собою в лес на старую
Осину и там лицо твое когтями
Разорву и *выклюю глаза и сердце*
Раздеру на половинки и *брошу*
В Днепр. Пускай *его там*
Дочь моя найдет и вдоволь посмеется,
Как посмеялся ты над ней.

Сравните, г. Корш, и судите. У Зуева: «сердце вырывается когтями»; у И. О. П. — «лицо разрывается когтями», гораздо естественнее для когтей ворона. У Зуева: «выклевываются очи» и на дно реки посылаются для потехи Русалке; у И. О. П. — «выклевываются глаза», т. е. очи, но на дно реки не посылаются, ибо опять естественнее: глаза — величина очень маленькая, в воде чуть заметная; зато у г. И. О. П. посылается для потехи Русалке «в Днепр» нечто гораздо большее, именно «сердце, разодранное на половинки»...

Таким образом, несомненно, если верить г. Коршу, Пушкин этот монолог заимствовал из книги, напечатанной в 1877 году. В довершение всего этого, г. Корш, останавливаясь с некоторым сомнением на последнем стихе монолога мельника и на последующем, неправильном стихе Русалочки («Мама! Мама!» и проч.), и даже стараясь переделать их оба, замечает с своей неизменной любовью к г. Зуеву: «*Крепко ручается за добросовестность г. Зуева* неправильный стих, оставленный им в полной неприкосновенности»...

Бедный Пушкин! Не верит ему г. Корш, чтоб он не мог написать неправильного стиха, но крепко верит в добросовестность г. Зуева, который якобы этот стих записал со слов Пушкина, как и все остальное...

Какова добросовестность г. Корша, я не решаю. Хочу думать, что он разыграл роль городничего перед Хлестаковым, оставаясь вполне добросовестным человеком.

Во всяком случае, теперь несомненно для всех, что г. Зуев обобрал не только Пушкина, но и гг. Штукенберга и И. О. П., и что вся история о встрече у Губера с Пушкиным, который читал «Русалку» — выдумка «маститого старца», который легкомысленно совершал, по моему, преступление против родины...

Я приглашаю г. Корша проверить мое «исследование» и убедиться вместе с Б. Н. Чичериным, П. И. Бартеневым, некоторыми академиками и «старыми и молодыми знатоками» Пушкина, имена которых г. Корш не называет, что все они чучело гороховое принимали за бога...

«Филологическая критика, по словам г. Корша, ничего не имеет общего с газетной»; занимаясь газетной критикой, я доказал, что филологическая критика ничего не имеет общего с правдой, с литературным вкусом, с уважением к великому поэту, с уважением, наконец, к науке, если эта критика направлена фальшиво, с самоуверенностью непогрешимого ученого, который вообразил, что ночным колпаком стихоплета можно пробить стену пушкинского мрамора...

Аминь и Богу слава.

12 (24) февраля, № 8607

CCCLIX

IX

Еще одно, последнее сказанье...

Я получил следующее письмо:

«В последней статье о «Русалке» Пушкина, у вас (№ 8607) приведено несколько отрывков из «Продолжения Русалки» г. И. О. П., причем вы, указывая на поэтичность некоторых стихов, называете их «неправильными». Вы совершенно напрасно упрекаете автора в неправильности стиха. Разделив строки по действительным размерам стопосложения, получим, без всякого иного изменения приведенных строк, вполне правильное и звучное рифмованное семистишие, а именно:

Чуть плещется прозрачная волна,
О тихий берег ударяясь,
И тихий разговор со мной ведет она,
У ног моих струями разбегаясь;
И вторит ей задумчивый тростник,
При легком ветерке звуча и наклоняясь.
Как сладок их таинственный язык!

Искажения, вероятно, принадлежат переписчику, как здесь, так и в других отрывках, вами приводимых. Вот как следует их читать:

...с ней по красоте
Боярышня б любая не сравнилась.
Жаль бедную, разлуки не снесла.
Здесь, бают, под мостом она
В тот день и утопилась.

Монолог Русалочки можно реставрировать, почти ничего не изменяя:

...О, да, жива и все
Тоскует по тебе и плачет, говорит:
«Когда-то с ним увижусь я опять!»
И нонече, меня на берег посылая:
«Скажи ему, — так молвила она, -
Что все по-прежнему его люблю и жду
К себе. Пойдем, отец, пойдем со мной.

Я покажу тебе хрустальный наш дворец
И рыбок золотых, и чащу в тростнике,
Где я одна при месяце сижу.
Пойдем!

Наконец, в четвертом из взятых вами у г. И. О. П. отрывке можно расставить стихи так.

Мельник

Не знаешь ты, что здесь
Хозяин я: я — ворон, и когтей
Моих теперь тебе не миновать.

Князь

Пусти, иль я тебя убью.

Мельник

Убьешь, коль совладаешь. А не то,
Как малого птенца, тебя я унесу
С собою в лес, на старую осину,
И там лицо твое когтями раздеру
И выклюю глаза, а сердце разорву
И брошу в Днепр. Пускай его там дочь
Моя найдет и вдоволь посмеется,
Как посмеялся ты над ней...

Кто такой г. И. О. П., мне неизвестно, но ясно, что автор здесь не был ни переписчиком, не редактором и издателем. Не естественно ли предположить, что г. И. О. П. издал чужую рукопись, представлявшую собою очень плохой кусок чужого же произведения?

Гр. Немиров».

Очень может быть, что г. Немиров прав. Г. Якушкину («Рус. Вед.» 1897 г., № 79) было известно два продолжения «Русалки»: либретто Даргомыжского и г. И. О. П., но и он, очевидно, не догадывался, как и я, о том, в каком виде напечатана «Русалка» г. И. О. П. Я указал еще на «Русалку» г. Штукенберга (Кругогорова), о которой доселе никто не упоминал. Перечитав после замечаний г. Немирова «Русалку» г. И. О. П., я убедился, что действительно стихи напечатаны без всякого толка. В иных местах стих легко реставрировать, в других или надо выбрасывать лишние слова, мешающие гармонии, или изменить порядок слов, или делать незначительные поправки. Монолог князя, из которого приведено выше 7 стихов (Чуть плещется и т. д.), продолжается так:

Он о былом так много говорит,
И волны, и листы, и птичек голоса,
Все дружно мне поют о тех годах, когда
В сиянье радужном мне счастья луч блистал
И жаждой слух мой шепотом любви

Так долго и доверчиво ласкал.
О многом мне поют все эти голоса,
О многом мне они напоминают.
И в сладкую, задумчивую грусть
Меня невольно погружают.
А там, близ мельницы, скрываясь за ветвями,
Укромный домик некогда стоял,
Приветливо при месяце блистали
Резными ставнями украшенные окна
И в сладостный приют к себе манила
Гостеприимно растворявшаяся дверь.
Но что со мной? В сне ли вижу я!
По-прежнему стоит он там опять,
По-прежнему оконца засветились
И настежь растворилась дверь. Иду.
Иду к тебе, приют гостеприимный,
Приют любви моей свободной и живой.
Как сердце вдруг забилося в груди
Привычным трепетом желанья и любви!

Далее стих не так легко восстанавливается. Но мысль автора стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Князь галюцинирует. «В окне мелькнула тень и в сумраке растворенных дверей знакомый облик показался» — он узнает дочь мельника. Она вышла на крыльцо, сошла «со ступенек, до мостика дошла и остановилась»:

Задумчиво и грустно вдаль глядит,
Глядит и чудною улыбкою лицо,
Как радужным лучом, внезапно озарилось;
Дрожат полураскрытые уста
И ряд зубов, как снег белея, блещет.
Но вот она немного отклонилась...
Постой, не уходи. Дай раз еще прижать
К моей груди твой легкий и колеблющийся стан,
Пусть только раз в твоих очах
Мой страстный взор ответ любви прочтет
И губ моих твой жаркий поцелуй
Один лишь раз коснется и замрет.
Исчезло все. Одна лишь мельница, скрыня
Увечным колесом, с насмешкой злобной
Взирает на меня.

Но она ушла. Вот опять она явилась, в другом наряде, в дорогой повязке и жемчугах. Он их узнал, он кричит, чтоб она сбросила их с себя — «Я ими раи, блаженство на муки ада променял», — но она не слышит, подходит к Днепру, наклонилась над ним. Он кричит: «Стой! Ни с места дальше. Холодная волна тебя не поглотит». Он бросается вперед, но она «как воск растаяла опять».

Князь слышит голоса ищущих его охотников и прячется от них. Охотники уходят, заслышав песни русалок. Остается один конюший, который забирается в

мельницу и слышит «шабаш» русалок на Днепре, голос князя и Русалки. Он передает об этом ловчему, ловчий княгине. Она негодует на нерадивость охотников и сама собирается идти искать князя, но он является и надевает на нее ожерелье жемчужное, которое передала ему, очевидно, Русалка. Об его свидании с нею говорит только ловчий, но имеется ее монолог, где она грозит мщением ему и княгине и приказывает русалкам собрать со дна реки жемчужное ожерелье, которое она туда бросила. Ожерелье душит княгиню и она умирает, а князь бросается к Днепру. Он, очевидно, сходит с ума. Он видит хрустальный терем, его тянет к себе шир и «дикое веселье русалок», он зовет слуг, чтоб они проводили его в терем царицы:

Иль вы боитесь по ступенькам
В хрустальный терем к ней сойти,
Иль в камышах, кустах днепровских
К нему дороги не найти?
Пустое, братцы, посмотрите:
Здесь путь не долог и широк,
Меня зовет она... Глядите!

И он бросается в Днепр. Если б восстановить правильность стиха в этом «Продолжении и окончании Русалки» г. И. О. П., то его можно бы назвать лучшим из всех *окончаний* «Русалки», а зуевское самым ничтожным, как рабскую компиляцию по Пушкину, Штукенбергу и г. И. О. П. Я должен еще прибавить, что все продолжатели пушкинской «Русалки», не исключая г. Зуева, хорошо были знакомы с «Днепровской Русалкой».

Мне не хочется, чтоб это «дело» о «Русалке» осталось разбросанным по газетам и журналам. П. А. Ефремов, по моей просьбе, прислал мне все то, что являлось в периодической печати о зуевской «записи». Он всегда собирал о Пушкине все, что ни являлось в печати, и собирал все пушкинское, печатное и рукописное. У него превосходная библиотека и огромное собрание гравюр и литографий. Благодаря ему, мы имели прекрасные издания Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Полежаева, журналов Новикова и проч. Он напечатал полное собрание сочинений Радищева, но оно было задержано цензурою тому много лет назад. Мне думается, что пора бы снять запрещение с книги Радищева. П. А. Ефремов — один из тех редких и талантливых знатоков нашей литературы, которые не знают другой радости, кроме радостей, которые доставляет она. Едва ли кто, кроме того, знает так хорошо, как он, ее домашнюю, так сказать, историю, ее скитания по журналам, по цензурам, ее анекдотическую часть и т. д. В присланном им мне экземпляре «Русалки», изд. «Рус. Архива», на внутренней стороне обложки я нашел следующие его строки, указывающие на то, что Пушкин и не писал «Русалку» далее того последнего стиха, который нам известен:

«Кажется, никто из рецензентов не обратил внимания, говорит П. А. Ефремов, что в черновых бумагах Пушкина между более или менее отделанными стихотворениями встречаются наброски из старых пьес еще за несколько лет до их окончательной отделки. Из «Русалки» такие отрывочные наброски тоже встречаются в разных местах, но *исключительно только* из той ее части, которая заканчивается появлением *Русалочки* (Ср. Якушкина в «Русск. Старине» 1884 г.,

июль, стр. 50, октябрь, стр. 77 — 78 и ноябрь, стр. 349 и 355). Дальше же этой сцены нет *ни единого* стиха (т. е. из зуевской части). Правда, в «программе» (октябрь, стр. 78), указаны в конце «Охотники», но и это относится к 4-й сцене, когда княгиня посылала их за князем, а русалки изъявили желание: «не догнать ли *их* скорей». Говорить тут только *один* ловчий, но ведь князь спрашивает: «Зачем *вы* здесь?»

Все эти замечания г. Ефремова очень ценны. Толкование им программы пушкинской «Русалки» вполне правдивое и ясное, тогда как толкования г. Корша и других направлены весьма односторонне.

И. А. Шляпкин, разбиравший рукописи Пушкина, не бывшие в руках г. Якушкина и среди которых он нашел до 200 неизданных стихов Пушкина в виде набросков, говорил мне, что и в этих бумагах нет никакого следа по работе «Русалки».

Г. Онегин пишет мне из Парижа, что и в рукописях Пушкина, у него хранящихся, нет ничего такого, что напоминало бы «Русалку».

Сколько мне известно, и Л. Н. Майков, редактирующий академическое издание Пушкина, не нашел ни единого стиха, относящегося к окончанию «Русалки», в тех рукописях, которые изучал и изучает он.

21 февраля (5 марта), № 8615

CCCLX

Московская купчиха боялась слов «металл» и «жупел». Это смешно. Но совсем не смешно, если эти слова ставят перед огромными государственными предприятиями и говорят, что бояться их все равно, что бояться «металла» и «жупела». Нет, совсем не все равно. Что страшно московской купчихе, мне может быть не страшно, и то, что мне кажется страшным, московской купчихе может быть совсем не страшно. Она может смотреть на мои страхи не только вполне равнодушно, но даже, хвастаться тем, что она этого не боится. Поэтому со словом надо обращаться честно и не пускать его в виде застрельщика для людей не рассуждающих или готовых скакать сломя голову в неизвестные страны электричества, добываемого при помощи водяной силы днепровских порогов и иностранных капиталов.

Я пишу это по поводу статьи знакомого и милого журналиста, который стыдит «Новое Время» «жупелом» и «металлом». Эти слова он ставит перед предложением английской компании облагодетельствовать Россию шлюзованием днепровских порогов и продать будущее огромного днепровского бассейна англичанам на восемьдесят лет. Пусть распоряжаются. «Новое Время» говорило, что при императоре Николае возникла мысль отдать все казенные леса в эксплуатацию англичанам. Журналист, вооружившийся «жупелом» московской купчихи, как аргументом непреложным, упрекает «Новое Время» за то, что оно «ужасается при мысли, что́ бы стало с этими лесами если бы такая концепция осуществилась? Да, кто знает, — продолжает он, — что́ бы сталось, правду-то говоря? Благоустроеннее они стали бы наверняка, сравнительно с нынешним их устройством, да весьма возможно и целее».

Вот превосходная точка зрения, до которой договариваются поклонники иностранного капитала. Это в переводе на простой язык значит: «мы сами ни к

черту негодны, ничего не умеем делать, а потому надо отдать иностранцам все то, что они сделают лучше нас».

Я не стою против иностранных капиталов во что бы то ни стало. Капиталы — сила, которую следует пользоваться, но огромный вопрос: как? Это to be or not to be?. . Я желаю чувствовать себя русским и желаю, чтобы Россией распоряжались русские люди даже в том случае, если бы они распоряжались хуже или медленнее, чем иностранцы...

А становиться на точку зрения моего почтенного коллеги, который не страшится отдать иностранцам в эксплуатацию леса и огромную долину Днепра — значит, перестать заботиться самим о себе и признать себя никуда негодными. Ни честных и энергичных людей у нас, ни знания, ни просвещения, ни деятельной любви к родине — ничего этого у нас нет. О капиталах уж и говорить нечего. В России министерство финансов собирает ежегодно полтора миллиарда рублей, но пяти миллионов на устройство казенных телефонов нет, двадцати миллионов на использование Днепра и подавно нет. Пусть иностранцы берут телефоны и шлюзуют Днепр. Мы не годимся. Куда нам? Петр Великий выписывал знания в виде людей из-за границы, теперь, спустя двести лет, то же самое: и люди с знаниями, и капиталы пожалуйте из Европы — у нас ничего нет. У нас есть только войско, есть только прекрасная армия, способная защищать Россию, способная умирать за царя и отечество, ничего другого необходимого для России, чтоб она стала действительно европейским государством, нет, нет и нет. Мы — нищие духом просвещения и нищие деньгами. Все у нас скверно и единственное наше спасение в иностранцах. Они придут с капиталом и знаниями и обратят Россию в цветущий сад с золотыми яблоками. Иначе мы погибнем.

Мой почтенный коллега, высчитывая благодеяния электричества, которое будет вырабатываться водяною силою днепровских порогов, говорит, что для электричества нет расстояний, что оно может быть проведено всюду. Вот это и ужасно — отдать эту силу английской компании, английским капиталам. Может быть, через десять-двадцать лет Москва и Петербург будут освещаться силою падения воды с Днепра. Вся Россия очутиться в руках англичан. Все нити политики будут зависеть от них в течение целых восьмидесяти лет. Шутка! Помните, что значит капитал в наши дни и что может случиться за восемьдесят лет. Мы перестаем понимать значение времени. Мы перестаем понимать, что не имеем права распоряжаться и думать за Россию на целые сто лет вперед, точно мы убеждены непременно, что наши потомки будут глупее нас и невежественнее, а потому необходимо принять некоторые меры против них, против ума и просветительной силы русских. Мы уже дошли до зенита просвещения. После нас начинается вырождение. Поспешим продать все, что продать можно. Инженеры нас убеждают, а они ли не просвещенные люди, они ли не знают вперед на сто лет все то, что случится может. Поспешим продавать, отдавать в эксплуатацию и будем кормиться около английской компании.

Мой почтенный коллега говорит, что «Новое Время» не позволило бы прорывать Суэцкого канала. От «Нового Времени» ничего не зависит в Петербурге, ничего бы не зависело и на берегах Нила. Но если б мы были египтянами, а я издавал там газету, то я сказал бы: «берегитесь даров данаев. Англичане приберут к рукам все акции канала и затем весь Египет, а за ним Африку, а бедный феллах останется жалким феллахом». Полагаю, что я исполнил бы только свой долг.

У нас есть министерства финансов и путей сообщения, требующие людей знающих, практических. Торговля, промышленность, торговое мореплавание, движение денежного хозяйства, постройка железных дорог и шоссе — все это за границей начало устраиваться прежде, чем у нас. Там более практиков, более ученых, более инженеров, больше традиций интеллигентного труда и смелых предприятий. Отчего бы эти министерства не отдать в эксплуатацию иностранным компаниям. Если можно отдать в эксплуатацию казенные леса англичанам, то отчего же не отдать им всего остального — и денежное, и путевое хозяйство, и торговое. Ведь ничего у нас нет. Мы — нищие, не умеющие люди, ничему не научившиеся и очевидно неспособные учиться. А ждать нельзя. Отдадим все это и дадим, сверх того, гарантию в три-четыре процента из казны. Нам останется только собирать гарантию с плательщиков, с народа, а сборщики податей мы недурные, и дело это нам знакомое. Кто нам поручится, что будет хуже? Может быть, лучше будет. «Благоустроеннее все будет наверное», — как говорит мой коллега. Отдадим! У англичан до 400 миллионов людей, которыми они управляют со своего острова, вводя повсюду порядок и все другие великие милости. Станем под их покровительство. Чего нам беспокоиться, утруждать свои благородные мозги, отыскивать ресурсы для умственного движения и для материального благосостояния. Мы — собака на сене: сама его не ест, а с голоду дохнет и другим не дает. Есть же в Африке государство, которые управляется акционерной компанией. А эта война с бурами тех же цивилизованных англичан. Она начата для акционерной английской компании, которая заставляет умирать солдат и офицеров и берет в свои руки власть. «Все куплю, — сказало злато». Это вернее, чем «все возьму, — сказал булат». И булат покупается тем же золотом; честность, благородство, энергия, жизнь — все покупается. Чего же страшиться «металла» и «жупела»? Нечего страшиться. Нечего уподобляться московской купчихе. Вперед! Простираем свои объятия к иностранным капиталам, простираем мольбы свои к тебе, о, Англия, спаси нас! Бери целые наши области и приведи их в порядок! Сами мы не можем. Оскудели, износились и презираем самих себя...

Да неправда же это, неправда!

17(30) марта, № 8640

CCCLXI

Дело идет опять о Днепре и об английской компании, о чем я писал в прошлом «Маленьком письме» (№ 8640). Известно, что дело это взято обратно из Государственного совета, куда оно поступило на окончательное разрешение (№ 8641 «Нового Времени» отдел «Хроники»). «Киевлянин» (№ 82) резюмирует полемику по этому вопросу и высказывается за иностранные капиталы. Он их не боится, я их боюсь. По его мнению, сильному народу невозможно бояться их. Да вот это еще вопрос — сильны ли мы настолько, чтоб совсем не бояться иностранных капиталов. Я вовсе не заражен тем самоуверенным патриотизмом, который закидывает шапками и полагает, что нам и море по колено. Если иностранный капитал идет к нам только как капитал, за который мы платим проценты, дело еще сносное. Но когда он является вместе с компанией, вместе с иностранными людьми, иностранными техниками, иностранными тузами, имеющими возмож-

ность у себя на родине влиять на политику и косвенно на нашу политику, то слуга покорный — я этого боюсь. Я даже боюсь этого комиссионерства, которое теперь развилось у нас так, что только ленивый не комиссионер. Мицкевич проповедовал когда-то мессианизм, что-то мистическое, едва уловимое, но духовное. Теперь проповедуется комиссионизм, за хорошие проценты, готовый на всякие послуги, не разбирая ни средств, ни целей, ни национальности. Начиная от князей и кончая мещанством, этот комиссионизм действует весьма свободно и повсюду. Я думаю, что пока не вырос русский капитал, мы должны быть осторожными с иностранным капиталом. Наши усилия должны быть направлены так, чтобы иностранный капитал сам пришел и объединился с русскими задачами.

В связи с ростом русского капитала я бы желал огромного роста технических знаний, насаждения целой сети технических школ, прямо перепроизводства техников и отправления их за границу для практических знаний, чего у нас вовсе не делается. У нас по традициям отправляют художников за границу для изучения европейского искусства. И кто бы что ни говорил, эти традиции принесли пользу русскому искусству. Теперь техника становится в Европе могущественной. Техника начинает играть в жизни такую же роль, как искусство во времена Возрождения. Она создала своих Рафаэлей, Корреджио, Тицианов, Анджело. Невозможно существовать, не изучая этой техники на месте ее рождения и развития. Знания, приобретаемые в наших школах, нуждаются в проверке и укреплении их за границей, и если б в бюджете нашем стояла довольно крупная сумма для содержания лучших сил нашей технической молодежи в Европе на некоторое время, я был бы очень рад не только за эту молодежь, но и за будущие наши преуспеяния в деле техники. Министерство финансов, созидающее огромную техническую школу в Петербурге, отвечает насущной потребности русской жизни. Я знаю, что оно не боится иностранных капиталов, как боюсь их я. Но я знаю примеры, ярко доказывающие, что и оно очертя голову не полезет в объятия к иностранному капиталу. Заставить этот капитал служить русским нуждам можно и должно, но с оглядкой и, главное, стараясь обходиться русскими техническими силами, которые бы смело могли конкурировать с иностранцами. Нам менее всего нужны были бы иностранцы, когда нас самих такая пропасть. Это «множество» сознается всяким русским мужиком и всякий русский чувствует какую-то нелюбовь к иностранцу, является ли он директором фабрики, инженером, техником, заправилом банка или компании. Это совсем не фанатизм, не дикая племенная вражда: это — чувство русской независимости и русской гордости. Пусть оно растет тут, как оно выросло в нашей армии под влиянием побед и завоеваний. Мы теперь именно вступаем в эту *новую* для нас область завоеваний и желаем в ней быть столь же независимыми, как и в области военной. Это тот патриотизм, над которым в последние годы столько глумились, поражая в нем человеконенавистничество, слово столь же длинное, сколько и нелепое, когда дело идет о русской самостоятельности, о предпочтении русских иностранцам и т. п. Англия — весьма культурная нация, однако же она не стыдилась своего патриотизма и он принес ей большую пользу. Я желаю ей сломить себе шею в борьбе с бурами, но главным образом потому, что тут дело идет о войне для *процветания капиталов*, что лучшие силы Англии погибают на полях сражений ради капиталистов и их могущества. Пока дело до этого не доходило, английский патриотизм очень помогал в течение всей истории. Ее великий поэт Шекспир в

своих хрониках был патриотом, а не международным мечтателем. Наш Толстой в «Войне и мире» — несомненный патриот, хотя он писал потом брошюры против патриотизма. Гомер был патриотом в «Илиаде». Предпочтительное чувство ко всему своему родному, к родным героям, к родному просвещению, к родным работникам на поприще науки, литературы, искусства, техники — естественное и дорогое человеческое чувство. Оно сосредоточивает способности, укрепляет умы, создает характеры и понятия известного чекана. Пусть русский человек не обнимает всего человечества — это не беда и человечество в этом нимало не нуждается, но пусть он сосредоточивает в себе Россию, ее нужды, ее потребности, ее исключительность даже, и за это борется.

Для этого одного необходима вся масса его сил, вся его энергия, все его мужество. Если бы он напряг это вдесятеро, во сто раз, то и тогда он не исчерпал бы всю ту нужду, которая стоит перед ним и ждет его помощи. Когда еще будет тот излишек, который мы вправе расходовать вне России, сказать трудно. Но пока — все для России и только для России. Я думаю, что именно это инстинктивное сознание себя русским и питает неприязнь к иностранцам и иностранному капиталу, питает его много веков. На иностранный капитал русские люди жаловались еще в XVII веке, вся литература XVIII века была сплошь против иностранцев, хотя и за просвещение. Против просвещения хорошие русские люди не были, но были против иностранцев, хотя бы они заседали в Академии наук. Ломоносов был против них, а Ломоносов стоял за русское просвещение и страдал точно так же, как страдают и теперь многие, когда видят, что иностранцы у нас под носом над нашим добром работают и нас от него устраняют. Я вовсе не думаю, что мы можем обойтись совсем без иностранных капиталов. Это — вопрос сложный. Я хочу только объяснить русское чувство нелюбви к иностранцам и кричать о необходимости русского просвещения, о развитии техники, о необходимости школ, о необходимости всего того, чего у нас недостает сравнительно с Европой и что называется просвещением. Я уверен, что министерство финансов проникнуто такими же желаниями и прекрасно сознает, откуда у нас нелюбовь к иностранцам. Я имею основание думать, что оно вовсе не за английскую компанию, собиравшуюся эксплуатировать Днепр, да, может быть, и не за русскую компанию. Это дело казны, государства, а не компании. Государство совершило громадный подвиг постройкой железных дорог, особенно постройкой Сибирской дороги. Оно ли не может воспользоваться Днепром в том направлении, какое имела ввиду иностранная компания? Конечно, может. Нельзя отдавать таких рек, как Днепр, в эксплуатацию частной компании. Есть области в государственном хозяйстве, которые должны оставаться неприкосновенною собственностью государства и государство не вправе, не умаляя себя, своего авторитета, отдавать их в чужие руки.

26 марта (8 апреля), № 8649

CCCLXII

Знаете ли, в чем собственно заключается великолепное открытие г. Демчинского? Говорю прямо: великолепное открытие, важность которого оспаривают с пеною у рта именно потому, что открытие сделал дилетант, любитель, а не за-

писной ученый, не метеоролог. Открытие сделано, так сказать, помимо науки, помимо ее канцелярий, по крайней мере. И публика должна поддержать своего любителя, одного из своих членов, и я, выслушавший объяснения г. Демчинского, говорю с публикою и говорю так, как это дело мне представляется, т. е. обыкновенным, а не ученым языком.

Вся разгадка погоды в луне. Вот главное положение, испокон веков замеченное народом. Но достаточно этого, чтобы присяжные ученые пошли по другой дороге. Наука не для того, чтобы учиться у народа, а для того, чтобы учить народ. И она стала учить, что луна не имеет никакого влияния на погоду. Французы даже называют любовниками луны (amants de la lune) тех господ, которые считаются с влиянием луны, которая нужна только для поэзии любовных свиданий и для пейзажа. Из гг. метеорологов разве сотая доля готова допустить луну в хозяйстве погоды. Зато астрономы — за нее. Вероятно за нее г. Бредихин, поссорившийся с г. Менделеевым печатно из-за реформы календаря, которая перед вопросом о погоде имеет такое же значение, как чихание перед громом, если еще не меньше.

Вам известно, что луна, стоит ли на небе или ее не видно, поднимает ежедневно миллиарды тонн воды в океанах, производя приливы. Луна действует силою своего притяжения. Если она действует на воду, то почему же она не может действовать на воздух? Потому, говорят ученые метеорологи, что воздух недостаточно для этого плотен: луна поднимает воду, потому что она плотна, и не поднимает воздуха, потому что он не плотен. Но, однако ж, земля держит около себя воздух. Она не дает ему убежать прочь. Несмотря на его мягкую плотность, она его притягивает к себе. Почему же не дать луне эту силу относительно воздуха? Допустите только, что происходит некоторая борьба между притяжением земли и притягиванием луны относительно воздуха и дело становится ясным. При известных положениях луны она притягивает воздух, он поднимается выше и разрежается; при других положениях она действует на него меньше или совсем не действует, и он становится плотнее и теплее. Допустите такие же океанские приливы и отливы в атмосферном океане, менее плотном и менее устойчивом и разнообразие погоды вам станет ясно.

Если луна распоряжается так значительно погодою, то, значит, лунные месяцы имеют громадное значение. Живи мы по лунным месяцам, мы бы без всяких календарей и ученых метеорологов могли знать наперед, что такие-то дни погожие, такие-то — нет, тогда-то будет дождь, тогда-то — ливень и т. д. Гражданские месяцы совершенно нас спутали и будут путать и при новом календаре, если комиссия соблаговолит нас обрадовать таким нововведением. Когда г. Демчинский наносил термометрические и барометрические кривые по гражданскому календарю, выходило у него совершеннейшая чепуха. Стал он наносить их по лунным месяцам, у него получилась система, он нашел «узлы», где кривые сходятся, чтоб принять потом то или другое направление. Он *нашел путь* к законам погоды, если не нашел самые законы. Он нашел к ним верную дорогу и говорит: работайте, наносите термометрические и барометрические кривые по тем данным, которые собраны по известным местностям, и будет верно угадывать погоду, исходя от точки ноябрьского полнолуния.

В таком деле, вместо того, чтобы отрицать и спорить, отчего не взять с него пример и начать работать в том направлении, которое он указал. Докажите ему,

что он увлекся, что он ошибается и делу конец. Его подвергали почти экзамену. Брали известную местность за какой-нибудь год и, глядя в таблицы зимних барометрических и термометрических наблюдений, спрашивали, как стояли летом в тот год эти чувствительные инструменты для определения погоды, и он отвечал, делая иногда ошибки самые ничтожные. Надо только знать ноябрьское полнолуние в известном году и можно при известных знаниях читать без таблиц погоду в прошлом. Он уверяет, что в средней России через 17—18 дней после апрельского полнолуния непременно выпадет дождь, а через 22—23 дня — в южной России. Если вы не успели со своим посевом, прогуляли, благодаря праздникам, несколько дней, и ваш урожай не будет таким, каким он мог быть.

Быть может, голодные наши годы зависят от праздников, по крайней мере, в некоторой степени. Это стоит того, чтобы поискать и определить. При посевах очень важны дни, а не недели, ибо луна не празднует, а Господь Бог, думаю, никого не наказывает за труды, но безделье и пьянство — заслуживают наказания.

Замечательно, что народные примеры, связанные с именем святых, те же узлы, что у г. Демчинского. Эти приметы сделаны были, вероятно, многие тысячи лет тому назад и потом приурочены к церковному календарю. Но праздники эти не сходятся с лунными фазами и примета иногда говорит правду, иногда неправду. Поразительно, как правильно барометрические минимумы и максимумы зимы, через 147 дней, отражаются в летней погоде минимумами и максимумами температуры. Также поразительно, как кривые в наших широтах из года в год в один и тот же день, именно через 188 дней от апрельского полнолуния, поворачивают на зиму. Очевидно, это закон, а не случайность. Очевидно, в превосходном и драгоценном открытии г. Демчинского чувствуются законы.

Быть может, идя его путем, мы будем знать не только узлы, но и те колебания погоды, которые происходят между ними, т. е. будем знать погоду вперед за каждый день с большою вероятностью. Есть уже данные, указывающие на возможность предугадывания направления и силы ветров и на случаи ливней. Г. Демчинский говорит, что Кукуевскую катастрофу можно было предсказать за много времени.

Как же это не драгоценное открытие? Да оно переворачивает обычаи, оно дает нашему земледелию то, чего никто ему дать не может. Правительство тотчас обратило внимание на работу г. Демчинского — он сам — сельский хозяин — несмотря на то, что петербургская погода не хотела знать его предсказаний, благодарю накоплению полярных льдов в Белом море. Г. Демчинскому даны необходимые средства для продолжения работы. Все это было сделано с тою энергией, которая исключает всякую проволочку и колебания. Бог даст, это открытие будет разработано у нас, в той же стране, где оно сделано, и принесет прекрасные плоды. Я в этом убежден и знаю, что в средней России предсказания г. Демчинского оправдываются.

9 (22) мая, № 8691

CCCLXIII

Неужели война? Сапог не износили, в которых сидели на Гаагской конференции, и война? — Да это не война. — Как не война, когда людей убивают, когда

пушки палят и города берут и когда газеты говорят о «территориальном вознаграждении»?

Да, война. Уж героев считают и миллионы уходят, как сотни рублей. Вы только представьте себе эти расстояния, и вам нетрудно будет понять, что может стоить отправка туда одного человека. Сотни рублей...

Мы читали, что англичане тратят на содержание своего войска в Южной Африке двадцать миллионов в неделю. И вдруг прочтем, что и нам неделя будет стоить двадцать миллионов где-нибудь в Китае. Что такое случилось и зачем понадобилось воевать? Ведь даже никто не знает, кто начал войну и почему начал. Представьте себе, что послы заблаговременно уехали бы из Пекина, отряс-ши прах от ног своих. Какая была бы причина войны? Но утверждают, что о причинах говорить теперь нечего, разбирать кто кого, дело праздное, считать деньги — тоже лучше после... Надо действовать. А действовать, значит, будто бы, воевать, убивать людей, трубить о своей славе и водружать где-то свои знамена. О потерях поплачут отцы, матери и жены, а деньги заплатит народ...

Когда дело шло о Константинополе и Босфоре, — совсем это иное было. Взять Босфор — значит, закрыть Черное море, сделать его русским, уменьшить расходы на войска и вооружения, усилить свое политическое влияние на Балканский полуостров и проч. Тут и вознаграждение за потери видится скорее и ярче. Но что нам Пекин и китайцы? Кому это что-нибудь говорит? Китай говорит нам о чае, а вовсе не о войне, и как бы это война ни была блистательна, она нам ровно ничего не обещает, кроме затруднений и расходов.

Вырастают какие-то ужасы, никем и ничем не проверенные. Послы перебиты; их мучили, варили в котлах, подвергали пытке; они умертвили своих жен сами, не желая их подвергать более мучительной смерти в руках разъяренной, озверелой толпы, император убит, императрица отравлена, или отравилась сама; потом — император и императрица убежали, потом — император и императрица живы и здоровы, не отравлялись, не были отравлены, не бегали, а сидят в своем дворце и тайно от толпы снабжают посольства жизненными припасами. Значит, и послы живы и здоровы. Но последнему никто не верит. Говорят: китайцы хитрят, вероломствуют, хотят усыпить внимание европейцев. А так как европейцы ничего не предвидели, ничего не предупредили, то теперь они ни во что не верят и все преувеличивают. Надо бить, бить и бить. Бить как можно скорее и как можно больнее. Китай громаден. Силы его ужасны. Два миллиона войск у него, у него сто пятьдесят тысяч в Пекине, двести тысяч около Пекина, сто пятьдесят тысяч около Тяньцзиня.

Но кто считал эти войска? Никто не считал, но так говорят. Оно страшнее, когда много войска, и славы больше, когда сто пятьдесят тысяч побеждаются сто пятидесятью человеками. А победы происходят приблизительно именно в таких отношениях. Тяньцзинь взяло войско в восемь-десять тысяч человек. Может быть, и китайцев там нельзя было насчитать не только сто пятьдесят, но даже двадцать пять тысяч. Но так уж в этих китайских событиях все темно, как в непроглядную, бурную ночь. Поэтому одни кричат: «Вперед!», а другие говорят: «Пожалуйста, погодите! Может быть, все «образуется». ...Если бы мой голос что-нибудь значил, я тоже сказал бы: «Пожалуйста погодите!» Да и Россия вовсе не настроена на военный лад и никакой войны не желает. К войне призывает импе-

ратор Вильгельм. Государь с пылкой фантазией и поэтической образностью речи совершенно романтической, приподнятой, иногда красивой, он говорит преимущественно войскам и всегда почти в военном духе. Убийство немецкого посла дает императору особое положение, и говори он в данное время иначе, он изменил бы своему характеру...

Судьбы настоящих событий несколько связывают нас с Германией. В тульскую деревню, где я жил, приходило множество слухов. Говорили даже, что немецкие войска проедут в Китай через Россию. Но это связь соседских интересов налагает на Россию особенную рассудительность, и мы обязаны — так мне кажется — рядом с поэтической приподнятой немецкой речью держаться прозы, делового вдумчивого языка и таких действий, которые предписывают, по пословице: «десять раз отмерить прежде, чем раз отрезать». В поэзию войны, мы обязаны, в своих собственных интересах, вносить эту поправку. Нам нельзя забывать, что Китай — тоже наш сосед, как и Германия, и притом на огромном протяжении наших границ. Ни овладеть Китаем, ни избавиться от соседства с Китаем мы никак не можем. Немцы могут водрузить свои знамена на стенах Пекина и даже заставить Китай помнить их тысячу лет и затем уйти к себе домой, даже уйти из Киао-чао, вследствие чего-нибудь чрезвычайного, и заниматься снова своими внутренними делами и подвозить в Китай свои фабрикаты морем и по Сибирской дороге, в благосостоянии которой они не меньше заинтересованы, чем мы. Но мы никуда уйти не можем от Китая. Мы связаны с Китаем, как с Сибирью, как с Азией, будучи сами на целую треть азиатами, и нам необходимо сохранить с ним соседские отношения. Если же нам придется держать на китайской границе целую уйму войск, то никаких денег нам не хватит, и если это кому принесет пользу, то только Европе, у которой мы очутимся полицейскою стражей над Китаем. Поэтому, необходимо нам думать и о причинах китайских происшествий и об их последствиях теперь же, сию минуту, а не потом. Наше положение очень затруднительное, ибо и действовать нам необходимо и обдумывать необходимо каждый свой шаг, поверяя его последствиями, будущим.

Я прочел в «Новом Времени» выписку из «СПбургских Ведомостей», где события китайские приравнивались к русским событиям времен самозванцев и нашей смуты и где говорилось, что и в Китае, может быть, являются теперь Пожарские и Мининны. Это сравнение довольно верное. К нему я прибавил бы следующее: Польша бросилась в Россию очертя голову после того, как убили самозванца и убили вместе с ним много поляков. Она вмешалась во внутреннюю смуту нашу и ушла от нас несолоно хлебавши. Это вмешательство было для Польши роковым. В Китае несомненно смута, или, говоря современным языком, революция, т. е. такое состояние, когда само правительство бессильно что-нибудь сделать, когда оно само в плену, так сказать, этой смуты, и принуждено играть двойную роль, заботясь о себе, и о спасении послов. Надо принимать в соображение и положение китайского правительства, т. е. его династии. В наших ли интересах сохранить ее, или нет? Думаю, в наших, ибо мы — монархическая империя, как Китай. Во время французской революции Европа тоже ходила усмирять «смуту» Франции, и известно, что из этого вышло. Конечно, не только вся Европа, но одна Россия сильнее Китая, и если бы пришлось воевать с Китаем только одной России, то мы не посрамили бы русской земли. Но Россия во время японской войны

вмешалась в судьбы ее и стала на сторону Китая. Думаю, что этот шаг был очень разумный и предусмотрительный, и *смысла* его мы должны держаться и теперь, т. е. что Китай нам не враг.

— Помилуйте, как же не враг? — возражают. — По всему видно, что Китай нас ненавидит: он бомбардировал Благовещенск, он из Айгуна объявил нам войну. Очевидно, он неблагодарен и вероломен...

Все это далеко не так. Пусть Китай к нам враждебно относится, но мы не должны считать Китай своим врагом. Если везде видеть врагов, то нам всю свою историческую жизнь надо посвятить на баталии, на гром пушек и военную славу. Давно ли устами нашего государя провозглашены чувства мира, так горячо принятые всеи Россиеи и лучшеи частью человечества? За ними будущее. Надо уметь уживаться и с врагами, в особенности тогда, когда они сами несчастны, сами возбуждены не только против Европы, которая навязывает им свою культуру и свою религию совсем бесцеремонно, но возбуждены друг против друга, друг с другом враждуют и друг друга истребляют...

Посмотрите проводы наших полков. Солдаты спокоiны. Они идут исполнять свои долг. Они горячо молятся царице небесной. Вокруг них благословения, слезы, рыдания. Ни у них, ни вокруг них никакого азарта, никаких угроз, никакой похвальбы. Да сохранит вас Господь от всяких бед и напастеи! Сердце царево в руке Божиеи. Бог повелевает любить и врага... Конечно, не только любить врага, но и быть к врагу справедливым гораздо труднее, чем его ненавидеть, но надо делать трудное, потому что хорошо только то, что трудно дается...

17 (30) июля, № 8759

CCCLXIV

Я сказал: «Взять Босфор — значит закрыть Черное море и сделать его русским» и проч. «Взять Босфор — значит не закрыть, а открыть Черное море для всего мира», отвечают «Новости». Не думаю. Взять Босфор несомненно значит закрыть Черное море от военных судов всего мира и быть его хозяином. Прежде чем заботиться о целом мире, надо заботиться о самих себе, о своем народе. Целый мир и сам по себе проживет без нашего участия. Само собой разумеется, что я упомянул о Босфоре только для сравнения настоящего с прошедшим и притягательной силы Босфора и какой-то дикой Маньчжурии.

Я говорил, что мы — на треть азиаты. «Почему азиаты?» — спрашивают несогласные со мною. — «Кто это решил? Россия не хочет быть азиатской державою». Мало ли что не хочет. Кто это решил, что она не хочет? Брюнет не хочет быть брюнетом. Но единственный для него выход из этого брюнетного состояния последовать примеру женщины, которая красит себе волосы. На некоторое время брюнет обратится в рыжего или блондина, по своему желанию. Но корни волос останутся все-таки черными и выдадут брюнета. Слава Богу и то, что мы — на две трети европеицы и только на треть — азиаты, и азиаты не потому, что мы желаем быть азиатами, а потому, что мы деiствительно азиаты — в некоторой степени по своеи крови, по культуре и по народностям, которые входят в состав русского государства. Против этого ничего не поделал даже Петр Великий, потому, быть может, что и у него азиатского было довольно. Делает тут время. Оно

гораздо умнее и могущественнее веских отдельных мнений, патриотические они или нет. Оно не истребляет азиатские особенности, а только растворяет их в элементах культуры и делает целое содержательнее и свежее. Поэтому, быть азиатом нисколько не обидно.

Я не проповедую «непротивление злу», как иронически говорит одна газета, а хотел бы, чтоб проповедовали «непротивление злу». Этого было бы вполне достаточно. Я очень хорошо знаю, что христиане совсем не следуют христианскому учению, вероятно, потому, что оно — азиатское — оно ведь родилось в Азии — и для образованных европейцев не подходящее, если они кричат об истреблении желтой расы.

Меня упрекают в излишней снисходительности к китайцам и спрашивают: «За что такая снисходительность к китайцам? Чем они заслужили ее?» — «А тем, что они — люди, что они — народ. Если преступнику дают адвоката, если его выслушивают и принимают в соображение историю его характера и среду, в которой он живет, если к нему, по самому смыслу суда, относятся снисходительно, то к народу и подавно обязательно относиться снисходительно и стоять за «непротивление добру», которое должно быть в каждом образованном человеке. Народ не может быть преступником. Преступными могут быть отдельные лица, руководители, но не народ. Убийцу короля Умберто спасают от расправы толпы и дадут ему адвоката. Как же оставить без адвоката народ и проповедовать беспощадное его истребление?

Я настолько русский, что не могу равнодушно слышать о нападениях на наши земли, на наши города, на наших специалистов и работников на железной дороге. Я глубоко сочувствую их несчастиям и их мужеству, как и все русские люди. Против силы и насилия надо выставить силу и заставить уважать нас. Это само собой разумеется. Водворить порядок на наших границах, обеспечить на них мир — это необходимо и каждый офицер и каждый солдат эту необходимость чувствуют и сознают в своем мужестве. Так как без оружия тут обойтись нельзя, то мы и взялись за оружие. Но творить разгром и расправу над нашим давним и спокойным соседом, — какая необходимость не только с христианской точки зрения, но даже с практической, с русской? Интересы «дружественных держав» и интересы европейской цивилизации? Да разве это не комедия? Мне кажется, что нам, на треть азиатам, совершенно достаточно поддерживать свои собственные интересы на наших границах. Военной славы у нас довольно. Довольно и крови, пролитой нами за интересы и «порядок» Европы. Куда мы только не ходили? И в Австрии, и в Италии, и в Германии, и во Франции мы поливали поля своей русской кровью и, как говорится, кроме вреда, никакой пользы от этого не видали. А уж если придется идти нам куда-нибудь добывать славы и выгод, то идти нам под собственной ответственностью, под начальством своих генералов, и только со своими войсками, а не гадать о том, поставят ли нашего главнокомандующего над союзными войсками или отдавать ли свое войско под начальство чужого главнокомандующего...

В моей голове не укладывается значение Европы, как благодетельницы Китая. Европа ничего не сделала для него, на йоту не подвинула вперед эту многолюдную и скромную империю, которая дает Европе такую превосходную вещь, как чай. Святые не отказались бы от этого напитка. Эксплуатируя Китай, Европа даже изучала его плохо. Изучи она его хорошо, не переживала бы она теперь

этого сложного момента, которого не предвидели ее представители, находящиеся в трагическом положении в Пекине. Да что? В нынешнем году вышла книжка известного публициста Леруа-Больё «La renovation le l'Asie». Он был в Китае незадолго до настоящих событий. Он говорит о России, о Сибирской железной дороге, об Японии, о Китае, о ненависти китайцев к европейцам. Его самого чуть не побили в Пекине. Но у него нет ни малейшего предчувствия настоящих событий. Напротив, он говорит, что Китай легко было бы поделить, что это не возбудило бы среди китайцев особенного неудовольствия, ибо китайцы, якобы, совершенно равнодушны к идее родины и к тому, кто ими управляет. Одна беда, по его мнению: европейские державы не могли бы поделить Китая без ссоры и войны между собою. Если бы Европа могла мирно поделить Китай, то было бы прекрасно. Вот вам европеец par exellence. И этот европеец ничего не предвидел и не предчувствовал. Чешет ли он теперь себе затылок, неизвестно, но его книга не внушает после этого ни малейшего доверия. В Китае делается что-то такое, чего никто не понимает. Европа шлет туда свои войска, но из этого еще не следует, что она знает настоящее положение Китая и что с ним делать. И потому вдумчивость и осторожность необходимы теперь больше, чем когда-нибудь. Разделили Польшу и вот сто лет никак не могут привести ее к одному знаменателю с немцами и русскими. А разделить Китай — это не по уму и не по средствам Европы...

Если кто сделал для Китая, это мы. Мы не доставляли ему ни пушек, ни опиума; мы не унижали и не грабили его подобно просвещенной Европе в 1860 году; мы никогда не грозили ему истреблением; мы возвратили ему такую прекрасную страну, как Кульджа; мы, наконец, с огромными пожертвованиями и благородным мужеством соединяем его с Европой железной дорогой. Если не теперь, то в будущем Китай это оценит и нам нет никакой выгоды ожесточать его и способствовать его дележу.

20 июля (2 августа), № 8762

CCCLXV

Умер ли Ли Хун-Чжан, или жив, это едва ли изменит положение дела. В нем как будто настает маленький период затишья или раздумья. Очевидно, китайские патриоты начали понимать, что они слишком рано затеяли борьбу, или, что голод, на почве которого так легко бродить население, помешал предводителям движения хорошо приготовиться. Приготовления, действительно, не вполне были закончены. Из забранных орудий есть такие, которые очевидно только что были привезены и еще не были собраны. Но несомненно, расчеты были сделаны в самом патриотическом духе, т. е. что Китай победит и избавится от иностранцев. Этим расчетам не суждено сбыться, хотя несомненно, что китайцы дерутся гораздо лучше, чем дрались они во время войны с Японией, и этим мужеством они все-таки принесли себе пользу, ибо заставили европейцев призадуматься над вопросом о разделе Китая. Думали, что эта пора настала, что Япония, победив Китай, приготовила этот раздел и открыла европейцам новые горизонты для Европы. Оказывается, что скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Древнейшую монархию, единственную в своем роде, считающую несколько ты-

сяч лет своего исторического существования, довольно мудрено уничтожить и поделить. Оказывается, что она совсем не умерла, а живет, хотя живет по-своему. Пройдет еще, вероятно, много лет, прежде чем Китай убедится в превосходстве европейских порядков. Доселе он знает только по опыту, что Европа действительно переросла его в приготовлении оружия и в военном деле вообще. Он мог в этом убедиться еще во время войны с Японией, которую он еще недавно бил и которая побила его тотчас же, как только пошла во след за Европой, образовала свои войска по-европейски, выписала оружие и флот из Европы. Она победила именно этим превосходством. Китаец мудро решил: если Европа превосходит только этим нас, то мы, имея деньги, можем точно так же вооружиться и точно так же победить. Европа начинает стыдить свою оружейную промышленность, которая, забывая патриотизм, даже немецкий патриотизм, снабжает Китай драгоценнейшим плодом своей культуры, оружием. Надо запретить вывоз оружия в Китай. Прекрасно. Но неужели гениальнейший представитель европейской цивилизации остался один, в лице г. Круппа? Неужели подобная гениальность прямо от Бога, а не от ремесла и капитала? Если она, как я смею думать, не столько от Бога, сколько от ремесла и капитала, то и Китай, с Божьей помощью, дойдет до такой же гениальности и станет сам делать оружие, у себя дома, и этим будет подвигаться в культуре и пойдет отстаивать свою независимость. Думаю, что это предположение совсем не сказочное, а, напротив, весьма исполнимое. Петр Великий, выиграв полтавскую победу, шел за «учителей» своих, шведов. Кто знает, не будет ли шить и Китай за «учителей» своих, европейцев?...

Оставим Европу и обратимся к себе. Мы — соседи. Нас Китай, быть может, не любит больше, чем европейцев. Почему? Да потому, что он наш сосед, что он давно знает и давно знаком с нашей силой. Наше успешное движение в Азию в последнюю половину этого века, если он еще не кончился, хорошо известно Китаю. Естественно, что народы не отличаются благодарностью и китайцы не подпишут того счета благодарности, который им мы можем представить. Этого счета и подавать не нужно, ибо это, по меньшей мере, бесполезно. Совершенно ясно теперь, что Китай считает нас своими врагами и что он готовился воевать против нас и напасть на наши границы. Он наверно заготовлял пушки и всякое оружие и против нас на севере и заготовлял не со вчерашнего дня. Мы ему дали отпор. В то время, когда в Тяньцзине и около Пекина как будто настало раздумье, на севере Китай продолжает воевать с нами, постреливает в нас и разрушает железную дорогу. Таким образом мы, волей-неволей, становимся впереди, становимся застрельщиками, без всякого расчета на благодарность со стороны Европы, хотя мы ее несомненно заслуживаем, ибо несомненно внушаем разбитым и бегущим китайцам благоразумие. Но о благодарности, повторяю, думать нечего. Европа может сказать: это — ваше дело. Действительно, это наше дело. На Японию Европа может налагать поручение усмирить Китай, но мы в другом положении. Мы можем, слава Богу, действовать самостоятельно и убеждать, к сожалению хотя и оружием, что с нами он прежде всего должен жить в мире, в своих интересах. Своего мы не уступим. Имея в нас друзей, а не врагов, Китай будет жить спокойнее и производительнее и при случае найдет в нас союзников и защитников. Думаю, однако, что кроме убеждения оружием надо и другие убеждения. Европа — Европой, а Россия — Россией. Самостоятельность действий нам совершенно необходима и только в этой самостоятельности — залог спокойствия наших сибирских

границ и наших торговых сношений с Китаем. Мы не спрашивались у Европы, как нам быть, когда китайцы стали разрушать железную дорогу и стрелять в наши города. И на всей этой границе до Порт-Артура мы можем быть вполне самостоятельны, вести войну или мириться на тех условиях, какие мы взаимно с Китаем выработаем, как скоро китайское правительство будет иметь способность и силу приступить к этой работе. Никто в Европе не в состоянии нам тут ни помочь, ни дать совета. Только на свои мозги нам и надо рассчитывать.

Мы должны помнить, что теперешнее положение Китая очень походит на положение России не особенно давнее. Мы многие сотни лет были такою же загадкою для Европы, как и Китай, так же мы высокомерно относились к Европе, так же стояли за свое и считали его наилучшим. Читая иностранных путешественников по России в XVI и в XVII веках, видишь, что они знали только Москву, даже лучшие из них — Герберштейн, Флетчер, Мейерберг, Олеарий — не предчувствовали, что Россия может сделаться могущественным государством. Они осуждали наш образ правления, нашу администрацию, подкупную и невежественную, смеялись над нашими религиозными обрядами, нашими обычаями, нашими нравами. Читая этих путешественников теперь, точно читаешь теперешних европейских путешественников по Китаю. Кто его знает? Кто предчувствует его судьбы хотя бы в ближайшем будущем? Жив ли Китай или умер? Вот в чем вопрос. По-моему, он жив. Каждый народ жив своей жизнью и чужой меркой его мерить не следует. Китай не сдвинешь с места, которое он занял и никуда его не прогонишь. Он подает на этой встрече двух веков своей голос, он ставит вопрос о своей независимости, о праве жить по-своему — и к этому вопросу необходимо отнестись серьезно и по-человечески.

25 июля (7 августа), № 8767

CCCLXVI

У коллежского асессора Богоявленского и фамилия, напоминающая о Богоявлении, и фразы в его телеграмме из Кульджи, от 24 июля, явление значительное. Он именно сообщает, что китайские власти в Кульдже употребили «энергические меры для водворения спокойствия между китайцами». Эти меры заключались в том, что распущен был слух, что «Россия помирилась с Китаем и что Тяньцзинь возвращен Китаю». Какие умницы эти китайские власти и как верны оказываются их «энергические меры». Россия помирилась с Китаем и Тяньцзинь возвращен ему. Ничего больше. Очевидно, население сознает, что была смута, была война, что Тяньцзинь побежден, но что все это прошло и опять приходит в свой порядок. Китайцы ошиблись, взявшись за оружие. Надо смириться и слава Богу, что Россия помирилась с Китаем. И это главное, что именно Россия помирилась, соседи помирились между собою. В этом известии очень важен этот эффект примирения, которого очевидно китайцы желают. Они совсем не воинственный народ. Но они — народ, т. е. собрание людей, сознающих свое единство и имеющих понятие о народной чести. Их бьют и они бьют. В них естественное раздражение, естественное упорство настаивать на борьбе, чем бы она ни кончилась. Я повторяю, что это — не те солдаты, которые сражались с Японией. Если они отступают и бегут, то только после сопротивления весьма упорного.

А во время войны с Японией китайцев нам изображали толпою трусов, которые сражались под зонтиками и только то и делали, что бегали. Сами японцы удивлены. Они страстно хотели войны, страстно хотели, чтобы им поручено было усмирить Китай. В их воображении Китай является уже японским, маньчжурская династия свергнутой и вместо нее династия японская, династия того народа, который победил. Маньчжуры победили и поставили свою династию. Японцы победят и поставят свою династию. Думать так гораздо естественнее, гораздо логичнее, чем думать, что можно в Китае образовать европейскую диктатуру, как думали это, судя по телеграмме г. Покотилова, европейские послы в Пекине в прошлом мае месяце. Судя по тому затишью, которое существует теперь около Тяньцзиня и Пекина, сопротивление Китая упорное, именно Китая, его населения, а вовсе не правительства. Между правительством и населением очевидно существует симпатия, отчасти тайная, отчасти явная, ибо иначе нельзя себе объяснить молчание послов в Пекине и готовность китайских войск не пускать европейцев в Пекин. Но правительству не принадлежит уже авторитетная роль, как она ему принадлежала в деле концессий Европе. Не китайский народ уступал европейцам, а китайское правительство.

Беседа г. Viatora с одним немецким дипломатом, напечатанная у нас, не выдерживает в одном отношении серьезной критики, хотя этот дипломат жил в Китае и написал о нем несколько книжек. В кратких словах дипломат говорит: зачем защищают Китай и упрекают Европу? Китай уступал, а Европа брала. Но в том и затруднение, что не Китай уступал, а китайское правительство. Народ от этих концессий не видел ни малейшей для себя пользы и терпел до поры до времени; терпение лопается, под влиянием несчастий, голода, пропаганды, и народ восстает. Начинается смута или революция. Китайское правительство оказывается бессильным со своим авторитетом и играет двусмысленную роль и по отношению к населению, и по отношению к концессионерам. На помощь китайскому правительству выступают концессионеры, т. е. вся Европа. Против китайского правительства отчасти и всецело против Европы выступают население и войска, т. е. Китай. Искренних друзей Европы в Китае едва ли можно найти. Вот положение. Потому — и война, и не война. С одной стороны — как будто война, с другой стороны — как будто и не война. Во время войны два враждебных правительства распоряжаются, посылают войска, назначают своих природных командиров, печатают известия о ходе войны. А тут нечто другое, как у китайцев, так и у Европы. Европейцы действуют неизвестно под чью командою и, кажется, ищут отца-командира. Император Вильгельм II обращается к фельдмаршалу Вальдерзе, не желает ли он принять начальство над союзными войсками и может ли он, император, обратиться к Европе с предложением признать его главнокомандующего? Европа, положим, согласится. Вероятно согласится. С какого времени начнется его командование? С момента его полномочий или с момента приезда на место? Конечно, с сего последнего, ибо не может же он из Германии отдавать приказания. А г. Вальдерзе может приехать только минимум через тридцать дней. В это время положение может усложниться и в лучшем случае упростится. Дай Бог, чтобы оно упростилось и в главнокомандующем не оказалось бы нужды. Но на это трудно рассчитывать. Дело как будто только что начинается. Войска прибывают, силы собираются. А чем сильнее человек, тем он несговорчивее и требовательнее.

Во всяком случае все это ужасно необычно и все это порождает и породит тысячи недоразумений и затруднений весьма тяжких, и всего вероятнее, что нам будет всего тяжелее. Нам, может быть, придется занять временно некоторые места китайской территории, хотя мы бы этого и не желали, хотя бы это было вопреки всем нашим расчетам и желаниям. Когда поднимается меч, он увлекается сам и увлекает других. Согласия в концерте не может быть, ибо концерт европейских держав не то, что павловский концерт под начальством г. Галкина или концерт Мариинского театра под начальством г. Направника. Совсем не то и название концерта дано дипломатами с улыбкою авгуров. Я буду счастлив, если концерт окончится, как кончаются концерты, рукоплесканиями публики и удовольствием самих исполнителей. Но, думаю, этого не будет и концерт этот приведет к таким *сольным* партиям, о которых трудно представить себе в воображении...

Мудрый Эдип, разреши!

Я не перестану думать, что именно нам необходимо быть этим мудрым Эдипом. Загадка стоит перед нами очень сложная. Это — не Гордиев узел, который можно разрубить мечом. Меч будет рубить около. Но узел придется во что бы то ни стало развязывать и развязывать многие и многие годы. Дело идет о 400 миллионах населения и о самом старшем государстве на земле. Если Европа *откроет* Китай своей культуре, т. е. своей эксплуатации, наше положение от этого нимало не упростится. Оно усложнится и втянет нас в невероятные усилия.

Я повторяю свою мысль: Китай нам — не враг даже и в том случае и в том времени, когда он считает себя нашим врагом. Нам необходимо сделать в этом направлении величайшие усилия. Мы довольно воевали и довольно накопили земельного богатства. Нам пора искать союзов и мирного житья, без которого нам трудно идти вперед. Союз на Востоке нам так же нужен, как на Западе, даже более нужен. Если б Россия достигла того положения, что заключила бы тройственный союз, Россия — Турция — Китай, ее положение было бы прекрасное. Но нам все не хочется признавать, что мы — на треть азиаты, что наше место будто бы в Европе, что нам непременно надо идти в ее хвосте, тогда как на самом деле в течение пятидесяти лет мы все движемся на восток и на восток, туда, где царствовал Чингис, точно невидимая рука туда нас тянет с неудержимой силой. На Востоке нас более слушают, более понимают и дела нам там более. С Европой нам в Китае делать нечего. И повторяю, нам нужен тройственный союз, Россия — Турция — Китай, союз трех империй, нужен, как самое жизненное дело...

28 июля (10 августа), № 8770

CCCLXVII

Акт христианского доверия и миролюбия — вчерашнее известие относительно нашего посольства в Пекине. С высочайшего соизволения государя императора послу нашему г. Гирсу разрешено со всем составом миссии и десантом выехать в Тяньцзинь, но лишь в том случае, если находящееся в Пекине правительство и богдыхан дадут самые верные гарантии, что переезд этот совершен будет в полной безопасности. Г. Гирс должен предупредить о той тяжкой ответственности, которая падет на Китай и самого богдыхана в случае малейшего нарушения не-

прикосновенности всех лиц, которые вместе с российским посланником будут следовать до Тяньцзиня, как скоро это окажется возможным. Это — превосходно и решительно. Россия действует свободно, как говорят ей свои интересы и свое историческое чувство. Надо думать, что Китаи не безумен, что он поймет всю важность такого миролюбия соседнего государя и такого доверия к нему. Всякий благоразумный китаец поймет, что в то время, когда вся Европа ополчается на Китаи, Россия протягивает руку для миролюбивого разрешения вопросов. Это великодушие мужества и силы. Кроме того, в немецких газетах говорят, что война протянется два года — и как-то странно думать, что нашим войскам пришлось бы зависеть от иностранного главнокомандующего, каким бы уважением мы ни были преисполнены к его личным и боевым качествам. Я говорил уже, что «если придется идти нам куда-нибудь добывать славы и выгод, то идти нам под собственной ответственностью, под начальством своих генералов, и только со своими войсками». На то мы — великий народ и если мы — на треть азиаты, то, не говоря о прочем, по своему населению мы составляем целую треть населения всей Европы.

Я возвращаюсь на минуту к союзу Россия — Турция — Китаи.

«Союз здоровой России с двумя больными, Китаем и Турцией — гениальная политическая комбинация», с иронией говорит одна газета, выписав три строки из моего письма. Начать с того, что союз с больными — доброе и христианское дело. Первое христианское правило — помочь больному. Союз с сильными нам доказал, что мы играли служебную роль, подавляя чужие революции и поддерживая или низвергая (Наполеон) чужие династии. Это — с одной стороны. С другой стороны, кто докажет нам, что Китаи и Турция — больны? Больны 400 миллионов населения земного шара!! Что-то невероятно. Чем они больны? Отсутствием европейской цивилизации и христианской религии? Но пятьдесят лет назад и Япония была больна по этому расчету, а теперь она считается здоровой. Почему? Она бьет, стало быть, здорова. Буры бьют Англию, стало быть, буры здоровы, а Англия больна. Германия побила больную Францию. Но если Франция была больна Наполеоном, то она выздоровела теперь.

В чем болезнь Турции и Китая? Это надо было бы хорошо исследовать. Уже слишком давно они больны. Не могут ли они выздороветь и не можем ли мы им помочь чем-нибудь, помогая в то же время себе самим. Я не берусь за разбор этого вопроса. Но позволю себе маленький подсчет населения:

Европа	385 млн.
Азия	840 млн.
Африка	180 млн.
Америка	140 млн.
Австралия	6 млн.
	1551 млн.

Итого, один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов.

Без преувеличения мы можем считать, что русская империя равна по населению всей Америке, целой части света. Говоря о тройственном союзе Россия — Турция — Китаи, я разумею, что сюда входят Персия и Корея по самому своему географическому положению. Подсчитаем жителей:

Россия	135 млн.
Китай	358 млн.
Турция	25 млн.
Корея	10 млн.
Персия	9 млн.
	537 млн.

Таким образом, Россия, Турция и Китай с двумя подчиненными государствами составляют *целую треть населения* всего земного шара, причем население всей Европы без России составляет всего 280 млн., т. е. предполагаемый тройственный союз по населению *почти вдвое больше* Европы.

30 июля (12 августа), № 8772

CCCLXVIII

Я хорошо знаю, что союзы заключаются не с тою скоростью, с какою пишутся статьи, и даже не с тою, с какой производится мобилизация и выигрываются победы. Образование союза дело сложное и трудное, требующее много усилий, соображений и подготовительных работ не со стороны только дипломатии, но и со стороны представителей армии. Армия не есть только материальная сила, но и сила разума, направленного на спокойствие и мир отечества. Европейские армии в настоящее время имеют массу драгоценных материалов о состоянии тех держав, с которыми они могут вступить когда-нибудь в неприязненные или союзные отношения. Управлять какою-нибудь армией — значить, видеть и знать все, что делается и у соседей. Есть еще экономическая, финансовая сторона дела, стремления которой тоже направлены к тому, чтобы знать и изучить положение сопредельных или союзных стран и извлечь из этого пользу для России. Во всех этих отношениях мы в последние годы значительно вооружены. Я — не специалист, но сейчас могу назвать несколько сочинений, принадлежащих военным, и несколько сочинений, написанных лицами финансового ведомства. Есть еще такие печатные сочинения, которые не обнародываются. Что касается дипломатов, то я не знаю сочинений, написанных ими, за исключением разве сочинений г. Татищева о европейской дипломатии и путешествия по Южной Америке покойного Ионина. Но, вероятно, много хороших сведений — в дипломатических архивах, которыми обыкновенно пользуются историки в своих сочинениях.

Дело того союза, о котором я говорил, дело будущего, но так или иначе мы к нему будем стремиться силою вещей. Я, по крайней мере, так думаю. Не новых приобретений мы можем желать, но новых влияний, нового оказательства нашей силы и значения, новых протекторатов. Что мы можем извлечь из подобного союза? Прежде всего свою свободу действий на Востоке. Мы не можем оставаться в пределах государства, как бы оно ни было велико, потому что роль всякой великой державы становится очень широкой и каждой из них приходится считаться со множеством политических комбинаций, рождающихся постоянно. Соперничество их между собой, желание вытеснить друг друга из той или иной

сферы интересов политических и торговых происходит из года в год все настойчивее, и потому из года в год больше и нам приходится считаться с этим и принимать участие и в том, что происходит за нашей избой...

Я, может быть, скажу ересь, но мне всегда казалось, что русский народ — совсем не воинственный народ, несмотря на то, что он много воевал. Он воевал по необходимости, расчищая себе место, как по необходимости заселял новые места и открывал их. Будь он воинственным народом, он не вынес бы так долго монгольского ига и стряхнул бы его одним ударом, а не постепенно, как это было на самом деле. В наших войнах с Турцией мы не были воинственным народом, ибо, достигнув ближайших целей, мы кончали войну, откладывая дальнейшие дела в долгий ящик. Даже во время нашествия Наполеона на Россию, мы не показали себя воинственным народом и никогда не жаждали победы и славы, во что бы то ни стало. Но мы были патриотами и всегда были мужественны и довольно рассудительны. И мужество спокойное, но решительное, мужество не хвастающееся, но скромное и есть то качество, которое отличает русский народ. Оно лежит в его крепкой натуре, в нашем суровом климате и суровых условиях жизни. В этом отношении нас ничем не удивишь и ничто не покажется нам неожиданным или непреодолимым. Ничем нас и не напугаешь, ибо мы хорошо уверены в том, что отстоим себя так или иначе, если нас затронут, хотя бы нам для этого пришлось рисковать очень многим. Но воевать, стремиться к победам, проноситься губительным ураганом — это совсем не наша черта. И государь император выразил основную русскую черту характера, когда произнес свое знаменитое слово о мире.

И теперь мы совсем не стремимся воевать с Китаем и не можем без критики относиться к речам наших союзников, немцев, воинственный пыл которых так горячо выражается. Если б завтра наше посольство, вопреки мнению всех иностранцев, выехало из Пекина — я бы этому, кстати сказать, нисколько не удивился, зная русские качества, — и если б, таким образом, поводы к нашему вмешательству значительно исчезли — лучше этого ничего нельзя бы и придумать. Прикасаясь одним боком к Европе, мы почувствовали бы себя свободнее в Азии. Но в нас, однако, глубоко лежит сознание великой нации, которой все человеческое не чуждо. Нам не чужда гордость победой и всем тем, что говорит нашему самолюбию. Мы поэтому рады всякому проявлению мужества наших войск и на границах с Китаем и в Китае. Вероятно, многим неприятно было бы, если бы нас затмила там какая-нибудь нация и если бы мы ушли оттуда, не получив удовлетворения, которое менее всего, однако, может выражаться в земельных приобретениях, которых нам там не нужно. Но национальное самосознание имеет много для этого путей, и если нам удастся ограничить войну, сократить ее, иметь решительное влияние на этом Дальнем Востоке в настоящее время, мы будем как нельзя более довольны. Если нашим войскам суждено быть под командой фельдмаршала Вальдерзе, то было бы приятно, если бы около него были и русские военные представители, мнение которых должно иметь свое значение. Наши интересы на Дальнем Востоке так жизненны, так существенны, что мы не можем подчинить их кому бы то ни было всецело. Крики немецких газет, которые готовы облечь фельдмаршала Вальдерзе всемогуществом, конечно, так и останутся только в типографских чернилах. О бестактности немецких газетчиков у нас говорено довольно. Всем ясно, что каждая ошибка, каждое увлечение ляжет и на нас и может создать нам затруднения. А мы должны быть свободны и

ясно выделять свои интересы из общих интересов Европы. Настоящий момент чрезвычайно важен, ибо он может решить или войну со всем ее напряжением, или мир со всеми его хорошими последствиями.

1 (14) августа, № 8774

CCCLXIX

Говорят, что союзники в Пекине. Они вошли туда, кажется, без сопротивления. Император и императрица бежали. Три недели тому назад я говорил, что все преувеличивают относительно Китая, относительно сотен тысяч войска и кулаков и относительно посольских миссий, которые были сварены в кипятке, замучены пыткой и нечеловеческими насилиями. Есть тут, во всем этом деле, какая-то тайна, которую, вероятно, откроют послы, когда они будут на свободе. Чтоб восемьсот человек, составляющих все посольские миссии, могли сопротивляться огромному пекинскому населению и войскам с орудиями — этому трудно верить. Бастилию взяла уличная толпа в несколько часов. Не может быть, чтоб помещение английского посольства было крепче Бастилии. Есть что-то необъяснимое в этом обстоятельстве. Где же сотни тысяч китайских войск, которые стояли под Пекином? Если там они были, то их разбил небольшой европейский отряд и они бежали без оглядки. Где те непроходимые болота и наводнения, устроенные китайцами, которые представляли, как нечто непреоборимое? Они исчезли. Небольшой европейско-японский отряд двигался по этой непроходимой местности, в страшную жару, дважды выбил китайцев из двух местечек, где они укрепились, и затем прошел в Пекин. Удивительно, не правда ли? Говорят, что китайцы хорошо стреляют и дерутся в укреплениях, но что на поле они — плохие солдаты и не выдерживают никакого натиска. Возможно. Но все-таки в этой трагедии, поднявшей всю Европу, есть какой-то комедийный элемент интриги, какая-то загадка, которая должна разрешиться теперь, когда ворота Пекина отворены и когда возможно объяснить если не все, то хотя бы нечто. До сих пор мы присутствовали при каком-то странном восстании китайских масс, которые не могли противится решительному движению соединенного европейско-японского отряда. Возникает вопрос о военных способностях английского адмирала Сеймура, который ходил с целью освобождения послов в Пекин и насилу был спасен нашим отрядом. Может быть, более способный генерал и тогда мог еще войти в Пекин и освободить послов? Я — человек не военный и судить обо всем этом авторитетно не имею никакого права. Я и прибавлю, что тут скрывается какая-то тайна. Может быть, эта тайна лежит в характере китайцев, в их национальных свойствах, о которых мы не знаем, может быть, она кроется в распрях китайских партий, о которых Европа тоже мало знает. Вообще, мы должны сказать, что Китай для Европы — страна неведомая.

Оказалось, в восточные государства назначаются во всей Европе дипломаты, конечно, хорошие, но от них не требуется никаких особенных знаний, как не требуется их для Лисабона или Рима. Для дипломата требуется только знание французского языка в совершенстве, ибо предполагается, что при всех европейских дворах говорят по-французски. Что касается Востока, то для него полагаются переводчики, называемые драгоманами; весь же первенствующий состав по-

сольства едет с французским языком и в Константинополь, и в Тегеран, и в Китаи. Так было установлено в Европе, а что установлено в Европе, то и мы от нее принимаем, как аксиому. Если б мы нарушили это правило, то тем самым изменили бы Европе. Когда император Александр III повелел русским посольствам переписываться на русском языке с центральным петербургским ведомством иностранных дел, то некоторые дипломаты посмотрели на это, как на некую ересь, а другие посмотрели на это с удовольствием. Русский язык признавался недостаточно приготовленным для высоких задач дипломатии. Отчего бы нам не пойти дальше? Не ближе ли было бы к нашим целям, если бы посол знал по-турецки, по-китайски, чтоб он обладал хорошо языком той страны, куда едет представлять свое правительство? Сколько открылось бы перед ним неведомого и интересного, в какие тайники он проник бы, непосредственно объясняясь с представителями местной власти и населения, следя за его журналистикой, политикой, нравами и проч. Ведь странно приехать в Париж для того, чтобы изучать направление политики и не знать по-французски. Ведь без французского языка в Париже будешь получеловеком. Не так ли и на Востоке без восточного языка? Говорят, что в Пекине, например, посольская прислуга — все китайцы, понимающие по-французски или по-английски и говорящие на этих языках. И эта прислуга была сильнее своих господ, ибо, понимая, что они говорят, говорила между собою на языке, непонятном для господ, и передавала в китайские сферы о том, что говорят между собою дипломаты. Посольства не знали, что думают и что приготовляются делать китайцы, а китайцы знали всякий шаг и всякое намерение послов. Знать язык чужой страны значит быть на верном пути к тому, чтобы знать и *дух* этой страны, и понимать ее характеры, и изгибы их души. Правда, трудно выбрать и способного дипломата, и такого, вместе с тем, который отвечал бы и этому языкознанию. Но это трудно теперь, когда знание восточных языков мало распространено и когда оно не вознаграждает честолюбия. А если молодые люди будут знать, что восточные языки открывают им прекрасные карьеры на Востоке, что преимущественно из них будут составляться восточные миссии вплоть до посла, тогда восточные факультеты приобретут другое значение и у министерства иностранных дел будет богатый выбор людей для восточных миссий.

Как мало интересовал Китай Европу видно из того, что в лучших атласах, французских, немецких и английских карта Китая занимает почти столько же места, как карта Швейцарии, и весьма неудовлетворительна[1]. Лондон выписал больше ста экземпляров карт Китая, составленных Брейтшнейдером и напечатанных в Петербурге. Стало быть, и Англия не была приготовлена, и она знала мало, если обращалась в Петербург. В этом равнодушии не сказывалось ли какое-то высокомерие?

А что будет дальше? Пришли ли мы к концу или к началу? Кончится ли китайское дело этим взрывом и теми громадными миллионами, которые потребовал этот взрыв у Европы и России, или начинается что-то такое неизвестное, которое ляжет высоким порогом к мирному преуспеянию, оттянув материальные и нравственные силы в эту китайщину? Ведь Европа идет и плывет в Китаи. Ведь она недаром идет и плывет. Она движется туда для оказания своей силы и для расправы. Она станет разбирать и разбираться и с Китаем и между собою. Может

[1] Атласы Штилера, Шрадера, Дебе, Бартоломи, Андрее, Гоцфа и др.

быть, еще будет воевать, и еще будут сражения и походы во внутрь Китая. Никто этого не знает. Но, наверное, она не пойдет назад, не вернется с полдороги. Это смело можно предсказать.

Храни нас Господь!

5 (18) августа, № 8778

CCCLXX

Нет худа без добра.

Воображаю радость, объятия и слезы, когда посольства дождались освобождения. Выдержать эту осаду с женщинами и детьми — надо было очень много передумать и перестрадать. Много перенесли печали и страшной тревоги родные их. Теперь — слава Богу и слава храброму воинству. Все хорошо, что хорошо кончается. Наши войска вступили в Париж, в марте 1814 года на западной части старого материка — Азия, Африка, Европа — теперь они на восточной части этого материка, через восемьдесят шесть лет. И в Париже были с победой, и в Пекине с победой. Есть некоторое, хотя и отдаленное сходство в этих событиях. Ведь и тогда союзники сражались якобы не против Франции, а против Наполеона. За парижской победой — падение Наполеона и ссылка его на остров Эльбу, за пекинской — падение смуты и бегство императора и императрицы. Что с ними будет? Станут ли их водворять в Пекине? Сохранят ли они свою власть? В последние годы мы то и дело слышали, что император свергнут, что он умер, что императрица то захватывает власть, то ее теряет. Смута очевидно начиналась со дворца и из него шла по стране, и в этой смуте верховные правители так или иначе виноваты. Всего лучше было бы уйти им в Сибирь, или доехать до Хайлара, где теперь русские. Чего им странствовать из города в город, ожидая, что немцы подъедут и пойдут их отыскивать, а, может быть, и раньше станут их отыскивать. У нас им было бы спокойно. Мы привыкли оказывать гостеприимство восточным владыкам: царям казанским, ханам крымским, Шамилю. Милости просим, не только не обидим, но окажем всякое удовольствие.

Не знаю почему, может по недостатку дипломатического чувства, я рад, что союзные войска вошли в Пекин до приезда фельдмаршала Вальдерзе и что русский генерал Линевич сыграл роль фельдмаршала и сыграл блистательно. Сто раз слава Богу. Ах, если бы на этом кончилось! Китайцев побито достаточно. Зачем продолжать? Разве для того, что их слишком много, а потому поубавить не мешает? «Положить бы их тысяч пятьдесят, забыли бы устраивать подобные штуки!» — говорил мне человек статский и весьма миролюбивый, но у него китайцы своей медлительностью, неповоротливостью и таинственностью раскачали нервы и он начал злиться. Я думаю, и без того их много побито — тысяч десять в разных местах и союзниками, и своими. Китайцев в реляциях как-то не считали, ограничиваясь фразами: «потери китайцев значительны», «потери китайцев тяжкие». У китайца, очевидно, своя психология, отличная от европейца. Он легко расстается с жизнью и в то же время, как говорят, не отличается храбростью. По-видимому, если человеку легко расстаться с жизнью, то он полезет на смерть безбоязненно. А по рассказам китаец быстро теряет мужество и бежит, или бросается на землю и ждет спокойно смерти. Если это так, то не потому ли, что

когда жизнь ничего не стоит, то не стоит и защищать ее, не стоит для этого и трудиться. Храбрость есть результат энергии жизни, а не равнодушия к ней.

Как бы то ни было, Пекин теперь всемирный центр. Мысль невольно туда обращается, и если в парижских модах появится что-то китайское, я не удивлюсь. Я бы желал этого, ибо оно было бы маленьким элементом примирения. «И китайское нам не чуждо», — сказали бы дамы. Было бы недурно, если б офицеры привезли с собой жен-китаянок. Надо стремиться к «общечеловеку». Что теперь происходит в Пекине? Какое там правительство, какие порядки, как относится население к союзникам и союзники к населению? Все это чрезвычайно любопытно. Затем, какие намерения того «общечеловека», который воплотился в союзные войска, когда они шли к своей цели, и который начнет распадаться теперь на свои составные части? Что думают и гадают дипломаты? Какое значение имеет теперь фельдмаршал Вальдерзе и будут ли продолжать действия до его приезда, или все остановится и станет его ожидать? Едет ли с инструкциями или он определит свои действия на месте, смотря по обстоятельствам? Будет ли он наказывать или не будет? Делится ли Китай в чьих-нибудь умах и как делится? Или господствует одна мысль: оставить его таким, каков он есть, но принять меры на будущее. Какие это меры? Первая мера должна бы состоять в том, чтобы заставить христианские миссии бросить свои коммерческие цели и коммерческие приемы для обращения китайцев ко Христу. Христос — Бог любви и братства, а не Бог коммерции и торгашества. А в какой мере это торгашество покровительствуется христианами, видно из того, что китайские фирмы выставляют на своих помещениях флаги миссий, чтобы пользоваться прерогативами этих миссий.

Китайцы — народ миролюбивый и веротерпимый. Среди его населения есть множество магометан (около двадцати миллионов, в одном Пекине — около ста тысяч), но ни разу не было случая, чтобы магометане преследовались. Почему? Потому, что они не навязывают своей религии и не пользуются средствами и влияниями христиан. Им чужд дух прозелитизма, тогда как западные христиане преисполнены этим духом, напоенным материальными выгодами. Вспомните, как наши предки отбивались от католичества, которое поссорило нас с Польшей. Все наши национальные интересы сосредоточивались в православии, наш лозунг в Смутное время был православие. В документах того времени ненависть не к поляку, как к поляку, а к поляку, как католику, который желает отнять у нас национальную религию, видя в ней ересь и дикость. Ошибались ли наши предки или нет, лучше ли католичество или православие, не в этом вопрос. Вопрос в том, что своя религия дороже и лучше чужой. И китайцы ненавидят христиан не потому, что они — христиане, а потому, что обращенные в христианство являются привилегированными китайцами. Национальная религия, таким образом, унижается явно и унижается народ, ее исповедующий. И кто поверит этой Европе, которая у себя дома забывает Христа и даже игнорирует его, а на Востоке является с проповедью, основанной на низменных расчетах и презрении к китайцу. Сумеет ли дипломатия, в лучших и беспристрастнейших своих представителях, среди которых русские несомненно будут, устранить это зло и придти на помощь китайцам? Они имеют право на эту помощь и вот где «общечеловек» должен выступить на первый план и где русский дипломат может безбоязненно и смело стать на сторону китайцев.

7 (20) августа, № 8780

CCCLXXI

Все ли в мире зависит от Европы? Нет, далеко не все. Не говоря об Америке, которая составляет отдельную часть света, старый материк получил новую окраску в последние годы. И Азия, и Африка вдвинулись в интересы Европы очень плотно. Юг Африки отстаивает свою независимость от могущественного европейца. Старый Китай восстает против целой Европы, Абиссиния побеждает Италию. Не будет ли любопытно разобраться, старые или молодые силы руководят теперь действующим миром. Вот года двадцати пяти государей и правителей, близко или издали заинтересованных в современных событиях:

Лев XIII, папа	90
Христиан IX, король датский	82
Виктория, королева Великобритании	81
Оскар, король шведский	71
Франц-Иосиф, император австрийский	70
Леопольд II, бельгийский король	65
Э. Лубэ, президент Французской республики	62
Карлос I, король португальский	61
Карл I, румынский король	61
Николай I, князь черногорский	59
Абдул-Гамид II, султан	58
Менелик II, абиссинский король	58
Мак-Кинли, президент Соединенных Штатов	56
Георг I, король греческий	55
Абдурахман, эмир Афганистана	55
Муцухито, император японский	48
Музафер-Эддин, шах персидский	47
Вильгельм II, германский император	41
Фердинанд, князь болгарский	39
Николай II, русский император	32
Виктор-Эммануил III, итальянский король	30
Гуансюй, китайский император	28
Александр, сербский король	24
Вильгельмина, нидерландская королева	20
Альфонс XIII, король испанский	14

Будучи человеком старым, я смело могу сказать, что пятьдесят лет — хороший возраст, пора зрелого ума и опыта недостаточно еще охлажденного сердца. Все молодое, не исключая увлечений и даже любви, в эти годы еще довольно сильны и сам человек хотя говорит о старости, но еще мало или совсем не чувствует ее. Конечно, все это лишь в том случае, если человек не переутомился преждевременно и не потерял интерес к жизни и к ее волнениям. Настоящая старость начинается лет с шестидесяти, но и тут бывают счастливые исключения. Я говорю об этом для определения государственной энергии и порывов и ставлю пятьдесят лет, как грань, за которой начинается раздумывание, осторожность, неуверенность в том, что посеянное может вырасти при мне, что усилия

выдержат напряжение, не уменьшая во мне энергию и что я еще пожну плоды моих работ. Кто бы что ни говорил, а эти качества очень важны в деятельности человеческой. Я иное не начну, потому что, думаю, не успею кончить. Иное безжалостно критикую, чтоб уронить его в глазах молодых современников, которые, по моему мнению, с ним не справятся и только напутают. Иное и начну, но в пределах осторожных и узких, чтоб не затруднить тех, которые должны будут продолжать это. Чем старее, тем осторожнее и боязливее. Молодость потому и самонадеянна, и быстро берется даже мир преобразовать, что она не видит перед собой смерти и не чувствует ее приближения. В двадцать лет можно рассчитывать еще на пятьдесят лет жизни, на целые полвека, а в пятьдесят можно рассчитывать только на пятнадцать-двадцать лет. Чем дальше, тем меньше. В семьдесят лет жизнь даже и сильные проводят под заметным холодным дуновением могильного ветра.

Если с этой точки посмотреть на судьбы государств, предполагая, что правители имеют влияние на течение дел и в конституционных монархиях — относительно республик оставляю за собою оговорку — то мы увидим, что старое или сменилось молодым или находится на пороге к смене. Новый дух должен повеять, в новые условия должна вступить Европа. Какой это новый дух, какие новые условия, я не знаю. Но я знаю, что характер государя непременно отражается и на его подданных и частью даже усваивается ими себе. Что любит он, то и многие начинают любить. Усваиваются существенные признаки его физиономии. О чем он мечтает, о том и многие начинают мечтать. Его фраза, его малейший намек разрастаются в целые и определенные намерения. Россия, Германия, Италия, Болгария и Сербия представляются мне на той дороге, где жизнь любят, любят все ее радости, любят славу и влияние. В это время, т. е. от тридцати до сорока лет, смелое творчество и яркие мечты в голове. В это время сил избыток и избыток веры в себя, а вместе с тем и в людей. Пора разочарованию еще не наступала в эти прекрасные годы. Если не принимать во внимание разность культуры и вероисповедания, то в таких же условиях находятся Китай и Япония. Нидерланды и Испания совсем еще юны...

Традиции старого непременно видоизменяются и дополняются в молодом поколении как обыкновенных людей, так и государей. Как ни устойчива и ни консервативна дипломатия, но и она подчиняется общим причинам. Правители непременно должны вносить и непременно вносят свою собственную творческую мысль в судьбы своего отечества и мира, насколько мир от них зависит и связан с их отечеством. Пройдет еще несколько лет, молодые государи останутся еще молодыми, а старые отойдут в вечность и молодых еще прибавится на высоте тронов. Вымирают и вымрут старые подданные их, старые государственные люди. Которые станут на их место уже не те, хотя бы они у них учились. Поэтому мир на пути к обновлению и новые перестановки в Европе, Азии и Африке на череду и, может быть, они ближе, чем думает опытная и осторожная старость. Брошенная искра может произвести пожар. Тлеющая в тиши мысль может разом заблестеть и окрылить мечтания поколений. Забытые или временно отложенные политические задачи могут выплыть вперед с небывалою силою. Самое декадентство с его странностями, с его капризами и привычками может возыметь свое значение, если проложит себе заметную колею в обществах, сгладится и определеннее осветится. Ницшеанство с своим поклонением аристократизму, сверхчеловеку, со своим пересмотром морали, с своим добром и злом «по

ту сторону добра и зла» не может остаться бесследным для характеров слагающихся и развивающихся. Они воспримут и часть ницшеанства, как и прочих течений более или менее сильных. *Весь* человеческий дух со всеми своими разветвлениями участвует в движении мира, составляет эпохи и образует характеры, а не одна его часть. Классицизм стряхивается смелее и смелее и поднимаются новые волны другого цвета и не столь правильной формы. Какая-то изогнутость линий и узоров, какая-то чрезмерная яркость или чрезмерная смутность красок и рисунка, смелость изгибов, ломаные линии, острые углы — вот что наблюдается в проявлениях общественного духа, в искусстве, в литературе и... в политике это станет неизбежным. Новый стиль явится и в политике. Бисмарк его предчувствовал и отчасти положил ему основания. Но развитие этого стиля пойдет дальше и смелее.

Год тому назад никто не предвидел великой борьбы Великобритании с маленькими республиками в Южной Африке. В прошлом мае никто не думал о великом походе Европы в Китай, и Пекин с негодованием отверг бы мысль, что 2 августа Европа будет праздновать свою победу в его стенах. А ведь эти явления не deus ex machina — они незаметно подготовлялись и созревали невидимо даже для внимательных наблюдателей современности. Эти события только появились нечаянно, как нечаянно появление гения с его созданиями, увлекающими современников. И борьба Великобритании с бурами, и борьба Китая с Европой — явления гениальные, ибо оба они несомненно оставят свой след в истории народов и дадут иное направление думам и мечтам целых поколений и породят новые характеры, и новые желания, и новые цели, и новый полет фантазии.

Тут важны не столько сами по себе эти победы и поражения, сколько важны те впечатления на современников, которые производят эти события, заставляя их, современников, меняться и развиваться в новом направлении. Даже не столько важно то, кому и чему я сочувствую, каким странам, каким идеям и стремлениям, сколько то важно, что я живу ускоренною жизнию и принимаю большую массу поразительных впечатлений.

Поэтому надо быть непременно сильным, физически и умственно, надо быть готовым к тому, что двадцатый век, в который мы вступили или готовимся вступить, будет резко отличаться от XIX века и первые его годы могут пройти так же бурно, как первые годы XIX века. Государственные люди, каких бы лет они ни были, должны это всегда помнить и с этим считаться. Сил набралось — их надо израсходовать, задачи определились, иногда веками — их надо выполнить. Это как евангельская притча о глупых и мудрых девах и о женихе, который идет в полуночи. Необходимо иметь светильники...

8 (21) августа, № 8781

CCCLXXII

Женщины-писательницы молчат о Китае и не говорят нам, желают ли они его покорения, оправдывают ли они поход Европы или извиняют Китай? А женский вопрос в Китае стоит совсем не по-европейски. Женщина там не пользуется свободою европейки и, главное, лишена возможности покровительствовать промышленности и торговле. Известно, что в Европе нет таких гениальных ми-

нистров промышленности и торговли, как женщины. Для них работают миллионы рабочих, ибо европейская женщина свободна... одеваться. Это — важная ее свобода, без которой она потеряла бы чрезвычайно много, не только она, но и множество торговых и промышленных предприятий. Китаянка этой свободы не имеет. Она обязана одеваться по старой китайской, неподвижной и однообразной моде, и рабство ее полное. Не иметь возможности одеваться, представлять собою не одну, а несколько женщин, считая экземпляр нового своего издания по последней моде, женщина теряет чрезвычайно много.

Европейцы, заботящиеся о просвещении Китая, конечно, обратят на этот предмет свое просвещенное внимание. Они должны бы прежде всего уничтожить неподвижность Китая в костюме. Прочь китайское платье. Пусть Китай обрядиться в европейское и Европа выиграет гораздо больше, чем победами. Представьте себе, милостивые государыни, что ввоз в Китай европейских произведений равняется только с небольшим восьмистам миллионов франков, а вывоз — шестьсот пятьдесят миллионам. И это на триста семьдесят пять миллионов жителей. Это было в 1898 году. Возьмем для сравнения страну благоразумную, возьмем Германию. За тот же год в нее ввезено товаров на один миллиард восемьсот миллионов франков, т. е. в восемь раз больше, чем в Китай. Это значит, что для ста немцев ввезено товаров в шестьдесят раз больше в Германии, чем ввезено их для ста китайцев в Китай. И какие неинтересные для женщины товары! Опия — на 112 млн., хлопка — на 312 млн., риса — на 60 млн., керосина — на 52 млн., сахара — на 40 и всего-навсего на 21 млн. — тканей. Один экономист вычислил, что если исключить опий, продукт совсем не европейский, хотя доставляемый англичанами, то Европа получает барыша с Китая в год всего около 30 млн. Это — решительные пустяки. Но если женщину освободить, т. е. дать ей право одеваться по-европейски и жить по-европейски, ввоз тотчас возрастет значительно.

Значит, в Китае на первом плане женский вопрос.

Там женщин около двухсот миллионов. Если средним числом каждой понадобится только на 1 франк всякой женской дряни, вот уже двести миллионов франков. Я думаю, что немцы это сообразили и уж готовят необходимые «товары» для утешения китаянок. А что эти привозные товары лишат скудного заработка китайских рабочих, которые готовят кустарным образом все то, что потребно для неприхотливой жизни, о том Европа думать не станет. Но нам и об этом думать следует, ибо голодные китайцы могут наводнить Сибирь. Это — перспектива далеко не из блестящих. Известно, что Соединенные американские Штаты запретили ввоз к себе китайцев, которые дешевизною рабочей платы поразили всех...

Немцам везет и я им искренно завидую и считаю эту зависть за добродетель. Мы обязаны им завидовать, ибо на международном рынке зависть обращается в другое понятие, известное под именем конкуренции, и я на этом прекрасном пути очень желал бы видеть свою родину. Конечно, и они завидуют немножко нам, ибо Пекин взят русским генералом и преимущественно русскими и японскими войсками. Обойтись без немцев в таком важном деле — вещь не последняя. Но в военном деле мы давно конкурируем даже с целою Европою и я совершенно убежден в том, что одни наши войска могли бы водворить порядок в Китае. Будь только одно наше посольство в опасности в Пекине, Европа могла бы и не сдвинуться...

Я серьезно страшусь теперь будущего, ибо не могу предвидеть, что сделают в Китае «союзники» под предводительством фельдмаршала Вальдерзе. Он сказал

императору Вильгельму при прощании, что «приказ об отступлении не сойдет с его уст». Значит, он думает о наступлении. Из его бесед с представителями печати я прочел, что он готов допустить некоторых из них, но предваряет, что их ждут большие опасности. А отсюда следует, что он будет воевать, что война неизбежна. Речь императора Вильгельма, напротив, отличается умеренностью; хотя он упомянул о кровопролитии, но он упомянул и об отсутствии кровопролития, лишь бы задачи были совершены, как следует. «В интересах нашего народа, — сказал он между прочим, — я желаю, чтоб наша совместная экспедиция обратилась в твердую гарантию взаимного уважения и взаимного мира для европейских держав, как пытался того же достигнуть в прошлом году русский император на другом поприще». Да, это было совсем другое поприще, где мир рекомендовался для всего мира и где действовали только убеждения ума и сердца, а не оружия. И на этом прекрасном и человеколюбивом поприще, где ум не был стеснен честолюбием, где был полный простор слову и откровенности, не было достигнуто согласия даже в принципах, а не только в подробностях. Когда образованный мир с восторгом рукоплескал нашему государю, европейские дипломаты клали в колеса мира палки. Теперь спрашиваю: неужели на поприще общей опасности или предчувствия ее ввиду колосса, который не поднял еще головы, а только осмелился огрызнуться, как огрызается дикарь, возможно достичь согласия, мира и дружбы? Давай Бог. Но затем, неужели только оружие может соединять людей, а не культура, не развитие, не душа, просветленная Богом разума и лучезарного света?

9(22) августа, № 8782

CCCLXXIII

Как я мог сказать о союзе с Китаем в тот момент, когда «китайские изуверы избивают десятки тысяч (??) китайских христиан», когда памятен «недавний ужас всего мира, что все посольства с бывшими при них тысячами людей (??) вырезаны в столице Китая» и «когда китайское правительство, быть может, заслуживает виселицы, как предатель и убийца...»

С высоты виселицы, на которую взобрался публицист «Киевлянина», не подозревающий, вероятно, что эта виселица пахнет «китайским изуверством», может быть, и нельзя говорить о союзе с Турцией и Китаем. Но с высоты человеческого разума можно и должно говорить. Разум дан человеку для того, чтобы рассуждать *постоянно*, а не для того только, чтоб подогревать негодование, как бы оно ни было законно. Китайцы получили и получают возмездие и в Маньчжурии, и в Тяньцзине, и в Пекине и всякому желательно, чтоб поскорее все успокоилось. Я говорю о том времени, когда все придет в нормальный порядок. Для нас сожительство с Китаем — вопрос чрезвычайной важности и это сожительство нам придется устраивать и поддерживать без Европы. Она нам в этом случае никогда не поможет, а помешать в состоянии, как мешала она нам в наших столкновениях с Турцией и даже вместе с нею ходила против нас в Севастополе.

В деле союзов и международных распрей убитые никогда не играли большой роли. Перебьют народы друг у друга сотни тысяч людей и потом целуются, хотя было бы лучше поцеловаться прежде. При одном Бородине пало русских больше

двадцати тысяч, а если счесть сколько тысяч русских солдат и офицеров, убили или ранили насмерть французы в наших войнах с ними, то мы, по всей вероятности, дойдем до сотен тысяч. И мы, однако, в союзе с Францией и никаких потерь не считаем, а считаем только прекрасные стороны этого союза. Сам мой противник замечает: «Настанет, быть может, и для Китая другое время, более светлое, более культурное, тогда будет и иной разговор». Ну, а я думаю, что разговор этот и теперь надо вести, пока войска совершают свое трудное дело усмирения.

«Великое христианское государство в союзе с магометанами и язычниками против европейских великих государств!» — восклицает «Киевлянин», впадая в тон Манилова после восклицания о виселице. Ни виселицами, ни маниловщиной, ни высокомерием христианина-европейца много не возьмешь. Надо хладнокровно разбираться.

В русском государстве несколько миллионов магометан, добрых граждан и вообще добродетельных и честных людей; как у нас среди магометан, так и в Турции есть люди вполне просвещенные, которые ни в чем не уступят европейцам, и если имеют несколько жен, то законных, тогда как европейцы позволяют себе иметь только одну законную жену, а незаконных много. На чьей стороне тут преимущество, решать не берусь. Но я не вижу ни малейшей причины, чтобы нельзя было быть европейски образованным человеком, оставаясь магометанином. Мавры-магометане создали удивительные образцы архитектурного искусства, а языческая Греция и языческий Рим создали столько великого и прекрасного в слове, в мысли, в художествах, что христиане доселе поклоняются этим созданиям, и греческое и римское легло в основание европейской культуры. Конечно, языческий Китай не идет в сравнение с Грецией и Римом, но он жил своею жизнью целые тысячелетия, создал свою литературу, свои художества, свою нравственность, свою семью, почитание предков и произвел своих мыслителей, имена которых известны всему просвещенному миру.

Язычники! Почему язычники? Китайцы-язычники только на пономарском языке. А пономарский язык давно надо бы бросить в политических статьях и пользоваться европейским языком, на котором китайцы — буддисты, магометане, конфуциане и христиане. Учение Будды и Конфуция пользуется среди ученых и мыслителей большим уважением и заключает в себе много прекрасных нравственных правил, следовать которым не обидно было бы и гордым европейским христианам, не говоря уже о пономарях...

Я не проповедовал ненависти к Европе никогда. Но я всегда думал, что мы прежде всего должны думать о себе и не стремиться помогать Европе устраивать свои дела. У нас и своих дел великое множество, а средств меньше, чем у Европы. Никогда не был я ни немцефобом, ни англофобом, в чем косвенно обвиняет меня и некоторую часть русской печати мой собрат из Киева. Мне всегда казалось, что я, как русский человек, имею такое же право, в иных случаях, резко говорить об англичанах и немцах, как резко они говорят о России и русских. Если немцы и в особенности англичане в смешном и даже безобразном виде изображают Россию и русских, то и я имею на это такое же право. Если они отстаивают интересы своего государства с тем патриотизмом, который я не могу не уважать, то и я имею на это такое же право. Меня всегда удивляло заступничество за Европу со стороны иных русских людей, ибо я совершенно убежден в том, что Европа в этом так же мало нуждается, как и в заступничестве киевских писате-

лей. Если европейские дипломаты, пребывающие в Петербурге, иногда поднимают вопрос о русских газетах, русские дипломаты имеют право отвечать им, что европейская печать гораздо невоздержнее. «Но у нас печать свободна, а у вас она находится под контролем администрации», — отвечают дипломаты совершенно неправильно, ибо, во-первых, и в Европе печать очень часто *направляется* правительством, причем даже печатаются правительственные статьи под фирмою частных газет; во-вторых, было бы крайне нерасчетливо усиливать влияние европейской печати молчанием нашей печати; и в-третьих, покойный князь Бисмарк в последние годы своего канцлерства в парламенте говорил, что невозможно возлагать ответственность за политические статьи русских газет на русское правительство. А князь Бисмарк знал условия русской жизни лучше, чем кто-нибудь в Европе. Мне весьма хорошо, кроме того, известен документ, написанный покойным графом Д. А. Толстым, в бытность его министром внутренних дел, в защиту русской печати по вопросам иностранной политики. А покойный граф не был другом повременной печати, как это всем известно, но в вопросах иностранной политики голос ее он считал весьма полезным.

Вчера я просматривал одну новую немецкую книжку[1], в которой автор, говоря о России и русских много непохвального, даже придавая очень малое значение в европейской истории русской военной силе, замечает: «Если задача дипломатии не только канцелярское разрешение дел, возникающих во взаимных отношениях одного государства к другому, если от дипломатии требуется искусство создавать во внешней политике из ничего нечто и даже многое, то *русская дипломатия — лучшая в мире, а прусско-немецкая — худшая, чем у всех народов и во все времена*»[2]. Я думаю, что этот немец говорит неправду о своей дипломатии, которая имела Штейна, Гарденберга и Бисмарка, но я понимаю его чувства: ему хочется, чтоб немецкая дипломатия была несравненна. Какие бы успехи она ни делала, ему все хочется больших. В русском писателе подобную фразу, если б она была кем-нибудь сказана, также можно извинить и не приписывать ее «распущенности мысли», если она продиктована таким же чувством. Слова немецкого писателя так же бессильны повредить немецкой дипломатии, как и слова русского писателя заслугам русской дипломатии. Что ж делать, когда свое хочется видеть в ореоле блеска и успеха, и всякую неприятность и обиду своему русскому чувству принимаешь с болью...

Бросая мысль, скорее намек о союзе Россия — Турция — Китай, я имел в виду только интересы России и никакой вражды к Европе, где у нас такой союзник, как Франция, и где не мешает иметь, быть может, и других союзников. Я не знаю союзов «на жизнь и смерть между государствами», — такою фразою определяет значение союзов мой собрат. Я хотел бы на Востоке союза, которым бы Россия распоряжалась, и вообще я желал бы союзов только на жизнь. На смерть я их не желаю, и ни с кем, ни в Европе, ни в Азии. Коли умирать, так незачем тащить за собою другого. Россия умирать никогда не собиралась и способна, по моему глубокому убеждению, возбудить жизнь и в больных и способствовать их выздоровлению.

10(23) августа, № 8783

---

[1] Deutschland bei Begin des 20 Jahrhunderts. Berlin.1900

[2] . dann ist die russische Diplomatie die beste der Welt, so wie die preussisch-deutsche die schlechteste aller Zeiten und Völker ist. (стр 890)

CCCLXXIV

Не начать ли проповедовать войну? Что, в самом деле, рассуждать, говорить о мире, о дружбе, о том, что и китаец есть человек. Не проще ли объявить его вне законов человечества, называть его грязным и подлым язычником и бить, и истреблять как бешеную собаку. Ведь это гораздо проще. Проповедь ненависти и злобы куда благодарнее и легче. Основания для ненависти и злобы изобильно лежат в организме человека, будь он язычник или христианин. До любви надо дорыться, надо ее отыскивать в сокровенных изгибах человеческой души, а ненависть, возмездие и корысть выпирают из нутра на поверхность: бери этого добра сколько хочешь и действуй. Ветхий человек не очень изменился под влиянием христианства, и христианская любовь только в Евангелии Христовом, а не в душе человеческой. Душа же человеческая вечно готова истреблять и кричать об истреблении.

Не начать ли проповедовать войну, да не эту тягучую, изнурительную, раздражающую, то поднимающую нервы, то подавляющую их, а настоящую войну, всемирный потоп, чтоб все передрались, чтоб погибли фабрики и заводы, а вместе с ними рабочие потеряли бы свое пропитание, чтобы лопались банки, останавливалась всякая производительная деятельность и чтобы в Европе шел бы стон и плач, чтоб все дрожали за свою жизнь, за жизнь близких, за свое имущество, и чтобы гром пушек покрывал все это своей кровавой поэзией и чтоб лавров не хватало для увенчания полководцев. Коли война, так война настоящая, жестокая, кровавая. А что это за жалкая война против народа, который воевать не умеет и не хочет, и который желает только одного, чтоб его оставили в покое. Я говорю о «народе». Какая тут поэзия войны, какая эпопея, когда небольшой отряд храбрых, смело и самоотверженно идущих в бой, поражает тысячи и берет столицу величайшей империи в несколько часов. Взятие Измаила — вот военная эпопея, защита Севастополя — вот чудесные страницы в жизни военной, поднимающие дух и оставляющие воспоминания на целую жизнь. Наполеон вступил в Москву без боя, но перед Москвой народы дрались в одной из величайших битв, где пало до пятидесяти тысяч человек. Обложение немцами Парижа и защита его — опять представляет собою две народные энергии в величайшем напряжении. А в Китае негде развернуться энергии, негде показать ярко той крепости и силы, которыми обладает народ, невольно втянутый в эту войну, и где не мешать мелкой международной зависти и интриги. И она уже появляется. В Шанхае нелады между Англией и Францией. Приглядитесь к иностранным депешам. Все, что из Шанхая, т. е. все английское, ставит державы в таком порядке: Англия, Франция, Япония, Россия и Соединенные Штаты. Японцы везде на первом плане. Японское правительство предложило дать Китаю в распоряжение двух выдающихся юристов, которые помогли бы ему при разрешении текущих международных вопросов. Это значит: Япония претендует на первую роль в управлении Китаем, ибо всем хорошо известно, как цепки юристы во всей т. н. образованной вселенной. Я этим не хочу оказать и тени неприязни японцам: на месте японца и я, вероятно, поступил бы так же. Я только думаю, что китайские юристы нимало не хуже японских и желаю только справедливости, гармонии и беспристрастия, насколько они возможны в этом трудном международном деле, где аппетиты разгораются. А что еще будет, трудно предвидеть.

Я знаю, что есть русские, которым неприятно назначение фельдмаршала Вальдерзе главнокомандующим. А я очень рад, что эта роль досталась не русскому полководцу: это усложнило бы наше положение и ответственность. Русский генерал Линевич явился просто как старший офицер, явился по кричащей необходимости, по повелению, так сказать, самой судьбы, которая настаивала на поспешности, на быстроте действий, и он оправдал себя и то оружие, к которому он имел честь принадлежать. Его мужественные солдаты первыми взошли на стены Пекина. Этого для нас довольно. Неужели нам еще воевать уж не с революцией, которая не умела ничего организовать и которая делала, сама хорошо и ясно не зная, что и для какой цели, а с народом, который очевидно воевать не хочет в своей трудолюбивой, сплоченной массе? Нам надо успокоить эту массу и самим успокоиться. Мы сделали все не только для славы своего оружия, но и для ближайших целей, которые поставила так неожиданно для нас сама китайская революция. Далее нам — примирительная, твердо-примирительная роль. Эту роль превосходно поддержат наши войска, которых в урочный час будет довольно на Дальнем Востоке. Напряжение, сделанное Россией в этом смысле, доказывает ее проницательность и крепкое стояние за нашу роль на Востоке.

12 (25) августа, № 8785

CCCLXXV

Говоря о союзе трех империй — Россия, Турция, Китай я никак не думал, что проповедую «панславизм». Оказалось, что я именно проповедую панславизм, к которому немцы относятся очень чутко. Князь Мещерский взял на себя труд (см. «Н. В.», «Среди газет и журналов», № 8787) объяснить редакции берлинской газеты «Tageblatt», что мое предложение о союзе трех империй исходит только от меня, а вовсе не от правительства. Немцы, полагаю, сами это знали очень хорошо, но они умеют, в особенности боевые журналисты, притворяться, когда нужно.

Всем очень хорошо известно, что немцы прекрасно работали и работают в Турции после нашей войны с ней и Берлинского конгресса с покойным великим «маклером». Они так хорошо работают, что Турции, потеряв власть над славянами, испытывает на себе влияние пангерманизма. Славяне, очевидно, тот элемент, который одинаково не нравится и туркам, и немцам, и если даже туркам удавалось иногда отуречивать славян, то немцы умеют это делать умнее и деликатнее. Россия этого никогда не умела делать, вероятно, потому, что в ней самой много расплывчатых славянских свойств. К счастию, великороссы приняли в себя много крови других народов и приобрели тот талант государственности, который образовал великую империю и стремится укрепить ее всем своим мужеством. Русская история последних трех столетий в этом отношении представляет собою удивительный образчик роста и настойчивости.

Я думаю, что в Германии немало людей, которые очень предусмотрительны и дальновидны, как относительно Турции, так и относительно Китая. Немцы первые подумали о приобретении в Китае и, подумав, заняли Киао-чао. Потом принц Генрих имел торжественную аудиенцию у богдыхана. Весьма ведь возможно, что если немцы в моем предложении о тройственном союзе видят

«панславизм», то в действиях немцев совершенно с таким же правом я могу видеть «пангерманизм» и притом весьма систематический. Зачем было немцам занимать Киао-чао? Ведь колонизация Китая немцами или какими-нибудь европейцами дело немыслимое. Внутренний Китай так населен, что сам готов выкинуть излишек населения, а не то, что принять его. Несколько больших провинций, заключающих в себе около ста миллионов жителей, населены почти так, как Бельгия. Очевидно, заняв Киао-чао, немцы желают иметь политическое влияние в Китае и, быть может, с задней идеей противодействовать русскому политическому влиянию. Я высказываю это, как деликатнейшее мое предположение и притом в ответ тем немцам, которые говорили в Берлине князю Мещерскому: «Прежде вы, русские, работали pour le roi de Prusse, а теперь в китайском вопросе le roi de Prusse будет работать для вас»...

Дааи Боже. Я вообще очень склонен жить с немцами в большом мире. Но мне думается, что союз с Турцией и Китаем не мне первому пришел в голову, а немецким государственным людям, которые скромно уверяют, что работают против Англии, а вовсе не против России. Когда Германия укрепила свое влияние в Турции, она бросилась на крайний Восток, чтобы и там взять то, что она может взять благодаря своей культуре и сообразно своим дальновидным планам. Сибирская железная дорога популярна в Германии едва ли не больше, чем в России, ибо по этой дороге пойдут немецкие товары и в Сибирь, и в Китай. Германские государственные люди, как и вообще немцы, народ предусмотрительный, трудолюбивый и упорный.

У нас некоторые русские «европейцы» со снисходительной улыбкой отнеслись к моему предложению, а другие с порицанием. Но если сами немцы, как я думаю, действуют в этом же смысле, то мое предложение вовсе уж не так глупо. Задача писателя не в том заключается, чтобы его мысли тотчас применялись на практике — такое самомнение было бы нелепо, а в том, чтоб они находили себе добрую почву и росли на ней. В данном случае это — почва мира для обоюдных выгод России, Турции и Китая, та почва, которая может уйти из-под наших ног, если мы зазеваемся. Быть может, фельдмаршал Вальдерзе едет в Китай не с тем, чтоб воевать, а с тем, чтобы завоевывать крепкое для Германии влияние и положение в Китае. Ведь мы не знаем его инструкций и его намерений. Мы знаем его, как военного атташе в Париже в 1870 году, как начальника штаба одной из германских армий в 1871 году, как начальника штаба парижского губернатора во время стоянки немцев в Париже и, наконец, как наследника Мольтке в генеральном штабе, после вошествия на престол императора Вильгельма II. Сколько мне помнится, после отставки Бисмарка, его имя произносилось, как кандидата в канцлеры. Во всяком случае, у него репутация не боевого генерала, не полководца, а скорее администратора и политика. Фельдмаршальский жезл в его руках, быть может, — знамя германской политики, а не германской военной славы...

Немцы, судя по газетам, видят какое-то противоречие в том, что с одной стороны наши войска сражаются с китайцами, берут города и селения, овладевают левым берегом Амура, а с другой — в русской печати и в русском обществе идет волна в пользу китайцев, в пользу их культуры и их независимости. А на самом деле тут противоречие только внешнее. Естественно, что мы не могли пассивно относиться ни к пекинскому пленению нашего посольства, ни к набегам на нашу территорию. Но мы выросли из того патриотизма, который считался обязатель-

ным по поводу всякого грома оружия. Чувство нашего патриотизма в этом китайском вопросе выразилось сложнее, тоньше и вполне разумно. За громом оружия, за победами, которые приятны русскому чувству, слышится та русская *культурная* сила, которая сознает свою ответственность и *рассчитывает свое влияние в будущем*. Думать о будущем — это важнейший признак хорошего и здорового возраста и в отдельном человеке, и в государстве. Я полагаю, что и немцы это понимают, этот русский несомненный рост. По бывшим примерам, они могли думать, что мы будем кричать «ура» столь неустанно и столь громко, увлекаясь в войну ради войны, ради соперничества в военном деле с другими европейцами, что нам не останется времени для того, чтоб думать и рассчитывать наши действия. Если они так думали, то они обманулись. И наше военная сила не только знает свои обязанности военные, но вместе с тем хорошо знакома, в своих представлениях, и с культурными задачами России и умеет с тактом и талантом проводить их в жизнь. Последние полвека нас многому научили на практике жизни в наших новых владениях на Востоке. А если кто мешает нам в нашем движении на Восток, то это все-таки Европа, которая не хочет помириться с тем, что Россия вырастает и в культурную силу и желает иметь непреклонно свое влияние на Востоке. Отдать Китай Европе и сказать ей: «сделайте одолжение, распоряжайтесь. Вы нас умнее и образованнее, а потому мы можем только вам кланяться и благодарить за ваше внимание к нам» — excusez du peu. Мы, конечно, еще серы, но у нас довольно просвещенного ума, который давно уже собирается...

15(28) августа, № 8788

CCCLXXVI

Союзные войска в Пекине не находят правительства, с которым можно вести переговоры. В нескольких русских газетах я читал такие же заключения: не с кем вести переговоры! Когда Наполеон III взят был в плен, французы провозгласили республику и учредили правительство народной обороны. Императрица бежала из Парижа. Базен сидел в это время в Меце, приготовляясь его сдать немцам и иметь в них заручку в пользу пленного императора. Махинация, однако, не удалась, потому что временное правительство настояло на продолжении войны и т. д. Китайцы — не учреждают правительства народной обороны или об этом еще не догадываются. Но ведь если Европа станет гадать и медлить, отыскивая с кем вести ей переговоры, то китайцы додумаются сами до временного правительства, которое, пожалуй, возьмет на себя не ведение переговоров, а ведение войны...

Я опять напомню русскую историю времен смут, когда Россия очень походила на Китай, только не численностью своего населения. Надо вспомнить, что Китай, подобно России, испытал монгольское владычество с монгольскою династией. Монгольское завоевание постигло Китай в том же столетии, как и Россию, почти единовременно. Если считать битву при Куликовом поле (1380 год) за начало освобождения от монгольского ига, то Китай немного опередил нас, именно в 1368 году вступила на китайский престол национальная династия Минская, по числу 24-ая (первая — в 205 г. до Р. Х.), родоначальником которой был

уроженец Кантона, служивший в кумирне, потом конюхом. Династия эта свергнута настоящей маньчжурской династией, Цинской, которая царствует с 1644 года, т. е. двести пятьдесят шесть лет. Минская династия царствовала двести семьдесят шесть лет. Если брать время после Р. Х., то только одна династия Танская (с 618 года) царствовала больше Минской, именно двести восемьдесят девять лет. Большинство китайских династий пользовалось престолом очень незначительное число лет, от четырех, девяти, двенадцати, шестнадцати, двадцати девяти, тридцати двух до восьмидесяти девяти лет. В течение тысячи девятисот лет нашей эры в Китае царствовало девятнадцать династий, т. е. средним числом каждая по сто лет. Китай, очевидно, не очень привязан к своим династиям, но оставался верен своей форме правления.

Если Россия во времена Смуты умела образовать т. ск. правительство народной обороны и несколько лет вела войну против внутренних и внешних врагов, то почему не предположить, что и в Китае возможно такое же явление? Восстание тайпинов длилось несколько лет и усмирено только при помощи европейцев, которые, однако, не всегда же могут рассчитывать на успех. И в Китае могут явится люди, которые сумеют отстаивать его независимость и даже обновить его необходимыми реформами.

Все это заставляет думать, что необходимо начать переговоры немедленно, не ожидая прибытия в Китай фельдмаршала Вальдерзе. С кем же вести переговоры? Но ведь император существует. С престола его никто не свергал. Я смею думать, что в Пекине он был таким же пленником, как послы, и если ел и пил лучше их, то, вероятно, не чувствовал себя лучше между императрицей и принцем Туаном, вообще в той борьбе партий, которая разыгрывалась перед ним во дворце. Несомненно, что Ли Хун Чжан имел от императора полномочие вести с державами переговоры и он их несколько раз начинал, но ему отвечали или уклончиво, или прямо отказывали, настаивая на предварительном освобождении послов.

Теперь и послы освобождены и Пекин взят. Державы как бы в гостях у китайцев, ибо ведь известно, что войны они не ведут, а только сражаются. Надо, мол, наказать, китайцев примерно, чтоб помнили. Так, отчего бы сейчас же не начать переговоров с уполномоченным императора, Ли Хун Чжаном? Ведь нельзя же устранять его потому, что он хитер и умен. Разве переговоры надо вести с глупцами и идиотами? Разве у Европы мало хитрости и ума, чтоб вести дело умиротворения с человеком хитрым и умным? Или Европа задумывает изобрести особое правительство, вроде критского? Но что еще возможно в маленьких государствах, то невозможно в таких огромных, как Китай. Подобное правительство, наконец, может быть, признано одними державами и не признано другими. И отсюда могут родиться тяжелые столкновения. Мы, русские, не можем вмешиваться во внутренний порядок соседней нам империи, смещать одно правительство и заменять его другим. Нам этого совершенно не нужно. Это дело самих китайцев, а не наше и не Европы. И нам не с кем вести переговоры кроме как с китайским правительством. И даже... мы можем вести их отдельно, так как наше дело с Китаем совершенно особое, соседское дело.

Мы знаем, что всякое продление неопределенного порядка вещей угнетательно действует на всю Европу и угрожает ей осложнениями. Нервы расстраиваются не только у частных людей, но и у народов. Самолюбие обостряется, счеты союзников возрастают, могут возникнуть споры. Нет ничего хуже неопреде-

ленного положения, оно похоже на изнурительный зной с его жаждою, москитами, с бессонными ночами, с постоянным раздражением. Лучше краткая и сильная война, чем эта «война-не-война», этот новый термин для европейской дипломатии и новое невыносимое положение для жителей Европы. Посмотрите на Англию. На что умные и просвещенные практики и гордые и невозмутимые джентльмены. А как испортили они себе положение и нервы этой продолжительной войной с бурами! Со стороны даже забавно: то и дело оглашают в телеграммах о двух пленных бурах и одном убитом буре, не говоря уже обо всем прочем. Сколько раз они иллюминовали Лондон и устраивали победоносные процессии, думая, что дело кончено, что настал конец и отдых! Не становиться же нам в Китае в подобное же положение и тянуть дело, истощая наши средства. Лучше не добрать в Китае всех этих «возмездий», чем выжидать и стоять на часах на обширной его территории, или приготовлять планы для переустройства Китая и его правительства...

Думается, что мы менее всего заботимся о «возмездиях» и можем даже наблюдать за действиями о «возмездиях» в некотором отдалении. Достигнув главного, освобождения своего посольства, и по возможности обеспечив границы, мы нимало не заинтересованы в «открытых дверях» Китая, которых добивалась оружием и будет добиваться и теперь Европа, ради своих торговых целей. Наша роль умиротворяющая, а не воинственно-торговая, и нам нечего ломать копья для «открытых дверей». Мы их отворяем железной дорогой на свои русские средства и на свой страх, не прося ничего у Европы, отворяем по нашему договору с Китаем, и поддержать этот договор — у нас есть все средства и силы.

16(29) августа, № 8789

CCCLXXVII

Итак, русское посольство и русские войска покидают Пекин. Они остановятся в Тяньцзине, стратегическом пункте, отлично выбранном между Пекином и Таку[1], столицею и морским портом. Шаг сделан чрезвычайно важный и притом нами, которые вдвойне были заинтересованы в китайских событиях. Россия как бы говорит, обращаясь к китайскому императору: «Вы уехали из Пекина. Я приглашаю вас возвратиться в свою столицу и очищаю ее от своих войск, ибо я очень хорошо понимаю, что возвратиться в свою столицу, занятую иностранными войсками, вам ни в каком случае неудобно. Ни один монарх, себя уважающий, не возвратился бы в свою столицу, если бы в ней были господами войска иностранных держав. Это значило бы очутиться добровольно в плену: всякий монарх, достойный этого имени, такому положению предпочтет смерть в бою»...

Именно этими словами я могу передать свое главное впечатление от правительственного акта, полного великодушия по отношению к императору Китая и истинного человеколюбия к мирному китайскому населению. Этим актом оказана такая великая политическая поддержка Поднебесной империи, что она должна оценить ее и умело воспользоваться ею среди тяжкого своего положения. Такую поддержку мог дать только друг, а не враг...

---

[1] Совр. Тангу. — *А. Р.*

Какими же путями достигнута столь скорая возможность такого обращения к китайскому императору, которое слышится между строк «правительственного сообщения»?

Несомненно чрезвычайные усилия, сделанные Россией посредством быстрой мобилизации и ряда решительных военных движений и побед, и дали возможность сделать этот важный шаг. Армия наша сыграла в этом случае свою прекрасную роль. Она работала, конечно, для родных целей и выгод; но ее решительные действия в Маньчжурии, занятие Ныочжуана и проч., уничтожали силу и обаяние мятежа во всем Китае и отнимали всякий престиж у защитников движения и у руководителей неприязненной европейцам партии в самом Пекине. Так что наша армия заслужила благодарность и Европы. В циркулярной телеграмме управляющего министерством иностранных дел сказано: «Последовавшим ныне ввиду изменившихся обстоятельств более скорым, чем следовало ожидать, занятием Пекина достигнута первая и главная задача, поставленная императорским правительством» — освобождение послов. Это «более скорое, чем следовало ожидать, занятие Пекина», этот «неожиданно быстрый оборот, что сравнительно незначительному отряду союзных войск» удалось достигнуть больших результатов, — всем этим мы обязаны именно действиям русской армии и поспешной мобилизации, указанной государем императором еще в июне. Всякая медлительность со стороны России могла бы отозваться роковым образом на развитии восстания. Цели мира часто достигаются именно решительными мерами, а не выжиданием. И в настоящем случае это ясно для всех. Правда, нам стоило больших миллионов мобилизация и отправление войск из европейской России сушею и морем, но эти миллионы могли бы еще возрасти в огромной прогрессии, если бы мы запоздали с военным движением. По мере того, как наши победы в Маньчжурии уничтожали восстание, сокращалась и приостанавливалась отправка войск, чем мы доказывали, что никакие иные цели, кроме подавления мятежа, нами не руководят. Наши дипломатическое и финансовое ведомства неизменно оставались верны мирному течению и образовалась та стройность преследуемых нами задач, которая дала возможность сделать крутой и решительный шаг в смысле прекращения военных действий и очищения столицы Китая. Но, сокращая отправку войск, мы все-таки достигли такого военного положения на Дальнем Востоке, что осложнения, от которых сохрани нас Бог, будут испытывать на себе большое влияние наших военных сил. Возможность этих осложнений предвидится в циркулярной телеграмме графа Ламздорфа, именно в выражении: «Россия не преминет вывести свои войска из пределов соседней империи, если однако этому *не послужит препятствием образ действий других держав*».

«Другие державы» еще раз упоминаются в этом документе, там, где говорится о четырех основных началах, предложенных русским правительством Европе для руководства в китайских событиях[1]. По этим пунктам *почти* между всеми державами состоялось соглашение. Это *почти* имеет свое значение, ибо оно отно-

[1] Вот эти основные начала: 1) поддержание общего согласия держав; 2) сохранение исконного государственного строя в Китае; 3) устранение всего того, что могло бы повести к разделу Поднебесной империи и, наконец, 4) восстановление общими усилиями законного центрального правительства в Пекине, которое могло бы само обеспечить в стране порядок и спокойствие.

сится к Германии и Италии... Мне странно было читать сегодня телеграмму берлинского корреспондента «Нового Времени», от 19 августа, в которой приводится содержание статьи специального журнала немецкого морского министерства «Marine-Rundschau». В статье говорится о задачах Германии в Китае, о разграничении ее интересов там с интересами России. Берлинская печать полагает, что в этой статье «заключается разгадка миссии графа Вальдерзе». Полемизируя с берлинскими газетами, я говорил 15 августа (№ 8788) о миссии графа Вальдерзе такими словами: «у него (фельдмаршала) репутация не боевого генерала, не полководца, а скорее администратора и политика. Фельдмаршальский жезл в его руках, быть может,— знак германской политики, а не германской военной славы». Таким образом я указал на то же, на что указывают теперь немцы. Правы ли мы, это — вопрос, но Германия и Италия не соглашаются с русской постановкой дела и, очевидно, имеют свои цели. Предводительствовать союзными войсками, водить их в битвы, вероятно, фельдмаршалу не придется, и дай Бог, чтобы не пришлось. Но для чего же он едет, он, знавший еще до отъезда, что Пекин взят?

Статья «Marine-Rundschau» упоминает, что в русских договорах девятидесятых годов «между строк напечатано, что сфера русских интересов простирается на север от реки Хуанхэ» (в тексте — Гоан-хо. — *А. Р.*). Германия не хочет только обеспечить себе провинции между Хуанхэ и Янцзы, т. е. между русскими и английскими владениями (?), но думает еще о железной дороге. Хуанхэ впадает в Печилийский залив (совр. Бохайвань. — *А. Р.*), верстах в двустах к югу, по берегу от Таку. Немецкое Киао-чао находится в верстах в двустах пятидесяти, если провести прямую к нему линию от устья Хуанхэ. Если от Киао-чао идти берегом, более или менее прямо, то до впадения в Желтое море реки Янцзы, при которой лежит Шанхай, будет верст пятьсот — шестьсот. Но Германии мало этого берегового пространства и прилегающей к нему провинции. Она очутится якобы в таком случае в «жалком положении Португалии и Франции в Индии». А ей хочется положения блистательного...

И вот является подражание России — вопрос о железных дорогах в Китае «при помощи военных сил». Значит ли это «при помощи войны», я не знаю, имея о статье понятие только по телеграмме. Но если «при помощи войны», то граф Вальдерзе едет воевать, если Китай не согласится на расширение территории германского влияния и постройку железных дорог. Куда и в каком направлении? На соединение с нашей великой Сибирской дорогой или на юг к Шанхаю? Вопрос стоит того, чтоб его обсудить немедленно...

Я совершенно уверен в том, что без согласия России Германия не станет действовать. Две могущественные соседки не имеют никакого основания становиться друг к другу во враждебные отношения. Император Вильгельм II в последнее время несколько раз свидетельствовал о своем удовольствии, что «русские и немцы дерутся плечо о плечо». У двух великих империй, русской и германской, не может быть желания, чтоб их войска дрались грудь с грудью. Но и дешево делиться своим влиянием в Китае России не подобает. Географическое положение двух империй в Европе и водворение Германии в Киао-чао, т. е. соседство ее с нами и на западе Европы, и на Дальнем Востоке — последнее соседство весьма неожиданное — и, наконец, убийство германского посла, дающее Германии, по ее мнению, особые права — все это чревато последствиями, которым надо смотреть твердо и прямо в глаза. Прежде чем пробить окно в Европу, мы пробили

окно в Китай и расположились вдоль по его границе северной и западной и в последние годы обогнули его с северо-востока. Наши международные права и исторические — очень большие и не считаться с ними не может даже Германия...

21 августа (3 сентября), № 8794

CCCLXXVIII

Что будет дальше? Что приготовляется? Едва ли найдется прозорливец, который расскажет это будущее. Настоящий момент очень труден и, быть может, для нас он труднее, чем для остальных держав, которые не намечали себе определенных целей, не говорили: вот дойдем до этой линии и остановимся, не заявляли о своем бескорыстии и о своем человеколюбии. А мы обо всем этом говорили в то время, когда в Европе раздавались голоса о мщении, о возмездии и переустройстве Китая. Вот это обстоятельство и делает наше положение трудным в союзе с Европой. Выходя теперь из Пекина, мы как бы нарушаем европейский концерт, в котором нам обыкновенно давалась львиная часть самопожертвования и почетный диплом на европейца в виде награды. Мы как бы посылали на выставку отличнейшее свое произведение — армию, и нам присуждали медаль.

Даже и теперь нам выдает медаль... английский адмирал Сеймур. Он удостоил командиров иностранных отрядов, в том числе русского, своими «рескриптами». Поздравляя сего последнего «с заслуживающими удивления распоряжениями полковника Ширинского», он нравоучительно прибавляет: «Подобные события содействуют взаимному сближению цивилизованных наций». Ужели сближению? Ну, а истребление цивилизованных буров цивилизованными англичанами — чему это содействует? — сближению цивилизованных наций или их разъединению? Что за английская белиберда! Английский адмирал мог бы оставить в своем кармане подобные нравоучения, которые у русских людей могут вызвать только снисходительную улыбку...

Пойдем дальше.

Вместо участия в европейском концерте до тех пор, пока все пьесы европейских композиторов не будут разыграны, пока все дела Европы не будут приведены в Китае в порядок, все торговые ее интересы не будут обеспечены и все убытки, причиненные смутою, не будут уплачены, мы, не дожидаясь этого вожделенного времени, не обращая внимания на то, что скажет Европа и что скажут китайцы, сказали: будет, свое дело мы кончили, в чем необходимо было, мы помогли Европе, а теперь пора готовиться идти домой. Первая станция наша — Тяньцзинь, где мы можем наблюдать за ходом событий, а в Маньчжурии в это время станем деятельно строить железную дорогу. Конечно, стоянка в Тяньцзине не то, что отправиться домой. По моему мнению, мы могли бы пойти и дальше и выбрать пункты для наблюдения в дружественной Корее. Но я могу и ошибаться и не видеть, и не знать того, что видят и знают люди, управляющие Россией. Но я одно знаю, что именно в настоящее время нам необходим патриотизм более чем в военное время, когда гром победы его возбуждает и настраивает национальное чувство. Выказать свою силу и настойчивость в намеченных миролюбивых целях и заявленных намерениях, защищать их, как наиразумнейшие, по крайней мере, с

нашей точки зрения — единственная для нас обязательная — вот для чего необходимо патриотическое чувство. Оно сложнее и тоньше обыкновенного, в нем «ура» не играет преимущественной роли, но оно может быть производительнее.

Кажется несомненно, что Европа нами недовольна; слышится какое-то, еще смутное чувство, направленное против нас; есть уже телеграммы, в которых говорится, что ведутся переговоры о том, чтобы Россия отказалась от своего намерения покинуть Пекин. Оно как бы ободряет Китай, который в этом может увидеть признаки несогласия между державами и этим воспользоваться. Наш выход из Пекина как бы ослабляет военные силы, предназначенные для умиротворения смуты. В то время, когда в Европе находят необходимым преобразовать китайское правительство, мы готовы предоставить Китай самому себе. Пусть он управляется как хочет, пусть он сам усмиряет смуту и полагается на свою власть и силу. Чего естественнее и благоразумнее с нашей точки зрения? Мы к тому же кое-что знаем. Надо быть очень наивным человеком, чтоб не видеть в снабжении Китая Англией и Германией военным оружием намерения усилить его против России. Со времени китайско-японской войны и Япония избрана орудием борьбы с Россией. Это для нас тоже очень ясно. Дружба Европы — вещь обоюдоострая: с одной стороны, она — друг, с другой — враг; это не столько дружба, сколько дружеская вражда, или мягче — мирное соперничество. Мне думается, что и мы стали на этот путь. С одной стороны, мы — друзья Европы, а с другой — у нас существуют собственные интересы, которые мы готовы защищать даже переходом на мирное положение. Мы не столь могущественны, как Иисус Навин, крикнувший солнцу, чтобы оно остановилось. Но мы можем кричать о мире, который для нас — солнце. А мира всего лучше достигнуть путем снисхождения к врагу и переговоров с ним. У китайцев ведь есть свои смягчающие обстоятельства. Я говорил о союзе Россия — Турция — Китай, как о желательной задаче будущего. Но и в настоящее время мы можем подать помощь Китаю. Как скоро мы с ним не воюем, как скоро он будет спокоен относительно своих северных границ, он будет свободнее обращаться на всем своем пространстве. Мы знаем также, что на юге Китая есть наш союзник, Франция. Для нас очень важны ее намерения и образ ее действий. Быть может, настоящий момент есть момент испытания, прочности и полезности этого союза в обоюдных интересах. Франция давно не подавала своего голоса, занятая вопросами об одном офицере-еврее и о своей выставке. Офицер этот, слава Богу, живет в уединении, никому не интересный, а выставка кончается. У Франции через пролив — Англия и о бок — Германия. Англия заговаривает о тесном сближении с Германией. Не будь у Англии на руках буров, она, конечно, играла бы теперь первенствующую роль в Китае и распоряжалась бы всем. Но так как китайское дело непременно затянется, а к ноябрю Англия, как говорят, истощит численностью своих войск и средств беспримерное мужество и стойкость буров, то она может заговорить совершенно иначе, чем она говорит теперь. Волны идут и идут как бы к приливу и необходимо рассчитывать все средства к отливу. Мы и начали это дело и необходимо его продолжать в том же направлении, не боясь что-нибудь потерять.

Решено, что Маньчжурия не нужна. Присоединение ее к России было бы только продолжением Сибири, страны вовсе непривлекательной. Занимая пространство более чем вся Европа, включая сюда и Европейскую Россию, Сибирь,

однако, много-много что может прокормить несколько десятков миллионов жителей, тогда как меньшая по пространству Европа прокормливает почти четыреста миллионов, столько же, сколько собственный Китай, равняющийся по пространству Западной Европе. Мы это весьма хорошо соображаем. В Маньчжурии двенадцать-двадцать миллионов жителей, но управление ею стоило бы России больше, чем она может дать даже с Монголией, в которой два миллиона. Маньчжурия, как китайская область, но с русской железной дорогой, будет нам полезней, чем Маньчжурия, как русская область. Нам довольно пустынь и ледяных пространств. Пора бы нам известное изречение летописца переделать так: Россия — велика и обильна, но в ней слишком много бесплодных и бесполезных пустынь. Железная дорога несомненно принесет жителям пользу и примирит их с нею, чья бы она ни была. Это — явление общеизвестное. В пример можно привести Англию. Когда она строила в колониях железные дороги, то население постоянно относилось к ним враждебно до тех пор, как дорога еще строилась. Как скоро она выстраивалась и начиналось по ней движение, население мирилось с этим нововведением и оно входило в общую колею жизни и притягивало к себе население заработком и удобствами.

Нам очень много мирного дела, чрезвычайно много даже на восточной окраине, не говоря о всем прочем. Все силы наши надо напрячь на полезные для нас союзы и на скорейшее окончание начатого. Сибирская дорога, Порт-Артур, новый город Дальний, который возникает с быстротою американских городов и обещает быть одним из лучших русских портов — вот ближайшие задачи. А затем выход на юг. Нам невозможно жить правильною жизнью без этого выхода. Север, сколько бы его не восхваляли, все-таки многого дать не может. Балтийское море — не наше, Черное — заперто. Но прямой выход в Индийский океан или через ближайший к нему порт нам необходим. Просто нелепая вещь — существовать империи, которая простирается от прусской и австро-венгерской границы до Великого океана, без южного порта, без свободного входа в открытое южное море. К нему нужны железные дороги, нужны средства и необходим мир.

25 августа (7 сентября), № 8798

CCCXXIX

В иностранных газетах говорится надвое: то Россия совсем изменила свои намерения оставить Пекин и будет действовать сообща с Европой, то она только отчасти изменила свое намерение, решившись часть войска оставить в Пекине.

Я не знаю, правда ли это или нет. В тайны дипломатии мы с вами не посвящены. Да оно и хорошо, ибо тайна связывает мысль. Русская нота — от 12 августа. Вместе с нею предписано было нашему послу в Пекине и генералу Линевичу «без замедления озаботиться осуществлением высочайших намерений касательно передвижения из Пекина в Тяньцзинь всего состава императорской миссии, русско-подданных и русского военного отряда, *причем, несомненно, ими должны быть приняты в соображение местные условия*».

Теперь 29 августа. Прошло семнадцать дней. О выезде нашего посольства из Пекина и о выступлении нашего военного отряда нет еще известий. Подчеркну-

тые мною строки о «местных условиях», с которыми должны соображаться и генерал Линевич и г. Гирс, быть может, говорят о причине, почему посол и войска наши еще остаются в Пекине. Местные условия, может быть, таковы, что им нельзя было покинуть столицу Поднебесной империи, которая поднебесна только потому, что находится, подобно всем другим империям, под небесами. Между тем в это время мы читаем неопределенные и туманные известия о том, что такая-то держава согласилась с Россией, а такая-то не согласилась, такая-то на пути к соглашению, а такая-то еще размышляет. Одна Япония говорит постоянно одно и то же: «как другие державы, так и я». Она — с большинством, одним словом. У России большинства нет. Она почти одинока. Даже Франция как будто колеблется. Во всяком случае, с ее стороны нет решительного заявления. Соединенные Штаты — как будто за русское предложение и как будто и не за него. Последнее известие таково, что они — за сепаратное соглашение с Китаем, и я совершенно им сочувствую. Раз державы медлят и оттягивают свое решение, как Ли Хун Чжан оттягивает свою поездку в Пекин, — самое благоразумное оставить их в покое и покончить с Китаем отдельно. Америка в этом отношении пользуется завидной свободою, будучи не связана непосредственно с Европою. Выбор у нее большой и ее голос в значительной степени поэтому приобретет большую силу в Европе.

Мы могли бы поступать так же. Но мы связаны нашими известными четырьмя «основными началами», между которыми первое: «поддержание общего согласия держав». Поддержать общее согласие, — это очень трудная задача среди держав, которые одушевлены, каждая, своими интересами. Каждая несомненно хочет выйти из настоящего положения с полными руками, да еще в подол себе набрать побольше. А третье наше «основное начало» заключается в том, чтоб «устранить все то, что могло бы повести к разделу Поднебесной империи».

Этим началом дело еще более осложняется даже в том случае, если державы принимают это «начало», ибо «разделение Поднебесной империи» — понятие очень сомнительное. Его надо, думаю, принимать не буквально. Разделить можно и так, что по-видимому никакого разделения не произойдет, а на самом деле оно совершится. Для этого существует превосходный термин — «сфера интересов», т. е. сфера влияния, гегемонии, покровительства, протектората и т. д. Международное право в головах дипломатов выработало такие понятия и условия, что вас проглотят самым вежливым и по-видимому безобидным образом. И в этом отношении нечего строить себе какие-либо бескорыстные иллюзии и мечтания. Корысть — на первом плане. Она ищет себе только, так сказать, изящных, художественных форм, как поэт ищет гармонического стиха и звучной рифмы.

Русская нота упомянула «действия других держав» и поставила выход своих войск из Китайской империи в зависимость от этого обстоятельства. Это тоже очень важно. Представьте себе, что державы захотят делить Китай в интересах своих сфер, т. е. делить его мягко, а не так, как произведен был раздел Польши около ста лет назад. Тогда еще время было не столь культурное, не было ни железных дорог, ни телеграфов, ни броненосцев. Теперь все усовершенствовалось и Европа может почувствовать себя в положении человека, который долго держался на одной линии, красноречиво убеждал себя, что так ему довольно хорошо и спокойно, но вдруг его равновесие чем-нибудь нарушается, и тогда он идет себе вперед и ищет и уж не любит возвращаться назад. Зачем? Оно и убыточ-

но, когда сорвешься с места, на котором сидел, и как будто неловко, ибо могут заподозрить слабость, в которой никто не захочет сознаться. Не все ли равно теперь, когда я уж прошел известное пространство и все пройденное обозрел и по дороге даже рассудил, что оно как будто и довольно хорошо было до сего времени, но теперь как будто оно еще лучше. Это — как *временные* налоги. Они долго, очень долго остаются временными и было бы в самом деле странно не собирать их в будущем году и в 1910 году, когда они собирались в нынешнем. Потребности сейчас же разевают свой ненасытный рот и поглощают как все постоянное, так и временное, как все обыкновенное, так и все необыкновенное.

Я вот и спрашиваю себя: как мы выберемся из этого сложного положения, если Европа нас в него поставит? История нас учит, что мы без Европы двигались на Дальний Восток, даже вопреки Европе и даже в то время, когда она мало обращала на нас внимания или обращала оное довольно односторонне и не совсем умно. Вспомним нашу историю. В то время, как Европа, во главе с Англией, приготовлялась бомбардировать и затем бомбардировала Севастополь и думала твердо, что Россия бьется в предсмертных судорогах и что ей остается незавидная доля второстепенной державы, маленькая дружина Невельского, за десять тысяч верст от Севастополя, овладевала левым берегом Амура, основывала Николаевск и в 1854 году Муравьев-Амурский пустил по Амуру русскую флотилию, а в 1857 году заключен был Айгунский договор и началась русская колонизация Амура. Взгляните на карту, что́ Россия сделала менее, чем в пятьдесят лет. Амурская область, Туркестан, Бухара, Хива, Закаспийская область — все это собиралось под русским скипетром, как будто нечаянно, скорее как будто по воле судеб, чем по нашей воле. Не знаю, как вы, а я смотрю на эту карту и удивляюсь большим удивлением. — Да разве вы этого не знали? — спросите вы. — Знать-то знал, да так как все это сложилось при моей жизни, то мне было это как-то незаметно. Я только что теперь заметил, думая о настоящем историческом моменте, о том преддверии нового исторического здания, которое несомненно строится на Дальнем Востоке и будет иметь свое эхо на Востоке Ближнем. Должна ли наша роль определиться сама собою в зависимости от поведения Европы или мы ее сами себе должны определить и затем — да совершатся веления судьбы. Европа еще не собралась. Еще старец Вальдерзе, держа в правой руке фельдмаршальский жезл, а в голове — инструкции и беседы со своим императором, качается по синим волнам океана. Фельдмаршальский жезл — это символ первенствующей роли, которую хочет сыграть Германия на Дальнем Востоке. Она хочет затмить своим блеском все дела и всех людей. Господь с нею. Известно, что она никого не боится, кроме Бога, и раз поднялась с места, то должна показать, что поднялась она за очень важным делом. Мы несколько в ином положении. Первенствующего положения нам искать не для чего. Мы можем ждать и наблюдать и даже быть последними, нисколько не печалясь от такого обстоятельства...

Европу мы не согласим — так мне думается — и бескорыстия ни в коем случае не вложим в ее упорную культурную голову — в этом я убежден. Но настаивать на наших четырех «основных началах» нам необходимо, ибо из них может получиться некоторое пятое начало, свое собственное...

30 августа (12 сентября), № 8803

CCCLXXX

Я прочел в «СПетербургских Ведомостях» статью князя С. Трубецкого по китайскому вопросу, из которой сегодня приведено извлечение в отделе «Среди газет и журналов». Он стоит за раздел Китая, как за единственную возможность устранить грядущее «иго монголов» над Европой и Россией. «Задача эта нелегка, — говорит он, — но от ее решения зависит наше будущее и нет жертв, которые могли бы нас останавливать. В минуту столь решительную политика великого государства не может руководствоваться мелкими расчетами запутавшихся финансистов. Она должна быть широка, мужественна и бесстрашна. Территориальных приобретений мы не желаем и не ищем, но если ход событий вынуждает нас на них, мы должны идти и на это».

Прекрасно. Мы приобретаем Монголию и Маньчжурию, т. е. идем до 40 градуса, на котором лежат у нас Баку и Красноводск. На Дальнем Востоке мы еще южнее, ибо Порт-Артур лежит приблизительно на 38 градусе. Мы, таким образом, продолжаем на восток Семиреченскую и Сырдарьинскую области. Больше этого мы взять не можем, да нам и не дадут. Мы пройдем и без того около самого Пекина. Чего мы достигнем? Мы достигнем только того, что станем ближе к собственному Китаю, к населеннейшей его части. Мы возьмем приблизительно с огромными, труднопроходимыми и ненаселенными монгольскими степями около двадцати миллионов жителей, т. е. около 5% населения Поднебесной империи. Вся сила Китая останется при нем. Положим, всею этою силою Китая будет владеть Европа, как владеет Англия Индией. Можно ли предполагать, что в этом случае Китай обратиться в послушное стадо и будет недвижно прозябать или процветать под владычеством Европы? Сама Европа останется ли согласной в этом новом положении? Не произойдут ли осложнения, как между самими державами, так и между державами и населением Китая? Все эти вопросы невозможно решать в том смысле, что все будет как нельзя лучше. Затем, мы живем рядом с китайскою Европой в монгольских степях. Хорошо ли нам там будет и не можем ли мы именно там пасть «под бременем милитаризма?» — выражение князя Трубецкого. Ведь наша граница будет так же пространна, как и теперь, но защиты она потребует большей и в условиях гораздо более тяжких. Теперь нас отделяет от Китая Монголия, страна чрезвычайно редко населенная, в которой на квадратную версту приходится полчеловека. Надобны огромные усилия для враждебной нам армии, чтобы пройти эту степь и приблизиться к русским границам. Мы увеличим свою территорию и вместе с тем увеличим опасность войны. Мы должны будем строить целый ряд крепостей, обширную сеть обыкновенных дорог и стратегических железных в то время, когда европейская Россия будет оставаться без дорог. Но и к этому опасному результату мы можем придти только путем огромных пожертвований, ибо Китай не поддастся разделу легко, а мы обязаны будем воевать с ним и для себя и в особенности для Европы, которая возьмет лучшие части, т. е. средние и южные области Китая, и будет их эксплуатировать с выгодою для себя. Мы должны будем принять в этом европейском концерте очень деятельную и очень невыгодную роль как для своего настоящего, так и

для будущего. Когда-то еще «иго монгольское» придет, когда-то еще «японские инструкторы», которых так опасается князь Трубецкой, обучат китайские войска и Китай и Япония соединят свои военные силы для нашествия на Европу, а тут иго военных расходов, иго административных, народных и интеллигентных затрат, в странах, нам совершенно чуждых по языку, настанет немедленно и свяжет нас по рукам и по ногам. Кто знает, чего нам стоит приобретение Квантунского полуострова не только миллионами рублей, но чрезвычайными усилиями нравственными для устройства мало-мальски культурного порядка, тот может себе представить ту массу денег и усилий, которая ждала бы нас, если б мы бросились на приобретение новых территорий при рекомендуемом разделе Китая.

Конечно, политика великой Русской империи не может «руководствоваться мелкими расчетами запутавшихся финансистов. Она должна быть широка, мужественна и бесстрашна», как говорит князь Трубецкой. Но между «мелкими расчетами запутавшихся финансистов» и экономическими силами нашей родины необходимо делать различие. Нельзя, конечно, жертвовать достоинством и честью великого народа каким бы то ни было мелким расчетам, но необходимо принимать в соображение материальные и нравственные потери, которые неизбежны и невообразимо велики, если бы предложение князя Трубецкого легло, как руководящее начало для нашей политики. Нам, вероятно, и теперь эта китайщина стоит добрых ста миллионов. А тогда потребовались бы миллиарды и для чего? Чтоб зарыть их в монгольских степях. Поэтому, мне думается, что иногда «широкая, мужественная и бесстрашная» политика — именно та, которая не боится того, что будет когда-то, а боится того, что будет теперь, что остановит жизнь великой страны, еще бьющейся за культуру на европейской равнине и видящей еще только зарю нового дня. Мужество и бесстрашие — не всегда в движении вперед на битвы и победы, для предупреждения каких-то грядущих призраков, а в воздержании, миролюбии и хорошем расчете.

Я думаю, что политика наша именно широка и мужественна теперь, если мы устоим на нашем решении и предоставим Европе устраивать свои дела в Китае на ее страх, если наше andiamo не будет похоже на andiamo хоров итальянской оперы. Она мужественна перед Европой и перед Китаем. Пусть Китай думает, что он выиграл победу, пусть даже думает, что Россия отступила перед его силами. Пусть это ободряет желтую расу, которая воображает, что она непобедима. У нас есть средства показать ей при случае, что она ошибается, если мы останемся в настоящих своих пределах. Но если мы выйдем из этих пределов, то немедленно, пожалуй, сами наложим на себя «монгольское иго».

Еще одно соображение. Ведь желтой расы не больше, чем белой. Они равны почти по своей численности, но не равны по своей культуре. Перевес несомненно на стороне белых. Китаю европейцы ненавистны точно так же, как Европе были ненавистны евреи, и отчасти по тем же причинам. Если евреи успели захватить в Европе все наиболее выгодное, то и Европа может в этом успеть. А не успеет — ее дело. Нам-то что волноваться? Я даже не вижу причин предполагать, что желтая раса, усилившись и вооружившись, непременно бросится на Россию и Европу, как предполагает князь Трубецкой. Почему она не может остаться на долгое время в Азии, развивая свою культуру и постепенно и разумно освобож-

даясь от европейской эксплуатации своих сил, своей промышленности и торговли? Почему непременно надо предполагать, что вот-вот в желтой расе проснется дух Чингисхана, дух XIII века, и сокрушит Европу? Почему, наконец, эта желтая раса не бросится прежде всего на юг, который она любит, в английскую Индию, и не станет там не месте Англии?. .

Нам, во всяком случае, во сто раз полезнее жить в мире с этой расой, даже помогать ей, а не идти на ее истребление...

2 (15) сентября, № 8806

CCCLXXXI

Вы читали полемику о певце Боброве и шестнадцатилетней девушке, которую он бросил беременною и которая отравилась. Астраханская публика освистала его, а он обратился к ней и сказал, что «частная жизнь артиста общества касаться не должна». И вот начались рассуждения: имела ли право публика освистать певца за ту пакость, которую он сделал. Одни — имела, другие — не имела. В Астрахани был третейский суд, который не признал за публикою этого права. Побежали даже в отдаленные времена и заговорили о великих людях, о Перикле, Людовике XIV, Петре Великом, Наполеоне I, Руссо и проч. «Что бы это такое было, если б о великих людях судили только по их интимной жизни!» — воскликнул один журналист и притом молодой. Так и о г. Боброве нельзя судить по интимной жизни. Конечно, он сделал гнусность; конечно, он возбудил против себя справедливое негодование, но он — певец и на сцене вы можете аплодировать или свистать ему только как певцу. Это — «принципиально». Певец прав, когда заявил, что публике нет дела до него, как частного человека. Иначе о великих людях и т. д.

Если от великого до смешного — один шаг, то от смешного до великого, от г. Боброва до Перикла — дистанция огромного размера; но, так и быть, посмотрим на г. Боброва, как на великого человека. О великих людях судили и рядили всячески. Их восхваляли и им свистали и современники и потомство. Об них говорили не только всю правду, но на них клеветали, и однако они все-таки остались великими. Рассказывают, что в Риме за триумфатором бежал наемный клеветник. В этом нельзя не видеть высокого понятия о герое. Он должен быть выше всякой клеветы, т. е. его деяния должны быть так велики, чтоб покрывали с большим избытком его пороки и проступки. Покрывают ли деяния г. Боброва его проступки?

В драме Гюго «Le roi s'amuse» рассказана возмутительная история о французском короле и дочери его шута, и если в опере, в которую переделана эта драма, мы восторгаемся песенкой «La donna e mobile», то из этого еще не следует, что мы восторгаемся поступком короля с девушкой и с ее отцом. Явись этот король в театр и услышь он от зрителей неодобрение своего проступка, имел ли бы он право бросить публике фразу: «моя частная жизнь не касается общества»? Вы скажете, что эти сравнения ни к чему. Вопрос гораздо проще и великих людей, о которых не я заговорил, надо оставить в покое.

Оставим в покое великих людей. Возьмем случай, не идущий к делу, но указывающий на чувствительность общественного мнения и на право его свистать и свистать благотворно.

У общественного деятеля есть дом, в котором испокон века помещался публичный дом. Нет никакого соотношения между домовладельцем и тем общественным постом, который он занимал. У него — наследственный дом, он отдает его внаймы. Что ему за дело, кто в нем помещается? Публичный дом есть законное учреждение. И, однако, общество говорит об этом и чувствует, что тут что-то неладное, и общественный деятель продает свой дом, потому что видит, что общество право. Глубокий инстинкт говорит обществу, что к общественному деятелю необходимо предъявлять бóльшие требования, чем ко всем.

Артист — несомненно общественный деятель и он обязан это помнить.

Он существует на сцене. Там — его успех и неуспех, там — его жизнь. Самое ремесло артиста поставило его в такие условия, которые дали ему возможность привлекать к себе и соблазнять как старых или отцветших дур, так и молодых и неопытных девиц. Завися от сцены, он и должен считаться со сценой, как Людовик XIV — извиняюсь за это сравнение — должен считаться с тем, что он — монарх своего народа и что, поэтому, от гадостей должен удерживаться. Ему, как королю, все пути были легки; как король, он привлекает к себе всех женщин, а не как француз Бурбон. Как король в сиянии королевского величия, так и артист на сцене является в идеальном свете. Он как бы озарен тою ролью, которую играет, тем благородством, которое вложено автором в его роль, теми чарующими нотами композитора, которые певец передает своим голосом. Девушка влюбляется не в г. Боброва, а в певца Боброва, в идеальное лицо, которое притягивает ее молодое чувство. Она не имеет понятия о том, что такое этот артист. Он может быть очень дрянным фатом, бессердечным, глупым, пошлым. Но она этого не только не знает, но даже не допускает подобного в наивности своей души. Она летит на сверкающий огонь, не предполагая удушливой и грязной копоти. Скажите по совести, обязан ли порядочный артист держать хоть малую гармонию между тем, что он есть на сцене и тем, что он есть в жизни? Налагает ли сцена на него эту обязанность, или нет? По-моему, несомненно налагает. И много ли надо было усилий, чтобы не доводить шестнадцатилетнюю девушку до самоубийства? Наш герой и этого не соблюл и смело кричит публике, что ей нет дела до его домашней жизни. Его можно судить только за пение. А когда он делал гадость с девушкой, он не пел. А потому судить его нельзя. И он находит себе «принципиальных» защитников, во имя великих людей. Что за бессмыслица!

Нет, господа, публика имела право освистать певца и сказать ему с гневом: «Ты пользуешься своим положением на сцене, которая тебя выставляет в идеальном, лучшем свете, для того, чтоб злоупотреблять теми симпатиями, которые оказывают тебе молодые девушки. Я тебя освистываю по праву оскорбленного человека. Я могу даже прогнать тебе со сцены, лишить тебя заработка, если ты не исправишься». В этом своем стремлении иметь собственное мнение, собственный авторитет, публика может делать и несправедливости. Так, после известного столкновения г. Фигнера с инженером в вагоне, одесская публика встретила г. Фигнера свистками и продолжала встречать так несколько дней. Случай этот сам по себе был ничтожен и к тому же поступил на разбирательство в суд. Дело было во всяком случае сомнительное. Но в деле г. Боброва — публика видела труп самоубийцы, труп молодой и неопытной девушки, гибель которой несомненно связана с личностью певца. Почему же она обязана была забыть это самоубийство, когда певец появился на сцене? На каком основании оспаривают ее человеческое

право? Если б полиция оспаривала это право, понять можно было бы, ибо полиция поддерживает внешний порядок в общественных сборищах и регулирует по возможности увлечения публики. Это — ее законное право. Но оспаривать это право писателям с «принципиальной» точки зрения, по-моему, невозможно.

А судьи кто? — спросите вы. — Толпа, публика. — Но в ней могут быть люди, подобные подсудимому, даже хуже его. — Очень возможно. Но судят не люди, а общее чувство, судит нечто такое, что есть в каждом, даже порочном человеке, или просыпается в нем в известные минуты возбуждения и просветления, как просыпается лучший человек в поэте, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется». Осуждая другого в эти минуты жалости, скорби, негодования, порядочный человек и себя осуждает и в себе видит черные пятна и кается. Общественный суд таким образом несомненно действует благотворно, если он вызван лучшими порывами души.

Посмотрите, в какое противоречие, с самими собою становятся эти артисты и их защитники.

Если бы г. Бобров спас из огня девушку, которая погибала во время пожара! Если б он с опасностью для жизни бросился в пламя и вынес бы на руках эту девушку, публика отнеслась бы к нему с восторгом и благодарностью как во время пожара, так затем и в театре. Когда он явился бы на сцене, его встретили бы взрывом благодарных рукоплесканий и криков, и он не сказал бы публике: «частная жизнь артиста общества не должна касаться». Наверное, не сказал бы. Он не стоял бы за свою двойственность певца и частного человека, а гордился бы своим триумфом. Какое же у него право говорить о неприкосновенности своей частной личности, когда публика ему свищет за то, что он — выражаюсь снисходительно — своим легкомыслием погубил девушку, совсем молодую и неопытную? Если этот скверный поступок единственный в его жизни, если его совесть страдала от него, то он должен был принять эти свистки негодующих душ с благодарностью своей страдающей совести. А он протестует во имя своего ремесла и — своего искусства!..

Ну, ладно, ладно. Вижу, что и вы — великий человек, черт с вами!..

4 (17) сентября, № 8808

CCCLXXXII

Прошлое письмо о певце Боброве и о «великих людях» я написал против князя Барятинского из «Северного Курьера». Молодой писатель, называя поступок Боброва «гнусным», соглашается с автором этого «гнусного» поступка, что частная жизнь артиста не касается публики. В «России» г. Амфитеатров стоит на той же точке зрения, как и я, т. е., что артист обязан считаться с публикой на сцене и в своей частной жизни, если она затрагивает интересы общества. Он приводит следующий случай из московской жизни:

«Несколько лет тому назад инцидент, подобный бобровскому, приключился в Москве. Героем был актер-комик первоклассного театра, любимец публики, человек огромной сценической карьеры, из которого гг. Бобровых можно бы дюжины две накроить. Он преподавал в одной драматической школе, увлек

ученицу, наградил ее интересным положением, а затем, по требованию ревнивой супруги, жестоко и обидно бросил. Девушка отравилась, но ее выходили. История получила громкую огласку. В скором времени — бенефис артиста. Во-первых, в театре, всегда битком полном, было сбору едва на половину. Во-вторых, любимец, как вышел при гробовом молчании, так и вся пьеса прошла при гробовом молчании. Ни хлопка, ни «браво», никаких подношений. К концу спектакля было жаль смотреть на бенефицианта: придавило его, совсем растерялся. А был он человек смелый, даже наглый... С месяц держали его под этаким интердиктом, потом простили. И надо ему отдать полную справедливость: стал с тех пор иным человеком, о «художествах» прежних не слышно. Я думаю, что у публики есть верхнее чутье, когда ей надо вмешаться в жизнь артиста, как человека, когда нет».

Я сказал, что если б артист совершил великодушный поступок и публика приняла его за это с восторгом, он не остановил бы этих восторгов замечанием о своей частной жизни. Князь Барятинский на это возражает:

«Спаси г. Бобров десять девушек из огня и спой он свою партию фальшиво, я ошикал бы его в театре и примкнул бы к чествованию его поступка вне театра; точно так же, как в астраханском инциденте, я аплодировал бы певцу в театре за удачное исполнение роли и выразил бы ему свое негодование, едва он сошел с подмостков».

Я совершенно уверен в том, что князь Барятинский не только «примкнул бы к чествованию» великодушного артиста, но на этом чествовании прочел бы «Муху», которую он обыкновенно читает на разных чествованиях, и получил бы несколько хлопков и на свой паи, за «Муху». Но я не могу понять хладнокровного раздвоения зрителя:

— Браво, браво, бесподобно!. . А теперь я пойду на актерский подъезд и посвищу артисту, которым я восторгаюсь на сцене, но не в жизни. А за ужином расскажу, как необыкновенно правильно я поступил.

Я бы не мог так «правильно» и математически аккуратно поступить. Что-нибудь одно: или я восторгался бы артистом, который совсем заставил бы меня забыть его скверный поступок, — это трудно допустить — или я стал бы ему шикать.

Но смешивать два эти ремесла, очевидно, есть тьма охотников, но я не из их числа. Да и вообще я не понимаю этого раздвоения, если зритель — чувствительный организм. А в театре восприимчивость, чувствительность зрителя возрастает, как вообще она возрастает во всякой толпе, во всяком собрании, где человек начинает вдвойне жить, и своею собственною жизнью, и жизнью толпы. Г. Каменский объяснил своим письмом в редакцию (№ 8809 «Нового Времени»), что шикали г. Боброву в астраханском театре только несколько человек молодежи. Остальная публика или молчала или аплодировала ему. Произошло явление, противоположное тому, что было в Москве. Но я думаю, что астраханская публика не была приготовлена к спектаклю и к личности певца. Большая часть ее, вероятно не знала даже, что это за господин перед нею, какие подвиги он совершил. Московский случай был слишком известен. Конечно, и публика развитее в Москве, чем в Астрахани. Это развитие в данном случае — важное обстоятельство. Есть публика и публика. Театр — не храм искусства для искусства, как литература не есть искусство для искусства. В искусство входят убеждения, входит нравственность, законы развития, столкновение партий, борьба за новые начала жизни. Развитому обществу не все равно, как и что делается вокруг него, кто и с чем перед ним стоит, какой жрец совершает служение.

Раз актер есть общественный деятель — а я только на этом основании говорю против изречения, что «частная жизнь артиста не должна касаться публики» — он близок к обществу, он всегда считается членом общества и на сцене, и вне сцены. Если вне сцены он совершил гнусный проступок против общества, если вне сцены он нарушил самые примитивные правила нравственности, он отвечает за них и на сцене. Ведь только на сцене и можно ему дать понять *чувствительно*, что он поступил дурно. Сцена — его жизнь, и в этой жизни надо дать ему хотя щелчок; если он обладает медным лбом и не почувствует этого щелчка, то будет неповадно другим. «Демонстрации» имеют между прочим и этот смысл.

Если актер не общественный деятель, если он — просто декламатор, лицедей, способный надевать различные маски, а потому лишенный понятия и чести среди этих переодеваний, начиная от Отелло и кончая Кречинским, человек совершенно спутавшийся и запутавшийся в ролях, которые он играл, то о нем и говорить нечего. Такой артист может не только двоиться, но троиться и множиться. Он в таком случае не вышел еще из того презренного понятия об актере, которое так долго его сопровождало, не признавая за ним члена общества. Он и теперь, когда ремесло артиста стало почтенным, когда оно признается искусством, когда есть артисты, которые признаются великими, он и теперь — дрянь, подонки общества, которое имеет право смотреть на него, как на фигляра, лишенного всякого понятия о требованиях к общественному деятелю. Печально только, что как лучшей части общества, так и настоящим артистам, сознающим себя ответственными членами общества, от этого не легче...

Я понимаю теперь такие печальные явления, как этот типический случай с «воронежским героем». Я понимаю, как эти «артисты» создают себе репутации и чем они держатся. Я понимаю, кто воспитывает в провинции этих несчастных подростков в теории и практике театрального искусства. Это — двойственники, двойственники. Они руководят их вкусом, их художественным воспитанием и закалывают их в свое удовольствие и во славу театрального искусства. Мне рассказывали, что в провинциальных театрах — это явление частое, что подростки обоего пола соединяются для чествования «героев» и «героинь» в краинне ложи, распоряжаются успехом и сопровождают чествуемых с факелами до их квартир и в квартиры. Разгоряченные жертвы падают, а двойственник принимает их в свои объятия и затем говорит: «частная жизнь артиста не касается публики!»

Нет, извините, касается. И такие вопросы не разрешаются ни шуткой, как бы она ни была остроумна, ни раздвоением, как бы оно ни было соразмерно и математично. Есть артисты и артисты, как есть публика и публика. Есть служители искусства, и есть служители своих низменных страстей, неразборчивые на средства, бросающие в публику вызов о своей неприкосновенности. Эти двойственники, как бы говорят: «мы — фигляры, мы — гистрионы, мы — гороховые шуты, мы берем любовь добровольных жертв тем охотнее, чем они невиннее, мы даже продаем свою любовь за деньги и лавры, и знать не хотим никого, кроме тех, которые нам аплодируют и составляют нашу свиту»...

Так пусть же они и остаются на этой ступени общественного развития, эти медные лбы, и не осмеливаются говорить о своей якобы частной жизни. Развитая, лучшая часть общества не может быть с ними никогда, и оно вправе клеймить их своим негодованием и своими свистками на той же сцене, с которой они приманивают свои жертвы.

7(20) сентября, 3 8811

CCCLXXXIII

Я только что вернулся из Парижа. Два года я не был за границей, и мне начинало казаться, что и незачем там быть, что и у нас хорошо и даже очень хорошо. Поехал я с неохотою, но, увы, как там хорошо и как у нас хуже. Представьте себе, хуже гораздо. Вам, конечно, случалось слышать от россиян, что выставка ничего собою не представляла. Я, по крайней мере, слышал больше порицаний, чем похвал. Но когда я увидел ее, я был поражен красотою этого нового города в старом Париже, красотою этих зданий, чудесным видом из Трокадеро, с моста императора Александра III, из-под Эйфелевой башни. Изящный вкус, чувство прекрасного, чувство культурного, тонко развитого парижанина создавало этот чудесный город, эти дворцы разных стилей. Вид из Кремля на Замоскворечье и из Замоскворечья на Кремль очень живописен. По роскоши архитектурных линий, по разнообразию их и по гармонии так же чудесен вид выставки с высоты Трокадеро. Мост императора Александра III — такая прелесть, что подобного моста нигде в мире не найти. Французы воздвигли в честь императора Александра III такой памятник, который по красоте и изяществу оставляет за собой кремлевский памятник императору Александру II. Я вас уверяю, что это так. Те пятьдесят пять миллионов людей, которые посетили выставку, видели этот прекрасный памятник и останавливались перед ним, перед этими прекрасными колоннами с группами из золотой бронзы и перед всем изящным целым этого памятника. Вообще вся перспектива от этого моста до здания Дворца Инвалидов спорит по своему изяществу с площадью Согласия и останется одним из лучших уголков Парижа. Французы — великие мастера соединять изящное с великим, с грандиозным, делать доступным всем возрастам идеи красоты и величия. В их столичном городе искусство живет как рыба в воде. Оно сопровождает уже ребенка в его прогулках по улицам, площадям и садам. Ходишь по улицам, по бульварам — и не знаешь усталости и скуки. Вся атмосфера — атмосфера изящества. Выставки в магазинах ежедневно меняются, ежедневно вы встречаете что-нибудь новое, ежедневно перед вами живая, яркая толпа, быстро идущая, свободная, интересная. Где вы найдете книжные магазины, открытые до 11 часов вечера на модных бульварах, и толпу, которая постоянно смотрит выставленные книги и интересуется ими? Это может быть только в стране с высоким развитием. И всюду упорный труд под благословенным небом, под этим солнцем, которое и осенью высоко стоит над горизонтом и греет. Американцы, в заботе об искусстве, пробовали выписывать себе мастеров по прикладному искусству из Парижа, и проходило несколько лет и хороший мастер француз терял в Нью-Йорке те качества, которыми обладал в Париже, где атмосфера культурной жизни, вечный, неустанный прогресс поддерживает творчество человека и раскрывает перед ним все шире и шире свои горизонты. Парижанин вне Парижа блекнет, но в Париже он останется вечным законодателем вкуса для всего мира. Ни одна столица никогда с ним не сравнится. Понятно, какую роскошь и прелесть выставила Франция на своей выставке. Говорят, Германия ее победила, и указывают на машинный отдел, на громады фабричных орудий, которые выставила Германия. Несомненно, эта страна сделала большие успехи, но она везде является ученицей и подражательницей Франции. Если бы Франция исчезла с лица земли, Германия

потеряла бы очень много, ее вкус немедленно бы понизился, ее фантазия поблекла бы. Она несомненно выиграла тем, что отняла две лучшие провинции у Франции. Эти провинции влили в Германию много своего свободного духа и промышленного труда. Будет когда-нибудь день, когда Эльзас и Лотарингия снова станут французскими. Мне думается, что это непременно когда-нибудь будет, чтобы немцы ни делали, как бы ни хвалились они силою своего оружия, как бы ни старались стереть неизгладимые следы французской цивилизации. Франция и теперь живет в этих провинциях и будет жить, и все, что в них есть лучшего, свободного, стремительного — все это в значительной степени дано Францией.

Я, конечно, не стану останавливаться на чудесах промышленности и искусства, которые видел. Простой зритель, не специалист, я не могу сказать ничего, кроме того впечатления, которое производит выставка, и — повторяю — преимущественно французским отделом. Я не ощущал ни малейшей гордости от выставки русской. Она тонула в общем обилии, в общей громаде, как чуть заметная величина, как тонут ученики, даровитые и полные, быть может, сил, среди мастеров своего дела, среди законодателей обновляющейся и быстро растущей новой жизни. Если бы Россия поместилась вся в особом отделе, она, вероятно, производила бы некоторое впечатление, в особенности, если бы рядом была выставка произведений той же России от времени шестидесятых годов. Сравнение это, конечно, говорило бы очень в нашу пользу, в пользу нашего промышленного и художественного труда, нашего знания и развития. Это поддерживало бы веру в наше будущее и давало бы пищу нашему патриотизму. Но Россия, разбросанная по всей выставке, делается едва заметною величиною. Мы даже не умеем показать товар лицом. Наши распорядители чиновники широки на бумаге, они блестящи в своих мундирах и орденах, но очень бедны фантазией, вкусом, знанием, изобретательностью. Приказчик порядочного парижского магазина гораздо сильнее русского чиновника во всем том, что касается распорядительности и вкуса.

Возьмите наш художественный отдел. Он и помещен плохо, и развешен плохо, и составлен плохо. Все так сделано, что «гяп да ляп и корабль», «подписано и с плеч долой». Никакой любви к делу, никакого вкуса, никакого желания выставить свое наивозможно лучше. Мы отстали от всех не потому, что мы хуже всех, а потому, что мы позже всех вступили на все просветительные и культурные поприща.

Посмотрели бы вы, какая масса рисунков выставлена техническими школами Франции, какой труд проходит прикладное искусство, прежде чем явиться на суд публики. Какая во всем конкуренция, какая выдумка, какое совершенство техники! У нас если кто выдается чем-нибудь, так сейчас же вообразит, что он — колосс, что он совершает подвиг, и плачется, если его сейчас же не озолотят. «Надо любить родное, а не иностранное». Да, надо любить родное, если оно хорошо исполнено, если оно вкусно, оригинально, удобно. Но если оно заурядно, если оно есть повторение, и притом довольно плохое, иностранных образцов, то вовсе этого любить не за что. Иначе пришлось бы любить всякое безвкусие. Европа не нуждается в русском человеке; она прекрасно обойдется без него, но мы без Европы обойтись не можем. Европа не может, говорят, обойтись без русского хлеба. Если это так, то выходит, что Европа не может обойтись без труда русского крестьянина, неграмотного бедняка, и совершенно обходится без интеллигентного русского человека. Вот наше положение. Его никакими фраза-

ми не закроешь, никаким патриотизмом не умалишь. За нами будущее. В это надо верить, но при непременном условии учиться много и долго и не жаловаться на «переутомление», которое сплошь и рядом есть не что иное, как бессилие таланта, знания и характера.

Парижская выставка — это, прежде всего, самопожертвование Франции в пользу человечества, творческое самопожертвование, которым воспользуются миллионы людей в Европе, фабриканты, инженеры, техники, ученые, мастера, рабочие и проч. Человечество должно быть благодарно Франции, как великому художнику, как творцу новой жизни. Мы, русские, в особенности должны быть ей благодарны за то, что она показала нам столько чудесного, поучительного, полезного и художественного. Это — роскошный и поистине великий музей всех успехов человечества в науках, искусствах и промышленности. Если я о чем жалею, то лишь о том, что я не имел возможности посетить ее раньше, чтобы сказать своим читателям, какое великое дело совершила Франция для пользы человечества, для его объединения и мира, и посоветовать им взглянуть на эти чудеса. Этот праздник цивилизации происходил, к сожалению, в то время, когда другая культурная нация напрягала свои усилия, чтобы уничтожить свободу и мирный труд африканских республик, когда раздавались речи о мщении, о *христианском* беспощадном мщении — вообразите себе это! — в третьей культурной стране и когда Китай испытывал на себе усовершенствованное оружие и, под влиянием графа Вальдерзе, втыкались на колья отрубленные головы, во имя христианской цивилизации. Франция в это время держала высоко свое знамя мирного успеха и промышленных идей, и за это ей слава вовеки веков.

6 (19) ноября, № 8871

CCCLXXXIV

Есть грани между новым веком и старым?

Одиннадцатилетняя девочка, заспорив со своею гувернанткою, сказала ей: «Вы меня не понимаете, потому что вы — девятнадцатого века, а я — двадцатого!» Дед сказал ей, что она не имеет понятия ни о девятнадцатом, ни о двадцатом веке.

— Сто лет разницы, — быстро отвечала она ему и убежала.

Не сто лет разницы, но разница есть, она чувствуется всяким внимательным умом, всяким чувствительным сердцем. Явилось слово «конец века», fin de siècle. Слово само по себе неважное, но оно повторялось всеми и как бы говорило о смерти века и о начале чего-то нового. Пока не было этой фразы, все было благополучно, все шло более или менее по-старому, в старых формах, в старых понятиях. С концом века явилось декадентство, упадок, упадок века, упадок старых идей, понятий, привычек и нарождение чего-то нового, несколько кривого, странного, смешного. Оно явилось в живописи, в литературе, в жизни, как является мода, заставляющая женщин менять платья, шляпки, всю одежду нижнюю и верхнюю. С декадентством начался спорт, физическая борьба, велосипеды, автомобили. Раньше их телефон уж начал изменять условия жизни. Телефон избавлял от телеграфа и почты, избавлял от посредников в сношениях одного человека с другим. Он прибавил ему независимости, он подсказал ему, что он может рассчитывать теперь более на себя самого. Велосипед избавил его в зна-

чительной степени от посредника — извозчика, кучера и силы лошадей. Человек стал походить на скорохода, действуя ногами на педали своей машины и соперничая с хорошей тройкой лошадей.

Все это было ново и все быстро входило в жизнь и видоизменяло ее не с внешней только стороны, но и с внутренней. Когда слова «конец века» и «новый век» у всех на устах, то рождается невольное желание чего-то нового и это новое, выраставшее различными путями, малозаметными для современников, принимается радостно. Как бы оно ни было странно, как бы ни корчило оно Фауста, Гамлета и Мефистофеля, но оно оправдывается новым веком. Это как бы что-то естественное, необходимое, как весна, когда ломается лед, реки выступают из берегов и разливаются шумно и земля зацветает. Что-то сходное есть между новым веком и новой весной и как зиме непонятна весна, так старому веку — новый. Нам, старым людям, приходится сознавать, что мы не понимаем этого нового, смотрим на него с предубеждением. Мы привыкли к старым условиям жизни, к старому художеству, к старой мебели, к старой литературе. И за них говорит многое, говорят дела и факты, говорит целая плеяда великих писателей и художников, огромный прогресс техники, которая стала устраивать машины с таким изяществом, что они являются своего рода шедеврами. Шедевры явились в пушках, в ружьях, в пулях, в ядрах. К гениям литературы и искусства прибавились гении техники. Красивые матерьи ткутся красивыми машинами. Человека ранят и убивают красивыми и дорогими пулями, разрушают многомиллионные корабли красивыми и остроумными снарядами. Как грубы были даже полвека тому назад ядра и пули, хотя убивали и они верно и много.

Взгляните на рисунки, изображающие орудия разных производств заводских и фабричных в «Энциклопедии» Дидро, как все это грубо, аляповато и как все это теперь изящно, почти высокохудожественно, как любят теперь выражаться. Высокохудожественно и высоко даровито, кстати сказать, это — тоже новые термины, соответствующие новым требованиям. Это нечто вроде «высокоблагородия» и «высокородия», столь употребительных в первой половине века. Ни высокого благородства, ни высокого рода сплошь и рядом не было в людях, которых так величали. И высокохудожественности, высокодаровитости в девяносто девяти случаях из ста нет и признака у людей и произведений, которым теперь приписывают эти почетные клички. Пушкину и Гоголю не давали таких эпитетов, а теперь их щедро раздают людям, долговечность произведений которых более чем сомнительна. Но новый век желает иметь своих гениев, своих высокодаровитых людей и создает их из ничего или из чего-то совсем не высоко деловитого. И поклонники этой высокодаровитости отвечают, в случае спора, как та девочка, о которой я сказал: «Вы не понимаете нас: мы из другого века».

Новый век впереди с своими гениями, которые теперь, наверно, еще в пеленках или бегают под надзором нянь и гувернанток. Пока еще декадентство тянется. Оно не имеет ни гениев, ни творцов; в нем самое лучшее — предчувствие, а самое худшее — бесстыдство. Предчувствие — всегда что-то неуловимое, колеблющееся, неуверенное, капризное; оно подобно туману, в котором что-то светится или чернеет, но что именно — неизвестно; оно проявляется в литературных произведениях и в живописи полумыслями, полукартинами, как в жизни — полудевами и полумужчинами; бесстыдство — решительно, но оно не создает, а только разрушает и обессиливает и без того несильных лицедеев на театре упадка. Они красятся и гримируются, чтоб стать заметными. Вы замечаете эти при-

поднятые кверху усы? Это — декадентство, уродливое желание придать своему лицу некоторую свирепость, закрыть внутреннюю несостоятельность или ординарность видом свирепости. Ницшеанское учение о сверхчеловеке они прилагают к своим поступкам, в которых сверхчеловеческого только — бесстыдство или нелепый каприз женщины, беременной не ребенком, а воробьем.

Но не одними этими внешними проявлениями богат конец века. Эта внешность — только пена того глубокого волнения, которое действительно существует и которое отличает наши дни от всех предшествующих. Везде работает критическая мысль и на Западе, и на Востоке. Подвергаются пересмотру все понятия о добре и зле, о справедливости, о политическом и экономическом строе; абсолютизм и республиканский парламентаризм анализируются с новых точек зрения, о которых двадцать пять лет тому назад не говорили. В этой широкой критической работе принимают участие и верхи, и народные массы. Искание новых путей к устройству и материального, и духовного быта, искание новых форм общежития и верований — вот чем характеризуется наступление нового века, выбрасывая пока на поверхность только пену, только детали и намеки на будущее. Господствует пока все еще декадентство, даже в европейских событиях, даже в политике. Разве не декадентство — дрейфуспада? Это — мелкая борьба среди мелких страстей, разделявшая, разъединявшая людей и не дававшая ничего уму и сердцу. Только великое и мощное соединяет. Когда его нет, род людской грызется и пачкается в грязи и создает себе кумиры из картона и биржевых бумаг. Разве не декадентство — яростное угнетение буров англичанами, народом столь гордым своей цивилизацией? Разве не декадентство — китайские события, когда Европа ополчилась и заговорила, как средневековый варвар? Своего рода художество было в борьбе французов и немцев, что-то творческое носилось в ней, как носилось оно и в нашей борьбе с турками. В пролитой крови вырастали люди, как пшеница вырастает из семени. И это чувствовалось, это волновало людей и что-то обещало им. Что обещает война англичан против буров? Истребление честного, трудолюбивого и мужественного народа и ничего больше. Что обещает этот поход против Китая? Какое в нем может быть творчество, когда он отрицает все то, что ценит у себя, свободу, патриотизм, независимость? Разве не декадент, несмотря на свою старость, этот фельдмаршал? Какие кривые линии он проводит, какие кривые чувства поддерживает? Упадок и вырождение старых принципов в столкновении с новою жизнью, для которой гении еще не созрели или еще не родились. Есть только звонари, которые спешат звонить в колокола, есть петухи, которые предвещают рассвет...

3(16) декабря, № 8898

CCCLXXXV

Мне хочется рекомендовать вам исследователя по русской истории, который пишет по-немецки и у которого архи-русская фамилия, Евгений Щепкин. Он написал на языке Шиллера и Гете более двадцати печатных листов большого формата о Самозванце под названием «Wer war Pseudodemetrius I» («Кто был Лжедмитрий I»), в журнале весьма известного филолога Ягича за 1898—1900 годы[1].

---

[1] Archiv für Slavische Philologie, unter Mitwirkung von A. Brückner, J. Gebauer, C. Jireček, A. Leskien, W. Nehring, St. Novaković, A. Wesselofsky, herausgegeben von V. Jagić. Berlin Bd XX—XXII.

Почему г. Щепкин укрылся в этом почтенном и прекрасном журнале г. Ягича, понять не могу. За исключением разве четырех строк о позднейших Битяговских, все остальное вполне возможно и на русском языке. Самое исследование заслуживает всякого внимания, как по своей полноте и серьезности, так и по выводам. Такого обширного сочинения о Самозванце на русском языке нет. Г. Щепкин не оставил без внимательного анализа ничего, что о Самозванце писано когда-нибудь. Даже моим статьям об этом замечательном человеке, напечатанным в «Новом Времени» в 1894 году по поводу книги г. Иловайского о Смутном времени, он посвятил почти три страницы. Мне лестно подобное внимание со стороны ученого, ибо, во-первых, ученые вообще неблагосклонно относятся к журналистам, а во-вторых, я помню, с каким необыкновенным высокомерием относился ко мне Д. И. Иловайский, хотя я довольно серьезно занимался этим вопросом между прочим для своей драмы «Царевна Ксения». Я старался убедить г. Иловайского, что Самозванец — русский, а не западнорус, каковым считает его этот историк, и даже пробовал доказывать, что он не только русский человек, но и настоящий царевич Дмитрий. Конечно, я этого не доказал, но попытку сделал, и, кажется, это была первая попытка в русской печати прямо говорить, что в лице Лжедмитрия I убит царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. К. Н. Бестужев-Рюмин, в одном из своих писем к графу С. Д. Шереметеву, по поводу моих статей этих заметил: «Для вас (графа С. Д.) важно то, что предположение о том, что царствовал настоящий Димитрий, важно в том отношении, что, стало быть, с вопроса снято *табу* и можно о нем говорить»[1].

Будучи не историком, а журналистом, я тем свободнее говорил в пользу тождества Самозванца и царевича Димитрия. Г. Щепкин замечает теперь, что я руководился больше фантазией, чем документами, но без фантазии и предположения, которые тоже фантазии, и г. Щепкин не написал бы своего исследования. Так как я не изучал вопроса так обстоятельно и так широко, то чтение статей г. Щепкина доставило мне большое удовольствие, несмотря на немецкий язык, который под пером русского становится, впрочем, очень ясным.

Г. Щепкин начинает с знаменитого исторического дня 15 мая 1591 года, когда в Угличе был убит восьмилетний царевич и затем последовали другие убийства и следствие Шуйского, несомненно пристрастное. Разобрав его, наш ученый выражает уверенность, что убит именно царевич и что спасен он не был. Как и кем он был убит? Одним из молодых людей, во время игры в свайку; убийство было подготовлено не Борисом только, но и другими боярами, у которых было желание устранить от престола болезненного мальчика. Как был подготовлен и кем Самозванец? Г. Щепкин почти устраняет бояр. Им было приятно появление претендента, который грозил Борису и его роду, но прямого и деятельного участия в подготовке его они не принимали. Подготовили его духовные, в особенности монахи, всесильные дьяки и вообще чиновники. Он готов признать главою заговора известного дьяка Андрея Щелкалова, замечательно умного человека и столь деятельного работника, что он постоянно жаловался на то, что ему мало работы. В Чудовом монастыре было гнездо заговора, который обнимал целую сеть мона-

---

[1] «Письма К. Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени», СПб., 1898. Из этих писем известно, что граф С. Д. Шереметев давно занимается историей Смутного времени и склонен думать, что Лжедмитрий I есть настоящий царевич Димитрий. К. Н. Бестужев-Рюмин очень сочувственно относился к этой работе и до конца своей жизни побуждал графа продолжать ее.

стырей: на севере — до Антониева, на Сие, и на юге — до Печерского, в Киеве. Из родных царевича можно подозревать мать его, Марфу, и дядю, Афанасия Нагого, который бежал от мщения Бориса в день убийства царевича и дальнейшая его участь покрыта мраком неизвестности. В Чудове, как известно, и явился знаменитый Григорий Отрепьев. Он был царем Димитрием? Нет, не он. Кроме Григория, было еще другое лицо, помоложе, тоже живше некоторое время в Чудовом и тоже под именем Отрепьева. Г. Щепкин разбором известий иностранцев и русских источников старается доказать, что было два Отрепьева, № 1 и № 2, отличных друг от друга и по биографиям, и по летам, и по характерам. Один из них — из Галича, другой — из Углича. Г. Щепкин нашел новые документы в пользу этого положения в Данцигском архиве, именно подробный отчет о приеме Сигизмундом Борисова гонца Постника Огарева и его переговорах с сенаторами в январе 1605 года. Документы эти на немецком языке[1]. Словесные показания Огарева отличаются от письма Бориса к Сигизмунду, писанного в сентябре 1604 г. В письме говорилось о Гришке Отрепьеве, боярском сыне, служившем у Романова, потом — монахе, чернокнижнике и проч. В словесном показании Огарева говорится о сыне писца (приказного), который был служкою у архимандрита, именно Димитрия Реоровича (Demetrius Rheorovic — вероятно, Григорович, Григорьевич). Таким образом, Борис очевидно сам колебался, кто явился под именем Димитрия. При Феодоре Годунове, в крестоцеловальной записи Григорий Отрепьев уже не упоминается вовсе. По мнению г. Щепкина, Отрепьев 2-й и царствовал. Григорию Отрепьеву принадлежала в заговоре известная доля, но действовал он не за себя, а за другое лицо, в котором принимали участие многие. В дальнейших похождениях эти два лица менялись именами, чтоб скрыть следы свои. Этот неизвестный молодой человек, взявший себе псевдоним Отрепьева и царствовавший под именем Димитрия, мог быть убежденным в своих правах на престол, но для такого убеждения вовсе не надо было ему быть непременно сыном Грозного. Раз Димитрий был убит, на престол имели права и бояре и побочные дети, как царя Ивана, так и его сына, Ивана Ивановича. Этот убитый отцом царевич послал в монастырь двух своих жен (урожденных Сабурову и Соловую) и женился на третьей (Елене Шереметевой). Жива была еще Колтовская, одна из жен Грозного, тоже в монастыре. Молодые эти женщины могли иметь детей или незаконных, или законных, если мужья бросили их в монастырь беременными. Из этого порядка г. Щепкин не исключает и детей царя Симеона Бекбулатовича, которого ставит в связь с Мстиславскими и с драгоценным крестом, который был у Самозванца. Из этого видно, что круг лиц, которые могли доставить человека, имевшего право на престол, довольно велик, но сколько-нибудь определенное подозрение не падает ни на кого. Главный вывод тот, что Григорий Отрепьев и Лжедимитрий — два лица. Для установления этого г. Щепкиным сделано много, как и для многих подробностей, связанных с вопросом о личности первого Самозванца. Но вся эта работа не устраняет возможности доказывать, что это неизвестное лицо, этот юноша-герой был никто иной, как царевич Димитрий. Я позволю себе еще возвратиться к прекрасной работе г. Щепкина.

17(30) декабря, № 8912

---

[1] Г. Щепкину принадлежит «приложение» к изданию гр. С. Д Шереметева «Сборник материалов по русской истории начала XVII века», именно «Выписки из дел Королевского архива в Копенгагене». Это — сеймовые записи.

CCCLXXXVI

Если действительно надо отличать Григория Отрепьева от Лжедимитрия I, если это были два лица, то необходимо было бы установить, в каких они были отношениях между собою и что каждый из них совершил. Г. Щепкин этого не сделал, да и никогда сделать не может, потому что известия русские и иностранные, в сущности, говорят об одном лице, — или это Гришка, или настоящий царевич. Мелочной группировкой фактов по своему вкусу, ради своей предвзятой цели можно выделить два лица, как это иногда, только иногда удается г. Щепкину; но когда приходится говорить *о действиях* этих двух лиц, и о том, как пришли они к одному и тому же плану, как поделили свои роли, где и как помогали друг другу, историк станет в тупик, ибо несомненно действует один, а другой — сбоку припека. Где кончается Гришка и где начинается Димитрий? Почему надо непременно умалить или даже уничтожить значение Григория Отрепьева? Кому он мешает и что он представляет собою невероятного? Зачем его двоить? Ведь Гришка во всяком случае — лицо важное, недаром же он чернокнижник, вызыватель злых духов и проч. Разве из монахов и мужиков не выходили у нас замечательные люди во все времена? Патриарх Никон один чего стоит. А разве он был «образованнее» Гришки? Пушкин не усомнился признать в Лжедимитрии I Гришку и изобразить его почти как гениального человека. Пушкин во время сочинения своей трагедии чуть был старше Гришки и допускал, будучи сам выдающимся человеком, возможность обращения этого тоже выдающегося монаха в русского царя. Я говорю, как журналист, не как историк, и для меня свидетельство Пушкина важно. Я себе легко могу представить возможность спасения царевича от смерти, даже раненого, во время игры в свайку, его сокрытие потом и всю его дальнейшую судьбу даже под видом Григория Отрепьева, как могу себе представить и Самозванца Гришку Отрепьева, боярского сына, который проделал всю свою историю совершенно сознательно. Обман и ложь — сила большая, если обманывает человек необыкновенного дарования. *Ведь весь вопрос именно в степени ума и даровитости* первого Самозванца, в его таинственном обаянии на современников, которое не исчезло даже после открытия мощей царевича Димитрия и которое и доселе влечет к себе внимание историков и поэтов...

Примите в соображение, что гениальные открытия просты. Просты и гении, т. е. они умеют находиться во всяком положении и везде быть на своем месте, и в монастыре, и в корчме, и в гостиных польских вельмож, и с иезуитами, и перед королем Сигизмундом, и перед русскими боярами и на русском троне. Как Шекспир, не обладавший ни воспитанием, ни образованием, брался за изображение королей, за фигуры Цезаря, Клеопатры, Антония, Лира и проч. и проч., и все эти царственные фигуры написал так, как не могли бы написать их самые воспитанные и самые просвещенные люди, самые ученые и образованные венценосцы, так и Лжедимитрий творил свое практическое и отважное дело, будучи Григорием Отрепьевым. Откуда у Шекспира это знание, это изумительное превосходство перед всеми образованными и развитыми людьми, это проникновение в душу людей самого высокого и самого низкого положения, этот государственный гений, эти речи, полные убедительности, блеска и фантазии? Это — просто

дары Божьи, это — душа, сознанная так, что и при малом образовании она светит ярче, чем все другие. И у Самозванца была даровитая душа. Этот безымянный русский гений — был ли он царевичем, чьим ли побочным сыном или боярским сыном Отрепьевым. Мне прямо странно слышать или читать, например, у г. Иловайского, сомнения насчет того, как мог монах обратиться в принца? Простому монаху это трудно, но гениальному самородку это вполне возможно, как возможно было Шекспиру сочинить блистательную речь Антония над трупом Цезаря. Вера в себя, первые удачи — удесятеряют силы человека. Даже костюм меняет человека. Посмотрите, как хороший актер носит костюм Франциска I. Он совсем не тот, что был в сюртуке. Меряйте человека его умом, знанием людей и талантом, — и тогда невозможное покажется возможным и истинным, как это и бывает в жизни. Внушение тоже играет роль. На человека, выдающего себя за принца, вы не так посмотрите, как на того же человека в монашеской скуфье, в особенности, если про этого человека вам расскажут чудеса. Я верю и в то, что если умного человека повышают по службе и расширяют область его деятельности, он непременно умнеет и растет. Приложите все это к Самозванцу, к гениальному самородку и тогда вам остается только гадать, кто перед вами, Григорий Отрепьев или царевич Димитрий. Отбрасывать же Григория Отрепьева в корзинку под стол — дело ничего не разрешающее...

«Ах, все это не исторично, — скажете вы. — То ли дело документы!» Да, конечно, но сколько в них правды? Каждый документ субъективен, вышел ли он из официальных рук или из частных. Может быть, самые правдивые документы уничтожены Шуйским и его наследниками. Г. Щепкин ловит документы на противоречиях и раздваивает одно и то же лицо просто потому, что документы не сходятся в частностях. Пошлите на тот же самый пожар двух репортеров и сравните их описания. Окажется, что каждый из них говорит о своем пожаре и вы легко сделаете из этих свидетельских показаний два пожара. Так и тут: разные лица об одном и том же лице писали разное. Отдавая справедливость труду г. Щепкина, я не могу не указать на этот прием, общий ему со всеми исследователями. Все современники более или менее лгали, одни добровольно, другие по приказу. Поэтому достовернейшие источники — собственноручные показания. Таково письмо Лжедимитрия к папе Клименту. Таков его рассказ о своем спасении, который, говорят, появится в переработанном издании книги «Rome et Demetrius» (1878) даровитого русского историка о. Пирлинга. Эта книга не должна себя долго ждать и два таких документа, если не для историка, то для психолога очень много значат. О. Пирлинг пользуется и польскими архивными находками и принадлежит к числу историков осторожных и вместе с тем проницательных.

Я написал сцену спасения царевича Димитрия в 1894 году в «Новом Времени». К. Н. Бестужев-Рюмин, говоря в письме своем к графу С. Д. Шереметеву об этом, замечает: «его (моя) картина 15 мая очень странна». Очевидно, она заняла его любопытство. «Любопытно его (мое) замечание об эпилепсии, если только вопрос об эпилепсии не должен быть устранен»[1], говорит он же. Почему же этот вопрос должен быть устранен? Ведь не историкам, а медикам скорее решать вопрос, мог ли царевич Димитрий наколоться до смерти на нож во время при-

[1] «Письма К. Н. Бестужева-Рюмина». Стр. 53.

падка падучей? Г. Щепкин замечает мне, что Самозванец не страдал припадками падучей, потому что об этом не говорят документы. Почему же г. Щепкин не допускает, что царевич сам накололся, а об этом говорят документы. Он же не допускает, чтобы у Грозного мог родиться такой крепкий и сильный человек, как Лжедимитрий I, как допускал я в своих статьях. Не допускает потому, что Грозный был истощенный пятидесятилетний старик. Но ведь Грозный не один, а вместе с Марфой Нагой родили Димитрия, и мать могла передать сыну известную крепость тела, а отец — ум и нервность, доходящую до эпилепсии. Достоевский был эпилептик, а дарование его — огромное и огромная была выносливость. Об эпилепсии Самозванца современники могли и молчать, да и припадки могли быть редки и он их тщательно скрывал. А если Самозванец был эпилептиком, он — Димитрий. Некоторый свет сюда все-таки могут пролить только ученые медики. Мое предположение — только предположение. Правды ведь все равно никто еще не знает...

По адресу графа С. Д. Шереметева у г. Щепкина есть одно замечание, связанное некоторым образом с моими же статьями о Самозванце в 1894 году. К. Н. Бестужев-Рюмин в письме к графу Сергею Дмитриевичу заметил: «Странно, что он (я) не упоминает совсем о Леониде». Мне его было не нужно, ибо я отождествлял Димитрия с Отрепьевым, и до сих пор думаю, что или Отрепьев был царем, или царевич скрывался под именем Отрепьева.

Из писем Константина Николаевича к графу Сергею Дмитриевичу видно, что последний монаха Леонида считает царевичем Димитрием. Этот монах сопровождал Григория Отрепьева на литовскую границу и затем исчез. Догадка такая, что царевич, переїдя границу, не нуждался в подлинном имени и передал его Отрепьеву, который потом в Путивле и был, кажется, известен под этим именем иезуитам. Следы были скрыты. Трудясь над вопросом о самозванце, граф Сергей Дмитриевич находил в северных монастырях поминальные записи, где значилось имя «инока Леонида» на почетном месте. Вывод: очевидно, это тот самый «инок Леонид», под именем которого скрывался царевич. Иначе, почему он так часто встречается и стоит на почетном месте? Это — догадка, может быть, счастливая. Г. Щепкин старается разрушить ее другою догадкой, именно, что это не «инок Леонид», а «инока Леонида», поставленная в поминальных записях в именительном падеже, а нашли это имя в родительном, как мужское имя инока Леонида. Инока же Леонида была не кто иная, как Елена Шереметева, третья жена царевича Ивана Ивановича, о которой Поссевино рассказывает, что Грозный застал ее раз лежащей в одной рубашке и бросился ее бить, но царевич заступился за нее и за это получил удар жезлом от отца, отчего и умер. Возможно, что это — инок Леонид, и возможно, что это — инока Леонида. В 1608 году астраханский самозванец выдавал себя за сына этой Елены Шереметевой, в монашестве Леониды. Можно, пожалуй доказывать, что и Лжедимитрий — ее сын, ибо царевич Иван убит в 1682 году, а царевич Димитрий родился в 1683[1]. Совсем повесники.

Темна история нашего Смутного времени. Но уроки она преподала хорошие на все времена и оставила безымянного героя, который долго еще будет любезен фантазии всех тех, у кого она есть.

18 (31) декабря, № 8913

---

[1] В оригинале очевидные опечатки: 1782 и 1783 гг. — *А. Р.*

CCCLXXXVII

Просматривал французские и другие иностранные газеты о письме нашего парижского корреспондента, посвященном французской армии и реформам генерала Андре. Столпотворение вавилонское. «Figaro» с предупредительностью, ему обычною, обращается даже к нашему парижскому послу, князю Урусову, который, мол, может узнать имя автора. Но имя автора подписано и оно известно, как в мире парижских журналистов, так и в русском посольстве. В русской печати не бывает того, что подозревает «Figaro», именно, что письмо это написано французом и в Париже. Русские писатели и корреспонденты подписывают только то, что сами пишут. «Новое Время» всегда интересовалось армией, как русскою и французскою, так и другими иностранными армиями. В числе ее сотрудников всегда были военные люди. Наш парижский корреспондент — бывший военный, офицер генерального штаба, и военные вопросы были, да и остались, конечно, его естественной специальностью. Что ж удивительного в том, что он умел сказать о реформах генерала Андре то, что сказать следовало, и зачем тут подозревать какие-то подвохи французских националистов. И разве одни националисты враждебно настроены против реформ генерала Андре? Корреспондент газеты есть делегат русского общества, которое имеет право требовать от него прежде всего правды об армии союзной страны. Сила этой армии нам, русским, так же дорога, как и симпатии французского народа, который мы всегда ставили очень высоко.

Националисты! Точно какое отверженное племя. Но с тех пор, как явился Дрейфус и воплотил в себе жидовство, националистов действительно стали выставлять чем-то враждебным не только республике, но и Франции. Так их разумеет партия, кричащая теперь против России и союза с нею, кричащая с неприличием скандалистов, желающих оскорблять во что бы то ни стало Россию и русское имя. На подобные оскорбления можно отвечать только спокойным молчанием. Французский военный министр, генерал Андре, тоже может успокоиться относительно того, что будто в его реформы «вмешиваются иностранные правительства» (т. е. Россия), и не клясться, что он «не выйдет из министерства, а если выйдет, то не иначе, как ногами вперед», т. е. мертвым. Мне думается, что он может выйти, как выходят все министры вместе со своим шефом, причем его имени даже не упомянут. Будет сказано, что министерство Вальдека-Руссо вышло в отставку, и больше ничего. Полагаю также, что это будет раньше смерти генерал Андре, которому все мы желаем доброго здоровья и всякого благополучия.

Союз России с Францией — вовсе не такое дело, которое может зависеть от нынешнего министерства вообще и генерала Андре в частности. Он зависит от французского народа. То или другое министерство может на него смотреть так или иначе; могут даже найтись такие министры, которые желали бы союза не с Россией, а с Англией. Но французский народ предпочитает союз с Россией и пока он думает так, французские гробокопатели этого союза не в состоянии вырыть для похорон его достаточно глубокую могилу.

Россия испытала нашествие Наполеона и с ним всей Европы; она испытала севастопольскую кампанию против европейской коалиции, и осталась жива. Если бы во Франции явилось правительство достаточно сильное для того, чтобы ра-

зорвать союз с Россией, то неизвестно еще, кто бы от этого проиграл. Конечно, Франция всегда найдет себе союзников. Но и Россия не бедна в этом отношении и очень хорошо знает, откуда ей готовы протянуть руку с величайшим удовольствием. Я не думаю, что в настоящее время можно устроить что-нибудь подобное нашествию Наполеона I или Наполеона III. Оба императора уснули навек с горьким воспоминанием о своих попытках уничтожить силу России. А в настоящее время угрозы ничтожных газетчиков «Aurore», что «если гг. Казаков и Суворов придут есть сальные свечи, то они встретят штыки граждан», нам, русским только смешны, ибо мы уверены, что эти угрозы писаны не французом, а сальною жидовскою рукою, которая никогда не будет держать штыка, а разве подряд на снабжение французской армии гнилым провиантом...

Вопрос о двухгодичном сроке службы совсем не новый и совсем он не изобретен генералом Андре. Вопрос этот обсуждался в Германии, но правительство не решилось узаконить эту опасную меру. Касаясь боевой готовности современных огромных армий, она не может быть принята и проведена в жизнь с быстротою нетерпеливого реформатора, который предвидит, что царствованию его в военном ведомстве положены пределы, зависящие совсем не от его смерти. Сколько известно, влиятельные политические партии во Франции не считают эту реформу созревшей и вовсе не желают, чтобы она теперь же была проведена. Обсуждать и приготовлять ее никто не мешает и не может помешать. Союз между Россией и Францией, между империей и республикой, заключен совсем не для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела друг друга. Младшие сыновья цивилизации, мы очень хорошо понимаем разницу климата, истории и культуры двух союзных наций. Но если союзники — действительно союзники, то должны же они заботиться о боевой готовности своих армий. Даже преувеличенное беспокойство друг о друге в этом отношении гораздо лучше халатного и равнодушного отношения друг к другу. Время ли теперь делать опасные опыты и обессиливать армию, когда так необходима твердая политика в Китае. Может быть, Германия собирается навек остаться в Пекине. Все действия и намерения графа Вальдерзе, очевидно, клонятся к этому. Кто знает, не мечтает ли немец о таком же императорском титуле в Китае, какой принадлежит королеве Виктории в Индии. Подать там друг другу руку так легко двум соседям Франции. Не лучше ли опираться на испытанную военную организацию в это тревожное время, когда никто не знает, что ждет нас в ближайшем будущем, чем спешить с реформами генерала Андре, который еще нигде не показал, что он — гениальный полководец.

Французская республика не тем сильна, что ею управляет то или другое министерство, а тем, что здравая народная душа присутствует невидимо в этом управлении и спасает от той пропасти, в которую могут вовлечь ее крайние партии вместе с жидовством. Французская армия точно так же сильна не своими военными министрами, которые меняются, как времена года, а тем духом, который она унаследовала и укрепила.

20 декабря 1900 (2 января 1901), № 8915

CCCLXXXVIII

Да, да, «Новое Время» — Самозванец. Может быть, потому меня так занимал всегда Самозванец, что я чувствовал, что издаю газету, которая есть несомнен-

ный Самозванец. Это открытие сделал один из петербургских юмористов, глубоко возмущенный тем, что статьи «Нового Времени» производят шум в целой Европе, в обществе, в печати, в парламентах. Юморист объясняет, что это потому, что «Новое Время» считается в Европе правительственной газетой. Очень может быть, что это и так. Мы никогда не стремились быть правительственной газетой и никогда ею не были, что признает и г. юморист. Но он же говорит, что мы справлялись не у министров даже, а у столоначальников, о чем и как писать, и вот заняли такое положение, что Европа знает нашу газету и интересуется ее мнениями. Да здравствуют столоначальники! Они диктовали нам, а мы писали. Очевидно, однако, столоначальники — неглупый народ. Спасибо им, что они вывели нас в люди.

Я смею думать, что это — не настоящее остроумие, а если настоящее, то довольно мелкое, рассчитанное на зубоскальство. Что остроумно — это самозванство, самозванец, и я охотно беру эти слова, хотя они далеко не новы и уже использованы по отношению к печати. Покойный министр внутренних дел граф Валуев сказал однажды В. П. Буренину:

— Ведь русская печать — это самозванец.

— Да, но это тот самозванец, которого вы не убьете, как ваш предок убил Димитрия Самозванца, — отвечал Буренин.

Итак, быть Самозванцем — не только не беда, но все мы — самозванцы. Само название газет — самозванное. «Новое Время», «Свет», «Россия», «Times», «Figaro», «Temps» — все это несомненно самозванцы. Никто не подумает, что «Россия» есть Россия, или «Свет» есть свет, или «Figaro» — Фигаро. Взяли чужое имя, слово и самозванно выступили перед публикой. Точно так, как Гришка Отрепьев взял имя царевича Димитрия и натворил таких чудес, что его не только доселе помнят, но есть историки, которые не прочь его сравнивать в некоторых отношениях даже с Петром Великим. И все дело в том, чтоб самозванца признали в обществе. Являлось и исчезало газет гораздо больше, чем их существует. У меня есть на это интересные статистические данные по европейской журналистике и американской. Остается очень небольшой процент, остальное погибает, непризнанное никем и только сохраняется у записных библиографов да и в каталогах. Чтоб признать Самозванца, для этого непременно требуются кой-какие достоинства, некоторый ум, образование, талант. И притом какой еще Самозванец. Из всех самозванцев Смутного времени Лжедимитрий I решительно выделился. А вот о Лжедимитрии II даже такой снисходительный историк, как Устрялов не нашел сказать ничего другого, как фразу: «едва ли не жид». Между газетами теперь достаточно Лжедимитриев Вторых и, читая их, хочется сказать: «едва ли не жид...»

Если «Новое Время» в Европе считают газетой правительственной, то ведь это тоже что-нибудь, а не нуль. Ведь правительство есть нечто умное, образованное и талантливое. Стало быть, эти достоинства есть и у нас. Если бы мы говорили всякий вздор и всякую чепуху, были бы глупыми и пошлыми людьми, никому бы в голову не пришло приклеивать к нам этот ярлык. Правительственною или официозною газетою мы никогда себя не считали и права на это никакого не имели и иметь не будем. Да и самому русскому правительству, если оно считает нас известною величиною, было бы совсем неинтересно, если бы мы повторяли или резюмировали канцелярии. Я уже не говорю о русском обществе, благосклонностью которого я пользовался еще в «СПбургских Ведомостях» и

пользуюсь вот 28 февраля 1901 года ровно двадцать пять лет в «Новом Времени». Четверть века «Новое Время» живет и что-нибудь оно сделало в это время. Оно было государственною газетою в том отношении, что всегда стояло за русские интересы и говорило о всех вопросах и явлениях русской жизни с той искренностью, какая была возможна. Оно разнесло по России сотни миллионов своих листов, полных фактами государственными, общественными, литературными, художественными и проч. Я и мои сотрудники всегда были искренними русскими людьми и я думаю, что это уж — не самозванство. Это — наше собственное, от Бога данное и неотъемлемое. Это — именно то, что самозванству придает цену и заставляет его признать, как известную величину не только в России, но и в Европе. Как на нас ни нападали, как юмористы ни старались осмеять, оклеветать и унизить нас, а «Новое Время» все росло да росло. Ведь это невозможно по щучьему велению. В течение всех двадцати пяти лет я ни разу не объявлял списка своих сотрудников, ни разу не печатал в газете, кто каким отделом заведует, не приводил известных, полуизвестных и никому неизвестных имен, а дело подвигалось все вперед и через школу «Нового Времени» проходило много литераторов и журналистов. Если это сделали столоначальники или министры, о которых юморист говорит, что они говорят писателю: «Любезный, напиши», то пусть будет так. Мне только одно сомнительно, чтоб были такие министры, которые стали бы говорить русскому журналисту таким холопским языком.

31 декабря 1900 (13 января 1901) № 8924

1901

CCCLXXXIX

Шесть лет я распоряжаюсь репертуаром Литературно-артистического кружка и Литературно-художественного общества. Ни одна пьеса не попадала на сцену иначе, как по моему выбору или с моего согласия. «Контрабандисты» явились на сцене Малого театра исключительно по моему желанию.

Почему я поставил эту пьесу гг. Крылова и Литвина? Потому, что она местами написана талантливо, верно изображает еврейский быт, совершенно нетронутый на нашей сцене, и, безусловно, общественная пьеса. Еще при первом знакомстве с этой пьесой, года два назад, мне не нравилось только изображение русских, которые чересчур добродетельны и говорят прописную мораль о могуществе любви к людям, точно русские люди, в самом деле, руководятся только любовью к ближним, а еврей только враждою. Я прямо выражал это авторам пьесы, которая выиграла бы от беспристрастия. Но с этим недостатком легко помириться, так как вся наша литература эпическая и драматическая преисполнена изображением отрицательных характеров и почти свирепыми картинами русской жизни. Нет ни одного сословия, которое могло бы похвалиться тем, что оно дало нашей литературе образцы гражданских и семейных добродетелей. Я не нахожу ни единой причины для того, чтобы еврейство оставалось чем-то исключительным и запрещенным для сцены. Напротив, я нахожу причины ввести в те же рамки все народности, населяющие русскую землю. Ни одна народность не имеет исключительных прав на привилегию в этой области литературы и сцены и не должна иметь. Если мы смеемся над русскими или негодуем против русских на сцене, то нет никаких доводов в пользу исключения армян, татар, грузин, финнов, евреев и проч. Не претендуют же поляки, что в наших исторических пьесах их не щадят. Если мне укажут на то, что еврей неравноправны, что они принуждены жить в черте оседлости, то это — не причина. Литература должна быть шире, чем политика, и смотреть дальше; политика может быть не свободна, литература должна быть свободна. Свободно относясь к русской действительности, изображая ее отрицательные стороны иногда со свирепой ненавистью, литература наша способствовала только к развитию этой действительности, к повышению ее уровня и к созданию благородных характеров. Я знаю, что еврейство не хочет такого отношения к своему народу не только у нас, но и в Европе, где оно пользуется всеми гражданскими правами. На австрийских сценах и отчасти германских даже великое создание Шекспира «Венецианский купец» избегает-

ся очень тщательно, благодаря тому, что отчасти сцена и в значительной части печать находятся в руках евреев. Мало того, евреи прямо «бойкотировали Шейлока» Шекспира общей своей солидарностью даже тогда, когда были бессильны, в прошлом столетии. Доказательство этому находится у Карамзина, в его «Письмах русского путешественника». В год французской революции, 1789, он писал следующее:

«Франкфурт, июля 31

Здешние актеры недавно представляли Шекспирову драму, *Венецианского купца*. На другой день франкфуртские жиды прислали сказать директору комедии, что ни один из них не будет ходить в театр, есть ли сия драма, в которой обругана их нация, будет представлена в другой раз. Директор не захотел лишиться части своего сбора, и отвечал, что она будет выключена из списка пьес, игранных на франкфуртском театре».

Богом избранный народ должен оставаться неприкосновенным якобы потому, что изображение отрицательных сторон еврейства возбуждает к нему религиозную и племенную ненависть. А я думаю, что это — предрассудок, созданный еврейскими писателями и недальновидными либералами, предрассудок особенно у нас, ибо хотя евреи рассеяны по всему миру, но *народ еврейский живет только у нас, в России*. А сколько его миллионов, скажет нам когда-нибудь перепись 1897 года. Этот народ *мы обязаны знать, как свой собственный*. И неужели еврейство так порочно, что изображение его дурных сторон должно вести к усилению ненависти к ним? Ведь в еврейском народе, как и во всяком другом, есть и добрые, и дурные люди. Изображение дурных людей непременно поведет к изображению добрых. И если говорить о равноправности всех народностей, населяющих нашу империю, а в данном случае о равноправности евреев, то, прежде всего *надо установить эту равноправность в литературе и на сцене*. Надо сделать привычку видеть на сцене еврея не в том виде, как он обыкновенно является, — в виде горохового шута, коверкающего русский язык, в виде дрянного труса и шпиона, возбуждающего смех и презрение толпы. Пусть еврей говорит правильным русским языком или только с едва заметным акцентом. Надо видеть еврея в его домашней обстановке, с его горем и радостями, с его пороками и добродетелями, с его кагалом, борьба с которым необходима с общей культурной точки зрения. Пусть русская публика ознакомится с этим. Я не видел и не вижу в пьесе гг. Литвина и Крылова какой-нибудь особенной тенденциозности. В ней есть и дурные, и хорошие люди. Дурных больше хороших, но ведь говорит же Собакевич обо всем губернском городе, что там «все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек — прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Дурные стороны всегда виднее писателю. В пьесе есть прекрасная девушка, напоминающая своим положением Уриэла Акосту, и старик-еврей, праведник, лицо несколько идеализированное и потому не столь живое, как, например, Моше. Сквозь пьесу проходит идея об эксплуатации бедных евреев богатыми — этот деспотизм, который поддерживается кагалом, стирающим индивидуальность или направляющим ее односторонне, в сторону старых преданий.

Вот соображения, которые заставили меня поставить пьесу. Я уж не говорю о формальной стороне дела: пьеса разрешена двумя цензурами, одною — для

печати, другою — для сцены. Кроме того, пьеса одобрена литературно-театральным комитетом и одобрение подписано: покойным Д. В. Григоровичем, А. А. Потехиным, известным драматургом, П. И. Вейнбергом и И. А. Шляпкиным. Я полагаю, что эти имена достаточно авторитетны даже с либеральной точки зрения, не говоря о литературной. Один из очень гуманных и образованных людей И. А. Всеволожский, как директор императорских театров, хотел ее поставить на сцене. Я видел пьесу в зале Павловой, где она не возбудила ни малейшего протеста и смотрелась с любопытством и вниманием.

Я привык уважать суд публики и подчиняться ему гораздо больше, чем приговорам печати. Публика в своей массе всегда беспристрастнее печати, а в отдельных группах и просвещенна, и прекрасно понимает сценическое искусство. Публика имела право ошикать пьесу, не ходить на ее представления: это очень достаточное право и дальше этого желать нечего. Признаюсь, меня удивлял во все это время тот говор и те опасения, которые возбуждала пьеса. Я наслушался вещей самых невероятных. Пущен был даже слух, что в пьесе дело идет о ритуальном убийстве, и многие верили даже этой нелепости.

Публика в течение целого месяца осаждала театр записями на пьесу. Мне не хотелось ставить пьесу прежде, чем не убедился, как к ней относится обыкновенная публика, никем непредубежденная, пришедшая в театр слушать совсем другую пьесу, а не «Контрабандистов», Продолжительный говор о пьесе не мог не подействовать на меня и не возбудить сомнений. Вследствие этого, объявив пьесу на 6 января, я решился дать ее прежде в самых обыкновенных условиях. Но этих условий, вследствие записей, которые необходимо было удовлетворить хотя частью, не существовало. Эти условия можно было сделать, только дав пьесу нечаянно. Скрыв от всех свое намерение, даже от директоров, моих товарищей, и от актеров, чтоб в театр не попали мои или их знакомые, чтоб не было ни малейшего подбора публики. 1 января я приехал в театр к 7 часам и послал за некоторыми актерами, которые играли в пьесе. В половине восьмого часа, когда большая часть публики уже собралась, я объявил актерам, что вместо назначенной пьесы г. Сухово-Кобылина «Расплюевские веселые дни» пойдут «Контрабандисты». Следовало загримироваться актерам, поставить декорации и пр. Шел уже девятый час и публика, (зал был полный, за исключением первого ряда кресел) выражала нетерпение, что спектакль не начинается. Я просил режиссера выйти перед занавес и объявить публике, что по случаю болезни актера, участвующего в «Расплюевских веселых днях», будут даны «Контрабандисты», Публика встретила это объявление шумной продолжительной овацией. Когда она окончилась, режиссер прибавил, что лица, не желающие слушать пьесу, могут взять из кассы обратно свои деньги. Снова рукоплескания. Взяли назад свои деньги лишь несколько человек. Мы начали пьесу после половины девятого. Она прошла с большим успехом и без малейшего протеста. Публика кое-где смеялась, где было смешно, и проникалась жалостью в драматических местах, — жалостью не только к хорошим евреям, но и к дурным, поставленным историческим процессом в ненормальные условия. Спектакль был одним из самых удачных. Я проверил свое впечатление от пьесы и убедился в совершенно добродушном и искреннем настроении публики, чрезвычайно внимательно выслушавшей пьесу. Так как пьеса все еще не была тверда, то на 5 января я назначил генеральную репетицию пьесы при членах Литературно-художественного общества и их гостях, собравшихся в

большом числе на музыкальный вечер. И опять то же впечатление, тот же успех и то же отсутствие протестов.

Не говоря о своем праве ставить пьесу, разрешенную строгой театральной цензурой и одобренную литературно-театральным комитетом для императорских театров, я имею право сказать, после моих опытов, что в данном случае я подчиняюсь той публике, которой я привык служить и мнением которой всегда дорожил. Подчиняться какой-нибудь особенной публике, которая не читает и не слушает, а только запрещает, у меня нет ни желания, ни оснований. Наша публика достаточно созрела, чтоб сметь свое суждение иметь и чтоб иметь право на уважение своего суда. И она далека от политиканства и даже от того «политического» антисемитизма, который существует в Европе. Мы — те же русские, предки которых тысячелетие уживались с чуждыми нам народностями, и мы никогда их не ненавидели, а напротив, тратили на них свои силы.

Во избежание недоразумений, я должен сказать еще, что на предварительной репетиции пьесы, в конце декабря, я сделал изменения в пьесе, а именно: не велел выносить на сцену тело мертвого стражника, так как не могу поверить, чтобы солдаты могли внести тело убитого в еврейский или какой другой дом без всякой в том надобности, и позволил себе изменить конец: отец не убивает дочь — чувство родительской любви берет верх над всеми другими страстями. Это изменение может быть неудачно в драматическом смысле, но это убийство мне не нравилось еще два года тому назад, когда я впервые познакомился с пьесой. История отца и дочери мне живо напомнила наши шестидесятые годы, когда девушки бежали из дома родителей, как говорилось тогда, к свету, и если у русских отцов дело обходилось без убийства, то зачем допускать его на сцене в еврейской семье? Правда, Шейлок убил бы свою Джессику, если бы она попалась ему после бегства, но это было так давно...

7 (20) января, № 8931

СССХС

•

Декадентская выставка. Декадентство — упадок, падение, падаль. «Падаль» говорят о яблоках, например, которые падают недозрелые, перезрелые, с червоточиной. Смотришь «чудеса» декадентства и думаешь. Идет чума, дует заразный ветер, и падают животные, птицы, гады, деревья, цветы, плоды, люди. Падают и гниют, падают и вянут, и сохнут, и принимают странные, сморщенные, кривые формы. Самый свет солнца и луны принимает в себя какие-то посторонние вещества от этой падали, и этот свет ложится на вещи в природе пятнами необычных цветов и очертаний. В лесу нет зелени, нет шума, нет запаха множества трав — это просто какое-то темное, неуклюжее пятно или потемневшие от дождя стоги сена, раскиданные ветром в грубом беспорядке. В воде никакой прозрачности — что-то мутное, темно-синее, нечто вроде фабричной материи. Сибирские виды невразумительнее линии железной дороги, проведенной по карте. И человек — только тень человека, только фигура, смутно видимая, или болезненная. Ни красоты в ней, ни силы, ни отваги, ни ума и вдохновения — она кривая, больничная, краски на ней точно пятна тифа или зияющие раны от укуса миллионов комаров. Да, все это падаль. Все вымерло, почернело, завяло, засохло, все потеряло яркие

цвета, радостные и живые соки жизни, все изменило формы, потускнело, и погружает нас в мир смерти и вымирания, уничтожения. Как от этой природы, так от этих людей ничего не ждешь. Они умерли, или умирают, или больны. Лишь изредка видишь, как из этой мертвечины что-то как будто пускает новые ростки, как будто начинается новая жизнь. Но какая жизнь, в каком направлении, ничего неизвестно. Может быть, это — грибы, чертополох, дикий человек, потерявший образ Божий и не ищущий его найти, может быть, сочная трава, колосистый хлеб, гениальный ребенок, грозящий этому мертвому царству своими кулачонками и строгими, совсем недетскими глазами... Погодите вот, вырасту, и я вам покажу, что такое живописец...

Таково мое впечатление от выставки в Академии художеств, состоящей почти исключительно из произведений, которым усвоено название декаденщины. Выставку устроил «Мир Искусства», журнал, скопированный с подобных же заграничных журналов. По-моему, это — умирающая живопись, а не возрождающаяся. И что всего хуже, подражательная и запоздавшая, как запаздывают моды. То, что во Франции кончилось, у нас начинается. Добро бы у нас началось. Оно, может быть, приняло бы какие-нибудь своеобразные черты, проявило бы какие-нибудь оригинальные идеи, намекало бы на новые русские формы. Но ничего этого нет. В сотый раз приходится признать, что русская интеллигенция идет в хвосте западной, как верная рабыня за господином своим. Русская публика с недоумением смотрит на эту живопись, не зная, как к ней относиться, что в ней искать? Смерть это или возрождение? Отжившая, побледневшая жизнь, под влиянием какой-то чумной заразы, или зарождающаяся жизнь, самостоятельная, спешащая на смену отживающего? Русского в этой живописи — только тоны, более мрачные, более серые и неопределенные, и неуменье рисовать, а потому мазня прямо сверхъестественная, не сдержанная никакими законами. На Западе больше солнца и уменье рисовать там закон, его же не прейдеши, и там декаденщина была сноснее. Мне кажется, эта недоконченность в скульптуре и в живописи, эти намеки на ландшафты и на людей зависят совсем не от сильных талантов, от гениальной самоуверенности, которая думает, что и так хорошо, а именно от неуверенности, что это хорошо, что это нужно и, главное, что это будет жить. Даже истинный талант, например, князь Трубецкой, как будто чувствует, что его произведения — только продукт времени и какого-то переходного времени, которое не будет долго длиться. Если они останутся, то останутся как призраки и тени этого межумочного времени и будут считаться не шедеврами искусства, а просто интересным ископаемыми.

Разумеется, не все на этой выставке — декадентское. Г. Серов, например, — не декадент. Его портрет государя императора хорош. Государь сидит, облокотившись, подняв лицо и устремив светлые, голубые глаза вдаль. Глаза эти что-то видят в этой дали интересное и важное, и это выражение их, прекрасно переданное художником и освещающее все лицо, придает портрету оригинальность и мысль; но и этот портрет был бы еще лучше, если бы был законченнее. Есть достоинства и в портрете г-жи N. N. Восточное лицо, плоско и неинтересно написанное, но зато платье написано с жаром настоящего артиста. Есть еще несколько вещей более или менее интересных, но я не вхожу в подробности и передаю только свое впечатление от целого. Не могу, однако, не остановиться на портрете Репина, написанном г. Малявиным и продающемся за три тысячи руб-

лей. Вчера В. В. Стасов в «Новостях» сказал об этом портрете, что его «ни с чем нельзя сравнить по гадости и фальши». Я знаю давно Репина, и думается мне, что знаю несколько его душу. В портрете г. Малявина — это какой-то носастый и дикий выродок, подобранный в Вяземской лавре, на нарах. Письмо, — одним махом сто богатырей убивахом, такое размашистое и ничем не стесняющееся. Может быть, и тут есть талант, но совершенно буйный, желающий выскочить из всяких форм и не знающий, для чего выскочить. Будет он так продолжать, очень скоро надоест даже тем, кто его хвалит.

Дает ли настроение выставка? Дает. Хочется поскорее вон из этих зал, наполненных мертвечиной, полулюдьми, полуприродой, полуживописью, полукрасками. Хочется поскорее прочь от этой мазни, от этой преднамеренной небрежности и сочиненной неряшливости. Невольно тянет на воздух, где и небо настоящее, и дома настоящие, и снег, и мороз, и живые люди с их радостями и страданиями, с их стремлениями, надеждами и обманом...

Впрочем, все это естественно. Когда ищешь новой дороги, попадаешь в трясины и болота, в духоту чащи, где ветви бьют по лицу и по глазам. Я думаю, что это — начало и конец, ибо продолжать в этом направлении невозможно. Дай Бог крупных талантов; только они находят истинные пути.

4 (17) февраля, № 8959

CCCXCI

Русское театральное общество благоденствует в нынешнее царствование. И развиваться бы ему в тех пределах, в которые оно поставлено и которые достаточно широки. Мне думается, что дело зависит не столько от параграфов устава, сколько от деятельности живых людей, управляющих обществом. В течение двух-трех лет председательства В. С. Кривенко, при старом уставе, общество сильно подвинулось вперед. Отсюда можно заключить, что ничто обществу не препятствует идти тем же поступательным путем, особенно в такое время, как настоящее, когда театральная деятельность развивается чрезвычайно сильно, когда в Петербурге создан Народный дом императора Николая II и когда область русской исторической драмы будет расширена, судя по тому, что в театре Народного дома готова к постановке пьеса г. Крылова «Петр Великий», где русский император является главным действующим лицом. Но Театральное общество стремится к расширению своей программы, о чем новый проект устава, о котором сегодня я прочел в журнале «Театр и Искусство» совершенно справедливые суждения. Театральное общество хочет организоваться в нечто подобное «министерству изящных искусств», но упомянутый журнал прав, говоря, что у нас для этого нет почвы, ибо дирекция императорских театров, Академия художеств и проч. суть учреждения самостоятельные. Мне думается, что и Народный дом императора Николая II есть учреждение самостоятельное и едва ли может быть подчинено контролю Театрального общества. Министерство изящных искусств было бы желательно, но не для полицейской регламентации, а для покровительства всем отраслям и видам изящных искусств. Театральное общество своим проектом доказывает, что оно неспособно наметить даже в общих чертах подобную задачу. Оно стремится к надзору и контролю над всеми частными театральными

учреждениями; оно берет под свое начало театральные предприятия, школы, курсы, библиотеки, комиссионные и справочные агентства, конторы, бутафорию, костюмерию и «проч.». Этим последним «и проч.» открывается безграничная область надзора Театрального общества. Оно следит за правильным ведением дела во всех театральных предприятиях и учреждениях, командирует своих уполномоченных для инспектирования и ревизии делопроизводства и счетоводства всюду, во все театры, во все конторы и бюро и проч. Сколько потребуется контролеров и театральных чиновников, трудно себе даже представить. А еще труднее представить себе пользу от такой опеки, которая вводит в театральное искусство совершенно чуждый ему элемент. Но этого мало. Театральное общество еще организует «Союз сценических деятелей членов Русского театрального общества», по примеру «Союза писателей», и тоже с «судом», не «судом чести», а просто «судом Союза».

Обыкновенных судов не хватает, надо еще суды специальные, литературные, театральные и проч. Очевидно, судиться — любезное дело у нас. Якушкин рассказывает, что он встретил однажды несколько телег с мужиками.

— Куда едете? — спросил он.

— Сечься! — отвечали мужики видимо непринужденно и довольным тоном.

По примеру мужиков, писатели и актеры ездят судиться, т. е. тоже в некотором роде «сечься». Нам это приятно — «сечься» и «судиться», для «взаимной помощи и самоуправления». Иначе мы не можем себе представить взаимную помощь и самоуправление, как подзатыльниками и «правом» сечься...

Преимущества этого Союза многочисленны и многообразны и направлены на то, чтобы забрать в свои руки театральные предприятия, «иметь свои театральные здания и сцены, а также мастерские и склады костюмов, декораций, бутафорских вещей и других театральных принадлежностей». Решительно что-то всероссийское, всеобъемлющее, не пугающееся известного афоризма, что «нельзя обнять необъятного».

Можно! Лишь бы было только желание, а то можно, особенно в таком учреждении, которое, будучи далеко от министерства изящных искусств, напоминает какую-то центральную канцелярию, которая больше всего должна заботиться о евреях. Да, именно о евреях. Проект Союза заключает в себе такой параграф:

«Члены Союза иудейского вероисповедания пользуются правом заниматься своей профессиональной сценической деятельностью повсеместно в России».

Это — как бы даже решение еврейского вопроса. Правда, еврей-ремесленники пользуются таким же правом, как и лица, кончившие курс высших учебных заведений. Но быть сценическим деятелем гораздо легче, чем сапожником и портным. В этом отношении любопытно, что такое «сценический деятель»? Вот объяснение:

«Сценическими деятелями считаются лица, участвующие самостоятельной *творческой* деятельностью в ансамбле на сцене, а равно лица, чья профессия может быть применена исключительно только на сцене или для сцены, как то: театральные предприниматели, распорядители товариществ, режиссеры и их помощники, драматические, оперные, опереточные и балетные артисты и артистки, хористы и хористки, оркестровые музыканты, капельмейстеры, балетмейстеры, хормейстеры, концертмейстеры, аккомпаниаторы, суфлеры, декораторы, машинисты и т. п.».

Относительно «творческой деятельности» надо сказать, что «творцы» на сцене — явление очень редкое, как и «творцы» в литературе. Большинство актеров «скворцы», которых выучили говорить, а не творить. Но сообразите численность всех этих «сценических деятелей», начиная от «творцов» и, кончая мейстерами, к которым необходимо прибавить проектмейстеров, и статистами, а, может быть, и капельдинерами, ибо спасительное «и т. д.» столь же неопределенное, как «и проч.», тут спешит на помощь. Известно, что и теперь уже «поскоблите русскую фамилию актера» и вы откроете под ней еврея. Евреев — множество. Чем далее, тем их будет больше, а при помощи упомянутого параграфа они все театры обратят в Бердичев. Уж если в университетах, при обязательных десяти процентах евреев, их насчитывается пятьдесят, то, сколько же будет евреев среди «сценических деятелей»? Возможно, что в скором будущем мы не будем уж говорить о русской молодежи «с высшим образованием», а будем говорить только о молодежи еврейской, с этим образованием, которая средним своим талантом, прилежанием и юркостью выталкивает из университетов русскую молодежь, не столь энергичную, не столь упорную и в большинстве беспечную по своей славянской сущности. Еще более вероятия, что евреи составят, в конце концов, своего рода «левитов» в театрах, как в Израиле они составляли духовенство, и эти театральные левиты через десять лет получат право личного почетного гражданства, через двадцать — потомственного, а через двадцать пять — «особый нагрудный знак, по утвержденному образцу (с изображением цифры XXV и надписью «За сценические заслуги»). Все эти награды тщательно предусмотрены в этом бюрократическом проекте. Через несколько десятков лет мы будем иметь миллионы евреев с этим знаком и со званием почетных граждан.

Подумаешь — «увеселять» является ремеслом наиболее прибыльным и в государственном смысле — наиболее полезным. Никакому другому искусству, никакому другому ремеслу не обещают таких наград. Признаюсь, я совсем не понимаю этого невероятного повышения в чинах актера. То его презирали, то терпели, то начинают боготворить и сочинять для него табель о рангах и всевозможные привилегии. Это — не нормально и не хорошо и даже ничего хорошего не обещает для самих актеров с призванием, на которых насядет еврейство и всякая бездарность, богатая угодливостью и усердием. Ни для плотников, ни для слесарей и кузнецов, ни для земледельцев не сочиняют союзов с привилегиями, а для актеров — сколько хотите. Театральное время, что ли, настало и людям ничего не осталось, как увеселять и веселиться? Сомнительно.

5 (18) февраля, № 8960

CCCXCII

Александр Македонский нашего времени, граф Вальдерзе, собирается в поход во внутрь Китая, чтоб достать китайского императора. Он ему так же нужен, как Александру — Дарий. Победив его, новый Александр объявит протекторат Германии над Китайской империей. С первого шага Германии в Китае она думала о том, чтоб разделить господство над Азией с Англией. Если Англия владеет Индией, то нет ничего более естественного, как Германии владеть Китаем. Немцы столь же просвещенный и великий народ, как и англичане, и никто более их не

заслужил права господства в мире, и христианском, и нехристианском. Когда граф Вальдерзе отправлялся в поход, держа в руках фельдмаршальский жезл, он нес на груди инструкции своего государя. В чем они заключались, остается доселе тайною даже для дипломатов, которые, как известно, все очень хорошо знают. Я ничего не знаю, но могу предполагать. По моему предположению, они касались именно предварительных и глубокомысленных действий, для обращения Китая в такое же подчиненное положение относительно Германии, в каком Индия находится относительно Англии. Германии сделать это гораздо легче, чем Англии, ибо Германия и в Европе образует империю, тогда как Англия в Европе — королевство. Стоит только способствовать распаденью Китайской империи на несколько королевств и великих герцогств, чтоб соединить их потом под владычеством нового императора, который будет иметь перед китайским императором то великое преимущество, что будет жить не в Пекине, а в Берлине, то есть будет еще большею невидимкою и загадкою, чем богдыхан.

Я не говорил о Китае с того самого времени, когда граф Вальдерзе высадился на берег Поднебесной империи. Я очень люблю немцев, потому что знаю, какой они основательный и глубокомысленный народ. Куда бы немец ни пришел, он непременно начнет германскую культуру и станет пить пиво. Пиво служит его медленному, но прочному вдохновению. Я не сомневался, что граф Вальдерзе будет сочинять историю Германии в Китае, несмотря на то, что Пекин был взят и посольства освобождены. Тогда смеялись над почтенным графом, получившим главное командование над всеми европейскими войсками, и спрашивали: зачем он туда едет, когда Пекин уже взят? Я совсем не смеялся, а напротив уверял, что он едет найти себе там дело, конечно, немецкое дело, а вовсе не европейское. Европейское будет отложено в сторону, или, лучше сказать, европейское дело и есть германское дело, ибо Германия в Европе, как водевиль, есть вещь, а прочее все гиль или около того. Никогда не одержав ни одной победы, чем главным образом граф Вальдерзе отличается от Александра Македонского, он стал рассылать войска для одержания побед. Никакой в этой надобности не было ни для Китая, ни для Европы, но для Германии нужны были победы, чтоб доказать, что кроме Бога она никого не боится, даже китайских кулаков. Если не ошибаюсь, эти победы были одержаны в необходимом количестве и вместе с тем было отрублено несколько голов китайским сановникам и они воткнуты на колья, которые уж не могли им заменить тела. Кажется, ничего больше не случилось особенно замечательного. Державы составляли требования для умиротворения Китая, безопасности европейцев и выгод европейской торговли, а китайское правительство на все соглашалось, но так любезно, что Европа ничего не понимала и просила постоянно разъяснений этих любезных китайских церемоний. Китайское правительство с удовольствием давало эти разъяснения и с готовностью обещало разжалования и смертную казнь всем тем, которые провинились против Европы. Случалось, что разжалованные получали высшие чины, а казненные опять приставляли себе головы, но тем лучше, ибо это обстоятельство осложняло вопросы и давало работы европейским дипломатам. Так тянулось несколько месяцев. И победы, и переговоры ничего не сделали и приходилось хоть домой идти, но это совсем не согласовалось с мудрым планом подчинения Китая Германии, и немцы задумали добыть китайского императора, чтобы привезти его в Пекин или Берлин, что одно и то же, и заключить с ним договор о

протекторате Германии и о выдворении ее войск в Китае для наблюдения за порядком. Так как император Вильгельм II состоит фельдмаршалом великобританских войск, и ему ничего не стоит скомандовать этим войскам, чтоб они шли, куда он хочет, или стояли, где он хочет, то Англия готова способствовать успехам новой экспедиции, чтоб она не имела судьбы мексиканской экспедиции Наполеона III. Вероятно, детали этого похода будут решены в Германии, куда едет король Эдуард VII, конечно, не за тем только, чтобы посетить императрицу Фридрих. Что будет дальше?

Будет ли казнен китайский император, как был казнен мексиканский император, неизвестно; но он может быть низложен и отправлен или в Вильгельмсгее, как Наполеон III, или на остров св. Елены, как Наполеон I. Тогда начнется агитация для избрания нового китайского императора, что, само собой разумеется, не может обойтись без протектората над Китаем, ибо как же может допустить Германия, а вместе с нею и Англия, чтоб Китай оставался независимым? Это несообразно ни с чем и не может быть допущено. Как ни легкомысленны мои предположения, но мы живем недаром в легкомысленное время декадентства, когда проводятся в истории самые неожиданные углы и образуются самые безобразные образы и тела. По-видимому, от прежнего «величия», от «подвигов» великодушия и мужества остались только предания, да и то забытые в сборниках анекдотов для простецов и глупцов, а умные люди стали сверхумными, справедливо находя, что ум — пустое дело, да притом и трудное. Вся эта китайская история именно сверхумная, и она потому так мало стала занимать нас. Европа умнее в Европе, ибо тут есть история с ее столбами и лестницами, а Европа в Китае поневоле должна идти ощупью и наугад, полагаясь только на то, что существует сверх ума. И это обстоятельство и служит причиною, почему тянется эта китайщина, как резиновое полотно.

Ну, а мы, не Европа? Как обстоит наше дело с Китаем? Мы, кажется, немножко обманьчжурились? Это «ничего», как говорил Бисмарк, ибо нам не впервое приходится входить в душу и тело азиатов, но все-таки нам не совсем безразличен вопрос о том, кто будет нашим соседом на этом Дальнем Востоке, который для нас совсем не дальний. Князь Мещерский говорит сегодня, что нам хорошо бы, пользуясь тем, что в Пекине нет богдыхана, «перенести всю нашу миссию в Россию и оставаться спокойными зрителями надвигающихся на европейцев в Китае событий». Может быть, действительно это было бы хорошо, но оставаться *«спокойными* зрителями событий», увы, нам уже невозможно. Даже в театре нельзя оставаться спокойными зрителями, а на сцене истории, которая делается перед нашими глазами, и подавно невозможно. Вопрос стал сложным и, вероятно, чреватым.

9 (22) февраля, № 8964

CCCXCIII

Юбилей — это отпевание, это — репетиция похорон. Юбилеи и так же скучны, как похороны, и так же торжественны, и так же обязательны на них славословия и так же, как на похоронах: de mortuis aut bene aut nihil.

Я их очень не люблю и редко на них бываю, и если буду на юбилее «Нового Времени», то потому, что я на него приглашен моими товарищами, моими сотрудниками, которым я так много обязан. Они все моложе меня, все живее меня и видят жизнь не в юбилее, конечно, но за юбилеем, по ту сторону. А для меня по ту сторону — смерть. И я вам скажу, что это хорошо. Хорошо не потому, что смерть — необходимое звено жизни, а потому, что смерть — совсем недурная женщина. Она — женщина с сильным характером и дьявольской убедительностью речи. Не скелет с косою, а красивая, стройная, несколько бледная женщина, в светлом платье, с синими глазами и приветливой улыбкой. Она приглашает в покой и на покой. Войдите. Ничего страшного. Напротив, как войдете, так и почувствуете, что действительно все благополучно и что лучше того спокойствия, которое она обещает, ничего нет.

А что же там? Гамлетовский вопрос.

Теперь идут споры о христианстве. Они начались задолго до наших времен и шли то бурно, то тихо, почти не прерываясь вплоть до наших дней. В наши дни они получили особый оттенок мистического, таинственного и загадочного. Христос снова явился в прениях, статьях, книгах, на картинах. Он посещает в своей одежде современных нам рабочих, бедняков, пирующих богачей, или сидит с своими апостолами на Тайной Вечери, или ведет разговор с дьяволом. Чудесный Репин для него изменил стих Евангелия, вместо «отойди от меня, сатана» — «иди за мной, сатана». И это естественно и современно. Сатана — необыкновенный урод. Не то безобразная женщина, не то безобразный мужчина. Что-то расплывчатое, туманное, полумертвое, полуживое. Христос победил это «чудище обло, озорно и лаяй», и Ему ничего не оставалось, как сказать ему: «иди за мной, сатана», т. е. исправься и перестань делать пакости и соблазнять людей богатством, честолюбием, властью, наслаждениями. Может быть, я не так понимаю мысль Репина, но мне так казалось, когда я стоял перед картиной, смотрел на Христа и думал о смерти.

Сын Божий есть телесная и душевная красота. Сила в теле и в духе, Бог и человек. Я не могу Его представить себе ни в том виде, в каком изобразил Его Ге перед Пилатом, ни в том, в каком изобразил Его Репин. Это — не сын Божий, а слабый сын нашего времени. Этому Христу я предпочитаю Христа в деревенских церквах, писанного неизвестными художниками. Я знал Его в детстве, знаю и теперь таким же. Глядя на репинского Христа, я думаю: оглянулся ли он или нет, сказав: «иди за мной, сатана!» Что, если Он оглянется, а сатаны и след простыл? Сатана лукав, и подл, и нагл, и труслив, и силен и репинского Христа он проведет. И с сатаной я знаком с детства — я видел его в деревенской церкви, на картине Страшного суда. Он был тоже безобразный, но у Репина — еще безобразнее этот подлый, гнусный прародитель всех пороков, обнимающий своим полутуманным, полутелесным существом и чистые души, и прекрасные тела...

Я смотрел на этого подлого черта и сравнивал его со смертью. Какая она прекрасная, спокойная, светлая в сравнении с этим негодяем, который всех нас держал в своих лапах и обнимал и мы видели его прекрасным, и обольстительным, и целовали его и продавали свою душу.

Я — плохой христианин, а, может быть, даже и совсем не христианин. Я думаю, что это всего лучше известно Богу, в которого я верую. Я должен вам сказать, что бесконечность вселенной я себе представить не могу. Я думаю, что где-то есть конец, далеко, далеко, за звездами, и там — Бог, не сила, не математический закон, а Бог, всемогущее Существо. Если я, смертный, могу теперь говорить

через телефон с Парижем, если электричество дает мне возможность сноситься с отдаленными людьми, то Богу легко читать в моем сердце, легко видеть меня и вас и знать наши дела и помышления. Это чересчур просто, не богословски, не философски, быть может, но иначе я себе не могу представить Бога.

Думаешь о смерти, думаешь и о душе.

Когда моя душа дойдет до Бога? Пойдет ли она со скоростью света, она будет идти миллионы лет, она увидит чудеса всего мира, она приблизится к планетам, к кометам, к звездам, она пролетит мимо громадных огненных светил, выбрасывающих пламя столбами в сотни тысяч верст с миллионами искр и необъятными тучами багрового дыма, она пролетит сквозь хвосты комет, мимо колоссальных потухших, мертвых миров, мимо планет, населенных странными, но прекрасными существами, ибо все Божье создание — прекрасно, и душа, освобожденная от тела, получит способность понимать и Бога и его творение лучше, чем тогда, когда она в теле. Она увидит такие чудеса, каких нет на Земле. Земные чудеса — это игрушки...

Иногда думается, что души — везде, во всех мирах и пространствах, что и на земле живет бесконечное множество душ умерших. Они везде летают, везде присутствуют, всюду проникают, и во дворцы царей, и в палаты митрополитов, и в убогие хижины, и в вертепы, и на высокие горы, и в глубокие пропасти. Везде им свобода и жизнь. Мы их не видим, но они нас видят. Вот я пишу, а около меня, может быть, души моих близких, души умерших моих отца и матери, души умерших моих сыновей и дочери, души предков. И работа спорится, и думаешь, и чувствуешь лучше. Они точно одобряют, поддерживают, нашептывают...

Вам это, кажется, может быть, совсем глупо и ни с чем не сообразно. У вас — вера твердая, понятия непоколебимые о загробной жизни. Вы, может быть, осуждаете Гамлета, который сомневался в загробной жизни и думал: все ли кончено со смертью или еще будет продолжение? Я его тоже осуждаю, но только за то, что он — такой чудак: являлся ему умерший отец, рассказывал, как его убил брат, совсем недвусмысленно говорил об адских мучениях, а Гамлет все еще спрашивает: «Быть или не быть?» и даже уверяет, что «из неведомой страны ни единый путник не возвращался». Странный человек, забыл, что приходил отец. Я бы после такого случая, бывшего при свидетелях, не рассуждал бы...

Кому я завидовал — это великим писателям. Вот счастливцы. Их душа совсем исключительная, наиболее божественная. Она — не только такая, как и наша с вами, но она еще оставляет часть свою на земле, в книгах, в сочинениях. Человека давно нет, а душа его живет в сочинениях, говорит с нами, волнует нас, направляет наши действия.

И с великими душами ничего не поделаете. Никакой власти над ними нет. Вон душа великих греков и римлян сколько времени живет и обучает даже несметные поколения. И истязают нас и наших детей, истязали и секли наших предков, и исключают, и будут исключать, и причиняют, и будут причинять всем много горя и мало радости и все это по приказанию этих самых классических, греческих и римских душ. И добро бы еще христианские это души были, а то ведь — язычники, и эти-то языческие души нами распоряжаются и нами повелевают. Какие-то Гомеры, Вергилии, Горации, Овидии Назоны, никакого у них титула, а власти более, чем у цезарей. И умные христиане, которые считают себя несомненными христианами, так крепко взяты этими классическими душами, что без них ни шагу. Вот какова сила души!

А душа журналиста? Что это за мытарская душа! Мытарится, мытарится, бегает, бесится, волнуется, кричит, ругается, получает сама удары, и ничего-то после нее не остается. Вся в дневной злобе разлетается и исчезает. То она следует новому, не евангельскому тексту Репина, с маленьким изменением: «Иди со мной, сатана!» И сатана идет и подсказывает всю эту брань, всю нечисть, все насмешки, всю злобу. Но иногда и в этой борьбе — Бог, и тут — вдохновение, и тут — добро, и тут — высокое негодование, и тут — поучение, и тут: «отойди от меня, сатана!» И он отходит и глаголы жгут сердца людей...

26 февраля (11 марта), № 8980

P. S. «Иди за мною, сатано». Так напечатано в «Каталоге передвижной выставки картин», славянскими буквами, под фамилией И. Е. Репина, автора картины, изображающей Христа и сатану. Репин не искажал текста, как я вчера сказал, а взял его из Евангелия /Матф. IV, 10; Луки IV,8/ на *славянском* языке. Но и я не искажал евангельского текста, приводя его *по-русски*: «отойди от меня, сатана». Репин прав, следуя тексту Евангелия на славянском языке.

Христос повторил эти слова апостолу Петру /Матф. XVI, 23; Марк, XVIII, 33/, который стал противоречить Ему, когда Христос начал говорить, что Ему должно идти в Иерусалим и там пострадать и быть убиту и воскреснуть: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». По-славянски и тут: «Иди за Мною, сатано», а по-русски: «Отойди от меня, сатана!» Отчего же это так? Почему такая разница? Я взглянул в Евангелие на французском, немецком, испанском, итальянском и английском языках, везде: «Отойди от Меня, сатана» или «Удались от Меня, сатана». Славянское Евангелие, как известно, переведено было с греческого языка во 2-й половине IX века. В греческом тексте Евангелия от Матфея это место выражено словами: «ὑπαγε, εαταυα», что совершенно соответствует славянскому «иди за мной», ибо таково значение глагола ὑπαγείν, тогда как «отойди от Меня» было бы передано слово ἀπαγε.

Значит, славянский текст верно передает греческий подлинник, а русский текст тожествен с текстом на других европейских языках. На русском языке Евангелие было издано в 20-х годах Библейским обществом; общество это было запрещено, и перевод его не перепечатывался. В 1860 г. Евангелие на русском языке было издано Синодом, но в обоих русских изданиях: «Отойди от Меня». Значит ли, что Евангелие на славянский язык переводилось с греческого, а на другие языки — с латинского? Вопрос этот пусть решают специалисты.

27 февраля (12 марта), № 8981

CCCXCIV

Ждут министра народного просвещения. Ежедневно кто-нибудь приезжает на том коне, который называется слухом. Не успеют обсудить новоприбывшего, как он уже уехал домой и приезжает новый. Этот воздушный конь — самый неверный конь: вечно спотыкается и не доезжает до назначения. Но все ждут со вниманием. Пост министра народного просвещения вдруг вырос. Последние события, трагическая смерть Боголепова, уличные беспорядки, обструкции, пришедшие к нам не из таких образованных стран, как Германия, Франция и

Англия, а из страны жаркого солнца, оперных певцов и артистов, именно из Италии, шатание школьного дела, забота о самом близком семейному человеку — образовании детей и их судьбе — сосредоточили на себе внимание. Министр народного просвещения! Какой это важный пост! Князь Мещерский говорит, что на этот пост необходим человек с сердцем. Конечно. Но «сердечный человек» — понятие довольно неопределенное. Сердечность на всяком месте — дело не лишнее. Мне думается, что довольно трудно определить те качества, которыми должен обладать министр просвещения. Но зато мне всегда казалось, что настоящим министром народного просвещения должен быть... бюджет. Да, бюджет, помимо необходимых качеств, которые должны быть у того лица, которое будет призвано на это место. Бюджет — очень важное дело, ибо без денег нельзя провести железной дороги и нельзя поставить народное просвещение на верную и прочную дорогу. В течение сорока лет мы в третий раз приступаем к учебной реформе. Головнинская сменила уваровскую, головнинскую сменила толстовская, теперь говорят, что толстовская никуда негодна. Такими именно словами говорят: никуда не годна. Она замучила, засушила души. А об ней ли не спорили, об ней ли не бились всяким оружием, на нее ли не возлагали великих надежд? И вот она их не оправдала. А ведь прошло четверть века в этом опыте... Не заключается ли самый существенный недостаток всех этих учебных реформ именно в ничтожном бюджете народного просвещения, который не позволяет ни развивать сеть учебных заведений, отвечающих нуждам великой империи, ни оценивать, сообразно потребностям времени, труд профессоров, учителей и воспитателей. Ведь на профессорские и учительские средства жить нельзя, если не искать себе уроков и вообще посторонних занятий. А какой же труд более полезен и производителен, если не труд людей, приготовляющих новые поколения граждан? Какой министр найдет себе истинно полезных сотрудников, если он не может дать наиболее образованным и способным людям хорошего обеспечения? Конечно, государственная служба дает большие преимущества сама по себе, но этого мало, в особенности для педагогов семейных. Только идеалисты учителя способны к тем жертвам, которые требуют всего человека. Но на идеализме отдельных личностей нельзя строить такое здание, как народное просвещение. Каково было бы положение министра путей сообщения, если бы ему на каждый его проект новой дороги отвечали: «да, дорога полезная, но денег на нее нет». А положение министра народного просвещения постоянно такое. На народные школы денег нет, на технические и специальные денег нет, на реальные гимназии денег нет. «Да, все это полезно, но откуда взять денег?» Вот и приходится чуть не каждые двадцать пять лет менять учебную систему и ожидать великих и богатых милостей только от системы, а не от системы и средств, которые требуются для всесторонней постановки народного образования. Классическую систему ввели даже без русских учителей, а наняли их в Чехии, точно мы все еще живем при Петре Великом и без иностранцев даже азбуке научиться не можем.

Без денег, конечно, придется и впредь изменять системы, избирая одну господствующую и принуждать всех идти по одному направлению. Какие склонности ни имей, изучай непременно классические языки — они одни спасут тебя и дадут пшеничный хлеб и известное привилегированное положение для приискания места. И вот все лезут по этой лестнице, потому что она наиболее широкая и поместительная. Лезут и падают, падают ужасно, не в силах будучи одолеть

всех ступеней. Какой процент поступивших в гимназию достигает окончания гимназии? Ничтожный. Большинство свалилось вниз разбитое, не приобретя для практической жизни ничего, или почти ничего. Что в низших классах приобретено — грамота, история, география, — то и осталось. С пятого класса уж начинается то, что нужно только для университета. Гимназисту дают аттестат зрелости, а он совершенно бессилен что-нибудь начать и быть пригоднее в практической жизни гимназиста, не получившего аттестат зрелости. «Зрелость» является какой-то насмешкою, если она не вступает в университет. Начинается университет. Опять лестница четырех курсов и опять с нее падают и падают. А стремление такое огромное, что если бы все стали аккуратно ходить на лекции, университет не в силах был бы даже поместить все эти тысячи в своих аудиториях.

Нужны, следовательно, такие школы, которые отвечали бы различным призваниям и удовлетворяли бы различным способностям и потребностям. А как же их дать, как их умножить, не имея денег? Как открыть ворота для дарований, для развития прирожденных способностей, для разных отраслей чистой и прикладной науки, когда существует только единственная мало-мальски общедоступная лестница, начинающаяся гимназией и кончающаяся университетом, лестница тяжелая, крутая, длинная, нравоучительная и чинная, по которой лезут тринадцать-пятнадцать лет и достигают верха только наиболее сильные или наиболее счастливые и состоятельные, а остальные срываются с нее, ничего не достигнув, не приобретя никакого определенного круга знаний, который пригодился бы в жизни или поставил бы и их в сколько-нибудь определенное положение в сложных условиях жизни. Трудно верится, чтобы мог найтись министр народного просвещения, который бы только силою своего ума и своих способностей сумел бы разобраться в этом и явиться творцом наилучшей системы образования. Разве Петр Великий мог бы что-нибудь сделать, если б не имел он возможности извлекать средства на свои преобразования? Вот почему я позволил себе сказать, что настоящий министр народного просвещения есть бюджет. Другими словами: без хорошего бюджета самый хороший министр народного просвещения не может сделать того, что надо.

22 марта (4 апреля), № 9003

CCCXCV

С 1802 года, когда учреждены были министерства, до назначения П. С. Ванновского, было 16 министров народного просвещения; ему пришлось быть 17-м; из них трое было военных, два адмирала, Шишков и Путятин, и один — генерал от инфантерии, князь Ливен. Генерал-адъютант Ванновский перед своими предшественниками из военных имеет то преимущество, что он семнадцать лет, будучи военным министром, стоял близко к задачам народного просвещения по нижним, средним и высшим военно-учебным заведениям. Он знает очень хорошо, какую важную роль в деле воспитания, вооружения и увеличения армии во всех ее отраслях играет бюджет, помимо всего прочего. Воспитание, образование и умножение армии вообще образованных людей требует того же самого. Мне хочется еще раз вернуться к тому же вопросу, о котором я говорил несколько дней назад, именно к вопросу о бюджете народного просвещения. «Не в день-

гах счастье», сказал мне насмешливо один журналист. Эта пословица придумана бедным народом, привыкшим к терпению и редко видевшим то, что называется деньгами. Как народная пословица, она звучит скорее иронией, чем правдой. Счастье — вообще редкая вещь, как в богатстве, так и в бедности, но деньги в современном быту необходимы для всякого широко поставленного. А в государственном хозяйстве и подавно без денег не может обойтись ни одна реформа. Все реформы, освобождение крестьян, новый суд, земство, требовали денег и денег...

Я очень благодарен г. Тимроту, который указал мне на письмо Н. И. Пирогова к баронессе Раден; авторитет такого замечательного человека в истории нашего просвещения стоит непоколебимо высоко. Письмо это извлечено из «Русского Архива» и напечатано у нас (№ 9006). «Если министру, говорил Пирогов в 1862 году, не удастся развить в учебных заведениях (будь то приходские школы или университеты) научный дух или высшее стремление к познанию, то он должен отказаться от притязаний на порядок и нравственность в таких заведениях: они обращаются тогда в места волнений и беспорядков, которые более достойны полицейского присутствия, чем министерства народного просвещения». Как это превосходно сказано, так ярко и убедительно! И затем: «Но где же у нас средства, чтоб достигнуть в учебных заведениях высокого научного стремления? Где личный состав, где деньги на это?!!» Вопрос, конечно, старый о бюджете просвещения, но он всегда должен играть значительную роль не только в государственном бюджете, но и в частном.

Я не могу удовлетворительно объяснить себе эту общую всем психологическую черту, что блага знания и воспитания должны обходиться наименьшими средствами. Понятно, когда бедные люди жалуются на дороговизну книг, учебников, плату за учение, но как это объяснить у людей достаточных и богатых? Пусть каждый скажет, сколько он тратит на образование и воспитание детей и сравнит эти траты на хорошую обстановку, экипажи, лошадей, ненужную роскошь, удовольствия, на прихоти любимых жен и женщин, на вино и поваров. Очень часто даже богатые люди стараются пристроить детей своих в казенные заведения, дающие наиболее прав; каждый отец и мать тщательно высчитывают рубли и копейки, которые они дают репетиторам и учителям, стараясь найти наиболее дешевых, как у Грибоедова — «учителей полки, ценою подешевле». Студенты, помогающие гимназистам приготовлять уроки, и учителя могли бы порассказать об этом очень много интересного и поучительного. А ведь все эти люди наверно наговорят о просвещении и воспитании много красноречивых слов; все они знают, что это благо, что воспитание и образование необходимо, прежде всего, для их мальчиков. Но как можно подешевле. Даже нельзя ли совсем даром, чтоб ничего не стоило. Чем меньше бюджет на образование, тем лучше. И притом,

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь,—

не только дома, но и в лицеях и университетах и доселе так учимся. Оно как будто и надо быть образованным, а как будто и не надо. Но главное, чтобы поменьше это стоило, подешевле брали за уроки учителя и профессора.

Так оно в частном быту, так оно и в государственном бюджете. Народное образование — очень важное дело, великое дело, первейшее дело, восклицаем мы. А посмотришь на бюджет, оно оказывается совсем не важным, не великим и даже как будто последним делом. Пирогов говорил: «Разве в самом деле полагают, что двух или трех миллионов рублей достаточно для воспитания шестидесяти или семидесяти миллионов людей?» Теперь их сто тридцать пять миллионов, а потребность в образовании и грамоте удесятерилась сравнительно с 1862 годом, и хотя бюджет возрос значительно, но все-таки он недостаточен как для удовлетворения этого действительно великого дела просвещения, так и для того, чтоб «развить в учебных заведениях научный дух или высшее стремление к познанию». Это изречение должно бы принять эпиграфом к уставу о министерстве народного просвещения.

Конечно, потребностей у нас очень много, и страна наша не может считаться богатою, но все-таки пересмотр бюджета народного просвещения — дело столь настоятельное, как и пересмотр всей учебной системы.

27 марта (9 апреля), № 9008

CCCXCVI

Приближается Святая ночь. Как я ее любил всегда, — всегда со времен моего далекого детства, когда я верил, что после этой ночи восходящее солнце играет, радуясь воскресению Христа. Мы, дети, бегали на гумно, взбирались на скирды соломы и ждали солнца, и когда оно являлось, нам казалось, что оно действительно играет, и мы как-то пугливо радовались как удивительному чуду. И всегда эта ночь мне была мила, и я не помню в жизни своей года, чтобы я просидел всю эту ночь дома, чтоб не пошел послушать «Христос воскресе» и не испытал особенного, таинственного волнения и радости. Ярки мне эти воспоминания в деревне, в городах, в московском Кремле, в Петербурге и даже в Париже, куда, бывши раз Великим постом в Италии, я нарочно приехал к самой заутрене в русской церкви. Мне кажется, если б я стал совершенно неверующим человеком, я и тогда бы сохранил в душе всю прелесть и обаяние этой чудесной ночи. Не то, что молишься особенно усердно и сосредоточенно, но как-то много и сильно чувствуешь и много вспоминаешь. Как будто все прожитые годы собираются вместе своими тихими радостями и тихой грустью, и чувствуется какое-то равновесие в душе, какое-то неизъяснимое теплое счастье. Чем-то таинственно-торжественным является этот крестный ход вокруг церкви с иконами, хоругвями и свечами, и как будто, в самом деле ожидаешь воскресения Христа и чувствуешь, что он воскрес, когда раздается чудесное пение: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И вся служба такая радостная, и такие светлые ризы, и царские двери не затворяются, как не затворяются райские двери, по народной вере, всю неделю, и всякая душа, оставившая в эту неделю свое тело, идет в рай. И так светло в церкви, и так много радости и ясного настроения в лицах, и так весел колокольный звон. И чтение Евангелия на разных языках и разными голосами, и вблизи, и вдали раздаются евангельские слова, точно невидимое эхо их повторяет. Еще мальчиком в дере-

венской церкви я слушал это Евангелие на французском, латинском и греческом языках. Точно все народы собрались вместе в эту таинственную ночь, чтоб радоваться вместе, забыв всякую вражду, радоваться потому, что они — братья, потому, что Христос воскрес, потому, что совершилось чудо из чудес, и воскресла надежда на лучшую жизнь и на то, что когда-нибудь мы все воскреснем. И сама природа с весенним возрождением точно принимает участие в этом великом празднике Христова Воскресения.

И Петербург мне нравится в эту ночь с своими огнями, с своей иллюминацией, с народом в церквах и вокруг них с пасхами и куличами, с движением по улицам, с выстрелами на Петропавловской крепости, объявляющими о радости воскресения. Удивительное единение всех в этом великом празднике, начиная с государя и кончая последним бедняком. Точно сияют лучи Христова учения в воздухе. И хочется еще больше света, еще роскошнейшей иллюминации для Царя царствующих, еще больше блеска, любви и радости. Радость делает добрее, общительнее, милосерднее. И я верю особенно в эту ночь тому, что русский народ — самый христианский народ в мире, потому что он историческим путем напитался христианством больше, чем другие христианские народы. Тысячами неисследованных путей он собрал в своем сердце блага учения Христова и оно сделало его добрым, терпеливым, сострадательным, оно внушило ему жалость к преступникам, которых он называет несчастными, оно заставило его быть милостивым и сочувствующим всякому прощению. Нет ничего хуже вражды и нет ничего лучше прощения. Вы вспомните, что русский народ получил на славянском языке, понятном всякому, сокровища Христова учения и чудесное по своей трогательности описание Его жизни, страдания, смерти и воскресения еще в IX веке, раньше, чем христианские народы Европы, которым эта жизнь, страдания и учение читались на латинском языке. И духовная служба, и чтение, и устная передача, и множество списков — все это незаметными для наблюдения путями входило в народную душу и воспитывало ее в духе христианской любви. И может быть, потому у нас не было инквизиции и всех ужасов западной церкви с ее кострами и казнями, торжественно в присутствии королей, владык и духовенства совершаемыми, как совершались в римских цирках ужасы борьбы гладиаторов и мучения христиан. Слово Христово на понятные языке смягчало сердца и не давало пищи для властительства фанатиков, которые мучили ужасными пытками, позором, подлым смехом, ненавистью и огнем. Оно говорило ясно и внятно о страданиях и страшной смерти Богочеловека от тех же первосвященников, фарисеев и Пилатов, которых в таком изобилии воспитала западная церковь. Властительная, непреклонная, желавшая все и всех подчинить себе, и народы и их правителей, одна владевшая ключом к Евангелию, деспотически запрещая переводить его на понятные народу языки, она упустила те пути, которые были открыты русскому народу нашим православием. Надо было опустошительными бесчеловечным войнами завоевывать право на перевод Св. Писания понятным народам языком. Мне думается, что влияние православия на русский народ еще недостаточно исследовано и недостаточно оценено, чтоб поставить его на надлежащую высоту. Поэтому, истинное начало русскому государству дал не Рюрик, не варяги, пришедшие устраивать «порядок», а Владимир Святой, пришедший устроить человеческую душу, и недаром он — «Красное Солнышко» в народных былинах. И мне думается, что ни одно вероисповедание не будет так

долговечно, как именно наше православие, проповедующее Евангелие на понятном языке и сохраняющее старые религиозные обряды и обычаи. И если в нашей церкви, в церкви, а не в религии, явился раздор при патриархе Никоне, он настолько улегся и стерся, что непоколебимо верится, что близок день, когда все православные будут веровать и открыто совершать свои молитвы в церквах по старому и по новому, что старообрядчество так же свободно будет молиться и радоваться воскресению Христа, так же засияют кресты на старообрядческих храмах и откроются их двери для икон, хоругвей и крестов во время богослужебных обрядов. Весь народ всей православной Руси будет открыто и свободно молиться Господу о мире всего мира. Нет виноватых в истории нашей религиозной вражды, которая объясняется временем и нравами, тем более нет виноватых среди современных нам старообрядцев, принявших от отцов и прадедов обряды молитвы и верующих в их спасительность несколько по-своему. Сердца их открыты Богу так же, как сердца верующих господствующей православной церкви, и нет у них такой вины, за которую они достойны какого-нибудь наказания или уничижения. О, наверно близок день, когда воскресение Христово сделается еще радостнее, еще торжественнее, еще более откроет сердец для добра и милосердия и еще крепче спаится русское народное единство, в котором наши силы, наши надежды и наша жизнь...

Никогда не исчезнет эта Святая ночь, пока Русь будет стоять. Никакая европейская цивилизация с ее ломкой и убежденным неверием не умалит высокой поэзии и христианского настроения в эту ночь и в это прекрасное раннее утро, когда раздаются слова «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» и когда они запечатлеваются братским поцелуем и радостью сердца...

1 (14) апреля, № 9013

CCCXCVII

В 1878 году отец Пирлинг напечатал свое сочинение «Rome et Demétrius»; недавно вышел третий том его исторических исследований, под общим заглавием «La Russie et le Saint-Siège». Том этот есть переработка указанного сочинения, вышедшего в 1878 году. Переработка эта, однако, стоит того, чтобы ее назвать совершенно новым трудом как в подробностях, так особенно в выводах. Автор в течение этих двадцати двух лет вырос в настоящего историка, талантливого и убежденного, обладающего даром живописного рассказа и проницательной критики. Перечитывая оба эти сочинения, видишь, как далек о. Пирлинг 1878 г. от о. Пирлинга 1901 г., как его сведения выросли, его критика окрепла, слог получил изящество спокойной художественности; исторические характеристики живы, и он далек от крутых приговоров сомнительной достоверности, общей историкам не установившимся, которые думают резкою критикою убедить читателя в правоте своих мнений. Он взвешивает свои слова и мастерски разбирается в документах, разысканных им в архивах Рима, Венеции, Флоренции, Вены, Кракова, Стокгольма, Петербурга, Москвы и проч.

Я не думаю передавать содержание этого нового труда о. Пирлинга, тем более, что он явится на русском языке, судя по двум первым главам его, напечатанным в переводе в апрельской книжке «Русской Старины». Не понимаю, почему не

переведено предисловие[1]. Всех глав 13 и еще приложения, библиография и указатель имен. Я хочу только указать на главные выводы.

В 1878 г. о. Пирлинг допускал, что царь Димитрий был сыном Ивана Грозного. Блестящая карьера этого загадочного человека дает полное право на такое предположение. Как думает теперь о. Пирлинг, умудренный продолжительною работою над документами? Он добыл, благодаря кардиналу Рамполла и папе Льву XIII, из римского архива все документы о Димитрии. Думали, что в этом архиве находится ключ к загадке, что нунций Рангони передал всю биографию Димитрия папе. Оказывается, что Рим не имел точных сведений, а какие имел, все они повторяют доклад Адама Вишневецкого королю. Рим, подобно всем современникам, поддался очарованию личности первого Самозванца и перспективам обращения Руси в унию с католичеством. О. Пирлинг пользовался и неизданными письмами Мнишка, князя Константина Острожского и нескольких польских сенаторов. Все это дало ему возможность осветить некоторые события из жизни Самозванца и самый его характер более ярко и определенно, чем делали это прежние историки, не исключая Костомарова. Димитрий был человеком вдумчивым и, не выдавая своих тайн, любил прекрасно говорить о своих планах на будущее и увлекать ими. Он умел воспользоваться всем, что плыло ему в руки, чего можно было достигнуть настойчивостью и гибким умом, обладавшим в высшей степени способностью приноравливаться к событиям и лицам. Эта способность вместе с любезностью и предупредительностью не исключала известной доли искренности и увлечения, которыми он очаровывал людей, не исключая иезуитов, обладавших и опытом, и умом, и образованием. Он был к тому же очень красноречив и то малое, что он знал из всеобщей истории и географии вместе с начитанностью в Св. Писании, особенно в Новом Завете, служило ему прекрасною вывескою его образования. Он быстро схватывал и подробности и целое любого вопроса, и изумительная память никогда его не выдавала. Он был несомненно весьма даровит, а обстоятельства ему способствовали тем более, что он с какой-то непреклонной верой стремился к престолу. Это было его idée fixe, с которою он не расставался и от которой не уклонялся ни на одну минуту. Любовь к Марине только прибавила ему энергии. Нунцию Рангони он раз сказал, в минуту откровенности, что в Москве есть партия, которая ждет его и зовет в Москву, что «если Борис Годунов умрет, когда еще буду в Польше, то другого могут поставить на мое место». Кто были руководители этой партии, трудно угадать. О. Пирлинг предполагает, что во главе интриги стоял Шуйский. Продолжительное и бездеятельное пребывание Самозванца в Путивле, четыре месяца, представляется в этом отношении загадочным. Не приезжали ли сюда москвичи и не вели ли с ним переговоры, не доставляли ли они ему деньги? Во всяком случае, поведение московских воевод подозрительно, и ряд чрезвычайных событий в пользу Димитрия кажется удивительным. Он вошел после сдачи Басманова беспрепятственно в Москву. Анархия, впрочем, была такая, что вера в истинность Димитрия могла только расти. Неудовольствие было всеобщее. Недовольны были крестьяне, помещики, бояре, служилые люди. Запутанность земельных отношений, недостаток земли в центральных местностях, усиленное переселение крестьян, закре-

[1] В «Русской Старине» Брагин почему-то везде называется Брашма, Браше и проч.

пощение их в местах их жительства, разные социальные неустройства, смутное состояние умов — все это было на руку смелому и даровитому человеку.

Кто же он был?

Разбирая в последней главе своего сочинения (Un peu de critique) этот вопрос, о. Пирлинг говорит, что при нынешнем состоянии этого вопроса «кажется достоверным, что царь Димитрий не был сыном Ивана IV». Все рассказы того времени о том, что Димитрий Самбора есть одно и то же лицо с Димитрием Углича, основаны на докладе Вишневецкого королю Сигизмунду. Этот доклад впервые разбирает о. Пирлинг. Костомаров знал его по Товианскому, а не по подлиннику, обнародованному Новаковским в 1841 году. Вишневецкий допрашивал Димитрия и написал то, что услышал. По-видимому, можно было ожидать, что Димитрий будет откровенен, что он передаст хоть небольшому кругу людей все подробности своей судьбы. Но вместо откровенности — таинственность, недомолвки, умолчания, ораторские приемы. Он даже обвиняет отца своего, Ивана IV, в жестокостях и сладострастии, что не подобало бы сыну. Но есть в этом документе и подробности очень точные о некоторых малоизвестных фактах из жизни Грозного. Разобрав этот документ, о. Пирлинг замечает, что и потом Димитрий отделывался от рассказов о прошлом любимою формулою: чудесное избавление от губительных замыслов Годунова и чудесное покровительство Провидения, а остальное — молчание. Его письмо к папе такого же стиля и содержания, таковы же его обращения к русскому населению. Ни имен лиц, ни названия монастырей, в которых он жил, ни имени двоюродного брата, который будто бы был убит в постели вместо него, ни имени его спасителей. Странное уверение, что во время беспорядков в Угличе убито тридцать детей и сочли, что и подмененный мальчик исчез в их числе. Показания Мнишка так же наивны, как показания Вишневецкого. Если бы были у них данные в пользу того, что Димитрий есть угличский царевич Димитрий, то они привели бы их. Если они не привели их, значит, у них не было этих данных, говорит о. Пирлинг.

Был ли он русский или поляк? По-латыни он не знал, как об этом свидетельствуют иезуиты, бывшие при нем в Путивле, по-русски он знал лучше, чем по-польски. Исследования Бодуэна де Куртене и Пташицкого письма его к папе устанавливают, что он был русский, что он отлично знал жизнь русских монахов, возмущался ею и говорил о необходимости ее реформировать. Он, несомненно, поэтому жил в монастырях. О. Пирлинг, вопреки Костомарову, восстановляет достоверность фактических показаний «Извета» Варлаама, так как факты этого «Извета» сходятся с фактами доклада Вишневецкого. Рассмотрение польских и русских источников приводит о. Пирлинга к предположению, что Самозванец и Гришка Отрепьев — одно и то же лицо. Та двойственность Самозванца и Отрепьева, на которой стоят граф Шереметев и г. Щепкин, по-видимому, совершенно отвергается о. Пирлингом. В книге его нет и помина о такой двойственности. Судя по депешам Рангони, можно подозревать, что план самозванства выработан был скорее в Москве, чем в Польше, и исполнение его принадлежит больше русским, чем полякам. Участие Рима объясняется надеждою на унию, которая представлялась очень возможною и увлекла папу.

Я говорил, что желал только в общих чертах познакомить с выводами даровитого и необыкновенно трудолюбивого историка. Время с 1878 года по 1901 год привело его к вероятному заключению, принятому <еще> Карамзиным и после

него Пушкиным. Это — обстоятельство очень важное. Если историк в течение двадцати лет не упускает из виду известное событие, известное лицо и старается всеми способами энергии ученого добиться истины и если этот труд и размышления приводят его к старому положению, что монах Чудова монастыря и царь Дмитрий — одно и то же лицо, то это говорит в пользу такого положения. Впрочем, сам о. Пирлинг не считает вопрос исчерпанным. Новый документ может дать новые выводы. Несомненным становится одно, что царь Димитрий был из ряда вон выходящим человеком, какого бы он ни был происхождения. Как бы ни была сильна интрига, как бы ни всемогущи были обстоятельства времени для появления Самозванца, без ума и выдающегося дарования невозможно было сесть на московский престол.

4 (17) апреля, № 9014

CCCXCVIII

О чем шумите вы, народные витии? Учиться или не учиться? Не подождать ли учиться? Следует или не следует увеличить бюджет народного просвещения? Я задал себе эти вопросы, между прочим, потому, что прочитал в «Дневнике» князя Мещерского 27 марта следующие строки:

«Г. Суворин продолжает писать все на ту же тему: главное в вопросе народного просвещения — это деньги...»

Я говорю: главное, это — сердце; он стоит на своем и, обрадовавшись письму покойного умницы Пирогова, ссылается и на него, и все повторяет: главное — это деньги. Так что если ему верить, то буде завтра каким-нибудь чудом министр финансов найдет лишние сто миллионов и поднесет их министерству народного просвещения на увеличение его бюджета, то Россия сразу, если не в десять, то в пять раз станет просвещеннее».

Ну, я не из тех людей, которые думают, что «сразу» что-нибудь можно сделать. Сразу и блоху не поймаешь, не то что просвещение. Но я продолжаю думать, что для народного просвещения гораздо лучше сто миллионов, чем тридцать с небольшим миллионов, которые составляют в последние два-три года бюджет народного просвещения. Думаю, что и министр финансов того же мнения, но может ли он уделить такую сумму, мне неизвестно, хотя я знаю, что Россия тратила на завоевания и удержание завоеванных стран целые миллиарды. Лучше ли было бы, если б эти миллиарды употребить на народное образование россиян, чем на завоевания, разбирать не будем. Князь Мещерский утверждает далее, что в течение тридцати лет классической системы Россия употребила на высшее образование «десятки миллионов», но что в течение этого времени «выдающихся людей» получилось так мало, что «каждый из них обошелся нашей тощей казне тысяч в пятьсот». Уж будто так дорого? Кто считал «выдающихся людей» и где то видное общественное поприще, где их возможно было бы сосчитать — во-первых, во-вторых — должны же идти в счет и просто образованные люди. К классической системе с самого начала ее введения относилось отрицательно не только большинство общества, но и большинство государственных людей, во главе с Государственным советом. Она успела в это

время натворить больше бед, чем те беды, которые высчитываются «десятками миллионов рублей». Она посеяла скуку, вялость, дряблость, она надорвала волю и характеры; она надорвала силы русского человека и сделала его менее способным к борьбе с элементами инородческими на почве конкуренции; но все-таки нельзя же говорить, что те шестьдесят — семьдесят тысяч русских подданных, которые в это время окончили университетский курс, составляют армию идиотов, невежд и расслабленных. Конечно, было бы лучше, если бы эти шестьдесят — семьдесят тысяч русских поменьше знали тонкости латинской и греческой грамматики, а побольше того, что необходимо знать русскому человеку, но все-таки немало и таких людей, которые осилили эти латинские и греческие муки и могут считаться полезными и образованными русскими людьми, способными нести общественную и государственную службу и даже считаться хорошо приготовленными к серьезным научным трудам. Не надо слишком преувеличивать уж потому, что у нас вообще любят этот способ доказательств, не любя логики. Классическую систему мы взяли у Европы, где она и доселе господствует, хотя и там уже возбуждает против себя агитацию; нам она сразу не подошла, а своей мы все никак не могли удосужиться выдумать, идя за Европою в качестве скрипучего заднего колеса; но нельзя сказать, что русские люди уж так слабосильны, что, изучая древние языки, поголовно делаются идиотами или разгильдяями. Я никак, по этому самому, не могу согласиться с другим положением почтенного публициста, что «количество школ и учителей ничего не значит», что нам «несравненно нужнее, чтоб вместо ста училищ с плохими учителями и с плохими учениками было десять с хорошими учителями и с хорошо учащимися учениками. И тогда от хороших училищ можно идти по пути увеличения школ с уверенностью в их будущей пользе». Я не соглашаюсь с этим потому, что наличность русских образованных людей, несмотря на классическую систему, в которой они образованны и воспитались, настолько пригодна и для педагогической, между прочим, обстановки школ, что об уменьшении школ думать ни в каком случае не следует, а следует думать об их увеличении во что бы то ни стало, не дожидаясь великих и богатых милостей от преобразования школьной системы. Одно другому нимало не мешает. Пусть школьную систему преобразовывают, но продолжать учиться необходимо. Как бы ни учиться, но учиться. А если мы из ста будто бы плохих школ сделаем десять хороших, то остановим просвещение. Все растет, и плохие школы делаются хорошими, и плохо учащиеся начинают хорошо учиться. Растет и население и жажда учиться, а мы станем говорить желающим учиться:

— Погодите. Вот образуем хороших учителей, выберем хороших учащихся и тогда станем увеличивать и численность школ.

Как нельзя перестать есть, так нельзя перестать учиться, если мы желаем быть образованным государством.

У нас говорят: какое это несчастье, что в гимназиях и в высших учебных заведениях не хватает мест для всех желающих учиться. Действительно, это несчастье. Но это несчастье еще глубже, еще больше трогает сердце, когда мест нету в сельской школе, когда *ежегодно каждая сельская школа отказывает десяти, пятнадцати процентам деревенских детей*, ищущих грамоты, первой ступени на пути к образованию. Это — статистический, неопровержимый факт. Эти бедные дети, дурно одетые, дурно питающиеся, живущие в жалких избах, по

глубокому снегу, в мороз и стужу, идут иногда за целые версты в свою, по большей части жалкую школу, в такую же избу, как их собственная, даже хуже, чем их собственная, ибо в этой, их собственной, помещается десять — пятнадцать человек, а в школе с таким же кубическим содержанием воздуха помещается тридцать-сорок человек. В этом хлеве науки преподают учительница или учитель, такие же бедняки, как и их ученики. Огромное большинство их получает от ста до двухсот рублей, т. е. меньше, чем стоит ежегодно государству студент университета (он стоит около двухсот пятидесяти рублей), и живет нищенски, добывая свой хлеб в поте лица. Отцы этих детей, живя впроголодь, считая каждую копейку, уделяют из своего достатка подати, на которые содержатся эти высшие учебные заведения, эти храмы науки. Сравните деревенскую школу и ее обстановку, этот хлев науки, с университетом, с технологическим институтом, с этими действительно храмами, которые воздвигаются науке с таким же великолепием, как храмы Богу; на одну постройку этих храмов науки пошли многие десятки миллионов рублей, взятых с того же народа. Высокие прекрасные залы, просторные аудитории, тепло и свет, чистота, библиотеки, музеи, всевозможные пособия, профессора, образованные и ученые люди, все, что есть в нашей бедной родине лучшего, что она создала двумя веками чрезвычайных усилий, все это предлагается юноше, который окончил среднюю школу. Иди и учись. В нем большая надобность для того самого народа, дети которого учатся в избах, в темноте и духоте, в жалких отребьях, в нем большая надобность для государства, которое расти не может без образования, без техники юридической, естественнонаучной, исторической, инженерной, медицинской и т. д. И храмы науки переполнены, и хлевы науки также. Придется создавать новые технические высшие и средние школы, придется, по всей вероятности, создавать если не новые полные университеты, стоящие миллионы, то небольшие университеты с одним, двумя факультетами, располагая их в губернских городах; так устроены университеты во Франции, так можно было бы устроить и у нас. Необходимо устроить также какое-нибудь соответствие между храмами науки и хлевами, где дается почти одна только грамота. Надо, по крайней мере, просторные дома, надо, чтобы не отказывали десяти-пятнадцати процентам крестьянских детей в этой потребности, на удовлетворение которой они имеют неотъемлемое, священное право. Как же тут не говорить о деньгах, об увеличении бюджета, который растет чрезвычайно медленно?

Вы говорите о сердце. Да где же оно не нужно? Открытие это Америки, что ли, что к молодежи следует относиться сердечно? Я думаю, что и взрослый имеет право желать сердечного к себе отношения. Крестьянин, которого еще секут, имеет право на это сердце, крестьянский мальчик, которому негде учиться, имеет право на это сердце, раскольник, который не может свободно удовлетворить своей религиозной потребности, имеет право на это сердце. Да и мало ли таких отношений, которые требуют доброго сердца и справедливого разума. И я думаю, что все мы сумеем понять и оценить и доброту сердца и справедливость разума, и увеличение бюджета народного просвещения, которое, кстати сказать, было бы и очень сердечно...

8 (21) апреля, № 9018

CCCXCIX

Сейчас я из Малого театра, где видел Сальвини в «Отелло». Театр был переполнен. Мне казалось, что Сальвини играл сегодня лучше, чем когда-нибудь. Но, конечно, это только казалось и казалось потому, что такие великие таланты всегда новы, а новы потому, что вдохновение в них тотчас пробуждается, когда они начинают свою роль.

Вчера один из наших поэтов и критиков сказал мне: «Какое чудесное время настает и в литературе, и в искусстве, и в театре. Новое так и прет. Сальвини — это прошлое, большое прошлое, но все-таки прошлое и никогда оно не возвратится. Теперь декаденщина, станиславщина и все это имеет значение».

Не сомневаюсь ни в том, что Сальвини — это великое прошлое, ни в том, что имеет свое значение и декаденщина, и станиславщина, но они последние никогда не будут великими. В этом разница между великим прошлым и малым настоящим. Наследников этого великого прошлого нет. А что есть, то почти все — травка, весенняя зеленая трава для корма истощавшей скотины во время зимы.

Зеленая травка приятна, она образует хорошие лужайки, она дает пищу; но нет ни одного дерева, которое бы обещало быть роскошным дубом, великолепною сосною. Кругом этих всходов нового — мелкая поросль, иногда корявая, иногда жиденькая. Вероятно, встречается поросль и с хорошими корнями и здоровой силой роста, но ее мало видно. Прошлое завершает свой век, завершает его одиноко; но масса идет все-таки провожать его с чувством уважения, которое обращается порою в чувство восторга и умиления. Это надо сказать и о Сальвини. Для великого необходим великий актер. Шекспир только тогда понятен, когда великое дарование его воплощает. В немецкой новой критике давно уж хлещут и Шекспира, и Шиллера. Это — старики. Они не ко времени. Новые дарования только тогда и будут заметны, когда великие поэты будут унижены и осмеяны перед публикою. Новые критики многого не понимают, но это поняли и верно служат толпе. Прочь великие страсти, великие характеры, великая любовь, великая ревность, великая злоба! Все это не ко времени, все это слишком приподнято, слишком умно, слишком обманно. Не было таких мавров, как Отелло, не было таких принцев, как Гамлет, таких королей, как Лир, таких любовников, как Ромео, и таких любовниц, как Юлия. Все это — фантазии поэта, это — романтизм, это — обман. Для современников нужна правда, какая бы они ни была. Правда кухни, гостиной, кабинета, спальни, правда отдаленной комнатки, правда глупости, посредственности, бестолковщины, скуки, правда любви, ревности, счастья, будь она самая ничтожная. Если мужчина говорит женщине: «Я тебя люблю», а женщина — мужчине: «Я тебя люблю» — это правда, ее все чувствуют, все понимают. Если вместо речей, полных ума, глубоких наблюдений, полных страсти и благородства, бьют трое часов, одни за другими, разными тонами — это правда, всем понятная и совсем неголоволомная. Если вместо великого характера или оригинального, являются мелкие людишки, двух слов не умеющие связать, но умеющие играть на губах или свистать — это правда. Если является оригинальная и стойкая личность, которая гордо отвергает правило «один в поле не воин» и борется против множества, то актер делает из нее болезненную личность, которая сама не знает, что она делает, и толпа рада, потому что это ей по плечу, это

понятно. Она видит себя самое на сцене с мелкими страстишками, с картами, с распущенностью, с ленивым умом, с пошлыми привычками. «Это — мы, — говорит она. — Это нас изображают». — «Точь-в-точь, как у нас. Это — у папы, это — у мамы, это — у Ивана Ивановича, это — у меня дома». Это скучно, это не интересно, не поучительно, но это — правда.

Я не критикую и не хочу критиковать. Я знаю, что против времени ничего не поделаешь, и если можно спорить против того, что все существующее разумно, то бесполезно доказывать, что все существующее очень близко всякому человеку и всякий человек очень рад явиться не только героем, не только четвертью героем, но даже таким человеком, над посредственностью которого не смеются, а считают эту посредственность за нечто, стоящее внимания. Конечно, страдают и умные, и глупые, но я не вижу, почему страдания глупых поучительнее страданий умных.

Я не критикую, а только набрасываю свои мысли, тотчас после театра. Я думаю, что театр должен быть выше жизни, что характеры на театре должны быть избранными, в том или в другом отношении, в сторону добра или зла. Только тогда он отвечает своему назначению. Сальвини из всякой страсти делает нечто великое и благородное. Он дает высокое и благородное настроение душе. После его игры делаешься лучше. Ревность Отелло он передает с таким глубочайшим страданием, что жаль вовсе не Дездемону, а его, мучителя и убийцу. Благородный человек страдает от людской злобы, хитрости, коварства, подлости, от гнуснейших пороков, которые кишат в обществе. Благородству нет счастья, нет спокойной жизни. Оно на всяком шагу рискует попасть в капкан, в сети, и жаль, что гибнет благородная душа, и чувство зрителя звучит высокими аккордами сострадания к человеку вообще. Зритель выходит из храма, где он слышал возвышенную проповедь. Лир, жалкий старик, выживший из ума, деспот, испытывающий на себе чувства множества унижаемых и оскорбляемых ежедневно его подданных, является великим в этом унижении, вдохновенным учителем толпы, из уст которого, рядом с безумием, льются чудные речи. Когда он умирает, по нем плачут. Он умирает на груди своего любимого, оскорбленного им же ребенка и умирает, как беспомощный ребенок. Это — прошлое величие. Этот Шекспир и его чудесный истолкователь слишком, может быть, стары, но они держат эту публику в своей власти и шепчут ей великое о человеке, его достоинстве, его доблестях и пороках. Театр, конечно, не исправляет ни характеры, ни нравы, но он дает чудесные минуты восторга, он заставляет жить хоть несколько часов повышенной жизнью, он дает счастье, хотя мимолетное, но счастье. В душе не сумрак той мелкой и пошлой правды, о которой я говорил, а яркий свет.

24 апреля (7 мая), № 9034

CD

Доколе... Не о покойном Катилине говорю, а вот о чем: доколе мы будем бояться поляков и польской культуры? Они произвели два восстания в прошлом веке, которые оба окончились для них неблагополучно. Восстание 1863 года сопровождалось сочувствием ему и части русского общества. Послушать, так и теперь вам скажут, что во всех беспорядках последнего времени участвуют если

не поляки, то польские интриги, что из Польши идут разные прокламации, преимущественно из Польши заграничной, австрийской, что враждебные России статьи польских газет в Галичине печатаются на тончайшей бумаге и пересылаются в Привислинский край и т. д. Может быть, в этом есть и доля правды. Но не надо ли эту правду предоставить заботе особых органов, обязанных за нею наблюдать, а политику вести более или менее независимо от проделок этой оппозиции и революционной пропаганды, действуя на большинство благоразумных людей и увеличивая это большинство. Конечно, сказать это легко, но сделать трудно. Пробовать, однако, не мешало бы. Введением земских учреждений в Западном и Юго-западном крае можно было бы положить довольно твердое начало для правильной культурной борьбы русского и польского элементов. Пока эту борьбу ведет только администрация, общество остается к ней равнодушно и винит одну администрацию, одних чиновников в неуспехе этой борьбы. Это относится и к русскому обществу внутренней России и к русскому обществу в этих краях. Что бы ни случилось, во всем виновата администрация, что бы ни стоила эта борьба, она ложится всею тяжестью на казну, на содержание чиновников. Если чиновники мало деятельны или совершают промахи, ошибки, удаляются от здравых государственных целей в сторону своего «я», своих убеждений, личных взглядов, они возбуждают против себя неудовольствие то в польском обществе, то в русском, то в обоих вместе. Этим административным силам, волею-неволею, приходится садиться между двух стульев, и наиболее способные и наиболее деятельные рвутся вон из края или опускают руки, становясь на равнодушное laisser passer, laisser faire. Содействие общества русского и местного, расположенного в пользу русских государственных начал, является, вследствие такого порядка вещей, чисто призрачным. Хорошо еще, если находятся люди энергичные и пишут в газеты, но, не говоря о том, что одной газетной борьбы недостаточно, большинство таких корреспонденций проходит незамеченными. Замечаются обыкновенно только случаи выдающиеся, окрашенные тем, что называется скандалом. Более тонкие отношения общественно-политического характера остаются незамеченными. Между тем поляки, несомненно, более русских привычны к борьбе и более русских солидарны между собою. Те условия политического существования, под которыми они принуждены жить, научили их многому, и эта превосходная школа, в которой они воспитываются с малолетства, образует из них хороших бойцов. Необходимо, поэтому, поставить их в открытую борьбу с элементами русскими и с элементами, сочувственными русским государственным началам. Эти элементы, на почве экономических интересов, на почве собственного кармана, которая всем близка и дорога, могут образоваться в партию, которая станет на страже русских интересов, которая почувствует под собою независимую общественную почву и сознает свою ответственность. Тогда энергичная администрация найдет себе надежную опору, надежных сотрудников, а не общественную апатию, растущую под крылом чиновника.

Если говорить о существе дела, а не о видимости, то государство почти одинаково недоверчиво относится как к элементам польским, враждебным нам, так и к элементам русским и им сочувственным. Я еду в Западный или Юго-западный край и тотчас должен отвыкать от тех условий, в которые я был поставлен во внутренней России, и привыкать к новым. Повышение это для меня или понижение? Начальством я являюсь туда или гражданином? Мне, русскому, следует туда

являться гражданином. А я — ни то, ни се, и в конце концов сажусь между двумя стульями. Никакого влияния у меня, никакого значения. Но если б с поляками я сидел в земстве, избранный, как они, я знал бы что делать, что сказать, как бороться за свою русскую личность и отстаивать русские государственные интересы. Они были бы мне ближе, я защищал бы их на месте, там, где они нарушаются, где я вижу пренебрежение к ним и вражду. Я могу ошибаться, но мне думается, что пора попробовать эту систему борьбы с поляками в наших исконно русских областях. Пора дать отпор польской идее русскою идеей, а не силой только административной и военной, как они ни почтенны, как ни много они трудились во имя русского дела. А они трудились много, и это необходимо признать твердо. Задача наша трудная, и надо смотреть далеко вперед, а не только себе под ноги. Нам нужно победить русскою культурою и литературою, русским характером; надо слово «обрусить» сделать благородным словом. В своих силах не надо сомневаться, необходимо их развивать и выращивать. Одним благодушием так же мало можно сделать, как одною строгостью. Надо, чтоб русская народность была везде, как хозяин своего мнения и своего дела, и чтоб она возбуждала к себе уважение, как к действительной культурной и народной силе. А это будет только тогда, когда борьба станет свободной и когда участвующие в ней почувствуют свою ответственность за русские начала. К этому надо прибавить, что между поляками не все же непримиримые и что между ними возможно образование партии, которая пойдет навстречу русским, во имя славянского братства.

Мне вспоминается один разговор с русским военным администратором, долго жившим в Северо-западном крае. Разговор зашел о Белой Кринице. Это в Австрии, в Буковине; там образована была в сороковых годах прошлого столетия, стараниями старообрядцев, старообрядческая митрополия, которая и стала источником священства для старообрядцев. В настоящее время существует 19 архиерейских старообрядческих кафедр в России, из них 13 принадлежат т. н. «окружникам», дружественно расположенным к господствующему православию, остальные — «раздорникам», стоящим за некоторые старые глупости, которые давно следует бросить даже фанатикам, как, например, различие Исуса и Иисуса и проч. Московское старообрядчество теперь, кажется, прекратило сношения с белокриницкой митрополией, но разговор, сущность которого я хочу привести, был довольно давно. Мой собеседник, выхваляя русскую стойкость старообрядцев, сказал:

— Знаете, что бы надо сделать? Перенести белокриницкую старообрядческую митрополию в Вильну. Я убежден, что она сослужила бы отличную службу русскому делу, считая в том числе и наше православие. Ведь старообрядцы — те же православные, но того старого закала, который совершил поистине великие дела в века собирания Руси и борьбы с татарами, поляками, литвою и другими враждебными Руси элементами. Сделать Вильну притягательной силой для старообрядства — это был бы такой политический шаг на пути обрусения нашей западной окраины, что другого подобного не сыщешь. Это не то, что раздача польских имений русским чиновникам и русским помещикам, которые в эти имения даже не наезжали, а если и наезжали, то ничего в них не могли сделать, разве леса выгодно продать. Вильна стала бы русским городом в самый непродолжительный срок, и на западной окраине у нас образовалось бы подобие второй Москвы.

— Вы улыбаетесь, — сказал он. — Но вы не знаете, что за последовательность, за крепость у этих людей «древлего благочестия». А я близко их знаю. Я видел газе-

ты старообрядческие, которые издаются в Австрии, в Молдавии — представьте! — славянский шрифт сохранили. Такие чудаки! И я вас уверяю, что этот шрифт хорошо читается. Оно как-то странно сначала: привык читать славянским шрифтом только священные книги и молитвенники, и вдруг тем же шрифтом славный русский язык, с его юмором, с его литературными оборотами и страстностью полемики. И отличные они полемисты. Я с удовольствием читывал. Вот только такие коренные русские люди и могли бы основательно утвердить за нами Западный край. Они стали бы влиять на низшие слои населения, на самый центр его, как влиял русский человек в допетровское время. Старообрядчество было бы именно боевым началом.

Отчего бы духовной журналистике не заняться этим вопросом, вопросом о старообрядческой, или, по крайней мере, об единоверческой митрополии в Вильне? Полемика — вещь прекрасная, если она — не личная и не ругательная. Журнальная жизнь именно в полемике, а не в регистрации фактов.

А пока мне кажется, что таким же боевым началом на нашей западной окраине было бы земство. — Вам только кажется? — спросите вы. — Да, мне кажется, потому что я верю в русское чувство и в русский созидательный разум, когда для дела ему дан известный простор.

3 (16) мая, № 9043

CDI

Сегодня появилась моя статья за земство на нашей западной окраине и сегодня же в «Гражданине» статья князя Мещерского против земства. Мне очень хочется с ним поспорить спокойно и мирно в это беспокойное, даже историческое время. Можно быть противниками и можно с уважением относиться к мнению противника. Князь Мещерский всегда стоял за дворянство и говорит, что земство «опротивело в 36 губерниях», их «разорило» и эти губернии «изнемогают и стонут под ненавистным им игом земского управления». Неужели «изнемогают и стонут»? Если дело стоит так, то необходимо немедленно этот стон обратить в радость и уничтожить земство. Чего с ним толковать, если оно такое нелепое и такое ненавистное.

Но как согласить эти отвратительные качества земства с несомненными, по мнению князя Мещерского и по моему мнению, политическими и общественными сторонами дворянства? Ведь земство состоит почти исключительно из дворян, а губернское — совсем из дворян. Как же эти выборные дворянские люди становятся тиранами своих губерний? На дворянских собраниях они — дворяне, они — опора отечества, а в земстве они — гибель отечества. Почему это превращение? Очевидно, я не понимаю, что такое дворянство. Дворянство, очевидно, делится на две части, из которых одна — необходимый элемент для правильной жизни русского государства, а другая — враждебный ему элемент. Как отличить друг от друга эти два элемента? Не знаю. В моем представлении это — сословие, состав которого, быть может, наилучший, чем во всех западных дворянствах, ибо этот состав постоянно пополнялся кровью других сословий, купеческого, крестьянского, духовного. Оно никогда не было и не будет сословием замкнутым, аристократическим, и в этом его народная сила и его связь с народом. В мысли

генерала Драгомирова, который высказался за земство в Юго-западном крае, князь Мещерский видит политический смысл, состоящий в том, чтоб «упрочить посредством земских учреждений мужицкое царство». Далось это мужицкое царство! Да нет у нас этого мужицкого царства, а есть русское царство, за истинные интересы которого готовы всегда стать все сословия, и в их солидарности, в их дружбе, в их естественном тяготении друг к другу весь смысл нашей истории. Что за надобность дворянству заботиться о врачах и больницах для народа, о школах для народа, о помощи ему во время голодовки? Скорей следовало бы заботиться только о своих интересах. Чем хуже народу, тем лучше дворянству, чем народ беднее и беспомощнее, тем он дешевле работает и проч. А дворянство в лице земства как будто в ущерб себе заботится о том, чтобы этот народ стал от него независимее. На благодарность, что ли, его оно рассчитывает?.. Или оно глупо и ничего не понимает, тогда нечего и говорить ни о земстве, ни о дворянстве, или в нем течет русская кровь, живут русские чувства, живет благородный патриотизм, желающий преуспеяния русской народной жизни, и тогда нельзя одних отсылать в ад, а других — в рай. Смутное время недаром выставило вперед князя, торговца, мужика, монаха, на спасение государства. Все вместе, потому что из одного начала, все — христиане, все государственным, прирожденным инстинктом чувствуют неразрывную связь между собою, хотя иногда их интересы расходятся. Почему земство рассматривается, как противоправительственная сила, как оппозиция? Я думаю, что создание этой оппозиции — дело искусственное, взятое прямо с Запада, вычитанное из западных книг и применяемое у нас для показания, что мы — Европа и ничто европейское нам не чуждо. Повторяю: земство — почти все из дворянства, а русское дворянство — народное дворянство, от корней и ветвей русского народа и заслуживает полного к себе доверия.

4 (17) мая, № 9044

CDII

Я прочел в «СПбургских Ведомостях» (№ 113) испуганную статью князя С. Трубецкого, талантливого писателя и редактора журнала «Вопросы философии и психологии». По-видимому, философу и психологу чего бы пугаться, когда он может все рассудить и дойти до корня вещей. Но статья его — именно испуганная. Он испугался волны невежества, черную тень которого он увидал в современных разговорах и статьях об учебной реформе. Он испугался не проповеди тех, которые возглашают, что «ученье есть тьма», а проповеди тех, которые «неустанно возглашают, что ученье — свет, а вместе с тем требуют, чтоб детей и юношей учили как можно меньше и чтобы их по возможности освобождали от всякого серьезного умственного труда». Он испугался «дилетантизма и невежественного радикализма в важном деле строения русской школы», испугался «передовых педагогов», которые «упраздняют не только латинскую и греческую, но и русскую грамматику, движимые сердечно-чувствительною заботою о подрастающем поколении». Он испугался «смелости и решительности» в прошлогодних «*трудах* всевозможных съездов и совещаний, комиссий и подкомиссий по злополучному вопросу о средней школе. То была настоящая Вальпургиева

ночь, восклицает он, полная самых странных и причудливых видений, сказочных оборотней и чудес... И над всем этим громче других слышится один *гуманный* клич, в котором объединялись самые разнообразные и противоположные элементы: поменьше науки, поменьше ученья!»

Сильно и живописно сказано. Никогда «Московские Ведомости» так резко не выражались, и хотя князь Трубецкой в этой же испуганной статье назвал «Московские Ведомости» «врагами университета и народной школы, явными врагами просвещения», «Московские Ведомости» с сочувствием перепечатали сущность его статьи, чему он вероятно не удивился, ибо хорошо знает, что не ведьмы же Вальпургиевой ночи в самом деле «Московские Ведомости». К тому же на их плечах лежит наследство Каткова, вся эта классическая школа, засушенная графом Толстым и его наскоро набранными педагогами. Во все тридцать лет педагоги эти только и делали, что выписывали из Лейпцига учебники, сопровождали их русскими комментариями, переведенными с немецкого языка, и заставляли долбить, долбить и долбить. Если просмотреть только каталог одного лейпцигского издателя Тейбнера, роль которого у нас играл малограмотный Салаев, то становится стыдно за русский классицизм. Как нищий в дырявых лохмотьях, он побирался в Лейпциге, побирался за самым необходимым для долбежки и не дал ничего такого, что дает немец для учителей и учеников на книжном рынке по классицизму. Не проходит года, чтоб не являлись новые исследования в этой области, новые переводы классиков, специальные энциклопедии по классическим древностям, общедоступные и ученые, сочинения по мифологии, по истории, литературе и проч. Вся красота, все изящество литературы и искусства, вся жизнь греков и римлян во всевозможных проявлениях являлась во множестве хороших книг, в рисунках, в фотографических снимках, в гравюрах, в роскошных панорамах античной жизни, которые странствуют по Германии. Все это действительно воспитывало юношество, а Моммзен по своей «Римской истории» воспитал даже немецкий империализм. У нас вместо этого — грамматики и «Орфей в аду» с «Прекрасной Еленой». Если сюда прибавить чешских педагогов, которые по-русски выражались, как фонвизинский Вральман, то вот весь багаж нашего классицизма, и нисколько не удивительно, что он возбудил к себе ненависть. Если «Орфей в аду» и «Прекрасная Елена» питали любовный инстинкт юношества, то все остальные «пособия» внушали большинству учащихся только ненависть к школе. Конечно, гуманизм «радикальных педагогов» и дилетантов в самом деле напоминает гуманизм госпожи Простаковой: «поменьше науки, поменьше ученья», но князю Трубецкому все-таки следовало бы посмотреть в корень вещей: отчего этот педагогический радикализм так охватил всех и заставил говорить, говорить, говорить. Конечно, в этих разговорах немало общих мест и всякого скучного вздора, но уж одно то, что разговоры вращаются около серьезного вопроса, дает им некоторое общественное значение. Совершается то, что французы называют «mouvement des idées» — движение идей. Может быть, эти разговоры, устные и печатные, рассеют несколько грузное накопление в общественной атмосфере каких-то беспокойных токов, каких-то истерических поступков, волнений и мнений. Пугаться разговоров нечего. Не с испуга ли князь Трубецкой отрицает и «труды» прошлогодних комиссий, в которых участвовали

профессора и почтенные педагоги, и уподобляет их трудам чертей и ведьм Вальпургиевой ночи. Надо и то принять в соображение, что от разговора до дела — большое расстояние.

Я бы желал, чтобы договорились, наконец, раз и навсегда, что Европа учится гораздо больше, чем мы и гораздо толковее. В Европе вместе с каникулами и праздниками едва ли наберется 125 дней в году, в которые юношество не учится. Г. Профессор вчера говорил в нашей газете, что в Европе, по меньшей мере, на 50 дней учебное время больше. А я думаю, что у нас не на 50, а почти на 100 дней меньше учатся. А вот автор статей «Мечты родителя», г. Н. Толстой, проектирует летние каникулы в три месяца «по нашему климату». «По нашему климату» есть еще морозные дни, кроме праздничных, есть дни темные, лишенные солнца, и если все эти «отдыхи» вольные и невольные принять во внимание, то, пожалуй, нам и учиться совсем некогда. Г. Профессор скромно называет свою заметку о времени ученья вопросом второстепенным, даже третьестепенным, а я думаю, что этот вопрос чуть ли не первостепенный. Дайте достаточное и удобное время для ученья, подражайте в этом Европе и не ставьте школьные «дни ученья» на одну доску с «неприсутственными днями» чиновников. Между школьниками и чиновниками необходимо поставить разницу. Поставьте ее.

А учиться нам надо, много надо учиться. Ведь ни для кого не тайна, что без европейцев мы никак обойтись не могли до сих пор. Вчера я прочел в книге немецкого публициста[1] нечто о России. Говоря о прогрессе ее в XIX веке в разных отраслях, он заметил: «Главная работа, впрочем, была исполнена не русскими (Nichtrussen). Датчане построили телеграфы, англичане — железные дороги, поляки и евреи учредили банки и торговые дома, бельгийцы и французы дали деньги на горное дело, фабрики и паровые суда, финляндцы дали матросов для флота и немцы наполнили посты генералов, министров и высших школ». Конечно, тут есть преувеличения, но сущность разве не справедлива?

Как же нам не учиться? Реформа школы, возвещенная нашим государем, пришла как раз во время, вместе с ростом русского общества, которое хочет обходиться своими русскими силами. Нам нужна школа национальная, которая воспитывала бы русских просвещенных людей по всем отраслям человеческих знаний и техники. Нам нужна школа в уровень с европейской, которая избавила бы Россию от выписки из Европы живого товара — деловых и просвещенных людей — и насытила бы Россию истинным просвещением. Такая школа может быть создана только общею работою наиболее компетентных людей и только такая школа удовлетворит наши нужды. Чтоб не погибнуть, мы должны серьезно и упорно учиться и учиться, учиться во что бы то ни стало и не смотря ни на что. Без науки нас будут облапошивать и дурачить до конца и XX века, и чем мы будем меньше и бестолковее учиться, тем будет хуже и тем будет больше истерии, корни которой лежат в школьной бестолковщине и в нашем претенциозном, но бессильном невежестве.

5 (18) мая, № 9045

---

[1] Albrecht Wirth. Volksthum und Weltmacht in der Geschichte. München, 1901.

CDIII

Я давно знаю М. А. Стаховича, произведенного «Московскими Ведомостями» в Робеспьеры. Так как Россия — младшая страна в цивилизации, то мы постоянно пользовались европейскими именами для обозначения собственных. У нас были свои Корнели, Расины, Мольеры, Лафонтены, Байроны и т. д. Это — в литературе. В политике мы не так были щедры, и я что-то не помню наших Питтов, Пилей и Бисмарков. Есть только роман князя Мещерского «Один из наших Бисмарков», да и то юмористический. Но в Робеспьеры, Дантоны, Мараты у нас постоянно кого-нибудь наряжали. Надо думать, что это повелось со времен декабристов и продолжается доселе, несмотря на то, что французской революции минуло более ста лет. И к этому так привыкли, что никого это не обижает и не трогает, а иным, пожалуй, даже приятно вдруг, с места, вырасти в грозную знаменитость. Обозвал Робеспьером г. Стаховича г. Сергей Нилус. В адресной книге «Вся Россия» есть мценский помещик Сергей Александрович Нилус. Неужели он — автор этого прозвища? Мценск, или Амченск, город Орловской губернии, дворянством которой предводительствует г. Стахович. Быть может, г. Нилус находится в оппозиции и, имея свою дворянскую партию, предводительствует ею для низложения г. Стаховича? Он в некотором роде — жирондист, какой-нибудь Верньо или Бриссо, бросающий вызов Робеспьеру?.. Но право же, это неумно возвращаться так далеко назад и там подыскивать партии и предводителей. Вообразить себе жизнерадостного М. А. Стаховича, поклонника талантов, восторженного почитателя Дузе, Сальвини, Робеспьером, террористом, да это — глупей глупого. Губернский предводитель дворянства и вдруг Робеспьер!... А кумушки, пожалуй, шепчут: каков, однако, хитрец этот М. А.! Был славянофилом, был земским начальником, уездным предводителем, достиг губернского предводительства и тут-то объявился в настоящем своем виде! И какое таинственное место избрал для объявительства — миссионерский съезд, собрание духовных особ, важно собеседующих о православии и сектантстве!

Он встал и сказал:

— Я — Робеспьер. Имею честь объявиться.

— Да не может быть?

— Почему не может быть?

— Да потому одному даже, что вы — член очень религиозной и очень почтенной семьи, вы — искренно религиозный человек, никогда не забывающий перекреститься несколько раз перед обедом и после обеда, будь то народный обед... и вы — Робеспьер?

— Да, я — Робеспьер и я вам докажу это.

— Он докажет, — восклицает г. Нилус, — он все докажет!

— Да, я докажу. Слушайте!

И М. А. Стахович произносит речь о свободе совести. Он известен, как прекрасный чтец, и говорит хорошо, горячо, с ораторскими приемами, но без надлежащей выдержки. Идея или чувство овладевают им обыкновенно всецело и он торопится ее высказать и не всегда выслушивает своего противника, не то что хладнокровно — это редкая в людях черта — а даже с некоторой выдержкой и

остановкой. Он подхватывает возражения и не столько возражает, сколько продолжает доказывать и отстаивать свою мысль. Даже темперамент совсем не робеспьеровский, не говоря о всем прочем.

Мне приходилось присутствовать при таких спорах и с интересом следить за оратором. Раз я помню, как он отстаивал значение дворянства, его бескорыстную службу государству, его необходимость в провинции, в гармонии русской государственности. Он просто пылал чувством и убеждением. Никогда я не слышал подобного панегирика дворянству. С таким же чувством, вероятно, прочитал он свою речь на съезде. Он любил И. С. Аксакова, постоянно бывал у него, разбирал его бумаги после кончины, а кто у нас красноречивее писал о религиозных вопросах в духе идеального православия, как не Аксаков! В его словах много горечи, много упреков по адресу «официальной церкви», но искреннее убеждение верующего горячей струею проходит по его страницам и глубоко трогает читателя. Такого писателя теперь нет. Новые птицы, новые песни, более холодные, более рассудочные, иногда жестокие, иногда оскорбляющие религиозное чувство верующих. Г. Стахович не воскресил Аксакова своим докладом, но напомнил о нем, по крайней мере, мне.

Какие чувства волновали членов съезда во время доклада? Я помню другой миссионерский съезд в Москве, на котором я был. Он происходил в московском единоверческом монастыре лет восемь назад. Председательствовал известный единоверческий архимандрит, бывший противник православия. Съезд был многолюдный. Один из молодых миссионеров, рассказывая о своей миссии, стал жаловаться на то, что мало видел содействия от полицейской власти и что это затрудняло его деятельность.

— А ты забыл, как проповедовал Христос, как проповедовали апостолы, — прервал его председатель.

Молодой миссионер покраснел, как кумач, и замолчал. Молчание на несколько мгновений было такое же, как в театре во время захватывающего действия. Слова почтенного монаха очевидно упали на собрание совершенно неожиданно. Но затем настало оживление, пробежал и некоторый шум и раздались речи, именно в этом протестующем смысле председательского замечания. Надо быть сильными внутреннею верою, надо зажигать сердца людей любовью, надо уметь возносить души людей к Богу и не бояться никакого врага, никакого совратителя...

Несомненно, конечно, что никому на съезде не приходило в голову бросить в губернского предводителя дворянства словами злобы, как случалось это вне съезда. Члены съезда, как известно, отвечали ему, но их ответы в «Орловском Вестнике» не напечатаны, а это сделать следовало бы в том же самом провинциальном органе, где появился и доклад председателя. Этот спор очень интересен сам по себе, совершенно независимо от Робеспьера, который г. Нилус послал г. Стаховичу. А если б, чего Боже сохрани, Робеспьер действительно явился к гг. Стаховичу и Нилусу, они, наверное, обнялись бы и пошли бы вместе против этого самого Робеспьера. Кому он нужен теперь не только где-нибудь, но даже на родине? Все изменилось под нашим зодиаком.

5(18) октября, № 9191

CDIV

О допущении женщин в университет имеется целая литература в Европе и в Америке, причем против совместного слушания лекций в университетах высказывались очень почтенные профессора и талантливые ученые, не говоря уже о публицистах всевозможных партий. Дело не во мнениях, на свободу которых посягать не следует; против мнений можно спорить в печати и бороться в жизни. Приказывать мнения — дело трудное и довольно пустое. Есть юмор и есть брань, есть клевета и ложь. Всего этого довольно во всякой живой борьбе, во всякой журналистике в особенности, и без этого она существовать не может, как не может существовать общество без таких же, но еще худших элементов. Журналистика имеет большое преимущество перед обществом, ибо, что высказано в ней громко, то может быть так же громко опровергнуто и притом не голословно, а рядом фактов, которые гораздо убедительнее и сильнее действуют, чем самые красноречивые восклицания. Журналистика *в самой себе* имеет полную возможность разобраться в общественных вопросах. Когда вюрцбургский университет запрашивал цюрихский о том, как ведут себя студенты и студентки, то это — естественно, ибо дело идет о важном и новом вопросе и идет оно между авторитетными и учеными учреждениями, имеющими высокие цели. Но если б журналист напечатал, что учащиеся предаются распутству, и что он слышал об этом от одного аптекаря и от одного коновала, то неужели университет взял бы на себя труд отвечать на такую белиберду, которая сама себя уничтожает?

Факты мне всегда казались гораздо любезнее, чем красноречие и биение себя в грудь.

Поэтому я считаю, что всего лучше и убедительнее исторически взглянуть на этот возникший вопрос, в котором к тому же русские женщины играли выдающуюся роль в Европе. Оно и понятно: русская женщина — самая свободная женщина в Европе, в хорошем и условном значении этого слова, как русская литература — самая свободная и самая гуманная во всем том, что касается женщины, ибо русская литература — мужская литература, а русский мужчина — самый благодарный женщине за все то, сердечное, что она дает ему. Если же находятся грубые русские мужчины, то это — исключение из общего правила, а об исключениях говорить не стоит.

Знаете ли, кто первый заговорил в Европе о равноправности мужчин и женщин? Во Франции — знаменитый Кондорсе; в Англии — Мария Вольфстонкрафт, впоследствии жена английского писателя Годвина, от которого она имела дочь, вышедшую замуж за поэта Шелли, знаменитого Шелли. Книга г-жи Вольфстонкрафт вышла в свет в 1773 году под заглавием «Vindications of the rights of Woman». Она горячо опровергала Ж. Ж. Руссо, который, будучи гением первоклассным, не был даже третьеклассным другом женской равноправности. Книга эта, переведенная на многие языки, имела большое влияние и издается до настоящего времени (последнее издание в 1892 г.). В Германии первый заговорил в том же смысле Теодор Готлиб. Он первый сказал, что женщина-врач лучше мужчины-врача могла бы помогать больным своего пола. Я не имею нужды говорить о развитии этого вопроса детально. Возникнув в конце XVIII века, он быстро за-

молк, благодаря в особенности Наполеону, авторитет которого немало значил и в этом вопросе. «Il y a une chose qui n'est pas française, c'est que la femme fasse ce qu'il lui plait» — сказал он на представлении комиссии, разрабатывавшей Свод гражданских законов под председательством Сийеса, друга Кондорсе, и проектировавшей равноправность женщин. Вопрос о равноправности снова появился только в начале сороковых годов. С того времени развитие его растет все более и более и окончательная победа женщин не за горами, что бы ни говорили против него мужчины благодарные и неблагодарные. XX век будет женским веком, если мужчины не напрягут всех своих сил, чтоб сделаться умнее и лучше, и быть достойными руководителями прекрасной половины человеческого рода.

Практическою точкою отправления в женском движении сделался вопрос о допущении женщин в медицинскую практику. Почва, стало быть, практически-гуманитарная, и спорить тут было тем труднее, что женщины умно выдумали, слушаясь своего сердца, явиться в качестве сестер милосердия на полях сражений в период постоянных войн с 1789 года. И эту роль впервые сыграли монахини. Между ними многие отличались медицинскими знаниями; знаменитая сестра Массен, которой Наполеон предложил орден Почетного легиона, но она отказалась от него, говоря, что этот орден должен украшать грудь солдата, выдержавшего в ее присутствии трудную операцию. И Наполеон это сделал. После монахинь эту роль стали принимать на себя и светские женщины еще в начале прошлого века, во Франции, Англии, Германии. Нельзя забывать, что польские женщины во время восстания 1830 года были на высоте своего призвания в деле помощи раненым и больным. Клементина Гофман приобрела в это время такую же популярность у поляков, как мисс Найтингелл во время нашей Крымской компании с союзниками у англичан. Участие наших женщин в этом деле милосердия и братской любви достаточно известно. Они не отставали.

Надо сознаться, что в самом существе мужчины лежит нечто враждебное против женщины, как и наоборот. Мужчина ее покорил, приспособил к себе, наложил на нее некоторые цели и обязанности кроме тех, которые выросли у ней сами собой. Равна ли она мужчине или не равна, это все равно. Но она затеяла борьбу за свою равноправность, борьбу не совсем приятную, а иногда и совсем неприятную мужчине. Литературные художники видят признаки взаимной вражды женской и мужской даже в жизни вольных кокоток. Но я говорю только о самой симпатичной стороне этой борьбы, о праве учиться, как учится мужчина. Это — самая превосходная женская догадка и самая решительная. До этого они только соперничали в любви. Литература в огромном большинстве своих органов совсем не поощряла женщин в этом научном отношении долгое время и пролила огромную массу чернил для доказательства того, что женщины далеко никогда не пойдут.

Биография первой женщины-врача, Елизаветы Блекуэл, очень назидательна в смысле настойчивости женского характера. Родилась она в Бристоле, в Англии, в 1821 году. В 1832 году семейство ее эмигрировало в Америку. Когда Елизавете исполнилось восемнадцать лет, отец ее умер. Вдова осталась с двумя старшими дочерьми и несколькими малолетними мальчиками и девочками. Положение было тяжелое. Оно и разные другие обстоятельства навели Елизавету Блекуэл на мысль заняться медициною. Она стала учиться дома. Нашелся врач, который

помогал ей в выборе учебников. При американской свободе она могла практиковать за собственной ответственностью, как практиковали многие женщины в Америке, но ей хотелось получить официальный диплом, хотелось признания со стороны университета. И вот она начала мытарства из города в город, продолжая учиться. Двенадцать медицинских факультетов в Соединенных Штатах отказали ей в приеме в университет, несмотря на рекомендацию врачей и ученых, которые говорили об ее способностях и знании. Одни факультеты отказывали потому, что «женщине указано место самой природою и обществом», другие — потому, что безнравственны стремления женщины изучать природу и законы человеческого организма. Так, не стесняясь и говорили. Наконец, маленький городок в штате Нью-Йорк, Женева, принял ее на свой медицинский факультет. Члены факультета, однако, действовали с большою осторожностью и предложили решить вопрос самим студентам. Студенты долго обсуждали вопрос и решили допустить ее. Вместе с тем они пустили на голоса решение — никогда и ничем не заставить мисс Блекуэл раскаиваться в своем шаге. Мисс была записана в список школы под № 417. Она сама рассказывает, сколько лишений и страданий ей пришлось вынести, чтобы быть таким же студентом, как все пятьсот ее товарищей, перед наукой. Она постилась, чтобы краска не являлась на ее лицо, когда заходила речь о предметах деликатных: она входила в школу и выходила из нее постоянно одна; сев на скамью, она смотрела только на профессора и в свою тетрадь, где делала заметки. Она чувствовала себя не только совершенно одинокой в течение нескольких лет курса, но заподозренной, находящейся под особым надзором всех и каждого. Только интерес к науке поддерживал ее. За ничтожным исключением, студенты вели себя относительно ее вполне корректно. Но в городе ей отказывали в квартире в Шамбр-гарни, лавочники смеялись, когда она шла на лекции, мальчишки ее преследовали, граждане и гражданки смотрели на нее, как на диковинку. Дело доходило до того в этой мучительной мелочной борьбе, что друзья советовали ей носить мужское платье. Она отвечала:

— Я учусь не столько для себя, сколько для других женщин; поэтому, или мне отказаться от лекций, или продолжать их, как следует женщине.

Она получила диплом. Собрание факультета было в церкви, которая была полна приезжими со всех концов Америки. Президент факультета сказал, что «мисс Блекуэл своими безукоризненным поведением и прилежанием благотворно действовала на студентов; их поведение никогда не было столь хорошо, как со времени появления среди них достойной девушки, даже средний уровень успехов студентов повысился». Это было в 1849 году. Но новому врачу-женщине пришлось еще бороться со своими коллегами, которые не хотели с нею быть на консультациях, с домовладельцами, которые запрашивали с нее огромные деньги за квартиры, так как присутствие женщины-врача в их домах, по их мнению, могло повредить репутации домов. В конце концов, после многолетней борьбы у мисс Блекуэл очутился свой госпиталь, где врачами были ее сестра Эмилия и полька Мария Закшевская, дочь доктора, сначала искусная акушерка в одном из берлинских госпиталей, потом в 1853 году уехавшая в Америку, познакомившаяся с Блекуэл и получившая там докторский диплом.

Но эти пионерки еще не сделали всего дела. Вражда против женщин-врачей продолжалась еще целые десятилетия, и даже в 90-х годах признаки ее не совсем исчезли в Америке. Дело в том, что пролагают новые пути только героини,

только самоотверженные, чистые, талантливые женщины, которые понимают, как трудна эта борьба и как ответственна перед настоящим и будущими поколениями. Себя самое надо победить, чтоб побеждать других, чтоб их увлечь, чтоб им доказать свою правоспособность.

Однако, остальное завтра.

17 (30) октября, № 9203

CDV

Первая медицинская школа открылась в Америке в 1850 году, в Филадельфии, в весьма скромных размерах с восемью ученицами, число которых возросло в течение года до сорока. Пасторы отказались дать благословение школе. Развитию ее помешала война против рабства, но все-таки школа существовала, несмотря на враждебное отношение к ней представителей медицины. Студенток не пускали ни в одну больницу, и они должны были довольствоваться тою, которую основала самая школа. 6 ноября 1869 года власти допустили впервые студенток в университетскую больницу. Но тут произошло нечто очень грубое со стороны студентов медицинского факультета. В числе нескольких сот они выстроились на улице, по которой шли студентки, и преследовали их свистками и оскорбительными восклицаниями. Когда женщины вошли в аудиторию при больнице, то, несмотря на присутствие профессора, старавшегося унять студентов, сии последние встретили женщин свистками, ироническими аплодисментами, смехом и стали бросать в них катышками из бумаги и олова, окурками сигарет и сплевывали табачную слюну им на платья. И им за это ничего не сделали. Напротив, через несколько дней на митинге профессоров и студентов подписана была резолюция против совместного слушания лекций мужчинами и женщинами. Филадельфийская медицинская школа и осталась исключительно женской, но добилась представительства женщин-врачей на всех медицинских конгрессах, хотя и весьма постепенно, при чрезвычайных усилиях женской воли и женского труда. В Северной Америке существует теперь шесть медицинских школ, в которых в течение десятилетия, с 1880 по 1890 год, получили степень доктора шестьсот тридцать три женщины.

Не говоря о Кошеваровой-Рудневой, кончившей курс медицинской академии, в Европе первой пионеркой в деле допущения в университет женщин-врачей была русская. Имени ее я не знаю. Дело происходило в 1864 году. Она подала прошение в цюрихский сенат дозволить ей слушать в цюрихском университете лекции по естественной истории, анатомии и гистологии. Сенат передал дело министерству народного просвещения. Оно объявило, что ничего против этого не имеет, университет выразил такое же мнение, и девушка была принята. Но степень ее образования оказалась недостаточной для того, чтобы держать экзамен, и она, прослушав несколько семестров лекций, оставила университет.

В 1865 году явилась в Цюрих Н. П. Суслова и также испросила себе позволение слушать лекции. Таким образом, две русские студентки в 1865—66 гг. были единственными в Европе, которые слушали лекции вместе со студентами. Цюрихский сенат озаботился вообще вопросом о признании за женщинами права слушать лекции и получать дипломы наравне с мужчинами. Связанный с этим,

возник вопрос о нравственности. Как ведут себя девушки со студентами и как ведут себя студенты с девушками? Не мешают ли они друг другу и т. д. Университет отвечал сенату, что поведение девушек безукоризненно, так же как и студентов относительно их. Образована была особая комиссия, которая разработала этот вопрос детально, но случилось так, что мнения членов комиссии разделились поровну и вопрос оставлен нерешенным. Но сама жизнь его решила. Суслова попросила разрешения держать экзамен на доктора, и ей это позволили, и она его выдержала. С этого времени началось женское движение в Цюрих. Уже в сентябре 1871—72 гг. была пятьдесят одна студентка, из них сорок четыре русских, две швейцарки, три немки и одна англичанка. В 1870 году немецкий университет, вюрцбургский, запросил цюрихский относительно удобств совместного слушания лекций. Ему послан был ответ, что никакого беспорядка женщины не вносят, что лекции читаются так, как будто ни одной женщины не присутствует, что в работах анатомических и клинических профессора читают так, как будто аудитория состоит из одних мужчин и что так как, с одной стороны, женщины явно желают работать серьезно, а с другой — их воспитание и образование совершенно достаточны, то университет думает, что ему не придется изменить свое мнение.

В 1871 году все швейцарские кантоны допустили женщин к государственному экзамену, а, стало быть, и к медицинской службе; цюрихский сенат ввел вступительные экзамены в университет, но весьма легкие и благожелательные. В числе следующих докторов надо назвать англичанку Морган и русскую Бокову. Число студенток увеличилось. Так ли хорошо занимались и они, как первые пионерки? На этот вопрос отвечать трудно, в особенности потому, что студентки, большая часть которых состояла из русских, обнаружили большую политическую возбужденность, и в 1873 году русское правительство запретило им посещать Цюрих. Они бросились в германские университеты, в Гессен, Эрланген и Росток, но везде им отвечали решительным отказом. Им пришлось вернуться на родину. Цюрих потерял почти всех своих студенток: осталось всего восемь. Затем и это число стало уменьшаться: в 1879 году не было ни одной, в 1880—81 — только две, в 1882—83 — семь; с 1886 года число стало расти, но весьма медленно и достигло в 1890 г. двадцати трех. Вслед за цюрихским университетом открыли свои двери женщинам и другие швейцарские университеты; примеру этому последовали Франция, Англия, Австрия, Венгрия и Германия (в 1890 году), но весьма осторожно и с оговорками существенными. Не везде дело обходилось так мирно, как в Швейцарии. В Англии были случаи жесткого и очень циничного отношения студентов к студенткам. В борьбе без этого не бывает ни с той, ни с другой стороны, и всегда и везде находились люди и органы печати, которые открыто восставали против женщин и посылали по адресу их весьма недвусмысленные обвинения. А так как в семье не без урода и семья быстро росла, то и пища для глумлений находилась.

Вообще во всей этой полувековой истории у нас и за границей красной нитью проходит вопрос о нравственности, выражаемый то юмористически, то сатирически, то с серьезными доводами. Мы видели, как в такой свободной стране, как Америка, отнеслись к этому новому явлению даже студенты. Предрассудки — не такая легкая вещь, чтоб они скоро исчезали; к тому же нередко за перо против этого женского движения брались люди весьма почтенные, одушевлен-

ные самыми чистыми мыслями об устоях общественного блага. Всякий борется за свое, и в этой борьбе необходимы терпимость и благоразумие. Ничего бы не достигли женщины, если бы поддавались минутному настроению, падали духом или выражали претензии навязать кому-нибудь свои взгляды. Следует подражать пионеркам этого движения, которые очень хорошо сознавали, где корень враждебного к ним отношения и как глубоко он ушел в землю в течение великого множества лет. Они очень хорошо сознавали, что даже друзья этого движения к науке в тайниках души думали иногда как враги и не могли удержаться от иронии или некоторого лицемерия. Что же за важность, что открытый враг бросил грубой фразой? Это так часто случалось, даже в самом начале, когда никакого актива у женщин не было. А теперь этот актив существует и он защищает лучше всего, лучше всяких протестов. То добро, которое принесли женщины в последние тридцать-сорок лет, как женщины-врачи, как сестры милосердия, акушерки, фельдшерицы, профессорши, учительницы, технички по сельскому хозяйству, наконец, как образованные женщины — разве кто с этим может не считаться? Число больных в наших селах, которым ежегодно помогают женщины, простирается до многих сотен тысяч душ. Учительницы в народных школах делают свое дело, как героини долга, и часто эти девушки несут на своих плечах это дело совершенно бескорыстно и совсем не думая о том, как они много делают В сравнении с прежним, масса интеллигентного женского труда увеличилась во много раз.

Вероятно, внутри нас сидит какой-то леший, который дергает нас, мужчин, говорить о нравственности, когда мы нарушаем ее походя и топчем ее в грязь гораздо чаще и во всяком случае гораздо безнаказаннее, чем женщины. Мы — сильный пол. А примеры какие сей сильный пол подает? Он требует хороших вещей от женщин, но сам-то их не исполняет, а было бы хорошо, если бы и он их исполнял. Рассудите, что у студента называется молодечеством и донжуанством, то у девушки называется распутством. Что студенту не закрывает никаких дверей в самые почтенные дома, то девушке пришпиливает печать, с которой ее никуда не пустят. Она знает, что ей необходимо быть неуязвимой. Самый научный путь в значительной степени обязывает ее к этому. Студенты во всех университетах мира, в большинстве своем, живут совсем не добродетельными монахами, но на женщин, нарушающих нравственность, смотрят очень строго и, во всяком случае, не стали бы их уважать, если б встретили в них подражательниц себе. Это — аксиома. Есть свидетельства университетов, что присутствие на лекциях женщин повышает уровень порядочности студентов. Женщина учится по большей части не от безделья, а ради насущного хлеба, ради карьеры, общественного положения и замужества. А нет той карьеры, где бы не ставилось в счет поведение женщины. Если случаются падения, а они, разумеется, случаются, то они кончаются сплошь и рядом тем, что женщина оставляет лекции, и остаются те, которые действительно учатся. И мне хочется спросить, где более этих падений, не в обществе ли? Вопрос деликатный, но естественный. Какие семьи и чем ограждены от этого горя, которое к тому же является очень часто, как результат бессознательного, невменяемого увлечения. Я думаю, что высшее образование дает сознание, увеличивает силу разума и прибавляет что-нибудь к ответственности прежде всего перед самим собою. В противном случае образование было бы и не особенно нужно...

Еще два слова.

Я прочел, что парижские студенты держатся в стороне от русских потому, что их шокируют русские *нравы*. Это сказал какой-то аптекарь. Будем отвечать и аптекарю. Я — журналист, а не университет, не высшая женская школа, которые имеют не только право, но и обязанность, идя своей дорогой, не нагибаться, чтоб поднимать брошенные под ноги шутовские хлопушки...

Прежде всего, русские везде за границей чувствуют себя одиноко, в Швейцарии, Германии, Франции. Общих политических интересов у них нет; интересы литературные начались очень недавно. Потом — и это самое важное — русские плохо говорят по-французски. У многих знание языка больше книжное, чем разговорное, и потому, естественно, они жмутся друг около друга. У французского студенчества есть местные интересы, интересы кружков, кофеен, легких связей. «Буль-Миш» (Boulevard St. -Michel, около университета) студенческий листок, очень праховый, с привкусом весьма сомнительной поэзии любовного характера и такого острословия, какое русским совершенно непонятно. Листок этот много раз бывал в моих руках, и не его произведениям обучать русских нравственности ни в каком отношении. Несколько русских ученых затеяли лекции в Париже, и лекции эти весьма охотно посещаются русскими, которые лучше понимают русскую речь, чем французскую.

В одном французском сочинении я нахожу данные о студентках по парижскому медицинскому факультету. В 1892—93 гг. в числе ста пятидесяти пяти студенток в этом факультете было сто двадцать четыре русских, девятнадцать — француженок; в 1893—94 гг. общее число студенток было сто девяносто четыре, русских — сто пятьдесят четыре, французских — двадцать шесть; в 1894—95 гг. двадцать две француженки и сто пятьдесят одна русская. С этого года число русских уменьшается более и более и доходит в 1899—1900 гг. до девяносто одной вместе с польками. Очевидно, на это повлияло открытие русских медицинских курсов и желание, чтобы русские учились в России.

Для образования женщин у нас сделано много, и поступательное движение вперед будет зависеть от роста того актива, о котором я говорил. А рост этот зависит только от серьезного труда и доброй воли самих учащихся.

18 (31) октября, № 9204

CDVI

Немцы подняли целую бурю по поводу речи г. Чемберлена. Профессора нескольких университетов разослали циркуляр, в котором протестуют против речи, говоря, что в 1870 году немцы не морили голодом французских женщин и детей, как это делают англичане. Оставим немцев в покое и скажем, в чем дело.

Г. Чемберлен сказал о деле ведения войны с бурами следующее: «Настает время, когда явится необходимость принять меры более суровые, и если это время настанет, то что бы мы ни сделали, мы найдем это в образе действий тех держав, которые теперь критикуют наши «варварство» и «жестокость», но тех примеров, которые были в Польше, на Кавказе, в Алжире, в Тонкине, в Боснии, в франко-прусскую войны, мы никогда не достигали».

Благородные и гуманные люди! Они напали на две независимые республики и, не умев покорить их, хотят истребить оружием, голодом, страданиями детей и

женщин. Благородная нация, хвалившаяся своею свободой, своим образцовым парламентаризмом, своим убежищем для всех политических преступников, прибегает к мерам, которые возбуждают негодование народов. Министр возглашает перед толпой джентльменов, которые ему аплодируют: «Это еще цветочки, будут и ягодки». Кто же смеет в этом сомневаться!

Он ссылается на историю, искажая ее, как будто история что-нибудь может оправдать. Когда-то англичане сожгли Иоанну д'Арк и смеялись, когда она горела. Мы живем в такое время, которое считается с прошлым и которое его критикует и имеет право называть варварство варварством. И жестокость — жестокостью. Если народы негодуют на Англию, а об этом сами англичане свидетельствуют, значит, в образе действий Англии находятся причины этого негодования. Одно нападение великой державы на маленький народ, который желает быть независимым и достоин этой независимости, есть уже варварство, есть жестокость. Очевидность этого варварства увеличивается со дня на день, увеличивается в той мере, в какой растет великое мужество маленького народа! Когда великан побивает детей, когда морское чудовище, прожорливая гидра требует человеческих жертв, — негодование всякого человека понятно и законно. Только самодовольная ложь может говорить слабоумию о каком-то праве прожорливого чудовища на человеческие жизни.

Самое дело жестоко, самое дело вопиет к небу. Вот в чем вопрос. Оно мучит народы, как мучит ежедневная казнь; оно отравляет им жизнь вот уже два года, вливая яд в организм целого цивилизованного мира. Да, это не частное дело Англии с бурами, не семейная их распря, до которой никому нет дела. Это — общее дело, это — не война, а убийство, это — казни, ежедневные казни, а потому-то оно так жестоко, потому-то оно вызывает такое негодование, что г. Чемберлен принужден обратиться к истории.

Ссылаться на историю, кивать на соседа — значит осуждать себя. Нет никаких оправданий в настоящем. Пойдем в историю других народов. Займем эту толпу историческими примерами, даже подделаем их в английском национальном духе, и толпа возрадуется тому, что мы еще не дошли до того, что было у других народов, но нам только предстоит это приятное развлечение. В этой истории мы найдем примеры мужества, самопожертвования, великих подвигов, найдем борьбу миллионов душ против миллионов душ, — мы обо всем этом умолчим, ибо в *нашем настоящем* ничего подобного нет и не было, но мы укажем зато на частности, на маленькие эпизоды, на предания, даже на легенды. Для толпы и для оправдания в ее глазах руководителей войны этого совершенно достаточно...

И действительно достаточно. Толпа кричит, выпуча глаза: «слушайте! слушайте!» Толпа неистово рукоплещет, а победоносный мистер Чемберлен сходит с кафедры, чтоб воспринять радость благодарных соотечественников, которые совершенно готовы присутствовать при новых жестокостях и все новых и новых казнях.

Это — не война. Это — эшафот!..

Неудивительно поэтому, что сами палачи растерялись и поглупели. Поглупел г. Чемберлен, судя по его речи, какой-то мутной, болотной, сырой. Даже талантливые английские писатели лишились таланта и начинают врать всякую чепуху и всякие несообразные ужасы. Прирожденный английский юмор, тот юмор, который так сродни и нам, русским, исчез совершенно и заменился гримасой и пеной

злобы. Оно и понятно. Можно проиграть большое сражение, положить на месте десять тысяч в один день — это легче, чем тянуть это сражение целый год. Тогда сражение обращается в ежедневную казнь. А казни — ужасное дело даже тогда, когда они справедливы. Они — медленный, убивающий яд. Каждый день вы читаете: казнены два человека, казнены трое, казнены пятеро, казнен один человек; двум человекам обрезаны ноги, трем оторваны руки, десяти расколот череп. Каждый день вы читаете: палачи не были счастливы: двое из них убиты преступниками позавчера, трое — вчера, четверо — сегодня; десять уведено в плен. Есть оторванные ноги и руки, простреленные груди, окровавленные головы...

И это каждый день, аккуратно, как кофе, как бифштекс, как нумер газеты. В крови бифштекса начинает сочиться человеческая кровь, в гуще кофе она плавает, в разрезанном куске говядины зияет рана. И это каждый день в течение более двух лет — 800 суток. И богатый, и лавочник, и лорд, и рабочий — все заняты этим ежедневно. Запах крови, страшилище смерти, не простой смерти, а насильственной, мучительной самим ожиданием ее, как ожидание казни, неотразимо влияет на ежедневное дело каждого англичанина, на его торговлю, его занятия, его рабочий труд: все это отравлено. Нет твердой уверенности в завтрашнем дне, в правильности жизни, в ее естественном росте. Потеряна бодрость, исчезла ясная самоуверенность, болят жестокие раны, нанесенные народной гордости. Вся страна больна каким-то сумасшествием нервов. Припомните, что агитация Дрейфуса изнервила не одну Францию, а весь образованный мир, и следы этой агитации и доселе еще живут во Франции, перемешав ее партии, озлобив их и отняв у них устойчивость. Так и дело буров изнервило и ослабило Англию и вместе с тем изнервило весь мир, изнервило ожиданием конца, потерями торговли и промышленности, неуверенностью в завтрашнем дне.

Помимо всего прочего, Англия — страна правильного распределения золота. Это — депо драгоценного металла, из которого он привычными путями распределяется по миру. Англия старалась избегать войны, она грозила и шумела, пускала в ход свою дипломатию, свой островной патриотизм, или делала набеги, бомбардировала мирные города и, овладев ими, царствовала, как зацарствовала она таким образом в Египте. Она очень хорошо знает, что всякая война, где бы она ни шла, вредит правильной жизни, правильному распределению труда и богатства во всем образованном мире. Но тем паче война самой Англии. Война с бурами была предпринята в надежде окончить ее одним ударом, в несколько недель. Если бы нашелся пророк, который предсказал бы весь ход ее и Англия ему бы поверила, она не начала бы этой войны. Война с бурами стала ее ловушкой. Англия запутала в ней свою политическую, торговую и промышленную жизнь и так или иначе повлияла на такую же жизнь Европы. Мне думается, что эта причина повлияла на Россию и на Германию. Недаром биржи, банки и промышленность только и вопиют: когда-то кончится эта война? Но при этом — надо отдать справедливость гуманному чувству европейцев и чувству их справедливости. Если молчат правительства, народы говорят. Сознание жестокости этой войны, варварство ее пересиливает в европейцах и в нас, русских, чувство расчета и выгоды. Конечно, война эта, эти ежедневные казни, это двухгодичное царствование эшафота всех угнетает, но буры — молодцы, они показали ахиллесову пяту Британии, они сделали то, чего Наполеон не успел сделать, и, отправляя пленных буров на остров Св. Елены, место заточения великого полководца, анг-

личане только напоминают о своей жестокости и об ослаблении своего ума. Св. Елена не всегда спасает.

Мы тоже кое-что узнали, кое в чем уверились. Если б мы пошли на Индию, мы могли бы бояться климата, болезней, эпидемий, но отнюдь не английского войска даже в том случае, если б этому войску и удалось наконец переказнить всех буров...

25 октября (7 ноября), № 9211

CDVII

Речь г. Стаховича о свободе совести доселе еще катится по российским органам печати с похвальною свободою и вызывает свободные выражения мнений. И князь Путятин, и генерал-лейтенант Филиппенко, и князь С. Волконский, и священник Черкасский и многие сочувственно говорят о свободе совести. Священник Т. Черкасский («СПбургские Ведомости») говорит не о свободе только совести теоретически, уверяя, что при ней верующие сами станут защищать свою веру и церковь гораздо лучше, чем светские и духовные власти, но и вступает на практическую дорогу, говоря о необходимости уничтожить духовные училища и семинарии и вместо них учредить богословские факультеты при университетах, и о выборе священников, и о том, чтоб им в театр ходить, где даются «такие безусловно безгрешные произведения, как «Дядя Ваня», «Король Лир» и пр.», и, наконец, о том, чтоб не носить «духовной одежды» вне службы. Думаю, что многие не только духовные, но и прихожане возразят против пиджака для священников, и против посещения ими театра, который во всяком случае надо брать смело не только с королем Лиром и дядей Ваней, но и с королевой Маргаритой Готье и теткой Заза.

Из четырех пожеланий о. Черкасского тремя владеют старообрядцы: они выбирают свои священников, у них нет семинарий, они не носят духовной одежды вне службы. Странно, не правда ли, что теми «правами», о которых просит православный священник, пользуются старообрядцы, не имеющие существенных прав православия. Старообрядцы не просят о том, чтоб ходить в театр. Зато они давно просят о том, что тесно связано с свободою вероисповедания и чем пользуются у нас католики, протестанты, евреи и магометане. Крепкие, верные русские люди, а вот им не дается того, чем пользуются, так сказать, «неверные». Гремят витии о «свободе совести», о беспрепятственной перемене веры, о свободе всякой религиозной пропаганды, а «древнее благочестие», старое православие, на котором росла Русь почти вплоть до Петра Великого, считается воинствующею церковью, как выразился на орловском съезде г. Скворцов, не допускающий существования двух церквей рядом. Два брата, очень похожие друг на друга, два брата-близнеца ссорятся между собою. Простые знакомцы уживаются друг с другом, а братья не хотят сходиться, враждуя два с половиною века. Сколько этой вражды шевелится в огромной литературе, порожденной расколом, сколько ее шевелится в живых душах! Кто знает, может быть, эта вражда имеет и свою хорошую сторону, поддерживая в братьях-близнецах дух бодрости и мешая поселиться в православии древнем и новом духу индифферентизма и халатности. Но хорошая эта сторона покрывается нехорошими сторонами, и потому мир и соединение так желательны.

Характеризуя мнения по вопросу о свободе совести, «Русские Ведомости» сказали, что «Новое Время» заняло среднее положение. По моему мнению, это положение в данном случае самое жизненное. Оно как бы повторяет изречение Екатерины Второй: dépêchons nous lentement, но непременно dépêchons, а не reculons.

О свободе совести имели и имеют у нас прогрессивные убеждения весьма многие образованные люди, министры, администраторы, светские и духовные. В университетах читаются лекции, разумеется, в духе выработанных юридических истин. Г. Чичерин, бывший профессор Московского университета, никогда не стоял в радикальном лагере, за исключением того случая, когда он утверждал, что глупая и бездарная подделка «Русалки» Пушкина есть действительно произведение Пушкина. За исключением этого весьма радикального, даже анархического мнения, которое впрочем, разделялось и некоторыми академиками, которые и ранее того отличились, благосклонно приняв глупую и пошлую подделку «Демона» за стихи Лермонтова, г. Чичерин всегда стоял в ряду ученых, никогда не увлекавшихся крайностями. В «Курсе государственной науки» он говорит:

«Посягательство на внутреннюю свободу человека составляет отрицание коренного источника всякой нравственности, а вместе нарушение первого и священнейшего из человеческих прав. Свобода совести состоит в праве человека исповедывать ту веру, которая предписывается ему его чувством и совестью. Отсюда следует: 1) право не быть принуждаемым к исповедыванию иной веры; 2) право не быть наказанным за исповедывание какой бы то ни было веры; 3) право свободного перехода из оной веры в другую; 4) право не быть принуждаемым к исполнению обрядов своей церкви. Начало свободы совести влечет за собою и право каждого гражданина пользоваться всеми гражданскими правами независимо от вероисповедания».

Ничего другого ни г. Стахович, ни другие ратники в этом споре не сказали, да и сказать им было нечего. Замечательна вот эта черта у нас, когда поднимается какой-нибудь принципиальный вопрос. Он давно решен в университетских лекциях, в передовых русских умах, в русских книгах, но как только выходит на арену практической жизни, сейчас же начинается спор такого рода, что будто об этом никогда и ничего не было говорено у нас и как будто это что-то революционное. Происходит это, конечно, оттого, что одно дело читать у себя в кабинете или говорить в приятельской компании и другое дело вынести спор на открытую арену. Но пугаться рассуждений нечего во всяком случае и не надо забывать ни прошлого, которое является свидетелем, ни книгу, которая лежит в библиотеке и ждет своего часа, когда ее слова оживут и она явится верным помощником.

Верным помощником и является книга г. Чичерина «Курс государственной науки». Она состоит из трех больших томов и может быть рекомендована не только русской публике, но и русским государственным людям, не как руководство, но как добрый и хороший советник по всем вопросам государственной жизни. Первый том — «Общее государственное право», второй — «Социология», третий — «Политика». Г. Чичерин — не кто-нибудь. Он помнит целые полвека нашей современной истории, постоянно следя за важною общественною наукою. Еще в 1856 году вышло его исследование «Областные учреждения в России в XVII веке», которое обратило на себя общее внимание. С тех пор имя г. Чичерина принадлежит науке и русскому обществу. Г. Чичерин никогда не пользовался тем, что называется популярностью. У либералов он слыл доктринером, у консерваторов — либералом, у радикалов — отсталым человеком. Во времена

«Колокола» известна его ошибка с Герценом. Одно время он был московским городским головою и, кажется, никому не угодил. Русской общины он не признает и полемизировал против нее очень настойчиво и в «Курсе государственной науки» остается противником общины. Но, быть может, именно потому, что он всегда оставался сам собой, не угождал никаким модным течениям, гордый своими убеждениями, вынесенными из науки и опытов истории, он и заслуживает того, чтобы его книга читалась. Года два тому назад я был свидетелем его спора с графом Л. Н. Толстым по вопросу, связанному с христианством, и видел, в какой степени он сохранил бодрость духа и даже задор, обыкновенно исчезающий в старые годы. В тоне его книги, конечно, сказывается доктринерство, что-то как будто столь истинное и вечное, что против этого и спорить нельзя. Но мы, русские, еще большие невежды, мы еще способны не признавать самых простых вещей, давно признанных наукой, и в этом отношении книга г. Чичерина дает много ясных и положительных указаний, доказательных доводов, сжатых, но прекрасно написанных исторических очерков из западной и русской истории. Вы не можете не чувствовать просвещенного передового патриота, когда он говорит о своей родине, о ее развитии, о ее застое. Поклонник великих реформ Александра II, он прекрасно доказывает, что не следует часто менять законы и, главное, брать назад то, что раз было дано. Часто дело не в том, что законы плохи, а только в том, что люди плохи, что требуется не законы исправлять, а дать возможность лучшим людям исполнять их в интересах государственных и народных. Г. Чичерин довольно часто прямолинеен, но в наше время шатания прямолинейность, может быть, и нужна. Как практический государственный человек, он едва ли сумел бы провести свои убеждения в жизнь или оставаться им верным, но, как публицист, он всегда даст разумные границы и правила для деятельности. И вопрос о свободе совести и вероисповедания — что не одно и то же — у него разработан не в нескольких строках, выше приведенных, а очень обстоятельно. Он говорит об этом и в первом томе и в третьем, разбирая взаимные отношения церкви и государства и их отношения к гражданам. По его мнению, нужно «отменить всякие наказания за исповедание или перемену веры и за действия, истекающие из религиозных требований». Но, по его же словам, «государство вправе не терпеть сект, которые к религиозным догматам примешивают начала, идущие вразрез с требованиями государственного порядка или оскорбляющие общественную нравственность». Есть также область «столкновений между стремлениями церкви и государства», но в этой области «желательно», чтоб государство по мере развития своего организма освобождалось от «церковных определений». Мне думается, что государство настолько развило свой организм и окрепло, что может не делать никакого различия между православными, верят ли они по-старому, как было до Никона, или по-новому, как стало после его реформы.

3 (16) ноября, № 9220

CDVIII

Я узнал о себе удивительную новость. Оказывается, что мой харьковский книжный магазин, продавая книги студентам всех национальностей в рассрочку, не делает этой льготы только евреям-студентам, причем так строго держится этих правил, что требует от студентов предъявления метрических свидетельств.

Я прочел сегодня об этом в «Новостях», а «Новости» заимствовали из «Восхода», а «Восход» — из «Харьковского Листка». Должно быть, все приятели и однокашники. Я взял первоисточник этой невероятной лжи, «Харьковский Листок», и прочел там следующие строки:

«На улице. Встречаются два студента.

— Ты куда?

— К Суворину, в «Новое Время». Хочу книг в рассрочку купить.

— А метрическое свидетельство захватил?

— ?

— А вот почитай: «Книжный магазин «Новое Время». Допускается продажа книг в рассрочку для студентов всех национальностей, кроме евреев». Нравится?

— Черт знает что! Но ведь я не еврей.

— Э, голубчик! Разве Суворину это надо! Конечно, он не станет требовать от тебя метрического свидетельства, да и разобраться не сможет, еврей ты или нет.

— Это, брат, крестовый поход! Решение еврейского вопроса! Своеобразная реклама...

— Не реклама это, а гадость! Что он рекламирует? Собственную узость и тупость! Гадость, одним словом, и только.

Первый студент посмотрел на второго.

— Может быть, ты и прав, — произнес он.

Разговор окончился».

Подписаны эти строки псевдонимом Аз. Было бы правильнее, если б Аз подписался псевдонимом Дурандас. Дурандас этот не понимает, что, думая налгать на книжный магазин, он лжет на студентов, выставляя их в непривлекательном, даже в несколько дурацком виде. Студенты идут покупать книги и несут метрические свидетельства. Да порядочному молодому человеку если б даром давали книги, но под условием предъявить метрическое свидетельство, он с негодованием отвернулся бы от такого благодетеля или швырнул бы в него книгами. Не понимая этого, г. Дурандас, однако, заявил, что «Суворин не станет требовать метрических свидетельств», а хочет только устроить «крестовый поход» на евреев и показать свою «тупость и гадость». Показав, таким образом, свою тупость и низость только наполовину, остальное, целое, шедевр, он предоставил создать своим собратьям по перу, более его опытным. Управляющий моим харьковским книжным магазином, г. Кормилицын, напечатал в том же «Харьковском Листке» следующее опровержение:

«В № 548 вашей газеты в отделе «Люди и жизнь» напечатан разговор двух студентов о покупке в нашем магазине книг в рассрочку, которая допускается всем студентам, за исключением студентов-евреев. Считаю нужным заявить, что в харьковском магазине «Нового Времени» никаких различий между покупателями не делается и условия продажи для всех одинаковы. Никакого объявления от книжного магазина «Нового Времени» о продаже книг в рассрочку для студентов всех национальностей, кроме евреев, не было».

По-видимому, «инцидент», как говорится, должен быть этим исчерпан. Но это только по-видимому. Как уже сказано, надобен был еще шедевр, совершенное произведение клеветы. За это взялся давнишний еврейский орган, «Восход», издаваемый и редактируемый г. Сыркиным.

Во «Всем Петербурге» сказано, что именно этот г. Сыркин (М. Г.) — «присяжный поверенный и присяжный стряпчий». Лицо, по-видимому, почтенное. Он «поверяет и стряпает под присягою». Но оказывается, что он принимал присягу, чтоб быть дважды «присяжным», и «поверенным», и «стряпчим», собственно для того, чтоб стряпать шедевры подвохов. Вследствие этого, он, совершенно игнорируя опровержение, напечатанное в том же «Харьковском Листке», поместил в своем «Восходе» следующий прекрасный образчик клеветы, некоторым образом перл создания:

«Харьковский Листок» утверждает (?), что в местном книжном магазине А. С. Суворина, при продаже студентам книг в рассрочку, требуется (??) предъявление метрического свидетельства !! (??). Книги продаются только студентам-христианам.

Об этом своеобразном лавочном антисемитизме книжного магазина А. С. Суворина поступили заявления также в нашу редакцию».

Так как г. Сыркин — присяжный поверенный и стряпчий, то я думаю, что присяжным поверенным и судить об его создании, т. ск. о «присяжной чести» и благородстве в лице их собрата, г. Сыркина. Ведь есть же, в самом деле, присяжная честь в этой юридической корпорации!.. Я прибавлю только, что совершенно убежден, что никаких «заявлений» в редакцию петербургского «Восхода» не было. Г. Сыркин только украсил клевету харьковского своего собрата таким же лжесвидетельством, какое украшает свидетелей по делам бракоразводным.

«Новости», перепечатав шедевр «Восхода», назвали его «извлечением» из «Харьковского Листка», стало быть, знали источник и могли судить, насколько он украшен в «Восходе». Они прибавили, что мне следует и подписку на газету объявить только одним христианам. Да я думаю, что Россия, а вместе с нею и газеты только и растут одними христианами. Без них и «Новости», несмотря на все свое еврейское правоверие, давно бы совсем погибли. Я помню, когда евреи вышли из «Нового Времени» и я назвал тогда это «исходом евреев из «Нового Времени». Исход был, конечно, меньшим, чем исход из Египта, но ведь и «Новое Время» — совсем маленькое в сравнении с Египтом, и я — совсем маленький в сравнении с фараоном. Евреи усиливаются и растут. Журналистика, адвокатура, театр полны ими. Бог им в помощь, тем из них, которые ведут борьбу честными средствами. Но я думаю, что и нас, христиан, Бог не выдаст и свинья не съест.

6 (19) ноября, № 9223

CDIX

Вы знаете, что у нас есть недовольные новой школьной реформой. И в печати, и в обществе слышались и слышатся возражения:

— Разве дело в том, чтобы изгонять классицизм? Классическая система сама по себе превосходна. Недаром она господствует на всем западе Европы. Недаром все государственные люди Англии — глубокие классики. Гладстон один чего стоит. Английские университеты, Кембриджский, Эйтонский — основаны на изучении классицизма. Германия и не думает умалять свое классическое образование. Даже в прусских кадетских корпусах число уроков латинского языка чуть ли не превосходит это число в русских гимназиях. Во Франции — полное господство классицизма. Зачем же нам отставать?

— Но вы же, милостивые государыни и государи, жаловались на переутомление ваших детей. Вы кричали против классических языков.

— Ну да, жаловались. Но мы жаловались на русский классицизм. Разве это было похоже на что-нибудь? Это была угнетательная классическая система, как будто нарочно устроенная для того, чтобы отуманить человека, сузить его понятия, утомить его мозг, убить фантазию, свободное развитие. Она введена была с целями, посторонними образованию.

— Превосходно. Так вы за классицизм? Вы недовольны новой реформой?

— Конечно. Помилуйте, что это за реформа, которую соорудили так быстро и поставили впереди какое-то отечествоведение. Разве дело средней школы заключается в том, чтобы набить голову мальчика знаниями, обременить его память миллионом фактов, вколотить в голову какие-то статьи Свода Законов и назвать это «законоведением»? Задача средней школы развить мальчика, приготовить его к восприятию университетской науки. Нам нужны образованные люди, европейски образованные люди. Мы — Европа и у нас должно быть, как в Европе. А новая школьная реформа — это ведь кадетские корпуса, их программа.

— Но латинский язык оставлен в гимназиях, а в кадетских корпусах его нет.

— Оставлен, но в каком виде? Из попов в дьяконы... Вы знаете разговор Каткова с графом Лорис-Меликовым?

— Слыхал о нем. Это после отставки графа Д. А. Толстого во время «диктатуры сердца», отставки, о которой «Голос» тогда выразился, что это «пасхальное красное яичко» русским людям?

— Да, после этого произошло свидание графа Лориса с Катковым. Катков сказал ему, что граф Д. А. Толстой, вопреки намерениям и планам Каткова и Леонтьева, привел в исполнение только первую часть плана — гимназии, а вторая часть — реальные школы — была совершенно пренебрежена. Между тем Катков и Леонтьев желали одновременно введения всего плана, т. е. параллельного создания классических школ и реальных. Будь введена реформа в этом виде, русское образование стало бы на прочные основы, удовлетворяя и высшему университетскому образованию, и образованию техническому и практическому.

Хотя несправедливо критиковать новую школу, которая только вводится, но пусть будет так. Примем пока возражения как вполне справедливые. Но позволю себе поставить вопрос: есть ли почва у нас для классического образования и средства для того, не материальные — не о них речь, а образовательные.

Классическая система у нас была совершенно безжизненная. Не только учебники выписывались из-за границы, но и учителя. Наша литература по древним классикам представляет собой нечто столь жалкое, что можно было удивляться только графу Д. А. Толстому и его сотрудникам, как они взяли на себя смелость ввести строгую классическую систему на этой песчаной литературной и исторической почве. Ни исторических традиций, ни влияния классицизма на нашу историю, ни переводов классиков, ни сочинений о древней классической литературе и искусстве, ни сочинений по культуре, по истории, ни специальных энциклопедий, ни критики текстов классических писателей и комментариев к ним, ничего того, чем полны литературы немецкая, французская и английская, — ничего этого не было. Царствовала полная Сахара. Сборник Леонтьева «Пропилеи» оставался и доселе остается едва ли не единственным памятником того, что и у нас что-то есть по классическим древностям. Когда Катков и Леонтьев печатали свои статьи

в защиту классического образования, публика только зевала и удивлялась премудрости их речей, ничего в них не понимая. Что ей говорили Греция и Рим, когда о Риме она знала только, что там есть папа, а о Греции, что она православная. Это были самые распространенные знания. Греческие и римские классики известны были каким-нибудь десяткам русских людей в подлиннике, а в переводах... да переводов почти не существовало. Переводы Мартынова были библиографической редкостью и ценились как редкость, была «Илиада» в переводе Гнедича, «Одиссея» в переводе с немецкого Жуковского, попытки Ордынского простонародным языком передавать Гомера, перевод Карповым сочинений Платона, еще кое-что из драматургов, историков — все это в разбросанном, несовершенном, каком-то спротивном, случайном виде в литературных наших журналах. История народов Эллады и Рима, история их литературы, их искусства, их жизни, их философии — все это было областью неизвестною. Из философии знали всего лучше «пифагоровы штаны», да бочку Диогена. И на этой бесплодной почве создали строгую, неумолимую классическую систему, т. е. заставили долбить греческую и латинскую грамматики до переутомления. Если бы учителя и ученики и полюбили бы этих греков и латинян, им нечем было бы поднять свой дух и свою любовь, потому что только на иностранных языках и можно было достать все то, что было необходимо для поддержания этой любви. А иностранные языки как раз и были заброшены. А что была любовь или, по крайней мере, желание осветить грамматическую сушь светом знания античной жизни, тому есть у меня доказательство. Лет двадцать тому, я издал в переводе с немецкого иллюстрированное роскошное издание «Эллада и Рим», ставшее давно уже библиографическою редкостью. Несмотря на дороговизну, оно, по крайней мере, наполовину было раскуплено петербургскими гимназистами...

Европа и мы — это несоизмеримые величины в деле классицизма. Все средние века европейская образованность шла на латинском языке. Это был международный, дипломатический, ученый и литературный язык. Со времени Возрождения несколько сот лет классицизм стал системой образования в Европе. Когда у нас цари едва-едва по складам читали славянскую азбуку, когда у нас эта грамота далеко не всегда была твердо известна даже попам, Европа уже знала своих великих ученых, писателей, художников, религиозных реформаторов, образованных государственных людей; когда Русь пребывала в великой дикости, в Европе были уже Рафаэли, Лютеры, Шекспиры, Бэконы, было Возрождение с воскресением всего античного мира, была Реформация, гуманитарное движение и проч. и проч. Не говорю уже о родственной связи европейских языков с латинским. Не говорю и о том, что классицизм постоянно влиял на историю и на литературу, не говорю о французской революции, о создании Германской империи, чему способствовал историк Моммзен своей «Римской историей». Не говорю о чрезвычайно богатой европейской ученой и учебной литературе по классическим языкам и античной древности. Возьмите любой полугодичный немецкий каталог Гинрихса вплоть до последнего (полугодие 1901 года) и вы встретите десятки и сотни книг, посвященных разным сторонам классической древности, начиная от вопроса о прическе волос или о греческой трагедии в освещении этрусских ваз и кончая вопросами философско-культурными и государственными.

Да, мы — жалкие нищие в сравнении со всем этим. Пусть мне кто-нибудь докажет, что мы — не оборвыши в деле знакомства с античным миром, пусть кто-

нибудь докажет, что даже в эти последние десятилетия мы обогатились изучением античного мира, что у нас появилось что-нибудь такое ученое или учебное, что можно поставить наряду с европейским...

И на этой-то Сахаре, на этом безлюдстве и невежестве, у нас хотели разом создать строгую классическую школу. И сказал Бог: да будет свет. И был свет. Но говорил не Бог. Да никакой полубог, никакой Петр Великий с его нечеловеческой энергией и безграничною властью не мог бы этого сделать...

Если нет у нас ни исторической, ни филологической, ни ученой, ни даже учебной почвы, то как же создавать строгую классическую школу? На чем?

— На примере других образованных народов.

— Но ведь другие народы имеют многовековую классическую почву очень серьезную.

— И нам ее надо создать.

А сколько надо поколений изнурить, чтобы ее создать? И для чего? Шиллер говорил, что он читает Гомера с бóльшим удовольствием в переводе Фоса, чем по-гречески. Переводы классиков могут явиться на прекрасном русском языке, который становится классическим. Хорошее знание какого-нибудь иностранного языка, непременно хорошее, откроет всякому желающему все богатство иностранной литературы и по античному миру. Для избранных, для желающих оставлено несколько гимназий с обоими древними языками, и путь для изучения античного мира не закрыт. Он оставлен свободным, а не принудительным для той страшно вырастающей массы детей, требующей средней школы...

Если новая школа отчасти и разрушает классическую, то ведь вопрос еще вот в чем: разрушает ли она *вместе с тем* какие-нибудь корни русской жизни, какую-нибудь историческую последовательность, какие-нибудь национальные традиции русского народа?

Ничего подобного.

Значит, все дело в том, *как создать* такую новую школу, чтобы она отвечала потребностям русского человека и развивала бы все его способности?

Разумеется, такая школа не может быть основана на том начале, которым руководствовался

Monsieur l'abbe, француз убогий,

который

Чтоб не измучилось дитя,
Всему учил его шутя —

Евгения Онегина. От легоньких программ с их почтительным отношением к российским головам проку ждать, конечно, нечего. Учиться понемногу,

Чему-нибудь и как-нибудь —

тоже не по времени, которое стало очень требовательно. Требуется много прилежания и труда от учеников, и невозможно создать школу, в которой все воспринималось бы легко и приятно. Но, работая над русскою школою, надо прежде всего веровать в свое отечество, в русский ум, в русскую даровитость.

Русская школа должна создаваться так же, как создалась русская литература: сначала подражательная, она стала оригинальною, самостоятельною, всемирною, ибо она начала питать иностранные литературы и заставила изучать русский язык за границей.

И новая школа может разорвать не с классицизмом, не с системами европейского образования, а только с подражательностью, с рабским списыванием с чужого: она должна вступить на самостоятельный путь, «в соответствии с основными началами русской жизни и потребностями времени», как было сказано в высочайшем рескрипте министру народного просвещения 25 марта. «Основные начала русской жизни и потребности времени» — этими словами сказано много, они намечают путь для создания русской школы, в них надо вдуматься, их разработать. Если на первых порах и будут недостатки, промахи, увлечения, то все это может быть устранено и исправлено серьезным трудом созидания. Оно начинается именно в то время, когда наш родной русский язык, трудом и гением наших великих писателей, становится поистине классическим. Уметь выражать на родном языке совершенно свободно не только мысли, чувства и ощущения, но и оттенки их, знать этот язык во всем его великолепии, о чем мечтал Пушкин, — это главнейшее условие всякой средней школы. А в погоне за классическими троїками русское образованное юношество стало выражаться и писать по-русски, как сапожники.

14 (27) ноября, № 9231

CDX

Я прочитал комедию, запрещенную французскою цензурою для сцены, и хочу сказать о ней несколько слов. Это — «Les avariés», комедия в трех действиях Бриё. По-русски можно перевести «Испорченные». У нас коротко говорилось об этой комедии в нашей телеграмме из Парижа. Русские читатели правдивее и прямее, чем читатели других стран. У французов, по словам автора комедии, такая щепетильность, что стоит газете упомянуть название этой болезни, и читатели начинают негодовать, тогда как читают сальные и развратные романы, любят порнографию, всяческие изображения наготы и описания самых скабрезных сцен: «так идет воспитание общества путем печати». Мы, русские, грубее, а потому честнее и откровеннее. Много женщин и девушек учатся медицине, специально изучая и тот бич, о котором идет речь, но слову, которым выражается болезнь на медицинском языке предпочитается другое. О «чахотке» говорят всюду, во всех гостиных, не стесняясь детей. Но даже доктора-специалисты в газетных объявлениях часто предпочитают настоящему названию — «секретные болезни». Болезни этой не столько боятся, сколько стыдятся, и, благодаря отчасти этому стыду, она распространяется страшно и, переходя от родителей к детям, уносит ежедневно малюток в могилу или оставляет их жить уродами и страдальцами. Царь Ирод идет и избивает младенцев, невинных жертв этой болезни. Ей бы надо дать другое имя, а еще лучше — побольше о ней знать. Такая цель руководила автором комедии.

И по правде сказать, комедию эту едва ли вынесет сцена, хотя сцена наводнена адюльтером, кокотками, косвенным восхвалением распутства, т. е. всем тем, что ведет к этой болезни.

Главное действующее лицо комедии — доктор. Просто «доктор», без имени, как и все лица комедии без имен: Доктор, Испорченный, Тесть, Отец, Гимназист, Жена, Мать, Кормилица, Проститутка, Работница, Горничная. Вот все лица. Действие происходит в очень зажиточной семье. Тесть — богатый депутат. Испорченный — из хорошей семьи, человек нравственный, тщательно себя соблюдавший, имевший только двух любовниц; первою была жена его лучшего друга, второю — молодая работница, всю семью которой он содержал, и вся семья заботилась о верности любовницы любовнику. Он расстался с ней при общем плаче, потому что должен был жениться на своей кузине, прелестной девушке, которую он обожал. Мимолетная связь с женщиной, которую он имел право считать порядочной, испортила его.

Весь первый акт занят исключительно его разговором с доктором. Это — знаменитый врач, полный благородства и человеколюбия. Он относится к испорченным, как к несчастным, заслуживающим всяческих снисхождений и симпатий к их несчастию.

— На семь человек, которых вы встретите на улице, в свете или в театре, по крайней мере, один находится в таком же положении, как вы, один на семь, значит, пятнадцать на сто.

Так говорит Доктор Испорченному, который плачет, приходит в отчаяние и говорит о самоубийстве.

— Сколько я знаю этих развратников, — рыдает он, — которым ничего не делается! А я только раз был неосторожен и вот погиб.

— Да вы не погибли, совсем не погибли. Ваша болезнь совершенно излечима, так излечима, что от нее не останется и следа. Сотни тысяч мужчин, молодых и совершенно здоровых, прогуливаются по Парижу, наслаждаются семейною жизнью, имеют здоровых детей, а они были так же больны, как вы. Болезнь эта серьезна, гибельна, она может заразить вашу жену, ваших детей, если она запущена, если с нею обращаются к шарлатанам или скрывают ее из стыдливости и боязни, но медицина теперь умеет искоренить ее совсем, без всякого следа. Полечитесь хорошенько, подождите жениться три-четыре года, чтобы я мог убедиться, что она вышла из вашего организма и тогда — я вам ручаюсь — вы можете быть так же счастливы, как самые здоровые люди.

Таково краткое содержание речей Доктора. Но Испорченный не хочет ждать. Он может ждать только шесть месяцев, потому что таковы его семейные и другие обстоятельства. Тогда Доктор грозит ему, что он этого не позволит, рисует ему картину несчастий его жены, его детей, целого поколения, кормилицы, ее детей и т. д. Испорченный потрясен, но доброта Доктора, его уверенность в том, что болезнь излечима, что доктора имеют привычку все преувеличивать, надежда на «авось» и «небось» заставляют его лгать. Он говорит, что «подумает». — Я знаю, что это значит «подумаю», — говорит Доктор. — Вы больше ко мне не придете. — И он убеждает его снова. Молодой человек готов броситься на колени перед доктором, умоляя его вылечить скорее. — Нельзя, я не могу этого сделать: наука — не Бог. — В конце концов они расстаются.

Я не думаю, что можно полнее и «приличнее» на сцене вести этот специальный разговор. Автор с большим тактом избегает всего того, что может оскорбить непривычное ухо, но не скрывает ни на йоту последствий, которые ждут моло-

дую пару и ребенка. Врачи могли бы этот акт выучить наизусть, если у них нет своего опыта, — так речи Доктора убедительны, так они полны любви к человечеству, страждущему этою болезнью, которая посещает совершенно одинаково и бедных и богатых, и нищих с сумою и аристократов ума, таланта и денег. Никого она не щадит, она ужасна именно своей всеобщностью, и только наука спасает от нее и твердое желание освободиться от нее. А чтоб сохранить свое здоровье и здоровье своего поколения, как следует поступать?

— Надо любить только одну женщину... Надо взять ее непорочной девушкой и любить так, чтоб она вам не изменяла.

Вот прекрасное правило жизни, которое рекомендует Доктор.

Из второго акта, из разговоров Испорченного с своей Женой, мы узнаем, что он отложил женитьбу на шесть месяцев.

— Почему ты отложил тогда?

— Да доктор уверил, что у меня чахотка.

— У тебя? Да разве ты похож на чахоточного? Доктора вечно врут. Им только бы деньги брать.

— Конечно. Они мало смыслят.

У них девочка, которая живет в провинции у матери Испорченного и здоровая крестьянка ее кормит. Но ребенок болезненный. Бабушка беспокоится. Она его страстно любит. Она приезжает в Париж с кормилицей и ребенком, и прямо к Доктору. Он нашел, что ребенка немедленно надо посадить на рожок и отнять от кормилицы. Испорченный притворяется удивленным, но смущен. Смущена еще больше его мать. Они говорят полусловами, не глядя друг на друга.

Свидание с Доктором. Это — тот самый, который беседовал с Испорченным в первом акте. Он берется вылечить девочку, выкормить ее искусственно, ручаясь за ее жизнь, но требует удаления кормилицы во что бы то ни стало. Он — такой же человеколюбивый, такой же внимательный, хотя не щадит резких слов по отношению к Испорченному: «miserable, imbècile»...

Полна высокого самопожертвования речь Матери. Она говорит, что не побоялась бы ничего, что она вскормила бы своей грудью внучку, хотя бы ей грозили страдания и смерть, хотя бы она твердо знала, что ждет ее эта казнь за спасение ребенка. Доктор потрясен этой материнской любовью, но настаивает на своем, защищая в лице Кормилицы народ. Он уходит. Мать и сын ее решаются не послушаться Доктора. Они хотят задарить Кормилицу, не объявляя ей в чем дело, но, обещая ей тысячу франков, если она все время болезни ребенка останется при нем и будет его кормить. Она удивлена, она думает, что у ребенка болит горло от простуды и, разумеется, соглашается. Но прислуга подслушала разговор Доктора, передала его Кормилице и та объявляет, что едет к себе домой. — Почему? Зачем? Ведь ты согласилась? — Она сначала отмалчивается, но когда ее бранят и грозят полицией, она говорит почему: «Je m'en vais parce que je n'ai pas envie dàttraper une sale maladie ici». Незамеченная никем в пылу этого жестокого объяснения с Кормилицей, Жена все слышит, с нею делаются конвульсии и, когда муж подбегает к ней, она с отвращением гонит его...

В третьем акте Тесть является к Доктору. Жена хочет развода, и Тесть просит у Доктора медицинского свидетельства, которое должно лечь в основание развода.

— Я вам его не дам. Профессиональная тайна мне это запрещает. Но если б я был и свободен от нее, я все-таки не дал бы его, потому что не желаю способствовать этому разводу.

Тесть возмущается. Он депутат и говорит красноречиво в защиту своей дочери, в защиту поруганной семьи, нравственности. Он протестует против законов, которые защищают такой разврат, он готов убить этого человека.

— Вас будут судить.

— Присяжные меня оправдают.

— Да. Но судебное следствие раскроет все несчастие вашей дочери, оно наложит пятно на ее жизнь. Она сама, потрясенная убийством, спросит вас, по какому праву вы это сделали?

— Что ж мне делать?

— Простить, — отвечает Доктор.

Он опять является во всей прелести своей человечности, со всею своею любовью к несчастным, вооруженный своим знанием.

— О чем думал этот Тесть, когда отдавал свою дочь замуж? — спрашивает Доктор. — О состоятельности жениха. Он делал справки на бирже, собирал сведения об его нравственности, но забыл о самом важном — о здоровье.

— Но это не в обычае.

— Надо, чтоб это вошло в обычай.

— Конечно, но в таком случае необходим закон.

— Закона не надо — законов и так слишком много. Надо, чтоб об этой болезни знали побольше, чем теперь, и тогда обычай быстро установится. Жениху будет так же просто брать медицинское свидетельство, как теперь берет он свидетельство у священника об исповеди, и это избавит общество от многих несчастий. Ваша дочь имеет право спросить вас, отчего вы не позаботились о здоровье ее жениха, как вы заботились о его состоянии. Повторяю вам, вы должны простить.

— Никогда.

— Да что же вы сами-то, без греха, что ли?

— Я не страдал позорной болезнью.

— Я не о том вас спрашиваю. Я вас спрашиваю о том, вы сами не подвергались ли опасности заболеть?.. А, это было! Значит, дело идет не о добродетели, не о воздержании, а просто о счастливой случайности. Что меня больше всего раздражает, это название «позорная болезнь», которое вы употребили. Как все другие болезни, и эта — наше несчастие, а быть несчастным не может быть позорно даже тем, которые заслужили несчастие. А сколько таких, которые не заслуживали его!

Доктор с пламенным красноречием продолжает на эту тему. Даже среди самых строго нравственных людей, людей действительно добродетельных, которые с отвращением произносят самое название этой болезни, даже среди них только те наверняка избегают ее, которые всю жизнь остались девственниками или любили только непорочных девушек. Сколько таких? Четыре на тысячу. Да и они ли заслуживают большей симпатии? Не на стороне ли несчастных должна быть симпатия? Ведь до брака огромное большинство имеет любовниц. И в этом все виноваты, и нечего винить тех, которые случайно спаслись.

Мало-помалу Тесть обезоруживается. Доктор говорит, что лучшие мужья те, которые раскаялись, и он рекомендует все свои доводы передать несчастной Жене и убедить ее помириться с мужем. И, как депутату, он советует познакомиться хорошенько с тремя ужасными бичами человечества, этой болезнью, алкоголизмом и туберкулезом. Доктор говорит об этой троице с таким же красноречием и поражает Эгоизм, Равнодушие и Незнание — другую троицу.

Останавливаюсь на этом. В пьесе есть еще кое-что, например, рассказ перед Тестем бывшей проститутки, напоминающий известное стихотворение Мицкевича о мавре, который, страдая чумой, объятиями с врагами заражал их.

Пьеса эта не для открытой сцены, конечно, она благоразумием и прямотою речей Доктора поражает всю условную нравственность, все то, что допускается в печати и на сцене совершенно свободно и что на самом деле есть несомненный яд, оправдывающий всякую измену, всякое распутство. Автор тем самым просится на сцену, но, думаю, что такие пьесы убедительнее в чтении; если же на сцене, то для небольшого кружка зрителей, которые желали бы выслушать хорошую лекцию в драматической форме. Сцена должна бы разъяснить эти проклятые вопросы, тем более, что она начинает останавливаться и оскудевать, вращаясь как белка в колесе в отпущенной ей области.

Надеюсь, читатели не посетуют на меня за это изложение. Вопрос этот и у нас — вопрос очень важный. Несколько лет тому назад в «Новом Времени» мы говорили о необходимой борьбе с этой заразой. Вскоре и образовалось Общество борьбы с заразными болезнями. Оно находится под покровительством е. и. в. принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Председатель его — е. в. принц П. А. Ольденбургский, члены: Л. Б. Бертенсон, З. Я. Ельцина, С. М. Лукьянов, Л. Ф. Рагозин, К. А. Раухфус, А. П. Соломон, В. М . Тарновский. К сожалению, судя по отчету, во «Всем Петербурге» средства его к 1 января 1900 года всего двадцать девять тысяч. Может быть, и тут стыд или предрассудок останавливает многих? А какая это заслуга была бы перед русской деревней, где страшная болезнь распространена чрезвычайно! Я знаю по Чернскому уезду, сколько добра сделали врачи-окулисты, отрядами разъезжающие по Руси и делающие глазные операции. Какой это великий труд со стороны врачей и какое благодеяние делают они народу! То же самое могло бы предпринять и упомянутое общество, обладай оно необходимыми средствами...

6 (19) декабря, № 9253

1902

CDXI

Вам, вероятно, случалось слышать, что некоторыми своими общественными чертами наше время напоминает шестидесятые годы прошлого столетия. Не знаю, правда ли это: современники менее всего способны судить о своем времени и отличать в нем существенные черты от несущественных. Но если это правда, то это не в прежнем порядке вещей. Дело в том, что есть черты сходства в течение всех трех последних столетий между шестидесятыми годами и между первыми годами каждого века.

Рассмотрим эти параллели.

Несомненная повторяемость некоторых событий и настроений идет от Смутного времени, которое разверстало старые государственные порядки, уничтожило бояр-«государей», «отбросило низы московского общества и дало победу «средним общественным слоям», как выражается С. Ф. Платонов в своей книге «Очерки по истории Смуты». Оно «вывело» вперед простого дворянина и «лучшего» посадского человека, т. е. служилого человека и полуслужилого, торгово-промышленного, выделявшего из себя того человека, который называется «гостем», купцом. Дворянин и посадский помогали управлять и делать историю. Самое слово «боярин» постепенно исчезает, превратившись в обыкновенной речи в барина и оставшись только в панихидах («упокой, Господи, болярина» и пр.). Теперь слово «барин» и «господин» употребляются в бытовой речи одно вместо другого. М. А. Стахович недавно сказал в своей орловской предвыборной речи: «Господин орловское дворянство!» — Всякий представитель купечества с таким же правом может сказать, обращаясь к купцам: «Господин московское купечество!» Господин купечество, пожалуй, имеет более реального смысла, ибо оно, действительно, господин на мануфактурном, торговом и банковском рынке. Господин купечество скупает именно господина дворянство, продает ему «на книжку» втридорога всякий брак в своих лавках и дешево покупает лес и продукты, в поте лица изготовляемые на истощенных полях господина дворянства. Я мог бы сказать: «Господин общество», «Господин земство», но все это было бы приемами красноречия и только.

Обратимся к шестидесятым годам и сейчас же скажем, что это годы умственного беспокойства и подъема, годы нервные, годы борьбы и волнений внут-

ренних, с их увлечениями, разнузданностью и подавлениями. Вместе с тем это годы реформ. Так это было во все три последние столетия.

В шестидесятые годы в XVII столетии царствует Алексей Михайлович, в XVIII — Екатерина I и в XIX — Александр II. Во все три столетия этим годам предшествуют неудачные и разорительные войны. При Алексее Михайловиче в XVII веке — война с Польшею и Швецией, в XVIII веке — Семилетняя война и в XIX — Севастопольская кампания.

При Алексее Михайловиче были волнения вследствие налога на соль, беспорядков административных, обесцененных медных денег и рядом с этим показывались культурные зачатки государственного порядка, как «Уложение», «Торговый устав», исправление церковных книг, вообще некоторое, хотя и малое, стремление к западной цивилизации. В сущности, все жило по старинке, но начиналось брожение недовольства в нижних и верхних слоях. 28 июля 1662 года беспорядок произвели «гильевщики». Слово «гиль» значит чепуха, вздор, дичь, и в этом смысле оно и теперь употребляется. Но оно значило и смуту, беспорядок, скопище. Отсюда — гильевщики, смутьяны, подстрекалы к беспорядкам и проч. Явилась гиль против царских ближних бояр, Милославского и др., причем на Лубянке, на столбе, было приклеено нечто вроде прокламации, «письмо», как тогда выражались, которое призывало к гили. Гиль окончилась жестоким усмирением и казнями. Было перебито и казнено несколько тысяч.

Еще раньше началась ссора царя с патриархом Никоном, потом суд над ним; явился раскол вследствие исправления церковных книг, собор 1666 года, которым раскол предан анафеме. Явился такой агитатор, как протопоп Аввакум, обладавший силою слова и железной энергией. Старое и новое вступало в борьбу, хотя довольно бессознательно. Во всяком случае, начинают замечаться два течения, преобразовательное, утверждавшее государственный порядок, и упорное стояние за старину и за земщину, и эта борьба усложняется волнениями тех низов общества, которые были отброшены в начале столетия «средними общественными слоями» и которыми пользовались разные партии на верхах даже, как, например, во время малолетства Петра. Является Стенька Разин в этих же шестидесятых годах во главе вольницы, и правительству приходится употреблять большие военные усилия, чтоб подавить этот бунт, угрожавшей самой Москве.

В шестидесятые годы XVIII века, в 1762 году, ровно через сто лет после московского бунта 25 июля 1662 года, переворот 28 июня возвел на престол Екатерину II. В эти сто лет пережито было очень много. Основана новая столица, чтоб разорвать окончательно со старым и приблизиться к Европе. Двор царя Алексея и императрицы Екатерины друг другу могли бы показаться маскарадами. Были жертвы переворота; было убийство несчастного Ивана Антоновича, казнь Мировича, было много нервного и беспокойного; была и преобразовательная деятельность императрицы среди чрезвычайно сложных внутренних и внешних обстоятельств. Ей нужно было приверженцев, оправдателей, хвалителей. Но не это одно ее двигало: она искренно и с любовью следила за умственным движением в Европе и желала кое-что применить к народной русской жизни. Она переписывается с Вольтером, приглашает Даламбера в Россию, покупает библиотеку у Дидро и оставляет ее у него. Она пишет «Наказ», созывает депутатов в комиссию об Уложении. По всей России идет сильная умственная работа для составления наказов депутатам и для выбора их. В конце шестидесятых годов является сати-

рический журнал Новикова. Среди всего этого движения опять призрак Смутного времени, опять низы общества, казачество и всякий сброд во главе с Пугачевым. И все это в те же годы: Разин казнен в 1671г., Пугачев — в 1775 г. Столетия как будто повторяют друг друга в известные периоды, вызывая те же силы и призраки.

Чтобы перейти к шестидесятым годам XIX века, нам еще близким, упомяну, что в 1764 г. Екатерина «сделала польским королем» Станислава Понятовского и была от этого в восторге: Россия становилась авторитетом в Польше. Польское восстание 1863 г. омрачило яркие дни преобразований Александра II, подложило палки в колеса русской телеги, остановило ее ход и способствовало внутреннему брожению. Какая это длинная, мучительная и тяжелая эпопея наших отношений к полякам! Сколько мы друг другу навредили и кто кому больше — еще вопрос, не во гнев будь сказано полякам.

Нечего мне распространяться об этих последних шестидесятых годах, которые у всех в памяти. Другие времена, другие нравы, другое развитие. Но в сущности та же кипучая преобразовательная деятельность, тот же умственный подъем, искание лучшего, беспокойство, нервность, брожение, которое начинается радостным чувством избавления от внешнего врага и веяниями реформы самой дорогой, обращенной к низам государства, и которое прерывается польским восстанием и усложняется нигилистами и террористами, гильевщиками новой формы и нового содержания, порожденного веком революции. Делаются попытки произвести смуту в народе, для чего рассылаются поддельные грамоты, начинается хождение в народ, совершаются покушения и убийства. Но народ получил свободу и глух к этим возбуждениям. Несмотря на всю сложность положения, даровано земство и гласный суд и началась новейшая русская история, русская литература, русское искусство, русская наука.

Я беру столетия, это искусственное деление истории. Я не останавливался на промежуточных годах. Если шестидесятые годы носили известный отпечаток, то, конечно, причины их вырастали постепенно, как вырастали поколения. Надо упомянуть о шестидесятых годах XVI столетия, когда была учреждена Грозным опричнина, нарушавшая прежние интересы, поземельные, экономические и политические, и заявившая себя насилиями. Смутное время пошло отсюда в значительной степени. Потом прикрепление при Борисе крестьян, преследования боярства и самозванство вызвали нашествие «иноплеменных» и воровских своих людей, казачества, давно стремившихся к общественному перевороту. Поляки были в Москве, Владислав Жигимонтович был московским царем, хотя и не в Москве. Шведы господствовали в Новгороде, желая образовать там центр отдельного государства. Земская сила одолела смуту и избрала царя в 1613 году. Первое решение избрать царя относилось к 1612 г., в Ярославле, и именно этот год надо считать годом подъема земских сил всей земли и их гениальной организации под начальством Пожарского и Минина.

Прошло сто лет. Шведский король Карл XII повторил нашествие иноплеменных на Русь, соединившись с Мазепою и казачеством, и был разбит под Полтавою в 1709 году одним из наследников первого царя из дома Романовых, Петром.

Прошло еще сто лет, и Наполеон почти со всею Европою пожаловал в Россию и занял Москву, как занимал ее в 1612 году со своими поляками представитель Польши, Гонсевский. В этой армии иноплеменников были и потомки поляков 1612 года.

Таким образом, в течение столетий были три раза шестидесятые годы, похожие друг на друга, и было три нашествия иноплеменников на Русь, и всякий раз наша родина победоносно от них избавлялась, как вы видите, почти в те же самые годы: в 1612, 1709 и 1812. Говорю «победоносно», но эти победы стоили России огромных потерь и чрезвычайных напряжений материальных и нравственных.

Вы скажете, что эти повторительные события почти в одни и те же годы в начале столетий и в шестидесятые годы не что иное, как историческая случайность. Нет ничего легче, как объяснять случайностью всякое событие, домашнее и государственное. На самом деле между этими событиями должна существовать связь, должны быть преемственные причины. Есть стремления и усилия народов к известным, излюбленным, то сознательным, то полусознательным и даже инстинктивным целям. Необходимо известное пространство времени для того, чтобы собраться с силами, и тогда они неизбежно выступают вперед. Приподнятые силы требуют отдыха и раздумья, и следующие поколения растут при иных условиях, хотя эти условия нелегко определить и проследить.

Что ж далее? Так ли будет идти наша история, как прежняя?

Если три столетия начинались нашествием иноплеменных, неужели ныне ждать четвертого в первом или в начале второго десятка этого столетия?

Кто скажет?

Какие будут эти иноплеменники? С востока ли они придут или с запада?

Я не желал бы ни с востока, ни с запада и ниоткуда. Я желал бы нашествия разума и просвещения, мирного, плодотворного развития, которое сплотило бы нас внутри, освободило бы нас от многих язв еще не исчезнувшего наследия прежних времен и сделало бы неуязвимыми извне.

А вдруг последует и в этом четвертом веке нашествие иноплеменных, например, немцев? В то время, когда мы били шведов под Полтавою, на западе шла война за испанское наследство. Не предстоит ли войны за австрийское наследство? Не смутит ли она мир, не втянемся ли и мы в это?..

Я в одном уверен, что наша история пойдет теперь совсем иными периодами, если б даже и случилось нашествие. Что мы сделали в последние пятьдесят лет, того не делалось прежде столетиями. А это порука за будущее.

С Новым годом и с новым счастьем!

1 (14) января, № 9277

CDXII

Я прочитал две статьи г. де Вогюэ, французского академика и известного знатока русской литературы во Франции, явившиеся в «Revue des deux Mondes». Одна из них в первой августовской книжке прошлого года — о г. Максиме Горьком, которого он называет иногда в переводе на французский язык, Maxime l'Amer, другая — в первой январской книжке этого года — о г. Антоне Чехове. Оба писателя — любимцы современного общества, в особенности Горький, столь быстро приобревший популярность. Он точно Гамбетта, поднявшийся из осажденного Парижа на воздушном шаре, тогда как Чехов составлял свою репутацию в течение многих лет. Оба они — преимущественно рассказчики. Учителем их в анатомии сердца был Толстой. Для Чехова, реалиста, много значил реалист Мо-

пассан. В «Трех сестрах» есть одно лицо, которое постоянно носит с собою фотографический прибор и пользуется всяким случаем, чтобы сказать: «не двигайтесь!» и снять фотографию. Чехов поступает так же. Другие писатели в его стране воспевали ее, любили, поэтизировали, он ее фотографирует. Коллекция его снимков огромная, это кинематографическая лента, и лучшего сравнения нельзя найти, чтобы характеризовать его произведения. Он дает иллюзию движения жизни, и дает в той же степени, как кинематограф. Есть рассказы патетические, трогательные, но большею частью это — реалистическая, горькая живопись. Гибкий и необыкновенно плодовитый талант Чехова обнимает гораздо большую область русской жизни, чем талант Горького. У Чехова нет ни едкости Горького, ни его воображения, ни внутреннего подъема чувства, которое спасает монотонность рассказов Горького. Чехов интересует разнообразием своих наблюдений, часто их правдивостью. Может быть, слишком сказать, что он изображает провинциальное общество: он дает по большей части силуэты, положения, моменты. В его таланте есть частичка Гоголя, отца всех русских писателей, научившего наблюдать и рисовать действительную жизнь народа, частичка Толстого, как анатома сердца, и частичка Тургенева, особенно Тургенева «Записок охотника». Все это говорит г. де Вогюэ, а не я. Я передаю лишь его статью в печатный лист в самой сжатой форме. Ему не нравится роман «Дуэль». В нем нет ни движения, ни логики; лица очень последовательны в своих разговорах, в своих теориях, и необъяснимы в своих падениях и возрождениях. «Фома Гордеев» Горького также не удовлетворяет его как роман. Оба писателя с романом не могут справиться. Драмы Чехова навеяны Ибсеном, скорей внешностью приемов этого норвежца, а не внутренним его содержанием, не поэзией его символов, не жестоким индивидуализмом его романтических героинь. Лица его драм — все неудачники. Действия очень мало. Чехов как будто говорит своим зрителям:

— Идите: я хочу вас развлечь, показав вам самое пошлое, самое скучное в вашей стране, в вашей ежедневной жизни; вы все, как и мои герои, стремились к тому, чтобы выбраться из мрачного болота, так я вас опять погружу в него на несколько часов и докажу вам, что невозможно из него выпутаться.

И он успевает в этом, показывая русским, как они скучают. Лучшей драмой французский критик считает «Дядю Ваню». «Три сестры», по его мнению, могли бы иметь успех на парижской сцене... успех безумного смеха (un succ s de fou rire), и он отказывается понимать слезы русской публики, проливаемые над участью «Трех сестер».

О Горьком г. де Вогюэ написал вдвое больше, чем о Чехове. Пользуясь книжкой г. Боцяновского, он подробно рассказывает la vie amère de Maxime l'Amer. Эта жизнь и воспитала его талант и дала ему темы для его рассказов. Он романтик в первых своих рассказах, построенных по Пушкину и Лермонтову. Вспоминается Печорин, вспоминаются «Цыганы» Пушкина. Но потом он обратился к бродягам, к работникам и в нем произошла та же эволюция, что у Гоголя, который после «Тараса Бульбы» обратился к «лирическому реализму». По выбору сюжетов, по манере трактования их, он часто напоминает Жюля Валлеса и его «Les réfractaires». Он представляет нам с изобилием, иногда монотонным, такой же кинематограф, как и Чехов, но с видами специальными, с фигурами отверженных. У него нет ни интриги, ни романического действия даже в длинном романе («Фома Гордеев»). Он берет свои лица в их ежедневной жизни, рисует их силу-

эты, заставляет говорить, рассуждать. Его реализму помогает лиризм, язык его образен. Благодаря своему самовоспитанию, он обладает хорошим преимуществом перед писателями, проходившими школу: правдивостью жестоких ощущений, которые он описывает по собственному опыту, ощущений усталости, холода, голода, в особенности голода. Г. де Вогюэ, кстати, сравнивает русский реализм с французским. Картины, изображенные русским писателем, могут быть грязны, отвратительны, циничны, но они никогда не возбуждают чувственности. Русский писатель видит во всех этих картинах только жертвы условий русской жизни, и его внимание занимает только психологическое явление: во всем другом описания дурных мест так же трезвы, как трагедия Расина.

Какое же общее впечатление от рассказов Горького вынес французский критик? В отдельности каждый рассказ заинтересовывает рельефностью образов, меткостью наблюдений, живым полетом мысли, где лирические чувства чередуются с искорками насмешливого юмора. Но по мере того, как подвигаешься в этой галерее офортов, их разнообразие тает в монотонном ощущении гнетущей тоски; тяжелый кошмар удручает ум и становится невыносимым. Память, которую они угнетают, в конце концов смешивает их всех и сливает воедино с их коноводами в трущобе, содержимой отставным капитаном Кувалдой, в ночлежном приюте, где сходятся каждый вечер «бывшие люди». Автор собрал в этом социальном аду самых типичных из своих обычных героев; они приходят туда разглагольствовать среди пьяной икоты, они вращаются там, как осужденные грешники-мономаны в заколдованном кругу: рассуждают и пьют, пьют и рассуждают. Просветительный анализ, которому они подвергают свое нравственное падение, завершается штофом водки, в которой они топят свою совесть.

«Можно сказать об их историографе, что он свои краски разводит водкой; это особое человечество купается в алкоголе: алкоголь струится потоками по страницам; его пары окутывают все рассказы Горького каким-то белесоватым, мрачным облаком, подобным тем, что носятся в серых небесах, неизменно тяготеющих над его ландшафтами. Читая его, так и кажется, будто вся Россия не что иное, как обширный кабак в каком-то темном подземелье, пропитанном потом, салом, керосином и где пропойцы в отрепьях лентяйничают, охают, проклинают, выплевывают друг другу в лицо свои истины и утопают в океане водки. Читатель в омерзении просит пощады; он захлопывает с чувством отвращения и утомления книгу, начатую с удовольствием. Повторение этих мрачных, тусклых образов оставляет в нем тошноту, как с похмелья, недомогание, для которого на русском языке существует богатая коллекция выражений — существительных, прилагательных, глаголов и которое французы обыкновенно называют «le mal aux cheveux»

Каков же вклад, внесенный до сих пор в общество Максимом Горьким?

Оставив в стороне талант, — он несомненен, — баланс писателя нетрудно установить: до сих пор он не внес ничего, кроме отрицаний. Его предшественники наделили свое отечество наследием идей и чувств, которыми жила русская мысль; видно, с какого конца Горький починает это наследие, но не видно, чем он дополняет его.

В его «Рассказах» нет ни одной страницы, в которой сквозила бы забота нравственная или религиозная, или попросту интерес к какому-нибудь порядку идей. Произведения Толстого — долгое вопрошание перед тайной вселенной, тщательное исследование первейшей потребности человека, искание смысла жизни, беспрерывная забота о своем нравственном совершенствовании. Тургенев скло-

нялся над народом, представлял его в образах, облагороженных самыми трогательными добродетелями, мужеством и самоотверженем; перо его распилило оковы, державшие этот народ в рабстве. С Достоевским повеяло над Россией горячее дуновение нежности и братства: основным чувством его творений была жалость. Раньше Горького и не менее усердно он водился с босяками, он знавал их даже на каторге. Пьяница Мармеладов и Соня из «Преступления и наказания» проложили дорогу пропойцам и падшим женщинам, которыми кишат рассказы Горького, но до какой степени они разнятся от существ однородных своей смиренностью, кротостью, сокровенной красотой души! Можно вышучивать «религию человеческих страданий»; тем не менее она порождала лишь добрые инстинкты.

Герои Горького ужасаются перед всякою уздою, проповедуют свободу страсти, восхищаются силою. Вы видите грядущего сверхчеловека или возвращающегося романтика, что одно и то же. Это обращение вспять, далее его ближайших предшественников, к аристократическому идеалу романтизма. Горький демократизировал свой идеал — вот и все. Дворяне — герои Пушкина и Лермонтова — страдали разочарованностью жизни в салонах Петербурга. Онегин и Печорин ожили вновь в своих плебейских внуках — Челкаше, Сережке, Коновалове. Они утратили свое природное изящество, обменяли байроновский плащ на мужицкую красную рубаху; они ходят босиком, говорят грубым языком, пьют водку вместо шампанского; в остальном они напоминают старое; всюду сквозит все то же больное, истомленное. Романтический «лев» остается тем же, чем он был встарь и каким наш разум видит его в натуре сквозь различные литературные обаяния, увлекавшие наше воображение: молодым животным, себялюбивым, гордым, разнузданным. В таком тесном кругу вращаются в течение времен наши умы, жадные до всего нового! «Я настаиваю именно на воскрешении этого плохо замаскированного романтизма, потому что это явление совершается помимо Горького, помимо России и характеризует во всей Европе писателей, пользующихся известностью у новых поколений. У Горького мы еще чувствуем звенящую вибрацию; его плохо подавленный романтизм тлеет под золой; и возбуждающий протест, который чуется в его сердце, придает смысл его картинам нищеты. Но Чехов не вибрирует, не «протестует», это виртуоз, овладевающий модными сюжетами. Вот, может быть, почему его картины, несравненно менее мрачные и резкие, чем у Горького, оставляют в нас, однако, впечатление еще более скорбного человечества».

Когда во Франции молодые литературные школы начинают смущать обычное течение литературы, — говорит г. де Вогюэ, — то, хотя и не всегда справедливо, мы говорим о них: «это маленькая группа, которая ничего собой не представляет». Но в России другое дело: все те, которые ведут и удовлетворяют интеллигенцию, пишут теперь в одном диапазоне. Под властью жреца Толстого, Чеховы и Горькие царствуют над воображением. Массы людей, живые силы завтрашнего дня, убаюкиваются этими советниками уныния (découragement); они довольствуются этими личинками нравственных идей (de ces larves d'idées morales), этою азбукою фатализма. Чего же желают эти русские, куда они идут с этим запасом? — спрашивает симпатизирующий России г. де Вогюэ.

Куда идут? Вопрос очень мудреный. На него разве можно отвечать только русскою поговоркою: куда кривая вывезет...

Но завтра мы поговорим еще об этом.

7 (20) января, № 9283

CDXIII

Г. де Вогюэ так заканчивает свой этюд о Чехове и Горьком, начало которого я рассказал вчера.

«Во времена крепостничества грусть первых писателей, занявшихся народом, была сразу понятна. Существовало лишь одно вероятное объяснение для насмешек Гоголя, для гневных выходок Некрасова, для меланхолических сетований Тургенева и Достоевского: народ в рабстве не мог быть иным, как мрачным и уродливым; надо было воскрешать, освобождать эти мертвые души. Но вот совершилось освобождение крестьян, протяжный вздох облегчения приветствовал это событие, и надежда возродилась во всех сердцах. Кажется, явилось основание надеяться на радостное прояснение в мысли писателей; но вышло наоборот — мысль эта омрачалась все более и более. Прошло сорок лет — новейшие писатели еще более едки, еще более мрачны, еще более сбиты с толку, чем их старшие собраты. Как мягки и животворны кажутся жалобы старейших писателей перед этими произведениями, где философский нигилизм приводит к полной прострации духа!

Под общими чертами, обусловленными расой, климатом, национальным темпераментом, под привычками мысли и стиля, внедренными первыми творцами русского романа и театра, можно различить глубокие изменения в нравственной личности новых писателей и их читателей. Против всякого ожидания эти изменения совершаются не в смысле тяготения к Западу, не в смысле подчинения русских умов той логике, которая управляет нашими. Проследите внимательно за кривой линией, не говорю уже от Пушкина и Тургенева, этих отъявленных европейцев, а даже от первых произведений Толстого и до таких писателей, как Чехов и Горький: далеко не замечается сближения между славянским гением и латинским, напротив, коренные различия еще более углубились. Положим, наиболее прыткие из этих литераторов заимствуют у нас формы, рецепты для достижения успеха, но их внутреннее существо не поддается тому, что есть существенного в нашей дисциплине. Чем более я вдумываюсь, тем больше я укореняюсь в мысли, которая преследует меня с тех самых пор, как я начал наблюдать явления русской жизни; если есть исторический и философский полюс, к которому естественно притягивается ум русского народа, так это буддизм. Конечно, речь идет не о религии, носящей это название, но об интеллектуальном и нравственном складе, откуда проистекла эта религия со всеми ее последствиями. Это утверждение нетрудно было бы отстоять на основании аргументов, извлекаемых только из произведений литературы: вопреки некоторым судорожным призывам к жизни и действию, нигилизм все более и более упраздняет в них самый принцип жизни; он отвергает с отвращением все проявления жизни и все ниже опускается по бесконечной спирали нирваны.

Но как согласовать эти взгляды и мрачное уныние, по-видимому их подтверждающее, с тем, что нам известно из других источников о нации молодой, мощной, с каждым днем все более и более жадной к усвоению нашей цивилизации и все более искусной в пользовании ею? Единогласно признано экономическое развитие России; во всех отраслях промышленности, в науках, в искусствах проявляется усердный, плодотворный труд. Эта нация честолюбива, как и подобает

ее юности и ее величию. Успехи, одерживаемые ею в свете, направляются ее бдительностью и методой, они свидетельствуют о практическом смысле настолько же, как и о способности к распространению. Вот признаки жизненности, которые не согласуются с созерцанием пупа; печать буддистского отречения не обнаруживается нимало на физиономии русского работника и завоевателя. Буддистская Индия, — можно на это ответить, — пользовалась материальной цивилизацией, не уступавшей по своей утонченности никакой другой; эти созерцатели, отрешенные от жизни, размножились, их дух, если не их раса, завоевал более двух третей мира, тогда известного».

Разница между «старейшими» писателями и новейшими, на что указывает г. де Вогюэ, зависит от воспитания и образования их, от среды, в которой они жили, от смуты в умах, которая последовала после освобождения крестьян, нигилистического движения и проч. Постепенно увеличивался и видоизменялся читатель. При «старейших» писателях он был несколько брезглив: ему, как и г. де Вогюэ, было бы противно читать страницы, «по которым струится алкоголь», и проч. Все изменилось под нашим Зодиаком...

Дальнейшие умные и доброжелательные размышления г. де Вогюэ слишком «литературны»,т. е. слишком отвлеченны. Кому из наших критиков могло придти в голову, что наш философский и исторический полюс — буддизм, что нигилизм упраздняет у нас принцип жизни и спускается все ниже по бесконечной спирали нирваны. Что нигилизм дошел от Базарова до Сережки или Кувалды, в этом ничего нет удивительного. Может, и Базаров-то занял его у Сережки и Кувалды, которые испокон века говорили, что жизнь — копейка, а судьба — индейка, и отрицали решительно все, кроме водки. Водка помогала разогнать тоску и прогоняла отрицание. У нас есть целые религиозные секты отрицателей. Жизнь наша трудная и тяжелая в этом дрянном климате, в котором мы живем, и отрицание наше едва ли философское, если под философией разуметь системы мышления. Оно скорей ругательное. Наши тяжелые исторические условия, междоусобицы, татарское иго, бесконечные завоевания, крепостное право, бесправие, неустроенный гражданский быт, самая погода, все это так крепко сидело на нас, что оставалось только ругаться. А ругань есть, конечно, отрицание, и если в ругань подлить немножко идеек и побольше алкоголя, то вот и выйдет, пожалуй, философия. Г. де Вогюэ и указывает на это маленькое количество идей у героев новой формации. Это обстоятельство отчасти объясняет то недоумение почтенного критика, который не видит сближения славянского гения с латинским.

Нет, буддизм тут не причем. Смесь Азии и Европы у нас существует, и мы переживали и переживаем это состояние. Не у нас явились энциклопедисты, Contrat social, Кант, Фурье, Конт, Лассаль, Карл Маркс, Ренан, Гегель, Шопенгауэр, Ницше и проч. У нас было только два философа, Сковорода и Вл. Соловьев. Мне думается, что зреет еще Розанов. Как женская мода, все у нас шло из Европы и все достаточно уродовалось, ибо приходило по частям, кривыми путями, намеками, популярными статейками. Все просеивалось сквозь сито: что для муки хорошо, то для идей не хорошо. Умственная западная дисциплина, о которой говорит г. де Вогюэ, образовалась там при свободе широкого знания и исследования. Мы не имели этого преимущества и мало серьезно учились. Мы по большей части получали лохмотья и делали себе из этого костюм. Дары умственной Европы часто напоминали нам того дьячка, который писал сыну-семинаристу: «Посылаю

тебе старый халат, а ты сделай себе из него новые штаны». Попробуйте-ка! А у нас делали новые штаны из старого халата и в них щеголяли и щеголяют. Разве не эта философия у Кувалд и Сережек и даже у братии повыше их.

О нашей мрачности можно говорить много и серьезно. Теперь замечу лишь, что в этой мрачности есть условность, напускное, модное, внушение и самовнушение, помимо всего прочего. Народ гораздо веселее интеллигенции даже тогда, когда не выпил. Единственный у нас веселый писатель — Гоголь. Но и тот, придя к нам из благословенной Малороссии и видя скучные, хмурые и торжественные лица, поспешил сказать, что его смех есть смех сквозь невидимые слезы. Ему, вероятно, неловко было, что смеются до слез, читая и видя на сцене его произведения. И с тех пор наши критики взапуски повторяют это изречение и комментируют его и в стихах и в прозе, как невесть какое открытие, точно не было ни Аристофана, ни Мольера. Таким образом, нам и смеяться нельзя по-европейски. Мы должны хныкать, ныть и подражать женской истерике. И мы это удовлетворительно исполняем. Веселые вещи в театре — все почти переводы и переделки с немецкого и французского. Даже немцы, серьезные немцы могут смеяться, а мы нет. Как только явится что-нибудь смешное, сейчас — «балаган». Аристократы, черт возьми, с народом не мешаемся! Что народу смешно, то нам должно быть грустно. Разве когда нас винные пары разберут, тогда мы начинаем хохотать и говорить глупости. У нас все драмы. Наши водевили есть драмы. Г. де Вогюэ справедливо говорит, что «Три сестры» Чехова на парижской сцене возбудили бы хохот. А мы плачем и рыдаем. Одна знакомая мне дама даже заболела от слез на «Трех сестрах». «Бедные, — говорит, — у них любви нет». И плакала навзрыд. Вот, кстати, Чехов. Это превосходный юморист. (На это г. де Вогюэ не указал: вообще его этюд о Чехове односторонен.) Он мог бы сделаться наследником Гоголя, как юморист. Тоже из солнечного, приморского юга, он любит даже клоунов, как комиков. Его водевили и некоторые рассказы брызжут смехом. А он вот не смеется и стал изображать трагедию скуки вместо того, чтобы изображать ее комедию.

Мы — самый бессистемный народ в Европе. Г. де Вогюэ говорит, что «призывы к жизни и действию» у нас «были судорожные». Это от войны. Мы слишком долго воевали, а война есть судорога, и к судороге мы привыкли тем скорее, что и наши времена года не постепенно переходят друг в друга, как в Европе, а именно судорожно. Судорожно наступает весна, судорожно зима сковывает природу. Судорогами образовались и судорогами действовали самодуры Островского. Нам трудно жить, и тем необходимее нам успокоиться, войти в себя, действовать систематически. Когда это будет, не знаю. Но, по-моему, военная судорога мешала нам и в установлении учебной системы. Во всем мире она развивается из своего корня, а затем за деревом ухаживают, срезают засохшие ветки, наблюдают за корою, листвою, цветением, плодами и все это умеючи, осторожно. А у нас как будто корня-то и нет еще, а есть какое-то перекати-поле, без корней. А от этого многое зависит. Но, несмотря на все это, о нас, как о солнце — Галилей, можно сказать, e pur si muove, а все-таки движется. Не только движемся, но и задаем загадки Европе. Опустилось — будем думать, что только материально — дворянство, явятся другие сословия. Есть у нас еще нетронутый народ, из которого могут выйти таланты, гении, и он напомнит Ломоносова. Умственная первобытная сила у нас очень велика, и запас ее огромный. Надо, чтоб она училась и про-

изводительно работала. И когда я слышу, что говорят: «все смелется», я твердо верю, что других таких богатырей не только нет, но и быть их не может. Противообщественная накипь, бездомники и бродяги могут грозить всякой разнузданностью, всяким разрушением — об этом упоминает г. де Вогюэ, — но в нашей истории было это не раз и было в размерах чрезвычайных, как Разин, как Пугачев, как самозванщина и ее босяки и бродяги с их речами, их пьянством, их преступлениями и всяческим отрицанием. И все перемолола русская мельница и обратила в муку. «Я хотел бы мир разрушить. Это такая дрянь, что выеденного яйца не стоит». Мало ли чего бы ты хотел, да «хотей не велит», говорит пословица. Здравого смысла у русского народа пропасть, и он велик этим смыслом, и этот смысл нам порукой тому, что все сгладится, все окрепнет, буддистами мы не сделаемся, а будет идти работа непрерывно в нашем громадном царстве, и, несмотря ни на что, ни на какие кривые, оно будет расти.

8 (21) января, № 9284

CDXIV

Ни для кого не секрет, что министр финансов совсем не persona grata у русского помещика. Напротив, русский помещик давно поверил тому, что министр финансов игнорирует сельское хозяйство и старается только об одном: во что бы то ни стало развить русскую промышленность, хотя бы при помощи иностранных капиталов. А сельское хозяйство если погибнет, то тем лучше, ибо тогда вся Россия поневоле станет заниматься промышленностью, усадьбы обратятся в фабрики и фабрички, конюшни — в конские заводы, риги — в мельницы, скотные дворы — в маслобойни что ли, в сыроварни, в фабрики консервов, глинистая почва даст кирпичи и т. д. Золотая валюта особенно была неприятна помещику. Сколько мне ни толковали о том, что чем бумажный рубль будет ниже по курсу, тем лучше для помещика, я никак не мог понять одного: почему же это лучше для Российской империи? Ведь Российская империя состоит не из одних помещиков, и, если существовало крепостное право, которым пользовались они, то это было до потопа, и радуга 19 февраля не исчезнет с нравственного горизонта русской земли до скончания века.

Годами распространялось мнение, что падение сельского хозяйства зависит чуть ли не всецело от финансовой нашей системы. И вот министр финансов поставлен в главе комиссии, которая должна отыскать средства для подъема сельского хозяйства. Это не только высочайшее доверие, но еще и высочайшее доверие государя.

Учрежденная комиссия как бы становится в центр нашего бюджета. Министр финансов должен выслушать мнения компетентных лиц, выслушать, быть может, откровенную критику на свою финансовую систему, защищать ее в принципе и подробностях и отыскать ресурсы для подъема сельского хозяйства. На него обращены все взоры, как на талантливую личность государственного человека, сильного умом и энергией, всегда одушевленного желанием принести государственную пользу, но, может быть, слишком большого и увлекающегося математика. То, что говорилось намеками в печати и весьма откровенно в собраниях дворян и в усадьбах помещиков, за зелеными столами во время карточной игры,

распространенной в сельском помещичьем хозяйстве гораздо больше, чем плуги или сельскохозяйственные журналы, все это руководитель финансов выслушает из уст членов комиссии и тех специалистов по сельскому хозяйству, которые будут призваны в комиссию.

Лучше и решительнее этой меры ничего нельзя было придумать как для реформы сельского хозяйства, так и для разъяснения вопроса, насколько зависит оно от бюджета и сколько бюджет может отделить для сельского хозяйства, если оно терпит от недостатка средств. Все нападки на финансовую систему будут разъяснены, а между ними много того вздора, который при малой дозе здоровой гласности у нас вырастает в великолепно развитую сплетню, которая вываривается то в раздраженных, то в пустых мозгах и парами распространяется повсюду, влетая в двери, в окна, в трубы и щели. Даже глухонемые чуют носом этот пар сплетни и передают ее друг другу знаками. Ее пьют, как водку и шампанское, ею закусывают, ею душатся, из нее принимают целительные ванны. Она целительна для пошлой души, ибо она утешает, обнадеживает, сулит журавля в небе, родит острое слово, ласкает одних и в угоду им жалит других. Она соблазнительна, как распутная женщина, умеющая показывать и доказывать свои прелести, истощать ум и сердце, вытряхивать из человека всю порядочность и все здравомыслие. Эта великая бестия властвует у нас так, что против нее нет других средств, кроме здорового умственного движения и здоровой созидательной работы.

Такая работа, по моему мнению, и заключается в задачах комиссии, высочайше учрежденной.

Принципиальные вопросы в ней, конечно, могут быть выяснены в непродолжительное время, но для поднятия сельского хозяйства потребуются годы и годы. Это не пушки новой системы отлить, не построить броненосцы. Отпустил потребную сумму, и работа закипела, срочная по строгому контракту, с неустойками. В сельском хозяйстве дело стоит гораздо сложнее. Сельское хозяйство, хозяйство деревни, помещика и крестьянина, непременно их обоих, ибо они связаны историей, бытом, экономическим строем. Все, что следует сделать для помещика, все это необходимо сделать и для крестьянина. Нехорошо и помещику, нехорошо и крестьянину. Надо так устроить, чтоб они взаимно друг другу помогали в силу общего интереса и взаимного доверия. После освобождения крестьян и до настоящего времени взаимного доверия и общего интереса именно не было. Все жалобы помещиков на крестьян и крестьян на помещиков, справедливые и, может быть, несправедливые, происходили именно от того, что не было надлежащей связи в деревне, между помещиком и крестьянином. И помещик нуждался в капитале, который он мог достать только под залог своей земли, и крестьянину нечем было подняться вследствие отсутствия мелкого кредита. Этот кредит давал ему помещик в виде ссуды за будущую работу. Необходимо, чтобы крестьянин имел кредит в мелких крестьянских ссудных банках и других учреждениях, которых у нас необходимо прямо множество, и стал бы независимее от безвыходной нужды. Кто жил в деревне, тот знает, что для крестьянина иногда десять рублей значат чрезвычайно много, и сто рублей — большая сумма для многих помещиков.

Комиссия составлена из опытных, знающих и выдающихся государственных людей. Всем им предстоит сложная и прямо великая работа. Ввиду этого необходима бодрость и у руководящей власти, и у руководящих общественных клас-

сов. Бодрость зрелая, умная и сильная, не боящаяся критики и умеющая постоять за себя, без всяких комплиментов направо и налево и без обычных лишних слов, которых теперь больше, чем когда-то было «лишних людей». А между тем...я прочел, например, мнение одного из уездных предводителей дворянства, который заявил, что в «русском дворянстве не угасло *бескорыстное* стремление в живом общении и при полной равноправности с другими сословиями русской земли трудиться над постепенным водворением такого порядка вещей, который составляет необходимое условие нормального общественного и государственного роста нашего общества»,

Прекрасная кудрявая фраза. Но одну кудельку из нее надо было бы отрезать, именно *бескорыстное* стремление. Искреннее бескорыстие является только в великие подъемы человеческой души, совершающей подвиги; все остальное, раздумчивое, обыденное — совсем не бескорыстие. Служба вознаграждалась и вознаграждается деньгами, чинами, поместьями, арендами и т. д. Даже гении не бескорыстны, не то что предводители дворянства. Честолюбие, самолюбие, борьба за свою собственность и независимость, борьба за порядок, за славу свою — все это в известной доле корыстно, ибо все в известной доле эгоистично, во всем на первом плане — свое собственное *я*, свое достоинство, своя репутация. Бескорыстие — не только праздное слово, но обманное слово и в лучшем случае самообманное. Оно как бы приглашает другие сословия преклоняться перед этим бескорыстием. Оно как будто дает преимущество тем, которые говорят о своем бескорыстии. Надо дело, необходим бодрый труд и бодрые здоровые взгляды на свои обязанности, на свою службу России и на свои собственные интересы. Никто не приглашает к жертвоприношениям и бескорыстию. Свои собственные интересы можно ставить впереди, если человек способен соединять их с интересами других и умеет понять и полюбить их общность; отсюда и вырастают общие интересы и здоровая работа, а не из бескорыстия, которое всегда туманно и даже лениво.

А туман и леность надо нам забыть, забыть и забыть, как авоси и небоси. Эти две подлые шельмы, затесавшиеся в русский язык, к счастью, всегда куда-то прятались, когда наступали времена серьезной и упорной работы или когда Русь воспламенялась патриотизмом.

Вот оно это слово, которое так давно употребляется с прилагательным «квасного». Но квасной патриотизм, мне кажется, мы пережили, и не патриотизм, а пессимизм пора называть квасным, ибо он распространяется, как квас, и своей надоедливой, шипящей кислотою совершенно напоминает этот всероссийский напиток, пучит нам желудки и ослабляет биение сердца.

27 января (9 февраля), № 9303

CDXV

— А знаете, сударь мой, вы все наверно преувеличили.

— Что такое?

— А задачи Высшей комиссии. Вы сказали, что этой комиссии предстоит «великая работа»?

— Сказал.

— Откуда же вы это взяли? Никакой программы не опубликовано.

— Программа опубликована, напротив.

— Говорится о сельской промышленности. Я люблю точность.

— То есть о всем сельском хозяйстве, о всех отраслях «народного труда». 19 февраля дело шло главным образом о крестьянской свободе, а об устройстве сельского состояния только в самом элементарном виде, наскоро, поверхностно, причем работа была так огромна, что нельзя было всего предвидеть, да никто и не предвидел, как пойдет сельская жизнь. Сорок лет показали, что она нуждается во многом очень существенном и важном. Уж так идет наша история, что правительство является инициатором во всех вопросах, что без его инициативы, руководительства и помощи ничего важного не делается. В сущности, оно возвращает или считает справедливым возвратить то, что государство в течение истории брало с своего народа, чтоб обстроить Империю, округлить ее границы, организовать служилый класс, армию, устроить разные необходимые учреждения и проч. Помните, как прошли эти сорок лет. Мировые посредники, мировые судьи, урядники, земские начальники. Подушная подать, ее отмена, уменьшение выкупных платежей, крестьянский банк — существенное дополнение к акту 19 февраля, дарованное Александром III, им же созданное министерство земледелия и особые суммы для покупки земель для крестьян, дарованные государем. Из этого краткого напоминания о ходе крестьянского дела, об его новейшей истории, видно, как правительство принималось вводить порядок в деревне. Вводя порядок, оно заботилось и о возможной помощи благосостоянию крестьян. Но нельзя сказать, что эти меры отличались систематичностью, что они выходили из какой-нибудь твердой, заранее намеченной программы. Скорее они носили печать случайного настроения и даже иногда противоречия. История первых двадцати лет после 19 февраля отличалась бурным, неустойчивым характером, с польским восстанием, земской и судебной реформами, революционною пропагандою, войною с Турцией и т. д. До сельского ли тут было хозяйства? В другие двадцать лет сделано то существенное императорами Александром III и Николаем II, о чем я уже доложил вам. Потом голодовки, обеднение центра, кое-какие проекты в смысле помощи сельскому хозяйству помещиков. Как видите, все это так случайно было, так было нестройно, что неизбежно пересмотреть все прошлое и настоящее и начать строить крепкое здание. Я несколько удивился, что князь Мещерский смотрит на Особое совещание только как на помощь земледелию. Он говорит о «дремлющем состоянии нашего земледелия» и «единственном его виновнике — составе его производителей, в их нравах, в их привычках, в их взглядах, словом, в области всех их отношений к сельскому хозяйству». Сельские хозяева спят и, если они «не проснутся, то вряд ли Совещание в состоянии будет придумать магическое средство вдохновить святым огнем наших сельских хозяев и сделать их подобием, например, германских аграриев».

Вот оно что! Сельские хозяева спят. Их надо разбудить каким-то «святым огнем», чтобы сделать из них германских аграриев. Сбрызни их живой водой, и они пойдут охорашиваться да разгуливать! Много ли таких дворян, желающих закупориться в германских аграриев? Русь — особая статья, у нас невозможны ни английские лендлорды, ни немецкие аграрии. Такие построения будут на песке и способны только тешить весьма немногих богатых помещиков, и без того едва ли

имеющих право жаловаться. Хорошо говорить о «спячке» сельских хозяев из петербургского кабинета. Надо бы попробовать и поглядеть на весь дворянский и крестьянский быт, как глядели и исследовали его перед освобождением крестьян. Все перепуталось — и юридические отношения, и земельные, и административные. Сорок лет практики не могут не дать практического материала. Сорок лет большинство дворянства недаром кипело в своем желании и энергии — она была, эта энергия, — построить сельское хозяйство, и в головах этого дворянства, более образованного в своей массе, чем оно было до 19 февраля, есть здоровые мысли и крепкие убеждения совсем не во вкусе германских аграриев.

Нет, история говорит не то, и Особое совещание призвано совершить действительно «великое дело». 23 января 1902 года, день высочайшего повеления о «выяснении нужд сельскохозяйственной промышленности» и связанных с ней «отраслей народного труда», может стать знаменательным днем, в который решено довершить 19 февраля 1861 года.

Начало освобождения крестьян отличалось такими же скромными высочайшими указаниями, как и высочайшее повеление 23 января. Ни там не было никакой пышности, никаких громких обещаний, никакого кричащего красноречия, как нет ничего подобного и в повелении 23 января. Хорошее дело само за себя говорит, и Бог ему помогает.

— Даже Бог?

— Непременно Бог. Начинающееся дело — дело добрейшего сердца государя, который берет на себя «дальнейшие указания» для работ. А доброте Бог покровительствует. В скромных четырех параграфах его повеления, по моему мнению, так много сказано, что я имею право догадываться, что это Высшая Комиссия, как ее уже называют в обществе, или Особое совещание, как оно называется официально, будет плодотворна. Это — именно работа созидания, это — движение вперед от того же начала действительного благоустройства Руси, которое обновило ее и дало ей новую жизнь.

— Все это ваши догадки, — сказал мне приятель.

— Догадки? Да, догадки. Радостно делать такие догадки. Они сами собой толкаются в сердце русского человека, достаточно измученное сомнениями, противоречиями, сплетнями, шуточками, измывательством, взглядами далеко назад, в дореформенную Русь, и тем холодно хохочущим или мрачно воющим настроением, которое открывает двери в ... область весьма нежелательную.

— При чем же тут министр финансов? Он, кажется, никогда и помещиком не был?

— В Особом совещании есть и некрупные, и весьма богатые помещики, как министр земледелия А. С. Ермолов, специалист по сельскому хозяйству, министр внутренних дел Д. С. Сипягин, С. Д. Шереметев, граф Воронцов-Дашков, г. Чихачев и проч. А что министр финансов и председатель вместе с тем не помещик, может, оно и лучше. Он хорошо знает источники бюджета, силы населения и теперь будет еще иметь возможность многое узнать в самом этом Совещании и судить объективно. Я отлично понимаю, почему он не persona grata у помещика. Помещик несомненно беднел, его имение шло с молотка. Иногда каторжный труд разбивался о потребности интеллигентной жизни и частью о барские привычки. Казна не шутит и не может шутить. Он видел и, с другой стороны, как богатела обрабатывающая промышленность, как легко наживались на бирже,

как устраивалось, удесятерялось состояние на биржевой игре, без всякого труда, при чрезвычайно легком кредите. Кто виноват? — Министр финансов. Он — разоритель. Виновного всегда ищут во всех несчастиях и во всех неудачах и чрезвычайно легко обыкновенно находят. Сто раз упадешь благополучно, в сто первый — ногу сломаешь и непременно ищешь виновного. Падающие на пол дети бьют сквозь слезы половицы, и няньки им помогают бить. Виновато общее положение, общее неустройство, наша история виновата, если историю можно звать к ответственности. Некрасов превосходно и образно сказал, что цепь крепостного права, порвавшись, ударила «одним концом по барину, другим по мужику». Великие реформы не проходят даром и нанесенные ими раны долго болят, гноятся и, подживая, при худой погоде, дают о себе знать щемящей болью. Я никого не хочу ни обвинять, ни защищать. Я хочу только характеризовать общее положение, насколько я его пережил и насколько оно мне ясно. А в этом положении не может быть одного виновника, как нет одного виновника ни в каком большом событии. Виновников не только много, но их множество. Мы должны помнить, что пережили в сорок лет большую революцию, да, настоящую революцию с такой великой и неповинной жертвою, как Царь-Освободитель. Я каждое большое мгновение в этой революции хорошо помню, я наблюдал его близко, впечатлительно, и, что меня больше всего удивляло — это необыкновенное легкомыслие всех, лживость, лицемерие или безучастие. И на это были исторические причины. И я говорю теперь с радостным чувством о созидательной работе, и мне хочется того порядка, который нельзя устроить, не зная всей Руси, всех ее нужд и потребностей. И сколько осталось у меня одушевления, в мои старые годы, я хотел бы передать его всем, я хотел бы мира и примирения, хотел бы свободного обсуждения, прямого и честного для великой государственной работы и для славы государя.

29 января (11 февраля), № 9305

CDXVI

Москва, 5 февраля

Общественным образом мы очень выросли, что бы кто ни говорил, кто бы ни тосковал и ни скорбел. Я укажу на один пример этого роста.

Теперь готовятся к юбилею Гоголя, как готовились к юбилею Пушкина, того Гоголя, о котором после его смерти нельзя было сказать, что умер великий писатель. Дерзнувший сказать нечто подобное, Тургенев попал за это под арест. А теперь вся Россия, вместе с правительством, в лице министерства народного просвещения и императорских театров, готовятся отпраздновать пятидесятилетие со дня кончины великого писателя, который стоит рядом с Пушкиным, как рядом стоят Великороссия и Малороссия. Пушкин и Гоголь — это вся Россия, это — неразрывный союз русского народа в его главных отраслях. Великий учитель и великий ученик.

А знаете ли, кто был забыт еще так недавно? Кто не имел своего юбилея и кто имел на него несомненное право, как писатель-художник, как писатель-сатирик и политик, как провозвестник общественной нравственности в ее благороднейшем выражении?

Грибоедов, автор бессмертной комедии «Горе от ума»...

У него не было юбилея. Никто не праздновал пятидесятилетия после его смерти, и оно прошло, ничем не ознаменовавшись. Грибоедов был убит 30 января 1829 года в Тегеране не без косвенного, кажется, участия англичан, которые видели в Грибоедове сильного противника своей политике в Персии. Создатель «Горе от ума» и Туркманчайского договора погиб под ударами убийц, как мученик своего долга, как верный слуга своего государства и отечества. Своей комедией он опередил свое время. Он видел ее на сцене только один раз, в Эривани, на офицерском театре. В очень урезанном виде она дана была в Петербурге, на императорском театре, 26 января 1831 года и в 1833 году была напечатана в том же урезанном виде. Зато она разошлась в рукописях в десятках тысяч экземпляров и делала свое дело, влияя на общественную совесть. По действующему тогда законодательству, которое ограничивало посмертную литературную собственность двадцатью пятью годами, в 1854 году комедия явилась снова в печати, но снова в том же урезанном виде. Двадцатипятилетия после смерти писателя было недостаточно для того, чтоб его благороднейшие стихи могли явиться в печати. Надо было еще несколько лет, чтоб «Горе от ума» получило полное гражданство в печати и затем еще несколько лет, чтоб оно в этом полном виде явилось на сцене.

В день пятидесятилетия смерти Грибоедова «Горе от ума» было сыграно на Александринском театре без всяких чествований, которые теперь столь обычны. Давая отчет об этом представлении в «Новом Времени», я сказал, что после окончания спектакля на сцене был выставлен бюст Грибоедова, что артисты увенчали этот бюст лавровым венком и что публика восторженно приветствовала это увенчание. Публика прочла это, как действительный факт, не заметив в оглавлении газеты слова «мистификация», которое стояло под моей заметкой. На другой день я сказал, что это была мистификация, что маленькое торжество сочинил я в своей рецензии, а Александринский театр ничего не сделал. Он только собирал сборы в течение пятидесяти лет, он собрал их столько, что мог бы поставить памятник Грибоедову в Петербурге, а он даже не украсил свое фойе его мраморным бюстом и доселе.

Итак, вот что было только двадцать три года назад. Теперь сравнивайте сами, выросли ли мы? Какие только юбилеи не празднуем мы теперь на сцене! А двадцать три года назад юбилей писателя, стоящего очень высоко, писателя, который, как драматург, если не выше Гоголя, то равен ему, прошел, как будничный день, не вызвав никаких чествований, никаких пожертвований на школы или другие общественные учреждения.

Где же, господа, справедливость, где уважение к писателю, который доселе блещет совершенством русского стиха и благородством общественной русской мысли? «Горе от ума» и «Ревизор» — наши единственные общественные комедии, стоящие выше всего того, что было написано у нас для сцены в этом роде. Гоголю воздается великий и достойный его почет, а Грибоедов забыт. Если не изменяет мне память, и столетие со дня рождения Грибоедова, 4 января 1895 года прошло самым будничным образом. 30 января исполнилось семьдесят три года со дня кончины Грибоедова. Неужели ему придется ждать еще двадцать семь лет, ждать столетнего юбилея со дня смерти, чтобы общество и театр вспомнили о нем достойным образом?

Я пишу это из Москвы, где Грибоедов родился и воспитался, где он нашел свои типы и изучил нравы современного ему дворянского общества. Неужели Москва, эта «дистанция огромного размера», ставшая еще огромнее и богаче, доселе помнит обиду, нанесенную ей Грибоедовым? Ведь не может же быть, чтобы в ней доселе все — Фамусовы, Репетиловы, Молчалины, Загорецкие? Она уже и типы Островского пережила или переживает.

А дворянство московское должно было бы помнить, что среди него Грибоедов нашел один из благороднейших типов и обессмертил его в русской литературе, тип Чацкого.

Это надо помнить и этим гордиться!

Не поднимет ли кто в московской думе голос о Грибоедове или в том же «английском клобе», где когда-то Репетилов ораторствовал с другими «о камерах присяжных, о Байроне, ну о матерьях важных», где и теперь, смею думать, «важные матеры» не изгнаны из разговоров. Гоголь и Грибоедов связаны друг с другом, как авторы двух бесподобных комедий, которые можно назвать политическими. Чествуя одного, можно вспомнить и другого, и лучше поздно, чем никогда.

7(20) февраля, № 9314

CDXVII

Я поехал отдохнуть в Москву в конце января и пробыл там ... около двадцати двух тысяч минут. В наше мелкое время, может быть, следует время считать мелкими единицами, минутами. Кто-то вычислил, что с Рождества Христова до 9 апреля 1901 г. прошел один миллиард минут, а год заключает с небольшим полмиллиона минут. Россия живет всего пятьсот двадцать семь миллионов минут, и до миллиарда минут еще очень далеко, и потому мы успеем еще кое-что сделать хорошего. В течение двадцати двух тысяч минут в Москве я ничего не делал, но много разговаривал и многое видел. Видеть и разговаривать — это тоже дело, и мне хотелось бы собрать свои впечатления.

Москва не считала в своей истории ни минут, ни часов, да и о годах мало заботилась. Годы шли сами по себе, а она жила сама по себе. Вообще она не торопилась, как существо, вполне убежденное в том, что, покуда русская жизнь не прекратилась, потуда и Москва не исчезнет. Петербург взял на себя ее роль и старался ее игнорировать, но постоянно побаивался. И основан он был не столько для того, чтобы окно прорубить в Европу, сколько из боязни московских начал, которые и доселе считаются чем-то отсталым и несовместимым с интеллигентною европейскою жизнью. Но жизнь постепенно брала свое и возвысила Москву опять едва ли не на первое место. Петербург сосредоточил в себе все главное управление, все то, что обыкновенно бывает во всякой действительной столице; Москва походит и доселе на губернский город, по составу своего управления, но в действительности она более и более возвращает себе свое прошлое столичное значение, свою объединительную роль, свою центральную силу. Она растет страшно. Какие там капиталы, какие воздвигаются дома, какие магазины. Петербургский Елисеев соорудил там такой магазин, какого едва ли отыщешь

где-нибудь в Европе. Пятнадцать аршин вышины, колонны, зеркала, плафоны, колоссальные стекла, люстры, просящиеся во дворцы, какая-то смесь мавританского стиля с декадентским. Точно подземный огонь выдвигает огромные дома рядом с домиками. Мне жаль маленькие церкви: они сжимаются новыми домами, и из верхнего этажа домов надо смотреть вниз, чтоб увидеть крест колокольни. Москва растет вверх и вширь. Великолепие братается с скромностью и бедностью, и картуз того сословия, которое поднимается снизу и вырастает в купца, решительно господствует. Город торговли, промышленности, город дела, город состояний, наживаемых не биржевою игрою. Там и здание биржи — жалкая пародия петербургского здания. Город Ивана Великого, Василия Блаженного, город царь-колокола, который не звонит, и царь-пушки, которая не стреляет, становится царь-городом, который звонит и стреляет своим промышленным духом, своей деловой жизнью, своим средоточием, которое, как море, принимает в себя провинциальные реки и по ним обменивается с провинцией своим богатством. Даже памятник Царю-Освободителю, памятник, который так критиковали и критикуют, дает Москве нечто такое, чего нет в Петербурге и быть не может. Крытая галерея с дубовыми лавками привлекает прохожих и проезжих и, сидя на этих лавочках, видишь значительную часть Москвы и прямо наслаждаешься великолепным видом. Около всякого другого памятника постоишь и отойдешь, а около этого отдыхаешь и думаешь, и серьезная дума сама просится к вам. Под кровлей этой галереи можно рассказать всю русскую историю, указывая места событий, можно указать и место, где покоится тело Гоголя, пятидесятилетняя годовщина смерти которого завтра. Все так свободно и широко открывается и как много там солнца, от которого совсем отвыкаешь в Петербурге.

Не думайте, что историчность не действует на душу населения, что это только литературная фантазия. Она действует незаметно, теми минутами, которые вливаются в русскую душу и дают ей крепость и силу. Около прозы деловой жизни, около распущенности и капризов богатства, около знаменитого «ндраву моему не препятствуй», веет и поэзия старины, которая не стареется, слышатся голоса народного труда и народной души, которая выросла около этих святынь и умрет только с ними.

— Хорошо вам это говорить, когда вы были в городе две-три недели, а попробуйте прожить в этом царь-городе год, и вы заговорите другое, — сказал мне один москвич, когда я перед ним высказывал свои восторги. — Однообразие смертельное, скука непроходимая, претензии мещанина во дворянстве, который и дома-то строит как можно почуднее и который теряет способность торговать, перейдя из дрянных лавчонок в великолепные палаты. Купечество пародирует дворянство и ничего своего оригинального выдумать не может. Интеллигенция — капля в этом море, и она где-то скрывается или пропадает среди множества картузов. Картуз ли ее накрывает, как гигант своим колпаком, или сама она лезет под картуз и нашептывает ему что-то неведомое, трудно сказать. Но картуз — сила, несмотря ни на что. Статья Герцена 1842 года «Петербург и Москва» доселе сохраняет свое значение. «Москва есть гигантское развитие русского богатого села», — сказал он.

Я перечел статью Герцена. В ней много того блестящего остроумия, каким не обладал у нас ни один писатель. Но правды осталось немного: так Москва выросла.

Конечно, Москва и не могла иначе развиваться, как село, потому что и основание России есть село, потому что Москва сама делалась и делается, а Петербург сделали. Русское зерно само упало в Кремле и стало расти, а Петербург посадили, поливали, унаваживали человеческими костями.

Пока это единственное село в России, о котором мечтает г. Сигма: село со всеми учебными заведениями, для всяких потребностей и вкусов. В нем можно найти всякую работу по способностям, силам и знаниям. В нем есть кулаки, как и в селе, есть больницы, богадельни и проч., и проч., и так же, как в селе, много грязи и всяких житейских беспорядков, неподдающихся никакой полиции, никаким регламентациям.

О Петербурге Герцен говорит, что это город без истории, «город настоящего, который, однако, живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям России. Москва, напротив, имеет притязания на прошедший быт, на мнимую(?) связь с ним; она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом-наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их затылком».

«Идти задом-наперед, касаться европейских начал затылком»... Как это остроумно и правдиво вместе с тем! Москва не могла не смотреть на прошлое, и, касаясь европейских начал затылком, хранила свой лоб и не разбила затылок о стену европейских начал, убежденная в том, что стена эта может и податься. Она сохранила свою голову русского. Город Иверской Божией матери, Москва хранит православие не только как веру, но как признак русской народности. Как деревня, она консервативна, хотя в ее атмосфере тлеют огни всевозможных европейских идей. Москва служит просвещению. Она устойчива. Ее трудно заставить идти вперед. Но и назад она не пойдет. Она видит, что́ она прошла, и знает, что идти назад значит терять время, труд и деньги. Идти назад — значит рисковать банкротством. В ней — первый университет, в ней — первый памятник Пушкину, она накануне первого памятника Гоголю, в ней — первый памятник Царю-Освободителю и одному из величайших событий русской истории, связанному с 19 февраля. Люди сороковых годов западного направления выросли преимущественно в Москве бок о бок со славянофилами и имели между собой много точек соприкосновения в формуле, которую можно было бы кратко выразить так: «облагорожение духа жизни». Западники идеализировали Европу, славянофилы — Русь. Западники привязывали Русь к Европе, а славянофилы привязывали западников к Руси. В этом их связь и значение. Они дополняли друг друга и друг друга воспитывали. Дело не в «самобытных» идеях, полемику о которых между Розановым и Энгельгардтом я читал в Москве. Дело в том, что всякая идея, если она — идея по существу, до известной степени самобытна, ибо она растет в оболочке индивидуальной души, и союз таких душ образует партии. Западники и славянофилы — это наши виги и тори, дружно обнявшиеся на пороге 19 февраля 1861 года во имя христианской любви и правды. Что теперь растет? Сохранились эти наши виги и тори, какие изменения с ними произошли? Не выродились ли они во что-нибудь бесформенное, не потеряли ли они свою упругость, не забросали ли их новые наслоения, новые партии своей дерзостью и грубостью? Где центр русской жизни, в Петербурге ли, в Москве ли, где растет ее смысл, ее великая русская душа?

20 февраля (5 марта), № 9327

CDXVIII

Мне хочется сказать в этот день поминок о Гоголе об его трагической смерти.

Умер он в четверг 21 февраля, приходившийся в 1852 года на второй неделе Великого поста. После пятидесяти лет поминки его приходятся тоже в четверг на масляной. Но масляная 1852 года была уже для Гоголя Великим постом, и в четверг на ней он причащался.

Гоголь усердно занимался корректурою своих сочинений. В феврале заболела г-жа Хомякова, сестра Языкова, которую он знал с детства. Он навещал больную и, когда она вскоре умерла, читал по ней псалтырь и был поражен ее смертью. В это же время приехал из Ржева о. Матвей, который говорил ему о христианской жизни. Проводив его, Гоголь стал еще мрачнее и решился говеть на масляной, говоря, что все равно церковь читает и в это время: ««Господи, владыко живота моего». Молился, плакал, посещал церковь, исповедовался и причастился в четверг на масляной. На исповеди сказал духовнику, что он боится умереть тою же смертью, которою умер его отец, на которого «напал страх смерти». Он питался одной просфорою, страдал от голода, но терпел, ограничивал свой сон и слабел постоянно. Иногда целые ночи проводил он в молитве. Раз он проснулся в страхе, ибо увидел себя во сне мертвым и позвал священника, чтоб соборовраться. Священник, найдя его на ногах, отсоветовал ему. В ночь с понедельника на вторник первой недели Великого поста он сжег свои рукописи и потом жалел о том и плакал. Он продолжал поститься, слушал молитвы, которые читал ему священник, приходивший к нему ежедневно. Несмотря на слабость, Гоголь оставался на ногах. В среду на первой неделе посетил его доктор Тарасенков, оставивший описание последних его дней. Он знал его прежде, незадолго перед тем обедал с ним. Он нашел Гоголя страшно изменившимся, но совершенно спокойным, очевидно покончившим с жизнью и ожидавшим смерти. Это было в субботу на первой неделе. Граф Толстой, у которого Гоголь жил, сказал о болезни Гоголя митрополиту Филарету. Филарет сам в это время был болен. Он встревожился постом Гоголя и просил передать ему, чтобы он упражнялся не в посте, а в послушании. Но Гоголь только по настоянию священника проглатывал несколько черносливу и не слушался докторов. Да доктора и не знали, что делать. Знаменитый Иноземцев говорил ни то, ни се. Тарасенков старался убеждать, но напрасно.

— Если мне суждено жить, я буду жить, — говорил Гоголь.

В понедельник на второй неделе Гоголь слег и снова исповедался, причастился и пособоровался. Во вторник приехал Погодин с Альфонским, ректором университета.

— Его надо магнетизировать, чтобы покорить его волю, — сказал Альфонский.

Призвали доктора-магнетизера, который и стал делать пассы.

— Оставьте меня, — говорил, умоляя, Гоголь.

Вечером приехал доктор Клименков и стал грубо обращаться с Гоголем, кричал на него, добивался, что у него болит, советовал пустить ему кровь и завернуть в холодные простыни.

— Оставьте меня, — стонал Гоголь с досадой и отвертывался.

В среду — докторский консилиум, который решил лечить Гоголя насильно. Его осматривали, давили живот. Гоголь стонал и кричал:

— Не тревожьте меня, ради Бога.

Ему поставили пиявки к носу, посадили в ванну, несмотря на стоны его, крики и сопротивление. Руки ему крепко держали, пока пиявки вволю пили его кровь.

Доктора Овер и Клименков приехали вечером, обращались с Гоголем, как с сумасшедшим, орали на него и потом велели поддерживать подольше кровотечение, ставить горчишники на конечности, мушку на затылок, лед на голову и внутрь давать отвар алтейного корня с лавровишневою водою. Клименков мял его, ворочал, как труп, лил на голову какой-то едкий спирт и приставал с неумолимостью варвара: «Что болит? Отвечайте! Отвечайте же!»

Гоголь молчал. Палачи-доктора уехали.

Гоголь стал бредить:

— Давай пить! Давай бочонок! Давай лестницу, поскорей лестницу!

Его подняли с постели, посадили в кресла, поставили мушку на шею, надели рубашку (после ванны он лежал голый) и вновь положили на постель...

Гоголь стонал сначала, потом открыл глаза, которые остановились неподвижно, пульс перестал биться, и несчастный захрипел. Через несколько минут пульс восстановился, но страдалец лежал уже без движения на спине, закрыв глаза. Лицо его осунулось, как у мертвеца; под глазами посинело. Дышал он тяжко и хрипло. После полуночи приехал опять палач Клименков, давал ему каломель, обкладывал его тело горячим хлебом и вообще старался...

Гоголь кричал пронзительно и стонал.

В десять часов в четверг приехали врачи на новый консилиум, но Гоголь не дождался их: в восемь часов он умер.

Он уморил себя сознательно. Он боялся смерти и желал ее и шел ей навстречу. Две с половиной недели он мучился физически и нравственно. Он сжигал свою жизнь, как сжег свои рукописи, сжигал решительно и упорно, и не находил вокруг себя ни одной души, которая бы пришла к нему с любовью и чувством дружбы и помогла ему встать. Религия посылала ему священников с увещаниями и молитвами, но он и морил себя во имя своей веры и будущей жизни. Они не могли ему помочь. Наука посылала ему докторов, но доктора ничего не понимали и понять не старались, кроме Тарасенкова, но и тот убежал, чтобы не встречаться с такими палачами, как Овер и Клименков. Врачи его мучили, отравляли его своим криком, своим невежеством, грубостью, пошлостью и выпускали из него последнюю кровь с авторитетом ученых дураков, выдолбивших рецепты. Смерть Гоголя — позорная страница в летописях русской медицины. Друзья его от литературы и театра или не показывались к нему, или показывались на минуты, и то только в последние дни. Куда они девались, что они делали в эти недели страшных страданий Гоголя?

Пушкин предсказал свою смерть, описывая дуэль Ленского и Онегина и провожая убитого стихами:

Друзья мои, вам жаль поэта!

Гоголь описал свою смерть в «Записках сумасшедшего». Он мучился, и его мучили, как несчастного его героя, и душа Гоголя, расставаясь с телом, кричала, вероятно, так же:

«Спасите меня, возьмите меня!.. Дом ли то мой синеет вдали, мать ли моя сидит под окном? Матушка, спаси своего бедного сына! Посмотри, как измучили они его! Прижми к груди своей бедного сиротку! Ему нет места на свете!»

Только мать, только любящая женская душа и могла бы его спасти...

21 февраля (6 марта), № 9328

CDXIX

Воронежский иеромонах Михаил отвечает в «Московских Ведомостях» на первую статью доктора Баженова в «Русской Мысли» — «Болезнь и смерть Гоголя». Вторая статья почтенного доктора только подтверждает мое мнение (№ 9328 «Нового Времени»), что тогдашние московские знаменитые врачи вроде Овера, Иноземцева и др. уморили Гоголя своим невежеством. Я не доктор, но сошелся с доктором, с ним не советуясь. Я писал в Петербурге, когда его статья только набиралась в Москве. «Гоголя следовало лечить иначе и делать как раз обратное тому, что с ним делали», — говорит г. Баженов, но он оправдывает знаменитостей тогдашним состоянием науки: даже болезнь, которою страдал, по мнению г. Баженова, Гоголь, впервые описана была только в 1854 году, два года спустя после смерти Гоголя. Понятно, что она описана в Париже, а не в Москве и Петербурге, а потому, если б Гоголь заболел в 1854 году, его бы уморили московские знаменитости и тогда. Но ведь не знаменитый доктор Тарасенков, присутствовавший при болезни Гоголя, бежал в негодовании от знаменитых врачей, которые терзали больного. Не говорила ли душа в этом докторе, не сознавал ли он, что к больному надо было и приступать иначе, не только иначе лечить его и, может быть, все дело было в том, чтоб по-человечески поступать надо было с Гоголем. И что это за врачи знаменитые, которые не двигают науку, а движутся, как черепахи, за нею и отличаются только самоуверенностию? Они все знают, все понимают, все определяют и обращаются с пациентом, как с бездушною колодою. Наука медицины стоит на пяти градусах, и эти пять градусов считаются математической истиной. И теперь доктор Баженов рассматривает болезнь Гоголя согласно современному состоянию врачебной науки и говорит с такою же самоуверенностью, ссылаясь на психиатров, Корсакова и др., и на письмо Гоголя. Гоголя нет. Он его не видел, не исследовал, не смотрел ему в глаза, не читал в его лице. Он поступает как историк, воображающий, что по документам он откроет всю историю народа, всю его душу. Наблюдения Корсакова такие-то над г. N. Следовательно, г. N. равен Гоголю. Что верно относительно г. N., то верно и относительно Гоголя. Ясно и просто. Так будто бы говорит та наука в 1902 году, которая жестоко ошиблась в 1852 году. Но что скажет наука в 1925 году? Об этом следовало бы подумать. А главное то, что мерить психику гениального человека меркою серединного человека невозможно.

Но я отвлекся от иеромонаха Михаила из Воронежа. «Ну, попы пошли! Опять отец Матвей!» — скажете вы. Ошибаетесь. Иеромонах Михаил написал очень хорошее возражение г. Баженову. Он отрицает «периодическую меланхолию», которую г. Баженов нашел у Гоголя, он отрицает его психическую болезненность и «патологическое творчество в «Переписке с друзьями», этом «плоде безу-

мия, созданий душевнобольного». Он находит, что Гоголь с детства был религиозен и таким оставался до смерти. О. Михаил — просвещенный монах, отлично знакомый с Гоголем и со всей литературой о нем. Он перечел все, что было написано о Гоголе и сражается с г. Баженовым литературными приемами. Он цитирует письма Гоголя, обличает г. Баженова в том, что он искажает эти письма, берет из них те фразы, которые ему необходимы для своего тезиса, и умалчивает о том, что прямо противоречит этому, и притом в одном и том же гоголевском письме. Он ссылается на Кулиша, Чижова. С. Аксакова, Шенрока, Веселовского, Тихонравова, наконец, на Л. Н. Толстого, из которого цитирует вот эти слова: «Всякий раз, когда я читал «Переписку», она производила на меня сильное впечатление. Гоголь многое сказал в своих письмах, но пошлость, им обличенная, закричала: «он — сумасшедший» — и Гоголь — наш Паскаль — лежит под спудом».

Если Гоголь — безумный, то Толстой — еще безумнее, если называет его Паскалем...

Отчего Гоголь сжег «Мертвые души»? Потому, говорит о. Михаил, что перед ним уже предносилось то же творение в преображенном, еще более светлом виде. Может быть, он недоволен был своей работой и по этическим соображениям. Не душевная болезнь, не нервное меланхолическое состояние, а хотя бы «Бедные люди» Достоевского, представляющие критику (?) на «Шинель», должны бы показать Гоголю, что творчество его иногда было слишком жестоко, безжалостно и холодно: в нем слишком мало сочувствия к маленькому человеку, а сознание этого греха — своего прошлого — могло действительно дать новое направление творчеству Гоголя, которое должно было проявиться в будущих, еще более великих «Мертвых душах». Нельзя согласиться, что «Бедные люди» есть критика на «Шинель» Гоголя. «Шинель» — один из его шедевров, но это указание на Достоевского впервые встречается в литературе о Гоголе, и с ним следовало бы счесться. Гоголь, конечно, читал «Бедных людей», как читал он Тургенева. Молодое поколение в своих произведениях не могло пройти мимо его души. «Достоевский в своих величайших созданиях — не реакция Гоголю, как утверждает г. Розанов, а ученик его, десятки раз повторивший и воплотивший именно его идеалы и мысли». Далее: «Его (Гоголя) саморазвитие было завещанием будущему писателю не описывать только свою душу, а, созидая в себе истинно человеческую душу, влагать в людей». По этому поводу он цитирует из Гоголя превосходные заветы, что поэзия должна быть «войной за душу», что она должна «скорбью ангела ударять по струнам души, призывая ее к жизни», что «писатель должен возвеличить бедность и старомодный чепец бедной чиновницы (сравни «Шинель»), чтобы бедность, как святыня, засияла у всех на глазах и каждому захотелось бы быть бедным».

Так иеромонах Михаил понимает Гоголя. Этот монашеский голос заслуживает всякой симпатии. Больной ли был Гоголь, нет ли, эту тайну души его едва ли когда откроют с надлежащей ясностью. Может быть, гениальность близка к безумию и так легко в него переходит, что врач считает себя вправе пощелкать гения по лбу. Но несомненно, что безумных множество, а гениальные — великая редкость. Поэтому врачам, которые имеют дело только с обыкновенными сумасшедшими, не следует приниматься судить душу гениального писателя. Обыкновенная мерка тут никуда не годится.

4 (17) марта, № 9338

CDXX

В пятой книжке сборника «Старина и Новизна» помещено довольно обширное исследование графа С. Д. Шереметева под заглавием «Царевна Феодосия Феодоровна (1592—1594)». Около этой дочери царя Феодора Иоанновича и Ирины Феодоровны, сестры Бориса Годунова, граф Шереметев группирует лица и события, имеющие непосредственные отношения к первому Самозванцу. Известно, что этим временем гр. С. Д. занимается давно. Из «Писем К. Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени», писанных с 1892 по 1896 г. к графу Шереметеву, можно уже заключить о серьезном значении этого труда. Бестужев-Рюмин живо интересовался исследованиями графа С. Д., который сообщал ему о них в письмах, делал свои замечания и постепенно увлекался новыми данными или новым взглядом на известные факты о начале Смуты и личности Самозванца и начал их разделять. Дело шло о возможности признать первого Самозванца настоящим царевичем Димитрием и обширном заговоре против Бориса. Думаю, что статья, о которой идет речь, есть ничто иное, как введение в то исследование, в котором гр. С. Д. начал переписку с покойным историком еще десять лет тому назад.

Царевна-ребенок служит центром, потому что она могла сделаться царицею, как считали возможным сделаться царицею Ирине после смерти Феодора. Ее рождение в 1892 г., год с небольшим спустя после смерти царевича Димитрия, решало вопрос о престолонаследии и продолжении династии Рюрика и исключило честолюбивые стремления бояр и Бориса Годунова, который называет ее «своей *государыней* и племянницей» и которого это рождение наследницы успокаивало, по словам графа Шереметева, потому что обеспечивало его власть в будущем, и имя царевича Димитрия отходило на второй план, был ли он мертв или «тенью скрывался неведомо где, подрастая послушным орудием неведомых людей». Смерть ее 25 января 1594 года, напротив, открыла пути к замыслам на царский венец прежде всего со стороны Бориса и затем и других бояр.

Автор начинает свое исследование с 1591 г., с последствий убийства царевича Димитрия. Как известно, Бориса Годунова обвиняли и в убийстве царевича, и в пожарах в Москве, и в нашествии крымского хана. Говор был и в Литве, куда тотчас был послан Данило Исленьев с целью, между прочим, положить предел этому говору и убедить, что царевич действительно умер и что «ветъ всякий человек не бессмертен», как сказано было довольно курьезно в наказе Исленьеву. Оказалось, что в Литве уже был пущен слух, что царевич убит. Вместе с тем литовские паны в это время намеревались просить царя Феодора взять их под свою руку. «Где Литва и казачество, там нередко тайные нити с Угличем», говорит автор, рисуя заботы правительства об общем успокоении ввиду угличского дела, в котором существовала какая-то тайна и эту тайну надо было утвердить, замести все следы. В этом же 1591 году, в самый разгар молвы об угличском событии, прибыл в Москву Дионисий Палеолог, митрополит тырновский, и привез царю Феодору соборную грамоту об утверждении патриаршества в России. Грамота не была подписана только одним патриархом александрийским Мелетием Пигасом, человеком сильным, мечтавшим об освобождении св. Софии в Царьграде, подобно тому, как папа Сикст V мечтал о том же в Риме. Дьяк Андрей Щелкалов представлял царю Дионисия и его свиту. В это время другой Дионисий, свер-

женный московский митрополит, жил в неволе в Хутынском монастыре. Недовольные у нас группировались около Дионисия, а недовольные на Востоке — около Мелетия. Недовольные сходились с недовольными, а посредником между ними явился думский дьяк Андрей Щелкалов, ставший в 1591 году врагом Борису.

Как отнесся царь Феодор к смерти брата? Конечно, он был в полной власти своего шурина и своей жены и смотрел на дело их глазами. Все-таки странно, что «ни единого раза царь Феодор не пожелал поклониться праху оплаканного брата», не позаботился о надгробной плите его, так что при царе Шуйском, в 1606 году, спустя пятнадцать лет после его смерти, могилу его насилу нашли; не было ни вкладов, ни кормов на помин его души. Царь не посетил Углича даже в 1597 году, когда там открыты были мощи св. князя Романа Угличского. Не значило ли это, что была некоторая неуверенность в смерти царевича Димитрия? Вопрос праздный, быть может, но мы в области предположений и гипотез, в которых держит нас гр. Шереметев. Он говорит далее о посольстве Григ. Афан. Нащокина к казакам на Дон и в Царьград, о приеме турецкого посла в Москве, о посольствах персидского шаха Аббаса в Москву и нашем в Персию и везде старается определить родственные и свойственные отношения тех лиц, которые принимают участие во всем этом. Нагие, Углич, воеводства на Севере — в известиях о спасении царевича Димитрия говорится, что его скрывали в северных монастырях — группировка приверженцев Годунова и Ф. Н. Романова, взаимные отношения последних до смерти царевны Феодосии и после ее смерти, значение Андрея Щелкалова — все это у гр. Шереметева стоит на первом плане. Он прав, придавая большое значение родственным связям и положив на изыскание этого много труда и времени. До него на это не обращалось такого внимания, как мало занимались вообще периодом приготовления Самозванца. Он же не упускал и такой, по-видимому, мелочи, что послу в Царьград, Нащокину, приказано было похлопотать об освобождении смолянина Ивана Биттяговского, без откупа или с откупом. Это делается год спустя после убийства в Угличе Михаила Биттяговского.

Андрею Щелкалову наш автор придает особенное значение, как главе «подспудного» правительства, который руководил всем заговором против Бориса Годунова и которому известны были все государственные тайны и, разумеется, тайны углицкого дела. Он «исчез» вскоре после смерти Феодосии, и его место занял брат его Василий. Где он был и что делал, неизвестно. Говорят, он постригся, но еще в 1601 году его *мирское* имя упоминается при описании вкладов в Кирилловский монастырь, к которому тяготели Щелкаловы и царевич Димитрий. По-видимому, он подвергся опале, но точных известий об этом нет. Да и странно после опального вручать его должность брату его, который подвергся опале только в 1602 г. и в связи с опалой Романовых. Самозванец называл обоих братьев своими спасителями и дал Василию небывалую награду — окольничество. Понятно, что гр. Шереметев ставит А. Щелкалова во главе таинственного дела. В 1594 г., после смерти царевича, он принимает австрийского гонца Шиля, ведет с ним тайные разговоры. Этот Шиль является потом, после смерти Феодора, в 1598 г., опять на сцену. Из Наказа его в Венском архиве — кажется, новый источник, — видно, что в Вене знали о двенадцатилетнем царевиче, «монастырском детеныше», Bastard Bruder. Шилю поручалось узнать, к кому перешло царство, состоялись ли выборы? «Не имеет ли незаконный брат великого князя, отрок приблизительно двенадцати лет, по имени Дмитрий Иоаннович,

сторонников и не провозглашен ли и не избран ли в цари?» Если провозглашен, то не покровительствует ли ему Борис? Такие вопросы свидетельствуют, что Шиль знал какую-то тайну от Щелкалова, когда виделся с ним в 1594 году.

Щелкалов переписывается с Мелетием Пигасом, александрийским патриархом, не простившим Годунову учреждения патриаршества. Гр. Шереметев останавливается на роли русского и греческого духовенства, как о. Пирлинг — на роли католического. По-видимому, он придает этому православному духовенству главенствующую роль в заговоре против Бориса. Именно это духовенство готовило Самозванца или охраняло настоящего Димитрия вместе с «подспудным» правительством, во главе которого стоял Щелкалов. Мелетий Пигас переписывается с князем Острожским, князем Адамом Вишневецким, князем Кириллом Рязанским. Все это были православные, «благочестивые и православнейшие», недовольные польским владычеством. С Адамом Вишневецким ссылался царь Феодор. У Вишневецкого были связи с Коломной. Коломенское поместье Вишневецкого было поблизости Комаровского стана, где вотчины Лихарева, и там же были вотчины людей, женатых на Нагих. Тот архимандрит Новгород-Северского Спасского монастыря, у которого находили приют беглые монахи с Григорием Отрепьевым, был из рода Лихаревых.

Все это необыкновенно любопытно и ново. Но это еще не все. В то время, когда царевич, мнимый или настоящий, жил у Адама Вишневецкого, у него же, в Брагине, жил духовник его, критский епископ. Сам Мелетий тоже критянин. В это же время, т. е. 1600—1601 гг., проживал в юго-западной России тоже критянин, Кирилл Лукарис, родственник Мелетия; он учился в Венеции, в Падуе, и в числе его учителей был Франц Пикколомини, товарищ и друг Сикста V. Хотя Кирилла подозревают в неверности православию, но гр. Шереметев говорит, что с этим вопросом надо обращаться осторожно и приводит тому доказательства, на которых мы не остановимся. Достаточно сказать, что он прожил у князя Константина Острожского от июля 1599 до марта 1601 г. и у него были обширные связи. В одном частном собрании хранится до 130 собственноручных писем Кирилла. Естественно заключить, что между всеми этими лицами была связь и что они могли видеть всех тех, которые бывали или жили у князей Острожского и Вишневецкого.

Я передаю сущность замечательного исследования гр. Шереметева. Он останавливается на пороге дальнейшей картины событий. Можно сказать, он обрывает свою статью, не делая никаких заключений и ничего не обещая. Но внимательно перечитывая эти несколько печатных листов, чувствуешь, что имеешь дело с серьезным трудом, в котором являются новые лица, новые комбинации, новое осложнение вопроса о Самозванце. Польша как бы отступает на задний план. Ее как будто хотят обойти и вырвать у нее то, что ей не принадлежало, и втолкнуть в такую трагедию, из которой ей трудно было вырваться. Чувствуется связь между православными и на Руси, и в Польше, где их давило католичество, и в Турции, где их давило магометанство. Не одно желание освободить Русь от Годуновых, но и желание восстановить православие на Востоке — вот что чувствуется в этой сложной комбинации лиц и событий, как рисует это гр. Шереметев. Кажется, что тогда же, в самом начале Смуты, набросана была та программа, которая еще доселе не совсем исполнена. Затевалось что-то широкое навстречу могуществу турок и католичеству рядом с частною интригою, жертвою которой погибли Годунов и Самозванец. История не совершается по программам, заранее

начертанным. Но бывают такие моменты, которые определяют дальнейшее течение ее в новом направлении. И Самозванец является, быть может, во всеоружии этих планов, не столько учеником иезуитов и бернардинов, сколько умных и широко мечтавших православных. Папы и католичество ему нужны были как средство для достижения своих целей. Как человек больших способностей, умевший применяться к людям и событиям, благодаря той тяжелой жизненной школе, которая выпала ему на долю, Самозванец тотчас стал отвертываться от католичества.

6 (19) марта, № 9340

CDXXI

Видел кустарную выставку в Таврическом дворце, видел художественные наши выставки.

Меня считают большим оптимистом, и недавно одна из южных газет назвала меня таким именем. Я всегда думал, что жить надо, надеясь и работая, и что отчаяние, как бы оно ни было искренно и обосновано, истинное несчастие русских людей и русской жизни. Даже великие люди, несомненные таланты, отличающиеся наибольшей чуткостью и чувствительностью, потому что эти качества признаки таланта, не покладают рук и верят в то, что жизнь идет вперед и совершенствуется и что ее надо зарабатывать, борясь и побеждая. Как бы ни были слабы наши художественные силы, они все-таки есть, чего-то ищут и на что-то надеются. Если одни мажут из подражания, из самоуверенности и желания отличиться хотя бы тем, что они за новое, каково бы оно ни было, то талантливые ищут искренно и что-то видят или предчувствуют. Это — не картины, не портреты, а видения, что-то мелькающее в действительной жизни и ложащееся под кисть. Мне это особенно внушают портреты Серова. Лицо живых людей, все оно написано так, как есть в действительности. Остальное только намеки. Его женские портреты, точно портреты фантастической Кети Кинг, которая являлась несколько лет тому назад на спиритических сеансах. Эта княгиня Юсупова на диване выступает только лицом и шеей, а остальное — видение; остальное может быть совсем иное, ибо оно зависит от материи, из которой сшито платье, от портного, который шил его и «создавал», от мебели, на которую княгиня может сесть. Лицо создал Бог, и оно — выражение души человека, остальное создают люди, ибо хотя и остальное тело создано Богом, но оно облекается в одежды, в сукно, в шелк, кружева, парчи, во всякое великолепие. Что нам до него? Ведь и без того видно, что тут богатство и роскошь, видно, как видение, как туман. Мне сначала показалось это писание странным, небрежным, даже недобросовестным; я приглядывался, и мне начинало казаться, что это хорошо, что это современно, если хотите, даже горделиво с точки зрения искусства, которое может брезгать выпискою таких пустяков.

Мне думалось, когда я отошел от картины, что современная жизнь, характеры, мнения, поступки — все это еще область видений, призраки, а не воплощение воли, силы, убеждений, энергии, всего того, что составляет человека. На меня повеяло чем-то таким новым, чего прежде я не подозревал. Я подошел к портрету мужчины в модной шляпе, в пальто, и остановился. Тоже странный

портрет. Лицо точно уходит за холст, точно скрывается, только рот с красными губами обрисован определенно, а остальные черты почти на степени догадки. Очевидно, и это видение. Что-то мелькнуло и попало под кисть, а прочее не разобрать, как не разберешь в поезде железной дороги те лица, которые видишь из окна вагона. Только и успеешь схватить какую-нибудь подробность в костюме, в наружном виде, в резких отличиях старости от молодости.

Я подошел к Демону г. Врубеля. Лежит какое-то бревно на оригинальном фоне павлиньих перьев, что-то кривое вроде сухих сучьев дерева над головой, и голова из земли выросла, а не из бревна. Странно, но ничего — смотришь и думаешь: видение.

Это — Демон, не тот «печальный Демон, дух изгнанья», который ухаживал за Тамарой, не тот «мрачный и мятежный» Демон, который тревожил Пушкина, и не та бесформенная безобразная масса, которую Репин поставил сзади Христа во время Его искушения, а что-то новое, укрывшееся среди павлиньих перьев и воображающее, что оно страшно или удивительно, тогда как на самом деле это просто изображение бревна, которое на миг один показалось похожим на что-то человеческое, как это случается постоянно, когда в сумерках ходишь по лесу...

Подходишь к пейзажу — опять видение, опять мелькание, напоминающее контуры леса, зелени, облаков, зданий, улиц. Тут даже, пожалуй, меньше, чем видение, ибо природа вечно перед глазами, даже из окна вагона она определеннее смотрит на вас и вы на нее, чем люди и лица. Начинаешь думать, не сами ли художники — видения, призраки? Может быть, им еще не достает того, что делает человека-художника, что они еще в зачатии, на степени тени? Они, как и мы, не успели еще определиться...

А вот не мы, вот народ, мужики, бабы, девки, рабочие, их труд, их фантазия, их музыка, их искания... хлеба насущного. И тут нечто новое, но более определенное. Давно ни одна «выставка» не имела такого успеха, как эта кустарная. Никогда не было в Указателе выставки такого количества никому не известных имен, таких скромных, никогда не думавших о том, что они будут напечатаны, что работа этих тружеников и тружениц будет выставлена в русской столице, и столица эта будет смотреть на нее, хвалить и покупать. Этот Указатель стоило бы рассылать по деревням, как рассылают хорошую книгу. В день Благовещения плата за вход была рубль, а в залах была толкотня, и весьма многие тут были во второй, в третий, в четвертый раз. В течение дня было больше шести тысяч человек. Тень Потемкина удивилась бы, если б увидела в этих палатах такую разношерстную толпу и такие украшения. Он, создавший декоративные поселения во время путешествия Екатерины на юг, мог бы спросить: не подражание ли это ему, великому декоратору и взбалмошнику? Сама Екатерина, уверявшая в ответе аббату Шапу («Антидот»), что русские мужики едят постоянно калачи, и видевшая русскую жизнь в тех декорациях, которые для нее сооружали, вероятно бы порадовалась, что это все произведения свободного народа, не свободного только от своей бедности, которую он так желает победить. Он желает победить, он хочет работать. Врут те, которые говорят, что он ленив. Все мы ленивы. И он ленив, но не столько от лени, сколько от неуменья и невозможности за что-нибудь приняться, что-нибудь делать. В журнальчике «Ручной Труд» сказано, что «русская кустарно-ремесленная промышленность, с ее ежегодною производительностью в полтора миллиарда рублей, сделала за последние годы несомненные и крупные успехи». Полтора миллиарда! Положим, никто не считал. Но Рос-

сия велика, и труд в ней велик и разнообразен. Тут правительство, Дома трудолюбия, тюрьмы — эти печальные вывески человеческих преступлений, всякие частные лица, земства, помещики, помещицы-благотворительницы милые и хорошие взяли на себя благородную помощь кустарной промышленности, и начинается созидание. Государыня-императрица взяла под свое покровительство эту прекрасную выставку, где много и полезного, необходимого, даже изящного. Я не раз говорил, что не столько мы, хозяева, сколько наши хозяйки могли бы сделать для народа много хорошего, если бы увлеклись они этим благородным и благодарным делом, сначала бы увлеклись, а потом это вошло бы в привычку и обычай. Кажется, художница доставляла рисунки для некоторых изделий, мебели, вышивок и проч. Отчего не привлечь сюда художественные хоть маленькие силы — на этом они могут сделать больше, чем на своих выставках. Я прошел только по выставке, я не могу говорить об ее подробностях, об ее участниках и участницах. Но я также проходил по русским отделам Парижской всемирной выставки, и там эти отделы не производили такого впечатления. Терялись они, что ли, среди промышленности Европы, или там не было именно того, что видишь здесь.

Да будет благословенно это дело, пусть оно процветает и находит себе все больше и больше покровителей и помощи, побольше бескорыстных участников и участниц с своей энергией, которая сплошь тратится зря, с своими знаниями, добротою и великодушием. Может, мы именно по-своему должны работать, не создавать капиталы отдельных лиц, а прилежно класть фундамент для общего народного капитала. Иногда малый почин, малая помощь могут дать в будущем большие результаты. Это как зерна, бросаемые в землю. Мы переживаем не столько трудные времена, сколько странные. Надо бодрости не терять, силу свою не угнетать и не опускаться, и умом дорожить, как такою ценностью, которая не делается ни на Монетном дворе, ни в Экспедиции государственных бумаг...

27 марта (9 апреля), № 9361

CDXXII

Похороны, похороны, похороны. Смертью полон весенний воздух. Сегодня скончался Н. К. Шильдер, известный историк Павла I и Александра I, автор многих других исторических работ, историк большого таланта и широкого образования, работник замечательный и неутомимый. Вторую половину XVIII века и первую половину XIX века он знал, может быть, как никто, знал это время не по печатным только материалам, но по мемуарам, письмам и другим источникам, находящимся еще в рукописях и даже в рукописях мало кому доступных. Получив место директора императорской Публичной библиотеки, он мечтал о своих дальнейших работах в этой сокровищнице всяких знаний. Никакое другое место не могло его так обрадовать, как это. Он смотрел на него, как на венец своих желаний, на идеал счастья. Он работал над историей императора Николая I, первые главы которой уже были переписаны, и над биографией князя Чернышева, которая должна была войти в виде предисловия к изданию «Архива князей Чернышевых». Обладая хорошим здоровьем, он продолжал свои работы с необыкновенным упорством, ежедневно посвящая им много часов. Летом часто он приходил обедать в ресторан с книгами и там читал их и делал из них выписки.

Он задавался огромной работой — написать «Историю императора Александра I» на аракчеевскую премию и оставить эту работу, как наследство, а, может, и дожить до 1925 года. Он был полон жизни, ее трудовой радости, заслуженного отдыха; он наслаждался успехами своих работ, уважением и любовью, которые повсюду встречал. Мягкий, корректный, в высокой степени вежливый, занимательный, как человек обширных знаний и той общительной деликатности, которая в нашем обществе составляет редкость, он являлся везде, как приятный гость, как просвещенный человек, которому всегда есть что сказать. Я бы сказал, что он был образцом литератора и ученого, словно не нашей страны, а другой, более культурной и образованной. Постоянный труд, по-видимому, не только не действовал на его крепкий организм, но сообщал его лицу, его манерам, его обхождению что-то жизнерадостное, изящное, в высокой степени приятное. Но, очевидно, упорный труд, не знавший отдыха, надламливал незаметно его силы. Две недели тому назад вдруг с ним сделался припадок грудной жабы, и он принужден был слечь в постель. Он стал уже поправляться. Вчера он с час беседовал с одним своим приятелем, тоже историком, говорил, как ему надоела болезнь, мешающая работать, но что он надеется через несколько дней приняться снова за работу. «Я буду работать по шести часов в день, а летом съезжу с дочерью за границу месяца на два». Он просил приятеля придти к нему в понедельник. Ни малейшей мысли о смерти не было. Жизнь, жизнь, жизнь и работа — вот что занимало его, вот о чем он говорил. Ночь он спал спокойно. В девять часов утра сегодня он вышел в столовую пить кофе, говорил с дочерью, читал газету. Вдруг снова он почувствовал припадок и бросился в кабинет, где упал. Его подняли, посадили на кресло. Он стал дышать ровнее, сказал, что ему теперь лучше. Но это была минутная передышка, он стал задыхаться и в половине десятого был уже мертв.

Он лежал на своей постели, точно спящий. Казалось, радость жизни не успела еще покинуть черты его лица, казалось, он о чем-то думал и сейчас явится та добрая, почти детская его улыбка, которая говорила о прекрасном человеке.

7 (20) апреля, № 9372

1903

CDXXIII

Я был на трех художественных выставках: на передвижной, академической и журнала «Мир Искусства». И знаете ли, где мне было «всего интереснее»? На выставке «Мира Искусства». И я имею основание думать, что многим так кажется. Почему это так? Она говорит любопытству гораздо больше, чем другие выставки.

На этой выставке такое же разнообразие, как на ярмарке. Всякий мазок кистью тащится сюда. Всякая проба пера тут. Есть картины, есть картинки, есть картиночки, есть что-то такое, что ни на что не похоже, ни на картины, ни на картиночки. Целый музей каких-то курьезов, чего-то начатого, неоконченного или оконченного кое-как. Тут — не обед, не завтрак, а вся кухня. И это любопытно. Как это называется? Декадентством или новым искусством — все равно. Дело не в названии. Но мне кажется, что тут — весь человек, со всем процессом своего таланта или со всею своею бесталанностью, со всей своей искренностью или со своей подделкой под искренность. Все правила, системы, формы, традиции — к черту. У нас это гораздо легче, чем за границей. Там искусство очень старое, там целое наслоение его, не с Возрождения только, но гораздо раньше. Там и классическое искусство так же понятно и так же исторично, так сказать, как и новейшее. Там искусство — что-то родное, вошедшее в плоть и кровь, говорящее в зданиях, памятниках, храмах, в музеях. У нас — почти никакой его истории. У нас оно — наносное, насильно вскормленное искусственным молоком, искусственным солнцем, даже искусственной историей, которая на заправскую историю так же похожа, как похожа посредственная компиляция на творчество. Во Франции, Германии, Англии ежегодно являются оригинальные истории искусства, в новом и новом освещении, с чудесными снимками, у нас — плохие переводы и плохие компиляции — пища для наших художников и для нашего образованного общества. Понятно, что у нас на такой почве чего легче произвести революцию, конечно, плохонькую, но все-таки революцию хоть для глазенья толпы. Для настоящей революции даже на такой почве все-таки нет силенок. Да и плохонькая революция родилась не дома, а за границею. Но она — нова и она смело кричит на старое искусство. А старое искусство, в сущности, очень молодое, только сердится и бурчит на новое, не представляя собой ничего такого, что могло бы зажать рот этим крикунам, этой молодежи, которая ютится около «Мира Искусства», который и сам-то не чувствует себя самостоятельным и сплошь и рядом

наполняется либо снимками с европейских художников, далее наших ушедших и потому более интересных, либо критикой литературных произведений, которые интересней художественных в тысячу крат. Но публика рада новому. Мы всему новому рады, потому что все старое так надоело, что на него и смотреть противно.

Золотые рамы, золотые рамы, пейзажи и пейзажи, пейзажи и почти ничего, кроме пейзажей, и все это нарисовано довольно аккуратно, довольно красочно или довольно приглаженно — ах, как это старо, как однообразно, как однотонно. Точно старая, старая гостиная, где даже мебель не переставляли несколько десятков лет. Как раз поставили, так она и стоит. Точно живут тут какие-то преподобные старцы, которые ходят в стоптанных туфлях и теплых колпаках и ходят тихо, как тени. Хоть бы кто выскочил и закричал благим матом, как шальной, хоть кто бы явился, как яркий солнечный луч, засмеялся бы, прошелся молодцом кудрявым, запрыгал бы, пристукивая и посвистывая. Нет, все чинно, добропорядочно, все пахнет школой, старыми учителями и все блестит золотыми рамами...

Скучно, скучно, скучно...

А тут, в этом новом царстве — никакого порядка, никакой школы, никаких рам, или, вернее, самые странные или самые простые рамы, сделанные плотником, никаких форм. Набито что-то, то большое, то маленькое, то малюсенькое — оно и приятно глазу, оно будит любопытство. Тут портрет, около какой-то мазок, какой-то курьез, какая-то карикатура, набросок, фантазия, сонное видение, наброски декораций, костюмов, городьба, в которой можно только издали что-то разобрать, какая-то новая манера письма, почти бескрасочная, или накладенная, как клали бы комки грязи на полотно с целью составить картинку, какие-то странные позы, которые подглядел художник из какой-нибудь щелочки, или изобрел сам в минуты шаловливого или презрительного настроения к этому человеческому, глупому роду. Мажет художник костюмы и сбоку пишет: подтяжки для поддержания панталон, коронка, сапоги, меч. Необходимы надписи, чтоб понять, что такое намазано. В век железных дорог, беспроволочного телеграфа художник торопится и принужден подписывать: се лев, а не собака. Но даже эта манера письма при помощи надписей над мазками не лишена своего относительного интереса. Ходишь, останавливаешься, и то грустно, то весело, то забавно. И все это в небольшом пространстве, где тридцать человек уже дают иллюзию большой толпы и их говор раздается как шум моря...

Я просто записываю свое впечатление. Ни хвалить, ни порицать не мое дело. Мне было интересно в этих комнатках, среди посетителей, и этих стен, точно расписанных, а не уставленных картинами и картинками. Да, мне было интересно. И я видел тут несомненное присутствие таланта, то в том, то в другом углу, то в той, то в другой точке. «Помилуйте, ведь вот — даровитый человек, а пошел сюда», — слышу я. Да Господь с ним. Почему ему не идти сюда, если он свободен выбирать себе место. Вы думаете, он погибнет в этом обществе, на этом новом пути? Успокойтесь. Я того мнения, что погибают только полуталанты, а таланты не погибают, погибает подражательность, лицемерие, а искренность не погибает, ибо в ней всегда много ресурсов, как много ресурсов во всякой порядочной человеческой душе. Талант везде интересен, балуется ли он, или творит серьезно.

Конечно, вы скажете: а потомство, а история? Ах, ну их к шуту, это потомство, эту историю. Будем смотреть на проявление настоящего и отдавать себе в

нем отчет. Я даже не остановился бы над вопросом: художество ли это? Кто может решить с полным художественным сознанием, что́ — художество и что́ — не художество на всех этих трех выставках, разумея решить так, чтобы это решение авторитетно кричало и приказывало потомству?..

А вдруг окажется, что все эти три выставки — только выставки, как три бабы г. Малявина — только три бабы, может быть, символизирующие три выставки...

Кстати, старый мастер решился показать, что и он может дать нечто такое, что врезалось бы в это новое царство победительно. Этот мастер — Репин. Он дал символическую картину у передвижников в Академии наук. Чудесно написанное бурное северное, зеленое море, и в нем по колена студент с бобровой шинелью, одну руку протянувший в сторону, точно лететь собрался, а другою взял за руку барышню, которая заслоняет лицо от ветра муфтой. Что это значит? По-моему, это значит, что старый мастер может написать хорошую картину и в символическом роде, как он мог бы написать хорошую картину в декадентском стиле, так написать, что многие декаденты ахнули бы от зависти. Новая его картина — молодость ли перед бушующим морем жизни, молодость — не размышляющая, не охлажденная опытом, не знающая и не признающая опасностей, не измерившая глубины и опасности моря и смело идущая вперед? Помните у поэта:

Я видел море, я измерил
Очами жадными его, —
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

Этот студент и эта барышня измерили ли «силы духа своего»? Полагаю, нет. Они просто вступают в жизнь, весело, беззаботно и бодро. Но, может, эта картина — ирония? Она называется: «Какой простор!» Да ведь простора-то действительно много на море, но не для молодых людей, так плохо вооруженных для борьбы с волнами. Тут нужны железная броня, паруса, пар, наука, знания. А так, в бобровой шинели, взять за руку барышню в кофточке и идти с ней по волнам — надо чудо. А наше время чудесами бедно. Барышню особенно жаль. У студента — сапоги, нижнее белье и панталоны, а у барышни — ботинки, в них уже холодная вода, тогда как студента сапоги еще защищают. Впрочем,

Есть наслажденье в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,—

и т. д. Картина Репина так оригинальна, что другой такой не найдется, как не найдется нигде портрета великого человека с босыми ногами. Когда Л. Н. Толстой узнал о таком своем портрете, написанном Репиным, он сказал ему:

— Благодарю вас, Илья Ефимович, за то, что, разув меня, вы оставили на мне панталоны.

А портрет все-таки превосходный.

20 февраля (5 марта), № 9685

CDXXIV

Я прочитал с величайшим вниманием отчет министра финансов о поездке на Дальний Восток. С. Ю. Витте — один из тех государственных людей, которые употребляют свое время производительно и видят на тех местах, где бывают, то, что видеть надлежит. Очень жаль поэтому, что это — только «извлечение из отчета», и полной картины того, что узнал и увидел на месте министр финансов, мы не имеем. Тем не менее и это «извлечение» полно наблюдений и фактов. В обществе от самого начала постройки Великого Сибирского пути вращались слухи о злоупотреблениях, увеличивших будто бы значительно расходы на дорогу. По отчету г. министра видно, что слухи эти были недаром, ибо он признает, с необходимыми оговорками, отсутствие иногда правильной отчетности у строителей дороги и допускает, вероятно, что «некоторые второстепенные агенты пользовались смутными обстоятельствами для наживы». Г. Зиновьев в своем исследовании нравов и порядков петербургского самоуправления тоже сказал, что «порядок городских хозяйственных операций дает легкую возможность крупных злоупотреблений со стороны низшего служебного персонала». На Дальнем Востоке «второстепенные агенты» пользовались смутными обстоятельствами и порядками, в Петербурге — «низшие агенты» пользовались тою же смутою. Думаю, что плательщикам налогов от этого отнюдь не легче. Во всяком случае, уже самый тот факт, что министр финансов нашел необходимым в своем отчете упомянуть об этом, — имеет большое значение в наше время, когда общество умеет ценить дела и правду.

Что касается будущего, тот тут возможны только мечтания. А так как «история измеряется только веками», по выражению г. министра, то естественно, что мечтания проверить современники не могут. Что будет с нашим Дальним Востоком, сказать мудрено: приближение его к нам при помощи железной дороги на 12—15 дней — дело чрезвычайно важное, но развитие культуры в этих отдаленных и пустынных областях возможно только весьма и весьма медленное.

Необходимо заметить, что огромное большинство русских людей совершенно равнодушны к этому Дальнему Востоку вообще и к городу Дальнему в особенности. Не напрасно этот город в обыкновенном разговоре известен под именем Лишнего. Пусть это зубоскальство, но оно выражает настроение современников. Устройство Дальнего уже стоило восемнадцать миллионов и будет еще много стоить. Г. министр успокаивает, что эти суммы возвратятся продажею участков земли частным лицам. Уже и теперь кв. сажень продается по 25 рублей. Дай Бог процветания этому городу, но нам гораздо интереснее старые русские города и даже старые русские села. Во имя их я и хочу сказать несколько слов.

По поводу первой половины отчета С. Ю Витте у нас было сказано, что вот теперь, когда дорога окончена, миллионы пойдут на украшение коренной русской земли, давно ждущей своей очереди и ужасно потрудившейся на Великий Сибирский путь и Дальний Восток. Министр признает этот огромный труд и огромные жертвы коренной России. Но читая вторую половину отчета С. Ю. Витте, я боюсь вывести из него, быть может, ложное заключение, которое однако напрашивается назойливо. Это ложное, быть может, заключение состоит в том, что на Великом Сибирском пути и на Дальнем Востоке предстоит еще пропасть

дела и потребуются еще большие деньги, которые придется, пожалуй, брать из того же источника. Для настоящего самочувствия русского человека совсем неутешительно, что «история измеряется веками». Нам важен промежуток времени, более осязательный и более удовлетворяющий насущным потребностям. Когда русское общество проливало свою кровь и тратило деньги на Ближний Восток, оно этот Ближний Восток чувствовало и понимало те выгоды, которые он ей представлял, выводы не только освободительные, но и патриотические, и материальные. Конечно, и Сибирский путь — великое дело, дело уже совершенное, но это — рука русского гиганта, а не тело его, не сердце его и не голова. Голова и сердце тут, поближе. Великому князю Николаю Николаевичу, главнокомандующему нашей армией в войну 1877—78 гг., император Александр II на вопрос его, какая цель войны, отвечал: «Цель — Константинополь». Это понятнее, чем Дальний или Порт-Артур. Цель не была достигнута, и Сан-Стефано был принят за «окрестности Константинополя». Этого печального исторического факта из прошлого я касаюсь только мимоходом.

С. Ю. Витте говорит в своем отчете о том, что предстоит еще сделать. Он говорит о переселении малоземельных крестьян, о необходимости работ на Дальнем Востоке, о необходимости подъездных железных путей и еще железных дорог и грунтовых дорог на счет государственного казначейства и проч. и проч. Мое ложное, быть может, заключение именно на этих подробностях основано.

Я знаю, что министр финансов — человек смелый, талантливый, последовательный, умеющий проводить свои планы в жизнь и умеющий добывать деньги для осуществления этих планов. Поездка на Дальний Восток, судя по его отчету, не охладила его, по-видимому, а зажгла его фантазию. Вот этого и можно бояться. У нас, у русских, жизнь вообще серая, и я понимаю людей с широкими планами, с грандиозными предприятиями, с желанием отойти от этой серой прозы и строить широко и пространно. Но русский юмористический философ недаром сказал «нельзя обнять необъятного» и «заткни фонтан, ибо надо дать отдохнуть и фонтану». Народ — не фонтан, денег не так много у нас, как воды, а потому народу необходимее отдохнуть, чем фонтану.

В прошлом году я с восторгом приветствовал Особое совещание и день государева указа о нем, 23 января, называл знаменательным днем, в который решено довершить 19 февраля 1861 года. И вот начались разговоры о сельском устройстве в России, о земледелии, о сельской промышленности, и... вдруг рядом с этим говорят теперь об огромной организации, о заселении пустынных земель, лишенных всяких признаков культуры. Представляется что-то грандиозное, какая-то колониальная политика, широкая, пространная, берущаяся создавать чуть не новое государство в то самое время, когда старое государство нуждается в отдыхе от всяких пожертвований и в реформах. Очень может быть, что будь я моложе, этот грандиозный план захватил бы меня своими перспективами, своей громадной фантазией, своим блеском в истории последующих веков. Я бы, пожалуй, представил себе нечто вроде нового великого переселения народов и процветающую русскую культуру на пространстве почти целой новой части света. В молодости фантазия у меня была недурная. Но теперь она осеклась и смотрит не на века, которые предстоят еще, а себе под ноги. Я думаю, что надо прежде всего позаботиться немедленно о коренной России и не смотреть на переселение на восток, как на такое дело, которое может нам много помочь. Оно

может быть только вытяжным пластырем, но никак не радикальным лечением, которое должно быть в коренной России.

Я читал со вниманием все то, что является в печати о проектах и размышлениях провинциальных комитетов. Независимо от того, практичны или непрактичны эти комитетские речи, либеральны ли они или консервативны, прежде всего я вижу в них живую русскую душу, которая встрепенулась и заговорила от всего сердца. Не надо считаться с частностями, надо брать общее, смысл этих речей и планов. Смысл этот, по-моему, глубок независимо от того, выдерживают ли эти речи спокойную и разумную критику или нет. Это, конечно, не творчество, но это — голос земли, которым государственное творчество может пользоваться с большою пользою.

Все дело идет о коренной России и сюда необходимы образовательные и материальные средства. Может быть, это — эгоистично, недальновидно в смысле Дальнего Востока, который когда-то создаст международную торговлю и поставит культуртрегером русского купца, которому сейчас же, сию же минуту, надо помочь на Дальнем Востоке, но эгоизм этот как нельзя более законен и необходим. Широкие планы на Дальнем Востоке необходимо отложить до поры до времени. Нам надо существенное, близкое, а не дальнее, не будущая история, а настоящая, не журавль в небе, а хоть синица в руках. Об этой синице и дело идет.

Пора оставить рубль в хозяйстве русского человека, а не вынимать его из этого хозяйства на необъятные горизонты. Надо осесться, надо увеличить любовь к своему родному очагу, а не поощрять отхожих промыслов с их поэзией и горизонтами.

Пора поэзии прошла и настала проза, тяжелая, но требовательная, императивная проза, и ей необходимо подчиниться.

22 февраля (7 марта), № 9687

CDXXV

Глупый случай. Может, возмутительный?

Я был сегодня на выставке СПбургского Общества художников, что в Пассаже. Вдруг подходит ко мне молодой человек:

— Вы г. Суворин?

— Да.

— Извините меня, что не будучи знакомым... Вы знаете картину Бунина?

— Нет, не знаю.

— Я сейчас написал на ней карандашом слово «мерзость» и вот меня ведут составлять протокол.

— Какое же у вас право это делать? Вы можете выражать свое мнение, но писать это мнение на картине — ни у кого на это не может быть права.

— Я был возмущен... Я видел Льва Николаевича, мы говорили...

— Вы не имеете права распоряжаться чужою собственностью, — вмешался господин, очевидно один из распорядителей выставки.

— Посмотрите картину, — говорил мне молодой человек, оказавшийся одним из московских журналистов, — ею все возмущаются.

Я нашел эту картину. Она называется «Рыбная ловля». Написана Н. Н. Буниным, и плоховато написана. Два человека выволокли бредень на берег. Оба —

в одних рубахах. Один стоит задом к публике, это — якобы Чехов, другой — ясно Репин, но моложавее; около стоит высокий старик, тоже без штанов — это Л. Н. Толстой. По фигуре совсем не похожий, но по лицу похож. Рядом с Толстым — в сапогах и штанах человек, похожий на Горького: он бросает рыбу в ведро или котел, около которого сидит мальчик.

Вот на этой картине размашистыми буквами московский журналист написал «мерзость». Признаюсь, я совершенно равнодушно рассмотрел ее и перешел к другим картинам.

— Вы меня узнаете? — подошел ко мне еще другой молодой человек. — Мы хотим протестовать против картины. Это — мерзость.

— Это — ваше дело. Протестуйте.

— Мы хотим собирать подписи.

— До меня это не касается.

Через пятнадцать минут я выходил с выставки, как большая толпа волною повалила в зал, где висела картина Бунина. Автор «мерзости» снова подошел ко мне.

— Сегодня хотел уезжать в Москву и вот... протокол.

— Вольно же вам...

— Я сам знаю, что не имел права, но возмутительно выставлять такие картины.

— Вы художнику только рекламу сделали.

— Да это не картина, — кто-то сказал возле, — это скорей карикатура на портрет Л. Н. Толстого босиком, написанный Репиным.

В самом деле, не карикатура ли это на Репина? Репин снял с Толстого сапоги, а Бунин снял с него и с Репина штаны. Может быть, он слышал, что Толстой благодарил иронически Репина за то, что он оставил его в штанах, и решился снять штаны и с писателя и с художника. Несомненно одно: Бунин подражал Репину...

Негодовать, по-моему, тут нечего. Это, вероятно, *новые пути*. Штаны ни возвеличить человека не могут, ни унизить его. Остается ждать, что найдется художник и напишет всех замечательных русских людей в бане, кого в мыле, кого без мыла, кого лежа, кого сидя. Картина такая несомненно возбудит интерес и будет собирать толпы. С нею можно будет поехать по России и печатать: «Замечательные россияне и россиянки в бане в натуральном виде».

Это будет ново. А теперь только и надобно, чтоб было ново или скандально. Картина Бунина — нова и скандальна, надпись московского журналиста на ней «мерзость» тоже нова и скандальна. Вот вам и успех! Чего больше?

Если хотите, тут один вопрос заслуживает внимания — о границах дозволенного в творчестве. Есть произведения художественные, есть — пасквили. Одно и тоже лицо может быть изображено в повести и романе художественно и пасквильно. Можно ли то же самое сказать о живописном изображении? Художники пишут с натуры. На картинах написано множество *подлинных* мужиков и подлинных людей из образованного круга. На картине К. Е. Маковского «Смерть Иоанна Грозного» шут — портрет И. Ф. Горбунова, боярин Бельский — князь Пав. П. Вяземский и пр. Они позировали и не протестовали. Картина Бунина представляет ловлю рыбы и так называется. На ней — четыре мужика, три — без штанов, один — в штанах. Один мужик похож на Толстого, другой — на Репина. Они не позировали пред художником в таком виде. Имел ли он право изображать их так?

Карикатуристу предоставляется право делать все, что он хочет, с физиономией и остальным телом известного человека. Заставить писателя и художника ловить рыбу — карикатура это или картина? Может быть, это просто вздор?..

Г. Бунин скажет: «Я нарисовал карикатуру на Репина: я хотел сказать, как он ловит известность, рисуя Толстого босиком». А может, он думал так: я — неизвестный художник, но если я нарисую без штанов Толстого и Репина, то моя картина обратит на себя внимание?

Я не сочувствую ни этой манере писать портреты, ни манере московского журналиста писать на картине «мерзость». Обратить на себя внимание прекрасной картиной или прекрасной статьей — трудно. Но нарисовать известного человека без штанов или написать на картине «мерзость» — очень легко. Это называется смелостью, скандалом, наглостью. Но тут нет ни мужества, ни таланта, ни других сколько-нибудь почтенных качеств.

Впрочем... может быть, все это — сверхчеловечество?

Московский ли журналист превзошел г. Бунина, или г. Бунин — журналиста, решать не станем, ибо что сверхчеловечно, то и сверхъестественно. Мировой судья и сверхъестественное рассудит...

3(16) марта, № 9696

CDXXVI

Я прочел книгу г. Мечникова о «человеческой природе». Старость — болезнь, — говорит он, — и болезнь неизлечимая. Я не могу не вспомнить графа Соллогуба, автора «Аптекарши», «Тарантаса» и других литературных вещей. Раз он приходит ко мне и шутливо говорит:

— Какого я прекрасного доктора нашел! Лечили меня, лечили и никто не мог определить моей болезни, сколько я ни спрашивал. Один одно говорит, другой — другое. Вдруг сегодня молодой врач говорит мне, что он знает мою болезнь и что она неизлечима. Как, говорю, неизлечима? Что же это за болезнь такая? — «Старость, — говорит. — Вот ваша болезнь». Вы себе представить не можете, как он меня облегчил!..

Ничего утешительного для стариков я не нашел и в книге Мечникова. Старость остается неизлечимой болезнью.

Хотя в предисловии к своей книге г. Мечников оговаривается, что она назначена «для биологов, а не для большой публики», но изложение ее почти сплошь очень популярное. Обыкновенный, но начитанный читатель постоянно встречается в ней с научными фактами и исследованиями очень знакомыми. Автор, предвидя это, предупреждает и биологов, для которых назначена его книга, что сия последняя есть как бы программа того, что он наметил себе сделать. Жизнь коротка, а потому надо назвать, для каких целей он трудился. Цели эти бесспорно хорошие — указать на те пути, нравственные и материальные, которые могли бы продлить нашу жизнь. Надо стремиться к тому, чтобы старость была «физиологическою», т. е. чтобы сердце работало хорошо и исправно вместе с желудком до естественного конца, чтобы силы падали с незаметной постепенностью, чтобы сохранялись разум и память и старость являлась бы полезным деятелем в человечестве. Надо, чтобы смерть была не страшна, надо, чтобы человек видел в ней свой естественный конец и угасал постепенно, не стараясь что-нибудь ожидать после нее. Гамлетовского вопроса ставить не нужно. Это не

только бесполезно, но даже вредно, ибо это будто бы препятствует достижению «физиологической» старости и даже мешает научным исследованиям.

Оказывается, что люди науки, имеющие дело с мертвыми телами и по ним изучающие человеческий организм, очень мало имеют в своем распоряжении старческого тела. Им не отдают этих жалких останков. Даже в Париже на этот счет существуют стеснения и со стороны закона и со стороны частных обществ, берущих на себя обязанности хоронить беспріютных, не имеющих родных и друзей, которые позаботились бы предать земле мертвое тело человека. Не имея этого «драгоценного» материала, т. е. старческого тела, ученые не имели до сего времени возможности исследовать хорошо постепенное вырождение организма в старости и его видоизменения.

Кроме завещания своим родным приобретенных благ, старость, таким образом, может еще отказать и свое собственное тело ученым людям для благодетельных целей науки. Не все ли равно, в каком виде телу нашему лежать в земле, в целом или изрезанном? Все равно смешаешься с землею, а тут смешаешься с нею и принесешь пользу науке.

Утешительно признание нашего ученого, что и при жизни старость, хорошо сохранившая свой ум, свою память, т. е. старость, стоящая на степени «физиологической», обладает огромным опытом и может быть полезной для решения сложных общественных и государственных вопросов.

«Молодые люди почти постоянно очень плохие политики и в тех странах, где они слишком вмешиваются в общественные дела, они делают большею частью много зла, потому что у них недостает необходимых практических знаний. Свою неспособность они обнаруживают большими изменениями в своих политических убеждениях по мере того, как подвигается их опыт. В будущем старики будут заниматься этими трудными и сложными вопросами. Тогда-то произведутся большие усовершенствования в политике и правосудии, которые в настоящее время так много оставляют желать, потому что ни в политике, ни в правосудии нет твердых оснований».

Итак, не молодежь положит твердые основания политики и правосудия, а старость. За такие слова о молодых людях у нас не похвалили бы. Как это можно? Извинением г. Мечникову перед молодежью разве послужат слова его о нынешней старости, которая за известными счастливыми исключениями, которых не особенно мало, «полна эгоизма, узости взглядов, неспособности и злобы» У старости теперешней, в особенности бедной, много и горя: недаром число самоубийств в старости превосходит число самоубийств в молодых летах. Беспріютная никому ненужная, слабосильная, больная старость прибегает к петле, не дожидаясь смерти. Наш автор вспоминает самоубийство известного ученого Петенкофера на 83 году. Вероятно, и Ж. -Ж. Руссо покончил с собою на 66 году своей жизни. Но все это переменится в будущем, когда человек познает «настоящую цель жизни и возьмет за идеал — осуществление нормальной эволюции» и когда установится «верный путеводитель практической жизни. По крайней мере, будут знать куда идти, чего теперь не знают». Тогда молодые люди, вместо того, чтобы пользоваться «всеми наслаждениями», как теперь, когда они «убеждены в печальной перспективе старости и патологической смерти, должны будут, напротив, приготовиться к старости физиологической и естественной смерти. Учение, конечно, будет очень продолжительно. В наше время

годы учения гораздо продолжительнее, чем были они век тому назад. Чем масса знаний будет больше, тем больше надо времени для учения. Но этот приготовительный период послужит прелюдией к возрасту мужества и идеальной старости».

Из этого следует, что и в настоящее время прежде всего и больше всего нужна здоровая работа, трезвое воспитание и умеренная жизнь, а в будущем люди познают, что «истинное счастье не может состоять в роскоши, которая противна совершенствованию нормального круга человеческой жизни».

Г. Мечников проповедует «философию оптимизма», вопреки царю Соломону, Шопенгауэру, Толстому и проч. Перед ними у него преимущества хорошего ученого. Я потолкую еще об этой книге.

29 марта (11 апреля), № 9722

CDXXVII

Я вам расскажу процесс клеветы, направленной против умершего известного писателя.

Постоянные читатели «Нового Времени», вероятно, не забыли Сергея Атаву (С. Н. Терпигорева), который четырнадцать лет, с 1 июня 1881 г. по 1895 год, писал воскресные фельетоны в «Новом Времени». Он начал свою журнальную деятельность юмористическими очерками в шестидесятых годах, потом уехал в деревню в Тамбовскую губернию и стал писать корреспонденции в «Голосе». Одна из них говорила о том, что строители Рязанско-козловской железной дороги, гг. Мекк и Дервиз, учредили особое агентство с целью «эксплуатировать выстроенную ими дорогу в смысле своей монополии по отправке грузов по ней»[1]. Это агентство почему-то не отправляло хлебные грузы из Козлова, пожертвованные купцами в пользу голодающих. Грузы лежали в Козлове, а народ где-то в Самарской губернии голодал. Корреспонденция написана была страстно и правдиво. Гг. Мекк и Дервиз начал процесс против Краевского и Терпигорева и пригласили своим защитником г. Спасовича. Терпигорев был вызван Краевским в Петербург.

— Доставайте доказательства, — сказал он. — Иначе нам достанется. Спасович не спасует...

Терпигорев поехал в Козлов, где все знали, что в корреспонденции рассказана была правда. Там жил крупный хлебный торговец Д. К. Мартынов, человек уважаемый и любивший литературу. Он предложил городской думе собраться в экстренном заседании и написать благодарственный адрес Краевскому за то, что он «напечатал правду об этом комиссионерстве, никого не боясь». Дума согласилась. Ее постановление подписано было всеми гласными без всякого исключения и отправлено Краевскому.

Пришли в суд. Г. Спасович не знал, что у его противника, г. Ордина, адвоката Краевского и Терпигорева, есть постановление думы. Терпигорев «обожал» г. Спасовича, как профессора, и знал его лично.

— А, это вы писали корреспонденцию? — сказал г. Спасович, смеясь и шутя, — я вас отучу...

---

[1] Подробности см. «Исторический Вестник», март 1890 г., стр. 516–529. — А. С.

Спасович сказал, вероятно, блестящую речь о своих клиентах. Г. Ордин ограничился несколькими словами и предъявил суду постановление Козловской думы. Огромная сенсация и конфуз. Суд ограничился тем, что приговорил Краевского к двадцати пяти рублям штрафа за какое-то резкое выражение в корреспонденции и только. Это равнялось оправданию.

Я рассказываю это происшествие, как единственное в своем роде, где весь город, в лице своих представителей, выступил защитником корреспондента.

С 1870 по 1880 гг. Терпигорев совсем не участвовал в журналистике, а занимался разными торговыми предприятиями, между прочим вошел в компанию с одним изобретением в области электротехники (кажется, с г. Ладыгиным), ездил в Париж и нажил порядочные деньги. Но, занявшись поставкой дров, он разорился и снова принялся за литературу.

В 1880 г. в «Отечественных Записках» Салтыкова и Некрасова явилось его «Оскудение»,сделавшее ему имя. Вместе с тем он стал писать фельетоны в «Порядке» г. Стасюлевича, а с июня 1881 года сотрудничал в «Новом Времени», давая беллетристические рассказы в «Новь», «Живописное Обозрение», «Исторический Вестник» и проч. В 1895 году он умер.

В литературном мире его знали очень хорошо. Насмешливый, остроумный, имея огромное знакомство и помимо литературного мира, благодаря десятилетней практической деятельности в провинции, он был добрым и честным человеком, неистощимым в рассказах, всегда приправленных юмором. Никто и никогда не подозревал, что он был взяточник.

И вот оказывается, что он взял «от имени «Нового Времени» 10 000 рублей из Скопинского банка». Узнал я об этом совершенно случайно. Просматривая московские газеты, я увидел в фельетоне «Курьера» следующие строки:

«В одном из последних нумеров газеты «Заря» редакция ее заявила, что ей прислали документальный рассказ о взятии от имени одной большой петербургской газеты 10 000 рублей с блаженной памяти Скопинского банка. Это большая газета, как уверяет г. Ярмонкин, существует и поныне. На другой день г. Ярмонкин поставил точку над «i» и прямо заявил, что «нововременская раммнада глухо и печально прозвучала в... Скопине». Мы предполагали, что «Новое Время» немедленно ответит на это обвинение. Но газета молчит вот уже третий день, несмотря на всю определенность адреса, указанного г. Ярмонкиным».

Получен «документальный» рассказ! Положим, г. Ярмонкин ничем не заслужил доверия и не может пользоваться ни малейшим авторитетом. Его собственные изречения о любви его к отечеству и честности ровно ничего не значат. Тем не менее «документальный» рассказ — это не то, что беллетристика. Я просил своих сотрудников объясниться с г. Ярмонкиным.

Оказалось, что никакого «документального» рассказа он *не получал*, а написал по вдохновению, которое снизошло на него, благодаря *слышанному* им когда-то рассказу г. Р-ва, который взыскивал по векселям Скопинского банка, лопнувшего в 1882 г., и осуждения г. Рыкова. Это взыскание было в 1884 г. В числе этих векселей был, по рассказу г. Ярмонкина, и вексель Терпигорева будто бы на 10 000 рублей.

Справились у г. Р-ва. Г. Р-в сказал, что никакой связи между векселями Терпигорева и «Новым Временем» не было, да и быть не могло, ибо векселя были от декабря *1874 года*, когда мне и в голову не приходило издавать газету: «Новое

Время» куплено было мною и В. И. Лихачевым только в начале *1876 года*. Терпигорев тоже не мечтал, что будет писать фельетоны в «Новом Времени», куда он поступил семь лет спустя после этих векселей, именно в 1881 году. Векселя были выданы С. Н. Терпигоревым г. Баговуту и им или Терпигоревым были учтены в Скопинском банке. И векселей было не один, а целых пять, три по одной тысяче, один в пятьсот рублей и один в пятьсот пятьдесят, сроками через шесть и двенадцать месяцев, всего на сумму 4050 рублей. И несомненно, что векселя были торговые, ибо как раз в это время покойный писатель занимался торговлею в Тамбовской и смежной с ней Рязанскою губерниях, где находится знаменитый город Скопин.

Все данные относительно векселей С. Н. Терпигорева изложил г. Р-в в своем письме в редакцию, причем даже сообщил №, именно 1391, исполнительного листа, выданного ему санкт-петербургским коммерческим судом.

Не сомневаюсь, что г. Ярмонкин горел любовью к отечеству и литературе, слагая клевету на покойного писателя. Но мне кажется и я уверен, что и читатели того же мнения, что любовь к отечеству доказывается не такими подвигами. Это скорее любовь к чему-нибудь иному, но отнюдь не к отечеству и литературе. Что всего ужаснее, именно слово «ужасно» тут у места, — так это следующее достопамятное изречение г. Ярмонкина в «Заре».

«Как факт со Скопинским банком совершился, с какой газетой и каким лицом — мы упоминать в своей газете для праздного любопытства толпы и сведения счетов между разными журнальными конкурентами не будем, *но безусловно, готовы в интимном кругу почтенных и уважаемых журналистов назвать лицо*, причастное к делу Скопинского банка и *доставить соответствующие доказательства* справедливости нашего обвинения во взяточничестве».

Вот он какой «уважаемый и почтенный журналист» и вот какой у него «интимный круг»! В этом «кругу» можно клеветать на покойного писателя, называть его взяточником, чернить его литературную репутацию и, не называя его печатно, не бояться ни общественного контроля, ни отпора.

Я не знаю случая во всей русской журналистике, чтоб кто-нибудь печатно приглашал к себе на квартиру своих сограждан для выслушивания сплетен, бесчестящих чужое имя.

Таковы нравы, таковы «интимные» кружки у этих господ и так слагается клевета и ходит по миру. Дальнейшие комментарии и подробности, конечно, не нужны. Я назвал имя оболганного писателя и возвращаю комок грязи, в него брошенный, в тот «интимный кружок», где, очевидно, нуждаются в мыле...

31 марта (13 апреля), № 9724

CDXXVIII

«Наши лукавые дни». Так назвал наши дни московский митрополит высокопреосвященнейший Владимир, в своем сердечном и красноречивом приветствии, обращенном к их величествам в Москве.

Московский городской голова, князь Голицын, упомянув о «великих предначертаниях» государя, приветствовал их величества «на этом пути к свету и обновлению».

Может быть, наши дни действительно не лишены лукавства. Но лукавство исчезает в свете и обновлении, как дым исчезает от лица огня.

В наши дни много пессимизма, то искреннего, то модного, того настроения, которое говорит очень спокойным литературным языком, или насмешливою и смелою речью гостиных и кабинетов. Пессимизм мне никогда не нравился, ибо он есть не что иное, как скука, тоска, разочарование и недоверие к людям. В тоске можно удавиться, унывать, навести тоску на других и самому опустить руки и заставить опустить руки и других. Все, мол, пропало. Хоть умирай! Я понимаю громы проклятий, которые слышатся у пророков. Эти громы могут ужаснуть одних, другим дать веру в свое дело, в свое призвание, в свою работу и силу. Да и пророческие речи, если судить по евреям, пользы немного принесли.

Тютчев, один из самых чутких наших поэтов, сказал, что «в Россию можно только верить». И это глубоко справедливо. Кто в нее веровал, тот и делал, и кто сильнее всех веровал, тот и больше всех делал, а иногда и лучше всех. Вера в родину — та огромная сила, которая дает человеку уверенность в производительности своей работы, своих начинаний. И наша история, вообще очень невеселая, говорит нам об этом и говорит об этом наша литература, сопутница истории. Впади только мы в пессимизм и все бы пропало, ибо причин для пессимизма множество даже в нашей природе, суровой, сковывающей почти всякую деятельность на несколько месяцев в году. Величайший наш враг — зима. Там, где больше солнца, на нашем юге, жизнь лучше и работа производительнее. Одна зима может повергнуть в отчаяние всякого. И только живучая и созидательная сила народа, в его лучших представителях, может находить даже в этой зиме свою поэзию, и в осени — ту освежающую силу, которая помогает творчеству. Пушкин никогда так легко и свободно не работал, как осенью, никогда краски поэзии так не ложились вдохновенно под его перо, как в это время приготовления природы к временному обмиранию. Очевидно, есть что-то особенное в русском характере, отличное от других европейцев. Какая нужна созидательная сила, чтобы в течение одного века родилась и окрепла русская литература и стала всемирною! Какая созидательная сила нужна народу, чтоб из маленького московского государства, окруженного врагами, создалась в какие-нибудь три века громадная империя. Я знаю, что могут сказать: велика Федора, да дура. А как же этой Федоре не помешали умники, которых так много на свете, вырасти? Видно, что эта Федора — уж не такая дурища, видно, что у нее есть великая сила, великая живучесть, есть то, что называется гением. Гениев в нашей истории немного, но много гения живет во всей совокупности народа, и этот гений растет, а не умаляется. Может быть, все беда-то в том, что этот гений так вырос, что ищет себе простора и свободы. А это — беда невеликая, ибо кто ищет простора, тот и найдет его.

Евангелие говорит: «Стучите и отворят вам».

Но это говорится верующим. Надо верить. Пессимизм не верит. Пессимизм — даже не рассудительный и здоровый анализ, не критика, а дорога к отчаянию. Верит оптимизм, и без оптимизма творчество решительно невозможно.

Творить можно только верою и любовью, творить в светлые, радостные мгновения бытия, когда вся душа светлеет и видит в мире только добро и добрых. Если на земле счастие очень редко, то истинное счастие в творчестве для своего народа, для настоящего, для будущего, для своей творческой славы и народного счастья...

1 (14) апреля, № 9725

CDXXIX

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Так приказывал Петербургу Пушкин. Великий поэт любил северную столицу. И почему бы ее не любить? Ведь еще нет в России такого живого и отзывчивого города, как Петербург, что там ни говорят. А в последнее время на Петербург идет брань. Бранит его князь Мещерский, бранят «Московские Ведомости». Первый называет его «клоакою и физическою и духовною», которая заражает своими «миазмами Россию», а вторые — политическим интриганом. Сила всегда подвергается брани, как потому, что она — сила, так и потому, что брань составляет некоторое утешение бессилию. Но я думаю, что все это вотще. Разве море может поглотить Петербург, да и тогда он снова выстроится...

Конечно, хороший город и Москва. Третий Рим в некотором роде. Но в Москве растут больше товары, чем идеи. Даже если патриарх будет вместо обер-прокурора Св. Синода, то и патриарх должен быть в Петербурге.

— А разве говорят о патриархе? — спросите вы.

«Гражданин» говорит. Он теперь даже о свободе говорит с удовольствием, и я нимало не удивлюсь, если он, будучи человеком колоссальной искренности, никогда не произносивший *словес лукавствия*, заговорит о равенстве и братстве. Ведь это ровно ни к чему не обязывает ни его, ни нас с вами; год назад он говорил, что «Россия стонет от земства», теперь говорит, что Россия «стонет от чиновничества» и жаждет «децентрализации». А что такое земство, чиновничество, децентрализация — об этом каждому предоставляем догадываться. Может быть, под чиновничеством разумеются казенные палаты, под земством — пансионы для воспитания детей, а под децентрализацией — Титикака.

На уроках географии этот город[1] произносили конфузясь или фыркая... очевидно не доверяя существованию города с таким странным именем.

В «Гражданине» два писателя говорят о реформе церкви. Один сказал: «Проснись церковь, и замрет канцелярия». Другой возразил: «Замри канцелярия, и проснется церковь». Первое изречение несколько консервативно, ибо взывает к церкви, чтобы она сначала проснулась и тогда канцелярия замрет сама собою. Второе изречение радикально, ибо оно как бы приказывает канцелярии, чтобы она замерла, и тогда церковь проснется. В «Московских Ведомостях» тоже находятся подобные восклицания, но там есть и г. Л. Тихомиров, который с серьезною логикою доказывает, что *коллегиальность*, введенная Петром в церковное управление, как и в другие отрасли администрации, отжила свой век; правительство наше уже давно отказалось от принципа коллегиальности в светских учреждениях, следует отказаться от него и в духовных. Нужно восстановить *Поместные соборы*, а в Синоде первоприсутствующий должен получить все права, принадлежащие Синоду «по функциям *управительным*, т. е. права патриаршие, права главного епископа русской церкви... Остальной состав Св. Синода сохраняет все свои совещательные функции... Обер-прокуратура при этом естественно возвращается в свои нормальные функции — государственного надзора за законным течением дел церковного управления».

---

[1] Это высокогорное озеро в Андах на границе Перу и Боливии. — *А. Р.*

Об обер-прокуратуре Св. Синода у нас есть целое исследование, явившееся в Казани[1]. Автор этой книги шаг за шагом прослеживает борьбу светской власти с духовною. Сначала Синод одолевал обер-прокурора, потом стал одолевать обер-прокурор и вырос с течением времени в министра, и вот теперь именно об этом обстоятельстве заходит речь. В московский период церковь имела самостоятельное значение и играла большую роль в русской жизни. В петербургский период она должна была подчиниться общей государственной власти. В теории Сенат и Синод были созданы равнозначащими. На практике оказалось совсем другое. Пока Синод имел непосредственные сношения с Верховной властью, он побеждал обер-прокурора. Как только эти сношения перешли к последнему, Синод подчинился обер-прокурору. Если первоприсутствующий в Св. Синоде, так я думаю, получит патриаршие права, но не будет патриархом, то обер-прокуратура едва ли займет второе место. Сомнительно это даже при патриархе. Не вхожу в подробности, замечу только, что светская власть всегда так подвижна, что и полувластие может с успехом бороться с полновластием. Под «подвижностью» светской власти я разумею простую подвижность. Обер-прокурор может быть везде, без всякого декорума. Может ездить на извозчике, ходить пешком, играть в винт, обедать обыкновенным обедом, каким все обедают, не соблюдать постов, вообще пользоваться такою же свободою, какою пользуемся все мы. Наши высшие духовные власти не имеют такой свободы. Я помню, что покойного московского митрополита Макария упрекали за то, что он раз поехал или всегда ездил в обыкновенной карете парою. Эта «подвижность» светской власти может показаться обстоятельством маленьким, но в жизни такие маленькие обстоятельства играют большую роль. Из наших патриархов только два играли очень большую роль — Филарет и Никон. Филарет потому, что он был отец царя, Никон потому, что он был друг царя. Но Никона с царем разлучили светские люди, хотя обер-прокуратуры тогда не было. Церковь раскололась именно при патриархах, в особенности при самом властном и честолюбивом из них, при Никоне.

Сам царь Алексей Михайлович, этот «тишайший» царь, симпатичную фигуру которого прекрасно характеризует профессор Платонов в своей книге, на днях вышедшей, «Статьи по русской истории», сам этот царь удерживал много раз Никона в его религиозной ревности, говоря ему: «Никою силою не заставишь в Бога веровать». Но все-таки, к несчастию, попробовали силу, и оказался раскол, длящийся до сего дня.

Я не статью сочиняю, а веду обыкновенный разговор на эту патриаршую тему. Раз православная церковь имела патриархов, она могла бы и возвратиться к этому. Но возвратить к старому *самую нашу жизнь* невозможно. Будет патриарх, но прежнего значения он иметь не может. Если религиозное чувство упало, то не потому, что Петр учредил Св. Синод, а потому, что история наша вошла в европейское русло. Дело не столько в канцелярии. Дело в самом духе просвещения и в духе нового государства, и об этом едва ли нужно распространяться.

Очень возможно, что проект г. Л. Тихомирова и логичен, и может принести пользу — мне нравится его желание Поместных соборов, — но я не думаю, что изречение: «замри канцелярия, и проснется церковь» говорит что-нибудь такое,

---

[1] Ф. В. Благовидов. Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII и первой половине XIX столетия. 2 изд. 1900. — *А. С.*

что пророчит и притом хорошо пророчит о перевороте в церковном деле. Может быть, начать-то надо именно с Поместного собора, который разобрал бы слабые стороны церковного управления и указал действительные нужды церкви и православных.

Я никогда не был поклонником *проектов* и никогда их не сочинял. По-моему, это даже не дело журналиста. Его прямое дело — критика, и настроение, и направление, которое он может дать читателю; но проекты требуют особенных приемов, особенного, детального изучения главного предмета и всех условий действительности в их историческом развитии. Тут нужна прилежная, сложная и деликатная работа. Собрать материалы для такой работы, обсудить их со всех сторон и придти к выводам мог бы только Поместный собор в свободных прениях о нуждах церкви. В таком соборе она несомненно нуждается, и только он мог бы принести действительную пользу.

А «замри», да «проснись» — это ведь из сказки: не любо — не слушай...

15(28) апреля, № 9737

CDXXX

Вот так можно сказать: Русь многострадальная! Проливала, проливала свою кровь, а не могла сделать того, что хотела. Если бы Берлинский трактат не помешал нам, не было бы теперь ни этих волнений в Македонии, ни этих динамитных взрывов, от которых содрогаешься. Конечно, Сан-Стефанский мир следовало бы исправить, а не смотреть на него, как на шедевр. Шедевры не удаются так быстро, как сотворен был Сан-Стефанский мир. Да притом сотворен он был на пороге Константинополя, а не в самой столице султана. В этом была главная и роковая наша ошибка. А ошибка Европы — в этом постоянном откладывании того, чему непременно случиться суждено. Константинополь должен стать христианским городом и будет им.

Говорю: христианским. Не говорю: русским. С тех пор, как мы заседаем на Дальнем Востоке, нам совсем стало не видно св. Софии. А было время, мы видели этот храм и видели на нем крест. Двадцать пять лет назад министр внутренних дел генерал Тимашев говорил журналистам, когда русские войска шли к Константинополю:

— Ведь вы пишете о кресте на св. Софии ради розничной продажи! Это мешает дипломатам.

И журналисты перестали «мешать» дипломатам. Случилось так, уже независимо от покойного министра и от печати, что мы заняли Сан-Стефано, а не Константинополь, а императору Александру II телеграфировали в Петербург, что Сан-Стефано — предместье Константинополя. Об этом вы найдете у С. С. Татищева в его «Истории императора Александра II». Найдете там описание глубокой драмы, происходившей в душе государя, когда он страстно желал исправить сделанную ошибку и взять Константинополь. Увы, нашли невозможным взять его. Последний предел был в Сан-Стефано. Санкт-Петербург и Сан-Стефано. А следовало: Петербург и Царьград.

Вдохновение — великое дело. Оно истощилось у нас на Шипке и по другую сторону Балкан. За чрезмерным напряжением вдруг последовало переутомле-

ние, до того, что сочли возможным некоторое время держать государя в заблуждении, что Сан-Стефано — предместье Константинополя.

Загоралось вдохновение и потом. Но холодный разум, европейский концерт!... Никогда еще не было, чтобы европейский концерт сыграл вдохновенную ораторию и возбудил бы восторги и благодарные слезы наций. А холодный разум, разве он может все предвидеть, все подсчитать и рассчитать? Разве он не ошибается и притом не ошибается глубоко? Разве не бывают его ошибки роковыми? Увы, история знает тому множество примеров. Конечно, холодный разум может всегда оправдаться. У него тьма причин в туче всякого исторического момента. Они сыпятся оттуда, как дождь, барабанят по головам, по сундукам с финансами в особенности, они грозят грядущим, вызывают грозные тени прошлого, указывают на страшилища настоящего, и яркая мысль, святое вдохновение никнет, блеск подвига, мечта поколений исчезают под наплывом причин холодного разума... Пошлая проза вместо поэзии, серенький день вместо красного и ясного полудня!

Но скажут: все-таки серенький день. А случись, что вдохновение не даст того, что оно обещает, — и настанет ночь. Нет, блеск подвига остается не только на страницах истории, но и в душе народной, в том подъеме сил, который вызван этим подвигом и который осыпал невидимыми драгоценными камнями человеческую грудь. Подвиг — это солнце истории, которое никогда не меркнет, но разгорается воспоминаниями и верою в свою силу. Вдохновение — величайшая сила, и оно посещает не одних поэтов, не личности только, но и нации. И есть своя историческая психология у событий, у исторических лиц и у наций. Она не похожа на тихо текущую реку в широких и спокойных берегах. Напротив, она сужается, бурлит, бьет каскадом, размывает берега, заливает поля и лес. Холодный разум! Да где и ему все предузнать, все предвидеть и все распознать. Нации мужают с гением, с вдохновенными подвигами.

Горит восток зарею новой...

Я не призываю вас в Константинополь, на исторический подвиг. Я знаю, вы поехали бы туда охотно разве на дачу, где-нибудь на берега Босфора, которые гораздо лучше не только берегов Невы и Черной речки, но и берегов Ялты. Я просто мечтаю, вспоминая прошлое.

Ни гг. дипломатов, ни гг. военных я не тревожу. Это просто литературные мечтания и никакая политика. Я знаю только, что лучше вдохновения ничего нет, нет ничего лучше вдохновенных событий. Из военных наших событий не было лучше Полтавы, не потому, что Пушкин прославил эту битву, а по тому значению и по тем причинам, которые вдохновили его к этому прославлению. Я так и умру с мыслью, что лучше вступления русских войск в Царьград ничего бы не было после Полтавы. Но вдохновения не хватило, оно оставило вождей, и никакой дипломат не мог выдумать победы своим пером. Никто бы не посмел нас звать в Берлин из Константинополя. Русская душа выросла бы в непобедимого великана...

Когда я теперь вижу пламенные лица и слышу горячие речи по поводу македонской борьбы, я не удивляюсь и не осуждаю, хотя холодный разум шепчет мне совсем другое и на языке готова ирония, которая обыкновенно легко приходит

на помощь холодному разуму: «Довольно пролили мы крови за братушек. Пора им и честь знать». И непременно прозаическое «братушек», точно это слово не бессмысленно и не пошло. Оно несомненно бессмысленно и пошло. Но оно утешительно для холодного разума, который еще твердит: «у нас и своего дела по горло». Совершенно справедливо. Своего дела всегда много, но никогда не следует сожалеть о добре, сделанном ближнему, потому что это добро не сегодня, так завтра даст прекрасный плод и нам. Добро ближнему делается вдохновением сердца. А лучше вдохновения ничего нет. Я желал бы, чтоб оно всегда озаряло Русь в делах государственных, в литературе, в художестве, в подвигах добра и правды.

4(17) мая, № 9756

CDXXXI

Представьте себе, что в книге г. Мечникова я почерпнул некоторое убеждение в том, что сомневаться в обезьяньем происхождении человека позволительно: человек в некотором роде выродок. Жили, жили обезьяны, вдруг явился человек и заговорил. Природа не всегда эволюционирует, но позволяет себе и прыжки. Родился Шекспир от очень обыкновенных родителей. Так от обыкновенной обезьяны родилась обезьяна гениальная, не только сверхобезьяна, но сверхсверхобезьяна, Платон, Цезарь, Шекспир в одно и то же время, и эта необыкновенная обезьяна убежала от обезьян обыкновенных и стала их презирать. И другой мозг, и другие потребности, и другой ум, и главное — способность говорить. Оно и это утешительно нам, неученым людям, что человек является выродком. А еще более утешительно, что есть и весьма серьезные ученые, которые не признают происхождения человека от обезьяны. Немецкий ученый Вибергейм насчитал пятнадцать членов человеческого организма, которые представляют собою замечательный прогресс с таковыми же обезьяньего, семнадцать декадентствующих, т. е. исполняющих еще кое-какие физиологические обезьяньи действия, и сто семь членов совсем ничего не делающих. Но я убежден, что если бы ученым людям предоставить *исправить* человеческий организм, то они его обратили бы в обезьяний. Мне всегда казалось, что современные сверхчеловеки стремятся именно к тому, чтобы быть *подчеловеками*.

Вот что замечательно: у прекрасной половины человеческого рода существует орган, какого нет у прекрасной половины всего животного царства, не исключая обезьян. Нет именно того, что называется девственностью. Девственность существует только в человеческом роде. Ученые, не признающие происхождения человека от обезьяны, основывают свои доказательства, между прочим, на этом обстоятельстве. Есть и периодическое явление в женском организме, которое чрезвычайно существенно отличается от подобного же явления в остальном животном царстве, не исключая и обезьян. Все, что говорит г. Мечников по поводу девственности, весьма несущественно. Этот же вопрос я старался разработать в своей пьесе «Вопрос». Ученые театральные рецензенты — это самый ученый, если не самый учебный класс журналистов, все мне говорили, что я занимаюсь *предрассудком*. Из-за этого предрассудка девушек побивали камнями, и началось это избиение их у евреев, из-за него случались очень часто

страшные трагедии и случаются доселе весьма нередко. Г. Мечников это подтверждает, заявляя, что ученые не знают, какую физиологическую роль играет девственность. А я думаю, что раз Бог отличил женщину от самок животных, то Он знал, что делал. Он выбрал женщину защитницей человеческого рода от вырождения, от мужского распутства, от мужской чувственности, которая рождается уже у мальчика, тогда как первая любовь девушки сплошь и рядом любовь платоническая, чуждая чувственности, которая развивается у ней «значительно позднее, чем у мужчины». Об этой платонической любви говорит и г. Мечников, доказывая фактами, что не только у девушек, но и у женщин чувственность является гораздо позже, чем у мужчин, нередко даже только после родов.

Нечего, поэтому, и говорить о *предрассудке*. Надо говорить об искренней любви, в которой душа чувствуется, о воздержании, о том, чтоб заслужить любовь девушки. А ученый или учебный театральный рецензент, убежденный в том, что он происходит от обезьяны и прошел всю либеральную науку, старается высказать этим, что и девушка — обезьяна и что церемониться с ней нечего.

Проповедники «новых путей», говорящие о молитве перед любовными объятиями, может быть, и правы: если б молитва рождалась искренним сердцем и здоровым разумом и если б это была молитва о создании возможно совершенного человека, тело которого стоило бы прекрасной и здоровой души, что ж может быть в этом дурного? Супруги, желающие детей, совершают паломничества, искренно молятся, делают пожертвования, не брезгают даже ворожбою и заклятиями в своей жажде иметь свое потомство. Но такие явления редки. Человечество все более и более склоняется к тому, чтобы беспрепятственно и свободно наслаждаться любовью, а не к тому, чтобы рождать возможно лучшие и здоровые поколения. Как можно меньше детей, даже вовсе не надо детей. Г. Мечников приводит факты из современной жизни, которые у многих сделались явлениями обыкновенными, не задевающими совести упреками. А кто знает, отсутствие сильных дарований, великих талантов и умов, что замечается в наши времена, не зависит ли в известной степени от этой жажды *только* наслаждаться любовью?..

Проповедники «новых путей» совершают смертный грех, когда проповедуют ранние браки, требуя их для девушек тотчас после того, когда появляются у них признаки возмужалости. Дело в том, что г. Мечников приводит результаты исследований знаменитого доктора Дункана, который много занимался статистикой смертности вследствие родов для того, чтобы определить *лучший возраст для брака*. Он пришел к такому выводу, что женщины между двадцатью и двадцатью четырьмя годами наилучше переносят роды, т. е. дают наименьший процент смертности во время беременности и после родов.

Он убедился также, что эти женщины наиболее плодородны и что кости их таза именно в эти годы завершают свое развитие. Женщины, не достигшие двадцати лет или слишком намного лет переступившие этот возраст, дают наибольшее число смертности от родов[1]. Смертный грех проповедников раннего брака еще увеличивается тем, что девушка во время появления признаков возмужалости сохраняет еще свой детский характер и кости ее таза остаются еще неразвитыми. Таким образом проповедь ранних браков для девушек чуть ли не равняется проповеди распутства для мужчин.

---

[1] Героиня в моей пьесе «Вопрос» мечтала об общине девушек, которые решились бы не выходить замуж ранее двадцати четырех лет. — *А. С.*

Г. Мечников в своем исследовании все эти противоречия в человеческом организме, это несоответствие, например, между ранним развитием чувственности у мужчины и поздним у женщины называет «дисгармонией». Эта мысль руководит им всюду. Он говорит фактами, проверенными наукой, и избегает морали. Но она сама собой становится на очередь. Если человек увеличивает эту дисгармонию своей невоздержанностью, распутством и проч., то платится за это трагедиями ревности, самоубийства, убийства, расстройства здоровья, болезнями и преждевременной смертью. Сама эта дисгармония, поставившая человека выше животных, у которых больше гармонии, обязывает его к совершенствованию. Явилась ли эта дисгармония от того, что человек есть выродок обезьяны, или Бог таким его создал и он есть венец творения, во что я верю, все равно результат один: надо совершенствоваться, ибо в этом только лежит возможность жить долго и по возможности счастливо.

Никакого другого рецепта для продления жизни и для счастия наш ученый не выдумал.

7(20) мая, № 9759

CDXXXII

Военные перевороты в известные периоды народного развития — довольно обычное явление. Убийцы или участники в убийствах коронованных лиц довольно обычно также не подвергались никаким преследованиям и даже продолжали занимать свои хорошие места в администрации при новом монархе. Мне думается, однако, что это прошлое не может служить примером для настоящего. Общественная нравственность выросла и требует от тех, которые занимают самое высокое положение в стране, высокого настроения духа и высокой совести.

Я сижу в деревне и по газетам только знаю о сербской трагедии. В день рождения убитого короля Александра я был в Белграде и долго говорил о династии Обреновичей с сербским митрополитом Михаилом. Он тогда познакомил меня с сербской историей в ее интимных сторонах. В Белград я приехал из Алексинаца, от М. Г. Черняева, который собирал там армию против турок. Незадолго перед тем он, предводительствуя сербами, был разбит Османом-пашою под Заечаром.

— Я видел, как бегают солдаты, — говорил мне Черняев, — но как бегают сербы — видел в первый раз. Это было такое позорное бегство, какого я вообразить себе не мог. Не только бросали ранцы, ружья и одежду, но на бегу обрезывали ремни у опанок (поршней) и сбрасывали их, бежали босиком, думая, что удирать босиком легче.

Я был в Заечаре, который лежит на низменном берегу Тимока, а на возвышенности стоял Осман-паша и раза три-четыре посылал оттуда ядра в Заечар. В больнице лежали раненые бегунцы, — большая часть ран была в заднюю часть тела и в пятки.

Из Алексинаца при мне Черняев делал две экскурсии на турецкую землю и оба раза сербские офицеры показали себя далеко не на высоте призвания своей неисполнительностью, чтоб не сказать хуже.

С покойным Петко Каравеловым в Белграде мы сиживали на завалинке того домика, где он квартировал, и говорили о сербах. Каравелов негодовал на рус-

ских за то, что они помогают сербам. Они-де не стоят того. Помогать надо болгарам. Болгары храбрые, болгары действительно страдают, а сербы ленивы и трусливы, воспитывают свиней и пропадают в кафанах, испивая ракию. Как известно, болгары жестоко побили потом сербов (1886 год).

Но сербы показали, наконец, свое «мужество», не так, как болгары. Болгары свергли с престола своего князя Александра, не пролив капли крови. Сербы убили безоружных короля и королеву, министров и верных королю офицеров, пролив потоки крови. Такое варварское убийство едва ли когда представляла всемирная история. Русская бунтующая толпа, убив первого Самозванца, пощадила жену его Марину. А это было в самом начале XVII века. Подполковник Мишич, глава сербского заговора, якобы остановил тех, которые хотели выбросить из окон на двор тела короля и королевы, словами: «Это было бы варварство». А то, что они делали, это не варварство. Это был «бой», как заявило временное правительство. Два человека, король и королева, и два полка — это был бой. Я думаю, что все эти телеграммы о народном восторге есть чистый вздор и выдумка. Под народом разумеются недовольные и заговорщики.

Несчастный король, родившийся в год борьбы за свободу Сербии, борьбы, поднятой Россией, вынес очень много горя во время раздора между Миланом и Наталией, когда его оспаривали друг у друга отец и мать. Король Милан и королева Наталия очень мало интересовались сыном. Он рос среди раздора, сплетен и интриг, в которых его отец и мать занимали главные роли. Он был то около матери, то около отца, то под опекою людей, которые не ставили в грош ни короля Милана, ни королеву Наталию. Он рос в какой-то свалке врагов, интриганов и политиканов, распутства его отца-декадента, не ознаменовавшего себя ни одним подвигом, разбитого болгарами, потом отрекшегося от престола, потом снова явившегося в Сербии главнокомандующим войсками, потом восставшего против сына за его женитьбу на Драге. Королева Наталия купила себе виллу около Биаррица во Франции, посещала исправно православную церковь в этом курорте и затем приняла католичество, т. е. разорвала неизвестно для чего всякие связи с православной Сербией. И отец, и мать точно соперничали друг с другом, чтобы доказать сербам, что они по какому-то недоразумению носили королевский венец, и ни он, ни она не оставили в сербах никакого симпатичного воспоминания. Я думаю, что измена православию со стороны королевы Наталии была большой политической ошибкой. Сербы — народ, не отличающийся особенной религиозностью, но измена народной религии считается всяким народом как политическая измена.

Разобраться в психологии короля Александра довольно трудно. Но ясно, что он не был человеком правильно воспитанным и не видел благородных и достойных подражания примеров ни со стороны своих родителей, ни со стороны тех сербов, которые его окружали и опекали. Ему негде было приобрести силу воли, научиться править государством и научиться окружать себя честными и независимыми людьми в стране молодой, малоразвитой, но кишащей политическими партиями, партийками и кружками. Он был для этого даже слишком молод и бросался из одной крайности в другую. Его женитьба на Драге была большой политической ошибкой. Жениться по любви — прекрасно, но у правителей народов недаром на этот счет существуют особые предания. Драга не была женщиной, способной понять свое положение, а король не был человеком, способ-

ным поставить ее на свое место. Родственники сейчас же получили влияние, родной брат королевы является претендентом на наследство сербского престола. По какому праву? По женскому капризу. Вместо характера, король был упорен, но упорства у него не хватало относительно жены.

Даже самый поверхностный взгляд на жизнь этого несчастного короля показывает, что он погиб не по своей вине, что он не заслужил такой ужасной смерти. Он был жертвою не столько обстоятельств, сколько жертвою своих родителей и той политической бестолковщины, которая господствует в Сербии.

Все те недостатки, которые теперь ему ставят в вину, были недостатками его воспитания и среды. Его поистине жаль как человека, и история никогда не оправдает и не может оправдать его убийц.

Я возвращаюсь к началу. Сербский трон свободен, облитый кровью. В этом самом дворце — кровь и разгром, произведенный солдатчиной. Вступит ли в него новый король, где все ему будет напоминать ужасную трагедию? Но гораздо важнее: как он поступит с теми, которые очистили для него трон? Их много. Говорят, что почти вся армия принимала участие в заговоре, т. е. почти все офицерство, вся военная молодежь. Болгарская военная молодежь шла в Македонию отстаивать дело освобождения своих братьев. Сербская молодежь шла в заговорщики и готовила переворот. Начнет ли новый король с того, чтобы наказать убийц? Или он скажет себе: «Это было до меня, совесть моя спокойна, ибо я не принимал никакого участия в этих ужасах. Меня избрала страна, и пусть страна выскажется о тех, которые убивали. Если у революции есть свои права, то у убийства нет никаких прав. А это — убийство, организованное, безбожное убийство. Я так думал и думаю, но это случилось не в мое царствование, и не мне карать убийц».

Конечно, новый король так или приблизительно так может думать. Он — человек новой династии, со старой никакого родства, никакой преемственности не имеющий. Напротив, обе династии в своем прошлом имеют только тяжелые воспоминания, предательства и убийства. История как будто прекратилась ужасной катастрофой, и началась совершенно новая эра. Связь времен распалась. То, что было по ту сторону, там и остается. По сю сторону — новая династия и новые люди. Но если XX век есть век переоценки нравственных, политических и социальных идей, то наследство после истребленной династии является также вопросом нелегким. Поэтому положение нового короля очень трудное и очень ответственное. Он должен высказаться ясно и открыто. Молчание может только освятить кровавое дело и приготовить для Сербии новые испытания и перевороты. Во всяком случае варварское убийство не пройдет даром для Сербии. Немезида никогда не отсутствует в истории, за преступления немногих часто страдает вся страна. Поднимающиеся со дна черти все могут поставить вверх дном.

10 (23) июня, № 9792

CDXXXIII

Сербский митрополит Иннокентий призвал благословение Божие на убийц короля и королевы и воскликнул, что Бог уничтожил их. Кому же лучше знать намерения Божии, как не митрополиту. Бог вооружил и офицеров револьверами

и саблями, предварительно напоив их. Они были пьяны, эти убийцы короля и королевы. И офицеры явились вроде ангелов с огненными мечами, посланных Богом. И так может безбожно лгать и льстить убийцам представитель церкви Христовой, на алтаре которой написано: не убий! И правительство, и армия, и церковь показали себя достойными друг друга. Одни проливали кровь, поразив короля шестью выстрелами из револьвера и сорока ударами сабли, а королеву — шестьюдесятью тремя ударами сабли и двумя револьверными пулями, другие подбирали власть, третьи благословляли убийство.

Нечего говорить о бесчеловечии — дальше зверский цинизм не может идти.

Посылают убить министров и братьев королевы. Молодые люди умирают, закурив папироску и поцеловав друг друга. Ни мольбы, ни унижений, прямо глядя в глаза ужасной смерти, встречают ее, презирая убийц. Правительство, несмотря на благословение митрополита Иннокентия, старается оправдаться перед Европой и лжет, подтасовывая факты и намерения. Среди него руководитель заговора подполковник Мишич; указав и устроив все пути сообщения к убийству короля и королевы, он назначен министром путей сообщения. Выдержал на этот пост экзамен!

У короля ожирение сердца и легкого, неестественная толщина черепа в тринадцать миллиметров и т. д. Может быть, и представители медицины лгут, как и все остальные, лгут для того, чтобы оправдаться. А мне кажется, что у подполковника Мишича и у его коллег череп толще, чем у Скотинина, который, ударившись лбом о ворота на всем скаку, спросил: «целы ли ворота?»... Крепколобые же эти офицеры, нечего сказать!..

Но знаете ли, что следует дальше?

Король Александр и королева Драга прославят историю Сербии больше, чем старые ее герои, больше, чем Георгий Черный. Поэзия украсит характеры несчастных убитых, вложит в их уста благородные чувства, нежные выражения любви, преданность друг другу, самопожертвование. Поэзия поразится трагизмом этой кончины, возмутится до глубины души ордой пьяной военщины, возненавидит министра убийственных путей сообщения и представит в образе Яго, в образе ненавистника и злодея. Легенда окружит Александра и Драгу своим венцом из драгоценных камней слова, имена их передаст самому отдаленному потомству и заставит читателей романов и зрителей в театре проливать слезы над их судьбой. Будущему сербскому великому поэту дана великолепная национальная тема, имеющая все свойства темы общечеловеческой. Будут ли награждены убийцы или будут они наказаны, все равно — их имена недолговечны. Их забыли, даже теперь их никто не знает и никто не спрашивает, как их зовут, хотя они и напрашиваются на известность, рассказывая корреспондентам свои «подвиги», но жертвы их будут жить и долго тревожить творческую фантазию поэтов. Это — историческая Немезида, это — самое действительное наказание за преступления убийства.

Свергнутый с престола, изгнанный из Сербии, король Александр вместе с своей возлюбленной королевой окончил бы жизнь незаметно, банально, опустился бы до обыкновенного буржуа, поссорился бы со своей супругой, может быть, сделался бы предметом сплетен и мелких скандалов в каких-нибудь листках и кафешантанах, как это было с отцом его Миланом, — а теперь он вырос, трагедия берет его судьбу в свои руки и будет защищать лучше, чем современные публицисты и дипломаты, чем история.

Смерть — самое ужасное дело. Насильственная смерть всегда возбуждает в людях жалость, ибо все сознают, что лучше жизни ничего нет, и никто не имеет права отнимать то, что даровано Богом. Даже Брут теряет симпатии после убийства Цезаря, и его самоубийство после проигранного сражения является искуплением за убийство. И поэтическое творчество является той правдой, которую современники не видят и не разумеют и судьи не умеют найти и определить.

Пусть же в мире почивают убитые король и королева сербские. Никто не отомстит за них, кроме художественного творчества в слове и в красках. В художестве — Бог, не тот языческий бог, который благословляет убийство, а Бог христианский, справедливый и милосердный, и потому художество — такая сила, выше которой нет ничего на земле.

9 июня, Велие Никольское

13 (26) июня, № 9795

CDXXXIV

Оба наши консула, и Щербина, и Ростковский, заплатили своей жизнью за то, что исполняли свой долг русских граждан, и за то, что они были на стороне угнетенных христиан. Имена их должны стоять в ряду тех храбрых, которые легли на Балканском полуострове, сражаясь с турками. Это — воины за свободу своих братьев.

Мы издали, вероятно, не можем себе представить, что делается там, в этой Македонии, которая горит желанием освобождения от турецкого ига. Вместе с Болгарией горела она этим желанием и так же, как Болгария, была достойна свободы. Но Болгария получила эту свободу, благодаря мужественным сынам России, а Македония осталась в рабстве, благодаря Берлинскому конгрессу, на котором Европа судила Россию и устраивала свои дела, пользуясь нашими победами, которые стоили нам так дорого, что и доселе мы не можем еще вполне рассчитаться за них. Но мы призвали к новой жизни несколько миллионов христиан, и этот подвиг служит нам достаточным утешением.

Не за него ли и мстят теперь нам убийствами наших консулов? Когда в мае 1876 года был убит германский консул в Салониках, князь Бисмарк пригрозил двинуть флот к Константинополю и определил свои требования. Рассказывали тогда в Петербурге, что он предлагал России вместе с Германией занять оба берега Босфора.

— Мы сердечно извиняемся и шлем вам свои соболезнования, что наши люди убили вашего консула.

— Мы сердечно извиняемся, что займем Босфор для безопасности наших консульств и христиан.

Такими нотами обменялись бы державы, и по всей вероятности никакой войны не было бы. Может быть, Германия не предлагала ничего подобного России и действовала самостоятельно, как обиженная держава, но в этом слухе сказывалось общественное настроение против Турции.

Македонию обделили. Чем она виновата? Тем ли, что она — Македония, а не Болгария, или тем, что Австрия, захватившая Герцеговину и Боснию, и Германия, захватывающая Турцию своими капиталами и приготовлением для нее офицеров, устремляли уже тогда свои взоры на Македонию и выделяли ее заранее из Бол-

гарии, чтобы ею со временем воспользоваться? Вот вопрос. Да и вопрос ли? На Балканском полуострове мы освобождали, но ничего себе не брали, а Австрия брала и будет брать и дружа, и враждуя с нами. Кажется, теперь многое становится ясным, что тогда было загадкою для толпы, но ясно для тех немногих, которые знали историю и умели читать в будущем с достаточною вероятностью.

В настоящее время по Европе распространяется столько лжи и нелепости относительно России, так уверенно говорят, что Россия ослабела, что она переживает смутную эпоху. Рабочий вопрос, созданный небывалым развитием промышленности в течение немногих лет, разом выступил вперед, как знамение смуты. Но разве правда, что эти забастовки в самом дела смута? Почему на Западе эти явления не считаются за знамение смуты? Да потому, что там промышленность развивалась целесообразнее и постепеннее, развивалась вместе с образованием и законодательством. Младшая сестра Европы, Россия, в течение меньше чем полвека сделала так много, подняла столько вопросов, затеяла такую перестройку своего быта, что нужно время для законодательного и бытового решения всего этого. Законодательству следует поспевать за жизнью, а не отставать от нее, и дело пойдет ровнее. Если малодушие одних, революционная лихорадка и легкомыслие других, глупость и легковерие третьих дают и в России, и в Европе поводы думать, что Россия находится в периоде упадка, то это еще ровно ничего не доказывает. Россия была во сто крат слабее в те времена, когда она совершала великие подвиги и считалась сильною. Сильна она и теперь, и сильна тем народным самосознанием, которого полвека тому назад совсем не было.

От своего жребия, от своей судьбы уйти нельзя. У России есть свои исторические предания, из которых вытекают исторические задачи: от них убежать нельзя, как нельзя убежать от своей природы, от своего климата. Как бы мы ни раздумывали, как бы ни бросались в сторону, на Дальний Восток, как бы ни откладывали своих наследственных стремлений и задач, они останутся в нас, около нас и даже вне нас, как солнце вне нас, но мы им живем и дышим. Нам приходится и придется завершать свой цикл развития внутреннего и внешнего, несмотря ни на что. Историческая жизнь сильней людей, думающих повернуть ее по-своему. Наши задачи широки, глубоки и трудны, и великий труд необходим для совершения их. Но одного не надо делать — трусить. Скобелев говаривал, что проигранное сражение есть сражение, о котором мы сами думаем, что проиграли его. Русское сердце мужественное, закаленное в горниле своей истории и природы, и с этим придется серьезно считаться всем тем, которые способны это забывать и думать, что Россия падает и разваливается. Нигде и ни в чем не должны мы отступать и ничего не должны бояться. Надо стремиться к тому, чтоб создать гармонию всероссийской работы. Нигде не кваситься, не ежиться, не попадать в кислятину, верить только в себя и в свои силы, а не в дружбу соседей, которая хранит за своей пазухой предательство и, ревниво считая наши промахи, толкает на новые с ехидной улыбкой. Внутренняя и внешняя работа должны идти бок о бок, не уставая. Россия не должна уставать. Чем более разумной и мужественной работы для каждого и для всех, тем меньше скуки и тошноты душевной. Россия — молода и сильна. Кто в это не верит, тот не русский. А что в ней состарилось, то отвалилось или отваливается само собою.

Благоразумие только тогда хорошее качество, когда оно мужественно. В противном случае оно никуда негодно.

30 июля (12 августа), № 9842

CDXXXV

Я бы охотно повторил о С. Ю. Витте все те похвалы его уму, таланту и энергии, которыми были наполнены европейские и русские газеты в последние недели. Он — бесспорно один из тех людей, которые на всяком поприще умеют составить себе громкое имя. Он был отличным работником, когда служил железнодорожным чиновником; поступив к Вышнеградскому, он тотчас же стал его правою рукою. Сделавшись министром путей сообщения, он немедленно же показал, что он и на этом посту способен сделать много полезного и энергичного. Это был новый человек по складу ума, по манере работать и управлять.

Я не беру на себя смелости писать характеристику С. Ю. Витте. Я — плохой финансист. Но я люблю русские таланты, и мне хочется сказать несколько слов и о бывшем министре финансов.

Среди его близкой родни мы имеем такого публициста, как Ростислав Фадеев, дядя С. Ю., такую романистку, как Зинаида Р-ва (Е. А. Ган) и такую иллюминатку, как дочь ее, Блавацкая. Все три названные имени хорошо известны по своим бесспорным оригинальным талантам. В этих талантах есть черта искания нового, прогрессивного, иногда невозможного, черта того, что называется творчеством. Зинаида Р-ва явилась убежденною последовательницею Жорж Занда; Ростислав Фадеев был критиком общественного нашего положения, критиком военной системы Милютина, критиком флота, изобретателем нового вооружения войск, военным историком, славянофилом, человеком отличного образования, едва ли не стремившимся обнять необъятное, пробовавшим что-то совершить даже у египетского хедива и проч. В его слоге было много романтического блеска, как у сестры его Ган, в критике — много правды, но в творчестве не хватало ни глубины, ни практичности. Блавацкая основала какую-то теософскую школу с видениями, с сверхъестественным и чудодейственным, с фокусами, с талантливою и убедительною ложью. Все это были черты родовые, стремления талантливых натур, достаточно неуравновешенных, но выдающихся.

У С. Ю. Витте, по отцу — немцу, явилась известная уравновешенность, сгладившая бурные родовые влечения и уложившая их в рамку практической жизни. Смесь русской крови, старинной фадеево-долгоруковской, с немецкой балтийской, оказалась прочнее и жизненнее, чем у талантливых его родных. Немецкая кровь словно внесла элемент некоторого спокойствия, не затронув русской силы энергии. В сущности, С. Ю. Витте вовсе не родился финансистом. Математик по образованию, он в известной степени, конечно, был воспитан в области цифр и математических точных соображений. Его фантазия не увлекалась ни «дебрями Индостана», как у Блавацкой, ни туманными картинами преобразований, где трудно разобрать, что хорошо и применимо и что негодно, как у Фадеева. По принципам политическим С. Ю. Витте — в известной доле славянофил и твердый поклонник просвещенного самодержавия. Математика и политическая экономия сделали его западником в большей степени, чем славянофильство — славянофилом. У славянофильства было немало туманного, идеологического, что не согласовалось с его природою, в которой совсем не было никакой философии, ни немецкой по отцу, ни русской по матери. Да русской философии и не существует. Но он впитал в себя все те идеи, которые обильно бродили в рус-

ском обществе в период его юности. Не обладая тем, что называется красноречием, он быстро схватывает идеи, усваивает и группирует факты и все это развивает блестяще, не без резкой и внушительной авторитетности. С большою ясностью судил он о людях, тонко понимая как их достоинства, так и недостатки, но, способный к увлечению, иногда ошибался и в ту, и в другую сторону.

У русских талантливых людей есть одно проклятие: им некогда развиться во всю полноту своего ума и таланта. Попав в практическую жизнь, они берутся ею так, что у них не остается времени для отдыха, для чтения, для многосторонней думы. Дела так много сваливается на талантливого человека, что он весь в нем. Его время рвут на части и часто русский государственный человек — решительно мученик. За ним не стоит политической партии с ее поддержкой, столь же открытою, как открыта партия противников. Приходится рассчитывать только на себя самого. И в талантливых людях развивается самоуверенность, безграничная вера в себя и в свою авторитетность, иногда в непогрешимость даже. На Западе есть общественная критика, у нас ее нет, и это нехорошо для талантов государственных, которые предоставляются самим себе и борьба их за себя и за свое дело происходит не на виду у всех.

С. Ю. Витте говорил на этих дня биржевикам, что он торопился сделать как можно больше, и действительно сделал много. Как министр финансов, он останется в истории личностью замечательною, как был бы таковою и на всяком другом поприще. Но творчество государственное, по моему мнению, можно уподобить творчеству в области литературы и искусства. Торопливость тут не только не есть необходимость, но и вредно влияет на произведения этого творчества, которые являются далеко не равными, не шедеврами. И не всё то шедевры, что сделал С. Ю. Витте. Иногда его творчество не идет дальше деловитости, а деловитость заключает в себе немало таких элементов, которые мешают стройности и прочности созидания. Деловитость иногда пренебрегает условиями жизни, не предвидит результатов и крепкой связи разных отраслей жизни, которые должны идти параллельно, питая друг друга. Эта связь, например, нарушена между промышленностью и земледелием, которое осталось в загоне и которое несло на себе всю тяжесть финансовых реформ. Бунге, кабинетный человек, после войны отменяет 100-миллионную подушную подать. Это — большая смелость. С. Ю. Витте в эту сторону так не рисковал и довольно поздно обратил внимание на народную бедность, хотя, когда обратил, то сознавал ее превосходно и резко, и совершенно напрасно не доверял одно время земству. Быть может, было некогда, и он торопился. Но он даже своей торопливостью доказал несомненно, как много хорошего и полезного можно сделать в русской жизни.

Вопреки многим, я думаю, что С. Ю. ничего не осталось делать в области финансов. Говорю только про эту область, которой надо отдохнуть и окрепнуть. Финансовой политике настало время уступить свое место, если можно так выразиться, политической политике. Многое сделано, многое начато, что считается необходимым в европейской финансовой науке, на которую С. Ю. так любил ссылаться. Необходимо согласить это сделанное и начатое с устоями взволнованной русской жизни, которая тоже начинает искать новые пути. Необходимо общее творчество, а не финансовое только, не железнодорожное и торгово-промышленное. В существе дела финансовая политика С. Ю. Витте слишком поглощала всю русскую политику, ставя ее в тесную зависимость от материаль-

ных условий. Он был поэтому не столько министром финансов, сколько первым министром; благодаря своим превосходным умственным способностям, он влиял на все стороны государственной жизни. Он увлекался и увлекал за собою русскую жизнь в том направлении, в каком хотел, в каком был убежден и которое считал наилучшим для своей родины и для славы ее государей. Он вызвал к себе много вражды и я думаю, что это — доля всякого смелого и деятельного министра. Он сделал довольно и занимал собою не только русское, но и общественное мнение Европы как министр финансов, как реформатор, без устали работавший и стягивавший все в свою сферу выдающегося государственного человека.

Ошибок не бывает только у тех, кто ничего не делает. Он делал много, и ошибки естественны. Надо дать отдых податным силам. Они устали. Мне думается, что он и сам устал, сам увидел необходимость приостановиться и разобраться в том, что сделано, что народилось и выросло с какою-то неожиданностью, нас удивляющею, потому что мы все продолжаем думать по старине и за усиленною работою не видим многого, что растет и предъявляет свои требования. Дети стали расти гораздо скорее, чем отцы, и гораздо смелее и решительнее, чем отцы, стали смотреть на русскую действительность. Нашему государственному творчеству еще много дела впереди, много испытаний, тревог и бурь. И всему этому надо смело смотреть в глаза, ни на минуту не теряя того просветленного мужества, которое должно быть уделом государственных людей, и той веры в великие силы и способности русского народа, которая должна отличать всякого человека, стоящего у кормила правления.

29 августа (11 сентября), № 9872

CDXXXVI

Присяжные на этих днях оправдали убийцу, который нанес ножом 38 ударов кухарке.

«Необходимо похерить такое нелепое и уродливое учреждение, как суд присяжных», говорит «Гражданин» в своей передовице

А сам князь Мещерский говорит в том же нумере:

«Уехали наши Мирабо, сиречь председатели губернских земских управ, приглашенные в комиссию о центре... В каком настроении они уехали: с приподнятым носом или с носом на квинту? Оказывается, что носы были опущены... Наши Мирабо отправились прямо из Петербурга поднимать свои носы, разумеется, к папаше Шипову, ожидавшему их с распростертыми объятиями и с приемами kali bromati для подъема нервов... Двое из Мирабо бросились на шею папа Шипова с рыданиями...

— Папася, — заговорили они сквозь плач, — нас обизают»...

И так далее, и так далее и чем далее, тем глупее.

«Суд присяжных похерить» и «Папася, нас обизают» — это одного и того же достоинства, т. е. это лишено всякого политического и литературного достоинства. Я очень часто говорил против приговоров суда присяжных, когда он оправдывал убийц. Это что-то дикое: я убил человека и мне говорят: «не виновен». Какие бы причины, какие бы страсти ни руководили мной, но я несомненно виноват, и если я человек, если заслуживаю того, чтобы жить свободно среди лю-

дей, то я сам должен сознавать, что я виноват и ничей суд не может меня вполне оправдать даже в моем собственном мнении. Оправдательный приговор должен даже оскорбить человека, который убил себе подобного.

Но из этого вовсе не следует, что надо «похерить суд присяжных». И что за политический термин «похерить»! Как это благозвучно и благородно! Похерить суд присяжных, похерить земство, похерить 19 февраля! Херить да херить, значит отрицать и разрушать, разрушать и отрицать в слепой ненависти бессмыслия. Конечно, приговоры присяжных должны подлежать критике. Пусть эта критика будет резкой, но критика воспитывает, критика наматывается на ус, она заставляет человека думать и строже отдавать себе отчет в своих действиях. Но «суд присяжных надо похерить» — это не критика, это — какой-то приказ, каприз, это — высокомерие зазнавшегося выскочки или капитана-исправника старого режима. Найдите мне у Каткова подобное выражение. Вы его не найдете.

«Наши Мирабо», «папася, нас обизают» — это тоже: похерить. «Наш Робеспьер», «Наш Мирабо» — это более глупо, чем наш Лафонтен, наш Шекспир, наш Мольер. Мы, русские, особая статья и вовсе не младенцы, нуждающиеся в кличках. Денис Давыдов говорит:

А глядишь, наш Мирабо
Старого Гаврила
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
А глядишь, наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Вот с какого времени идут эти прозвища. Хлестать в ус да в рыло, класть мужиков под пресс, как свекловицу, и вместе с тем говорить красивые речи, ораторствовать в гостиных и приводить в умиление милых светских дам — это, я думаю, прошло. В людях серьезных, желающих добра своей родине, порядка и правды в жизни, слово стало отвечать делу и дело — слову. Слова сообразуются теперь с тем, что надо, что необходимо, и дела в них гораздо больше, чем красивости. Нельзя думать, что председателя управ приехали в Петербург для того, чтобы сыграть роль Мирабо и удивить современников своим смелым красноречием. Я думаю, что они приезжали, как практики, как люди, которые знают местную жизнь и которым есть что сказать. Если бы они говорили даже что-нибудь лишнее, кому это мешает и вредит? Да и что такое лишнее? Когда мы говорим в гостиных, в кабинетах, в вагонах, мы не стесняемся, и обыкновенно слушают того, кто интересен, кто умен и остроумен, кто больше знает и умеет излагать свои мысли. Лишнее уходит и забывается, мысли остаются. Когда люди собрались для дела, неужели можно от них требовать, чтоб они ничего «лишнего» не говорили, чтоб они были прямолинейны, как машины, чтоб речь их текла между гранитными набережными, не смея отклоняться в сторону ни на вершок? Ведь говорят же адвокаты и прокуроры в суде и говоря много лишнего несомненно. Это несомненно даже потому, что эти речи называются «судебным красноречием», а где красноречие, там лишнее существует уже, как ораторская форма, часто

затягивающая процессы. Однако, суды наши гораздо лучше теперь, когда говорят адвокаты и прокуроры открыто, чем прежде, когда только бумаги писали и когда все было шито и крыто. Если этот новый порядок судоговорения принес несомненную пользу правосудию, то почему нельзя ожидать несомненной пользы для управления от земцев, от их речей, от их заявлений, если даже эти речи и хотят выступить из берегов и действительно выступают? Я имею основание думать, что они за берега даже не выступали. Это — взрослые и спокойные люди, и писателю стыдно говорить о них, как о мальчишках и младенцах. Или он воображает, что, сюсюкая «папася», «обизают», он поражает земство? Сюсюканье может быть очень мило с детства, но со взрослыми людьми оно глупо.

Впрочем тут есть повод и утешиться: когда человек засюсюкал со взрослыми — это значит, что он весь вышел и осталось от него только сюсюканье...

31 октября (13 ноября), № 9935

CDXXXVII

Вы знаете, что в Петербурге г. Макензи Уоллес (Mackenzie Wallace), автор прекрасной книги о России, явившейся лет 25 назад. Вы знаете, вероятно, также, что русская история очень обязана иностранцам, в том числе и англичанам, между которыми был Флетчер. Без этих добросовестных и образованных иностранцев, которые посещали нашу страну, мы многого не знали бы о нашей старой России. Они сохранили нам драгоценные подробности о нашем быте, наших нравах и оставили изображения городов, улиц, костюмов, процессий, народных сцен и проч. в гравюрах. И эти сочинения были не какие-либо легкие впечатления, какие теперь сплошь и рядом являются в иностранной журналистике, впечатления, записанные в вагонах и при случайных встречах. Авторы ездили на долгих по России, по непроезжим дорогам, подвергаясь всевозможным лишениям и неприятностям, и тщательно записывали все виденное и слышанное.

К подобным путешественникам принадлежит и г. Макензи Уоллес. Ему надо было больше труда, знаний и таланта, чем прежним путешественникам, потому что теперешнее Русское государство гораздо сложнее. Он прожил в России несколько лет и у деревенского попа выучился русскому языку так основательно, что спустя и двадцать пять лет, в течение которых он редко имел случай говорить по-русски, он помнит его и говорит довольно свободно.

На этих днях я беседовал с ним. Это было не интервью, а тот свободный разговор, который завязывается между русским и иностранцем, которые интересуются одним и тем же предметом.

— Русские стали практичнее, — вот краткое резюме его теперешнего посещения России.

— Я не знаю другого европейского государства, кроме России, где теории так широко господствуют в обществе, — прибавил он в пояснение своих слов о том, что мы стали практичнее.

В последние годы он наслушался там много такого, что возбуждало в нем скептическое чувство. Задумав новое издание своей книги, он решился вновь посетить Россию и проверить, действительно ли дела обстоят так, как он слы-

шал. Он вернулся в Петербург из этой поездки с критической оценкой всего того, чего он наслушался. Он нашел Россию лучше, чем ему о том говорили.

Он поехал прежде всего в Смоленскую губернию, которую хорошо знал, как губернию очень бедную. Если где можно проверить бедность, то, конечно, там, где она существовала. И он увидел поля, засеянные льном; он увидел клеверные поля, он увидел вместо сохи плуги. Плуг — это уже большой прогресс в хозяйстве. Помещице, у которой он жил, понадобилась зачем-то соха, и такой сохи не оказалось ни у одного крестьянина. То, что двадцать пять лет назад встречалось только на помещичьих полях, теперь вошло в обычай у крестьян. Смоленская губерния сделала большие успехи в земледелии. Перемены к лучшему он находил почти всюду. Рост России показался добросовестному путешественнику несомненным.

Крестьяне жаловались на недостаток земли. Он заметил, что они с недоверием относятся к тому, что делают на своей земле помещики. «Это барские затеи. Нам они ни к чему». Но, как скоро являются пионерами в хозяйстве более смелые крестьяне и соседи видят хорошие результаты этого хозяйства, тотчас начинают то же самое делать и они.

В Москве он передавал свои наблюдения одному известному земскому деятелю и высказывался перед ним за необходимость немедленного перехода к интенсивному крестьянскому хозяйству.

Земец отвечал, что прежде всего необходимо образование и образование, что образование само заставит крестьян перейти на улучшенное хозяйство.

Г. Уоллес возражал ему, что о необходимости образования и спорить нечего. Это само собой разумеется. Но надо пятьдесят, пожалуй, сто лет для того, чтоб развить в народе образование. Надо ли ждать так долго? По его мнению, к интенсивному хозяйству надо перейти теперь же, не дожидаясь результатов образования. Не говоря об Англии, которая перешла к интенсивному хозяйству полтораста лет назад, когда в ней народного образования не было, он указывал на Германию, где интенсивное хозяйство тоже вошло в обычай до всеобщего обучения.

Это замечание сэра Макензи Уоллеса очень ценно. Образование образованием, а новые усовершенствованные приемы в хозяйстве должно вводить всеми средствами теперь же. Я вспомнил, что еще не так давно губернаторы кассировали приговоры земства о приглашении агрономов. Теперь такого губернатора не найдется.

Я передаю сущность нашего разговора, думая, что наблюдения добросовестного, вдумчивого и талантливого английского путешественника приятно будет услышать нашим читателям.

Я передал ему кое-что о Чернском уезде. Плуг и там начинает входить в употребление, благодаря земству, которое делает кредит крестьянам. В нынешнем году это стремление приобретать плуги было особенно велико и совершенно неожиданно, точно кто толкал их. Земство наше вообще играет в этом отношении прекрасную роль, и роль эта в будущем еще благодетельнее, если оно будет действовать еще с большею энергией вместе с нашим министерством земледелия.

«Русские стали практичнее». Давай Бог. Пора от теории обратиться к практике, но теория все-таки держит нас за полу.

Практичнее надо устроить и наши школы. Вот что я, между прочим, знаю. Один священник, сам хороший хозяин, стал по вечерам читать крестьянам избранные статьи из сельскохозяйственных журналов. Сначала эти чтения посеща-

лись немногими, но уже через несколько чтений число слушателей так возросло, что помещение школы не вмещало всех желающих слушать.

Отчего бы в начальных школах не учить земледельческому катехизису мальчиков? Христианский катехизис так заучивается, что тексты помнишь всю жизнь. Я знаю, что в французских начальных школах учат *краткому* земледелию. Существуют два учебника, один — для учителя, другой — для учеников. Учебники иллюстрированы. У нас, сколько мне известно, ничего подобного нет. А это несомненно было бы полезно. У нас нет и земледельческой книги для чтения, вроде хрестоматии, которую мог бы составить хороший сельский хозяин. Всякий из нас знает, что мы многим обязаны хрестоматиям русской литературы в наших познаниях с литературой, историей и географией. Мои ровесники всегда с благодарностью вспоминают Галахова, хрестоматия которого для своего времени была драгоценной книгой. Учебники по земледелию и вообще по сельскому хозяйству вместе с хрестоматией также сыграли бы свою хорошую роль. Отчего бы министерству земледелия не обратить внимания на эту насущную потребность?

1 (14) ноября, № 9936

CDXXXVIII

Я говорил об отношении «Гражданина» и самого редактора этой газеты к суду присяжных и к земским представителем, которые были вызваны в Петербург для совещания. В передовой статье, подписанной г. Иксом, прямо было сказано, что «надо похерить» такое нелепое» учреждение, как суд присяжных. Г. Икс равен Х, а Х напоминает русскую букву Х, хер, как меня учили, когда я был мальчиком. Я думаю, что гг. Херы, желающие «похерить» все порядочное, с чем мы сжились, хотя бы оно и имело свои недостатки, вовсе не берут «знамени честного служения порядку и благу родины» — выражение в кавычках принадлежит князю Мещерскому.

Покойный отец часто мне рассказывал о двух братьях, которые решились в присутствии отца *говорить по херам*, надеясь, что он не поймет их. Они лежали на палатях, а он — на печи. — Хер брат? — Хер что? — Хер пойдем. — Хер куда? — Хер в кабак. — А хер дубина? — крикнул отец.

Ни говорить по херам, ни действовать по херам не следует.

Я никогда не был поклонником гг. Херов. Я любил и люблю реформы шестидесятых годов, и 19 февраля, и земские учреждения, и новый суд, и апрельские законы о печати, и думаю, что в современном неустройстве, о котором говорят теперь так часто, эти реформы нимало не виноваты. Жизнь не есть нечто такое, что идет по указке, по прямому направлению. Жизнь давно уже уподобляется реке, которая течет неправильно, изгибами, то бушуя на порогах, то спокойно по равнине. Как в жизни земли, так и в государственной жизни есть времена года, но времена года в государственной жизни не имеют правильных периодов.

Я — старик, как совершенно справедливо выражается князь Мещерский; я много видел, ибо живу уже в четвертое царствование. У меня есть длинный опыт и этот опыт говорит мне ежедневно, что наступает весна русской жизни, и я нисколько не боюсь этого и не вижу в ее признаках таких опасностей, которые

бы нам серьезно грозили, ибо всяческие опасности несомненно возможно предупредить не средствами гг. Херов, которые только отрицают, консерваторы они или революционеры, желают ли они похерить реформы, или всю русскую жизнь с ее русскими началами. Предупредить можно только разумным творчеством, и я — за это творчество, за творчество сверху, а не снизу, не революционными силами, с умом и опытом благороднейших явлений русской истории, древней и новой. Я верю в русский ум даже в весенние разливы, даже в буйную весну, и я не был бы русским, если б осмелился думать, что вся премудрость заключается в слове «похерить».

Всякий правительственный почин в приглашении земских сил себе на помощь во мне находит полнейшую симпатию. И я думаю, что это приглашение отнюдь не должно быть формальным. Оно должно быть искренним, светлым, любовным. Ничего недоверчивого и подозрительного тут не должно быть. Это — не формальный визит, который делается иногда поневоле, а любезные гости, которым рады и с которыми полезно провести время и столковаться о важном деле. Тут взаимное доверие необходимо и без него ничего не может быть.

И вот в Петербург приглашают нескольких председателей земских управ. Они работают под председательством В. Н. Коковцева. Заседания эти негласные, и я не знаю, что там происходило. Князь Мещерский представил эти заседания, очевидно, в карикатурном виде. Он увидел в председателях губернских земских управ не более и не менее, как Мирабо, и в их речах Droites de l'homme. Последнее он утверждает сегодня. Вместо обсуждения он трактует этот вопрос с точки зрения французской революции. Вот, мол, надвигается революция и являются Мирабо. На почин правительства отвечают революционными требованиями. Я тут ни одному слову не могу поверить. Что могли быть недоразумения, это так естественно, в особенности в виду вопроса чрезвычайно важного: как пособить русскому обедневшему центру? Я не думаю, что на этот вопрос легко отвечать, что у каждого председателя земской управы в кармане лежит готовый ответ и притом самый драгоценный. Целые годы канцелярии разрабатывают законодательные вопросы гораздо меньшей важности и нередко вкривь и вкось, пока не выйдет что-нибудь цельное и разумное. Почему же председатели управ такие гении, что могут отвечать на предложенные вопросы с такою же определенностью и мудростью, с какою митрополит Филарет в своем катехизисе ставил вопросы и отвечал на них? Но ведь у митрополита Филарета были вековые богословские исследования, да и за них на него последовали доносы в ереси, и он насилу оправдался. Вопросы о русском центре так слышны — и крестьянство, и дворянство, и те способы, которые могли бы поставить на ноги падающую Великороссию, — что тут мудрено отвечать что-нибудь определенное и не задавать вопросов побочных и даже общих. Это вопрос не только о хлебе насущном, но и о нашей национальной силе, о крепости государства.

Что, эти председатели, хотя бы и губернских земских управ, законодатели, что ли? Их мнения желают узнать разве для того, чтоб формулировать их в закон? Мнение есть только мнение. Та нравственная связь, которая существует между правительством и русскими людьми, выражается в мнении. Правительство может принять его или отвергнуть. Но выслушать его следует. Не сегодня, так завтра оно пригодится. Так я думал и думаю. Это тоже мнение, и ничего более. Но оно вполне отвечает моим убеждениям и привычкам журналиста.

Относиться враждебно к этому маленькому опыту призыва земских людей не только не политично, но грешно.

Князь Мещерский наговорил мне много меланхолического вздора и даже упомянул о кухарках. Но он перестал сюсюкать, чему я очень рад, ибо сюсюканье — плохой признак. Вероятно, он принял некоторое количество брома или йода. Он недоволен тем, что я «направил стрелу на его личность», тогда как он моей «личности не касался». Это неправда, что он не касался моей личности. В мою личность входят мои убеждения прежде всего, как в личность князя Мещерского входит его убеждения. Я говорил о нем не для своего удовольствия, а для дела. Дело же имеет чрезвычайную важность.

Он затронул личности, которых я не знаю, но которые в идее мне дороги, он представил их революционерами, он говорит: «напася Шипов», он уверяет, что земцы, возвратившись в Москву, пели «Марсельезу» и душили в своих объятиях г. Шипова: он называет предводителей дворянства «Сашенька», «Мишенька». Ни один европейский публицист этого себе не позволит. Дворянство значит же что-нибудь; его выборы — не игра на балалайке и его представители — не «Сашеньки» и «Мишеньки». Уменьшенными именами когда-то подписывались бояре и другие русские люди в прошениях к своим царям. Но русские цари, в заботе о нравственной личности своих подданных, давно это уничтожили, как унизительную форму. Какое же право у князя Мещерского так третировать представителей целого сословия, в расчете унизить их, как мальчишек, подорвать к ним доверие и вызвать улыбку на чьи-нибудь уста? Смею думать, что эти расчеты обманут его.

Идет весна, и я желаю ее от всей души. Я желаю, чтобы в нее верили русские люди и работали спокойно и добросовестно, не увлекаясь призраками и оппозицией. У журналистики должна быть критика, но не злоба и обидная насмешка. Злобой и наговорами ничего доброго нельзя сделать.

3 (16) ноября, № 9938

CDXXXIX

Что мы сделали для земледелия? Почти ничего. В несколько лет министерство финансов быстро подняло промышленность и значительно усилило коммерческое образование. Для этого потребовались энергия и деньги. Очевидно, у земледелия нет ни энергии, ни денег, а мы — земледельческое государство и, как ни раскидывай умом, наш бюджет зависит от его высокопревосходительства урожая. Когда этой чрезвычайно важной особы нет, когда этот генералиссимус уходит куда-то, вероятно от огорчения, в какую-нибудь пустыню, то хоть плачь.

Почему же земледелие в таком загоне?

Мне думается, что одна из важнейших причин — бессознательная, привычная вера в крестьянина, в раба земли. Не он ли испокон века пахал, ему ли не знать, как обрабатывать землю? У него тысячелетняя практика. Соха-матушка прославлена в нашей поэзии. Крестьянин отдан был помещику вместе с душою и пахал сохою и сеял рукою и для себя, и для помещика. Пахарь, разбрасывающий семя рукою, беря его из подола, это — эмблема Руси. Когда крестьян освободили, помещики набросились на машины с каким-то восторгом увлечения. Увлечение — это тоже наша черта. Но для машин нужны были люди и уменье. А этого не было.

Плуги и машины забросили, и опять пошло по-старому. Разумеется, были культурные хозяйства, но в виде исключения, а не правила. Правило — в вере в крестьянскую силу и умень. Было даже такое учение, что вся мудрость — в крестьянине, что у него нам всему надо учиться, и мы ни сами не учились и крестьянина не учили. То есть мы, пожалуй, всему учились, даже шпаги глотать, но в практических и самых нужных вопросах стояли на азбуке, а азбуку крестьянин и сам знал.

Необходимо переходить к улучшенному крестьянскому хозяйству *прямо практикою*, а не ждать того времени, когда народ получит образование и через него поймет, что нельзя оставаться с сохою и с трехпольем. Народ надо поднимать, как надо поднимать общество, ибо и народ и общество у нас довольно пассивны. Промышленность развилась потому, что ее приободрили, расшевелили, вызвали пожертвования на промышленные школы, оградили это детище высоким тарифом и другими способами, и оно зашагало, оно стало модным и сильным. Промышленный класс почти вдруг выделил свою аристократию, и даже просвещенную аристократию, и начали создаваться капиталы. Не говорите о кризисе. Кризисы — обыкновенные болезни и они проходят. Но хроническое недомогание зависит от народной бедности, от нищенской бедности земледелия, которое не дает народу того, что дать может, на что он мог бы покупать то, что приготовляет промышленность.

Дайте земледелию то, что дали промышленности, употребите энергию, насколько у вас ее хватит на подъем земледелия, и земля наша вздохнет и получит тот кусочек счастья, который она давно заслужила своим терпеньем и трудом. Без усилий правительства, без его энергии и почина здесь долго еще ничего не будет сделано. Правительство двигало страну. Оно должно ее двигать и дальше, чтобы не было плача и скрежета зубовного.

Мы разбрасываемся. Вопросы возникают каким-то необыкновенным урожаем, сам-пятнадцать. Их не перечтешь, и чем эти вопросы меньше, тем больше они нас занимают. Театральный вопрос в последние годы занимает нас больше, чем вопрос земледелия. На театр набросились все, строят, пишут, торопятся, как бы не отстать друг от друга, лицедействуют, перегоняя Европу. С этого ли конца надо перегонять ее? Еврейский вопрос сколько поглотил внимания. Кишиневский погром прожужжал всем уши. Событие печальное. Но ведь у нас, в этом милом русском государстве, ежегодно, помимо всяких еврейских погромов, более 8500 убийств в драке и преступлениях и до 40 тысяч раненых в драках и преступлениях. Почти пятьдесят тысяч ежегодно выбывают из строя в какой-то беспорядочной и дикой битве. Таких высоких цифр нет ни в одном государстве, и прежде всего надо бы ужасаться этим цифрам, которые лучше всего объясняют и еврейские погромы. Рабочий вопрос нас взволновал своей неожиданностью; законодательство должно бы предупреждать такие явления и заключать их в законные и тесные рамки. Живет же Западная Европа, где слово «стачки» почти не сходит со страниц газет, как явление обыкновенное, как перемежающаяся лихорадка. Все до известной степени исцелимо, но необходимы полные сил и знания врачи.

Врачи нужны для земледелия, они нужны чрезвычайно, нужны, как железные дороги и другие пути, нужны, как чистый воздух для дыхания. Надо убедиться, что земледелие — главный вопрос, что оно — насущный хлеб, что около него группируется все государство, все его интересы и все другие вопросы, не исключая даже еврейского. Это наше «помни о Карфагене», а не что-нибудь такое, что

само собой пойдет вперед. Оно, конечно, идет, но идет черепашьим шагом и голодовкой нам напоминает об этом почти ежегодно, требуя от казны многие десятки миллионов. Неужели выгоднее и практичнее платить эти огромные миллионы, чем употреблять ежегодно маленькие миллионы на улучшение нашего земледелия и достичь того, что достигла Европа, где *нашего* голода давно не существует?

Я — не сельский хозяин, но пять лет сряду я присматривался к деревне, к мужичьему и помещичьему хозяйству в этом злополучном, многострадальном и мужественном, как Геркулес, нашем Центре, и клянусь Богом, что так продолжаться это не может. По-моему, это самый важный вопрос. Он так же важен, как важно было освобождение крестьян, и за него надо приняться с тем подъемом культурной энергии и мужества, какие нужны для великих дел. Это именно — великое дело...

5 (18) ноября, № 9940

CDXL

Я не могу себе представить, чтоб русский человек мог произнести такую фразу:

«Если к серьезному, полезному делу привлечены земцы, они неизбежно превратят его в дело пустое и вредное — таково было глубокое убеждение каждого русского человека, следившего за тридцатилетнею деятельностью наших земских заправил».

Эта фраза вместе с другими, ей подобными, напечатана в № 300 «Московских Ведомостей» за подписью Spectator. Слово это английское, выговаривается так: «Спектейтор» и в переводе на наш язык значит зритель. Англичанин, конечно, не мог написать ничего подобного, ибо каждый англичанин, во-первых, почтительный верноподданный, во-вторых, убежденный поклонник самоуправления.

Если написал эту фразу русский, то он не имеет на это ни малейшего права. Г. Спектейтор часто пишет в «Московских Ведомостях». Значит, это журналист. Кто дал право журналисту говорить от всей России, за «каждого русского человека», якобы «глубоко убежденного» в том, что земцы — пустой и вредный народ? В тридцатых годах вся журналистика, все литераторы смеясь над Полевым — литератором, имевшим однако серьезные заслуги, за его фразу: «Я знаю Русь и Русь меня знает». И смеялись справедливо. Г. Спектейтор не имеет и тех маленьких прав говорить за Россию, какие были у Полевого. Общепринятое правило у журналистов говорить так: «мы думаем», «по нашему мнению», или: «я думаю», «по моему мнению» и т. д. Но говорить за всех русских людей, значит, обманывать и себя самого и читателей. Правда, г. Спектейтор говорит только за «каждого русского человека», следившего за тридцатилетнею деятельностью земцев. Следить более или менее разумно можно только со дня совершеннолетия. Стало быть, г. Спектейтор говорит за каждого русского человека, которому теперь пятьдесят один год. Остаются все те, которым меньше пятидесяти одного года. Значат они что-нибудь или нет? Полагаю, что они даже много значат. Не знаю, как у «Московских Ведомостей», но во всех странах поколения от тридцати до пятидесяти лет считаются цветом населения. И я убежден, кроме того, что большинство из тех, которым пошел пятьдесят второй год, никогда не дадут своего голоса г.

Спектейтору. Его фраза принадлежит тому небольшому кружку, который желает все «херитъ», а потому он имел право говоритъ не от «каждого русского человека», которому идет пятьдесят второй год, а только от некоторых «русских людей», которым идет пятьдесят второй год и, конечно, далее до ста включительно. Эти краткие соображения дают мне право сказать г. Спектейтору, что он, по меньшей мере, самозванец, и притом, не первый...

Говоритъ ли по существу об этой статье г. самозванца? Конечно, вся речь его дышит самоуверенностью. Он не говорит, а изрекает глаголы высокомерия. Жалкий, наивный, легкомысленный, «долготерпеливый» Петербург. И самая статья называется «Напрасное долготерпение». Несмотря на «горькие уроки», он успел уже «все забыть и ничему не научиться». Сколько раз ему твердили, что земство — зло, что земство — ничтожество, что оно способно только «на буффонады», что оно — «пустота», что земцы подобны тем куклам, которые умеют говоритъ два слова «папа» и «мама»: потяни земца за один шнурок, «услышишь от него «правовой порядок», потяни за другой — «народная грамотность».

Я не сочинил тут ни одного слова. Князь Мещерский готов все «херитъ», что ему неприятно. Три года тому назад он писал в «Гражданине», что министр обязан говоритъ государю, что «Россия стонет от земства», но и князь никогда не говорил такой московской белиберды о земстве.

Пусть земцы действительно увлекаются «правовым порядком» и «грамотностью», пусть они недостаточно практичны. Но ведь тридцать — сорок лет вовсе не такой срок, в который можно сделаться в некотором роде совершенством. Чиновник гораздо старше, но чиновника ругает даже князь Мещерский и если, по его словам три года назад, «Россия стонала от земства», то по его же словам в нынешнем году она «стонет от чиновника». Не поймешь, кто орет и кто кого дерет. С такою критикою можно прямо отчаяться и броситься в Неву или в Москва-реку. В этой критике нет главного — трезвого исторического взгляда и справедливости, не говоря уже о том, что она не партийная даже, а просто кружковая и старческая.

Ведь если поверитъ на слово г. Спектейтору и князю Мещерскому, то, очевидно, они одни и все видят, и все знают. Они вызываются указать истинно «дельных людей» и направитъ русский корабль по своему фарватеру. Это — два протектора, которые выдают свидетельства в благонадежности и дельности. Но по какому праву? Спасли, что ли, они кого-нибудь и что-нибудь?

Я твердо убежден, что земство с его огромным большинством ставит в основу своих воззрений два выразительные слова: государь и отечество. Вне этих слов если кто и думает, то это маленькая величина, с которою едва ли стоит считаться. Государь и Отечество — вот дорогие слова и дорогие понятия. Чтобы не забираться далеко, вспомним последние полвека: с самого 19 февраля 1861 года, с того дня, который, по указанию государя, сделан всероссийским праздником, русское правительство, несмотря на то, что оно было поставлено в тяжкие условия польским восстанием и революционною смутою, все-таки продолжало свою государственную задачу благоустройства России в смысле права и закона.

Что такое «правовой порядок»? Не ища тут никакого символа, а понимая эти слова в духе всей нашей истории, я говорю, что стремления русского правительства могут быть выражены именно этим словом — «правовой порядок». Что противоположно этому? Бесправие, рабство, лицеприятный суд. Я жил сознатель-

ною жизнью еще в конце пятидесятых годов и знаю, какая была это бедная и бесправная жизнь и как эта русская жизнь обновилась и окрепла и стала почти неузнаваемой. Не судите по вчерашнему дню. Он слишком близок, и ваше суждение будет слишком узко. Я не так наивен и не так неопытен в символическом языке, чтобы не знать, что такое разумеет г. Спектейтор под словом «правовой порядок». Это — парламентаризм, а не то, что я разумею и что, по моим наблюдениям, весьма продолжительным, разумеет огромное большинство земцев, дворянства и купечества. Говорите же прямо и бросьте свой символический, условный язык. Парламентарную Россию я не могу себе представить, но Россию, которая живет в порядке права и закона, имея сильную и твердую власть — необходимую для жизни, я легко себе представляю и с чувством радости сравниваю настоящее и прошедшее. Я далек от мысли, что все обстоит благополучно, но я верю в наступающую весну, верю в неизменное желание правительства сделать все возможное для той России, которою правит оно, и у которого одна с нами дорогая родина и одна и та же история. Мне глубоко противна оппозиция во что бы то ни стало, противны революционеры. Я верю в иной успех, здоровый и спокойный, и для этого успеха дорого искреннее и здоровое содействие земства.

8 (21) ноября, № 9943

CDXLI

Недавно я говорил о нашем земледелии, об его печальном состоянии. Я получил много сочувственных писем, подтверждающих то, что я говорил. Да и кто может сомневаться в печалях нашего Центра, в скрежете зубовном землевладельцев. Ведь, если правду говорить, Центр наш стал ослабевать еще с XVIII столетия. Из него брали все, что можно было взять — деньги, войска, интеллигенцию и почти ничего в него не возвращали, т. е. не удобряли землю, не насаждали земледельческих школ, не распространяли грамотности, не учреждали высших учебных заведений, даже обходили железными дорогами. Наш Центр изнемогал под бременем расходов и напряжением всех своих сил создавал мощь государства, а государство, расширяясь в своих границах, забывало этот Центр. У правительства всегда было так много работы, что оно не замечало обеднения Центра или ему было некогда. Я назвал наш Центр Геркулесом и правительство всегда смотрело на него, как на Геркулеса, способного свершить всякий подвиг, на Геркулеса-патриота, который мощью своего духа и силою мускулов создавал величие государства, побеждал врагов, расширял территорию, строил железные дороги, колонизировал новые места, создавал чудесную литературу, давал таланты для всех поприщ и в прежних руках держал русское единство.

Это ли не заслуги, это ли не подвиги, достойные вечной благодарности?

Но и у Геркулеса не Божьи силы. И Геркулесы теряют их. Бедные русские селения остаются в таком же виде, как при царе Алексее Михайловиче, когда их рисовал иностранец для альбома путешественника Мейерберга, а этому прошло двести пятьдесят лет. Посмотрите на эти изображения и вы увидите, что это почти буквально одно и то же. Геркулес стоит в своей посконной рубахе у своих хором — жалкой избенки, покрытой соломой, которою нередко лакомится изнывающий друг его, лошадь...

Орловский уроженец, поэт Тютчев, столетие рождения которого будет праздновать Орел, из потрясенного сердца сказал об этом центре, об этих «бедных селениях» с их «смиренной наготой»:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Но «смиренная нагота» начинает думать тяжелую думу. «Смиренная нагота» начинает больно чувствовать свою наготу и просить тепла, просить одежды, хлеба и крова.

Я прочел в «Московских Ведомостях» статью г. Нилуса по поводу моего «Маленького письма» о земледелии. Конечно, он согласен со мною. Но я с ним не согласен и в весьма важном пункте, в том самом пункте, в котором не согласен я и с «Московскими Ведомостями» вообще. Я не согласен отрицать земство, его заслуги и его будущее. Я никогда не повторю таких слов:

«Довольно с нас «сведущих» земцев, бессознательно играющих в руку единственному искреннему космополиту — еврею и родному его брату, армянину, — будет с нас комиссий, подкомиссий, обессиливших и втоптавших в грязь столько светлых ожиданий, столько самобытных энергий, столько бодрых и свежих дарований. Ни от земства, ни от комиссий нам нечего ждать спасения».

Нет, этих слов я не повторю. Они не только режут мой слух, они противны всему тому, что я знаю, чему всегда сочувствовал не умом только, но и сердцем. У земства есть недостатки и, вероятно, крупные, как в общей его деятельности, так особенно в частностях. Но, кажется, именно частности выдвигаются вперед и на них основывается общее суждение. По частностям нельзя составлять мнение ни о целом народе, ни о его сословиях. Я не думаю, чтоб нашлось какое-нибудь земство, которое бы повторило слова еврейского «Восхода», который говорит, что для поднятия Центра необходимо пустить туда евреев. Вот они-то именно и все поправят. Держи карман! Они так же поправят его, как поправили Галицию и Венгрию, тоже области преимущественно земледельческие. Что мы сами создали, то сами и поправим. Начало этому уже положено.

У русского правительства столько дела, что земство является его естественным помощником. Бюджет земства равняется теперь ста миллионам, городской бюджет ста тридцати миллионам. Это — двести тридцать миллионов, расходуемых русским самоуправлением! В начале своей деятельности земский бюджет достигал только пяти миллионов. Если мы вспомним, что сорок пять — пятьдесят лет назад весь государственный бюджет не превосходил, вероятно, трехсот пятидесяти миллионов, то легко представить, как параллельно с государством и его потребностями развивалось самоуправление и его потребности. Я совсем не понимаю этих звонких фраз: «довольно с нас «сведущих земцев», «будет с нас комиссий, подкомиссий», что «втоптаны в грязь столько светлых ожиданий», «энергии, бедных и свежих дарований». Не бессмысленные ли это слова? Если они заключают в себе смысл, то надо его объяснить фактами, именами и назвать свежие дарования и т. п. вещи, якобы втоптанные земством в грязь. Мне кажется, надо оставить эти вокабулы, эти выкрики, рассчитанные на пугливость. Не пора

ли выяснить дело начистоту, не пора ли прощать взаимно личные обиды, недоразумения и грызню и понять, что именно эта грызня и какой-то яд недоверия втаптывают в грязь самые дорогие интересы. Никакого дела нельзя держать в этой грызне, в этом разделении. Весьма возможно, что «сведущие земцы», комиссии и подкомиссии, с этими же земцами, допустим, не принесли той пользы, которую от них ожидали. Но на протяжении сорока лет эти сведущие люди созывались случайно, без выработанных программ, без системы. Если человека разбудить и задать ему важные вопросы, он спросонья, пожалуй, невесть чего наскажет. Но надо бодро спрашивать бодрствующих, надо дать возможность приготовления и подчинить выбор сведущих людей известной системе. Надо воспитываться и воспитывать на практическом деле, не боясь шероховатостей и ошибок. Что касается меня, я ни минуты не сомневаюсь, что на тех вершинах, о которых говорит сотрудник «Московских Ведомостей», идет деятельная работа и она не обойдется без содействия земских сил.

16 (29) ноября, № 9951

CDXLII

Двадцатый век зарекомендовал себя с первых же своих лет каким-то нервным подъемом и выдвинул вопросы, которые точно ожидали того, чтобы XIX век затворил за собою двери. Эти искусственные стенки в счете времени точно какие живые существа, и новый век точно новый человек, который поднимается со своими смелыми запросами к настоящему и указывает этому настоящему настойчиво и повелительно на будущее, как бы говоря, что настало время усиленного творчества и борьбы.

События на Дальнем и на Ближнем Востоке выразили себя рельефно только в эти начальные годы XX века. Никто не ожидал волнений в Китае, и Европа бросилась туда как бы спросонья, с какой-то удивительной поспешностью к ней пристегнулась Япония. Болгария решительно стала действовать как держава, способная серьезно потягаться с Турцией. В двойственном и тройственном союзах чувствуется какое-то напряжение. Пресловутое европейское равновесие точно заявляет склонность расшириться и захватить в свою область всю Азию и Африку. Вместо Европы является Старый Свет и на весы европейского равновесия падают азиатские и африканские грузы. И России, быть может, всех тяжелее, ибо Европа нас никогда не любила и любить не может, не потому, что мы — варвары, а потому, что мы — огромная империя, неудержимо бегущая к расширению своей территории.

Еще в сентябре, сидя на берегу Черного моря и читая тревожные известия о столкновениях с Японией, я думал: «неужели война?» Из Петербурга писали мне, сегодня: «война», завтра: «мир», послезавтра опять: «война». Я не верил войне и не придавал значения цифровым данным о нашей дальневосточной армии и нашем флоте сравнительно с таковыми же японскими силами. В русской голове не умещается понятие о том, чтобы Япония могла победить Россию даже в союзе с Англией и Соединенными Штатами. Побежденная Россия — это, конечно, не конец России, но это начало ее падения, это удар по ее духу, по ее самосознанию как о государстве великого и непобедимого народа. Как бы ни толковали о том,

нужна ли нам Маньчжурия или нет, но мы бросили в нее сотни миллионов, дав ей железную дорогу, которая, впрочем,могла бы стоить гораздо дешевле, и не можем отдать этого даром. Я — один из тех, которые говорили во время войны с Китаем, что Маньчжурия нам не нужна. Но трагизм великой державы именно в том и заключается, что она не может идти назад, не подрывая своего авторитета. Как билась Англия с бурами! Какие проклятия ни посылал ей весь образованный и необразованный мир, Англия ставила на карту все свои силы, на своем острове она оставалась почти без войска, она терпела позорные поражения, золото уходило от нее, а она все-таки боролась и с неописуемым энтузиазмом встретила покорение маленького народа, который посмел объявить ей войну. Весь мир негодовал на этот энтузиазм, а она и ухом не повела. Она знала, что делала, и знала, что значит для великой державы быть побежденной. Относительно Польши мы вели себя не лучше. Да что же делать, когда была такая трагическая необходимость.

Я знаю, что у Японии сорок семь миллионов населения. Не сомневаюсь в силах ее флота и в храбрости ее армии. Готов увеличить значение ее средств для войны с Россией и допускаю возможность ее союза с теми или иными государствами. Но я знаю, что Россия в целом ряде войн сломила могущество Оттоманской империи и отбивалась от всей Европы, когда ей вздумалось вступить в союз с Турцией. Надо и японцам это помнить. Русская журналистика не взывает к войне и не хочет ее, а русская журналистика представляет общественное мнение. Она ведет себя так, как вела себя немецкая журналистика перед войной с Францией. Она не кричала: «в Париж», подробно французам, которые кричали: «в Берлин». И вся Россия спокойно следит за этим русско-японским конфликтом и не верит в войну и не хочет ее. Но если Япония начнет войну, Россия примет войну и будет биться, как бились наши славные предки. Она поставит на карту все, чтобы отстоять себя и свое значение. Если б даже начался европейский военный катаклизм, если бы смешалось все и все полезло на нее, она положит оружие не прежде, чем с честью выйдет даже из такой страшной войны. Русское чувство заговорит громко и горячо и соединит всех под русское знамя. Вот о чем следовало бы подумать и японской журналистике, призывающей к войне, хвастающейся и уже вычисляющей, сколько денег она получит от России и какие области займет. Не убив медведя, глупо делить его шкуру. Пожалуй, не убьешь и получишь шиш.

18 ноября (1 декабря), № 9953

CDXLIII

Случился такой случай: осудили на каторгу одного еврея. Однофамилец его напечатал у нас письмо, в котором просил, чтоб его, однофамильца, не смешивали с осужденным каторжником, что он — литератор и «православный».

Одна еврейская газета, перепечатав это письмо, сделала к нему насмешливое и укоризненное примечание именно за то, что этот еврей сделался православным. Эту газету не укоряю за такое примечание: будучи еврейскою, она соответственно могла «примечать» только в еврейском духе. Но так как это письмо оказалось подложным, то господин, учинивший этот подлог, поступил скверно. Маленький случай этот мне хочется рассмотреть с серьезной стороны.

Многие миллионы евреев крестились, если считать со времен Христа. Первыми проповедниками христианства были евреи. И доселе есть русские, в которых течет еврейская кровь, как есть русские, в которых течет кровь татарская. Тысячи лет еврейское племя училось применяться к обстоятельствам и, благодаря этой науке, преуспело в способности приспособления. Исчезли древние народы, все эти ассирияне, вавилоняне, египтяне и проч., а евреи остались и сохранили свою религию, которая объединяет и служит им идеальным отечеством.

Наше православие также сыграло огромную объединительную роль в истории России и в настоящее время эта роль еще не окончилась в нашем многоплеменном отечестве. В то далекое время, когда я работал в «СПбургских Ведомостях», и когда произошли еврейские беспорядки в Одессе, и когда этих беспорядочников публично секли несколько дней на площади — у меня хранится где-то фотографический снимок с этой секуторской расправы, — в то время в редакцию «СПбургских Ведомостей» явился одесский адвокат еврей Пассовер, если не ошибаюсь в его имени. Редактором газеты был тогда В. Ф. Корш. Мы втроем отобедали и после обеда вели продолжительный разговор об этих беспорядках, их причинах и о средствах устранить их на будущее время. Я хорошо помню, что все мы осуждали беспорядки, хотя во время их пострадали преимущественно еврейские перины с пухом и перьями, а кровь пролита была только на русских спинах розгами. Все мы трое осуждали и этот способ наказания.

Г. Пассовер, как умный человек, предвидел, конечно, что лиха беда — начало, и говорил именно о будущем. Я хорошо помню продолжительный разговор о смешанных браках, т. е. таких, в которых еврею, женящемуся на православной, предоставлено было бы право оставаться евреем, как и еврейке, выходящей замуж за православного, предоставлялось бы право оставаться еврейкой. Сколько мне помнится, разногласие между нами оставалось только относительно детей: какой религии им быть. Но все мы трое в принципе допускали необходимость таких браков, которые способствовали бы смешению русских и евреев и примирению между ними.

Оставляя этот вопрос открытым и умалчивая о чрезвычайно важной стороне, именно экономической, которая всегда играла первенствующую роль в еврейских беспорядках, я возвращаюсь к православию. Смешанных браков между христианами и евреями нет у нас. Гражданский брак, без церковного благословения, существующий в некоторых странах Европы, у нас не допускается и едва ли скоро будет допущен, хотя в последние годы наша публицистика ходит около этого вопроса практической необходимости в связи с вопросом о свободе вероисповедания. Не только евреи, но и православные, которых называют раскольниками, не уравнены в своих правах сравнительно с исповедывающими православие господствующей церкви.

Церковь стоит на своем non possumus, хотя у государства есть много причин к уравнению сектантов православного корня. Я об этом писал много и теперь готов защищать дело т. н. раскольников, русских по крови и по духу, русских до мозга костей, горячо любящих свое отечество, честных и стойких верноподданных. Никому не приходит в голову по поводу беспорядков, от которых терпят евреи, вспомнить, сколько претерпели мук, бедствий, разорения и всяческого горя наши раскольники в прошлом, не особенно далеком от нас, не говоря уже о жестоких временах XVII—XVIII веков. Даже в первой половине XIX века они подвергались всяким преследованиям. Да и теперь сколько огорчений они терпят

благодаря своим верованиям, благодаря тому унижению, которое они не могут не чувствовать больно. Богатые евреи и вообще евреи, пользующиеся правом жить, например, в Петербурге и Москве, имеют свои великолепные храмы, где никто не мешает им молиться, а раскольники не пользуются таким естественным правом, даже те миллионы из них, которые только тем и отличаются, что не так складывают пальцы для креста и держатся дониконовских церковных книг.

У нас идет теперь широкая устная и газетная пропаганда в пользу евреев, действующая на мягкую и добрую русскую душу. Когда студенчество заявляет свои желания, равноправность евреев ставится впереди всего. Между тем для той же части интеллигенции, не верующей и равнодушной к религии, русские старообрядцы, например, величина ничтожная, почти не существующая. Почему? Потому, что интеллигенция не верит? Потому, что она международная и ищет в евреях союзников? Я ставлю только этот вопрос. Лично я предпочитаю интересы русских.

Наше православие с его позднейшими подразделениями есть не только религия, но и политическое русское учение, русский символ. Кто православный, тот и русский. Если еврей делается православным, то тем самым он становится русским. Искренно ли или не искренно, из убеждения или из-за выгод русского гражданства принял он православие — это все равно для государственных целей. Я не понимаю, поэтому, недавнего указа Св. Синода, который в своих заботах об искренности ограничил право евреев переходить в православие. Кто возьмет на свою душу быть праведным судьей в деле искренности? Бог только видит душу людей, и Ему следует предоставить эту заботу о том, искренно ли или для житейских выгод принимает еврей православие. Затруднять еврею переход в православие, значит, оттонять его от России, от желания быть русским гражданином и родоначальником русского поколения. Последнее и есть самое важное, т. е. что дети перешедшего в православие становятся обязательно православными и русскими. На земле надо принимать в соображение государственные потребности в объединении многоплеменной России.

А эти потребности ясны. Еврей, принявший православие, меняет свое идеальное отечество на реальное, Россию, и принимает религию, которая признает священными еврейские книги Библии. К этим книгам он прибавляет Евангелие, мораль которого есть и мораль всего образованного мира.

Я думаю поэтому, что еврей, принявший православие, не заслуживает ни насмешек, ни укоров, в особенности со стороны русских, потому что он сам делается русским вместе с потомством.

Русский закон, обязывающий в смешанных браках православных с христианами других христианских исповеданий крестить детей в православие, есть один из самых мудрых законов, от которого никогда не следует отступать. Свобода совести тут не играет никакой роли, потому что она не для младенцев.

2 (15) декабря, № 9967

CDXLIV

Весна идет, сказал я недавно, и по всей столичной и провинциальной печати прошли эти мои слова даже при помощи телеграфа. Признаюсь, мне это тем приятнее, что я сего не ожидал. Слова эти комментировались то с серьезной

благосклонностью, то с добродушной иронией, то с какою-то бранной злобой. И это хорошо, потому что показало, что все весны желают, кроме тех, которые ее не желают, и потому злобствовали.

Отрицая возможность для Филомелы дважды в год петь весну, князь Мещерский говорит, обращаясь ко мне: «Вы, милостивый государь мой, на моей памяти дважды поете весну за тот же год. Годами я считаю переживаемую Россией эпоху преобразований: вы пели ее в шестидесятых годах, украшенный кудрями молодости, и поете теперь, убеленный снегом зимних лет. Когда же была весна, тогда или теперь? Мне кажется, что тогда».

А я, милостивый государь мой, думаю, что в сорок лет государственной жизни могут быть две весны. Мы с вами доживаем *свои* шестидесятые годы, и если нам близка могила, то тем, которые родились в шестидесятые годы, когда была весна, пора дать тоже весну, ибо они зрелые мужи, с опытом, с разумением русской жизни и с желанием работать на общую пользу своего государя и отечества.

Те «промахи и увлечения», которые вы видите в весне шестидесятых годов и которые, по вашим словам, «испортили наступающее лето после весны» и сделали настоящее время «скверным», я знаю, в чем вы их полагаете. Вы приглашали «поставить точку к реформам», приглашали с настойчивостью и наслаждением, и я вас тогда с настойчивостью и наслаждением высмеивал. Мне не пришлось «петь весну» шестидесятых годов, ибо я сделался журналистом, когда этой весне уже помешало польское восстание и выходивший отчасти из тех же настроений нигилизм. Я эти два явления соединяю и думаю, что мог бы доказать такую связь довольно основательно.

Но весна кипела в моей груди и от всего моего сердца и помышления я сочувствовал реформам, а «точку к ним» отвергал, в особенности потому, что боялся многоточия. Весна была ясная и настала она после страшных жертв и величавого мужества под Севастополем.

Образованное общество тогда было прямо ничтожно по своей численности и значению, средний класс полуграмотен, а народ совсем безграмотен. Плохая и в большинстве некультурная администрация была совсем не подготовлена к реформам и относилась к ним враждебно. Реформы резко задели за живое самый влиятельный класс образованной массы, дворянство, и в нем породили также много неудовольствия. Над реформами работали лучшие люди сороковых годов и выказали много ума, знания и практичности. Но часть молодого поколения, которому негде было набраться ни культурности, ни знаний, ни разумной дисциплины, вследствие постоянной неустойчивости учебной системы, испытывавшей на себе влияние политических событий, это поколение очертя голову бросилось в революционное движение. Думаю, что я не совершу большой ошибки, если скажу, что, исключив народ, который получил свободу, т. н. образованное общество разделилось почти на две равные половины: на довольных реформами и недовольных. Поэтому пищи для смуты было достаточно и пищи для пассивного отношения к смуте еще больше.

Пассивное отношение к смуте — это именно то самое, чего наиболее следует опасаться. Страшна не самая смута, какая бы она ни была, а это равнодушие или тайное сочувствие ей общества.

Вспомним, что делало правительство.

Оно потеряло много времени и энергии в борьбе с польским восстанием. На его плечах лежали введение реформ, устройство Кавказа, Приамурья, война в Средней Азии и устройство этого нового края, потом тяжелая война с Турцией. И вместе с этим надо было вести почти непрерывную борьбу со смутою, закончившуюся мученической смертью императора Александра II. Царствование Александра III было временем отдыха и большого движения в области образования, народной литературы и школ, в устройстве финансовых и экономических дел, в развитии промышленности, в образовании Дворянского и Крестьянского банков. Настоящее царствование продолжало предыдущее, оканчивая и развивая то, что было начато. Оно выполнило колоссальное наследие — Великий Сибирский путь и окончило финансовые реформы с необыкновенным напряжением русских сил.

Смею думать, что во все это сорокалетие у правительства было дел по горло и оно решительно уставало. Я именно настаиваю на том, что оно уставало и моментами чувствовало себя одиноким. После своей отставки граф Лорис-Меликов, этот «диктатор», как его называли, говорил мне в Эмсе: «Если бы два часа в неделю было у меня свободного времени для того, чтоб обдумать то, что сделано и надо делать, было бы совсем другое. Верите ли, что губернаторы по неделям ждали, чтобы мне представиться, и я принимал их иногда в два часа ночи. Много времени тратилось на пустяки, но обязательные». Он говорил много и как бы оправдываясь. Я беру лишь несколько этих слов, произнесенных горячо, как бы в отчаянии своего бессилия, беру их потому, что они типичны, что они касаются не его одного, но в известной степени и всей системы управления. Все мы, много пережившие и много критиковавшие наше время и его деятелей, должны признать, если хотим быть добросовестными, что правительство много делало хорошего и полезного для государства, но оно принуждено было почти «обнимать необъятное» и волею или неволею откладывало и откладывало внутреннее творчество...

И в этом вся наша беда, по моему мнению, что внутренняя реформа откладывалась.

В течение моей долгой журнальной деятельности мне приходилось говорить совершенно откровенно, гораздо откровеннее, чем говорил я в печати, со многими выдающимися людьми по своему значению и положению и в столице и в провинции. Не говорю уже о личном опыте. И все эти разговоры дают мне право сказать, что у правительства есть верный помощник, это — земство (в котором, понятно, я разумею и дворянство), и «Новое Время» всегда за него стояло и стоит и теперь. Поэтому меня возмущают обидные нападки на него у вас, нападки, выражаемые с каким-то высокомерием и презрением. Оно несомненно подлежит правительственному и общественному контролю, но между контролем над земством и высокомерным и презрительным к нему отношением — целая бездна. Что оно? Враги, что ли, иностранцы, приехавшие завоевывать Россию, бандиты и разбойники? То Мирабо, то Робеспьеры, то «его величество земство», как это в вашей газете, милостивый государь, говорится, причем вы как бы выдаете себя за какой-то огненный столп, подобный тому, который спасал евреев от египтян. Смотрите, не пыль ли это?..

По поводу губернских комитетов, в которые должны войти выборные от земства, вы говорите: «Грешный человек, если б от меня зависело, я бы предоставил губернатору выбирать кого он хочет, потому что между земцами очень

мало людей, что-нибудь понимающих». Слава Богу, что от вас это не зависит и никогда зависеть не будет. Земцы не ездят к вам на поклон, а вы человек чрезвычайно личный и пристрастный. Доказательство налицо: вы вчера ругали думу и представительство, советовали устроить ее по варшавскому жалкому образцу, а сегодня, попав в гласные, приветствуете выборы и представительство. Почему же вы думаете, что в России меньше порядочных, добросовестных, знающих и умных людей, чем в Петербурге? Почему? Вы знаете Россию? Вы и Петербурга-то не знаете, не только Россию. Да и кто может сказать, что он знает Россию, знает, что таится в честных русских сердцах, в зрелой русской мысли?

Вы — друг порядка, и я — друг порядка, но когда вы говорите, что для порядка нужно, чтоб дворянское дело было дворянским, земское — земским, городское — городским, церковное — церковным и так далее, то ведь вы нарочно забываете, что все это соединено между собою тысячами нитей. Конечно, масло должно быть масляное. Но ведь масло надо уметь сделать — во-первых, во-вторых, и масло состоит из многих элементов, и если их разложить химически, т. е. разъединить, то и масла никакого не будет, а будет нечто такое, что и в рот взять нельзя. Нужно соединение, а не разъединение.

Нужен порядок, но как его сделать и в чем состоит порядок? Вот выборы в думу были поистине беспорядочные: люди бегали, собирались, волновались, кричали, ссорились, а в конце концов соединились по группам и в совершенном порядке подавали свои голоса. Немножко беспорядка в порядке неизменно существует, и этого бояться нечего.

Я — только журналист, и ничего более. В спасатели отечества я никогда не лез, проектов государственного устройства никогда не писал, но я могу чувствовать и знать потребности общества и имею право говорить о них уже потому, что прожил вблизи событий четырех царствований.

Вы называете наше время «скверным», а я бы назвал его творческим, ибо пора творчества пришла несомненно. Все выросло в эти сорок лет со времени 19 февраля, даже крестьянство. Образованное общество огромно в сравнении с обществом шестидесятых годов. Рядом с «скверностью», если вам угодно, с каждым днем увеличивается число людей добрых, вдумчивых, дисциплинированных в государственном смысле и желающих своей родине спокойного, но непрерывного развития. Поэтому хорошего в русском обществе гораздо более, чем «скверного». И все эти разумные люди, это огромное большинство, — опора гражданского порядка, и этою опорою необходимо пользоваться, чтоб возбудить в ней живую деятельность и горячее участие ко всему тому, что дорого всем людям порядка, законности и права. Знаю, что дело это сложное и требует ума, и опытности, и доброты, и доверия «к лучшим людям», как говорилось в старину, но легких государственных дел не бывает. Необходимы три вещи: творчество, творчество и творчество.

3(16) декабря, № 9968

CDXLV

Несмотря на всю пошлость и неблагородство нападок князя Мещерского на «Новое Время», я все-таки радуюсь, что он, под влиянием ли «Нового Времени» или под чьим другим благотворным влиянием, меняет свои взгляды и умеряет

свой высокомерный и нелепый тон относительно земства. Может быть даже, что он нападками на «Новое Время» старается закрыть то влияние, которое оно на него оказывает. Года три назад он кричал, что Россия гибнет от земства, что народ стонет от земства, что новое положение для неземских губерний, составленное несколько лет назад в министерстве внутренних дел, было столь превосходно, по его словам, что, конечно, через несколько лет все земские губернии будут умолять правительство, чтоб оно уничтожило земство и ввело у них положение, выработанное для неземских губерний...

Когда я горячим чувством приветствовал высочайшее повеление от 23 января 1902 года об Особом совещании, князь Мещерский надо мною глумился его чиновничьим высокомерным глумлением.

Вот что я говорил:

«Особое совещание призвано совершить действительно «великое дело». 23 января 1902 года, день высочайшего повеления о «выяснении нужд сельскохозяйственной промышленности» и связанных с ней «отраслей народного труда», может стать знаменательным днем, в который решено довершить 19 февраля 1861 года.

Начало освобождения крестьян отличалось такими же скромными высочайшими указаниями, как и высочайшее повеление 23 января. Ни там не было никакой пышности, никаких громких обещаний, никакого кричащего красноречия, как нет ничего подобного и в повелении 23 января. Хорошее дело само за себя говорит, и Бог ему помогает.

Начинающееся дело — дело добрейшего сердца государя, который берет на себя «дальнейшие указания» для работ. А доброте Бог покровительствует. В скромных четырех параграфах его повеления, по моему мнению, так много сказано, что я имею право догадываться, что эта Высшая комиссия, как ее уже называют в обществе, или Особое совещание, как оно называется официально, будет плодотворна. Это — именно работа созидания, это — движение вперед от того же начала действительного благоустройства Руси, которое обновило ее и дало ей новую жизнь».

И я был прав. Я предвидел сердцем своим, сердцем русского человека, которое перечувствовало много в течение сорока лет, я предвидел, что это — начало творчества, серьезного и великого творчества. И я не ошибся. Говорю это не ради журнального самолюбия, а ради самого дела, которое мне дорого. Искры таланта, полученного мною от Бога, и упорный, непрестанный труд дают мне право говорить от имени многих русских, так же, как я, желающих блага своей родине и славы своему государю. Я — не льстец, во мне говорит чувство русского человека. Я презираю презренные слова князя Мещерского, в каждом нумере говорящего, что для «Нового Времени» дороги только «пятачки». «Гражданин» никогда не приносил его издателю пятаков, и я считал бы себя пошляком, если б когда-нибудь спросил его, откуда его благосостояние. Мне есть дело до его убеждений, до того, что́ он печатает, но не может быть дела до его шкатулки. Я помню бледное лицо В. И. Лихачева, в 1878 году, бывшего редактором «Нового Времени», когда он возвратился от министра внутренних дел, который, обращаясь к редакторам и к нему, сказал, что это «для пятаков» газеты желают вступления русских войск в Константинополь». Мой редактор был обижен до глубины души этими словами. И что же? Мы знаем теперь из книги г. Татищева об Александре II, знаем документально, как страдал государь от этой ошибки, от потерянной воз-

можности занять столицу султана. Мы чувствовали то же, что государь, мы понимали его сердце и его мысли. Не пятаки нами руководили, а сознательная русская жизнь и русское сердце. Даровых рабочих не существует ни в журналистике, ни на министерских постах.

Я стал петь весну теперь, говорить о творчестве под насмешливые и злобные припевы князя Мещерского. Начало этой весны день 23 января 1902 года и день 26 февраля нынешнего года. Труды Особого совещания, составляющие пятьдесят четыре тома, конечно, дали материал, помимо других материалов, для проектов министра внутренних дел, В. К. Плеве, отчасти известных нашим читателям. Сегодня и князь Мещерский хвалит их и повторяет мои слова, сказанные еще в 1902 году. А неделю тому назад он смотрел на них подозрительно и советовал все дело передать на благоусмотрение губернаторов. Я ему сказал на это, что, к счастью, этого не будет. Но он все-таки старается дать понять, что он прав, хотя замечает, что «изменил свои взгляды», познакомившись с проектами: министру внутренних дел, по его словам, пришла «благая мысль» пригласить по частям губернаторов в Петербург, чтобы «установить известное единомыслие в главных взглядах» на проекты. Я не назову этой мысли «благою»: она самая обыкновенная мысль, самая естественная, вытекающая из обязанностей вдумчивого и опытного государственного человека, которому подчинены губернаторы и которые могут, пожалуй, смотреть на дело и с своей точки зрения, что бывало и что вело к недоразумениям, иногда печальным. Скажу более: это то, что выражается словами — «само собой разумеется», а вовсе не то, чего желал князь Мещерский — предоставить губернаторам приглашать кого они хотят и распоряжаться как им угодно, ибо земские люди — все невежды, а губернаторы — люди всезнающие...

12 (25) декабря, № 9977

CDXLVI

Особое совещание опросило одиннадцать тысяч человек и издало шестьдесят томов. Очень сомнительно, что кто-нибудь, кроме корректоров и редакторов, прочитает вполне такую массу печатной бумаги. Даже шестьдесят томов одного романа прочесть невозможно. А допрошенные в Особом совещании едва ли имели какие-нибудь интересные и романтические приключения, а если и имели, то у них б этом не спрашивали.

Может быть, одиннадцать тысяч биографий, стенографически записанных со слов одиннадцати тысяч допрошенных, были бы важнее их «мнений» о земледелии и прочем, поданных в комитетах. Такие биографии были бы, пожалуй, поучительнее, если бы отделить в них непременное во всяких биографиях вранье, написаны ли они учеными биографами и историками или составляют то, что называется автобиографиями. В предполагаемом мною случае это были бы автобиографии.

Вы представьте себе только, что у вас одиннадцать тысяч «житий» русских людей и между этими житиями были бы искренние, подробные и, главное, записанные стенографически, слово в слово. Это был бы бесценный материал для суждения о русской жизни, русском языке, об убеждениях и характерах всех этих людей. Рассказывая свою жизнь, весьма многие познакомили бы нас со множест-

вом поучительных явлений русской жизни, хороших и грустных. Они рассказали бы, как и где они работали, какие препятствия встречали в своей работе земледельческой, ремесленной, промышленной, торговой, как эти препятствия и стеснения свободы мешают развитию у нас всякого труда и инициативы. Они познакомили бы нас с тою борьбою, которую им приходилось вести. Понятно, что среди одиннадцати тысяч должно бы допроситься хоть одну тысячу женщин. Этого довольно, ибо женщина словоохотливы и одна их тысяча сказала бы больше, чем десять тысяч мужчин. Вообще я думаю, что напрасно игнорируют женщин в наших анкетах или опросах.

Женщина — не только хранительница и воспитательница поколений, которых так часто портят мужчины своею любовью к разврату, не помышляя о его последствиях, которые губительно отражаются на детях, но они — и хозяйки, часто превосходные. Если бы не было этих хозяек, то, наверно, теперь гораздо большее число имений отошло бы от дворянства. Они привязывают мужей к деревне, к детям, побуждают их работать, следят за ними и не дают чрезмерно баловаться. Ведь дело идет не о «камерах», не о депутатах в каком-нибудь законодательном собрании, а просто о «мнениях», для правительства нисколько не обязательных, но во многих отношениях интересных. Я думаю даже, что наши государственные люди согласятся с этим, но скажут: «Это смешно. Что подумают о России в Европе?» А Господь с нею, с Европой — она и без того о нас дурно думает и нельзя сказать, чтобы всегда несправедливо. Нам надо думать больше всего о себе и о наших пользах. Не женщина, что ли, написала превосходную книгу против войны, не женщины ли всего мира радостно приветствовали почин нашего государя, поведший к Гаагской конференции?

Мне кажется, что и к людям науки в этих «анкетах» у нас относятся как к женщинам. Если их спрашивают, то разве о школьном вопросе. Все эти академики разных академий, начиная с духовных, все эти профессора университетов и других высших учебных заведений точно неспособны ничего сказать о практических вопросах жизни и наука и практика как бы две вещи разные. Есть ли их мнения в шестидесяти томах Особого совещания, не знаю, но я сужу по примерам предыдущим.

Значение этого огромного издания у нас оценено вполне (№ 9979). Стенографически ли записаны мнения одиннадцати тысяч или изложены на бумаге, в виде статей, более или менее обработанных, или в виде протоколов, — мне неизвестно. Я предпочел бы стенографию даже в том случае, если бы это увеличило число томов до ста двадцати. Для правительства это все равно, потому что о лишних расходах тут думать нечего: они невелики. У нас иногда удлиняют на шестьдесят верст совершенно лишних дорогу просто по капризу инженера, так о шестидесяти лишних томах толковать даже смешно. Стенография давала бы мнениям больше рельефности, больше характера и правдивости. Можно было бы судить не только о мнениях одиннадцати тысяч, но об их уме, образовании, знаниях, опытности. В известной степени об этом, конечно, можно судить и без стенографии, но при ней было бы вернее. Что они, эти одиннадцать тысяч свидетелей сельскохозяйственной неурядицы? Какую величину они собою представляют, насколько они выросли, созрели, насколько понимают первостепенные нужды России и живы ли, ярки ли их показания, или это скучно, сухо, как канцелярская бумага? Вот сколько вопросов рождается невольно.

Из шестидесяти томов сделали тринадцать томов извлечений, сгруппированных, и эту группировку, ее точность и осмысленность внимательный исследователь может проверить, ибо существуют и шестьдесят томов. Это как бы «Карамзин» сельского хозяйства, с «примечаниями». Вероятно, возможно было бы составить из тринадцати томов краткого «Карамзина», всего один том, который был бы отцом всех томов. Этот том был бы самый полезный, в особенности, если ни к шестидесяти, ни к тринадцати томам нет никаких указателей. Без указателей такие обширные работы теряют чрезвычайно много, — потому их никто не просмотрит даже вполне, а если просмотрит, то потонет в повторениях одного и того же и противоречиях.

У нас есть издание высокой исторической цены, начатое в прошлое царствование и продолжающееся доселе. Это — «Сборник императорского Исторического общества». Число томов этого «Сборника» доходит в настоящее время до ста двадцати. Каждый том снабжен обстоятельным азбучным указателем имен. Но *общего* указателя всех томов доселе нет, и это значительно затрудняет исторические работы по «Сборникам», хотя при каждом томе прилагается оглавление главных статей всех предыдущих томов.

К шестидесяти или к тринадцати томам Особого совещания необходим был бы не столько азбучный указатель имен, сколько таковой предметов с прибавкою к ним названий местностей, из которых произошел всякий из одиннадцати тысяч, и со ссылкой на томы и их страницы. Что это нелегкомысленное замечание, доказывается тем, что теперь в иностранной научной литературе, особенно английской, нет той научной книги, составляй она только один том, где не было бы указателей предметных и именных. Time is money (время — деньги) и в наше время, когда на чтение остается очень мало времени, такие указатели прямо необходимы.

Есть еще совещание, давно существующее. Это — газеты. Одно «Новое Время» в свое двадцативосьмилетнее существование собрало мнений многие и многие тысячи и притом по всем вопросам жизни. И эти мнения не журналистов, а людей всякого звания и состояния. А все газеты, ведь это — целое море мнений! И знаете ли, что нам, журналистам, бросалось в глаза, когда мы встречали мнения разных комитетов, когда они проникали в печать? Мы постоянно встречали весьма знакомые газетные мнения разных направлений: консервативные, либеральные и радикальные. Оно и понятно: газета есть отражение жизни и в известной степени направление жизни. Она принимает из жизни сырой материал фактов и явлений и возвращает в жизнь все это в обработанной форме.

Мы знали до сего времени только знаменитое описание Ксенофонта об отступлении десяти тысяч греков, в восторге воскликнувших, увидев благодарную цель своего пути: θαλαττα, θαλαττα! (море, море!). Теперь есть описание отступления одиннадцати тысяч русских от современного положения сельскохозяйственных порядков...

P. S. Два публициста, один в Петербурге, другой в Москве, в один и тот же день пожелали войны с Японией, называя ее, т. е. войну, а не Японию, «грозной». Московский публицист говорит:

«Пусть разразится эта гроза, пусть рассеет она заволокнувший нас туман, со всеми его тревожными фантасмагориями, и пусть вернет она нам чистую, бодрящую, здоровую атмосферу, в которой снова развернется во всю ширь внут-

ренняя духовная мощь русского народа под твердою, нерушимою эгидой православного царского самодержавия».

Зачем же, помилуйте! Неужели московский публицист не нашел никаких средств для «оздоровления» атмосферы, если она действительно больна, кроме крови и крови, кроме потери народных сил и миллионов, заработанных тяжким трудом? Удивительные у нас богатыри живут и пишут...

16 (29) декабря, № 9981

CDXLVII

Наш корреспондент передал по телефону несомненный факт, что один из членов екатеринославской губернской управы г. Кисличный, подал записку, в которой обвиняет председателя управы в неправильных действиях. Наш корреспондент, может быть, поторопился сообщить верный факт, не дождавшись разбора этой записки ревизионной комиссией, которая могла признать обвинение неверным. Комиссия, разобрав это дело, могла телеграфировать в «Новое Время», что г. Кисличный не прав и что все обстоит благополучно. Нам осталось бы только телеграфировать корреспонденту, что в другой раз он должен быть осмотрительнее. Члены земской управы и все земское собрание с председателем, г. Миклашевским включительно, не боги, а простые люди, способные ошибаться и, может быть, даже делать глупости. Но г. Миклашевский подумал, что он прежде всякого рассуждения должен показать свою власть и наказать дерзкого корреспондента удалением его из собрания, а г. Бродницкий, председатель ревизионной комиссии, поторопился, даже *до окончания* ревизии — *торопливость* ничем не лучшая, чем нашего корреспондента — телеграфировать в «СПбургские Ведомости» об этом случае удаления нашего корреспондента и о результатах неоконченной ревизии, которая нашла, что «все пункты обвинения, которые ревизионная комиссия *до сего времени* успела рассмотреть, опровергаются документальными данными».

И слава Богу, и мы напечатали бы эту телеграмму немедленно и с удовольствием. Но г. Бродницкому надо было выругаться и представить этот случай в своем *собственном* освещении, а потому он избрал для опровержения не «Новое Время», как бы следовало по логике и по принятым обычаям, а «СПбургские Ведомости», где, в виде *случайной*, и была помещена его телеграмма. Он назвал телеграмму нашего корреспондента *инсинуацией*. Вот это обидное слово «инсинуация» и нужно было г. Бродницкому. Христос с ним!

Прошу позволения у г. Миклашевского изобразить небывалое с ним приключение для аналогического положения корреспондента. Представьте себе, что г. Миклашевский тонет в Днепре и кричит «Спасите». Добродетельный городовой бросается спасать г. Миклашевского. Вот он близко к нему, он уже протягивает к нему ручку своего тесака, сам держась за лезвие — какая деликатность! — но увы, г. Миклашевский скрывается под водою. Корреспондент все это видит и спешит на телеграф: «Сегодня в Днепре утонул г. Миклашевский». Телеграмма печатается. Г. Бродницкого, который, положим, приходится кумом г. Миклашевскому, запрашивают из Петербурга, правда ли, что г. Миклашевский сделался жертвой

днепровских порогов? Г. Бродницкий, зная, что г. Миклашевский вынырнул даже без всякого участия городового и совершенно здоров, телеграфировал бы так:

«Г. Миклашевский действительно подвергался опасности, но, слава Богу, жив и здоров. Это была *инсинуация* корреспондента, за что, надеемся, он будет выслан из города, хотя княгиня Марья Алексевна справедливо говорит, что его мало повесить».

Удивительны иногда эти земские люди. И приятные, и воспитанные, и с губернскими дамами донжуанят и даже понимают толк в земских делах и состоят «по принципу» в оппозиции к губернатору, но чуть печать погладит их против шерсти, сейчас становятся в оппозицию к корреспонденту и на дыбы: «да я ему, да он у меня, да мы ему!»

Нехорошо. Общественному деятелю всегда надо помнить: назвался груздем, полезай в кузов. А печать может сказать общественным деятелям: «мы — ваши, а вы — наши».

18 (31) декабря, № 9983

CDXLVIII

Переживаемый русским государством момент — один из самых сложных. В самом начале декабря я говорил о том, как много работы легло на правительство в течение этого полустолетия: оно уставало от этой работы, и внутренняя необходимая реформа все откладывалась и откладывалась. Не преувеличивая можно сказать, что с 1867 года, когда введены были новые суды, не было сделано в этом отношении ничего существенного. Несколько раз принимались «исправлять» реформы, но это исправление производилось под влиянием тех или иных обстоятельств и далеко не всегда было удачным. Такой продолжительный застой несомненно внес в жизнь много тумана, недоразумений, неустройства. Казалось, точно из-под земли выходили новые явления, новые призраки, и с ними не знали, что делать и как на них смотреть. Напомню рабочий вопрос. Самая система образования переходила из одного режима в другой, точно это новые ружья и пушки, которыми приходится перевооружать армию. И до сего времени мы не пришли еще в обетованную землю русской школы. Средняя — все плавает между классицизмом и реализмом и не по фарватеру, а натыкаясь на мели то классические, то реальные; народная школа в странном положении: церковно-приходская не признает земскую, земская — церковно-приходскую, а министерская, кажется, ни ту, ни другую. В высшей школе набралось всякого жита по лопате, исключая занятий наукою и талантов. Вместо земства, вместо «лучших», «излюбленных людей», как называли выборных в старину, в эти пятьдесят лет мы выдвинули сведущих людей, совсем неответственных и работа их не оставляла после себя заметного следа.

То, что назвал я весною, началось недавно. Ее продолжают вышучивать и пародировать. Мне не привыкать стать к шуткам, пародиям и брани. Я знаю, что без весны жить нельзя. Это решительное мое мнение, и весна идет и придет. Все мы знаем, что правительство работает и вместе с ним работает лучшая часть общества и жаждет работать более и более. Мне кажется, что теплом творчества наполняются лучшие головы и ищут, где и как его применить. Я не «певец зимой погоды летней», как острит один жизнерадостный фельетонист в газете,

которая на другой день сама заговорила о том, что весна идет и умно указала на ее признаки. Никакая шутка не остановит серьезной мысли, серьезного движения, но в общем ходе работы хороша и она, как шаловливая песня. Я зову эту общую работу и предчувствую ее, как предчувствуют ее и хотят многие.

Внешняя опасность может задержать нас, но и она не в силах отодвинуть нас от весны.

Прислушиваясь к разговорам и спорам о японском вопросе, я вывожу главное заключение, что почти все обращаются к прошлому, как большие, так и малые и этим прошлым тешат свои мозги. Зачем строили Сибирскую дорогу, зачем помешали Японии овладеть Ляодунским полуостровом, зачем заняли Порт-Артур, зачем вели дорогу через Маньчжурию, зачем вмешались в китайскую войну? Все зачем, зачем, почему, для чего?

Точно эти вопросы что-нибудь решают и точно не было никакого смысла и никакой нужды во всех этих действиях? Неужели все это так: захотели и сделали? Самые благоразумные спорщики уступают только в том, что, быть может, все это и надо было, но со всем этим слишком поспешили и создали поэтому сложное положение, из которого один выход — война, если мы во всем не уступим нашему противнику, который обещает Европе показать, что он разобьет в пух и прах, и русский флот, и русские сухопутные войска. Желтолицый господин грозит своей военной силой и говорит наглым языком пьяного солдата.

И опять вопросы: зачем заняли мы Маньчжурию, и заняли временно, и дали обещание ее очистить и даже назначили сроки для этого очищения? Если она нужна была только на время, то почему не удалиться из нее? Потому, что Япония этого требует? Но, в самом деле, нужна нам эта Маньчжурия или не нужна? Ведь весь вопрос в этом. Нужна ли одна северная или вся? Это уж частный вопрос, прямо связанный с Порт-Артуром, т. е. быть ли ему отрезанным от империи и на суше или необходимо, чтоб мы имели в своих руках землю, которая нас с ним соединяет?

Что отвечать на эти вопросы, когда мы путем не познакомились с этим Дальним Востоком и не знаем, что он сулит нам: выгоды или невыгоды, счастье или несчастье. Если нам Маньчжурия нужна, — а говорят, что это прекрасная страна и мы уже успели назвать ее Желтороссией, — то взять бы ее и конец. Тогда бы знали все, что это — русская провинция, что в ней слово русского царя — закон. А теперь неизвестно, что она такое. Ни мы, ни китайцы, ни японцы не знаем, чья она, собственно, китайская или русская, кого там слушаться: богдыхана или царя, китайцев или русских? Это неопределенное положение неужели нужно? Ведь определенное положение всего выгоднее. Тогда все знали бы, что делать и что защищать. Мы защищаем русскую провинцию. Правы мы или не правы, что взяли ее себе, пускай разбирает история, а настоящий момент наш и он обязывает всех соединиться и ясно отвечать себе на возникающие вопросы. Но и тут вопросы: а как же Китай? Враг он нам или друг? Желаем мы его существования и развития под маньчжурской династией или не желаем? Взять Маньчжурию, значит обидеть Китай, а мы якобы за Китай должны стоять и даже был там у нас друг, Ли Хун Чжан. А я думаю, что все это — фантазия, а не фантазия — наши интересы, наше господство в Азии.

Я хочу поставить все эти вопросы просто и прямо, чтобы читатели видели, как сложно, как необыкновенно сложно наше настоящее положение.

И если брать это положение со всеми этими вопросами и стараться на них ответить, то это будет праздным и несвоевременным занятием. Не разрушать же нам Сибирскую дорогу, которая, в самом деле, пожалуй, является причиною всех причин. Но ведь начали мы ее строить, когда впервые убедились, что с Востока лезет на нас желтая сила. «Я говорил, что этого не надо», «все произошло от того, что меня не послушались», «не надо было спешить, — я говорил, предупреждал!» и проч. Удивительно, как мы умны задним умом, не замечая, что теряем свои силы для разбора прошлого и погружаемся в туман и личное самодовольство, тогда как думать надо о настоящем, которое требует гнать прочь личные взгляды и самодовольную критику. Надо это настоящее брать так, как оно есть, во всем его объеме, и тонко и умно воспользовавшись всеми средствами, всеми соображениями русского творческого ума, выработать определенную и твердую программу, от которой не отступать ни вправо, ни влево, ни назад. Надо отделить самое важное и необходимое и на нем стоять во что бы то ни стало.

23 декабря 1903 (5 января 1904), № 9988

CDXLIX

У нас было указано на «более мягкие» меры в отношении раскольников, на которых останавливается «Уголовное уложение», изданное Н. С. Таганцевым. Книга эта прелюбопытная по извлечениям из журналов редакционной комиссии и представлений Государственного совета. Эти документы дают мотивы, вследствие которых произведены те или другие изменения в законах. Вообще в главе «О нарушении ограждающих веру постановлений» многое смягчено, на многое смотрится с большим человеколюбием, чем в прежнем Уложении. Конечно, главные основания защиты веры сохранены, потому что «в нашем отечестве, где православная вера есть символ национальности, а брак и весь семейный союз основаны не столько на гражданском, сколько на религиозном принципе, охрана христианской веры и православной церкви от злоумышленных на них посягательств не может не составлять одной из наиболее важных задач уголовного законодательства».

Меня интересует по-прежнему отношение к старообрядцам, которых «Уложение» продолжает называть «раскольниками», не отделяя старообрядцев от других сект. В книге г. Таганцева приведены соображения, высказанные от имени Св. Синода сенатором Саблером. «Не жестокость и суровость наказания, а скорее неизбежность возмездия представлялась членам Синода наиболее желательным условием действительного ограждения святыни веры от дерзких покушений». Значит, «суровость и жестокость» должны отойти в предание, но возмездие» остается, как нечто неизбежное. Что истинно православно — это следующая решимость Синода: он отказывается на будущее время от «всяких мер взыскания для лиц, отпадающих от единения с православною церковью». Покойный митрополит киевский Иоанникий и здравствующий петербургский митрополит Антоний «признали совершенно несовместными с достоинством православной церкви постановления об отобрании детей от родителей, совращенных в сектантство. Они осуждали эти мероприятия, находя, что насильственное раз-

рушение семейного союза не может способствовать соблюдению детей в чистоте православного исповедания. Ежедневно во многих тысячах православных храмов раздается на Руси молитва о мире всего мира и соединении всех».

Не правда ли, как это прекрасно, как это далеко от тех мер, которые были недавно, как далеко от того заключения отпадающих от православия в мрачные тюрьмы Соловков, где несчастные томились многие годы на хлебе и воде и без Божьего света. А это было еще в конце царствования Александра II.

А эти слова Синода: «Сердце человеческое насильствуемо быть не может». Как хочется, чтобы эти слова скорее превратились в дело и чтобы на нашем православии не лежало справедливых упреков как со стороны детей русского царства, так и со стороны иноверных.

Если Св. Синод говорит таким человеколюбивым языком и выработанное уголовное уложение полно духом терпимости, обещая дальнейшее развитие закона в этом духе, то можно ли говорить об изменении к худшему «законов о раскольниках», о чем извещали, в виде слуха, «СПбургские Ведомости». Слух этот очень встревожил старообрядцев. Он должен еще в большей степени встревожить совесть православных, ибо соединение приходит миром, а не враждою. Вражды было довольно. Она только окаменяет сердца и создает им мстительность или несчастие.

Старообрядцам Синод говорит, что «церковь готова принять их, как любящая, милующая и прощающая мать». Надо помнить при этом слова Спасителя: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?» Напомню одно событие, к которому следовало бы применить гуманные чувства немедленно. Со времен Екатерины II до 1856 года старообрядцы свободно совершали свои богомоления. Но скоро полвека, как запечатаны алтари часовен московского Рогожского богадельного дома. В 1856 году смотритель Рогожского богадельного дома самопроизвольно воспретил рогожским старообрядцам совершать в часовнях их богомоление. Распоряжение смотрителя найдено было неправильным и отменено. Но митрополит Филарет уведомил Св. Синод, что рогожцы произвели «оказательство раскола» и при этом случилось столкновение между старообрядцами и православными. В чем состояло это «оказательство», я не знаю. Дело поступило в «Секретный комитет» в Петербурге. «Секретный комитет» большинством шести лиц против трех стал на сторону митрополита Филарета, и алтари были опечатаны 7 июля 1856 года. Впоследствии возникло сомнение относительно «оказательства раскола» и «столкновения православных с старообрядцами» и повело к следствию, произведенному чиновниками министерства внутренних дел. Это было в самом конце 70-х годов и на основании этого следствия было предположено министерством внутренних дел снять эти печати, только без всякой торжественности и «внешнего оказательства раскола к соблазну православных». Предположение так и осталось предположением, хотя оно было мотивировано весьма основательно.

Представьте себе церковь или молитвенный дом, где совершаются богомоления и где молящиеся видят перед собою запечатанный алтарь. Богомоление совершается перед алтарем, на котором красуются сургучные печати...

Предположим, что митрополит Филарет был прав (хотя он бывал часто не прав) и старообрядцы действительно нарушили закон. Какой же надо срок для

того, чтоб искупить вину? 7 июля 1904 года будет пятьдесят лет этим печатям. Полстолетия. Неужели это не печально? Неужели «возмездие», продолжающееся пятьдесят лет, не «сурово»? А Св. Синод говорит, что он не желает «жестокого и сурового возмездия». Значит, ему не надо существовать. Ведь это же наши братья, несомненно православные, сохранившие старые обряды и желающие соборной отмены проклятия, наложенного на них собором 1667 года. Об этом проклятии я писал на этих страницах десять лет тому назад: оно полно таких выражений, перед которыми отступит теперь всякий просвещенный и кроткий пастырь господствующей православной церкви. Все изменилось в воззрениях на обряды, изменились понятия, от фанатизма XVII века остались только осколки, только проржавевшая скорлупа, но остаются такие меры, как печати на алтарях, свидетельствующие о чем-то очень старом, отжившем и тяжком для сердца человеческого, которое «насильствуемо быть не может». И я смею думать, что Св. Синод так человеколюбиво выразивший свои мнения по поводу уголовного уложения, так задушевно уверяющий раскольников, что «церковь готова их принять, как любящая, милующая и прощающая мать», — я смею думать, что Св. Синод совершил бы богоугодное прекрасное дело, если б высказался об этих печатях с чувством христианской любви и с тем русским племенным чувством братства, которое так необходимо в наши дни...

25 декабря 1903 (7 января 1904), № 9990

CDL

За эти три дня я наслушался и начитался таких вещей, что становится жутко. Телеграммами грозят нам со всех концов света. В заграничных статьях мы уже побиты и уничтожены. Мы и теперь одни, как одни были в 12 году, под Севастополем, в турецкую войну. Япония закупает у Европы крейсеры и мониторы, и нашелся только один итальянский социалист, который нашел это неприличным. Какое-то томительное чувство начинает мучить всех.

Я прочел на этих днях в русской печати: «Надо продать Маньчжурскую дорогу да в придачу отдать Порт-Артур. Это будет великолепно. Ведь оставила же Германия Киао-чао, а Англия — Вей-ха-вей. Отчего же нам не оставить?»

Двистительно, как говорят мужики: отчего и нам не оставить? Строили, строили, тратились, тратились — а теперь: налево кругом, марш! Но откуда это взяли, что Англия и Германия поступили как те крысы, которых городничий видел во сне: пришли, понюхали и ушли? Сколько мне известно, ни Германия, ни Англия не думают отдавать то, что захватили. В германском бюджете на 1903—04 гг. назначено 12 миллионов марок именно на Киао-чао. Англии Вей-ха-вей очень нужен именно в настоящее время. Я думаю, что и нам довольно мудрено подражать тем крысам, которых видел во сне городничий: пришли, понюхали и ушли. Но видите ли в чем штука: нам надо бросить Дальний Восток для того, чтобы заняться федерацией славянских народов. Скажите, пожалуйста, как это интересно: федерация славян под главенством России! Штука очень легкая, пожалуй, такая же легкая, как Соединенные Штаты Европы. Распродать Дальний Восток при помощи какого-нибудь честного маклера и марш устраивать федерацию славян. Хорошо, да не очень.

Хотя к Дальнему Востоку у меня нет особенных симпатий, но это стремление к Восточному океану, к твердым границам я отлично понимаю. Талейран сказал, что разница между Европою и Россией главным образом в том заключается, что Европа отдается исключительно настоящему и живет интересами сегодняшнего дня, а Россия направляет свою деятельность в интересах будущего. Если проследить нашу историю, то окажется, что это именно так. Не устроенные или наполовину устроенные, а иногда и совсем расстроенные, мы все живем будущим и все великодушно готовим для поколений предстоящих, для утверждения великой Русской империи. Хорошо это или нет, но события идут так и так они шли и идут в последние три царствования. Мы делаем величайшие усилия для своих твердых границ, готовим новые земли для наших потомков и объединяем разные народности.

Говорят: Дальний Восток ужасно далек. А разве Кавказ не был ужасно далек от Петербурга, Крым не был ужасно далек, Сибирь не была ужасно далека от Москвы при бездорожье. А разве от Лондона до Калькутты близко, до Австралии близко, до Египта и Южной Африки близко? Управляет же Англия из Лондона 400 миллионами населения, которое от него за тридевять земель, в тридесятом царстве. А африканские колонии Германии — рукой подать, что ли? А от Парижа до Тонкина близко? Все далеко и все отделено морями от столиц-управительниц. А мы, по крайней мере, соединены сушей с Дальним Востоком и железной дорогой.

Я, вероятно, плохой дипломат и политик. Это не мешает мне твердо думать, что никакое дело не может быть прочно устроено, если расчеты разума не основываются на крепком русском чувстве и на достоинстве великого народа.

Цезарь сказал: «Пришел, увидел, победил». Мы этого не говорим и не скажем. Напротив, нами владеет величайшая осторожность. Но и при такой осторожности противно читать, когда соотечественники советуют последовать изречению: «Пришел, понюхал и ушел».

28 декабря 1903 (10 января 1904), № 9991

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аарон 446
Абаза А. А. 243, 245
Аббас, шах перс. (Аббас I Великий) 943
Абдул-Гамид II, султ. тур. 821
Абдурахман, эмир афг. 821
Абрикосов 570
Аввакум, (Кондратьев) прот. 919
Августин св. 210
Авелан Ф. К. 296
Аверкиева г-жа 707
Авсеенко В. Г. 316, 584
Агренев-Славянский Д. А. 66
Адам 107, 512, 628, 743
Адан Ж. (Ланбер) 83, 446, 502, 708
Айвазовский И. К. 35, 85, 87
Аким («Власть тьмы») 777
Акоста (да Коста) У. (Г.) 863
Аксаков И. С. 13, 310, 311, 316, 365, 452, 579, 580, 584, 587, 621, 668, 669, 895
Аксаков К. С. 384
Аксаков С. Т. 74, 941
Акулина («Власть тьмы») 69, 777
Александр Македонский 243, 869, 870
Алексеев Н. А. 243, 256, 257, 670
Алексей, мтрп. 325
Алчевский А.К. 585, 586
Альфонс XIII 821
Альфонский А. А. 938
Амфитеатров А. В. 519, 845
Ананьев 215
Андерсен Х.-К. 362
Анджело 762
Андре Л.-Ж.-Н. 858, 859
Андрее Р. 818
Андреевский С. А. 86, 387, 390, 447
Андриё Л. 216
Анисья («Власть тьмы») 777
Анна, первсв. 78
Анна пророчица 642
Анри Э. 430
Антиной 320
Антокольский М. М. 249—255, 321
Антоний 855, 856
Антоний, мтрп. 1002
Антоний, странник 368, 370, 371, 373, 374
Антоний Крутогоров (Штукенберг А. И.) 765
Антонио 736
Антонович А. Я. 240—242, 247, 314, 315, 330, 331, 364, 675
Антонович М. А. 364
Апокриф, псевд. (Шперк Ф. Э.) 604
Аполлон 320, 697
Апухтин А. Н. 336
Аракчеев А. А., гр. 77, 310
Арапов Ив. 545, 546
Ариий 324
Аристофан 552, 927
Арсеньев К. К. 689, 690—693
Арсеньев Ю. В. 185, 308
Арцыбашев 340—343
Аспазия 101

Багговут 960
Баженов Н. Н. 940, 941
Базаров Е. В. («Отцы и дети») 699, 700, 926
Базен А.-Ф. 831
Байрон Д.-Н.-Г. 593, 618, 664, 736, 894, 935
Бакунин М. А. 214, 215
Балашов А. Д. 373
Бандини Б. 352
Бано Гобье де 206
Баньоне 352
Баранов (в мон. Иннокентий) 395
Баранов Н. М. 138, 141, 189—192
Баранова А. И. 395
Барбаросса Фридрих 91
Бартенев П. И. 122—125, 746, 766, 768, 781, 793
Бартолеми 818
Барцал А. И. 710
Барятинский В. В., кн. 845, 846

Басманов П. Ф. 881
Баталин И. А. 438
Баттенберг Александр, кн. 88
Батюшков К. Н. 162
Баус Д. (Боус И.) 411
Бах И.-С. 336
Башмачкин Ак. Ак. 669
Безобразов П. В. 77, 424
Безродный 221
Белинский В. Г. 365, 668, 699, 758, 775, 777, 786
Беллона 288, 289
Белов (историк) 404, 421
Белов Г.-А.-Х., фон 288, 289
Беломор (А. Г. Конкевич) 507
Бельский Б. Я., боярин 381, 415, 955
Бельчев Х. М. 193, 195
Бем Э. 365
Бер 145
Бергейм 276
Бергман (Бергманн) Э. 142, 616
Бернар С.-Р. 463, 632
Берр Э. 193—196
Бертенсон Л. Б. 302, 303, 368, 917
Бестужев П. М., гр. 720
Бестужев-Марлинский А. А. 56
Бестужев-Рюмин К. Н. 250, 384, 651—653, 853, 856, 857, 942
Бетрищев, ген. 36
Бетховен Л., ван 336, 777
Бехтееев С. С. 139
Бильбасов В. А. 594
Бирон Э. И., гр., гцг. 720—722
Бисмарк О.-Э.-Л.; фон, кн. 33, 36—39, 78, 81, 83, 84, 94, 98, 105, 131, 280, 283, 351, 404, 453, 483, 519, 520, 547, 616, 657, 675, 706, 720, 823, 827, 830, 871, 894, 972
Битяговская 413
Битяговские 399, 415, 417, 853
Битяговский Д. 409
Битяговский И. 943
Битяговский М. И. 397, 409—411, 416, 418, 943
Бицын Н. (Павлов Н. М.) 395, 402, 403
Блавацкая (Блаватская) Е. П. 974
Благовидов Ф. В. 963
Блейхредер, банк. дом в Берлине 450
Блекуэл Е. 897, 898
Блекуэл Э. 898
Блюх И. С. 498, 499
Блудов Д. Н., гр. 622
Боборыкин П. Д. 473
Бобров В. А., худ. 313, 314, 318, 319
Бобров, певец 843—846
Бобчинский П. И. 154, 155, 377
Боголепов Н. П. 874
Богословский В. С. 113, 114
Богоявленский 811
Бодиско 707, 715, 724
Бодуэн де Куртене И. А. 882
Боккаччо Дж. 216
Бокова 900
Бонапарты
  Наполеон I 29, 31, 32, 34, 112, 286, 289, 291, 373, 401, 436, 574, 578, 596, 628, 736, 814, 816, 819, 828, 843, 858, 859, 871, 897, 904, 920
  Наполеон III 27, 34, 90, 105, 406, 449, 470, 514, 528, 557, 831, 859, 871
  Петр (Пьер) 557
Бонд Д.-Ф. 207
Боннемен 29
Борепер 20, 28
Борисов Н. А. 720, 721
Борлей, лорд 412
Бородин А. П. 89—91, 254
Бородкин 59
Боссюэ Ж. 210
Боткин С. П. 35, 58, 60—64, 272, 522, 779
Боцяновский В. Ф. 922
Брандес г-жа 521
Бредихин Ф. А. 803
Брейтшнейдер 818
Брекур 207
Бриссо Ж.-П., де 894
Бродницкий 999, 1000
Брокгауз 47
Брокдорф-паша 609
Брут М.-Ю. 736, 972, 977
Буадефр Р.-Ф.-Ш., де 667
Буало Н. 27
Будда 274, 826
Будзько П. В. 75
Буланже Ж.-Э.-М. 27—29, 41, 42, 650
Бунге Н. Х. 242, 244—246, 365, 482, 498, 533, 534, 975
Бунин Н. Н., худ. 954—956
Бурбоны
  Генрих IV 203, 210, 428
  Карл X 27
  Людовик XIV 27, 843, 844
  Людовик XVIII 27
  Людовик-Филипп (Луи-Филипп Орлеанский) 27

Бурдалу Л. 210
Буренин В. П. 746, 761, 762, 764, 769, 770, 780, 791, 860
Буслаев Ф. И. 255
Буссов К. 380, 381, 395
Бутми де (Кацман Г. В.)
Бьёрнсон Б. 440—442
Бэкон Ф. 911
Бэллег К. 723

Вагнер Н. П. 362, 363
Вагнер Р. 50, 51, 338, 339, 374, 723
Валлес Ж. 922
Валуев П. А., гр. 860
Вальбер 83
Вальдек-Руссо П.-М.-Р.-Э. 858
Вальдерзе А., фон, гр. 34, 812, 816, 819, 820, 824, 829, 830, 832, 835, 840, 850, 859, 869, 870
Вальян О. 273, 293, 430
Вандаль А. 284
Ванновский П. С. 243, 685, 691, 876
Варавва 79
Варлаам 381, 421, 425, 882
Варламов К. А. 55, 70
Василий Великий 210
Василий III 394, 577, 677
Васильев С. (Флёров С. В.) 710
Васильев, свящ. 311
Васильев-Смирной 421
Васильева Н. С. 205, 468, 709
Вассос 609
Ватто А. 112
Вейнберг П. И. 864
Велецкий С. 737
Веллингтон А.-У., гцг. 77
Венд В. (ур. Невельская) 502
Вендрих А. А., фон 172
Веневитинова 180
Венера 274, 319, 320
Верворт 300, 301
Вергилий 212, 873
Верди Дж. 337
Верещагин В. В. 321
Верньо П.-В. 894
Веселовский А. Н. 941
Виберсгейм 966
Вильгорский (Вьельгорский) М. Ю., гр. 741
Виктор-Эммануил III 821
Виктория, кор. 609, 821, 859
Вильгельмина, кор. 821
Вирхов Р. 114, 520
Висновская 122—124
Вителлий (Вителлий) 643, 644
Витте С. Ю., гр. 125, 126, 172, 234, 235, 241, 243, 267, 330, 346, 359, 424, 460, 498, 675, 676, 682, 683, 719, 952, 953, 974, 975
Вишневецкий А. А., кн. 378, 405, 881, 882, 944
Владимир св., кн. 90, 91, 456, 879
Владимир, (Богоявленский) мтрп. 960
Владимир Андреевич Старицкий, кн. 411
Владимирский В. А. 530
Владислав, королевич (король Владислав IV) 920
Воган, ред. 300, 301, 367, 368
Воган, кард. 593
Вогюэ М., де, виконт 297, 300, 301, 311, 367, 368, 723, 921—928
Волкова М. М. 537
Волконский С. М., кн. 65, 708—710, 776, 905
Волохов О. 397, 410, 413, 418
Волохова В. 397, 398, 415, 416
Волынский (Флексер) А. Л. 364, 366—368
Вольпе (Иван Фрязин) Д.-В. 576
Вольслей (Вольсли) Т. 291
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 111, 203, 207, 210, 255, 392, 528, 632, 646—650, 763, 919
Вольф (агенство) 513
Вольстонкрафт М. 896
Ворвоорт 629
Воронцов М. С., гр. 86, 87
Воронцов-Дашков И. И., гр. 932
Вральман 892
Врубель М. А. 946
Всеволожский И. А. 112, 113, 205, 709, 864
Вышнеградский А. Н. 479, 480
Вышнеградский И. А. 187, 239, 241, 245, 246, 348, 357, 446, 452, 460, 482, 483, 498, 501, 974
Вяземский П. А., кн. 746, 747
Вяземский П. П., кн. 955

Гааз Ф. П. 642
Габсбурги
Иосиф II 728
Франц-Иосиф I 133, 134, 821
Гадинг Ж. 521
Гайдебуров П. А. 329, 368
Гайдн Ф.-Й. 115, 116
Галахов А. Д. 980

Галифе Г., де, маркиз 291
Галкин Н. В. 813
Гальперин-Каминский И. Д. 389
Гамбетта Л.-М. 28, 304, 921
Гамбургер 133
Гамлет, принц 148, 485, 505, 586—589, 591, 641, 645, 730, 736, 851, 873, 886
Ганнеле 503
Ганнибал 428
Гарвей 439
Гарденберг К.-А., кн. 827
Гароуби, лорд 77
Гартман Э. 472
Гарфильд Дж. А. 434
Гауптман Г. 503, 504, 645
Гациский (Гацисский) А. С. 192
Ге Г. Г. 722
Ге Н. Н. 78—80, 872
Гегель Г.-В.-Ф. 926
Гезер Г. 47
Гейне Г. 230, 338
Геласий. мтрп. 398, 417
Гелиогабал 213
Георг, принц Саксонский 289
Георг I, кор. греч. 821
Герберштейн С., фон 677, 811
Геркулес 984, 986
Герострат 428
Герц К. 230, 648, 668
Герцен А. И. 365, 486, 587, 668, 670, 699, 907, 936, 937
Гёте И.-В. 84, 96, 111
Гефкен Ф.-Г. 284—286
Гильбер И. 265, 297
Гильфердинг А. Ф. 619
Гинрихс 911
Гиппиус З. Н. 536, 537
Гирс Н. К. 133, 813, 839
Гирс Н. Н. 301, 367, 368
Гито 434
Гладстон У.-Ю. 909
Глинка М. И. 50, 51, 71, 89, 92, 112, 321, 337
Глинская Е. В. 393, 394
Гнедич Н. И. 911
Гнедич П. П. 205, 207, 208, 540
Гогенцоллерны
Вильгельм I 81, 131
Вильгельм II 30—32, 36—39, 80, 83, 84, 94, 97, 98, 100, 103, 104, 131, 134, 285, 287—289, 291, 513, 514, 578, 579, 629, 639, 806, 812, 821, 825, 830, 835, 871
Генрих, принц 829
Фридрих-Карл 629
Фридрих II 451
Фридрих III 30, 237, 276
Гоголь Н. В. 49, 66, 92, 100, 108, 155, 321, 376, 377, 462, 472, 483, 543, 642, 660, 699, 721, 729, 744, 769, 781, 851, 922, 925, 927, 933—941
Годвин У. 896
Годуновы
Борис 67, 68,103, 203, 210, 333, 379, 382, 395, 397—400, 404, 407, 410—415, 577, 785, 881, 882, 942—944
Ирина 398, 411, 412, 414, 415, 942
Ксения 405, 853
Феодор 379, 398, 413—415, 854, 942
Голенищев-Кутузов П. А., гр. 550
Голиаф 735
Голицын В. М., кн. 960
Головнин А. В. 714, 732
Гольстрем (Гольмстрем) В. А. 710—712
Гольц К. фон дер (Гольц-паша), барон 609
Гольштандт 243, 244
Гомер 212, 802, 873, 911, 912
Гонкуры бр. 574, 637
Гонсевский А. 920
Гончаров И. А. 121, 365, 472
Гопф 818
Горацій, поэт 873
Горацио 765
Горбунов И. Ф. 202, 468, 526, 527, 539, 640, 642, 754, 955
Горемыкин И. Л. 714, 719, 720
Горсеи Д. 409—415, 418, 419
Горчаков А. М., св. кн. 37, 236
Горчаков М. И., прот. 551
Горький М. (Пешков А. М.) 921—925, 955
Гослер (Госслер) 96, 97
Готвальд («Ганнеле») 504
Готлиб Т. 896
Готфрид Бульонский 279, 679
Готье М. («Дама с камелиями») 573, 574, 905
Гофман Э.-Т.-А. 84
Гофман Клементина (Танская) 897
Градовский А. Д. 303
Градовский Г. К. 303, 364, 540
Греви Ф.-П.-Ж. 226, 227
Грейг С. А. 478, 479, 554
Греков Д. 194, 195
Гретри А.-Э.-М. 723
Грибоедов А. С. 394, 468, 469, 472, 475, 570, 877, 934, 935

Григорий Богослов (Назианзин) 210
Григорович Д. В. 43, 44, 365, 472, 740, 741, 864
Григорьев Ап. А. 365, 776, 777
Грингмут В. А. 75, 144, 145, 309, 310, 317, 584, 587—589
Громека С. С. 622
Грумбкоф-паша (Грумбков, фон) 609
Гуанской, имп. 821
Губер Э. И. 746, 747, 771, 772, 793
Губонин П. И. 523, 524
Гумберт (Умберто), ит. кор. 290
Гуно Ш. 51, 352
Гуревич Л.Я. 536, 558, 559
Гурко И. В. 69, 290
Гурьев Д. А., гр. 76, 241, 533, 534
Гусев А. 118—120
Гюббенет А. Я., фон 468
Гюго В. 33, 273, 338, 639, 843

Давид, царь 83, 593, 735
Давыдов Д. В. 977
Давыдов В. Н. 55, 69, 70
Давыдова С. А. 179
Д'Аламбер Ж.-Л. 919
Далматов В. П. 55, 56, 70
Даль В. И. 243, 729
Дальский (Неелов) М. В. 776
Даниил, мтрп. 394
Данилевский Г. П. 52
Данте Алигьери 429
Дантес Ж. 744
Дантон Ж.-Ж. 894
Даргомыжский А. С. 338, 795
Дарий 869
Д'Арк Жанна 528, 609, 903
Дебе (Дебэ) О. 818
Девель (Девелль) Ж.-П. 293
Дездемона 736, 776, 887
Декарт Р. 189, 210
Делянов И. Д., гр. 243, 636
Демидов П. Н. 728
Демон 51
Демчинский Н. А. 802—804
Дервиз И. Г., фон 958
Дергач 320, 321
Державин Г. Р. 203, 329, 331, 682
Держиморда 77, 424, 425
Дерулед П. 29, 295, 300, 521
Дженнер Э. 95
Джессика («Венецианский купец») 865
Диана 274, 320, 428
Дидро Д. 203, 851, 919
Диккенс Ч. 288, 618, 664, 736
Диоген 911
Дионисий, мтрп. 942, 943
Дмитрий Донской 439
Добродеев 360
Добролюбов Н. А. 365, 366
Добчинский П. И. 154, 155, 377
Довнар А. 387, 481, 482
Доде А. 121, 240, 636, 637, 639, 640, 733
Долгорукий (Долгоруков) Я. Ф., кн. 105
Дон Жуан 426, 785
Дон Кихот 121, 479
Достоевские бр. 622
Достоевский Ф. М. 66, 73, 321, 360, 361, 401, 402, 472, 641, 729, 787, 857, 924, 925, 941
Драгоманов М. Н. 433
Драгомиров М. И. 290, 521, 597, 891
Дрейфусы
  Альфред 626, 628—632, 638—640, 647—649, 651, 666—668, 707, 725, 858, 904
  Луи 87, 156—159, 235, 315
  Матье 639
Дрюмон Э.-А. 224, 631
Дузе Э. 894
Дункан д-р 967
Дуранте Ф. 87
Дурново И. Н. 243, 714, 720
Дусе Ш.-К. 297
Дырка, мичман 164
Дьяков В. Н. 737
Дюжикова А. М. 55, 56, 468
Дюма А., сын 295, 464, 465
Дягилев С. П. 709

Ева 107, 743
Евгения Ольденбургская 917
Евгения Тур (Салиас да Турнемир Е. В., гр.) 580
Еврипид 552
Евфимия Старицкая 411
Елагин П. Н. 707
Елена («Накануне») 473
Еленев Ф. П. 53—55
Елизавета, кор. англ. 411, 412
Елисавет Воробей 477
Елисеев Г. Г. 935
Ельцина З. Я. 917
Еранцев 87
Ермак Тимофеевич 362
Ермолов А. С. 555, 556, 728, 932
Есфирь (Эсфирь) 432

Ефремов П. А. 797, 798
Ефрон И. А. 86

Жирарден Э., де 285
Житель (Дьяков А. А.) 475
Жолкевский С. 395
Жонке 305—307, 322
Жорж Санд (Дюдеван А.) 477, 974
Жуковский В. А. 111, 657, 682, 746, 747, 797, 911
Жуковский Ю. Г. 675
Жюдик А. 297, 321, 551

Забаринский А. П. 737
Загорецкий 73, 935
Загуляев М. А. 236
Заира 207
Зак 498, 499
Закревский И. П. 650
Закшевская М. 898
Замойский Я. 395
Заньковецкая М. К. 122, 321
Захарьин Г. А. 206, 444, 445, 636
Зембрих (Коханьска; Штенгел) М. 338
Зинаида Р-ва (Ган Е. А.) 974
Зиновьев Н. А. 952
Зичи М. (М. А.) 320
Змеев Р. И. 185
Золя Э. 121, 200, 226, 229, 278, 297, 305, 311, 312, 464, 480, 562, 563, 628, 631, 632, 637, 639, 647—651
Зудерман Г. 642—645
Зуев Д. П. 746—760, 762—772, 779—781, 783—793, 797
Зуев П. П. 746
Зуевы бр. 746

Иаков 593
Ибсен Х. 922
Иван III (Иоанн Васильевич) 394, 575, 576
Иван IV (Грозный, Иоанн Васильевич) 203, 218, 250, 255, 382, 391, 394, 400, 405, 415, 530, 577, 604, 654, 853, 854, 881, 882
Иван Иванович, царевич 854, 857
Иванов А. А. 642
Иванов М. М. 89, 337
Игнатьев Н. П., гр. 240, 714, 719
Игорь Святославович, кн. 90
Иеремия, пр. 593
Изабелла («Анжело») 762
Изяслав Владимирович, кн. 91

Иисус Навин 837
Иисус Христос 78—80, 94, 119, 120, 122, 151, 214, 225, 240, 307, 376, 434, 477, 496, 504, 558, 605, 626, 644, 645, 658, 820, 872, 874, 879, 895
Иловайский Д. И. 145, 191, 345, 349, 356, 377—382, 384, 385, 390—396, 403, 404, 423—426, 519, 853, 856
Иннокентий, мтрп. сербск. 970, 971
Иноземцев Ф. И. 938, 940
Иоанн, еванг., Богослов 78, 214
Иоанн Дамаскин, св. 144, 145
Иоанн Златоуст 210
Иоанн Креститель, Предтеча 642—644
Иоанн Кронштадтский (Сергиев И. И.) 372—376
Иоанн II Шведский 206
Иоанникий, мтрп. 1002
Иов, патр. 381
Иона, мтрп., св.
Ионин А. С. 815
Иосиф Флавий 643
Ирина («Дым») 473
Ирод 207, 642—644, 913
Иродиада 642—644
Исленьев Д. 942
Иуда Искариот 206, 324, 325, 632

Кавелин К. Д. 365, 384
Казаков (?) 859
Казанский П. С. 378, 404, 407
Казерио С. 430
Кази М.И. 282, 283
Казимир, кор. 91
Каиафа, первсв. 78
Калас Ж. 645—647, 649
Калас М.-А. 645
Калас П. 646
Калиостро (Дж. Бальзамо), гр. 111
Калмыкова А. М. 366
Кальноки Г.-С., барон, гр. 84, 453
Каменский А. П. 846
Каминская О. Ю. 537
Кампфенер-паша 609
Каниц К.-Э.-В., граф 352, 353
Канкрин Е. Ф., гр. 498, 532, 682, 683
Канниве Р. 295
Канова А. 255
Кант И. 96, 472, 926
Кантемир А. Д. 203
Каприви, Г.-Л., гр. 83, 84, 271, 346, 347
Капулетти 715

Карабчевский Н. И. 701
Каравелов П. 550, 551, 968
Карагеоргий (Георгий Черный) 971
Карамзин Н. М. 188, 250, 377, 381, 382, 385, 393, 396, 406, 421, 587, 653, 863, 882
Каран д'Аш (Пуаре Эм.) 650
Каратыгин В. А. 776
Карл Великий 220
Карл I 821
Карл X 27
Карл XII 920
Карлос I (Карл V) 821
Кармо 217
Карно Сади М.-Ф. 19, 27, 426, 428, 429, 431, 432
Карпов В. Н. 911
Карпов Е. П. 540
Карцев 69
Каспари А. А. 360
Кассаньяк П.-А., де (Гранье де Кассаньяк) 224
Кассиан преп. 553
Кастеллан (Кастелен) Э.-В.-Э., гр. 648
Катилина 887
Катков М. Н. 105, 236, 239, 308, 309—311, 315—317, 322, 336, 365, 444, 452, 470, 482, 584, 585, 587, 621, 622, 668, 669, 719, 720, 726, 892, 910, 977
Катырев-Ростовский И. М., кн. 409
Каульбарс А. В., барон 88, 89
Качалов Н. Д. 397, 409, 410, 415, 417
Квитка Д. К. 737
Кедрин Е. И. 479, 480
Кератри Э. де, гр. 480
Кинг К. 945
Кирилл Рязанский, кн. 944
Кирсанов Аркадий («Отцы и дети») 699, 700
Кисличный 999
Кистер К. К., барон 469
Кистяковский А. Ф. 242
Клам Пати, де 648
Кларети Ж. 639
Клевер Ю. Ю. 320
Клейнмихель П. А., гр. 787
Клемансо Ж. 648, 668
Клеопатра 736, 855
Клименков С. И. 938, 939
Климент VIII (Ипполит Альдобрандини) 393, 856
Ключевский В. О. 76, 407, 455, 587
Кобурги
  Борис III 547, 548
  Фердинанд 88, 194—196, 289, 382, 385—387, 519, 520, 549—551, 821
Ковалев, майор 671
Ковалевский П. И. (О.) 243, 314, 415
Кожин 707
Коковцов В. Н., гр. 981
Кокорев В. А. 241
Коломб П. 288, 290
Коломнин А. П. 540
Колосов С. 397
Колосова М. 397
Колтовская А. И. 854
Кольбер Ж.-Б. 282
Комаров А. Я. 701—705
Комаров В. В. 386
Комаров, ген. 453
Комарова 702
Комнин Алексей 679
Комнина Варвара 679
Кондорсе Ж.-А.-Н., маркиз, де 623, 896, 897
Кони А. Ф. 29, 640—642, 704, 774
Коновалов 165, 166
Константин Острожский, кн. 395, 881, 944
Константинова А. И. 536
Константиновский М., свящ. 938, 940
Конт О. 472
Конфуций 826
Кончак, хан 90
Кончаковна 90
Коперник Н. 288
Корде М.-Ш. 430, 431
Корделия 168
Кормилицын Я. К. 908
Корнель П. 27, 338, 894
Коровин И. П. 530, 531
Корреджио (Аллегри) А. 801
Корсаков С. С. 940
Корш В. Ф. 336, 585, 622
Корш Е. Ф.
Корш Ф. А. 463—464
Корш Ф. Е. 746—769, 779—794, 798
Костанжогло 49
Костомаров Н. И. 378, 380, 381, 393, 394, 396, 403—405, 408, 412, 423, 781, 881, 882
Костычев П. А. 165, 166
Котошихин Г. К. 59, 60
Коуден-Клэрк М. 749, 782

Кох Р. 94—97, 107, 114, 115
Коцебу А. Ф. 207
Кочубей Л. В., кн. 737
Кочубей В. С., кн. 737
Кошеварова-Руднева 899
Кошлаков Д. И. 115, 531
Кравченко Н. И. 261
Краевский А. А. 365, 746, 747, 958, 959
Кривенко В. С. 662, 867
Кривошеин А. В. 243, 468
Криспи Ф. 84, 286
Кропоткин П. А., кн. 215, 217
Крутлый А. О. 651
Крупп 810
Крылов В. А. 205, 313, 464, 465, 469, 541—543, 862, 863, 867
Крылов И. А. 682, 763
Ксенофонт 998
Кувалда 923, 926
Кузнецов 283
Кузнецова (Подвинцева) 340
Кузнецова О. 341, 342
Кукольник Н. В.
Кулиш П. А. 941
Купер Д.-Ф. 633
Куровская Е. М. 178, 179
Куровский Е. А. 174
Куропаткин А. Н. 478
Кутузов (Голенищев-Кутузов) А. А., гр. 518, 550
Кутузов (Голенищев-Кутузов) М. И., св. кн. 483
Кюи Ц. А. 336—339, 722

Лабори М.-Ф. 651
Лабунская О. В. 536
Лаврецкий («Дворянское гнездо») 706
Лагерр Э.-Н. 29
Ладыгин (Лодыгин) А. Н. 959
Лазар Б. 648, 649
Лазарь 376
Ламанский В. И. 92—94, 240, 448
Ламанский Е. И. 232, 234
Лао-Цзы 214
Ларина Ольга 110
Ларина Татьяна 56, 110, 681
Ларош Г. А. 722
Ларошфуко Ф., де, гиг. 27
Лассаль Ф. 81, 926
Лафонтен Ж., де 894, 977
Лебедев А. А., протоиер. 552
Лев XIII (Джоакино Печчи) 306, 456, 576, 821
Левашов 69
Левин К. 49
Леже Л. 627
Лейден Э., проф. 445, 522
Лейстер Р.-Д., гр. 411
Ленский В. («Евгений Онегин») 110, 939
Леньяни П. 529, 530
Леонардо да Винчи 273
Леонид, монах 857
Леонид, царь Спарты 255
Леонидов Л. М. (Вольфензон) 468, 469
Леонкавалло Р. 351, 352
Леонтьев П. М. 54, 910
Леопольд II 821
Лермонтов М. Ю. 51, 66, 71, 272, 472, 572, 699, 744, 769, 770, 797, 906, 922, 924
Леруа-Больё П. 809
Лесков Н. С. 473
Лессепс Ф., де, виконт 227
Лессинг Г.-Э. 96, 255
Лестрад де 479—481
Ливен А. А., св. кн. 876
Ливин г-жа 702, 704
Лиза («Дворянское гнездо») 473
Линевич Н. П. 819, 829, 838, 839
Линкольн А. 428
Линч Ч. 430, 433
Лир, король 124, 168, 736, 855, 886, 887, 905
Литвин (Ефрон, Эфрон С. К.) 862, 863
Литтре (Литтрэ) Э. 85, 277
Лихарев 944
Лихачев В. И. 162, 243, 960, 995
Лихачев Н. П. 781
Ли Хун Чжан 809, 832, 839, 1001
Ло Д. 241
Лобанов-Ростовский А. Б., кн. 485
Лобановская М. Е. 241
Лойола И., св. 604
Локтя Т. В. 737
Ломброзо Ч. 194, 277
Ломоносов М. В. 35, 46, 184, 203, 785, 802, 927
Лонг (Лонгин, Логгин), сотник 206
Лонжпьер 207
Лор 82
Лоран Ш. 196
Лорис-Меликов М. Т., гр. 117, 184, 336, 535, 714, 719, 910, 993
Лубэ Э. 821
Лузиньян («Заира» Вольтера) 207
Лука, еванг. 78, 874

Лукарис К. 944
Лукашевич Н. А. 469
Лукка 105
Лукьянов С. М. 916
Луц 345
Любимов А. А. 272, 275
Лютер М. 144, 145, 911
Лялин 52
Ляпкин-Тяпкин А. Ф. 155, 676, 781

Магомет (Мохаммед), пророк 39, 401
Магомет II, султан 576, 607
Маздак 214
Мазепа И. С. 920
Майер 235
Майков А. Н. 35, 365
Майков Л. Н. 798
Макарий (Булгаков М. П.), мтрп. 307, 324, 325, 728, 963
Макаров Н.П. 729
Макбет 736
Макбет леди 56, 277, 736
Макензи Уоллес 978, 979
Мак-Кинли У. 821
Мак-Кэрти (Мак-Карти) Д. 101
Маков Л. С. 714
Маковский К. Е. 320, 955
Максенций 229
Малатеста 215
Мальцев А.П., прот. 616
Малюта Скуратов (Бельский Г. Л.) 534
Малявин Ф. А. 866, 867, 951
Мамай 349, 393, 439
Мамонтов И. И. 740
Мамонтов С. И. 709
Манассеин В. А. 114
Манилов 49, 612, 826
Манлихер Ф. 194
Мансветова 707
Мантегацца (Монтегацца) П. 277
Маньяр А. 246
Марат Ж.-П. 431, 894
Маргарита («Фауст») 95, 743
Мардохей 432
Маржерет Ж. 378, 380, 381, 390—395, 404, 425, 426
Мари, м-ль 297
Марицца-Гринева 707
Мария, Матерь Божья, Богоматерь, Богородица, Мадонна 145, 206, 226, 370, 488
Мария 306
Марк, еванг. 78, 874
Марк Аврелий 428
Марк Басанин (Лашеева Л. А.) 536
Марков Е. Л. 447, 448, 711, 712
Маркс А. Ф. 360, 725
Маркс К. 215, 725, 730, 926
Мармеладов С. З. («Преступление и наказание») 924
Мармеладова С. С. 924
Мартынов А. Е. 366
Мартынов А. М. 748
Мартынов Д. К. 958
Мартынов И. И. 911
Марфа 306
Маршаль 352—354
Марья Алексевна («Горе от ума») 1000
Масальская Д. А. 536
Масса И. 381
Массен В.-Н. 897
Матрена («Власть тьмы») 69, 777
Матфей, ап., еванг. 78, 119, 644, 874
Маффеи А. 352
Машин Драга, кор. сербск. 969
Медея 207
Медичи 351, 352, 715
Медичи Д. 351, 352
Медичи Л. 351, 352
Мейер И. (и Ю.), энц. 47, 144—146, 505
Мейербер Дж. 112, 230, 352
Мейерберг А., барон, фон 811, 986
Мекк К. Ф., фон 958
Мелетий Пигас, птрх. Александрийский 942—944
Мельников (А Печерский) П. И. 307
Менделеев Д. И. 53, 281, 803
Мендельсон 450
Менелик II 821
Меншиков (Меньшиков) А. С., св. кн. 46, 503
Мережковский Д. С. 474, 475, 536
Мериме П. 378
Мертваго А. П. 53
Мессалина 394
Меттерних К.-В., кн., герц. 286
Мефистофель 95, 743, 851
Мечников И. И. 743, 956—958, 966—968
Мещерский В. П., кн. 27, 32, 36, 37, 67, 71, 85, 87, 186, 187, 189—192, 196—198, 209—212, 214, 220, 234, 244—246, 308, 331—336 386, 430, 432, 433, 452, 491, 515, 517, 518, 534, 535, 538, 545, 546, 548, 557, 558, 559, 583, 717—719, 829, 830, 871, 875, 883, 890, 891, 894, 931, 962, 976, 980—982, 985, 992, 994, 995, 996

Мещерский А. И. 313
Микель 353, 354
Микеланджело Буонаротти 251, 255, 274
Микешин М. О. 313, 318, 319
Миклашевский 999, 1000
Миллер О. Ф. 469
Миллер Ф. Б. 762
Милорадович Е. И. 737
Милославский И. М., боярин 919
Мильтон Д. 398, 593
Милютин Д. А., гр. 974
Милютин Н. А 619
Минаев И. П. 297
Минин К. З. 87, 281, 333, 345, 806, 920
Минин, помещ. 715
Миних Б.-Х., гр., фон 720
Мирабо О.-Г.-Р., гр. 976, 977, 981, 993
Мирович В. Я. 919
Митрич («Власть тьмы») 69, 536, 537, 777
Михаил, мтрп. сербск. (Йованович) 968
Михаил, иеромн. 940, 941
Михаил Ярославич Тверской, кн. 396
Михайловский Н. К. 364
Мицкевич А. 617, 801, 917
Мишель Л. 215
Мишич П., пполк. сербск. 969, 971
Мишле Ж. 593
Млодецкий И. О. 535
Мнишек М. 402, 405, 881, 969
Мнишек Ю. 409, 425, 881, 882
Мод, кпт. 288
Модестов В. И. 364
Моисей, пророк 200, 229, 231, 251, 255, 274, 289, 432, 446, 451
Молчалин А. С. 73, 935
Мольер Ж.-Б. 27, 207, 472, 577, 708—710, 894, 927, 977
Мольтке Х.-К., гр., фон 131, 291, 351, 830
Моммзен Т. 40, 657, 892, 911
Мондори 207
Моно Г. 626
Монтекки 715
Монтень М., де 27, 203, 340, 645
Монтесекко 352
Монфлери 207
Мопассан А.-Р.-А.-Г., де 278, 390, 921
Морган, англ. женщ.-врач 900
Мордовцев Д. Л. 321
Морель В. 337
Морен П. 648
Морес 235, 236
Морис, плк. 285, 288
Морозовы, помещ. 340
Морозов П. О. 767
Морозов С. Т. 281—283, 315, 330, 345 349, 357, 424
Моссо А. 490, 491
Моцарт В.-А. 115, 116, 336, 722, 785
Мочалов П. С. 776, 777
Мочизуки Котаро 510
Моше 863
Мравина Е. К. (Мровинская; Корибут-Дашкевич) 321
Мстиславские кн. 854
Музафер-Эддин 821
Муне-Сюлли Ж. 297
Муравьев-Амурский Н. Н., гр. 502, 840
Мурани 243, 244
Мусоргский М. П. 723
Муткуров 88
Мухтар-паша 290, 291
Муцухито, имп. 821

Набонасар 710
Навуходоносор 35
Нагая Е. А.
Нагая М. Ф. (в мон. Марфа) 400, 854, 857
Нагие 397, 398, 410, 413, 416—420, 423, 943, 944
Нагой Андр. Ф. 413, 416, 417
Нагой Аф. Ф. 409—415, 418, 419, 854
Нагой Гр. Ф. 397, 416
Нагой М. Ф. 398, 411, 416
Найденов Н. А. 281
Найтингелл 897
Направник Э. Ф. 813
Начевич Г. 194, 196
Нащокин Г. А 943
Неведенский 316
Невельской Г. И. 502, 503, 840
Негош Николай I, кн. и кор. Черногории 821
Недоростков («Шутники») 204
Недоносков («Шутники») 204
Некрасов Н. А. 365, 473, 769, 770, 925, 933, 959
Нелидов А. И. 133, 709
Немезида 56, 577, 970, 971
Неметти В. А. 106, 536
Немиров Г. А. 795
Немирович-Данченко Вас. И. 368
Нерестан 207
Нерон 213
Нессельроде К. В., гр. 502, 503

Нестор 249—256
Никанор, еп. 119—121
Николаев Ю. 144, 145
Николай Чудотворец 381
Никон (Минов Никита), птрх. 184, 218, 251, 307, 323—326, 565, 855, 880, 907, 919, 963
Нилус С. А. 894, 895, 987
Нильский (Нилус) А. А. 468
Ниман А. 162
Ницше Ф.-В. 473, 926
Нобель Э. (?) 571
Новаковский 882
Новиков Н. И. 797, 920
Новиков А. И. (?) 707, 715, 717, 724—726
Новосильцев Н. Н., гр. 718
Ноздрев 49, 72
Нордау М. 488
Нотович О. К. 542, 543
Ньютон И. 401
Нюже А. 260—262, 264

Обреновичи
Александр 968
Милан 969, 971
Наталия 969
Оброшенов («Шутники») 204, 205, 208
Овер А. И. 939, 940
Овидий 382, 494, 873
Огарев Постник 854
Огрызко И. П. 581
Одоевский В. Ф., кн. 741
Озерова (Грушильон) Л. И. 503
Окрейц С. С. 360
Олеарий А. 811
Олоферн 431
Оль П. В. 672, 674
Омай 506
Онегин (Отто) А. Ф. 798
Онегин Евгений 72, 110, 912, 924, 939
Ордин К. Ф. 958, 959
Ордынский Б. И. 911
Орест 207
Орленев (Орлов) П. Н. 708
Орлова-Чесменская А. А., гр. 395
Оскар, кор. Швеции 821
Осман-паша 968
Основьяненко (Квитка) Г. Ф. 321
Остерман А. И., гр. 720
Островский А. Н. 59, 70, 204, 365, 473, 560, 669, 674, 927, 935
Острогорский В. П. 364, 367, 368

Отелло 736, 847, 886, 887
Отеро, г-жа 536
Отрепьев Б. 419
Отрепьев Григорий (царь Дмитрий Иоаннович, Лжедимитрий I, Уар) 203, 378—382, 391, 394, 395, 399, 403—408, 419—423, 425, 426, 854—857, 860, 882, 944
Отрепьев Смирной 422
Отрепьева 422
Офелия 148, 736
О'Ши 101

Павел Прусский, архм. 145
Павлов (см. Бицын) 395, 402, 403
Павлова В. П. 536
П<а>вский С. 322—324
Паисий (Яроцкий П. Г.) 72, 73
Палем О. В. 387, 481, 482
Палеологи
Андрей 576
Дионисий 942
Дмитрий 576
Иоанн 576
Константин XI 576
Мануил 576
Софья (Зоя) 575, 576
Фома 576
Палладино г-жа 362, 363
Пальерон 464, 465
Пальм С. А. 109
Пальмер 207
Пальмерстон Г.-Д.-Т., лорд, виконт 289
Панаев И. И. 365
Пандора 275
Пантелеевы, купцы 660
Пареный А. Н. 185
Парис 319
Парнелл Ч.-С. 100—102
Паскаль Б. 210, 941
Паскевич И. Ф., гр., св. кн. 623
Пассовер А. Я. 990
Пасхалова (Чегодаева) А. А. 575
Патенко Ф. А. 701—705
Пацци Ф. 351, 352
Перикл 101, 843
Перовский В. А., гр. 503
Перовский Л. А., гр. 503
Перье К. 448, 629
Петенкофер 957
Петипа М. М. 536, 537
Петков 88

Петр апост. 119, 456, 457, 874
Петр мтрп. 325
Петр Ольденбургский 917
Петр Пустынник 679, 680
Петрило 377
Петров О. А. 337
Петровская 321
Петровский С. А. 584
Петрушка 725
Печорин 72, 472, 922, 924
Пикар Ж. 667, 668
Пикколомини Ф. 944
Пиль Р. 894
Пимен лтпс. 250
Пирлинг П. О. 379, 403, 404, 576, 653, 856, 880—883, 944
Пирогов Н. И. 365, 877, 878, 883
Писарев Д. И. 489
Писарев М. И. 542
Писемский А. Ф. 365, 473, 721
Питт У. 289, 894
Пифия 167
Платон 209, 966
Платон, (Левшин) мтрп. 403
Платонов С. Ф. 385, 391, 424, 706, 707, 911, 918, 963
Плевако Ф. Н. 122—124
Плеве В. К., фон 996
Плетнев П. А. 746, 747
Плец 345
Плутарх 645, 717
Победоносцев К. П. 457
Погодин М. П. 668, 938
Погожев В. П. 205, 709
Подвинцевы 340—342
Пожарский Д. М., кн. 87, 518, 806, 920
Позднышев 120, 121
Покровский Е. А. 74, 75
Полевой 984
Полежаев А. И. 797
Половцовы бр. 557, 559
Полоний 588, 589, 730
Полонский Я. П. 35, 365
Поль де 210
Понтий Пилат 78—80, 872, 879
Понятовский С. 920
Попов, ген. 613, 614
Попов П. 614
Попов Ю. 614
Попов 313, 318
Попова О. Н. 536
Поприщин 108, 636
Потапенко И. Н. 357
Потемкин Г. А., св. кн. 337, 711, 946
Потехин А. А. 365, 864
Потоцкая М. Б. 205
Прега О. 396
Прессансе 668
Пржевальский Н. М. 478
Приселков А. В. 65
Приселкова 69
Простакова, г-жа 892
Протопопов, земск. нач. 218
Прохоров 570
Прудон П.-Ж. 312, 472
Пташицкий С. Л. 882
Пуар 557
Пугачев Е. И. 378, 681, 920, 928
Путятин Е. В., гр. 876, 905
Пухерт 159, 163, 165
Пушкин А. С. 51, 56, 65, 66, 71, 72, 89, 92, 103—105, 111—113, 116, 146, 250, 254, 272, 338, 381, 382, 472, 483, 491, 521, 572, 597, 613, 680, 682—685, 695, 697—700, 729, 732, 744, 746—773, 775, 779—788, 790, 792—794, 797, 798, 851, 855, 883, 906, 913, 922, 924, 925, 933, 937, 939, 946, 961, 962, 965
Пыпин А. Н. 364, 675
Пьер, аббат 631
Пясецкий П. Я. 478

Рабле Ф. 203
Равашоль Л.-Л. (Кенигштейн Ф.-А.) 190, 193, 194, 217, 228, 427
Рагозин Л. Ф. 917
Раден бар-са 877
Радищев А. Н. 797
Раич С. Е. 279
Разин С. Т. 218, 919, 920, 928
Раков Р. 418
Рамполла, кард. 881
Рангони К. 881, 882
Ранк А. 304
Ранке Л., фон 284
Расин Ж. 27, 338, 894, 923
Раскольников Р. Р. 641
Растрелли В. В. 61
Ратьков-Рожнов В. А. 443
Раухфус К. А. 917
Рафаэль Санти 122, 309, 801, 911
Рашель (Феликс Э. Р.) 297
Рейнак Ж (Рейнах) 648
Рейтерн М. Х., гр. 498, 585, 586

Рекамье (ур. Бернар) Ж.-А. 255
Реклю Э.-Ж. 62, 215, 217
Ренан Э.-Ж. 85, 645, 926
Реорович (Григорович?) Димитрий 854
Репетилов 72, 713, 717, 935
Репин И. Е. 314, 318, 866, 867, 872, 874, 946, 951, 955, 956
Репнины кн. 421
Рё А. 627
Римский-Корсаков Н. А. 723
Риттер К. 505
Ричард III 736
Ришпен Ж. (О. Ж.) 338
Робеспьер М. 77, 517, 518, 650, 894, 895, 977, 993
Ровинский Д. А. 379, 393
Родиславский В. И. 447
Рождественский В. Г., прот. 551, 552
Розанов В. В. 926, 937, 941
Розбери А.-Ф., лорд, гр. (Розберри) 448, 451
Розенбах 69
Роман Угличский 943
Романи Ф. 667
Романовы
Александр Александрович, Александр III 306, 445, 448, 459, 469, 471, 545, 578, 653, 657, 665, 737, 818, 848, 931, 993
Александр Николаевич, Александр II 35, 214, 284, 322, 428, 458, 479, 485, 499, 583, 655—657, 668, 712, 731, 848, 907, 919, 920, 953, 964, 993, 995, 1003
Александр Павлович, Александр I 77, 284, 314, 373, 455, 587, 713, 718, 719, 947
Алексей Михайлович 62, 66, 104, 218, 323— 326, 571, 919, 963, 986
Анна Иоанновна 720
Владимир Александрович, вел. кн. 290
Екатерина Алексеевна, Екатерина II 77, 111, 112, 161, 442, 575—577, 646, 647, 682, 696, 698, 711, 721, 906, 919, 920, 946, 1003
Елена Павловна, вел. кн. 662
Елизавета Петровна 77, 396
Иоанн Антонович, Иоанн VI 396, 919
Константин Николаевич, вел. кн. 503
Михаил Федорович 325, 415
Николай Александрович, Николай II 445, 456, 657, 679, 680, 798, 821, 867, 931
Николай Николаевич, вел. кн. 953
Николай Павлович, Николай I 71, 103, 104, 284, 472, 503, 617, 623, 947
Павел Петрович, Павел I 284, 307, 718, 947
Петр Алексеевич, Петр I, Великий 30, 35, 54, 61, 66, 83, 98, 100, 103—105, 182, 188, 218, 235, 240, 284, 332, 339, 355, 356, 390, 401, 406, 469—471, 604, 609, 655—657, 670, 682, 696, 698, 709, 721, 731, 799, 807, 810, 843, 860, 875, 876, 905, 912, 919, 920, 962, 963
Федор Никитич (Филарет, мтрп., птрх.) 325, 381, 421, 963
Ромео 56, 536, 537, 736, 886
Ромер Ф. Э. 554—556
Росси Э. 530
Ростан Э. 644, 645
Ростковский А. А. 972
Ростов Николай 339
Ростова Наташа 56
Ротшильды 227, 451
Ротшильд А., барон 198—201, 230
Ротшильд Л. 451
Ротшильд М.-А. 153, 198, 451
Ротшильд Н., барон, пэр 450—452
Ротшильд Н.-М., барон 227, 451
Ротштейн Г. 483, 560, 671
Рошгросс 259
Рошфор В.-А., маркиз, де 20, 21, 195, 196, 224, 292, 300, 301, 367, 626, 629
Рубинштейн А. Г. 35, 50—52, 115, 230, 662, 663
Рудини 134
Русаков 59
Руссо Ж.-Ж. 203, 434, 843, 896, 957
Рыков И. Г. 959
Рымейко, ксендз 626, 627
Рюрик 653, 706, 728, 879, 942

Саблер В. К. 145, 1002
Сабурова Е. Б. 854
Савватий, игумен 417
Савина М. Г. 55, 56, 67, 69, 70, 468
Савицкий 393, 653
Савл (ап. Павел) 564
Сазонов Н. Ф. 69, 70, 468
Салаев 892
Салаевы бр. 59
Саломия (Саломея) 643, 644
Салтыков (Н. Щедрин) М. Е. 20, 473, 959
Сальвини Т. 776, 777, 886, 887, 894

Сальери А. 785
Сан-Галли 155, 162, 165
Самуил 363
Сапега Л. 405, 421
Сарду В. 295, 463—465, 521
Сатана 593
Саул 363, 364
Сведомский М. Г. 320
Свияжский 49
Свободин П. М. 70, 204—209
Святополк II 679
Сезострис 743
Сеймур М., англ. адм., сэр 817, 836
Сейфулла-паша 609
Селим 576
Семенова Е. С. 207
Семирадский Х. (Г. И.) 320
Семирамида 255, 743
Сенар 297
Сенека 645
Сен-Жермен, гр. 111, 112
Сен-Жюст Л.-А., де 650
Сервантес М. де Сааведра 121
Сергеевич В. И. 598
Сергей Атава (Терпигорев С. Н.) 211, 958
Сергиев (см. Иоанн Кронштадтский)
Сергий Радонежский 210, 325
Серов В. А. 866, 945
Сигизмунд III Ваза 399, 404, 405, 419, 422, 854, 855, 882
Сигма (Сыромятников С. Н.) 780, 937
Сийес Э.-Ж. 897
Сикст IV (Франческо делла Ровере) 576
Сикст V (Феличе Перетти) 942, 944
Сильвестр, свящ. 59, 203
Симеон д-р 409
Симеон Бекбулатович 854
Симеон Богоприимец 642
Симон Ж. 260, 261, 514
Симон О. 592, 593
Сипягин Д. С. 713, 714, 932
Сицкие кн. 421
Скабичевский А. М. 364—368
Скальковский А. А. 243
Скальковский К. А. 243, 668
Сквозник-Дмухановский А. А. 155, 424, 675
Скворцов 75, 905
Скитские бр. 701—705
Склифосовский Н. В. 114, 702
Скобелев М. Д. 31, 304, 483, 578, 609, 973
Сковорода Г. 926
Скопин-Шуйский М. В., кн. 423
Скотинин Т. 971
Скотт В. 111, 664
Смирнова (ур. Россет) А. О. 781
Смирнова (Сазонова) С. И. 469, 707
Смит Ф. 404
Собакевич 36, 49, 72, 863
Соковнин П. Н. 738
Соколов Н. И. 368
Сократ 160, 209, 251, 252, 428
Солдатёнков К. Т. 359
Соллогуб В. А., гр. 956
Соловая П. 854
Соловьев Вл. С. 144, 145, 604—606, 926
Соловьев С. М. 250, 384, 404, 405, 407, 408, 605
Соломон, царь 958
Соломон А. П. 917
Солсбери Р.-А.-Т., маркиз 133
Сосновский М. 737
Софокл 552, 574
Спасович В. Д. 364, 389, 390, 625, 626, 958, 959
Спенсер Г. 472
Сперанский М. М., гр. 77, 587, 718
Спиноза Б. 230
Стамбулов (Стамболов) С. 87—89, 193—197, 382, 385—387, 444, 519, 549
Стасов В. В. 50, 249—256, 336, 469, 722, 867
Стасюлевич М. М. 303, 304, 452, 453, 959
Стахович М. А. 894, 895, 905, 906, 918
Стебут И. А. 707
Степанов 320
Степняк (Кравчинский) С. М. 692
Стефан Баторий 395
Стефан Великий 377
Сторожев В. Н. 384, 385
Стофель 81, 82
Стоюнина М. Н. 479
Стравинский Ф. И. 91
Страхов Н. Н. 622, 623
Стрепетова П. А. 709
Строганов 718
Струков 601
Суворин А. А. 237
Суворов А. В., кн. 483
Сумбатов-Южин А. И., кн. 543
Сумцов Н. Ф. 784
Суслова Н. П. 899, 900
Сухово-Кобылин А. В. 864
Сухоровский М. Г. 313, 314, 318—320
Сыркин М. Г. 908, 909

Тааффе Э. 133
Таганцев Н. С. 1002
Талейран Ш.-М., де Перигор, кн. 284, 1005
Тарасенков А. Т. 938—940
Тарновский В. М. 917
Тарханов (Тархнишвили) И. Р. 731
Тассо Т. 279
Татищев А. И., гр. 585
Татищев В. Н. 284
Татищев С. С. 32, 87, 88, 193, 236, 237, 294, 300, 301, 367, 368, 385, 386, 444, 549, 815, 964, 995
Тейбнер 892
Теккерей У.-М. 736
Тенишева М. К., кн. 709
Теренций 472
Тернер Ф. Г. 555
Тертуллиан (Тертульян) 504
Тимашев А. Е. 714, 964
Тимирязев В. И. 343, 344
Тимон Афинский 207
Тимрот 877
Тинский Я. С. 720
Тихомиров Д. А. 317, 962, 963
Тихонравов Н. С. 941
Тициан Вечеллио 801
Товий 55
Товянский (Товианский) А. 404, 882
Толстой А. К., гр. 65, 708
Толстой А. П., гр. 938
Толстой Д. А., гр. 86, 458, 498, 714, 719, 827, 892, 910
Толстой Л. Н., гр. 22, 49, 56, 62, 65—69, 72—74, 118—121, 126, 172, 278, 321, 339, 357, 358, 365, 374, 389, 434—436, 472, 478, 483, 486—489, 572, 606, 636, 660, 699, 704, 711, 715, 717, 729, 777, 779, 802, 907, 921—925, 941, 951, 955, 956, 958
Толстой Н. 893
Толстой Ю. 411
Торн 633
Третьяков П. М. 673, 674
Тржецяк г-жа 702, 704
Трифон Вятский, св. 419, 420
Трубецкой Е. Н., кн. ???
Трубецкой С. Н., кн. 598, 841, 842, 866, 891, 892
Трубецкой П. П. ???
Трубников П. В. 710
Туан, принц 832
Тургенев И. С. 66, 121, 126, 321, 365, 473, 637, 659, 660, 698, 699, 705, 706, 729, 733, 922, 923, 925, 933, 941
Тучков Ж. 397, 414
Тучкова О. 397, 414— 417
Тюрго А.-Р.-Ж. 623
Тютчев Ф. И. 365, 723, 961, 987

Удэ Ф.-К.-Г., фон 645
Уланд Л. 111
Урбан II (Оттон Остийский) 679, 680
Урусов Л. П., кн. 858
Устрялов Н. Г. 860
Ухтомский Э. Э., кн. 501, 544, 550, 584, 696, 698, 710—712

Фадеев Р. А. 974
Фальконе Э.-М. 356
Фальстаф 337, 736
Фаминцын А. С. 253, 256
Фамусов П. А. 72, 935
Фарлаф 337
Фауст 95, 113, 743, 851
Федоров М. М. 495, 496
Федоров Н. Ф. 209, 704
Фемида 448
Феодор Иоаннович 398, 407, 408, 412—415, 420, 708, 942—944
Феодорит архм. 417
Феодосия Феодоровна, царевна 942, 943
Фере Ш. 401, 402
Ферри Ж. 27, 29
Фет А. А. 35, 141
Ферреро Г. 486—489, 512, 513
Фигнер Н. Н. 111, 112, 844
Филарет (Дроздов), мтрп. 938, 981, 1003
Филипп (Колычев), мтрп. 391
Филипп, первый муж Иродиады
Филиппенко 905
Филиппов Т. И. 642
Филомела 992
Философов Д. В. 709
Финдер Г. 131
Флетчер Д. 409, 411, 412, 414, 811, 978
Флобер Г. 85, 637
Флоке Ш.-Т. 19, 235, 236
Фоломеев К. И. 574
Фонвизин Д. И. 572, 682
Фор Ф. 502, 639, 648, 651
Форен Ж.-Л. 650
Форкатти (Форкатти) В. Л. 570
Фос (Фосс) И. Г. 912

Фотий (Спасский П. Н.), архм. 425
Франк Л. 623—625
Франклин Б. 428
Франциск Ассизский, св. 210, 486—489
Франциск I 856
Фрейсине Ш.-Л., де 19, 668
Френкель 243, 244
Фрязин Иван (см. Вольпе) 576
Фурье Ш. 33, 277, 310, 926

Хворостинин И. А., кн. 391
Хлестаков И. А. 100, 194, 229, 342, 376—378, 675, 754, 793
Хлобуев 49
Холева Н. О. 540, 735
Хомякова (ур. Языкова) Е. М. 938
Христиан IX 821
Худеков Н. С. 475, 476
Худеков С. Н. 475, 476

Цезарь Юлий 29, 102, 401, 736, 855, 856, 966, 972, 1005
Цион И. Ф. 224, 225, 230, 239, 446, 482—484, 494, 509
Цицерон М.-Т. 94, 440

Чайковский М. И. 302
Чайковский П. И. 51, 110, 111, 113, 301—303, 321, 337, 662, 663
Чарторижский А., кн. 284, 718
Чацкий А. А. 219, 538, 717, 935
Чевкин К. В. 787
Челкаш 924
Чемберлен Дж. 902, 903
Черемисинов Д. И. 662
Черкасские кн. 405, 420, 421, 423
Черкасский Т., свящ. 905
Черномор 89
Чернышев А. И., св. кн. 503, 947
Чернышевский Н. Г. 365
Чернышевы кн. 947
Черняев М. Г. 449, 968
Чехов А. П. 357, 390, 641, 742, 921, 922, 924, 925, 927, 955
Чечулин Н. Д. 594, 595
Чижов В. Ф. 941
Чингисхан 843
Читау М. М. 55, 56
Чихачёв Н. М. 243, 932
Чичерин Б. Н. 793, 906, 907
Чичиков П. И. 36, 49, 72, 73
Чичинадзе 340, 342

Шамиль 819
Шамфор (Рок Н.-С.) 649
Шанмелэ 207
Шапп аббат 161, 946
Шарапов С. Ф. 331, 671, 672, 674—676
Шарко Ж.-Б. 272
Шарко Ж.-М. 225, 226, 272—278, 312
Шарко Ж. 272, 274
Шарко О. 272, 273
Шатильон («Занра») 207
Шварц 243
Шевченко Т. Г. 694
Шейлок («Венецианский купец») 522, 863, 865
Шекспир У. 55, 110, 273, 277, 283, 315, 321, 330, 362, 593, 618, 664, 688, 696, 710, 736, 744, 749, 754, 762, 776, 782, 801, 855, 856, 862, 863, 886, 887, 911, 966, 977
Шелгунов Н. В. 530
Шелли П.-Б. 618, 896
Шенрок В. И. 941
Шереметев С. Д., гр. 65, 651—653, 853, 856, 857, 882, 932, 942—944
Шереметева Е. И. 854, 857
Шереметьев 31, 32
Шерер-Кестнер О. 628, 629, 631, 638, 649
Шестаков И. А. 507
Шестуновы, кн. 421
Шешковский С. И. 711, 712
Шиллер Ф. 66, 96, 111, 852, 886, 912
Шиль М. 943, 944
Шильдер Н. Г. 571
Шильдер Н. К. 947
Шипов Д. Н. 976, 982
Ширинский 836
Шишкина О. А. (А. О.?) 536
Шишков А. С. 876
Шлёцер А.-Л., фон 249, 250
Шляпкин И. А. 798, 864
Шовен Н. 623
Шопенгауэр А. 85, 472, 604, 926, 958
Шпажинский И. В. 55, 56
Шрадер 818
Штейн Г.-Ф.-К., барон, фон 827
Штейн Л., фон 534
Штилер А. 818
Штраус Д.-Ф. 645
Штукенберг А. И. (Антоний Крутогоров) 786—793, 795, 797
Шубарт И.-Х. 728
Шувалов И. И. 392, 647

Шувалов Пав. А., гр. 266, 344, 578, 616, 617
Шуйский В. И., кн., царь 379, 381, 396, 398—400, 409, 411—413, 417, 422, 423, 425, 853, 856, 881, 943
Шуйский И. П., кн. 404
Шульц 244
Шульце-Делич Ф.-Г. 182
Шуман Р.-А. 777
Шумский (Чесноков) С. В. 709

Щелкалов А. Я. 411, 412, 414, 853, 942—944
Щелкалов В. Я. 943
Щепкин Е. Н. 409, 852—857, 882
Щепкин М. С. 709
Щербина Г. С. 972
Щукин П. И. 626

Эбрар 226, 305
Эдип 813
Эдуард VII 871
Эдхем-паша 609
Эйфель А.-Г. 35, 226
Эккерман И.-П. 84
Энгельгардт А. Н. 53
Энгельгардт В. П. 50
Энгельгардт Н. А. 50, 937
Эрман А. 130
Эрман Г. 130
Эстергази Ф. 626, 638, 639, 648, 668
Эсхил 552

Юдин 397, 399
Юдифь 431, 432
Южаков С. И. 752, 759, 784
Юлия (Джульетта) 536, 537, 736, 886
Юсупова З. Н., кн. 945

Яблонский 162, 165
Ягич В. 852, 853
Яго 776, 777, 971
Якоби (Якобий) В. И. 320
Якушкин В. Я. 755, 765, 767, 781, 787, 795, 797, 798, 868
Янышев И. Л., прот. 305—307, 322—324, 551, 552
Ярмонкин 959, 960
Ярослава Ярославовна 396
Ярославна 89, 91
Ястржембский 769

Adam J. 502
Brückner A. 852
Ceyton Saxe 100
Chaurin J. 623
Colomb P. 288
Forbes A. 288
Gebauer J. 852
Haeser H. 47
Jagic V. 852
Jirecek C. 852
Lasègue 401
Leskien A. 852
Lowe Ch. 288
Maurice I. F. 288
Maude 288
Murray D. Ch. 288
Nehring W. 852
Novakovic St. 852
Rethwisch C. 55
Ribot 512
Scudamore F. 288
Wesselofsky A. 852
Wirth A. 893

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Романенко. Несколько слов о жизни и судьбе Алексея Суворина 5

1889	№№ I(1) — XXVIII (28)	19
1890	№№ XXIX(29) — XLIX (49)	65
1891	№№ L(50) — LXXII (72)	110
1892	№№ LXXIII (73) — CVIII (108)	160
1893	№№ CIX (109) — CLIII(153)	238
1894	№№ CLIV (154) — CCXII (212)	328
1895	№№ CCXIII (213) — CCLVI (256)	467
1896	№№ CCLVII (257) — CCLXXX (280)	540
1897	№№ CCLXXXI (281) — CCCI (301)	590
1898	№№ CCCII (302) — CCCXIX (319)	636
1899	№№ CCCXX (320) — CCCXLVII (347)	679
1900	№№ CCCXLVIII (348) — CCCLXXXVIII (388)	746
1901	№№ CCCLXXXIX (389) — CDX (410)	862
1902	№№ CDXI (411) — CDXXII (422)	918
1903	№№ CDXXIII (423) — CDL (450)	949

Именной указатель 1006

Алексей Сергеевич Суворин
В ОЖИДАНИИ ВЕКА XX
Маленькие письма
1889—1903

Ответственный редактор С.В. Маршков
Художник М.А. Зосимова
Верстка А.А. Кувшинников
Набор Т.М. Евдокимова

ООО «Алгоритм-Книга»
Лицензия ИД 00368 от 29.10.99, тел.: 929-93-02
Оптовая торговля: Центр политической книги - 733-9789
«Столица-Сервис» - 375-3211, 375-2433, 375-3673
Мелкооптовая торговля: г.Москва, СК «Олимпийский». Книжный клуб.
Торговое место ≠ 30, 1-й эт. Тел. 8-903-5198541

Сдано в набор 09.09.05. Подписано в печать 15.10.05.
Формат 84x108/32. Офсетная. Гарнитура HelvD0L.
Печ. л. 32. Тираж 3000 экз. Заказ № 5490.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
на ФГУП ордена «Знак Почета» Смоленская областная типография
им. В.И.Смирнова. 214000, г.Смоленск, проспект им. Ю.Гагарина, 2.

ISBN 5-9265-0196-2
9 785926 501961

Алексей Сергеевич Суворин /1834-1912/ публицист и общественный деятель, крупнейший книгоиздатель и журналист. В течение полувека печатался во многих периодических изданиях России, но именно в созданном им "Новом Времени" полностью раскрылся его талант. В "Новом Времени" появлялись и его знаменитые "Маленькие письма" - отклик на самые острые и наболевшие проблемы российской действительности. Суворин был горячим патриотом России, убежденным народолюбцем, выдающимся просветителем. "Маленькие письма" - замечательный документ своего времени, важнейший исторический источник, заметное явление русской литературы.

В полном книжном издании они выходят в свет впервые. В настоящем томе собраны письма, опубликованные в 1889-1903 гг.